



ЛЮДИ И ТЕКСТЫ

2015 — ГОД ЛИТЕРАТУРЫ



Лучшие статьи, опубликованные в журнале «Русский мир.ru» в 2008–2015 годах

ОСЕННИЙ СОН О ПРИДУМАННОМ СЫНЕ 5 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА	НЕПРОЧИТАННЫЙ.....84 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА
В «ТИХОМ ДОНЕ» ДО СИХ ПОР ПОЛНО ТАЙН..... 9 БЕСЕДОВАЛ БОРИС СЕРОВ	К ЯЗЫКОВУ.....89 ЕВГЕНИЙ РЕЗЕПОВ
«ФЛОБЕР НАЗЫВАЛ ЕГО LE MOSKOV».....17 БЕСЕДОВАЛА ВЕРА МЕДВЕДЕВА	ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО.....94 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА
«РУССКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО ТАКОЕ ЖЕ ПОТРЯСАЮЩЕЕ, КАК И УРАЛЬСКИЕ ЗОЛОТЫЕ ПРИИСКИ»23 БЕСЕДОВАЛА ВЕРА МЕДВЕДЕВА	ТИХИЙ ОМУТ 101 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА
«БОГ НЕДАРОМ ПОВЕЛЕЛ КАЖДОМУ БЫТЬ НА ТОМ МЕСТЕ, НА КОТОРОМ ОН ТЕПЕРЬ СТОИТ».....27 АННА ГАМАЛОВА	ПОЧТИ ИНОСТРАНЕЦ..... 106 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА
НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ34 МИХАИЛ БЫКОВ	КТО УБИЛ ЛЕРМОНТОВА?..... 113 МИХАИЛ БЫКОВ
ТАРХАНСКИЙ ИСТОЧНИК41 ЕВГЕНИЙ РЕЗЕПОВ	ПЕРВЫЙ ДВОЙНИК..... 119 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА
КАК СТЕПЬ И МОРЕ.....47 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА	ПОРОК СЕРДЦА 124 ДМИТРИЙ БЫКОВ
«ГДЕ ОН ПРОВЕЛ ЗЛАТУЮ МЛАДОСТЬ»52 МИХАИЛ БЫКОВ	«ВРЕМЯ! Я ТЕБЯ МИНУЮ» 129 ЛАДА КЛОКОВА
СКОЛЬКО ИСТИН В КУПРИНЕ.....54 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА	ПЕВЕЦ НА НЕОБИТАЕМОМ ОСТРОВЕ..... 136 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА
ТАЙНЫ «ГРАНАТОВОГО БРАСЛЕТА»59 ЕВГЕНИЙ РЕЗЕПОВ	УПАДОЧНЫЙ РЕНЕССАНС 141 АННА ГАМАЛОВА
ИСТОКИ63 ЕВГЕНИЙ РЕЗЕПОВ	АЛМАЗ В СЕРЕБРЕ 144 МИХАИЛ БЫКОВ
БУНИН ЗД68 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА	ЛЮБОВЬ И КРОВЬ 148 АННА ГАМАЛОВА
ПЕРЕТЯГИВАНИЕ ЛЬВА71 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА	ДВА В ОДНОМ..... 153 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА
НЕ ВИЖУ ЗЛА75 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА	«ВСЕ РЕЖИССЕРЫ ИМЕЛИ СО МНОЙ ГОРЕСТНЫЕ ДНИ»..... 159 БЕСЕДОВАЛА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА
УШЕДШИЙ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ.....79 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА	О РАДОСТИ ДУШЕВНОЙ 164 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА
	ДОДО 169 МИХАИЛ БЫКОВ

СЧАСТЛИВЧИК 172 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА	ХОЧЕШЬ ЗНАТЬ, КАК ВСЕ ЭТО БЫЛО? 257 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА
РАСПРОСТРАНТЕЛЬ..... 175 МИХАИЛ БЫКОВ	УЧИТЕЛЬ..... 262 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА
ЗАЙМИТЕСЬ, ГОСПОДА, КУЛЬТУРОЙ 178 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА	«ВСЯКОМУ ИМЯ ДАЮ, КАКОЕ ПРИСТОЙНО» 268 ЮЛИЯ СЕМЕНОВА
И ГОГОЛЬ, ТАКОЙ МОЛОДОЙ 184 АННА ГАМАЛОВА	ЧЕЛОВЕК-ТЕАТР 274 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА
И ЛИЦО, И МЫСЛИ, И ОДЕЖДА..... 187 АННА ГАМАЛОВА	ПЕЧАТНЫМ ШАГОМ 280 МИХАИЛ БЫКОВ
«ПОРА ПОПУЛЯРИТЬ ИЗЫСКИ» 190 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА	«УМЪ МОЛОДЬ НЕ ДОШЕЛЪ»..... 284 ЕВГЕНИЙ РЕЗЕПОВ
«Я – ИЗЫСКАННЫЙ СТИХ» 196 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА	ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ И КРАМОЛА 289 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА
КАТЕГОРИЯ НЕИЗБЕЖНОСТИ ТЕКСТА..... 201 БЕСЕДОВАЛА ЕКАТЕРИНА КОСТИКОВА	АПОСТОЛЫ СЛАВЯН..... 296 ЛАДА КЛОКОВА
В СОПРОВОЖДЕНИИ УТРЕННЕЙ ЗВЕЗДЫ..... 206 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА	В ЗВОНКО-ЗВУЧНОЙ ТИШИНЕ 302 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА
И ТАЙНА ВЕЧНОСТИ СПОКОЙНА И ПРОСТА 211 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА	«Я – ВЕРУЮЩИЙ В БОГА ФИЗИК» 308 СЕРГЕЙ ВИНОГРАДОВ
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ РУССКОЙ ПОЭЗИИ 217 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА	ЕМУ ТЫ ПЕСЕН НАШИХ СПОЙ..... 312 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА
НЕПРАВИЛЬНЫЙ ГЕНИЙ..... 224 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА	РОЖДЕННЫЙ ЛЕТАТЬ 319 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА
МИФЫ ТРЕТЬЕГО РЕЙНА..... 228 БЕСЕДОВАЛА КИРА СТЕРЛИН	«И ВСЕХ, КОГО ЛЮБИЛ...» 325 ГЕННАДИЙ ЕВГРАФОВ
ЧАСЫ И ЗВЕЗДЫ МАРШАКА 234 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА	ИГУМЕН ЗЕМЛИ РУССКОЙ..... 330 ЛАДА КЛОКОВА
МИР, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ВИЛЬК..... 241 ВАСИЛИЙ ГОЛОВАНОВ	ВЫНЬ-КА ЗЕРКАЛЬЦЕ СКЛАДНОЕ 336 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА
МЕЖДУ ДУДОЧКОЙ И КУВШИНЧИКОМ 247 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА	ЦИНИЧЕСКАЯ СВИРЕЛЬ..... 343 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА
СИНИЙ КИРАСИР 254 МИХАИЛ БЫКОВ	ШУТОВСКОЙ ХАЛАТ 348 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

СВИНЬЯ И АНГЕЛ 355 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА	ВЫШЕ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 465 МИХАИЛ БЫКОВ
ПОДВИЖНИЦА 361 ГЕННАДИЙ ЕВГРАФОВ	ДОМИК ПОД КАМЫШОВОЙ КРЫШЕЙ 471 БЕСЕДОВАЛА АЛЕКСАНДРА ПУШКАРЬ
БЛАЖЕН ОЗЛОБЛЕННЫЙ ПОЭТ 365 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА	БЕЗУМНЫЙ 477 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА
«ПЕРВЫЙ РУССКИЙ РОМАНИСТ» 372 ГЕННАДИЙ ЕВГРАФОВ	ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО СОЛДАТА ГАШЕКА 484 ЕВГЕНИЙ РЕЗЕПОВ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ РОССИИ 376 БЕСЕДОВАЛ ВАСИЛИЙ ГОЛОВАНОВ	ИЗ ПЕРУССКИХ РУССКИЙ 490 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА
ГОРЕ И УМ 382 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА	ЛУЧШИЙ ХУДОЖНИК СРЕДИ ПОЭТОВ 497 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА
ВО МНОГОМ ЗНАНИИ МНОГО ПЕЧАЛИ 389 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА	ЛИЦО ПОЭЗИИ ДОНБАССА 504 АННА ЛОЩИХИНА
СОЛНЦЕ ЖИВЫХ 396 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА	А Я МОГУ ЛЮБИТЬ 509 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА
В НАЧАЛЕ БЫЛО «СЛОВО» 402 ЛАДА КЛОКОВА, АЛЕКСАНДР БУРЫЙ	КЛЮЧИ СЧАСТЬЯ 516 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА
САМОУЧКА 415 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА	ДИТЯ, МУДРЕЦ И ШАРЛАТАН 523 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА
КОРОЛЬ ГОСУДАРСТВА ВРЕМЕН 420 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА	ЗАГАДКА ХМЕЛИТЫ 528 АННА ЛОЩИХИНА
ПОКОЙ И ВОЛЯ ПУШКИНОГОРЬЯ 427 АННА ШАХОВА	
ЗВУКИ ЛИРЫ И ТРУБЫ 433 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА	
БЛАЖЕННЫ ЧИСТЫЕ СЕРДЦЕМ 440 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА	
КРЕЩЕНИЕ ИОСИФА БРОДСКОГО 447 БЕСЕДОВАЛ СЕРГЕЙ ВИНОГРАДОВ	
НАБЛЮДАТЕЛЬ 451 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА	
НАД ЗАСЫПАННОЙ СНЕГОМ СУДЬБОЙ 458 ИРИНА ЛУКЬЯНОВА	



В 1912 ГОДУ У ЭЛЕОНОРЫ фон Ноттенберг умер сын. Материнская тоска стала стихами — скорбными, спокойными и сильными.

*...Дитя мое, дитя хорошее,
Неумелое, верное дитя!
Я жизни так не любила,
Как любила тебя.*

*И за ним жизнь уходит —
Это ничего.
Он лежит такой хороший —
Это ничего.*

*Он о чем-то далеком измаялся...
Сосны, сосны!
Сосны над тихой и кроткой дюной
Ждут его...*

*Не ждите, не надо: он лежит спокойно —
Это ничего.*

«Ее стихи на смерть единственного сына, такие простые и страшные, нельзя читать без участия», — писал Корней Чуковский, один из лучших литературных критиков Серебряного века. А никакого сына, «незабвенного В.В. Ноттенберга», никогда не было. Его придумала Елена Гуро, художница и поэт. И написала о его смерти так, что не поверить было невозможно. И все поверили: и критики, и искусные литературоведы, которые даже уверяли иногда, что Гуро и зовут-то по-настоящему Элеонорой фон Ноттенберг. Литературные мистификации — дело обычное, тем более для Серебряного века: кто только не примерял на себя разные маски! В 1912 году, когда вышел подписанный пышным немецким именем сборник «Осенний сон» со стихами об умершем сыне, еще не забылась грустная история с разоблачением самой красивой

ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

ОСЕННИЙ СОН О ПРИДУМАННОМ СЫНЕ

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

«...Вся она, может быть, знак. Знак, что приблизилось время», — писал об этой поэтессе теоретик искусства, художник и музыкант Михаил Матюшин. Ей прочили славу и признание, считая, что она — необычное, почти непонятое в условиях современности явление. Но этим прогнозам не суждено было сбыться.

мистификации в русской литературе — Черубины де Габриак. Рыжекудрая католичка (судя по самоописаниям) потрясла весь литературный Петербург изысканными и странными стихами, поразила сотрудников «Аполлона» почтовой бумагой в траурной рамке, засушенными цветами в конверте, загадочной биографией. И вдруг обнаружилось, что под аристократической маской Черубины скрывалась некрасивая хромая учительница Елизавета Дмитриева.

«Элеонора фон Ноттенберг» звучит почти так же роскошно, как «Черубина де Габриак», а Гуро и Дмитриеву связывала добрая дружба. И что самое жуткое, у Черубины-Дмитриевой в стихах (хотя и более поздних) тоже присутствует умерший ребенок. «Бледная девочка», Вероника, «детский профиль на белых подушках», «Смерть, как призрак белой дамы, встретилась с тобой и, отняв тебя у мамы, увела с собой»...

Впрочем, с Дмитриевой хоть что-то понятно — настолько она была проникнута общим духом тогдашнего литературного жизнотворчества. Ее Вероника — условна и литературна, может быть — навеяна Гейне, может быть — вымечтана и похоронена, как несостоявшийся вариант жизни, неродившийся ребенок от романа с Максимилианом Волошиным. Но зачем нежной, милой Елене Гуро, жившей в спокойной Финляндии, вдали от страстей и маскарадов петербургской литературной богемы, зачем ей-то было репетировать самую страшную для женщины роль — роль матери, лишившейся ребенка? Почему ее плач о сыне так ужасающе убедителен?

ТИШАЙШАЯ ФУТУРИСТКА

Жизнь ее была не слишком длинной и не очень богатой бурными событиями; биографию можно рассказать в нескольких строчках. Но недолгие годы были насыщены таким интенсивным творческим поиском, что хва-

тит на целую книгу. Елена Гуро родилась в 1877 году в семье полковника, рано стала писать стихи и рисовать и в 13-летнем возрасте поступила в Рисовальную школу при Императорском обществе поощрения художников в Петербурге. Вскоре она познакомилась с художником и музыкантом Михаилом Матюшиным, за которого потом вышла замуж. Вместе с Матюшиным училась у Ционглинского; вместе с ним ушла от учителя-импрессиониста в другую студию, где преподавали Бакст и Добужинский. Прошла через увлечение импрессионизмом, символизмом, мирискусниками, искала собственные пути — и наконец выработала свою характерную манеру. Ее графика легко узнается: незавершенные наброски, которые стараются поймать что-то главное. Нежная, прозрачная, светлая живопись. А когда она начала писать стихи — они оказались такими же трогательными, светлыми, недосказанными.

Первые ее опыты — и в иллюстрации, и в прозе — никакой славы автору не принесли; правда, ее первую книгу, «Шарманка», которая вышла в 1909 году, заметили и одобрили люди самых разных литературных вкусов, от строгого символиста Вячеслава Иванова до оглушительно-нахального футуриста Давида Бурлюка. Сочетание нежной музыкальности со смелым формальным поиском пришлось по душе и тем, и другим. Но публика на книгу не обратила внимания. Сила и своеобразие неяркого и светлого, как северное лето, дарования Гуро и в самом деле оказались очевидны только самым чутким. Тираж книги не разошелся, Гуро сама рассылала ее по библиотекам тюрем и санаториев; трогательно, безумно и безнадежно — тюремная библиотека самое место для ее «совушек фонариков» и «звезд золотой бумаги».

Заметили те, кто мог заметить. Гуро могла примкнуть и к символизму, и к футуризму: оба течения были ей близки. Символизм был чуток к таинственному, внимателен к музыке и краскам; молодой футуризм яростно искал новой выразительности. «Каждый молод, молод, молод, в животе чертовский голод, все, что встретим на пути, может в пищу нам идти!» — писал Давид Бурлюк. И пищей для творчества футуристов действительно становилось даже самое неперевариваемое: земля, навоз, весенняя грязь, городские фабрики, рычание моторов, перезвон колоколов...

Гуро сделала свой выбор: примкнула к «Гилее» — самой скандальной группе российских футуристов, куда входили братья Бурлюки, Алексей Крученых, Велимир Хлебников, Василий Каменский.

К этому времени у нее умер отец, дослужившийся до чина генерал-лейтенанта. Дочери назначили солидную пенсию, и на генеральские деньги стали выходить сборники «Гилеи». Футуристы собиравшись у Матюшина и Гуро — сначала в Петербурге на Песочной, потом в финском поселке Уусикиркко. Вели теоретические споры, принимали манифесты, а Гуро незаметно, молча присутствовала, но удивительным образом сцементировала эту громкую компанию. Сама она ни скандальностью, ни буйством не отличалась, напротив, к ее имени крепко прирос кем-то данный эпитет «тишайшая». И в самом деле, что это за кубофутуризм:



Просмотр работ школы Матюшина (на мольбертах) и учеников Малевича (на стенах). Второй слева — Казимир Малевич. На переднем плане — Михаил Матюшин

щему, дышащему. И не эту ли нестерпимую, до муки, любовь мы найдем под стальной броней у Маяковского? «Что нужно выразить? — записывала Гуро в дневнике. — Мир в окраске материнской нежности. Флюид любви. Флюид геройства и нежности, искреннюю неловкую обнаженность юности — до дна, что ставит вещь вне литературы».

Она умела смотреть на мир так, как не умел никто другой. Умела заметить его крохотные повседневные радости: разомлевшего кота, у которого «от лени и тепла разошлись ушки», росток земляники, весенние ивы. Умела приласкать взглядом всех, кому особенно нужно человеческое тепло: бродячую собаку, ребенка, случайного прохожего под дождем, замерзшую девушку в большом городе.

Ее вторая книга, «Осенний сон», вышла в свет, когда у автора уже обнаружилась лейкемия. Умирала Гуро долго и мучительно. Книга получилась бесконечно грустная, прощальная — о том, как печальна, нелепа и прекрасна жизнь. В ней-то и опубликованы жуткие своей смертельной тишиной стихи о сыне. Вся книга — о жалости к людям, которым тяжело, сиротливо и неуютно в больших городах, среди «картонной пустоты» глаз под модными шляпами. Кто соберет эти озябшие

души, кто поймет их, кто их согреет? Вот она пишет о человеке, который стоял у вокзала в темноте под дождем, а через три дня умер:

«Это был мой сын, мой сын, мое единственное, мое несчастное дитя.

Это вовсе не был мне сын, я его и не видала никогда, но я его полюбила за то, что он мок, как бесприютная птица, и от глубокого горя не заметил этого».

*...И танцует кадрили котенок
В дырявом чулке,
А пушистая обезьянка
Качается в гамаке...*

И «счастливые мандарины» на елке, и «застенчивый шум капель» — все это бесконечно далеко и от «Дыр бул щыл» Крученых, и от бурлюковского «наплевать!». Критики искренне не понимали, что Елена Гуро делает среди этих молодых людей с их грохотом, их нигилизмом, их эпатажем и презрением к хорошим манерам. «Гуро вся — тоска и молитва, где же ей барабаны, шиши и пощечины?» — восклицал Корней Чуковский.

Но ведь русский футуризм — это не только сбрасывание Пушкина с парохода современности, не только мрачный рык молодого Маяковского — «Это душа моя ключьями порванной тучи в выжженном небе на ржавом кресте колокольни!» Это и умная лирика Николая Бурлюка, и смелые, лихо сдвинутые — под стать громозвучным товарищам — образы Елены Гуро: «Воробьи пищат в весеннем опрокинутом глазу»... Это и завораживающая заумь Хлебникова, который был особенно близок к Гуро. И роднившая многих футуристов любовь ко всему живому, расту-

Так и появился в ее стихах плач по умершему сыну — по несчастным людям, по бесприютному миру, который так больно оставлять. Раз больше некому, она сама его усыновила. Для каждого нелепого персонажа у нее хватит материнской ласки, все они ей как дети. А когда начинаешь понимать, откуда появилось в ее поэзии умершее дитя, — тут и сама она прямым текстом это подтверждает:

«А теплыми словами потому касаюсь жизни, что как же иначе касаться раненого? Мне кажется, всем существам так холодно, так холодно. Видите ли, у меня нет детей, — вот, может, почему я так нестерпимо люблю все живое.

Мне иногда кажется, что я мать всему».

НЕЖНОСТЬ ОБРЕЧЕННОГО

Публика не стала вникать в философские тонкости — приняла стихи за чистую монету: мать плачет по сыну, да, очень трогательно. Гуро вообще не очень знали и не слишком хорошо понимали: гремучей славой гилейцев ей не перепало. И ее, и Николая Бурлюка, и отчасти даже Хлебникова, гениальность которого осознали куда позже, — всех совершенно заглушили более громкие собратья — Давид Бурлюк, Маяковский, Крученых... Скандальность кубофутуристов, конечно, сделала им замечательную рекламу, но и серьезно повредила: редкие современники заметили то действительно ценное, что нес русский футуризм, — его лирическую силу, его

смелость, новизну его поэтического языка, неожиданный взгляд на мир... Разглядели только жажду разрушения, обойную бумагу сборников, их дикие названия: «Засахаре кры», «Дохлая луна»... Но даже не потому Гуро осталась незамеченной, что не ругалась с публикой, не носила желтой кофты, что ее не выводили из зала приставы. Просто когда футуризм начал входить в моду, она уже отошла от теоретических споров и выступлений: она умирала. Желавшая обогреть всех,

сама мерзла, уходя в долину смертной тени. Писала в одном из последних стихотворений:

Я смертной чертой окружена.

И не знаю, кто меня обвел.

Я только слабею и зябну здесь.

Как рано мне приходится не спать,

Оттого, что я печалюсь.

В ее книгах — нежность обреченного; через тридцать лет Ольга Берггольц замечала ту же страдальческую ласку в пристрастии умирающих от дистрофии блокадников к уменьшительным суффиксам: «хлебушек», «водичка». Это не Элеонора фон Ноттенберг тосковала о «незабвенным сыне» — это Елена Гуро, расставаясь с миром, просталась со всем, что так любила и не смогла уберечь своей любовью. Молодой футурист Бенедикт Лившиц, заехав с друзьями-гилейцами к Матюшину и Гуро за несколько месяцев до ее смерти, запомнил ее отрешенной от всего, излучающей «умиротворенную прозрачность человека, уже сведшего счеты с жизнью».

Умерла Гуро в 1913 году — последнем мирном году России. Через год увидел свет ее посмертный сборник «Небесные верблюжата» — стихи о материнской любви ко всему юному, долговязому, трогательному. «Плащ милосердия падает на весь животный мир, и люди заслуживают жалость, как небесные верблюжата, как гибнущие молодые звери с золотистым пушком», — писал о книге Хлебников.

Каждый, кто брался писать о Елене Гуро, обязательно подчеркивал: ее еще не знают, но обязательно узнают, ее время еще придет, ее поймут и оценят. «Вся она, как личность, как художник, как писатель, со своими особыми потусторонними путями и в жизни и в искусстве — необычное, почти непонятное в условиях современности явление, — писал о ней Михаил Матюшин. — Вся она, может быть, знак. Знак, что приблизилось время».

Но время приблизилось такое, что скромная лирика Гуро оказалась невостребованной, а затем и вовсе забытой. Ее имя заслонили другие имена, ее тихую музыку задавили лязг и грохот, ее мир уничтожили война и революция.

Остались стихи. Вячеслав Иванов говорил: «Тех, кому больно жить в наши дни, она, быть может, утешит. Если их внутреннему взгляду удастся уловить на этих почти разрозненных страничках легкую, светлую тень — она их утешит».

И она утешает:

Ты моя радость.

Ты моя вершинка на берегу озера.

Моя струна. Мой вечер. Мой небосклон.

Моя чистая веточка в побледневшем небе.

Мой высокий-высокий небосклон вечера. ❀

В «ТИХОМ ДОНЕ» ДО СИХ ПОР ПОЛНО ТАЙН

БЕСЕДОВАЛ БОРИС СЕРОВ

Вот уже 80 лет — практически с 1928 года, когда началась публикация романа «Тихий Дон», — не утихают разговоры о том, что на самом деле его автором был не Михаил Шолохов. Со временем аргументация становилась все более изощренной. А в 90-е годы обвинять Шолохова в плагиате стало едва ли не модно. Теперь эта «мода» наконец окончательно прошла.



ИТАР-ТАСС

С РЕДИ «АНТИШОЛОХОВЕДОВ» НЕМАЛО И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ литературоведов, которые в своих публикациях не только приводят доказательства общего характера, но и ссылаются на собственные исследования шолоховского текста.

Судьба архива писателя, утерянного в годы Великой Отечественной войны, давала «антишолоховедам» дополнительные козыри.

В 80-е годы отыскились следы рукописи первой и второй книг «Тихого Дона». Первым обнаружил ее известный московский журналист Лев Колодный, однако в своих публикациях он не указывал место хранения рукописи. Тогда по следам исчезнувшей рукописи пошли сотрудники Института мировой литературы (ИМЛИ) им. А.М. Горького РАН. После хлопотных поисков в 1999 году она наконец была обнаружена и выкуплена за \$50 тыс. Оказалось, рукопись все эти годы хранилась

в семье друга Михаила Шолохова, Василия Кудашева, погибшего во время войны.

Несколько лет потребовалось на реставрацию рукописи и поиск денег для ее факсимильного издания.

В феврале 2008 года состоялась торжественная передача Международным Шолоховским комитетом факсимильного издания рукописи первых двух книг романа М.А. Шолохова «Тихий Дон» Российской государственной библиотеке. А в апреле подобная

презентация была проведена в Киеве.

Об актуальных задачах современного шолоховедения мы побеседовали с ведущим научным сотрудником отдела новейшей русской литературы Института мировой литературы профессором Александром Ушаковым. Он также является членом Международного Шолоховского комитета и возглавляет Шолоховскую группу в ИМЛИ.

— Александр Миронович, после того как прошли две презентации факсимильного издания — в Москве и в Киеве, — на этом представление издания широкой публике закончено?

— Предполагается, что подобные презентации пройдут и в других городах страны, а также за границей.

— А кто издатель?

— Мы стали искать деньги, чтобы издать рукопись. И возникло такое объединение: ИМЛИ, издательство «Московский писатель», объединение «Гренадеры», еще деньги дал Фонд Кучмы на Украине — в основном на деньги этого фонда и было осуществлено издание.

— Международный Шолоховский комитет, который занимался изданием рукописи, в настоящее время продолжает свою работу?

— Планы комитета подвижны, они зависят от конкретных задач. Когда нашлась рукопись, возник вопрос: как ее приобрести? Деньги на покупку по государственному масштабам совсем небольшие: нужно было \$50 тыс., а это был 1999 год...

Мы обратились с письмом к Владимиру Путину. Он решил эту проблему. После этого нужно было реставрировать рукопись. Если бы она еще пять лет пролежала у владельца, бумага рассыпалась бы. Деньги на реставрацию нашла Академия наук. Затем понадобились деньги на издание, и стало очевидно, что без Международного комитета не обойтись. В ближайших планах комитета снабдить крупнейшие библиотеки нашей страны и зарубежных стран экземплярами факсимильного издания, ведь оно дорогое. Комитет выделил РГБ и институту (ИМЛИ. — Прим. ред.) — владельцу рукописи — по 100 экземпляров для безвозмездной передачи библиотекам страны и мира.

— Сколько всего отпечатано экземпляров?

— Всего около 1000.

— Есть ли уже заявки?

— Заявок много. К примеру, два года меня одолевают звонками и письмами из Японии, они готовы купить. Обращаются люди, которые работают в зарубежных университетах, и даже просто любители русской литературы. Очень много просьб из небольших библиотек и музеев нашей страны. Уже есть не менее 50–60 заявок.

— Вы возглавляете Шолоховскую группу в ИМЛИ. Чем она сейчас занимается?

— Каждая группа, которая занимается творчеством того или иного писателя, строит работу по-своему. К примеру, в ИМЛИ есть группа, которая изучает творчество Есенина. Ее сотрудники уже издали замечательное академическое собрание сочинений поэта, поэтому сейчас собственно текстологической работой они не занимаются. Сегодня на первом плане у них — подготовка летописи жизни и творчества Есенина, это грандиозная работа.

У нас другая задача. Мы видим, что в рукописи очень много неизученного. Сейчас мы занимаемся подготовкой первого научного собрания сочинений Шолохова.

Шолохова издавали немало, вышло несколько собраний сочинений, но в основном это было желание заполнить книжный рынок, особенно в советское время, ведь он был очень популярен. В те годы традиционное шолоховедение еще не располагало необходимой для полноценного научного издания текстологической базой — рукопись считалась утерянной, хотя на самом деле это было не так. Еще нужно было собрать письма. Эпистолярный проливает свет на разные моменты биографии писателя, отражены в письмах в определенной степени и разные этапы авторской работы над «Тихим Доном», который создавался 15 лет. Письма впервые были собраны и изданы несколько лет назад.

Третье. Словарь шолоховского языка. Это же очень важно! Впервые такой словарь был издан в позапрошлом году под руководством Елены Дибровой. Очень и очень полезное и нужное издание!

Большое значение имело создание летописи жизни и творчества Шолохова, ведь для исследователя писатель должен быть полностью «открыт». Когда про автора все знаешь, легче понять, почему он пишет именно так, а не иначе. Летопись жизни и творчества, пусть и не совсем полная, была подготовлена в Мемориальном музее М.А. Шолохова в Вешенской (станция в Ростовской области, где жил писатель. — Прим. ред.) и издана к столетнему юбилею Шолохова.

Всего того, о чем я сейчас говорю, не было сделано. Если бы и захотели в советское время издать научное собрание сочинений, сделать этого все равно не удалось бы. Ведь и текстология за прошедшее время вышла на новый уровень. Раньше при подготовке текста жестко ориентировались на последнюю авторскую волю. Но как считают ныне многие текстологи, следует искать вариант текста, наиболее полно выражающий авторский замысел, его творческую волю. Иногда в силу самых разных причин — жизненных, может быть, цензурных — последний вариант может быть не самым лучшим. Поэтому без

новых материалов и без использования новых научных подходов невозможно подготовить научное собрание.

И последнее. Я всегда говорю своим сотрудникам: «Если мы сейчас не сделаем, то никто этого уже не сделает». В ближайшие пятьдесят лет точно, потому что тут нужно наработать текстологический опыт и погрузиться в материал. В настоящее время подготовлен текст «Донских рассказов», первой и второй книг «Тихого Дона», начата подготовка к третьей. В этом году мы должны подготовить почти весь текст «Тихого Дона». Нас в группе всего несколько человек, и работы еще много, поэтому мы торопимся. Я думаю, где-то с 2010 года начнем подготовленные тома издавать. Но это будет текст, который, с нашей точки зрения, наиболее полно выражает авторскую волю.

Следует иметь в виду, что большие книги пишутся не быстро, и в них, поскольку авторская работа длится годами, возникают порой противоречия. К примеру, в «Войне и мире» княжна Марья дарит Андрею серебряную ладанку, а он лежит на Бородинском поле с золотой. Лев Николаевич просто забыл, какая была ладанка, отсюда противоречия в тексте «Войны и мира», есть они и в шолоховском тексте. Сконцентрировав творческую энергию на конкретной художественной задаче, писатель может забыть некую конкретику, которая была написана ранее, те или иные детали. Мы должны разобраться, откуда берутся противоречия в тексте, объяснить их в комментариях.

— Одним из главных аргументов тех, кто ставит под сомнение авторство «Тихого Дона», всегда было отсутствие рукописи Шолохова. Поможет ли ее обнаружение поставить точку в дискуссии с «антишолохововедами»?

— Люди, отрицающие авторство Шолохова, могли изучать рукопись и раньше, ведь она уже года полтора доступна в Интернете. Но изучать эти рукописи все-таки должны профессиональные текстологи. Шолоховеды, как и специалисты по другим писателям, изучают и биографию писателя, и историю создания произведения, содержание художественных образов и т.д. Но есть более глубокий пласт исследования творчества того или иного писателя, и тут возникают другие проблемы — это изучение рукописей, всех вариантов текста, истории его возникновения и обновления. Ведь текст может писаться непоследовательно: сначала, к примеру, написана первая глава, а потом десятая. Это все должен исследовать текстолог. Так вот, доказательств принадлежности текста «Тихого Дона» Шолохову очень много внутри самой рукописи.

Приведу пример. При тщательном изучении рукописных текстов авторская правка расслаивается. Одна из особенностей шолоховской работы состояла в том, что он мог написать замечательный, потрясающий текст, но затем его зачеркнуть. Из старого текста мог выбрать всего два-три слова или две-три фразы — и создать

другую задачу и другая скорость. А в рукописи, которая у нас есть, Шолохов помечал дни, и видна скорость его письма. Масса всяких аргументов внутри рукописи в пользу авторства Шолохова! Но они требуют серьезного изучения.

— **Весь архив писателя пропал во время наступления немцев в 1941 году. Откуда же взялась рукопись, найденная вами?**

— Известно, как пропал архив писателя — он был упакован в сундуки, но их не вывезли вовремя. А когда немцы стали обстреливать Вешенскую, архив погиб.



Портрет Михаила Шолохова на обложке одного из ранних изданий «Тихого Дона». 1929 год

другой текст. Это не движение от средне написанного текста к лучшему, а от прекрасно написанного текста — к совершенно другому, тоже прекрасному. Поэтому расслоить правку и объяснить движение текста, причины его обновления очень и очень непросто.

«Антишолоховеды» утверждают, что Шолохов получил рукопись от кого-то, а потом переработал, переписал. Вы знаете, когда человек переписывает — это одна задача и одна скорость! А когда он пишет сам, сочиняет — дру-

На вопрос, есть ли гуманность внутри советского строя, Солженицын отвечает однозначно: «нет». Концепция Шолохова иная. В «Они сражались за Родину» ответ другой: «да, мы жили неплохо», хотя судьбы у его героев там тоже разные. Оказавшись за рубежом, Солженицын поднимает слагбаум для продолжения дискуссии о плагиате. Он пишет послесловие и предисловие к книге «писателя Д.» (Ирины Медведевой-Томашевской) «Стремя «Тихого Дона».

— **Написать такую книгу было ее инициативой?**

Часть листов собрал один наш офицер и после войны передал Шолохову. В конечном счете эти страницы оказались в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) в Ленинграде — это были куски из третьей книги, их немного.

В конце 20-х, когда возник слух, что автором романа является не Шолохов, он обратился за помощью в опровержении этой клеветы в руководство Союза писателей и к Серафимовичу, который его поддерживал. Была создана комиссия, и Шолохов привез на комиссию то, чем мы сегодня располагаем. Он составил эту рукопись из частей и глав, которые у него были написаны. Куски разные: есть написанные набело, есть и такие, которые содержат много правки, есть даже несколько глав, переписанных руками жены и ее сестры. В общем, когда комиссия рукопись посмотрела, был сделан вывод, что нет никаких оснований сомневаться в авторстве Шолохова. В «Правде» напечатали заявление комиссии, где все обвинения с него были сняты. Вот, собственно говоря, начало этой истории.

Рукопись же Шолохов оставил у своего московского друга Василия Кудашева, у наследницы которого мы позже ее и нашли.

На время об этом замолчали, тем более что были написаны третья и четвертая книги романа. Потом страна пережила лихолетье Великой Отечественной войны, прошли суровые 50-е годы. После смерти Сталина наступает пора «оттепели». И вот на волне диссидентских настроений история о якобы имевшем место плагиате возникает вновь.

И важной фигурой тут является А.И. Солженицын. При этом нужно учитывать, что есть его письмо к Шолохову, в котором он называет его выдающимся писателем нашей страны.

Однако во время обсуждения вопроса о присуждении Солженицыну Ленинской премии за «Один день Ивана Денисовича» Шолохов по каким-то соображениям выступил против.

— **По каким соображениям? По идеологическим или эстетическим?**

— Думаю, по идеологическим. Ведь речь шла о том, как надо изображать лагерную жизнь. Для Шолохова это была важная проблема, потому что тема Сталина и репрессий звучит и в его романе «Они сражались за Родину». Я думаю, водораздел между ними был в этой плоскости. Потому что с художественной точки зрения произведение Солженицына написано сильно. Но как бы то ни было, Шолохов выступил против. А Солженицына, как я представляю, это сильно задело. Возможно, «Один день Ивана Денисовича» был для Солженицына лишь поводом. В этот момент он работал над одним из главных своих произведений — «Архипелагом Гулаг». Не исключено, что Шолохову об этом стало известно. В отличие от «Ивана Денисовича» «Архипелаг Гулаг» содержит глобальную критику всей советской системы — и ее идеологии, и ее практики.

— Возможно, но есть документ, который показывает, что Солженицын искал автора. Это письмо человека, который ранее был очень близок к Солженицыну и к которому тот обращался с аналогичной просьбой.

— **Когда в 20-е годы появились первые сомнения в принадлежности текста «Тихого Дона» М.А. Шолохову, о серьезном исследовании текста речи еще не было. Почему же возникла версия, согласно которой Шолохов не был автором, а лишь переписчиком попавшей к нему рукописи?**

— Эта версия впервые возникла в 1928–1929 годах. Сейчас уже трудно найти концы, наверняка определить, кто первый выдвинул ее. Тем не менее наши разыскания дают основание считать, что одним из первых сомнения высказал писатель Березовский, хотя вряд ли он сам это придумал. Возможно, он лишь озвучил чью-то точку зрения.

Можно сформулировать вопрос иначе: откуда у молодого человека такой запас знаний, касающихся психологии людей, понимания жизни, человеческих характеров, что обычно дается человеку с годами? Мне кажется, гений уже с самого рождения живет по своим законам. То, что принято называть социальным опытом, у гения есть изначально. Иначе ничего не объяснить.

Я два раза встречался с Шолоховым. Его кто-то из присутствующих спросил: «Михаил Александрович, вы так хорошо разбираетесь в женской пси-

хологии, откуда?» Знаете, что он ответил? «Я? — говорит. — Да я их совсем не понимаю». И пошутил: «Вот Лукин Юра сидит — у него пять жен было, — вы у него спросите». Тогда я спросил у него: «А как же вы пишете?!» Он говорит: «А это касается не только женщин. Вот у человека есть какое-то гудение, какое-то излучение, и по нему я вижу, какой он есть на самом деле, он правду говорит или нет». Потрясающе! Нечто подобное встречаем в письмах Толстого, а он человек другого типа. Поэтому мне представляется, что у великого художника понимание психологии, ощущение человека заложено на генетическом уровне.

Когда мы говорим о спорах вокруг «Тихого Дона», нужно учитывать еще один важный момент — отношение автора к событиям, которые он описывает. Теперь, хорошо зная содержание и поэтику «Тихого Дона», можно сказать, что Шолохов, который к началу работы над романом был очень молодым человеком, обладал фантастическим гражданским сознанием, он написал о революции и Граждан-

ской войне так, как никто раньше не писал. Он первым встал на точку зрения, до которой наша историческая наука дорастает только сейчас: любая гражданская война — это величайшая трагедия, чудовищная беда для народа. Ведь в романе у каждой стороны — у красных и у белых — своя правда. Вот с этих позиций и написан «Тихий Дон», и из-за этого у него впоследствии, когда даже уже не шла речь о плагиате, возникли серьезные проблемы с властью. Эта позиция шла вразрез с тем, как ее понимала тогда новая марксистская историческая наука и многие деятели культуры и общественной жизни. И если бы не поддержка «Тихого Дона» Сталиным, никто бы его не защитил.

— Известно, что Шолохов писал Сталину. У Сталина было особое к нему отношение?

— Одно можно сказать точно. Поскольку третья книга «Тихого Дона» несколько лет не издавалась, Шолохов обратился к Горькому, передал ему текст третьей книги. И вот что интересно, за несколько лет до этого Сталин пишет письмо Феликсу Кону, где высказывает свое мнение о напечатанных (первых двух. — **Прим. ред.**) книгах «Тихого Дона». Это письмо стало известно только после войны, когда начали издавать сталинское собрание сочинений. Из этого письма можно сделать вывод, что Сталин читал «Тихий Дон», первые две части которого вышли в журнале «Октябрь». А потом ситуация обострилась из-за третьей книги — и у «друга всех народов» были к роману свои критические замечания.

На даче у Горького в Красково произошла встреча Горького, Сталина и Шолохова. Между ними состоялся разговор. Известно, что Сталин задавал Шолохову довольно жесткие вопросы, к примеру почему он именно так описывает деятелей Белого движения — Краснова, Каледина и других. Шолохов довольно смело ему отвечал. Немало шолоховедов полагают, что Сталин в конечном счете поддержал шолоховский роман из-за того, что в описании причин Вешенского восстания показана неправильная политика рассказчика, инициированная Троцким. Но, с моей точки зрения, это не совсем так. Встреча состоялась в 1931 году, в это время Троцкий вообще не имел реального политического веса, он уже выслан из страны. Для Сталина это законченное дело. У Шолохова в тексте «Тихого Дона» Троцкий упоминается всего, кажется, два-три раза. А что для Сталина было действительно важно: на встрече разговор не мог не зайти о предстоящих серьезных переменах в сельском хозяйстве, и Сталин, думается, рассчитывал на то, что его линия получит поддержку и с писательской стороны. В это время для Сталина главным противником был уже не Троцкий, а Бухарин. Сталин, возможно, почувствовал, что Шолохов может написать роман о коллективизации. Сталину важнее было, что молодой и талантливый автор поддержит политику коллективизации. После этого весной 1932 года вышла третья книга «Тихого Дона».



РИА «НОВОСТИ»

Михаил Шолохов — военный корреспондент газеты «Правда» во время Великой Отечественной войны. 1941 год

— Такое отношение Сталина к «Тихому Дону» тем более объяснимо, если вспомнить, что в произведениях Булгакова, которого он ценил, был представлен схожий, может быть, даже более радикальный взгляд на Белое движение...

— У Сталина было очень глубокое чувство русского языка. Из всех писателей СССР его в наибольшей степени привлекали два художника, произведения которых не укладывались в общую схему советской литературы. Это Шолохов и Булгаков. Возможно, в то время он не мог не оценить художественной силы их творений.

Приведу пример, касающийся знания Сталиным русского языка. Когда распался Советский Союз, я был в Грузии, и академик А. Барамидзе рассказал мне: «Нам в руки попал перевод «Витязя в тигровой шкуре», который был сделан Цубидзе, арестованным в середине 30-х годов. Он выполнил перевод и послал его в Москву. А мы сейчас получили его рукопись из архива Политбюро. Оказывается, Сталин шесть глав зачеркнул и сам перевел! А С.В. Михалков рассказывал, как Сталин редактировал текст гимна Советского Союза. Во-первых, одну строфу Сталин сам написал. Потом, там была строчка: «Союз благородный республик свободных». Сталин на это сказал: «Благородный? Это напоминает Институт благородных девиц. Что вы пишете?! Союз нерушимый!» А выступление его 3 июля (1941 года), когда он обращается к народу: «Братья и сестры, к вам обращаюсь я!» У него было потрясающее чувство русского слова. Поэтому-то он, думается, оценил и Шолохова, и Булгакова. Надо отдать должное Шолохову, от которого литературная общественность требовала, когда уже была написана третья книга романа, чтобы Григорий был в конечном счете показан сторонником советской власти, и он не поддался на это.

— Вы упомянули о недоброжелателях Шолохова, а был кто-нибудь, кто его поддерживал?

— Перед Великой Отечественной войной были учреждены Сталинские премии. И в качестве кандидата на первую Сталинскую премию по литературе был выдвинут роман «Тихий Дон». В комиссию входили и Алексей Толстой, и Александр Фадеев, и ряд других известных деятелей нашей культуры. При обсуждении немало критических замечаний было высказано по поводу «Тихого Дона». Их не устраивала концовка романа. Тем не менее на другой день все они резко меняют мнение и голосуют «за». Полагаю, это произошло не без поддержки Сталина.

— Получается, у Шолохова не было сторонников в литературной среде?

— Были, конечно, но было немало и недоброжелателей, противников.

— А Горький?

— Горький признавал, что «Тихий Дон» — талантливое произведение, но тоже считал, что пора Григорию Мелехову определиться с отношением к новой жизни. Он об этом писал в письме Фадееву.

Новая власть стремилась найти в искусстве, в литературе ту силу, которая бы выражала ее идеологию. И это было главное. Конечно, не так много было талантов среди пролетарских писателей, хотя они были. К примеру, «Разгром» Фадеева — замечательное произведение.

Когда появился «Тихий Дон», во многих обзорах того времени Шолохова обозначали как представителя крестьянского направления. Талант, с точки зрения критики того времени, в Советском Союзе был вовсе не главным, главным было соответствие эпохе. Именно с этих позиций роман Шолохова подвергался критике. Если в первых двух томах судьба героя была еще не определена, да и действие пока развивалось на относительно нейтральном фоне, то уже третий том подвергался значительной критике, и понадобилась поддержка Сталина. А четвертую книгу, опубликованную в 1940 году, Шолохов заканчивал уже как признанный писатель.

— После войны начинается новая страница истории «Тихого Дона». С одной стороны, роман был переведен

на многие языки и признан выдающимся произведением мировой литературы, Шолохов получает Нобелевскую премию. С другой стороны, как вы сказали, публикация за границей (в 1974 году) книги Ирины Медведевой-Томашевской «Стремя «Тихого Дона» дало начало новой волне обвинений Шолохова в плагиате...

— Проблема плагиата обросла подобием аргументации и разного рода якобы научных рассуждений. После публикации злосчастной книги «Стремя «Тихого Дона» появилась работа известного ныне шолоховеда Германа Ермолаева, принадлежащего ко второй волне русской эмиграции, он преподает в Принстонском

университете (США). Ермолаев выступил против книги Томашевской. Аргументы против «антишолохovedов» появились и в других странах.

— Для определения авторства «Тихого Дона» использовались даже различные математические модели...

— Норвежский ученый-славист Гейр Хьетсо провел лингвоматематический анализ текста «Тихого Дона» и «Донских рассказов», в котором показал, что текст принадлежит Шолохову. Должен сказать, сейчас проведено уже несколько таких анализов, к примеру академиком Фоменко (академик РАН Анатолий Фоменко, создатель пресловутой «новой хронологии»). — **Прим. ред.**), который отрицает авторство Шолохова. Его аргументы неубедительны.

— Почему?

— Могу вам сказать как текстолог: в любом тексте есть стилистические совпадения с другими текстами.

В моей жизни был случай, который меня сильно воспитал. Когда я был молодым сотрудником, мы издавали собрание сочинений Маяковского. В распоряжении специалистов было два не известно кем написанных очерка — «Братская могила» и «Кафе Питтореск». Тогда уже начинали применять математические методы при исследовании текстов — это было модно. И я с помощью этих методов и сопоставительного анализа текстов провел структурный анализ очерков и показал, что оба текста принадлежат Маяковскому. Но в это время — слава богу! — в Москву приехал Давид Бурлюк. Когда ему представляли всех сотрудников, рассказали и о моей работе и выводах. Бурлюк, к тому времени тихий старичок, сказал: «Да-да, это замечательно, молодой человек провел хорошую работу, и я вам могу сказать, что он прав: «Братскую могилу» действительно написал Маяковский, но вот «Кафе Питтореск» написал я». Так вот, стилистический анализ сам по себе ничего не дает, а компьютер только ускоряет анализ. Есть такая вещь, как стилистическое влияние: футуристы сознательно ориентировались на единый стиль.



РИА «НОВОСТИ»

Михаил Шолохов на балконе своего дома в станции Вешенской. 1938 год

Атрибуция текста всегда должна быть результатом комплексного исследования. Любая разработанная компьютерная программа применительно к искусству не дает результата, во всяком случае, при нынешних методиках.

— Некоторые ваши противники утверждают, что роман написал не Шолохов. Называют разные имена, в частности казацкого писателя Федора Крюкова...

— Почему Крюков? Критик Голоушев в письме к Леониду Андрееву, который жил в то время в Финляндии, упоминает о том, что у писателя Крюкова есть произведение «Тихий Дон». Для многих «антишолохovedов» это стало сигналом. На

самом деле то, о чем говорится в голоушевском письме, всего лишь средне написанные литературные очерки, и по содержанию, и по стилистике не идущие ни в какое сравнение с шолоховским романом.

Крюков в 20-м году умер. Если приписывать авторство ему, то в любом случае в романе могли быть отражены события только до его смерти. Не нужно забывать, что четвертая книга романа вообще кончается 22-м годом, когда Крюкова не было в живых.

Я давал читать тексты Крюкова людям далеким от споров, идущих вокруг «Тихого Дона». Они единодушны в своем мнении: «Как можно сравнивать несопоставимые в художественном отношении тексты».

— А что вы скажете по поводу утверждения одного из современных «антишолоховедов», Зеева Бар-Селлы, что якобы даже Платонов, нуждавшийся в деньгах, писал некоторые главы «Тихого Дона»?

— У нас в институте работают самые известные платоноведы. Мы купили платоновский архив. Н.В. Корниенко написала на эту тему книгу, напечатала статью в «Новом мире». Эта версия — плод воспаленного сознания. Платонов был ершистым, прочным человеком, и думать, что его уговорили или упростили, смешно!

— Считаете ли вы сомнения в авторстве Шолохова научной проблемой? Можно ли утверждать, что аргументы, высказанные сторонниками «антишолоховедения», принесли какую-то пользу научному шолоховедению?

— Вторая волна «антишолоховедения» возникла с определенной идеологической задачей. Никакого отношения к чисто научной разработке вопроса она не имеет.

В 70-е годы шла холодная война. Оппонентам СССР было важно поставить под сомнение все лучшее, что было создано в нашей стране, нашей литературе. В зоне этой борьбы оказался не только Шолохов, но и ряд других классиков.

— Среди «антишолоховедов» вы не видите никого, кто действительно хотел бы разобраться в авторстве «Тихого Дона»?

— «Антишолоховеды» тоже внимательно читают текст, и некие противоречия внутри него находят. Но выводы, которые они делают, порой фантазмагоричны. Возьмем, к примеру, Бар-Селлу — у него дикие предположения сочетаются с довольно тонкими наблюдениями, но все же первые перевешивают. Например, он всерьез считает, что известная всем биография Шолохова на самом деле вымышлена, что это — результат секретного проекта НКВД тех лет! Да, в те годы НКВД занимался оппозицией, однако никак не Шолоховым.

Но иногда противники сложившегося, как я говорю, научного шолоховедения делают интересные наблюдения. Они, например, указывают, что те или иные образы имеют параллели в текстах других авторов. Однако подобные совпадения есть у многих авторов, и пути, которыми они могли бы переключаться из одного текста в другой, могут быть очень сложными.

Противниками авторства Шолохова пока не выдвинуто ни одного серьезного довода, который мог бы заставить меня и людей из моего окружения изменить свою точку зрения.

Написать великое произведение так, как написан текст, равный «Тихому Дону», практически невозможно. Поручите всем, входящим в нынешний Союз писателей, заплатите им сколько захотят, все равно не напишут. Я могу привести вам малоизвестные цитаты из «Тихого Дона» и показать, что это — тексты высочайшего художественного уровня. Ведь в его метафорическом зрении одновременно присутствуют рисунок, запах, различные семантические пласты языка. Такого в прозе больше ни у кого нет, в поэзии — только у Маяковского. На то, что Шолохов может описать в четырех абзацах, Л.Н. Толстому может понадобиться четыре страницы, а Александру Исаевичу — в несколько раз больше.

— Могут предположить, что в результате такой многолетней шумихи вокруг рукописи «Тихого Дона» сейчас это одно из наиболее исследованных произведений нашей литературы.

— Нет. При подготовке мы сличаем все прижизненные издания Шолохова, сравниваем их и выявляем массу расхождений. Когда начинаешь вчитываться, тогда лучше понимаешь содержание «Тихого Дона», видишь в нем то, чего раньше специалисты не замечали. Да что раньше! И теперь многие наши и зарубежные литературоведы далеко не всегда обладают умением через шолоховский язык, стиль, метафорический строй проникать в глубины авторского замысла, в оттенки смыслов, заложенных во всех слоях текста. К тому же появляется масса материалов, которые только сейчас стали собирать и издавать. «Тихий Дон» изучен пока недостаточно. 📌

зов Тургенев ушел на второй план, хотя было время, когда, собственно, только его и знали из русской литературы. Правда, это было давно, в XIX веке. Тургенев подолгу жил в Париже и был знаком с известнейшими литераторами той эпохи. Кстати, он очень активно пропагандировал и Толстого, и Достоевского, которые тогда были совершенно неизвестны во Франции. Например, Тургенев разослал своим французским друзьям, имеющим отношение к литературе, первый перевод «Войны и мира» Льва Толстого. Я бы даже сказал, что он вел очень широкую и систематическую пропаганду творчества Толстого.

— **Выходит, сейчас нужна пропаганда творчества самого Тургенева. Причем, к сожалению, не только среди французов, но и среди россиян. Почему же он отошел на второй план?**

— Надеюсь, что все-таки для россиян Тургенев продолжает оставаться одним из любимых писателей. Даже если бы после него остались только «Записки охотника» и «Отцы и дети», он уже оставил бы заметный след в литературе, а ведь помимо этого у него множество других прекрасных произведений. Во Франции тоже именно эти две книги имеют самый большой успех у читателей. Но, конечно, до конца заложенную там проблематику европейцы понять не могут. Поэтому вряд ли пропагандирование его творчества само по себе будет иметь эффект. Может быть, Тургенев ушел из поля зрения европейского читателя тогда, когда его довольно мало издавали.

— **Значит, судьба писателя зависит не только от качества его произведений, но и от постоянного поддержания интереса к его имени. Возможно, именно этого и не хватило, чтобы Тургенев продолжал оставаться любимым европейскими читателями?**

— Это отчасти верно, но, мне кажется, здесь имеет значение не только вопрос моды на того или иного писателя, хотя, конечно, мы не можем сбрасывать моду со счетов. Так, в самом начале XX века на первом месте для европейского читателя однозначно был Лев Толстой. Он затмевал всех. Его постоянно переиздавали, читали, рассуждали о нем. И Тургенев, кото-

рый когда-то был более популярен, оказался на вторых ролях. Достоевского тогда только начинали переводить. А вот после Первой мировой войны европейцы по-настоящему открыли для себя Достоевского. И он отчасти заменил Толстого. В 20–30-е годы Достоевский был чрезвычайно популярен в Европе. Так что, конечно, определенная эволюция вкуса существует.

Но я могу высказать свое мнение: по отношению к Тургеневу не только это сыграло свою роль. Все-таки он не столь универсальный писатель, как Толстой или Достоевский. Тургенев великолепно пишет, у него прекрасные произведения, которые отражают Россию XIX века, и до сих пор эти книги остаются отличным материалом и для историков, и для тех, кто интересуется прошлым России. Но по глубине постановки каких-то вечных вопросов, я думаю, Тургенев все-таки уступает и Толстому, и Достоевскому.

— **Это, конечно, не лишает его звания «великий русский писатель». Удивительно, правда, как он им стал, ведь лет до девяти Тургенев дома говорил практически на французском.**

— Он не единственный, кто получал такое воспитание. Большинство детей его класса были двуязычными. Для них русский и французский языки сосуществовали одновременно. Французский был языком светского общения, языком любовных писем. Все мы знаем, что Пушкин прекрасно не только писал на французском, но и сочинял на нем стихи. Или, к примеру, можно вспомнить, что пятнадцатилетний Толстой писал своей тетушке, которая жила в Ясной Поляне, именно на французском, хотя в чисто российской глубинке, наверное, можно было бы обыкновенное письмо написать и на русском. Но по канонам того времени в переписке с женщинами следовало переходить на французский язык. Так что Тургенев не был исключением. Но, конечно, восхищает то, как он сумел, повзрослев, почувствовать и душу русского народа, и красоту именно русского языка.

— **Во Франции благодаря безукоризненному французскому и своему шарму Тургенев быстро стал заметной светской персоной. А помнят ли французы о его знаменитом романе с Полиной Виардо?**

— Мне кажется, этот момент остался в памяти литературного Парижа. И этот роман, и сам Тургенев фигурируют во многих переписках известнейших французских писателей, поскольку он дружил со многими интересными людьми, его всюду охотно приглашали, и он умел завоевывать симпатии светских салонов.

— **Иногда можно прочитать, что Полина Виардо была великой певицей, а иногда, наоборот, ее называют средней исполнительницей...**

— Я бы не взял на себя смелость что-то утверждать, но, думаю, она все-таки была достаточно известна как певица. И многие специалисты считали ее очень талантливой, хотя и не гениальной.

— **Виардо была самой известной французской подругой Тургенева. А кто были его самые известные друзья?**

— Тургеневу удалось стать своим в узком и достаточно закрытом кругу самых известных французских писателей той эпохи. В истории остались знаменитые «вечера пяти», на которых собирались Флобер, Золя, Гонкур, Додэ и Тургенев. А с Флобером Тургенев даже по-настоящему дружил. Более того, их отношения были настолько теплыми, что они могли позволить себе подшучивать друг над другом. Был Тургенев в отличных отношениях и с Мопассаном, да и со многими другими сейчас уже забытыми литераторами. Все они считали Тургенева «своим человеком». И даже отте-

нок экзотизма, который ему придавала далекая Россия, совершенно не делал его «экзотическим» писателем. Он был известным европейским писателем, хотя Флобер специально для Тургенева придумал новое слово — le moskov. Это некое смешение французского названия москвича, le moscovite, и окончания русских фамилий на букву «в», как это было у Тургенева.

— **А считал ли сам Тургенев, что кто-то повлиял на его творчество?**



Брижит Прадель, Реми Кловель, супруги Дезерт

ФОТО АВТОРА

Представители Ассоциации друзей Ивана Тургенева и Полины Виардо

БРИЖИТ ПРАДЕЛЬ

— Брижит, когда вы выучили русский язык?

— Я его начала учить в лицее, а потом, уже взрослой, записалась на курсы русского языка в российском культурном центре.

— А Тургенева вы читаете по-русски?

— Стараюсь, но, конечно, далеко не все сразу могу понять, поскольку у него очень насыщенный язык, в котором множество оттенков и оборотов.

— Вы увлеклись произведениями Тургенева в юности или гораздо позже?

— Я начала понимать и любить Тургенева уже взрослым человеком, когда шесть лет назад возобновила изучение русского языка. Мы осваивали русский язык в том числе и по текстам Тургенева.

— Какое произведение Тургенева у вас любимое?

— Я не все читала, но из того, что знаю, мне всегда очень нравилась «Первая любовь». Это произведение меня глубоко тронуло.

— Как вы считаете, прошло время тургеневских книг или нет?

— Мне кажется, произведения Тургенева всегда современны и всегда найдут своего читателя.

ПЬЕР ДЕЗЕРТ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

— Чем для вас, француз, дорог Музей Тургенева в Буживале?

— Здесь ощущается присутствие Тургенева и тех людей, которые его окружали. Кроме того, Буживаль это еще и «ме-

— Мне кажется, напрямую здесь никого из европейских писателей назвать нельзя, хотя, конечно, Тургенев был великолепно образованным человеком и следил за всеми книжными новинками. Но Тургенев связан прежде всего именно с русской традицией. И я думаю, Пушкин или Гоголь на него повлияли больше, чем какой-либо европейский писатель. Однако при этом его очень часто упрекали в излишнем западничестве, хотя, что касается его творчества, это было совершенно несправедливо. Конечно, по стилю жизни он был западником, любил приезжать во Францию, большинство его друзей были отсюда, но это не означало потерю связи с Россией. Удивительно, но Достоевский, который тоже бывал «в европах», просто ненавидел Тургенева за его, как он считал, «западничество» и постоянно критиковал. Более того, в романе «Бесы» он вывел Тургенева в образе писателя Кармазинова. Этот персонаж — карикатура именно на Тургенева, причем очень злая карикатура. Достоевский считал, что Тургенев потерял свои русские корни, но здесь я с Достоевским абсолютно не согласен. Тургенев всегда и везде оставался русским писателем. И сам он всегда чувствовал, что в мировую литературу вносит вовсе не западную, а именно русскую ноту.

— Тургенев предпочитал любить Россию на расстоянии. Почему бы ему ее было не любить на месте?

— В этом его как раз и упрекал Достоевский, считая, что ему больше нравится западное общество и условия жизни в Европе. Наверное, нужно разделять две стороны личности Тургенева: с бытовой точки зрения он был, конечно, больше французом, но по своему художественному дару и по отражению жизни он всегда оставался русским.

— Тогда сразу возникает вопрос: а что же такое писатель? Человек, который живет как ему заблагорассудится, но всем остальным вкладывает в голову

сто встречи» французской и русской культуры. Хотя это не всегда было легко. Нужно признаться, первоначально французы как нация произвели на Тургенева неоднозначное впечатление, если не сказать больше.

— Ему так не понравились французы?

— Да, существуют тексты Тургенева, в которых французы описываются достаточно критично. Тем более интересно проследить, как по мере вхождения во французское общество менялось его отношение. И в результате он стал по своему духу очень близок французам.

— То есть получается, вначале он любил одну французскую женщину, Полину Виардо, но критично относился ко всем остальным представителям этой нации?

— Да, но потом он явно «офранцузился». Первоначальное отношение Тургенева к французам легко было понять, поскольку он приехал в Париж в довольно сложный для Франции период, во время так называемой Второй империи. Французы тогда ударились в безудержную трату денег и самолюбование, а это не нравилось Тургеневу, он не любил намеренного эпатажа.

— Тогда, наверное, ему бы не очень понравились и привычки нынешнего российского бомонда, поскольку они весьма напоминают времена Второй империи...

— Вполне возможно, но, оставаясь при своих принципах, Тургенев всегда был душой компании и галантным кавалером. Он любил светскую жизнь и вовсе не был затворником, поэтому парижская действительность вполне ему подходила.

РЕМИ КЛОВЕЛЬ, БАНКОВСКИЙ СЛУЖАЩИЙ

— Вы вкладывали свои деньги в ремонт Музея Тургенева. Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы дача Тургенева в Буживале привлекала больше посетителей?

— Мне кажется, это место не очень хорошо известно в самой России, поэтому сюда приезжает не так много туристов. Я надеюсь, это положение изменится, поскольку Буживаль находится недалеко от Парижа, а рядом расположено еще несколько интересных музеев, и дом Тургенева мог бы быть включен в программу многих экскурсионных маршрутов.

— А как вы относитесь к идее устраивать здесь литературные мероприятия и встречи, чтобы это место было больше «на слуху»?

— Я, конечно, не специалист по мероприятиям. Мне больше понятна нематериальная ценность этого места. И, честно говоря, я не думаю, что проблема в наличии или отсутствии каких-то культурных мероприятий. В любом случае в 2010 году будет проводиться Год России во Франции, и сейчас дискутируется вопрос о том, чтобы организовать в Буживале приемы, которые бы напоминали о Русских сезонах Дягилева.

— Часто ли вы сами приезжаете в Буживаль?

— Да, достаточно часто. Мне здесь очень нравится, и, кроме того, это одно из красивейших мест во Франции, связанных с русской культурой. А поскольку я всегда интересовался русской культурой и восхищался ею, то для меня это место совершенно особое.

некие принципы, или же любой талантливый писатель должен помнить и о социальной ответственности?

— Если говорить о Тургеневе, то он никогда не стремился ни на кого специально влиять. А вообще, я думаю, для писателя главное — выражение своего видения мира. И если это частное видение мира может повлиять на других людей, то тогда и говорят о том, что писатель формирует общественное мнение, хотя он сам может об этом вообще не думать. И при этом в собственной жизни писатель далеко не всегда поступает так, как герои его произведений. Именно поэтому никогда не нужно отождествлять писателя и его жизнь с жизнью созданных им персонажей.

Безусловно, полностью отделять одно от другого тоже нельзя. Любой роман — это еще и отражение личного, пережитого. Тургенев был либералом, поэтому почти во всех его книгах можно найти либеральные воззрения, даже если они не выражены напрямую. И всегда можно было понять, что он мечтает о демократическом пути развития России. Демократическом на тогдашний, разумеется, лад. И первым шагом к этому должна была стать отмена крепостного права. Своим изображением русского общества он способствовал осознанию невозможности прежнего состояния, привлекая внимание к необходимости решения многих социальных проблем.

Даже когда он только начинал и опубликовал «Записки охотника» — а это было до отмены крепостного права, — то уже тогда осознавал, что эта книга не может не повлиять на восприятие взаимоотношений крестьян и помещиков. Поэтому вполне справедливо считать его одним из тех, благодаря кому было отменено крепостное право, хотя никаких петиций он специально не подписывал и никаких митингов не собирал. Но своим даром влиять на людей он заставил многих иначе посмотреть на проблему крепостного права, задуматься о его неприемлемости. Мне кажется, это хорошо иллюстрирует то, о чем мы только что говорили: Тургенев, может быть, даже не думал об отмене крепостного права, но он так изобразил мир крестьян и помещиков, что лозунг об отмене крепостной зависимости напрашивался сам собой.

— А вы сами какую книгу Тургенева любите больше всего?

— Наверное, все-таки «Записки охотника». Мне кажется, это одно из лучших его произведений, оно потрясающе проникает в душу.

— Сейчас часто можно услышать, что люди мало читают, в отличие от времен Советского Союза. Детективы, пособия о том, как выйти замуж, и кулинарные книги заполнили большую часть книжного рынка. Как вы считаете, почему никто особо не стремится отражать эпоху?

— Отчасти, конечно, меньшее стремление к серьезному чтению связано с тем, что в том же XIX веке значение литературы было несравненно более велико. Но тогда и не было иного выбора, поскольку никаких нынешних массмедийных возможностей

практически никаких других средств выражения общественного мнения просто не было. И тогда писатель играл важную роль выразителя идей.

— А кто из ныне живущих западных писателей может претендовать на такую роль? Или они тоже больше заняты массмедийным «обслуживанием»?

— Возможно, я недостаточно знаю всю мировую литературу и кого-то могу не заметить, но, к сожалению, вряд ли кто-то из западных писателей сейчас может быть причислен к «властителям дум» по типу XIX века. Среди нынешних французских писателей такого уж точно не найдется, среди английских я тоже никого особо масштабного



Иван
Сергеевич
Тургенев

ПРЕДОСТАВЛЕНО М.ЗОЛОТОВАРЕВЫМ

просто не существовало. А изменившись значение и роль литературы, возможно, и объясняют то, что у писателей нет желания и стремления ставить какие-то глубокие проблемы. Безусловно, есть немало талантливых писателей. И то, о чем они пишут и как это подают, уже есть отражение эпохи.

Недавно умер последний на сегодня великий русский писатель. Я говорю о Солженицыне. Вот у него явно было это самое отражение эпохи, но оно отчасти было связано с тем, что он вырос в Советском Союзе, где значение литературы еще было огромным, поскольку прак-

не вижу. Может быть, они и властители дум, но на иной манер.

Возможно, на первый взгляд это покажется странным, но такого писателя можно найти, скорее, в Америке. Может быть, потому, что определенная часть общества уже «объелась» нынешними СМИ и кино, а поэтому ищет в литературе чего-то иного. Стоит обратить внимание на Томаса Пинчона.

— **Литературные критики меня, конечно, осудят, но интересно пофантазировать, кем бы стали наши великие русские писатели, живи они в нынешнее время. Продюсерами, рекламщиками или политологами?**

— Я даже не могу себе вообразить, кем бы они могли стать сейчас, поскольку их личности как писателей связаны с условиями их жизни, зачастую внешне благополучной, «помещичьей». Кроме того, их сформировала тогдашняя социальная среда и особое отношение к литературе. Поэтому просто перенести их в наш век я не могу. Хотя, например, Солженицына часто сравнивали с Толстым, поскольку он не только масштабно писал, но и пытался играть некую важную социальную роль. Толстой в конце своей жизни тоже хотел быть не только писателем, но и пророком и провозвестником какой-то новой религии.

— **Что касается Тургенева, мне кажется, оказался он в сегодняшней жизни, прекрасно бы в нее вписался и стал приятным во всех отношениях светским персонажем. Ведь он был очень коммуникабельным, быстро заводил знакомства, никогда не считал себя пророком, никого не подавлял, а, наоборот, многим помогал.**

— Вполне возможно. Только я не уверен, что в современной жизни он был бы великим писателем. Может быть, Тургенев проявил бы себя в чем-то другом. В любом случае со своим легким характером он в любую эпоху моментально обзавелся бы интересным кругом общения.

— **А кто из литературных героев особо повлиял на писателя Тургенева, который не совпадал со светским персонажем Тургеневым, чуть ли не ежедневно посещавшим парижские салоны?**

— У Тургенева есть известная статья про Гамлета и Дон Кихота, в ней он противопоставляет не только два этих персонажа, но и соответствующие им людские типажи. Наверное, именно два этих литературных героя отражали и его собственную душу. Причем насколько Гамлет и Дон Кихот не похожи друг на друга, настолько же разным мог быть и сам Тургенев.

— **Но все-таки, кого в нем больше: Гамлета или Дон Кихота?**

— Мне кажется, в его душе было определенное раздвоение. Временами он стремился то к тому, то к другому. К Дон Кихоту — как к олицетворению рыцаря-идеалиста, а также к Гамлету с его попытками охватить весь мир. Тургенев воплощал в себе и то, и другое.

— **Про многих великих писателей говорили, что они «в миру» были довольно сложными людьми. О Тургеневе же обычно вспоминают только хорошее. Так ли это было на самом деле?**

— Думаю, да. Тургенев действительно был очень хорошим человеком. И, между прочим, отношения с Толстым и Достоевским это прекрасно иллюстрируют. Я уже говорил о том, как много сделал Тургенев для пропаганды творчества Толстого во Франции. Не будем забывать, что тогда Париж называли столицей мира, поэтому внимание французской публики одновременно означало и внимание всей мировой читающей публики. Но потом Тургенев и Толстой совершенно разошлись по жизни, и виноват в этом был именно Толстой, который имел достаточно резкий и несдержанный характер.

Почти то же и с Достоевским. Известно, что Достоевский часто нуждался в деньгах. Периодически он вынужден был писать целыми ночами, чтобы быстро отработать аванс, полученный в каком-нибудь издательстве. И в течение лет десяти он был активным игроком в рулетку, поскольку всегда мечтал выиграть много денег и разом решить все свои проблемы. Многие европейские казино видели в свое время страстного игрока Достоевского, который, бывало, выигрывал, но иногда и страшно проигрывался. И вот однажды здесь, во Франции, он попросил денег у Тургенева, который ему не отказал. Однако это не помешало Достоевскому впоследствии сильно критиковать Тургенева за, как он считал, его «западничество». И опять-таки, вся вина за испорченные отношения лежала на Достоевском.

Тургенев был очень добродушным человеком, с мягким характером. И представьте, за этот мягкий характер его и упрекал Толстой! А вот все те европейцы, которые общались с Тургеневым, оставили о нем только положительные воспоминания. Лично я не могу вспомнить ни одного письма, где бы упоминалось имя Тургенева в каком-либо негативном контексте. Только хорошее. Во Франции уж точно его все любили. ❀

«РУССКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО ТАКОЕ ЖЕ ПОТРЯСАЮЩЕЕ, КАК И УРАЛЬСКИЕ ЗОЛОТЫЕ ПРИИСКИ»

БЕСЕДОВАЛА ВЕРА МЕДВЕДЕВА

Свое знаменитое путешествие по России Александр Дюма совершил 150 лет назад. После возвращения во Францию он опубликовал целых семь томов воспоминаний: «Письма из Санкт-Петербурга», «Путевые впечатления. В России» и сборник «Кавказ».

РЕДКОЕ ЖИЗНЕЛЮБИЕ АЛЕКСАНДРА ДЮМА ПРЕВРАЩАЛО ЕГО жизнь в водоворот событий. И пусть недоброжелатели говорили, что путевые заметки превратились для него в хорошее подспорье тогда, когда из-под его пера уже не появлялись новые яркие произведения. Дюма в любой поездке оставался центром внимания, тем более в России, куда он приехал уже известным и очень любимым русскими читателями автором.

Еще в 1840 году он опубликовал роман, действие которого происходит в России, хотя приехать в нее самому удалось только в 1858 году. Перед поездкой он обещал читателям журнала «Монте-Кристо», что опишет Москву с колоколом весом 330 тыс. фунтов; Астрахань, где на рынке можно встретить и индусов, и казаков; что посетит скалу, к которой был прикован Прометей, а также непременно заедет в стан Шамиля, которого он именовал новым Титаном. Все это в свое время вызвало едкие комментарии Достоевского, писавшего,

что «встречаются такие иностранные путешественники, которые способны описывать свою поездку по России даже до того, как покинут Париж; которые продают свои «впечатления» издателю, а только потом приезжают в страну, чтобы блистать, покорять и красоваться». В последнем утверждении Достоевский был недалек от истины, поскольку, например, в Дагестане Александра Дюма даже провозгласили «императором литераторов». Восторженный прием сопровождал Дюма всю поездку, в которой он отпраздновал свое 55-летие. А само путешествие по России он всегда считал одним из самых запоминающихся в своей жизни.

Обо всем этом «Русский Мир.ru» беседует с Фредерикой Люроль, директором музея Александра Дюма «Замок Монте-Кристо», организатором недавно прошедшей выставки, посвященной поездке писателя в Россию.

— Фредерика, почему Дюма решил поехать именно в Россию?



EAST-NEWS

— Александр Дюма вообще много путешествовал: и по Швейцарии, и по Испании, и по Италии, совершал и более дальние поездки, например на Ближний Восток. Так что не было ничего удивительного в его желании посетить такую необычную страну, как Россия. Русский граф Кушелев-Безбородко предложил ему съездить посмотреть Санкт-Петербург, а Дюма решил расширить маршрут, поскольку если уж ехать так далеко, то нужно постараться увидеть больше. Он действительно хотел узнать Россию, и в результате первоначально запланированная на два месяца поездка превратилась в десятимесячное путешествие.

— Когда вы готовили выставку, не выяснилось ли, что у Дюма возник особый интерес к какому-либо российскому региону?

— Мне кажется, специально он не выделял ничего. Санкт-Петербург, Москва, Астрахань, Нижний Новгород, Саратов, Казань, Тифлис — все эти города, каждый по-своему, произвели на Александра Дюма впечатление, да и Россия в целом — своими пейзажами, пространствами, обычаями. Во время путешествий Дюма всегда стремился изучать историю новой страны. Поэтому когда мы читаем его российские путевые заметки, то сразу замечаем, насколько он погружается в российскую историю, старается разобраться в ней.

— Да уж! Когда в XVIII веке Россию посетил другой француз, маркиз де Кюстин, то оставил достаточно критичные воспоминания о тогдашней России. А много ли негатива о нашей стране написал Дюма?

— Нет, Дюма практически не оставил негативных отзывов, по крайней мере, они встречались очень редко. Я могу вспомнить только несколько моментов. Например, когда он отмечает, что в большинстве своем россияне выглядят грустными. И, кроме того, он не почувствовал стремления к взаимопомощи. Последнее Дюма утверждал после того, как наблюдал в Москве большой пожар и не заметил, чтобы во время этого бедствия русские особо помогали друг другу. Это был, на-

верное, единственный по-настоящему негативный момент, который встречается в его воспоминаниях.

— А что позитивного он отметил во время своего путешествия?

— Он много рассказывает о своих встречах с людьми, поражается их гостеприимству, а кроме того, Дюма принимал участие в нескольких российских охотах. И поскольку он был страстным охотником, то посвятил этому занятию множество восторженных слов.

— Не появились ли в книгах Дюма после путешествия по России русские персонажи?

— Еще до поездки Дюма написал роман «Записки учителя фехтования, или Полтора года в Санкт-Петербурге», действие которого происходит в России. Это был первый роман о декабристах, а прообразом главного героя, которого сослали на каторжные работы, был граф Анненков. Дюма описывал историю француженки Полины Гебль, которая стала его женой и последовала за ним в Сибирь. Кстати, Дюма познакомили с Анненковым во время посещения Нижнего Новгорода, когда тот уже был помилован после 30 лет жизни в Сибири.

В свое время роман «Записки учителя фехтования» не понравился Николаю Первому и был запрещен в России. Приезд его автора также был нежелателен. При Александре Втором, более либеральном императоре, Дюма дали разрешение на поездку, но только под контролем госслужб. Чиновники решили, что раз уж они не могут корректировать произведения Дюма, то, по крайней мере, в состоянии следить за его встречами. Поэтому его все время сопровождал специальный человек от губернатора тех мест, где он проезжал, а также полицейский или казак. Но это особо не стесняло Дюма, его наперебой звали на обеды и ужины, он интересовался русской историей и, кроме того, просил переводить ему русские сказки, легенды и стихи. По подстрочнику он сделал французский перевод нескольких стихотворений Пушкина и Лермонтова. После его поездки во Франции был издан роман «Ледяной дом» под авторством Дюма, хотя фактически это был перевод русской книги.

— Это тот самый «Ледяной дом», который написал Иван Лажечников?

— Наверное, да. Я не очень хорошо знакома с русской литературой, но точно знаю, что эта книга не была произведением самого Дюма. Это русский роман, который был переведен. Конечно, он внес в него свои добавления, но идея и структура книги остались прежними.

— Есть ли воспоминания о влюбленностях Александра Дюма в России?

— Говорят, они были, но он старался не компрометировать женщин, поэтому точных имен я вам назвать не могу. Дюма был известным сердцеедом. Про себя он



Музей
Александра
Дюма «Замок
Монте-Кристо»

говорил, что у него каждый день новая возлюбленная. Наверное, это было преувеличением, но, конечно, за десять месяцев в России он не мог не влюбляться в русских женщин. Более того, говорят, в России у него даже родился ребенок.

— То есть возможно, что где-то в России, сами того не зная, живут потомки Александра Дюма?

— Может быть, но, к сожалению, никаких фамилий и указаний не сохранилось, поэтому все как было тайной, так и осталось. Зато точно известно, что из России он привез слугу по имени Василий, который оставался с ним до последних дней его жизни.

КАКОЙ АЛЕКСАНДР ДЮМА ВИДЕЛ РОССИЮ

«Я здесь путешествую как принц. Русское гостеприимство такое же потрясающее, как и уральские золотые прииски».

«Никогда не смотрите два раза на какую-то вещь, которая принадлежит русскому, поскольку, какова бы ни была ее цена, он вам ее подарит».

«Я бы не сказал, что нас проводили в наши апартаменты, нет, русское гостеприимство простирается гораздо дальше этого: весь дом предоставляется в наше распоряжение».

«Когда стала известна моя страсть к чаю, то после этого каждый мне послал в подарок своего лучшего чая».

«Когда мы завтракали, нам доложили о приходе шефа полиции. В противополо-

жность другим странам, где визит шефа полиции достаточно тревожная вещь, здесь в России мы узнали, что, наоборот, такой визит символизирует гостеприимство и является первым звеном складывающейся цепи приятных отношений».

«В Казани мне демонстрировали выделку кожи и меха, а потом прислали в подарок образцы всего того, что я видел. Не удивляйтесь, что я все время повторяю одни и те же вещи, но у меня нет другого способа выразить свою благодарность тем, кто организовал мое путешествие по России, одно из самых лучших путешествий, которые я когда-либо совершал».

парка. Эта церковь — истинное сокровище, как по искусству, так и по богатству, создание лучшего, на мой взгляд, архитектора России — Горностаева. Золото и серебро хоть и рассыпано здесь в изобилии, но столь хорошо и умело распределено, что никак не вредит облику этого маленького архитектурного шедевра. Это было первое за время моего пребывания в России сооружение,

которое меня совершенно удовлетворило».

«В противоположность южному климату, где ночи приходят сразу и где день — это вспышка огня, которая стремительно охватывает горизонт, страны Севера показывают с приходом и угасанием дня целую гамму тонов совершенной живописности и неопишуемой гармонии. Добавьте к этому на островах неизъяснимую поэзию, которая окутывает поверхность вод, как прекрасная вуаль невидимого газа, скрадывающая кричащие оттенки и придающая природе ту прелесть, которую воздух придает картине».

О МАТРАСАХ

«Вещество, которым набивали русские матрасы, оставалось для меня тайной все время моего пребывания в России. Как будто бы постель была заполнена косточками персика, хотя я нахожу это сравнение недостаточно выразительным по отношению к русским перинам».

О ТЕЛЕГАХ

«Мы сели на телегу, это орудие пытки в России, применяемое при передвижении. Нас уверили, ради успокоения, что дорога будет чудесной, впрочем, так уверяли всегда всех путешествующих по России... Однако после пятидесяти лье пути путешественник уже привыкает ко всему и начинает отмечать, что именно русские почтовые станции имеют несомненное преимущество перед любыми другими».

О САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

«Я не видел ничего подобного ночам Петербурга. Да, стихи Пушкина прекрасны, но все же это — поэзия человека, а петербургские ночи — это поэзия божества». «Я не знаю вида, который мог бы сравниться с разворачивающейся перед моими глазами панорамой» (о набережной Невы).

О СТЕРЛЯДИ И ВИНОГРАДЕ

«Как только путешественник прибывает в Санкт-Петербург, он начинает слышать про стерлядь; когда приезжает в Москву, то тоже слышит про стерлядь, когда говорит, что собирается на Волгу, то его уверяют, насколько ему повезло, поскольку он сможет есть стерлядь!.. Культ стерляди в России — это не какое-то рациональное поклонение, это просто фетишизм. И все-таки я рискнул выступить против массового восхищения стерлядью. Французские повара не любят эту рыбу, а соответственно, не прилагают никаких усилий, чтобы подобрать соусы к рыбе, которая им не нравится. Нет ничего проще: это не кулинарный аспект, а философский».

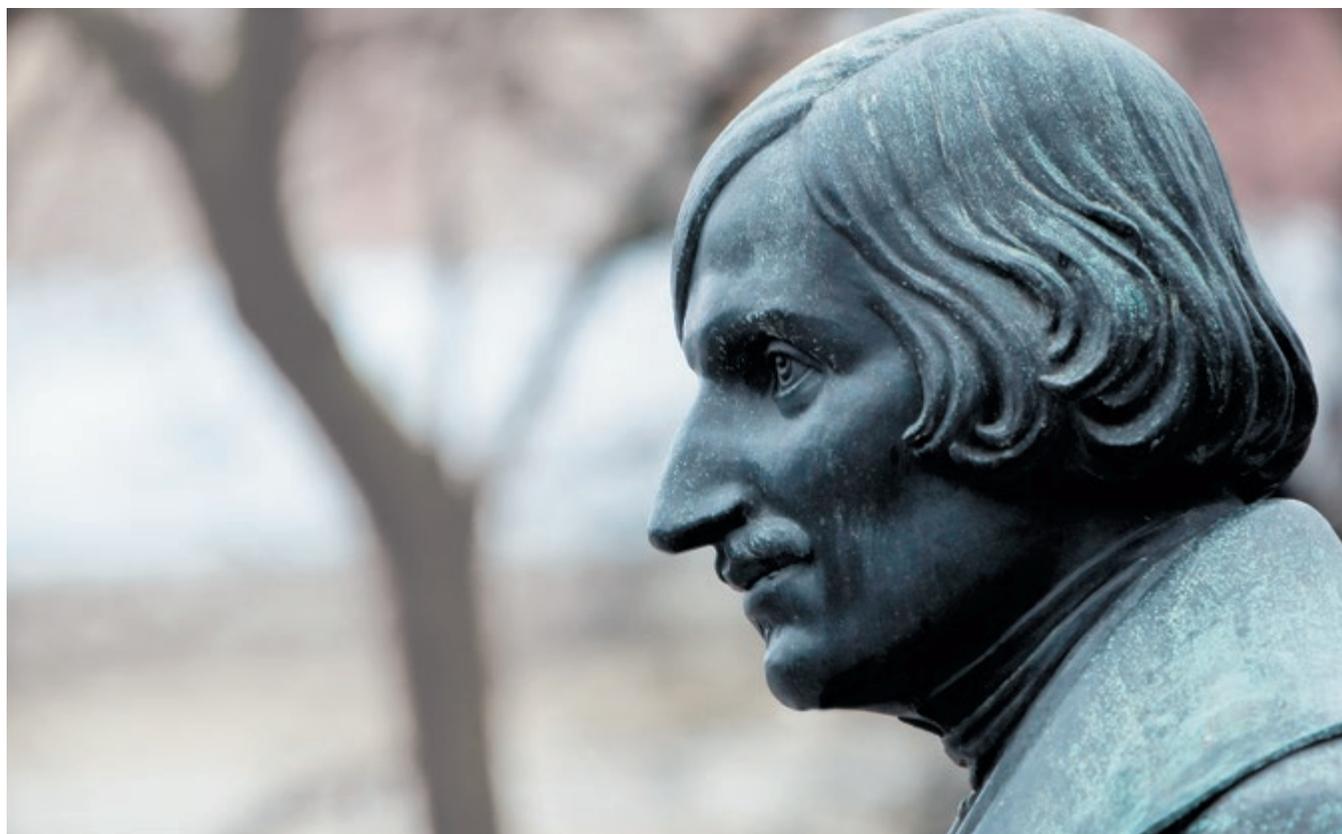
«Меня уверяли, что в Астрахани выращивается виноград сорока двух сортов... Однако, несмотря на то, что там действительно прекрасный виноград, чьи ягоды величиной со сливу мирабель, но вино, которое из него производится, — довольно среднее... Что же касается конфитюров, то вряд ли где-нибудь в мире есть народ, который делает их лучше, чем армяне».

О ПОЖАРЕ

«Похоже, я был единственным, кто восхищался отвагой русских пожарных. Триста-четыре человека, которые стояли рядом со мной и тоже наблюдали за пожаром, внешне никак не проявляли ни малейшего интереса к этой огромной катастрофе или какую-то симпатию к храбрости пожарных. Во Франции в таких же обстоятельствах можно было бы услышать крики ужаса, поощрения, восхищения, аплодисменты, а здесь — ничего, молчание, причем это было не молчание концентрации на происходящем, а молчание безразличия. Шеф полиции сказал, что для русского народа понятие братства пока мало что означает. Его слова задели меня за живое. Сколько же революций нужно русскому народу, чтобы он понимал «братство» так же, как французы? Я был гораздо более подавлен этим безразличием, чем самим пожаром».

О ВАЛААМЕ (ХРАМ СВ. НИКОЛАЯ)

«На самой выдающейся в море точке берега мы заметили маленькую церковь, всю в золоте и серебре, столь новенькую, что она казалась только что вынутой из бархатного футляра драгоценностью. Церковь возвышалась среди деревьев над газоном, который вызвал бы зависть газонов Брайтона и Гайд-



РИА «НОВОСТИ»

«БОГ НЕДАРОМ ПОВЕЛЕЛ КАЖДОМУ БЫТЬ НА ТОМ МЕСТЕ, НА КОТОРОМ ОН ТЕПЕРЬ СТОИТ»

АННА ГАМАЛОВА

В библиотеках готовят гоголевские выставки и анкетируют читателей. Театры ставят «Ревизора» и «Женитьбу». Начался объявленный ЮНЕСКО Год Гоголя: грядет 200-летие со дня рождения писателя.

ПОКА ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА оказалась сенсационная продажа картины Путина за 37 млн рублей; от Гоголя тут — разве что мотивы. Вот выходит фильм «Вий», тоже «по мотивам», — и Брэд Питт вроде как обещает его рекламировать. Главным героем фильма будет английский картограф, так что доля участия Гоголя в проекте тоже примерно понятна. Обещан выход на экраны «Тараса Бульбы» с Богданом Ступкой в главной роли; режиссер — Бортко. На канале «Культура» прошла премьера фильма «Оправдание Гоголя» с участием главного

российского гоголеведа Игоря Золотусского; обещаны новые факты, новые автографы, съемки в гоголевских местах... Надо смотреть: интересно. В Манеже пройдет выставка «Гоголь и его окружение» из фондов нескольких музеев и архивов — надо пойти. Остальные юбилейные мероприятия как-то не вдохновляют: библиотечные выставки, научно-практическая конференция...

В РАМТе поставили «Портрет» с Евгением Редько; отзывы прессы — уважительные, но кислые. Ведутся долгие споры об открытии музея — ни в Питере, ни в Москве его до сих пор нет. Питерские ученые в здании Патриотического института нашли комнату, где Гоголь, возможно, готовился к лекциям. В Москве идет ремонт в «Доме Гоголя» на Никитском бульваре, занятом нынче библиотекой (мемориальных в нем — две комнаты); чем закончится — неизвестно.

В Москве вот задуманы народные гулянья с шествием по Садовому кольцу и Сорочинская ярмарка, бюджет выделен... А инициативная группа интеллигентов предложила вернуть на прежнее место памятник работы Андреева. Тягание покойников и памятников туда-сюда в символических целях — распространенная идеологическая практика, но Гоголю, чьи останки перенесли из Свято-Данилова монастыря на Новодевичье, в этом смысле особенно повезло; велись даже разговоры о том, чтобы вернуть не только памятник, но и останки на прежнее место. Тревожить усопших и выкорчевывать памятники — это, конечно, серьезная юбилейная деятельность; по счастью, гроб трогать не стали, а вот чтобы памятник не трогали — потребовалось вмешательство министра культуры. Хорошая новость — реставрация могилы: есть надежда, что на ней вместо плиты «от советского правительства» появится православный крест, какой и стоял раньше на ней в монастыре.

Должно быть, не только от полного непонимания Гоголя, но и из-за всей этой кладбищенско-памятниковой су-

еты пресса который месяц вяло обсуждает гробовые темы гоголевской мистики: «почему камень-голгофа с могилы Гоголя оказался на могиле Булгакова?» и «классика похоронили живьем, как он того и боялся». А может, просто участь такая у русских писателей — чтобы читатель не их самих читал, а всякие оглушительные глупости об их жизни и смерти: Есенина убили, Маяковского убили, Пушкин бегал по бабам, Толстой мучил жену, Цветаева любила женщин, а Ахматова — одну себя. А Гоголь в гробу вертел головой, как какая-нибудь кинематографическая панночка.

Возможно, переворачивается он в гробу и сейчас, если на том свете хоть немножко видны юбилейные приготовления. Как сам Гоголь оценил бы их — понятно любому, кто хоть раз держал в руках его «Завещание», черным по белому строго и однозначно требующее: «Предать же тело мое земле, не разбирая места, где лежать ему, ничего не связывать с оставшимся прахом; стыдно тому, кто привлечется каким-нибудь вниманием к гниющей персти, которая уже не моя: он поклонится червям, ее грызущим; прошу лучше помолиться покрепче о душе моей, а вместо всяких погребальных почестей угостить от меня простым обедом нескольких не имущих насущного хлеба».

Но вместо «простого обеда», само собой — шествия, гулянья, выяснения, кто больше любит и лучше понимает классика. Печальнее всего — игра в перетягивание Гоголя, затеянная двумя его родинами, Россией и Украиной. Юбилей оказался отличным поводом показать кому-нибудь кукиш или заявить: «А вы, Виктор Андреевич, настоящий гусак». А у нас зато музеи Гоголя, а у вас? А он зато по-русски писал, а вы разносились со своим переводом на мову, как с писаной торбою.

Грустно, что юбилей, как и всякий юбилей, оказался только поводом — для публикаций, для произнесения праздничных слов, написания колонок и постановки спектаклей, где по сцене слоняется нескладный Гоголь (сюртук, нос, взор и патлы).

Юбилейные публикации строгоются по определенному шаблону и жонглируют одними и теми же штампами. Человек, который последний раз читал Гоголя к экзамену в десятом классе 20 лет назад, твердо помнит только «Русь, Русь! Куда мчишься ты»... или «ты мчишься»... как его там... ну, еще «птица-тройка», «тиха украинская ночь», а то еще «чем я тебя породил — тем и убью» — уж как запомнилось, так запомнилось. У него в памяти хранится воображаемая картина «Аффар жжот второй том «Мертвых душ» — воображаемая потому, что репинской картины на аналогичный сюжет он, скорее всего, не видел. Зато по месту работы такой человек пропитался культурными веяниями и твердо знает, что «Нос» — это

были комические роли, заезжий петербургский актер даже отказывался верить, что госпожу Простакову играл 16-летний юнец, а не женщина. Издавал он и журнал, где опубликовал свою повесть «Братья Твердиславичи».

К занятиям Гоголь был, скорее, равнодушен, успехи делал только в рисовании и русской словесности, в письмах матери жаловался на ничтожность окружающих его людей, в том числе преподавателей. При всей своей скрытности, меланхолии, молчаливости отличался всплесками веселости, любил морочить окружающих и разыгрывать сложные шутки: едва не

свел с ума мнительного одноклассника, уверяя, что у него «бычачьи глаза», в другой раз сам прикинулся сумасшедшим, чтобы избежать розог. Еще в гимназии он мечтал о юриспруденции: искоренении неправого суда, служении государству. Изучал право. Поклялся себе, как рассказывал в одном письме, «ни одной минуты короткой жизни своей не утерять, не сделав блага».

В 1825 году умер отец его, Василий Афанасьевич. Мать, убитая горем, почти помешалась, не могла есть; Николай пытался выброситься в окно, но потом писал матери, что удар перенес «с твердостью истинного христианина», и всячески ее утешал и успокаивал. Удивительная это была семья: в ней все друг друга любили, даже све-кровь невестку.

После окончания гимназии 19-летний Николай (Никоша, Николенька — в письмах матери, с неохотой и тоской провожавшей его на север) отправился в Петербург — служить. Места искал долго и трудно, жил в холодной комнате, безденежно, тщетно искал протекции, скучал по Украине и просил мать присылать ему в письмах подробности об украинском быте: так начались «Вечера на хуторе близ Диканьки». Весной 1829 года опубликовал написанную еще в Нежине «идиллию в картинах» под названием «Ганц Кюхельгартен», подписался псевдонимом «В. Алов». Вот наугад строфа из поэмы:

чистый фрейдизм, а Гоголь — «чертовщина» и «мистика». Театральные деятели еще пользуются словом «духовность». Журналисты упирают на верчение в гробу. Гоголевскую Россию юбилейные авторы обычно сравнивают с нынешней и констатируют «как все похоже». Или проявляют оригинальность и говорят «нет, совсем не похоже». Пользуясь случаем, бранят что-нибудь особо ненавистное. Тонко намекают на свое уникальное понимание пресловутой гоголевской мистики...

Скучно на этом свете, господа!

НИ ОДНОЙ МИНУТЫ НЕ УТЕРЯТЬ

Живого Гоголя, похоже, никто и не представляет — он окончательно выродился в странную фигуру: двоящуюся, ухмыляющуюся, шевелящую носом — не то тень, не томышь летучая, еще и шашни водит с нечистой силой...

Как-то совсем и не видно за этими культурными штампами, за фигурой inferнального грызуна — иного, живого Гоголя. Собственно, а что мы знаем о нем, что помним помимо царского «всем тут досталось, а мне больше всех»? Помимо подаренных Пушкиным сюжетов? Прямо по Заходеру: «Что мы знаем о лисе? — Ничего, и то не все».

Какой же он, живой Гоголь, малоизвестный среднему выпускнику средней российской школы? Помещичий сын, маменькин баловень, чье детство прошло в родовом имении в Васильевке. Отец впервые увидел мать младенцем и четырнадцать лет ждал, пока она повзрослеет, затем женился — и оба были счастливы и не мыслили иной доли. Молоденькая мать после двух мертворожденных детей вымолила сына у Бога и назвала Николаем в честь Николая Угодника. Ребенок был так серьезен, что пугал мать; трех лет уже читал, пяти — писал что-то свое. Однажды утопил кошку, которая его напугала, и горько каялся потом. Родителей, рано умершего брата и сестер любил нежно.

Отец его работал секретарем у богатого родственника, бывшего министра Трощинского; дом был самодурский, полный шутов; но — театр, библиотека; впечатленный отцовскими пьесами (отец сам и писал, и дирижировал, и актерствовал), Николенька учредил похожий театр в Нежинской гимназии, куда мальчишка привели учиться. Стал писать пьесы — уже когда поступил в Нежинскую гимназию высших наук. В гимназии другие дети сначала чурались его: странный, вечно мерзнувший, золотушный, закутанный — но он так умел их рассмешить, что многие к нему потянулись. Друзья любили его, и он их любил, однако многие и насмешничали над дурно одетым, неопрятным, жующим пряники мальчиком. Он много писал: трагедии, элегии, повесть, поэмы; впрочем, друзья их ставили невысоко, зато до упаду хохотали над его устными рассказами и проделками. Для гимназического театра он сам рисовал декорации, сам играл в нем — особенно удачны

*«Но скоро тайная печаль
Им овладела; взор туманен,
И часто смотрит он на даль,
И беспокоен весь и странен.
Чего-то смело ищет ум,
Чего-то тайно негодует;
Душа, в волненьи темных дум.
О чем-то, скорбная, тоскует;
Он как прикованный сидит,
На море буйное глядит».*

Поэму обругали «Московский телеграф» и «Северная пчела». Автор скупил все нераспроданные экземпляры поэмы, сжег их, наплел в письме матери что-то несусветное про неземную любовь — и уехал в Германию на деньги от заложенного имения; этот шаг вполне мог разорить семью, если бы один из родственников матери не уплатил ее долги.

Через два месяца вернулся. Попытался наняться в театр. Но на слушаньях конфузился, был вял, простая игра его ко двору не пришлась: в моде еще были романтические завывания. Пришлось служить — как ни отвратительна была ему мысль о департаментской скуке. Чиновником он был плохим, работу свою не любил, иногда даже прогуливал, предаваясь литературным занятиям; по вечерам занимался живописью в Академии художеств, где отдыхал душой от департаментской скуки. Затем ему помогли получить место преподавателя истории младшим классам в Патриотическом институте (там учились дочери военных) — и он немедленно оставил чиновничью службу, хотя и терял почти половину жалованья. Тут как раз вышли из печати «Вечера на хуторе близ Диканьки», которые в одночасье сделали автора знаменитым писателем; Пушкин хвалил книгу и охотно беседовал с Гоголем. Провинциал воспарил — счастлив был, письма его домой отдавали завиральной хлестаковщиной, создавая у маменьки иллюзию всемогущества дорогого Никоши. Он даже велел ей слать письма



для него лично Пушкину, даже не спросив у Пушкина разрешения... так-то, брат Пушкин...

Имение оставалось заложенным, нужно было платить проценты, отдавать долги, заботиться об образовании сестер, которых Гоголь виртуозно пристроил за казенный счет в тот же Патриотический институт; с деньгами он обращался неумело, дела имения поправить не мог. Ученицы в институте и мальчишки, у которых Гоголь был домашним учителем, его любили, но он тосковал по взрослому слушателю — ему казалось, он может преподавать в университете. История волновала его, он умел оживить ее для слушателей, история бушевала и звенела в его «Тарасе Бульбе»... Получив место в Петербургском университете, он преподавал неровно — иногда блестяще и ярко, но чаще вяло и скучно, в письмах жаловался на «сонных слушателей»... Наконец, и ему, и начальству стало ясно, что университетского профессора из него не вышло. Официальной причиной отставки была реорганизация университета. Уволился он и из Патриотического института — по причине нездоровья, которое требовало длительного лечения.

Тем временем из печати одно за другим выходят произведения, которые теперь числятся шедеврами: за несколько лет опубликованы «Миргород», «Арабески», «Женитьба», «Записки сумасшедшего»... Появился новый Гоголь — уже не вдохновенный романтический поэт, не просто юморист. Уже появился надлом в беззаботном хохоте, в голосе — слеза. Знакомые восторженно хвалят, критика бранится и советует ему вернуться к малороссийскому материалу... Гоголь, убитый своими педагогическими неудачами и литературными нападениями, совершенно растерян и опечален. И тут Белинский на всю Россию заявляет: это великий писатель, и Гоголь снова воспаряет и чувствует в себе великие силы. Так и начало его всю жизнь на этих качелях — от самоуничижения до самовозвеличивания, от убеждения в собственной гениальности до сокрушения о ничтожестве, до истребления рукописей: все не то, все не так!

Пушкин убеждает Гоголя взяться за серьезную прозу. Аргументация у него убийственная, почти в прямом смысле слова: ипохондрику Гоголю, который даже чужим людям жалуется на непонятные болезни в кишках, он втолковывает: кто знает, сколько еще можно протянуть при таком слабом здоровье, надо же и оставить что-то после себя, как Сервантес оставил «Дон Кихота». Впечатленный Гоголь взялся за «Мертвые души» — со всей страстью, со всем своим пересмешическим даром, который пытался объяснять своей борьбой с меланхолией, со всей язвительной наблюдательностью он набросился на все, что нашел в людях и в себе, любимом, нечеловеческого, отвратительного — заботьясь, как хороший христианин, о бичевании порока, об исправлении нравов, об осмеянии злого... Первые главы «Мертвых душ» Пушкин выслушал, все мрачней и мрачней, — и сказал наконец: «Боже, как грустна наша Россия». Гоголь не ожидал — и все думал потом, как загладить это мрачное впечатление. Он и не подозревал, кажется, что пишет социальную сатиру.

«Ревизора» публика толком не поняла. «Пьеса весьма забавна, только нестерпимое ругательство на дворян, чиновников и купечество», — писал о ней в дневнике начальник репертуара Александринского театра Храповицкий. Часть публики видела водевиль — да так Александринка и поставила эту пьесу, другие бухтели: «невозможность, клевета и фарс». Царь хохотал от души и один, кажется, заступался за комедию, о которой сказал: «Всем в ней попало, а мне больше всех». Одно это и удержало «Ревизора» на сцене вопреки общественному негодованию: всех полил грязью, хоть бы одного хорошего человека нашел. Гоголь впал в тоску: вовсе не водевиль он писал, не комедию положений. Но и славы бунтовщика не добивался, и ненависти целых классов не ожидал. Он думал — увидят, поймут, ужаснутся, расскаются, а зрители пофыркали, похлопали, наговорили глупостей... От тоски у него всегда было одно лекарство: дорога. Он отправился за границу и с дороги писал Жуковскому: «Знаю, что мне много встретится неприятного, что я буду терпеть и недостаток, и бедность, но ни за что в свете не возвращусь скоро. Долее, долее, как можно долее буду в чужой земле. И хотя мысли мои, мое имя, мои труды будут принадлежать России, но сам я, но бранный состав мой будет удален от нее».

Швейцария, Германия, Франция, Италия... Он только в Италии и мог жить, только там не тосковал, не мерз, не кутался в бабьи шали — ходил гоголем, мог нарядиться в малиновые штаны и голубой сюртук; знакомые смеялись: «малина со сливками»... В Италии спокойно, вдумчиво творил свое великое полотно художник Иванов (с Гоголя он написал голову ближайшего к Христу человека). Италия, теплая, счастливая, позволяла ему жить спокойно, без бешеных приступов тоски, без постоянных болезней, изводивших его в России, испокон веков сводящей с ума, а то и в могилу, хрупких и нервных астеников и меланхоликов. Италия давала перспективу вечности, твердую почву, ясные ориентиры. Но в Риме его ждала тяжелая новость — о смерти Пушкина. Гоголь в тоске писал Погдину, что писать не для кого, читать некому: «что теперь труд мой? что теперь жизнь моя?» Его звали на родину — он отказывался: «выносить надменную гордость безмозглого класса людей?» — нет, не буду, как ни люблю отчизну, лучше чужбина.

Лишь через три года после отъезда Гоголь привез в Москву «Мертвые души» и читал при общем восторге. Еще через три года они вышли в свет — и снова разразилась буря обвинений в клевете, фарсе, очернительстве. Но Гоголь снова был за границей; деньги у него постоянно кончались, он постоянно просил друзей похлопотать у государя о вспоможении — и вспоможение это несколько раз получал; выручали друзья, присылавшие денег, — кто в долг, кто просто так.



РИА «НОВОСТИ»

«тяжким сном» называл свою жизнь в России, — хотя жил в гостеприимной Москве у любящих его друзей. Россия изменилась — стала жесткой, чиновной, озлобленной.

За границу он вернулся с облегчением, но в дороге заболел желудком, собрался умирать, опять погрузился в тяжелую тоску, пережил кризис, чудом выздоровел и обрел убеждение, что недаром Бог его спас, что теперь ясно стало, что делать и как делать, куда идти и зачем. Здесь начался новый Гоголь — тоскующий о душе, взывающий нравственной чистоты, проповедующий, Гоголь «Шинели» и «Мертвых душ».

В 1841 году он привез их на родину, где книга застряла в цензуре, а за границу решил возвращаться через Иерусалим, паломником. Очиститься, прикоснуться к божественной истине — и тогда во втором томе будет сказано все лучшее, заветное, мертвые души воскреснут... Он переполнен счастьем богопознания — он охотно делится им с друзьями, а друзья не слушают, не слышат, их удивляет и возмущает эта безумная, странная страсть проповедовать, поучать, наставлять — с претензией, что он несет Божью истину... Издатели ждут второго тома — но второй том должен стать ВСЕМ, в него надо уместить всю правду, всю красоту, весь гимн Божеству; первый том был «грязным крыльцом», второй должен стать «храмом», а храм нельзя строить второпях...

Друзья все больше недоумевают, получая от него жесткие требования прислать денег, взять на себя все его дела, выписывать для него все рецензии, присылать сведения — словом, делать для него неблагодарную, черновую работу. Этим же друзьям Гоголь нещадно обличает и поучает — дает наставления, как одеваться, что читать, как себя вести; рвет с сестрой, рвет с друзьями... Новый, открывшийся ему мир так ослепил его, что Гоголь страшно занесся и стал неоправданно жесток и немилосерден с людьми...

Второй том не клеился, вместо него в свет вышли злополучные «Выбранные места из переписки с друзьями» — завещание не завещание, трактат не трактат, странная книга — поучение соотечественникам, как жить, заветные мысли перед лицом смерти: вот как надо строить жизнь, управлять губернией, жить с супругом, писать стихи, править Россией — каждый пусть строго спросит с себя, каждый пусть покается, умрет в покаянии и воскреснет, чтобы жить в чистоте и правде... Гоголь гремел медью, обличал и требовал, как власть имеющий, как достигший уже заслуженного величия, раздраженно и безжалостно — слушатели переглядывались и спрашивали: не рехнулся ли он? Собратья-литераторы ополчились на него: измена, фарс, ханжество, зазнайство, гордость, глупость... Наконец, все признали, что Гоголь сошел с ума. Гоголь никогда, конечно, не был полностью душевно здоров — одна только его мнительность и вечная ипохондрия тянут на диагноз, не говоря уже о приступах

Маменькино имение было расстроено, сестер надо было забирать из института, выдавать замуж, но душа писателя совершенно не лежала к этим житейским хлопотам. В Россию он ехал еще веселый и счастливый, постоянно подстраивал какие-то розыгрыши и шалости — но чем ближе родина, тем тяжелее было бремя. Веселость улетучивалась, нужны были деньги, взять их не откуда; Гоголь мечется, просит друзей похлопотать, занимает и перезанимает, мучается с робкими, капризными, ничего не понимающими сестрами, не зная, как их устроить. В России Гоголь замерз, устал, отморозил ухо, простудился —

черной тоски; впрочем, авторы посмертных психиатрических изысканий нашли у него симптомы чего угодно: аутизма, биполярного расстройства, мании величия, вялотекущей шизофрении, депрессии... Но он был в ясном уме — и отрезвел, услышав общий ропот негодования. «Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым», — признавал он. «Я зарпортовался». Он тихо, смиренно оправдывался, просил прощения, он стал мягче, перестал поучать... но мнения своего не переменил, крепко веря только в нравственное изменение — а не в цивилизационный прогресс, которого требовал Белинский. Не стал даже отсылать свой подробный ответ на его знаменитое письмо — ограничился коротким призывом к миру...

Он поехал в Иерусалим, но пережил потрясение не религиозное, а личное: поразился холодности и бесчувственности своей молитвы у Гроба Господня. В печали он вернулся в Россию, поехал домой, в Васильевку. Холоден был с матерью и сестрами, к гостям не выходил, снова разболелся, спешно уехал в Петербург, томился; возможно, думал о женитьбе, собственном доме, гнезде — но передумал, поселился у графа А.П. Толстого.

Второй том мучил его, толкал, звал в дорогу — «наездиться по России», насмотреться на нее. Во втором томе Чичиков должен был пережить крушение и возрождение, второй том должен был быть велик и прекрасен — но выходило все не то, Гоголь сомневался в себе: то ли я делаю, чего Бог от меня хочет? Нет, не то! — рукопись в огонь, беспощадно, бесповоротно, как в юности. «Боже, дай полюбить еще больше людей», — молил он. А силы были уже не те, и смерть ходила рядом, он слабел, болел, изнемогал, истязал себя придираками. Книга, кажется, была уже совсем готова, и вдруг он снова взялся за переделку. Хотел ехать в Крым, вернулся с дороги — все не то, не так... Не вышло. Рукопись сожжена, черта под жизнью подведена, он точно знает, что умрет, его зовут оттуда, а доктора еще суетятся, мучают, льют холодную воду на голову. «Оставьте меня», — просил он. И умер тихо, во сне.

Все это чушь и суета, что его похоронили живым: скульптор, снимавший посмертную маску, видел следы разложения, да и сама процедура снятия маски, когда гипсом наглухо и надолго заливаются нос и рот, уморила бы всякого спящего окончательно.

Все это чушь, что он сошел с ума, что был одержим религиозным фанатизмом или водил дружбу с чертом; он был очень умный, тонкий, усталый, очень верующий человек, который замахнулся в одиночку спасти Россию и надорвался под этой ношей.

читать внимательно, не позволит напаять на себя маску кислой самодовольной скуки — маску, которую можно делать уже символом литературоведения и литкритики, вот как смеющаяся маска символизирует комедию, а плачущая — трагедию.

Гоголевский взгляд на мир — сродни божественному. С тем же пониманием и ужасом смотрит он, с насмешкой и гневом — но и состраданием, радостью и бесконечной любовью ко всему этому миру, человечеству, жизни, стране — нелепым, диким, безобразным, прекрасным, жалким, неповторимым.

И посмотреть на мир его глазами — это хороший душевный опыт, нужный. Может быть, даже и стоящий всей этой юбилейной суеты. ❶

ОРКЕСТР

Похоже, единственное, что имеет смысл сделать в юбилейный год, если не имеешь прямого отношения к гоголеведению, открытию музеев, реставрации могилы, — это достать с полки томик автора, о котором вдруг все вспомнили. Собственно, этой цели и служат юбилеи, памятные даты и дни рождения: вспомнить и заново перечесть — новыми глазами, с другим жизненным опытом.

Открыть на любой странице — и читать, читать, читать. И смеяться, как некогда наборщики «Вечеров на хуторе близ Диканьки», как сами смеялись когда-то первый раз, в детстве еще, читая: «А ну! гоп трала! гоп трала!» или воображая покойника верхом на трубе, с галушкой в зубах. И с ледяной тоской следить за скитаниями души пани Катерины — «Бедная Катерина! Она многого не знает из того, что знает душа ее!».

И радоваться волшебному, скрипичному пению этих строк, о чем бы ни говорили они. Гоголь научил русскую прозу петь и плакать, у него первого зазвучала она целым оркестром: вот фагот, вот гобой, вот гудит контрабас, вот звенит челеста...

Гоголь весь — о приключениях души, ее путях, ее деформации, ее возрождении. Гоголя читать — это и есть работа для души: восхищение, смех, рыдание, ужас, грусть, отвращение; все это необходимо ей для жизни, для роста, для того, чтобы не отупеть. Гоголь, если его

НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ

МИХАИЛ БЫКОВ

Литературный институт имени Горького возник по инициативе Горького в 1932 году. Следом появились уже узаконенные КЗОТом профессии прозаика, драматурга, поэта. За сто лет до этого удивительного события 18-летний Михаил Лермонтов пойти учиться на дипломированного поэта, само собой, не мог. Пошел учиться на офицера.



РИА НОВОСТИ

ШКОЛА ГВАРДЕЙСКИХ ПОДПРАПОРЩИКОВ И КАВАЛЕРИЙСКИХ ЮНКЕРОВ. Основана 9 мая 1823 года. Первоначально размещалась в казармах л.-гв. Измайловского полка, с 1825 года переведена в дом графа Чернышева у Синего моста на Мойке. С 1826 года в Школе сформирован эскадрон юнкеров гвардейской кавалерии. Учебный курс был рассчитан на 2 года при 8 часах ежедневных занятий в классных комнатах, манеже и летних лагерях Петергофа и Красного села. Состав учащихся Школы во времена Лермонтова — 192 подпрапорщика и 99 юнкеров.

Традиционное лермонтоведение считает, что этот выбор Мишель сделал спонтанно. Покинув стены Московского университета, хотел поступить в Петербургский. Но Лермонтову предложили сдать вступительный экзамен на общих основаниях, что он посчитал за оскорбление достоинства и отказался.

Все так. Но стоит ли сбрасывать со счетов генетический код древнего рода с доминирующими молекулами воинского призвания? Фамилия Лермонт известна с 1057 года. Сомнительно, что историческая память шотландцев сохранила бы информацию о семье, занимавшейся мирным делом и занимавшей скромное место в дворянской иерархии. В средние века запоминались воины, прелаты, властители. В 1613 году в Россию прибыл Георг Лермонт в качестве офицера-наемника, начальствующего над «шкотской ротой», воюющей за Польшу. Едва на Москве появился царь Михаил Романов, как шотландец перешел к нему на службу, получив чин прапорщика, а позже — ротмистра и к нему — деревни и земли в Костромской губернии. Сам Георг погиб в бою за Россию в 1634 году под Смоленском.

На военной службе в Русской армии и Флоте отмечены 116 мужчин, носивших фамилию Лермонтов, либо имевших лермонтовскую кровь в венах, продолжая дворянские рода Свиных, Катениных, Куприяновых, Рузских, Вербицких, Сальковых, Буйницких, Шкотов. Были среди них почтенные генералы, погибшие молодые офицеры, сподвижники Сенявина, адъютанты Нахимова и Скобелева, директора кадетских корпусов, участники декабрьских событий на Сенатской... Лермонтовы сражались в Гражданскую войну, по обе стороны фронта. И в Великую Отечественную — против гитлеровцев.

Поэтому мне кажется излишне прямолинейным утверждение, будто поэт принял решение поступить в военную службу исключительно «из вредности характера», которую ему любят приписывать. Сохранились и его признания по этому поводу. В частной переписке и в стихах. Лермонтов писал в Москву Марии Лопухиной о летних лагерях под Петергофом: «Из-за бесконечного дождя мы, бывало, по два дня сряду не могли просушить свое платье. Тем не менее, эта жизнь мне до некоторой степени нравилась». Юнкерские поэмы Лермонтова, прежде всего «Госпиталь» и «Уланша», которые сегодня можно прочитать без цензурных белил, конечно, попадают под гриф «до 16». Но показывают, что поэт в юнкерах не был «кисейным юношей». Знание предмета в поэмах говорит, что в Школе он жил ярко и сравнительно беззаботно. Противники этой точки зрения тут же приведут строфу Лермонтова из шуточной «Молитвы»: «Царю небесный, спаси меня от куртки тесной, как от огня!». Правильно, просил, но тут речь идет о желании поскорее выйти в офицеры. Из элитной Школы выходили в лучшие гвардейские полки. И молодой Лермонтов мечтал об этом. Он писал той же Лопухиной: «Единственное, что придает мне сил — это мысль, что через год я офицер. И тогда, тогда... Господи!

Если б только вы знали, что за жизнь я собираюсь вести. О, это будет чудесно!». И где, спрашивается, приписываемая Лермонтову с молодых ногтей вечная меланхолия, переходящая в злое раздражение?

Не вяжутся с обликом скептически настроенного к военной службе юноши и юнкерские увлечения Лермонтова в фехтовальном зале, на стрелковых рубежах и в конном манеже. Известно, что, пойдя на поводу у собственного взрывного и отважного характера, юнкер сел на необъезженную лошадь, а та взбунтовала других лошадей, одна из которых сильно повредила поэту ногу. Лечился Лермонтов более двух месяцев, но хромота была заметна всю его недолгую жизнь. Куда меньше знают о физической силе поэта, тренировавшего руки простым, но эффективным способом. Завязывал на спор с другим юнкером — силачом Карачинским — в узел металлический шомпол для чистки кавалерийских карабинов. А потом развязывал...

Помимо военных дисциплин, в Школе изучались математика, география, юриспруденция, русская и западноевропейская история, русская словесность и французский. Лекции по теории русского языка читал словесник Плаксин, и по воспоминаниям однокашников, эти занятия Мишель конспектировал особенно тщательно.

Хочется поспорить и на тему вредного влияния учебы в Школе на творчество. За эти два года поэт написал несколько поэм, в том числе, «Измаил-Бей», продолжил работу над «Демоном», начал роман «Вадим», завершил «Хаджи Абрека». А стихи? Самое время вспомнить, что Лермонтову было всего-то 18-20 лет! Юноша, живущий в наполненном развлечениями и страстями Петербурге. Учись будущий гусар в столичном университете, вряд ли он был бы чужд естественным потребностям возраста и любознательности пылкой души.

Да, он переживал последствия безответной любви. Да, мучился от свойственного молодости неприятия ограничений личной свободы, неизбежных в юнкерской школе. Но обманутая любовь приносит страдания любому, независимо от того, бьется сердце под юнкерской курткой или блузой художника. Но и Царскосельский лицей требовал от учеников суровой дисциплины.

Впоследствии Лермонтов стихами и прозой доказал удивительно глубокое понимание трагической сути войны и одновременно обязательности исполнения долга на поле брани. Без всякого преувеличения, юнкерский, офицерский и боевой опыт подарил России в лице Лермонтова основателя русской батальной литературной школы.

Осенью 1834 года Михайло Лермонтов высочайшим указом был выпущен корнетом в 7-й эскадрон лейб-гвардии Гусарского полка.

**«ГУСАР, ТЫ ВЕСЕЛ
И БЕСПЕЧЕН, НАДЕВ СВОЙ
КРАСНЫЙ ДОЛОМАН...»**

Лейб-гвардии Гусарский полк. Основан в 1798 году. Дислоцировался в Царском селе, из-за чего чины полка получили прозвище «Царкосельские гусары». В 1855 году получил окончательное наименование — лейб-гвардии Гусарский Его Величества полк. В его рядах, помимо множества представителей аристократических фамилий России, числились члены Императорского дома. Гусары Его величества отличались роскошной формой, цвет которой менялся неоднократно. Наиболее известный вариант — красный с золотом.

В свое время царсосельские гусары повоевали вдоволь. В лермонтовские времена, а он числился в полку примерно 5 лет, полк жил жизнью мирной и избалованной вниманием света и двора.

Лермонтов не стал томить себя запретами. Он блестящий офицер! В полку его приняли тепло, что было в традициях офицерских полковых семей. От людей, несимпатичных полковому собранию, старались избавиться превентивно.

Блеск поэтической славы Лермонтова в те годы сильно уступал блеску его шнуров из золотых нитей на красном доломане. Но не зная о дарованиях корнета в полку не могли. Сыграли роль и юнкерские поэмы, и рассказы товарищей по Школе, и рисунки, сделанные Лермонтовым с натуры, и профессиональные навыки музыканта. Кто все это узнал первым? Видимо, отцы-командиры. И прежде прочих, командир 7-го эскадрона Николай Бухаров, известный приятельскими отношениями с Пушкиным и служившим некогда в лейб-гусарах Чаадаевым. Вскоре Лермонтов обессмертит его в строчках: «гусар прославленных потомок, пиров и битвы гражданин».

Если вчитаться в прозу 30-х годов XIX века, описывающую жизнь петербургского высшего общества, сложится впечатление, будто люди только и делали, что ходили на балы, играли в карты, волочились, мотались к цыганам в

Павловск... Узкая прослойка аристократии, разбавленная гвардейской молодежью, жила именно так. Наличие средств давало возможность так служить. У Лермонтова средства были. Их предоставляла ему его бабушка, Елизавета Арсеньева, урожденная Столыпина. По приходу в полк Мишель приобрел у эскадронного командира породистого рысака Парадера за 1580 рублей — жалование корнета за несколько лет. В полку он не столовался, не считая обязательных ужинов в офицерском собрании и дружеских попок. На квартире в Царском Лермонтова ожидали слуги и повар. Гвардейская жизнь внука обходилась Елизавете Алексеевне в 10 000 годовых.

Сослуживец Лермонтова граф Васильев писал: «В Гусарском полку было много любителей большой карточной игры и гомерических попок с оргиями, музыкой, женщинами и плясками... Лермонтов бывал везде, и везде принимал участие, но сердце его не лежало ни к тому, ни к другому. Он приходил, ставил несколько карт, брал или давал, смеялся и снова уходил. О женщинах, приезжавших на кутежи из С.-Петербурга, он говаривал: «Бедные, их нужда к нам загоняет... Из всех шальных удовольствий поэт более всего любил цыган». Подробно остановился на повседневной жизни Лермонтова в лейб-гусарах, чтобы еще раз оспорить образ поэта, созданный учебниками. Лермонтов вовсе не был убежденным революционером, врагом «света». Он пользовался всеми благами, доставшимися ему в силу происхождения. Он в принципе плохо себе представлял, откуда берутся деньги, и какова их цена. Лермонтов принял присягу и служил Отечеству так, как и большинство его товарищей по сословию. О чем и сказал как-то: «Если будет война, клянусь Богом, буду всегда впереди». Замечу, что поэт не считает необходимым уточнять, в какой именно войне он готов быть впереди. Долг и присяга обязали его сознание воспринимать любую войну против России, как требование встать в ряды воинов. Разумеется, Лермонтов видел несправедливости мира и искал ответы на тревожащие его вопросы. И, конечно же, работал. Не в офицерском качестве — как поэт. Его литературные поиски не замыкались в кругу личностных переживаний. Но в этот мир Лермонтов сослуживцев не пускал.

«Придается все» — писал другой поэт уже в XX веке. Первый бал Мишеля в лейб-гусарском мундире состоялся 4 декабря 1834 года. До дуэли Пушкина с Дантесом оставалось два с небольшим года...

Лермонтова уберег от передовой начальник штаба Кавказского корпуса генерал-майор Владимир Вольховский, однокашник Пушкина по Лицею, получивший нужные письма из столицы. На словах он говорил, что надо отправить бывшего гвардейца в экспедицию против горцев, на деле все лето позволил ему провести в Пятигорске на излечении от простуды. Поначалу Лермонтов и в самом деле чувствовал себя прескверно — «весь в радикулитах». Но потом он сам пишет в письмах о том, как славно проводит время в окрестностях Пятигорска. Осенью боевые действия окончились, и Лермонтов потерял возможность «искупить в бою». Помог случай. В это время на Кавказ прибыл император. На первый смотр в Геленджике Лермонтов, похоже, не успел прибыть. Что, вероятно, и к лучшему. Из-за непогоды смотр был сорван, и царь гневался. Зато 10 октября в Тифлисе смотр удался на славу. Больше других порадовали императора драгуны-нижегородцы. На следующий день Николай, помня о многочисленных заступничествах, в частности, Василия Жуковского, наставника Цесаревича, и Александра Бенкендорфа, начальника Тайной канцелярии, приказал вернуть прапорщика Лермонтова в лейб-гвардии Гродненский полк, корнетом. Пока бумаги ходили в Петербург и обратно, поэт жил в Кахетии, где в ущелье Карагач стоял Нижегородский драгунский.

«КОГДА ТЫ, МЕНТИКОМ БЛИСТАЯ, ТОРОПИШЬ СЕРОГО КОНЯ»

Нижегородский драгунский полк. Сформирован в 1701 году указом Петра I. С 22 июня 1791 года и вплоть до Первой мировой войны стоял на Кавказе. Первый полк русской армейской кавалерии по числу коллективных наград. В 1834 году был высочайше пожалован уникальным обмундированием, перекликающимся с боевой формой кавказских горцев, что подчеркивало уважение к полку за боевые заслуги в Кавказской войне. В полку служили Лев Пушкин (брат поэта), Николай Раевский, Александр Чавчавадзе, Алексей Брусилов.

Лейб-гвардии Гродненский гусарский полк. Образован в 1824 году в местечке Седлеце под Варшавой. В 1831 году за отличие в Польском походе получил права Старой гвардии и был переведен в Селищевские казармы под Новгородом. В 1864 году возвращен в Варшаву. Традиционный полковой цвет — зеленый с серебром.

Пушкин умер 29 января 1837 года. 7 февраля Лермонтов пишет еще 16 строк к уже разошедшемуся в списках стихотворению «Смерть поэта». 18-го он арестован. А 25-го военный министр граф Чернышев объявил решение государя, по которому корнет лейб-гвардии Гусарского полка Лермонтов переводится тем же чином на Кавказ, в Нижегородский драгунский полк.

Насколько Лермонтову не везло в любви, настолько ему благоволила судьба в части сослуживцев и друзей. В первую ссылку поэту довелось представиться самому Ермолову. Помог случай — бывший адъютант бывшего кавказского наместника передал через Лермонтова своему патрону письмо. Короткой встречи с опальным генералом оказалось достаточно, чтобы Алексей Петрович летом 1841 года, получив весть о гибели Лермонтова, сказал: «Можно позволить убить всякого другого человека, будь он вельможа или знатный: таких завтра будет много, а этих людей не скоро дождешься!»

На Кавказе Лермонтов познакомился с декабристом Александром Бестужевым, более известным современникам в качестве писателя Марлинского. Подружился с разжалованным офицером за «события 14 декабря» князем Александром Одоевским, вскоре сгоревшим от малярии в Туапсе. Но войны Лермонтов в этот раз не увидел. Единственное, что рассказывал по этому поводу по возвращении в Петербург, так это историю, когда по неосторожности нарвался на трех черкесов, бросившихся преследовать его в районе Георгиевского укрепления. Помог уйти хороший карабахский конь.

Помимо вспыхнувшей любви к Грузии Михаил вынес из непродолжительной службы в Нижегородских драгунах, чувство глубокого уважения к семье старого командира полка князя Александра Чавчавадзе, известного сочинителя и мецената. И не менее глубокое сочувствие к его старшей дочери Нино, вдове Александра Грибоедова. Лермонтов стал своим в их доме в Кахетии. Какой же нелепой представлялась теперь почти годичной давности шутка с маскарадом, которую устроил всеобщий товарищ и гуляка, преображенный прапорщик Костя Булгаков незадолго до отъезда Лермонто-

ва в ссылку. Придя домой к поэту и не застав его, Булгаков увидел новый мундир, в котором отныне Лермонтову предстояло существовать. Мундир для Петербурга диковинный: шаровары, барашковая шапка, к ним — «азиатская» шашка... По уставу офицер тех лет не мог появиться в обществе в гражданском платье. Булгаков посочувствовал вчерашнему лейб-гусару, а потом — переделся в нижегородское и отправился планировать по городу. Откуда ж было знать шутнику, что за несколько минут до того великий князь Михаил наткнулся на разгуливающего по Петербургу в гусарской форме поэта. Лермонтову грозило строгое наказание: великий князь крайне ревниво к соблюдению военного этикета. Не помогли бы и ссылки на портного, затянувшего с работой. Но... проехал Михаил Павлович несколько сот метров, и увидел невысокую фигуру офицера в форме нижегородского драгуна. Офицеры этого полка не баловали столицу визитами, и великий князь довольно хмыкнул оборотистости Лермонтова. «Молодец!» — подумал брат царя и простил. Что б он сказал, если б разглядел в офицере Костю Булгакова? Теперь, после Кавказа, Лермонтову и в голову бы не пришло смеяться над особенностями драгунской формы. Он ехал на север из боевого полка.

Впрочем, Гродненских гусар в страсти к бальным паркетам обвинить тоже было нельзя. Полк занимал казармы под Новгородом и был одним из немногих успешных примеров программы военных поселений, затеянных генералом Аракчеевым при прежнем императоре. И пусть поэт пробыл в гродненцах не более двух месяцев, он не мог не заметить особый стиль, им присущий.

Лермонтов поселился в двухэтажном домике, где жили холостые офицеры полка, получившем прозвание «Сумасшедший дом». Комнату он делил с корнетом Краснокутским, тоже склонным к словесности. Правда, его любовь выражалась иначе, чем у Лермонтова. Краснокутский знал десять языков. Один

из шуточных стихов Михаила Юрьевича, адресованный сослуживцу Михаилу Цейдлеру, — вольный перевод из Мицкевича, а подстрочник делал как раз Краснокутский.

Говорят, в их комнату офицеры ходили, как на экскурсию. Все стены были изрисованы и исписаны стихами. К сожалению, позже дом ремонтировали и стены покрасили. Оставалось одно напоминание — фамилия Мишеля, вырезанная ножом.

Интеллектуальная жизнь разбавлялась обычными офицерскими буднями в глубинке. Охотились, много и вкусно ели, ездили верхом. Также в Гродненском гусарском любили играть по-крупному. Устав запрещал офицерам азартные игры в полку, но в отдалении от Петербурга его нарушали охотно. Лермонтов прибыл 26 февраля, явился к командиру полка князю Багратиону, получил назначение в 4-й эскадрон, пообедал, а после проиграл офицеру Арнольди...800 рублей. Кстати, Арнольди оставил о Лермонтове очень «теплые» воспоминания: «Я не понимаю, что о Лермонтове так много говорят. В сущности, он был препустой малый, плохой офицер и поэт неважный. В то время мы все писали такие стихи». Александр Арнольди впоследствии дослужился до полного генерала.

В апреле 1838 года в полк пришел приказ о переводе Лермонтова в лейб-гусары.

«ЧУ, ДАЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ! ПРОЖУЖЖАЛА ШАЛЬНАЯ ПУЛЯ... СЛАВНЫЙ ЗВУК»

77-й Тенгинский пехотный полк. Сформирован в 1796 году из нескольких гарнизонных батальонов Петербурга. Носил разные названия: мушкетерский генерала от инфантерии Архарова, Тенгинский мушкетерский, Суздальский, с 1825 — Тенгинский пехотный. Награжден полковыми георгиевскими знаменами за походы 1812-1814 годов и «За Баязет» (1829). В марте 1840 года при штурме горцами укрепления Михайловское принял смерть нижний чин полка Архип Оситов, взорвавший гранату в пороховом погребе, после того, как враги ворвались на редут. Этот подвиг впервые в русской военной традиции был отмечен «навечным занесением в списки части».

Об этом подвиге не мог не знать Лермонтов, переведенный в Тенгинский пехотный полк спустя считанные месяцы. Но прежде — о последнем петербургском периоде службы поэта в лейб-гусарах.

Александры Федоровны, супруги Николая I. Неслучайно вслед ссыльному понеслась на Кавказ депеша: поручика Лермонтова не удалять из фронта полка. В переводе это означает, что поэта не следовало использовать в боевых операциях, что лишало его возможности отличиться и получить право на реабилитацию.

Но на Кавказе генералы подобрались боевые во всех отношениях. Командующий войсками на Кавказской линии генерал Павел Граббе, тот самый, что был

когда-то адъютантом у Ермолова, от правил Лермонтова не в Анапу, где ждал его в качестве командира роты батальонный начальник Константин Данзас, секунданта на последней дуэли Пушкина. Граббе включил поэта в Чеченский отряд генерала Галафеева. Отряд выступил из крепости Грозная 6 июля. После ряда мелких стычек и карательных операций у Большого Атагу, Гойтинского леса и села Урус-Мартан отряд вышел к речке Валерик в Гехинском лесу. Боевое крещение Лермонтов получил именно тут — 11 июля 1840 года. Вспоминая сражение, он по горячим следам писал: «У нас убыло 30 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел осталось на месте — кажется хорошо! — вообрази себе, что в овраге, где была потеха, час после дела пахло кровью».

14 июля отряд вернулся в Грозную, а 17-го вновь выступил из крепости — в сторону Темир-Хан-Шуры в Дагестане. Экспедиция продолжалась 3 недели.

А в сентябре из штаба в Петербург уходит представление к наградам отличившихся при Валерике. Среди прочих — Лермонтов. В пояснении говорилось, что «офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отличным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами солдат ворвался в неприятельские завалы. Испрашивается орден св. Владимира 4 степени с бантом». В штабе для Лермонтова по причине осторожности, испрашивали

6 декабря 1839 года Лермонтов произведен в поручики. Это сейчас не слишком понятно, что особенного в чине лейтенанта. А в то время гвардии поручик — это армейский капитан. Лермонтову едва исполнилось 25. Казалось бы, карьера налаживается.

Лермонтов всю жизнь вольно или невольно «чистил себя под Пушкиным». Отсюда так много связывающих двух поэтов духовных нитей и странных совпадений в судьбах. 16 февраля 1940 года на балу у графини Лаваль между лейб-гвардии гусарским поручиком и сыном французского посла де Барантом состоялся прескверный разговор. Причину объясняют как соперничеством в ухаживании за княгиней Щербатовой, так и странными претензиями де Баранта к строкам Лермонтова из стихотворения «Смерть поэта», которыми нанесено оскорбление всей французской нации. История сохранила диалог в подробностях, и очевидно, что де Барант, как сказали бы сейчас, нарывался. Дуэль состоялась через два дня. В поединке на шпагах оружие Лермонтова сломалось при выпаде. Перешли на пистолеты. Барант дал промах. Лермонтов выстрелил в сторону. Военные власти узнали о дуэли с опозданием. Лермонтова арестовали только 11 марта. Он дал показания, и военно-судная комиссия признала, что поручик, прежде всего, защищал честь русского офицера. Но де Барант не успокоился, принявшись распространять слухи, будто Лермонтов лжет, и выстрела в сторону не было. Лермонтов узнал об этом и пригласил французца посетить его в заключении. Разговор кончился повторным вызовом. И тут военно-судебная машина заработала на полную мощь. С формальной точки зрения офицер совершил целый ряд проступков: не донес о свершившейся дуэли, предложил стреляться вторично, тайно принимал человека, находясь под арестом. Еще со времен Петра I дуэли в России запретили. Участие в них, даже намерение участвовать, требовало жестокого наказания вплоть до лишения жизни. На практике таких случаев не зафиксировано, но наказывать — наказывали. Причем, амплитуда наказаний громадна. От 3-дневного ареста до лишения чинов и дворянства вкупе с каторгой. С Лермонтовым решили поступить строго. От жестокого приговора его спас человек, который, узнав о гибели поэта уже на другой дуэли, бросил: «Туда ему и дорога». Имя этого противоречивого человека — император Николай I.

В решении суда значилось: содержать в гауптвахте 3 месяца, затем лишить чинов и дворянства и сослать рядовым на Кавказ. Николай ограничился рескриптом: тем же чином в Тенгинский пехотный полк. Немедленно. 13 апреля Лермонтов отбыл из Петербурга. На прощальном вечере у Карамзиных его провожала вдова Пушкина Наталья Николаевна.

Были, видимо, причины, по которым император хотел удалить Лермонтова из Петербурга надолго. Мы сильны лишь гипотезами. Одну из них высказал исследователь Лермонтова Юрий Беличенко: искать ответ стоит в биографии императрицы

только орден Св. Станислава 3-й степени. Документ сохранился, причем, с царскими пометками. Фамилии нескольких офицеров, включая Лермонтова, подчеркнуты, а рядом приписка: «Высочайше повелено поручиков, подпоручиков и прапорщиков за сражения удостоивать к монаршему благоволению, а к другим наградам представлять за особенно отличные подвиги». Тем интереснее, ибо находившиеся в том же списке корнет Глебов и поручик Евреинов получили ордена Св. Анны 4-й степени.

Бумаги бумагами, а воевать надо. Галафеевский отряд вновь уходит в предгорья. Лермонтов прикомандирован по кавалерии. 29 сентября и 3 октября (в последний день своего рождения! — **Прим. авт.**) поручик отличается в боях. А 10 октября принимает отряд из 40 казаков и прочих кавалеристов, коим ранее командовал выбывший по ранению Руфин Дорохов, ставший прототипом одного из героев «Войны и мира» — Долохова. Сам Дорохов отличался невероятной храбростью, а по молодости лет — и беспричинной дерзостью. Снискав славу бретера, будучи неоднократно разжалован за дуэли, он вновь обрел офицерский чин на Кавказской войне, партизана с группой сорвиголов. Сменить самого Дорохова на посту командира — уж только для этого поступка нужна была отвага. Лермонтов рискнул. «Невозможно было сделать выбора удачнее» — писал генерал Галафеев. Вскоре отряд Дорохова стали именовать Лермонтовским отрядом.

В боях прошли октябрь и половина ноября. 9 декабря генерал-лейтенант Галафеев пишет рапорт с просьбой перевести Лермонтова назад в гвардию тем же чином. Похоже, бумаги сталкиваются в пути и разбегаются по адресам. Потому как в ответ 11 декабря военный министр Чернышев сообщает о решении императора откликнуться на просьбы госпожи Арсеньевой и повелении предоставить поручику Лермонтову двухмесячный отпуск в Петербург. Эх, подай бабушка прошение двумя неделями позже! Эх, отправь генерал рапорт неделей рань-

ше! Запоздал и рапорт командующего всей кавалерией действующего отряда на левом фланге Кавказской линии полковника князя Голицына о награждении Лермонтова золотым оружием «За храбрость!» — награда, аналогичная ордену Св. Георгия 4-й степени. Понятно, царь отказал — наградил уже отпуском!

31 декабря приказом по Тенгинскому пехотному полку 20-й пехотной дивизии поручик Лермонтов зачислен в полковые списки налицо. То есть, впервые оказался, наконец, в лагере собственной части. Чтобы вскоре его покинуть.

Лермонтов прибыл в Петербург на масленицу 1841 года. День возвращения на фронт он уже определил — 9 марта. Понимал, что новые экспедиции начнутся не позднее середины апреля, а значит, надобно на передовую. Расчет прост: либо убьют, либо удастся выслужить отставку. Насмотревшись на реалии войны, поэт решает, что долг отдан, служба в Петербурге в случае прощения после Кавказа будет в тягость, а главное — литература занимает теперь главное место. Не творчество как таковое — оно всегда превалировало в его жизни. Именно литературная работа во всем ее многообразии, включая издание собственного журнала. Тем необъяснимее поступок опытного офицера сразу же по приезде в столицу. Он сам пишет об этом со скепсисом в свой адрес: «я на другой же день отправился на бал к г-же Воронцовой, и это нашли неприличным, дерзким. Что делать? Кабы знал, где упасть, соломки б подстелил...». Но ведь не мог не знать! Или в кавказской мясорубке забыл, что прибывающий в столицу офицер обязан первым делом явиться к военному коменданту и зарегистрироваться? А уж потом — балы! Да еще те, на которых присутствует великий князь Михаил.

Отпуск был прерван. Лермонтов с новой подорожной выехал на Кавказ. В Тенгинский пехотный полк, куда так и не прибыл. Но это уже другая — трагическая — история, прямого отношения к военной службе поручика Лермонтова не имеющая. За исключением одного важного факта. Отставной майор Мартынов, убивший поэта 15 июля 1841 года, вместе с ним учился в юнкерской Школе, служил в Гвардейском корпусе в Петербурге, только в кавалергардах. Вместе с Лермонтовым воевал осенью 1840 года. Такой вот товарищ по оружию.

Как-то весьма далекий от словесной эквилибристики французский кавалерийский генерал де Лассаль обронил: «Гусар, не убитый до тридцати лет — не гусар!». Сам граф, отчаянный смельчак и рубака, любимец Наполеона погиб в битве при Ваграме в 1809 году от пули, попавшей в лоб. Однако было ему тогда уже 34 года.

К великому несчастью граф де Лассаль не всегда ошибался. Даром что француз. ❶

ТАРХАНСКИЙ ИСТОЧНИК

ЕВГЕНИЙ РЕЗЕПОВ

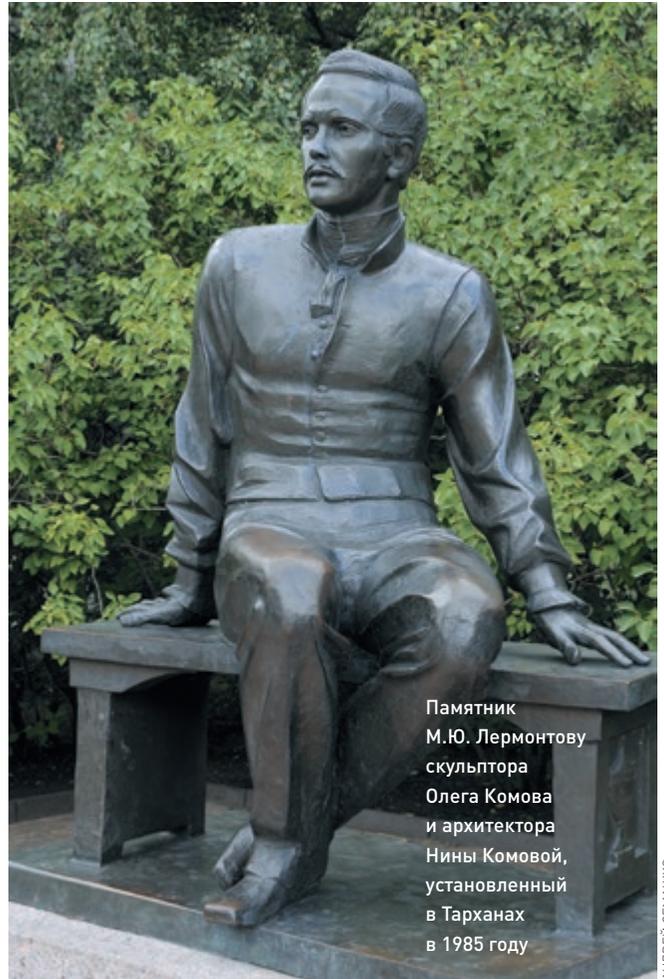
В этом году совпали две даты: 195-летие со дня рождения Лермонтова и 70 лет со дня основания Государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы».

...Ж ЕЛАЯ ИСПРАВИТЬ СВОЙ ПОЧЕРК, испорченный редким и небрежным писанием писем во время службы в армии, я по совету преподавательницы русского языка переписывал произведения классиков русской литературы и несколько раз подряд переписал «Героя нашего времени» — то ли потому, что увлекся чтением, то ли потому, что был убежден, что лучше этого романа в русской литературе ничего нет. Лермонтов, армия, возраст 20 лет, разочарование в жизни и чувство надменности от того, что сверстники убивают время на пустые развлечения и волокитство, а я тут с Михаилом Юрьевичем на ты... Потом я еще долго мог цитировать наизусть отрывки из романа. Я и сейчас, спустя 20 лет, смог процитировать сотрудницам музея в Тарханах места из «Героя...», расположение которых в тексте они не вспомнили. Но это единственное, чем я мог похвастать. Потому что в этом месте России концентрация людей, которые глубоко знают и преданно любят Михаила Юрьевича Лермонтова, необычайно велика. Соперничать с ними бессмысленно.

МОЙ ЛЕРМОНТОВ

Мое знакомство с Лермонтовым началось раньше, чем я пошел в школу. Моя молодая тетя имела забавную привычку: забегая поздно вечером к нам в гости, на вопрос пятилетнего племянника: «Кто идет?» — постоянно отвечала: «Лермонтов». Потом стало ясно, что навещала она нас после романтических свиданий,

которые часто заканчивались драматическим расставанием. Снимая мокрый от дождя берет, она иногда бормотала: «Я не унижусь пред тобою; ни твой привет, ни твой укор...» Я еще помню те времена, когда портрет Лермонтова стоял у тетушки рядом с флаконами духов, зеркальцами и пудреницами. А однажды она пришла с важным видом, будто случилось самое главное событие в ее женской жизни. После чая и сигарет она вдруг сказала: «Теперь я знаю, почему ОН писал такие стихи». Оказывается, тетушка посетила Тарханы и сделала вывод: только в дворянской среде, в ухоженном имении, где не надо задумываться о куске хлеба, мог в столь



Памятник М.Ю. Лермонтову скульптора Олега Комова и архитектора Нины Комовой, установленный в Тарханах в 1985 году

АНДРЕЙ СЕМАШКО

раннем возрасте развиться такой гений. Потом в Тарханы они ездили вместе с моей мамой. Было много разговоров, сувениров и романтической многозначительности.

Позже я часто слышал, как студентки читали лирику Лермонтова вслух: «Я не хочу, чтоб свет узнал / Мою таинственную повесть...» или «Нет, не тебя так пылко я люблю...» Я давно заметил, что женщины больше любят Лермонтова-поэта, чем Лермонтова-прозаика. И только однажды я слышал, как Лермонтова вслух читал мужчина. Старый профессор, вдруг прервав лекцию, неожиданно продекламировал: «Наедине с тобою, брат, / Хотел бы я побыть...»

Моя родная тетушка как раз и была той учительницей русского языка, которая заставила меня выправлять почерк переписыванием «Героя нашего времени». И, находясь в Музее-заповеднике «Тарханы», вспоминая «своего» Лермонтова, я понимал, что возвращаюсь к чему-то близкому, знакомому и дорогому. Это совсем не то чувство, которое испытываешь, бывая в своей старой школе, вспоминая уроки и здороваясь все с теми же портретами писателей на стенах. Нет. Тарханы каким-то чудесным образом овеяны вечной юностью, вечной любовью со всеми ее страстями и драмами. И в Тарханах чувствуешь вдруг любовь к своей Родине особенно остро.

ТАРХАНЫ

Я слушал об истории имения рассказы экскурсоводов, в которых они говорили и о том, что их заставило оставить большие города и приехать сюда, в глушь, посвятив свою жизнь сохранению памяти поэта. Я видел длинный ряд благодарственных отзывов о посещении музея-заповедника в книге гостей. Какие там имена, какие там должности, какой опыт жизни! У всех был свой путь сюда, «свой» Лермонтов.

Мы стояли возле церкви Марии Египетской, построенной в память о матери поэта его бабушкой. И если бы я встал на колени и поцеловал камен-

ные, стертые двумя веками ступени, по которым бегал когда-то мальчик-гений, то никто бы этому не удивился. Здесь все свято.

Поразительное место Тарханы — место, где вырос великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. Экскурсоводы любят рассказывать историю о первокласснике, который возле дуба, посаженного поэтом, вдруг заявил, что тут невозможно не писать стихов, и попросил разрешения прочесть вслух стихотворение. Оно было сочинено только что. Стихотворение произвело фурор. С тех пор записанные строфы с указанием авторства декламируют посетителям наравне с лермонтовскими, а гости в возрасте от 7 до 10 лет признаны самыми важными. Впрочем, так было и раньше. Только сейчас для них создана специальная программа. Маленьким гостям интересны места детских игр поэта, краски, которыми он рисовал, бумага, перья, книги. Все эти предметы собирались на протяжении десятилетий и полностью соответствуют эпохе.

В рассказах о детстве поэта экскурсоводы обязательно отмечают необыкновенную усидчивость и силу воли мальчика. Среди его воспитателей были французские гувернеры, английские преподаватели, приглашалась даже бонна-немка. Но самым интересным для мальчика оказался Жан Капэ, французский солдат, попавший в плен во время наполеоновского нашествия. О его присутствии в жизни Мишеля, как тогда называли Михаила Юрьевича, напоминает настенная гравюра со сценой казни короля Людовика XVI. Капэ был свидетелем расправы и рассказывал о ней своему ученику. С большим волнением Мишель слушал его воспоминания и о Наполеоне Бонапарте. Считается, что романтический образ плененного императора в «Воздушном корабле» вырос из рассказов Капэ.

Тарханскими впечатлениями пропитаны многие известные стихотворения. Хрестоматийное «Бородино» отсюда. Эпизод из крестьянского быта — драка «стенка на стенку» — дал толчок к созданию «Песни о купце Калашникове». Здесь же в Тарханах поэт знакомится с одиночеством, постигает свою избранность, стремится понять мир взрослых и выяснить причины своей несчастной судьбы, которую как будто предчувствовал...

О разыгравшейся в Тарханах драме экскурсоводы рассказывают тихими голосами, словно боясь потревожить тени хозяев имения. Супруг Елизаветы Алексеевны (бабушки Лермонтова) увлекся соседней помещицей. Может, Елизавета Алексеевна Арсеньева (урожденная Столыпина) недостаточно внимания мужу уделяла? Он сажал парк для приятных прогулок, а она хотела с каждого дерева получать доход и требовала сажать яблони и груши. Ему нравились балы, спектакли, а она предпочитала проводить время за счетными книгами, принимая отчеты от управляющего имением. Михаил Васильевич садился играть в

карты с заехавшими в гости соседями ради удовольствия, а она могла и надуть простосердечных пензенских помещиков... Кончилось все трагедией. Узнав, что муж любовницы-соседки возвращается из-за границы, Михаил Васильевич принял яд. Елизавета Алексеевна отнеслась к покойному мужу сурово и лучше не повторять сказанных ею слов. Из чего можно заключить, что характер хозяйка имения имела грозный. Со временем, говорят, он даже ухудшился. А тут еще дочь вышла замуж против ее воли за бедного отставного капитана Юрия Лермантова (позже букву «а» поэт заменит на «о»), затем умерла. Началась борьба бабушки с отцом за право воспитывать Мишеньку. Елизавета Алексеевна потребовала от отставного пехотного капитана уступить Мишу ей, угрожая в противном случае лишить внука наследства. Выбора не было. О том периоде писал поэт: «Я здесь как добыча, раздираемая двумя победителями, и каждый хочет обладать ею». Проницательность и меланхолия родились в Лермонтове тоже тут, в Тарханах. «Любил с начала жизни я угрюмое уединение, где укрывался весь в себя». Воспоминания об этом периоде лягут в основу его драмы «Странный человек».

В первые минуты знакомства с Тарханами замечаешь, что имя бабушки поэта почти не сходит с уст экскурсоводов. Говорят о ней с уважением и оглядкой, словно она может внезапно появиться и строго потребовать отчета. При ней, как вспоминали современники, все в имении ходило по струнке. С портрета в доме глядит женщина твердая, властная, но, кажется, не лишенная веселости. Можно считать, что из борьбы с жизненными невзгодами Елизавета Алексеевна вышла победительницей. Разве не победа — создание среды, которая позволила сформироваться и развиться творческому дару ее внука и обогатить русскую литературу несравненными образцами? Но это важно для нас, почитателей творчества поэта. А своему внуку она просто желала счастья. Поэтому Елизавета Алексеевна распорядилась сломать старый барский дом, который стал свидетелем стольких драматических событий, а на его месте поставить в память о дочери церковь Марии Египетской. В новом барском доме, построенном рядом с церковью, уже ничего не напоминало об утратах. Именно этот дом, восстановленный в прежнем виде на старом фундаменте после пожара 1908 года, демонстрирует гостям все детали быта, в котором проходили детские и отроческие годы поэта. Сюда он приезжал навестить бабушку в 1836 году, слал письма, присылал Елизавете Алексеевне свои картины, написанные на Кавказе. Сейчас их можно тут увидеть. Здесь же на книжных полках стоят прижизненные издания Пушкина и Байрона, двух поэтов, которых Лермонтов обожествлял с детства. В этом доме идут часы, которые отсчитывали время его жизни, висят зеркала, отражавшие лица тех, кто окружал поэта в Тарханах. Лермонтов хотел, чтобы его похоронили в Тарханах. Экскурсоводы цити-

руют из его знаменитого: «Как часто, пестрою толпою окружен...»:

*...И вижу я себя ребенком; и кругом
Родные всё места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей.
Зеленой сетью трав подернут спящий
пруд,*

*А за прудом село дымится — и встают
Вдали туманы над полями.*

В аллею темную вхожу я...

И обращают внимание на то, что разрушенная теплица, восстановленная на старом фундаменте, сейчас действует, пруды не покрыты сетью трав, а вычищены и отражают небо. Вот только темная аллея так же темна, как и при Лермонтове...

ВЕРНУТЬСЯ СНОВА

Любой сотрудник Музея-заповедника «Тарханы», включая технический персонал, может прочитать вам стихотворение Лермонтова. Такие тут требования. Для персонала в музее-заповеднике организована студия балльных танцев, курсы по декламации, проводятся уроки верховой езды. Садовники, конюхи и электрики превращаются в галантных кавалеров, а бухгалтеры, секретари, искусствоведы — в великосветских львиц. Делается это для того, чтобы раз в неделю гости Тархан смогли оказаться на самом настоящем балу первой половины XIX века, окунуться в атмосферу изысканных бесед о литературе и искусстве, ведущихся на безукоризненном русском языке.

Видели мы в музее-заповеднике и конную карусель, любимую забаву в барских усадьбах. Дамы в амазонках, кавалеры во фраках (по совместительству садовники, электромонтеры и экскурсоводы) под марши и вальсы гарцевали на породистых скакунах перед фотоаппаратами и видеокамерами гостей. Вместе с нами дивился на эти превращения и Михаил Юрьевич Лермонтов. Так все называли высокого импозантного мужчину с черной бородой. Потомок поэта приехал в Тарханы в очередной раз поклониться предку, подумать о чем-то своем перед гробом, установленным в часовне.



В этом барском доме своей бабушки Е.А. Арсеньевой М.Ю. Лермонтов провел свои детские годы

АНДРЕЙ СЕМАШКО

Рядом с часовней находится квартира директора Музея-заповедника «Тарханы» Тамары Михайловны Мельниковой. Каждый рабочий день она начинает с посещения часовни. А потом идет длинной дорогой мимо прудов и парка до самых ворот усадьбы.

«Знаете, в чем главная загадка Тархан? — спрашивает Тамара Михайловна. И сама же отвечает: — Те, кто побывал тут хоть один раз, обязательно вернутся».

Благодаря таким руководителям, как Тамара Михайловна Мельникова, музейное дело, которое традиционно считается «пыльным», наполнилось новым содержанием.

– **Тамара Михайловна, вопрос, который невозможно не задать в Лермонтове: кого можно считать героем нашего времени?**

– Мы слишком серьезно подходим к определению «герой нашего времени», а сам Лермонтов с иронией относился к этому определению. Но я бы назвала героями нашего времени музейных работников. Я не тяну одеяло на себя. Но работают в музеях люди, которые воспринимают это дело не как место наживы. Вспомните слова Дмитрия Лихачева: музейщики и библиотекари — последние святые на Руси. Среди музейщиков таких много. Для меня образцом был Попов Валентин Сергеевич, главный хранитель Государственного Литературного музея в Москве. Я у него училась, каким нужно быть музейщиком.

– **Лермонтов много писал о Кавказе. Среди программ музея-заповедника есть такие, которые связаны с кавказской темой?**

– Мы помогаем делу реабилитации ребят, которые вернулись после службы в так называемых горячих точках, в том числе на Кавказе. Мы знаем: война это тяжело и ужасно. Но можно и на войне не потерять душу. Те страшные картины, которые видели ребята, видел и Лермонтов. Может, даже ужаснее. Когда Лермонтов через все это прошел, он сказал: «Я жизнь постиг». Но не озлобился после этого.

Он понимал, что были враги, с которыми надо воевать, но был и народ Кавказа, который поэт любил и уважал. Я год назад писала президенту Чеченской Республики господину Кадырову, чтобы он взял под свое крыло музей Лермонтова рядом с Грозным. Располагается он в старом доме XVIII века, принадлежавшем когда-то сестре Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Я не знала об этом музее. Даже коллеги из Пятигорска не говорили нам о нем. Поэтому очень хотелось бы, чтобы музей сохранился, а мы готовы им помочь. Я всегда повторяю: Лермонтов — это одно из немногих положительных звеньев, которое связывает Кавказ и Россию. Да, много обид. Но надо взять и использовать то прекрасное, что есть.

– Музей-заповедник расположен вдали от культурных центров. Окружают его поля, леса, по дороге рядом идет в основном грузовой транспорт. По сути, это глубинка со своими устоями. Можно ли говорить о культурном влиянии музея-заповедника на село и его жителей и в чем оно заключается?

– К нам сейчас привыкли. Но первые 15–20 лет из тех 40, что я тут работаю, с местными жителями было сложно найти общий язык. Почему? Мы всегда были бедные, а тут совхоз богатый. В музей никто не шел работать. Зарплаты маленькие. Зато общественное мнение требовало от нас высокой культуры в одежде, в поведении, в разговорах. При этом относились к музейщикам как к чужакам.

Сейчас противостояние между селом и музеем прошло. Музей оказался сильнее. Но попал он в список особо ценных объектов не просто так. Надо было показать свое умение и желание работать. Только заработанная трудом слава позволила появиться помощникам, таким как Астафьев, Распутин, Лихачев. Когда мы подали документы в Москву на признание музея-заповедника особо ценным объектом, то эти и многие другие люди нас активно поддержали. Сейчас музей превратился в селообразующее предприятие. На музейщиков в селе смотрят как на спасителей. Люди знают, что я все сделаю для того, чтобы посетители музея не испытывали дискомфорта в селе. Я тут сторож: «Ребята, выйдите на улицу. Видите ветхие постройки — уберите, видите мусор — уберите. Как вам не стыдно! Туристы едут». Но не всегда горят желанием выполнять мои пожелания. Иногда и судом пригрозить. В прежние годы вырубали деревья в парке. Год назад шел пьяный и вырвал молодые липки, недавно посаженные музеем. Мы его нашли, и он все оплатил и посадил заново.

Сегодня полная смена настроений. Слова благодарности в мой адрес звучат. В каждом доме села Лермонтово кто-то работал в музее, работает или будет работать. Поэтому я говорю: в каждом доме есть мой посланец.

У нас разработаны корпоративные правила, из которых следует, что работник музея должен везде вести себя достойно. Такое отношение сформировалось в силу

необходимости. Мы живем в селе, и сотрудники музея должны быть образцом культуры и воспитания.

– Трудно приглашать работать в глубинку людей со специальным образованием?

– Из местных жителей берем работников, как правило, технических. Присматривать среди учеников школы будущих научных сотрудников и экскурсоводов музея неперспективно. Сельские дети пока не уедут в мегаполис, пока не хлебнут там горя, пока не поймут, что город ничего не дает, кроме возможности лучше выйти замуж, они сюда не пойдут. Им нужно время и опыт, чтобы все оценить. Им надо увидеть мир, иначе они не поверят, что лучше Тархан трудно что-то найти. А в кадрах полагаться на случай нельзя. Готовясь приглашать новых людей, мы строим квартиры. За новыми сотрудниками ездим в институты, в училища. Вот четыре девушки приехали и всем дали жилье. Мне нравится их работа. Не отказываемся от местных. Пришла дочь сотрудницы. Пришли музыканты из сельского дома-культуры. Приехали супруги из Пензы. После выступления на «Радио России» в передаче «Вирази времени», которую ведет поэт Андрей Дементьев, предложили свои услуги два молодых человека: один из Гродно, другой из Винницы.

– Тамара Михайловна, а как вы попали впервые в Тарханы?

– Мы с мужем приезжали в Тарханы в

1962 году, это было наше свадебное путешествие. Ночевали в палатке, за день всего не осмотришь. Работать сюда приехала в 27 лет и уже 41 год тут.

Наша семья была эвакуирована в Пензенскую область с Украины во время войны, привезла нас мама, отец был пограничником, погиб сразу. Мама осталась с тремя детьми. Брат погиб под бомбами дома, 5-летняя сестра умерла в эвакуации в селе рядом с Пензой. Я после пензенского пединститута работала в школе. Нас часто навещал тогдашний директор Тарханского музея, с женой которого я училась. Они-то нас сманили сюда, узнав, что мой муж — художник. Поселили на

территории музея в административном здании. Приехала я на должность старшего научного сотрудника, потом была завфондом, главным хранителем. Прошла все ступеньки в музее. Водила в день более 10 экскурсий. Я так работала над экскурсиями: вечерами в пустых помещениях репетировала, искала фразы, наиболее выразительные. Нужно сказать кратко, но много и что-то важное. Для большой группы одно, для маленькой другое. Каждый раз стараешься сказать разное, всего объять невозможно. И всегда должно прозвучать стихотворение Лермонтова. Оно должно быть патетичным, с какой-то нотацией, нравственным уроком. И органично вытекать из того, что я говорю. Теперь могу сказать: ни разу никто не скучал в Тарханах. Не было ни одной экскурсии, которую бы вернули к воротам, потому что некому было водить. Однажды пришла экскурсия школьников в 6 часов утра, ночью ехали. Было и такое, что приходилось оставлять больного ребенка дома. И сама больной выходила. Сейчас условия намного лучше, и я не нахожу слов, чтобы сказать, как я благодарна своим сотрудникам.

Когда я начала заниматься музеем, была цель: добиться абсолютной подлинности всех деталей, которые составляют музей. Двери ставили не красивые, а такие, какие были тогда. Нельзя делать красивее, чем было тогда. Подлинность во всем. Для меня самый большой комплимент — слова гостей: «Мы были в 1960 году. Все как было раньше. Только как будто вымыли». Я по старинке иногда и сама с удовольствием экскурсии вожу.

– А случались вопросы о Лермонтове, которые вас ставили в тупик?

– Не настолько они хорошо знают Лермонтова, чтобы задать такой вопрос. Вот был потрясающий экскурсант Александр Исаевич Солженицын, который все записывал в тетрадочку. «Александр Исаевич, отдохните, все, что я рассказываю, я вам дам в напечатанном виде». Нет, он хотел сам все записать. А уж он ли не знал Лермонтова! Он сказал: «Я приехал, чтобы понять, откуда этот мальчик пошел. Откуда он набрался!»

– В музее, безусловно, было много знаменитых гостей?

– Ираклий Андроников сюда приезжал первый раз в 1948 году, в последний при мне, в 1975-м, на Лермонтовские чтения. Он замечательно сказал: «Прекрасный музей: сочетание науки и искусства». У нас были Валентин Распутин, Сергей Михалков, Александр Твардовский. В книге отзывов оставили прекрасные записи Евгений Примаков, Олег Ефремов, Михаил Ульянов, Олег Даль, Юрий Соломин, Наталья Гундарева, Элина Быстрицкая, Станислав Говорухин, Валерий Золотухин, Петр Проскурин, Александр Солженицын, Григорий Бакланов, Рэм Вяхирев, Алексей II был, Лев Аннинский, Андрей Дементьев, Иосиф Кобзон, Сергей Миронов, Сергей Шакуров. Сергей Безруков мне сказал: «Был во многих музеях, бывает стыдно за бедность. А сегодня я с легкостью ходил по музею. Ничто не

нарушило моего общения с Лермонтовым».

– Что вы считаете самым главным достижением в работе музея и в своей?

– Мы стремимся к тому, чтобы имя Лермонтова звучало во всем мире. Так оно и происходит. Растет число иностранцев среди гостей. А лично своим? Мне инструктор обкома партии говорил: «Тамара Михайловна, что вы без конца читаете одно и то же стихотворение. Вот у нас экскурсия будет, вы не читайте «Думу». Лучше про любовь». «Ведите экскурсию сами», — ответила я и ушла. Я всегда пресекала такие попытки. Чем было вызвано такое замечание? Эти гениальные строки — упрек и интеллигенции, и руководству. Им не хотелось лишний раз слышать его.

Но однажды был случай. Первый секретарь Пензенского обкома привез высокого гостя из Москвы, привез вечером, потому что хотели в тишине все осмотреть. Я безропотно вышла, а гость мне говорит: «Тамара Михайловна, я не хочу вас огорчать, я не хочу, чтобы вы напрягались. Лермонтова я не люблю. Меня привезли сюда ваши начальники. Я приехал сюда из благодарности к ним, потому что они очень гордятся Тарханами». «А почему вы не любите Лермонтова?» — спросила я. «Он был плохой внук, плохой человек, а потом после Пушкина можно было бы и без него обойтись». Я говорю: «Ну хорошо. Я напрягаться не буду». Экскурсия началась. Но не могу же я не вступить за

Лермонтова в такой ситуации? Я говорила только словами современников, которые знали Лермонтова, только словами Лермонтова из его произведений и писем. На пороге музея спросила гостя: «Мог ли плохой человек так поступать?» Он признался: «Простите, Тамара Михайловна, я был не прав, я немного выпил». Он и говорил так высокомерно о Лермонтове из-за пьяной бравады. Было много странных и забавных случаев. Было много побед. Но тот случай я считаю своей самой главной победой. 🍷



EAST-NEWS

КАК СТЕПЬ И МОРЕ

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Мальчик сидит в промерзлой бакалейной лавке на ящике из-под сардин и тоскует. Делать уроки в таком холоде невозможно. Он отвлекается на болтовню с приказчиками, обслуживает клиентов, подсчитывает выручку. И знает, что по латыни завтра получит двойку, а отец снова выпорет, хотя сам же велел в лавке сидеть. Пока никто не знает, что мальчика потом назовут гением.

ЧЕХОВ ГОВОРИЛ: «В ДЕТСТВЕ у меня не было детства». Утром гимназия, днем лавка, вечером спевка: отец собрал любительский церковный хор, который поет по праздникам в церквях. В воскресенье — обедня, домашний акафист, потом еще одна служба. На каникулах — работа в лавке: отец считает, что детям вредно бездельничать и болтаться с приятелями, которые научат плохому. Порки, попреки куском хлеба, многочисленные будни Чеховых. Учеба не доставляла мальчику удовольствия: сначала его отдали в греческую школу, где мальчиков били линейкой и ставили на колени на крупную соль, затем была гимназия

с обилием латыни и двоек. Разве что иногда после школы братьям Чеховым удавалось улизнуть ловить рыбу или птиц. Из радостей, конечно, еще были море и поездка на Дон через степь. Море и степь, бескрайние и прекрасные, говорили о воле, просторе, широте и красоте мира, не ограниченного лавкой и гимназическим классом.

Родители Антоши Чехова были потомками крепостных крестьян, которым удалось выкупить себя из рабства. Отец, Павел Егорович, гонял скот, затем осел в Таганроге и открыл бакалейную лавку. Глубоко верующий, он старался и детям своим внушать понятия о христианской этике, приучал их к труду, водил в церковь... Но добру детей он учил розгой, не зная других методов. Отец любил музыку, сам выучился играть на скрипке и разбирать ноты...

Чехов говорил, что у всех детей в их семье талант от отца, а душа — от матери. Дети и впрямь были талантливы; устроили даже домашний театр, в сценках Антону обычно доставались роли комических старух.

Мать свою, Евгению Яковлевну, робкую женщину, Чехов очень любил и нежно о ней заботился. Она платила ему, как выразился писатель Потапенко, «благоговейной нежностью». К отцу Антон Павлович относился с видимым почтением, но холодно.

У чеховских маленьких героев часто такое же горькое, подневольное детство. Но Чехов никого не обвиняет, не проповедует — только показывает. Так точно, так психологически достоверно, что крохотная зарисовка с натуры приобретает силу обличительного документа.

Писать «с тенденцией» и страдать о горе народном было в литературе конца XIX века хорошим тоном. Чехов потому и отличался от современных ему писателей, что всего лишь спокойно рассказывал историю — без восклицаний, проклятий, призывов и морали. А действовали на читателя эти безыскусные на первый взгляд рассказы до слез. Критики, однако, до самой смерти обвиняли писателя в безыдейности, беспринципности, равнодушии к идеалам и нуждам российской действительности.

СВОБОДА

Дела бакалейной лавочки постепенно катились под гору, Павлу Егоровичу грозила долговая яма. Спасаясь, семейство Чеховых перебралось в Москву, где отец с трудом нашел место младшего приказчика в амбаре.

В 1876 году Антон остался один в Таганроге — до окончания гимназии. Он жил в старом родительском доме, который приобрел друг семьи; окупая свой стол и кров, помогал в учебе хозяйскому сыну. Избавленный от отцовского контроля, он почувствовал некоторую свободу. В гимназии он ничем не выделялся — соученики его толком не запомнили. Порядки были строгие, Чехову постоянно попадало за то, что он позволял себе явиться в гимназию, например, в клетчатых брюках вместо форменных. Одним из любимых учителей Чехова в гимназии был отец Федор Покровский, который первым обратил внимание на литературный талант юноши и подарил ему псевдоним «Чехонте». Антон Павлович, помнивший и ценивший добро, потом выхлопотал для старого священника орден за участие в Русско-турецкой кампании. Добром он оплатил и таганрогской городской библиотеке, где в юношестве постоянно брал книги: туда он передал всю свою личную библиотеку, туда присылал сотни книг, собрания сочинений.

К гимназическим годам относятся его первые литературные опыты, в том числе первая драма, «Безотцовщина». Кроме того, были написаны три водевили (в театре Чехов впервые попал в 13 лет, на оперетту Оффенбаха, и сразу в театр влюбился); было множество рассказов и сценок, которые не сохранились. Юморески для гимназического журнала, шутки, смешные подписи к картинкам вылетали из-под чеховского пера в бесчисленном количестве. Он находил в окружающей жизни невероятно много смешного — или, скорее, настолько нелепого, что над этим можно только смеяться.

Мать обиженно писала ему в 1876 году, вскоре после переезда в Москву: «Мы от тебя получили 2 письма наполнены шутками, а у нас в то время только было 4 коп. и на хлеб и на светло. Ждали мы от тебя не пришлешь ли денег, очень горько...» Поразительно, что родители и старший брат ждут денег от 16-летнего гимназиста, а не наоборот. Совершенно неизвестно при этом, было ли у него самого хоть четыре копейки.

ДЕБЮТ

Окончив гимназию, Чехов перебрался в Москву, где поступил в университет на медицинский факультет. Учился хорошо. Тогда же Чехов начал писать и отдавать в развлекательные журналы свои рассказы, которые подписывал то «Антоша Чехонте», то «Человек без селезенки». Были и другие псевдонимы, смешные или странные, — больше полусотни. Он быстро прославился как автор уморительно смешных историй.

В Москве же Чехов переработал «Безотцовщину» — по воспоминаниям его младшего брата, Михаила, она была «с конокрадами, стрельбой, женщиной, бросающейся под поезд, и т.п.» — и отдал ее Ермоловой, та вернула драму, кажется, непрочитанной. Первый сборник рассказов — «Шалость» — не издан, возможно, по цензурным условиям. Первой опубликованной книгой стали «Сказки Мельпомены», вышедшие в 1884 году, за ними последовали «Пестрые рассказы» и «Невинные речи».

В 1883 году студент Чехов стал московским корреспондентом «Осколков». В 1884 году окончил университет и занялся медицинской практикой — работал в Воскресенске и Звенигороде, ездил на вскрытия, выступал экспертом в суде, словом, выполнял трудные обязанности русского земского врача. Фактически он давно стал главой семьи, которую содержал на литературные заработки. Михаил Чехов вспоминал: «В нашей семье появились вдруг неизвестные мне дотеле резкие, отрывочные замечания: «Это неправда», «Нужно быть справедливым», «Не надо лгать» и так далее». Удивительно, что Чеховы признали его старшинство и авторитет, и даже отец к концу жизни переменялся. Старший брат писателя, Александр Павлович, рассказывал: однажды, когда взрослые уже братья Чеховы стали вспоминать, как их пороли, отец сказал виновато: «Пора бы уж об этом и позабыть. Мало ли что было в прежнее время?! Прежде думали иначе...»

ПО КАПЛЕ

Восьмидесятые годы для Чехова — время не только писательского, но и человеческого становления. Он старается освободиться от наследия жизни в купеческой среде, вытравить из манер подобострашие, из речи ошибки и диалектизмы (уроженец Таганрога, он вместо «стул» говорил «стуло»). Он работает над собой, «выдавливая из себя по капле раба», как написал Суворину; жаль, что эта метафора стала расхожей до полной потери смысла. Это точное описание той трансформации молодого медика — превращение из человека испуганного, битого, связанного предассудками и страхами, в человека свободного, уважающего свое и чужое достоинство.

Медицинские и литературные заработки позволили молодому доктору кормить семью, снимать на лето дачи, перестать думать о копейках «на хлеб и светло». На дачи он постоянно зазывал гостей, которые вспоминали, что Чехов разыгрывал друзей и домашних и смешил всех до колик. И дарование его казалось всем именно таким — веселым, легким, эффективным.

Но эта удивительная легкость и веселость совмещались в нем с придирчивой, постоянной работой над собой, с кропотливым литературным трудом и безрадостной медицинской практикой, которая хоть и давала ему массу жизненных наблюдений, но тяготила. Может быть, существовал в те годы профессия психотерапевта — Чехов с его вниманием к мельчайшим движениям души мог бы стать светилом в этой области. Его наблюдения отличаются такой клинической точностью, что цитаты из чеховских рассказов можно и сегодня встретить в качестве иллюстраций к психологическим пособиям.

УСПЕХ

Следующий сборник Чехова, «В сумерках», был тепло принят и критикой, и публикой. Стало понятно, что в русской литературе появился крупный писатель с совершенно новой творческой манерой. «Петербургская газета», например, писала, что от чеховских рассказов «веет правдивой жизненностью, искренностью чувства, пластичностью образов и красотой поэтических описаний природы. Г-н Чехов несомненно поэт, хотя и пишет прозой, — более поэт, чем иные патентованные стихослагатели». Академия наук присудила сборнику половинную Пушкинскую премию. Стало возможно перестать строчить ради денег, задуматься. Чехов посоветовался с друзьями, съездил на юг, в родные места — и после этой поездки написал поэтичную и просторную повесть «Степь».

Дела Чехова шли на лад. Он много и хорошо писал для театра — и пьесы («Иванов», «Леший», «Свадьба»), и водевили («Медведь», «Юбилей» и пр.); некоторые из них шли с большим успехом. Его наперебой звали в гости. Часто и гостей звали «на Чехова», к его величайшему смущению. Сам он придерживался сформулированного много позднее принципа «быть знаменитым некрасиво» и старался держаться в тени. И к своим писаниям относился с видимым пренебрежением: нацарапал, настрочил... и вечно был собою недоволен. Да, множество публикаций, и премия — «и при всем том нет ни одной строчки, которая в моих глазах имела бы серьезное литературное значение», писал он в 1889 году.

Его излюбленная поговорка была — «надо себя дрессировать!».

Вроде бы все было хорошо. Он молод и знаменит, сборник раскупается, деньги есть — но чего-то не хватает. «Нет, не то мы пишем, что нужно!» — восклицает он в письмах. «Чувство мое говорит, что занимаюсь я вздором». «Потягивает

меня к работе, но только к литературной, которая приелась мне». Он тоскует по настоящему делу. Вскоре оно нашлось. В обществе шли разговоры о тяжелом положении каторжан на Сахалине. Чехов собрался туда ехать — и привезти точный отчет о положении каторжан и состоянии дел. Засел за справочники, газеты и журналы, статистические выкладки; работа была скучная и тяжелая; он жаловался, что от этого чтения «в мозгу завелись тараканы»... И все-таки поехал. Железных дорог тогда не было, путь на Сахалин был долгим и тяжелым — на лошадях, по бездорожью; то он топал по распутице, то ночевал в избе на полу, то его обобрали случайные попутчики... Вся поездка — за свой счет; сделанная ею пробоина в чеховских финансах не затягивалась несколько лет. Ему пришлось обойти и объехать остров, по площади почти равный целой Чехии, и вручную переписать его обитателей. Этот труд — все чеховские переписные карточки — был недавно полностью издан на Сахалине. Он собрал огромное количество статистических данных и живых впечатлений, которые полностью обработал и опубликовал в 1895 году в книге «Остров Сахалин», решительно не похожей ни на какие другие произведения Чехова. После тяжелого Сахалина он возвращался домой кружным путем, через Индию, Сингапур, Цейлон, Порт-Саид и Константинополь. Поездка подорвала его здоровье, обострился туберкулезный процесс — но Чехов, внимательный и опытный врач, отличался странным невниманием, пренебрежением к своему здоровью; носиться с ним ему казалось стыдно и недостойно — пока туберкулез не укладывал его на больничную койку.

Поездка на Сахалин стала рубежом, отделяющим раннего Чехова от зрелого. Сказались ли тяжелые впечатления или нездоровье, но веселость иссякла, сохранившись лишь для досугов с друзьями; та самая повседневная нелепица русской жизни, которая раньше вызывала смех, теперь порождала тоску и недоумение; он и пре-

жде не был записным весельчаком — еще до Сахалина увидели свет мучительная до слез «Тоска» и жуткий рассказ «Спать хочется». А может, само время сыграло свою роль — время, о котором современники говорили, что это «сумерки Чехова, Чайковского и Левитана», время апатии и тоски о чем-то большем... Недаром на свет являются «Хмурые люди», а еще перед тем — «Скучная история». Это новый Чехов с новыми героями и новой поэтикой: это жизнь как она есть глазами обыкновенных людей. Чехов внес в литературу удивительное умение — не навязывать читателю ответы, а правильно ставить вопросы.

САДЫ И ШКОЛЫ

Два года по возвращении с Сахалина Чехов прожил в Москве на Малой Дмитровке, затем, в 1892 году, купил имение Мелихово, где поселился вместе с семьей; отец его оставил работу и занялся хозяйством в имении. Год был тяжелый — Чехов занимался помощью голодающим и работал на холере. Своему издателю Суворину он писал тогда: «Нехорошо быть врачом. И страшно, и скучно, и противно. Молодой фабрикант женился, а через неделю зовет меня: «Непременно сию минуту, пожалуйста»... Все это противно, должен я это сказать. Девочка с червями в ухе, поносы, рвота, сифилис — тьфу! Сладкие звуки и поэзия, где вы?» Но врачом он был безотказным, крестьян принимал много и бесплатно, много сделал для земства...

Он уже знал, чем хочет заниматься, и знал, как это сделать; теперь медицина только отвлекала его. В Мелихове написаны «Попрыгунья», «Скрипка Ротшильда», «Учитель словесности», «Чайка», «Дядя Ваня»... В Мелихове был сад, которым Чехов занимался со страстью. Позднее, когда чахотка вынудила его поселиться в Крыму — где он тоже, конечно, стал сажать сад, — он даже сообщал жене телеграммой, что у него расцвела камелия...

Сажать сады, строить школы и открывать библиотеки — ему было важно не только гневно рассказывать, как плох этот мир, но и добиваться, чтобы он стал лучше. Чехов построил на свои деньги три школы в Подмосковье, проложил шоссе, насадил сад. Садоводы в его прозе — творцы и поэты, им отданы лучшие мысли и главные слова.

ПОСЛЕДНЯЯ ПЬЕСА

В 90-х годах Чехов пишет совсем уж безрадостные вещи: пошлость засасывает его героев, и справиться с ней им не помогают ни любовь, ни добрые дела. Читатели — не в восторге от такой перемены в любимом авторе и требовали от него «мажорных аккордов». Казалось, он пишет о том, «как все плохо», хотя на самом деле он занимался исследованиями тонких и важных материй: че-

ловеческой души и ее взаимодействия с другими душами. Наблюдения были неутешительными: каждый человек оказался носителем внутренних конфликтов, которые ограничили и его собственное развитие, и способность понять другого; это не «среда заела», это сам человек отдает себя окружающей пошлости. Но что удивительно: как бы отвратительна ни была история, которую он рассказывает, в ней обязательно присутствует какой-то камертон, позволяющий точно настроить звук; всегда есть какое-то свидетельство настоящей жизни, гармоничной и прекрасной, — даже в безысходной «Палате №6» в бреду доктора Рагина несутся олени, «необыкновенно красивые и грациозные».

Тонкие механизмы конфликтов стали основой принципиально новой чеховской драматургии, вначале вовсе не понятой ни публикой, ни критикой. «Чайку» с Комиссаржевской в главной роли бенефисная публика и вовсе освистала, и Чехов бежал, не вынеся позора. Но через два года — потрясающий триумф в Художественном театре... затем «Дядя Ваня»... Уже очевидно, что это новое слово в драматургии, и надо работать, и работа требует его присутствия в Москве, в театре... Но у Чехова обострился туберкулез, а лечить его в те годы можно было только мягким климатом... И Чехов, похоронив отца и продав Мелихово, уехал с матерью в Ялту, где купил свой дом (и, конечно, посадил вокруг него сад).

В 1901 году он женился на актрисе Художественного театра Ольге Книппер — и многие сокрушались, видя, как они смотрятся вдвоем: он — исхудавший и постаревший, она — молодая и блестящая. Он должен был зимовать в Ялте, ей нужно было работать в Москве; он изнывал от сидения в заглохшем на зиму курортном городишке и рвался в Москву, где кипела жизнь и ждала жена. Но... Последнюю свою пьесу, «Вишневый сад», он писал уже еле живой, иногда по две строчки в день.

В 1904 году ему стало так плохо, что в России оставаться было уже нельзя; Чехов с женой выехал в Германию, где вскоре и умер.

И критики дружно запели о сумрачном даровании, о чеховском пессимизме, безрадостности и безволии. Затем, правда, наступило новое время, и Чехов стал критическим реалистом и яростным обличителем существующего строя.

МЕТРОНОМ

Удивительно, что в воспоминаниях друзей Чехов разный: одни говорят о его слабости, нежности, деликатности, кто-то даже называет его «бесхарактерным»; другие — о железной воле. А кто-то пишет, что он был «духовный богатырь». Что у него был «постоянно действующий внутренний метроном».

Вот этот «метроном», пожалуй, самое удивительное в Чехове — и человеке, и писателе: ему удавалось выдерживать верный тон, нигде не сбиваясь на фальшь. Как бывает тонкий музыкальный слух, так, наверное, бывает и тонкий человеческий — не литературный даже, а именно человеческий слух: удивительная чуткость ко всякой лжи, криводушию, самолюбанию, неестественности — хоть в речи, хоть в поступках.

Чехову удалось построить непротиворечивую систему человеческой этики и художественной эстетики. Ее называют иногда безрелигиозной системой в русской литературе, но это не особенно верно, как неверно всякое определение от противного. Лучше всего иллюстрирует эту чеховскую гармонию рассказ «Архиерей», написанный перед смертью. Это простая история о том, как к немалодому больному архиерею на Страстной седмице приезжает его больная мать с племянницей. Мать стесняется сына, дослужившегося до большого чина, племянница робко просит денег, сам архиерей служит долгие службы этой недели до гудения в ногах и боли в спине — и умирает в Страстную субботу от брюшного тифа. Но этот рассказ о болезни, старости, общей нелепости и смерти — совершенно прозрачен и прекрасен, от первых строк, где архиерей внезапно заплакал на всенощной в Вербное воскресенье, а вместе с ним — все, кто был в церкви, и до последних, где умирающий архиерей, уже не отец Петр, а просто Павел, идет куда-то, легкий и свободный, а его старушке-матери потом никто и не верит, что сын у нее был архиерей...

Вроде бы все плохо, но рассказ пронизан весенней, пасхальной радостью. Он удивительно гармоничен и соразмерен. Только у Чехова, наверное, было такое точное чувство масштаба человеческой жизни в мире, такая точная мера всех вещей, что безнадежные обстоятельства — старость, разочарование, нищета, брюшной тиф и смерть — не заслоняют вечной и огромной, как степь и море, правды, ради которой только и стоит жить. 📖



АНТОН БЕРКАСОВ

«ГДЕ ОН ПРОВЕЛ ЗЛАТУЮ МЛАДОСТЬ»

МИХАИЛ БЫКОВ

Неполных 27 лет — вот и все, что отвел Господь Михаилу Лермонтову на грешной земле. Но как много городов и дорог наполнили жизнь великого поэта. Петербург и Царское Село, Пенза и Новгород, Тарханы и Кропотово, Тамань и Пятигорск, Ставрополь и Чечня... И, конечно, Москва, в которой поэт родился и прожил добрую половину жизни.

С ЕГОДНЯ ПОЧТИ ВСЮДУ В перечисленных городах и весях работают лермонтовские центры. Подчас даже складывается впечатление, что поклонники лермонтовского гения из разных городов соревнуются меж собой в любви к памяти и наследию поэта. Что, в принципе, очень даже хорошо.

На сей раз первую скрипку сыграли Москва и подмосковная усадьба Середниково. В конце мая в столице прошли Пя-

тые Московские Лермонтовские чтения, организованные столичным филиалом Лермонтовского общества.

Само собой, чтения состоялись в московской городской библиотеке имени М.Ю. Лермонтова. Представители Москвы, Ставрополя, Саратова, Белгорода, Пензы предложили лермонтоведам и обыкновенным почитателям творчества поэта целую россыпь исследований и докладов. Наряду с маститыми специалистами выступили и молодые. Пожалуй, наибольший интерес в этом смысле вызвал даже не доклад, а собственно докладчик — Никита Гусятников, второкурсник филологического факультета МГУ, с темой «Г.А. Печорин: человек и демон». Помимо устных докладов на чтениях был представлен и второй выпуск Московского Лермонтовского сборника, изданный ФГУП «Известия» и включивший работы, озвученные на предыдущих конференциях и подготовленные непосредственно к Пятым чтениям.

Второй день чтений прошел в усадьбе Середниково. Это один из немногих проектов сегодня, отличительной чертой которого является желание сохранить историческое наследие и снять с государственной казны непосильное бремя содержания и охраны всех памятников культуры, доставшихся нам в наследство от предков. Кто знает, может быть, имя нынешнего руководителя проекта и арендатора усадьбы этому способствует? Как-никак Лермонтов, Михаил Юрьевич. Потомок великого поэта.

В любом случае те, кто видел Середниково лет двадцать пять назад под именем «пансионат «Мцыри», разводят в удивлении руками. Нынешнее Середниково живет и процветает.

Великий поэт бывал здесь в отрочестве и юности. Гостил в имении, принадлежавшем Столыпину, брату его бабушки Елизаветы Алексеевны. «Где он провел золотую младость» — это строки о Середниково. В середине XIX века в имении бывал другой великий наш соотечественник — будущий реформатор Петр Арка-



Ольга Злобина
и Геннадий Валяев

АНТОН БЕРКАСОВ

дьевиц Столыпин. А после имение было продано уже представительнице элиты купеческого сословия Вере Ивановне Фирсановой. К слову сказать, это ее имя носит известная подмосковная станция пригородных электричек Фирсановка. И неслучайно. Платформу построили на средства Веры Ивановны. Это не единственное ее благотворительное дело. В самом имении Фирсанова построила школу для деревенских ребятишек, отреставрировала храм Алексея Митрополита XVII века, а в год 100-летнего юбилея поэта установила памятную стелу. Она же заказала только что вернувшейся после учебы во Франции скульптору Голубкиной бюст Лермонтова, который сегодня находится в главном здании усадьбы. По приглашению Веры Ивановны в Середниково бывали Рахманинов, Юон, Серов, пел Шаляпин.

Нынешний Лермонтов тоже не сидит сложа руки. В последний период приведен в порядок пруд, из бывшего конного манежа сделан многофункциональный зал, где можно проводить и выставки, и конференции. Собственно, об этом и рассказывал участникам Пятых Московских Лермонтовских чтений директор НЛЦ «Середниково», президент международной ассоциации «Лермонтовское наследие» Михаил Юрьевич Лермонтов.

Завершились чтения концертом, который дали лауреаты международных конкурсов, солисты Камерного театра Лермонтовского центра в... Башкортостане Ольга Злобина и Геннадий Валяев.

Выходит, лермонтовские центры есть и там, где сам поэт никогда не был. Хотя, что тут удивляться? 🍷



П.Е. Щербов.
А.И. Куприн
и художник Троянский
в Гатчине.
Шарж. 1910-е годы

ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

Апокриф верен лишь отчасти, ибо Куприн в Гатчину действительно вернулся и лето 1938-го провел по соседству с родным домом, на даче инженера Беллогруда. Торжественного возвращения не было, митинга тоже. Гатчинцы отлично помнили Куприна: он считал приятным долгом писать в местную газету и вообще заботиться о развитии городка, и люди к нему приезжали интересные. Сторож, помнивший его, на станции был. Что Куприн с ним пил — сомнительно, он уже был болен. Но кухарка Катерина, которую Куприн едва узнал («поперек себя толще!») — радостно писала о ней Елизавета Морицовна дочке Кисе), бежала им навстречу с радостным криком: «Наши приехали!» Ни Куприн, ни жена его не нашли в себе сил зайти в «зеленый домик», как называли они свою дачку, так и смотрели издали. Новые жильцы принесли им клубники «Виктория» — кусты сажал Куприн; садоводом он был капризным, выращивал только то, что любил, — клубнику и нарциссы, — прочим же не интересовался. Он этой клубники успел поесть. А через два месяца, 25 августа 1938 года, умер от рака пищевода.

Разговоры о том, что он в России ничего не соображал, тоже апокрифичны и как-то особенно подлы, ибо в них отчетлива попытка принизить его последний выбор, превратить триумфальное возвращение в советскую пропаганду. Правда и то, что въехал он в Россию в отвратительное и страшное время, о котором ничего не знал, которого не понимал — как, впрочем, и добрая половина местного населения. Но сказать, что Куприна затащили в Россию обманом, исключительно ради пропаганды, — явная клевета; в эмиграции этот слух особенно распускали люди из круга Зинаиды Гиппиус, женщины умной, но непримиримой и притом безнадежно

СКОЛЬКО ИСТИН В КУПРИНЕ

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Рассказывают, что, когда в 1937 году Куприн вернулся в Россию, ему решили торжественно вернуть домик в Гатчине, где он квартировал с 1911 года. Это был зеленый домик №19 на улице Елизаветинской (ныне Достоевского). Дачка крошечная, деревянная, с нынешними подмосковными коттеджами несравнимая.

П РОЖИЛ ОН ТАМ ДО САМОГО БЕГСТВА ИЗ РОССИИ, ДО 1919 ГОДА. И вот, значит, решили ему этот сохранившийся домик воротить. Митинг, оркестр, гости. Надо говорить речь. Хватились — нет Куприна! Куда сбежал? Оказывается, сбежал на станцию, где в местном буфете со сторожем, хорошо его помнившим по старым временам, пил запрещенный ему мерзавчик и обсуждал былое. А помнишь Заикина? А помнишь, как я на шаре поднимался? Теперь, конечно, не то... То, то, Александр Иваныч! Еще слетаешь, еще напишешь! Там, в углу буфета, он и отметил возвращение, и никто не посмел извлечь его оттуда.

зашоренной. Куприн знал, куда едет, а растерянность и подавленность его в первые дни на Родине объяснялись просто: он много резкого понаписал о большевизме и в 1919-м, и в первые годы после эмиграции. Сейчас эти его статьи собраны, изданы в России — полней всего, кажется, в книжке 2001 года «Мы, русские беженцы в Финляндии». Статьи резкие, да, но нет в них холодной бунинской злобы, нет бесповоротности, а главное — нет ощущения отдельности. Он бежал из России в Гельсингфорс, но, Боже мой, это же еще недавно —

Россия, и всегда можно вернуться, ничто не бесповоротно! Злится он как-то растерянно, не понимая: что случилось? Февраль же был сплошным счастьем, казалось, что теперь-то наконец... Русская литература традиционно побаивалась народа, хоть и любила его несколько напоказ; но Куприн — иной случай, он себя от народа не отделял, литература не дала ему ни богатства, ни статуса, он и в 1914 году мечтал о возвращении в газету (и никогда не брезговал поденщиной — она помогала держаться в тонусе). И потому, когда Куприн боится — он бранится необидно, как свой, видно, что самому ему больно и стыдно. Он, однако, боялся, что эти статьи ему припомнят. Особенно злые выпады против Ленина, у которого он в 1918 году побывал с проектом газеты и очень его не полюбил (Куприн предлагал вождю пролетариата издавать газету для деревни «Земля». — Прим. ред.). Врут, что Ленин на всех интеллигентов производил чарующее впечатление: Куприн в нем разглядел все — даже близорукость (о которой Ленин понятия не имел, она выявилась при медосмотре в 1921 году). «Реплики в разговоре всегда носят иронический, снисходительный, пренебрежительный оттенок — давняя привычка, приобретенная в бесчисленных словесных битвах. «Все, что ты скажешь, я заранее знаю и легко опровергну, как здание, возведенное из песка ребенок». Но это только манера, за нею полнейшее спокойствие, равнодушие ко всякой личности». «В сущности, — подумал я, — этот

человек, такой простой, вежливый и здоровый, гораздо страшнее Нерона, Тиберия, Иоанна Грозного. Те, при всем своем душевном уродстве, были все-таки людьми, доступными капризам дня и колебаниям характера. Этот же — нечто вроде камня, вроде утеса, который оторвался от горного кряжа и стремительно катится вниз, уничтожая все на своем пути. И притом — подумайте! — камень, в силу какого-то волшебства — мыслящий! Нет у него ни чувства, ни желаний, ни инстинктов. Одна острая, сухая, непобедимая мысль: падая — уничтожаю».

Эдакое написать и вернуться — надо быть малым довольно храбрым; немудрено, что он в писательском доме в Голицыне осторожно вступал в разговоры и вздрагивал от стука в дверь. Потом приехали красноармейцы, им наготовили всякой всячины, ватрушек, ягод, вынесли кресло Куприну, чтоб он послушал их хоровое пение. Когда пели советское, он мрачно молчал. Когда подходили командиры и признавались, что любят его читать, — кивал и благодарил. Но когда запели «Вниз по Волге-реке», он вскочил, дрожа, рыдая: «Неужели Родина простит меня, великого грешника перед нею!» Кажется, только в этот миг поверил, что «ничего не будет». Наутро проснулся в нем прежний Куприн: потребовал, чтобы жена его везла в цирк. В цирк, и никаких разговоров! Тысячу лет не был в цирке! На другой день — в цыганский театр. Хочу видеть цыган! Господи, только бы сил, сколько еще надо написать! А потом в Гатчину. Ведь живы Щербовы, любимые соседи. «Нам надо с Павлом хорошенько выпить». Павел умер той зимой от воспаления легких, Куприна не дождался, но вступить в переписку они успели.

Врут также, что «Москва родная» — последний текст, подписанный его именем, — сочинен целиком за него сотрудником «Комсомольской правды»: написан он и впрямь не Куприным, но мысли его и самый тон тут узнаются. И его ощущение мира — «Даже цветы на Родине пахнут по-иному»: все через запах, через звериное его обоняние, не изменившее и теперь. Как бы ни хотелось эмигрантам всех видов, взглядов и поколений, Куприн вернулся сознательно и возвращению этому радовался, и перед смертью говорил жене: «Ум мой стал странным, не все понимаю. Что со мной случилось? Но хорошо, даже умирать хорошо, если кругом родная речь...» И склонность к едким шуткам оставалась у него до последнего: Юрий Дружников в крайне субъективном очерке о возвращении Куприна ссылается на свидетельство голицынской сестры-хозяйки. На веранде накрыт чай, кипит самовар, допущен корреспондент «Комсомолки».

— Александр Иванович! Как вам на родине?

— Вот, пышечки дают...

Очень я это хорошо представляю. И голос его — пусть старческий, но еще сильный, — и быстрый говорок, и такой же быстрый ядовитый взгляд.

И апокриф насчет выпивки в Гатчине — он, в общем, понятен. Истинному читателю не хочется видеть старого Куприна, больного, шатаемого ветром. Читатель



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН

родился 26 августа (7 сентября) 1870 года в селе Наровчат Пензенской губернии. Отец — мелкий чиновник, умер спустя год после рождения сына. Мать, овдовев, переехала в Москву. В шесть лет будущий писатель был отдан в сиротский Московский Разумовский пансион, в 1880 году поступил в Московскую военную гимназию, позже переформированную в Кадетский корпус. С 1888 по 1890 год учился в Александровском военном училище. Первым опубликованным рассказом стал «Последний дебют» (1889). Служил в звании подпоручика в пехотном полку. В 1894 году вышел в отставку, много странствовал по России. В 1901 году переехал в Петербург, работал в «Журнале для всех». Женат Куприн был дважды: сначала на М. Давыдовой, родившей ему дочь Лидию, затем на Е. Гейнрих, которая родила писателю двух дочерей — Ксению и Зиночку (ум. в 1912 году).

Куприн не принял Октябрьскую революцию, в 1919 году эмигрировал из Гатчины за границу. Провел в Париже 17 лет. Весной 1937 года, уже тяжело больной, вернулся в Россию. Умер 25 августа 1938 года в Ленинграде.

хочет, чтобы Куприн пил. Чтобы он вспоминал Заикина, и шутил по-стариковски, и по-прежнему сбегал из-под всякой опеки, от любой попытки его присвоить. Мы хотим видеть нашего Куприна сильным. Пьяным? — да, и пьяным: ведь это нормальное его состояние.

О, это отдельная тема: «если истина в вине, сколько истин в Куприне?!» «Водочка откупорена, плещется в графине — не позвать ли Куприна по этой причине?» «А. Куприн, будь дружен с лирой и к тому — «не циркулируй». Это написал ему Скиталец (писатель С.Г. Петров. — Прим. ред.). Циркулированием называлось беспорядочное кружение Куприна по кабакам, которые успевал он за одну ночь обойти по несколько раз: в Питере — главным образом вокруг «Вены» на Малой Морской. В Балаклаве была у него любимая кофейня Юры Капитанаки, откуда он не выходил, не нагружившись. Но пусть все эти эскапады не заслоняют от нас главного: пил Куприн не для того, чтобы расслабиться, как любят говорить пьяницы, и не с горя, и не от счастья, а чтобы хоть как-то заглушить и притупить невыносимую остроту восприятия. У Куприна все пять чувств — и шестое, дар предвидения и угадывания, — в постоянном напряжении: ни секунды покоя. В этом смысле он единственный в русской литературе наследник Толстого: Бунин далеко уступает ему — ум мешает. Да, ум в таком деле совершенно излишен — Куприн ведь и не умен в обычном смысле, не расчетлив, не умеет выстроить имиджа, сходится с самыми простыми людьми, но не потому, что позиционирует себя в качестве демократа, а потому, что терпеть не может хитрить и умеет вести себя лишь абсолютно естественно. Он и на воздушном шаре летал не для того, чтобы все ахали — ах, Куприн! ах, шар! — а просто из любопытства, острейшего, не писательского даже, а детского. Часто вслух жалел, что не сможет родить, не испытает ощущений роженицы. Иногда эта купринская жажда все почувствовать, пережить и высказать, это счастье точного описания и сильного чувства — едва ли не единственное счастье, доступное писателю, — вводят в заблуждение даже такого мастера, как Лев Толстой. Вот Толстой, который вообще-то Куприна любил совершенно отечески, выделял из всех, ставил по таланту выше Андреева и уж точно выше Горького, — брюзжит, читая «Яму»: гадость, гадость! И гаже всего, что вроде бы разоблачает проституцию и публичные дома, а сам, описывая, наслаждается, и от человека со вкусом этого скрыть нельзя. Ну да, наслаждается. Но не публичным же домом, не грязью? Куприн вообще изумительно целомудрен, у него нет ни одного натуралистического описания любовного акта. Наслаждается он тем, как остро и сильно чувствует и как густо, ярко передает все это на бумаге. У него вообще нет бунинской тонкописи, «сухой кисти» — сплошь яркая олеографическая живопись: все цветет, пахнет, орет, хохочет. Ослепительное солнце, резкие тени, бурные страсти, и даже едят у него всегда вкусно, и вкус у еды всегда резкий — даже обед дедушки Лодыжкина и Сергея в «Белом пуделе» состоит из острых и сладких помидоров, соленой брынзы! И нет у него горьковских сверхчеловеков, больше всего озабоченных тем, чтобы разговоривать вычурно и выглядеть монументально: все — люди, даже сволочи. Да, собственно, и отрицательных героев у Куприна — раз, и обчелся: навскидку не припомнишь никого, кроме богача Квашина из «Молоха» да поручика Николаева из «Поединка», и тот еще ничего себе (Шурочка больше виновата, но как можно ненавидеть Шурочку?). Даже брат Веры из «Гранатового браслета», циничный и жестокий Николай, как-то нам по-человечески понятен: он же не знал, что Желтков покончит с собой? Как защитить честь сестры, ежели к ней, замужней

на, прекрасная венгерка, моложе его на десять лет. Куприн, толстый, еще и раздувшийся от костюма, с выражением полного довольства, — вот, еще и это попробовал, — глядит на нее, однако не без робости: сам понимаю, дорогая, что глупо выгляжу, но очень хотелось. И ведь благополучно же все, а? Она же смотрит в камеру с детской обидчивой решительностью: да, я знаю, что он у меня вот такой, но любому, кто про него скажет плохое слово, я вот этими руками оторву голову. «А когда мне будет нужно, я сама его побью».

женщине, пристал какой-то ГСЖ? И брат Николай нам понятен, а Желтков непонятен. Трудно, трудно вспомнить у Куприна законченную гадину: разве что Митька Гундосый из «Гамбринуса», — но это разве серьезно? Мир Куприна так жарко, ярко и щедро освещен, в нем ликует такая полнота и щедрость, что зло возможно лишь как ошибка и почти всегда поправимо.

Толстой у него сказывается именно в этом сознании изначальной справедливости, правильности мира. Никакого достоевского излома: все рождены быть здоровыми и счастливыми. Это счастливое мироощущение сочетается у него с невероятной, пронзительной, совершенно детской сентиментальностью — вряд ли есть в русской литературе более надрывная повесть, нежели «Кадеты». Помните, как там герой плачет, когда у него в первый же день в корпусе отрывают от курточки пуговицу — а курточка сшита мамой, и пуговица заботливо пришита любимыми руками? К такой сентиментальности Куприна многое располагало — он вырос без отца, в нищете, мать любил больше всех на свете и страстно жалел, и детство его прошло вдобавок в доме престарелых, куда мать устроилась присматривать за старухами. Старухи его ласкали, жаловались ему на жизнь и рассказывали сказки. Самые тоскливые, слезные вещи Куприна — об этих домах престарелых, где обитают беспомощные старухи («Святая ложь») либо старые актеры («На покое»). Чеховской жестокости, трезвой правды нет у него в помине: он отбирает детали, которые раздражают и каменного читателя, а все, что может его напугать или отвратить, тщательно отфильтровывает. Страх перед богадельней сидел в нем всю жизнь. Есть у него рассказ, который из любого слезу вышибет, и тоже про дом престарелых, — «Королевский парк». Это счастливый новый мир, ни войн, ни монархий, сплошная демократия, и в этом мире выстроен дом для старых, глупых, вечно ссорящихся королей, и при доме парк, где гуляют по воскресеньям дети. И одна девочка, увидев сидящего на лавочке старого короля, предлагает ему сахарное яичко, но съесть его он не может по причине отсутствия зубов. И тогда она упраскивает отца взять дедушку домой, и они его берут, и старик безумно счастлив [жестокый, страшный старик, тиран в прошлом], и, когда они ведут его к выходу, он вдруг дрожащим голосом произносит:

— Не думайте, что я совершенно бесполезен! Я умею... клеить прекрасные коробочки... из цветного картона!

Куприн, вероятно, имел в виду, что читатель тут расхохочется: король, владыка державы, на старости только вот на что сгодился! Но сам он, не сомневаюсь, рыдал, и правильный читатель тоже рыдает — от сострадания, но главное, от умиления. Все хорошо, все по-человечески.

Этой человечностью Куприн и выделяется столь резко из ряда русских литературных гигантов: он враг патологии, он поэт естественности — как и любимый его Толстой. Вероятно, самая выразительная его фотография — это сразу после погружения на черноморское дно: он недавно женился во второй раз, рядом с ним его Елизавета Морицовой

По складу характера, по силе и яркости описаний, по прихотливости и поэтической алогичности воображения, по готовности к любой литературной работе, включая святочные рассказы и стихи на случай, — ближе всего он, конечно, к Грину. Не зря они друг друга обожали и не раз вместе надирались — одна такая пьянка описана у Леонида Борисова в «Волшебнике из Гель-Гью», но была она, конечно, не одна. И круг знакомств был у них примерно одинаковый: петербургские репортеры, циркачи, игроки, крымские рыбаки, иностранные моряки. И сюжеты сходные; и даже жены похожи — в первых браках оба стонали под пятой женщин честолюбивых и волевых, а во вторых — нашли терпеливых и понимающих. Оба писали смешные, трогательные стихи, оба стыдились этого. Оба терпеть не могли людей самовлюбленных и претенциозных, не ладили с символистами и религиозными философами, профессиональных литераторов недолюбливали. Разумеется, Грин больше похож на По и Лавкрафта, он мечтательней, в чем-то абсурдней... А почитайте несказочного, не-зурбаганского Грина, что-нибудь про эсеров да про ссылку, и увидите купринский стиль, купринскую зоркость и купринское жизнеприятие. Конечно, лучший Грин и лучший Куприн отличаются — и сразу узнаются, но яркость, праздничность, сила, пружина сюжета, героические страсти роднят их, как братьев. Отличались у них только пьянки: Куприн пил шумно, радостно, а Грин — поэтически, мрачно и одиноко. И еще одна вещь роднит их — репутация. С

ней повезло не особенно — если брать не читательскую (неизменно высокую), а профессиональную и литературоведческую.

С Куприным и Грином случилась печальная вещь: они попали в классики второго ряда, потому что у них якобы проблемы со вкусом. И это бы даже нормально, — «любя поврозь талант и вкус, я мало верю в их союз», но ведь в России почему-то число читателей не влияет на писательскую репутацию. А если и влияет, то, скорее, в отрицательную сторону.

Куприн — один из самых читаемых отечественных классиков. В активе его — несколько текстов, которые сделали бы честь любому европейскому литератору; рискну сказать, что в отечественной прозе, столь богатой, мало что сравнится по мощи с «Поединком» и «Штабс-капитаном Рыбниковым», со «Святой ложью» и «Листригонами», с «Гамбринусом» — этой дивной поэмой в прозе, которая много увлекательней и ярче сделанного в том же жанре «Господина из Сан-Франциско»... А сколько еще вспоминается потом — «Суламифь», «Олеся», «Морская болезнь»! Но «Морскую болезнь» заклеили за реакционность: там социал-демократ представлен филистером, не могущим простить жене, что ее изнасиловали. «Суламифь» обругал Горький, и не без остроумия: «Соломон у него сильно смахивает на ломового извозчика!» (А у тебя все ломовые извозчики глядят в соломоны; что лучше?). А в прочих повестях и рассказах много газетчины, мелодраматизма, ходульности... мало он наслушался этого при жизни, давайте теперь еще добавим!

Есть ли у Куприна проблемы со вкусом? Безусловно, в каждом втором рассказе. Есть ли избыточность в средствах? Еще бы. Наивное морализаторство, газетные поводы, искусственные развязки? Сколько угодно. Портит его все это? В очень малой степени. Напротив, это делает его человечней. А бесчеловечность всегда высокомерна и презирует все нормальные проявления людской морали — вот почему эстеты всех мастей, адепты эли-

тарности, так называемые стилисты откровенно гнобят Куприна. Им человечности не надо — сверхчеловечность подавай!

Что интересно — Куприн отлично все это понимал. И лучшая, по-моему, его повесть — «Звезда Соломона» — про это. В ней добрый и тихий чиновник Цвет внешне узнает, что унаследовал усадьбу в обожаемой Куприным Белоруссии. Поездку в усадьбу устраивает ему что-то уж очень приторно любезный агент **Мефодий Исаевич Тоффель**. Всем понятно, кто он? Куприн любит сильные и любовые ходы, а чего церемониться?! В усадьбе Цвет просматривает дядюшкины книги и случайно получает ускользавшую от нескольких поколений формулу всемогущества. Начинает помаленечку управлять миром. А Тоффель неустанно следует за ним, предупреждая малейшие его желания, знакомит его с красавицей, осыпает деньгами — и все умоляет выдать имя, сообщить ему формулу. Наконец, когда Цвета начинает тяготить всемогущество, стремительное исполнение малейших капризов и неразрывно связанная с этим аморальность, он выдает Тоффелю свою формулу и тут же лишается всемогущества. На прощание просит чин коллежского регистратора. А когда они потом встречаются с той красавицей, которую Тоффель привел, то друг друга не узнают. В этой весьма увлекательной, несколько мопассановской вещи есть мощный финальный монолог Меф-ис-тоффеля, такой слегка разочарованный. Милый мой, говорит он Цвету со снисходительной нежностью, вы, конечно, чудесный малый и мухи не обидели. Но какие были возможности! Вы могли залить мир кровью. Вы могли сделать его счастливее. Вам доступна была вся власть, весь арсенал человеческих вековых мечтаний, а вы? Вы захотели фуражку коллежского регистратора?

Это он, конечно, о себе. Ведь Куприн и сам остановился в шаге от гениальности; он остался слишком человеком — потому что писатель ведь совсем другое дело.

Страсти в его книгах много, а интеллекта мало. Крайностей полно, а патологии нет. Силой веет от любой страницы, а расчет отсутствует либо скрытан. С таким багажом не попадают в гении, хотя — как сказать... Но для читательского любимца у Куприна есть все. Как в личном плане, так и в умозрительном: не порывайся за свои границы. Это и увлекательней, и трудней, и почетней всякой особенности.

Много ли мы знаем в русской литературе имен, заставляющих радостно улыбнуться? Многих ли русских классиков можно перечитывать? А вот Куприн с его сантиментами, силой и яркостью — всегда с нами, и главная его истина — вера в неколебимую нормальность мира — много раз еще выручит нас. Пускай себе гордые и самовлюбленные сверхлюди, а по сути нелюди, пишут монотонно и мрачно и брезгают газетой. А мы не брезгуем. У нас таланту хватит и на взрослое, и на детское, и на фантастическое, и на нравоописательное. Наши олеографии яркие и подчас аляповаты, но герои наши живы, и читатель нас поблагодарит.

Это и есть истина, завещанная нам Куприным — одним из очень и очень немногих русских классиков, с кем так хочется выпить. 🍷

ТАЙНЫ «ГРАНАТОВОГО БРАСЛЕТА»

ЕВГЕНИЙ РЕЗЕПОВ

Академик Альберт Цветков не реже двух-трех раз в год приезжает в село Наровчат, где расположен Музей Александра Ивановича Куприна. И всегда придирчиво осматривает экспозицию музея. Она ему давно не нравится.

БОЛЬШИНСТВО ЭКСПОНАТОВ — ФОТОПОРТРЕТЫ И СТАРЫЕ ВИДЫ Наровчата. Из предметов — «свидетелей» жизни семейства Куприных — лишь фортепиано и зеркало. Хранилось раньше в экспозиции обручальное кольцо второй супруги писателя, Елизаветы Морицовны, но его увезли в центральный музей, в Пензу. Не нравится Цветкову и отсутствие в музее спальни, в которой родился и провел первые годы будущий писатель. Досадует Альберт Александрович, и глядя на портрет Людмилы Любимовой. Эта нарядная симпатичная блондинка с кокетливыми ямочками на щеках и веселыми глазами считается прототипом Веры Шеиной — главной героини знаменитого «Гранатового браслета» Куприна.

Но 77-летний академик, действительный член Академии проблем качества РФ Альберт Цветков уверен, что это — ошибка. У него — своя версия.

«Гранатовый браслет» преследует академика с детства. Эта книга всегда лежала на прикроватной тумбочке в спальне его матери — Софьи Хайновской. Каждый вечер перед сном она вновь и вновь перечитывала этот рассказ. Однажды он набрался смелости и спросил у мамы, в чем причина ее пристрастия к этой книге. «Это связано с историей нашей семьи», — коротко ответила она и отправила его заниматься уроками.

Сегодня Альберт Цветков вспоминает этот короткий разговор как одно из главных событий в своей жизни.

Софья Хайновская вернулась к теме «Гранатового браслета», когда сын был уже студентом МВТУ им. Баумана. Вообще-то он планировал стать филологом, но мама настояла на получении технической специальности. Когда-то она сама приеха-

ла в Москву из Пензы, училась в театральном училище, но на репетициях получила тяжелую травму и больше не работала. Травма часто давала о себе знать, и Софья Хайновская нередко не вставала с постели днями. Иногда она просила Альберта почитать ей вслух «Гранатовый браслет». Как-то раз он предложил почитать что-нибудь другое. Софья взяла сына за руку: «Читай это. Ты ведь не знаешь, что твой прадед был влюблен во внучку Пушкина и пользовался взаимностью. И это с них Куприн списал сюжет».

Тогда Альберт Цветков не решался ни с кем говорить об этом. Он сам понимал то, о чем предупредила его мама: «не поверят». Рассказывать о семейной тайне он начал лишь после того, как оставил научную деятельность и всерьез увлекся изучением творчества Куприна. Правда, из всех директоров купринского музея в Наровчате прислушивается к Цветкову лишь последний — Любовь Китаева.

ПОЛЬСКИЙ СЛЕД

В Москву из Пензы Софья Хайновская переехала после того, как ее мать, узнав об изменах мужа — руководящего советского работника, облила себя бензином и подожгла. Все дети после такого бросили отца и разъехались в разные стороны... «Польская кровь! — объясняет этот поступок Цветков. — Гордость!» С Польши все и началось. За попытку участия в польских волнениях 1860-х годов предка Цветкова по линии матери, Сильвестра Зенькевича, выслали в Пензенскую губернию.

Тут он встретился с Иваном Андреевичем Араповым, с которым познакомился во Франции, когда обучался там ведению сельского хозяйства.

Самым богатым помещикам губернии Араповым требовались люди с европейским образованием. Пользуясь связями при царском дворе, они добились освобождения Зенькевича от полицейского надзора и назначили главным управляющим своих земель в Пензенской губернии. В доме Араповых Зенькевич и

Академик Альберт Цветков считает творчество Куприна полным тайн и загадок



АНДРЕЙ СЕМАШКО

познакомился с приезжавшей в гости внучкой Пушкина — Наташей Дубельт (Наталья Михайловна Дубельт. — **Прим. ред.**). Браку воспротивилась дочь поэта, ее мать Наталья Александровна Меренберг (после развода с Дубельтом Наталья Александровна вышла замуж за принца Николая-Вильгельма Нассауского, получив титул графини Меренберг. — **Прим. ред.**). После семи лет борьбы Наташа Дубельт вышла замуж за полковника фон Бесселя, а Зенькевич женился на прибалтийской баронессе. Как говорит Цветков, эта любовная история в свое время наделала много шума в губернии и, конечно, в Наровчате, где располагался дом Араповых — место действия драмы. Семья Куприных в это время как раз жила в Наровчате. Отец Куприна общался с Араповыми, был знаком с Сильвестром Зенькевичем. По мнению Цветкова, отец Куприна выполнял деликатные поручения Араповых в связи с земельными махинациями, имевшими место в губернии. Этим объясняется то, что после его смерти жена скромного чиновника из захолустного городка получила место в императорском вдовьем доме в Москве. Учитывая услуги ее отца, за нее, возможно, похлопотали Араповы. Отданный в сиротское училище, а потом поступивший в кадеты Саша Куприн часто навещал мать. О чем могли говорить мать и сын как не о родном Наровчате? Мать Куприна, Любовь Алексеевна, по свидетельству самого писателя, была кладовой, откуда он черпал сюжеты и портретные характеристики своих героев.

ЧЕТЫРЕ ПРОТОТИПА

Итак, как утверждает Цветков, Сильвестр Зенькевич и Наташа Дубельт послужили основными прототипами героев при создании «Гранатового браслета». Зачем же Куприну понадобилось это скрывать? Исследования Цветкова показали, что

в необходимости «маскировки» виноват был Михаил Михайлович Романов. Как известно, внук Николая I вступил в брак без согласия своей монаршей семьи, женившись (морганатически) на дочери принца Нассауского и графини Меренберг — Софье. В 1908 году он написал роман «Не унывай» о неравных сословных браках, который был запрещен в России. В итоге все произведения, описывающие схожие сюжеты, вынуждены были проходить проверку не гражданской цензуры, а направлялись в цензуру Министерства императорского двора. Цветков считает, что именно поэтому Куприн, написавший «Гранатовый браслет» в 1910 году, приблизительно в то же время встретился со своей первой женой, М. Давыдовой. Ее родственниками были Любимовы, в семье которых произошла очень похожая история. Цветков считает, что Куприн попросил бывшую жену обратиться к Любимовым с просьбой дать разрешение считать прототипами героев его рассказа Людмила Ивановна Любимова и влюбленного в нее телеграфиста (см. «Историю любви»). Сын Любимовых Лев в книге «На чужбине», написанной им в эмиграции, подтвердил: канву «Гранатового браслета» Куприн взял из их семейной хроники.

Для документального подтверждения этой версии Цветкову понадобились годы работы в архивах. В Институте русской литературы РАН к его выводам отнеслись с интересом и предложили писать научную работу. Альберт Александрович попросил прикрепить к нему аспиранта. Но молодых людей,

готовых ехать для исследований в пензенскую глушь, не нашлось. Возможно, их отпугивали слова самого Куприна о своей родине: «Наровчат есть крошечный уездный городишко в Пензенской губернии, по русской охальной привычке дразнят его: Наровчат одни колышки торчат. Все дома из дерева без малейшего намека на камень. Река от города за версту: лето бывает жаркое и сухое».

ГОСПОДИН В БЕЛОЙ ТРОЙКЕ

Мать Куприна происходила из богатого когда-то рода татарских князей Куланчаковых. Одному из Куланчаковых в XVII веке пожаловали поместье в Наровчатском уезде. «Любовь Алексеевна продала жалкие остатки наследственных земель и навсегда лишила княжеского титула себя и своих детей», — говорит Альберт Александрович. Сам Куприн о наследственных землях написал: «... от бабушкиных великолепных имений остались три десятины». Это рассказ «Храбрые беглецы», в главном герое которого — воспитаннике сиротского пансиона, подговаривающем товарищей бежать в Наровчат, — нетрудно уз-

нать самого Куприна. Фантазия мальчика рисует родину так: «Наровчат был богатым, людным городом, вроде Москвы, но несколько красивее, а вокруг шумели дремучие леса, расстились непроходимые болота, текли широкие и быстрые реки...»

В действительности Куприн никаких побегов не совершал. Принято считать, что Куприн на родине никогда не бывал после того, как его увезли из Наровчата в раннем детстве. Цветков думает иначе и утверждает, что бывал — во время свадебного путешествия — и даже упомянул об этом в рассказе «Мой паспорт». Наровчатские же старожилы, ссылаясь на рассказы отцов, утверждают, что в начале прошлого века господин в белой тройке с тростью в руках стоял на окраине городка. В нем признали Александра Ивановича Куприна.

Подробнее Наровчат описан в рассказе писателя «Царев гость из Наровчата». Названные в рассказе наровчатский предводитель дворянства Веденяпин и мировой посредник Фалин — невымышленные лица. Узнать о них Куприн мог тоже только от своей матери. Кстати, о ней в доме-музее писателя рассказывают такую легенду. Три сына умерли у Куприных до рождения Александра. Перед очередными родами святой старец посоветовал будущей матери приготовить дубовую досочку и после рождения сына нарисовать на ней в рост младенца образ Александра Невского. Тогда сын будет жить долго. Любовь Алексеевна прислушалась.

История любви

В литературоведении господствует мнение, что прототипами главных героев рассказа «Гранатовый браслет» были представители семьи Любимовых, а в основу сюжета была положена реальная история.

Вот что писал в своей книге «На чужбине» сын Людмилы Ивановны Любимовой, Лев Любимов: «Александр Иванович Куприн был с нами в свойстве. Канва «Гранатового браслета» почерпнута им из нашей семейной хроники. Прототипами для некоторых действующих лиц послужили члены моей семьи, в частности для князя Василия Львовича Шеина — мой отец, с которым Куприн был в приятельских отношениях... Героиня «Гранатового браслета» княгиня Вера Шеина — дочь боевого офицера, татарского князя Мирза-Булат-Тугановского, «древний род которого восходил до самого Тамерлана». Героиня действительных событий, вдохновивших А.И. Куприна, — моя мать, Людмила Ивановна Любимова (1877–1960), дочь Ивана Яковлевича Туган-Барановского...

В период между первым и вторым своим замужеством моя мать стала получать письма, автор которых, не называя себя и подчеркивая, что разница в социальном положении не позволяет ему рассчитывать на взаимность, изъяснялся в любви к ней. Письма эти долго сохранялись в моей семье, и я в юности читал их. Анонимный влюбленный — как потом выяснилось, Желтый (в рассказе — Желтков) — писал, что он слу-

жит на телеграфе (у Куприна князь Шеин в шутку решает, что так писать может только какой-нибудь телеграфист), в одном письме он сообщал, что под видом полотера проник в квартиру моей матери, и описывал обстановку (у Куприна Шеин опять-таки в шутку рассказывает, как Желтков, «переведшись трубочистом и вымазавшись сажей, проникает в будуар княгини Веры»). Тон посланий был то выпендренный, то ворчливый. Он то сердился на мою мать, то благодарил ее, хотя она никак не реагировала на его изъяснения. Вначале эти письма всех забавляли, но потом (они приходили чуть ли не каждый день в течение двух-трех лет) моя мать даже перестала их читать, и лишь моя бабка долго смеялась, открывая по утрам очередное послание влюбленного телеграфиста. И вот произошла развязка: анонимный корреспондент прислал моей матери гранатовый браслет. Мой дядя... (у Куприна — Николай Николаевич) и отец, тогда бывший женихом моей матери, отправились к Желтому. Все это происходило не в черноморском городе, как у Куприна, а в Петербурге. Но Желтый, как и Желтков, жил действительно на шестом этаже... Желтый ютился в убогой мансарде. Его застали за составлением очередного послания... Отец рассказывал мне, что почувствовал в Желтом какую-то тайну, пламя подлинной беззаветной страсти. Дядя же... горячился, был без нужды резким. Желтый принял браслет и угрюмо обещал не писать больше моей матери. Этим все и кончилось. Во всяком случае, о дальнейшей судьбе его нам ничего не известно».



А
 Великого
 русского писателя
 Александра
 Куприна и великого
 русского певца
 Федора Шаляпина
 связывала тесная
 дружба

ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

ЦВЕТЫ МЕЖДУ СТРАНИЦАМИ

О жизни Куприна в Париже в Наровчате знают из первых уст. Дочь писателя от второго брака, Ксения, побывала на родине отца при открытии дома-музея в 1981 году. Перед этим она передала в экспозицию личные вещи писателя: золотое кольцо, которое Куприн подарил своей второй жене, Елизавете Морицовне, две лайковые перчатки (одна — Куприна, другая — его жены), нож для разрезания книг, кофеварку, которой он постоянно пользовался, заграничный паспорт писателя, прижизненный его портрет с женой кисти художника Малявина. От Ксении Александровны в музей перешла вся переписка родителей с ней после возвращения их на родину. Сама же Ксения Александровна осталась в Париже, была манекенщицей и актрисой, снималась во французских и итальянских фильмах. Всем в Наровчате Ксения Куприна показала красивой и обаятельной дамой. Она благодарила земляков за память об отце. Слушатели до сих пор вспоминают ее чистую русскую речь, лишенную вычурности и акцента. Запомнились слова дочери Куприна о трудной жизни эмигрантов за границей, о тоске по родине. В заключение она сказала: «Куприн любил родину, и это чувство зародилось здесь, в Наровчате».

крестили будущего писателя в большом Покровском соборе, который до сих пор возвышается в центре Наровчата. Собор и сегодня самое большое и красивое здание здесь. Времена Куприна помнят и Тюремный замок, и большой красивый дом с резными наличниками на перекрестке главных улиц Наровчата. В Тюремном замке когда-то содержались следовавшие по этапу декабристы, а в доме останавливалась Наталья Николаевна Пушкина-Ланская, когда приезжала в гости к помещикам Араповым. Вообще-то во времена, когда здесь жило семейство Куприных, главной улицей в Наровчате считалась Ломовская. По ней проходила дорога в городок Нижний Ломов. На ней-то и видели сто лет назад господина в белой тройке. На этой улице и стоял дом Куприных. Возведенное заново на фундаменте сгоревшего дома в 1890 году строение сохранилось до нашего времени. «Реликвий в музее немного», — с сожалением говорит его директор Любовь Китаева, но ведь дорог дом-музей Куприна тем, что другого мемориального уголка, который бы напоминал о писателе, в мире нет. Даже во Франции, где он провел долгие годы эмиграции.

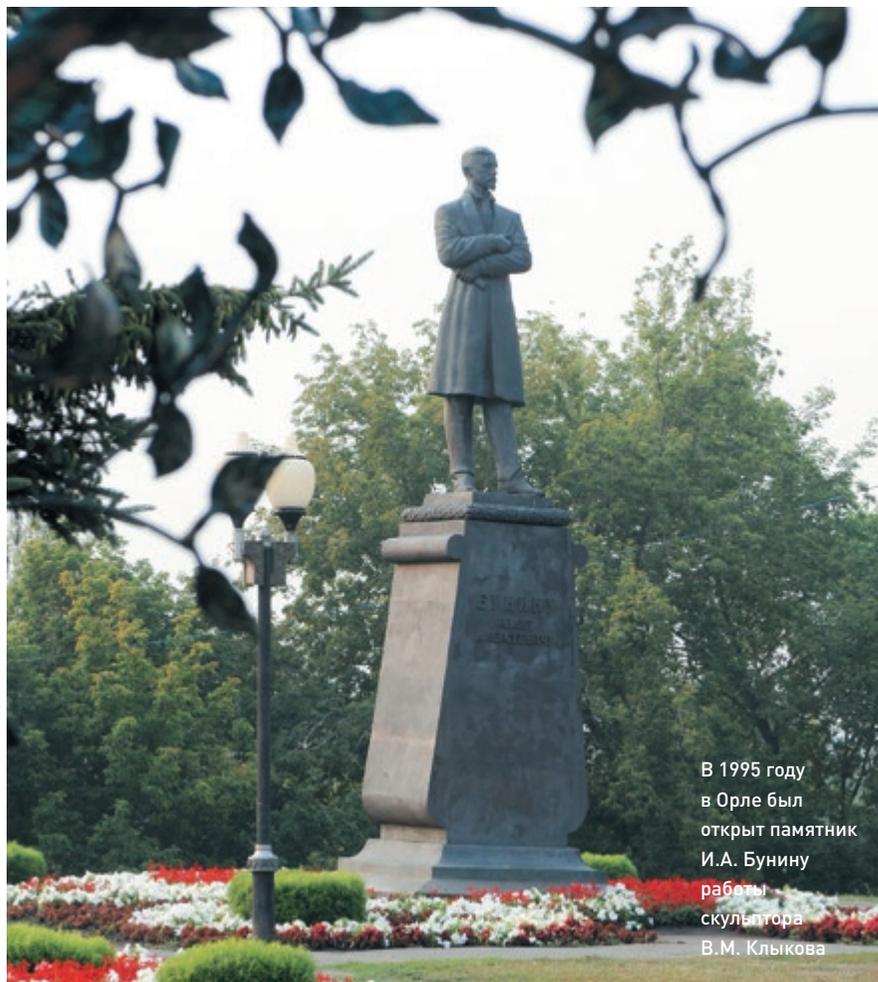
После той встречи у многих жителей Наровчата дома хранятся книги Куприна с автографом его дочери. А в доме-музее на видном месте находится книга Ксении «Мой отец Куприн» и большая подборка фотографий той памятной встречи.

Да, реликвий в музее действительно немного. Но истинных поклонников творчества Александра Ивановича Куприна, которые едут сюда со всей страны, это не огорчает. Они украдкой срывают цветы в саду дома-музея и прячут их в страницы томика рассказов и повестей Куприна. К таким чудачествам в музее давно привыкли и никогда не делают замечаний посетителям... ❀

ИСТОКИ

ЕВГЕНИЙ РЕЗЕПОВ

Гимназистка елецкой гимназии Маша Дьяконова засмотрелась на двух дам в изысканных столичных туалетах. Изящные шляпки, проткнутые насквозь красивыми булавками, так поразили ее, что девочка споткнулась и чуть не упала. Подхватил ее сопровождавший дам солидный господин.



В 1995 году в Орле был открыт памятник И.А. Бунину работы скульптора В.М. Клыкова

АНДРЕЙ СЕМАШКО

НАЧАЛИСЬ РАССПРОСЫ: кто такая, где учится, что читает? Маша призналась, что любит поэзию, а из последних прочитанных стихов ей понравился «Листопад» Бунина. Дамы переглянулись, а строгий господин улыбнулся и протянул гимназистке яблоко. Маша не удержалась и состроила гримаску: сентябрь на дворе, яблоки продаются на всех базарах, да и... «Ты не любишь этот сорт? А какие яблоки тебе нравятся?» — спросил господин. «Антоновские!» — выпалила девочка. Дамы громко рассмеялись. «Ну вот что, — смутившись, сказал господин, — у твоего Бунина есть рассказ «Антоновские яблоки». Хороший рассказ. Почитай». И дал девочке 5 копеек, чтобы она записалась в библиотеку.

Дом, из которого вышли дамы и господин, был угловым. Жила в нем представительница елецкой богемы Вера Аркадьевна Петина-Орлова, у которой собирались артисты, музыканты и офицеры Нежинского драгунского полка. Маша Дьяконова подошла к крыльцу, с которого на нее с усмешкой смотрел слуга, и спросила: «Кто был этот господин?» — «Писатель Иван Алексеевич Бунин!»

В Елецкую библиотеку имени Льва Толстого она записалась в тот же день. Историю эту, случившуюся в 1915 году, рассказала мне Тамара Георгиевна Кирющенко — заведующая елецким Музеем Ивана Алексеевича Бунина. А героиня рассказа — Мария Дьяконова, которой не понравилось яблоко, предложенное Буниным, — ее мать. Тамара Георгиевна хорошо помнит рассказы мамы не только о Бунине, но и о Пришвине и Розанове, которые жили в тихом Ельце. Первой книгой, прочитанной ею в детстве самостоя-

тельно, была, конечно, книга Бунина с дореволюционными ятями и ерами. В 30-е годы, когда Тамара Георгиевна училась в школе, книги Бунина можно было найти только у букинистов. И то с большим трудом. До войны писателя, уехавшего в Париж, не издавали.

...Бывшая преподавательница русского языка и литературы Тамара Георгиевна 22 года назад согласилась возглавить Музей Бунина в Ельце. Когда сотрудники музея обратились с просьбой к жителям города поделиться предметами быта конца XIX — начала XX века, земляки немедленно отозвались и принесли очень много вещей. А один из экспонатов музея — старинный красивый сервант — сдан в музей Тамарой Георгиевной. Этот сервант был подарен ее маме в день свадьбы в 1917 году и хранился в семье как реликвия. «Я знаю, мама бы одобрила, — говорит Тамара Георгиевна. — Бунина она читала до самой смерти!»

ЕЛЕЦКИЕ СТРАДАНИЯ

На старинных улочках Ельца, кажется, каждый древний дом уносит в рассказы Бунина. Деревянные ставни на подслеповатых окнах, занавески, украшенные знаменитым елецким кружевом... В Ельце сохранилась милая патриархальная атмосфера старого русского города. Сюда 11-летний Ваня Бунин приехал из родительского имения Озерки Елецкого уезда, чтобы учиться в гимназии. Сначала отец поселил его у мещанина Бякина на Торговой улице. Хозяин был богобоязненный человек, и Ване было нелегко привыкнуть к его строгостям после беспечного и привольного житья в Озерках. Особо запомнился ему первый ужин, состоявший из похлебки, крупяня и рубца с соленым арбузом. Бякин, заметив брезгливость барчука, заявил: «Надо ко всему привыкать. Мы люди простые, русские, у нас разносолов нет».

Зато хозяин оказался любителем стихов. Никитина и Кольцова маленький жилец читал Бякину вслух.

Учеба давалась Ване легко. Он был смысленнее одноклассников, много читал, имел превосходную память. Из преподавателей гимназии выделял учителя русского языка. Все свободное время посвящал прогулкам по Ельцу: ему нравилось наблюдать за людьми.

На третий год учебы в гимназии отец Вани, Алексей Иванович Бунин, поселил сына в квартире у некоего Студенникова, делавшего скульптуры для городского кладбища. У него Ваня пристрастился лепить из глины кресты, ангелов и черепа. После работы похожий на Дон Кихота хозяин усаживал его с собою за стол, угощал селедкой и уговаривал выпить рюмку водки... «Скульптурные» работы юного Бунина, наверное, и сейчас можно отыскать на старом елецком кладбище.

Именно в это время Бунин влюбляется в гимназистку Юшенкову, да так, что запускает занятия в гимназии, и в итоге его оставляют на второй год. Первая любовь, кладбище, кресты, ангелы, черепа — позже все это отразится в прекрасном и невероятно изящном рассказе Ивана Алексеевича «Легкое дыхание».

На четвертый год учебы в гимназии Ваня Бунин переселился к кузине — Вере Аркадьевне Петинной-Орловой. У нее в доме постоянно бывали офицеры и актеры, которые снабжали Ваню контрамарками. Так что вскоре гимназист стал завсегдаем местного театра.

Все это не очень нравилось родителям Бунина. Поэтому когда в 1896 году после Святка Иван Бунин решил не возвращаться в елецкую гимназию, никто его особо не корил. Отец сам в свое время бросил орловскую гимназию, где учился вместе с Николаем Лесковым. А мать была даже рада, что Ваня не будет больше общаться с провинциальной богемой. Подготовить Ваню к выпускным экзаменам взялся его старший брат, Юлий, отбывавший в Озерках ссылку за участие в народовольческом движении. Об этих годах Бунина в Ельце подробно пишет в книге «Жизнь с Буниным» вторая супруга писателя, Вера Муромцева. Книга с ее автографом хранится в местном музее...

МУЗЕЙНЫЕ ЯБЛОКИ

Крохотные размеры Музея Бунина в Ельце особенно заметны тогда, когда у дома останавливаются огромные автобусы с туристами. Экскурсанты часто удивляются тому, что будущий известный писатель и лауреат Нобелевской премии жил в такой маленькой комнатке, да еще делил ее с товарищем по гимназии. «Иногда, — добавляет Тамара Георгиевна, — иностранцы просят прочесть Бунина. Хотят насладиться его речью на его родине».

Бывший дом мещан Ростовцевых, в котором расположен музей, тоже приютил Ваню Бунина на время учебы его в гимназии. Здесь все как раньше, при Бунине: полы, стены, потолки, каменные плиты, которыми вымощен двор... Только вход в дом располагался тогда с другой стороны.

В те времена, когда здесь жил Бунин, по соседству располагался двор шляпного мастера. В тусклых витринах пылились круглые деревянные болваны, на которые надевались шляпы, из-за чего переулочек звался Шаровым. Этим переулком гимназист Бунин выходил на мясной базар, от которого было рукой подать до женской гимназии, где училась его зазноба Юшенкова. «Это не совсем

правда, что он остался на второй год потому, что запустил учебу из-за влюбленности. Бунин заболел, когда катался с ледяной горки — это любимое развлечение детей в Ельце!» — не согласна с супругой писателя Тамара Георгиевна. Да и гимназию он оставил не по причине недовольства родителей, не желавших, чтобы сын тесно общался с местной богемой. Просто финансовые дела семьи находились в полном упадке — разорившемуся отцу нечем было платить за обучение сына. Тамара Георгиевна рассказывает об этом, стоя под фамильным гербом Буниных: в центре герба перстень, окруженный тремя серебряными крестами. Рядом — портреты предков: поэта Василия Жуковского и поэтессы Анны Петровны Буниной. В этой же комнате скромная кровать бедного квартиранта. Если отстать от экскурсии

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН

10 октября (22 октября по новому стилю) 1870 года в Воронеже в семье обедневшего дворянина родился Иван Алексеевич Бунин — первый из русских писателей, получивших Нобелевскую премию по литературе. К старинному роду Буниных, происходивших от польского дворянина Бунковского, принадлежали первая русская поэтесса Анна Бунина и известный поэт Василий Жуковский. У Ивана Алексеевича было два брата — Юлий и Евгений, а также младшая сестра — Мария. Когда будущему писателю исполнилось три года, семья переехала в поместье Бутырки Елецкого уезда Орловской губернии. Первое стихотворение Бунин написал в восемь лет. Сам он в «Автобиографической заметке» писал, что в юности его творчество носило печать подражательства: «Больше всего подражал М. Лермонтову, отчасти А. Пушкину, которому старался подражать даже в почерке». Впервые одно из стихотворений Бунина было опубликовано в 1887 году в петербургском журнале «Родина». В 1891-м в приложении к газете «Орловский вестник», где Бунин работал, вышла его небольшая книжечка «Стихотворения. 1887–1891». Во время жизни в Орле Бунин знакомится с Варварой Пащенко, с которой живет в гражданском браке. В 1892 году Бунин переезжает в Полтаву, где знакомится с Львом Николаевичем Толстым.



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

Свой первый рассказ Бунин опубликовал в 1894 году в журнале «Русское богатство». В 1895-м писатель переехал в Петербург, а затем перебрался в Москву. В 1896 году он женится на гречанке Анне Николаевне Цакни, но уже в 1900 году разводится с женой. Бунин поддерживал знакомство с А.П. Чеховым, В.Я. Брюсовым, К.Д. Бальмонтом, М. Горьким, входит в литературный кружок «Среда». В том же, 1900 году опубликованы «Антоновские яблоки», которые приносят Бунину литературную известность. Через год выходит сборник его стихов «Листопад». Именно за него, а также за перевод поэмы Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате» Бунин получает Пушкинскую премию от Российской академии наук.

В 1905 году умирает сын Бунина Николай, рожденный в браке с Цакни. Через два года Иван Алексеевич женится гражданским браком на Вере Николаевне Муромцевой, ставшей верной его спутницей на всю жизнь (официально их отношения были оформлены лишь в 1922 году). Супруги много путешествуют: они побывали в Сирии, Египте, Палестине, изъездили Европу, были в Алжире, Тунисе, Индии, отправились на Цейлон. В 1909 году Российская академия наук избрала Ивана Бунина почетным академиком по разряду изящной словесности.

Бунин не принял ни Февральскую, ни Октябрьскую революции, считал их катастрофами для России. В 1920-м Бунины эмигрировали во Францию. В конце 20-х годов Бунин знакомится с Галиной Николаевной Кузнецовой, с которой у него начался бурный роман. Кузнецова бросила мужа и переехала жить к Буниным, с которыми оставалась (с небольшими перерывами) до 1942 года.

В 1933 году Ивану Алексеевичу была присуждена Нобелевская премия по литературе.

Последние годы жизни писатель провел в жестокой нужде. Умер Иван Алексеевич Бунин 8 ноября 1953 года в Париже. Похоронен на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

В Советском Союзе первое собрание сочинений И.А. Бунина вышло лишь в 1956 году.

и задержаться здесь, то покажется, что вот-вот войдет маленький гимназист, снимет фуражку, испачканными чернилами пальцами откроет сундучок, где спрятано все нехитрое его имущество... Среди прочего — книжечки «Нивы».

Под стеклом лежат старинные стальные перья — такими пользовались ученики гимназии. А вот тетради гимназиста Сапегина, учившегося вместе с Буниным. Рядом брошюра, в которой напечатаны сочинения гимназистов. Так поощрялись литературные труды учеников. Вот старый кожаный чемодан — с ним писатель Бунин ездил за Нобелевской премией по литературе в Стокгольм. Желаящих сфотографироваться с этим чемоданом не счесть, но директор музея всем отказывает. Последний экспонат — ружье Бунина, с которым он ходил на охоту в Озерках. Оно пять поколений хранилось в семье Демкиных, которым Бунин подарил его перед отъездом в Орел.

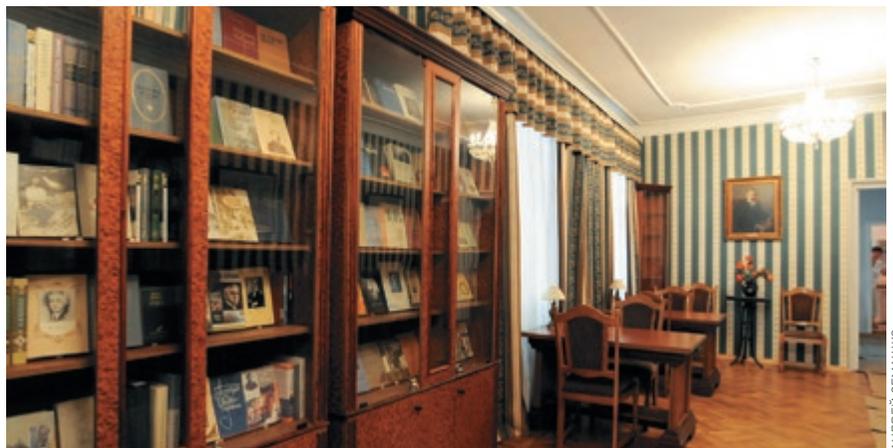
В каждом зале музея на столах — вазы, полные яблок. Запах чистых гладких плодов вносит в музейную атмосферу свежесть и элемент неожиданности. «Для антоновки еще рано!» — улыбается Тамара Георгиевна и предлагает отведать яблоки. Такое предложение она делает каждому гостю музея. Яблоки на столах в любое время года — это не только напоминание о Елецком уезде, благодаря которому написан знаменитый рассказ, но и память о встрече ее мамы с Буниным.

РОМАН С ОРЛОМ

В своем знаменитом романе «Жизнь Арсеньева» Бунин подробно описывает первый губернский город, который он увидел в своей жизни. Железнодорожный вокзал, соборы, большие улицы, витрины магазинов, трактиры, гостиницы Орла воссоздаются Буниным до мельчайших подробностей. Орел заинтересовал его и географическим положением: «наверху Москва, Петербург, а внизу — Харьков, Севастополь».

...Сегодня за право считаться «настоящими бунинскими местами» идет спор между несколькими городами. Больше всего достается Орлу. С ним уже и так связаны имена Тургенева, Лескова, Апухтина. Какое отношение Бунин имеет

Коллекция экспонатов орловского Музея И.А. Бунина самая большая в мире. Бережно хранят сотрудники музея мельчайшие предметы быта автора романа, в котором воспет Орел



АНДРЕЙ СЕМАШКО

к Орлу, где скитался три года по чужим углам в бедности и холоде? Воронеж, где Бунин родился, но прожил четыре года, называет орловцев самозванцами. Ельчане тоже неодобрительно косятся на Орел. Бунин вырос под Ельцом, учился в нем. «Орел — это жизнь его сердца, — защищает свой город заведующая орловским Музеем И.А. Бунина Инна Анатольевна Костомарова. — Из Орла он уезжает зрелой личностью и пишет в «Жизни Арсеньева», что с «Орла начинаются его годы испытаний и невзгод».

Инна Анатольевна не только директор музея, но и автор книг и исследований о Бунине. Когда-то Костомарова и сама долго не верила, что в Орле будет создан отдельный музей ее любимого писателя. В советское время это было действительно невозможно. Но времена изменились и... Она сама нашла здание, добилась его передачи музею — раньше в нем располагалась городская детская молочная кухня, — добилась проведения ремонта. Между прочим, в Орле нашлись откровенные противники создания музея Бунина. Звонил один товарищ, назвался депутатом и спросил: «В каком произведении Бунин предлагал загонять коммунистам иголки под ногти?» «Простите, насколько я знаю Бунина, он никогда не говорил о расправе, а говорил о том, что на пользу России, а что — нет», — с гордостью повторяет свой ответ ему Инна Анатольевна.

Открытый в 1991 году в Орле Литературно-мемориальный музей И.А. Бунина за 19 лет своего существования получил широкую известность в России и стал мировым центром по комплектованию коллекции, изучению и пропаганде творчества писате-

И.Ф. Тибо-Бриньоля, переданный под музей Бунина в 1989 году, находится рядом с местом, где когда-то стоял дом, в котором Бунин снимал комнату. Он часто проходил мимо высокого крыльца этого особняка, спеша в редакцию «Орловского вестника». Каким он тогда был? На портрете – красивый овал лица с тонкими чертами, большие

грустные глаза под прямыми бровями. Волосы расчесаны на пробор. «В Бунине, когда он приехал в Орел, было много мягких черт, – делится своими предположениями Инна Анатольевна. – Недаром он говорил потом, что в Орле он стремительно повзрослел. А вообще, Орлу повезло, что Бунин у нас такое пережил».

Город уже не тот, что был при молодом поэте, которого безнадежная любовь доводила до мысли о самоубийстве. Описанный Буниным в «Жизни Арсеньева» орловский железнодорожный вокзал с книжными киосками, к которым он бросался, по собственному выражению, как голодный волк, давно перестроен. В отличие от Ельца здесь при всем желании невозможно представить в современной толчее юношу с пробором на голове, который безнадежно ждет прибытия на поезде уездной барышни. Нет ни барышень, ни поэтов. Есть толпа пассажиров. В руках у многих яблоки, купленные у продавщиц в цветастых платках.

Городу с Буниным повезло, да. Никто не воспел Орел с такой страстью юности, как он.

Но захотят ли пережить те же самые чувства молодые пары, которые назначают свидания у памятника Бунину? Отлитая из бронзы фигура писателя стоит на холме, с которого открывается вид на Орел. Множество клумб и скамеек перед памятником – прекрасное место для встреч и единенных бесед. Знают ли приходящие сюда молодые люди, что Бунин уезжал из Орла с убеждением, что любовь всегда оборачивается страданием? Не только к женщине, но и к родине. ❀

ля. Здесь хранятся уникальные документы из семейного архива Бунина: патент на чин прапорщика, пожалованный прапрадеду писателя Семену Федоровичу Бунину императрицей Елизаветой I, патент на чин капитана, пожалованный прадеду Ивану Алексеевичу, Дмитрию Семеновичу Бунину, императрицей Екатериной II. Первые литературные опыты Бунина представлены автографами его стихотворений, написанных в 1883–1887 годах. Хранятся в орловском музее и письма Бунина к Варваре Пащенко.

Орловский и елецкий музеи помимо имени писателя, которому они посвящены, роднит еще одно. Заведующая орловским музеем, так же как и ее коллега в Ельце, не выпускает из рук толстую книгу в синем бархатном переплете. И так же часто ссылается на нее. Из книги Веры Муромцевой «Жизнь с Буниным» можно узнать о сетованиях юного Бунина на свою судьбу, которая, по сравнению с жизнями Толстого и Лермонтова, казалась ему ничтожной. О том, что в 16 лет Ваня Бунин вырос из гимназической формы и что первое его стихотворение было напечатано в журнале «Родина». Ради гонорара он как-то послал в «Орловский вестник» корреспонденцию о несчастном случае с мужиком из села Глотова. Ее напечатали. А потом в газете появились первые стихи и рассказы Бунина. Затем он получил приглашение от издательницы «Орловского вестника» Надежды Алексеевны Семеновы. В конце февраля 1889 года молодой поэт с «малыми деньгами» отправился в Орел. С этого города началась его профессиональная литературная деятельность. В «Орловском вестнике» Бунин правил чужие рукописи, писал рассказы и стихи. Готовил статьи о мукомольном деле, крестьянских кредитах, писал отчеты с заседаний Городской думы, выпустил первую книгу стихов. Великого русского писателя в нем никто еще не видел. Денег не хватало, так что будущий нобелевский лауреат нередко голодал.

Молодой поэт пользовался симпатией со стороны издательницы Семеновы. Она-то и познакомила его с племянницей своего гражданского мужа Шелихова – Варварой Пащенко. В Орел дочь врача из Ельца приехала для того, чтобы попробовать себя на театральных подмостках, однако для начала ей пришлось устроиться на работу в контору Орловско-Витебской железной дороги. Варя Пащенко стала первой настоящей любовью Бунина и послужила прототипом Лики из «Жизни Арсеньева».

Родители Пащенко не давали согласия на брак, так что Иван Алексеевич и Варвара жили невенчанными. Варя примкнула к кружку любителей сценического искусства. Бунин плохо относился к любительским спектаклям, но примирился с тем, что Варя участвовала в них. По крайней мере, это удерживало ее в Орле. После восьми месяцев совместной жизни Пащенко бросила Бунина. Ему было очень тяжело, от самоубийства писателя спас старший брат.

В Орле не сохранились дома, где Бунин снимал углы. Хотя адреса их известны: улицы Введенская, Садовая, Борисоглебская, Узкий переулок. На улице Пушкина сохранился дом, в котором жила родная сестра Бунина, Мария Алексеевна. Осталась Болховская улица, по которой в романе бродит вечерами герой Бунина после очередной ссоры с Ликой. А старинный особняк, построенный по проекту архитектора

БУНИН 3D

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Одного учителя, который рассказывал своим старшекласникам о Бунине, ученица спросила: «Скажите, а был ли у него хоть какой-нибудь позитив?» И в самом деле: кажется, Бунин — певец умирания и упадка, трагической любви и неизбежной смерти, Бунин кипит ядом и отчаянием, какой же у него позитив?

У НЕГО И ЖИЗНЬ ВСЯ — отчаянная и печальная, кажется, одни потери и горечь. Родился в разорившейся дворянской семье — дворянин без усадьбы. Гимназию окончить не смог: у семьи не было денег. Учился под руководством старшего брата, с которым и прошел гимназический и даже университетский курс. Зарабатывал газетным трудом, часто сидел голодным. Всю жизнь был практически бездомным — переезжал с одной съемной квартиры на другую, умер на чужбине, в запущенной неуютной квартире, растратив и раздав нуждающимся и нахлебникам Нобелевскую премию. Он терял возлюбленных: сбежала от него первая и главная любовь, Варюшенька Пашенко, разочаровала Анна Цакни, нелепо и странно бросила его ради женщины поздняя, последняя любовь, Галина Кузнецова. Осталась с ним до конца только Вера Николаевна, гений служения, понимания и терпения — единственная, кто, кажется, и мог выжить в его отчаянной и злой тени. Но и Веры Николаевны ему было мало — недаром на вопрос, любит ли он



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

жену, Бунин ответил раздраженным и удивленным: как можно любить или не любить свою руку или ногу?

Он потерял единственного сына, умершего в пятилетнем возрасте от скарлатины. Потерял родину, при жизни — почти потерял читателя: даже на гребне популярности, даже в зените славы он не удостоивался такой всенародной любви, как его счастливые соперники.

ВО ВРЕМЕНА ВЕЛИКИХ ПЕРЕМЕН

Русский гений — сложное сочетание истории, биографии и текста; увы, лучшие тексты иной раз оттачиваются такими историческими завихрениями, такими зигзагами биографии, что никакой гениальности себе не пожелаешь такой ценой — гори она синим пламенем, эта Нобелевка, прожить бы жизнь мирно и подальше от края бездны. Беда в том, что великая литература делается у края бездны: блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Или, как гласит старинное китайское проклятие, «чтоб тебе жить во времена великих перемен».

Он считал себя прежде всего поэтом, а стихи его любят и ценят немногие, и то все больше литераторы и составители хрестоматий для чтения в начальной школе: азы любви к родной природе; интересно, что бы он сам сказал, узнай об этом.

Он пытался строить жизнь, как русский барин. На вилле в Грассе, где он прожил с женой 16 лет («вилла» — слово громкое; скромный съемный двухэтажный дом), постепенно скопились возле него, как в хорошей дворянской усадьбе, загостившиеся гости, приживалки и нахлебники... но и это была только тень усадьбы и тень той жизни, для которой он был предназначен и которой был так фатально лишен.

Кажется, все эти Пушкинские премии и звание почетного академика по разряду изящной словесности, которым он так очевидно гордился, и даже Нобелевская премия, первая в истории премия, присужденная русскому литератору, — даже эти весомые, ощутимые знаки признания не перебили для него полынной горечи жизни, не возместили утрат. Так самый красивый букет цветов, выигрыш в лотерею или орден за заслуги не утешают, не спасают, не радуют смертельно больного. А Бунин, кажется, был если не болен, то навсегда и смертельно ранен. Был ли у него хоть какой-нибудь позитив? — спрашивают юные барышни, рожденные, как будто специально, чтобы радоваться, — и в самом деле, может ли им что-то дать вечно ядовитый Бунин со своими сюжетами, где все хорошее обречено на умирание, распад, увядание, где усадьбы гибнут, люди тупеют и тусклеют, любовь кончается трагедией, а жизнь, как ей неизбежно положено, — смертью? Про него даже в учебнике читать тошно: смерть да смерть кругом.

Достаточно, однако, вчитаться в самого Бунина, а не в краткие его пересказы для торопящихся сдать экзамен — их как раз легче легкого свести к сакраментальному «в общем, все умерли», — и сразу понимаешь, что смерть, вечно стоящая за плечом автора и его героев, вовсе не главное действующее лицо в этой прозе. Это резкая, черная, дышащая могильным ужасом тень — но только тень. Она лишь оттеняет узор жизни, делая ярче краски и сильнее запахи, заставляя с необыкновенной остротой чувствовать ее летучую, горячую прелесть, ее короткое и брэнное счастье. Чем ярче светит солнце, тем глубже и резче тени. Один из лучших бунинских рассказов, наверное, коротенькая «Часовня», полтора десятка строчек: летний день, в поле стоит часовня, в ней лежит какой-то дядя, застрелившийся давным-давно от несчастной любви, вокруг играют дети: «В синем море неба островами стоят кое-где белые прекрасные облака, теплый ветер с поля несет сладкий запах цветущей ржи. И чем жарче и радостней печет солнце, тем холоднее дует из тьмы, из окна»... Бунин ведь южанин, воронежец, из плеяды жизнерадостных и мощных талантов, которых дал русской литературе ее юг: Тургенев был орловец, Толстой туляк... Смерть для каждого из них важная тема, но не ключевая, как для русского декаданса; смерть — итог жизни; смерть — переход в вечность; смерть — изнанка жизни, но не центр размышлений. Смерть не чарует, не тянет к себе, даже не пугает мучениями и inferнальным ужасом; она — тень, и у нее здесь свое место.

Безжалостная коса судьбы, занесенная над естественным и привычным ходом жизни, всегда присутствует в бунинской прозе. Вершина ее, «Темные аллеи» — удивительный гимн обреченной любви, хрупкому счастью, утраченной родине, невозвратной молодости, гимн человеческому величию и человеческой трагедии: сборник, задуманный и начатый накануне Второй мировой, увидел свет в 1943 году, в самые темные времена человечности, когда и само понятие человеческого размылось дальше некуда.

Времена великих перемен — главное условие, породившее прозу Бунина; кто знает, может быть, без страшных сдвигов исторических пластов он навсегда остался бы певцом старинного уклада, меланхоличным усадебным мастером, которого Куприн метко и несправедливо спародировал одной фразой: «Сижу я у окна, жую мочалу, и в моих козых глазах светится дворянская грусть».

Неправда тут даже не козы глаза — хотя Бунин в самом деле любил всякие «kozy» и «волчи» эпитеты, — неправда в мочале. Мочалу в своих текстах Бунин сроду не жевал; конечно, неторопливая обстоятельность его прозы, его медленное, сосредоточенное любование динамичному и авантюрному Куприну не могли не

показаться мочалой. Но в бунинской прозе, на первый взгляд статичной, скрыта мощная внутренняя динамика, скрученная стилистическая пружина. Интересно, что с годами проза Бунина укорачивается, тексты сжимаются: начав с классической русской повести, к концу жизни Бунин пришел к короткому, иногда до нескольких абзацев, рассказу, будто поставив перед собой задачу скрутить пружину, уложить главное в 10–20 строк: таковы «Пожар», «Дубки», «Красавица», «Холодная осень». Даже прилагательные в них скручены, как вольфрамовая спираль в лампочке, нагружены смыслами: таковы его любимые «сухой» и «сложный» — «сухой полдень», «сухая фигура», «сложный запах дегтя»... Бунинская проза — очень взрослая; это не детское, радостное и нерасчлененное восприятие жизни всем куском, картиной, не буйство красок, а ювелирная работа тончайшей кисточкой: всякая деталь прописана, каждое облачко оттенено — и все вместе звучит, переливается, пахнет, волнуется под ветром, создавая поразительный эффект присутствия: трехмерное пространство текста, Бунин 3D.

Сложность во всем: в характерах, в запутанности чувств и отношений, которые чреватые трагедией и разрешаются ею. Неимоверно сложна бунинская деревня, сложны населяющие ее люди, сложны их чувства. Отношения Бунина с народом — тоже сложные, особые: это не отцовское, родительское попечение, как у Толстого, не барская дистанция, как у Тургенева, но и не чеховское стирание сословных различий, ибо все люди. Это ревнивый, жаркий, мучительный роман — с взлетами восхищения и безднами отвращения; недаром постоянная тема его прозы — роман барина с крестьянкой: когда — отвратительный и гибельный для него, когда — мучительный и унижительный для нее; не комедийная пушкинская «Барышня-крестьянка» с притворным синим сафраном — а все всерьез, на горе обоим.



Вера
Николаевна
и Иван
Алексеевич
Бунины.
Грасс

ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

Бунин, пожалуй, только наметил эту тему, подвел итог под XIX веком; в XX ее продолжили другие — в первую очередь бунинский же ученик Катаев, который пошел дальше: в его «Траве забвения», где царит живой, язвительный, восхитительный, сжигаемый тайным огнем отчаяния Бунин, есть и другой персонаж, девушка из совпартшколы, из народа, которая влюбляется, но приносит свою любовь в жертву революции и сдает возлюбленного чекистам. В «Уже написан Вертер» — другой разворот того же сюжета: никакой любви, чистое предательство; к старости Катаев, кажется, в революцию и народ верил не больше Бунина. А разрешается сюжет у Лавренева, в «Сорок первом», собственноручным убийством «синеглазенького», любимого; поворот для Бунина — при всех его роковых страстях — все же немислимый.

Может быть, в этом и был смысл бунинского изгнания: революция опрокинула целый культурный материк — с недодуманными мыслями, недоспоренными спорами, неоконченными диалогами, — отменила их как не важные и пошла по новому пути, думать новые мысли и вести новые споры об ином. Но кто-то должен был их додумать до конца, дописать до точки, подвести под ними черту; кто-то должен был извлечь из бездны и оставить миру свидетельство отмененной жизни — сложной, умной, страстной, прекрасной, — жизни в присутствии смерти, на краю бездны, — поэтому особенно хрупкой и драгоценной. ■

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ ЛЬВА

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Сто лет назад Лев Толстой глубокой ночью собрался и ушел из дома, тайком от жены. Четверть века собирался — и наконец ушел. Оказалось — ушел к смерти. А всем кажется — к свободе. Последний шанс показать всем кукиш, последний рывок, освобождающий от связей, условностей, обязательств. Открывая дверь — не то в вечность, не то в никуда.

УХОД НАЗРЕВАЛ ДАВНО. СТАРИК ТОЛСТОЙ ЖИЛ ТАК, КАК ЖИТЬ НЕ хотел никогда. Жить он хотел просто и спокойно, где-нибудь в тишине, на отшибе, среди простых людей; зарабатывать себе на хлеб ремеслом, вести тихие беседы и не быть никому в тягость. Но — аристократ по рождению, писатель по призванию, глава огромной семьи, хозяин усадьбы, повисшей на нем тяжелым бременем, — он жил не по выбору, а по инерции обстоятельств.



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

А обстоятельства сделали из старого Льва первую звезду всероссийского масштаба — в нынешнем, самом скверном понимании этого слова. За каждым чихом следят репортеры, к дому косяком тянутся просители, едут непрошенные гости, осаждают поклонники (толстовцы как фанаты — забавная тема для исследования), стаями летят письма, и, что хуже всего, на части рвет ближний круг — родные и друзья, единомышленники и помощники.

Толстой — первый мученик и заложник статуса, вынужденный жить под бдительным присмотром миллионов глаз. Духовная ли драма, телесная ли немочь, конфликт ли с женой — все становится достоянием корреспондентов; друзья и родственники строчат дневники, зачитывают их друг другу, передают дальше, обсуждают и разносят по миру.

Сначала кажется, дневники их и погубили. Толстовская привычка с юности отслеживать каждое движение души, работать над собой, совершенствовать себя, фиксировать свой день, сохранять свои мысли — к старости стала его проклятием: все вокруг него, кажется, только то и делали, что писали свои дневники, читали чужие и передавали их содержание кому-то еще. Началось с доверия — Толстой дал юной жене свои холостяцкие дневники; доверие, однако, скоро переросло в нарушение личных границ — настолько, что на старости лет он уже прятал от нее в голенище свою последнюю книжечку, дневник «для одного себя», тайком писал завеща-

ние в лесу на пеньке и страдал от ее ночных обысков в кабинете.

Дневники вели чуть не все друзья семьи: драма распада яснополянской семьи отражена не только в дневниках самого Льва Николаевича и Софьи Андреевны, но и дочери их, Александры Львовны, и ее подруги Варвары Феокритовой, и толстовского секретаря Булгакова, и доктора Маковицкого, и друга семьи музыканта

Гольденвейзера — и каждый был уверен, что он лучше всех понимает писателя, знает, что ему нужно, кто ему друзья и враги. И каждый спасал от врагов — так, как считал нужным. Жена — от друга и единомышленника Владимира Черткова, Чертков — от жены, Александра Львовна — от Софьи Андреевны, подруга ее Варвара была рядом, фиксировала всякий промах Софьи Андреевны и злорадно передавала дальше... Каждый вербовал себе сторонников из вновь прибывших — недаром, по сообщению Валентина Булгакова, приехавший в Ясную Поляну по делам преподаватель консерватории Клечковский, послушав Софью Андреевну о Черткове, а затем Черткова — о Софье Андреевне, в тот же день бежал из Ясной, в ужасе, с головной болью, и потрясенно повторял:

— Боже мой, как не берегут Льва Николаевича! Как не берегут Льва Николаевича! Как с ним неосторожны!

ШКУРА НЕУБИТОГО ЛЬВА

Толстой, тяжело страдающий при виде всякой социальной несправедливости, еще в 1894 году отказался от имения, которое отписал жене и детям, от доходов на книги, изданные после 1881 года — года, когда он пересмотрел мировоззрение. Он и в имении своем уже не был хозяином (горько говорил крестьянину Новикову, что его считают дома «приживальщиком»). Личных денег имел мало — даже в газете опубликовал объявление, что не имеет возможности удовлетворять просьбы о денежной помощи. И просителям в ней отказывал (просители неизменно обижались). И когда ушел из дома, ему и железнодорожных билетов оказалось не на что купить — доктор Маковицкий брал «для Льва Толстого», и ему дали.

Он сам объяснял свой уход вот этой — социальной — невыносимостью своего существования в Ясной Поляне, нестерпимостью барского своего положения: кругом бедность, а я тут в усадьбе, и лакей прислуживает за обедом.

Но, может быть, и это он мог бы перенести, уже до предела упростив свой быт, если бы не другая причина, о которой он вслух не говорил по глубокому душевному целомудрию. Жизнь дома причиняла ему ежесекундные страдания, и отнюдь не только социального свойства. Куда больше угнетала его жестокая и бессмысленная борьба между женой и единомышленниками за дальнейшую судьбу его творческого наследия.

Родные и близкие, за редким исключением, вели себя так, будто он уже мертв: боролись за место в мемуарах, дрались за оригиналы дневников и черновики, подчищали и редактировали его дневники, делили наследство и наследие. Двумя полюсами этой драмы были Софья Андреевна и Владимир Чертков, друг Толстого и впоследствии душеприказчик. И мягкий, обходительный, рефлексирующий Толстой, пытающийся всех понять и никого не обидеть, склонялся то к

одной стороне — и по настоянию жены не виделся с другом, то к другой — и по настоянию друга писал завещание тайком от жены. И страдал потом, и обвинял себя в неправоте, и страдала жена, и страдал друг, и все страдали и строчили дневники и многостраничные письма — Чертков однажды разразился письмом аж на одиннадцать страниц! — и ни один, кажется, не сказал, как мать на Соломоновом суде, — пусть не мне достанется, но будет жив...

Нет, коллективный Карандышев решил: так не достанься же ты никому.

БЕЗУМИЕ

Престарелый Толстой оказался в этой буче еще самым душевно здоровым человеком — хотя один доктор предполагал, что и сам уход его из дома был вызван помрачением ума, обусловленным интоксикацией организма при уже начавшейся пневмонии.

Тогда ведь не только пневмонию не лечили. Тогда и психиатрия была в зачаточном состоянии, и доктора могли разве что констатировать у Софьи Андреевны паранойю и истерию, но толком помочь ничем не могли — домашним оставалось терпеть, мучиться и сердиться.

Можно ли винить Софью Андреевну в том, что к старости произошло с ее рассудком? Девятнадцать беременностей, из тринадцати детей — Варя не прожила и месяца, Петя и Николенька умерли годовалыми, Алексей — четырехлетним, Ванечка умер от скарлатины

в семь лет, Маша от воспаления легких — уже взрослой, в тридцать пять. Шесть раз по одному и тому же месту, по детям, ни опомниться, ни встать — а надо еще жить рядом с гением, соответствовать его невероятно высоким требованиям, прощать обиды — а среди них были горькие, как «Крейцерова соната»; терпеть несправедливости: хочет послушать, о чем говорят гости, а муж ей молча указывает глазами на дверь; сносить горе — один из ее выкидышей был спровоцирован гневными криками мужа... Вести хозяйство, заниматься делами,

которыми не хочется, но надо, завидовать мужу, который может — что хочется... и всегда быть заведомо неправой, потому что он — гений, а она нет.

Можно ли винить ее в том, что на склоне лет она помешалась на пунктике «я хорошая, я не враг ему», что главным содержанием ее жизни стала его неблагодарность и ее горькая обида? Толстой трактовал всякое безумие как крайний эгоизм, но один ли крайний эгоизм был в этом безумии? Впрочем, с безумием жены Толстой, уже успокоившийся, мудрый, понимающий, пытался бороться не гневом, как раньше; теперь его оружие — любовь и терпение.

С другой стороны, однако, его под руку толкал Чертков — с его собственным безумием, с тиранством, с жадной власти, с бурной деятельностью: современники вспоминали его «приступы» или «припадки» возбуждения и бешеной активности, которые длились по нескольку дней... Жена впадала в неистовство — то угрозы самоубийства, то обыски с изъятием рукописей и дневников, перевеска портретов в кабинете... Прибегала дочь, обижалась на мать, перевешивала портреты обратно. Чертков писал письма, увещевал, требовал и настаивал. И в центре этой войны самолюбий, амбиций, в кипении душевного нездоровья стоял усталый, больной старик, мечтающий о покое.

А к нему шла вся Россия — шли попрошайки и сумасшедшие, шли мятущиеся эгоисты, свято уверенные, что на свои глупые вопросы они непременно должны получить ответ у самого Льва, шли графоманы со своими стихами и прозой, и убитые горем и нуждой люди в поисках утешения, и прекраснородная молодежь, взыскующая смысла, и толстовцы, перетолстовствовавшие Толстого, и православные, желавшие его переубедить и призвать к покаянию.

Посетители разносили по России свои впечатления — не только от разговора: достоянием публики становилось даже яснополянское меню; поистине, первый в России пример жизни при полном паблисити — и пример неудачный до жестокости. Куда бы он ни ступил — вокруг оказывались зеваки, с детской радостью лезущие в кадр фотографа (а вот я на фоне писателя!), и репортеры, даже в вокзальном буфете сующие нос в графскую тарелку и извещающие страну: Толстой съел яичницу!

И тихая семейная трагедия загнанного в угол старика и душевнобольной старухи (ему 82, ей 66) стала стремительно превращаться в крупнейшее событие общественной жизни, в колоссальный новостной повод для прессы.

Иногда хочется просто никого не видеть, и чтобы никто не видел тебя. Когда человек в 82 года, нуждающийся в помощи и уходе, сбегает из дома в темную осеннюю ночь, почти без денег, тайком, уговорившись с верными людьми, что даже письма свои будет подписывать «Т. Николаев», — ему должно быть очень плохо.

газетчики — «графиня изменившимся лицом бежит пруду», — достоянием публики стала и невозможная душевная боль брошенной жены, и неудавшаяся попытка самоубийства — тут же интерпретированная как истерическая демонстрация и шантаж.

Он недолго пробыл в Шамордине, у сестры, жившей там монахиней, чуть отдохнул душой, — надеялся на встречу с оптинским старцем Иосифом, но не желал



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

навязываться, тот был болен; Иосиф был готов принять, но тоже что-то не срослось, не вышло, не получилось беседы. Не вышло остаться жить при монастыре, как он хотел: по обыкновению сам навязываться не желал, кто-то из деликатности отошел подальше, кто-то побоялся взять на себя ответственность — как же, отлученный от церкви пришел в монастырь! — пока брали благословения у начальства, пока решали, пока посылали вдогонку, он уже решил, что и тут ему не жить.

И неприкаянный граф, гонимый тоской, снова тронулся в путь — а за ним репортеры, и игумен Варсонофий, по благословию Синода, в надежде, что Толстой все же захочет поговорить. Толстой простужен, болен, не знает толком, куда ему ехать. Доктор Маковицкий говорил потом, что думали даже ехать в Одессу, а там в Константинополь, — но сходит в Астапове, уже больной, в жару, бессильный, и спасибо начальнику станции Озолину, который уступил ему свой дом, — а то бы и умирать Толстому непонятно где.

И газеты трубят о великом уходе великого человека, о символическом смысле поступка, и Россия в ужасе и восхищении внимает, а дома мечется убитая горем жена и не знающие, что думать, дети. Павел Басинский в своей прекрасной книге «Лев Толстой. Бегство из рая» цитирует «Одесские новости», напыщенно указавшие семье: «Не ищите его, он не ваш, он всех!» И хорошо еще, нашелся в другой газете, в «Русском слове», добрый человек Константин Орлов, который сжалился и написал семье — Толстой в Астапове у начальника станции, температура 40... И семья тоже срывается с места и едет и селится в вагончике рядом; но жену тоже не пускают к Толстому, как не пускают игумена Варсонофия — Толстой ясно не сказал, что он этого хочет... Ему и трудно, и стыдно, и нет сил для последних объяснений. Трое детей с ним, трое — с матерью в вагончике; жена украдкой пытается заглянуть в окно дома, куда ее не пускают; раскол и раздрай продолжается и у смертного одра.

И шесть докторов, и сиделка, и девушка-горничная, и еще какие-то люди — но ни жены, ни священника, и он уходит от двух самых нужных и самых тяжелых разговоров. И просит только — оставить его в покое, не пихать в него лекарство, не колоть ему морфий — пустить, отпустить — чтобы идти дальше — не идти даже, бежать, «удирать». В мире полно других людей, что вы все смотрите на одного Льва? — спросил он перед смертью.

В чужом доме, в чужой постели, не найдя ни уединения, ни тихого угла, без прощания, без приготовления, как хотел и собирался, никуда не удрав ни от себя, ни от жены, ни от нерешенных вопросов. Все не так, все неправильно, все больно.

ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

А страна гудела как улей и плакала, и завидовала — видя в последнем уходе не тоску и бесприютность человека, лишённого на старости лет малейшего частного пространства и возможности личного выбора, а мощный прорыв к свободе — от условностей, от связывающих обстоятельств, от лжи — к последней, предельной честности перед собой и другими.

Но предельная честность оказалась смертью.

Собственно, о религиозном, литературном, духовно-нравственном, общественно-политическом и всемирно-человеческом значении ухода Толстого написаны километры книг и статей. Я о другом. О частном. О человеческом.

О том, что нехорошо издеваться над чужим сумасшествием. Что не надо рассказывать мужу, как ужасна его жена, и целой группой товарищей спасать его от нее. Что не надо тягать человека туда-сюда: если любишь, не рви, а отпусти.

О том, что старым людям нужен покой и душевное тепло, а не конфликты и борения, даже по самым принципиальным вопросам. О том, что людей надо беречь, даже если это не всемирный гений, а параноидальная старушка.

О том, что нельзя читать чужие дневники и пересказывать чужие письма. О том, что у человека должно быть личное пространство — свой пузырь воздуха, чтобы дышать, — и лезть в этот пузырь нельзя никому — ни друзьям, ни жене, ни детям, ни секретарям, никогда, ни под каким видом. Что у самого открытого, самого гостеприимного дома должны быть закрывающиеся двери, крепкие замки и таймауты без гостей.

О том, что людей надо уметь оставлять в покое, даже если очень хочется вблизи посмотреть на лицо, которое каждый день видишь в газете, и высказать давнее несогласие с его общественной позицией.

О том, что гении — просто люди, достойные не только восхищения, но и пощад.

НЕ ВИЖУ ЗЛА

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Алексей Толстой умер перед самой победой, в феврале 1945 года. Некруглую годовщину — 65 лет со дня смерти — совершенно заслонила подготовка к празднованию Победы в Великой Отечественной. Можно найти дату и покруглее: в грядущем, 2011 году 75 лет исполняется сказке про Буратино, едва ли не главному его произведению — уж во всяком случае, самому читаемому. Но можно и не цепляться к датам, а просто достать с полки книгу: скучным, стандартным зимним вечером толстовская цветная, сочная, бурлящая жизнерадостностью проза очень кстати.



«САМАЯ ВЫДАЮЩАЯСЯ черта личности А.Н. Толстого — удивительное сочетание огромных дарований с полным отсутствием мозгов», — сказал о нем критик Дмитрий Святополк-Мирский. И чуть ли не все, кто когда-нибудь что-нибудь писал о Толстом, с этим обидным высказыванием не спорят. Да и сам Толстой с удовольствием прикидывался дурачком и до старости лет был для знакомых и друзей «Алешкой» и «Алеханом», такой подросший и растолстевший Буратино, ни тебе солидности, ни метафизических глубин. Зато живопись, зато веселье, зато поразительная аутентичность: это тоже такое общее место, что Алексей Николаевич писатель нутряной, животный, истинно русский и вообще «пишет брюхом».

БЕЗ НАДЛОМА

Чтобы считаться Великим Русским Писателем, всего этого мало: нужна трагедия, надлом, беспокойная совесть и биография с большой бедой. А Толстой как-то даже и беды переживал играючи: где у Чуковского травма на всю жизнь с его незаконнорожденностью, там у Толстого отвоєванный все-таки графский титул. Хотя семейной драмы его родителей хватило бы на целый роман, да и сам он задуман как трагический персонаж: зачат в результате насилия мужа над ушедшей от него женой, вырос в незаконной семье, воспитан матерью, которую прокляли не только законный муж и родители, но и старшие дети, оставшиеся с отцом. А он ухитрился вырасти счастливым. Его «Детство Никиты», его переписка с отчимом, Алексеем

ИТАР-ТАСС

Бостромом, — все дышит спокойным счастьем и несокрушимым психическим здоровьем.

Где у Бунина трагедия изгнанничества — там у Толстого смена декораций и попытка обустроиться на новом месте: в Париже не вышло — так в Берлин, в Берлине не живется, так в Россию. Он пристраивается, находит способы, вьет гнездо, кормит жену, детей, няньку, зарабатывает на всех; даже на пароходе, переполненном беженцами, сидит на ящике, пристроив пишущую машинку на другой ящик, и работает.

Где у Куприна горькое примирение с родиной — через чувство вины, через слезы, там у Толстого вполне триумфальное возвращение и годы плодотворной работы: и здесь свил гнездо, приспособился, уяснил правила игры, нашел свою нишу — и работает. Он как резиновый: все от него отскакивало. Даже в жуткое время, в конце 20-х, когда русской литературе так закрутили гайки, что уже и не пикнешь, когда рапповцы и напостовцы затравили все живое — он и это перенес с минимальными потерями: не застрелился, не повесился, не выступил с выданным покаянием, не замолчал навеки. С вечера напился, утром встал, голову полотенцем обмотал, сел за письменный стол — и работает себе дальше.

Он как-то здорово умел не подпускать к себе трагедию, не впускать ее в душу — у него, кажется, и места такого в душе не было выделено, для трагедии. Когда к нему, депутату и знаменитому писателю, пошли косяком просители о высланных и арестованных — еще в первую волну, после убийства Кирова, — он уехал подальше, чтобы не досаждали. О некоторых похлопотал, да. А потом взмолился к жене, исправно передававшей ему чужие просьбы о заступничестве: Туся, не пиши мне больше таких писем!

Даже читая сборник полученных под пыткой и записанных судебными дьяками показаний подсудимых в XVII–XVIII веках — он восхищался

прекрасным русским языком этих воплей, точностью и сжатостью их записи — и оставался до изумления глух к самой сути этих документов. И это не солженицынская «злоупорность», умение не впускать зло к себе в душу, — а, скорее, детское, бессознательное «я не вижу — значит, нет», закрыл глаза руками и спрятался.

ТОЛСТОЙ И РОДИНА

О нем так и говорят мемуаристы: большой ребенок, *enfant terrible*. Пришвин вспоминал, как на каком-то писательском митинге орденосцев его обидели, слова не дали, в президиум не выбрали, а Толстой опоздал, прошел прямо в президиум и плотно, уютненько там уселся — и так это оказалось интуитивно верно, что его тут же туда доизбрали под общий смех. Кому другому — и в голову бы не пришло, и с рук бы не сошло.

У него была замечательная интуиция; веяния времени он ловил раньше других, тенденцию оседлывал быстрее прочих, понимал главное в эпохе сразу, чутьем: так схвачена, к примеру, его «Гадюка», безусловно, уловившая самое важное в переходе от военного коммунизма к нэпу.

И поведение его, и жизненчество — детское, стихийное, народное: в нем больше от природы, чем от головы, биология торжествует над метафизикой, его проза очень живая, но совершенно бессовестная. Нравственные проблемы — стержень, на который нанизана вся русская классика, — его, кажется, занимают в очень малой степени.

Вроде бы немислима русская проза вне морали — а вот поди ж ты, мыслима: Толстой абсолютно русский писатель, и писатель очень большой. И не аморальный, как его стало принято изображать в перестройку, а внеморальный, мимо морали живущий, как будто ее еще не придумали.

В царской России были популярны фотооткрытки с изображениями русских «типов»: вот тип купца, вот крестьянка, вот книгоноша... Алексей Толстой был тоже «тип»: даже не «русский писатель» или «русский барин», а такой «русский сангвиник», как Обломов — русский флегматик, а Левитан, Чехов и Чайковский — русские меланхолики.

Толстой — полнокровный, прожорливый бабник с огромным талантом быть счастливым и жить без страданий — таким же огромным, как талант Достоевского или Толстого-главного страдать и мучиться совестью. Толстой — прозаик красочный, пестрый, динамичный, изобретательный; по меткому наблюдению биографа Алексея Варламова — очень кинематографичный.



ИТАР-ТАСС

Нравственные муки — не его тема, но сюжет, движение, авантюра, масштабные фигуры, массовые сцены удаются ему замечательно.

Он хаотичен, сочен и живописен, как русская зима или русское лето. Это — стихия, а не дух. В его арсенале — нежность, радость, наслаждение, гнев, буря — все, что угодно, но не совесть, не горение альтруизма, не аскеза, не самоограничение. Такова, собственно, и Россия: мощи много, величия тоже, таланту немерено, а ум и совесть — дело десятое.

Может, потому этот Толстой и не мог жить без России. Нет, ему в Париже было хорошо, но в гостях, а не навеки; в гости-то он туда ездил с удоволь-

**Алексей Толстой
с супругой
Людмилой
Ильиничной
у себя на даче
в Подмоскowie.
Апрель
1941 года**

риторикой, что-то в его душе непоправимо изменилось. Теперь за столом с Анненковым сидел не только тот Толстой, который в Одессе читал «Смерть Дантона» и возглавлял игорный клуб, который уезжал в эмиграцию на одном из последних пароходов и два месяца сидел с детьми на острове Халки — без денег, еды и будущего. У этого нового Толстого уже изменился состав души: в нее вошли лозунги, и умение приспосабливать талант под требования момента, и «величайший гений всех времен и народов», и подпись под

ствием. А жить должен был здесь — за границей масштаб не тот, размерчик не тот, развернуться негде: в эмиграции бы Толстому никогда не вырасти до своего настоящего, гомерического масштаба, не справиться с «Петром». С белыми или с большевиками, с царем или со Сталиным во главе — ему не важно было, ему важно было, чтобы Россия была великая, а знак и вектор величия — это уже не важно.

Он, кажется, впервые осознал, как крепко привязан к своей стране, когда работал фронтовым журналистом в Первую мировую — на фронт пойти не мог из-за последствий старой травмы, — именно тогда и страна, и русский характер открылись ему в своей шире, страхе и красоте. Он с забавной серьезностью, почти глупостью, писал в 1914 году, ставшем для него переломным (война и третий брак: он женился на Наталье Крандиевской), что познал в этом году и русскую женщину, и русский народ.

ДЕФОРМАЦИЯ

В один из своих парижских визитов Толстой, уже «красный граф» и прославленный писатель, говорил старому знакомцу, художнику Юрию Анненкову, что на родине испытал психологическую — или, скорее, патологическую — деформацию. Раньше он говорил на том же языке, что и эмигранты; теперь, после многолетней бомбардировки советской

требованием «беспощадного наказания» троцкистского центра.

Он уже жил в двух реальностях, совмещая их в себе обе, подгоняя одну под другую, — и не терзался раздвоенностью, а сделал себе из нее творческую задачу: пока писал, требования момента изменились — ну и что, переделаем и все равно продадим. «Мне наплевать! Эта гимнастика меня даже забавляет!» — сказал он Анненкову. Он никогда не воспринимал себя как мессию, пророка, носителя ценностей выше жизни. Это просто ремесло, как у сапожника или портного: носят в этом году косой крой — научимся кроить по косой.

Беда, однако, в том, что кроить приходилось не только косо, но и криво. Приходилось кроить плохо. А это мастеру дается нелегко, и платить за это приходится дорого: выходит ерунда, которую читать невозможно, и мастерство начинает изменять. Так не удался его Иван Грозный: идеологическую задачу выполнил, а художественную провалил. Удавалась ему не «акробатика», а произвольная программа: то, что он любил, чем восхищался, любовался, за что брался с восторгом и счастьем — таков его Петр Великий в расцвете силы, таланта и славы; умирающий — уже неинтересен. Его легенда о Петре оказалась сильнее, мощней и привлекательней всякой исторической правды — до сих пор о Петровской эпохе сограждане судят по Толстому, как если бы он был свидетель и очевидец.

И в самом деле, писал он, как свидетель и очевидец, — сочным, роскошным, смешным русским языком, естественно, как дыша; Петровская эпоха будто сама заговорила через него во всем своем лингвистическом безобразии, во всем своем ужасе и величии. Здесь, какие бы сиюминутные задачи он себе ни ставил, — Толстой совершенно равен себе и стране.

О ГЕНИИ И ЗЛОДЕЙСТВЕ

Борис Чичибабин заклеил его в своей знаменитой эпитафии: «Мне жалко негодаев, как Алексей Толстой и Валентин Катаев». Негодаем, однако, Толстой не был — сознательным злодеем, завистником, губителем. Бонвиваном был, человеком компромиссов был, острые углы обходил, трусил, соглашался, когда соглашаться было нельзя, — чтобы оставили в покое, дали жить, как живет — комфортно, сыто и удобно, чтобы не загружали неразрешимыми проблемами и дали заниматься любимым делом.

Он не задавал эту искривленную реальность, но искривился вместе с ней: тут подтянуть, там выпятить — и внимательно следить за градусом кривизны, чтобы не выпирать. Но и в этой искривленной реальности сохранил то, что и в самые скверные времена стоит сохранять: любовь к жизни, ощущение родины, живую связь с ней. Все это оказалось очень нужно, когда началась Великая Отечественная. Когда никаких сил не хватало — ни войск, ни винтовок, ни патронов, ни танков, ни самолетов, — среди смерти и ужаса держаться можно было только одной силой духа, любви и гнева. И вот здесь толстовский талант любить жизнь, любить мир, семью и детей, любить свою работу и свою страну оказался сильнее заградотрядов и расстрелов за дезертирство. Потому что любовь и гнев помогают держаться там, где бессилён страх смерти.

Сам Толстой, однако, войну не пережил. Это было зло, от которого ни спрятаться, ни закрыться, ни абстрагироваться было нельзя. Неизвестно, кто ему предложил и зачем он согласился — Федин предполагал, что «из тщеславия», — но он вошел в комиссию по расследованию фашистских злодеяний, это его и добило. Не старинные записи подпытных показаний, а виселицы и расстрельные рвы во всей своей неприглядной реальности — настоящее, масштабное, неприкрытое зло, от которого он всю жизнь заслонялся, а тут уже и неприлично, и невозможно было отгородиться от мирового горя, — настоящее зло обрушилось на него. И в нем, кажется, не хватило уже ресурсов счастья и света, чтобы удержаться по эту сторону жизни. Он простудился в Харькове на публичной казни фашистов, тяжело болел и умер, не дожив до победы нескольких месяцев. Оставил много томов сочинений, большое, разнообразно одаренное потомство и вечные споры о гении и злодействе.

А он не был ни гением, ни злодеем. Был счастливец и трудолюбец — и тому, и другому у него можно поучиться. Умел любить и радоваться на полную катушку — и того, и другого умения все время не хватает.

Так что, когда ммуро, темно и тошно, можно просто достать и перечитать «Детство Никиты» — огромный, цельный кусок беспримесного счастья высшей пробы. 🍷

УШЕДШИЙ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ

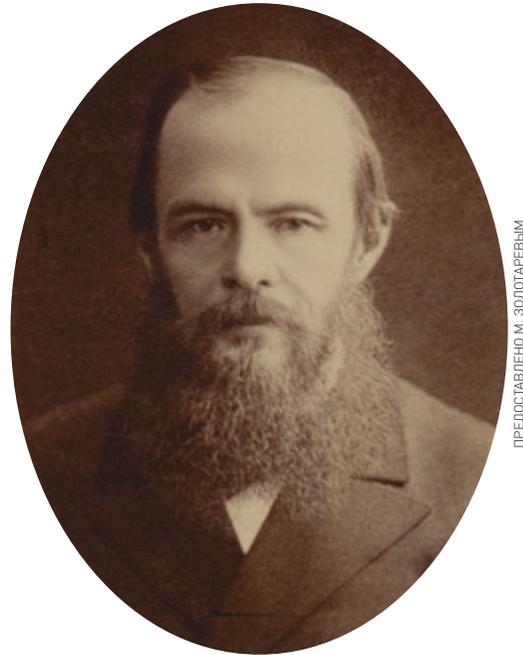
ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Достоевский — первый, наверное, настоящий трагик в русской литературе. Первый писатель, так глубоко, пронзительно и всесторонне несчастный, первый, кто открыл дверь в потемки человеческой души. Даже слова в названиях его сочинений выстраиваются в жуткий ряд: униженные и оскорбленные, мертвый дом, подполье, бесы, преступление и наказание, идиот... Будто он, в самом деле, открыл люк в подzemелье, полное нечисти, — и обнаружил вдруг, что это — часть его самого.

ДЕТСТВО БУДУЩЕГО ПИСАТЕЛЯ БЫЛО НЕВЕСЕЛЫМ. ОТЕЦ ДОСТОЕВСКОГО работал врачом в Мариинской больнице для бедных; биографы любят повторять, что он просиживал долгие вечера над «скорбными списками» умерших бедняков. В левом крыле Мариинской больницы можно увидеть квартиру, где жила семья, — небольшую, хмурую, глядящую на серую московскую улицу под серым снегом. И детскую, где жили старшие мальчики, Федя и Михаил, — отгороженный от передней закуток, самый, наверное, мрачный во всей квартире: серые стены, стол, два огромных сундука. Самая простая обстановка, минимум мебели. Семья была образованной и культурной. У многочисленных детей (всего восемь, но восьмой ребенок рано умер) были няньки и кормилицы, которые радовали их народными сказками. Мать учила детей читать по Библии, и первой книгой, которая произвела на маленького Федю впечатление, была Книга Иова — показательная деталь. Евангельские истории дети знали сизмальства. Отец по вечерам читал вслух Карамзина. Из впечатлений, рано запавших Достоевскому в душу,

он вспоминал посещение Кремля и кремлевских соборов, семейные выходы в театр, домашние чтения — читали в семье много и охотно. Федор Михайлович написал однажды: «Без святого и драгоценного, унесенного в жизнь из воспоминаний детства, не может и жить человек... Воспоминания эти могут быть даже тяжелые, горькие, но ведь и прожитое страдание может обратиться впоследствии в святыню для души». Радость и страдание в его детских воспоминаниях тесно переплетены — не отделить одно от другого.

Мать будущего писателя страдала чахоткой, отец много работал и много пил. Орал на детей и на жену, которую мучил беспричинной ревностью даже через полтора десятка лет совместной жизни. Получив дворянство и право владеть землей, отец купил поместье в Тульской губернии, но тульских помещиков вроде Толстых из Достоевских не получилось: земля в поместье родила худо, нищета была повальная, а господский усадеб-



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

ный дом представлял собой глиняную мазанку. Помещиком лекарь Достоевский был грозным, крестьян сек за малейшую провинность. Через год после покупки все поместье выгорело при большом пожаре, остался один господский дом.

Старшие дети сначала учились дома, затем – в полупансионе француза Сушара, после – в престижном пансионе Чермака, где преподавали лучшие московские профессора. Федя Достоевский был мальчиком серьезным, углубленным в себя. Он много читал и писал фантастические повести, которые называл «арабесками».

В 1837 году умерла от чахотки мать. Семья развалилась: двоих детей забрала сестра матери, младших отец оставил жить с собой в поместье, старших мальчиков отправил в Петербург – в Главное инженерное училище. В дороге старший, Михаил, сочинял стихи, а Федор – «роман из венецианской жизни». Достоевский считал отцовский выбор учебного заведения ужасной ошибкой: его не влекла ни военная, ни инженерная деятельность, муштра тяготила, а из предметов он любил разве что литературу, рисование и зодчество, хотя учился старательно. «Человек есть тайна, – записал он для себя в это время. – Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». Писать он, разумеется, продолжал – по преимуществу исторические драмы, до потомков не дошедшие: интересовался исключительными характерами, властью, могуществом; само собой, вынашивал тщеславные мысли сделать первым из русских писателей.

Летом 1839 года отца Достоевского убили мужики в поместье: не то он их в пьяном виде оскорбил в очередной раз, не то они мстили за поруганных им дочек – так и не выяснили до конца. Когда Федор узнал о смерти отца, с ним случился первый эпилептический припадок. С этих пор болезнь не оставляла его до самой смерти.

ПРАПОРЩИК

Получив в 1841 году чин инженер-прапорщика, Достоевский поселился один на съемной квартире и окончил курс экстерном – два года спустя. Вольный, одинокий, мечтающий о славе, вечно безденежный из-за своей непрактичности и пристрастия к азартным играм, ресторанам и дружеским попойкам, он работает скромным чертежником, но считает себя прежде всего поэтом. Жалованья на жизнь не хватает, присылаемые опекунами семьи деньги проедаются или проигрываются – так что очень скоро Достоевский знакомится с ростовщиками. Выплата долгов и закладывание личных вещей надолго становится его привычным образом жизни.

Инженерную службу он бросил через год после выпуска, в 1844-м. Вышел в отставку и занялся сочинительством. Вскоре из печати вышла «Евгения Гранде» в его переводе. «Перевод бесподобный», – «скромно» написал он брату. Он был убежден в своей гениальности, и убежденности этой ему не могли простить друзья и коллеги-литераторы из кружка Белинского: их сместило и раздражало честолюбие и самомнение Достоевского. После успеха его первого романа, «Бедные люди», они превозносили его, а затем вдруг, неожиданно для него, – переменились, стали высмеивать, общим местом стало утверждение, что Достоевский исписался, что талант его измелчал. Тургенев и вовсе обозвал его «прыщом на носу русской литературы». Даже после его смерти вдове пришлось опровергать слухи о том, что он требовал напечатать свой роман с черной или золотой рамкой на страницах, чтобы его ни с кем не спутали.

С кружком Белинского Достоевский окончательно разошелся. Его следующее произведение, «Хозяйка», не приняла публика, не приняли литераторы, да и самому автору оно разонравилось. Трудно предположить, как дальше развивалась бы литературная судьба Достоевского, если бы не случилась большая беда.

ЗАГОВОРЩИК

Весной 1846 года к Достоевскому подошел незнакомый человек в широкополой шляпе и спросил, о чем будет его следующее произведение. Так началось знакомство писателя с Петрашевским, основателем первого социалистического кружка в России, и участие в этом кружке. Петрашевцы читали друг другу доклады о социализме, модных экономических и политических теориях, атеизме, обсуждали вопросы реформирования России и освобождения крестьян. Достоевский от мыслей о свержении правящего строя был далек, скорее, сочувствовал идеям о всеобщем счастье и сострадал жертвам произвола – многим запомнилось, как страстно он говорил о фельдфебеле, прогнанном сквозь строй. Активней всего Достоевский участвовал в литературных обсуждениях; среди прочего прочитал на одном из собраний круж-

ка знаменитое письмо недавно умершего Белинского Гоголю. Прочитал как важный литературный документ: разойдясь с Белинским, он не разделял многих идей, изложенных в письме, в особенности нападок на религию и духовенство.

Однако именно чтение этого письма сыграло роковую роль в жизни Достоевского. В 1848 году мир всколыхнули события во Франции. Опасаясь за судьбу монархии в России, царь потребовал искоренить крамолу в стране. Одной из первых жертв этой борьбы пал кружок Петрашевского. Публичное чтение письма Белинского стало достаточным основанием для вынесения Достоевскому смертного приговора. Затем

было одиночное заключение в Алексеевском равелине Петропавловской крепости и инсценировка казни на Семеновском плацу: о замене казни каторгой приговоренным объявили уже после того, как надели на них балахоны смертников, привязали первую тройку к столбам, а солдаты прицелились.

Один из этой тройки, Григорьев, начавший сходить с ума еще в заключении, окончательно помешался. Достоевский был почти спокоен: в ожидании казни глядел на игру солнечных лучей на золотом куполе церкви и думал, что сольется с ними, растворится в золотом сиянии. Опыт переживания своей смерти мало кому из русских литераторов достался в такой мере. А Достоевский еще переживал падение в небытие всякий раз, как с ним случался приступ эпилепсии. После приступов он долго не мог прийти в себя: его мучили страшные мысли, он терял память, долго находился в мрачном и подавленном состоянии духа.

Но внезапное счастье избавления от казни так окрылило его, что и каторгу он вынес относительно легко. И даже его «Записки из Мертвого дома» – спокойные, уравновешенные, очень человеческие, хотя и события ужасны, и некоторые персонажи – как из фильма ужасов.

Достоевский внимательно всматривается в окружающих: что они за люди? Что таится в их душах? Почему один раскаивается, а другой уверен в своей правоте? Почему для одного катор-

га – наказание, а для другого – нормальная жизнь среди себе подобных? Что в человеке делает его убийцей? Можно ли наказанием исправить человека? Все эти вопросы он ставит для себя, как метки на стволах деревьев – вернуться сюда еще раз; еще об этом подумать. Потом он будет возвращаться в этот человеческий ад раз за разом, погружаться не только на социальное дно, но и на дно собственной души, истерзанной болью, ревностью, тщеславием, тоской, страхами, физическим и психическим нездоровьем. И каждый раз – выныривать из пучины, выходить, как Орфей из Аида, и даже пытаться выводить за собой заплутавшие души.

Когда читаешь «Записки из Мертвого дома», понятно, почему сам он не опустился, не заплутал, не сошел с ума, хотя к этому прекрасно предрасполагал его душевный склад. Хотя и писал сам: «Эта долгая, тяжелая физически и нравственно, бесцветная жизнь сломила меня...» – но не сломила. Понятно, наконец, и почему совершенно ложен возведенный на него поклеп о его педофилии, любви к маленьким девочкам – слух этот, запущенный Страховым, гневно опровергнутый вдовой, оказался на удивление живучим: он мал, как мы, он мерзок, как мы, даже хуже. Нет, совершенно очевидно из этой книги, что только ясным душевным светом и можно победить этот мрак – и свой, и чужой человеческий, и страшный социальный.

ЛЮБОВЬ

Кто что выносит из каторги и последующей ссылки – а Достоевский вынес любовь. С Марией Исаевой он познакомился в Семипалатинске; она была замужем за совершенно спившимся человеком и имела шестилетнего сына. Достоевский полюбил ее, и чувство, кажется, было взаимным. Муж ее через год был переведен в Кузнецк, где вскоре умер, однако пылкая женщина, тогда уже страдавшая чахоткой, влюбилась в местного учителя. Драма чувств длилась долго, несчастная не могла выбрать между двумя – тем более что Достоевский был беден, болен и поражен в правах. Через друзей он добился, чтобы ему вернули дворянство, дали унтер-офицерский чин; это ли склонило чашу весов в его пользу – бог знает; несчастливый соперник был на их свадьбе шафером. Семь лет брака были мучительны для обоих, хотя Достоевский дорожил домом, семьей, пасынка принял как родного сына и смерть жены от туберкулеза переживал горько и тяжело. Как в родительском доме не было простоты и покоя – так не было их и здесь, в его семье; была ревность (недаром и в «Записках из Мертвого дома» он делает рассказчика убийцей из ревности), было взаимное мучительство – и чувство полного опустошения после смерти жены.

Любви в нем было много, но много было и темноты, кажется, не мог, не умел он так любить, чтобы не мучить ее и не мучиться самому; еще мучительнее оказа-

лась любовь к Аполлинии Суловой, с которой он уехал в Европу, оставив тяжело больную жену. Сулова, натура незаурядная, влюбилась в него искренне и поклонялась ему горячо – затем возненавидела, вспоминала об обидах, которые он ей нанес, и своих страданиях.

Даже третью и последнюю свою большую любовь, вторую жену, преданную ему всецело, до растворения и обожания, Анну Григорьевну, Достоевский умудрялся мучить жесточайшими упреками, бешено ревновать ко всякому встречному – кажется, этот брак много раз спасала только ее поразительная способность терпеть и прощать.

ВТОРОПАХ

К нему возвращалась литературная слава, а жизнь катилась под откос. В Европе он взялся играть в рулетку, проиграл все деньги, был вынужден просить в долг у Суловой. Когда вернулся – умерла жена. Вслед за ней умер любимый брат Федора Михайловича, Михаил Михайлович. Погиб журнал, который они пытались издавать вместе, – «Время», потом «Эпоха», – оставив Достоевскому страшные долги, из которых, по словам Анны Григорьевны, чуть не половину он вовсе не обязан был выплачивать, а взял на себя по излишнему доверию к людям. Осталась огромная семья, которой он старался помогать, – братья, сестры, вдова брата с детьми; остался пасынок, сын умершей жены. Все это требовало постоянной работы, чтобы добыть денег, денег, еще денег. Деньги словно просачивались у него сквозь пальцы – он едва успевал писать, сдавал в печать главы, на которых едва просохли чернила. И много раз вслух завидовал Толстому и Тургеневу, которые имели материальную возможность писать неторопливо и «отделывать» свои произведения. Он и с Анной Григорьевной познакомился лишь потому, что должен был очень срочно сдать рукопись, чтобы не потерять авторские права на свои произведения, – и потому нуждался в стенографистке.

Писал лихорадочно, второпях, все время занимался чужими делами и долгами, терял друзей – не все поняли и приняли его поворот к консерватизму и разочарование в социалистических идеях, – не успевал писать, жил в долг, проигрывал деньги и закладывал вещи... Все катилось под уклон, а он продолжал печатать произведения, полные удивительных мыслей и поразительных прозрений. Какую-то стабильность его жизнь обрела только после второй женитьбы, хотя и в этом браке он терзал жену и проигрывался до нитки. Он, может быть, стал спокойнее – даже приступы мучили его реже – и, может быть, даже несколько счастливее, хотя жизнь продолжала обрушиваться на него новые несчастья: умерла дочь Соня, умер сын Алеша – страшно и внезапно, от унаследованной им эпилепсии; несчастья преследовали семью жены...

Только в старости получил и какую-то финансовую стабильность, и хороший, надежный, теплый семейный тыл, и всенародное признание, и массовые изъявления любви, когда он произнес свою знаменитую Пушкинскую речь. Всего он дождался, но был уже неизлечимо болен эмфиземой, которая и свела его в могилу в зените славы и общей любви.

ОТКУДА ОН ВСЕ ЗНАЕТ

Несмотря на позднюю славу Достоевского, его современники немало удивились бы, узнав, что в сознании потомков он совершенно заслонит Тургенева (писателя, заметим кстати, ничуть не слабейшего), почти отменит Гончарова и существенно потеснит Толстого. Признаться в любви к Достоевскому было не совсем прилично, даже рискованно для репутации: никто не сомневается, что великий талант и бездны, а все-таки странно это «любить». Уважать – да, читать и перечитывать – сколько угодно, но к преклонению всегда примешивается раздражение, даже и досада. Константин Райкин рассказывал в интервью, как пришел к идее сыграть моноспектакль по «Запискам из подполья». Он относился к Достоевскому вполне уважительно, но – издали, без намерения приблизиться. Однажды он сломал ногу на репетиции и от нечего делать перечитывал серый десяти томник 1956 года. Наткнулся на «Записки» и стал читать – с возрастающим изумлением, с ужасом: автор знал о нем все, включая самое постыдное. Дойдя до слов «Мне было только 24 года», Райкин, которому было 24 года, вздрогнул уже по-настоящему. «Ладно, – подумал он, – но уж ЭТОГО-ТО он обо мне не знает», – и тут же обнаружил на следующей странице это самое отвратительное свое воспоминание; книга полетела в стенку, и он долго потом пытался костылем подгрести ее обратно. Вот такое отношение к Достоевскому – книга в стенку – понятно и естественно, это как раз любовь по-достоевски, с мучительствами, драками и даже убийствами. Ничего похожего на преклонение перед Толстым или горячую, братскую

благодарность Чехову, вечному нашему товарищу по всем русским несчастьям. Следует объяснить наконец хоть самим себе, хоть не вслух, в чем секрет этой двойственности отношения к Достоевскому: об ужасах много кто писал, и впол-

не убедительно, и такую ли еще душевную патологию находили мы в бульварной или второстепенной литературе XIX и XX веков! И не в стилистике дело, хотя именно стилистические упреки – одинаковость диалогов, избыточность, многословие, истерика, неправдоподобие – предъявляются Достоевскому с особенной охотой. Все это так, но галлицизмы Толстого тоже торчат из текста, и корявость его – пускской нарочитая – служила мишенью множества пародий; но ясно же, что стилистика в случае Достоевского – именно повод, придирка. Упрекать его в избыточности или истерике – все равно что ругать Босха за фантазмагоричность, а Гойю за жестокость: это черта стиля, намерение, а не случайность. Претензия к Достоевскому глубже, но вслух мы ее стараемся не высказывать, да и себе вряд ли признаемся: мы не любим Достоевского – или боимся его – за то же самое, за что его любил, допустим, Ницше. Или Камю.

За исчерпанность человеческой природы, за догадку о том, что человек в прежнем его виде закончился, что старые тормоза в его случае не работают, а новые надо выдумать, и нет никаких гарантий, что это удастся. Многие жалуются, что в «Преступлении и наказании» теория Раскольникова убедительнее всех попыток ее разоблачить, – это хлесткое замечание, но неверное, поскольку теория Раскольникова умозрительна (и в этом качестве стройноубедительна, как всякое умозрение), а разоблачение ее художественно, и действует избирательно, как всякое подлинное искусство. Но художественное сильнее умозрительного – если читатель умеет читать. И зрелище Раскольникова, раздавленного собственным преступлением, для них сильнее его теоретических умствований, сколь угодно доказательных и рациональных. В этом и заключается феномен Достоевского: он проводит героев на практике через буквальную, дословную реализацию теоретических умозрений. И у него получается, что человеком нового времени – времени последних вызовов и великих кризисов – может быть только

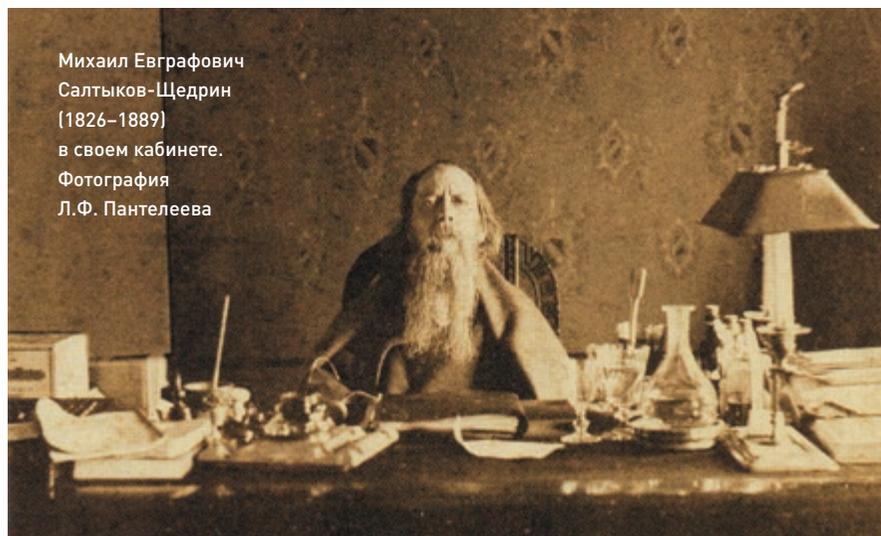
тот, кто поставит на себе грандиозный эксперимент; тот, кто, по выражению самого Раскольникова, «преступит». Так преступила и Соня – ибо преступление против себя, хотя бы и с самыми благими целями, остается великим грехом. Так должен был, по реконструкции Игоря Волгина, преступить и Алеша Карамазов – поставив на себе страшный эксперимент и вызвавшись в цареубийцы (в желании убить царя призналась Достоевскому однажды Сулова, и он долго, с любопытством расспрашивал ее, что ее заставило передумать): ничем, кроме личного опыта и личной жертвы, губительные идеи не побеждаются и не разоблачаются. Вот почему Порфирий Петрович, пришедший к мысли о губительной сути сверхчеловечности, называет себя «поконченным человеком». Это тот самый евангельский случай: если, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Весь Достоевский – о том, что надо умереть или, по крайней мере, выжечь в себе нынешнего, ограниченного, прежнего человека. Он инстинктивно это чувствовал с юности – и потому сам пошел на подобный опыт; вся взрослая жизнь Достоевского есть, в сущности, жизнь посмертная. После несостоявшегося расстрела и четырех лет каторги – плюс два года солдатчины – он в самом деле совершенно переродился: дело не в том, что он приобрел пограничный опыт, а в том, что до конца прошел губительный путь. И на этом пути, несколькими годами жизни заплатив за новый опыт, он постиг тщету внешних преобразований, и сверхчеловеческих идей, и гордыни, от которой столько мучился; его новый человек есть прежде всего тот, кто побывал в соседстве смерти (или смертельной болезни, как Мышкин) и перед лицом этих последних испытаний обрел окончательные, неотменимые ценности. Собственно, Христос после воскресения и есть идеал такого человека – человека ли уже? – для которого не существуют ни внешние унижения, ни тщеславие, ни похоть, ни надежда на преобразования, ни прогресс. Этот человек знает цену всему – и потому не поддается наиболее губительным соблазнам: сектантству, абсолютизации своей правоты, умозрительному преступлению... Он знает, что нет правды, кроме милосердия, и нет спасения, кроме жертвы; он лишен страха; он не знает тщеславия. Страхов вспоминал, что Достоевский после припадков был «как после бани»: он и всю жизнь прожил, словно проварившись в адском котле. Достоевский несет нам страшную весть о недостаточности человека, о том, что ему предстоит сделать с собой нечто большее, чем он представлял в самых страшных или тщеславных грезах; Достоевский – как Ницше впоследствии – призывает человека встать на следующую ступень. И ужас перед этой ступенью таков, что читателю, конечно, проще спрятаться за стилистические претензии.

Впрочем, как сказал однажды Чингиз Айтматов, литература затем и дана человеку, что ставить самоубийственные эксперименты на себе ему уже необязательно: достаточно кое-что прочесть, и в этот набор входит весь Достоевский. ❀

НЕПРОЧИТАННЫЙ

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Салтыков-Щедрин со школьных лет так и остался для нас ядовитым сказочником. В число «великих писателей земли русской» не попал, едва не канул в Лету вместе с прочими радетелями горя народного. Он, как и Некрасов, один из тех писателей, чью литературную судьбу опошлито советское литературоведение. Благо выдать за социальный протест гнев, тоску и возмущение тем, как глупо все устроено, — раз плюнуть.



Михаил Евграфович
Салтыков-Щедрин
(1826–1889)
в своем кабинете.
Фотография
Л.Ф. Пантелеева

ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА мы не знаем: не прочитали. Остались в памяти только мужик, который двух генералов прокормил, дикий помещик да премудрый пещарь с карасем-идеалистом. Некоторые еще помнят «органчик» из «Истории одного города». И все. Остальное прошло мимо. В истории литературы он считается представителем маргинального жанра – сатиры, и великие ровесники (Достоевский на пять лет старше, Толстой на два года моложе) заслонили его своими могучими спинами. К Салтыкову-Щедрину и ученый читатель обращается затем только, пожалуй, чтобы покопаться в истории города Глупова и извлечь актуальную цитату, каких там не счесть. Глупов-то стоит, что ему сделается: пережил новые исторические времена, от которых сохранил памятник Ленину и пятиэтажки, а ныне весь обвешался рекламой и градоначальника обозвал мэром.

МРАЧНЫЙ ЛИЦЕИСТ

Миша Салтыков был шестым ребенком в дворянской семье; после него родились еще двое. О своем детстве и семье он подробно рассказал в «Пошехонской старине», хотя и извещил в самом начале, что не следует его смешивать с рассказчиком, Никанором Затрапезным. Смешивать не стоит, но и отделить трудно: известные документальные свидетельства о семье Салтыковых в мелочах совпадают с

историей семейства Затрапезных. Отец, Евграф Васильевич, был серьезным сорокалетним мужчиной, когда женился на пятнадцатилетней купеческой дочери Оле Забелиной. Молоденькая помещица сначала весело пела с дворовыми девушками, потом посерьезнела: стала одного за другим рожать детей и заниматься хозяйством, и уж как занялась – никому, как говорится, мало не показалось. Прижала к ногтю золовок, прибрала мужа под каблук, учредила жесткую экономию, чтобы сделать хозяйство прибыльным и разбогатеть.

Разбогатеть ей удалось довольно скоро, однако экономила мать на всем, даже на еде: детей в доме кормили мало и невкусно, обычно вчерашними и позавче-

рашними остатками; вечно голодного Мишеньку иногда подкармливала его кормилица-крестьянка. В одном из писем отец просил мать не наказывать детей слишком часто. Салтыков-Щедрин вспоминал, что когда старшие дети учились, в доме постоянно был слышен плач. Отец отстранился от домашних дел, по большей части сидел в кабинете и читал духовную литературу, мать занималась хозяйством, которое составляло ее единственную страсть. Это была женщина с незаурядными организаторскими способностями, сильная, властная, энергичная, но вся ее энергия уходила в скопидомство. Среди восьмерых детей у нее были любимчики (к их числу принадлежал и Миша) – им всегда перепадал лучший кусок, их меньше наказывали. Дети ябедничали друг на друга (тогда говорили – наушничали), жили не мирно между собой, и материнское деление детей на «постылых» и «любимчиков» аукнулось уже взрослыми ссорами и тяжбами. Эту семью не держала никакая любовь, не освещала никакая поэзия.

Дети привыкали быть барчуками и помыкать крепостными, Миша тоже прошел через все соблазны дворянского детства. Перелом случился, когда он начал учиться и прочел Евангелие. Тогда не только наполнились смыслом привычно-непонятные церковные службы, но и вся жизнь будто осветилась пониманием: все не так, все должно быть иначе. Евангельское чтение дало подрастающему мальчику остро необходимый душевный компас. Учение Миши Салтыкова носило характер бессистемный – его некоторое время учил крепостной художник Павел, затем священник из соседнего прихода, затем старшая сестра, не скупившаяся на физические наказания, а более всего он учился сам по учебникам, оставшимся от старших: мать, которой надо было выучить многочисленное потомство, экономила на учителях. В 10 лет Миша поступил в Московский дворянский институт и остался

жить в Москве на пансионе. Мальчиком он был мрачным и угрюмым, друзей имел мало, а казенное заведение с порками по субботам навевало на него тоску. Учился он старательно (больше всего полюбил внезапно открывшуюся для него литературу – до сих пор он почти ничего не читал) и через два года удостоился права перевода в Царскосельский лицей на казенный кошт. Миша сначала отказался от такой чести: он мечтал поступить в Московский университет, выпускники института могли продолжать в нем обучение. Мать, однако, вынудила его согласиться.

Лицей, куда Салтыков поступил в 1838 году, был уже не таков, как при Пушкине: его перевели в военное ведомство, учредили в нем новые порядки, даже маленькие комнатухи, где ранее жили воспитанники, ликвидировали, устроив общие спальни. Однако само Царское Село, еще живо помнившее юного Пушкина, сами лицейские стены дышали поэзией – и Салтыков, естественно, поддался соблазну писать стихи. Восемь лицейских стихотворений потом, в 1844 году, даже были опубликованы в журнале «Современник» – пушкинском журнале! Стихи были средненькие и говорили обычно о тоске и смятении духа – привычном душевном состоянии юноши. В лицее Салтыков держался особняком и не отличался хорошим поведением (в вину ему ставили курение, грубость, неопрятность в одежде и писание стихов; стихи он прятал в сапоге). Там же он познакомился со старшеклассником Петрашевским, будущим заговорщиком, и, когда тот окончил лицей, стал бывать у него в гостях. Лицеистам по выходным разрешалось выезжать в Петербург; Салтыков ездил к брату, к Петрашевскому, к Языкову, с которым познакомился через журнал «Библиотека для чтения», опубликовавший его стихи. Так он вошел в литературные круги; Авдотья Панаева запомнила его мрачным, вечно молчащим юношей.

Шло начало 40-х годов – время не столько литературы, сколько литературной критики. Литература в эти времена (поэт в России больше, чем поэт, да) заменяла и отсутствующую философскую школу, и социологию, и публицистику, и парламент. Именно здесь шли главные идейные битвы, здесь царил Белинский, и молодой Салтыков живо участвовал в обсуждении главных вопросов – и в литературных кругах, и в кружке Петрашевского, где он заинтересовался теорией Фурье.

ССЫЛЬНЫЙ

В 1844 году Салтыков вышел из лицея в чине коллежского секретаря (более успешные ученики выпускались титулярными советниками) и поступил на службу в Военное министерство. Служил мелким чиновником, занимался скучнейшей перепиской, на досуге развлекался театрами, цирком, кутежами, на которые, впрочем, не хватало средств, пристрастился к итальянской опере. Стихи писать перестал, начал пробовать себя в прозе: в 1847–1848 годах журнал «Отечественные записки» опубликовал две его повести: «Противоречия» и «Запутанное дело» (как характерны названия, как старается молодой чиновник понять, почему же так странно, нелепо устроена жизнь вообще и жизнь в России в частности). Вторая повесть

Болтиной – барышне, которую он узнал в Вятке еще девочкой и чьего взросления терпеливо ждал. Матушка Ольга Михайловна была крайне недовольна женьбой сына на бесприданнице: воспринимала ее как катастрофу, как личное оскорбление, призывала на голову сына «казнь и гнев Божий». Семейные связи, и до того некрепкие, рухнули – мать вместо поездки в Москву, где венчались молодые, демонстративно уехала в Петербург к старшему брату, Дмитрию.

вышла уже после революции во Франции – и потому стала судьбоносной для Михаила Салтыкова. В России начали спешно закручивать гайки, опасаясь повторения французских событий, и повесть, где непонятно почему в богатом российском государстве умирает с голоду никому не нужный маленький человек, вызвала бурный гнев начальства. Молодой чиновник Салтыков за вольномыслие был сослан в далекую северную Вятку. Сам он воспринял эту ссылку как катастрофу: едва только встал на ноги, начал печататься, едва утвердился в литературе – и ссылка непонятно куда, непонятно зачем. Семья много раз принималась хлопотать о ссыльном и неизменно получала отказы; на прошениях царь самолично дважды начертал: «Рано».

Раз уж оказался здесь, постарайся принести своей службой пользу отечеству, сказал себе ссыльный и засел за бесконечную бумажную работу: разбираться в мелких следственных делах о пропажах, недостачах, утратах и злоупотреблениях. Днем работал, вечером пил от тоски. «Скучно! крупные капли дождя стучат в окна моей квартиры; на улице холодно, темно и грязно; осень давно уже вступила в права свои, и какая осень! Безобразная, гнилая, с пронизающею насквозь сыростью и вечным туманом, густою пеленою встающим над городом...».

Способного молодого человека начальство заметило и стало ему поручать все более сложные и серьезные дела, требующие постоянных разъездов по губернии. Некоторые из них были не просто сложны, но и опасны: вспомнить хотя бы попытку Салтыкова усмирить крестьянский бунт – разгневавшись, он едва не вызвал карательную команду, а обдумав дело, заступился за крестьян. Были дела, связанные с изучением раскольников и расследованием связей старообрядцев с фальшивомонетчиками, беглыми солдатами и каторжанами; пришибут где-нибудь в глухом волчьем углу, зароят в сугробе и – поминай как звали.

За восемь лет вятской службы Салтыков переделал множество дел: он занимался губернскими годовыми отчетами и сбором статистики. Утомительная работа и разъезды дали ему, однако, огромный материал для обдумывания и анализа – не только статистического и экономического. В разъездах складывались его «Губернские очерки» – удручающая картина неустройства русской жизни, сверху донизу и вширь, как она видится разумному, деятельному и совестливому госслужащему.

ОСОБЫЕ ПОРУЧЕНИЯ

Со смертью Николая I и воцарением Александра II закончилось «мрачное семилетие» удушения всяческих свобод. Воскресли надежды: очередное прошение о возвращении Салтыкова из ссылки было удовлетворено, и в 1855 году он вернулся – уже не молодой и смятенный, а взрослый, усталый, много передумавший и переживший, почти тридцатилетний. Вскоре он женился на юной Лизе

Все неладно, неустроенно было в этой семье: ядовитые шепоты за глаза, забота о карьере и богатстве, ожидание смерти старшего поколения и возня вокруг завещаний; все это нашло потом отражение в «Пошехонской старине» и «Господах Головлевых» – мучительная, бессмысленная, разрушающая душу жизнь, ни капли любви, ни на грош поэзии. Мишино увлечение литературой матушка тоже считала вредным – даже тогда, когда имя Щедрина (под этим псевдонимом были изданы «Губернские очерки») узнала вся читающая Россия.

Салтыков поступил на службу – стал чиновником для особых поручений. Особые поручения были неприятными: расследования злоупотреблений при сборе ополчения на Крымскую войну. Злоупотребления вскрылись масштабные, работа была проделана огромная, людей встречено множество... И все эти искривленные, страшные и жалкие в своем безобразии и несчастьи люди хлынули толпами на страницы «Губернских очерков» – страшный салтыковский коктейль, гремучая смесь жалости, презрения, негодования, любви, тоски и желчи. Видеть это все и не стоять от ужаса и тоски – невозможно для человека думающего и чувствующего.

О Салтыкове вспоминали, что мог стоять от тоски и рычать от гнева; тоска всю жизнь так трепала его, что были периоды, когда он плакал по любому поводу. С молодости у него было большое сердце, настолько большое,

что и врачи не понимали, как он жив еще; с годами добавлялось все больше болезней, врачи отсылали его за границу поправлять здоровье, там ему все не нравилось, все раздражало, особенно колола глаз праздная курортная русская публика. Не все ладно складывалось и с женой, выросшей в светскую даму, – разве что дети, поздние и горячо любимые, были отрадой, но и над ними он дрожал, за них боялся.

Он дослужился уже до вице-губернатора – сначала в Рязани, затем в Твери. И там, и там пытался по-новому, правильно и умно организовать работу, работал чуть не круглосуточно, искоренял взяточничество, вводил среди подчиненных такую дисциплину, что один из них печатно, хотя и не называя имен, упрекнул его в пренебрежении к человеческой личности, в самодурстве – в тех самых пороках, которые пишущий вице-губернатор так ненавидел в других. Что сделал Салтыков? Отыскал через редакцию журнала автора, явился к нему сам домой и искренне благодарил за справедливый упрек.

ГЛУПОВСКИЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР

Пишущий вице-губернатор – это был нонсенс, возможный только в александровские времена; в иное время запретили бы писать или отправили в отставку. Впрочем, совмещать службу с писательством, которое влекло сильнее, становилось все труднее. Служба требовала его целиком, а выносить ее было тяжело. Вокруг себя Салтыков все ярче видел не Тверь, Рязань, Вятку, Владимир, а сплошной, бескрайний, бестолковый Глупов, где все делается не так, как надо, а любые перемены начинаются и кончаются взаимным истреблением. Он пытался делать что мог: обдумывал реформу полиции, пытался внести разумное начало в бездарно проводимую губернскими властями Твери реформу при отмене крепостного права – и все больше понимал, что любые его

усилия – капля в море жестокости, глупости и беззакония. Отчаяние от бессилия что-то изменить заставило его задуматься о том, чтобы уйти с поста и не участвовать в происходящем. В 1862 году Салтыков, уже Салтыков-Щедрин, вышел в отставку. Удерживать его начальство не стало: его публично заявленная либеральная позиция не могла быть терпима, так что желание отставки оказалось обоюдным.

Он хотел издавать журнал в Москве, но не вышло. Переехал в Петербург, где стал редактировать некрасовский «Современник»: там уже выходили его первые «глуповские» рассказы. С его способностью руководить и организовывать он оказался прирожденным редактором, и работу эту очень любил. Купил имение Витенево, где надеялся тихо жить и работать – ближе к земле, к природе; при покупке имения его надули, имение требовало больших трудов и вложений, чем он надеялся. Осложнились и отношения с редакцией «Современника»: часть редакции считала его чужим, мыслящим несвоевременно, каждую его статью подвергали жесткой внутриредакционной цензуре, так что «Современник» пришлось покинуть. Жизнь, которая, кажется, только наладилась, опять расшаталась, и Салтыкову пришлось вновь пойти на государственную службу – он подал прошение о назначении его председателем Казенной палаты в Полтаве, но получил аналогичное назначение в Пензу. Ехать он не хотел, мысль о предстоящей службе вызывала у него горькое отчаяние и злобу. Он так и служил – с отчаянием и злобой, доходящей до припадков ярости, воевал с местным дворянством, не желавшим платить недоимок, разбирали крестьянские выкупные дела и пытался привести в относительный порядок чудовищный хаос, который неизменно находил на каждом своем новом рабочем месте. На подчиненных он наводил страх – резкостью движений, строгостью, начальственным басом и страшным взглядом требовательных глаз. Из Пензы его перевели в Тулу, из Тулы – в Рязань – и везде был Глупов. Безнадежная расчистка авгиевых конюшен жестоко утомляла, хотя подбрасывала все новый материал для его публицистики и прозы. Но за эти три года ему даже писать было некогда, одна статья – и все, больше не смог. А он уже попробовал жить литературой – и мысль об этой оставленной жизни его терзала тоской.

В 1868 году, когда Некрасов стал редактировать «Отечественные записки», Салтыков-Щедрин охотно включился в работу над журналом, а в июне окончательно вышел в отставку, чтобы заняться им полностью. Через десять лет, когда Некрасов умер, стал руководителем журнала – до самого его закрытия в 1884 году. Здесь выходили все его новые произведения: «История одного города», «Помпадуры и помпадурши», «Господа ташкентцы», страшные «Господа Головлевы», «Убежище Монрепо»... Россия в них – уже пореформенная, но не поумневшая, а нашедшая новые способы самоистребления, породившая но-

ских очерках», бескрайнее всепожирающее поле в «Коняге». Это и не лирика, и не социальная сатира, это прежде всего замечательная экзистенциальная проза, горькие размышления о непонятной и нескладной человеческой жизни.

Он очень болел в последние годы и очень мучился – и болезнями, и душевно: чему он отдал свою жизнь? Для чего жил? Что изменилось? Времена из-

менились, но не к лучшему. «Нас ододела глупость, и она теперь до того сгустилась в воздухе, что хоть топор повесь», – писал он в 1883 году. Снова заморозок, снова гонения на журналы, «Отечественным запискам» выносятся предупреждения за «вредное направление»... Закрытие «Отечественных записок» совершенно надорвало Салтыкова-Щедрина. Ошеломленный, он писал в сказке «Приключение с Крамольниковым»: «Однажды утром, проснувшись, Крамольников совершенно явственно ощутил, что его нет». Ему так и казалось – что нет его больше, нет его читателя, все напрасно, все впустую. Последнее задуманное им произведение – «Забывшие слова»: «Были, знаете, слова: ну, совесть, отечество, человечество... другие там еще... – говорил он Михайловскому. – Надо же их напомнить»... Напомнить не успел.

Но оставил литературное завещание, которое тоже мало кто помнит: «Не погрязайте в подробностях настоящего, – говорил и писал я, – но воспитывайте в себе идеалы будущего; ибо это своего рода солнечные лучи, без оживотворяющего действия которых земной шар обратился бы в камень». Выспренно, как и положено в XIX веке. А по сути – очень верно. Все, что было построено хорошего, строилось для хорошего будущего. Не цинкнуться на сегодняшнем, видеть перед собой образ будущего, которое строишь сейчас, – необходимо: без этого ничего не выйдет.

И не выходит, вот в чем беда. 

вых людей, которые и старое разрушат, и нового не построят, а только насорят и уйдут... В «Господах ташкентцах» явились новые люди и принесли новые проекты, наглые, даже прекрасные своей наглостью: «О предоставлении коллежскому советнику Порфирию Менандрову Велентьеву в товариществе с вильманстрандским первостатейным купцом Василием Вонифатьевым Поротуховым в беспощадную двадцатилетнюю эксплуатацию всех принадлежащих казне лесов для неперемного оных, в течение двадцати лет, истребления». И «Господа ташкентцы», для советского читателя неактуальные, для постсоветского оказались напрочь забыты, не прочитаны, невзирая на вопиющую, жгучую схожесть с реалиями времен, когда сколачиваются миллиардные состояния и проворачиваются фантастические по своему бесстыдству сделки. Этот Салтыков, исследователь нарождающегося русского капитализма и серого, обывательского человеческого стада, так и не нашел своего понимающего читателя, так и остался достоянием литературоведов.

САВАНЫ, САВАНЫ, САВАНЫ...

Дети у Салтыкова-Щедрина родились, когда ему шел уже пятый десяток. Он любил их, дрожал над ними, радовался им; в доме стало хорошо. Однако совершенно разрушились отношения с родными – спился и умер брат Сергей, совместно с которым Михаил Евграфович владел имением Заозерье, и старший брат, Дмитрий Евграфович, вознамерился лишить Михаила значительной доли причитающегося ему наследства. Тяжба с братом о наследстве отнимала силы – не столько физические, сколько душевные. Правда, Салтыков-Щедрин несколько сблизился с матерью, которая в этом конфликте поддерживала его. Мать тоже вскоре умерла, распалась семейная связь, разрушилось «дворянское гнездо» – нелюбимое, но родное. Михаил Евграфович, больной и подавленный, зимой отправился хоронить мать, но не успел к погребению. «Саваны, саваны, саваны! Саван лежит на полях и лугах; саван сковал реку; саваном окутан дремлющий лес; в саван спряталась русская деревня...» – так он начинает написанный в это время рассказ «Кузина Машенька». Еще не очень старый, он болен насквозь: болит сердце, мучает хронический бронхит, терзает ревматизм. Его доктор Николай Курочкин замечал, что он болен весь, ни одного здорового органа. И характер у больного был тяжелый, язвительный; он изводил домашних жалобами и стонами. Кажется, это и не о Коняге он сказал, и не о русском мужике, а о себе самом: «Из всех ощущений, доступных живому организму, знает только ноющую боль, которую дает работа».

Литературоведы отмечали разве что удивительные лирические взлеты Салтыкова-Щедрина – вроде как случайно угодившие в его сатиры; ну, как у Гоголя в «Мертвых душах» отступление о «птице-тройке». Но Русь Салтыкова-Щедрина – не лирическая Русь; его поэзия смыкается с триллером – бескрайние поля саванов в «Кузине Машеньке», пожары в «Истории одного города» и «Губерн-

К ЯЗЫКОВУ...

ЕВГЕНИЙ РЕЗЕПОВ

Директор музея заранее предупредил:
«Спрашивайте, как проехать не в музей,
а в парк».

«ПАРК – ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО ОСТАЛОСЬ от родового имения русского поэта Николая Языкова», – как бы извиняясь, говорит встретившая нас Татьяна Николаевна Уренцова, научный сотрудник музейного комплекса «Усадьба Языковых».

Комплекс был открыт в 2003 году – к 200-летию юбилею Николая Михайловича Языкова. Вырос он из скромной экспозиции, посвященной забытому русскому поэту, ютившейся в музее рабочего поселка Языково, приписанного к местной текстильной фабрике. И чудом сохранившегося парка.

...Высокие ели и вязы, дубы и кедры похожи на зеленый остров, раскинувшийся на окраине поселка. Кроны шумят, словно деревья шепчутся друг с другом. Парк был посажен отцом поэта, Михаилом Петровичем Языковым, который словно догадывался, что его младшему сыну нужно будет место для неспешного течения поэтических дум. Ради устройства усадьбы Михаил Петрович оставил военную службу в звании гвардии прапорщика.

«ОН ВСЕХ НАС, СТАРИКОВ, ЗА ПОЯС ЗАТКНЕТ»

В семье Языковых было шестеро детей: три брата и три сестры. Старший из братьев, Петр Михайлович, был известным геологом, а в историю русской культуры он вошел как собиратель древних рукописей и фольклора. Средний брат, Александр Михайлович, был предводителем дворянства Карсунского уезда. Будущий поэт Николай Языков родился в Симбирске на Московской улице, в доме своего деда по материнской линии. Дом этот сохранился до наших дней. Больше всех в семье Николай любил младшую сестру, Екатерину, ставшую позднее женой его друга – поэта Алексея Степановича Хомякова.

курить трубку и грезить. Еще он с удовольствием посещал литературные кружки и редакции журналов, свел знакомство со многими поэтами и писателями той поры – Дельвигом, Баратынским, Грибоедовым, Одоевским... Особо сдружился с поэтом, переводчиком и издателем Александром Воейковым. Правда,



Портрет Николая Языкова времен его студенчества в Дерпте. С литографии Корнелиуса

АНДРЕЙ СЕМАШКО

Усадьбу Языково, где прошло его детство, Николай получил по завещанию в 15 лет. В это время он учился в Петербурге, в Институте горных инженеров, окончив который в 1820 году поступил в Инженерный корпус. Однако учеба была в тягость, его манила литература. В 1821 году Языков был исключен из Инженерного корпуса за постоянные прогулы. Вместо занятий Николай предпочитал, облачившись в халат с пышными кистями,

ему к тому времени удалось опубликовать лишь одно свое стихотворение: в 1819 году свет увидели строчки, посвященные товарищу Языкова по учебе Александру Ивановичу Кулибину – сыну известного механика-самоучки.

Старшие братья уговорили Николая продолжить обучение. В 1822 году Языков поступает на философский факультет Дерптского университета, имея при себе рекомендательные письма от Воейкова – бывшего профессора русской словесности этого учебного заведения. Но и здесь учеба не задалась. На сей раз из-за пирушек и кутежей. Николай ежегодно получал 6 тысяч рублей ассигнациями в качестве дохода от имения, но даже такую огромную по тем временам сумму быстро просаживал, часто оказываясь на мели. Расточителен он был до безобразия: студенческие товарищи пили и ели за его счет, он

даже оплачивал трактирные долги своего слуги. В университете он был личностью очень популярной – не только из-за своей щедрости. Студенты распевали его стихи, положенные на незатейливые мелодии. Как вспоминал друг Языкова той поры, поэт Н.А.Татаринов, «только на пирушках в полном вакхическом разгуле он соглашался декламировать стихи свои. В одной рубашке, со стаканом в руке, с разгоревшимися щеками и блестящими глазами, он был поэтически прекрасен. Все его стихи выучивались наизусть, клались на музыку и распевались студенческим хором». Его же стихи звучали и на собраниях студенческой корпорации «Рутения», которую организовал Языков. Некоторые песни на стихи Языкова были переведены на немецкий и пелись в Дерпте еще с полвека. Да и в других университетах они были известны, удержавшись в памяти русского студенчества до начала XX века.

Языков пишет не только стихи о студенческих пирушках, он слагает и любовные элегии. Муза поэта была известна: Николай влюбился в Александру Андреевну Воейкову – жену своего друга. Александра Андреевна, урожденная Протасова, племянница и крестница В.А. Жуковского, славилась исключительным обаянием, это именно ей Василий Андреевич посвятил свою «Светлану». Александру Андреевну в то время перебралась из Петербурга в Дерпт к матери и сестре – Марии Андреевне Мойер, в салоне которой Языков бывал постоянно. Он писал нежные стихи в альбом Воейковой, но, как и другой ухажер – брат Пушкина Лев, – успеха не имел. Стихи же Николая перекочевывали из альбома Александры Андреевны на страницы журнала, который выпускал Воейков. Но увлечение закончилось трагично: в 1829 году Воейкова умирает в Италии, ее смерть стала сильным потрясением для Языкова.

К НЕНАШИМ

*О вы, которые хотите
Преобразить, испортить нас
И онемечить Русь, внемлите
Простосердечный мой возглас!
Кто б ни был ты, соплеменник
И брат мой: жалкий ли старик,
Ее торжественный изменник,
Ее надменный клеветник;
Иль ты, сладкоречивый книжник,
Оракул юношей-невежд,
Ты, легкомысленный сподвижник
Беспутных мыслей и надежд;
И ты, невинный и любезный,
Поклонник темных книг и слов,
Восприниматель достослезный
Чужих суждений и грехов;
Вы, люд заносчивый и дерзкой,*

*Вы, опрометчивый оплот
Ученья школы богомерзкой,
Вы все — не русский вы народ!
Не любо вам святое дело
И слава нашей старины;
В вас не живет, в вас помертвело
Родное чувство. Вы полны
Не той высокой и прекрасной
Любовью к родине, не тот
Огонь чистейший, пламень ясный
Вас поднимает; в вас живет
Любовь не к истине, не к благу!
Народный глас — он божий глас, —
Не он рождает в вас отвагу:
Он чужд, он странен, дик для вас.
Вам наши лучшие преданья
Смешно, бессмысленно звучат;
Могучих прадедов деянья
Вам ничего не говорят;*

*Их презирает гордость ваша.
Святыня древнего Кремля,
Надежда, сила, крепость наша —
Ничто вам! Русская земля
От вас не примет просвещенья,
Вы страшны ей: вы влюблены
В свои предательские мненья
И святотатственные сны!
Хулой и лестию своею
Не вам ее преобразить,
Вы, не умеющие с нею
Ни жить, ни петь, ни говорить!
Умолкнет ваша злость пустая,
Замрет неверный ваш язык:
Крепка, надежна Русь святая,
И русский бог еще велик!*

Н. Языков, 1844 год

Меж тем стихи Николая уже были замечены. Ему благоволил Жуковский, Языковым весьма интересовался Пушкин, искавший знакомства с ним. В 1824 году Воейков писал Языкову: «Наш Байрон восхищается Вашими стихами и пророчествует Вам мирты, розы, лилии и вечно-зеленые лавры». Встретились поэты в 1826 году. Произошло это в Тригорском – имении Алексея Вульфа (с ним Языков подружился в Дерптском университете), расположенном неподалеку от Михайловского, где отбывал ссылку великий поэт. После Языков написал известное стихотворение «Тригорское», в котором Пушкин называется «свободным поэтом, не побежденным судьбой». А Александр Сергеевич увековечил имя Николая Михайловича в бессмертном «Евгении Онегине». Помните, в четвертой главе? «Так ты, Языков вдохновенный, // В порывах сердца своего, // Поешь бог ведает кого, // И свод элегий драгоценный // Представит некогда тебе // Всю повесть о твоей судьбе».

Своему другу князю Петру Андреевичу Вяземскому Пушкин пишет о Языкове: «Ты изумишься, как он развернулся и что из него будет. Если уж завидовать, так вот кому я должен бы завидовать. Аминь, аминь глаголю вам. Он всех нас, стариков, за пояс заткнет».

БУЙСТВО СИЛ

В Дерпте Языков проучился восемь лет. К 30-м годам он утомился от пирушек и студенческих забав, обучение его интересовало мало – начатые работы по истории Ливонии так и не были завершены, жизнь в немецкой среде раздражала, ему хотелось домой. Первые восторги читателей остались позади, теперь его хвалили меньше. Николай впадает в депрессию. «Мне бы только добраться до Языкова, – пишет он брату. – Уж там-то я застихотворствую, и восстановится моя блистательная слава поэтическая! Эта надежда



АНДРЕЙ СЕМАШКО

меня теперь утешает, как ребенка». Он получает известие, что в имении достроен большой дом, закупает в огромном количестве книги и шлет их в Языково для формирования библиотеки.

Выпускные экзамены в университете Языков сдавать не стал, он вовсе не собирался идти на госслужбу, ведь имение давало приличный доход. Казалось, интуиция его не подвела: уже осенью 1829-го на сибирской земле из-под его пера появляется знаменитый «Пловец». Но... Быстро пресытившись помещичьей жизнью, Николай Михайлович решает ехать в Москву. Здесь он устраивается в Межевую канцелярию, которая была традиционным прибежищем поэтов: до Языкова в ней служили Вяземский и Баратынский. Но чиновничьи обязанности оказались в тягость Языкову, с большим удовольствием он участвует в организации журналов. Вместе с семьей Елагиных-Киреевских поэт устраивает литературные чтения и вечера в салоне Авдотьи Петровны Елагиной. На них бывает и Пушкин.

Маленький коллектив музея занимается не только научной и экскурсионной работой, но и составлением родословных для жителей села, проведением поэтических вечеров в школе, подготовкой парка к ежегодному Всероссийскому празднику поэзии. На фото научные сотрудники: Румила Лобинова, Тамара Алексеева, Татьяна Уренцова и директор Петр Уренцов

ности, показывая гостям. Гости, правда, тоже были люди известные: Денис Давыдов, Алексей Хомяков, Петр и Иван Киреевские, Дмитрий Ознобишин...

Слава Языково как литературного гнезда сохранялась и после того, как Николай Михайлович покинул имение. Уехал он отсюда после гибели Пушкина – разбитый и потрясенный, измученный болезнью. Два года Языков не мог взяться за

перо. Из этого «забытья» вывело его общение с Гоголем, с которым уже тяжело больной Языков познакомился в Италии, где поэт безуспешно лечился. В 1844 году Языков пишет свое знаменитое послание «К ненашим», которое Гоголь назвал «прекрасными и чудными стихами». Но именно эти стихи, написанные в поддержку славянофильства, сыграли роковую роль в судьбе творческого наследия поэта. Литературные критики, державшие сторону западников, начали писать о Языкове в уничижительных тонах. Белинский подверг критическому разбору стихотворение Пушкина «К Языкову». Критик писал, что в то «золотое время быть поэтом – значило быть древним полубогом. И потому все бросились в поэты». Белинский призвал смотреть на послание Пушкина к Языкову как на досадное исключение. Позднее Николай Добролюбов, намекая на образ жизни поэта, заявил, что Языков погубил свой талант, а Герцен в «Былом и думах» сравнил послание «К ненашим» с полицейским доносом...

Николай Михайлович Языков умер в Москве в декабре 1846 года. На смертном одре поэт читал стихи. Похоронили его на кладбище Данилова монастыря.

В 1847 году братья поэта передали его книги в симбирскую Карамзинскую библиотеку. Усадьба Языково была продана симбирскому купцу Федору Степанову, который создал при ней суконную фабрику. Комнату, где ночевал Александр Сергеевич Пушкин, и в бывшем барском доме, и в селе по-прежнему называли «пушкинской»...

Поэты сближаются еще больше. Накануне свадьбы Пушкин устроил в своей арбатской квартире холостяцкий обед для ближайших друзей (тогда он назывался «девишник»). На этой пирушке Языков знакомится еще с одним поэтом, героем Отечественной войны 1812 года Денисом Васильевичем Давыдовым. «Я пьяный на девичнике Пушкина говорил вам о том, но вы были так пьяны, что вряд ли это помните...» – писал потом Давыдов в 1833 году новому приятелю в Языково.

Кстати, с пушкинской свадьбой связана знаменитая поездка Языкова и друга Александра Сергеевича, Павла Воиновича Нащокина, к цыганам. Певице московского цыганского хора Татьяне Демьяновой он позже посвятил цикл стихотворений. «А познакомилась я с ним в самый день свадьбы Пушкина, – рассказывала незадолго до своей смерти Демьянова писателю Б. Марковичу. – Вечером вернулся Павел Войнович, и с ним этот самый Языков. Белокурый был, толстенький и недурной. Они там на свадьбе много выпили, и он совсем как не в своем уме был. Как увидал меня, стал мне в любви объясняться. Я смеюсь, а он еще хуже пристаёт; в ноги мне повалился, голову на колени мне уронил, плачет: «Я, говорит, на тебе женюсь. Пушкин на красавице женился, и я ему не уступлю, Фараонка», – такой смешной он был».

Позже товарищ Языкова, Петр Васильевич Киреевский, писал в январе 1832 года Николаю Михайловичу в Языково о том, что Татьяна по-прежнему прекрасно поет в хоре. К тому времени поэт вернулся в родное имение из-за болезни спинного мозга. Несмотря на нездоровье, здесь он начинает собирать народные песни и предания, воссоздает поволжские былины. А в Москве между тем зло судачили, что Языков исписался, что числить его в рядах первых поэтов уже нельзя, а в рядах первых бражников – еще можно. Но вышедший в 1833 году первый сборник стихов Николая Михайловича посрамил злопыхателей. Николай Васильевич Гоголь утверждал, что Пушкин об этой книге сказал с «досадою»: «Зачем он назвал их «Стихотворения Языкова»! Их бы следовало назвать просто «хмель»! Человек с обыкновенными силами ничего не сделает подобного; тут нужно буйство сил».

Последний раз Пушкин и Языков встретились 29 сентября 1833 года. Александр Сергеевич возвращался из Оренбурга, куда ездил собирать материалы для своей «Истории Пугачева». В Языково поэт застал всех трех братьев. Пушкин шуточно пожурил их за «азиатские привычки», так как все трое встретили его в халатах с длинными кистями, поделился впечатлениями от поездки по Поволжье, прочел балладу «Гусар», пересказал некоторые сцены новой комедии Гоголя.

Парк, где Пушкин и Языков бродили все два дня, что провел здесь «солнце русской поэзии», владельцы имения бережно хранили. На память о своем пребывании в Языково Пушкин посадил ель, а на оконном стекле в комнате, где ночевал, вырезал алмазным перстнем свой автограф. Ель эта до сих пор одна из главных ценностей парка. А комнату Пушкина хозяева долго держали в неприкосновен-

ПАМЯТЬ ПОТОМКОВ

В 1903 году, к 100-летию со дня рождения Николая Михайловича Языкова, Симбирская губернская ученая комиссия издала очерк о селе Языково «гофмейстера Высочайшего двора» В.Н. Поливанова, женатого на дальней родственнице поэта. Поливанов так обрисовал бывший дом Языкова: «В два этажа, он построен отцом поэта, в форме «покая» – с коридорами и двумя просторными флигелями. Со стороны сада дом украшен семью колоннами дорического стиля с каменной лестницей. Двор обнесен решеткою с каменными столбами и параллельно постройкам обсажен вязами, образующими внутри тенистую площадку».

После революции в языковском имении разместили детский дом. В 1919–1920 годах Пушкинский Дом просил художника А.А. Пластова, жившего в соседнем селе Прислониха, зарисовать комнату Пушкина, но все уже было разрушено.

К началу 60-х годов от дома остались только фундамент, балюстрада и сильно поредевший парк. Такой увидела усадьбу приехавшая сюда Надежда Михайловна Демидова, кандидат медицинских наук, сотрудник Московского научно-исследовательского института гигиены им. Ф. Эрисмана, до революции работавшая ткачихой на местной фабрике. Это по ее инициативе в 1972 году в стенах фабрики был создан музей истории рабочего поселка Языково. И хотя с 1969 года в языковском парке Ульяновское областное и Карсунское районное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и хоровое общество Ульяновской области проводили ежегодные музыкально-поэтические праздники памяти А.С. Пушкина, в экспозиции музея место, выделенное под поэта Языкова, было крохотным. Поселок славился одеялами и шинелями, выпускавшимися на фабрике, а не как родовое гнездо Языкова. Акацию и сирень из парка жи-

тели безжалостно выкапывали и пересаживали в свои палисадники, а в тех, кто приезжал на ежегодный День А.С. Пушкина в языковском парке видели не почитателей русской поэзии, а потенциальных покупателей ягод и фруктов.

Не уцелел бы знаменитый парк, если бы его не взяла под свою опеку фабрика. В парке проводились гулянья, местная библиотека открывала павильоны для чтения. Приезжим литераторам языковские школьники дарили на память сделанные своими руками гнезда с аистами внутри – символ литературного гнезда. Все кануло в Лету вместе с советскими временами. В 90-е жители поселка продолжали рубить деревья в парке, жечь костры, устраивать пикники... Нанятый фабрикой сторож по вечерам предпочитал держаться от этого места подальше. В 2002 году Ульяновский областной музей предложил стать директором парка Татьяне Николаевне Уренцовой. До нее от этой должности отказались двое мужчин. А она – заведующая сельской библиотекой – согласилась поменять стеллажи с книгами на темные аллеи. «Кто-то ведь должен был взять это на себя, – объясняет Татьяна Николаевна. Помолчав, добавляет: – сюда к Языкову Пушкин приезжал!» Дружбе двух поэтов она в библиотеке посвящала большие выставки, вступала в переписку с архивами и музеями. Все письма Пушкина к другу в Языково она может цитировать по памяти. Но когда Татьяна Николаевна по вечерам в парке рассказывала обо всем этом тем, кто жег костры и жарил шашлыки, понимали ее далеко не все. Правда, не обижали бывшего библиотекаря, все ж таки в поселке все друг друга знают.

Помог отстоять языковский парк профессор из Казани Николай Васильевич Нарышкин – поклонник творчества Языкова, уроженец здешних мест. Это он убедил губернатора Ульяновской области создать в Языково мемориальную зону. Привели в порядок парк, вычистили пруды, укрепили фундамент барского дома, под экспозицию музея выделили старый больничный корпус, назначили штат работников. Сейчас в музее работает и Тамара Васильевна Алексеева. Это она стояла у истоков первого поэтического праздника «День А.С. Пушкина в языковском парке» (сейчас он называется «Пушкинско-Языковский праздник поэзии»). Татьяна Николаевна Уренцова стала научным сотрудником музея. А ее муж, Петр Николаевич, директором. Это он всем гостям, которые приезжают к Языкову впервые, советует спрашивать дорогу к парку, а не к музею. Ведь о том, что в селе открыт музей Николая Михайловича Языкова, по-прежнему знают далеко не все.

P. S.

...Кроме нас, гостей в музее не было. Тишину парка нарушали лишь щебет птиц да скрежет лопаты. Директор старательно расчищал ото льда аллею, ведущую к скромному музейному комплексу. И хотя экскурсий в этот день не планировалось, лопатой Петр Николаевич работал очень усердно, словно ждал какого-то важного гостя. А и правда: вдруг с трассы свернет какой-нибудь путник и заглянет к Языкову? И, может, он тоже окажется национальным гением? Такое тут однажды уже было... ❶

ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Время было такое, что задумываться приходилось над самыми основами бытия, а поделиться мыслью было нельзя: и невозможно, и небезопасно. Оставалось надеяться, что рукописи не горят, не пропадают и доходят до читателя.

У ДИВИТЕЛЬНО, ЧТО ОНИ В САМОМ ДЕЛЕ ДОХОДЯТ. И ставят фундаментальные вопросы перед читателями иных времен, когда и в голову бы не пришло о них размышлять иначе как в рамках школьного сочинения: какое-нибудь «Добро и зло в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» — сущий кошмар для старшеклассника, поди распусти эту цветную ткань, раздели на черное и белое.

Булгаков был родом из многодетной интеллигентной семьи; отец — профессор Киевской духовной академии, оба деда — священники. Можно было ожидать, что Михаил — старший ребенок в семье — пойдет по духовной части, но на рубеже XIX и XX веков многие священнические династии пресекались. Так вышло и у Булгаковых. После гимназии Михаил выбрал медицинский факультет. У священников, врачей и писателей предмет профессионального интереса общий — человек. Но религиозностью юноша, в чьем доме по воскресеньям читали Евангелие, не отличался. Есть свидетельства, что он отговаривал друзей-семинаристов от поступления в духовную академию.

О детстве Булгакова известно мало. Одноклассник и соученик по мединституту рассказывал Мариэтте Чудаковой, автору двухтомного «Жизнеописания Булгакова», что в гимназии Миша «был невероятный дразнилка, всем придумывал прозвища», участвовал во всех драках, хулиганил, держался несколько особняком и, когда гимназисты бузили в 1905 году, не участвовал «ни в каких советах, ми-

он всю жизнь тянулся к нормальной, домашней жизни. Потом уже, после долгих скитаний и безденежья, едва жизнь стала входить в колею, он сразу завел прюнелевые ботинки, носил дома клетчатую пижаму, купил мебель. Все это казалось его друзьям смешным и мелкобуржуазным — а он просто хотел быть дома.



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

ЮНЫЙ ВРАЧ

Детство кончилось в 1907 году: умер отец, страдавший склерозом почек (эта болезнь часто наследуется, и Булгаков не избежал ее). 16-летний Михаил остался старшим мужчиной в доме. Годом позже он встретил свою будущую жену, Татьяну Лаппа, приехавшую в Киев на каникулы из Саратова. Юная пара гуляла по Киеву — благо город, привольный, зеленый и живописный, к этому предрасполагал. Студенчество его пришлось на времена университетских бунтов, от которых он оставался в стороне. Он начал писать, и первый рассказ был медицински-мистическим: об алкоголике, которого задушил явившийся ему в галлюцинации змей. Станным образом тут есть уже все темы позднего Булгакова: медицинская хроника безумия, алкогольная (наркотическая) зависимость, оживший кошмар, гигантская змея.

Любимая девушка была в Саратове, Михаил в Киеве; он стремился к Татьяне, не мог учиться, даже экзамены не стал сдавать, отложил на год. Поехал в Саратов, привез Татьяну, и опять они гуляли по Киеву и говорили, говорили... Мать Михаила просила повременить с браком, но они не послушались и обвенчались в 1913 году, топлоливо — у невесты даже свадебного платья не было: деньги, которые отец прислал к свадьбе, ушли на оплату аборта. Жили беспечно: он давал уроки, ей присылал деньги отец; ходили в оперу, в кино, в кафе, а нет денег — и ладно, покупали дешевую колбасу...

Летом ездили к родным жены в Саратов; там-то их и застала Первая мировая. В госпитале для прибывающих с фронта раненых (его устроила теща Булгакова) он работал до сентября, когда надо было возвращаться в университет.

В расписание студенческих занятий война внесла коррективы: врачей стали готовить ускоренно. Булгаков сдал экзамены по сокращенной программе и окончил университет в 1916 году. По этому случаю первый и единственный раз в жизни

напился. Распределения не ожидал — сразу пошел в госпиталь Красного Креста. Госпиталь вскоре переехал в Черновицы, затем Булгакова вызвали в Москву, а оттуда отправили в Смоленскую губернию, в управление земских больниц. Новоиспеченный врач оказался единственным специалистом в крестьянской больнице. Принимал роды, оперировал, ампутировал, лечил детей; некоторые случаи описал в «Записках юного врача». Отсасывая дифтерийные пленки из горла больного, заразился дифтерией, ввел сыворотку — на нее, по-видимому, пошла аллергическая реакция: у него опухло лицо, появилась сыпь, все страшно чесалось, он не мог уснуть и попросил медсестру впрыснуть морфий. После пяти впрыскиваний впал в зависимость.

Его перевели в Вязьму: теперь он заведовал двумя отделениями больницы. Появилось свободное время, Булгаков начал писать. За врачебной и писательской работой даже революция, прошумевшая в Петербурге, осталась незамеченной: до конца 1918 года, невзирая на смену власти, революционный хаос не коснулся Украины. Может быть, дело не в апатии и не в презрении к политике, а в усилившейся наркомании: Булгаков продолжал колоть себе морфий, мучился страхами и тоской, мучил жену. Она-то его и вытянула. Уехали в Москву, потом в Киев, на Украину, которая отламывалась от Российской империи, обретая самостоятельность.

НА ВОЙНЕ

Только здесь, в Киеве, Татьяне Николаевне удалось вытащить мужа из болезни: ему нужен был морфий, опиум, что угодно. Внешне молодая пара была благополучна: он завел венерологический кабинет (разгул венерических болезней был чудовищный), купил медицинское оборудование... Днем прием, вечером гости, наедине — ужас: он впадал в ярость, требовал морфию, она подменяла раствор для инъекций водой, выдерживала его ломки. Им удалось почти невероятное: он освободился от зависимости. Ни один из его героев этого подвига не повторил: героя «Морфия» ждет безумие и гибель.

Война подходила все ближе, а врач оставаться в стороне от войны не мог. Гетман объявил мобилизацию в украинскую армию, к городу подошли петлюровцы, братья Булгаковы пошли защищать Киев — попытка героическая и совершенно безнадежная. О ней он потом написал в «Белой гвардии» и «Днях Турбиных».

В январе Булгакова мобилизовали в армию Директории, пришедшей на смену гетману, — увели насильно, но он сбежал домой. За синезупанниками явились Советы и в апреле снова мобилизовали молодого доктора — отправляли в Москву бороться с сыпным тифом. Он, скорее всего, и тут улизнул; затем пришел атаман Григорьев, за ним вновь Красная армия, за Красной — Добровольческая, и вот тут Булгаков уже мобилизации не избежал. Его отправили во Владикавказ, в военный госпиталь, оттуда в Грозный, жена поехала с ним. В Грозном он начал

них пришли только в 1922-м, тревога о мамах, о братьях и сестрах, на которых теперь держится семья, мучила безвыходно.

Служить он пошел в Наркомпрос, к которому относился владикавказский подотдел искусств. Сообщил о себе скудные сведения: литератор, жил в Киеве и Москве, не воевал. Что делал до 1917 года? — был студентом. Литераторы под крылом Наркомпроса чем только не занимались! Главным образом политическим просвещением масс.

печататься — это были публицистические газетные статьи, о которых он старался впоследствии не распространяться. Из Грозного его перебросили во Владикавказ, где он все так же работал врачом и печатался в газете.

В начале 1920 года он заболел тифом, который в ту зиму пожирал и фронт, и тыл. Пока лежал еле живой — белые ушли. Он пенял потом жене: почему не увезла? А ей врачи запретили везти, сказали: умрет по дороге.

ЖУРНАЛИСТ И ДОКТОР. БЫВШИЙ

Когда он пришел в себя, вокруг была советская власть. Пришлось искать работу при ней. Погоны он снял, профессию скрыл: факт службы в Белой армии, пусть и врачом, афишировать не стоило. Военного врача Булгакова больше не было. Появился человек без прошлого, журналист с естественно-научным образованием. Узнать в нем бывшего белого журналиста или доктора мог кто угодно — внезапные встречи были мощным двигателем трагических сюжетов не только в литературе тех лет, но и в жизни.

Булгаков сначала заведовал литературной секцией в подотделе искусств Наркомпроса, потом стал выступать в русском театре с предваряющим спектакль рассказом, затем взялся заведовать театральной секцией и даже писать пьесы. Кончилось это безрадостно: из подотдела искусств его вычистили как белогвардейца — хорошо еще, не расстреляли. Отдел закрыли.

Во Владикавказе он написал несколько пьес, в том числе «Братьев Турбиных» — первое приближение к многолетней мучительной теме. Героям дал фамилию своей бабушки по матери. Пьесами можно было зарабатывать: театры очень хотели «современного материала», а автор хотел есть. Пьесы, написанные ради куска хлеба, литературными достоинствами не блистали, и Булгаков потом их сам уничтожил. Однако денег, выплаченных за последнюю, как раз хватило на отъезд из Владикавказа. Теперь он мечтал о Париже. Путь оказался длинным и извилистым: в Баку, потом в Тифлис, затем в Батум, где они с женой продали обручальные кольца — настолько нечего было есть. Жену отослал в Киев к родным, велел ехать в Москву и ждать от него известий, сам хотел уехать в Константинополь, да так и не смог. Мандельштам, с которым Булгаков познакомился в Батуме, посоветовал отправиться в Москву.

В МОСКВЕ

Первый год в Москве — он приехал туда в разгар голода, в 1921-м, — был бездомным и бесхлебным. У жены по дороге в Киев украли все вещи, да и сам он ничего не нажил. Семья разбросало: у Татьяны два брата погибли, один пропал, о младших братьях Булгаковых ничего не было известно с 1919 года — первые вести о

Мариэтта Чудакова цитирует лозунг для борьбы с голодом, изготовленный Булгаковым в то время: «Ты знаешь, товарищ, про ужас голодный, // Горит ли огонь в твоей честной груди, // И если ты честен, то чем только можешь, // На помощь голодным приди». Такие стишки километрами кропали измученные «ужасом голодным» литераторы.

Булгаков перебрался в Москву осенью 1921 года, метался по редакциям, перехватывая пайки и гонорары (ЛИТО Наркомпроса, где служил Булгаков в начале московской жизни, вскоре закрылось, прогорел журнал, где он пытался работать). И он оказался в «Гудке», газете транспортников.

«Гудок» навеки обессмертил себя тем, что позволил не умереть с голоду Ильфу, Петрову, Олеше, Катаеву, Булгакову. Они, как говорило советское литературоведение, в «Гудке» сблизилась с рабочей массой и прошли пролетарскую школу... старательно насилюя свой талант, придавая стихотворную и прозаическую форму жалобам рабкоров.

Все они не любили свою газетную подцензурность, Булгаков — так откровенно ненавидел. Одесская компания состояла из людей молодых, холостых, связанных узами дружбы и родства; Булгаков был старше их и женат. Но с этой компанией сдружился; они бесконечно острили и подначивали друг друга, ему было нетрудно поддерживать этот тон: к тому предрасполагала и юношеская склонность к розыгрышам, и нерастроченный запас желчи, накопленной за годы становления



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

М.А. Булгаков.
Батум. 1927 год

советского государства с его благородными лозунгами, бессмысленным истреблением людей и бюрократией (именно о ней — фантазмагорическая «Дьяволиада»). Может быть, поэтому ведущим жанром для всех стала сатира, хотя пробовали они себя во всем: Олеша писал не только знаменитые стихотворные фельетоны под псевдонимом «Зубило», но и героические стихи к важным датам, Катаев строил опусы о международной политике (Булгаков от подобного предложения отказался — политика его совершенно не трогала).

Жить было негде, Булгаковых приютил у себя на Большой Садовой муж сестры Михаила, Надежды Афанасьевны. Это и радость была — все же крыша над головой, и проклятие: дом заселили типографскими рабочими, в соседях у Булгаковых оказались пропойцы, лупившие своих жен и детей. В «нехорошей квартире» с потолка лило, жильцы пили самогон, и образы незабвенных соседей не раз запечатлелись в произведениях писателя.

Он уже понял: уехать вряд ли удастся, власть эта надолго; надо жить при ней и не ждать, что обстоятельства переменятся к лучшему. Они понемногу менялись — уже можно стало жить не только пайками, но и зарабатывать деньги и покупать на них что-то. Появилась газета «Накануне» — издавалась в Берлине, но охотно печатала писателей из Советской России; интеллигентские круги газету презирали, но она соединяла писателя с читателем, потерянным за годы разрухи.

Наладилась связь с зарубежьем, пришли вести от потерявшихся братьев, стала понемногу собираться разрушенная, раздетая культурная среда.

Он жалел, что не смог уехать. Но и сейчас, когда граница на недолгое время стала проницаемой, — не уехал.

Забрезжила надежда отстроить нормальную жизнь: жить в своем доме, держать книги, одеваться не в тряпье из распределителя, нормально питаться, носить

разрешился: Булгаков с новой женой переселился в трехкомнатную квартиру на Большой Пироговской.

В жизни его в 20-х годах наметился один лейтмотив: дьявольская сделка — выживание и даже ограниченная свобода в обмен на душу. Предлагали ему сравнительно невинные вещи — за реальные и жизненно необходимые блага: поучаствуй в травле — и напечатают, напиши требуемое — и примут за своего... Похоже, несколько раз он воспользовался заключенным тогда контрактом, после чего безжалостно отверг его. Но окончательно расторгнуть сделку можно было только

собственной смертью — и Булгаков прибегнул к этому крайнему способу.

Не стоит видеть здесь мистическую спекуляцию на биографии художника: Булгаков не зря повторял, что он писатель по преимуществу мистический, и свою жизнь он воспринимал в том же ключе. В каждой судьбе есть повторяющиеся мотивы: дело-то происходит с одним человеком, мир всего лишь возвращает нам мяч, который мы ему бросаем. И к домыслу о контракте Булгакова с «некими силами» стоит отнестись серьезнее, чем к обычной метафоре.

В ТИСКАХ

Кажущееся благополучие длилось недолго: гайки начали закручиваться, цензура становилась злее, а пролетарская риторика — трескучее.

К 1929 году положение театра и литературы было почти катастрофическим: все живое и талантливое искоренялось, пока не осталось одно сплошное РАППство — пролетарская литература, вожди которой искренне убеждены, что писать надо как можно хуже, тогда новый класс поймет и оценит. Три пьесы Булгакова снимаются с репертуара: «Зойкина квартира» у вахтанговцев, «Багровый остров» в Камерном у Таирова и мхатовская «Белая гвардия» («Дни Турбиных»), любимое отдохновение театральной Москвы от бесчисленных «Хлебов» и «Бронепоездов». Время отвердело, сжалось — даже «Бег» с его очевидной антиэ-

обувь по ноге. Все это было непросто: люди, знавшие Булгакова в те времена, вспоминали непостижимо безвкусовые желтые ботинки (и те ему чудом достались) и легкое драповое пальто, в котором он ходил в самые жестокие морозы. «К 1923 году я возможность жить уже добыл», — писал Булгаков. Появилась и возможность писать: он уже работал над «Белой гвардией» и «Записками на манжетах». Родилась «Дьяволиада» — и на гонорар он купил мебель. Над мебелью, больше подходящей для дамского будуара, друзья посмеивались. А ему было не важно: мебель означала дом, уют. В жизнь стали возвращаться друзья, вечеринки, танцы, домашнее музицирование.

И в эту новую жизнь ворвалась и новая любовь: молодая, красивая Любовь Белосельская-Белозерская вытеснила преданную, любящую Татьяну Лаппа. Нерешенный квартирный вопрос терзал Булгакова: жить в одной квартире с бывшей и новой женой невозможно. Ровно та же коллизия, что удивительно, возникла и тогда, когда он собрался уходить от Белосельской-Белозерской к третьей жене, Елене Сергеевне Шиловской. Квартирный вопрос, который испортил москвичей, испортил и Булгакова, заставляя его страстно завидовать любому обладателю отдельной квартиры. Пожалуй, профессор Преображенский, который живет и работает в большой квартире, — несбывшийся вариант булгаковской судьбы: собственный врачебный кабинет в ней промелькнул и быстро пропал в революционной неразберихе. И столкновение интеллигента с человеком из народа, малограмотным и некультурным, доведенное до фантастических пределов в его прозе, происходило каждый день — и доводило до фантастических примеров его отчаяние и злость — лучшие двигатели социального гротеска.

Но есть и другая сторона в его прозе: профессор в ней тоже оказывается небезупречен. Он вроде бы добро замышляет — исследует, двигает вперед науку, — а выходит безобразное зло: гады затевают поход на Москву, а добродушный пес, очеловечившись, орет мерзкие песни под балалайку.

ЗНАМЕНИТОСТЬ

1925 год — переломный в его биографии: Станиславский, прочитавший в журнале «Россия» начало «Белой гвардии», пригласил его к сотрудничеству. Так начался его «театральный роман». Инсценировка «Белой гвардии» была готова очень скоро, вслед за ней появилась «Зойкина квартира», московские и ленинградские театры заваливали Булгакова предложениями — он чуть не в одночасье стал знаменитым драматургом. Рецензенты неистовствовали, обвинения в белогвардейщине и требования снять пьесу с репертуара сыпались одно за другим. Но пьесы шли, деньги капали, а вскоре и проклятый квартирный вопрос

мигрантщиной запрещен. Булгаков чувствует себя уткой в смерзающей полыне. Он все чаще видит перед собой «улицу, кошмар и гибель» — и то, что он успел пережить все это в 20-е, дало ему в 30-х шанс вести себя достойно, без надежд и сожалений.

Он прогуливается в окрестностях Новодевичьего монастыря и носит с собой пистолет — на случай, если внезапная решимость пересилит. Он явно готовится к самоубийству. А потом, на одной из скамеек у пруда, неподалеку от нынешней Савиновской набережной, он замечает странного гражданина, разноглазого, корректного, холодного. Мы знаем об этой встрече лишь из разговоров Булгакова с Еленой Сергеевной годы спустя: кто-то явился и нечто предложил. Пистолет выбрасывается в пруд. А когда Булгаков возвращается домой, глупая, не читавшая ни одного его сочинения прислуга соседей вдруг говорит: «Трубная пьеса ваша пойдеть. Заработаете тыщу».

И через час Булгаков узнает из телефонного звонка, что «Турбины» вновь разрешены, что «автору возвращена огромная часть его жизни», что вся столица гудит о небывалом либерализме. В принципе и эту историю легко объяснить: звонили без него, прислуга взяла трубку, ничего не поняла и передала, как расслышала. Непостижимо другое: почему в разгар социалистического строительства Сталин разрешает «Турбины», почему говорит Хмелеву, играющему Алексея: «Мне даже усики ваши снятся»? Сталин хочет монархии и видит в Булгакове образцового монархиста? Скорее всего, дело в ином: Булгаков, любивший силу и порядок, и сама эта сила, искавшая эстетического оформления, нашли друг друга. Сталину нравился булгаковский черный юмор, Булгакову — сталинская неприязнь к модернизму и избыточной лести.

Что же было ему предложено и какой ценой? Вероятнее всего, в сделку входила и любовь, поскольку с Белосельской к этому времени все разладилось — и

Булгаков находился в поиске. А уже в последние дни февраля 1929 года, на Масленицу, при обстоятельствах, точно изложенных в «Мастере», Булгаков встречает Елену Сергеевну Шиловскую, в девичестве Нюрнберг. Она пребывала во втором и не слишком удачном браке с высокопоставленным военным. Они встретились в гостях, и точен Булгаков в знаменитой фразе: «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих одновременно». Несмотря на негодование Шиловского, на его требование прекратить встречи (и 15 месяцев — с 1931 по 1932-й — они действительно не виделись), брак состоялся 4 октября 1932 года. Шиловский писал Булгакову: «То, что я делаю, я делаю не для вас, а для Елены Сергеевны». И если у Булгаковой сложились вполне дружеские отношения с бывшими женами нового мужа, то Шиловский категорически отказывался от любого общения с Булгаковым и неохотно встречался с бывшей женой, даром что старший сын от этого брака остался с ним.

Много спорят о знаменитом телефонном разговоре Булгакова со Сталиным, состоявшемся в мае 1930 года, вскоре после самоубийства Маяковского. Разговор, по словам Булгакова в письме к Вересаеву, был проведен «ясно, сильно, государственно и элегантно»; определения — одно другого комплиментарнее, и Сталину такое отношение не могло не понравиться. В силе его мало кто сомневался, но элегантность — что-то новое. Здесь Булгакову в очередной раз предложен контракт (предложен, кстати, тонко) — и он опять принимает его и покупает десять лет свободной жизни и творчества. «Что, мы вам очень надоели? Может быть, отпустить вас за границу?» — «В последнее время я много думаю, Иосиф Виссарионович, может ли русский писатель жить вне России. И мне кажется — нет, не может». — «Я тоже так думаю». Этот разговор дает Булгакову должность второго режиссера во МХАТе, временно прекращает его травлю в прессе, а главное — дарит ему этически сомнительное, но иногда чрезвычайно плодотворное чувство государственной поддержки. Булгаков обращался к Сталину редко, в крайних случаях, но во всяком отчаянном положении он мог уповать на Сталина, и его просьбы время от времени удовлетворялись (скажем, он добился смягчения участи Николая Эрзмана). Существование Булгакова было полулегально, но этот твердый в убеждениях, благородный фрондер нравился Сталину больше «тонкошеих вождей», бездарных сторонников, преданных певцов. Булгакова не выпускали за границу, снимали только что поставленные пьесы, не печатали книг, но когда Сталин громил литературу, Булгаков вместе с другими «попутчиками» оставался на свободе. Более того — низвергали булгаковских литературных врагов, тех, кто его травил с особенной яростью; и хотя сам Булгаков удерживался от злорадства, Елена Сергеевна в дневниках не могла отказать себе в этом удовольствии.

ПОПЫТКА ДИАЛОГА

В конце 30-х среди ужаса, в который ввержена страна, Булгакову предложен новый контракт — на этот раз МХАТом. Ему заказывают пьесу о юности вождя. И Булгаков пишет «Батум» — пьесу талантливую, суть которой сводится к пушкинским стансам 1826 года: это новая попытка диалога со Сталиным, отчетливый призыв актуализовать лучшие юношеские черты, которыми он наделен в булгаковском воображении. Булгаков рисует его гордым, остроумным, загадочным, смелым и гуманным не потому, что хочет подольститься, а потому, что хочет его таким видеть, призывает его стать тем Сосо, который выведен в «Батуме». Этот человек не станет упиваться вахханалией террора, сводить счеты — нет, ведь он столько натерпелся от царской власти, которая в «Батуме» наделена явными чертами советской. Ведь он сам сидел, сам бежал из ссылки — неужели он хочет теперь сослать и посадить всю лучшую часть страны, ее интеллектуальную элиту? Не то чтобы Сталин это почувствовал: он запретил спектакль по совершенно другим причинам, куда более прозаическим. Ему не нужно было напоминание о сомнительных моментах революционной юности — о кражах и сотрудничестве с охранкой, которого не отрицали и его соратники. Но не мог он не ощутить другого: Булгаков слишком явно намекал, что Сталин мог бы поменьше прибегать к террору. «Батум» — не то что разговор на равных, но попытка воспитывать и наставлять, чем в отношениях с властью всегда обязательно заниматься искусством. Проблема в том, что с этой властью вообще не следовало бы вступать в диалог, но попробуйте объяснить это тем, кто при ней живет и надеется повлиять на ситуацию!

Отношения Булгакова и Сталина — серьезная тема (правильнее было бы говорить об «отношении Булгакова к Сталину», поскольку никакого равного инте-

реса, конечно, не было). Александр Мирер в блестящей и глубокой книге «Этика Михаила Булгакова» наглядно показал, что образ Христа у Булгакова как бы раскладывается на две ипостаси — Иешуа и Пилат, добро и сила; Пилат в конце концов получает свет — в отличие от Мастера, заслужившего только покой, — и уходит по лунной дороге, беседуя с Иешуа. Прокуратор производит на Иешуа впечатление «человека весьма умного», но разговор их отказывается представить и самое раскрепощенное воображение. Тем не менее для Булгакова особенно важна силовая, государственническая, даже имперская составляющая пилатовского образа: Пилат — представитель той самой империи, которая определила судьбу и нравы всей цивилизации. Для Булгакова Пилат — не копия, не вариация на тему Воланда. Воланд — «полезное зло». Пилат — «сильное добро». У него бывают минуты слабости, и не зря Иешуа говорит перед казнью, что страшнейшим из человеческих пороков является трусость... Но когда Пилат намекает Афранию на необходимость расправы с Иудой, Булгаков откровенно любит Пилата, и начальником тайной полиции Афранием. Булгаков отлично понимает, что добро делается из зла, и не зря его самые прилежные ученики Стругацкие часто повторяют эту мораль (сформулированную наиболее внятно Робертом Пенном Уорреном). Без силы не построишь ни порядка, ни счастья, и культ силы у Булгакова заметен. Но любить государство он хочет как равноправный, а не как подбострастный; он настаивает на праве сотрудничать, а не подчиняться. Именно Мастер прекращает муки Пилата криком: «Свободен! Свободен! Он ждет тебя!» Иное дело, что этот крик разрушает горы, которые отразили его, горы, отделяющие художника от героя; чтобы тебя услышали, надо прорваться через окружение. И не случайно в предсмертном бреду Сталин представал Булгакову «среди камней».

История запрещения «Батума» хорошо известна. Именно она убила Булгакова — после этого стресса он уже не оправился, и тот же склероз почек, от которого умер его отец, сгубил его за полгода. Похоже, за год до гибели Булгаков пересмотрел перспективы «контракта» — не предпринимал никаких попыток «навести мосты» и спасти пьесу, отгородился от МХАТа, бросил поденные заработки. Кажется, ему стали представляться сомнительными любые попытки научить, воспитать, договориться... Видимо, и гибель его, столь стремительная, была следствием внутреннего отказа соблюдать дальше условия сделки. Знаменитые слова «Никогда и ничего не просите, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут» следовало бы продолжить: «Но и тогда не берите». Позднейшие попытки редакции романа — а Булгаков диктовал правки до самой смерти — были, видимо, связаны с тайным стремлением подчеркнуть именно это: пользоваться помощью Воланда можно, но верить ему не следует. ❶

ТИХИЙ ОМУТ

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

О нем много лет только и помнили, что он «Смертяшкин», как его припечатал Горький, известный жизнелюбец. А Сологуб жизнь не любил, звал ее «бабищей дебелой». Он всю жизнь любил Смерть — тихую, печальную, дающую отдохновение. И когда о нем вспомнили, оказалось, что загадочный, наглухо застегнутый старик Смертяшкин — и мудр, и нежен, и язвителен, и точен...



Ф.К. Сологуб
(1863–1927)

ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

И ЧТО-ТО ТАКОЕ ВАЖНОЕ понимает – и про жизнь, и про смерть, и про мыкающего через одну к другой человека. Такое, правда, понимает, чего и знать-то про нее совсем не хочется.

*В поле не видно ни зги.
Кто-то зовет: «Помоги!»
Что я могу?
Сам я и беден и мал,
Сам я смертельно устал,
Как помогу?*

Эти строки – одни из первых – залетели в перестройку в какой-то из многочисленных, торопливо собранных первых сборников Серебряного века и проткнули насквозь своей голой простотой – среди олуненных аллей, вакханок с тирсами и прочих украшательств этой пышной эпохи. Тем и запомнился Сологуб – горькой безнадежностью и нежным шепотом о мечте: «Звезда Маир сияет надо мною, // Звезда Маир, // И озарен прекрасною звездою // Далекий мир»...

Он никогда не хотел ничего о себе рассказывать, боялся писать дневники: вдруг прочитают (прочитали – ужаснулись). Сжег интимные стихи (оставшиеся – коробят), ничего о себе не рассказывал, не давал интервью, не публиковал своей биографии: кому, мол, она интересна? Вообще вел себя по тютчевскому завету – молчал, скрывался и таил. Но при этом рассказывал о себе в прозе и стихах самое главное и сокровенное. Собеседнику – ни за что, а читателю – самый свой болезненный опыт выкладывал как на духу, только преломленный и опосредованный.

ТОЛЬКО ПОЛЬЗА

На психологическом жаргоне таких людей называют «травматиками». И жизнь, и творчество Сологуба сформированы хронической психической травмой.

Отец его, Кузьма Афанасьевич Тетерников, был незаконным сыном барина и крестьянки, человеком добрым и хорошим, однако доброты его сын Федя видел мало: отец умер от чахотки, когда ребенку было всего четыре года. Смерть его Федя переживал мучительно. Мама, Татьяна Семеновна, работала прислугой в семье вдовы коллежского асессора Агаповой. Она боялась, что сын пойдет по кривой дорожке, как многие вокруг, в том числе и ближайшие ее родственники, которые, кажется, только и делали, что пьянствовали и дрались. Она очень хотела воспитать Федю и его сестру Олю правильно. Но как это сделать – она не знала, а потому, как многие благонамеренные родители той поры, уповала на волшебную воспитующую силу розги. Федю били, секли и ставили на колени за всякую провинность. А мальчик был вдумчивый, склонный к рефлексии, самокопанию, так что вскоре он вполне проникся осознанием своей глубокой греховности и испорченности. Раз наказывают – значит, заслужил, значит, это ему нужно. Он еще и в пояс кланялся матери, благодаря за науку, и на всю жизнь остался исполосован душевно и телесно этой наукой перепуганной, злобной любви.

Старуха Агапова, в доме которой он рос, была его крестной, он звал ее бабушкой. Вроде бы это был его шанс прорваться к культуре, книгам, театру – в семье была библиотека, его брали в театр, там он впервые услышал пение Аделины Патти и, кажется, до конца своих дней вспоминал его как редкое чудо. Но семья была дикая, обывательская, утопающая в семейных скандалах – от бабушкиного темперамента мальчик натерпелся не меньше, чем от материнского, и ее мучительное умирание отметил стихами: «Как дух отчаянья и зла, ты над душой моей стояла»...

Он старательно выгораживал себе пространство, в котором можно было жить и дышать, – пространство книжное, поэтическое, музыкальное. Запретное, тайное, его собственное, куда не допускался никто. Стихи он писал с 12 лет. Читал много, и, конечно, в этой изувеченной с детства душе не могли не оставить глубокого следа тяжело созвучный ей Достоевский и изнывающая, изматывающая некрасовская поэзия – прорыв из ежедневной мерзости в гармонию острой, очищенной тоски.

Бабушка уговорила мать отдать Федю в учение. Он учился сначала в Рождественском городском училище, затем в Учительском институте. На медицинском осмотре при поступлении в институт 16-летнему Феде было стыдно обнажаться: на теле сохранились следы порки. Мать и бабушка дружно просили директора сечь их мальчика и вытребовали, чтобы он ходил босиком – ради смирения. Когда не ходил босой – били.

В институте он вел себя тихо, получал высокие баллы по языку и литературе, сторонился товарищей, не принимал участия в их веселье. Обычно бывал замкнут, одинок и погружен в свои мысли. Четыре институтских года стали для него хорошей литературной школой: он много переводил (Шекспира, Гейне, Гёте; пытался делать стихотворные переложения исландской «Эдды», польской и венгерской поэзии). Задумал и начал писать масштабный роман «Ночные росы» – семейную сагу, охватывающую три поколения; романа не закончил, но, по крайней мере, многому научился.

Институт не давал высшего образования: изучаемые дисциплины, за исключением педагогики, были в нем школьными и включали даже чистописание. Выпускники имели право преподавать только в народных училищах. После выпуска Федор Тетерников направился учительствовать в провинцию и несколько лет работал в небольших городках северных губерний. Начал с Крестцов. Мать и сестра поехали с ним. В Крестцах ему было тошно и скучно: и жить в городе, где и поговорить-то не с кем, и учить детей – голодных, битых дома смертным боем и совершенно равнодушных к школьной науке. С молодым пылом он предлагал проекты преобразований, которые только ссорили его с начальством, отказывался подчиняться приказам, которые расценивал как неправомочные, не желал учиться науке отношений, которые устанавливаются шепотом, намеками, понимающими улыбками и подношениями, и в полной мере проявил юношескую категоричность и неуживчивый нрав. Он просил институтское начальство о переводе в другое место, хлопотами наставников, которые сохраняли дружеское отношение к своему выпускнику, его дважды переводили в другой город.

А дома ждала мать с розгой. Он учительствовал и кормил семью, а она продолжала его лупить за всякую ерунду: «Иль слово молвил слишком смело, иль слишком долго прогулял, иль вымыл пол не слишком бело, или копейку потерял, или замешкал с самоваром, иль сахар позабыл подать, иль подал самовар с угаром, иль шарик хлебный начал мять...» В это поверить невозможно: в стихах о «жутких лупках» упоминается Вытегра, где он работал в 1889–1892 годах; родился в 1863-м, то есть мать

продолжала лупцевать 26–29-летнего сына! Кажется, никого из русских литераторов не били так долго, так последовательно, так ежедневно – какая психика могла это выдержать? Битье вьелось в его душу, его мозг, его плоть. Маргарита Павлова пишет в своей монографии «Писатель-инспектор. Федор Сологуб и Ф.К. Тетерников»: «О сечении розгами он продолжал писать всю жизнь. За рамками цикла («Из дневника», где описаны эти ежедневные пытки. – Прим. авт.)... обнаруживаются сотни текстов садомазохистского содержания».

Сестра, Ольга Кузьминична, уехав из дома учиться, писала брату, что ему от розог «только польза».

Битый учитель, в свою очередь, охотно лупил своих учеников. Нормальная русская жизнь, канун XX века.

СИСТЕМА КООРДИНАТ

Не свихнуться от этого всего можно было только одним способом: читать, учиться, думать. И он учился: годы провинциального учительства и одинокого чтения заменили ему высшее образование – философия, религия, языки... Он продолжал переводить, писать стихи, начал печататься. Он задумывался о смерти, влекущей и пугающей, и посмертном существовании – большинство его набросков, стихов, произведений так или иначе устремлено к теме смерти. И многие – стыдные, болезненные, сладострастные – полные прозрачных или полупрозрачных намеков на инцесты, гомосексуализм, педофилию... Остро переживаемое, позорное наслаждение, страдание и боль, подменяющие собой любовь и радость – и становящиеся любовью и радостью, – и смерть, последнее наказание – смерть, которая все покрывает, все искупает, все очищает. Кто-то убивает другого, кто-то убивает себя, кто-то умирает, замученный жизнью... Безумие, порок, тоска и вьедливое самокопание – таков художественный мир молодого Сологуба, в этой системе координат мечется его мысль. И вся-



ПРЕДОСТАВЛЕНО М.ЗОЛОТАРЕВЫМ

кая его попытка написать реалистический рассказ или роман упирается в извращения и вывихи, в подавленные влечения, в стыд, тоску и смерть. Многие писали, что из него мог бы выйти Чехов, но Чехова меньше били.

Зато из него вышел декадент. Мир классической русской литературы – при всех его свинцовых мерзостях – был все-таки нормативен, и кошмарный опыт Федора Тетерникова, который рвался на бумагу, в этом нормативном мире был невообразим, непредставим, непечатен – вовсе невозможен. Но он был возможен и востребован в рамках новой эстетики, которой ни за что не стыдно, кроме собственной бездарности, и ничто не страшно, кроме повседневной бытовой тоски – эстетики старого мира, который все равно обречен.

**Ф.К. Сологуб
с женой Анастасией
Чеботаревской.
Начало 1900-х
годов**

СМЕРТЕНЬШИ

В 1892 году Федор Тетерников с матерью и сестрой переехал в Петербург. Он продолжил службу в народных училищах и вскоре стал в одном из них инспектором. Преподавал математику и физику. Ученики его любили. Некоторые вспоминали потом, что собирались у него дома – и если в школе он был сух и обращался на «вы»,

отдал роль карающей наставницы своей младшей сестре. Еще и не скажешь, что хуже: жуткий образ сестры с розгой в его многочисленных стихах о порке или усталая смерть с голодными смертеньшами и отравленным стилетом в руке... как-то они сливаются, пожалуй.

Он жил с сестрой в такой же смертельно-белой и чистой, холодной казенной квартире при училище на Васильевском, принимал гостей – поговорить о литературе,

многие с удовольствием вспоминали эти посиделки... А один из них, символист Чулков, ужаснулся, глядя на пожилую девицу, акушерку Ольгу Кузьминичну – да это же недотыкомка, вот она, страшная, никакая...

ВЫСОКА ЛУНА ГОСПОДНЯ

«Мелкий бес», откуда и взялась юркая, безликая недотыкомка, бесконечно смущавшая героя, принес Сологубу настоящую славу. Образ бездарного и жестокого педагога Передонова, сходящего с ума от злобы и нелюбви, оказался неожиданно верным портретом: читатели с ужасом узнавали в маленьком провинциальном городке всю Россию – затхлую, жестокую, бессмысленную, а в Передонове – целое поколение, тонущее в отвращении и бессильной злости. «Мы все теперь такие – утратившие не смысл, а красоту жизни», – писал Корней Чуковский о Передонове. Роман, задуманный еще в годы провинциального учительства, написанный на жизненном материале (известны реальные прототипы почти всех главных героев), стал не столько социальным обличением, сколько метафизическим обобщением: это не «мертвые души», как у Гоголя, а оскотинившиеся, обесмыслившиеся, обезобразившиеся – будто всю Россию накрыло дождем осколков дьявольского зеркала из «Снежной королевы».

«Мелкий бес» тяжело шел в печать: журналы не хотели публиковать этот странный роман, где все друг друга мучают. Взятся за дело журнал «Вопросы

то дома переходил на дружеское «ты» и был не так формален; Федор Кузьмич учил их играть в шахматы, беседовал о чем-то интересном...

В Петербурге Тетерников уже мог лично общаться с литераторами и сотрудниками журналов, в течение нескольких лет сложился его литературный круг. Появились друзья и единомышленники, обнаружилось дружественные редакции, в первую очередь, конечно, «Северный вестник», где ему и придумали вместо непоэтичного Тетерникова аристократичного Сологуба, без второй «л», чтобы не путать с известным графом. В «Северном вестнике» вышел роман «Тяжелые сны», изодранный цензурой и варварским редактированием, встреченный дружным, ехидным недоумением критики: что за декадентский бред? И в самом деле: вместо привычного обличительного романа о нравах захолая читателю подсунили философский трактат о том, что жизнь есть сон, человек зол и полон скверны, а смысла жизни нет.

Не меньше удивили читателя и рассказы Сологуба о детях («Тени» и «Жало смерти»), изданные вслед за романом. Довольно сказать, что все дети в них умирают тем или иным, более или менее мучительным способом. И сквозь авторскую жалость и любовное отношение к детям – иными, чем люди вокруг, ангельски устроенными – проступает не только вопрос «в чем смысл жизни?» и ответ «в том, чтобы умереть», но еще и большая подтекст. У Маяковского потом хватило храбрости брякнуть для красного словца: «я люблю смотреть, как умирают дети», хотя и не любил, только брякнул. А Сологуб ничего не провозглашал, но смотрел не отрываясь.

Ребенок, как говорят юнгианцы, это наша собственная анима, душа. Сологубовская душа – тихая, надломленная, бледная и глазастая, замученная до немоты, напряженно вглядывающаяся в тени на стене и вслушивающаяся в звуки звезд, не находящая на земле ни места, ни смысла. Смысл, может, и есть где-то там, среди звезд... а скорей всего – и там нет. А если что и есть, то только покой. Эти призрачные, жуткие проекции его души появлялись у него там и тут – то «тихими мальчиками», то совсем уж невыносимыми «смертеньшами», детками смерти: «Исхудалые от недоедания, беленькие, боязливые. И некрасивые, и с такими же внимательными глазами, такие же милые, как она, моя милая, моя белая смерть»... А сам он был холодный, надменный, наглухо застегнутый, рано состарившийся человек с большой неприятной бородавкой на щеке, замкнутый и молчаливый до незаметности; строгий, отчужденный, часто язвительный. Он говорил в старости, что, если бы начинал все сначала, стал бы математиком – математика тоже немножко смерть: логичная, прямая и прекрасная, она не делает больно, не мучит, не предает, как люди, не требует подлостей. Будни его состояли из преподавания и педсоветов с вечными школьными вопросами детской дисциплины и ремонта.

Мать Федора Кузьмича умерла вскоре после переезда в Петербург, и если верить его стихам, то он, не умевший уже обходиться без наказания, без того облегчения, просветления, которое приносили боль, слезы, примирение и искупление вины, сам

жизни», но закрылся, незаконченную публикацию не заметили. Наконец он вышел в 1907 году – вышел и грянул. И появился какой-то новый Сологуб.

Его сестра Ольга умерла – и он очень горевал по ней. Он ушел из училища по выслуге лет: отработал четверть века. В 1908-м женился на переводчице Анастасии Чеботаревской, которую встретил тремя годами ранее. Союз этот многим казался странным, а салон в их новом жилище на Разъезжей – неуютным, бестолковым, непохожим на прежние неторопливые, умные сборища. Жена любила Сологуба, жила его интересами, ценила и понимала его книги – и при этом, как часто бывает у преданных жен, разделяла и его предрассудки, и опасения, что кругом враги и всяк норовит подгадить. А врагами колючий и неприятный Сологуб обзаводился с необыкновенной легкостью.

То, что он писал после «Мелкого беса» – пьесы, роман «Творимая легенда», стихи, – все вызывало споры, но не такой горячий отклик, как «Мелкий бес». «Творимой легенды» читатели, кажется, толком и не поняли, а наступившие новые времена смахнули с читательского стола и книги, и проблемы, которые поднимал Сологуб: теперь многим предстояло знакомиться с садистской ухмылкой бабищи-жизни не по книгам его, а на собственной шкуре, и чужой опыт тут мало помогал. И трудно сказать, стали ли кому-то утешением или наркотом его тихие смертные видения, его прозрачные, нежные мечты о земле Ойле, плывущей в эфире, легче ли кому-то стало выливать свою собачью, нечеловеческую тоску в холодных и страшных стихах:

*Под холодную луну
Я одна.
Нет, невмочь мне, – я завою
У окна.
Высока луна Господня,
Высока.
Грусть тамит меня сегодня
И тоска.
Просьтайте, нарушайте
Тишину.
Сестры, сестры! войте, лайте
На луну!*

Великая война сначала воодушевила его, затем разочаровала. Февральской революции он обрадовался, Октябрьскую не принял – возненавидел сразу и навсегда. Хотел уехать с женой за границу, но им долго не давали паспортов, народившаяся советская бюрократия мордовала не хуже недотыкомки. Чеботаревская, и так душевно нестабильная, в марте 1921 года утопилась возле Тучкова моста. Сологуб ее искал, сходя с ума от беспокойства и тоски, а затем нашли ее труп. Без нее ему ничего уже не надо было, он и за границу раздумал ехать. Написал цикл стихов «Анастасия» – плач о жене, о стране, о рухнувшем мире:

*По цветам, в раю цветущим,
Влагу росную несущим,
Ты идешь, светла, легка,
Стебельков не пригибая,
Ясных рос не отряхая,
Мне близка и далека.*

...
*И что же ты, моя Россия?
И что же о тебе мечты?
Куда ушла Анастасия,
Туда обрушилась и ты.*

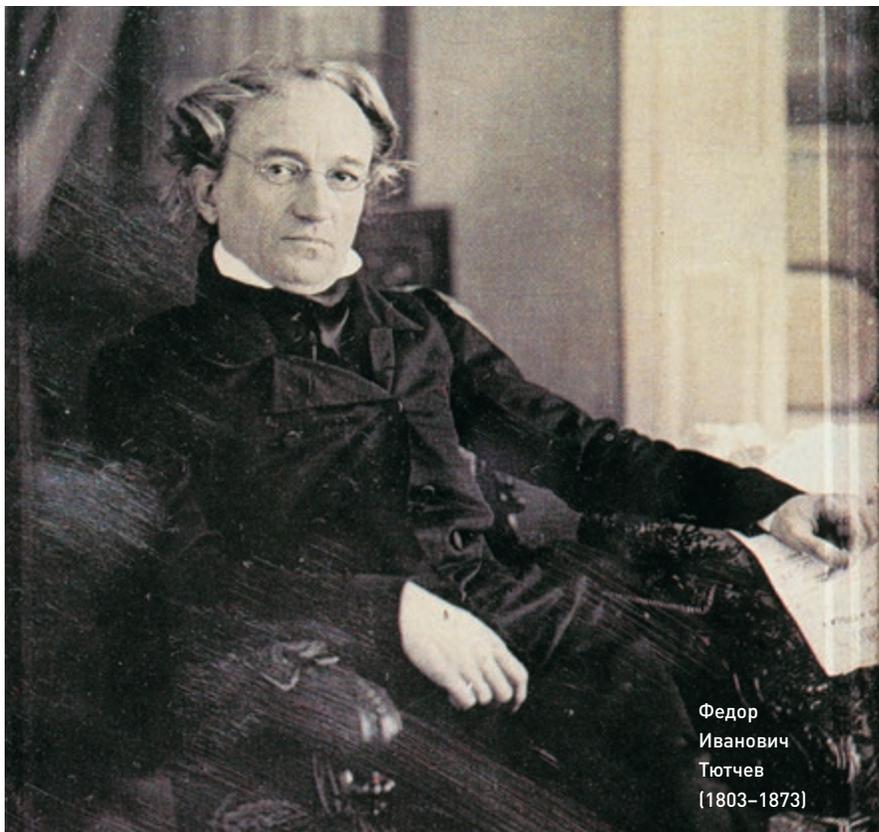
...

Он еще написал роман «Заклинательница змей», переводил Верлена, отпраздновал 40-летие творческой деятельности. Привел в невообразимо идеальный порядок свои бумаги, даже стихи свои «регистировал», раскладывал по ящичкам – мечта архивиста! Еще что-то писал, но уже никому не был интересен как пережиток прошлого. Эпоха кончалась, русская литература доживала последние дни, уступая место организованной, суррогатной, советской, – они и кончились где-то вместе, в 1927 году.

Страшный Передонов, стихи, полные пронзительной, лунной тоски, исковерканная жизнь... Как-то даже не думается о поэтическом совершенстве и разнообразии его стихов, и не хочется даже предаваться умозрительным спекуляциям о том, стал ли бы он хорошим поэтом, нашел бы отклик у читателя, вписался ли бы так органично в свое время, будь менее искалечен и более счастлив. Да пропади бы оно все пропадом – вместе с хорошими стихами и гениальным романом: нельзя так с людьми, невозможно, невообразимо, никакая литература

не стоит такой душевной изувеченности, – так не вернуть же ничего, не отыграть, не угомонить маменьку, методично секущую сына в полной уверенности, что растит его человеком.

И некоторые из праправнуков того поколения поучают прапраправнуков ремнем, и все катится, катится по России недотыкомка, – маленькая, юркая, неуловимая. ❶



Федор
Иванович
Тютчев
(1803–1873)

ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

ПОЧТИ ИНОСТРАНЕЦ

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

На первый взгляд Тютчев — один из самых милых людей в русской литературе. Спокойный, образованный и остроумный. Стихи его — воплощение душевной ясности, которой лучатся хорошие любимые дети и мудрые старики. Лишь зрелый читатель видит, что его поэзия насквозь трагична — с библейским, вселенским размахом, как Книга Бытия или псалмы Давида. А под личиной мудрого дипломата и карьериста таится мятежник, разрушитель чужих жизней, отчаявшийся богоискатель, едва ли не Иов.

ЖЕЛЕЗНАЯ САМОДИСЦИПЛИНА, не оставившая Тютчева и на смертном одре, совершенно скрыла от нас его душевные бури, его ядовитый скепсис и поразительную способность даже среди самого полного счастья вдруг впасть в безутешную тоску. Кажется, его биография и карьера сложились так внешне безоблачно лишь для того, чтобы дать ему возможность описать весь ужас жизни как таковой, не отвлекаясь на суетные вещи вроде бедности или политических преследований. Он был уважаемый в свете государственный человек, успешный чиновник, счастливый муж. И... трагичнейший персонаж русской литературы, весь испепеленный внутренним пламенем.

Он родился в Овстуге под Брянском, русском-прерусском, русее, кажется, уж и не бывает: барский дом на горке, пруд, парк — все как положено в хорошей дворянской усадьбе с ее неприменной меланхолической красотой. Место нежное, поэтичное — то-то оно и стонет сейчас от нашествия брянских свадеб, иногда по два десятка в день; молодые позируют фотографам в восстановленных интерьерах, гости забрасывают парк пластиковыми стаканчиками...

Родители Тютчева тоже были милой парой — радушный и спокойный отец, умная и тонкая мать, хотя и «нервная», по замечанию Ивана Аксакова (он был женат на дочери Тютчева и стал его первым биографом. — Прим. авт.). Словом, прекрасные люди, нормальная жизнь — без смертоубийств, алкоголизма, родовых проклятий, сумасшествий, нужды, насилия над крепостными и прочих драматических обстоятельств. Были другие об-

стоятельства, привычные тогда в каждой большой семье: из шестерых детей трое умерли кто в год, кто в шесть лет.

Федя, второй сын, в семье был баловнем. Учился он легко, схватывал на лету; впрочем, Аксаков пишет о его привычке к лени и неспособности к систематическому труду. Но, скорее всего, Тютчев с детства привык усердно трудиться только над тем, что ему самому казалось важным, – по природной любознательности. К счастью, важным и нужным ему казалось многое.

С воспитателями мальчику тоже повезло: чудесный дядька Николай Хлопов ухаживал за барчуком, как за своим ребенком, потом и в Германию за ним поехал; в учителя Феде взяли молодого, блестяще образованного поэта Семена Раича – лучший выбор, наверное, трудно представить. Под руководством Раича Тютчев сделал первые шаги в поэзии и переводах. Одно из стихотворений своего 14-летнего питомца Раич принес на заседание Общества любителей российской словесности, а председатель Общества Мерзляков зачитал его вслух. Вскоре Общество избрало подростка своим сотрудником, а в следующем году в «Трудах» Общества состоялась первая публикация Тютчева – «Послание Горация к Мecenату».

В 16 лет Федор Тютчев поступил в Московский университет, в 18 — окончил его кандидатом словесных наук.

ВРЕМЯ ЗОЛОТОЕ

После окончания университета с ним случилось событие из разряда тех, что принято называть судьбоносными. Юноша отправился в Петербург и поступил в Государственную коллегию иностранных дел. Вскоре родственник по материнской линии Александр Остерман-Толстой выхлопотал ему место сверхштатного чиновника русской дипломатии в Баварии. В июне 1822 года 18-летний Тютчев отправился в Мюнхен, еще не предполагая, как затянется его заграничное

пребывание. В последующие двадцать два года он лишь несколько раз приезжал на родину в отпуск.

Вся сознательная молодость – время окончательного формирования характера, убеждений, круга общения – прошла в Германии. На родине менялась власть, страну сотрясали страсти (правда, восстание декабристов он застал – был в отпуске, написал об этом мрачные стихи), но Тютчев жил в отдалении, мимо всего, мимо России. Мир расцвел всеми красками: молодость, любовь, самостоятельность, другая страна, новая жизнь. Он потом дважды написал об этих годах – «время золотое». Оба стихотворения посвящались красавице Амалии фон Лерхенфельд. Вечер, внизу Дунай, кругом цветут яблони, и возле руин замка стоят двое влюбленных...

Может быть, в этом и счастье его было, что лучшее время его жизни прошло в комфортной, уравновешенной Европе, среди романтических пейзажей, поэтов и красавиц; что он не отравлен был на всю жизнь тяжелой российской тоской и оцепенением безнадежного безделья. С его чуткостью, философским самоуглублением, с российской новой модой на байронизм легко было впасть в хандру и оказаться сорок пятой версией лишнего человека. А в Европе он был на месте. «Хорошего среднего роста», спокойный, образованный, владеющий французским и немецким, пожалуй, и посвободней русского, умеющий к месту пошутить, он легко был принят в дипломатических кругах и салонах аристократии. Он познакомился с Гейне и Шеллингом, известно, что последний отзывался о нем так: «Это превосходнейший, очень образованный человек, с которым всегда охотно беседуешь». Тесное общение с поэтами и философами, переводы с немецкого повлияли и на мысль его – немецкая обстоятельность и философская углубленность придали ей глубину и строгость, – и на слог, освободившийся от державинских архаизмов и приобретший лаконичность и чеканность. Правда, в русском он нет-нет и срывался на галлицизмы, особенно пленительные в некоторых стихах и переписке. Русский всегда оставался для него не вполне родным, он думал и писал по-русски «со сдвигом» – может быть, без этого не было бы и волшебных ритмических сдвигов «Silentium!». И кто бы до него сказал «пустеет воздух», назвал опавшую листву «листьем», о старческой жизни сказал «тлится»? Тютчевские ошибки и неологизмы вошли в речь и воспринимаются теперь вполне органично, а ведь современникам он казался сложным, временами косноязычным.

Мысль, едва родившись, облекалась в точные слова легко и непринужденно – он не мучился над черновиками, оттачивая стихотворения, – скорее, думал ими на ходу, а потом записывал то, что надумалось и запомнилось само. Может быть, отсюда их лапидарная афористичность и легкость чтения вслух.

А разлучница была красавица. В отличие от очаровательной, уютной и домашней Элеоноры, Эрнестина фон Дёрнберг была женщиной сильной, образованной и эффектной. В 1833 году, когда они познакомились, ей было 23 года. Несмотря на данное жене обещание, Федор Иванович еще несколько раз тайно виделся со своей возлюбленной. Он уже был статский советник и камергер, но денег не хватало, да и оставаться в Мюнхене после громкой скандальной истории едва ли было возможно. И эта страница жизни закрылась: Мюнхен с его золотым временем, первой любовью, первым семейным домом, Мюнхен, где родились его дети, где он познакомился с Гейне и спорил с Шеллингом, пришлось оставить. Он увез семью в Россию. Просился в Вену, однако назначили его старшим секретарем дипмиссии в Турин, тогдашнюю столицу Сардинского королевства.

ТВОЙ МИЛЫЙ ОБРАЗ

С Амалией фон Лерхенфельд вышла непонятная какая-то романтическая история, какая-то дуэль намечалась, но не состоялась, так что Тютчев взял отпуск и уехал на родину. А она тем временем выскочила замуж за другого русского дипломата – барона Крюднера, хотя и говорили, что выплакала все глаза. Он вернулся, она уже замужем; он был потрясен настолько, что уже через два месяца впопыхах женился на другой.

Элеонора Петерсон была молодой вдовой русского дипломата с четырьмя сыновьями. Обвенчался Федор Иванович с Элеонорой тайно, а юридически они оформили брак лишь через три года. У него сразу оказалось множество родственников среди старой немецкой аристократии; жену он в 1830 году свозил на родину, и она, в свою очередь, очень понравилась его семье.

Тютчеву удивительно везло с женщинами: они любили его всеми силами души – ему всегда казалось, что его любили больше, чем он сам любил, и больше, чем он заслуживал. Эту любовь он ценил, считал ее своим счастьем, благословением, мучился виной перед своими возлюбленными и, кажется, ни одну из них не сделал счастливой. Кроме разве что прекрасной Амалии, которая благоразумно вышла за другого. Уже потом, на склоне лет, он написал горестно: «О, как убийственно мы любим». Странно и непонятно, как человек столь ясный, тихий, смиренный, как писал о нем зять его Аксаков, вносил в жизнь своих горячо любимых женщин столько горя и муки. Между тем и здесь нет тайны: для женщины привлекательнее всего то, что ей не дается, а Тютчев никогда никому не принадлежал до конца. Его любили не за спокойствие и ясность, а за тайный жар, ощущавшийся в каждом его жесте и слове. Он был влюбчив, умел ценить любовь к себе и не умел делать резких движений. Не умел рвать отношения, не мог и не хотел выбирать, а потому все время пытался совместить явную жизнь с тайной, ничем и никем не жертвовать.

Элеонора, Нелли, была тихим домашним ангелом. Она и на портретах такова: маленькая, трогательная, с печальными голубыми глазами. Она ухитрялась на небольшое жалованье мужа вести дом и управляться с детьми – у Тютчевых родились три дочери. Она обожала мужа, полностью освободила его от бытовых хлопот. А когда он влюбился в другую, так страдала, что пыталась покончить с собой. Несколько раз воткнула в грудь кинжал, правда, он оказался фальшивым, от маскарадного костюма, но ранил ее довольно сильно. Окровавленная, она выскочила на улицу и потеряла сознание; Тютчев примчался к ней и, спасая брак и жену, решил выехать в Петербург и навсегда отказаться от знакомства с разлучницей. Страсти отнюдь не баварские, кажется, прямо мексиканские. И в эпицентре этого урагана страстей – некрасивый, немолодой, худой человек в очках.

Мюнхен с его золотым временем, первой любовью, первым семейным домом, Мюнхен, где родились его дети, где он познакомился с Гейне и спорил с Шеллингом, пришлось оставить. Он увез семью в Россию. Просился в Вену, однако назначили его старшим секретарем дипмиссии в Турин, тогдашнюю столицу Сардинского королевства.

Тютчев выехал в Турин, по дороге еще раз встретился с Эрнестиной в Генуе. Жена и дочери должны были приехать к нему из Петербурга. На пароходе «Николай I», которым они плыли к нему, возле Любека начался пожар, и Элеонора Федоровна ночью вытащила с горящего судна среди всеобщей паники трех своих девочек – им было 3, 4 и 9 лет. В огне, однако, погибло все имущество и все документы Тютчевых. В Германии она задерживаться не стала, поспешила к мужу, стала вить гнездо на новом месте – из последних сил и почти без денег, но простуда, обрушившаяся на ослабленный чередой потрясений и переездов организм, свела ее в могилу. Рассказывают, что Тютчев поспедел у ее гроба за одну ночь.

СОБЕСЕДНИК НА ПИРУ

Жуковский, навестив Тютчева за границей, удивлялся тому, что тот тоскует об умершей жене и при этом влюблен в Эрнестину. Тютчев просил у начальства отпуск, чтобы жениться на Эрнестине, но ему отказали. Тогда он, исполнявший обязанности посланника, бросил службу и уехал в Швейцарию. В 1839 году в Берне обвенчался с возлюбленной. Его лишили места, а

несколько позже и звание камергера. К этому времени он уже перебрался в любимый Мюнхен, где жил с новой женой, к тому же на ее деньги. Эрнестина Федоровна удочерила и вырастила его девочек – они называли ее мамой; у них, кроме того, родилась дочь Мария и два сына – Дмитрий и Иван. Все это – внешние события, личная жизнь; а что же стихи? О стихах он молчал, разговоров о них избегал и сам бы не собрал и не публиковал. Первой его публикацией русская литература обязана князю Ивану Гагарину, сослуживцу Тютчева, – именно он привез из Германии и отдал в пушкинский «Современник» тетрадь стихов, которые выходили там под общим заглавием «Стихи, привезенные из Германии» и за подписью «Ф.Т.». Славы автору они не принесли, хотя знатоки их заметили. Современникам Тютчев запомнился, скорее, как салонный остроумец, очаровательный собеседник, автор множества смешных словечек, тонких афоризмов и язвущих экспромтов. Петр Вяземский, наблюдая за его вхождением в петербургские салоны, назвал его «львом сезона». Наметились удивительные сближения: европеец Тютчев, складывавший свое мнение о России и ее месте в мире в отрыве от веяний русской общественной мысли, оказался ближе не к западникам, как многие ожидали, а к славянофилам – с идеями об особом русском пути и всеславянском братстве. Запад, который он хорошо знал и понимал, смущал его своей комфортностью, своим вниманием к материальному. Россия, носитель духовного начала, должна была, по его идее, противостоять этим соблазнам. Все это не значит, что он, как пытаются иные доказать сегодня, был славянофилом. Нет, он думал, жил, одевался и даже писал по-европейски, сделав русской многословной мысли тевтонскую прививку. Он просто понимал, что есть границы выше и прочней государственных, что попытка России подладиться под Ев-

Ф.И. Тютчев.
Фотография
Г. Штейнберга.
Петербург. 1860 год



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

ропу обречена: мы, может, и хуже, а может, и лучше, не в том дело: но заслужить уважение рабским подражанием нельзя. «Как перед ней ни гнить, господа, // Вам не снискать признанья от Европы: // В ее глазах вы будете всегда // Не слуги просвещенья, а холопы».

Он опубликовал несколько статей на французском о политике, которые заметил император, так что Тютчев снова стал чиновником Министерства иностранных дел, а затем получил звание камергера. Он наконец совсем вернулся – после двух десятков лет отсутствия – в страну, которая стала совсем другой. Жена, любимая умница Нести, Нестерле, даже выучила русский язык, чтобы жить на родине мужа и понимать его стихи.

Именно в это время он приехал в родные места, в свой Овстуг, которого не узнал. Почти иностранец, он не умел жить русской тоской: мог изумленно смотреть на «безлюдные», «скудные» пейзажи, умел восхищаться и жалеть, но сила рус-

ПРОЩАЛЬНЫЙ СВЕТ

Самому ему, кажется, слава была безразлична. Он, политик и дипломат, больше переживал за поражение России в Крымской войне. Проклинал императора Николая I и обе воюющие стороны и бездарную дипломатию, допуславшую провал за провалом: дочери его вспоминали, что он был зол до умоисступления. Тютчев – редкий пример критики самодержавия справа: беда виделась

ему в том, что никто из защитников самодержавия сам не верил в то, что проповедовал. Для него и Николай I был «не царь, а лицедей». Сам Тютчев подавал редчайший пример стоической верности мертвому делу и ненавидел русскую элиту за воровство, эгоизм и ложь.

Дочери выросли, учились в Смольном институте, стали фрейлинами императрицы. В Смольном, куда Тютчев заходил к дочерям, он встретил вольнослушательницу Елену Денисьеву, племянницу инспектрисы института, Анны Дмитриевны Денисьевой. Она была лишь несколькими годами старше его дочерей. Влюбчивый Тютчев увлекся, и пылкая девушка внезапно ответила ему взрывом страсти, такой пламенной и всепоглощающей любовью, перед которой он оказался бессилён.

Сам он знал за собой этот тайный порок: он сам себя мог выносить, чувствовать всю полноту жизни только в отражении чьей-то любви. Любви, которая не столько брала у него, сколько возвращала ему самого себя – более значительным, прекрасным, достойным такого искреннего чувства. Он и удивлялся тому, что его так любят, и был совершенно безоружен перед такой любовью – и любил сам всеми силами души, которая никак не могла разорваться пополам.

С 1850 года он так и рвался: между верной, мудрой Эрнестиной, которую продолжал заверять, что всецело принадлежит ей, хотя давно уже снял квартиру и уже несколько

ского пейзажа, конечно, для него была не в унынии, не в мокрых воронах на заборе. Вся его пейзажная лирика, собственно, о чуде, о дыхании Божества, о теплом и сыром ветре, внезапно дующем осенью, о веянии весны, о счастье слияния с миром. Он, конечно, тянулся душой от родной скудости и негромкости к итальянскому изобилию красок, к морю, к сияющему небу, но изумленным глазам его и душе хватало радости и здесь: ливень, ветер, изнемогающая в небе радуга – все он вбирал в себя, всем дышал, и стихи получались легкими, естественными, как выдох.

Впрочем, за всяким его пейзажем – ломоносовская «бездна, звезд полна»: недаром и бездна, и звезды так повторяются в его лирике. Его герой стоит перед миром один, изумленный, как Иов в последней главе, слушает Господа, повествующего о Левиафане и Бегемоте, созерцает Божие величие, сознает свою малость и ограниченность своих знаний. И в то же время стоит прямо и достойно и говорит, как равный собеседник: «Его призвали всеблагие как собеседника на пир». Ключевое это стихотворение – едва ли не самое знаменитое у него, — конечно, не просто так отсылает к позднему Риму: он и был поздний римлянин, стоик, с вечным предчувствием катастрофы, с осознанием гибельности русского государственного устройства, с неверием в его реформацию – и с обреченным, рыцарственным служением этому государству, потому что другого нет. Он – при всем его равнодушии к православному обряду, при подчеркнуто светском образе жизни, при нехристианнейшей и мучительной жизни на две семьи, о чем речь пойдет ниже, – в поэзии своей таков и есть: собеседник Божий, внимательно слушающий и бестрепетно говорящий.

ко раз ночевал в ней, а не дома, – и новой страстью, Еленой Денисьевой. Хрупкая, темноглазая, со странной диковатой красотой, она отличалась недюжинным темпераментом и, пожалуй, некоторой экзальтацией. В свою любовь к поэту она ринулась как в омут, очертя голову, – мой, мой собственный, мой боженька, даже так. А Тютчев жаловался потом, что стихов она никаких не любила и не ценила, и его стихи ей были безразличны, кроме тех только, где говорилось о любви к ней.

А Эрнестина ради его стихов выучила чужой язык...

Страсть эта была мучительна для обоих. Наружу она выплыла с безобразным скандалом: в Смольном! племянница инспектрисы! беременна! встречалась с мужчиной на тайной квартире! Отец ее проклинал, инспектрису отправили на пенсию, на будущем фрейлины пришлось поставить крест. А впереди были сорок лет все более горькой любви и все более страшного отчаяния. Всю тяжесть отверженности пришлось вынести Денисьевой. Он приходил к ней несколько раз в неделю, остальное время проводил с семьей или в свете. Она верила в какие-то безумные, придуманные ею утешения: что он ее настоящий муж, плоть едина, а прежний его брак аннулирован самим фактом нынешнего. Что он на ней не женится только потому, что церковь не разрешает четвертый брак, хотя он был женат не трижды, а дважды, и никаких канонических препятствий не было. Было другое препятствие – жена, которую нельзя бросить, дочери, которым не стоит портить жизнь при дворе, невозможность выбора между любовью и любовью. Он жил на два дома, жена не устраивала никаких публичных сцен, разве что мужественно предлагала разойтись, он не хотел и уверял ее в своей преданности. Эрнестина Федоровна в этой истории вела себя очень достойно и спокойно: ника-

кого иступления, никаких сцен, никаких проклятий сопернице – и всегдашняя любовь к мужу.

Елена Денисьева, Леля, напротив, часто устраивала сцены, которые заканчивались тютчевским холодным «ты просишь невозможного». Детей она записала на его фамилию, впрочем, они все равно числились незаконными, и прав у них в насквозь сословной России было не больше, чем у крестьян. Она была постоянно нездорова, разрывалась между вечно болеющими детьми, которых тянула в одиночку. Детям задавали неудобные вопросы: почему папа с нами обедает только раз-два в неделю? Такая у него работа, деточки...

Он пытался уговорить ее не рожать третьего ребенка – она схватила со стола бронзовую собачку на малахитовой подставке и запустила в него, промахнулась, статуэтка угодила в печь и отколола кусок изразца. Леля рыдала и раскаивалась, но сцены, правда, уже без летающих статуэток, повторялись снова и снова, сцены, которые, по мрачному выражению Тютчева, в конце концов довели ее до кладбища, а его – «до чего-то такого, чему и имени нет ни на каком человеческом языке». Она умерла от туберкулеза на пятнадцатом году их запутанных отношений, оставив ему дочку-подростка, тоже Лелю, и двух маленьких мальчиков.

О Господи!.. – и это пережить...

И сердце на клочки не разорвалось...

Стихи «денисьевского цикла» – простые, обыденные и очень страшные. Как будто ему, вечному баловню жизни и собеседнику всеблагих, вдруг открылись бездны, уже не звезд полные, а нечеловеческой тоски – не райские, а адские. Горе, раскаяние и осознание непоправимого убивали его совершенно; семья и жалела его, и смутно чувствовала, что при живой жене так убиваться по незаконной как-то неправильно, что ли. Ему пришлось усыновить детей Денисьевой (при согласии жены), долго и трудно устраивать старшую в дворянский пансион... – и в письмах жене, верному другу и внимательному слушателю, он жаловался на ужасную душевную пустоту... Жена была рядом: «...его скорбь для меня священна, какова бы ни была ее причина». Измученный раскаянием Федор Иванович писал ей: «Сколько достоинства и серьезности в твоей любви – и каким мелким, и каким жалким я чувствую себя сравнительно с тобой!.. Чем дальше, тем больше я падаю в собственном мнении, и когда все увидят меня таким, каким я вижу себя, дело мое будет кончено».

Он уезжал за границу в надежде забыться, но тяжкие воспоминания язвили и мучили. «Боже мой, Боже мой. Да что общего между стихами, прозой, литературой, целым внешним миром и тем... страшным, невыразимо невыносимым, что у меня в эту самую минуту в душе происходит, – эту жизнь, кото-

рою вот уже пятый месяц я живу и о которой столько же мало имею понятия, как о нашем загробном существовании»... – писал он мужу сестры Денисьевой – Александру Георгиевскому. Рассказывали, что на одном из заседаний совета Главного управления по делам печати Тютчев что-то писал на листке бумаги, а уходя, забыл его на столе. Граф Капнист взял листок и нашел на нем стихи:

*Как ни тяжел последний час –
Та непонятная для нас
Истома смертного страданья, –
Но для души еще страшней
Следить, как вымирают в ней
Все лучшие воспоминанья...*

На этой горе его не окончилось. Через год после смерти Лели умерла от той же чахотки 14-летняя Леля-младшая. Незадолго до своей смерти она случайно уяснила для себя семейную тайну, о которой до тех пор не имела представления, и, может быть, это ускорило ее уход. В один день с ней умер младший из двух братьев, годовалый Коля, так что выжил только средний – Федор; прожил он долго и умер от ран в Первую мировую.

Еще через год, в 1866 году, умерла мать Федора Ивановича. В 1870-м — его брат Николай и старший сын, Дмитрий. В 1872-м, опять же от чахотки, – младшая дочь, Мария.

Незадолго до смерти Тютчев написал жене:

*Все отнял у меня казнящий бог:
Здоровье, силу воли, воздух, сон,
Одну тебя при мне оставил он,
Чтоб я ему еще молиться мог.*

Но и в эти годы он являл пример все того же стоицизма. Вошел в легенду его вопрос, заданный утром последнего дня, когда, разбитый ударом, лежал он у себя в кабинете: «Какие последние политические известия?» Александр Кушнер, посвятивший его памяти едва ли не лучший поэтический некролог в русской литературе, назвал этот вопрос образцом поведения для лирика: безразличие к внешнему миру и судьбе Отечества – удел посредственностей, гению нужен весь мир и важно все в нем. Тютчев, по мысли Кушнера, заповедал потомкам интерес и жадность к жизни, понимание политики как концентрированного выражения национальной души. Быть человеком политическим для него значило быть человеком нравственным, только и всего.

Лучше Кушнера о нем все равно не скажешь, так что вспомним эти стихи 1975 года – нерукотворный памятник Тютчеву от его поздней поэтической инкарнации:

*На скользком кладбище, один,
Средь плит расколотых, руин,
Порвавших мраморные жилы,
Гнилых осин, –
Стою у тютчевской могилы.*

Не отойти.

*Вблизи Обводного, среди
Фабричных стен, прижатых тесно,
Смотри: забытая почти
«Всепоглощающая бездна».*

*Так вот она! Нездешний свет,
Сквозь зелень выбившийся жалко? Изнанка жизни? Хаос? – Нет.
Сметенных лет
Изжитый мусор, просто свалка.*

*Какие кладбища у нас!
Их запустенье –
Отказ от жизни и отказа
От смерти, птичьих двух-трех фраз
В кустах оборванное пенье.*

*В полях загробных мы бредем,
Не в пурпур – в рубище одеты,
Глухим путем.
Резинку дай – мы так сотрем:
Ни строчки нашей, ни приметы.*

*Сто наших лет
Тысячелетним разрушеньям
Дать могут фору: столько бед
Свалилось, бомб, гасивших свет,
Звонков с ночным опустошеньем.*

*Уснуть, остыть.
Что ж, не цветочки ж разводите
На этом прахе и развале!
Когда б не Тютчев, может быть,
Его б совсем перепахали.*

*И в этом весь
Характер наш и упоенье.
И разве Царство Божье здесь?
И разве мертвых красит спесь?
В стихах неискренно смиренье?*

*Спросите Тютчева – и он
Сквозь вечный сон
Махнет рукой, пожмет плечами.
И мнится: смертный свой урон
Благословляет, между нами. ❶*

КТО УБИЛ ЛЕРМОНТОВА?

МИХАИЛ БЫКОВ

Ответ, казалось бы, очевиден. 27 июля 1841 года в нескольких верстах от Пятигорска у подножия горы Машук состоялась дуэль. Отставной майор Николай Мартынов, выстрелив из пистолета, нанес поручику Тенгинского пехотного полка Михаилу Лермонтову смертельное ранение. Почему ж тогда и сегодня, спустя 170 лет, равнодушные к гению поэта люди продолжают искать ответ на вопрос: кто убил Лермонтова, как его убили, что его убило?



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

М.Ю. Лермонтов
в ментике
лейб-гвардии
Гусарского полка.
Портрет работы
К. Горбунова.
1883 год

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПОСЛЕДНЕЙ дуэли Михаила Юрьевича Лермонтова на первый взгляд хорошо известны. Поздней весной 1841 года он вместе с капитаном Нижегородского драгунского полка Алексеем Столыпиным-Монго прибыл в Пятигорск лечиться на водах. Подорожная в Дагестанский отряд под Темир-Хан-Шурую потеряла смысл. Боевые действия там уже закончились. Новое прикомандирование к Лабинскому отряду, находящемуся на отдыхе на левом фланге Черноморской линии, позволяло соорудить себе короткий отпуск по медицинской причине. Пятигорск того времени слыл в столицах местом не только курортным, но и крайне модным. Даром что рядом продолжала куриться затянувшаяся Кавказская война. Общество в то лето в городе собралось значительное, около 1500 семей. В двух признанных салонах, генеральш Верзилиной и Мерлини, говорило, пело, танцевало, играло и флиртowało немало представителей столичной аристократии. В лермонтовском круге оказались князь Трубецкой и Васильчиков, корнет лейб-гвардии Конного полка Глебов, само собой, блистательный красавец Столыпин. Наконец, «однокорытник» Лермонтова по Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров экс-кавалергард Мартынов. Были и другие. Но список этих друзей-товарищей имеет особенное значение. Все перечисленные были в тот роковой вечер у Перкальской скалы, когда Лермонтова не стало. Все они на следствии давали путаные показания. Все, кроме князя «Ксандра» Васильчикова, до конца дней отмалчивались, когда речь заходила о трагедии. Да и князь позволил себе относительно

ную откровенность только под занавес жизни, спустя почти столетия после гибели Лермонтова.

А тогда, в июле 1841-го, они наблюдали, как разгоралась ссора между поэтом и Мартыновым, как грянул вызов и как грохнул выстрел.

Теперь, когда свидетелей давно нет на свете, когда сохранившихся документов недостаточно, истинную причину и обстоятельства дуэли мы не узнаем никогда. Как обычно в таких случаях, остаются версии, логические построения, спекуляции на тему...

ВЕРСИЯ: ИМПЕРАТОР

Нетрудно догадаться, что император Николай I этого невысокого офицера с горящими огромными глазами не любил. Было за что после январских стихов 1837 года. При советской власти эту нелюбовь трактовали, начиная с учебников и заканчивая диссертациями, банально: «сатрап» увидел в строчках, написанных на смерть Пушкина, посягательство на устои власти, излишнее свободолобие и независимость суждений. Как следствие – ссылка.

Думается, под этим поверхностным пластом лежит многое. Комплексы царя, вскормленные декабрьскими событиями 1825 года, и вечный страх повторения дворянского восстания. Сложные и тонкие отношения Николая с Пушкиным, бесспорные переживания первого в связи с трагической кончиной второго. Критический взгляд взрослого царя на ту конструкцию власти, что он построил. В результате – понимание того, что есть вещи,

против которых даже всемогущий монарх бессильен. Например, сделать «героем нашего времени» Максима Максимовича вместо Печорина. Даже Лермонтов, узнав о такой царской трактовке, попробовал: написал в 1841 году очерк «Кавказец». Но выполнить «заказ» не получилось, Максим Максимович героем не вышел, очерк запретила цензура. Раздражало царя и то, что в собственной семье он имел горячую поклонницу лермонтовского таланта: жену Александру Федоровну.

Если смотреть на отношение царя к Лермонтову сквозь призму всех этих чувств и мыслей, то тем более понятно, что лейб-гусарский корнет злил государя самым фактом существования.

Первый биограф Лермонтова, Дружинин, собственно книгу написать не смог, но собрал большое количество воспоминаний родственников, знакомых, сослуживцев поэта. Он встречался и с другом последних месяцев жизни Михаила Юрьевича – знаменитым бретером и храбрейшим офицером Руфином Дороховым, находившимся летом 1841 года в Пятигорске. Это он послужил прообразом Долохова в романе «Война и мир» для Льва Толстого. Дорохов подвел итог одной фразой: «Дуэли не было – было убийство».

В логическую цепочку укладывается и тот факт, что не только Николай I, но и его сын Александр II не разрешили к печати подготовленные биографии Лермонтова, а сочинения поэта хоть и издавались, однако ж без сведений об авторе. Первая биографическая книга, подготовленная Висковатовым, вышла только в 1891 году.

Лермонтов оказался смелым и умелым офицером. Но ни одно из представлений к награждению орденом и Золотым оружием «За храбрость!» царскую визу не обрело.

Наконец, многие охотно повторяют тезис князя Вяземского, узнавшего якобы со слов князя Васильчикова о том, что государь, получив весть о гибели Лермонтова, сказал: «Собаке – собачья смерть!» Ссылаются на некоего флигель-адъютанта Лужина, присутствовавшего при эпизоде. Николай I не терпел дуэли и считал их варварством. Любил крепкие выражения и эффектные фразы. То есть сказать мог, но сказал ли – недоказуемо.

Аргументов против этой версии тоже хватает. Но один – особенный, и касается именно тех событий, что происходили летом 1841-го в Пятигорске.

Процитирую распоряжение Николая I относительно поэта: «дабы поручик Лермонтов непременно состоял налицо во фронте, и чтобы начальство отнюдь не осмеливалось ни под каким предлогом удалять его от фронтовой службы в своем полку». Подписано 30 июня (12 июля) 1841 года.

Лермонтов уже более месяца находился в Пятигорске. Если б по распоряжению императора или на крайний случай шефа жандармов Бенкендорфа усилиями III Отделения и была организована спецоперация против, извините, всего лишь пехотного поручика, зачем тогда, спрашивается, требовать удаления Лермонтова из Пятигорска, где сия операция и намечалась?

В этой же связи нельзя не сказать о том, что после гибели поэта в официальной переписке соответствующих чинов, в частности жандармского подполковника Кувшинникова, приглядывавшего за Михаилом Юрьевичем, не было и легкого намека на доклад об исполнении некоего поручения...

ВЕРСИЯ: ЗАГОВОР

Конечно, в свете знали о том, что Лермонтов в немилости. И консервативная часть петербургской элиты, сообразуясь с собственными правилами, вела себя «святей папы римского». По принципу: император не любит, а мы возненавидим! К тому были и некоторые объективные основания. Многие современники, вспоминая Лермонтова, говорили, что в нем уживались два человека. Один – мягкий, доброжелательный для ближнего круга, другой – полный сарказма, насмешливый, даже жестокий в своих шутках для остального света.

Если неподготовленному человеку дать прочитать откровения лермонтовского сослуживца по лейб-гвардии Гродненскому гусарскому полку Арнольди и мемуары Шан-Гирея, он окажется убежденным, что речь идет о двух разных людях.

Лермонтовские стихи, эпиграммы, публичные шутки-насмешки и другие выходки имели конкретных адресатов. Кое-кто из них в лето 1841 года оказался на водах в Пятигорске. Так случилось, что эти люди посещали салон генеральши Мерлини. Разумеется, никакого вульгарного антагонизма не было. У Мерлини запросто бывали близкие поэту люди, в том числе Столыпин-Монго, не только многолетний товарищ, но и родственник. Алексей, будучи на два года моложе Лермонтова, приходился ему дядей. Заходил к героической Екатерине Ивановне и сам Лермонтов. Дамой боевой генеральша Мерлини слыла не напрасно. В 1836 году, будучи уже вдовой коменданта Кисловодской крепости, она возглавила оборону городка во время набега горцев. Екатерина Ивановна прекрасно ездил верхом и держала отменную конюшню, что лошади-Лермонтова не могло не привлечь.

Вхожесть поэта в дом не мешала участникам салона Мерлини отзываться о нем без аристократического лоска – «ядовитая гадина». Неудивительно, что там были озабочены желанием проучить, наказать, поставить на место «этого выскочку». Дело приняло конкретный оборот, когда заметили, что одним из объектов для шуток стал молодой офицер Лисаневич. Сын генерала Павла Граббе, командовавшего в 1841 году войсками Кавказской линии, пересказывал воспоминания отца по этому поводу.

К Лисаневичу приставали с угрозами вызвать Лермонтова на дуэль и проучить. Отстали только тогда, когда офицер сказал, что «у него рука не поднимется на такого человека». Генерал Граббе – не единственный, кто вспоминал эту провокацию. Подтверждала сие Эмилия Шан-Гирей, дочь генерала Верзилина и первая красавица салона своей матери в 1841 году. О наличии каких-то «подстрекателей» говорил и князь Васильчиков исследователю жизни поэта Висковатову. Раз так, то с конспирацией у заговорщиков дело обстояло из рук вон плохо. Напрашивается вывод – что проучить-то хотели, но о человекоубийстве не помышляли.

Вывод: про некий заговор вспоминали. Однако – ни одной фамилии!

представить всех главных участников трагедии поподробнее.

Начнем со Столыпина-Монго. Лермонтоведы в отношении этого человека стоят на полярных позициях. Одни считают Алексея добрым другом и помощником поэта, другие – его злым гением.

Наверное, многолетняя дружба не являлась эталоном человеческих отношений. А иначе и быть не могло. Некоторые исследователи отмечают, что в 1840 году, после дуэли Лермонтова с сыном французского посла де Барантом, которую со сто-



ПРЕДОСТАВЛЕНО М.ЗОЛОТАРЕВЫМ

Портрет Николая Соломоновича Мартынова — «горец с большим кинжалом». Рисунок Г. Гагарина. 1841 год

Дальше других по этой дороге пошел, как ни странно, убийца Лермонтова. Николай Мартынов в конце жизни признался как-то: «Друзья таки раздули ссору...»

Тут самое время сказать, что постоянным участником салона генеральши Мерлини был... князь Васильчиков.

ВЕРСИЯ: ТОВАРИЩИ

Компания у Лермонтова на водах подобралась разношерстная. Стоит

роны поэта секундировал Монго, в их отношениях наметилось некое охлаждение. Несмотря на это, Столыпин стал секундантом племянника и в последнем случае. Его не остановили соображения личной безопасности. А угроза имелась весьма серьезная. Император не слишком благоволил бывшему лейб-гусару, и, оказавшись в материалах расследования фамилия Монго, все могло бы закончиться для него разжалованием в солдаты, а то и чем похуже.

Знавшие Столыпина отмечали его благородный характер и щепетильное отношение к вопросам чести. Одновременно Монго отличался сибаритством, дендизмом, беспредельной ленью и равнодушием к делам карьерным. Представитель знатного рода, красавец, отлично подготовленный офицер, Столыпин несколько раз вступал в военную службу и выходил в отставку. Получив чин корнета в 1836 году, только в 1855-м за отличия в Крымскую войну произведен в майоры и награжден Золотым оружием.

Поклонники Лермонтова обвиняют Монго в том, что он не уберег поэта от роковой дуэли. Более того, следуя представлениям о дворянской чести, дал несколько советов Мартынову во время следствия, дабы тот представил события в нужном свете. Конечно, в таком поведении можно усмотреть признаки измены другу, но, видимо, Столыпин отталкивался от собственной трактовки случившегося и считал виновником ссоры Лермонтова.

В то же время как раз Монго старался сделать хоть что-то, чтобы смягчить условия дуэли и уже в ходе поединка не допустить убийства. Это он крикнул Мартынову после счета «Три!», что разведет стрелков, так как время для выстрела вышло.

Видимо, те же представления о чести не позволили Столыпину хоть что-то рассказать о мотивах и обстоятельствах поединка впоследствии. Он молчал вплоть до своей смерти от чахотки в 1858 году во Флоренции.

Секундантом Лермонтова был Михаил Глебов. Этот 23-летний корнет Конной гвардии уже понюхал пороха на

Кавказе в 1840 году. Был серьезно ранен в плечо в битве на реке Валерик. Той самой, которую так ярко и пронзительно отразил в одноименном стихотворении Лермонтов. Выходит, не просто петербургский знакомец по службе в гвардейской кавалерии. Боевой товарищ! Он и вел себя как таковой. Это Глебов по окончании следствия рассказал частным образом о том, как вел себя Лермонтов на дуэли. Прочитывал последние слова поэта о том, что он стрелять в Мартынова не станет. Это Глебов остался с телом Лермонтова под проливным дождем, когда Мартынов сразу после поединка уехал, а князь Васильчиков отправился в город за доктором и транспортом.

Сам Глебов ненадолго пережил убитого друга. В 1847 году пал на Кавказской войне в перестрелке около аула Сарты. В момент гибели адъютант командующего князя Воронцова Глебов сидел на коне перед готовящимся к атаке батальоном Ширванского полка. Знавшие Глебова после 1841 года поговаривали, что он сам искал смерти.

Так же как Монго, латентным секундантом на дуэли был и князь Сергей Трубецкой. И так же как Монго, князь числился в черном списке государя. Еще будучи в кавалергардах, сын героя войны 1812 года многократно отличался. И вовсе не по службе. В 1837 году соблазнил дочь генерал-лейтенанта Мусина-Пушкина, вследствие чего был принудительно обвенчан с нею в Царском Селе в присутствии императора. «Шалости» красавца Трубецкого в Петербурге кончились тем, что царь распорядился перевести его в Гребенской казачий полк. Вместе с Лермонтовым и Глебовым Трубецкой участвовал в походе 1840 года и сражался на реке Валерик. Его фамилию, как и фамилию поэта, вычеркнули из наградных списков.

Бретер Трубецкой до конца жизни себе не изменил. В 1851 году, 36 лет от роду, тайно увез от мужа некую Лавинию Жадимировскую. После поимки отсидел в Алексеевском равелине сколько положено. Был лишен титула, чинов и знаков отличия, разжалован в солдаты. Умер в 1859 году.

Сергей Васильевич Трубецкой никогда не отвечал на вопросы, связанные с последней лермонтовской дуэлью.

Князь Васильчиков офицером не был. Сын председателя Государственного совета и близкого соратника императора князя Иллариона Васильчикова служил по юридической части. На Кавказе оказался ведомый карьерными соображениями. Группа молодых амбициозных аристократов прибыла туда, дабы осуществить масштабные административные реформы. Однако уже через год стало ясно, что прежде надобно выиграть у горцев войну. Князь «Ксандр» осел в Пятигорске на некоторое время.

Его характеризовали как блестящего оратора, эрудита, фата и поэта. В отношениях с Лермонтовым в короткий пятигорский период князь Васильчиков успел перемениться до крайности. По словам Чилаева, владельца домика, в котором квартировал поэт, Васильчиков сначала ухаживал за Лермонтовым, но через месяц стал сдержан и холоден.

Это, конечно, не повод подозревать князя «Ксандра» в какой-то серьезной интриге против недавнего приятеля. Но именно Васильчиков позволил дуэли состояться.

Каждый из компании в меру своих сил и понимания того, что происходит, старался поединок предотвратить. Например, Дорохов, говорят, сознательно ужесточил условия для стрелков, надеясь, что Мартынов, не слившийся за смельчака, отступится. Остальные почти уговорили Лермонтова и Столыпина скорее уехать в Железноводск, дабы выиграть время. Все решилось, когда Мартынов заявил об окончательном решении драться. Была надежда, что никто не согласится стать его секундантом. И тогда все рассосется само собой. Неожиданное согласие дал именно князь «Ксандр». На допросах Мартынов, Глебов и Васильчиков вели себя так, как успели договориться заранее. Первое: причина дуэли – злые шутки и провокации Лермонтова, оскорбленное самолюбие Мартынова. Второе: Трубецкого и Столыпина не выдавать.

Так и сделали. Лермонтов мертв, ему все равно. А остальным – жить...
Дольше других, кстати, жил князь Александр Васильчиков. До 1881 года.

ВЕРСИЯ: ДЕКАБРИСТЫ

Современный исследователь жизни поэта Чернов высказал весьма интересную мысль по поводу причины поединка. 13 (25) июля 1841 года – дата непростая. Минуло ровно пятнадцать лет с того дня, как на кронверке Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге были казнены пятеро приговоренных к повешению участников восстания 14 декабря. Лермонтов был не чужд идеям декабристов, а некоторых из них хорошо знал лично. На Кавказе он подружился с сосланным в солдаты Александром Одоевским, в Пятигорске – с Николаем Лорером. Знал Лихарева, Назимова, Нарышкина...

Лорер вспоминал в мемуарах, что пятигорская гвардейская молодежь очень тепло относилась к декабристам. Имелась в виду лермонтовская компания.

Отмечалось, что в тот день у Верзилиных Лермонтов был мрачнее обычного и если шутил, то зло. Автор гипотезы считает, что не мог ни сам Лермонтов, ни его товарищи не помнить о казни. Вполне вероятно, что поэт мог сказать тост за «цареубийственный кинжал». Но Мартынов, к слову, убежденный монархист, мог вступить за государя императора, и скандал произошел на почве политических убеждений.

Меням это означало одно – отставка. Так отставной майор оказался в Пятигорске без очевидных карьерных перспектив, 26 лет от роду, постоянно пребывая в дурном настроении.

По словам очевидцев, недавно авантажный гвардейский офицер радикально сменил имидж. Перед пятигорским обществом предстал человек в черкеске и папахе, с громадными бакенбардами и столь же громадным кинжалом.

Как тут быть с воспоминаниями Эмили Шан-Гирей, рассказывавшей историю с кинжалом иначе. Именно она танцевала с Лермонтовым, когда тот, бросив взгляд на стоявшего поодаль Мартынова в черкеске с длинным кинжалом на поясе, сказал по-французски: ужасный горец с огромным кинжалом. Эмилия отмечала: будто назло музыка оборвалась неожиданно, и слово «кинжал» прозвучало отчетливо и громко. Мартынов закусил губу.

ВЕРСИЯ: МАРТЫНОВ

Николай Соломонович Мартынов родился в 1816 году в Нижнем Новгороде, получил отличное образование. Много читал, музицировал, писал стихи и прозу. В «Славную школу» поступил годом позже Лермонтова. Часто путают: однокурсником Михаила Юрьевича был брат Николая Мартынова, Михаил. Нельзя сказать, что в юнкерской школе Лермонтов и Мартынов дружили. Но приятельствовали – точно. Особенно их сближала любовь к рукопашному бою на саблях.

Мартынов вышел в Кавалергардский полк. Интересная деталь: служил вместе с Жоржем Дантесом, убийцей Пушкина. Вскоре попросился «охотником» на Кавказскую войну. Вернулся в Кавалергардский полк с орденом Анны 3-й степени с бантом. Через год был зачислен ротмистром по кавалерии с прикомандированием к Гребенскому казачьему полку.

Весной 1841 года жизнь резко изменилась. В полку посчитали, что Мартынов нечист в картах, а по тем вре-

Формально вызов был брошен из-за пустяка. 25 июля 1841 года на вечере в доме Верзилиных любезничавшему с младшей дочерью генерала, Надеждой, Мартынову показалось, что очередная лермонтовская шутка слишком уж не-обязательна. Уже на улице состоялся роковой разговор. Мартынов произнес слово, которое в офицерской среде XIX века всегда воспринимали серьезно: «удовлетворение». Но Лермонтов продолжал шутить...

Были ли у отставного майора иные причины искать удовлетворения в поединке с поэтом? Или все можно объяснить обидой, слишком остро воспринятой при плохом расположении духа? Тем более что впоследствии Мартынов неоднократно заявлял о том, что к Лермонтову всегда относился хорошо, помнил их товарищество со времен «Славной школы» и прочая...

В 1837 году семья Мартыновых лето проводила на Кавказе. Там же в период первой ссылки оказался и Лермонтов. 18-летняя сестра Мартынова Наталья Соломоновна была очарована ссыльным корнетом. Однако в серьезные отношения знакомство не переросло.

Лермонтов продолжил бывать у Мартыновых и после, уже в Москве. Можно предположить, что брат, озабоченный необходимостью пристроить сестер, рассчитывал на иное развитие событий. И, как говорится в таких случаях, затаил обиду. Но как тогда быть с письмом матери Мартынова, написавшей сыну в 1840 году из Москвы на Кавказ: «Лермонтов у нас чуть ли не каждый день. По правде сказать, я его не особенно люблю... Слава Богу, он скоро уезжает, для меня его посещения неприятны»?

Также весьма сомнительны и претензии Мартынова к Лермонтову в связи с тем, что, по мнению некоторых современников, прототипом княжны Мери в «Герое нашего времени» послужила Наталья Соломоновна. А это

должно быть обидно. Но ведь сама Наталья с восторгом оценивала роман и персонаж, с которым ее пытались сравнить.

В 1837 году меж Мартыновым и Лермонтовым случилась неприятная бытовая история. Наталья Соломоновна попросила поэта передать на Кавказе брату письмо. В последний момент Мартынов-отец вложил в конверт 300 рублей. При встрече Лермонтов вернул Мартынову деньги, но письмо отдать не смог. Объяснил это тем, что в дороге у него украли бумаги. Инцидент был исчерпан. Но спустя много лет в семье Мартыновых вспомнили об этой истории. Намеки на позволившего себе недостойное дворянина любопытство Лермонтова обуславливались тем, что на конверте не имелось никаких пометок о вложенных деньгах. И тогда, следовательно, откуда Лермонтов мог знать о них?

Говорить можно что угодно. Отношение к Мартынову в обществе после дуэли резко переменялось, он всю оставшуюся жизнь пытался найти оправдания себе и лишить Лермонтова ореола мученика. Но вот заковыка: если в семье Мартыновых заподозрили Лермонтова в некой нечистоплотности еще в 1837 году, тогда как же его могли принимать в доме в 1840-м?

Попытки найти в мартыновском выстреле скрытые, подсознательные мотивы, заложенные в мозг и душу как бомбы замедленного действия более ранними событиями, весьма сомнительны. Но это не означает, что подсознательных мотивов не было вовсе. Мартынов писал стихи. И Лермонтов писал стихи. Помните у Пушкина – Моцарт и Сальери?..

Не это ли главное?

Отсюда и неуверенность у барьера. Не мог Мартынов не понимать, «на что он руку поднимал». Отсюда и патологическое стремление выстрелить и попасть. Да, можно поставить обидчика под огонь, но почему непременно нарезного «кухенрейтера», смертельно опасного на близком расстоянии? Да, Мартынов мог не слышать слов о нежелании стрелять в него, сказанных Лермонтовым секунданту Глебову. Но он не мог с десяти шагов не видеть, что Лермонтов поднял руку с пистолетом стволом вверх.

В повести «Княжна Мери» Михаил Лермонтов с мистической точностью воспроизвел собственную смерть. Там было все: покинутый поневоле Петербург; «водное общество», не терпящее особенных людей; стремление опустошенных войной и рутиной офицеров развлечься и отвлечься; драгунский капитан-подстрекатель; флиртующие дамы; терзаемый амбициями Грушницкий, ищущий возможности заявить о себе хоть как-то; отчаянный выстрел то ли со страху, то ли со стыда...

Одна разница: в романе плохой человек выстрелил неудачно. В жизни такие люди попадают в цель куда чаще. 📍

ПЕРВЫЙ ДВОЙНИК



К.П. Брюллов.
Портрет графа
А.А. Перовского
(писателя
Антония
Погорельского).
1836 год

ПРЕДОСТАВЛЕНО М.ЗОЛОТАРЕВЫМ

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

В отличие от других русских писателей Антоний Погорельский был вполне благополучен в жизни и успешен в карьере. По нынешним меркам — умер рано, по тогдашним — прожил достаточно. Биография его практически безупречна: учился, служил, воевал, путешествовал, хозяйствовал, воспитывал племянника... А что в литературе остался только автором детской сказки — так и то уже хорошо, иным и в этом не повезло.

ПРО ОТЦА АЛЕШИ ПЕРОВСКОГО принято говорить «вельможа». Граф Алексей Кириллович Разумовский служил при Екатерине II, вышел в отставку в предпоследний год ее правления и вернулся на службу уже только при Александре I — сначала попечителем Московского университета, затем министром просвещения. Помимо четверых детей в законном браке у него был еще десяток внебрачных детей от 35-летнего союза с мещанкой Марией Соболевской. Дети воспитывались как аристократы, однако отцу пришлось помучиться, оформляя им дворянство. Унаследовать фамилию и титул незаконные дети не могли, так что фамилию получили по названию принадлежащей отцу усадьбы Перово. Из братьев Перовских и их прямых потомков вышли несколько министров и губернаторов; сестра Софья была женой литератора — князя Львова, сестры Анна и Ольга стали мамами будущих литераторов — Алексея Константиновича Толстого и братьев Жемчужниковых. Еще среди потомков этой замечательной семьи была царевница Софья Перовская, внучка старшего из братьев, Николая, и детская писательница Ольга Перовская, его же правнучка, известная советским детям своей книжкой «Ребята и зверята».

Дети Перовские жили в отцовском имени в Почепе, но считались не детьми его, а воспитанниками. К отцу их допускали редко. Учились они дома; домашние учителя заложили основательный фундамент образования, которое продолжалось в частном пансионе. Рассказывают, что в нем Алеша так сильно

тосковал и рвался домой, что попытался сбежать, упал с забора, повредил ногу и всю жизнь потом прихрамывал. Литературные способности проявились у него рано: однажды он преподнес отцу в день именин собственное сочинение.

В 1805 году 18-летний Алексей Перовский поступил в Московский университет и в 1807 году его окончил со степенью доктора философских и словесных наук. Чтобы получить степень, ему надо было прочесть три пробные лекции; две из них он прочел на французском и немецком языках, чего даже не требовалось. Лекции были естественно-научные: об отличии животных от растений, о системе Линнея и о растениях, которые хорошо бы размножить в России. Естественные науки увлекали братьев Перовских: Алексей впоследствии успешно занимался садоводством в отцовском имении, а его брат Василий, ставший военным губернатором Оренбурга, стоял во главе множества начинаний, связанных с изучением природы края и его населения. Заметно в лекциях влияние Карамзина – любимого писателя Алексея. Первой публикацией молодого Перовского стал вышедший в 1807 году и посвященный отцу перевод на немецкий язык повести Карамзина «Бедная Лиза». «Если бы мой опыт и удался наилучшим образом, – писал автор в посвящении, – то и тогда, не будь Вашего одобрения, я счел бы его весьма несовершенным. Мое единственное желание, чтобы Вы восприняли эти листки как знак совершенного уважения и как единственно доступное мне доказательство безграничной благодарности, которой я Вам обязан. Вашей светлости преданнейший слуга...». Лекции вышли отдельной книжечкой в 1808-м. Примерно к этому времени относится его первое литературное знакомство: он подружился с князем Вяземским, и эта дружба длилась много лет.

Окончив университет, Алексей Перовский пошел служить. Отец его только что вернулся на государственную службу и быстро наращивал влияние; благодаря отцовским связям братья Перовские смогли быстро сделать карьеру, однако вряд ли она была бы возможна без их собственного стремления приносить пользу стране. Алексей уехал в Петербург, где поступил в 6-й департамент Сената. Почти сразу ему пришлось выехать в долгую командировку – объехать несколько губерний, изучить там жизнь. В Москву он вернулся в 1810 году, продолжал служить в том же департаменте. Литература была для него отдыхом и отрадой, но не серьезным профессиональным занятием. В Москве он познакомился с видными литераторами – Жуковским, Крыловым, Василием Пушкиным, Воейковым, с некоторыми сдружился. В кругу Жуковского всегда было много дружеского смехотворства, а именно это, пожалуй, Перовский очень ценил; друзья о нем отзывались как о талантливом шутнике, импровизаторе, мистификаторе.

В 1811 году Алексей Перовский стал одним из организаторов Общества любителей российской словесности при Московском университете (а еще был членом Общества любителей природы и Общества истории и древностей российских). Общество любителей российской словесности издавало сборники, посвященные литературе и фольклору, проводило чтения, иногда протекавшие довольно скучно, и литературно-музыкальные вечера. Алексей, охотно предававшийся дурачеству, однажды озадачил председателя общества Прокоповича-Антонского своим намерением прочитать на заседании общества стихи, представлявшие собой полную чушь:

*Абдул Визирь
На лбу пузырь
Свой халит и лелеет.
Вауле геометр,
Взяв термометр,
Пшеницу в поле сеет.*

Разумеется, он писал и серьезные стихи – баллады и элегии; ничего выдающегося в этом жанре не создал. Он вообще был из тех незамеченных в литературе людей, которые, не создавая собственных гениальных произведений, создают среду, в которой только гений и может появиться. И гений, кстати, появился довольно скоро.

В 1812 году Алексей опять служил в Петербурге – секретарем министра финансов. Когда началась Отечественная война, он, несмотря на хромоту и недовольство отца, поступил в армию. Отец пообещал лишить его

имения и материальной поддержки. Сын ответил: «Можете ли вы думать, граф, что сердце мое столь низко, чувства столь подлы, что я решусь оставить свое намерение не от опасения потерять вашу любовь, а от боязни лишиться имения? Никогда слова сии не изгладятся из моей мысли...» Начал войну он штаб-ротмистром 3-го Украинского казачьего полка. Партизанил. Отступал, наступал, в 1813 году участвовал в крупных сражениях – под Лейпцигом, Дрезденом, при

Кульме. Под Лейпцигом только что назначенный на свой пост генерал-губернатор Королевства Саксонии Николай Репнин-Волконский (муж законной дочери Алексея Кирилловича Разумовского – Варвары) взял Перовского к себе старшим адъютантом. При нем Алексей состоял до 1816 года, пока Репнин наводил порядок в разоренной войной Саксонии, и вернулся вместе с ним в Россию. За два года в Германии свободно владевший немецким молодой русский много читал немецких авторов и открыл для себя Гофмана, который повлиял на его творчество больше, чем любой другой писатель.

Вернувшись в Россию, Репнин уехал губернатором в Малороссию, а Перовский вышел в отставку и поступил на гражданскую службу в чине надворного советника. Он стал чиновником особых поручений по департаменту духовных дел иностранных вероисповеданий.

В 1817 году у его сестры Анны родился сын, тоже Алексей. С мужем своим, графом Константином Толстым, Анна разошлась в самом начале семейной жизни, осталась матерью-одиночкой. Брат взял ее с полуторамесячным сыном к себе, поселил в доставшемся ему от отца имении Погорельцы в Черниговской губернии и часто их там навещал; по названию имения он впоследствии взял себе литературный псевдоним. В Петербурге Перовский свел знакомство с издателем Николаем Гречем и в 1820 году в греческом журнале «Сын Отечества» опубликовал свой перевод оды Горация. Познакомился он и с молодым Пушкиным, начинавшим свою самостоятельную жизнь после окончания лицея. С Пушкиным связан его дебют в качестве литературного критика: Воейков разнес в пух и прах «Руслана и Людмилу», предъявляя поэме множество обвинений в нелогичности, необоснованности поступков персонажей и т.п. Перовский ответил на каждый из вопросов Воейкова так, что все они стали выглядеть глупо: «Зачем Финн рассказывает Руслану свою историю? – Затем, чтобы Руслан знал, кто он таков; впрочем, старики обыкновенно бывают словоо-

Антоний Погорельский (1787–1836), русский писатель первой половины XIX века. Портрет работы А.П. Брюллова



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

хотливы, и гораздо удивительней бы было, если б Финн не рассказал своей истории». Пушкин назвал ответ Перовского остроумным и забавным; Перовский защищал даже не столько самого Пушкина, сколько вольный дух поэзии. С Воейковым отношения стали довольно натянутыми; начальник их обоих Александр Тургенев писал Вяземскому: «Мои чиновники: Воейков и Алексей Перовский батально ругаются за Пушкина»; Тургенев даже их мирил.

В 1822 году умер Алексей Кириллович Разумовский. Сразу же после смерти отца Алексей Перовский подал в отставку и уехал из Петербурга в Погорельцы, где подрастал его племянник Алеша, будущий писатель Алексей Толстой. Перовский растил его вместо отца.

Чем он занимался в Погорельцах помимо воспитания племянника? Садом и хозяйством. Его имение поставляло на николаевские верфи корабельный лес. Снова начал служить: стал попечителем Харьковского учебного округа. Служба не требовала постоянного присутствия, так что у него оставалась возможность подолгу жить в имении и писать. И в русской литературе появилось новое имя: Антоний Погорельский.

Первой увидела свет его маленькая повесть «Лафертовская маковница» – в журнале «Новости литературы» в 1825 году. Современному читателю это название надо уже расшифровывать: лафертовская – это живущая в Лефортове, а маковница – старуха, которая печет пирожки с маком. Старуха эта, согласно повести, была ведьма и пыталась околдовать внучатую племянницу: оставить ей после своей смерти свои несправедливо нажитые сокровища и выдать замуж за некоего чиновника Мурлыкина, в котором девушка с ужасом узнала бабушкиного кота. Мурлыкин этот восхитил Пушкина, который писал брату, что теперь прямо-таки бредит им: «Выступаю плавно, зажмуря глаза, повертывая голову и выгибая спину». Кстати, на «Маковницу» Пушкин ссылаясь в своем «Гробовщике» – и впрямь, есть что-то жутко роднящее обе повести. «Маковница» вполне укладывается в романтическую традицию, однако автор – в отличие от однозначно романтического Гофмана – нигде не указал, что все это не примерещилось его героям; авторская позиция двусмысленна и нигде внятно не прописана: хочешь – так толкуй, хочешь – эдак. Подобной двусмысленности не снес Воейков, публикатор повести – он снабдил ее послесловием, в котором предложил свою развязку с полным материалистическим объяснением всех чудес. Погорельского такое своеволие возмутило. Он включил «Маковницу» в свой сборник «Двойник, или Мои вечера в Малороссии», где отослал читателя, жаждущего развязки, к первой публикации повести, заметив, что не пересказывает ее, ибо не хочет «присваивать чужого добра».

И «Лафертовская маковница», и «Двойник» были весьма благожелательно встречены критикой: это была первая русская фантастика, занимательное и умное чтение. Как и другие русские романтики, Погорельский щедро заимствовал

сюжеты и решения у немцев – в первую очередь у Гофмана. Вся структура «Двойника» напоминает структуру его «Серапионовых братьев», а одна из повестей сборника так точно следует гофмановскому «Песочному человеку» (про любовь к девушке, которая оказывается механической куклой), что сейчас Погорельского обвинили бы в плагиате (впрочем, другая повесть навеяна Карамзиным, а третья – перелицовка повести французца Пужана «Жоко»). С Погорельского начинается русская гофманиана, вальс с чертовщиной, традиция, которая тянется через Пушкина и Гоголя к Достоевскому, а дальше – к Блоку и Булгакову (и даже кот Бегемот напоминает Мурлыкина); отсюда разбегаются по русской литературе загадочные и мучительные двойники; все зыбко, все непонятно: то ли мерещится, то ли в самом деле так... Но Погорельский, пожалуй, отличается от них всех тем же, чем «золотой век» от последующих: ясностью духа. Герой «Двойника» мило беседует со своим загадочным гостем об отвлеченных материях; это загадка, но не смертельная, тайна, но не чудовищная, это раздвоение, но еще на рациональное и иррациональное, не более; глубоко в дебри иррационального он не забирается. Его двойник – только тень, только предвестник ужаса, он безвреден и исчезает, не нанося герою никакого вреда. И уж в любом случае чтение это уютное, для лежания под пледом – в отличие от европейских романтиков, того же Гофмана или Мэри Шелли, Погорельский на своих читателей не

нагоняет ледяного ужаса, только слегка попугивает. Это, скорее, продолженная в литературе традиция салонных историй, вечерних рассказов – традиция, живая во времена Погорельского. Он и сам был хороший рассказчик и охотно страшил слушателей легкой чертовщинкой. В нем самом, человеке приятном и доброжелательном, двойничество если и было, то не мрачное, а, скорее, печальное: при-

ступы печали одолевали его с детства. Отчасти об этой детской печали его следующая литературная удача, хрестоматийная «Черная курица», написанная для племянника Алеши Толстого. «Черную курицу» до сих пор читают детям, и на первый взгляд она кажется вполне дидактичной историей о том, как плохо быть неблагодарным мальчиком, врать и нарушать свое слово. Но слишком сильно уж врезаются в память образы несчастных подземных жителей, закованных в крохотные кандалы и понуро покидающих свой край – оттого, что Алеша их выдал, запутавшись во лжи и пытаясь оправдаться. Это один из первых литературных уроков, доносящих до ребенка самую горькую правду жизни: в ней бывает непоправимое. Иных ошибок исправить нельзя ничем: ни раскаянием, ни слезами, ни хорошим поведением. Есть раны, которые никогда не заживают, и разлуки навсегда. Откуда эта тоскливая нота в светлом, благополучном, веселом Погорельском? Никакими жизненными обстоятельствами ее не объяснить, никак не обосновать. Просто жизнь – это жизнь, а тоска – это ее часть; наверное, так.

Он написал еще несколько произведений, преимущественно фантастических. Самое крупное из них, роман «Магнетизер», осталось незаконченным. А вот следующий его большой труд, роман «Монастырка», оказался совсем другим. В романе рассказывается о девушке, воспитаннице Смольного монастыря, которая после выпуска возвращается в Малороссию – это первый, наверное, литературно значимый опыт реалистического, бытового, семейного романа. Пожалуй, читателя привлекала не только точность в описаниях нравов, отношений, подробностей жизненного уклада, но и присущая Погорельскому ясность, поэтичность, то, что Булгарин, литературный противник Погорельского, ядовито обозначил словом «милый» – дескать, ну мило, но на этом и всё...

В 1826 году он снова вернулся на службу в Петербург – в Комиссию по устройству учебных заведений; на лето возвращается в Погорельцы. В 1827 году съездил с сестрой и Алешей в Германию – мальчик на всю жизнь запомнил, как сидел на коленях у Гёте. В 1830 году Погорельский вышел в отставку: начинался николаевский зажим, закручивание гаек, служить становилось трудно. В 1831-м повез племянника в Италию – приобщать к мировой культуре. В Италии они познакомились с Брюлловым, который пообещал написать портреты и Перовского, и его сестры, и племянника. Брюллов только через четыре года приехал в Россию; зная его необязательность, Перовский, по выражению Пушкина, «заполнил» его: поселил у себя и не отпускал, пока тот не выполнит обещания. Брюллов, однако, сбежал, окончив только один портрет – знаменитый портрет молодого Алексея Толстого с собакой. Пушкин весело рассказывал жене в письме, как Перовский показывал ему неоконченные брюлловские картины: «заметь, как прекрасно подлец этот нарисовал этого всадника, мошенник такой». В последние годы он жил в Погорельцах, сосредоточившись на воспитании Алеши Толстого, которому стал не только родителем, но и первым литературным учителем: опубликовал его стихи (с грозной критикой рядом, чтобы юноша не зазнавался), ввел в свой литературный круг – собственно, передал ему дело из рук в руки. Сам уже ничего не писал – не собирал архивов, над рукописями не трясся, так архив его весь и пропал; говорят, управляющий его имением, извел все бумаги на папильотки для котлет. Он и не считал себя серьезным писателем, и места в литературе особого не занял – Чернышевский даже назвал его «лучшим из худших». Но без него русская литература не была бы сама собой: его произведения стали не самыми заметными, но необходимыми ступеньками, которые связывают литературные эпохи; он, может быть, не велик – но без него, пожалуй, и эпоха сложилась бы иначе, и русский классический роман развивался бы не так, и уж точно не было бы в русской литературе ни поэзии Алексея Толстого, ни сатиры Козьмы Пруткова, которая вся выросла из домашних парадоксов, экспромтов, розыгрышей дяди и его трех племянников, Толстого и Жемчужниковых.

В 1836 году он почувствовал себя плохо и отправился в Ниццу (как всегда, с сестрой и племянником) лечить «грудную болезнь» – одни считают, что туберкулез, другие – что ишемическую болезнь сердца. До Ниццы он не доехал, умер в Варшаве. Перед смертью просил: «Света, света!»

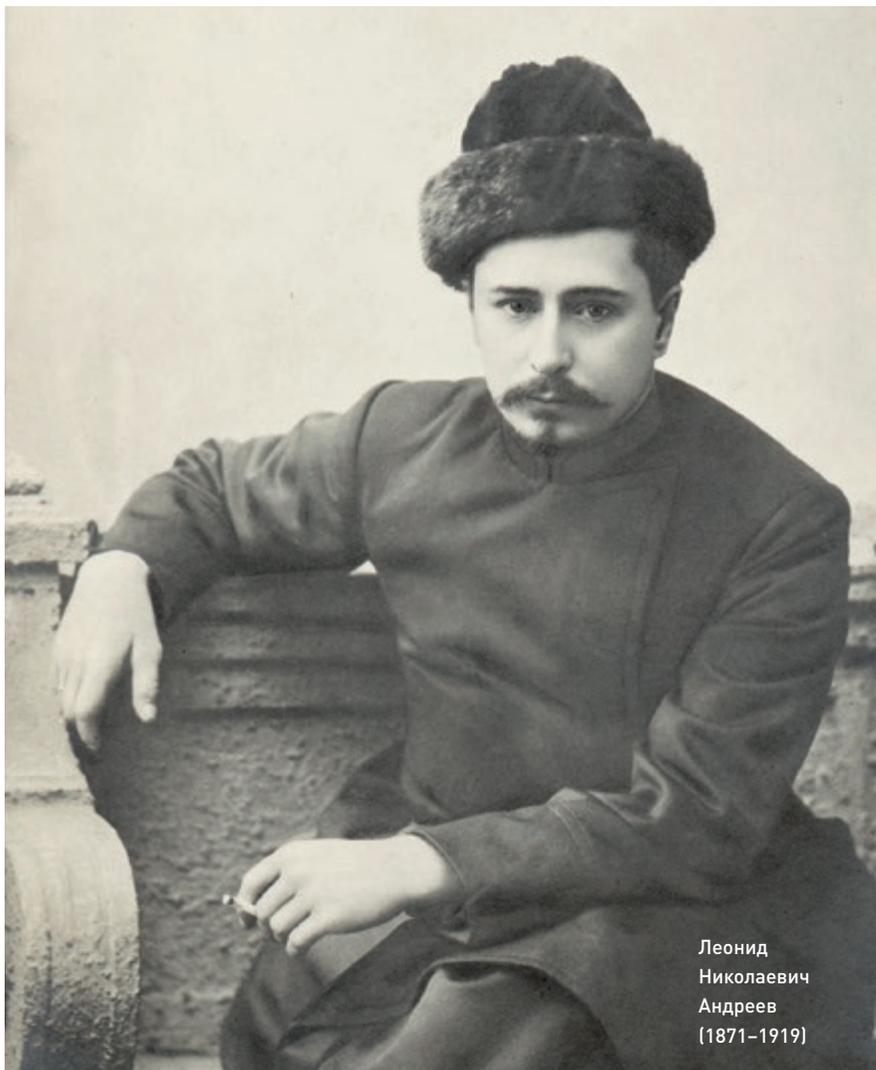
Что-то недоговоренное, непонятое осталось, чем-то мучает эта судьба, как мучают маленькие подземные жители, уходящие прочь в крохотных кандалах. Чего он не написал? О чем думал?

Почему ему было так темно? 📖

ПОРОК СЕРДЦА

ДМИТРИЙ БЫКОВ

Если где-нибудь — хоть в родном Орле — поставят когда-нибудь памятник Леониду Андрееву, на постаменте должно быть выбито: «От неблагодарной России».



Леонид
Николаевич
Андреев
(1871–1919)

И ПРИЖИЗНЕННАЯ, И ПОСМЕРТНАЯ судьба этого писателя – идеальная иллюстрация к тезису о том, что Россия сказочно, невообразимо богата и совершенно этого богатства не ценит, пользуясь им с оскорбительной нерачительностью. В тени Максима Горького, провозглашенного главным отечественным прозаиком начала XX века (и не без оснований: по тиражам, славе и нарицательности он опережал даже поставщиков бульварного чтива), терялись писатели куда более одаренные, нежели он: Куприна вечно ругали за беллетризм и сентиментальность; Андрееву доставалось за дурновкусие и мрачность; Грину – за оторванность от жизни; Тэффи – за легковесность и насмешливость; Аверченко – за мелкотемье и барство; Шишкову – за сибирскую этнографическую цветистость. И все эти ярлыки приросли. Хорошо еще, Бунин спасла Нобелевская премия, не то и он ходил бы в асоциальных пессимистах и сенильных эротоманах.

А взглянуть объективно: господа милуй, каждого из этих авторов любая из европейских литератур носила бы на руках, гордясь его отважным новаторством и стилистическим совершенством. Андреев, на мой вкус, самый сценичный из русских драматургов. Один Островский может в этом смысле с ним соперничать, но где у Островского такая напряженность действия, как в «Катерине Ивановне», такие финальные катарсисы, как в «Жизни человека»? Бытовик – он и есть бытовик, хоть и не без поэтического чувства. Никто лучше Андреева не понимал законов готической прозы – его немногочисленные триллеры дадут фору Стивену Кингу. Блеск

ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

и язвительность андреевской сатиры, его сардонический юмор, политические гротески, не утратившие актуальности по сей день, поскольку в России, слава богу, все актуально, опровергают мысль о его однообразной мрачности: он умел смеяться так заразительно, что куда уж до него «Сатирикону». И – словно проклятье тяготело над ним: при жизни Андреев, хоть и знаменитый сверх меры, издававшийся и ставившийся триумфально и зарабатывавший вполне прилично, подвергался регулярным критическим разносам, причем в хулиганском, демонстративно неприличном тоне. Чуковский, его друг, защитник и временами тоже суровый критик, написал как-то эпитеты, которыми награждали Андреева газетные рецензенты: такого тона постыдились бы Жданов с Авербахом. Умер Андреев в совершенном одиночестве и безвестности, в тягостной неопределенности, в только что отделившейся Финляндии, на даче, выстроенной по его собственным чертежам (через несколько месяцев покончила с собой его мать). Посмертная репутация у него была при советской власти не ахти: перепечатавали – как-никак Горький называл его единственным другом, но не забывали и припечатывать. Певец уладничества, пессимист, отошел от революции, мистик, мракобес, недопонимал революционное движение, заставил революционеров перед казнью думать не о бессмертии великого дела, а, страшно сказать, о жизни и смерти! Пьесы не ставились вовсе: модернистский театр, копание в душевном подполье, непереваренная Достоевщина... И над всем этим сияли две цитаты. Первая – употребляемая главным образом знатоками, для умных, так сказать: «Нельзя же ежедневно питаться только мозгами, да к тому еще они – всегда недожарены!» Это – Горький, о его драматургии; приписал в статье другому, анонимному остряку, но тире не спрячешь. И главная, известная даже тем, кто строчки Андреева в жизни не про-

читал: «Он пугает, а мне не страшно!» Это – Толстой, который вообще-то к Андрееву благоволил. Он о «младших» отзывался снисходительно, выделяя Куприна – главным образом благодаря купринской выразительности, жизнерадостности, душевному здоровью, а Андреев числился у него, скорей, по ведомству Достоевского: «Думает, если он болен, то и весь мир болен». Андреев его раздражал тем, что при встречах «милашничал», как записала Софья Андреевна; тем, что казался недостаточно глубоким и серьезным (смущал Толстых, вероятно, зазор между крошечной мрачностью андреевских текстов и вполне галантным, обаятельным поведением на публике; но что ж поделать – Андреев был воспитанный человек). «Рассказ о семи повешенных» тоже, вероятно, Толстого злил – по причинам, которых сам он для себя не формулировал. Известно его устное высказывание: последнее свидание родителей с приговоренным, негодовал он, – тема, за которую я, я бы не решился взяться! А он пишет, как ни в чем не бывало. В самом деле, Толстой был человек старой школы, ему присуще было высокое литературное целомудрие, и некоторых вещей – скажем, физической стороны любви – он предпочитал не касаться в принципе. «Смерть Ивана Ильича» поражает прикосновением к самым болезненным и темным сторонам человеческой души, но, вот странность, здесь нет ни натурализма, ни патологии. Смерть Ивана Ильича есть смерть любого человека вообще, с универсальными приметами животного ужаса перед небытием; можно себе представить, что сделал бы из этого Андреев – и как это было бы плохо. Толстому присуще спокойное бесстрашие, аналитический интерес, характерный для титанов духа; у Андреева этого нет, он не титан и не претендует. Его душа мятежна и мечется. Где Толстому хватает двух слов – у Андреева десять. Но странное дело – нам, сегодняшним, тоже далеко не титанам, эта андреевская паника ближе. Пусть она мешает ему изобразить мир – к объективности такого изображения он и не стремился, но собственный душевный хаос он живописует точно, ярко, незабываемо; это и бесило читателя, привыкшего все-таки получать портрет реальности, а не хронику метаний авторского эго. Читатели еще не знали, что со временем это назовут экспрессионизмом. В драматургии сам Андреев изобрел термин «панпсихизм» – художественный метод, при котором на сцене действуют не люди, а идеи и страсти; действие большинства его пьес происходит в отдельно взятой голове, и до абсолюта этот метод доведен в «Черных масках». Вот лучшая, страшнейшая и выразительнейшая пьеса Андреева – страшно подумать, что у этого шедевра почти нет сценической истории: всех отпугивает условность. Ведь черные маски – не что иное, как черные мысли герцога Лоренцо, яркий свет на балу – его разум, которому все трудней отгонять призраков, а отдаленная комната в башне – его тайные, стыдные,

спрятанные воспоминания. До этого метода на Западе доискались лишь недавно – спрятав, скажем, действие фильма «Вечное сияние страсти» в голову главного героя, спрятав героиню в лабиринты его детской памяти; но Андреев все придумал уже в 1908 году.

Да, арена действия двух андреевских романов, сотни рассказов, двух десятков пьес – его собственная душа, его измученное сознание. Но признаемся – на этой сцене есть на что посмотреть. Как-никак перед нами одна из самых впечатлительных, умных, догадливых и богатых натур русского Серебряного века. Биография Андреева почти бессобытийна: вот уж подлинно – все ушло в литературу, в мучительно-напряженную внутреннюю жизнь. Родился в 1871 году в Орле, прожил всего 48 лет, умер от последствий неудавшегося самоубийства – в 23 года стрелялся, пуля прошла близко от сердца. Кстати, на этом общем опыте они с Горьким сошлись: оба в юности проверяли себя, лежа между рельсами под колесами поезда, оба стрелялись, оба еле выжили. По образованию и первой специальности, да, пожалуй, и по призванию, Андреев – адвокат, притом небезуспешный; интерес к преступлению, к пограничному состоянию, жажда защищать, оправдывать, доискиваться тайных мотивов – это и в литературе у него на первом месте. Первые его сочинения высмеивались редакторами и возвращались, систематически печатать стали с конца 90-х, знать – с начала XX века. Горький привлек его к «Знанию», альманаху и кружку молодых социальных реалистов, но Андреев рассматривал политику примерно как Блок – ровно в той степени, в какой из нее можно извлечь эффектный сюжет. Собственно, в лучшем очерке об Андрееве – лучше даже горьковского, даром что Горький с Андреевым дружил, а Блок трех слов не сказал, – Блок и замечает: мы отлично друг друга понимали, а при личной встрече опять не нашли бы темы для разговоров, кроме коммунизма или развороченной мостовой на Моховой улице. Вот в каком ряду у него был коммунизм, а саму политику Блок называл заводью в океане человеческой жизни, вроде Маркизовой лужи. Немудрено, что Андреев очень скоро отошел от социального реализма, он был реалистом постольку поскольку: ему жаль человека вообще, его ужасает участь двуногих как таковых – ну и, в частности, участь пролетария или террориста; но жизнь вообще мало интересовала Андреева, он ее числил по разряду быта, он – конструктор сложных фабул, парадоксальных и провокационных столкновений, – какое тут правдоподобие? Террорист скрывается у проститутки, беседует с ней о смысле жизни – достоверно? Пошлость ужасная. А когда убийца и блудница вместе Евангелие читают, о воскрешении Лазаря, – не пошлость? Между тем это «Преступление и наказание», весь мир сто пятьдесят лет рыдает. Главную

особенность андреевских сочинений объяснил его приятель и, кстати, врач Вересаев: вот у него «Красный смех» – история о том, как молодой военный врач сходит с ума от ужасов войны. На войне, замечает Вересаев, от ужасов с ума не сходят, потому что у человеческой психики есть адаптивные механизмы; но именно этих механизмов у Андреева – по крайней мере, в литературе – нет. Он ужасается тому, к чему все давно привыкли. Что есть проза и драматургия Андреева, как не наведение на самую обыденную обыденность той чисто промытой, страшно укрупняющей оптики, которую мы все попросту не можем себе позволить – ведь при ближайшем рассмотрении мир предстанет бедламом, чумным бараком, действующим музеем изощренных пыток?! Андреев всматривается в то, во что мы давно не вдумываемся; мы мимо бежим – и, наверное, правильно делаем. А для него каждая смерть, каждая измена, сама обыденность старения, труда, ежедневной скуки – как в первый раз!

Когда я пересказываю студентам «Жизнь человека», они непременно спрашивают: где идет? как посмотреть? Нигде и никак: больше полвека толком не ставилась, да и в советское время мелькала разово. Мы же не можем примириться с бессмыслицей и ужасом жизни, мы социализм строим! Между тем пьеса эта исключительно сценична, финал

ее – один из мощнейших в мировой драматургии; но человеку присущ подсознательный страх перед собственной догадкой о фатальной и трагической бессмыслице всего. Вот мы и стараемся забыть о лучших пьесах Андреева – кому же охота расковыривать язву?

Но сам Андреев как раз болезненно сосредоточен на том, чего лучше попросту не знать, не помнить: вот он рассказывает Горькому о смерти своей жены, Шуры Велигорской, после которой он никого уже не любил по-настоящему и не оправился от этого удара до конца. Она была еще жива, говорит Андре-

ев Горькому в бесконечных ночных прогулках по острову Капри, среди скал и волн (Горький наутро удивлялся, как они себе ноги не переломали на этих козьих тропах, – но Андреев не мог оставаться дома, ходил, выхаживал горе, а Горький боялся оставить его одного). Была еще жива – но дыхание ее уже пахло тлением: «знаешь, это очень иронический запах», замечает Андреев, и мы уже не знаем, поражаться глубине его формулировок или ужасаться тому, как он из всего, включая смерть любимой женщины, делает прежде всего литературу. Нормальный человек постарался бы забыть, и это было бы, как знать, даже порядочнее; но Андрееву не до порядочности и тем более не до гуманности, когда дело о литературе. Он ее не пишет – это его единственный способ жить и думать: напряженный, мучительный поиск смысла в бессмыслице, мелодии в хаосе, высшей гармонии — в абсурде. А гармонии нет. Одна ирония всеобщего тления. Все мы стремимся познать тайну мира, а тайна в том, что смысл отсутствует. Эту тайну понял у Андреева Елеазар в рассказе о воскресшем Лазаре. Мы же мало знаем о том, что случилось с Лазарем, когда он воскрес. А Андреев – знал, или ему так казалось. Он предположил, что Лазарь, узнавший тайны жизни и смерти, побывавший за гробом и узнавший цену всему (точнее, понявший, что цена эта ничтожна), будет всеми гоним и ненавидим, а взгляда его не сможет выдержать никто из живущих. Вам ничего не напоминает эта история? Правильно, «Кладбище домашних животных», но до романа Кинга оставалось ровно семьдесят лет, а до его рождения – около сорока. Андреев сосредоточен не на ужасном, как писали его советские критики, а на обыденном, в котором он один способен прозреть это ужасное. «Жизнь Василия Фивейского» – жизнь священника, на которого судьба обрушивает удар за ударом, под другим пером и другим углом зрения не обязательно чистый, беспримесный и беспросветный ужас. Это вполне мо-



В гостях
у И.Е. Репина
в Пенатах

К. 19.

ПРЕДОСТАВЛЕНО М.ЗОЛОТАРЕВЫМ

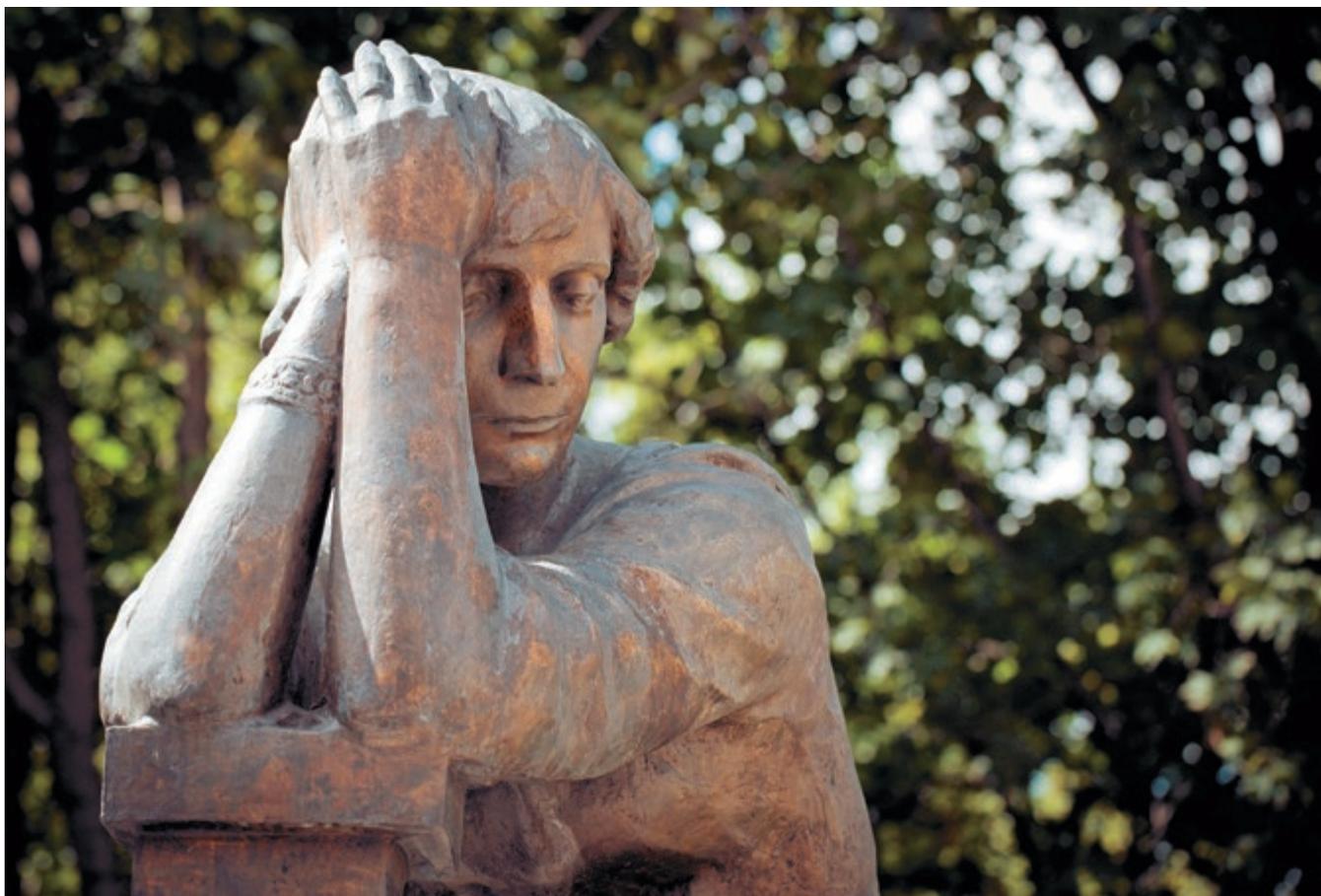
гла быть трогательная и в высшей степени православная повесть, без всякого богоборчества: один сын родился идиотом, другой погиб, да, кошмар, врагу не пожелаешь, но есть же в жизни Василия Фивейского вера, есть любовь, есть луч надежды, не все же дни своей жизни провел он в отчаянном вопрошании «За что?!». Есть ведь жизнь какая-никакая... Но для Андреева все эти утешения – непозволительный компромисс: у него, если герой порадуется чему-нибудь – хоть клейким зеленым листочкам, – того и жди, что через пару строк автор его догонит и в очередной раз оглоушит. Нет у Андреева ни умиления, ни надежды. Есть сострадание – это да, куда же без него; и мало кто из детей не плакал над гениальной «Кусакой», историей собаки, которую бросили дачники. Вот и сам Андреев чувствовал себя этой Кусакой, брошенной хозяином, думаю, такое сравнение его бы не унизило. Ищет хозяина – и не находит. А если бы нашел – разве писал бы такую прозу? Впрочем, в последние годы он пытался утешиться патриотизмом, приветствовал начало войны, патриотический подъем 1914 года – и, естественно, ничего хорошего у него не вышло. «Дневник Сатаны» – последний, неоконченный роман – доказывает, что ни с чем на земле он так и не примирился, не успокоившись в лоне спасительной клановой или кастовой лжи: видеть мир как есть – вот андреевское кредо с начала до конца. Как есть? Или это все-таки порок, дефект зрения, тот самый «порок сердца», который сгубил его? Ведь мир осмыслен, полон любви и милосердия, дышит обещанием праздника и справедливости – если взглянуть на него без андреевской испепеляющей страсти, без его придиричivosti и сосредоточенности на зле. Ведь младший сын Андреева, Даниил, гениальный русский духовидец, автор «Розы мира», – тот самый Даниил, чье рождение стоило жизни его матери, – сумел в кошмаре собственной жизни увидеть смысл и предназначение. Через все ужасы сталинских застенков пронес он веру и написал один из самых одухотворенных гимнов глубине и сложности мира – цикл «Русские боги», вершину русской метафизической лирики. Но Андрееву-старшему эта проза и этот поэтический ансамбль наверняка показались бы пусть благородным и творческим, но безумием, в лучшем случае самообманом. Над ним тяготеет мрачность Серебряного века, нордическая, скандинавская, ибсеновская и стриндберговская. В этом есть дурной вкус, но есть и выдающийся художественный результат, и мужество, и последовательность. А все, кто пытаются утешаться и утешать, вызывают у Андреева примерно такое же чувство недоумения и гадливости, как бледные, невеселые дети, резвящиеся под полечку и истерический крик «Танцирен, танцирен!» – из страшного, загадочного рассказа «Он». Надо ли сегодня читать Андреева? Вопрос смешной. У него есть прекрасные наследники – в частности, Людмила Петрушевская, научившаяся у него очень

многому и тоже, увы, пренебрегающая утешениями. Правда, у Петрушевской больше мстительности, ее категорически не устраивают благополучные, и своей прозой она мстит им за всех, кто страдает; у Андреева меньше этой злости, он не считает долгом все время бить читателя ниже пояса, но связь Петрушевской с его прозой и драмами несомненна. Кстати, Андреев ведь не придумал все это, он лишь развивает одну из чеховских линий, линию «Палаты №6» и «Черного монаха», так что читать Андреева стоит хотя бы для того, чтобы увидеть и внятно представить одну из важнейших преемственностей в русской литературе. Однако ценность и величие андреевского наследия не только в этом. Прежде всего – в лучших образцах, где Андрееву не изменяет вкус, это отличная литература. Кроме того, настроения, которые чаще всего переживает его герой-рассказчик, его любимый протагонист, в той или иной степени знакомы каждому. И возвращение к ним, к этому чувству бесконечной заброшенности, оставленности, тоски, – весьма плодотворно уже потому, что без этого чувства нельзя вполне оценить ни любовь, ни благодарность.

Андреев не может не раздражать, как раздражал он современников и даже ближайших друзей, коих было, впрочем, немного: он оглушительно избыточен, страшен, травматичен, ошеломляюще талантлив и так же чрезмерен. Однако пора бы напом-

нить друг другу и себе самим, что литература – не увеселительная прогулка. Литература – пространство великих вопросов и больших страстей. И Андреев, какой он ни есть, – заслужил благодарную память уже тем одним, что как никто соответствовал масштабу собственной страны, будучи одинаково великим и в своих взлетах, и в провалах.

Впрочем, может быть, за напоминание об этом масштабе мы сегодня и недолюбливаем его? 📌



АЛЕКСАНДР БУРЫЙ

«ВРЕМЯ! Я ТЕБЯ МИНУЮ»

ЛАДА КЛОКОВА

Русая девочка 13 лет спросила опытного революционера: «Можно ли быть поэтом и состоять в партии?» «Нет», — сказал тот. Честь и хвала этому человеку: ответ он иначе, русская литература, возможно, лишилась бы одного из своих великих поэтов... Через пять лет девочка выпустила сборник стихов: зеленую обложку украшали слова «Вечерний альбом» и имя автора — Марина Цветаева.

КНИГА ИМЕЛА БОЛЬШОЙ успех. Гумилев писал, что автором «инстинктивно угаданы все главные законы поэзии». Волошин и Брюсов отмечали необычную интимность стихов и отсутствие каких-либо влияний. В последнем, впрочем, Цветаеву никто не мог упрекнуть. «Ни к какому поэтическому и политическому направлению не принадлежала и не принадлежу», — заявила Марина Ивановна в 1926 году в «Ответе на анкету». Волошин как-то даже поспорил с поэте-

сой Аделаидой Герцк, что отыщет в стихах Цветаевой чье-нибудь литературное влияние. Спор он бесславно проиграл. Зато стал утверждать, что в Цветаевой живет не менее десяти поэтов, и уговаривал ее печататься под псевдонимами, будто одной истории с Черубиной де Габриак ему было мало. «Но Максимо мифотворчество роковым образом преткнулось о скалу моей немецкой протестантской честности, губительной гордыни все, что пишу, – подписывать», – отметила Марина Ивановна в «Живое о живом».

«Я ГОД ПРИМЕРЯЮ СМЕРТЬ»

...Она просыпается затемно, когда все спят. Пробирается к кухонному столу (иного – нет), нащупывает тетрадь. Главное – не уронить что-нибудь с грохотом: не смотря на сильную близорукость, она не носит очки.

За окном сонно ворочается парижский пригород Медон. Карандаш шуршит по бумаге, слова сокращаются – рука не успевает фиксировать мысли. Руки у нее большие и натруженные. Как у крестьянки, никакой изысканности, отличающей поэтесс, говорят недоброжелатели. Ей нет дела до этого шипения за спиной, она живет в согласии с выбранным еще в юности девизом – *Ne daigne* (фр. «Не снисхожу»). А слово «поэтесса» она не признает. Она – Поэт.

Она пишет, выгадывая у времени лишнюю минуту: скоро начнется новый безрадостный день. Нужно думать о том, где взять денег, чем кормить семью, напечатают ли эмигрантские журналы ее рукописи: она считает каждую копейку скудных гонораров. Ее ждут стирка, готовка, размышления о том, что продать из вещей. Да и кто их купит? «Все мои вещи, когда я их покупала, мне слишком нравились, – поэтому их никто не покупает», – написала она еще в 1919 году в голодной Москве. Тогда она стала продавать книги из семейной библиотеки. Но сейчас... Кочевой быт и нужда поглотили почти все ценное. Остались, правда, серебряные кольца и браслеты, которыми унизили ее руки. Но с ними она не расстанется до смерти...

Есть одна странность: предполагая, домысливая, как она умрет, Марина Ивановна часто вела разговор о петле. Вот и в сентябре 1940 года написала: «Никто не видит – не знает, – что я год уже ищу глазами крюк... Я год примеряю смерть». До черного дня – 31 августа 1941-го, до петли в захолустной Елабуге оставался один год...

НАЧАЛО

Сверните с шумной Тверской в Мамоновский переулок, пройдите его до конца и остановитесь. Вот он – застенчивый Трехпрудный. Видите затейливое здание с башенками? Это – бывшая скоропечатня товарищества «Левенсон А.А.». Та самая, куда Марина отнесла свой первый сборник. Напротив по диагонали стоял деревянный особняк (в революцию его растащили на дрова). Именно здесь в 1892 году, 26 сентября по старому стилю, родилась Марина Цветаева.

«Главенствующее влияние – матери (музыка, природа, стихи, Германия). Страсть к героизму. Один против всех. Более скрытое, но не менее сильное влияние отца. (Страсть к труду, отсутствие карьеризма, простота, отрешенность.) Слитое влияние отца и матери – спартанство. Два лейтмотива в одном доме – музыка и музей. Воздух дома не буржуазный, не интеллигентский – рыцарский», – писала Цветаева. Кажется, трудно представить более неподходящих друг другу людей, чем ее родители. Иван Владимирович Цветаев, профессор Московского университета, директор Румянцевского музея, четырнадцать последних лет своей жизни посвятил созданию Музея изящных искусств (ныне – Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина). Сын бедного сельского священника всего в жизни добился сам. В 33 года он без памяти влюбился в красавицу Вареньку – дочь известного историка Дмитрия Иловайского. Они прожили десять лет в браке, Варвара Дмитриевна умерла после родов, оставив мужу семилетнюю Валерию и сына Андрея. Спустя год Цветаев женился на Марии Мейн. Мария Александровна красотой не блистала, зато была одаренной личностью: прекрасно играла на рояле, пела, рисовала, знала несколько языков. Но она не смогла заменить мужу Вареньку, большой портрет которой Цветаев повесил в спальне. В дневнике своем вторая жена записала: «Мы венчались у гроба».

Мария Александровна родила Марину и Анастасию, а мечтала о сыне, хотела назвать его в честь своего отца. Алек-

сандр Данилович Мейн – остзейский немец, отслужив в Кексгольмском гренадерском полку, стал чиновником при московском генерал-губернаторе. Мать Марии Александровны, происходившая из польского рода Бернацких, умерла после родов. Для воспитания Маши отец выписал из швейцарского Невшателя бон-

ну – Сусанну Эмлер, с которой обвенчался, когда дочери было 20 лет. Цветаевы ее называли «Тю» – тетья и очень любили.

А будущего поэта в семье звали Мусей, Марусей. В четыре года мать усадила ее за фортепиано. Тогда же Муся научилась читать и начала сочинять стихи.

Мусе и Асе внушали, что просить – недостойно, что деньги – грязь, одевали подчёркнуто строго, за шалости наказывали. Зато мать много читала им вслух, играла на рояле, рассказывала о несчастном Лире, о мудром Сократе и «лунном короле» Людвиге Баварском. Твердила, что талант – не заслуга человека, а дар Божий.

«Это меня охраняло и от самомнения, и от само-сомнения, от всякого, в искусстве, самолюбия...» – вспоминала Марина Ивановна.

Ежедневные прогулки на Патриаршие пруды и к памятнику Пушкину на Тверской, гувернантка-немка Августа Ивановна, напевавшая «Ach, du lieber Augustin...», золоченые иконостасы домово́й университетской церкви Св. Татианы, церковный хор... Муся обожает Рождество и Пасху, но самый дорогой ей праздник – Благовещение, когда на волю выпускают птиц. Марина, судя по мемуарам Анастасии и Валерии, была непростым ребенком: упряма, застенчива, горда, обладает большой силой воли, резка и замкнута. Любимое ее занятие – чтение. Кумир – Пушкин. Она десятки раз переписывает его «К морю» – это стихотворение и лермонтовское «Свиданье» останутся любимыми на всю жизнь. Позже она влюбится в Ростана, Гейне, Гёте, Гёльдерлина, Гофмана, Шамиссо.

Первую тетрадь своих стихов Марина Цветаева завершила в 7 лет! В «Истории одного посвящения» она вспоминает, что стихи были подражательные, а тетрадь заканчивалась словами: «Плохие стихи – ведь это корь. Лучше отболеть ею в младенчестве». Мать не воспринимает ее стихи всерьез, мечтая о том, что дочь будет известной пианисткой.

На лето семья переезжает в Тарусу. Здесь – дача, запущенный сад, ого-



Марина Цветаева
и Сергей Эфрон
перед свадьбой.
1911 год

род, в котором возится отец, ветви жасмина в раскрытом окне, варенье из крыжовника, букетики иммортеля, сиделки на берегу Оки до ночи, когда над рекой медленно плывет белый шар Луны... Здесь же живут любимая Тю, закармливающая сестер конфетами, и родственники отца Добротворские.

...В 1902 году пришла беда: у Марии Александровны открылась чахотка. И хотя она продолжает вести деловую переписку мужа и бодрится, на щеках ее предательски цветет нездоровый румянец. Доктора советуют сменить климат. Три года мать и дочери не были в России: Мария Александровна лечилась в Италии, Швейцарии, Германии. В Нерви под Генуей в «Русском пансионе» 10-летняя Муся жадно прислушивается к разговорам соседней – революционеров-эмигрантов: эти странные люди говорят, что Бога нет, ругают царя! В 1905 году Цветаевы едут в Ялту, здесь в пансионе их соседи – эсеры, и Маруся снова тянется к разговорам о «политической ситуации». Мария Александровна переживает, боится, что дочь выберет «не ту дорогу». Состояние ее между тем ухудшается, она возвращается в Тарусу, где умирает в июле 1906 года. Ее опасения по поводу доро-

ги, которую выберет дочь, были напрасны: к 16 годам Марина потеряла интерес к политике.

После смерти матери Марина еще больше замкнулась в себе. Занятия музыкой забросила, за четыре года сменила три гимназии. Она прячется на чердаке, а когда отец уходит на службу, запирается в своей комнате и читает запоем. Ее страсть – эпоха Наполеона, ее жизнь – французские и германские поэты. Летом 1909 года одна едет в Париж, где слушает курс французской литературы в Сорбонне. Но в Париже, как и в Москве, она чувствует себя одинокой, ее мучает тоска. Позже Цветаева сформулирует причины тоски и одиночества, терзавших ее всю жизнь: поэт всегда противостоит миру. Поэт – невольник своего дара и пленник своего времени. Его задача – увидеть самому и дать увидеть всем остальным. И как эта способность «увидеть» и этот талант «дать увидеть» – мучительны!

Вернувшись в Москву, она втайне готовит первую книгу: «Вечерний альбом» выходит осенью 1910 года. Да, сборник был оценен маститыми поэтами, у Цветаевой завязывается дружеская переписка с Волошиным, возникает взаимная неприязнь с Брюсовым, но не они ввели ее в литературные круги. Ее «Вергилием» стал один из создателей знаменитого издательства «Мусагет» – Лев Эллис. Он просил руки 17-летней Марины и получил отказ. Она была влюблена в другого – 26-летнего Владимира Нилендера, бредившего орфическими гимнами переводчика античной литературы. Но отношения не сложились. Теперь она начала курить, пьет рябиновую настойку, дурачится: дала в брачную газету объявление со своим адресом о том, что требуется жених. «Ее нельзя назвать злой, нельзя назвать доброй, – вспоминала Валерия Цветаева. – В ней стихийные порывы. Уменьше ни с чем не считаются. Упорство. Она очень способна, умна».

Одиночество закончилось в мае 1911 года, когда Марина в Коктебеле, куда она приехала по приглашению Волошина и Пра (так «волошинцы» звали мать поэта – Елену Оттобальдовну. – Прим. авт.), встретила Сергея Эфрона. Все коктебельцы с упоением откапывали на пляже затейливые камешки. Цветаева заявила, что выйдет замуж за того, кто угадает ее любимый камень. «...С.Я. Эфрон... чуть ли не в первый день знакомства отрыл и вручил мне – величайшая редкость! – генуэзскую сердоликовую бусу, которая и по сей день со мной», – писала в 1931 году Цветаева. Они повенчались в Москве в январе 1912 года. Марина и Сергей молоды, счастливы, обеспечены. Они создали издательство «Оле-Лукойе», которое выпустило сборники стихов Цветаевой «Волшебный фонарь» и «Из двух книг», книги Эфрона «Детство» и Волошина – «О Репине». На этом издательство заглохло. А Марина, вернувшись из свадебного путешествия по Европе, объездила пол-Москвы в поисках «своего» дома и нашла то, что искала, в Борисоглебском переулке. В сентябре 1912 года она родила дочь – Ариадну.

но, та самая «Русская Сафо». Эфрон самоустранился: поездки на фронт с санитарным поездом пришлось как нельзя кстати. Цветаевой же, как выразилась Пра, пришлось «перегореть». К концу 1915-го Цветаева будит очнулась от наваждения. Позже в своем «Письме к Амазонке» она расставит точки над «и», отказав подобным отношениям в праве на существование...

В 1916-м начинается новый роман, завершившийся летом того же года. На сей раз – с Осипом Мандельштамом, который, судя по стихам, посвященным

ЛУЧШЕ БЫТЬ, ЧЕМ ИМЕТЬ

В «Герое труда» Цветаева пишет, что с 1912 по 1920 год она жила «вне литературной жизни». Это выглядит странно. Да, после «Из двух книг» в эти годы не вышло ни одного ее сборника. Но именно в это время созданы стихи о Москве, прекрасный цикл к Ахматовой, невыносимо светлые стихи к Блоку, стихи о войне, революции... Именно тогда она пишет пьесы «Червонный валет», «Метель», «Фортуна», «Каменный ангел»... Может, она подразумевала, что не встречается с поэтами, не печатается? Вряд ли: она популярна, на поэтических вечерах ей аплодируют, в 1916 году она публикуется в каждом номере «Северных записок». А может, то, что происходило в это время в ее жизни и в жизни вокруг, заслоняло для нее понятие «литературная жизнь»? Ведь именно тогда грянули Первая мировая война и революции в России. Цветаева отказывалась мириться с ними. Германия – ее любовь с детства, а война для нее – понятие апокалипсическое. Февральская революция ее потрясла: «Пал без славы Орел двуглавый. // Царь! – Вы были неправы». Октябрьскую она восприняла как непоправимую беду.

В ее жизни катастроф тоже хватало. После рождения дочери она расцвела, стала носить старомодные платья в пол, украшения из аметистов и янтаря. У нее начинается роман... Даже не роман, а какое-то самоистязание. Причина его – поэтесса Софья Пар-

Цветаевой, влюбился не на шутку. Он даже пытался найти себе работу в Москве. Эфрона в этот момент призвали в армию, он снова ничего не замечал. Или делал вид? В то время он еще едва ли не молился на Марину...

В апреле 1917-го у Эфрона и Цветаевой родилась вторая дочь – Ирина. Сергей Яковлевич перевелся в Москву, в 56-й запасной полк. Он не отличался креп-

ким здоровьем, Цветаева, опасаясь туберкулеза, хлопотала о переезде на юг. В октябре 17-го она приезжает к Волошину в Крым, а на обратном пути узнает о боях в Москве. Цветаева – в ужасе, под стук колес и площадную брань попутчиков записывает в тетради клятву мужу: «...Если Бог сделает это чудо – оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами, как собака...» 21 год спустя, когда Цветаева, вопреки своей воле, отправилась за мужем и дочерью в СССР, она приписала к этим словам: «Вот и поеду – как собака...»

...Эфрон собирался в Ростов – там формировалась Добровольческая армия. В последний раз они виделись в январе 1918-го. В следующие четыре года Марина Ивановна не будет иметь о муже никаких известий, ее ждут тяжелые испытания. Голод, холод, нищета, болезни дочерей (в 1920 году в Кунцевском приюте, куда Цветаева на время отдала детей, поскольку кормить их было нечем, умерла Ирина). Дом в Борисоглебском стал общежитием. Цветаева рубит на дрова шкафы и стулья («утогом колочу по топору»), роэль обменивает на пуд черной муки, варит кашу на воде и пустые похлебки в самоваре... Она экономит бумагу, записывает строфы на обоях. Как-то дома она застала незнакомого человека. Приняв грабителя за начинающего поэта, пришедшего познакомиться, она предложила ему морковного чаю, а он, ужаснувшись ее нищете, выгреб из своих карманов все деньги... Она пробо-

вала работать, но бессмысленная служба в Наркомнаце оказалась выше ее сил. Учреждение располагалось на Поварской, в бывшей усадьбе графа Соллогуба – «прототипе» дома Ростовых в «Войне и мире». Через пять месяцев уволилась. А затем... Ее пригласили выступить в Наркомнаце на вечер, на котором присутствовал Луначарский. «Так четко я никогда не читала... Монолог дворянина – в лицо комиссару – вот это жизнь!» – вспоминала Цветаева в «Моих службах». Глядя на Луначарского, она отчеканила монолог графа Лоззна из «Фортуны»: «...Так нам и надо за тройную ложь // Свободы, равенства и братства!»

В те годы она придумала себе еще один девиз: *Mieux vaut être qu'avoir* (фр. «Лучше быть, чем иметь»).

...Когда читаешь воспоминания об этом времени, поражаешься не тому, как Цветаева смогла выжить и не сойти с ума, а тому, как она могла писать! «Осенью 1921 года мы шли с Цветаевой вниз по Тверскому бульвару, – вспоминает в «Бывшем и несбывшемся» Федор Степун. – ...Мужественно шагая по песку босыми ногами, она просто и точно рассказывала об ужасе своей нищей, неустроенной жизни... Мне было страшно слушать ее, но ей не было страшно рассказывать: она верила, что в Москве царствует не только Ленин в Кремле, но и Пушкин у Страстного монастыря». С Пушкиным – ей ничего не было страшно. Еще – рядом были те, кто делился последним. Константин Бальмонт, которого она звала «братик», Павел Антокольский, актриса Софья Голлидэй – ей Цветаева посвятит «Повесть о Сонечке», князь Сергей Волконский – ему она напишет цикл «Ученик», друзья из любимого «Обормотника»...

О, не раз, наверное, в тяжелые минуты Марина Ивановна вспоминала «Обормотник»! На 7-м этаже дома на Малой Молчановке, подъезд которого до сих пор украшают свирепые львы, поселились сестры Эфрона – Вера и Лиля, а также Пра. Здесь, где смеялись, пели, танцевали, Марина и Сергей были завсегда. Двумя этажами ниже жил Алексей Толстой, которого «волошинцы» звали важно – «Алехан», а он их нежно – «обормотами». Так и получился – «Обормотник»...

В июле 1921 года Цветаева узнает, что муж жив: Эфрон эвакуировался в Галлиполи, оказался в Константинополе, намерен перебраться в Чехию. Марина Ивановна не ходит – летает как на крыльях, хлопчет о разрешении на выезд. И вдруг... 7 августа приходит весть о смерти Александра Блока: нет больше «рыцаря без укоризны», которого она боготворила. Проходит чуть более двух недель и – новый удар! Расстрелян Николай Гумилев, ползут слухи о самоубийстве Ахматовой. В надежде узнать что-нибудь Цветаева не выходит из «Кафе Поэтов», умоляет его хозяев оплатить ей командировку в Питер: «Господа! Я вам десять вечеров подряд буду читать бесплатно – у меня всегда полный зал!» (в те времена в «Кафе Поэтов», располагавшемся в Настасьин-

и дочь. Эфрон устраивается в «Союз возвращения на родину», с 1931 года он – агент ОГПУ. Цветаева ничего не знает. Скандал с убийством разведчика-невозвращенца Игнатия Рейсса в Швейцарии осенью 1937 года, в котором был замешан Эфрон, оказался для нее катастрофой. В октябре Эфрон бежал, а вскоре обнаружился в Ленинграде (Аля уехала в СССР еще в марте 1937-го. – **Прим. авт.**). Цветаеву вызвали на допрос в полицию. Она была раздавлена: невпопад отвечала на вопросы, читала свои французские переводы стихов Пушкина...

Следователи отпустили «эту полоумную русскую». Вскоре после этого Марк Слоним встретился с Цветаевой и был поражен тем, как она постарела. «Я обнял ее, и она вдруг заплакала, тихо и молча, я в первый раз видел ее плачущей, – вспоминал Слоним. – ...Меня потрясли и ее слезы, и отсутствие жалоб на судьбу... Я помню, как просто и обыденно прозвучали ее слова. «Я хотела бы умереть, но приходится жить ради Мура, Але и Сергею Яковлевичу я больше не нужна».

После бегства Эфрона от Цветаевой отвернулись все, кроме ее верных «добрых ангелов». Ее не печатали, с ней не общались, жить было решительно не на что. Она понимала, что выбора – нет: придется ехать к мужу. Она понимала, что писать она там не сможет, а ведь всегда говорила: «если я не смогу писать – умру». Перед самым отъездом из Парижа, узнав об оккупации Германией Чешского государства, она написала «Стихи к Чехии». Там есть строки, от которых – мороз по коже:

ЧУЖБИНА

В мае 1922 года Цветаева с дочерью уже в Берлине. В июне они перебираются в Прагу, встречаются с Эфроном. До 1925 года семья живет в деревнях на пособие от чешского правительства и гонорары Цветаевой. Сотрудничество с эмигрантскими изданиями идет трудно: Цветаева резко реагирует на редактуру своих текстов, многие ее стихи не нравятся издателям, то обвиняющим ее в симпатиях к большевикам, то упрекающим в излишней романтизации «белой идеи». Но у нее есть верный почитатель – Марк Слоним, литературный редактор правозэсеровской «Воли России», где ее печатают постоянно. Еще у нее есть «добрый ангел» – Анна Тескова, чешская учительница и переводчица, с которой Цветаева переписывалась с 1922 по 1939 год. Она помогала, чем могла, – деньгами, одеждой. Письма Цветаевой к ней опубликованы в 2009 году отдельной книгой, читать эту жуткую летопись жизни задыхающегося от нищеты человека – сплошная мука...

Что ее поддерживало? Скорее всего, общение и переписка с такими же, как она, – «не от мира сего»: Андреем Белым, Борисом Пастернаком, Райнером Рильке...

В 1925 году у Цветаевой родился долгожданный сын – Георгий, которого она зовут Мур. Тогда же семья перебирается во Францию, скитается по беднейшим пригородам Парижа, борется за выживание. Ариадна помогает матери по дому, Эфрон чаще сидит без работы. Гонораров становится все меньше. У Марины Ивановны развивается малокровие. Бывает, семья живет на 5 франков в день, которые зарабатывала Аля вязанием шапочек. Спасали все те же «добрые ангелы»: Тескова, Анна Андреева (вдова Леонида Андреева), литературовед Святополк-Мирский, писательница Колбасина-Чернова, семья журналиста Лебедева... К концу 20-х годов Сергей Эфрон примыкает к левой части евразийского движения, лидеры которого пытались наладить контакты с «оппозицией» в СССР (мистификация, блестяще разыгранная ГПУ, вошла в историю под названием «Операция «Трест». – **Прим. авт.**). Эфрон стал лояльнее к СССР, увлек своими идеями Алю и Мура. Марина Ивановна больше не находит общего языка с мужем

О, черная гора,
затмившая весь свет!..
Пора-пора-пора
Творцу вернуть билет.
Отказываюсь – быть
В Бедламе нелюдей.
Отказываюсь – жить
С волками площадей.
...Не надо мне ни дыр
Ушных, ни вещей глаз.
На твой безумный мир
Ответ один – отказ.

После бегства Эфрона от Цветаевой отвернулись все, кроме ее верных «добрых ангелов». Ее не печатали, с ней не общались, жить было решительно не на что. Она понимала, что выбора – нет: придется ехать к мужу. Она понимала, что писать она там не сможет, а ведь всегда говорила: «если я не смогу писать – умру». Перед самым отъездом из Парижа, узнав об оккупации Германией Чешского государства, она написала «Стихи к Чехии». Там есть строки, от которых – мороз по коже:

О, черная гора,
затмившая весь свет!..
Пора-пора-пора
Творцу вернуть билет.
Отказываюсь – быть
В Бедламе нелюдей.
Отказываюсь – жить
С волками площадей.
...Не надо мне ни дыр
Ушных, ни вещей глаз.
На твой безумный мир
Ответ один – отказ.

ВНЕ ВРЕМЕНИ

«Человек! Душа! Вдохновение!» Так Цветаева описала себя в 1919 году. Она только так и могла жить. Не интересовалась политикой, не участвовала в «общественной жизни», была беспомощной в быту. Свое творчество называла «заговором против

века, веса, счета, времени, дробей». Стояла на том, что вся жизнь человеческая движется воображением: «...тот, кто вообразил полет человека, был предтечей авиации...» Она считала себя «защитником потерянных дел», настаивала, что поэт всегда должен быть с побежденными: «преследуемый всегда прав, как и убиваемый!» Утверждала, что слово есть высший подарок Бога человеку. «Но если есть Страшный Суд слова – на нем я чиста», – писала Марина Ивановна.

Как и все великие поэты, она не вписывалась ни в свое время, ни в жизнь окружающих ее людей. Как и всех великих поэтов, потомки ценят ее гораздо больше, чем ценили ее современники. «Время! Я тебя миную...» – это строка из ее стихотворения. Обещание свое она выполнила.

...Дом в Борисоглебском, где она прожила восемь лет, к счастью, уцелел. Здесь почти столетие назад шестилетняя девочка Ариадна, сидя за столом, выводила в тетради слова о своей маме: «...У нее светло-русые волосы, они по бокам завиваются. У нее зеленые глаза, нос горбинкой и розовые губы. У нее стройный рост и руки, которые мне нравятся».

Запомним Марину Ивановну Цветаеву такой. 📍

Так она чувствовала себя, возвращаясь на родину. Впрочем, ее родины больше не было. Как не было и ее любимой Москвы, которую она воспела, как никто другой. Красной России, куда вернулась Цветаева, она была не нужна. Белой России, жившей в парижских пригородах, она не нужна была тоже. Она все понимала: «Тоска по родине! Давно // Разоблаченная морока! // Мне совершенно все равно – // Где – совершенно одинокой // Быть...» Что Россия, что Франция – все чужбина...

В Москве большинство прежних знакомых не рвались с ней общаться. Кто-то боялся, а кто-то, возможно, стыдился: немало коллег по цеху поливали ее грязью в передовицах, пока она была в эмиграции. Последние сочувствующие отшатнулись в 1939 году, после того как НКВД арестовало ее дочь и мужа. Она практически не пишет стихов: в 1940 году их появилось лишь девять, в 1941-м – два. «Если я не смогу писать – умру»...

Ее жизнь превращается из кошмара – в ад кромешный.

«...ЭТО УЖЕ НЕ Я»

...18 августа 1941 года Марина Ивановна с Муром в группе эвакуированных приехали в Елабугу. 21 августа остановились в доме Бродельщиковых. 24 августа Цветаева едет в Чистополь, надеясь получить работу. 26 августа пишет заявление в Совет Литфонда: «Прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывающуюся столовую Литфонда». Работы нет. 28 августа возвращается в Елабугу. 31 августа...

Биограф Цветаевой, Виктория Швейцер, расспрашивала Бродельщиковых об их квартирантке. «Она показалась им старой и некрасивой, – пишет Швейцер в книге «Быт и бытие Марины Цветаевой». — ...Одета была неважно... Дома все время носила большой фартук с карманом – «так в нем и померла», – говорит Анастасия Ивановна (Бродельщикова. – Прим. авт.)... Всех в тот день погнали аэродром чистить. Вместо Цветаевой сын пошел. Первой домой вернулась хозяйка. В сенях наткнулась на стул и удивилась: зачем тут стул? А подняв глаза, увидела повесившуюся квартирантку».

Цветаева оставила три предсмертных письма. Первое – сыну: «...Прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. ...Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але – если увидишь – что любила их до последней минуты и объясни, что *попала в тупик*». Второе – милиции, в котором просит отвезти сына к поэту Асееву. Последние слова в нем: «Не похороните живой! Хорошенько проверьте». Третье – Асееву с просьбой позаботиться о Муре...

Ее похоронили 2 сентября 1941 года на Елабужском кладбище. На похоронах, по словам Бродельщиковых, никого не было. Точное место захоронения – неизвестно...

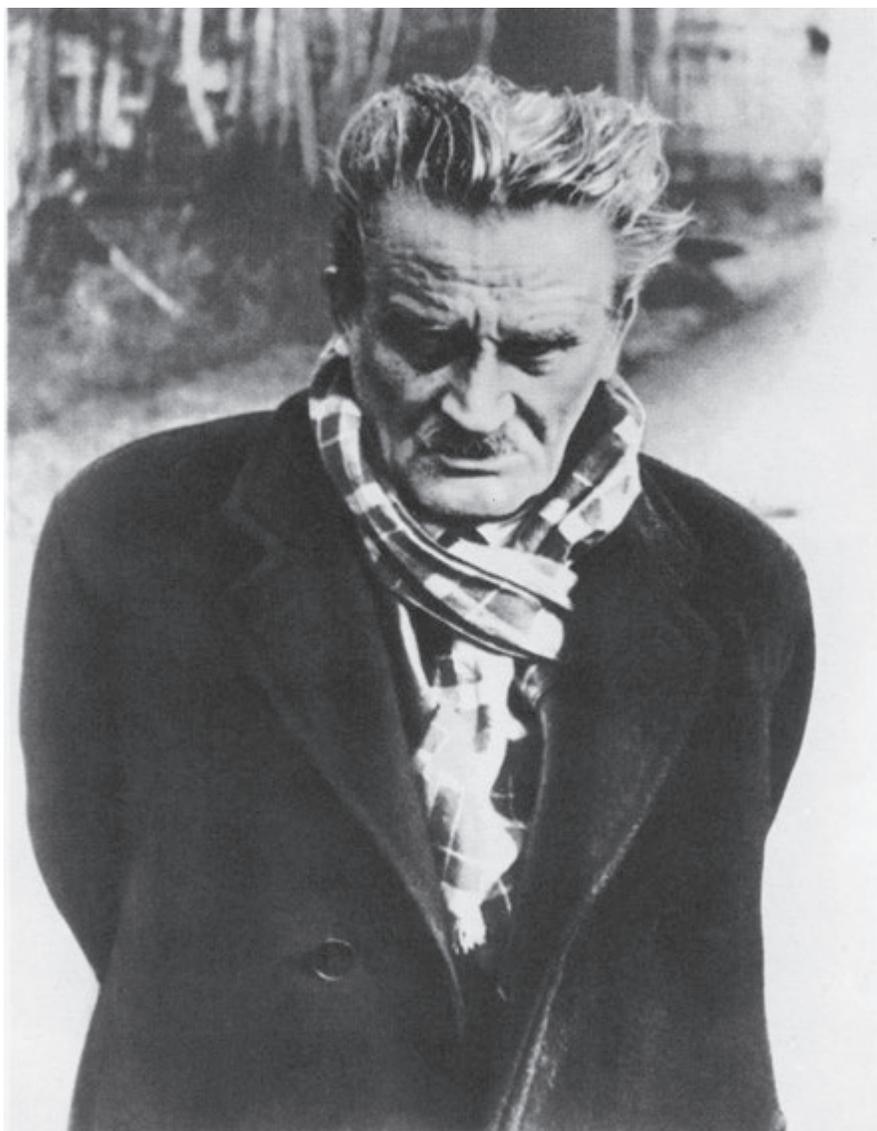
ПЕВЕЦ НА НЕОБИТАЕМОМ ОСТРОВЕ

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Вряд ли Юрия Олешу можно причислить к ведущим русским писателям прошлого столетия: у XX века — другие лица и другие главные темы. Он даже и в любимые писатели, кого ни спроси, редко попадает. При этом — бесспорная репутация одного из лучших стилистов. И вечная загадка его личности: почему, умея так много, пребывая на самом взлете таланта, он замолчал навсегда?

О ДНИ СЧИТАЮТ, ЧТО ВО всем виновато пьянство, другие — что режим: мол, не хотел Олеша кривить душой, а поэтому предпочел молчать, а не славословить режим. Иные полагают, что все время, пока он молчал, он потихоньку изобретал собственный язык прозы, чуждый эпохе, и его «Книга прощания» — как раз новое слово на новом языке. Иным, наоборот, «Книга прощания» кажется продуктом распада творческой личности. Сам текст дает основания толковать его и так, и этак: ничего не подсказывает, не дает разгадать. Олеша сам описал свое детство, и добавить к этому нечего, толь-

ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ



ко коротко рассказать: родился в польской католической семье в Елисаветграде (сейчас — Кировоград), с трех лет жил в Одессе. Отец его, акцизный чиновник, был пьяница и картежник, проиграл и пропил большое наследство. Юрий учился в Ришельевской гимназии, много читал, рано начал писать стихи. В старших классах играл в футбол. В юности познакомился с Эдуардом Багрицким и Валентином Катаевым. Все трое писали стихи и зачитывали ими друг друга до изнеможения — кажется, если их что и занимало всерьез, так это поэзия. Если Багрицкий увлекался Леконтом де Лилем и Гумилевым, а Катаев избрал в качестве ориентира Полонского и Фета (позднее — Бунина), то литературным кумиром юного Олеси был Игорь Северянин. Первое опубликованное стихотворение Олеси носило пышное название «Кларимонда», первые стихи были по-северянински напевны и нездешни. Сохранились и стихи Олеси, написанные под явным влиянием Катаева, — пейзажная лирика.

Первая мировая и революция раскидали Катаева и Багрицкого — одного на Румынский фронт, другого в Персию; младший из всех, Олеша не воевал: оканчивал гимназию и поступал в университет. Одесса, однако, продолжала тянуть всех к себе — и в хаотичное, бестолковое время чересполосицы властей в городе троица поэтов собралась снова, с новым опытом и новыми стихами. Олеша был студентом юридического факультета Новороссийского университета, там же учился талантливый поэт Анатолий Фиолетов (в жизни его звали Натан Шор), тоже давний знакомец Багрицкого. Кому-то однажды пришла в голову идея собрать всех университетских поэтов — и с осени 1917 года заработал студенческий литературный кружок. Из него потом получилось литературное объединение «Зеленая лампа». В Одессе менялись власти, стреляли на улицах, грабили по ночам — и тем не менее литературно-поэти-

ческие вечера, где студенты и примкнувшие к ним приятели читали с эстрады стихи и доклады о современной поэзии, а артисты пели и декламировали под музыку, собирали полные залы. Олеша считался — да и был — одним из самых талантливых поэтов кружка. 1918 год, когда Одесса была под властью гетмана, когда в городе стояли австрийские войска, стал для «Зеленой лампы» годом расцвета, театральных постановок, гастролей по Новороссии — и жесткой, серьезной поэтической школой для всех участников. Олеша писал тогда стихи о Пушкине и пушкинских героях, кружковцы считали их великолепными. Написал драму «Маленькое сердце» под Шишбышевского. Прозаические его попытки в это время были довольно беспомощны, кажется, он и писал их только ради того, чтобы оттачивать свое мастерство сравнения и метафоры: вот партер в театре похож на открытую коробку конфет, а шея у девушки цвета слоновой кости, а будка суфлера похожа на раковину, а фонарь... У зеленоламповцев даже игра такая была: что на что похоже — надо было моментально подобрать сравнение к вещи. Однажды Олеша с Катаевым так заигрались, что пришли к выводу, что все похоже на все.

Оба вспоминали это время как необыкновенно прекрасное — у Олеси есть зарисовка: стоят юные поэты и девушки в широкополых шляпах, все красивые, талантливые, и горят на солнце тюльпаны...

КНИГА, ВИНТОВКА, СОХА, СТАНОК!

Приход Добровольческой армии мало что изменил в положении кружковцев, а вот весной 1919 года в городе появилась Красная армия, и все перевернулось с ног на голову. Кружковцы, подспудно сочувствовавшие большевизму, подались в БУП, Бюро украинской печати, рисовать плакаты и сочинять к ним стихотворные подписи к празднованию Первомая. Время было военное, деникинцы наступали, Красная армия объявила в Одессе мобилизацию. Олеша, как утверждал Шкловский, пошел в армию добровольцем и служил телефонистом в береговой батарее, которая стояла на пляже. Служить пришлось, по-видимому, не очень долго: с конца мая по середину августа, когда Добровольческая армия отбила Одессу. Здесь — короткий пробел в биографии по самую зиму 1919/20 года, когда Олешу и его сестру Ванду свалил тиф. Юрий выжил, Ванда умерла. Когда он пришел в себя, власть в городе снова переменялась. Весной 1920 года он снова на службе красных, в ЮгРОСТА: сочиняет подписи к карикатурам. В Одесском Литературном музее выставлен на витрине первомайский набросок Олеси с указаниями для художников в рамочках:

«Трафарет для 1 мая:

Презрительное и надменное лицо ка-
питалиста

Эта страна трудовая
Празднует первое мая?

Рассвирепевшее лицо капиталиста

К черту советские бредни —
Праздничек будет последний.

Кулак с молотком

Шутишь, проклятое рыло-помощничек царий
~~Вот он, кулак мой — не мило.~~
Вот он, кулак пролетарий.

Кулак с молотком ударяет по голове
капиталиста

К двадцать второму, уж знаю
Вряд ли дотянешь ты маю!»

Все начало 20-х он сочинял агитки ради пайков и даже, как вспоминал Катаев, стихи к юбилеям для какого-то военного, щедро платившего за поэзию. В свободное время — опять читали стихи: сначала «Коллектив поэтов», потом поэтические кафе притягивали всю местную поэтическую молодежь. Молодые научились мгновенно рифмовать, писать стихи быстро и не раздумывая, потому что в деле агитации и пропаганды от них требовали не только рифмы и внятности, но и скорости. Они сильно голодали — и в Одессе, и в Харькове, куда потом перебрались всем коллективом ЮгРОСТА, да и позже — в Москве.

В Москву Катаев и Олеша попали в 1922 году. Родители Олеша эмигрировали в Польшу, звали его, он не поехал. Юность для этих молодых людей была неразрывно связана с голодом, поэзией и революцией. Голод, поэзия и революция привели к новому шагу в жизни Олеша: он поступил на работу в газету транспортников «Гудок». Главным его занятием довольно скоро стали стихотворные фельетоны, в которые он перерабатывал присылаемые рабкорами-железнодорожниками жалобы на непорядки. Под псевдонимом «Зубило», который стал знаменит на всю страну (настолько, что в командировки Олеша ездил в собственном вагоне, а пионерские отряды слали ему известия о том, что решили называться его именем), Олеша неустанно клеймил взяточников, мешочников, растратчиков, волокитчиков и прочих безобразников, мешающих развитию советского транспорта. Куда менее известно, что по-

мимо фельетонов Олеша еженедельно давал в газету стихи на политические темы. Сначала подписывал их «Касьян Агапов», потом стал подписывать своей фамилией. Стихи были откровенно плохие и довольно одинаковые, изобиловали знаменами, штыками, звездами и восклицательными знаками. Писать ему приходилось очень много: раз в неделю политический стих и каждый день по фельетону Зубила. Слава у него была колоссальная, транспортники взахлеб читали новые стихи Олеша. В Москву постепенно перебрались из Одессы и другие участники поэтических кружков — так в редакции появились Илья Ильф и Семен Гехт; Катаев перетащил в Москву брата, пришел Михаил Булгаков, так что четвертая полоса «Гудка» обзавелась, наверное, лучшим коллективом за всю историю отечественной журналистики. Литсотрудники жили в стесненных условиях, ночевали друг у друга, питались вскладчину, писали на типографской бумаге или клочках обоев, смеялись, смешили других, и работать было легко, и все получалось, и впереди уже маячила слава.

В 1924 году Олеша написал сказку «Три толстяка» — революционную, про восставший народ, свергающий власть толстяков. Но детям она не этим была дорога. Она была волшебна от начала до конца. В ней розы плавали в миске, как лебеди, а учитель танцев среди танцующих был похож на поварешку в супе, а гимнаст шел по проволоке над площадью Звезды... и выстрелы расцветали розами на шкуре пантеры, и девочка-кукла в волшебном платье учила на-

следника свистеть в ключик... и странный человек в конце сказки говорил странные, загадочные, необъясненные слова, которые сразу запоминались наизусть: «Прощай, Тутти, что на языке обездоленных значит «разлученный». Прощай, Суок, что означает «вся жизнь». Сказку и не восприняли сразу как правильно-пролетарскую, и опубликовали только четыре года спустя — и она сразу оказалась всеми любимой, всем нужной — и пошли переиздания, и вскоре МХАТ запросил у автора инсценировку...

КОНЕЦ ЛИТЕРАТУРЫ

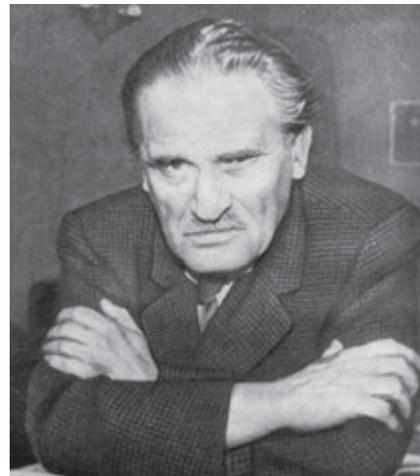
Еще до того Олеша ошеломил читателей и критиков своим романом «Зависть» — с первых строк, с хрестоматийного нынче «он поет по утрам в клозете», поразил новизной и странностью зрения, метафорой, которая целиком охватывает движение, жест, человека, — емкой, упругой, свернутой и способной развернуться, как тугая спираль. Необыкновенная новизна письма ясно сигнализировала, что это совершенно несоветское произведение. Разумеется, сюжет еще можно было спрямить, замерить уровень советскости и поделить персонажей на положительных и отрицательных, попеняв автору, что положительные недостаточно положительны, а автор недопонял того-сего — так в конце концов с «Завистью» и поступили. Но в 1927 году, когда роман вышел в свет, страна еще не окостенела, режим не застыл, шаблонные формулы не охватили еще всех областей жизни, — и в этом году, последнем мало-мальски вольном, еще были читатели и критики, которые способны были оценить и волшебную изобразительность языка, и полную, до саморазоблачения, откровенность автора, который совершенно явно проступает из-под маски Кавалерова. Тогда еще можно было говорить о важном и волнующем. Впрочем, сам сюжет «Зависти» свидетельствовал, что эти времена проходят, что наступает самодовольное окостенение жизни, что в ближайшем будущем обо всем этом нельзя будет говорить.

И в самом деле, стало нельзя. В ближайшие несколько лет писателей отстроили, подравняли, коллективизировали и отправили на производство. Казалось бы, уж Олеше-то, уж Зубилу-то, с его огромным опытом писания правильных коммунистических строчек левой ногой за продуктовый паек, с его осведомленностью в транспортных проблемах, хотя и набивших оскомину, — уж ему-то будет легче их всех справиться с производственным заданием, уж он-то идеально впишется в новую жизнь. А он не вписался — совсем, никак.

Может быть, дело в том, что он успел распробовать, что это такое — писать как хочешь и как можешь, не думая о крайних сроках, не подстраиваясь под редактора и текущие политические веяния, — писать рассказ о вишневой косточке, подыскивать имена явлениям и событиям... Теперь ему предстояло подравняться и вернуться с воли в клетку, отставить лирику и трудиться над выполнением заданий партии. «Литература окончилась в 31-м году», — говорил Олеша. Литература, может, и не окончилась, кое-как выжила, понеся жестокие потери, но Олеша почти окончился. Его приснопамятное выступление на Первом съезде Союза писателей потому и произвело на окружающих впечатление неуместного юродства, что он пытался по-прежнему вольно го-

этот новый человек, не знающий душевных мук и сомнений, идеально ясный разумом и духом созидатель и строитель, — и как ему самому, созерцателю, а не созидателю, ужиться в обществе этих людей, где ни он сам, ни его умения не нужны. «Я буду писать пьесы и повести, где действующие лица будут решать задачи морального характера», — обещал Олеша съезду.

Задачу морального характера уже попыталась решить героиня его пьесы «Список благодеяний», молодая актриса Елена Гончарова. Она вела два списка — список преступлений и список благодеяний советской власти; в конечном счете



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

говорить о важном и значительном для него в среде, которая уже успела окостенеть настолько, что исповедальные речи стали звучать дико, как монолог Гамлета на профсоюзном собрании.

«Я мог поехать на стройку, жить на заводе среди рабочих, описать их в очерке, даже в романе, но это не было моей темой, не было темой, которая шла от моей кровеносной системы, от моего дыхания. Я не был в этой теме настоящим художником. Я бы лгал, выдумывал; у меня не было бы того, что называется вдохновением», — делился Олеша с делегатами. Он вырос в другом мире, он мечтал иначе, он жил другими понятиями и образами — и все это оказалось никому не нужно. Олеша всерьез размышлял, каким он будет,

главным и перевешивающим благодеянием оказалась возможность умереть за эту власть. Спектакль, изгрызенный цензурой, был поставлен Мейерхольдом, но вскоре запрещен: то, что было терпимо в конце 20-х, в начале 30-х казалось уже преступлением. Вскоре и Мейерхольд подвергся травле за формализм, и Олеша оказался под негласным запретом — а там уже пошли аресты близких друзей, и про это время все стало окончательно понятно.

Он уже ничего не обещал ни себе, ни другим, не пытался в прозе решать задачи морального характера — он просто пил. Это был его способ справиться с тогдашней жизнью. Вынести невыносимое и уложить в уме противное разуму — это сложная задача: кто стрелялся, кто сходил с ума, кто прятал голову в песок, кто подыскивал оправдания. Способ Олеша был — пить. Не самый худший способ — и, по крайней мере, позволяющий уничтожить себя алкоголем, а не личной подлостью.

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Пьяным он был нехорош: скандалил, говорил грубости и резкости, друзьям за него часто было неловко, неловко было и знакомым, у которых он стрелял деньги. Со многими он поссорился из-за своих алкогольных эскапад. С одними помирился, с другими нет — с бывшим лучшим другом Катаевым разошелся навсегда, хотя ревниво за ним следил. Катаев уже в глубокой старости, отвечая на вопрос, «кто был вашим лучшим другом», сказал, почти не раздумывая: Юрий Олеша.

Олеша — писатель, который не пишет, — стал притчей во языцех, королем «Националя», завсегдатаем буфета в Доме литераторов. Его неписание стало молчаливым укором для пишущих — горшим, чем многописание других. Не писать было честнее и достойнее. Впрочем, после его смерти выяснилось, что он все-таки продолжал работать. То, что он писал «вслух», для публикации, было слабо — вроде переводов туркменских писателей в войну (войну он провел в эвакуации в Ашхабаде). Статьи в печать, редкие рассказы — все это делалось без души. Но он писал в стол, для себя, без всякой надежды на публикацию, даже посмертную. И только когда его последние записи, собранные Шкловским и опубликованные под названием «Ни дня без строчки», вышли в свет — или, пожалуй, еще позже, когда эти записи в полном виде вышли как «Книга прощания», уже в наши дни, — тогда стало ясно, какой сизифов труд он на себя взвалил и какие танталовы муки испытывал. Хуже, чем безногий летчик Маресьев. Может быть, что-то похожее чувствовал бы оперный певец на необитаемом острове. Или, может быть, в туземной деревне — да еще туземцы кидаются банановой кожурой, стоит только открыть рот. Старейший, хрипнувший, теряющий голос, он продолжает петь, потому что предназначен для того, чтобы петь. Никто не слушает, ноты забываются, каждый звук дается

с большим трудом — а он все поет, потому что если он перестанет это делать, он перестанет быть собой.

Может быть, человеку религиозному это было бы легче перенести: у него есть последний и единственный Слушатель и Читатель. У Олеша, пожалуй, и на это не было надежды. Его «Книга прощания» и есть уникальный опыт писательской работы в абсолютной пустоте: искусство даже не ради искусства, а ради жизни, ради сохранения самого себя.

Видно, как трудно ему писать, физически трудно; как он возвращает себя к листу бумаги, когда это никому не нужно, как мучительно работает над собой, как заставляет себя оставаться писателем и человеком — несмотря на сопротивление времени, сопротивление материала, сопротивление организма — паралич воли при депрессии и алкоголизме чрезвычайно трудно преодолеть усилием той самой парализованной воли.

Трудно сказать, знает ли литература подобный опыт творчества в вакууме. Разве что, может быть, Татьяна Гнедич, которая в одиночной камере тюрьмы, под следствием переводила с английского — в уме, по памяти — искрометного байроновского «Дон Жуана».

Вряд ли стоит задаваться вопросом, что такое «Книга прощания» — свидетельство окончательного писательского и личного распада Олеша или уникальный образец новой прозы. К сожалению, за уникальность новой прозы приходится платить очень дорого — собой. Но

«Книга прощания» — как она есть, без сквозного сюжета, без выдумки, без морали — оказывается очень важной во времена, когда ни ты, ни все твои умения никому не нужны. Потому что тем, кто привык искать в книгах ответа, бывает нужен не урок, не занимательная история, а только собеседник, который не дает советов, а вполголоса рассказывает о своем. ❀



ОКСАНА НОСОВИЦКАЯ

ВРЕМЯ, ВПЕРЕД

Откуда вдруг взялся такой неожиданный расцвет искусства и поэзии в России, по-прежнему наглухо застегнутой на все пуговицы, скованной форменным мундиром? Почему в Европе модернизм связывают с концом века, fin de siècle, а в России – с «началом века», можно даже не говорить какого: наш как-то не воспринимается в этой роли. Вроде бы мы и конец тысячелетия застали, и начало нового – а расцвета почему-то нет как нет. Может быть, стоим слишком близко, а через сто лет все станет заметнее?

Серебряный век – не только поэзия и проза – целая полоса общественной жизни. Современники считали ее упадком, декадансом, разложением; самым пронизательным, однако, и тогда было ясно, что это не увядание, а цветение, не упадок, а «ренессанс», по выражению Николая Бердяева.

Нет, конечно, XIX век тщательно позаботился об этом расцвете. XIX был веком здравых суждений, общественной пользы и практичности: он опутал весь мир цепью железных дорог, связал регулярными пароходными маршрутами, отменил рабство, продлил жизнь, придумал антисептики, ввел санитарии и гигиену – и резко увеличил население Земли. Планета из огромной пешеходной стала компактной, страны оказались ближе друг к другу, люди – понятней, национальные культуры – прозрачней, новости – быстрее. XIX век с его телеграфом, фотоаппаратом, кинематографом, промышленной революцией основал современную городскую цивилизацию

и впервые вывел на историческую арену человеческие массы. Впервые появился не узкоаристократический, а довольно крупный слой грамотных людей, возросли тиражи, появилась читательская аудитория, с которой стало возможно взаимодействовать. Размножились газеты и журналы; выставки, публичные лекции и кинозалы стали привлекать толпы народа. Появилась та самая

УПАДОЧНЫЙ РЕНЕССАНС

АННА ГАМАЛОВА

Золото — солнечное, серебро — лунное. Золото — богатство, серебро — изысканность. Серебряный век в России оказался богаче золотого: золотой — чуть ли не единолично пушкинский, серебряный — всеохватный.

С КАЖДЫМ ГОДОМ ОН ВСЕ ГЛУБЖЕ ПОГРУЖАЕТСЯ В ИСТОРИЮ – ВОТ уже за вековой рубеж перевалили 1910-й, год смерти Толстого, и 1911-й, убийство Столыпина, Амундсен на Южном полюсе, дело Бейлиса... Большое видится на расстоянии: с вековой дистанции становится заметен колоссальный масштаб явления, которое мы обозначаем как «предреволюционные годы» в истории – и как Серебряный век в литературе.

почва, на которой только и возможен расцвет искусства и словесности. Они и кинулись в рост, как пальма *Attalea Princeps* в знаменитой притче Гаршина – безумного предшественника наступающих времен.

XIX век, вырвавший монополию на творчество из рук аристократии, наследующий Просвещению с его идеалами, озабоченный утилитарными целями, заменивший Бога наукой и надрывно призывающий к социальным реформам, к концу своему стал уж совсем непоэтичен – только стон Надсона и тоска Случевского звучали пронзительной нотой в торжественном, машинном, маршевом шествии промышленного века. XX век не хотел говорить о богатстве и бедности, социальной справедливости и несправедливости – его интересовали понятия более фундаментальные: жизнь и смерть, красота и уродство, любовь и ненависть. Даже суровая реалистическая проза стала у Бунина экзистенциальной, а у Андреева – и реалистической перестала быть, перешагнув грань между реальным и символическим. XX век в своем начале устремлялся не к земному, а к вечному – и требовал поэзии о самой сути жизни. Нам кажется сейчас, что вся поэзия, вся литература в Серебряном веке была такая – модернистская, поднятая над земным или поднимающая земное до трансцендентного. А это был самый краешек, острие времени, вершина айсберга – штучное, экспериментальное, сверхновое искусство. А снизу плыл огромный массив позитивистской, привычной культуры уходящего века – с уныло-гражданской лирикой и народническими повестями из жизни крестьянства. И с точки зрения этой приземленной культуры все происходящее на острие было чужь и блажь, дикость и вырождение – декаданс, одним словом.

ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ

Старая Европа в самом деле переживала кризис. Стало понятно, что начинается новый, непривычный мир с другими порядками и законами, совсем непохожий на то, что было раньше. Древняя, устоявшаяся в крепких жанровых канонах, традиционная европейская культура затрещала по швам под напором новых людей, новых веяний и настроений.

А рамки оставались прежними: те же люди, тот же политический строй, те же законы, та же мораль, те же способы познания мира – хотя и они уже уперлись в пределы рационального. Затрещали и эти рамки. Граница между добром и злом, правдой и ложью, моральным и аморальным, умным и глупым стала постепенно размываться и стираться, пока не стерлась окончательно в постмодернизме, полноправном наследнике модернизма. Все эти фин-де-сьеклевские «цветы зла» и «богодьяволы» к концу XX века логично вылились в пресловутое «снятие бинарных оппозиций» – вплоть до размывания фундаментальных границ между жизнью и смертью или мужчиной и женщиной.

В новых условиях, при стертых границах, оказалось, что герой – не тот, что прав, а тот, что силен; не важно, что ты изображаешь, – важно как; важен не вектор чувства, не стремление к добру или злу, а только сила, последовательность, яркость этого стрем-

ления. Настало время героев-одиночек, противостоящих толпе. «Сверхчеловечки стали бродить стадами», сказал Петр Пильский в ядовитой статье о знаковом литературном явлении нового века – романе Арцыбашева «Санин», воспевающим (точнее – скучно объясняющим, как это хорошо) силу одиночек, животную жажду жизни и секса.

Дух времени и новая философия овладевали одиночками, толпами одиночек, потом массами, разменивались на копейки, становились уличной модой. Недаром модерн оказался не только самой необычной, но и самой коммерциализированной эпохой в искусстве, временем взлета бытовой культуры: соборы в нем редки, а пепельницы или сахарные щипчики с характерными изгибами очертаний – неисчислимы. Эта эпоха – первая, которая сделала предметом искусства рекламный плакат и слоган, окончательно смешав высокое с низким.

НЕЗНАКОУМКА

Поэты сознательно смешивали грех и святость, земное и небесное. Встреченная уличная женщина становилась Незнакомкой, загадочным образом женственности – и через пару месяцев все уличные женщины таинственно рекомендовались незнакомками: «Я уесь Незнакомка, хотите познакомиться?» – цитировал Юрий Анненков девушку Ванду у ресторана «Квисисана». Самое удивительное в людях той эпохи – готовность жить согласно принципам или их отсутствию. Жить необычно, жить сильными чувствами – этого требовал дух времени. Жизнь под серым российским небом, в привычное межсезонье три четверти года, была так насыщена хандрой и скукой, что требовала прорыва к яркому, удивительному, солнечному – и жизнотворцы рвались к иным небесам, как гаршинская пальма.

В русском интеллигентском быту появились хитоны, пеплосы и диадемы, мистерии и балы-маскарады; жизнотворцы перебирали маски, выискивая для себя подходя-



ОКСАНА НОВОВИЦКАЯ

ВСЕ ВСЕРЬЕЗ

Говоря о Серебряном веке, трудно удержаться от соблазна перечислять длинные списки имен, одно другого звонче: вот художники, вот скульпторы, вот поэты такие, а вот сякие – благо они не скупались на пышные названия и торжественные манифесты. Вот композиторы, вот танцовщики – пляды достойнейших имен и поразительных достижений. И почти за каждым именем – трагическая судьба, биография, изломанная несчастной любовью, болезнью, ошибками, перепаханная вкривь и вкось XX веком.

«Начало века» не скупилось на страшные события. Серебро яснее светилось на черно-красном фоне эпохи: японская война, 9 января, революция 1905 года, еврейские погромы. Глухая реакция: «столыпинские галстуки», эпидемия самоубийств, политические убийства, разгон Государственной думы. Наконец – Великая война, которую затмила собой революция, разом положившая конец мрачному, прекрасным и опасным играм с жизнью и смертью. Теперь все стало всерьез.

И все-таки серебро светится – не стальным, а теплым, эльфийским светом. Время осталось в веках цветным, а не серым, летящим, а не тонущим; и не солугубовская недотыкомка символ его, а врубелевская Царевна-Лебедь – сама прозрачность, сама печаль, сама красота и жизнь.

И вроде бы все в нашем веке повторяется – и земля сжалась в малый шарик, опутанная Интернетом, любой человек – на расстоянии клика мыш-

щую. Подошедшая иной раз прирастала, а цирковой клюквенный сок («истекаю я клюквенным соком», кричит паяц у Блока) оказывался настоящей кровью, что давным-давно заметил еще Ходасевич. И золотые туфельки, и смазные сапоги были одинаково свойственны этому времени; хоть желтая кофта фата, хоть черное траурное покрывало – все это были составные части образа, в котором жизнотворцы пребывали день и ночь. Демоническая женщина Нина Петровская, к примеру, носила черное платье, черные четки и черный крест; загадочная Черубина де Габриак посылала в журнал стихи на бумаге с траурной каймой, переложенной сухими цветами. Растиражированный подражателями, образ этот дошел до трафаретной пошлости – такова «демоническая женщина» у Тэффи: «Она носит черный бархатный подрясник, цепочку на лбу, браслет на ноге, кольцо с дыркой «для цианистого калия, который ей непременно пришлют в следующий вторник», стилет за воротником, четки на локте и портрет Оскара Уайльда на левой подвязке».

Было бы смешно, когда бы не было так грустно: платить за свою маску, позу, литературную игру, волшебные галлюцинации приходилось жизнью. Поэтому в жизни стрелялись, травились, нюхали эфир и кокаин, кололи морфин, спивались, сходили с ума и топились в Мойке. У русского Серебряного века – целый мартиролог тех, кто не дождал великих потрясений эпохи. Они стирали не только грань между жизнью и игрой, но и между жизнью и смертью, слишком легко перешагивая из бытия в небытие. Многие и запомнились не творчеством своим, от которого мало что сохранилось, а образом, врезавшимся в коллективную память: от легендарного Александра Добролюбова до сумасбродной Паллады Богдановой-Бельской. В жертву легенде, образу приносились жизни и состояния – все на ветер, все растрачено; но зато фиалки и подснежники в зимнем Петербурге, но зато вилла «Черный лебедь», но зато «жил на всю катушку». Пальма росла, росла, проломила стеклянную крышу и вырвалась на мороз, от которого и погибла.

кой. И социальные реформы не привлекают... Может, и в нашем времени через сто лет потомки найдут что-то прекрасное и упоительное – то нам неизвестно. Но помнить, что за свои слова приходится платить судьбой, стоит и в наш жидкокристаллический век. 

АЛМАЗ В СЕРЕБРЕ

МИХАИЛ БЫКОВ

Александр Блок родился 28 ноября 1880 года. В Петербурге. Ушел из жизни 7 августа 1921-го. В Петрограде. Тут есть о чем поговорить.

С РОКИ ЖИЗНИ РУССКИХ поэтов – это вообще отдельная тема. Пушкин – 37, Лермонтов – 26, Некрасов – 56, Есенин – 30, Маяковский – 37, Цветаева – 49. Это только первый ряд. Особая гордость. Блок прожил 40. Не 41, как предпочитали излагать учителя словесности в советских школах. Именно – 40. Это важно. Это рубеж. Это знак.

И еще: у Блока довольно современников, что появились на свет и покинули его в одном и том же месте. Географически. Но по остальным параметрам место рождения и место смерти для них оказались разными. Тут – Петербург. Там – Петроград. Блок – не исключение.

И это важно. Потому как это тоже – рубеж и знак.

Мемуаристы, литературоведы, критики, биографы – это о другом. Будучи замкнутым человеком, Блок жил открыто, не таясь. Воспоминаний о нем осталось в достатке. Записных биографов – тоже. Везунчиков в своем роде. Не стремился Александр Александрович к подвигам. Прожил интеллигентно. Без роковых тайн. Строчки поэта изучены и препарированы вдоль и поперек. Каждая строфа пронумерована и оцифрована.



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

Отдельно – любители «жареного» и «желтого». Пьяницы с глазами кроликов, красный граф Алексей Толстой с Бессоновым, южная казачья кровь жены Любви Дмитриевны. Тесть Дмитрий Менделеев – не еврей ли? «Испысывание» после 1909-го, потеря рассудка, сифилис, самоубийство. И, конечно, «Двенадцать». Не дает покоя вопрос – почему все-таки впереди Иисус Христос?

Ищут, ищут, ищут...

Да без толку, по большому счету. Загулы и романы – это, в принципе, порядок вещей. Не только среди поэтов. Остальное – не доказывается, хоть тресни. А если кое-что, прежде всего состояние рассудка в последние месяцы жизни, и

окружено некоторыми смущающими фактами, что с того? Трудно было ему.

И только эти «Двенадцать»... До сих пор идут. И кто там впереди – не разберешь уже. Так что обойдемся без биографов и литературных критиков. Уж пусть не взыщут. Блок, при всех своих романтических и символических скитаниях по стране Поэзии, ежесекундно пользовался – без этого никак! – родовой кровью. Текла по его венам и артериям мекленбургская кровь. Северная. Предок прибыл в Россию служить по медицинской части при дворе царя Алексея Михайловича. И Александр Александрович слыл за довольно организованного, пунктуального человека. А такой не мог не вести дневник.

Дневник Блока, в отличие от дневника последнего императора, Николая II, также разменявшего Петербург на Петроград, – не ежедневные систематические записи о событиях и погоде. Он довольно обрывочен, схематичен, эмоционален и заполнялся от случая к случаю. Зато сразу видно – были случаи! И северная тевтонская кровь смешивалась с русской. С той самой скифской.

Все это к чему? Если кто хочет о стихах – читайте стихи Блока. В самом деле, что еще надо? Ежели кому угодно о самом Блоке – заглянем в его дневники. Им можно доверять.

Интеллигент? Безусловный. Со всем хорошим и всем плохим, что несет это состояние. Но и – дворянин. Что позволяет столь разительно отличаться от талантливых поэтов и писателей, но плеев, ворвавшихся в литературный мир России в начале XX века. И – строками. И – поведением. И – самооценкой. И – тянуться к таким же, как сам. Пусть поначалу счастливым, но потом издерганным мистическими поисками. Пусть декадентствующим напропалую, от письменного стола до постели. Пусть бравирующим на грани пошлости претензиями на человеческую и творческую смелость. Но – своим!

В 1915 году 15 октября (ст.ст.) Александр Александрович записал: «И уж во всяком случае, я очень честен».

Странно, но отрочества и юности у Блока не было. Так случается у тех, кто начинает писать стихи в пять лет. И кто окружен литературой и наукой с рождения. Хрестоматийный мальчик со скрипкой (книжкой, микроскопом) – какое тут отрочество и юность?

Дед поэта – Андрей Николаевич Бекетов, ученый-ботаник, ректор Петербургского университета. Бабушка Елизавета Григорьевна Бекетова – знаток языков и переводчик. От Дарвина и Брэма до Бичер-Стоу, от Флобера до Жорж Санд. Оба, судя по записям самого поэта, влияли на него в юные годы весьма сильно. Одно из наиболее ярких воспоминаний детства – привычка деда обращаться к крестьянам купленного им поместья Шахматово под Клином в Тверской губернии по-французски: «Ну что мой маленький друг...»

Блок вспоминает об этом. Но без удивления. Такие были люди. И они жили рядом. Вплоть до 1902 года, когда умерли с разницей в три месяца. Блоку уже шел 22-й.

Отец Александр Львович к литературе был довольно холоден. Занимался юриспруденцией, профессорствовал в Варшавском университете. И сын поступил на юрфак Петербургского университета. Но отношение Блока к этой профессии исчерпывается одной дневниковой фразой: «Юридический факультет, как и прежде, не памятен». Написано в 1918-м. А еще спустя много лет он отчетливо помнил противный озноб, бивший его на экзаменах по причине полного незнания предмета. И так – три года, три курса.

Предок Иван Блок получил русское дворянство из рук Петра Великого. Офицером не был, служил лейб-медиком. С другой стороны, кто при Петре Алексеевиче не был офицером, если уж попался ему под руку? Насколько равнодушен был Александр Блок к юридической науке, настолько же ему претила и военная служба – основная стезя русского дворянства.

И так слабое влияние отца закончилось в 9-летнем возрасте. Мать вышла замуж за гвардейского офицера Кублицкого-Пиоттух. Блок пишет: «Семнадцать лет моей жизни я прожил в казармах лейб-гвардии Гренадерского полка». Радости – никакой! В другом месте – «Я валялся в казармах, в квартире верхнего этажа, читая массу книг и томьясь».

Наконец в сентябре 1916 года Александр Александрович запишет принципиальное: «Я не боюсь шрапнелей. Но запах войны и сопряженного с ней – есть хамство. Оно подстерегало меня с гимназических времен и вот – подступило к горлу. Запаха солдатской шинели не следует переносить... Эта бессмысленная война ничем не кончится. Она, как и всякое хамство, безначальна и бесконечна, безобразна»...

Андрей Белый, Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Михаил Кузьмин, Николай Гумилев, Вячеслав Иванов, Николай Пяст... Как так получилось, что, несмотря на разность талантов, взглядов и судеб, все они – а помимо того еще десяток-другой фамилий – воспринимаются все же скопом? Если не кривляться перед зеркалом собственной образованности. Если – честно?

Серебряный век... Нет, не творческий монолит. Скорее, Ноев ковчег, в котором каждой твари по паре. И время такое – надо спасаться и спасать. Как уместен тут вопрос из другого времени и другого мира – из Голливуда. Но в исполнении ученика школы Станиславского – Роберта Рэдфорда. «Когда Ной строил ковчег? До потопа, до потопа».

Эти – не строили. Они ждали. Некоторые из них – ломали построенное прежде. И Блок, вопреки дворянскому воспитанию и бекетовской интеллигентности, возражал резко. Даже оскорбительно. «Не меньше вашего ненавижу Зимний дворец и музеи. Но разрушение так же старо, как и строительство, и так же традиционно, как оно... Зуб истории гораздо ядовитее, чем вы думаете». Это – Маяковскому, летом 1918-го! И о том же в феврале 1921-го, за полгода до смерти: «Перед нашими глазами с детства как бы стоит надпись: огромными буквами написано: ПУШКИН... Имена основателей религий, великих полководцев, завоевателей мира, пророков, муче-

ников, императоров – и рядом это имя: Пушкин».

Блок против пиратов, сбрасывающих хлам с корабля истории. Категорически! Если требовала жизнь и убеждения, поэт не щадил никого. Не только из новеньких, вроде футуристов, – «Бурлюки, которых я не видал, отпугивают меня», записано в феврале 1913-го. Но и прежних. Друзей-символистов. Товарищей-мистиков. Единомышленников. Или – не «едино»? И были они вообще друзьями, товарищами, единомышленниками в варварском смысле слова?

Июнь 1909-го: «Без Бугаева (Белого) и Соловьева обойтись можно».

Октябрь 1911-го: «Все эти вечера читаю «Александра I» (Мережковского). Писатель, который никогда никого не любил по-человечески – а волнует. Брезгливый, недобрый, рассудочный...»

Апрель 1912-го: «Утверждение Гумилева о том, что «слово должно значить только то, что оно значит», как утверждение – глупо. Но понятно психологически, как бунт против Вяч. Иванова...»

Октябрь 1912-го: «Пяст живет, сцепя зубы, злится и ждет лучшего. Он послал рассказ... в «Русскую мысль». Много никуда негодного... чего не видит. Стихов не пишет. «Западник».

Апрель 1919-го. «Я получил корректуру статьи Вяч. Иванова о «кризисе гуманизма» и боюсь читать ее».

Май 1921-го. «Начало дневника З.Н. Гиппиус. Это очень интересно, блестяще, большею частью, я думаю, правдиво, но – своекорыстно».

Как можно было любить его после этого и считать первым? Вслух не каждый признавался, но во внутренних диалогах оспаривать первенство было крайне сложно. Блок оценивал не только персоналии. Он тяготел к обобщениям, выразившимся, правда, в довольно эксцентричной форме. Трудно спорить с тем, что любимым знаком препинания поэта было тире. Оно укорачивало путь.

«Есть два рода литературных декадентов: хорошие и дурные. Хорошие – это те, которых не стоит называть декадентами... Декадентство – упадок. И упадок

состоит в том, что иные или намеренно, или просто по отсутствию соответствующих талантов затемняют смысл своих произведений, причем, некоторые сами в них ничего не понимают...». Такова реакция 21-летнего Блока на новое течение в русской литературе на стыке веков, к которому и он имел прямое отношение.

В 1906 году Блок – еще молодой человек. Как раз оканчивает курс на филологическом факультете Петербургского университета, на который перевелся с юридического. На круг вышло девять лет учебы. Стихотворений уже много. Сотни. Уже за спиной «Стихи о прекрасной даме», перед глазами – поклонение и фанатизм влюбленности. Время, когда уже родились строфы «Девушка пела в церковном хоре» и «Незнакомки». А он в дневнике – вот о чем: «Религия и мистика». И вывод, который не мог понравиться друзьям по оружию: «Мистики – очень требовательны. Религиозные люди – скромны. Мистики – себялюбивы. Религиозные люди – самолюбивы».

Проходит менее двух лет, и Александр Александрович разносит в пух и прах и церковь, и интеллигенцию. То есть – самого себя. Литературные течения, споры, поиски несуществующего, интриги, зависть, страх – все есть вокруг. Нет понимания того, что, если не объединиться в простых и ясных истинах, не сложить силы для того, чтобы выбраться из приближающегося тупика, – все кончится. И Россия кончится.

Но сама-то Россия вовсе так не думала. Она осиливала столыпинские реформы, оправлялась после нелепой русско-японской войны, поднимала проценты экономического роста, придавав на время революционную дурь Пресни. И все это – правда.

Тогда почему же Блок задыхался и постепенно исписывался, о чем сам себе и признавался в дневниках? Как это, большой поэт, лидер, олицетворение нового – и тупики? Профессиональной карьере нет и десяти лет!

Личная жизнь? Конечно. Не без этого. Вернее – почти без этого. Поэт не может только думать. Он должен чувствовать. Это – питательная среда. Это – импульс! Экономический рост, конечно, прекрасно. Но вот парадокс: когда приходит время счета для всех, исчезает интерес к душе каждого. Еще в начале 1907 года Блок отмечает: «Стихами своими я недоволен с весны. Стихи уж писал так себе, полунужные. Растягивал. В рифмы бросался».

В рифмы бросаются, когда они не приходят сами.

А вот совсем страшное, 1909 год. «Думаю о том, что вот уже три-четыре года я втягиваюсь незаметно для себя в атмосферу людей, совершенно чуждых для меня, политиканства, хвастливости, торопливости, гешефтмахерства. Источник этого – русская революция, последствия которой могут быть и становятся

Исключений почти нет. Вот, пожалуй, Хлебников, которого так хвалил при жизни Блок, ушел в 1922 году. «Старый символист» Брюсов – в 1924-м... И – Гумилев, которого большевики расстреляли в 1921-м. Но тут – иной слу-

ужасными...». Два года минуло, как умер в 9-дневном возрасте их с Любовью Дмитриевной сын Митя.

Вывод: надо отказаться от литературного заработка и найти другой способ жить. Эта мысль повторяется спустя шесть лет, когда уже идет Великая война и Россия временно не справляется с нею. «Если бы те, кто пишет и говорит мне о «благородстве» моих стихов, захотели посмотреть поглубже, они бы поняли, что в тот момент, когда я начинал «исписываться» (относительно – в 1909 году), у меня появилось отцовское наследство; теперь оно иссякает и положение мое может сделаться критическим, если я не найду себе заработка. Трудом литературным прожить среднему и требовательному писателю, как я, почти невозможно».

Успешный Блок, обожаемый Блок, независимый Блок! Преувеличивал, утонул в депрессии, потерял веру в себя? И что прикажете делать остальным, если так холодно-жестоко, так сурово судит себя человек, написавший когда-то: «Я послал тебе черную розу в бокале // Золотого, как небо, ай»? Про черную розу, воля ваша, – все, что угодно. Но вторая строка – это не под силу среднему, хотя и требовательному, писателю. До сих пор спорим об этом небе, ведь миллионы других средних писателей написали бы – да и писали наверняка – «золотого, как солнце».

Блок в прозе не только дневники писал. Изредка – статьи. Он как-то составил собственную биографию. Начал в 1911 году. Закончил – в 1915-м. Все?

Нет, не все. 17-й год не мог не сказать на настроении и создал надежду. Кажется бы, кто угодно, но только не этот тонкий и требовательно-злой, умный и наблюдательный, привыкший к рафинированному быту и повседневному вниманию человек способен на такие слова: «Октябрьский переворот все-таки лучше февральского». По всему Блок должен был бы сказать иначе – февральский хуже октябрьского...

А он – вон как!

Но это ненадолго. Блок ошибся. Как и многие тогда. Весна 1921-го: «В Москве зверски выбрасывают из квартир массу жильцов... Я иногда дремал на солнце у Смоленского рынка на Новинском бульваре».

Теперь – все!

Очень верно схватил суть Маяковский, он умел. В некрологе на смерть Блока Владимир Владимирович написал о последней встрече с Александром Александровичем. В Москве, на поэтическом вечере. Блок читал старые стихи. Маяковский подвел черту: «Дальше дороги не было».

Знаете, что удивительно?

Мережковский умер в 1941 году. Зинаида Гиппиус – в 1945-м. Андрей Белый – в 1934-м. Михаил Кузьмин – в 1936-м. Вячеслав Иванов – в 1949-м. Ахматова – в 1966-м. Бальмонт – в 1942-м. Клюев – в 1937-м. Ходасевич – в 1939-м. Мандельштам – в 1938-м, Пастернак – в 1960-м. А уж Бурлюк – в 1967-м.

Тут – насилие, смерть, которой не ждали и к которой не готовились. Каждый сыграл отведенную ему роль, внес лепту, положил на алтарь... Потом медленно сошел на нет. Кого-то до сих пор любят, а то и боготворят. Кого-то иногда почитывают. На чьих-то могилах давно выросла катаевская трава забвения.

А как же «алмазный мой венец»? На чьей голове сверкает драгоценными искрами? Пусть не прямо, но сказано же в книге Валентина Катаева, сильного писателя следующего поколения: «Думаю, он считал себя гениальным и носил в бумажнике письмо от самого Александра Блока, однажды похвалившего его стихи».

Александр Блок – это явление. Это – состояние. Но это еще и – понятие. Всегда трудно сравнивать великих. Надо ли – другой вопрос. Но сравниваем, что подлаешь.

Пушкин – не только эпохальное, но и понятнейшее. Лермонтов – уже нет. И Тютчев – нет. И Есенин. Хотя в каких мерных системах можно измерить их гений? А соответствие миру? Или – несоответствие?

Все, служившие Серебряному веку русской поэзии и умершие после Блока, являются частью этого Серебряного века. Они все – из него. И все они – в нем. Но только Блок и есть Серебряный век. Плоть от плоти. Дух от духа.

В преддверии Рождества 1914 года Александр Александрович написал в дневнике: «Совесть как мучит! Господи, дай силы, помоги мне». И Господь помог. Забрал к себе, но только после того, когда все уже было сказано. ❀

ЛЮБОВЬ И КРОВЬ

АННА ГАМАЛОВА

Что мы помним про Апухтина? «Пару гнедых», пожалуй, — и то мало кто помнит, что это его строчки. Еще «Сумасшедшего» — «васильки, васильки»... «Васильки» растеряли авторские строки и пополнили девичьи альбомы и песенники в качестве жестокого романса. Таким Апухтин и остался в истории русской литературы — альбомным и романсовым поэтом второго, а то и третьего ряда.

ПОЭТОВ В РОССИИ ТАК много, что читатель, как разборчивая невеста, может позволить себе выбирать между исключительным и выдающимся. Многие из тех, кто традиционно считается у нас звездами не первой величины, могли бы в одиночку составить гордость иной национальной культуры. Строка в энциклопедии, два-три стихотворения в хрестоматии — вот и все место в анналах. Апухтин с его салонными экспромтами и любовными стихами, расхватанными на романсы, на первый взгляд кажется несерьезным, мелким для почетного звания



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

одой на рождение великой княжны Веры Константиновны познакомили самого государя.

Стихи, которые он писал для себя, не для публикации, почти по-взрослому крепко сделаны и отличаются настроением уныния, тоски, разочарования. Пожалуй, это даже нормально для меланхоличного подростка, оторванного от дома и погруженного в казенную, казарменную жизнь. «Скучно!» – восклицает он в стихотворении «Май в Петербурге»; он томится в городе и вспоминает любимую деревню. Его терзала тоска и мучила бессонница, упомина-

ния о которой проскальзывают в его стихах всю жизнь. Окружающие не очень понимали, отчего ему так плохо, на что он так жалуется. В стихотворении «Сегодня мне исполнилось 17 лет...» юный автор приводит упреки товарищей: «И в эти-то года такой тоской бесплодной // Звучит элегия твоя!» Жалобы на разочарование, разбитые мечты и тоску о счастье были в стихах подростка только на взгляд взрослого скептика могут показаться комичными: это чуть ли не самое трудное время в жизни – смятение, тоска по всему, что было хорошего в детстве, пугающая необходимость быть взрослым...

Впрочем, в дальнейшем лирика Апухтина такой и осталась: печальной, тоскующей, вспоминающей... «Унынье превозмочь // на шумном празднике не мог я...» «И вот я здесь один, с измученной, усталой, // Разбитою душой...» «Под гнетом жгучей, тягостной печали // Я сел на старую скамью, // А листья надо мной, склоняясь, шептали // Мне повесть грустную свою».

СЛАВА И МОЛВА

Слава молодого поэта бежала впереди него: еще во время учебы он познакомился с лучшими писателями своего времени – Толстым, Тургеневым, Некрасовым, вошел в круг Панаевых. Тургенев предсказывал ему блестящее будущее, да, собственно, многие вокруг были уверены, что он

«русский поэт». Сама фигура толстого барина в халате, пишущего «о счастье было» на фоне сгущающихся сумерек русской истории – войн, терактов, царей-убийств, – кажется не трагической, а комической. А откроешь том стихотворений – и замрешь где-нибудь над строчкой: «Но разум понимает, // Что в сердце есть у нас такая глубина, // Куда и мысль не проникает...»

Как хотите, не салонная это поэзия.

БУДУЩИЙ ПУШКИН

Род Апухтиных очень древний, но не очень богатый. Отец будущего поэта, Николай Федорович, был отставным майором и жил в своем имении Павлодар в Калужской губернии. Там и прошло детство Алексея Николаевича. Мать его, Мария Андреевна, в девичестве Желябужская, любила и сильно баловала сына, мальчик был к ней очень привязан. Учился он, как и подобает дворянскому недорослю, дома. Он рано полюбил читать, предпочитая стихи, которые быстро и легко запоминал наизусть, и уже к 10 годам знал на память множество стихотворений Пушкина и Лермонтова – и пробовал писать собственные стихи.

В 12 лет, в 1852 году, он покинул Павлодар: мальчика увезли в Петербург – поступать в закрытое, элитное Училище правоведения, которое готовило кадры для Министерства юстиции. Попал он туда не в лучшие для училища, да и для страны, времена: шел четвертый год «мрачного семилетия» – последних лет жизни Николая I. Царь, испуганный революцией 1848 года, стал закручивать гайки, истребляя дух крамолы, – и Училище правоведения, которое окончил один из самых ярких петрашевцев, Головинский, было сочтено рассадником смуты. Прежнее начальство сняли, назначили нового директора, гражданский персонал заменили военным, насадили военную дисциплину. Домашнему, начитанному, поэтичному мальчику было не так уж легко на казарменном положении. Учился он, однако, лучше всех – был первым учеником в классе, получал одни пятерки, со временем стал редактировать рукописный журнал «Училищный вестник». Писал стихи, и они быстро принесли ему славу «будущего Пушкина»: дошедшие до нас первые стихотворные опыты юного Апухтина, еще подражательные, демонстрируют тем не менее вполне уверенное владение стихом. В 1854 году директор училища А.П. Языков сам попросил едва ли 14-летнего Лёлю Апухтина написать стихи памяти адмирала Корнилова и посодействовал публикации стихотворения, которое автор назвал «Эпиграммонд», в газете «Русский инвалид». В следующем году та же газета опубликовала еще одно стихотворение Апухтина – «Подражание арабскому». С его

станет большим поэтом. Он и сам считал литературу своим главным занятием: знал наизусть множество стихов русских поэтов, читал немецкую и французскую поэзию – и, как положено молодому поэту, мечтал о славе.

Ты помнишь, как, забившись в «музыкальной»,

Забыв училище и мир,

Мечтали мы о славе идеальной...

Искусство было наш кумир.

И жизнь для нас была обвеяна мечтами. –

Это он много лет спустя написал композитору Чайковскому. Петр Чайковский и Алексей Апухтин подружались еще в Училище правоведения и всю жизнь были дружны – гостили друг у друга, переписывались. Апухтин посвящал Чайковскому стихи, Чайковский написал несколько романсов на слова Апухтина. Закончилась эта дружба только со смертью поэта.

В 1859 году Алексей окончил училище с золотой медалью. Способного юношу взяли на работу в Министерство юстиции, в тот же департамент пошел служить и Петр Чайковский. Кажется, хороший старт для будущей карьеры – но ни того, ни другого правоведение особенно не интересовало: оба мечтали об искусстве.

В том же году умерла мать Апухтина, нежно любившая его и нежно любимая им. «Посвящение» к его циклу «Деревенские очерки» – это безрадостные размышления над материнской могилой. Он рассказывает, что стремился к будущей прекрасной жизни, что обманулся, что научился ненавидеть – и теперь медлит и не знает, что делать.

Модест Чайковский, брат композитора, ставший первым биографом Апухтина, писал: «Все родственные и дружеские отношения, все сердечные увлечения его жизни после кончины Марьи Андреевны были только обломками храма этой сыновней любви». В цикл вошли «деревенские» стихи Апухтина, написанные годом ранее, поздней весной и летом 1858 года. Стихи очень простые по форме, очень певучие – для 18-летнего юноши удивительно хорошо сработанные и зрелые. Не только их автор стоит на распутье – кажется, на нем стоит вся страна, настоящая героиня «Деревенских очерков», собирательный образ родины с ее запутанными, бесконечными дорогами, с унылыми народными песнями, с усадьбами, где в саду цветут розы и поет соловей, а у окна просиживают ночь влюбленные. Все это вечное, как традиция, – и все-таки есть в этой неизменности какая-то трещина, прозрение иного будущего, иных песен:

Так вот и кажется, с первым призывом

Грянут оне из оков

К вольным степям, к нескончаемым нивам,

В глубь необъятных лесов.

Пусть тебя, Русь, одолели невзгоды,

Пусть ты – унынья страна...

Нет, я не верю, что песня свободы

Этим полям не дана!

Стихи эти, столь созвучные времени ожидания больших перемен, увидели свет в 1859 году в журнале «Современник». Молодой Апухтин вообще довольно созвучен демократическим тенденциям: и обличение жестокого города мы находим в его стихах, и сострадание крестьянам, и надежды на падение рабских оков (поэтому по стихам прошла цензура – скажем, строки об оковах из публикации вообще выбросили). Кажется, юный поэт нашел свой журнал, а журнал нашел перспективного автора. Но сотрудничество не сложилось. «Современник» быстро разочаровался в Апухтине, и уже в 1860 году в статье, подводившей литературные итоги года, Иван Панаев написал, что надежды не оправдались.

В 1861 году поэт ответил демократическим литературным кругам стихотворением «Современным витиям», в котором резко отмежевывается от нигилизма бывших соратников: «Я устал от ваших фраз бездушных, // От дрожащих ненавистью слов! // Мне противно лгать и лицемерить, // Нестерпимо – отрицаньем жить... // Я хочу во что-нибудь да верить, // Что-нибудь всем сердцем полюбить!» Стихи эти он опубликовал в журнале «Время», который издавали братья Достоевские.

Апухтин – погруженный в себя философ, меланхолик, интроверт; чистый лирик, не пассионарий и не революционер; он за свободу для всякого человека, но не интересуется политическими и экономическими теориями, не хочет ниспровергать, мстить и разрушать. Он вовсе не был равнодушен к политике: в том же 1861 году он среди 16 сотрудников Министерства юстиции подписал прошение в защиту арестованных за политические выступления университетских студентов. И от идеи служения он

не отказывался, но понимал под ней не хождение в народ и не подрыв основ строя, а служение вечным идеалам «под бременем креста». Стихи, написанные им в дальнейшем, свидетельствуют о серьезном отношении автора к христианской вере: вне опыта христианства ни «Года в монастыре», ни «Моления о чаше» написать было бы нельзя. С другой стороны, не был он и христианским аскетом – напротив: вел обычную для молодых холостых дворян жизнь, в которой много места занимали балы, рестораны, цыганский хор и так далее. В 1862 году он вместе с Чайковским и несколькими правоведами влип в крупный скандал, происшедший в ресторане «Шотан». О сути скандала мало что известно, но, как писал Модест Чайковский, и Петр Чайковский, и Апухтин «были ославлены на весь город в качестве бугров». Бугры, на тогдашнем жаргоне, – активные гомосексуалисты. И Училище правоведения, и его выпускники имели в те годы довольно дурную славу в этом смысле; о репутации Чайковского, которого мы, разумеется, «любим не за это», можно даже не упоминать. Поскольку Апухтин состоял в тесной дружбе с Чайковским, молва, само собой, причислила его к партнерам композитора. Разбираться в сексуальной ориентации Апухтина совершенно неинтересно. В его лирике любовь сама по себе довольно неконкретна, абстрактна – просто любовь, как просто ночь, просто страдание, просто соловей; там же, где он рассказывает любовную историю, обычно присутствуют мужчина и женщина.

МИМО ВРЕМЕНИ

Ресторанный скандал и дурная слава имели вполне конкретное последствие: Апухтин уехал из Петербурга в провинцию, поселился в своем имении в Орловской губернии и стал чиновником особых поручений при губернаторе. От литературной жизни отошел, политикой не интересовался и даже стихи почти перестал писать. Семь лет он вовсе ничего не

публиковал, а может быть, даже не писал. Все 60-е годы, бурные, кипящие, сформировавшие целое поколение «шестидесятников», прошли мимо него, не оставив на его творчестве ни малейшего следа: он так и остался тихим камерным лириком. Он трепетно относился к литературному творчеству, долгое время считал для себя невозможным зарабатывать им на жизнь – все равно что продавать любовь за деньги; он не считал себя профессиональным литератором и с гордостью называл себя дилетантом. Борьба литературных группировок внушала ему отвращение. Он писал Чайковскому в 1865 году: «...Никакие силы не заставят меня выйти на арену, загроможденную подлостями, доносами и... семинаристами!» Ему, родовитому дворянину, разночинская литература была чужда, вопросов современности он предпочитал не касаться. Литературным идеалом для него был Пушкин, которого он любил с раннего детства – и о котором прочитал в 1865 году две публичные лекции в Орле «О жизни и сочинениях Пушкина».

Это был редкий случай, когда Апухтин счел необходимым вступить в литературную полемику: он отвечал Писареву на его статью «Прогулка по садам российской словесности», опубликованную в «Русском слове»: в ней автор несколько раз резко отозвался о Пушкине. Апухтин бросился на защиту и по горячим следам, через несколько дней после выхода журнала, прочел свои лекции. В эти годы он довольно часто резко отзывался о демократах-шестидесятниках, с которыми связан его громкий дебют в «Современнике». Нет, он не перестал сочувствовать угнетенному крестьянству, напротив, его новая поэма, «Село Колотовка», – совершенно шестидесятническая, почти Некрасовская по духу. Однако новая, позитивистская эстетика, которую утверждали демократы, была ему совершенно чужда. Возможно, поэтому он оказался не только вне литературной борьбы, но едва ли не вне литературного процесса. В 1865 году Апухтин вернулся в Петербург и поступил на службу в Министерство внутренних дел. Министерство время от времени посылало его в командировки – то по стране, то за рубеж. В конце 60-х он побывал во Франции, Германии и Италии; итальянскими впечатлениями продиктована чудесная, торжественно-сумрачная поэма «Венеция». Ездил он и самостоятельно, не по казенной надобности – побывал на могиле любимого Пушкина, съездил вместе с Чайковским в монастырь на Валааме.

В конце 60-х Апухтин вдруг стал много и легко писать, хотя публиковался по-прежнему мало; его стихи и поэмы ходили по рукам в списках. В них уже видна рука мастера: легкость слога, мощное поэтическое дыхание, самостоятельность, глубокая лиричность. Но он по-прежнему не считал нужным печатать

таться – и, хотя работал над своими стихами очень много и профессионально, казался обычным светским человеком. В свете его ценили за остроумие, за изящность экспромтов и эпиграмм; он охотно шутил, писал много смешных стихов, слыл хорошим рассказчиком, ходил в театр, играл в любительских спектаклях – как-то странно даже, что этот светский лев, этот обаятельный толстяк мог по ночам мучиться бессонницей, тосковать и так остро и лично воспринимать рассказ о евангельских событиях: «О, если б я мог // В саду Гефсиманском явиться с мольбами, // И видеть следы от Божественных ног, // И жгучими плакать слезами!»

Стихи Апухтина становились все более популярными у читателей. Легкие, певучие, полные замечательно чеканных формулировок – они сами просились на музыку, и композиторы охотно писали ее; так началась слава Апухтина как романсового поэта. И впрямь, лирика его очень годилась именно для русского романса – с его классической рифмой «любовь – кровь», с его надрывом, сожалением о невозвратных годах, несбывшихся мечтах и невозможном счастье. Со временем все это стало очень востребовано, поскольку после времени надежд и оптимизма в обществе почти всегда приходит время разочарования и сожаления – и несвоевременные, неактуальные стихи вдруг находят путь к сердцу читателя.

В 70-х его если где и публиковали, то в «Чтеце-декламаторе» – апухтинские стихи не только пели, но и охотно читали с эстрады. Публиковаться по-настоящему он стал только в 80-х, и то нужда заставила: Апухтин стал испытывать денежные затруднения. В 1886 году вышел в свет (немалым для того времени тиражом – 3 тысячи экземпляров) первый сборник Апухтина, который принес ему настоящую славу и десять раз переиздавался.

Он жил по-прежнему уединенно, в стороне от любых литературных баталий. Все больше толстел и терял подвижность, шутил над своим ожирением. Его по-прежнему мучили жестокая меланхолия, бессонница и навязчивые мысли. Но если в 70-х его ламентации вызывали в публике мало сочувствия, то в 80-х даже его более ранние стихи стали восприниматься как современные. Он и сам понимал эту болезненную странность наступившего времени – и сам написал о ней в поэме «Из бумаг прокурора». Это история самоубийцы, написанная на основе реальных документов; вопрос о том, что заставляет человека свести счеты с жизнью, живо интересовал Апухтина как художника – а может быть, и как человека... И вот какую характеристику времени он дает в поэме: «Не я один ищу спасения в покое, – // В эпоху общего унынья мы живем. // Какое-то поветрие большое – // Зараза нравственной чумы – // Над нами носится, и ловит, и тревожит // Порабощенные умы».

В 80-х Апухтин оказался настолько ко двору, что Блок даже назвал их «апухтинскими»: здесь сам тип апухтинской личности – слабой, изнемогающей под бременем жизни, чувствительной, ущемленной, слабавольной – оказался главным типом эпохи, а поэт – певцом целого поколения. Впрочем, в нем еще слишком сильна была пушкинская традиция, слишком сильно восхищался он художественной мощью своих великих друзей – Чайковского и Толстого, чтобы измельчать до Надсона, перейти от благородных страданий к унылым слабодушным стенаниям. Однако и меланхолия его была слишком сильна, и воля к сопротивлению слишком слаба, чтобы перепрыгнуть через себя и встать наравне с ними, гением рядом с гениями; кажется, не осилил он, не поднял свой талант на ту ослепительную высоту, которая была ему предназначена, – не справился, потух.

И проза его – легкая, стремительная, настоящая «проза поэта» – осталась невостребованной и непрочитанной, хотя и в ней он осторожно ставит вопрос о смысле жизни, о том, что происходит с человеком во время серьезного душевного перелома, жизненного кризиса, о чем он думает и что чувствует на грани жизни и смерти.

Но даже такой – не победивший, не восторжествовавший над жизнью, ненормально толстый и слабый – Апухтин остался великим подспорьем для меланхоликов любой эпохи, потому что, как и Чайковский, помогает перелить страдание и тоску в поэзию, поднять их от бессловесного угрюмого уныния в музыку – а значит, подняться над собой и преодолеть их силой гармонии.

Умер он тяжело. У него началась водянка, он уже не мог лежать – задыхался, поэтому только сидел в кресле, в нем и спал. И почти не говорил, только читал и читал Пушкина – вслух, наизусть. Это была последняя радость жизни, доступная ему до последнего дыхания. ❀

ДВА В ОДНОМ

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Знакомые удивлялись: как может быть лирический поэт таким закоснелым крепостником, таким хозяйственником, как у него получается гордиться должностью мирового судьи? Как можно совмещать несовместимое — такую редкую, настоящую поэзию с низкой прозой жизни? Уж не два ли человека в нем живут? А кажется, и в самом деле два: Фет и Шеншин, и поди пойми, кто из них настоящий.



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

А.А. Фет в форме лейб-гвардии Уланского полка. Фотография первой половины 1850-х годов

В 1820 ГОДУ 44-ЛЕТНИЙ ОФИЦЕР АФАНАСИЙ НЕОФИТОВИЧ ШЕНШИН лечился в германском Дармштадте. В местной гостинице мест не было, и он поселился у тайного советника Карла Беккера. С вдовцом Беккером жила его дочь Шарлотта Елизавета с мужем Иоганном Фётом и годовалой дочерью Каролиной. 22-летняя хозяйская дочка влюбилась в русского и тайно сбежала с ним в Россию, будучи на седьмом месяце беременности. Девочка Каролина осталась с отцом.

В России у Шарлотты Елизаветы родился мальчик, крещенный в православной церкви Афанасием и записанный в метрической книге сыном помещика Шеншина. Священник в церкви сильно пил и страшно нуждался, так что, по-видимому, ему неплохо заплатили. Сам он потом объяснил, что сделал это потому, что в доме Шеншиных ему оказывали уважение. Через два года после рождения сына мать приняла православие и обвенчалась с Афанасием Неофитовичем, став Елизаветой Петровной Шеншиной.

Она считала ребенка сыном Фёта: в письмах родным Елизавета Петровна сообщала отцу и брату, что Шеншин заботится о мальчике так, что «никто не заметит, что это не кровный его ребенок». Шеншин знал, что мальчик не его сын. Иоганн Фёт шантажировал бывшую жену и соглашался признать ребенка, только если она оплатит все его долги. Умер он в 1826 году и не оставил мальчику никакого наследства. Мать очень беспокоило, что ребенок не имеет права на имя и наследство отца; она просила брата помочь юридически признать ребенка сыном Фёта — «должен же он получить фамилию».

Юный Афанасий Шеншин, однако, ничего об этом не знал и рос русским барчуком, сыном столбового дворянина. Позже у него появились братья и се-

стры — законные Шеншины. Учился он дома, учителями были семинаристы, которые часто менялись. Детство свое в письме ближайшему другу Ивану Борисову, сыну соседского помещика, Афанасий Афанасьевич вспоминал так: «...С тобой, мой друг, я люблю окунаться душой в ароматный воздух первой юности, только при помощи товарища детства душа моя об руку с твоей любит пробегать по оврагам, заросшим кустарником и ухающим земляникой и клубникой, по крутым тропинкам, с которых спускали нас деревенские лошадки, — но один я никогда не уношусь в это детство: оно представляет мне

совсем другие образы — интриги челяди, тупость учителей, суровость отца, беззащитность матери и переживание в страхе изо дня в день. Бог с ней с этой <...> паршивой молодостью».

ГЕССЕН-ДАРМШТАДТСКИЙ ПОДДАННЫЙ

Когда Афанасию Шеншину было 14 лет, случилась катастрофа. Орловское губернское правление по чьему-то доносу запросило у духовной консистории подробности о рождении Шеншина-младшего, затребовав и справку о браке родителей. Из документов следовало, что ребенок рожден задолго до венчания родителей и не может считаться их законным сыном. Подросток, как мать его и боялась, в самом деле оказался без фамилии. Шеншиным пришлось просить материнскую родню о содействии – уговорить опекунов Каролины Фёт признать Афанасия сыном покойного отца девочки. В конце концов его действительно признали Фётом, и из русского потомственного дворянина он превратился в иностранца, гессен-дармштадтского подданного.

О хорошем дворянском пансионе в Москве или Петербурге пришлось забыть; родители отправили Афанасия учиться в Лифляндию – в немецкий пансион Крюммера в городе Верро (сейчас – Выру в Эстонии). Среди немецких подростков он был белой вороной: православный иностранец с немецкой фамилией и русской дворянской семьей. На Афанасия сразу посыпались насмешки и неудобные вопросы. На каникулы его домой не брали – далеко, и он одиноко слонялся по Верро. Никогда впоследствии он не мог ничего прямо ответить о своем происхождении. Хуже того, довольно быстро умами завладела сплетня, что Шеншин на самом деле купил жену у еврея-корчмаря, так что Фет вообще внебрачный сын еврейки-шинкарки – положение, ниже которого в Российской империи трудно и представить. Отчасти сплетни эти были вызваны своеобразной внешностью Фета. Однако биограф его Борис Бухштаб однозначно называет эту версию чепухой: дармштадтская семья Беккер занимала довольно высокое социальное положение.

Афанасий Афанасьевич злился, когда ему говорили, что он похож на еврея, и

отвечал: я русский потомственный дворянин. Он вырос с этим убеждением, и его *idée fixe* на всю оставшуюся жизнь стало желание вернуть себе утраченное имя, гражданство, семью, дворянство – жизнь, отнятую у него в юности.

ПРОГУЛЬЩИК

У Крюммера юноша Фет проучился три года, получив довольно системное классическое образование. Начал писать стихи, переводить с латыни – увлечение, переросшее в работу всей его жизни. Затем переехал в Москву, поступив в пансион профессора Погодина. Сам Погодин показал тетрадку стихов юного воспитанника Гоголю; тот нашел, что у молодого человека несомненное дарование.

В 1838 году Афанасий Фет поступил в Московский университет на словесное отделение. Учился не слишком хорошо, занятия предпочитал прогуливать: писал стихи. Такое отношение к учебе изрядно продлило срок его обучения – он провел в университете шесть лет вместо положенных четырех. Здесь он подружился с юным поэтом Аполлоном Григорьевым и вскоре упросил отца разрешить ему поселиться у Григорьевых на пансионе; тот разрешил. Жизнь в этом семействе поэт вспоминал с явным удовольствием. С Аполлоном Григорьевым они стали почти братьями, подолгу и с удовольствием читали и обсуждали стихи, свои и чужие, – и, как писал в воспоминаниях Фет, иной раз принимали и лужу за Иппокрену. Впрочем, зачитывались более всего Байроном, Лермонтовым, Гейне – и на тогдашнее творчество молодых поэтов именно они и повлияли больше всего.

Первая книга Фета, «Лирический Пантеон», вышла в 1840 году и была полна модных романтических мотивов одиночества и разочарования. Стихи, как обычно бывает у молодых поэтов, были слабыми и раздражительными, но все же искра настоящего огня в них мерцала достаточно ярко, чтобы книгу одобрил Белинский и опубликовал сдержанно-положительную рецензию Кудрявцева на нее в своих «Отечественных записках». Фет, обрадованный и вдохновленный, загорелся идеей стать настоящим поэтом, начал печататься в журналах, получать первые гонорары – и надеяться на то, что, обделенный наследством, сможет прожить литературным трудом. И в самом деле, в 1842 и 1843 годах стихи студента Фета охотно печатали «Москвитянин» и «Отечественные записки», о нем заговорили как о многообещающем поэте.

При первой публикации, подписанной полным именем, буква «ё» в фамилии оказалась замененной на «е», и так он подписывался впредь – «Фет», а не «Фёт».

И это был уже сложившийся Фет, серьезный, зрелый поэт, написавший к этому времени хрестоматийные строчки: «Я пришел к тебе с приветом, // Рассказать, что солнце встало, // Что оно горячим светом // По листам затрепетало...»

БРОЖЕНИЕ СТИХИЙ

Впрочем, разочарование его было не только модной романтической позой. В одном из своих ранних рассказов Григорьев так пишет о герое, явным прототипом которого стал Фет: «Он был художник в полном смысле этого слова; в высокой степени присутствовала в нем способность творения <...>. С способностью творения в нем росло равнодушие. Равнодушие ко всему, кроме способности творить, – к Божьему миру, как скоро предметы оно переставали отражаться в его творческой способности, к самому себе, как скоро он переставал быть художником. Так сознал и так принял этот человек свое назначение в жизни... Страдания улеглись, затихли в нем, хотя, разумеется, не вдруг. Этот человек должен был или убить себя, или сделаться таким, каким он сделался <...>. Я не видал человека, которого бы так душила тоска, за которого бы я более боялся самоубийства <...>. Я боялся за него, я проводил часто ночи у его постели, стараясь чем бы то ни было рассеять это страшное хаотическое брожение стихий его души».

Не только удары судьбы сделали юношу убежденным скептиком и атеистом, не верящим ни во что хорошее: скорей всего, он унаследовал от матери тяжелую тоску – «меланхолию» на языке того времени. Меланхолия Елизаветы Петровны под конец жизни окончилась сумасшествием. Приезжая домой на каникулы, Афанасий видел, как помрачается рассудок его матери, и не мог не замечать в себе отзвуков ее душевного нездоровья. Мать умерла, когда он едва окончил университет, и в старости он написал о ее смерти: «Я никогда не забуду минуты, когда, только что кончивший курс 23-летний юноша, я готов был, уступая мольбам болезненно умирающей матери, отказаться от всей карьеры и, зарядив пистолет, одним верным ударом покончить ее страдания». Примерно в это же время умер вдали от дома, в Пятигорске, брат Афанасия Неофитовича, Петр Неофитович, который любил старшего племянника, сочувствовал ему и обещал ему оставить состояние. Но оно после смерти дяди оказалось расхищенным. Это был еще один удар: после университета надо было начинать самостоятельную жизнь, а молодой Фет вновь остался один, ничей, безденежный, без всяких перспектив.

Он решил поступить на военную службу. В армии можно было дослужиться до дворянства: право на него давал первый же полученный офицерский чин. А что на стихи уже не проживешь, ясно стало очень скоро: после смерти Пушкина и Лермонтова, после ухода почти всего поколения «золотого века» русской поэзии, поставившего высочайшую литературную планку, конкурировать с ними в глазах искушенного читателя новое, едва двадцатилетнее поколение поэтов не могло. Романтизм уходил, приходила социальная, бытовая проза, – наступало разочарование в поэзии, падали тиражи, сокращалось количество публикаций, снижались гонорары...

И поэт отправился служить.

МЕЖДУ НАС МОГИЛА

В апреле 1845 года он поступил унтер-офицером в Кирасирский орденский полк. А в мае Николай I издал манифест, согласно которому право на дворянство давал только майорский чин. До первого офицерского Фет дослужился уже через год, но никакого дворянства не получил. Оставалось, стиснув зубы, превращаться из филолога-прогульщика в образцового военного и стремиться к майорскому чину. Терпеть насмешки военных над вчерашним штатским, вечно изыскивать средства (отец присылал денег мало и редко), молчать обо всем, что важно. Он и стихи писать почти перестал. Из немногочисленного собранного к 1847 году сборника, издателя не нашлось, собственных денег на издание не было, так что книга увидела свет только через три года.

Фет служил в Херсонской губернии. Там он познакомился с дочерью местного помещика Марией Лазич. Девушка была умная, тонкая, поэтичная, вдобавок прекрасная музыкантша. Она знала и ценила стихи Фета и в автора их влюбилась доверчиво и страстно. Он тоже полюбил, но он был нищ, а она – бесприданница. Житейский опыт твердил ему, что жениться на бесприданнице нельзя, никому это счастья не принесет; выдерживать объяснения с ней ему становилось все труднее. Прошел год – он вновь сказал, что не женится, она просила не рвать отношения, он куда-то уехал по службе, а вернувшись, узнал, что ее больше нет в живых. Мария уронила себе на кисейное платье (или нарочно бросила?) спичку или свечу – платье

вспыхнуло, она выбежала в сад живым факелом, а ветер еще сильнее раздул пламя. Умирала тяжело, от обширных ожогов, страшно мучаясь от боли – и все твердила перед смертью, что он не виноват, виновата она сама. Он до конца дней не простил себе этой смерти.

В 1853 году по хлопотам бывшего начальника он распрощался с надоевшим югом – отныне служил в лейб-гвардии Уланском его Императорского Высочества

Цесаревича полку в Новгородской губернии. Оттуда можно было ездить в Петербург, а в Петербурге были журналы, писатели, литературная жизнь – так Фет вернулся в поэзию.

С 1854 года Фет начал печататься в некрасовском «Современнике», куда его рекомендовал Тургенев и где ему, новичку, предложен был гонорар в 25 рублей за каждое стихотворение. Именно Тургеневу Фет первому показывал все свои новые стихи и переводы Горация – Тургенев восторгался, критиковал, предлагал правки. Именно Тургенев подготовил к печати новое собрание стихов Фета, нещадно правя чуть ли не каждое стихотворение. Фет, хотя и ошарашенный такой радикальной правкой, не возражал – и не делал попыток восстановить первоначальный текст.

Интерес публики к стихам возобновился, их охотно брали в печать. За много лет армейского неписания Фету и печатать было почти нечего – в ход пошли даже юношеские стихи. Он пытался писать поэмы, Тургенев его отговаривал – в вас, мол, нет эпической жилки. У поэта вновь появилась надежда прожить литературой; в это время он снова много пишет, занимается переводами, печатается и страшно торгуется с издателями за гонорары. Жизнь вел двойную: Фет писал стихи, обедал в веселом дружеском кругу, в который входил практически весь цвет тогдашней литературы; Шеншин служил и не меньше, наверное, чем похвалами Тургенева, гордился выправкой, хорошей ездой на лошади и замечанием «славно ездит!», которое отпустил по его адресу сам цесаревич. Две части его жизни будто исключали друг друга.

СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ

Он уже дослужился до штабс-ротмистра, и следующий чин, ротмистра – он соответствовал в гвардии пехотному майорскому, – должен был принести ему долгожданное дворянство. Но в 1856 году Александр II вновь повысил ценз – на

сей раз до полковничьего. Дослужиться до полковника хоть сколько-нибудь скоро у Фета не было никакой надежды. Он взял годовой отпуск и уехал за границу. Побывал в Германии, Италии и Франции, гостил в Париже у Тургенева, с которым много и яростно спорил о современности и поэзии; между близкими друзьями намечался разлад из-за идейных расхождений. В самом деле, общественная жизнь бурлила, дело шло к освобождению крестьян; в литературе появились новые силы – разночинские, демократические, но Фет не приветствовал этой новизны: он и в литературе склонялся к идеалам «чистого искусства», а к носителям новых идей относился по-барски брезгливо, как к дурно воспитанным выскочкам. Да и сами их идеи не принимал, видя необходимость не столько в освобождении народа, сколько в воспитании его и попечении о нем. Все это снискало Фету славу закоснелого консерватора и крепостника, которая год от года крепла по мере того, как сам он отходил все дальше от своих бывших литературных соратников. В возможности жить литературой он снова разочаровался, армейская карьера пошла прахом. И если у поэта Фета не было представлений о том, как жить дальше, то помещик Шеншин знал: надо жениться на богатой невесте.

И такая невеста в его окружении была: Мария Петровна Боткина, младшая сестра его давнего литературного знакомого Василия Боткина, дочь известного чаеоторговца. У невесты в прошлом была какая-то любовная драма, у Фета тоже; она была одинока, он тоже. И однажды, когда они «взапуски жаловались на тяжесть нравственного одиночества», он просто предложил ей идти по жизни вместе. Она согласилась. До свадьбы Фет прислал невесте письмо, где открывал тайну своего рождения; ее, женщину разумную и спокойную, это не смутило. Фет взял бессрочный отпуск, стал обустраивать квартиру для будущей семьи. В 1857 году в Париже он обвенчался с Марией Петровной в посольской церкви. В воспоминаниях он рассказывает, как Тургенев, бывший его шафером, подшучивал над ним, когда на молодых надели венцы из искусственных цветов, резко контрастирующие с военной формой жениха. В 1858 году Фет вышел в отставку и вновь задумался о том, как ему следует распорядиться своей жизнью.

МУЗУ ПРОГНАЛ ВЗАШЕЮ

На рубеже 1850–1860-х годов ему, равнодушному к политике и экономике, пришлось определяться со своей общественной позицией и идейной программой. Общественная жизнь после смерти Николая I забурлила; в воздухе носилось предчувствие перемен, журнальные страницы стали не столько приютом муз, сколько ареной идеологических побоищ. Литературные отделы еще печатали дворянскую литературу – романы и усадебную лирику, а в критические отделы уже пришли разночинцы со своими программами. Ужиться с ними Фет не мог и не хотел – да и они считали, что талант свой он разменивает на пустяки. В 1859 году Фет опубликовал в «Русском слове» статью о Тютчеве, где отчаянно защищал «чистое искусство». «Современ-

ник» отозвался критической статьей Д. Михайловского о фетовском переводе трагедии Шекспира «Юлий Цезарь». Статья была так оскорбительна и насмешлива, что публиковаться в «Современнике» отныне было невозможно. Затем Добролюбов еще раз припечатал его в статье «Когда же придет настоящий день?», а «Русское слово», тоже сменившее ориентацию на демократическую, перестало с прежней охотой брать его стихи. И Фет с глубокой обидой ушел из литературы.

У него появилась новая идея: купить землю – все равно где, все равно какую – и зажить на ней. Купил на приданое жены землю в Мценском уезде в тридцать верст (голую землю – ни леса, ни реки, ни дома, ни хозяйственных строений) и рьяно взялся за хозяйство. Вкладываться в деревню на грани реформы было делом рискованным и неразумным, но Фет мечтал вести жизнь помещика-землевладельца. «Музу прогнал взащею», – сообщал побывавший у него Тургенев Полонскому, университетскому другу Фета. И еще: «Он теперь сделался агрономом-хозяином до отчаянности, – отпустил бороду до чресл – с какими-то волосатыми вихрами за и под ушами – о литературе слышать не хочет и журналы ругает с энтузиазмом». Зимой Фет с женой провел в Москве, где сдружился с семейством Льва Толстого; летом уехал в деревню. Тургенев заезжал по-соседски к нему, тот к Тургеневу, вместе охотились, вместе работали над переводами... В воспоминаниях Фета есть забавная сцена, где он обсуждает с Тургеневым свой перевод «Антония и Клеопатры»: Тургенева до того рассмешил предложенный Фетом вариант, что он со страшным воплем упал на четвереньки; дамы, прибежавшие на крик, «не знали, что и думать».

Реформу 1861 года Фет не принял. Годом позже выступил в «Русском вестнике» у реакционера Каткова с циклом статей, где выговаривал властям за то, что они не защищают интересы помещиков. Статью вся либеральная печать встретила бурным негодованием; Фет стал среди бывших друзей почти нерукопожатным. Его собрание сочинений, вышедшее в следующем году, критики встретили бесцеремонной бранью.

Фет замкнулся в своей Степановке и предался заботам о конном заводе, мельнице и пр. В 1867 году его выбрали мировым судьей Мценского уезда, и эту должность он тщательно исправлял более десяти лет. В своих воспоминаниях он подробно рассказал об этой работе, и, читая эти страницы, совершенно невозможно поверить, что та же рука, которая некогда начертала «шепот, робкое дыханье, трели соловья», теперь выводила нечто этакое: «Выгнать явного обманщика на работу судья не имеет права, а при постановлении, в силу которого присутствие по крест. делам (какая процедура!) определяет подлежащее у крестьян продаже, – чем большая в условии поставлена неустойка, тем несбыточнее взыскание по исполнительному листу судьи. В нашем уезде был случай указания уездным по крестьянским делам присутствием на двух поросят, подлежащих аукционной продаже, каковые и были проданы приставом за 40 коп., по исполнительному листу в 1200 рублей неуплаченного оброка». Хозяйствовал и судил Фет так же обстоятельно и старательно, как служил; хозяйст-

во пошло на лад и стало приносить прибыль. Дома было безрадостно: сходила с ума любимая сестра Надежда, затем наследственное безумие поразило обоих братьев; позднее сошел с ума и умер племянник, сын Надежды. Сам Фет переживал приступы энергичной деятельности, которые сменялись периодами смертной тоски – тоже отзвук семейного проклятия. Друзья иногда намекали, что и сам он не в себе: Тургенев так и написал однажды, что у Фета «мозг с пятнышком». Чернышевский и вовсе отозвался о нем однажды как об идиоте, хотя и талантливом.

Стихи писать он перестал – появлялись одно-два стихотворения за год; вместо этого занялся философией и стал поклонником Шопенгауэра, которого тоже взялся переводить на русский язык. С литераторами не общался, ограничившись кругом соседей, уездных дворян. Столбовой дворянин по воспитанию и убеждениям, разночинец по статусу и иностранец по фамилии – он все равно отличался от окружающих помещиков; заветная мечта вернуть себе имя и дворянство заставила его в 1873 году обратиться к императору Александру II с просьбой вернуть ему фамилию Шеншин. У него не было никаких документальных доказательств версии, которую он изложил в прошении (отец женился на матери лютеранским браком еще в Дармштадте, до его рождения, но был вынужден вторично венчаться с ней в России). Однако царь проникся описанием его нравственных страданий и со словами «воображаю, что пережил этот человек» вернул просителю фамилию Шеншин, дворянство и права

на наследство. Радость Фета была непередаваема. Он охотно сбросил с себя немецкую фамилию, символ его позора и страдания, и отныне подписывал ею только стихи. Бывшие друзья этого не поняли и не приняли: зачем становиться каким-то Шеншиным, когда вся Россия знает тебя как Фета. Дружба с Тургеневым кончилась в 1874 году резким разрывом. Один Лев Толстой принимал Фета всерьез и поддержи-

данное дворянство, его верноподданнические стихи к концу его жизни казались окружающим уже нестерпимым анахронизмом, неприемлемым для уважаемого человека поведением; Шеншин душил Фета, Фет не сопротивлялся.

В старости он сильно болел – его мучила одышка, болели веки, ему трудно было видеть. Он нанял секретаршу, чтобы помогала в работе. Перед самой смертью он отослал жену за шампанским, а секретарше продиктовал: «Не понимаю сознательного

приумножения неизбежных страданий. Добровольно иду к неизбежному», – и схватился за стилет, которым разрезал страницы книг и журналов. Секретарша отняла стилет, тогда старик Фет побежал к буфету за столовым ножом, но упал на стул и умер от разрыва сердца.

Такая же жесткая, своевольная и трудная смерть, как и жизнь, – но здесь, кажется, Фет с его вечно разрывающимся от тоски сердцем победил сухого решительного Шеншина.

Всю жизнь он казался знакомым таким Шеншиным – лишенным всякой сентиментальности, сострадания, заботы о других, способным говорить разве что о порубках и потравах или делах о краже поросят. Как жил в этой негнущейся душе живой и тонкий лирик Фет – не поймешь; сам он говорил о жизни и искусстве как о совершенно различных сферах: жизнь бессмысленна, скучна и тосклива, и лишь чистое искусство дает передышку от ее непрестанного страдания.

Стоик и атеист, не верящий в вечность, он добывает ее сам. Он останавливает время на лету – и любовно вглядывается в каждый штрих, каждую краску на полотне бытия: здесь все значимо, все прекрасно, все несет счастье быть, видеть и дышать:

*Только в мире и есть, что тенистый
Дремлющих кленов шатер.*

*Только в мире и есть, что лучистый
Детски задумчивый взор.*

*Только в мире и есть, что душистый
Милой головки убор.*

*Только в мире и есть этот чистый
Влево бегущий пробор. ♣*

вал дружбу и переписку с ним. Впрочем, и с ним Фет впоследствии разошелся после толстовского духовного перелома. С Тургеневым в старости помирился, но прежней дружеской близости между ними уже не было.

ВЕЧЕРНИЕ ОГНИ

Был ли Фет хорошим помещиком – трудно сейчас судить. Известно, однако, что он стремился не допустить в своем уезде повального голода и начал помогать голодающим раньше, чем тем же занялся Лев Толстой. Хлеб с лебедой, который ели крестьяне, поразил его: «При виде такого хлеба я подумал, что, прежде чем судить людей, надо при малейшей к тому возможности накормить их, хотя бы только в пределах своего участка, помогая наиболее нуждающимся». Два десятилетия упорного хозяйствования принесли свои плоды; к тому же Фету досталось наследство от нескольких родственников. Он разбогател, необходимость безотлучно пребывать в деревне отпала. В 1877 году Афанасий Афанасьевич купил новое имение, Воробьевку, – оно вернуло ему и радость, и досуг, и условия для стихотворчества. На зиму Фет с женой снова уезжали в Москву, а значит, снова появился литературный круг, возможность печататься. И здесь с 57-летним Фетом произошло чудо, которое иногда случается с немолодыми писателями, – чудо позднего творческого цветения. Стихи, как и в юности, снова пришли – уже не одно-два в год, а двадцать-тридцать удачных, законченных стихотворений, по-молодому поэтически мощных, с незабываемыми «золотыми ресницами звезд», и по-взрослому зрелых, продуманных, мудрых.

Он издал подряд несколько сборников, каждый из которых назывался «Вечерние огни», – с такими признанными шедеврами, как «Сияла ночь. Луной был полон сад...». Лаконичные и прекрасные, они запоминаются чуть не с первого прочтения и поддерживают своим философским спокойствием:

*Когда сквозная паутина
Разносит нити ясных дней,
И под окном у селянина
Далекий благовест слышней,
Мы не грустим, пугаясь снова
Дыханья близкого зимы,
А голос лета прожитого
Яснее понимаем мы.*

Он собрал, обработал и издал свои переводы иностранных классиков; его литературное имя вновь засияло прежним светом; его признали и полюбили.

А сам он чуть не больше всех иных щедрот жизни и наград ценил дружбу с великим князем Константином Константиновичем (поэтом К.Р.) и камергерский чин, полученный им к 50-летию литературной деятельности. Его барство, его выстра-

«ВСЕ РЕЖИССЕРЫ ИМЕЛИ СО МНОЙ ГОРЕСТНЫЕ ДНИ»



АНТОН БЕРКАСОВ

БЕСЕДОВАЛА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

У Леонида Зорина своеобразная и очень драматичная литературная судьба. Его первая книжка вышла, когда ему не было и 10 лет. Стихи юного автора пришлось по вкусу самому Максиму Горькому. В 17 лет Зорин стал членом Союза писателей. А в 23 года он — выпускник филологического факультета Азербайджанского университета и столичного Литературного института. В 25 лет дебютировал в качестве драматурга. И не где-нибудь, а в знаменитом Малом театре. На счету Леонида Генриховича 50 пьес и несколько томов прозы. Но до сих пор каждый день он по-прежнему начинает у письменного стола. «Не могу спокойно видеть чистого листа бумаги, — говорит Зорин. — Я должен писать. Писать — это мое счастье, мое страдание». Сама жизнь Зорина — увлекательнейшая пьеса, написанная судьбой по всем законам драмы.

— Л

ЕОНИД ГЕНРИХОВИЧ, ВРЯД ЛИ КТО-НИБУДЬ ЕЩЕ МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ СТОЛЬ РАННИМ ЛИТЕРАТУРНЫМ ДЕБЮТОМ. КАК ЖЕ ВАШИ СТИХИ ДОШЛИ ДО ВЕЛИКОГО ПРОЛЕТАРСКОГО ПИСАТЕЛЯ?

– Я рано научился грамоте и очень рано, года в четыре, начал писать. Отец приносил мне бумагу, и я ее исписывал стихотворными строчками. Бедный отец не успевал своим каллиграфическим почерком переписывать мои каракули набело. К 8 годам я был поэтом со стажем. А в 9 лет в типографии вышла первая моя книга. Мы жили в Баку. Баку – город южный, честолюбивый.

Меня решили отправить в Москву, к Горькому. Я был мальчик развитой, начитанный и прекрасно понимал, кто такой Горький. Мы с мамой отправились в Горки, подмосковную резиденцию писателя. Вместе со мной за одним столом сидел Исаак Бабель, на которого Горький тогда показал мне глазами и сказал: «Гениальный человек». Я по просьбе Горького прочел свою поэму «Человеки». Поэму наивную, но он отчего-то растрогался и даже прослезился. Хотя, может быть, его больше удивило и тронуло, что ее сочинил 9-летний ребенок. Через некоторое время Алексей Максимович написал обо мне в своей статье «Мальчик», которая была напечатана вначале в «Правде», а затем во всех газетах и вошла в его собрание сочинений.

Горький в то время переживал очень тяжелый период – незадолго до этого он похоронил своего единственного сына. Но принимал нас он очень радушно. Угощал чаем. Ко мне обращался уважительно, на вы.

– Каким он вам запомнился?

– Он не выглядел молодящимся старичком. Поджарый, высокого роста, ясные голубые глаза и румяные щеки.

– В Баку вы стали самым известным мальчиком?

– Конечно. Я стал городской достопримечательностью. Тем не менее никакой звездной болезни у меня не воз-

никло. Я был душевно здоров. Вел нормальный образ жизни. С удовольствием играл в шахматы и футбол и не был отягощен сознанием собственного миссионерства.

– И как же «городская достопримечательность» решилась уехать из родного города?

– Баку – поразительный город. Громадный, полуторамиллионный и вместе с тем на редкость домашний. Город-дом, ты повсюду в нем был своим. Особая магия – это же юг. Здесь, с одной стороны, сиеста, время идет не столь стремительно, с другой стороны, пылкие страсти. И всюду эти горбатые улочки, несущиеся к бульвару, к морю, к солнечной мазутной волне. Главное же богатство – люди. Болезнь дебилов – национализм – была в этом городе неизвестна. В моей футбольной команде бок о бок играли парни шести национальностей. Недаром в Баку всегда говорили с вызовом: «Национальность – бакинец». Я очень люблю Баку. Чувство родства с ним неистребимо. Расстаться с Баку, с семьей оказалось не просто. Мы были очень близки с отцом. Мой отъезд для него стал страшным ударом. Но он не удерживал меня. Понимал – мое место в Москве. И я это понимал.

– Москва вас приняла сразу?

– Я влюбился в этот город сразу. Поначалу все складывалось фантастически. Шел 1949 год. Я был молод. С упоением писал пьесы. А затем в моей жизни произошел счастливый случай. Я на улице встретил своего бакинского знакомого. А он, в свою очередь, был знаком с режиссером Малого театра Вениамином Цыганковым. Тот посетовал, что у них нет пьес о современности, и мой знакомый сказал обо мне. При всем своем южном легкомыслии я понимал, что такое Малый театр, и никогда бы не решился сам отнести туда свою пьесу. Я был потрясен, когда раздался звонок и Цыганков предложил мне встретиться. От растерянности я даже не догадался ответить, что могу прийти к нему сам, а сказал: «Заходите!» И, удивительное дело, несмотря на свой уже достаточно солидный возраст, он пришел ко мне, 23-летнему молодому человеку. Уверю вас, я так сказал не из невежливости, а просто от растерянности. Когда я принес свою пьесу в театр, мне объяснили, что я должен зарегистрировать ее в литературной части. И когда я ее регистрировал, у нее оказался какой-то четырехзначный номер. То есть там лежали тысячи пьес. Ведь все авторы посылали в Малый театр свои пьесы. Это наивно, но понятно. Тем не менее на мою обратили внимание. Но, в отличие от других, сам я бы ее не понес в Малый театр – так получилось, что инициатива пошла от них.

– Видимо, у вас есть ангел-хранитель?

– Думаю, есть. У меня было много передрыг в жизни. Но я жив и до сих пор пишу.

– **Передрыги начались после первой московской постановки?**

– Да. Я всегда писал о том, что меня волновало. Вот я и написал пьесу «Гости» – о перерождении нашей власти, нашего высшего круга, о неприкрытой буржуазности нашего высшего эшелона. И это было принято очень болезненно. К тому времени Сталин уже умер, но Берия был еще в полной силе. Пьесу поставил в Ермоловском театре его главный режиссер Андрей Михайлович Лобанов. Это был великий режиссер и великий человек. Мы по-человечески были очень близки. Лобанов был для меня высшим художественным и человеческим авторитетом. Из всех, кого я видел и знал, никто не мог встать вровень с ним. «Гости» стали водоразделом в его жизни. Спектакль прошел всего один раз. После чего со скандалом был снят. Андрей Михайлович тяжело заболел. А через некоторое время у него отняли театр. Вот этого он пережить не смог. До сих пор чувствую свою вину за его ранний уход из жизни. Для меня же провал «Гостей» закончился длительной серьезной болезнью. В течение двух лет я был главным героем всех газет. Можно было открыть любую и прочитать: «Зорин – клеветник» «Клеветник из политической подворотни» были самые нежные слова, сказанные обо мне в печати. Конечно, я был готов к тому, что идея моей пьесы не вызовет у властей восторга, но то, что я стану героем постановления самого высокого уровня, стало для меня неожиданностью.

Я все держал в себе. Выпустить пар считал недостойным мужчины. Оказывается, это очень вредит здоровью. Неожиданно выяснилось, что у меня легкие. Для меня это стало полной неожиданностью – ведь я был спортсменом, играл в футбол. Но, как мне объяснил замечательный врач, академик Лев Константинович Богущ, нервное потрясение всегда находит слабое место в организме. У меня этим слабым местом как раз и оказались легкие. В 30 лет я внезапно ощутил, что моя жизнь подходит к концу. Пока лежал в больнице, мои соседи несколько раз менялись. Мои сопалатники чаще всего умирали в предрассветные часы. Я перенес несколько операций. Наверное, меня помимо искусства врачей спасло и желание писать. Я брался за ручку сразу же после операции. Врач сказал: «Пусть пишет. Не запрещайте. Ему так нужно». Это было суровое время. Но я писал каждый день, и это помогало мне жить.

– **Ваши последующие пьесы тоже пробивались к зрителю с трудом, хотя ставили их великолепные режиссеры — Георгий Товстоногов, Рубен Симонов, Юрий Завадский. «Царская охота» давно успешно экранизирована, как и «Покровские ворота». Ее частенько показывают по телевидению, а в 70-х борьбу за нее Юрий Завадский вел целых три года и так и не дождался премьеры. В чем тут дело?**

ся за нее как лев. Вспоминаю этот мартиролог – скольким людям я сократил жизнь, — и становится не по себе. Когда у меня брали пьесу, всегда предупреждал: будете иметь неприятности. Товстоногов внутренне надломился, Рубену Симонову крепко досталось – он ставил мои пьесы трижды. А Ролан Быков лез в петлю после того, как ему не дали сыграть Пушкина в «Медной бабушке» во МХАТе. Я видел его работу – это было гениально. Он бредил ролью Пушкина. Чтобы сыграть ее, сел на диету и в течение недели



АНТОН БЕРКАСОВ

– Думаю, в ее пафосе. В том, что поэт Кустов говорит «глупы люди» о тех, кто предал любовь по «государственной нужде», кто вместе со всей великой империей с ее флотом, армией, тайной полицией «кинулся на одну бабенку». Живучая тема. К тому же в 70-х годах слышать реплику: «Великой державе застой опаснее поражения» тоже было не слишком приятно. Так получилось, что все режиссеры имели со мной горестные дни. Завадскому я сократил последние дни. Он уже не мог выйти даже на премьеру, лежал и умирал, когда «Царская охота» выходила. Он бил-

похудел на несколько килограммов. В гриме Быков был невероятно похож на поэта. Даже консультировавшие спектакль пушкинисты, увидев его, заявили: «Похож! Просто удивительно, как похож!» Однако в Министерстве культуры СССР решили иначе. Выездная сессия министерства во главе с Фурцевой, заседавшая во МХАТе, пришла к выводу, что Быков на эту роль не подходит. «Что вы нашли в этом уроде? – искренне удивлялась Фурцева. – У нас что, других актеров нет?» Помню, на обсуждении Степанова кручинилась: «Он маленький, неказистый, некрасивый». Рядом со мной сидел Натан Эйдельман. Он шепнул: «Она бы хотела, чтоб Пушкина сыграл Дантес». Пушкин, кстати, ростом был ниже Быкова... Позже Ефремов все же выпустил спектакль, сам сыграл в нем Пушкина. Упрямый и верный был человек. Четыре года положил. Георгий Александрович Товстоногов – гениальный режиссер, но я убежден, что «Римская комедия» была вершиной его творчества. Ничего подобного в своей жизни я не видел. Забыть это чудо невозможно. Я говорю это, абстрагируясь от того, что я – автор. Это была гениальная постановка великого режиссера. Она, как и «Гости», прошла всего один раз. Но ленинградские театралы в конце 60-х делились на тех, кто видел, и тех, кто не видел «Римскую комедию». А Рубен Симонов, попавший на единственный публичный просмотр спектакля, и вовсе заявил, что погибнет, не поставив свою версию в Москве. И уже через семь месяцев на сцене Театра Вахтангова состоялась премьера новой «Римской комедии» с Юлией Борисовой и Михаилом Ульяновым в главных ролях. Но в памяти многих советских театралов все равно оставалась так и не вошедшая в репертуар БДТ постановка. Через много лет после запрета он написал мне в письме, что рана не зарастет никогда. Он до «Римской комедии» и после «Римской комедии» – это разные люди.

– **Что же могло так смутить в этой пьесе, действие которой происходит в Риме в конце I века?**

– Политические аллюзии. В ней разглядели прямую сатиру на хрущевскую эпоху. Цензура не дремала.

– **Сейчас часто можно прочитать рассуждения о необходимости вернуть цензуру. Как вы относитесь к подобным высказываниям?**

– Цензура – это невероятная удавка на шее. Лучшие, самые продуктивные мои годы пришлось на цензурный мрак. Я очень завидую молодым людям, которые не знали этого. Им трудно представить, что могли зачеркнуть слово «смеркается». Потому что слово это грустное, пессимистическое, ненужное. Это невозможно объяснить нормальному человеку. После «Гостей» мне вообще ни одной пьесы не удалось написать, чтобы она спокойно вышла.

– **Даже любимые народом «Покровские ворота»?**

– Эта вещь сугубо автобиографичная. Все ее персонажи имеют своих прототипов. В основе – история моей молодости в Москве, куда я перебрался из Баку. Единственный присочиненный персонаж – моя тетка, которой у меня в столице не было. Ею я заменил старушку, у которой снимал комнату в густонаселенной коммунальной квартире на Петровском бульваре. Ну и чтобы хоть немного закамфлировать эту историю (в то время, когда я писал ее, многие прототипы были еще живы), я перенес действие в коммуналку у Покровских ворот. Так что писать эту пьесу мне было очень приятно, но немного грустно, потому что мне исполнилось 50 лет и я ностальгировал по своей юности. С режиссером этой картины Михаилом Козаковым мы были друзьями. Миша – один из тех редких режиссеров, которые чрезвычайно тонко чувствуют текст и прекрасно ощущают каждое слово. Эта пьеса стала его режиссерским дебютом в Театре на Малой Бронной. А потом он снял фильм по этой пьесе. Фильм пробивался к зрителю тоже непросто. К нему была масса претензий.

– **Вы принимали участие в подборе актеров?**

– Я никогда не влезаю в дела режиссеров. Считаю, что каждый должен заниматься своей профессией, а потому никогда не даю советов по подбору актеров. Никогда. Единственный случай – это как раз в «Покровских воротах». Между мной и Костиком нет зазора. А потому я согласился с его выбором артиста на роль Костика, только когда он нашел Олега Меньшикова. Минуты хватило, чтобы понять: он именно тот, о ком мечталось! Он был еще вчерашним студентом и словно излучал праздничный юмор весеннего возраста, но вместе с тем в нем легко угадывался острый, независимый ум.

– **Наверное, «Покровские ворота» – ваша любимая вещь?**

– Мне эта пьеса очень дорога, но, на мой взгляд, как литература «Медная бабушка» и «Римская комедия» намного выше. И еще большую роль в моей жизни сыграл «Пропавший сюжет».

– **Пожалуй, по степени популярности и любви у зрителей с «Покровскими воротами» может сравниться лишь ваша «Варшавская мелодия». Ее ставили все театры. И до сих пор ее появление на афишах гарантирует аншлаги. У нее, как у «Покровских ворот», не было реальных прототипов?**

– Нет. Конечно, такую конкретную историю я не знал. Таких историй было миллион. Но, естественно, любое произведение рождается из личного опыта. Это банальная истина. Ничего нового я не открываю. Главное в этой пьесе – тема обреченности. Государство прошло катком по судьбам героев. Сломало им жизнь. Обреченность чувства... Эта пуля била по зрительному залу. Каждый проецировал это на себя. Каждый в своей жизни кого-то любил, и у каждого было ощущение хрупкости счастливого мига. Миг пройдет – и это исчезнет. Всегда есть какой-то надсмотрщик. Неизвестно какой: сама ли держава или то устройство жизни, которое она создает. И это не даст этому мигу осуществиться. Очень хорошо сказал один писатель: чтобы написать что-то стоящее, надо настрадаться.

У пьес, как у детей, судьба бывает разной. Не все мои пьесы уцелели. Не каждая из них шла во всех театрах страны и еще в 16 странах. У «Варшавской мелодии» – счастливая судьба.

– **Почему вы, столь успешный драматург, перешли к прозе? Разлюбили театр?**

– Дело не в этом. Это получилось естественно. Человек проходит разные этапы своей жизни. Драматургия – очень аскетический жанр. Она не должна быть болтливой, многоречивой. И проза, конечно, не должна быть болтливой, но, когда у вас есть желание высказаться, подумать, проанализировать, вы не можете обойтись короткими репликами. У драматурга много ограничений. Пьеса – жанр лаконичный. 60 страниц, и все. Если сильно больше, она плохо смотрится. Я своим студентам всегда говорил, что писать надо лаконично, четко, овладеть искусством реплики, чтобы это не давило на людей. Нельзя задавливать текст. Это должны быть короткие реплики, но большой емкости. Надо многое в них вложить, только не за счет растекания по древу. А к исходу жизни меня тянет и порассуждать, и внести в ткань повествования всякие отступления. В повести можно остановиться, сделать передышку. Кроме того, в прозе может быть выражено личностное начало автора. В пьесе же вы обязаны раствориться в своих героях. И если из них «прет» автор, это очень нехорошо. А вот авторская проза вполне допустима, исповедальную прозу многие любят. И сам я к ней иногда склонен.

– **Вы пишете «маленькие романы». Чем вас привлекает именно этот жанр?**

я берегу время. Его запас убывает стремительно. А сказано между тем не все.

– **Что вы сейчас пишете?**

– Готовлюсь написать повесть и делаю сценарий по своей повести «Юдифь». Двухсерийный фильм по ней хочет поставить режиссер Дмитрий Барщевский. Мы работали с ним вместе над «Тяжелым песком».

– **Что вас сейчас больше всего радует?**

– Встреча с талантом. 🍷

– Время подсказывает свои размеры, свои форматы. Вообще, я считаю, что время – это элемент эстетики, в нем заключено свое эстетическое содержание. Наше время нервное, быстрое, истерическое в значительной степени. И сейчас, конечно, как мне кажется, читать длинные эпические произведения сложно. Хотя, возможно, в самом времени заключен свой трагический эпос. И он будет когда-нибудь отражен. Но когда его пишешь непосредственно сегодня, тоходишь в его ритм. А ритм – это основа произведения. Это известно. И мне кажется, ритм сегодняшнего творческого отражения жизни – это ритм, который не может быть растянутым, основательным. Мне кажется, маленький роман, относительно лаконичный, лапидарный, больше отвечает духу сегодняшнего периода.

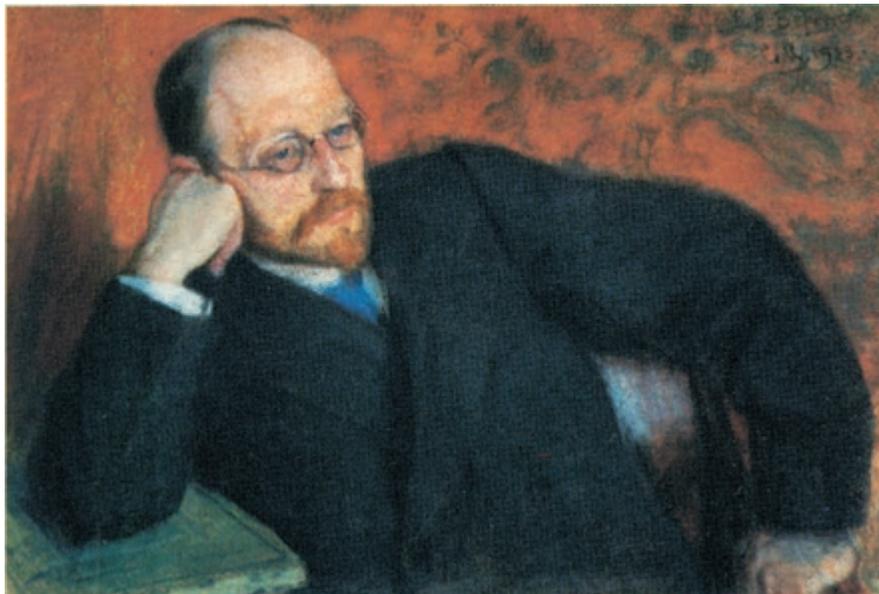
– **Но в театр-то вы сейчас ходите?**

– Весьма редко. Я работаю каждый день. Без выходных. С утра сажусь за письменный стол и пишу. Пишу только от руки, на обычных листах бумаги. Причем, прежде чем отдать рукопись для набора на компьютере, я ее несколько раз переписываю, вношу необходимые дополнения. А свои черновики не храню, ориентируясь на завет Пастернака: «Не надо заводить архива...» Вряд ли кто-нибудь будет изучать мои каракули. Когда начинаю писать новую вещь, она уже не отпускает меня. Могу встать и ночью, чтобы записать мелькнувшую мысль. Мне многое надо обдумать, а потому

О РАДОСТИ ДУШЕВНОЙ

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Вересаев был не писатель. Врач — да, мемуарист — да, полемист, публицист, историк литературы, переводчик — все это у него выходило хорошо, но он медленно, трудно, старательно писал второразрядную прозу. Он был не столько профессиональным писателем, сколько профессиональным русским интеллигентом — ее типичным представителем, ее глазами, ее голосом.



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

ЕГО ПОРТРЕТОМ МОЖНО иллюстрировать словарные статьи о русской интеллигенции: очки, бородка, высокий лоб, переходящий в лысину, внимательные глаза, слегка поджатые губы. Он родился в 1867 году; что скажет дата рождения? На семь лет моложе Чехова, на четыре – Федора Сологуба, на два – Мережковского. На год старше Горького, на два – Зинаиды Гиппиус, на три – Ленина, Бунина и Куприна, на пять – Деникина. Ровесник Бальмонта и патриарха Сергия. Это его поколение делало Россию начала XX века. Это его сверстники до исступления спорили за чашкой чая о судьбах родины, штудировали «Капитал» и со всем юным пылом несли в народ практическую пользу, знания, теории. Его поколение голодало, воевало, эмигрировало, тщетно пыталось уберечь своих детей – пушечное мясо Первой мировой и Гражданской войн. Его поколение пережило красный террор, белый террор, сталинский террор и Вторую мировую. Он был одним из немногих, кому удалось пронести сквозь кошмары истории когда-то мучительно выстраданный и закаленный оптимизм.

Он родился в интеллигентной тульской семье с польскими корнями и по рождению был Смидович. Отец был врач, мать открыла первый в Туле – и, возможно, один из первых в России – детский сад. Семью в городе уважали: отец насаждал в провинции представ-

ления о санитарии и гигиене, основал городскую больницу. Семья была дружная, многодетная – восемь детей, верующая и интеллигентная в том самом смысле идейного и бескорыстного служения, который издавна вкладывался в это понятие. Детей растили на классической литературе и внушали им христианскую этику. Викентий блестяще учился в тульской классической гимназии – всегда был первым учеником и больше всего любил ненавистные многим латынь и греческий. По складу ума это был чистый гуманитарий из тех, что потом идут в науку; писал стихи с 13–14 лет, переводил любимых античных авторов. И мучился вопросом о смы-

сле жизни. Отцовская вера ответа ему не давала, и юноша, окончив гимназию с серебряной медалью, решил поступать в Петербургский университет на историко-филологический факультет, на отделение истории: молодые люди, которые ищут в книгах по истории ответы на свои последние вопросы, есть во все времена. Время было беспокойное – студенчество решало вопросы общественного устройства, собиравало кружки самообразования, обсуждало политику и экономику, выбирало способы служения стране и народу и устраивало политические сходы, а то и бунты.

НА ПОВОРОТЕ

За примером служения юноше Смидовичу не надо было далеко ходить: все это он видел в своей семье. Молодой историк увлекался народничеством, зачитывался Михайловским и вопрошал о том, что делать дальше, решил для себя однозначно: едва окончив исторический факультет в Петербурге, поехал в Дерпт и поступил на медицинский факультет тамошнего университета. Поступок был взрослым, осознанным, выношенным – но, конечно, идейных мотивов тут было больше, чем природной склонности к медицине. Медицина была не целью, а средством познать человека – для того, чтобы стать писателем. Шесть лет он учился в Дерпте, продолжая при этом писать стихи и прозу. В 1892 году он поехал на практику в Донбасс, на Юзовский рудник, где разразилась эпидемия холеры. Работать на холере для врачей было опасно не потому даже, что можно было заразиться, а потому, что народ по дремучести своей обвинял врачей в распространении холеры; личные наблюдения и горький опыт Вересаева получили отражение в его повести «Без дороги» – в ней молодой врач умирает, избитый теми самыми людьми, которых приехал лечить. Юношеские иллюзии, столкнувшись с реальной жизнью, потускнели. В рассказе «Товарищи», написанном в это же время, его герои уже не несут света знаний и пользы народу, а тихо тупеют в провинции. В дневнике он повторяет фразу: «Истина, истина, где же ты?»

В 1894 году он окончил Дерптский университет и отправился в Тулу, получив назначение на должность врача. Проработал всего несколько месяцев под руководством отца, но, обнаружив, что знаний его недостаточно для самостоятельной работы и испугавшись колоссальной ответственности, которая ложилась на его плечи, уехал в Петербург. В дневнике он писал в это время: «Кончил я одним из лучших, а между тем с какими микроскопическими знаниями вступаю в жизнь! И каких невежественных знахарей выпускает университет под именем врачей!» В столице он поступил в Городскую барачную в память Боткина больницу на должность сверхштатного ординатора. Сверхштатные работали, как он сам пишет в «Записках врача», не за деньги – за опыт.

В Петербурге он вновь окунулся в стихию интеллигентского идейного бурления, которая и раньше, во время учебы в университете, увлекала его. Сейчас он стал взрослее, приобрел серьезный жизненный опыт и растерял юный пыл, с которым гото-

вился служить народу. Народничество и в общественном сознании, и в сознании молодого врача уступало место марксизму, который, казалось, все толково объясняет и дает замечательную перспективу: вот куда следует идти!

Может быть, профессия врача наложила отпечаток на творчество Вересаева: названия его произведений словно ставят диагнозы его персонажам: «Без дороги» (герой не знает, куда идти) – «Поветрие» (молодая героиня «Без дороги» уверовала в марксизм и в этом рассказе объясняет свой идейный выбор) – «На повороте» (герой находит в себе силы выйти из тупика и не покончить с собой). В его произведениях очень много говорят и очень мало действуют – не русская классическая проза, а какие-то сократические диалоги. Впрочем, и в самом деле, как и в древние времена, русская литература в конце XIX века была всем – и публицистикой, и социологией, и думской трибуной; литература решала задачи, которые ей вовсе не свойственны, толстые литературные журналы обсуждали вопросы социального устройства и развития. Произведения Вересаева оказались очень удобным материалом для такого обсуждения: в них не люди жили, а ходячие общественные функции, типичные представители русской интеллигенции, на чьем примере было очень легко обсуждать ее заблуждения, озарения и мучения. И чем больше в прозе типичных интеллигентских диалогов, тем более остросовременной и востребованной была она тогда и тем невозможнее читать ее сейчас: острота проблем ушла, а художественные

достоинства вересаевской прозы скромны. Помимо интеллигентских идейных мук была у него и еще одна тема: ужасный народный быт. Благо собственных наблюдений тут у него было больше, чем хотелось бы.

Однако совершенно равен он своему таланту не в художественной прозе, пусть даже и той, где искренне рвется наружу его томление по истине и

настоящей жизни, его ужас и тоска от зрелища окружающего его убожества повседневной народной жизни. Лучше всего ему удалось не это, а «Записки врача» – занесенные на бумагу страстные и откровенные размышления о профессии: об ограниченности медицинского знания, о тяжелом личном опыте, об ответственности, о медицинской этике. В книге среди прочего шла речь о необходимости считаться с нравственными чувствами пациента, о недопустимости опытов на живых людях – Вересаев приводит множество случаев, когда медики из исследовательского интереса, например, прививали своим пациентам сифилис. «Записки врача» имели мощный резонанс. Медицинское сообщество возмутилось тем, что молодой врач вынес на суд публики профессиональные вопросы, приоткрыл дверь над тайнами профессии – и, по сути, прокричал во всеуслышание: «Король-то голый!» Вересаеву пришлось даже оправдываться в специально написанной статье «По поводу «Записок врача». Ответ моим критикам».

Все это время он помогал революционерам – «Союзу борьбы за освобождение рабочего класса». Он устроил склад нелегальной литературы в больничной библиотеке, которой заведовал, предоставлял свою квартиру для сходок и печатания прокламаций... Кончилось это обыском, увольнением из больницы по предписанию градоначальника и высылкой на два года в Тулу с запрещением жить в столичных городах. Правда, формальным поводом для этого стало его участие в протесте против подавления студенческой демонстрации. К этому времени он уже открыто заявлял о себе как о марксисте (и потому разошелся с редакцией «Русского богатства», которая поначалу очень радушно его приняла). В Туле он оставался два года – на самом деле в это время много ездил: сначала в Европу, потом в Крым (где встретился с Чеховым), потом к Толстому в Ясную Поляну. Все это время он работал с местными социал-демократа-



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

**В.В. Вересаев
во время Русско-
японской войны
1904–1905 годов**

ми, устраивал литературные вечера для сбора средств в их пользу и однажды даже написал прокламацию. Когда срок высылки прошел, Вересаев поселился в Москве, где примкнул к литературной группе «Среда». Кружок собирался у писателя Телешова, в него входили Бунин, Куприн, Скиталец, Горький, Чириков, Андреев и другие – те, кого вскоре объединят сборники «Знание»; с Горьким и Андреевым подружился.

В ТУПИКЕ

В 1904 году с началом японской войны его как врача запаса призвали на службу. Удручающих впечатлений о хаосе, развале и бездарности руководства армией у него хватило на целый сборник «На японской войне», который даже не был полностью опубликован до 1928 года. Один из персонажей его, обычный русский солдат, задается вопросом, за что он воюет: «Ваше благородие! Вот в «Вестнике маньчжурской армии» пишут, что мы тут за веру воюем! За царя и отечество.

Как это так? Веры нашей никто не трогает, царя не обижают. А отечество – китайское».

Революцию 1905 года Вересаев встретил радостно: слишком многого уже насмотрелся и натерпелся. А теперь, казалось, повеяло свежим ветром. Убежденный марксист, уверенный в прекрасном будущем революционных рабочих (и даже пытавшийся изображать прогрессивный класс в своем творчестве), он писал теперь о зародившейся в России «светлой свободе». Впрочем, светлая свобода поманила и ушла, оставив общество в глухой тоске. Реакция закручивала гайки, в культуре стал силен модернизм; писатели заговорили о тоске, о смерти, о потустороннем. Вересаев пытался возразить: написал роман с программным названием «К жизни» – само собой, герой-интеллигент в нем сначала отвернулся от идеи революции, а потом пережил идейный перелом и вернулся к ней. Роман получился еще более головной и сухой, чем прежние произведения, и Вересаев сам счел его неудачным; марксисты, которых он попытался изобразить как положительных героев, тоже не прониклись, сочтя, что он слишком увлекся описанием переживаний ренегата.

Как бы то ни было, переживания ренегата были в какой-то мере его собственными переживаниями. Идея революционного насилия больше не увлекала его: насилием счастья не добыть. После этой неудачи Вересаев временно отошел и от художественной прозы: она не вмещала того, о чем он думал и что хотел высказать. Следующая его книга, «Живая жизнь», – это, скорее, литературное, философское и этическое исследование творчества Достоевского и Толстого в первой части и Ницше – во второй. Аполлоническим и дионисийским тогда кто только не увлекался! Вересаев однозначно утверждает доброе, светлое, аполлоническое, толстовское начало в жизни в противовес темному, дионисийскому, большому, достоевскому.

В 1911 году Вересаев организовал «Книгоиздательство писателей в Москве», которое издавало авторов, входивших в кружок «Среда». Делами издательства он занимался вплоть до самой революции, положившей конец всякой частной инициативе в деле книгоиздания. Первая мировая вмешалась в его работу: врача снова требовали на войну. Четыре года, с начала войны до революции, Вересаев возглавлял военно-санитарный отряд Московской железной дороги.

Революцию, как писали советские литературоведы, он принял восторженно – в конце концов он был чуть ли не единственным последовательным марксистом среди известных русских писателей. Он стал председателем художественно-просветительской комиссии при Совете рабочих депутатов в Москве, однако уже в 1918 году переехал в Крым, где некоторое время удерживалась советская власть. Там он стал заведовать отделом литературы и искусства Феодосийского наробраза. Красная власть продержалась очень недолго, в Крым вступила Добровольческая армия; Вересаев поддерживал связь с большевистским под-

польем, на даче у него даже проходила подпольная конференция большевиков. Белые, предупрежденные осведомителем, нагрянули на дачу; как Вересаеву удалось выкрутиться – решительно непонятно: газеты успели известить о его расстреле.

Уже тогда, в Крыму, он начал писать свой роман «В тупике», где та самая русская интеллигенция, о которой он писал еще в 1890-х годах, переживает новые потрясения и пытается понять, как жить. Роман получился не особенно удачным – может, потому, что сам художественный метод Вересаева, замешанный на классическом русском реализме, оказался неадекватен вызовам времени. Юрий Тынянов в своей рецензии («Литературное сегодня») очень коротко и четко обозначает главные проблемы романа: «Главные герои – члены одной семьи: отец – старый народо-волец, дочь – коммунистка, племянник – коммунист, другая дочь – героиня, русская девушка; это дает возможность племяннику спасти от расстрела дядю, а дочери-коммунистке, которая думает, что отец расстрелян, добровольно отдаться в руки врагов. Роман отличается необычайной интеллигентностью; при всем напряжении фантазии трудно представить, чтобы дело шло о современности, хотя все в этом смысле как будто обстоит благополучно (есть даже расстрел – впрочем, тоже очень интеллигентный), – вы все время чувствуете себя в небольшом, уютном кузове идейного романа 90-х годов. Герои очень много говорят и любят плакать.

Пример: «Иван Ильич рыдал. Долго рыдал. Потом поднял смоченное слезами лицо и ударил кулаком по столу.

– Да! И все-таки... Все-таки, — верю в русский народ! Верю! [...] И будет прежний великий наш, великодушный народ, учитель наш в добре и правде!» Примеры, приводимые Тыняновым, убийственны: тут вам и «красавец-брюнет с огнен-

ными глазами», и «глубоко в глазах была просветленная печаль и серьезность»... хорошая, благонамеренная русская проза 1890-х... Роман, в который было вложено столько труда и мысли, читатели не оценили, а критики обругали за идейную вредность.

Вересаев к этому времени уже вернулся в Москву и стал работать в литературной подсекции Государственного ученого совета Наркомпроса. Когда появился литературный журнал «Красная новь», редактировал в нем художественный отдел. Стал председателем Всероссийского союза писателей – кому, как не ему, старому революционеру и русскому интеллигенту, известному своей порядочностью, было его возглавлять. Собственно, у него все было для того, чтобы быть прекрасным писателем. Не было одного – художественной мощи. Потому ему так хорошо дается все невыдуманное, пережитое – и так безнадежно вянет его стиль при всякой попытке художественного обобщения, порождая ужасные «огненные глаза» и «души, наполняемые восторгом». «Я махнул рукою и занялся изучением Пушкина и писанием воспоминаний, – самое стариковское дело», – написал он Горькому в 1925 году. Ездил на юг, жил на даче в Коктебеле, разстил цветы, занимался Пушкиным – чего еще желать?

EUTHYMIA

И все же он не вполне отказался от писательства. Он пытался ответить сам себе: что это за общество возникает на руинах привычного ему мира, куда оно идет, что из этого получится? Его опыт не давал ему представления о том, чем живут люди в этом новом мире. Поэтому он устроился на капошную фабрику «Красный Богатырь» санитарным врачом, снял комнату в квартире рабочего и стал заниматься привычным делом, наблюдая жизнь новых людей, размышляя над проблемами, которые мучили его молодых героев: новые отношения, новый быт, новая семья, брак – и привычная общечеловеческая этика. Полтора года,

проведенных на фабрике, принесли свои плоды. Рассказы и роман «Сестры», написанные на фабричном материале, явно симпатизируют молодым героям... и остаются стилистически в прошлом веке...

Может быть, он и сам это понимал – по крайней мере, художественной прозы почти не писал, кроме нескольких рассказов. Его сейчас увлекало другое: древние греки, любимые еще с гимназии. Переводы древних дали ему прекрасное дело и заработок во времена, когда художественное творчество само по себе стало почти невозможно и опасно. Вересаев заново перевел «Одиссею» и «Илиаду», всю Сафо, всего Архилоха, оставив немало эталонных, классических переводов. Другое его достижение – новый для России биографический жанр. Составленные Вересаевым «Пушкин в жизни» и «Гоголь в жизни» – произведения без авторского текста, хронологический монтаж из дневниковых записей, писем, свидетельств современников, из которых складывается живой человеческий облик классиков. Литературоведение и переводы позволили ему пережить времена репрессий и даже принесли Сталинскую премию первой степени, присужденную ему в военном 1943 году.

В последние годы жизни он писал книгу, которую назвал для себя «Без плана» – литературные мемуары, воспоминания из жизни, дневниковые записи, философские рассуждения соседствуют в ней, складываясь в необычное произведение вне четких жанровых границ, но с твердым моральным посылом: недостаточно переделать мир, надо еще переделать человека.

Три первых года войны Вересаев провел в Грузии, работая над воспоминаниями; к вручению Сталинской премии вернулся в Москву. Выступал с антифашистской публицистикой. В 1943 году он написал свой последний рассказ, «Euthymia» [«Эйтемия»], – такой же дидактичный, как и все его художественное творчество, такой же сократически-диалогический, только вместо привычных интеллигентов-народников в нем действуют советский архитектор, смутный, тревожный, вечно чем-то недовольный, и его смертельно больная жена, в чьи уста старый Вересаев вкладывает свои заветные мысли: «Ясность духа, бесстрашие перед жизнью и перед страданиями – вот счастье!» И еще: «Знаешь, Леня, в смерти определено есть какая-то скрытая радость. И умирать, оказывается, очень интересно. Вдруг настолько становишься выше жизни! Я никак ничего этого не ожидала. Ой, как хорошо!»

И сам рассказ называется «Радостнодушие», и весь он – о том, какое это счастье – жить. Это он и оставил вместо завещания – выношенное, горячее убеждение в том, что можно научиться жить счастливым. Через два года он умер – вскоре после Победы, в цветущем и радостном июне 1945 года. ❀

ДОДО

МИХАИЛ БЫКОВ

Марина Цветаева не терпела слово «поэтесса». Есть на свете занятия, которые несут в себе некое изначалие, сущность, менять которую и уж тем более бороться с ней — дело бессмысленное.



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

Графиня Евдокия Петровна Ростопчина, урожденная Сушкова (1812–1858). Портрет работы неизвестного художника. 1830-е годы

С ОЛДАТ, КОСМОНАВТ, ИГРОК, мать... Поэт... «М» и «ж» тут абсолютно ни при чем. Солдатки, космонавтики, игрушки и поэтессы имеют место, разумеется. Как словообразования. Но как сущности. И первый родивший мужчина, если таковой, упаси бог, все-таки появится, будет, по сути, матерью. И – никем иным. Как бы его там потом ни прозвали.

Можно взглянуть на ситуацию и с другой стороны. Есть ли качественная разница в словах «поэт» и «поэтесса»? Не эту ли разницу имела в виду Марина Ивановна, когда столь требовательно относилась к определению собственного труда? Согласитесь, присутствует в слове «поэтесса» что-то искусственное, мелкое, глупенькое, лишнее. Все то, чего истинная поэзия не приемлет по определению.

Что так, что эдак, графиня Евдокия Петровна Ростопчина была поэтом. Без всяких натяжек и сантиментов. Правда, в хрестоматиях и биографиях ей частенько приписывают лишнее, называя одной из первых женщин-стихотворцев в России. Не по уровню дарования и влиянию на литературу, а по хронологии.

Одной из первых Евдокия Петровна, известная всему XIX веку как Додо, не была. Если о Додо Сушковой-Ростопчиной сегодня еще помнят, то подавляющее большинство ее предшественниц и современниц вовсе забыты.

Варвара Анненкова, приходившаяся родственницей Лермонтовым. Анна Бунина, по воспоминаниям Анны Ахматовой – «тетка ее деда». Княгиня Зинаида Волконская, в России почти не жившая и искренне любимая римлянами до сих пор. Надежда Дурова, кавалерист-девица, поменявшая уланскую пику на перо литератора. Софья Закревская, Александра Зражевская, Анна Жукова – все они родились раньше, чем наша героиня, появившаяся на свет в январе 1812 года в семье действительного статского советника Петра Сушкова и его супруги Дарьи Ивановны (она была Пашкова) в басманной части Москвы.

Кстати, если уж говорить о первой женщине-поэте, то, скорее всего, это будет Анна Сергеевна Жукова, урожденная Бутурлина. Известен год ее смерти – 1799-й. Но когда родилась и где – тайна. Впрочем, ее стихи, напечатанные в журнале «Иппокрена», говорят нам, что их автор все-таки – поэтесса. Не более. На литературном поприще XIX века Додо Сушкова-Ростопчина не была женщиной-одиночкой. Авдотья Панаева, сестры Надежда и Софья Хвоцинские,

Юлия Жадовская, рожденные в первой трети столетия, равно как и перечисленные выше представительницы века восемнадцатого, писали с разной степенью успеха. И даже печатались. Почему ж тогда именно Евдокия Петровна воспринимается как главная женская литературная фигура «золотого века» русской поэзии и прозы?

По рождению Евдокия не принадлежала к родовой русской аристократии. Но и к «захудалому дворянству» ее родителей отнести нельзя. Мать Дарья Ивановна умерла, когда Додо едва исполнилось 6 лет. Отец был занят по службе, и воспитанием девочки занимались в доме родственников Пашковых. А двери пашковского особняка в Москве были открыты для самых знатных и ярких людей Первопрестольной. Мальчиком здесь часто бывал Мишель Лермонтов, учившийся в Благородном пансионе при Московском университете. Евдокии минуло 16, когда этот порог однажды переступил Александр Пушкин.

К этому времени юная Сушкова получила отличное домашнее образование, свободно читала на пяти языках и уже пять лет, как сочиняла сама. Ее стихи знали, хвалили, находя в них ясность изложения, легкость рифмы и самостоятельность чувств и мыслей. Способствовало первым успехам и то, что дядя Николай Васильевич Сушков держал литературный салон в собственном особняке в Старопименовском переулке. Дом, к слову, сохранился до сих пор.

Ростопчинские места в Москве – это отдельная тема. Додо в этом смысле повезло удивительно. Почти все адреса, связанные с ее именем в столице, можно найти и сегодня. Не только на карте, но и в «живом» виде. Понятно, что почти все перестроено, если не сказать – изуродовано. Но все-таки, все-таки...

На Новобасманной улице уцелел особняк Сушковых, где Додо роди-

лась, на той же улице, ближе к Красным Воротам, стоит храм Петра и Павла, где ее отпевали. В Потаповском переулке стоят остатки дома Пашкова, где Евдокия воспитывалась. На Большой Лубянке сохранился особняк Ростопчиных, родителей ее мужа – графа Андрея Федоровича. На Садовой-Кудринской стоит здание, купленное супругом для семейной жизни, известное в свое время богатой живописной галереей и библиотекой.

Впрочем, Ростопчины во главе с отцом семейства графом Федором Васильевичем, знаменитым генерал-губернатором Москвы в 1812 году, появились в жизни Додо несколько позже, чем началась ее взрослая жизнь. Первая любовь – князь Александр Голицын, совсем мальчик. Брак намечался, но сорвался. И тогда среди ухажеров уже «вошедшей в возраст» девушки появился Андрей Ростопчин. И на сей раз события развивались непросто. С одной стороны, родовитый жених, наследующий гигантское состояние. С другой – репутация графа Андрея, коей он обзавелся в гвардейских кирасирах. Довольно сказать, что он вышел корнетом в полк, так и не окончив курс Пажеского корпуса. Один из современников писал в письме: «Дай Бог, чтоб были счастливы! От нее зависит: ей надобно держать его в руках».

Были ли они счастливы, станет ясно из дальнейших событий личной жизни Додо Ростопчиной. Но начиналось все довольно весело. Настроение не портили даже бесчисленные пересуды в московских салонах. Там откровенно говорили о том, что Ростопчин женился от обиды на опекунов, не позволивших ему жениться по любви на другой, а «маленькая м-ль Сушкова» дала согласие на брак исключительно по расчету.

После венчания в мае 1833 года молодые супруги некоторое время провели в провинции, в одном из имений графа. Но в 1836 году деревенский покой наскучил, и они отправились в Петербург. Там Додо уже ждали и, признаться, заждались.

Еще в 1831 году князь Петр Вяземский, вхожий к Сушковым, тайным образом позаимствовал из дневника Додо стихотворение «Талисман» и передал его в Петербург редактору альманаха «Северные цветы». Стих напечатали, подписав условным псевдонимом. Дома Евдокию за это ругали, но дебют состоялся. И успешный!

В Петербурге графиня Евдокия сразу превратилась в светскую львицу. Балы, маскарады, приемы, литературные и музыкальные салоны – жизнь пошла кругом. Муж развлекался по собственному графику: карты, лошади и все остальное, что было свойственно отставному гвардейскому офицеру.

Удивительно, как Додо успевала писать стихи и вести серьезные разговоры в гостях у Жуковского, Вяземского, Соллогуба, Смирновой-Россет, Карамзиных.

Именно у Карамзиных ее посетила большая любовь. «Предмет» – сын великого историка и литератора Андрей Николаевич. Взаимность оказалась полной. По столице поползли слухи. В определенном смысле Евдокии Петровне повезло

с мужем. Ему, увлеченному мужскими забавами, оказалось глубоко все равно, как проводит время его жена. Если что и тревожило, так это досужие пересуды света. Поэтому в 1838 году рожать первого ребенка, дочь Ольгу, графиня отправилась в деревню. Вторая дочь, Лидия, появилась на свет при похожих обстоятельствах. Отцовство приписывали Карамзину. Но затем родился сын Виктор, и в данном случае в отцовстве Ростопчина сомневаться не приходилось.

В это время Додо много работала. Ее пьесы ставили в лучших театрах столицы. Пишутся повести, объединенные общим названием «Очерки большого света». В 1841 году вышел из печати первый сборник стихов, написанных в 1829–1839 годах. Она последний раз видится с Лермонтовым, собирающимся возвращаться после прерванного отпуска на Кавказ и мучимым дурным предчувствием.

Хвалят все, даже строгий Белинский. Еще в 1838 году он так реагирует на стихи Ростопчиной, опубликованные в «Современнике»: «Кроме двух произведений Пушкина можно заметить только одно, подписанное знакомыми публике буквами «Г-ня Е. Р-на». Лучшие композиторы, в частности Глинка и Даргомыжский, переключивают ее стихи на музыку романса.

В жизни разменявшей четвертый десяток Ростопчиной все меньше светских интересов, все больше литературы. И совсем из этой жизни исчезает Андрей Карамзин. Видимо, сила любви самой Додо значительно превосходила интерес к ней со стороны Андрея Николаевича. Отношения зашли в тупик.

В 1846 году Карамзин поставил точку. Женится на известной красавице – вдове уральского магната Павла Демидова Авроре Карловне, урожденной баронессе Шернваль фон Валлен, и уехал управлять Тагильскими сталелитейными заводами. Он погибнет спустя восемь лет на Крымской (Восточной) войне, куда уйдет добровольцем в Дунайскую армию.

Тогда Додо напишет: «Некому теперь разгадывать мои стихи и прозу».

Сами Ростопчины покинули Петербург в 1845-м. Обратной дороги в столицу после заграничного вояжа им не было. Император Николай I весьма нервно отреагировал на публикацию стихотворения «Насильный брак», углядев в нем критику на собственную внешнюю политику. Ростопчиной запретили въезд в Петербург, и муж решил осесть в Москве. Купил особняк на Садовой, куда перевез знаменитую коллекцию картин, собранную его отцом. Чем был хорош граф Андрей, так это тем, что не был склонен изменять привычкам. Львиную долю времени занимал Английский клуб, карты и лошади.

Евдокия Петровна устроила литературный салон. По субботам на втором этаже ростопчинского дома собирался литературно-театральный цвет Москвы. Бывали Тургенев, Гоголь, Толстой, Тютчев, Островский, Полонский, Погодин, Щепкин...

Для всех этих людей она оставалась той Додо, что принимала у себя в Петербурге на Дворцовой набережной Александра Сергеевича за день до роковой

дуэли. Той Додо, которой спустя год после смерти Пушкина Жуковский передал перевязанный крепко-накрепко пакет. В нем пряталась последняя пушкинская тетрадь. Гений приготовил ее для новых, никогда так и не написанных стихов.

Но стихи самой Додо интересовали публику все меньше. И молодых коллег по литературному цеху – тоже. Уходили последние, влюбленные в «блестящий Александров век», старела на глазах казавшаяся вечной Николаевская эпоха.

Графиня реагировала без сантиментов. В письме Погодину она призналась, что хотела бы часик побыть Богом, чтобы вторым потоком утопить коммунистов, анархистов и злодеев. Чувствовала, чем обернется для России грядущая эпоха варваров, понимала, что принесут ей чернышевские.

Последние годы жизни Ростопчина проводила в основном в подмосковной усадьбе Вороново, верстах в 50 от Москвы по Старо-Калужской дороге. Много, в частности храм, главный дом и чудный голландский домик, сохранились там доселе. В 1857 году обедавший с графиней врач по случаю поставил страшный диагноз – рак.

Графиня Евдокия Ростопчина скончалась в декабре 1858 года.

Александр Дюма, путешествовавший по России в то время, получил от графини приглашение посетить ее в Москве. Он провел в гостях у Додо два часа и был поражен удивительно

теплой энергией, которую излучала эта уже обреченная дама.

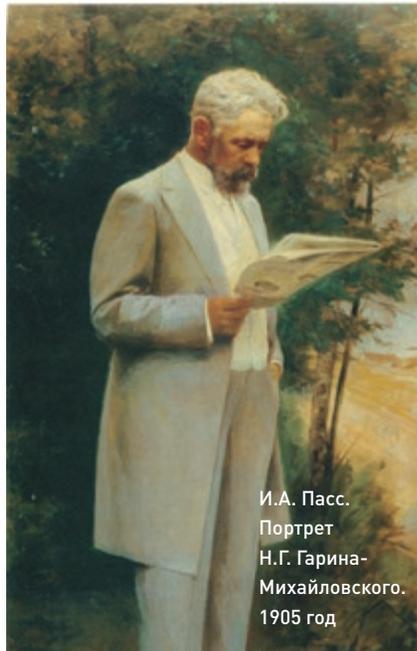
Брат Сушковой-Ростопчиной Сергей Петрович оставил такое описание юной Додо: «...черты правильные и тонкие, прекрасные и выразительные карие глаза, выражение лица чрезвычайно оживленное, подвижное, часто поэтически-вдохновенное, добродушное и приветливое...»

И видно, годы ничего не изменили. ❀

СЧАСТЛИВЧИК

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Считается, что мужчина должен за свою жизнь родить сына, посадить дерево и построить дом. Гарин-Михайловский успел больше: и детей у него было много, и посадил он целый сад, и основал город — да еще оставил несколько прекрасных книг. Впрочем, читали у него все разве что хрестоматийную «Тема и Жучка», ну максимум — «Детство Темы».



И.А. Пасс.
Портрет
Н.Г. Гарина-
Михайловского.
1905 год

ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

но читать спокойно. Михайловский-младший уважал отца, любил, жалел, когда тот заболел, тосковал по нему, когда он умер, — но никогда не мог забыть этого ужаса своего детства.

Детство кончилось с поступлением в гимназию. Гимназия была хорошая — одесская Ришельевская, из стен которой вышло несколько замечательных людей, в том числе учившиеся позже Гарина-Михайловского художник Врубель и писатель Олеша. Спорный вопрос, благодаря или вопреки гимназическому образованию все они добились своих высот. Михайловский гимназию откровенно не любил и вспоминал как царство скуки, зубрежки, казенщины и унижения. Много страстных и горьких слов сказано в его автобиографической тетралогии, часть которой посвящена гимназии, о бессмысленности классического образования, оторванности его от жизни, о том, как калечит человека система, призванная воспитать лучшие качества.

Он был обычным гимназистом: зубрил, списывал, прогуливал. Убегал с товарищами на море. Благо кругом была Одесса с ее многонациональным говором, с ее простором, благословенным климатом, удивительно подходящим для выращивания авантюристов, моряков и литературных классиков. Пожалуй, Гарин-Михайловский, еще в детстве порывавшийся сбежать на лодке в Америку (что тоже нашло отражение в тетралогии), свои детские мечты

Н ИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ БЫЛ ЧЕЛОВЕК чрезвычайно одаренный, наделенный от природы живым умом, остротой восприятия и кипучей энергией. Крестили его царь Николай I и мать революционерки Засулич — можно, пожалуй, сказать, что у колыбели его стояли фея возможностей и фея социальной справедливости. И возможности у него были — те, что дает дворянство и воспитание в хорошей семье, и тяга к справедливости с детства воспламеняла его сердце. Мальчик рос неугомонным и изобретательным на разные шалости. Детство его не было безоблачным: отец, боевой генерал Егор Михайловский, верно воевавший за веру, царя и отечество, не спускал сыну проказ и порол его; эти порки всегда стояли между ними, и душераздирающую сцену наказания Темы в автобиографическом «Детстве Темы» невозмож-

исполнил и получил во взрослой жизни свою долю экзотики, приключений и авантур — чего стоит одна его поездка на Дальний Восток. Из нее он привез сборник поэтических корейских сказок, массу экономических наблюдений, идеи о том, какой полезный опыт стоит перенять и внедрить в России, — и мрачную убежденность в том, что война с Японией неизбежна и кончится поражением России. К слову сказать, он рассказывал о своих впечатлениях

царю и царице, будучи специально приглашен ко двору, но был глубоко разочарован: не то и не о том спрашивал царь, не тем подобало интересоваться властелину огромной державы. Кажется, дай державу самому Гарину-Михайловскому в руки – и он бы уж быстро в ней все перевернул и наладил. Правда, его тяга чинить, налаживать и переворачивать проявилась далеко не сразу.

После гимназии он поехал в Петербург – думал пойти в инженеры путей сообщения, но убоился сложных экзаменов и поступил на юридический, откуда в конце первого курса вылетел, не сдав профильный экзамен. И все-таки пошел в Институт путей сообщения. Его продолжало мотать по жизни и вертеть как флюгер – сегодня решал одно, завтра другое; сегодня брался за учебу, завтра отправлялся кутить: он никогда не был аскетом, а деньги жгли ему руки и тратились быстрее, чем он успевал их получать. Он и потом, уже зарабатывая довольно много, так и не приобрел привычки к накопительству: деньги приходили и уходили, иногда по пустякам, а чаще – для помощи другим. Друзей угощал роскошными обедами и дорогими винами. Мог отдать кому-то все, что было в кошельке, – в «порыве сентиментальности», как он сам это называл. Рассказывали, что он приезжал в деревню с деньгами и спрашивал, кто тут нуждается. Уезжал уже без денег – все успевал раздать, когда просто так, когда на полезное дело. Лучшим применением денег для него было – потратить их на что-нибудь прекрасное, удовлетворяющее его душу – и сибаритскую, барскую, и сострадательную одновременно.

Всякая несправедливость с детства мучила его страшно, не меньше, наверное, чем Некрасова, известного печальника горя народного. И так же изнывал он всю молодость от того, что не видел путей, не мог найти себе применения, не понимал, что делать ему в этой жизни и в этой стране, где все устроено не так, как надо. Отсюда и мрачный конец

«Студентов», третьей части его тетралогии: я – Жучка, – думает Тема, – я попал в колодец и не могу оттуда выбраться.

Только после института, поступив на службу и начав строить железную дорогу в Молдавии, он понял, к чему предназначен. Кто читал «Инженеров», где речь идет о первом рабочем опыте Артемия Карташева, бывшего мальчика Темы, помнит, какая это счастливая книга, с каким радостным захлебом в ней повествуется о каких-то изысканиях, поиске песка, бревнах и тому подобных прозаических вещах. Под пером Гарина-Михайловского вся эта скучища превращается в поэзию. Молодой Корней Чуковский в бытность свою литературным критиком еще до революции заметил: героям русской литературы всегда скучно и тошно от их работы, они ее не любят, страдают от нее. Мучаются офицеры, изнывают учителя, пьют от безысходности врачи, теряют человеческий облик чиновники. В России нет представления о поэзии культурного труда, сокрушался Чуковский, – один только Гарин-Михайловский на общем унылом фоне отличается бодростью и счастлив от того, что делает свою работу, и пишет о ней заразительно. Профессор Федор Батюшков писал: «Инженеры» – какое-то упоение работой, заразительное и для совершенно постороннего данной отрасли деятельности читателя». Горький называл его «веселым праведником» – человеком, щедро и весело отдающим себя работе и другим людям.

В инженерной работе герой Гарина-Михайловского находит едва ли не больше радости, чем в любви. И сам автор что в своем писательском, что в инженерском труде был таков: неуемный и страстный. Пройдя через всю систему мучительства в семье и в системе образования, которые, кажется, должны были отбить у человека всякое желание хоть что-то делать, он нашел наконец свою нишу: работу. Он, по сути, и был человеком работы, не умел ничего другого – работал и работал. В перерывах между инженерской работой занимался писательской: писал в повозках, в вагонах поездов, на оборотах каких-то казенных бумаг и чуть ли не поездных билетов, поправки в редакции слал по телеграфу, самому быстрому тогда средству связи. Торопился, словно знал, что проживет недолго, словно боялся не успеть.

После железной дороги в Молдавии строил дорогу в Батуме. Ему, однако, не терпелось самому попробовать себя в хозяйстве. Уволившись с железной дороги через несколько лет работы, он купил имение в Самарской губернии и решил, что в нем будет все так, как надо. Привез прекрасные сель-

скохозяйственные машины, племенных лошадей, завел хозяйство по новому образцу и стал железной рукой загонять крестьян в счастливое будущее. Крестьяне упирались, машины ржавели под снегом, лошади тощали и дохли – и кончилась вся эта несостоявшаяся экономическая идиллия тем, что крестьяне сожгли все хозяйство, разорив Гарина-Михайловского дотла. Он не страховал имущество, чтобы никого не оскорбить подозрениями, и спустил на свои хозяйственные начинания не только свои средства, но и богатое приданое жены, которое, впрочем, она сама была рада отдать в руки мужа, на его благие начинания. В своей книге «Несколько лет в деревне» он рассказал и о начинаниях, и об их печальном конце, а в продолжении книги, «В сутолоке провинциальной жизни», сам каялся, что «нагло нарушал» все законы крестьянской жизни, что гнал их к счастью, попирая их человеческие права, что был «деспотом, крепостником, помпадуром!».

Апофеозом его несчастного хозяйствования была история с маком, которую по-разному рассказывали в своих воспоминаниях Горький и поэт Скиталец. Гарин-Михайловский засеял маком огромные площади (сорок десятин – по Горькому, тысяча – по Скитальцу) в надежде на хорошую прибыль. Надежды не оправдались, хозяин прогорел – но всякий раз, рассказывая об этом, он восхищенно восклицал: но видели бы вы, как весь этот мак зацвел!

После неудачи с хозяйством он снова поступил на службу и занялся строительством железных дорог – на этот раз отправился прокладывать Транссиб. Стремился экономить каждую копейку, искал самые эффективные решения, подходил к делу творчески – это и был его способ выживания, способ справиться со страшной действительностью. Он нашел то место, где дешево и проще строить мост через Обь; вокруг моста вырос Новониколаевск, нынешний Новосибирск. Рассказывали, что однажды, не зная, с какой стороны лучше обойти холм, он следил за полетом птиц: их маршрут подсказал ему кратчайший путь. Кипучая фантазия оказалась совершенно кстати в его деле, требующем, казалось бы, исключительно трезвого расчета. Впрочем, трезвым расчетом он неизменно поверял свои мечты и идеи. На беды и неустойства России Гарин-Михайловский смотрел совершенно иными глазами, чем русская литература, склонная к рефлексии, страданию и отчаянию. У Гарина-Михайловского – взгляд хозяйственника. Все беды и неустойства для него – повод все исправить, сделать лучше, починить. Он, может быть,

потому и к большевикам прибил, что одни они обещали стремительные, под стать его характеру, перемены, да еще на прочном экономическом фундаменте.

Он так спешил, что воздух вокруг него будто закручивался вихрями. И других втягивал в свою орбиту, увлекал обаянием, красноречием и напором – и люди торопились куда-то с ним ехать, что-то вместе делать... Современники запомнили его уже седым, но с юношеским горячим взглядом, с детской способностью увлекаться. Он и умер почти на бегу – горячо обсуждая перспективы издания журнала. Прихватило сердце – он вышел из комнаты, прилег на диван – и умер.

Рассказывают, что крестьяне его незадачливого имени вспоминали его добрым словом и после революции предлагали его вдове передать все доходы от посаженного им фруктового сада. Он сам шпынял себя, что ничего толкового не сделал, жизнь проходит, «езжу туда-сюда, как кучер дьявола, а что я сделал?». А оставил после себя больше, чем, кажется, можно успеть за короткую человеческую жизнь. Километры железных дорог. Дорогу между Симферополем и Ялтой – он мечтал доработать ее до конца, но не дожил. Вместо железной доро-

ги по его проекту через сложный крымский рельеф проложили знаменитую троллейбусную трассу. Сад, город – и несколько томов прекрасных книг, проникнутых радостью жизни и труда. Отличный способ выживания во всякие времена: просто делай свое дело, будь профессионалом. Работа, особенно работа созидательная, один из лучших источников смыслов в бессмысленные времена.

– Счастливейшая страна Россия! – говорил он Горькому. — Сколько интересной работы в ней, сколько волшебных возможностей, сложнейших задач! Никогда никому не завидовал, но завидую людям будущего, тем, кто будет жить лет через тридцать, сорок после нас.

Счастливейшая у нас страна, стоит об этом помнить. 📖

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ

МИХАИЛ БЫКОВ

8 февраля 1837 года на дуэли смертельно ранен Пушкин. На следующий день корнет лейб-гвардии Гусарского полка Лермонтов написал стихотворение «Смерть поэта». Александр Сергеевич скончался днем позже... Как стихи попали к гвардейскому улану Владимиру Глинке — один Бог ведает, но в тот же день, 10 февраля, он дал списать их издателю Бурнашеву в кондитерской Вольфа у Полицейского моста. Вскоре строки, словно электрическая искра, пробежали по всему Петербургу.



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

С.А. Раевский
(1808–1876)

САМО СТИХОТВОРЕНИЕ не вызвало недовольствия властей и двора. Даже весьма равнодушный к поэзии младший брат императора Николая I, великий князь Михаил Павлович, почувствовал себя литературным критиком. «Этот, чего доброго, заменит России Пушкина», — разразился он пророчеством.

Но случилось так, что спустя несколько дней на квартиру Лермонтова в доме Шаховских на Садовой улице зашел родственник корнета Николай Столыпин. Человек светский, но недалекий. Он позволил себе пожуричь Мишеля за поэтические нападки на Дантеса. Мог ли Столыпин предполагать, чем обернутся его банальные сентенции на сей счет?

Они обернулись ответом Лермонтова в 16 строк. «А вы, надменные потомки известной подлостью прославленных отцов...». Поэт написал их в пятнадцать минут, на одном дыхании.

На этот раз «надменные потомки, жадную толпой стоящие у трона» отреагировали совершенно иначе. Лермонтова поместили в гауптвахту, и началось следствие. Суд свершили быстро, в неделю. В начале марта гвардейский корнет отправился служить на Кавказ, в Нижегородский драгунский полк тем же чином.

Что тут нового? Собственно, ничего. Биография великого русского поэта известна. А уж начало 1837 года — особенно. Но был еще один человек, чья судьба изрядно переменилась вместе с судьбой Лермонтова именно в эти дни. Его звали Святослав (Святополк) Афанасьевич Раевский.

Подавляющее большинство людей, живших на земле, ничем не запомнились. Их удел — частное существова-

ние. Что вовсе не плохо и не хорошо. Что – совершенно нормально. Добрался бы мы до XXI века, будь каждый землянин Наполеоном, Пушкиным или Эйнштейном?

Другое дело, что в жизни почти каждого человека встречается случай. Тот самый, когда дается шанс из частного обывателя превратиться в социальную личность. Многие этот случай пропускают незамеченным, кое-кто сознательно сторонится, повинувшись рефлексу «как бы чего не вышло». Святослав Раевский свой шанс использовал.

Это он первым сделал списки с дополнительных и самых важных 16 лермонтовских строк и начал распространять их по Петербургу. К слову сказать, стихотворение «Смерть поэта» прожило в списках более двадцати лет, и впервые его опубликовали в 1858 году. Когда не было на свете уже ни Лермонтова, ни императора Николая Павловича. А вот Раевский еще жил. Как, впрочем, и Жорж Дантес, и Николай Мартынов... Напечатали, разумеется, без последних 16 строчек.

Кем же он был, этот господин Распространитель?

Раевские – фамилия в России известная. Главный монумент Бородинского поля стоит там, где в 1812 году располагался центральный редут, получивший название в честь командовавшего его обороной генерала Николая Раевского. Помнят у нас и княгиню Марию Волконскую, урожденную графиню Раевскую, последовавшую за мужем-декабристом в Сибирь. Ту самую Марию Николаевну, что везла каторжникам пушкинское послание: «Во глубине сибирских руд...» Да и среди самих сосланных декабристов был Раевский – Владимир Федосеевич.

Святослав Раевский в прямом родстве с этими – знаменитыми – Раевскими не был. Оно и неудивительно. Род известен с XII века, когда некто Петр Дунин прибыл в 1124 году ко двору Володаря, князя Перемышля. Спустя четыреста лет на службу московскому государю выехал из Польши потомок Дунина Иван Степанович Раевский.

Родовое древо у рода оказалось ветвистым. К какой именно ветви этого древа принадлежит Святослав Афанасьевич – утверждать не берусь. Твердо известно, что родился он в семье дворянина Саратовской губернии Афанасия Гавриловича Раевского в 1808 году. Человека с образованием, лично знавшего самого Михаила Сперанского, реформатора времен Александра I. Видимо, некоторые предки Святослава крепко осели на средней Волге, раз его бабушка по материнской линии, урожденная Киреева, осталась сиротой во время пугачевского восстания. Ее приняли в доме Столыпиных в Пензе, где росла сверстница Елизавета, впоследствии – бабушка Лермонтова Елизавета Алексеевна Арсеньева. Семьи дружили поколениями, и неудивительно, что Елизавета Алексеевна стала крестной матерью Святославу Раевскому.

В отрочестве и юности тот бывал в поместье Арсеньевой, Тарханах, где по большей части рос и маленький Мишель Лермонтов. Однако в те годы разница в шесть лет возникновению дружбы не способствовала. Сам Раевский отмечал позже, что помнил Лермонтова 12-летним подростком.

К тому времени Святослав уже оканчивал обучение в Московском университете, куда поступил в 1823 году на словесное отделение. После курса Раевский там же еще год изучал право и физику с математикой. Кроме того, посещал лекции по иностранным языкам, нумизматике, геральдике, ораторскому искусству. Короче говоря, готовил себя к взрослой жизни основательно.

При таком разнообразии интересов логично предположить, что Раевский сразу после университета живо определился с карьерой. Ан нет! Три года, вплоть до лета 1831-го, Святослав занят неизвестно чем. Вероятно, не бедствовал, раз мог позволить себе не служить. И, скорее всего, пытался найти себя в московском мире литературы и искусства, куда ввел его однокурсник Краевский, спустя некоторое время ставший известным издателем в Петербурге.

При столь вольном образе жизни у Раевского наверняка находилось время заглядывать к крестной, переехавшей вместе с внуком в Первопрестольную из Тархан в 1827 году.

Свободная жизнь закончилась в 1831 году. Раевский перебрался в Петербург и поступил на службу в Министерство финансов в чине губернского секретаря. Постепенно рос в должностях и в 1834 году получил чин коллежского секретаря. Истинный сын вольнолюбивого Московского университета, учившийся в нем тогда, когда из студентов в солдаты отправили Полежаева, когда завели дело на студентов братьев Критских, поклонник Пушкина и Радищева Святослав служил столоничальником в департаменте... военных поселений. В эпицентре рутинной и бюрократии николаевского времени.

делам службы носило из Ставрополя в Пятигорск, из Моздока в Кизляр... Осенью 1840 года чиновник для особых поручений попросил отставку и выехал с Кавказа. Любопытно, что летом в Ставрополе находился и Лермонтов. Но каких-либо следов о встречах с Раевским не сохранилось. Да и были ли они, эти встречи? В июне 1838 года Лермонтов-кавказец написал Раевскому-олончанину странные

строки: «Твое последнее письмо огорчило меня: ты сам знаешь почему; но я тебя от души прощаю, зная твои расстроенные нервы. Как мог ты думать, что я шутил твоим спокойствием или говорил такие вещи, чтобы отвязаться...» Шла ли речь все о том же – попытке Лермонтова извиниться за историю с 16-ю строчками – или о какой другой обиде, непонятно. Странно и то, что сестра Раевского, вспоминая о встрече друзей в Петербурге в апреле 1839 года, в деталях описала слова, действия и вид Лермонтова. Но весьма скуппо оценила реакцию брата. «Был тоже растроган до слез и успокаивал друга». И ничего не сказал?

После отставки Раевский прожил еще 36 лет. О подробностях его жизни в течение столь долгого времени известно немного. В 1844 году он поселился в собственном маленьком имении в Саратовской губернии. В 1847-м женился на Александре Сумароковой и переехал в имение жены Надеждино (Раевка). Жили, видать, дружно: за семь лет на свет появилось пятеро детей. В 1854 году попробовал было вернуться на службу в Пензе, но надолго не задержался.

По «лермонтовскому поводу» к нему обращались нечасто. Но когда обращались, Святослав Афанасьевич охотно делился воспоминаниями и бумагами с лермонтовскими автографами. Особенно много помог пензенскому учителю гимназии Хохрякову, первому собирателю материалов о жизни Лермонтова. Однако ж сам, профессионально владея словом, о Лермонтове ничего не написал. ❀

В 1832 году в Петербург приехали Арсеньева с внуком. Мишель надумал поступить в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Как и в Москве, в столице Раевский не мог не бывать у них в гостях. Бабушка, правда, вскорости уехала в Тарханы, но внук и крестник успели стать друзьями. Более того, в 1836 году, когда Лермонтов уже служил в царскосельских гусарах, Раевский принял предложение вернувшейся в Петербург Елизаветы Алексеевны и поселился у них в квартире на Садовой.

Эти годы, с 1832 по 1836-й, были годами крепкой дружбы Лермонтова и Раевского. Так случилось, что именно Святослав стал проводником молодого поэта в дебрях литературного Петербурга. Дорога оказалась не самой длинной: Жуковский, Карамзин, Пушкин знали издателя Краевского, тот поддерживал отношения с бывшим сокурсником Раевским...

Друзья даже пробовали сочинять вместе. Некоторые исследователи творчества Лермонтова убеждены, что главы неоконченного романа «Княгиня Лиговская», посвященные чиновному Петербургу, написаны Раевским. Святослав принимал деятельное участие в попытках пробить для постановки драму «Маскарад». Похоже, он в успех верил больше, чем сам автор. По крайней мере, в письме Раевскому зимой 1836 года Лермонтов крайне скептически оценивал такую перспективу.

В 1837 году дружба продолжилась. До марта. Раевского арестовали через три дня после того, как определили в гауптвахту Лермонтова. В своих показаниях он старался как можно больше вины взять на себя. С делом Святослава Афанасьевича разобрались в два дня, он отсидел месяц под арестом и был выслан в Петрозаводск служить на усмотрение олонецкого губернатора.

Лермонтов из первой ссылки вернулся быстро. Уже в апреле 1838 года он – вновь лейб-гусар. Раевский оставался в ссылке вплоть до конца года. Друзья встретились в Петербурге лишь в апреле 1839-го. очевидцы вспоминали, что едва поэт прознал о возвращении Святослава, как тут же примчался к нему домой и бросился ему на шею с просьбами о прощении. И сразу после ареста, и теперь Лермонтов считал себя виноватым в том, что товарища наказали за его стихи.

В Петрозаводске Раевский не терял времени зря. И пусть Александр Тургенев писал кому-то: «Лермонтов послан на Кавказ. Раевский, его приятель, — в какую-то губернию холодную», Святослав Афанасьевич в этой «холодной губернии» служил чиновником для особых поручений при гражданском губернаторе, что позволило ему активно действовать на ниве развития местных СМИ, как сказали бы сейчас. Он способствовал появлению новой печати, писал сам, по большей части исследуя местный быт и фольклор, редактировал приложение к «Олонецким губернским ведомостям».

Не успел Раевский обжиться в Петербурге, как Лермонтов с помощью бабушкиных связей выхлопотал ему место в Ставрополе. Поэт был убежден, что на Кавказе Святослав сумеет отогреться от двух лет олонецкой ссылки. Полтора года Раевского по

ЗАЙМИТЕСЬ, ГОСПОДА, КУЛЬТУРОЙ

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

На первый взгляд кажется, что история жизни Чуковского — это история очевидного успеха: одесский мальчишка, рожденный вне брака крестьянкой-прачкой, стал самым публикуемым русским писателем и почетным доктором литературы Оксфордского университета. Начавший жизнь в полуподвале — к концу ее он имел все, чего только могли захотеть неприятельные соотечественники: дачу в Переделкино, квартиру на Тверской, машину и много денег за всё новые и новые тиражи ставших классикой книжек. Он купался в народной любви, ему мешками носили читательские письма — но был ли он счастлив?

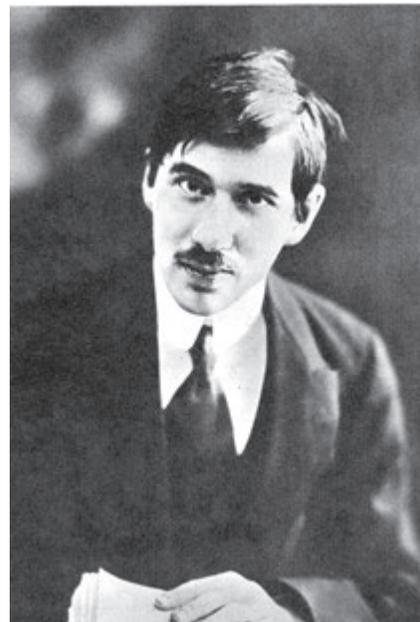
К ОГДА ВЧИТЫВАЕШЬСЯ В СТРАНИЦЫ ЕГО ДНЕВНИКА, С ДЕТСТВА знакомый портрет седого джентльмена с коварной улыбкой обнаруживает не замеченные дотоле черты: горькие складки у рта и нечеловеческую тоску в глазах. Дневник Чуковского — чтение для сильных духом: через некоторые страницы трудно даже продираться без постоянного понукания себя, столько на них густого, бескрайнего, самого черного отчаяния. И в самом деле, в его долгой жизни было столько потерь, что не понять, как он смог это все вынести. Он пережил троих из четверых своих детей, жену и многих близких друзей. Терял работу, несколько раз был всенародно ошельмован и изгнан из литературы, отлучен от печати — казалось, навеки. И каждый раз он поднимался и жил дальше.

НАЧАЛО

При крещении он получил имя Николай, а отчество в церковную книгу записали по батюшке, совершившему обряд, — Васильевич. На самом деле должно было быть — Эммануилович. Отец его, Эммануил Левенсон, сын одесского врача, учился в Петербурге, куда взял с собой горничную Екатерину Корней-

сал статьи в газету, а все не знал, как отвечать на вопросы об отце и отчестве — мялся, краснел и мучительно ненавидел себя.

В остальном его детство было, пожалуй, обычным детством одесского мальчишки — с беготней по дворам, рыбалкой, играми, марками и скучной гимназией. Учился он неровно (по гуманитарным предметам — блестяще), был



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

Корней Иванович
Чуковский
(1882–1969).
1914 год

чукову. За несколько лет у этой пары родились двое детей — Маруся и Коля. А потом отец оставил их: семья нашла ему богатую невесту. Мать с детьми вернулась на родину, где стала зарабатывать на жизнь стиркой; дети все детство таскали ей ведрами воду. С мамой соседи не здоровались. Клеймо незаконного лежало на Коле долго, он уже вырос, уже пи-

неистощим на проказы, нередко прогуливал и постоянно получал выволочки от гимназического начальства. С детства любил стихи, пробо-вал их писать, но тетрадка с первыми опытами попала в руки к недругам, и его задразнили. Он спрятался во дворе в каламашку-колымажку – такой полукруглый ящик – и пропла-кал остаток дня. В этих каламашках Коля Корнейчуков любил прятаться один или вместе с приятелем, меч-тать, говорить о других странах. Чи-тал стихи, волнуясь и радуясь их красоте. Он даже грузчикам и извоз-чикам пытался читать стихи – «Эне-иду» Котляревского.

Характер у него был нелегкий – не-рвный, взрывной. На обидчиков на-летал с кулаками, домашним устраи-вал тяжелые сцены. Из гимназии вылетел – сам писал везде, что из пятого класса, на самом деле, похо-же, из седьмого, и не по закону о ку-харкиных детях, а за издание руко-писного журнала, что гимназистам строго воспрещалось. Крестьян-ское происхождение все-таки игра-ло свою роль – и сейчас, и потом. Как крестьянин, он, уже взрослым, не имел права редактировать журнал и был ограничен в избирательных правах. Окончил он потом гимназию экстерном или нет – так толком и не-известно, дальше было только само-образование, постоянное, изо дня в день, на протяжении всей жизни.

С мамой он поссорился в подростковом возрасте, ушел из дома, снимал у ко-го-то жилье, работал маляром, учил по случайно купленному самоучителю ан-глийский язык и выписывал английские слова кистью на крышах. Читал мно-го, и не только поэзию, но и книги по философии, экономике – его юношеские дневники пестрят конспектами какого-нибудь Спенсера или Бокля, которых он тоже штудировал. Читал много, беспорядочно, страстно – и на основании прочитанного складывал свою всеобщую теорию всего, как это и делают мно-го думающие молодые люди. Из этой юношеской теории потом выросли его воззрения на роль искусства и литературы в человеческой жизни – воззре-

ния, которым он на всю жизнь остался верен. Заключались они в простом те-зисе: искусство делается ради искусства, ради красоты и гармонии. Литерату-ра абсолютна – она не может и не должна ничему служить. Всякая полезность только тогда полезна, когда дело делается с полным осознанием его беспо-лезности: пишу потому, что не могу не писать, пою потому, что не могу не петь, а какая-то польза от этого, может быть, произойдет сама собой, если я хо-рошо сделаю свое дело. За эту теорию ему немало попадало всю жизнь: ему довелось жить во времена, которые ценили «что» и не придавали значения «как». А Чуковский – этот псевдоним он себе придумал для первых публика-ций, разбив на кусочки свою «мужицкую» фамилию Корнейчуков, – Чуковский всю жизнь говорил о том, что только эстетика – надежный критерий оценки художественного произведения.

Его студии принесли плоды: свой трактат Коля Корнейчуков показал дру-гу – Владимиру Жаботинскому. Тогда он был молодым корреспондентом «Одесских новостей» (потом пути друзей разошлись; журналистику бросили оба, но один ради литературы, а другой – со временем основал Государство Израиль). Жаботинский отнес в редакцию работу друга, она повалилась там какое-то время и увидела свет, и автору даже заплатили гонорар, на кото-рый, как говорят свидетели, он купил себе новые штаны. Когда встал вопрос о том, кого послать в Лондон корреспондентом газеты, Жаботинский посовето-вал Чуковского: ведь он знает английский. Чуковский срочно женился на де-вушке Маше, которую давно любил (Маша, девушка из хорошей еврейской се-мьи, ради этого убежала из дома и крестилась). И молодая пара отправилась в Англию. Денег было мало, они кочевали из пансиона в пансион, один хуже и дешевле другого. Молодой Чуковский ежедневно ходил в Библиотеку Бри-танского музея, изо дня в день читал; в конце концов его взяли туда на рабо-ту – поручили составить каталог книг на славянских языках.

РЕВОЛЮЦИЯ

Он вернулся в Россию, когда газета перестала ему платить, полный впечат-лений и нового опыта. Одесса после Лондона казалась слишком маленькой, слишком мещанской, его тянуло в Петербург, он поехал туда, пытался при-строиться корреспондентом, но ничего не вышло. А дома уже был маленький сын, тоже Коля, и семью надо было кормить, а он был еще совсем молод, едва за двадцать, и, честно говоря, мало что умел. Лондонские студии заострили его перо, научили его писать короче, ядовитее, чем раньше – первые его кор-

ские статьи о современной литературе. Одновременно много выступал с лекциями о литературе. Лектор он был прирожденный: аудиторию держал цепко, ошарашивал неожиданными сравнениями, поворотами сюжета. Читатели и слушатели недоумевали: разве можно с такой стороны смотреть на писателя? С какой? Через призму его текста. Текст выдает все тайны писателя, уверял Чуковский. Даже такие, о которых он и сам не знает.

Не могла публика понять и его пристрастия к анализу совсем уж второсортной популярной литературы, глупых книжек для детей, дешевых брошюрок для рабочих, бездарных детективов, плохих стихов. А он предупреждал: массовая любовь к таким поделкам – грозный призрак наступления на культуру

огромных бескультурных масс. Наступает армия полуобразованных, невежественных, энергичных варваров, видел он и пытался предупредить: массу надо учить, просвещать. Иначе очень скоро культуре придет конец. Над его пророчествами смеялись – недолго, правда. Пока они не сбылись. Много позже он написал, что уже тогда в примитивной жестокости первых кинофильмов и детективных выпусков было видно зарождение той мещанской, самодовольной силы, которая через несколько десятилетий оформилась в фашизм.

СПАСТИ ЛИТЕРАТУРУ

Подрастающие дети заставляли его задумываться о законах развития детской психики, о том, как ребенок овладевает языком, о детском творчестве и творчестве для детей. Он читал подрастающим детям книжки и не мог не задумываться о том, как убого большинство этих книг. Он сам начал сочинять для них – не то для Коли, не то для Бобы, третьего ребенка, он придумал «Крокодила», – быстро-быстро плел все, что приходит в голову, забалтывая в дороге большого мальчика, чтобы он не хныкал... «Крокодил», вобравший в себя всю музыку улиц, всю скороговорку уличной речи, вышел в свет в 1916 году.

респонденции были удручающе громоздки и многословны. Новый Чуковский писал легко, изящно и обо всем, но его никто не торопился взять на работу.

Грянула революция 1905 года; в одесский порт пришел мятежный броненосец «Потемкин», город взволновался. Чуковский с компанией воодушевленных неслыханными событиями людей плывал на броненосец – просто так, квасу повезли, вдруг им там надо... Увез с него матросские письма родным, весь вечер наблюдал пожар в гавани и подавление мятежа, смотрел, как увозят трупы расстрелянных и сгоревших людей. После этого он заболел революцией – ни о чем не мог думать и говорить, кроме того зверства, которое свершилось у него на глазах. Хотел как-то участвовать в революционных событиях, но не знал как, чем помочь... Осенью снова уехал в Петербург и там – после царского манифеста, даровавшего свободу печати, – стал издавать сатирический журнал «Сигнал», хотя и не имел на то права. На редактора журнала, шутившего над властью, завели уголовное дело по нескольким статьям, от оскорбления членов царской фамилии до призывов к свержению существующего строя. Чуковскому грозило заключение в крепость; он даже просидел в предварительной тюрьме на Шпалерной. Читал в камере Марка Твена и хохотал. Культура, писал он потом в одной из своих статей, уже тем замечательна, что прекрасно занимает ум, когда сядут тебе на голову всем седалищем; займитесь же, господа, культурой. Время подтвердило справедливость этой мысли: в иные времена культура в самом деле оказывалась единственной отдушиной, когда садились на голову всем седалищем.

Уголовное дело тянулось до самого 1907 года и навсегда отбило Чуковскому охоту лезть в политику.

КРИТИКА

К этому времени он уже переехал в финскую Куоккалу под Петербургом: там недорого сдавались дачи. Там не было столичной суматохи, там у него был кабинет, там было море и лес – там он, с юности страдавший бессонницей, мог нормально жить. В семье появился второй ребенок – Лида. Чуковский подружился с соседями – ближним, куоккальским, Репиным, и дальним, из Ваммельсуу, Леонидом Андреевым. Его работа во множестве мелких изданий принесла свои плоды: молодую звезду русской литературной критики заметили и пригласили работать фельетонистом в газете «Речь», которую издавала партия кадетов. Именно в «Речи» Чуковский опубликовал лучшие свои критиче-



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

К.И. Чуковский
в мантии доктора
Оксфордского
университета.
Переделкино.
Около 1965 года

В Первую мировую Чуковский в компании Алексея Толстого, Владимира Набокова и еще нескольких человек ездил в Англию – смотреть, как союзники воюют. Он написал оттуда несколько больших корреспонденций для журнала «Нива».

Вернулся из Англии, занял у Репина денег, выкупил в собственность дачу, в которой жил. Вскоре грянула революция, и дача осталась по ту сторону государственной границы, в независимой Финляндии. А Чуковские, уехавшие в город отдать детей в школу, так там и застряли. Революция принесла голод и безработицу – Чуковский со старшим сыном даже газетами торговали. Корней Иванович читал лекции за продукты, за дополнительные пайки семье. Литература кончилась: встали издательства, не было бумаги, писатели и поэты голодали. Чуковский задумал спа-

сти русскую литературу от гибели, собрав литераторов вместе в помещении, где тепло, есть еда, где можно хотя бы поговорить друг с другом, где можно читать лекции на литературные темы и услышать новости о том, кто что пишет... С помощью Горького ему удалось выбить для этой цели и здание, и деньги; Дом искусств помог выжить в голодную зиму многим писателям, поэтам и художникам. А еще он работал в горьковской «Всемирной литературе» – невероятной затее, которая должна была дать победившему пролетариату библиотеку лучших произведений мировой классики. Чуковский заведовал англо-американской секцией. Блок – немецкой. Гумилев – французской. В 1921 году один за другим ушли и тот, и другой. Он уже раньше видел, как один за другим умирали от голода и уезжали друзья, но впервые на его памяти власть расстреляла одного поэта и уморила другого.

СКАЗКИ

Наверняка он тоже думал, уезжать или нет. Решил остаться. По призванию он был культурным работником, а сейчас культурная работа была нужна родине как никогда. И он остался делать эту ежедневную, неблагодарную, иногда скучную, иногда захватывающую работу: воспитывать читателя. До середины 1920-х годов он еще мог писать то, что думает, и публиковаться. Гайки, однако, завинчивались, и довольно скоро с критикой пришлось покончить: она не могла выжить в условиях постоянного идеологического давления. И, как обычно на стыке эпох, он менял занятие и брался за что-то новое. Сейчас у него подрастала дочка Мурочка, Мария, четвертая, младшая и, может быть, самая любимая. Именно ей досталось его взрослое, умудренное опытом отцовство – игры, разговоры, стихи... Для Мурочки он пересказывал любимые сказки – так появился Доктор Айболит и другие переводные, пересказанные истории. И посыпались свои – как из рога изобилия. За несколько лет домашнего счастья он написал почти все свои главные сказки – для нее, Мурочки.

К концу 20-х тучи над его головой стали сгущаться. Сначала под суд попала дочь Лида, угодившая в политический кружок и высланная из Ленинграда. Затем началась коллективизация – не только колхозная, но и писательская. Писателей-кустарей власть захотела объединить в артели для коллективного полезного труда. Сказки были объявлены вредным пережитком прошлого, а сам Чуковский – едва ли не вредителем. Его вынуждали отречься от сказок, признать свою неправоту, дать обещание служить социализму. Истерзанный критикой, которая требовала выбросить книги Чуковского из библиотек, выброшенный вон из профессии, он дал вымученное согласие. Пообещал какую-то «Веселую колхозию», сборник новых песен и частушек о колхозе для советских детей. И надорвался на этом. Всю жизнь не мог себе простить этого шага. И болезнь Мурочки расценил как наказание за малодушие.

ИЗГОЙ

Переделкино напоминало Куоккалу – разве что моря не было. Здесь он снова мог работать в тишине и покое. Покой был недолгим: едва переделкинский дом успели утеплить и обжить, как началась война. Оба сына ушли на фронт; любимый Боба погиб осенью 1941 года под Москвой, старший, Николай, стал свидетелем страшного умирания блокадного Ленинграда. Сам Корней Иванович писал статьи для Совинформбюро; потом, в ташкентской эвакуации, помогал искать семьи потерявшихся эвакуированных детей, написал книгу «Дети

и война», где рассказал, как много и умно дети воюющей страны помогают взрослым в работе. Он затеял почти невыполнимое дело: рассказать малышам, что это – война. На понятном им сказочном языке объяснить, за что сражаются взрослые. Попробовал включить в язык сказки языковые клише из сводок Совинформбюро. Мучился, переписывал заново и заново, читал детям в госпиталях и школах, проверяя, как они воспринимают сказку «Одолеем Бармалея». Наконец издал в Ташкенте и попытался издать в Москве. Но сказка, где отважные зверушки ездили на танках и защищались от наступающих гиен, многими была воспринята как злая насмешка над горем и подвигом советского народа... «Правда» написала о «пошлой и вредной стряпне Корнея Чуковского», он снова оказался отлучен от детской литературы. Еще одну попытку написать сказку он сделал после войны. В его «Бибигоне» были дача и мирное лето. Отважный лилипут Бибигон в треуголке храбро сражался с индюком и спасал сестру Цинцизелу от дракона. Дети приняли новую сказку, которую он прочитал по радио, с восторгом. Чуковского завалили письмами, в которых наперебой звали Бибигона в гости, слали ему рисунки и подарки... Он хотел даже сделать выставку этих трогательных писем, присланных детьми, только что пережившими страшную войну. Но «Бибигона» тоже объявили пош-

ТЯЖКОЕ

У Мурочки был костный туберкулез. Лечить его тогда не умели – только помещали больного в мягкий климат и давали усиленное питание, чтобы организм окреп и сам боролся с болезнью. Но еды было мало, не за горами был голод начала 30-х; оставалась надежда на климат. Мурочку – ослепшую на один глаз, с гипсом на обеих ногах – увезли в Крым, в алупкинский санаторий, где таких детей умели лечить. Порядки в санатории были свирепые: ребенка забирали у родителей, свиданий почти не разрешали – и, чтобы пробраться к Мурочке, отцу приходилось то выдумывать журналистское задание и писать очерк о санатории для «Нового мира», то приходиться к детям в качестве детского писателя... Крымский климат не помог. В 1931 году Мурочка умерла. Чуковский вернулся в Москву поседевший, постаревший, с ампутированной половиной души.

В Москве тем временем появились признаки перемен. Власти изменили отношение к писателям: их перестали шельмовать и травить, партия осудила перегибы – и теперь к писателям стали проявлять уважение. Печатать книги, давать зарплаты, переселять в новые квартиры. Понемногу вернулся к жизни и Чуковский, оглушенный своим горем. Тогда-то он и понял, как справляться с тоской и отчаянием: надо помогать другим людям. «Расширять сердце», – написал он однажды. Расширять, впускать в него других людей с их бедами и помогать им.

Писать сказки он больше не мог: он сам много раз говорил, что детский поэт должен быть прежде всего счастлив. Критика для него тоже была закрыта. Он ушел в некрасоведение (Некрасовым занялся еще до революции) и переводы. Всерьез занялся проблемой комплектования школьных библиотек и преподавания литературы в школе, написал об этом множество блестящих статей. Когда начались репрессии, он помогал детям арестованных, хлопотал за севших в тюрьму и канувших в неизвестность – а среди них был его зять, муж Лидии Корнеевны, талантливый физик Матвей Бронштейн. Кольцо постепенно сжималось вокруг его семьи – Лидию Корнеевну он насилу уговорил уехать из Ленинграда – ордер на ее арест был уже выписан; органы разрабатывали версию о шпионской деятельности сына Коли... Почему-то, однако, репрессии приостановились, не успев зацепить Чуковских, – почему, вряд ли мы когда-нибудь узнаем. Но оставаться в Ленинграде было опасно. Так что в 1938 году Корней Иванович с женой и сыном Бобой переехали в Москву. Вскоре они получили дачу в новом писательском поселке Переделкино – там пройдут следующие тридцать лет жизни Чуковского.

лым и вредным, аполитичным. Мешки писем на радио уничтожили, выставка не состоялась.

Следующие несколько лет — вплоть до смерти Сталина и «оттепели» — он жил изгнанником. Писал в газеты статьи к юбилеям писателей — то Чехова, то Некрасова, то Шевченко. Занимался Некрасовым, восстанавливал в текстах места, вымаранные цензурой, и готовил к печати его произведения. Писал свое «Мастерство Некрасова» — трудно писал, потому что так, как он привык — легко, парадоксально, остроумно, — ему не давали редакторы, которые из всякого его труда вымарывали любое неказенное слово, всякий удачный образ — и вставляли штампы и ссылки на основоположников. «Мастерство Некрасова» на сегодняшний взгляд кажется вымученным, тяжелым текстом, даже подневольным — однако современники восприняли его горячо и с сочувствием, и не только потому, что вопрос о формальном мастерстве Некрасова был принципиально нов для советского литературоведения, занятого поисками революционного содержания. Еще и потому, что угадывали в судьбах некрасовского поколения свою судьбу, в их жизни при политическом терроре — свою жизнь, и искали ответов на свои вопросы. Ответ у Чуковского был, и он не изменился с давних времен: займитесь, господа, культурой.

В последние десятилетия жизни, когда душная атмосфера позднего сталинизма сменилась энтузиазмом «оттепели», он занимался культуртрегерством — объяснял, как грамотно и с любовью писать для детей стихи, преподавать им литературу, как делать переводы, как говорить и писать по-русски, избегая казенной пошлости и дешевых штампов. Шумно радовался любым свежим мыслям, новым талантам, защищал их от гонений: вступался за Василия Аксенова, за Бродского, у него на даче подолгу жил Солжени-

цын... Переделкинская дача Чуковского стала, как некогда его куоккальский дом, центром тяготения для интеллигенции. К нему ехали поэты, писатели, переводчики, педагоги, иностранные делегации. Не просто как к детскому поэту, критику, литературоведу и теоретику перевода — он уже стал живым воплощением русской культуры, полуразрушенной за годы советской власти, но живой и непобежденной.

О СЧАСТЬЕ

Как же получилось, что одесский недоучившийся гимназист в дырявых штанах к концу жизни стал непререкаемым авторитетом в русской литературе? Может быть, дело в его колоссальной воле, непрерывном самообразовании и самовоспитании. «Я каждое утро заносу над собой кнут», — писал он на старости лет. Непрерывное чтение по-русски и по-английски, непрерывная работа каждый день, как бы плохо ни было на душе, какая бы ни стояла погода, каков бы ни был политический климат. Работа была и его отдушиной, его радостью, и его проклятием. Вся жизнь он много, систематически работал, воспитывал себя русским интеллигентом. Нравственным ориентиром для него всю жизнь был Чехов, у которого он учился вниманию к людям, участию, мягкости в обращении, по примеру которого построил в Переделкино детскую библиотеку. Он всю жизнь верно и бескорыстно служил русской литературе, про которую еще в 1906 году сказал: «Литература абсолютна». Литература для него воплощала все лучшее в людях, весь их культурный опыт, все духовное богатство, всю красоту и гармонию. Он сам не прощал себе редких отклонений от прямого курса и всякий раз возвращался на него, жертвуя карьерой, деньгами, возможностями — просто не мог иначе.

Был ли он счастлив, став седым патриархом русской словесности, хитрый дед, окруженный деточками, седой и одинокий литературный волк, проживший долгую и трудную жизнь? В его дневниках мы находим не только бездны отчаяния, но и свидетельства редких и ослепительных взлетов радости, когда, кажется, весь мир танцует вокруг: солнце в небе качается в пляске, летучие мыши на крыше платочками машут и пляшут, на березах от радости выступают слезы, а на осинах зреют апельсины. Он, человек сложный, неровный, депрессивный, умел делиться этой радостью как никто — и в своих сказках, где добро, победив зло, закатывает пир на весь мир, и в критике, где умеет не только браниться, но и замирать от счастья перед гением Толстого, Чехова или Блока. Он всю жизнь видел красоту языка, стиля, человеческой души, мира вокруг — и щедро делился этой красотой с читателем. Может, потому и выжил, и выстоял, и не сломался. 📖

И ГОГОЛЬ, ТАКОЙ МОЛОДОЙ

АННА ГАМАЛОВА

Некоторые книги были в нашей жизни всегда — вечные, как солнце, трава или новогодняя елка. Поэтому нам трудно понять, что когда-то и они ворвались в литературу неожиданными кометами, ошеломляя и радуя, — так же трудно, как представить себе бабушку молодой, а маму — девочкой. С «Вечерами на хуторе близ Диканьки» ровно так и обстоит дело.

ЧУТЬ БОЛЕЕ 180 ЛЕТ НАЗАД критик Петр Плетнев рассказал Пушкину о молодом писателе Гоголе-Яновском, «который обещает что-то хорошее» и заметил: «Я нетерпеливо желаю подвести его к тебе под благословение». Тогда Гоголь в самом деле еще только много обещал: названия его первых произведений (ну, кроме неудачного «Ганца Кюхельгартена») — «Глава из исторического романа», «Учитель», «Женщина» — нынешнему читателю даже и не говорят почти ничего.

Николай Васильевич тогда преподавал в Патриотическом институте, куда его устроил Плетнев, и учительствовал частным образом, в том числе был педагогом у слабоумного Васи, сына Александры Васильчиковой, которая приходилась теткой писателю Владимиру Соллогубу. Соллогуб так описывает первое знакомство с Гоголем: «Мы вошли в детскую, где у письменного стола сидел наставник с учеником и указывал ему на изображения разных животных, подражая при том

А.Ф. Кондырев.
Солоха вылетает из трубы.
Иллюстрация к повести «Ночь перед Рождеством». 1869 год



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

их бляению, мычанию, хрюканью и т.д. «Вот это, душенька, баран, понимаешь ли? баран, — бе, бе... Вот это корова, знаешь, корова, му, му». При этом учитель с каким-то особым оригинальным наслаждением упражнялся в звукоподражаниях. Работать над «Вечерами» Гоголь начал еще в 1829 году — ему едва исполнилось двадцать. В письмах домой он засыпал свою маму требованиями рассказывать ему «о поверьях, обычаях малороссиан, сказках, преданьях, находящихся в простонародьи», описать наряд сельского дьячка, описать свадебный обряд, сообщать мало-мальски интересные анекдоты... Вся работа уложилась в три года и была закончена в 1832 году; автор еще и отвлекался на исторический роман «Гетьман» и заграничную поездку. Спрятаться при публикации под маской «пасичника Рудого Панько» ему посоветовал все тот же Петр Плетнев.

Как вспоминал Соллогуб, по вечерам молодой учитель читал Васильчиковой, ее старой матери и сонму домашних приживалок свою «Майскую ночь»: «Кто не слышал читавшего Гоголя, тот не знает вполне его произведений. Он придавал им особый колорит своим спокойствием, своим произношением, неуловимыми оттенками насмешливости и комизма, дрожавшими в его голосе и быстро пробегающими по его оригинальному остроносому лицу, в то время как серые маленькие его глаза добродушно улыбались и он встряхивал всегда падавшими ему на лоб волосами. Описывая украинскую ночь, он как будто переливал в душу впечатления летней свежести, синей, усеянной звездами выси, благоухания, душевного простора. Вдруг он остановился. «Да гокак не так танцуется!» Приживалки вскрикнули: «Отчего не так?» Они подумали, что Гоголь обращался к ним. Гоголь улыбнулся и продолжал монолог пьяного мужика. Признаюсь откровенно, я был поражен, уничтожен; мне хотелось взять его на руки, вынести его на свежий воздух, на настоящее его место».

Очень скоро первая часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки» увидела свет – четыре повести: «Сорочинская ярмарка», «Вечер накануне Ивана Купала», «Майская ночь» и «Пропавшая грамота». Десятью годами позже Гоголь, составляя собрание сочинений, раздумывал, не выкинуть ли их вовсе, но не стал: «...то первоначальные ученические опыты, недостойные строгого внимания читателя; но при них чувствовались первые сладкие минуты молодого вдохновения, и мне стало жалко исключать их, как жалко исторгнуть из памяти первые игры невозвратной юности». В самом деле, Гоголь, автор хрестоматийного «Знаете ли вы украинскую ночь», был чуть старше 20 лет – редкое даже для избалованной талантами русской литературы явление совершенно оформившегося уже на

выходе из отроческих лет чистого и ясного гения. Сейчас трудно представить, какое ошеломляющее впечатление произвели живые, поэтичные и прекрасные «Вечера» на русскую публику. Отечественная литература в те времена была еще очень молода, золотой фонд ее был чрезвычайно мал и активно пополнялся действующими писателями. По преимуществу дворянская, она была салонной, библиотечной и кабинетной – ну, может, выбиралась иногда на лоно романтической природы... но деревня как она есть, со всеми ее обитателями возникала в литературе разве что где-то на обочине, где-то на полпути между Петербургом и Москвой. А тут вдруг вломился в нее и крепко обосновался целый мир – яркий, шумный, со своими преданиями и поэзией, смешной, страшный, трогательный. Гоголь писал Пушкину (Плетнев их познакомил в мае 1831 года) о том, как рассмешил наборщиков: «Любопытнее всего было мое свидание с типографией. Только что я просунулся в двери, наборщики, завидя меня, давай каждый фыркать и прыскать себе в руку, отворотившись к стенке. Это меня несколько удивило. Я к фактору, и он, после некоторых ловких уклонений, наконец, сказал, что *штучки, которые изволили прислать из Павловска для печатания, оченно до чрезвычайности забавны и наборщикам принесли большую забаву*. Из этого я заключил, что я писатель совершенно во вкусе черни». Пушкин отвечал: «Поздравляю Вас с первым Вашим торжеством, с фырканием наборщиков и изъяснениями фактора. С нетерпением ожидаю и другого: толков журналистов и отзыва остренького сидельца». Под «остреньким сидельцем» он имел в виду Николая Полевого, издателя «Московского телеграфа».

Искушенный, начитанный Пушкин – под статью простосердечным наборщикам – долго ходил очарованный новой книгой, о чем писал издателю «Литературных прибавлений к Русскому инвалиду» Воейкову: «Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился». И напоминал в 1836 году в рецензии: «Читатели наши, конечно, помнят впечатление, произведенное над ними появлением «Вечеров на хуторе»: все обрадовались этому живому описанию племени, поющего и пляшущего, этим свежим картинам малороссийской природы, этой веселости, простодушной и вместе лукавой. Как изумились мы русской книге, которая заставляла нас смеяться, мы, не смеявшиеся со времен Фонвизина!» А со времен Фонвизина к тому времени прошло сорок полных лет, за которые ничего равного «Недорослю» на свет не появилось – пока не затмил его славу тот же Гоголь со своими «Ревизором» и «Женитьбой».

Пушкин, правда, замечал в «Вечерах» «неровность и неправильность его слога, бессвязность и неправдоподобие некоторых рассказов»; кто сейчас предъявит книге, словно высеченной из цельного куска мрамора, упрек в стилистическом несовершенстве? Но 180 лет назад она еще была только что вышедшей из типографии книжкой, а критики делали свое дело: придирались и бранились. Так что Пушкин, предвидя упреки, которые посыплются на молодого сочинителя, просил издателя приложения к «Русскому инвалиду»: «Ради бога, возьмите его сто-

жизнью», а Полевой в «Московском телеграфе» вынужден был признаться, что вторая книжка хороша, но опять усмотрел «большие неправильности в языке». И тоже нашел «неистощимую веселость», далась же она им, эта веселость. И ладно «Ночь перед Рождеством», в самом деле уморительно смешная, но «Страшная месть»! В самом деле страшная, томительная, с мятущейся и стонущей душой пани Катери-

рону, если журналисты, по своему обыкновению, нападут на *неприличие* его выражений, на *дурной тон* и проч.». Желаящие нападать, разумеется, нашлись. И первым был «остренький сиделец» Николай Полевой, сам недавно опубликовавший в «Московском телеграфе» статью «Малороссия, ее обитатели и история». С этой статьей спорил в «Литературной газете» друг Гоголя Орест Сомов, а Полевой подозревал, что «пасичник Рудый Панько» Сомов и есть; так или иначе, в «Московском телеграфе» он безжалостно разбил книгу, обращаясь непосредственно к автору: «воля ваша, мы своим русским умом не понимаем этого высокопарения», «желание подделаться под малоруссизм спутало до такой степени ваш язык и всё ваше изложение, что в иных местах и толку не доберешься»... Полевой вменил в вину Гоголю даже «бедность воображения» и «скудость изобретения», не говоря уже об ожидаемых Пушкиным упреках в «отступлении от устава вкуса и законов изящного» и даже «ошибках против правописания».

Писатель Андрей Стороженко в «Сыне Отечества и Северном Архиве» на протяжении четырех номеров печатал свою этнографическую экспертизу «Вечеров» под псевдонимом «Андрей Царынный»; он вездливо указывал, что Левко на бандуре играть не мог, потому что на бандурах играют только слепые, а гетманский гонец в «Пропавшей грамоте» не мог ехать через Конотоп, а песня, которую поют парубки под окном головы, есть «смешение наречий малороссийского с русским» и т.д. и т.п., – живописность и занимательность книги, правда, он признавал. Споры об этнографической точности «Вечеров» тянулись еще несколько десятилетий, полемисты находили у Гоголя все новые неточности, хотя каждому было очевидно, что этнографически верное описание украинского быта в задачи этой насковозь сказочной книги вообще не входило.

Полевому поспешили возразить Орест Сомов все в тех же «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду») и Николай Надеждин в «Телескопе». К выходу второй книги «Вечеров» в общественном мнении – пожалуй, с легкой руки Пушкина – устоялся взгляд на книгу как на произведение живое, веселое, остроумное, несмотря на глубокую печаль, пронизывающую даже светлую и ясную «Майскую ночь», на фантазмагорию и чертовщину, которых в этой веселой и занимательной книге хоть отбавляй. Во вторую книгу, увидевшую свет в марте 1832 года, входили еще четыре рассказа: «Ночь перед Рождеством», «Страшная месть», отмеченная чуть не всеми рецензентами как самое сильное произведение в сборнике, «Иван Федорович Шпонька и его тетушка», рецензентами не замеченный, и «Заколдованное место». Баратынский, которому Гоголь подарил свою книгу, писал о ней: «Еще не было у нас автора с такою веселою веселостью, у нас на севере она великая редкость. Яновский — человек с решительным талантом. Слог его жив, оригинален, исполнен красок и часто вкуса. Во многих местах в нем виден наблюдатель, и в повести своей «Страшная месть» он не однажды был поэтом». «Телескоп» заметил, что «Рудый Панько владеет кистью смелую, роскошною, могущественною. Его картины кипят

ны, поэзию увидели в ней, но как же не увидели этого другого Гоголя – с его страхом смерти, с его метафизическими прозрениями и острой тоской. Как же не увидели Шпоньки – откуда начался третий Гоголь, миргородский, ревизорский, с острым глазом и ехидцей...

Впрочем, «Вечера на хуторе близ Диканьки» – это в самом деле юность русской литературы, со всем тем лучшим, что есть в юности: силой и искренностью чувств, непосредственностью, органичностью и красотой. Это хорошо разглядел Белинский, который в 1835 году отозвался о «Вечерах» так: «Это были поэтические очерки Малороссии, очерки полные жизни и очарования. Всё, что может иметь природа прекрасного, сельская жизнь простолюдинов обольстительного, всё, что народ может иметь оригинального, типического, всё это радужными цветами блещит в этих первых поэтических грезах г. Гоголя. Это была поэзия юная, свежая, благоуханная».

Молодой Гоголь не ставил себе никакой задачи, когда писал «Вечера». Ничему не учил, ничего не проповедовал, не ставил целей обличать и исправлять нравы – просто писал, потому что пишется, как птица поет, потому что поется, не зная даже, что из этого получится. Это потом он станет бичевать и горько осмеивать, поучать и наставлять, получит свою долю славы, осуждения и осмеяния... А «Вечера на хуторе близ Диканьки» так и останутся памятником счастливой молодости, полной сил и любви, – молодости, у которой еще все впереди, которая живет, поет и радуется миру, потому что не может иначе. 

И ЛИЦО, И МЫСЛИ, И ОДЕЖДА

АННА ГАМАЛОВА

Общеизвестно:
чем больше
в писательской биографии
фактических, а лучше
бы стилистических
совпадений с его
сочинениями, тем
прочнее слава.



РИА НОВОСТИ

МЫ ВЕДЬ ЛЮБИМ ТЕХ, КТО соответствует себе, а несоответствий не прощаем: не мог Шолохов написать «Тихий Дон»! Не мог перчаточник Шекспир знать людей и латынь лучше аристократов-современников! Зато Конан Дойл и сам раскрыл пару хитрых дел и увлекался вдобавок спиритизмом; Мелвилл, Джозеф Конрад и Грин не только описывали моря, но и странствовали по ним; Джек Лондон – сам бродяга и золотоискатель! И даже Гончаров, страшный лентяй и психопат, вечно боровшийся с апатией, любим нами за сходство с Обломовым: не просто писал человек, но жизнью расплачивался за литературу! В этом смысле Иван Ефремов – самый удачливый советский фантаст. Потому что никто из писателей его поколения не соответствует так точно собственной стилистике – холодноватой, загадочной, восходящей то ли к викторианской Британии, то ли вообще к античности с ее культом силы и совершенства. – Откуда вы такой взялись? — спрашивал его в недоумении Алексей Толстой зимой 1945 года. Он лежал в Кремлевской больнице с воспалением легких, пони-

мал, видимо, что умирает, и утешался чтением познавательной литературы – присланных ему на отзыв рассказов Ефремова о путешествиях. В самом деле, очень успокаивает – как гимназический роман. – Откуда у вас стиль такой... точеный? – Хаггард, – пожимал плечами Ефремов. И то сказать, у кого из дореволюционных подростков не было зачитанных до дыр «Копей царя Соломона» и сколько копий царя Соломона пошло гулять по страницам подростковой прозы? Но помимо Хаггарда, Буссенара, Жаколио, которых читали гимназисты начала века, Ефремов осилил гигантские тома справочников, энциклопедий, путешествий и классификаций: сам археолог, палеонтолог, основатель тафономии (дисциплины, исследующей сохранение органических останков в разных средах), он обладал дотошностью и нейтральностью истинного натуралиста. Спокойный, мощный, позитивный ум, добросовестность ученого при описании фантастического и невообразимого – вот что заставляло поколения читателей Ефремова верить в олгой-хорхой, которого не было и не бывает, или в магические серые кристаллы, воздействующие на человеческую память. А сколько советских — и западных – читателей представили себе будущее по Ефремову и не могут вообразить иной модели будущей цивилизации, кроме того стерильно-гармонического и все-таки трагического мира, о котором написана «Туманность Андромеды»? Наконец, «На краю Ойкумены» – едва ли не самая убедительная и наглядная книга о Древнем Египте, хотя здесь-то уж есть из чего выбирать. Ефремов – абсолютная загадка: никто ведь не привык выстраивать генезис крупного автора по таким

все остальное. Правда, после всемирного разочарования в коммунистической идее от гуманистической традиции в литературе вообще и фантастике в частности остались рожки да ножки. В массовом сознании, пожалуй, восторжествовала та самая модель мира будущего, с которой Ефремов страстно спорил в своих

литературных произведениях и посвященных литературе статьях, противопоставляя жадному, эгоистичному и беспринципному герою с бластером – своего, сильного и уверенного альтруиста, апокалиптическим картинам будущего – уверенность в другом пути, позволяющем человеку жить в согласии с природой.

Тем не менее Ефремов и сегодня читается без кривой всепонимающей ухмылки и даже по-прежнему завораживает читателя ощущением спокойной, неагрессивной и уверенной силы, которая не имеет ничего общего со стремлением подчинять себе других. Даже Александр Македонский у него – не завоеватель в первую очередь, а титан, человек исключительной внутренней силы; не разрушитель царств, а созидатель огромной империи. Мир будущего, выстроенный могучим воображением Ефремова, – мир без сознательного зла. Он исходит из традиционного для гуманистов-просветителей аспекта, что стремление к злу не есть неотъемлемое свойство человека, что можно правильно воспитать каждого члена общества, что люди будущего могут быть совершенно свободны от привычных современному человеку страстей, пороков, ошибок. Тут он спорил с братьями Стругацкими, чей мир будущего – тоже мир добра и разума, волшебного-прекрасный, однако населен он совершенно человеческими людьми, а не мраморными колоссами, ожившими титанами «золотого века». В интервью, посвященном созданию «Часа Быка», Ефремов говорил: «Некоторые фанта-

сомнительным источникам, как развлекательная литература начала века, да и в научных трудах редко ищут корни художественного дара. А между тем именно эти вещи – занимательность и азарт первооткрывателя от Жюль Верна и Буссенара, таинственность и экзотика от Хаггарда, основательность и познавательность от научной прозы – сформировали неповторимый ефремовский стиль.

Да и судьба его полна загадок, явных или мнимых. Начать с того, что собственный год рождения он скрыл, и, когда отмечать юбилей, мы не знаем. А «Час Быка», невероятным образом опубликованный в 1968 году и тут же накрепко закрытый для экранизаций и переизданий, не выдававшийся в библиотеках, вычеркнутый из справочников? А таинственный – сразу после смерти – обыск в кабинете Ефремова и конфискация всего его архива на два года с полным возвращением вдове? А слух о связи Ефремова с западными разведками, усердно культивировавшийся безвестными врагами его таланта? Наконец, сам фантастический разброс его интересов – медицина, эстетика, космизм, футурология, археология, история Египта, жизнь Александра Македонского – все наводило на мысль о некоем существе небывалой породы, представителе будущей расы, заброшенном в бурную Россию XX века бог весть какими космическими ветрами.

И даже внешность его – богатырский рост, густой бас, сказочная физическая мощь – внушала трепет тем немногим, кто бывал к нему близко допущен. Ефремов мыслил не привычными, бытовыми категориями, не причислял себя ни к западникам, ни к почвенникам, и вовсе уж немисливо было представить его в магазинной очереди, в транспортном потоке. Зато в бесчисленных своих экспедициях, среди монгольских пустынь, в среднеазиатских сумерках, на качающейся палубе – он был идеально на месте; нелюдимый, он редко допускал к себе коллег и остался такой же загадкой, как непостижимо возникающая в советской литературе «Туманность Андромеды». Утопия Серебряного века, прерванная революцией научно-фантастическая линия, идущая от Брюсова, Богданова, отчасти Сологуба, – вот что такое сказки Ефремова, в которых от коммунизма в его социальном, Марксовом, ленинском смысле не осталось решительно ничего. Он, конечно, был бы идеально на месте среди символистов – именно их практику продолжают его лучшие книги, ставшие окном в волшебный мир для всех послевоенных советских школьников.

Ефремовская фантастика – продолжение спора о сверхчеловеке, начатого русской литературой задолго до Ницше. Ни европейский соблазн наполеонизма он не принимает, ни русский ответ на него, по преимуществу христианский, этический; чужды ему и масскультовые супергерои с суперспособностями: все суперспособности его людей будущего – из области принципиально возможного, в отличие от способности, скажем, летать. Как сам он – явление прежде всего ренессансное, человек из редкой породы титанов, так и супергерои его – порождение гуманистической традиции, идущей от античности через Возрождение, люди, в которых совершенно по-чеховски все прекрасно: душа, и мысли, и

сты, например братья Стругацкие у нас, наделяют своих героев теми же чертами, которые вообще присущи человеку сегодняшнего дня, теми же положительными чертами, страстями, недостатками. И искусственно переносят их в самое отдаленное будущее. Разумеется, делать это легко, для этого даже и не надо быть писателем-фантастом. Но поступать так – значит поступать неправильно. Ведь, несомненно, человек будущего будет во многом отличаться от человека сегодняшнего дня. А предметом литературы всегда был человек. Следовательно, писатель-фантаст обязан прежде всего сказать что-то новое, что-то свое о человеке грядущего. Если он не может сказать ничего нового, то тут нет и литературы. Когда я пишу своих героев, я убежден, что эти люди продукт совершенно другого общества. Их горе не наше горе, их радости не наши радости. Следовательно, они могут в чем-то показаться непонятными, странными, даже неестественными. И я создаю образы своих героев, исходя из этого».

Они и в самом деле таинственно-непонятны; непонятно общество с коллективным воспитанием детей – так и подыскиваешь себе мысленно местечко на Яве, острове Матерей, куда отправляются женщины, не желающие препоручать воспитание детей социуму... Непонятны поступки, непонятны реакции, но колоссальная витальная сила обитателей ефремовского мира не может не увлекать.

Это ведь древний механизм чтения и отождествления себя с героем: чтение Ефремова заставляет вспомнить не о своей малости и слабости, а о своей внутренней силе и достоинстве; Ефремов не проповедует их, а делится ими – ясно и щедро. Одно это уже обеспечивает его книгам почетное место на полке лучших и любимых. Не говоря уже о таинственных, прекрасных и страшных образах неведомого будущего: о гигантских черных медузах с чужой планеты, о красноко-

жей красавице с Эпсилон Тукана с ее загадочным призывом «Оффа алли кор!», о празднике Пламенных Чаш...

Читателей так впечатлил этот ослепительный мир, что «Туманность Андромеды» со своего выхода в 1957 году до 1963-го, когда вышло «Лезвие бритвы», переиздавалась ежегодно огромными тиражами – до 500 тысяч экземпляров в 1959 году; за советские годы всего было около 20 переизданий. Не прекратились они и в постсоветские времена, хотя Ефремову многие ставили в вину, что он – уже после разоблачения сталинизма – пытался оправдать и реанимировать скомпрометировавшую себя коммунистическую идею.

Но идея будущего по Ефремову – больше и шире, чем апология или обличение того или иного социального строя. Недаром так никто толком и не разобрался, имел ли он в виду Советский Союз в «Часе Быка» – и вообще, социалистическую идею разоблачал или капиталистическую. Сам писатель говорил, что развил до логического предела тенденции, имеющие место в США и Китае при «великом кормчем»; его Торманс отвратителен сразу и по-коммунистически, и по-капиталистически – на что бы это было так похоже, так неприятно актуально?

Советская власть разглядела в книге свой портрет по принципу «на воре шапка горит» и отреагировала запретом: книжное издание 1970 года (до этого роман выходил в журнале «Техника – молодежи») стало последним при социализме, в следующий раз «Час Быка» увидел свет только в 1988 году.

Пожалуй, и Стругацкие, с которыми мэтр так спорил, ясно видели, что проблемы будущего у Ефремова шире узкосоциального толкования. Борис Натанович писал однажды: «Да, мы (с АН) очень хорошо понимали, что живем именно в Советском Союзе и именно в «такой момент», и тем не менее мысль написать утопию — с одной стороны вполне а la Ефремов, но, в то же время, как бы и в противопоставление геометрически-холодному, совершенному ефремовскому миру, — мысль эта возникла у нас самым естественным путем».

Что Ефремов ставил вопросы скорее антропологические, чем социальные, особенно ясно, если углубиться в его «Таис Афинскую» или «На краю Ойкумены», где всякое движение в мир приносят сильные и мудрые герои, или в «Лезвие бритвы», где он прямым текстом говорит о том, что единственно верен только срединный путь, хотя найти его и не впасть в крайность – немислимо трудно. Роман напоминает, что по лезвию бритвы ходит каждый из нас; свалиться легко; оправдать падение своим человечеством – эраре же хуманум эст – еще легче, но жизнь только тогда жизнь, когда она ищет не легкие пути, а верные.

В этом смысле Ефремов сейчас – хорошая прививка от уныния, свойственного эпохе разочарований: даже если утопического мира не вышло, а в нашем краю Ойкумены как жили при фараонах, так и живут, – то от нас самих зависит, быть титанами или не быть, удержаться на лезвии или брякнуться с него, тянуться вверх или продолжать валяться. ❶

«ПОРА ПОПУЛЯРИТЬ ИЗЫСКИ»

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Поэты — заложники эпохи: она выбирает из их стихов только созвучные и забывает остальное. Кому-то везет больше, кому-то меньше. Игорь Северянин — из невезучих. Он остался в истории русской литературы автором грезэрок, экстазов и морефей, воплотивших самый дух времени, пошлого, мещанского — и все равно полного самой неподдельной поэзии.



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

Игорь Северянин.
1910-е годы

ИГОРЬ ЛОТАРЕВ, НАЗВАННЫЙ по святцам в честь князя Игоря, был по рождению аристократом, состоял в родстве с Карамзиным (даже называл его дедом) и Фетом (мать его была урожденная Шеншина). Отец его, военный инженер, штабс-капитан, был моложе жены на пятнадцать лет; брак их развалился, когда будущий поэт был еще ребенком. Игорь остался с отцом — уехал вместе с ним из Петербурга в Череповец, где учился в реальном училище. Окончил всего четыре класса: сам дух торговли ему претил, и мальчик однозначно заявлял, что будет поэтом.

*Из меня хотели сделать торгаша,
Но торгашеству противилась душа.
Смыслу здравому учили с детских дней,
Но в Безразумность влюбился соловей.*

Стихи он писал с восьми лет. Учиться он больше нигде не учился, а жаль: при всей его ошеломительной одаренности и любви к литературе ему остро не хватало общей культуры. Может быть, доведись ему получить приличное образование, и поэт был бы другой — глубже, сильнее, умнее. Все задатки, все предпосылки для этого были. Но не сложилось.

Отец умер в 1904 году, когда Игорю было 17 лет. Юный поэт поселился у матери в Гатчине. Там и познакомился с вечно пьяным, одетым в отрепья, странным поэтом Константином Фофановым, который, собственно, и убедил молодого Лотарева, что он гений. Фофанова, да еще Мирру Лохвицкую, рано умершую поэтессу, юноша ценил больше других поэтических авторитетов и был верен этой любви всю жизнь. «Я Лохвицкую ставлю выше всех: // И Байрона, и Пушкина, и Данта», — признавался он в стихах. Удивительно, что он считал Цветаеву бездушной, а Пастернака — на-

звал «бездарью» и «заурядью»; вкус подводил его постоянно. Фофанов и Лохвицкая – последняя заря поэзии XIX века; от них, пожалуй, он унаследовал легкость и певучесть. Но пошел дальше – и стал одним из тех русских поэтов, которым суждено было основать целое направление в поэзии, сделать множество открытий, исчерпать обнаруженные возможности до дна – и направление закрыть: после него здесь сделать ничего нельзя.

Ту же жилу несколько раньше взялся разрабатывать Бальмонт, изучавший формальные возможности русского стиха, способы придать ему особую музыкальность, напевность, пластичность. Северянин пошел дальше: его музыкальность – почти нестерпима, на грани приторности, напевность навязчива и гротескна, он будто стремится сделать из русского языка французский, если не эльфийский; свою поэтическую речь он насыщает варваризмами и макаронизмами, особенно упирая на «э»: «элегантная коляска, в электрическом биенье, эластично шелестела по шоссейному песку»... Иной раз и вовсе не поймешь, на каком языке это написано:

*Пора популяризировать изыски, утончиться вкусам народа,
На улице специи кухонь, огимнив эксцесс в вирелэ!*

Начало поэтической карьеры Северянина (считается, что этот псевдоним он выбрал, покоренный северной природой Череповца, а потом – окрестностей Петербурга) было не особенно радужным: он печатал за свой счет не книжки даже, а брошюры, некоторые по две страницы, и напечатал их целых 35 штук. Первой всероссийской славой он обязан Льву Толстому, которому в 1909 году привезли одну из северянинских брошюр, с «Хабанерой II»: «Вонзите штопор в упругость пробки, – // И взоры женщин не будут робки». Лев рыкнул: «Чем занимаются, чем занимаются... И это – литература? Вокруг – виселицы, полчища безработных, убийства, невероятное пьянство, а у них – упругость пробки...» Северянин говорил потом: «С легкой руки Толстого... меня стали бранить все, кому было не лень». Но вместе с руганью пришла скандальная слава, выступления, публикации – и деньги.

Я ВСЕ-ТАКИ ХОРОШИЙ

В деньгах он нуждался отчаянно. Одну из самых больших ошибок в своей жизни он сделал в юности не в последнюю очередь из-за безденежья. Он был влюблен в дочь гатчинского сторожа-алкоголика Женю Гуцан, ученицу швеи. Золотоволосую красавицу он назвал Златой и какое-то время был с ней безоблачно счастлив: продал библиотеку, которую любовно собирал, снял квартиру... денег хватило на три месяца радости: «Такое счастье, истинное счастье, которое спустя шестнадцать весен и разлюбя с тех пор полсотни женщин, испытываю всей своей душой!» Потом оказалось, что Злата ждет ребенка, а он – без денег, без профессии, без работы – ну что за жених... Злата ушла на содержание к богатому старику, родила дочь Тамару, потом, после смерти покровителя, вышла замуж за немца и уехала в Берлин... Свою дочь поэт увидел уже 16-летней. Злату он любил много лет, о ней написал поэму «Падающая стремнина» – печальную и предельно откровенную историю первой любви.

В его первых любовных стихах то и дело сквозь поэтические красоты прорывается совершенно детское отчаяние: «И я, и я в разлуке изнемог! // И я – в тоске! Я гнусь под тяжкой ношей... // Теперь я спрячу счастье «под замок», – // Вернись ко мне: я все-таки хороший...» (А неуместные, ненужные, бескультурные кавычки так и торчат по его стихам, до самых последних дней...) Любовная лирика адресовалась не только Жене-Злате: Северянин был влюбчив, как Дон Жуан, одна возлюбленная в его стихах и жизни сменяет другую – а то и появляется рядом, параллельно; писать о них – никаких журнальных площадей не хватит. Возлюбленные получали пышные, помпезные имена – одна была Мадлена, другая Королева, третья – Балкис Савская... Они рожали ему детей, и все дети его жили порознь, в разных странах, носили разные фамилии – одна дочь, последней его гражданской жены, Веры Коренди, получила фамилию Северянина. Сколько было возлюбленных – пересчитать невозможно; пятое издание книги «Громкипящий кубок» он посвятил своей «тринадцатой», Марии Волнянской, она же Балкис; прожил с ней семь лет и расстался – потому что она «не смогла жить с поэтом»...

«Громкипящий кубок», вышедший в 1913 году, принес Северянину оглушительную славу. Все графоманы страны (ну, может, за исключением графоманов-народников) стали писать под Северянина. Отметился среди северянинских эпигонов, кстати, и молодой Юрий Олеша, году этак в 1915-м опубликовавший свое первое стихотворение с совершенно северянинским названием «Кларимонда».

«Если вы желаете меня оскорбить, подражайте мне», – изрек Северянин в публикации своих афоризмов, которой дал название «Блестки».

РЯДОВОЙ МЕРСИ

«Громокипящий кубок» был ошеломительно нов: он принес в русскую литературу совершенно неслыханные напевы, струнные, мандолинные, томные... Сам мир его стихов был до невозможности, как сказали бы сейчас, гламурен: здесь вам и салоны, и автомобили с «шоффэрами», и рестораны, и аэропланы, и модные места для прогулок... Актуальные до карикатурности, благозвучные до пустозвонности северянинские «поэзы» балансировали на грани автопародии, время от времени заваливаясь за эту грань. Впрочем, иногда это была совершенно сознательная установка.

Он уже стал основателем «эгофутуризма», благополучно развалившегося довольно скоро (из эгофутуристов стоит назвать, пожалуй, Константина Олимпова, сына Фофанова, да еще Василиска Гнедова и молодого Георгия Иванова, который быстро переметнулся к акмеистам). Эпатировать буржуа – это было самое футуристическое занятие. Публику Северянин (как и кубофутуристы, в их числе Маяковский) не любил и щедро поливал стихотворными ругательствами – достаточно вспомнить только «великосветских олухов», которые «в княжьей гостиной наструнились, лица свои оглупив», с торжественной кодой «Я презираю вас пламенно, тусклые ваши сиятельства...», звучащей как «свинные ваши морды»... А публика его обожала – в основном, конечно, женщины и молодые поэты. Письма от поклонниц носили мешками, по провинции разъезжали с выступлениями фальшивые Северянины... Он в самом деле был «повсеградно оэкранен» и «повсесердно утвержден». Северянин давал «поэзоконцерты» в столицах и гастролировал по провинции. Бунин ревниво писал: «Игоря Северянина знали не только все гимназисты, студенты, курсистки, молодые офицеры, но даже многие приказчики, фельдшерицы, коммивояжеры, юнкера, не имевшие в то же время понятия, что существует такой русский писатель Иван Бунин». Впоследствии, когда Северянина просили прочитать что-нибудь из его са-



Игорь
Северянин.
1933 год

ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

лонных, парфюмерных стихотворений, он мрачно отвечал: «Эти стихи неуместны здесь. Они – для дураков».

В своем презрении к «двуногим», к обывательской массе он страшнее Пушкина, говорившего о «черни», и очень близок к Саше Черному и Маяковскому с их физиологическим отвращением, с животной брезгливостью к «мясу»: «Мясо наелось мяса, мясо наелось спаржи, // мясо наелось рыбы и налилось вином. // И расплатившись с мясом, в полумясном экипаже // Вдруг покатило к мясу в шляпе с большим пером. // Мясо ласкало мясо и отдавалось мясу...»

А о себе замечал философски: «Он тем хорош, что он совсем не то, // Что думает о нем толпа пустая. // Стихов принципиально не читая, // Раз нет в них ананасов и авто». Ананасов в шампанском, которые ему всякий раз норовили подсунуть угощавшие его поклонники, он тоже не ценил – предпочитал обычную русскую еду. Рассказывают, как удивился молодой Антокольский, увидев, что Северянин вместо какого-нибудь мороженого из сирени заказал в ресторане штоф водки и соленый огурец. Те, кому доводилось посетить Северянина дома (а у него были специальные приемные дни для молодых поэтов, для поклонниц и для издателей), удивлялись и темному, грязному подъезду, и плохонькой квартирке с развешанным на просушку постиранным бельем: за фанерной перегородкой была прачечная...

Впрочем, есть и обратные свидетельства. В Первую мировую Северянина забрали в армию. Писатель Леонид Борисов рассказывал в своих воспоминаниях, что рядовой Лотарев стрелял из рук вон плохо, но однажды три выстрела из пяти у него все же угодили в цель. «Батальонный командир похвалил Лотарева:

– Молодец, солдат!

На что Северянин, он же солдат Лотарев, чуть повернувшись в сторону батальонного командира, небрежно кивнул:

– Мерси, господин полковник!»

Ответить полагалось: «Рад стараться, ваше высокоблагородие». Лотарев получил прозвище «рядовой Мерси». Впрочем, из армии его вскоре комиссовали: сам профессор Бехтерев освидетельствовал его и нашел у рядового Мерси тягелую неврастению.

Но даже с ананасами и авто он был не только претенциозен, парфюмерен и дурновкусен, но еще и нов, и свеж, и музыкален, о чем непременно говорил всякий пишущий о нем критик. Чуковский, автор первого большого литературного обзора о футуристах, отзывался о Северянине так: «Дух дышит где хочет, и вот под вульгарной личиной сноба – радующий и светлый поэт. Бог дал ему, ни с того ни с сего, такую певучую силу, которая, словно река, подхватит тебя и несет, как бумажку, барахтайся сколько хочешь: богатый музыкально-лирический дар. У него словно не сердце, а флейта, и, сколько бы ему ни было лет, ему вечно будет восемнадцать». Музыкален он был не только в переносном смысле, но и в самом прямом: свои стихи он пел – отчасти на какие-то свои мотивы, отчасти на популярные мотивы из Амбруаза Тома, своего любимого композитора. Публику он зачаровывал, как удав кроликов:

*В шумном платье муаровом,
в шумном платье муаровом*

По аллее олуненной

Вы проходите морево...

Ваше платье изысканно,

Ваша тальма лазорева,

А дорожка песочная

от листвы разузорена –

Точно лапы научные,

точно мех ягуаровый.

Выходил мрачный, неулыбчивый, в сюртуке под цвет волос – воронова крыла, с орхидеей в петлице, расхаживал по сцене огромными шагами, декламировал – пел свои стихи, не обращая на публику ни малейшего внимания, – и уходил без поклона. Публика трепетала и рукоплескала.

Я САМ СЕБЯ НЕ ПОНИМАЮ

В отрыве от ананасов и авто это был совсем другой поэт, не городской даже, не публичный, а тихий и счастливый лирик, влюбленный в мир, солнце, лето, цветы. Недаром так часто появляется в его лирике образ сирени – счастливой, обильно цветущей, иногда прекрасной, иногда страшной, даже хохочущей; сирень у него – это, пожалуй, жизнь, цветная и остро пахнущая...

Как и у Саши Черного, у Северянина очень сильны гамсуновские мотивы ухода из города – куда-нибудь в деревню, в тишину, к рекам, к простой, спокойной жиз-

ни... Он и уезжал из Петербурга – снимал с матерью дачу в эстонской деревне Тойла, по примеру Федора Сологуба, отдохавшего там же. Любил рыбачить. Любил просто гулять. Тишина, лесное и речное спокойствие вселяли в него неуемную радость жизни, громкую и ликующую.

Теперь ли тосковать,

Когда поспел ячмень?

Я всех расцеловать

Хотел бы в этот день!

После революции и объявления независимости Эстонии Северянин оказался в вынужденной эмиграции. Он специально подчеркивал: я не эмигрант, я дачник. На родине остались друзья, литературные связи, издатели... Впрочем, издательства довольно скоро позакрывались. В Эстонии не было страшного петроградского голода, но литературной работой прожить было очень трудно. Не было читателя, не было слушателя, не было среды. Он пытался работать в одиночестве.

Среди глуши, бумаги и чернил,

Без книг, без языка, без лживой кружки

Я заживо себя похоронил

В чужой лесной озерной деревушке.

В 1921 году умерла мать Игоря Васильевича. Очень скоро после ее смерти он женился на 19-летней эстонской поэтессе Фелиссе Круут, как говорил – спасаясь от ужаса одиночества на чужбине. Это оказался единственный в его жизни венчанный брак. Серьезная, взрослая не по летам, Фелисса взяла на себя заботы о повседневной семейной жизни. Делала подстрочники эстонской поэзии, Северянин переводил их на русский стихами, в его переводах вышли лучшие стихи современных ему эстонских поэтов. Дела все равно не слишком ладились. В 1925 году он жаловался в письмах, что сидит без хлеба, на одном картофеле, дров нет, зарабатывать не может, поскольку болен... Одному знакомому он жаловался: «Подумать страшно, – я живу нахлебником у простого эстонца... только оттого, что женился на его дочери. Я для него не знаменитый поэт, а барин, дворянин, сын офицера. За это он меня и кормит. Ему лестно. А я ловлю рыбу. И читаю свои стихи речным камышам и водяным лилиям. Больше ведь некому. Кругом глушь, мужичье. Ночью я часто сажусь в лодку и выезжаю на середину реки. Звёзды отражаются в воде, камыши так мелодично, так ритмично шуршат, как аккомпанемент моим стихам. Я читаю и сам слушаю свой голос и плачу. Мне начинает казаться, что я не читаю, а только слушаю то, что поют «хоры стройные светил». И тогда почти смиряется души моей тревога...»

В 1931 году Северянин издал сборник «Классические розы», который считается лучшим в его творчестве. Заглавное стихотворение – это те самые «как хороши, как свежи были розы» – строки, которые потом начертали на его могиле и по которым Северянина помнят едва ли не лучше, чем по «ананасам в шампанском». «Классические розы» – это густая, отстоявшаяся, трудная тоска по родине.

*О России петь – что стремиться в храм
По лесным горам, полевым коврам...*

*О России петь – что весну встречать,
Что невесту ждать, что утешить
мать...*

*О России петь – что тоску забыть,
Что Любовь любить, что бессмертным
быть!*

Весь сборник – о том, что там, за государственной границей. О счастливых воспоминаниях и угнетающих размышлениях, о постоянной дилемме – вернуться или нет, о надежде, о себе:

Я – русский сам, и что я знаю?

Я падаю. Я в небо рвусь.

Я сам себя не понимаю,

А сам я – вылитая Русь!

Стихи сборника – прочувствованные, искренние, горькие... иногда слишком декларативные, рассудительные, резонерские; чем старше Северянин – тем больше резонерства в его стихах... и сквозь декларацию и пафос прорывается страшное, заветное:

Ничего! – ни от вас,

лепестки белых яблонек детства,

Ни от вас, кружевные гондолы

утонченных чувств:

Я растратил свой дар –

мне врученное Богом наследство –

Обнищал, приутих и душою

расхищенной пуст...

Ради заработка он ездил с женой по Европе, выступал перед эмигрантами с чтением стихов. Фелисса родила ему сына, которого назвали Вахмом, боролась с пьянством мужа, которое приводило ее в отчаяние. Василий Шулгин, хорошо знакомый с этой парой, писал в воспоминаниях: «Она была от балтийской воды; он – от российской

водки. Он, по-видимому, пил запоем, когда она стала его женой. Но у нее был характер, у этой принцессы с эстонской мызы. Она не отступила перед задачей более трудной, чем выучиться писать русские стихи; а именно: она решилась вырвать русскую душу у боярина Петра Смирнова. Ей это удалось, в общем. Когда я

нинграда, задумываться о переезде; его стихотворение увидело свет в «Огоньке», к нему приезжали корреспонденты из «Известий», он отправил рукопись в ленинградское издательство... Все планы нарушила война, рукопись погибла вместе с издательством при первой же бомбежке, Северянин просил, чтобы советские власти выделили ему машину для выезда из Эстонии, но из этого ничего не вышло... Имущество Северянина и Коренди практически погибло при

с ними познакомился, он не пил ничего; ни рюмки. И в нем не было никаких признаков алкоголика; кроме разве вот этой полупечали». И дальше, говоря о том, как часто муж огорчал и обманывал Фелиссу, Шульгин замечал: «Она его все же не бросила; она не могла бросить дело своей жизни, она была и тверда, и упряма; но она бессильна удерживать в своем собственном сердце два отношения к своему собственному мужу; к мужчине бесконечно спасаемому и вечно падающему». Брак дал трещину; поводом для окончательного разрыва стало увлечение Северянина учительницей Верой Коренди. Фелисса не простила.

МИРА НЕ ПЕРЕДЕЛАЕШЬ

С Верой Коренди Северянин прожил до конца своих дней, и не слишком-то счастливое это было время. Стихов, посвященных ей, не существует – да он на склоне лет и вовсе перестал записывать стихи. Он старел и болел, мучился безденежьем и отсутствием смыслов.

*Мира не переделаешь,
Благодетства в него не вложишь,
Черное подло, как белое,
Повсюду одно и то же.
Все партии отвратительны,
Потому что они партийны.
Поэтому с людьми мучительно:
Их подлость почти стихийна.
В деревне ли жить ли, в городе ль,
Ах, люди повсюду люди.
Уж лучше к простору озер идти:
Там все же их меньше будет.
Вдохнешь на безлюдьи чуточку
От взора, вражды и каверз,
Спасительную взяв удочку,
К зеленой идя дубраве...*

Книги не продавались; он ловил рыбу и пытался продавать ее дачникам; предлагал приезжим в местной гостинице свои книги с автографами... Ему предлагали поступить на службу – он возмущался: он поэт, поэт не должен служить. Жил фактически на средства гражданской жены.

В своей вынужденной эмиграции он не раз задумывался о возвращении – но уже был крепко привязан к Эстонии – сначала одной семьей, потом другой. Чем тяжелей становилось его положение, тем больше он задумывался о том, чтобы вернуться. Кажется, просвет для него наметился в 1940 году, когда Эстония была объявлена советской. Он стал получать первые письма из Москвы и Ле-

бомбежке, Северянин заболел воспалением легких (это – не считая туберкулеза и болезни сердца); по воспоминаниям Коренди, бредил и в бреду разговаривал с Пушкиным, Маяковским, Миррой Лохвицкой... Врачи не надеялись его спасти, но он выжил; встал вопрос о том, чтобы лечиться в Таллине. Больного поэта подкармливал трехразовым пайком немецкий врач, который сказал Вере Коренди, что он сам поэт и ненавидит фашистов; он же устроил пару на поезд в Таллин. Ехали два дня поездом, Северянин не мог уже сидеть, был слаб, начальник битком набитого поезда уступил ему свое купе... Впрочем, спасти умирающего Северянина нельзя уже было ни пайками, ни переездами: вслед за вторично утраченной Россией на его глазах гибла и Европа, уходил мир, уходила жизнь, уходили все смыслы. В жизни не оставалось ничего, за что он мог бы держаться – и 20 декабря 1941 года Игорь Северянин умер от сердечного приступа.

Чуть не всякую статью о нем принято заканчивать двустушием о розах, брошенных в гроб, но у него много и других хороших стихов. Вот, например:

*Еще весной благоухает сад,
Еще душа весенится и верит,
Что поправимы страшные потери, –
Еще весной благоухает сад...
О, нежная сестра и милый брат!
Мой дом не стит,
для вас раскрыты двери...
Еще весной благоухает сад,
Еще душа весенится и верит... ❀*

«Я — ИЗЫСКАННЫЙ СТИХ»

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Полагают, что прадед Бальмонта носил фамилию «Баламут». Как украинский Баламут превратился в звонкозвучного Бальмонта, никому не известно. Но эта экзотическая фамилия очень идет поэту, похожему на тропическое растение, неожиданно выросшее под холодным среднерусским небом.



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

вон из него — в любимую деревню, за границу, к морю и солнцу. Удивительно, что он, уроженец неяркой, негромкой и печальной Центральной России, стал поэтом бурных страстей и певцом Солнца:

*Я в этот мир пришел,
чтоб видеть Солнце
И синий кругозор.
Я в этот мир пришел,
чтоб видеть Солнце
И выси гор.*

ХОЧУ БЫТЬ ДЕРЗКИМ

Чтобы дать детям образование, родители переехали из любимых Гумниц в фабричную Шую. Гимназию Константин не любил, сильно скучал, а к старшим классам попал в нелегальный народовольческий кружок — из искреннего желания изменить мир и чужую жизнь к лучшему. За участие в кружке его выгнали из седьмого класса, хлопотами матери Бальмонта устроили в гимназию во Владимире, где он уже жил один, на квартире у учителя. Эту гимназию он тоже не особенно любил и кое-как ее окончил полтора года спустя, иначе как о «тюрьме» о ней не отзывался. И с высшим образованием у него не сложилось: с юридического факультета Московского университета его отчислили за участие в студенческих волнениях, он пытался учиться в ярославском Демидовском лицее, но не окончил и его; изучение биографий русских поэтов показывает, что большинство из них плохо ладил с формальным образованием, но занимались постоянным самообразованием, много и систематически работая; таков был и Бальмонт.

Он рано женился — против воли матери, и с женьбой не заладилось. Крассавица Лариса Гарелина оказалась

П О ПРОИСХОЖДЕНИЮ БАЛЬМОНТ БЫЛ ПОМЕЩИК ИЗ САМОЙ РУССКОЙ глубинки: из Шуйского уезда Владимирской губернии. На русско-го помещика он походил, правда, весьма мало: усы, слишком большие и остроконечные, чтобы быть консервативными, борода в донкихотском духе, поэтическая шляпа, ударение на «о» в фамилии — считается, что он сам его стал туда ставить, все родственники ударили на «а»...

До 10 лет Константин, третий из семерых сыновей в семье, жил в деревне, в родительском поместье. Отец был поглощен земскими делами и охотой, которую очень любил; мать, женщина деятельная и одаренная (как говорил ее сын — необузданная и страстная), любила литературу, знала несколько языков, устраивала любительские спектакли — она-то и воспитывала сына в любви к истории, литературе и языкам. Языки ему давались легко, читал он много и в особенности любил русских поэтов — Пушкина, Некрасова, Кольцова, Никитина; иностранные книги читал в оригинале. В 10 лет он уже писал стихи; свои первые стихотворные опыты показал матери, но она так жестоко раскритиковала их, что Константин «замолчал» на шесть лет.

Детство Бальмонта — классическое русское усадебное детство — прошло во владимирской деревне Гумницы, где стоял небольшой и уютный родительский дом. «Моими лучшими учителями в поэзии были — усадьба, сад, ручьи, болотные озера, шелест листвы, бабочки, птицы и зори», — признавался он. И говорил, что любит деревню и видит в ней «малый Рай». При этом, кажется, трудно найти в современной ему литературе поэта, более городского по настроению и мироощущению; его будто разрывало пополам — тянуло и к городу с его соблазнами, и

такой же нервной особой, как и он сам, он жаловался на ее непонимание и равнодушие и к его стихам, и к его революционным порывам. В стихотворении «Лесной пожар», по убеждению исследователей – автобиографическом, он говорит о ее пьянстве:

*Мне стыдно плоскости
печальных приключений,
Вселенной жаждал я,
а мой вампирный гений
Был просто женщиной,
познавшей лишь одно,
Красивой женщиной,
привыкшей пить вино.*

Считается, что она и втянула Бальмонта в пьянство; пил он много и, по воспоминаниям современников, в пьяном виде, даже от небольшой дозы алкоголя, становился страшен и неприятен, в нем просыпалось что-то зверское, нехорошее.

Несчастливая семейная жизнь, неустроенность, тоска, неудача первого стихотворного сборника (он сжег весь тираж) – все это заставило молодого Бальмонта пытаться покончить с собой. В 1890 году он выбросился из окна третьего этажа. Остался жив, но после этого год пролежал в постели, многое пережил, о многом передумал, встал с одра с новыми силами – и начал медленное восхождение к славе.

«В долгий год, когда я, лёжа в постели, уже не чаял, что я когда-нибудь встану, я научился от предутреннего чирикания воробьёв за окном и от лунных лучей, проходивших через окно в мою комнату, и от всех шагов, достигавших до моего слуха, великой сказке жизни, понял святую неприкосновенность жизни. И когда наконец я встал, душа моя стала вольной, как ветер в поле, никто уже более не был над нею властен, кроме творческой мечты, а творчество расцвело буйным цветом...» – вспоминал он.

Однако всю жизнь с тех пор хромал – и еще раз потом пытался покончить с собой, и опять выбросившись из окна; что-то в этой склонности к полету есть очень характерное именно для Бальмонта. Уж чего-чего, а приземленности в его ха-

рактере не было ни на грамм. Может быть, потому современникам казался таким удачным его второй брак: переводчица Екатерина Андреева, происходившая из крепкой купеческой семьи, была женщина разумная, спокойная, рассудительная, умевшая не давать Бальмонту совсем оторваться от почвы и улететь...

Со временем, впрочем, он ушел от Андреевой к Елене Цветковской, такой же сумасбродной, нервной и хаотичной, как он сам; жил на два дома. Потом от Цветковской его шатнуло к Дагмар Шаховской...

А в промежутке был долгий роман в стихах и письмах с поэтессой Миррой Лохвицкой, конец которому положила только ее преждевременная смерть...

Страстный и влюбчивый Бальмонт на рубеже веков изумил всю русскую читающую публику своими откровенными, не без вызова, признаниями:

*Хочу быть дерзким, хочу быть
смелым,
Из сочных гроздий венки свивать.
Хочу упиться роскошным телом,
Хочу одежды с тебя сорвать!*

Вторая половина XIX века пригнула русскую поэзию к земле, обременив страданиями о народной доле и предсмертной надсоновской меланхолией. Бальмонт со своей пьянящей весной и немислимым предложением «Будем как Солнце» ошеломил, обрадовал и покори́л и читающую публику, и коллег-поэтов.

ПОПОКАТЕПЕТЛЬ И ВЛАДИМИРЩИНА

В стихах своих он был «многоязычен и многолюбив», как сам о себе сказал, – в них целый калейдоскоп чужих стран и экзотических образов.

*На Попокатепетле
Огням свершился срок.
Лишь след огнистой лавы
Еще хранит светло
Взнесенной Оризавы
Могучее жерло.*

Правда, находим мы у него и удивительной точности строки о русской природе:

*Есть в русской природе усталая
нежность,
Безмолвная боль затаенной печали,
Безвыходность горя, безгласность,
безбрежность,
Холодная высь, уходящие дали.
<...>*

*Как будто душа о желанном
просила,
И сделали ей незаслуженно-больно.
И сердце простило, но сердце
застыло,
И плачет, и плачет, и плачет
неволью.*

Можно даже не сравнивать всю эту декоративную пышность Попокате-петлей и Оризав с холодной высью и уходящими далями; понятно все без слов. При всей своей космополитичности Бальмонт имел все основания заявлять о себе в стихах «я – русский».

МИНУЯ ЗЕМНЫЕ ПУТИ

Правда, заявлял он о себе не только это. «Я ведь только облачко, полное огня», – предупредил он в одном стихотворении. И в другом: «Я – внезапный излом, // Я – играющий гром, // Я – прозрачный ручей, // Я – для всех и ничей». И в третьем:

*Пойми, о нежная мечта:
Я жизнь, я солнце, красота,
Я время сказкой зачарую,
Я в страсти звезды создаю,
Я весь – весна, когда пою,
Я – светлый бог, когда целую!*

И в четвертом: «Как воздушно в нежном сердце у меня!»

Бальмонт был искренне, от всей души, счастливо влюблен в себя и свой поэтический дар; современники вспоминали о его постоянной поэтической позе, о неврастеническом надрыве и бесконечной любви к себе самому. «Изнемогал от самовлюбленности, был упоен собой», – желчно припечатал его Бунин.

С другой стороны, он и был неврастеником; неврастения его к старости перешла в душевную болезнь, душевно болен был его брат и его

сын; это не сознательно избранная поэтическая поза, а врожденная беда. И в счастье его самоупоения было много хорошего: в первую очередь ощущение внутреннего солнца, которое заставляло его желать осчастливить всех. Марина Цветаева, которой Бальмонт много помогал в голодные 20-е, говорила о его способности отдать последнее полено, а переводчик Марк Талов вспоминал, как небогатый Бальмонт тайком совал ему, совсем безденежному, деньги в карманы пальто.

Бальмонт называл себя «поэт», в третьем лице – «Хотите, поэт придет к вам по воздуху, минуя земные пути?» – и последняя жена его, такая же сумбурная, экзальтированная и взбалмошная, тоже звала его «поэт». И Цветаева говорила – Бальмонт был весь Поэт, воплощенный поэт.

Отсюда, может, и его странная самовлюбленность, что он не разделял себя и поэзию, что любил в себе ее стихию, чувствовал ее мощь:

*Я – изысканность русской
медлительной речи,
Предо мною другие поэты –
предтечи,
Я впервые открыл в этой речи
уклоны,*

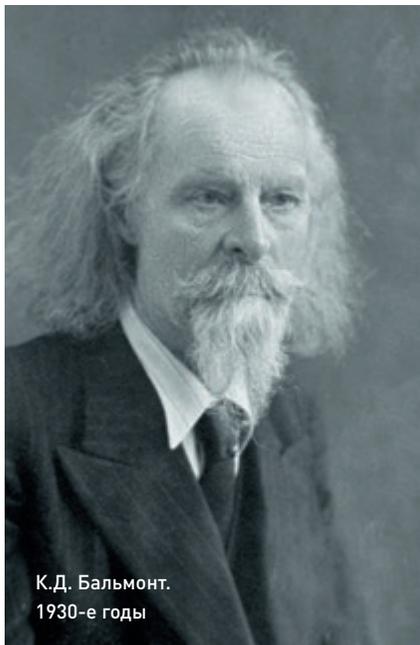
*Перепевные, гневные, нежные
звоны.*

*Я – внезапный излом,
Я – играющий гром,
Я – прозрачный ручей,
Я – для всех и ничей.*

*Переплеск многопенный,
разорванно-слитный,
Самоцветные камни земли
самобытной,
Переключки лесные зеленого мая –
Все пойму, все возьму, у других
отнимаю.*

*Вечно юный, как сон,
Сильный тем, что влюблен
И в себя и в других,
Я – изысканный стих.*

Он и был – стих; как писал о нем Борис Зайцев – «великолепный шантеклер, приветствующий день, свет, жизнь...», как говорил Блок: «Когда слушаешь Бальмонта – всегда слушаешь весну».



К.Д. Бальмонт.
1930-е годы

ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

НА БАЛЬМОНТСКОМ

Он, такой отвлеченный, такой вакхический, такой неземной – облачко, полное огня, – был серьезным и стабильным работником. После неуспеха своего первого сборника и расставания с первой женой – а этот брак рассорил его с родителями и лишил их финансовой поддержки – он едва только не голодал, сильно нуждался. Профессор Московского университета Стороженко подбросил ему работу над большими переводами, так у Бальмонта появилась работа, которая его долго кормила. Он много переводил, преподавал, занимался постоянным самообразованием. И писал, что надо уметь сидеть над книгами и словарями, даже если на улице прекрасный весенний день и хочется целоваться.

Много ездил по всему миру, учился, привозил из своих поездок интересный этнографический и историко-культурный материал: например, издал целую книгу о Египте по материалам своей египетской поездки... Переводил Шелли, Уитмена, французских и немецких поэтов, Эдгара По... Правда, многие критики считали, что он слишком бальмонтизирует поэтов, перелицовывает их, переписывает со сво-

ей фирменной струнной звучностью; суровый «напостовец» Лелевич в советском биографическом словаре прямо-таки припечатал: большинство переводов испорчены «крайним субъективизмом Бальмонта и чрезмерно вольным обращением с оригиналом». Немногим лучше отзывался о бальмонтских переводах Шелли и Уитмена Корней Чуковский, утверждавший, что у переводчика «каждая шейка фатально делается лилейной» и вообще все превращается в сплошную «сень струй». И в самом деле – музыка стиха имела над Бальмонтом слишком большую власть. Он слишком сильно упивался ею, слишком поддавался соблазну сладкозвучия – но ведь и открыл при этом целое направление поэтических экспериментов, путь, по которому потом прошел до конца Северянин. Бальмонт обнаружил способ сделать из русского языка – привычного уже языка русской классики, пригодного для критического реализма и народнической поэзии, – язык необыкновенный, не вполне русский, бальмонтский (современники говорили, кстати, что он даже читал свои стихи с небольшим акцентом, непонятно каким). Он исследовал музыкальные возможности русского стиха – и иногда музыка захватывала его и уносила:

*Ангелы опальные,
Светлые, печальные,
Блески погребальные
Тающих свечей, –
Грустные, безбольные
Звоны колокольные,
Отзвуки невольные,
Отсветы лучей...*

Это ведь музыка, иногда чистая музыка, даже теория музыки, исследование звуковых возможностей в ущерб красоте и смыслу:

*Вечер. Взморье. Вздохи ветра.
Величавый возглас волн.
Близко буря. В берег бьется
Чуждый чарам черный челн.*

«...Я показал, что может сделать с русским стихом поэт, любящий музыку. В них есть ритмы и перезвоны благозвучий, найденные впервые», — позже писал он сам о своих первых опубликованных стихах. Читатели музыку услышали и Бальмонта оценили: в первые годы XX века он стал одним из самых читаемых и любимых русских авторов – из тех, чьи стихи переписывают себе в тетрадки и читают дорогим людям в минуту внезапного душевного откровения.

Впрочем, далеко не все его стихи – музыкальное счастье бытия; как в жизни был «хороший Бальмонт» и «плохой Бальмонт» – о его дурных минутах вспоминали все его знавшие; так и в поэзии его была оборотная сторона

Февральскую революцию он радостно приветствовал, но Октябрьской не принял. Бедствовал, не желая печататься у большевиков; да если и желал бы – бумаги не было, книгоиздание остановилось... В Петрограде выжить было трудно, и в 1920 году Бальмонт переехал в Москву – с третьей женой, Цветковской, и их общей дочерью Миррой. В Москве написал несколько дурных лояльных советской власти стихотворений и стал хлопотать о выезде за границу: он бедствовал, голодал, жена и дочь болели – это была просто попытка спастись. Выезд ему

был разрешен, предполагалось, что поездка займет год, но она продолжалась до конца жизни. За границей он сразу заявил о своей антисоветской позиции, о том, что большевики губят страну... Большевики его обвиняли во лжи; ему часто ставили в вину то, что он, выбравшись из страны фактически обманом, закрыл для многих возможность выехать на лечение – вот хоть тому же Блоку...

За границей, в Париже, он много печатался, ездил с лекциями по Европе, много переводил. И не раз рассказывался, что уехал. Писал бывшей жене: «Я хочу России... пусто, пусто. Духа нет в Европе». И еще: «Мой траур не на месяцы означен, он будет длиться много страных лет». Денег работа приносила мало, Бальмонт очень нуждался. А с начала 1930-х годов начал сходить с ума. Периодически жил в пансионате-общежитии «Русский дом», организованном матерью Марией – Елизаветой Кузьминой-Караваевой, в нем и умер от воспаления легких в 1942 году. Хоронили его в сильный дождь, могила была полна воды, и гроб всплывал; его держали шестом, засыпая могилу. Впрочем, заканчивать жизнеописание поэта могилой – довольно глупо: жизнь поэта после смерти только начинается. Так что – о прекрасном:

Жизнь проходит, – вечен сон.

Хорошо мне, – я влюблен.

Жизнь проходит, – сказка – нет.

Хорошо мне, – я поэт.

Душен мир, – в душе свежо.

Хорошо мне, хорошо. ♣

солнечного Бальмонта: заигрывание с дьяволом хорошей поэзии не родит. И в жизни солнечность обращалась солнцепоклонничеством, готовность любить – банальным развратом, душевная смута – алкоголизмом, повышенная впечатлительность и чувствительность – истериками. После взлета славы Бальмонт прожил еще несколько десятилетий, но так и остался поэтом Серебряного века – поэтом мимолетностей, импрессионистом, лоящим смутные образы и впечатления, музыкантом слова. А дальше были самоповторы, быстро прискучившие читателю.

Я ХОЧУ РОССИИ

Всегда революционно настроенный, в 1901 году Бальмонт принимал участие в массовой политической демонстрации, а после ее разгона написал стихи «Маленький султан». Там рассказывалось, конечно же, про Турцию, «где совесть – вещь пустая, там царствует кулак, нагайка, ятаган, два-три нуля, четыре негодяя и глупый маленький султан»... Но все, кому надо, поняли, о чем это, так что автора на три года выслали из столицы, а он уехал в Европу.

Во время революции 1905–1907 годов он написал довольно много революционных стихов, которые никак нельзя отнести к достижениям его творческого гения; стихи откровенно плохие – может, потому, что автор занялся не своим делом. Среди них были два стихотворения, опять-таки, о Николае II – со знаменитыми и часто вспоминаемыми (как выяснилось – пророческими) строками:

Кто начал царствовать –

Ходышкой,

Тот кончит – встав на эшафот.

Жена его, Екатерина Андреева-Бальмонт, вспоминала, что он все дни проводил на улице, строил баррикады, произносил речи, влезая на тумбы. Он считал, что его будут преследовать за его революционную деятельность (считал не без оснований: за ним был установлен негласный полицейский надзор), и уехал за границу на семь лет. И тосковал, тосковал по родине. Египет, Южная Африка, Австралия, Океания, Полинезия...

В 1913-м он вернулся, поскольку к 300-летию дома Романовых была объявлена амнистия политическим эмигрантам. Его встречали на вокзале толпы поклонников; говорить речь ему не разрешили, и он стал кидать в толпу ландыши. На родине, по которой Бальмонт так тосковал, он не задержался: жажда приключений и впечатлений гнала его дальше – он снова в разъездах; Первая мировая застала его в Париже, он рванул в Россию, ехать пришлось через Англию и Скандинавию. Но на месте ему не сиделось, и уже в России он покатыл через всю страну с выступлениями, оказался на Дальнем Востоке, оттуда переехал в Японию...

КАТЕГОРИЯ НЕИЗБЕЖНОСТИ ТЕКСТА

БЕСЕДОВАЛА ЕКАТЕРИНА КОСТИКОВА

Романы Андрея Геласимова переведены на 12 языков. Его «Степные боги» стали «Национальным бестселлером». В 2005-м Геласимов был признан самым популярным российским писателем во Франции, обойдя Улицкую и Акунина. Последние полтора года Андрей Геласимов работал над сценарием о русском балете XX века: писал о Матильде Кшесинской историю под рабочим названием «Матильда», которую будет снимать Алексей Учитель.



АНТОН БЕРЖАКОВ

— Д О ЭТОГО Я БАЛЕТА не знал вообще. Я человек не хореографический. А продюсеры начали меня водить в Большой театр. Сажает в первый ряд и говорят: сиди, внимай. Я сижу и ничего не понимаю. Меня-то всегда интересует драма, а не внешнее выражение. Балет же – искусство строго внешнее. В нем драма явно на вторых, на десятых ролях. Хотя не везде... В «Жизели», например, драма... Я на «Жизели» плакал. Когда Света Лунькина бежит, и я понимаю, что – все, в последний раз, и я понимаю, что прощаться надо, что утро наступает, – я сижу и чувствую, что глаза заблестели... Так вот, до своей балетной эпохи я не понимал внешней стороны искусства. К десятому походу мне начало нравиться. А теперь я только этого и хочу. Недавно разговаривал с Игорем Яцко – это мой однокурсник бывший, он сейчас руководит театром «Школа драматического искусства». Говорю: ты знаешь, Игорь, мне кажется, драматический театр должен умереть. В драматическом театре люди просто выходят на сцену и разговаривают. А в балете... Первые такты увертюры, и вдруг как снежинка влетает девушка, встала в позицию, руку подняла – и все, я уже умер от счастья. Сейчас для меня существует только такой театр. И я считаю, в нашем фильме с Учителем должно быть много балета. Я вчера смотрел «Ромовый дневник» с Джонни Деппом. Там есть эпизод с бойцовыми петухами. Они взлетают, музыка красивая латиноамериканская, и вдруг эти петухи – в рапиде... Я Надю, жену, толкаю и говорю: Надя, вот так надо балет снимать! Нужно, чтобы Учитель посмотрел бой петухов! Вот так голова балете-

рины поворачивается, и вот так вдруг она – фух! – раскрывается и летит, и мы в рапиде летим за ней... Для Учителя это не первый опыт, он уже снимал про балет – «Манию Жизели». Но там нет хореографии. Я говорю: «Алексей Ефимович, как же так? Нет танцев!» А он: «Меня интересовала история сумасшествия этой балерины»... Но сейчас я просто даже настаивать буду, что должно быть очень много балета. Хотя решать режиссеру, конечно.

– **Интересный переход. Насколько я понимаю, все, что вы писали раньше, оно очень такое... мужское, а тут – балет, пачки, бриллианты...**

– Цари, великие князья, революция, Гражданская война, бегство в Париж... И триумф там еще потом. Такая золоченая дворцовая история...

– **С чего вдруг такая перемена?**

– Мне просто предложение сделали. Появились продюсеры, сказали: хочешь такую историю? А для меня это действительно новое плавание. Мне стало любопытно. Думаю, продюсеры рисковали, предлагая мне такую тему. Хотя, возможно, они считали, что я, со своей прозой, со своими взглядами, со своими диалогами, смогу привнести в балет, в это очень оформленное искусство, которое существует в строгих рамках, современную, живую жизнь.

– **Герои ваших романов в основном очень молодые люди...**

– Да. Я начинал писать, когда еще помнил свои подростковые опыты. Мне было тридцать. А потом дети начали подрастать, и я за ними наблюдал. Это совершенно другое поколение, и во многом они были моими учителями – мои дети. С возрастом возникает интерфейс компромисса: тебе нужно добиваться успеха, надо какое-то пространство отвоевать, должны поступать какие-то ресурсы и так далее. И с детским максимализмом приходится прощаться. Приходится тупо слушать продюсера. Продюсер говорит: я хочу так. И ты делаешь, как ему нравится. А у мальчишек иначе. У сына, например, с педагогом конфликт в уни-

верситете. И Борька мой говорит: «Она не права». Я говорю: «Это да, но власть у нее. Если ты не получишь зачет, тебя выгонят, и ты пойдешь в армию». Борька походил-походил, через неделю приходит и говорит: «Я сходил в военкомат и взял повестку. И идет она лесом, педагог этот!» Ушел в армию с третьего курса. Жена рыдала. Но как я могу вмешиваться? Парень так решил... Это ведь поступок на всю жизнь. Он моего парня отстраивает в его дальнейшем течении. Я подумал: кровь в нем казацкая бежит, крепкая, что я буду сейчас вмешиваться?

...Мои предки, забайкальские казаки, искали прежде всего личной свободы, уходили от помещиков, расширяя свое личное пространство. Казаки искали свободы для себя и при этом расширяли, увеличивали страну, для того чтобы мы сейчас не испытывали того, что испытывает Европа, всех этих диких кризисов. Я сейчас читаю книгу Дельбрюка «История военного искусства». Он пишет, что в Риме уже в III веке были исчерпаны золотые рудники. Все. Не было золота. И монеты стали делать из сплавов. Я думаю: ничего себе! А у нас-то сколько?! У нас – вся Якутия, Бодайбо... Когда я об этом думаю, говорю своим предкам-казакам: спасибо, дедуля. Прямо так и говорю.

Мой дед-казак умер в 82 года. Сам. Сказал: надоело. Лег и умер. Он воевал, был председателем колхоза, поднимал целинные земли в Забайкалье... А потом, в 82, просто сказал: надоело. Понимаете? Когда такая кровь, я не могу своему парню ничего сказать.

– **Вы сами в армии служили?**

– Нет, не получилось из-за перелома позвоночника. Я уже призывался, попросился в Афганистан... Написал заявление: прошу взять меня в ограниченный контингент интернациональных войск. Я был мальчик, пронизанный советской идеологией, хотел выполнить свой интернациональный долг. Мне отказали. Записали в пограничные войска. Я остригся наголо, собрался в армию. Устроили проводы, написались сильно. Я шел с этих проводов домой, проходил мимо дома своей школьной подружки. И думаю: а дай-ка я с ней попрощаюсь! Она жила на третьем этаже. В Якутске дома на сваях, тамошний третий – это как здесь четвертый. Я полез по балконам, добрался до третьего этажа, а дальше надо было от балкона дойти до ее окна. Там приступочек такой узкий... Я носок поставил туда, одной рукой еще держусь за балкон, другой взялся за ее подоконник. И вот когда вторую руку-то отпустил – вниз и полетел. Это я уже вспомнил только через месяц в больнице, после того как мне операцию сделали. Потом пришло воспоминание о разжимающихся перчатках. И я проснулся от ужаса... Я в «Жажде» описал все свои больничные ужасы. Потом я еще год ходил в корсете, стоя учился, стоя возле туалета в самолетах летал. Мне говорят: садитесь, а я говорю, мне нельзя. Как рыцарь в доспехах. А потом я женился на девочке, к которой тогда по балконам лез. Я когда лез, не думал, что это моя судьба, никакого романа у нас на тот момент не было. Роман случился потом, и тут уже, мне кажется, нас судьба соединила. По мне – браки заключаются

я сделал в своей жизни. Хотя все сказали: «Ты – дурак. Как это можно – бросить карьеру?»... Но – нет. Это было мое самое умное решение.

Сейчас я нахожусь примерно в той же ситуации, что тогда. Мне скучно. Возник некий формат. Ты снова куда-то прилетишь, выйдешь из аэропорта, тебя встретит человек с табличкой, на которой написано «Мсье Геласимов». Тебя привезут в дорогую гостиницу, вы вечером будете сидеть с издателем в дорогом парижском ресторане, такие почтенные господа. Бу-

дете выпивать, в девять утра разбудит телефон, портье скажет: «Господин Геласимов, вас ждет фотограф и машина, чтобы отвезти на салон». Вы поедете, сядете на круглом столе с Акуниным и Прилепиным, расскажете, как в Москве прошли митинги на Болотной... Придет – ну, я не знаю – 200 человек, будут сидеть, будут в конце аплодировать. А ты смотришь на это все и понимаешь: так уже было, так уже будет...

Когда возникает формат, возникает некое закосменение. Нет ощущения жажды. А оно должно быть всегда. Не должен быть сосуд наполнен. Задача, наверное, в том, чтобы мы все время ходили куда-то на ручей и все время приносили воды. Потому что, если у тебя в доме все сосуды наполнены, видимо, надо, как мой дед, лечь и сказать: все, идите, надоело.

Раньше успех работал как манок. Пока человек молодой, успех работает как мотивация. Мужчине важно добиться успеха – это такой мужской комплекс, мачизм. Доказать, что я могу. Пока ты себе это доказываешь – это колоссально двигает вперед. Но когда ты уже знаешь: я могу... И что дальше? Тут остается молиться, видимо.

– Вы верующий человек?

– Да, очень. Но не воцерковленный. Я сам по себе. Я нечасто причащаюсь, не очень соблюдаю ритуалы, не держу посты, не хожу в церковь. Но я все время молюсь. Не то чтобы громко. Бубню тихонечко. Ну, детская такая история. Наверное, это у меня комплекс... Как сказать... Нехватки отца. Отец был воен-

на небесах. Бывает так, что это какая-то неизбежность. Такая категория неизбежности... Это бывает и с текстами. Я для себя определил так: книга должна быть написана, только если возникает категория неизбежности текста. То есть этот текст неизбежно должен быть написан – как в случае с «Войной и миром», с «Анной Карениной». Без него человечеству будет хуже. Если нет этой неизбежности – лучше не пиши. Поэтому я многие тексты свои не пишу. Я подхожу к ним, а потом говорю: человечество явно проживет без этой истории. И оно проживает...

Мне кажется, с людьми так же. Есть категория неизбежности человека в твоей жизни. Какого-то конкретного человека. Вот с этим конкретным взглядом, с этой конкретной улыбкой, смехом... Без этого человека жизнь пойдет по-другому, хуже, не так, как ты хотел. И вопрос только в твоей внимательности. Насколько ты вдруг – в движении, в улыбке, в том, как человек курит, – понимаешь: я без этого человека не могу. У меня так получилось. Я понял, что все остальное – это чужие сюжеты.

– Поворачивать в тридцать с преподавателя на писателя, все бросать – не страшно было?

– Было весело. Это был реальный и очень важный бунт. Потому что я понял: можно одну жизнь прожить, а можно несколько. А дальше – выбирай сам, как ты хочешь, одну жизнь или разные. Я подумал: разные интереснее. Уволился из университета, ушел с места заведующего кафедрой, хотя там нормально все было. Еще через пять-семь лет стал бы я деканом, сейчас был бы проректором... Но я понял, что не хочу.

– У вас тогда уже дети были?

– Да, трое. Когда я уволился из университета, мы перебрались в Москву. Мы жили в Якутске, продали там квартиру и купили в Подмоскovie небольшое жилье, у нас осталось 80 долларов. Я посчитал деньги и Наде говорю: вот, все, что есть. Мы пошли, купили бутылку какого-то вина, открыли окно, сели на подоконнике. Гроза была дикая, тополя освещаются, ливень льет, я пью это вино из горлышка, мне за тридцать, я понимаю, что ничего нет, и от этого – колоссальное ощущение свободы. Можно все начать с нуля. Ты обнуляешься, ты обновляешься абсолютно. Кровь становится новой, свежей, приходит масса новых идей... Я бы вообще советовал всем это делать. На тот момент у меня был серьезный кризис. На Западе говорят: кризис среднего возраста после сорока... У меня он в тридцать случился. Я поставил под сомнение ценности, которые у меня были. Я смотрел на свою жизнь и думал: это все? Все, что мне досталось? Ну кафедра, ну студенты, бесконечные дипломники ходят, девочки волоокие, – я им про Оскара Уайльда, а у них вот такие вот глаза... И ничего не меняется – год, два, пять лет... И ты начинаешь задыхаться. А когда осталось 80 долларов и гроза в окне – оказывается, впереди длинная дорога. Возникает перспектива, и ты говоришь: ну, я пошел. Рюкзачок на спину и двигаешься. Это было, я думаю, самое умное, что

ный, он был очень строгий человек, такой суровый, подполковник. Мало проводил со мной времени и рано погиб. Наверное, когда я молюсь, я ищу фигуру отца. Нужен кто-то, большой, сильный, добрый, тот, кто тебя защитит. Это же очень умное чувство, когда ты просишь помощи, и – раз! – в сердце как-то спокойней становится, и ты думаешь: я не один, кто-то обо мне заботится. Мне важно это ощущение заботы, потому что очень рано пришлось заботиться о себе самому. Я женился в 18 лет, параллельно учился, работал. Дети как-то быстро начали рождаться. Приходилось очень много давать частных уроков, бегать, деньги зарабатывать. А время было тяжелое – 90-е годы. Я сразу взвалил на себя очень много ответственностей не подростковых. Поэтому я для своих сыновей стараюсь быть той фигурой, которой у меня не было. Я сижу у себя в комнате, сын – в соседней, домашнее задание делает, и для меня очень важно, когда из соседней комнаты раздаётся голос: «Па, слушай, а вот этот глагол как спрягается? Английский». И я говорю: он спрягается так-то...

Для меня ощущение Бога, моей внутренней религиозности состоит в том, что я себя ощущаю как ребенок, который сидит в детской, дверь входная далеко, а между детской и входной дверью есть еще комната, где сидят родители. Они сидят и смотрят телевизор. А я у себя, со своими игрушками.

Но я знаю, что никто чужой не попадет ко мне, минуя их. И мне в детской очень безопасно и уютно. Моя религиозность вот в этом состоит.

– И всегда есть у кого спросить, как спрягать английский глагол?

– Да. Они помогут, подскажут, решат. Когда мне надо будет, я крикну, и мне что-то дадут. Такое ощущение. Оно наивное, детское, но мне здорово помогает. Есть набор молитв, которые я знаю, я их проговариваю, но часто я вступаю в такой диалог сумасшедшего, как в фильме «Рассекая волны». Вот у меня примерно такие диалоги и происходят. И это дает очень много сил и уверенность. Прежде всего мысль о том, что я умру, что жизнь конечна. Сразу, как только ты говоришь: все кончится, это не важно, а важно – не пойти на компромисс, например... Знае-

те, что те же древние римские моряки писали на кораблях? У них на носу была вырезана надпись: «Плывать по морю необходимо, сохранять жизнь не так необходимо». Понимаете? Необходимо плавать, потому что это помогает торговле, поддерживает жизнь и так далее, а держаться за собственную жизнь – не так необходимо. И это, конечно, тоже ресурс свободы, согласитесь. Поэтому я горжусь, что Борька принял такое решение.

Когда я молюсь, я прошу сил, чтобы избавиться от страхов. Говорю: дай мне сил увидеть, что это не страшно, что это меня просто что-то пугает, что на самом деле оно не имеет большого значения. Страх выпасть из обоймы, страх, что тебя забудут, страх не понравиться читателю, издателю, продюсеру. Вот эти страхи нас, конечно, корректируют в жизни. И в этот момент нужно отодвинуться и спросить: это действительно важно? Ты точно этого хочешь? Ты кто вообще? И надо вспомнить, кто ты, вспомнить, что ты здесь ненадолго и отпущенное тебе время надо провести с удовольствием, с пользой и с достоинством.

И знаете что? Господь очень добр, и когда ты поднял голову и говоришь: «Кажется, я хочу»... Тут же – раз! – кто-то появляется и говорит: «Кофе, сэр». И ты говоришь: «О! Точно! Кофе я хочу!» Когда у меня случился кризис среднего возраста, так и произошло. Это было в Йоркшире. Я там жил полгода, преподавал. Я как всегда, помню, перед сном молился... Обычно я благодарю. А если прошу, то только спокойствия, чтоб меня избавило от соблазнов или силы придало. Но в тот раз я просил света. Я чувствовал, что заблудился. Это было еще в мою университетскую эпоху, этот формат жизни уже начал меня тяготить, я не понимал, что делать... Вроде преподаю, платят хорошие деньги, все нормально, но я чувствую: что-то не то, как-то не так. И вот, я помню, вечер. У меня в спальне большое окно. Знаете, такие переплетчатые британские окошки – маленькие, но их много, и окно – во всю стену. Я жил на окраине небольшой деревушки, и за окном у меня – пастбище, а за ним лес начинается. Такие йоркширские поля, как в «Грозовом перевале». И ничего: ни огонька, ни света в той стороне нет. Темно абсолютно. От горизонта до горизонта все небо черное – полночь. Я стою у окна и начинаю свой разговор: позаботься о моих детях, все такое, и мне как-то помощи. Я, говорю, заблудился, темно очень, Господи, дай света. И вдруг все это черное небо освещается белым. Все небо. Я в этот момент испытываю дикий ужас. Я понимаю, что услышан, что я не одинок на этом мосту, что на том конце адресат есть, и он говорит: я тебя слышу. Света хочешь? На! ...Не знаю, может, это где-то зарница ударила, может, где-то далеко гроза была. Может, дискотека какая-то

дискурсе я или нет? Это же чепуха! Он должен писать про то, как самогон люди варят, как убивают друг друга и так далее. А дискурс его – это маленькая деревня в округе Джефферсон, штат Миссисипи. И все. Вот и весь дискурс. Но он про это пишет и создает великое произведение...

Я понимаю, что никогда в жизни не напишу как Достоевский или как Толстой. Этих величин достичь невозможно. Так же как, скажем, существует в хореографии сов-

ременный Начо Дуато, который делает свои замечательные мини-шедевры. Он никогда не будет Петипа. Ну и что? Они играют на разном поле. И не думаю, что Начо Дуато от этого страдает. Сейчас появляется много молодых писателей, которые пытаются пройти на экзальтации читателя, эпатировать обнаженкой или какими-то странными перверсиями. Но это все уже было. Можно открыть Апулея, «Золотого осла», и вы увидите, что эротика была такая, что мама не горюй. Или, я не знаю, «Сатирикон» Петрония. Пытаться шокировать читателя, удивить темой – глупо, это не работает. И тогда возникает только одна категория, которая остается у писателя, – интонация. Вот здесь определяется писатель. Интонация, дыхание. Если ты это нащупал, то у тебя все в порядке, и дальше уже не важно, эпатируешь, шокируешь, развлекаешь, смешишь. Важно, что ты услышал свой голос и у тебя есть возможность пропеть какую-то ноту. Вот это и нужно, собственно говоря: тратить все силы, чтобы услышать только свой голос.

Тема придет. Она не важна абсолютно. Она может быть про соседа, про солдата, про войну, про любовь – не важно. Главное – голос. А дальше – умеете вы складывать композицию, как вы существуете в языке, в ритме, каков у вас синтаксис – это уже вторичные вопросы. Они касаются только техники. Главное – голос. Поскольку мне кажется, что я иногда слышу свой голос, узнаю свои интонации, то я, в общем, ощущаю себя довольно гармонично в этом смысле. 🎧

была где-то за лесом. Но я просил света – и небо вспыхнуло. Просил? Получи! А буквально через год после этого я изменил свою жизнь.

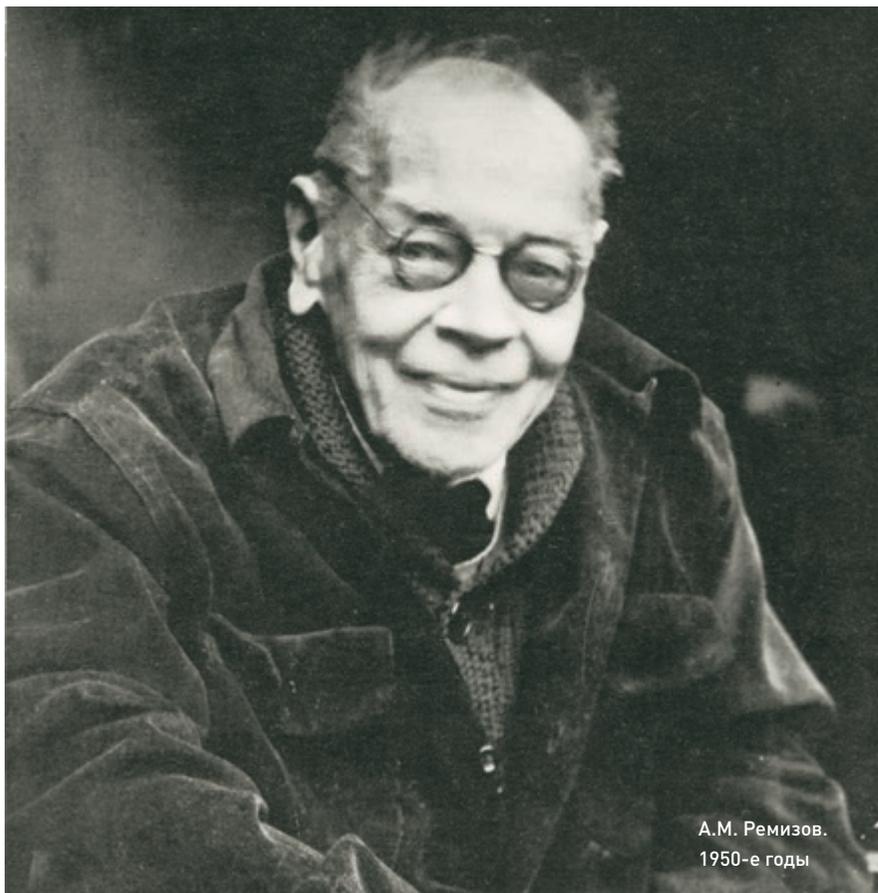
– **Что вы читаете? Наше, зарубежное, современное, классику?**

– Наше, в основном классику. Как-то так получилось, что начинаешь читать современных авторов... Ну, коллег, друзей... Мишу Шишкина, Захара Прилепина, Люсю Улицкую... Но все время берешь с полки другую книгу. Из иностранного мне вот Фоер понравился – молодой американский писатель. Сильное влияние на меня оказал Исаак Башевис Зингер. Роман «Шоша». Мне он просто снес башку конкретно. Думаю, я во многом под его влиянием написал «Жажду». Она поэтому такая эмоциональная. Но, вообще, я уже мало от чего получаю удовольствие в литературе. А вот кино смотрю с удовольствием, очень нравится скандинавское. Норвежские фильмы потрясающие есть. Та же «Девушка с татуировкой дракона». Не американский вариант с Дэниелом Крейгом, а норвежский. От этих же продюсеров «Охотники за головами». Очень нравится Аки Каурисмяки – финский кинорежиссер. Просто лучший. С удовольствием смотрю Жака Одиара – «Мое сердце биться перестало», «Пророк»... Роберт Редфорд иногда показывает хорошее кино на своем фестивале «Сандэнс». Из последнего, что я смотрел, – потрясающее кино «Замерзшая река». Там такие мощные истории, персонажи. Причем очень малобюджетное кино, но это такие живые люди... Такое шершавое, живое кино... И если бы такая была литература, если бы писались такие истории, я бы просто был в восторге. Это та жизненная плоть, которой я бы хотел, – не стилистических поисков и не политических каких-то там манифестов... У нас в российском пространстве такого пока нет. Может быть, потому что все как-то увлечены самопродвижением, что ли. Сидит писатель у Бермана и Жандарева и с гордостью заявляет: а вы знаете, меня Путин с Медведевым читают. А я вот тут с Водяновой сфотографировался – мы с ней были на вечеринке... А я думаю: блин, ну ты писатель, ну нашел чем гордиться! С Водяновой сфотографировался. Ну молодец. Вон сколько ее плакатов. Встань рядом и сфотографируйся. А потом, «меня Путин и Медведев читают» – ну что, такие литературно продвинутые люди, что ли? Авторитеты в литературе? Если бы он пришел и сказал... Ну, я не знаю... Майкл Ондаатье, тот, что «Английского пациента» написал, прочитал мою книгу, или Кормак Маккарти тащится, тогда бы я сказал: это круто, ты молодец! А Путин и Медведев – люди другой профессии. И писателю интересоваться этими плоскостями, мне кажется, суетливо. Но у нас считается, что надо быть в тренде. Или как мне мой редактор сказал однажды в издательстве: Андрей, ваши тексты не в дискурсе. Я говорю: но это же ужасно, если писатель будет в дискурсе! У вас уже совсем крыша поехала?! Я понимаю, что вам надо книги продавать, но если писатель окажется в дискурсе, то это не писатель. Вы представляете себе, как бы стал думать Фолкнер: в

В СОПРОВОЖДЕНИИ УТРЕННЕЙ ЗВЕЗДЫ

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Отец Алексея Ремизова был купец, и мать, Мария Найденова, тоже родом была из купеческой семьи. Дядя ее много лет председательствовал в Московском биржевом комитете, основал его библиотеку — вообще был одним из тех просвещенных купцов, кому многим обязана русская культура.



А.М. Ремизов.
1950-е годы

ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

МАША НАЙДЕНОВА, КАК подобает девушке из культурной семьи, занималась поисками себя и своего предназначения, состояла в кружке нигилистов, была страшно влюблена. И назло любимому, из мести, вышла замуж за галантерейщика Ремизова, родила ему пятерых сыновей, а потом без объяснения причин забрала детей, ушла от него и потребовала развода. Отец Ремизова, человек глубоко порядочный, недоумевал, пытался добиться объяснения, понимания, руководства какого-нибудь... Вернул братьям бывшей жены ее приданое и, кажется, так никогда и не понял, что и почему она сделала с ним, с собой, с детьми. Братья, красильщики, поселили сестру с детьми на территории фабрики, в одном из корпусов, там и прошло детство будущего писателя. Биограф Ремизова Наталья Резникова рассказывала, что мать писателя, поглощенная собственными страданиями, запиралась в комнате и целыми днями читала и пила, не обращая внимания на детей, иногда страшно кричала; постепенно сходила с ума. Братья прибрали ее приданое к рукам, а потом, когда умер отец младших Ремизовых, та же судьба постигла и их наследство. Так что в юности Ремизов довольно сильно нуждался. Детство его было особенное – купеческая среда совершенно по Островскому: жадная, богатая, умеющая считать деньги; среда, где говорили старым, сдобным московским языком – Ремизов просто и естественно говорил им, как мать, нянюшка, кормилица, рабочие фабрики. В этой среде просто и естественно умели петь знаменным распевом по крюкам, читали дома вслух старые Четьи-Минеи, где мученик Меркурий шел, держа в руках свою отрубленную

Мир предстал его глазам удивительным единством звука и краски, пятен, плоскостей, образов; из него выплывали чудесные мелкие детали вроде морозных узоров на стекле; тайну этого зрения открыл учитель географии, когда Ремизову было 13 лет. Тогда он провалил задание у доски, ткнув указкой в карту невопад; учитель заподозрил,

голову, и «любезно лобызал ее»; где бытовали страшные сказки и чудесные истории; где сказочные чудища какой-нибудь старинной «Александрии» или «Шестоднева» были живой частью жизни – все эти мравольвы или люди с песьими головами. Был дядин круг – историки, археологи, профессора, искусствоведы; а были цыганки, богомолки, староверки; была тетушка-хлыстовка; тут тебе и жизнь как она есть, и осмысление ее, умственное постижение.

Мальчик Алеша, некрасивый, странный, большеголовый, с носом «чайником», с малолетства был влюблен в красоту мира вокруг: в его цвета, звуки, краски, очертания. Он везде находил сказку и тайну – замирал от счастья, вглядываясь в квадратики лоскутного покрывала, слушая колокольный звон ближайших и отдаленных церквей, разглядывая тонкие рисунки на обоях... Он любил окружающие его вещи, и они отвечали ему взаимностью: во всякой находилась поэзия и волшебство: ходил, стучал по стенам стальной кочергой и вслушивался в ее звон... Он рано полюбил каллиграфию и довольно скоро стал изображать удивительно интересные буквицы; любовь его к старинным шрифтам, к уставу, полууставу и неразборчивой скорописи древних рукописей осталась в нем навсегда и укрепилась еще, когда он вместе с женой, палеографом Серафимой Ремизовой-Довгелло, разбирал старинные книги.

ДЕРЕВЬЯ ШЕЛЕСТЯТ ПЕСНЯМИ

Частью души он, наверно, навсегда остался в детстве – старинном, полухристианском-полуязыческом, полном наивной поэзии, тайны и повседневных, почти бытовых чудес. Он жил в этих чудесах естественно – сказочник он был прирожденный, невыдуманный, сказочные образы сами складывались у него легко – легче дыхания. В одном из писем к Наталье Кодрянской, которую он называл своей внучкой и которая издала его письма целым томом, он начал вдруг перечислять такие сказочные образы, которые он старательно отыскивает: «кусающиеся двери; двери с зубами; дождь из горного хрусталя (если всего замочить, человек полетит); «волшебный песок» из кварца. Дочь солнца замотала свои ало-шелковые волосы на серебряный кол, расчесывает золотым гребнем. Идти не по звездам, а в сопровождении утренней звезды (зеленый сокол). Деревья под ветром шелестят песнями. Уточка – золотой хвостик». Каждый образ – туго свернутая сказка, а он сыплет ими щедро, с кажущейся легкостью, даже расточительностью. Сказочникам непременно надо читать Ремизова: он поразительно расширяет горизонты возможного, позволяя не циклиться на знакомых образах афанасьевского собрания, у него сказкой дышит каждая строчка.

Может быть, все дело в его уникальном зрении, его «подстриженных глазах» – так называется его поздняя книга прозы, посвященная детским впечатлениям. Там он рассказывает о счастливом, богатом, красочном предметном мире, окружавшем его с детства; о том, как предметы жили своей жизнью, обнаруживая свою тайную сущность; как на его детских рисунках с природы вылезало «испредметное» – загадочные чудовища, таинственные существа, приводившие в отчаяние и недоумение его учителей рисования.

что мальчик плохо видит, а доктор нашел 11 диоптрий – странно, как при этом он ухитрялся заниматься каллиграфией, что-то рисовать, как-то учиться... Взгляд на мир через подобранные очки, писал он в «Подстриженных глазах», привел к шоку: мир оказался скучно-подробным и мелочным, полным пошлых деталей, и к нему пришлось долго привыкать. Волшебство будто изъяли из его мира, но он уже был сам себе волшебник.

КОЛПАЧКИ ЗАДОМ НАПЕРЕД

Друзья и знакомые, скорее, признавали его родство с разнообразными «чудовищами», полулюдьми, полунечистью из русских сказок – не то леший, не то домовый, не то и вовсе кикимора; что-то такое скорченное, съезженное, хитроватое – не то одарит золотом, не то окончательно погубит. Блок таким и запечатлел его в своих стихах, в «Пузырях земли», болотным чертенком:

*Я, как ты, дитя дубрав,
Лик мой также стерт.
Тише вод и ниже трав –
Захудалый черт.
На дурацком колпаке
Бубенец разлук.
За плечами – вдалеке –
Сеть речных излук...
И сидим мы, дурачки, –
Нежить, немочь вод.
Зеленеют колпачки
Задом наперед.*

Да и сам он, обращает внимание читателя Андрей Синявский в своей статье о Ремизове, изображает себя, больного, не по-блоковски – падшим ангелом, а травмированной лягушкой: «Я лежу на земле, обтянутый сырой перепонкой, и

не разбитое крыло, прячу я за спиной мою переломанную лягушину лапку». Ремизов в своей автобиографической прозе часто говорит о своих «безобразиях» – каких-то шутках, выходках, иногда глупых, иногда удачных, никогда не скучных. Правда, если кто пострадал от его «безобразия» – он жалел и раскаивался, как тогда, когда постриг под пуделя дворовую собачку Шавку, а она стала мерзнуть, лишившись шубки.

Болотный, странный, двоящийся, путающий следы – таким он вошел в русскую литературу по гоголевскому следу, с Гофманом под мышкой, мистификатор и жизнетворец. Но пошел своей дорогой, и был на этой дороге мало кем понят. Удивительно, что вышедшая после первых, мрачных и реалистических, его повестей насквозь светлая и волшебная «Посолонь» была так плохо принята окружающими, которые решили, что это вообще не по-русски. Академик Шахматов, впечатленный красотой и свежестью книги, выдвинул ее на Пушкинскую премию, но премии Ремизову не дали: великий князь Константин Романов, он же поэт К.Р., решил, что написано не по-русски. Ремизов публиковал свои сказки в модернистских журналах – и те брали их неохотно, упирались, просили убрать областные словечки, «Кота Котофеича» в «Золотом руне» не захотели брать потому, что у них тексты выходили сразу с переводом на французский, а «Кота» оказалось трудно переводить. И в самом деле: «А Коза всех перебодала, да и опять в лес за кленовым листочком, только Козу и видели. А Чучела-чумичела чуть было Котофей Котофеич не съел: такая у Чучела соблазнительная мышинная мордочка выросла!»

А ему самому, с его густым, совершенно аутентичным московским языком вымученные, головные петербургские литераторы, стилизаторы казались нерусскими, и ненастоящим – стиль русс, и Билибин, образец, на наш сегодняшний взгляд, иллюстратора русской сказки, – тоже ненастоящим. Потому что Ремизов был из тех, которые не только помнят, но и гениальным своим художественным чутьем знают, как оно – правильно, где оно – настоящее, русское, подлинное до каждой буковки.

КРЫЛЬЯ МОИ БЕЛЫЕ

Возвращаясь назад, в детство: мало радости было в его жизни – кроме вот этой тайной радости растворенного в мире волшебства. О детстве и юности он написал жестокий и страшный роман «Пруд» – по количеству свинцовых мерзостей сравнимый, может быть, с горьковским «Детством», но ледяной и жуткий в своем безвыходном отчаянии. В этом романе появился в первый раз сквозной образ крысы, которую казнят, поливая кипятком – а крыса плачет, кричит и умывается лапкой. Ошпаренная крыса, прибитая собачка Розик со сломанной лапкой, которая лежит и молча плачет, – Ремизов умеет надорвать читателю сердце и даже не слезу вышибить, а вопль ужаса и отчаяния. Ползет, ползет по миру страшная змея Скарапея о двенадцати головах: пухотных, рвотных, блевотных, тошнотных, волдырных...

Мир его юности ужасен: в нем нет радости, нет даже Воскресения в Пасху: недаром именно в пасхальную ночь вешается спившаяся Варенька, мать главного героя. А в финале – дьявол тоскует в своем царстве, Мать Божия плачет над бессмысленно мучающими друг друга людьми: «Прости им» – и Христос висит на кресте... И вроде бы его воспитывали в вере – он жил в монастырях, читал церковные книги, ходил в паломничества, – но веру надломили ужас и тоска; какое-то примирение нашел он в религии сострадания; его лучшие герои – кроткие страдальцы и мученики, возносящие из тошной жизненной каши хрустальные, чистые молитвы. «Крылья мои белые, тяжелые, вы в слипшихся комках кровавой грязи». «Моя душа, обжигаясь, плачет тяжелыми слезами», – написал он однажды; вот эти вскипающие, набухающие в душе слезы – совершенно неотъемлемое ремизовское; без них нет и его повестей. И не только купеческая Москва у него страшна, но и Петербург доходных домов – гоголевский, некрасовский, достоевский, мучающий маленького человека; страшна вообще жизнь – это, пожалуй, не с Достоевским его уже сближает, а с Сологубом – с его недотыкомкой, с его «бабищей румяной» – жизнью...

В общем-то немудрено, что от такой жизни юноша решил стать революционером. Времена были переломные, Россия в конце XIX века закипала, социал-демократические идеалы казались близкими и понятными. Ремизов уже поступил вольнослушателем на математический факультет Московского университета, но не доучился: за участие в студенческих волнениях был арестован, судим и выслан из Москвы на Север на шесть лет. Жил в Пензе, в Вологде, в Усть-Сысольске, там написал свой «Пруд», там же встретил Серафиму Довгелло, любовь на всю жизнь. Оба они отошли от революции: литература была интересней. Из ссылки он приехал в Петербург в 1905 году, получив разрешение жить в столицах, и занимался с тех пор уже только литературой, а не революцией. Впрочем, литература довольно долго его не кормила, друзья пытались устроить его на службу – и он чем только не занимался: участвовал

«Революции он не принял», пишут биографические справочники. Да – понимал, что великая буря, что уничтожает старое и дает прорасти новому, но в этом новом были зачатки страшного зверства. Недаром еще до Октябрьской революции, ранней осенью 1917 года, Ремизов написал свое «Слово о погибели русской земли», «в котором раскрыл свою реакционную сущность», как утверждало советское литературоведение. О послеоктябрьской жизни Петрограда он рассказывает

в переписи петербургских собак, хотя их боялся, вел какую-то статистику по грудным младенцам... Впрочем, в глазах друзей и эти странные занятия ему шли: казалось, и со зверями, и с бессловесными младенцами он умеет говорить на их языке. В 1904 году родилась его дочь Наташа. Прозрачная, нежнейшая «Посолонь» рождена его счастливым отцовством: Наташа там Зайка, в сказках полно ее словечек; отца она звала Алалеем – от Алексея. Он все пытался одарить ее, осчастливить тем, что знал и любил, но Наташа, которая воспитывалась у теток на Украине, подрастая, его странноватым дарам не особенно и радовалась – это его горько печалило.

Уже первые книги Ремизова показали, что в русскую литературу пришел незаурядный и сильный автор. В Петербурге Серебряного века Ремизов прижился, будто специально для него был создан – со своими стилизациями, мистериями, дурачествами и мистификациями. Тогда и сложился его привычный образ – сутулого, сгорбленного человека в больших очках, кутающегося в какие-то экзотические тряпки, бесхитростно-лукавого, непростого... В Петербурге он много работал со старинными рукописями – перерабатывал, писал сказания и пьесы на их основе, пересказывал сказки – поднимал это лежащее под спудом богатство, приносил в современный мир, заставлял звучать, удивлять и восхищать. В одной из пьес появился обезьяний царь Асыка – образ, который остался с Ремизовым на всю жизнь.

Это была ремизовская игра, охотно подхваченная окружающими: Обезьянья Великая и Вольная Палата, Обезвелволпал, которой он был вечным канцеляриусом. О царе Асыке, «верховном властителе всех обезьян и тех, кто к ним добровольно присоединился» никто, как говорил Ремизов, ничего не знает, и его никто никогда не видел. Обезвелволпал – это было тайное общество, членам которого Ремизов вручал «собственнохвостно» царем Асыкой подписанные грамоты. Грамоты были исполнены по всем правилам древней каллиграфии и снабжены ремизовскими рисунками. В палату принимали тех, кто был Ремизову симпатичен. Кто был готов играть в эти игры, кто любил литературу, свое дело – и самого Ремизова. Современники охотно включались в игру; Ремизов рассказывал во «Взвихренной Руси», как уже после революции Гумилев попросился в графы Обезвелволпала, а графский титул был уставом не предусмотрен. Впрочем, царь Асыка пожаловал Гумилева графством – кого же еще, как не Гумилева?

РЕАКЦИОННАЯ СУЩНОСТЬ

Игра эта особенно расцвела в голодном послереволюционном Петербурге – писатели в это время вообще много играли и дурачились: иначе было не выжить. Ремизов работал в театральном отделе Наркомпроса. Бедствовал. Писал своим затейливым почерком с завитушками замечательные по красоте и совершенно бестолковые просьбы о помощи продуктами и вещами – обращая их не к тем людям, которые могли помочь.

своей «Взвихренной Руси» – книге, которая пришла к русскому читателю только на волне возвращения запретной литературы, в перестройку. Служба в Наркомпросе, голод, смерти друзей, приют в Доме искусства, бытовые трудности, которые он решал странно, по-ремизовски: ходил за водой и заполнял ею десятки стоящих в квартире бутылок из-под боржоми... У него были свои ученики: Пришвин, Леонов, Замятин, Пильняк – что-то неуловимое ремизовское видно в каждом.

В день смерти Блока Ремизов с женой выехали за границу на лечение: в измученном, голодном и нищем Петрограде даже бинтов в аптеках не было. Думали, вернутся. Дочь-подросток осталась на родине. Какое-то время жили в Берлине, затем переехали в Париж, где и осели навсегда. Там Ремизов и прожил до конца своих дней, пережив и жену, которая умерла в 1943 году, и дочь, умершую в том же году в оккупированном Киеве, но о смерти ее отец узнал только спустя два года... Горе не убило его, не сделало жестким; всегда чуткий и сострадательный, он умел утешить и подобрать нужные слова там, где все теряются. Наталье Кодрянской, потерявшей мать, он писал: «Послушайте меня, тихо примите ваше горе... но это верно: горем растет душа». И дальше, рассказывая о своем опыте жизни с горем: «И я заметил, все надо принять, не отбрыкиваясь, но и не поддаваясь. Надо научиться как-то побеждать, крепко держась за жизнь. Вам сейчас надо тишину. И она придет. Я

знаю, всякое прикосновение сейчас больно. Вас чем-нибудь надо обрадовать или сами себя удачей обрадуете». Вот это всегда в нем было живо: обрадовать кого-то, пусть рукописной грамотой, рисунком, игрушкой. Радовать, удивлять – во «Взвихренной Руси» он, довольный, рассказывал, как замирали при виде висящих у него на стене игрушек непрошенные гости: красноармеец, какая-то баба из комиссии, которая уплотняла буржуев...

Игрушки, трубки, шкурки, слоненок, птички, безделушки – все это у него было живое, теплое, дышащее – или, вернее, его дыханием согретое и оживленное; со всякой собакой, со всякой мышью ему было о чем поговорить, может, поэтому у него такие все настоящие – и мышки, и собаки, и зайчики. Впрочем, и старуха Буроба настоящая, и дед Корочун... бррр.

Во Франции он перерабатывал русские сказки, занимался историей древнерусской литературы, много писал, но публиковался мало, ничтожными тиражами. Много рисовал; сохранились книги с его собственноручными иллюстрациями. Графику Ремизова – таинственную, тугую, плотную, вплетенную в его каллиграфию – очень ценили профессиональные художники, в том числе Пикассо. Удивительно твердая линия, характерные плоскости цвета, путаница древних букв – ремизовская рука узнается сразу, если хоть раз довелось посмотреть на его работы. Когда у него совсем не было денег, а книги не издавали (за двадцать лет, с 1931 по 1953 год, у него не вышло ни одной книги) – он делал на продажу рукописные альбомы.

Он много бедствовал, одно время питался бесплатным супом, его подкармливал знакомый повар. С Серафимой Павловой было легче: она работала, преподавала палеографию; после ее смерти – уже совсем немощный, слепнувший – зрение упало до 15 диоптрий и продолжало портиться – он целиком полагался на друзей и зависел от них. И такие друзья у него были, притянутые к нему крепко, привязанные не только его талантом, его местом в литературе, но и его кроткой человечностью

и неподдельным обаянием. Друзья создали для него издательство. Друзья читали ему вслух – сам читать не мог; записывали под его диктовку. Ходили по поручениям, опекали. Александр Бахрах, который часто у него бывал, рассказывал: «Не могу забыть, как среди всей внешней неорганизованности его жизни, среди всех ее повседневных трудностей он как-то в случайном разговоре воскликнул: «Боже, как я богат!» В этих словах не было ни позы, ни иронии. Он действительно считал себя богатым той ревниво им охраняемой творческой свободой, богатым нежеланием подчиниться жизненной прозе, богатым неспособностью идти навстречу читателю, хотя бы в какой-то крошечной степени заискивать перед ним». В конце жизни он даже не был так заброшен, как на то жаловался: его ценили, переводили на французский, звали выступать на радио, о нем писали французские газеты...

Улица Буало, каштан под окном – то белая свечка, то темная зелень, то зеленые ежики; когда-то он мечтал, что эмиграция окажется сном, и он проснется в России... «Но странно, или так всегда бывает и иначе не мог бы человек вынести разлуку, с годами этот сон, я чувствую, меня окутал, и все плотнее, и порой мне снится, что Россия – это только мой волшебный сон». Одно время он стремился в Россию, думал поселиться с дочерью... Оказалось, стремиться некуда. Тем не менее в 1946 году он получил советское гражданство – на волне всеобщего возвращения, но возвращаться не стал. Куда ему было – старому, почти слепому, с «реакционной сущностью» и «звериной ненавистью к революции». Уже в 1957 году, когда Россию наконец отпустил ужас террора, с Ремизовым вступил в переписку филолог Владимир Малышев из Пушкинского Дома, он позвал Ремизова на торжественные заседания по случаю 275-летия со дня смерти протопопы Аввакума – литературной фигуры, которая была предметом неизменного интереса Ремизова и его текстологических штудий. Началась переписка, обмен книгами; Ремизов задумал передать в Пушкинский Дом свой архив... Но через месяц с начала переписки он умер.

Малышев пытался в «Литературной газете» опубликовать некролог, однако газета его публиковать не стала. И в русскую литературу Ремизов вернулся только через тридцать лет – сложный, неуловимый, неповторимый.

Принес ужас, жалость, мольбу, сердечный надрыв – но и безмятежное счастье, живую весеннюю ветку, как его монашек из «Посолони»:

«– Что это, монашек, никак листочки!

– Листочки, – и улыбается.

А я уж от радости не знаю, что и делать. Комната, рамы и вдруг эта ветка с зелеными, совсем-совсем крохотными масляными листочками». ❀

И ТАЙНА ВЕЧНОСТИ СПОКОЙНА И ПРОСТА

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Константину Случевскому не повезло со временем — глухим, непоэтическим временем между двумя веками русской поэзии — золотым и серебряным. Не хватило музыкальности, не хватило поэтического дыхания, не хватило среды, поддержки критики — может быть, не хватило и уверенности в собственном поэтическом даре, чтобы остаться в русской литературе в числе безусловных гениев, «крупнейших» и бесспорных. Он остался, скорее, переходом, мостиком между двумя веками — недооцененный и недопонятый в своем горьком и стоическом трагизме.



Константин
Константинович
Случевский
(1837–1904).
Фотография
1890-х годов

ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

ТРУДНО СКАЗАТЬ, ЧТО ЛУЧШЕ – быть первым в деревне или вторым в Риме; кажется иной раз, что поэту в Серебряном веке было трудно: слишком много вокруг звезд первой величины, легко затеряться между ними. Но лучше ли быть неяркой и некрупной звездой на глухом и темном осеннем небе? Чего-то Случевскому не хватило, чтобы состояться в полной мере. Но состоялись же Тютчев и Фет в век практической полезности и позитивизма? Правда, они оба были поколением старше, успели подышать волшебным воздухом пушкинской поры, а Случевскому, рожденному в год смерти Пушкина, достался воздух уже совсем другой, тяжелый, мертвящий.

ЗАЙКА В РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Историк русской литературы Петр Святополк-Мирский писал: «Поколение родившихся между 1825 и 1850 годами оказалось поэтически самым бесплодным из всех в истории России. С 1860 года и до конца 70-х не появилось ни одного хотя бы средне одаренного поэта. Враги поэзии, опираясь на непреложные факты, могли торжествовать победу своей антиэстетической кампании. Как гражданскому направлению, так и направлению «чистого искусства» нечем было похвалиться. Правда, последнее направление выдвинуло Константина Случевского (1837–1904), поэта в самом деле значительного. <...> У него было по-настоящему оригинальное видение мира – основа гениальности, и казалось, что он способен создать действительно новую, действительно современную поэзию, но ему не повезло – его деятельность пришлась на время глубочайшего падения поэтической техники, и в поэзии он так

и остался заикой». Он и в самом деле заикался в стихах: стихи его иной раз ужасают косноязычием, то намеренным, то нечаянным. Иногда не успеешь обрадоваться одной строке, как следующая напрочь убивает всю радость.

*Сколько белых, красных маргариток
Распустилось в нынешней ночи!*

*Воздух чист, от паутиных ниток
Реют в нем какие-то лучи.*

Ну что мешало не бросать здесь небрежное «какие-то», а подобрать эпитет? Но ему это не важно, кажется. О сладкозвучии он не заботится, гнет и ломает свой стих, подчиняет себе властно и равнодушно — настолько, что некоторые исследователи сравнивают его опыты с поэтическими экспериментами футуристов.

А это? «Лес полн кикимор резвых шуток»? Кикиморы резвы или их шутки? Грань между смелостью и небрежностью в его стихах неразличима; философ и поэт размышления, формой он пренебрегает, отчего острота его холдной мысли иногда размывается, чеканные формулировки прихрамывают, а чувство становится косноязычным.

МРАЧНЫЙ ГОЛОС МЕРТВЕЦОВ

С первых до последних своих публикаций Случевский был поэтом одной главной темы — смерти. Более сосредоточенного на смерти, зачарованного ею поэта в русской литературе, кажется, не найти — один Федор Сологуб тут Случевскому достойный соперник. Но если у Сологуба смерть — всегда бледное, печальное, прекрасное извлечение от ужаса жизни, то в лирике Случевского мы найдем целый учебник смертеведения: болезнь, умирание, кладбище, загробная жизнь, призраки и привидения... Разумеется, во времена, когда в литературе главенствовали соображения общественной пользы, а в поэзии, с некрасовской подачи, царила муза мести и печали, вся эта теоретическая и прикладная танатология мало кого могла увлечь. Уже в самом начале поэтиче-

ского пути задиристые демократические критики жестоко высмеяли Случевского, и начало вышло скомканным.

Но все по порядку. Родители его были помещики из Черниговской губернии. Отец одно время служил полицмейстером Петербурга, затем занимал высокий пост в Министерстве финансов, был тайным советником и сенатором. Юноша учился в Первом кадетском корпусе, окончил его с отличием. После выпуска из корпуса в 1855 году он поступил прапорщиком в Семеновский полк, из которого довольно скоро перешел в лейб-гвардии стрелковый Его Императорского Величества батальон.

Самые ранние из известных его произведений датированы 1857 годом. В этом году он съездил за границу — в Италию и Францию; отсюда в его ранних стихах образы оживающей античности. Автору было уже 20 лет, и стихи его уже довольно взрослые и крепкие. В них и жизнь, и радость от музыки, от созерцания природы, от собственной силы — и философская печаль, и надежда на иную жизнь:

*И в зарослях твоих, безмолвных и густых,
Одна надежда есть, одна — на обновленье:
Субботный день к концу... Последний из твоих.
А за субботой что? Конечно, воскресенье.*

А двумя годами позже 22-летний офицер описал в ехидных стихах свои будущие похороны:

*Я видел свое погребенье.
Высокие свечи горели,
Кадил непроспавшийся дьякон,
И хриплые певчие пели.*

Кончается все тем, что «объелись на сытных поминках родные, лакеи и гости».

Литературного дебюта Случевского никто не заметил. Первые его стихи и переводы из Байрона, Гюго и Барбье вышли в журнале «Общезанимательный вестник» в 1857 году, подписанные инициалами «КС». На вторую публикацию, в «Иллюстрации» в 1859 году, тоже никто не откликнулся. В «Иллюстрацию» его стихи и рассказ («Возвращение покойника», между прочим) сосватал поэт Мей, чей литературный кружок Случевский стал посещать.

В 1859 году Случевский поступил в Академию Генштаба. А в 1860 году неожиданно для автора его стихи появились в некрасовском «Современнике». Приятель Случевского по литературному кружку Всеволод Крестовский передал его стихи знаменитому критику Аполлону Григорьеву. «Григорьеву стихотворения мои очень понравились, — вспоминал поэт. — Он просил Крестовского привести меня к нему, что и было исполнено. <...> Покойный критик был, по обыкновению, навеселе и начал с того, что обнял меня мощно и облобызал. Затем он потребовал, чтобы я прочел свои стихотворения. Помню, как теперь, что я прочел «Вечер на Лемане» и «Ходит ветер избочась». Григорьев пришел в неопишуемый восторг, предрек мне «великую славу» и просил оставить эти стихотворения у себя. Не-

готов к такой свистопляске, критика была и болезненна, и оскорбительна – не только по-человечески, задевала она и его офицерскую честь.

Одновременно разворачивалась личная драма: уезжала за границу его любимая женщина, переводчица Наталья Рашет, молодая, красивая и разведенная. Что-

бы быть с нею, осенью 1860 года он вышел в отставку и уехал за границу. Еще одной важной причиной отъезда стало желание учиться; следующие несколько лет он провел, слушая лекции в университетах – в парижской Сорбонне, в Лейпциге, в Берлине. Степень доктора философии Случевский получил в Гейдельбергском университете в 1865 году. Он вообще немножко немец в русской поэзии – с его брутальной формой и мрачной глубиной тяжелой мысли; широко известно и его увлечение Шопенгауэром.

За границей он провел несколько лет, принимая самое деятельное участие в жизни русского студенчества в Гейдельберге. Как сообщает автор биографии Случевского Елена Тахо-Годи, «он стал в 1862 году одним из основателей тамошней знаменитой русской читальни, где помимо немецких материалов на первом плане были заграничные русские книги, брошюры и газеты, в том числе герценовские «Колокол» и «Полярная звезда». Все это время он состоял в переписке с Тургеневым, добрые отношения с которым стали постепенно портиться. Причиной этого была Рашет. Сергей Маковский рассказывал со слов дочери Случевского Александры: «Влюбился он по уши и мечтал о браке. В те годы дружил с ним И.С. Тургенев, которого он поспешил представить своей «невесте». На свое горе! Рашет, продолжая очаровывать влюбленного студента, решила за его спиной покорить Тургенева, «скрестив шпаги» с Виардо... Но все узнается. Случевский тяжело пережил двойное «предательство» — и любимой женщины, и старшего друга

сколько дней спустя, возвратившись с какого-то бала домой, я увидел, совершенно для меня неожиданно, на столе корректуру моих стихотворений со штемпелем на них – «Современник», день и число».

Григорьев был известен своей позицией, резко противоположной демократическому направлению Некрасова и Добролюбова, и неумеренностью восторгов. Павел Анненков вспоминал: «Едва А. Григорьев завидел меня в дверях кабинета, как вскочил с дивана, где сидел, и, указывая мне на своего соседа, молодого морского офицера очень скромной и приличной наружности, торжественным и зычным голосом воскликнул:

«На колени! Становитесь на колени! Вы находитесь в присутствии гения!» Молодой офицер был поэт Случевский, никому тогда не известный. Он покраснел и не знал, что делать от смущения. Поднявшийся Тургенев тоже проговорил: «Да, батюшка, это будущий великий писатель».

Григорьев довольно скоро опубликовал свои восторги: «...Давно, давно неизведанное физическое чувство испытывал я, читая эти могучие, стальные стихи!.. Да! Стальные... блестящие, как сталь, гибкие, как сталь, с лезвием, как сталь... Тут сразу является поэт, настоящий поэт, не похожий ни на кого поэт... а коли уж на кого похожий – так на Лермонтова... Да-с! Это не просто высокодаровитый лирик, как Фет, Полонский, Майков, Мей, это даже не великий, но замкнутый в своем одиноком религиозном мирозерцании поэт, как Тютчев...»

Все это чрезвычайно повредило молодому поэту. Демократы, задававшие в литературе тон, увидели в нем чужака и сделали из его стихов удобную мишень для упражнений в остроумии. Знаменитые Курочкин и Минаев, поэты сатирического журнала «Искра», смеялись над начинающим стихотворцем, высмеивая и стиль его, и темы: видения древнего Рима и Мемфиса, лежание на кладбищенской доске, под которой копошится мертвец и хочет на волю... Доставалось ему даже за его поэтический словарь, далекий от привычного абстрактно-лирического арсенала с неперменными ночами, звездами и ветрами. Ветер у молодого поэта, вместо того чтобы веять, как положено всякому приличному ветру, ходил по Неве «избочась» и поросил снегом калачи у «бабы кривококой»; Курочкин назвал эти стихи «бесмыслицей». А уж чудесных, на нынешний взгляд, жуков, которые в полете сталкиваются лбами, ему поминали еще несколько лет. Стихотворение «Мои желанья», где Случевский неосторожно проговорился о своем заветном – о желании найти девушку с ясными очами и косой и хороших понимающих друзей, путешествовать, изучать мир и жизнь, а умирая, передать все, чему научился, другим людям, – настолько рассмешило Добролюбова, что тот откликнулся пародией в «Свистке»...

Все происходящее имело характер «неистойовой травли», по выражению самого поэта. Он просто подвернулся под руку; несовершенства его стихов, мнимые или реальные, оказались удобным аргументом в битве титанов – левых с правыми – за идеалы искусства ради общественной пользы или искусства ради искусства. Случевского заклали во имя общественной пользы. Он был совершенно не

и покровителя. Хотя и не удалось Рашет серьезно увлечь Тургенева, рана, нанесенная Случевскому ими обоими, не зарубцевалась никогда». Тургенев после этой истории стал отзываться о Случевском все более зло – хотя охлаждение между ними намечалось уже давно — и вскоре изобразил его в своем романе «Дым», где от него жестоко досталось всему гейдельбергскому кружку. Полина Виардо писала, что именно Случевский стал прототипом Семена Ворошилова. Ворошилов – человек совершенно никудышный, болтун, который кстати и некстати демонстрирует свою эрудицию. В этом ядовитом описании была некоторая доля правды: Случевский в самом деле был эрудитом и всю жизнь стремился к знанию. Сергей Маковский, знавший его уже в старости, писал: «В те дни он был старше меня в три раза, но не производил впечатления отягченного годами мудреца. Обворожительно был молод, умственно деятелен, отзывчив. И, повторяю, необыкновенно скромн. <...> Он всю жизнь учился, читал на многих европейских языках, обо всем любопытствовал. Кого еще назовешь из русских поэтов, так широко охватывавших все доступное уму человеческому и все, что грезится за границами постигаемой яви? Из моих современников – поистине никого, несмотря на культурную универсальность таких вдохновителей символизма, как Вячеслав Иванов и Иннокентий Анненский».

ПРОФЕССОР БЕССМЕРТИЯ

«Ученым специалистом он не сделался ни в одной области, – писал Маковский, – но приобрел большие познания в метафизике, истории, литературе, а также – физике, ботанике, зоологии, химии, биологии и т.д. К тому же не угас в нем и писательский пыл. Он вернулся в Петербург (в 1866 году) и начал снова печататься... Но нелегко было «пробиться» писателю в эпоху великих реформ, да и во времена более уравновешенные, если писатель не был связан с радикальной общественностью, – ведь за свою «правизну» долго оставался в тени даже Лесков!» В России Случевский попытался сразу включиться в литературную полемику, за ходом которой следил из-за границы. Теперь ему представился шанс публично изложить идеи, которые он давно вынашивал, и в 1866–1867 годах он издал три брошюры под общим названием «Явления русской жизни под критикой эстетики». Его мишенью стала демократическая критика – в первую очередь Писарев, Добролюбов и Чернышевский. Правда, пыл его несколько запоздал, потому что Добролюбов к этому времени уже несколько лет лежал в могиле, а Чернышевский пребывал в ссылке; Писарев довольно скоро скончался – в 1868 году. Poleмическая злость Случевского, накопленная за несколько лет, оказалась почти неприличной. Печать снова подняла его на смех, в «Книжном вестнике» его назвали «жалким рифмотвором», друзья-литераторы нашли его выступление бестактным и озлобленным. О том, чтобы печататься под собственным именем, пришлось опять забыть на много лет. Он поступил чиновником в Главное управление по делам печати, а публиковался теперь только под псевдонимами. С 1871

по 1875 год он редактировал журнал «Всемирная иллюстрация», но даже в своем журнале не позволял себе, как то обычно делают редакторы, обильно печататься и подписывался обычно одной буквой – Н. или С., например. В 1870 году он женился на Ольге Лонгиновой («старше его, богатой, своенравной и претенциозной», замечал Маковский), дочери состоятельного курского помещика и домовладельца, у которого снимал квартиру; венчались в курском имении Головино. Через два года родился первый сын. Всего детей было пятеро – три сына и две дочери. Современники замечали, что с женой Случевский довольно холоден. Брак был несчастлив. «После многих ссор и примирений, а также бурных его увлечений он обрел «тихую пристань» с женщиной совсем другого типа, простой и любящей, Агнией Федоровной Рерих (отец ее был выходцем из Швейцарии). Но жена долго не давала развода, лишь на пятьдесят третьем году писателя завершилась эта связь новым браком», – рассказывал Маковский. Детей своих Случевский очень любил, дети его тоже. В новом, позднем браке у него родилась еще одна дочь, Александра.

Он снова совершил попытку вернуться в литературу в 1878 году, когда, посоветовавшись с Аполлоном Майковым и Николаем Страховым, отдал в «Новое время» свою поэму «В снегах». Поэма рассказывает о старом мордвинце Андрее, который живет в избушке среди снегов со своей собакой Лайкой; к нему является замерзшая до полусмерти старуха Прасковья, идущая на покаяние. Андрей согревает старуху и выхаживает, старуха обращает его к вере своими рассказами, а перед смертью исповедует ему свой грех и просит вымолить ей прощение за него. Поэма, написанная монументальным, торжественно-мощным стихом, полная дикой красоты (в ней, кстати, появляются сидящие вокруг костра двенадцать братьев-месяцев, памятные нам по позднейшей

идущая на покаяние. Андрей согревает старуху и выхаживает, старуха обращает его к вере своими рассказами, а перед смертью исповедует ему свой грех и просит вымолить ей прощение за него. Поэма, написанная монументальным, торжественно-мощным стихом, полная дикой красоты (в ней, кстати, появляются сидящие вокруг костра двенадцать братьев-месяцев, памятные нам по позднейшей

маршаковской сказке), вернула Случевскому внимание публики. Со следующего года и до самой смерти он уже не делал перерывов в публикациях: в печати появились еще две поэмы, затем три сборника стихов, затем несколько книг прозы. Из прозы его особенно любопытна, наверное, повесть «Профессор бессмертия»: она наполовину состоит из описания степного края, где проживает чудаковатый доктор с распутной женой, а наполовину – из скучнейших абстрактных рассуждений доктора, который пытается логическим, научным путем доказать бессмертие души. Кончается, как обычно у Случевского, за упокой: распутная жена тонет в реке, а искренне любящий ее доктор обретает утешение в вере и покой – у ее могилы. Нигде в мире такого покоя его герои не находят: жизнь отвратительна. Лирический герой Случевского странствует, многое видит, многое знает – но ни в чем не находит утешения и успокоения. Он желчен, раздражен, раздвоен; Случевский подхватывает тему двойничества у Гоголя и Достоевского – и передает ее дальше – Блоку, Серебряному веку. Повседневная жизнь вызывает у него скептическое отвращение, какое мы позже найдем у Саши Черного; повсюду зло, по миру ходит Мефистофель (целый цикл ему посвятил Случевский) и вертит людьми. Настолько герою Случевского нехорошо в этом мире, что даже Новый год он предлагает в одном стихотворении встречать панихидой. Но, в отличие от скептиков Серебряного века, для которых отчаянием все и кончается, у Случевского есть классический выход. Могила подводит все итоги, всех примиряет, все решает; за могилой будет другая жизнь и воскресение. Одно из интереснейших его стихотворений – о том, что людей неправильно воспитывать в страхе смерти:

Нет! надо иначе учить от колыбели...

Долой весь темный груз туманов с головы...

Нет, надобно, чтоб мы совсем светло глядели

И шествовали в смерть,

как за звездой волхвы!

Тогда бы верили мы все и безгранично,

Что смерть – желанная! что алые уста

Нас зацеловывают каждого, всех, лично, –

И тайна вечности спокойна и проста!

Поразительно, как в нем в самом деле уживались двое: поэт, мучимый тяжкими мыслями и воспоминаниями, одержимый смертью, и государственный служащий, семнадцать лет отслуживший в Министерстве внутренних дел и государственных имуществ. На протяжении долгого времени он ездил в бесконечные рабочие командировки, а кроме того, сопровождал в поездках по России великого князя Владимира Александровича и вел летопись этих поездок, которая потом сложилась в книгу «По северо-западу России». В старости он – камергер, гофмейстер, редактор газеты «Правительственный вестник» (с 1891 по 1902 год). Почтенный бородатый старец

снаружи, изъеденная мукой, сомнением, тоской душа – изнутри.

*А теперь я что? Я – песня в подземелии,
Слабый лунный свет в горячий полдня
час,*

*Смех в рыданиях и тихий плач
в веселии...*

Я – ошибка жизни, не в последний раз...

Я НЕ НОШУ ВЕРИГ ЗЕМЛИ

Из своих поездок по России он привозил многочисленные стихи – часто замечательно мощные по изобразительной силе; чего стоят одни только играющие киты из мурманского цикла, похожие на «подводных витязей щиты», или замечательные стихи о северных бабах, женах рыбаков. Он как будто отдыхает и душой, и стихом от своих напряженных размышлений о смерти, уходя в живописание красот природы, в размышления о российской истории (у него несколько исторических поэм). Однако он может быть каким угодно жизнерадостным силачом и живописцем, когда рассказывает о своих многочисленных странствиях и путешествиях, но только дуновение смерти заставляет его стих звучать с исступленной силой и страстью. Вот в одном из его стихотворений, привезенных из поездки по Русскому Северу, ребенок замечает призрак крадущейся к нему цинги:

Какой он белый и слепой!..

Он шарит пальцами в стене...

Он копошится за стеной...

Ах, не пускай его ко мне!..

И если бы не это мелодраматичное «ах» – то какая была бы холодная жуть.

В позднем, предсмертном цикле, так и названном – «Загробные песни», – он рассказывает о своих смертных видениях с редкой убедительностью:

Вся земля умерла! с резким хрустом в костях

Смерть в венце надо мною носилась,

И под ней расстился один только прах...

*Смерть металась, вопила и билась.
Выходила из впадин очей ее мгла,
И в меня эта мгла проникала;
Свисли челюсти Смерти, ослабла
скула...*

Обезумела Смерть! Голодала!

Все возвращало его к памяти смертной, внушавшей ему и животный ужас, и смирение. Подобно воину-самураю или христианскому аскету, он много раз представлял себя уже умершим – то умирающим, то лежащим в гробу в ожидании погребения, то уже прошедшего загробные муки, очищенного и освобожденного:

*Я отпетый, я отчитанный,
Молча вслед тебе смотрю,
И в трудах, в скорбях воспитанный,
Смерть пройдя, – благодарю...*

«Загробные песни» восхитили символистов; он в самом деле попал в нерв. Дансе Масабре (Пляска смерти. – **Прим. ред.**) стал своего рода символом времени (и здесь Случевский – тоже мостик между Западом и Россией, классикой и модерном – от Гете к Блоку, через целый ряд имен). Особенно жутка его «Камаринская», где из больниц выходят в пляске души усопших сумасшедших и убогих. В «Загробных песнях» уже почти нет кладбищенского умиротворения – в них страх, ужас, хождение души по миру мертвых. Смерть, о которой он думал всю жизнь, становилась пугающе реальна и оказалась куда безобразнее, чем представлялось умозрительно. Он терял зрение и мучительно умирал от рака желудка. Эти поздние его стихи – то смиренное принятие, то ожесточенный вызов Творцу, то торжественное прорицание о будущем.

В последние годы он жил со второй женой, Аглаей Рерих, и дочкой Шурочкой в усадьбе, которую назвал «Уголком» и где написал целый поэтический цикл, по настроению своему, пожалуй, родственной древней философии – не то киников, не то стоиков:

*Я никого не ненавидел,
Но презирал – почти всегда,
И вот теперь, на склоне жизни,
Могу порой совет подать:
Как меньше пользоваться счастьем,
Чтоб легче и быстрее страдать.
Здесь из бревенчатого сруба,
В песках и соснах «Уголка»,
Где мирно так шумит Нарова,
Задача честным быть легка.
Ничто, ничто мне не указка, –
Я не ношу вериг земли...
С моих высоких кругозоров
Все принижается вдали.*

После смерти поэта Полонского, у которого по пятницам собиралась литературная компания, Случевский стал принимать ее у себя; к нему ходила чета Мережковских, Бальмонт, Сологуб, Фофанов, иногда Владимир Соловьев. Он, как и мечтал некогда в стихотворении, высмеянном Добролюбовым, в самом деле передавал дальше то, что накопил сам, – глубину философского поиска, ощущение натянутой струны, мучительную тоску – ту, что так страшно звенит в его знаменитом «После казни в Женеве» и отзывается струнной мукой у Иннокентия Анненского.

Он и сам понимал свое место – моста, перехода. Об этом его стихи «Быть ли песне?»: о неповторимости «пушкинской весны», о горечи прозаического времени, в котором ему довелось быть поэтом, о том, что стих переломается в мученьях и обретет новую гармонию:

*То будет время наших внуков,
Иной властитель дум придет...
Отселе слышу новых звуков
Еще не явленный полет.*

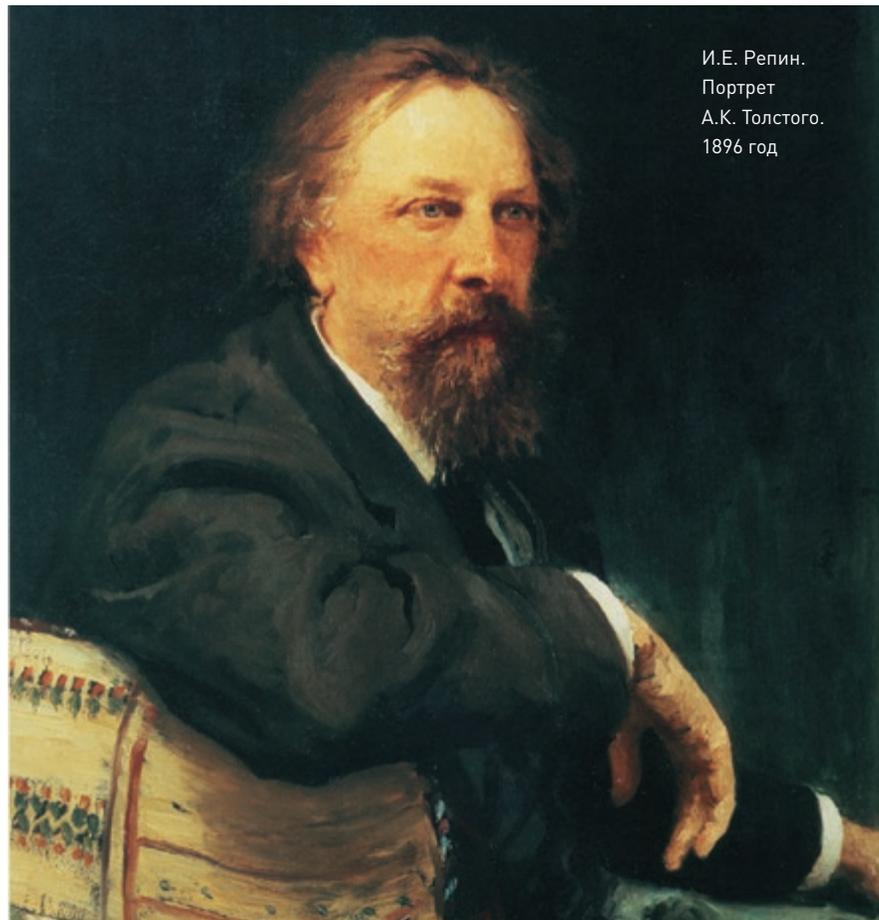
И поколение внуков действительно принесло в русскую поэзию «новых звуков полет». О победе поэзии над временем – единственное, пожалуй, стихотворение Случевского, из которого выпали и зажали самостоятельной жизнью крылатые слова:

*Смерть песне, смерть!
Пускай не существует!..
Вздор рифмы, вздор стихи! Нелепости оне!..
А Ярославна все-таки тоскует
В урочный час на каменной стене... ❀*

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Хронологически старшим из трех великих Толстых в русской литературе был Алексей Константинович. Рожденный в 1817 году, он вошел в поэтическую силу со смертью Пушкина и унаследовал от него не лиру, нет — но ясность духа, гармонию и меру.



И.Е. Репин.
Портрет
А.К. Толстого.
1896 год

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ — ПОЭТ редкого душевного здоровья, которое отчасти стало причиной того, что его произведения охотно рекомендовали «для детского и народного чтения», по выражению Семена Венгерова. И не только здоровья, но еще и огромной силы, не всегда очевидной в его лирике. Однако она понятна всякому, кто не прошел мимо его «Иоанна Дамаскина»: чтобы писать о гениальном поэте и не опозориться, надо самому быть если не равновеликим, то, во всяком случае, настоящим. Толстой нигде не преисподается, не сбивается на скороговорку — он держит поэтическое дыхание под стать своему герою.

Поэтическая сила Толстого не уступала его физической силе. Он пальцами сворачивал зубья вилки винтом, разгибал подковы, гнул кочерги и вдавливал пальцами гвозди в стены. Немудрено, что его так тянуло к богатырским, былинным временам. Он вообще был удивительно щедро одарен: не только силен, умен, образован, хорош собою, наделен исключительной памятью (мог воспроизвести только что прочитанную страницу текста наизусть), но и богат, и счастлив в любви, и привечаем при дворе. При этом — никаких сделок с совестью и безупречная репутация. Удивительная биография для русского писателя: в нашей литературе мало счастливых и много мучеников. А чтобы счастье сочеталось со здоровым умом, крепкой психикой, человеческой порядочностью и недюжинным талантом — второго такого еще поди найди (может, Короленко?).

И распорядился он всем этим богатством как положено: не растратил, не закопал, а приумножил, как в притче

ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

про таланты. Но при этом – несколько раз в его стихах встречается образ богатыря, который несет на себе горе. Но это, наверное, и нормально. Ненормально было бы, наверное, наоборот: жить в этом месте и времени и не испытывать никакого горя.

АЛЕША И ВЕЛИКИЕ

По рождению Алексей Толстой принадлежал к двум аристократическим фамилиям. Отец его, Константин Толстой, был потомком петровского вельможи Петра Толстого, братом известного живописца Федора Толстого – того самого, с «кистью чудотворной». Сам Константин Толстой, отставной полковник, был человеком ничем не примечательным. Мать, Анна Алексеевна Перовская, была внебрачной дочерью князя Алексея Кирилловича Разумовского и мещанки Марии Соболевской. Отец выхлопотал всем детям от этого союза дворянство, дал образование и богатство; семейный клан Перовских подарил России ученых, писателей, государственных деятелей.

Семейная жизнь родителей не заладилась, мать ушла от отца очень скоро и шестинедельного сына забрала с собой. Родные сочли, что семейный союз был изначально обречен: муж пил, жена была слишком умна, независима и с «причудами», о чем вспоминала ее младшая сестра. Вместо отца растить и воспитывать крошку-графа стал брат его матери Алексей Алексеевич Перовский – писатель Антоний Погорельский. Мать с ребенком подолгу жили у него в Погорельцах. Когда Разумовский умер, Перовский унаследовал его имение Красный Рог (в нынешней Брянской области), и Анна Алексеевна с малолетним сыном поселилась там.

«Мое детство было очень счастливо и оставило во мне одни только светлые воспоминания, — писал Алексей Толстой. — Единственный сын, не имевший никаких товарищей для игр и наделенный весьма живым воображением, я очень рано

привык к мечтательности, вскоре превратившейся в ярко выраженную склонность к поэзии. Много содействовала этому природа, среди которой я жил; воздух и вид наших больших лесов страстно любимых мною, произвели на меня глубокое впечатление, наложившее отпечаток на мой характер и на всю мою жизнь и оставшееся во мне и поныне». Мать его любила и баловала. Дядя внимательно и чутко относился к его воспитанию, писал ему, совсем маленькому, серьезные письма, сочинял для него сказки (одной из них, «Черной курицей», и прославился), нанимал лучших учителей. В 6 лет Алеша говорил и писал по-немецки, по-английски и по-французски, а по-русски сочинял стихи. Они, увы, не сохранились. В 1826 году Анна Алексеевна переехала в Москву, ее произвели в статс-дамы, а Алеша Толстой попал в число товарищей наследника престола, будущего царя Александра II. В Москве к Алексею Перовскому приходил в гости Пушкин; Алеша Толстой был уже вполне подростком и начитанным ребенком, чтобы осознать значение гостя.

На следующий год Перовский повез сестру с племянником в Германию – и самому лечиться, и часто болевшего Алешу подлечить. В Германии они навестили Гёте. Известно, что великий поэт посадил русского мальчика на колени, а потом подарил ему кусок мамонтового бивня, на котором сам изобразил фрегат. Толстой вспоминал: «От этого посещения в памяти моей остались величественные черты лица Гёте... к которому я инстинктивно был проникнут глубочайшим уважением, ибо слышал, как о нем говорили все окружающие».

С 12 лет Толстой с матерью и дядей жил в Петербурге. По выходным его возили играть с наследником. Фрейлина Александра Россет (в замужестве), увидев однажды возню наследника с друзьями, записала, что маленький Толстой отличается «баснословной силой» – он даже предложил помериться силами Николаю I и всерьез пытался побороть его.

Тринадцати лет Алешу возили в Италию; к этому времени он уже говорил и по-итальянски. Италия его совершенно очаровала – своей историей, ветшающей роскошью, романтическими разбойниками. Эта Италия появится, пленительная и страшная, в его «Упыре» — и всю жизнь будет манить к себе. В Италии он познакомился с Брюлловым; спустя несколько лет Брюллов гостил в семье Перовского и Толстых и написал портрет Алеши Толстого – белолицего и румяного блондина с фигурой борца... Алексей продолжал писать стихи, дядя даже устроил ему первую публикацию, но – чтобы племянник не возгордился – рядом со стихами был напечатан и критический разнос. Некоторые стихи дошли до наших дней, но, как и всякая юная лирика, – за редким исключением – особыми достоинствами они не блещут. Впрочем, сохранились устные свидетельства, что первые стихотворные опыты молодого поэта хвалили Пушкин и Жуковский.

СЛУЖБА, ЧИН, ВИЦМУНДИР

Надо было определяться с карьерой. Он поступил на службу в Московский архив Министерства иностранных дел – разбирать старинные документы и стал готовиться к университетским экзаменам на факультете словесности «на право чиновников первого разряда». Экзамены сдал успешно. Однако вместо того, чтобы делать карьеру, повез заболевшего дядю на лечение в Европу. Алексей Перовский чувствовал себя все хуже и вскоре умер, оставив племяннику все, что имел. Алексей, придя в себя после похорон, явился на службу, где давно не бывал. Из департамента хозяйственных и счетных дел он перевелся в департамент иностранных дел, а оттуда был направлен в миссию во Франкфурте-на-Майне. Толкового чиновника из него не вышло, как ни пытались наставить его на путь государственной службы дяди Перовские: литература и путешествия его интересовали куда больше.

Вскоре после смерти дяди Алексей в первый раз влюбился – в княжну Елену Мещерскую. Мать воспротивилась этой любви, и послушный сын от нее отказался. Еще одна его любовь – девушка Пеппина, встреченная им на озере Комо во время второй итальянской поездки; эту Пеппину мы встречаем в его первой крупной публикации – повести «Упырь». «Упырь» вышел в свет в 1841 году, подписанный псевдонимом «Краснорогский», и сразу обратил на себя внимание Белинского, заметившего в нем «все признаки еще молодого, но тем не менее замечательного дарования».

«Упырь» и другие страшные рассказы Толстого – «Семья вурдалака», «Встреча через триста лет» [эти два были изначально написаны по-французски] – и сегодня читаются с упоением. Это классика русского «хоррора», замечательная по изобретательности сюжета и мрачной атмосфере; чего стоит одна только жуткая, до мурашек по коже, рыцарская баллада из «Упыря» – «пусть бабушка внучкину высосет кровь»...

Знакомство с Гоголем, благословение великих современников, многообещающий литературный дебют в духе гоголевско-гофмановской романтики – казалось, все это открывало перед молодым графом прекрасные перспективы. Но вместо литературы он занимался службой под присмотром дядей, Василия и Льва Перовских, и восходил их усилиями по карьерной лестнице, что его нимало не интересовало. Он подолгу жил в усадьбе, охотился, учился рисовать, читал, мало занимался хозяйством: управление имением целиком взяла на себя мать. Мать – его деспот, хотя и горячо любимый; она бдительно следила за его карьерой и расстраивала любой его роман. Он не показывал любящим родственникам, насколько эта благополучная жизнь, ими созданная, ему не по мерке. Он был человек хороший, деликатный, воспитанный – вообще джентльмен, как назвал его историк литературы Святополк-Мирский. Он не любил, не мог и не хотел служить, служба не давала ему заниматься литературой. В одном из писем он делился заветным: «Но как работать для искусства, когда слышишь со всех сторон слова: *служба, чин, вицмундир, начальство* и тому

подобное? <...> Я не могу восторгаться вицмундиром, и мне запрещают быть художником; что мне остается делать, если не заснуть? Правда, что *не следует* засыпать и что нужно искать себе другой круг деятельности, более полезный, более очевидно полезный, чем искусство; но это перемещение деятельности труднее для человека, родившегося художником, чем для другого...»

Он убежден, что он художник, но семья требует от него службы. Он работает в стол, пишет по ночам. Днем – служба, придворные обязанности. Читатели никогда не увидели того, что он написал этими ночами – позднее он сам уничтожил множество стихов этого времени, сомневаясь в своей поэтической силе. Хотя в это десятилетие, в 40-х годах, написано несколько замечательных баллад, в том числе хрестоматийный «Василий Шибанов». И безукоризненное по форме, ослепительно-счастливое стихотворение «Где гнутся над омутом лозы»: кожей чувствуешь тепло, видишь «бирюзовые спинки, а крылышки точно стекло». И «Колокольчики мои, цветики степные». И стихи «Ты знаешь край, где все обильем дышит», полные самых живых красок и острой тоски по любимой с детства Украине. Его тянет к простору, к природе, наедине с которой он сам себе равен, к свободе. Но жизнь течет в другую сторону – настолько против его воли, что иногда он готов биться головой об стену от отчаяния.

...Грянула Французская революция 1848 года, а за ней началось стремительное закручивание гаек в России – извест-

ное «мрачное семилетие», время цензуры, ссылки и мертвящей бюрократии. Толстой все-таки нашел для себя отдушину в этом царстве стоячего воздуха. Вместе с братьями Жемчужниковыми – большой, шумной семьей кузенов, детей его тетки по матери, – он придумал Козьму Пруткова, персонаж в российской словесности непревзойденный. Впервые Прутков появился примерно в первой половине 1850-х годов – и вскоре зажил своей жизнью, обзавелся биографией и родственниками. Алексей Толстой с кузенами стали, пожалуй, первыми абсурдистами в русской лите-

ратуре (ну, если не считать некоторых пассажей у Гоголя). С Гоголем, кстати, именно в это время Толстой сильно сдружился; Гоголь приехал из-за границы работать над вторым томом «Мертвых душ», Толстой много проводил с ним времени и, по некоторым свидетельствам, читал ему одну из первых редакций своего «Князя Серебряного». Может быть, под влиянием гоголевской религиозности, находясь по службе в Калуге, Толстой несколько раз ходил пешком в Оптину пустынь.

История тоже была своего рода отдушиной для Толстого: куда и уходить в трудные времена, как не в историю еще более трудных времен. При всей симпатии к баснословной древности, к богатырским временам Киевской Руси больше всего интересовали Толстого времена мучительные, трудные, поворотные: царство Ивана Грозного, царство Годунова, Смута... – времена сильных характеров и острых сюжетов, позволяющие говорить самое важное о стране, ее истории, ее народе и власти.

КОЛЬ ЛЮБИТЬ, ТАК БЕЗ РАССУДКУ

В 1851 году на бале-маскараде Толстой встретил незнакомую даму. Разговорился с ней и был совершенно очарован: дама оказалась умным и внимательным собеседником. Но маску не сняла – только взяла его карточку. «Средь шумного бала, случайно» – это о ней, о смутной влюбленности, которая едва зародилась и обещает и счастье, и боль. Таинственная незнакомка через несколько дней пригласила его в гости – и с этого началась история любви на всю жизнь. Софья Андреевна Миллер, урожденная Бахметьева, была женой конно-гвардейского ротмистра, жила отдельно от мужа, хотя и не в разводе. Она знала 14 языков, прекрасно пела, отлично разбиралась в музыке и литературе и была хотя и нехороша собой – небольшие глаза, нос уточкой, жесткий подбородок, – но необыкновенно обаятельна. В первых письмах влюбленный Толстой рассказывал ей всего себя. Делился сомнениями о своей службе и своей бесталанности,

А.К. Толстой.
Санкт-Петербург.
1864–1865 годы.
Фотография
Яна Гоха



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

посвящал в планы заняться литературой. Она поддерживала и одобряла. Мать, услышав, что сын влюбился в чужую жену, поспешила принять меры: отговаривала, щедро делилась сплетнями, которые заставили его очертя голову мчаться к Софье Андреевне в имение ее братьев и объясняться. Теперь уже возлюбленная рассказывала ему свою не очень счастливую жизнь: ошибки молодости, неудачный брак... Он жалел ее и от жалости, кажется, любил еще больше.

Любовь как будто заставила его, застывшего в отчаянной нерешительности, двигаться и бороться. Несколько последующих лет он уговаривал мать принять его выбор. А Софья Андреевна пыталась добиться от мужа развода.

Именно сейчас, когда он, как Илья Муромец, много лет просидевший на печи, встал и задвигался, когда он начал писать, когда, собственно говоря, начал жить в полную силу и дышать полной грудью, – он написал свое знаменитое стихотворение:

*Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж сплеча!
Коли спорить, так уж смело,
Коль карать, так уж за дело,
Коль простить, так всей душой.
Коли пир, так пир горой!*

Все от души, все по большому счету, честно, открыто и в полную силу. И в литературе, и в жизни Толстой таким и был. Заступался перед царем Николаем I за Тараса Шевченко, выпрашивал арестованному Тургеневу право жить в Петербурге; позднее пытался заступиться перед Александром II за сосланного Чернышевского, но добился только ссоры; а вот за Шевченко хлопотал безуспешно. Это – пушкинская традиция «милость к падшим призывать», одинаковые для всех времен добрые нравы русской литературы, в которой, как и в жизни вообще, Толстой вел себя безукоризненно.

Князь Мещерский, брат его первой возлюбленной, писал о нем: «Подобной ясной и светлой души, такого отзывчивого и нежного сердца, такого вечноприсущего в человеке нравственного идеала я в жизни ни у кого не видел». Современники в один голос рассказывают о Толстом одно и то же: скромный, спокойный, удивительно милый человек, рядом с которым хорошо и радостно.

ДВУХ СТАНОВ НЕ БОЕЦ

В 1855 году началась война с англичанами. Толстой, возмущенный точечными высадками противника на Балтике, сначала пытался купить и оснастить свой корабль и нанять команду матросов, чтобы противостоять им. Затем, с началом Крымской войны, стал собирать стрелковый полк. Он был хорошо организован и хорошо вооружен, Толстой получил чин майора. Полк прибыл в Одессу, но не

успел вступить в военные действия: началась эпидемия тифа. Заразился и сам Толстой, который долго болтался между жизнью и смертью. Новому императору, Александру II, телеграфными депешами докладывали о состоянии друга детства. Софья Андреевна поехала в Одессу ухаживать за любимым. Потом он долго выздоравливал. Жили в Одессе, путешествовали по Крыму, ссорились, мирились и тосковали о невозможности по-настоящему быть вместе. Стихи, которые написаны тогда на юге, полны любви, тоски и ощущения чуда:

*...Скажи, о чем твоя печаль?
Не той ли думой ты томима,
Что счастье, как морская даль,
Бежит от нас неуловимо?
Нет, не догнать его уж нам,
Но в жизни есть еще отрады;
Не для тебя ли по скалам
Бегут и брызжут водопады?
Не для тебя ль в ночной тени
Вчера цветы благоухали?
Из синих волн не для тебя ли
Восходят солнечные дни?..*

Это недолгое краденое счастье закончилось, когда мать вызвала Толстого к себе. Наговорила очередных сплетен о Софье Андреевне. Новый царь требовал Толстого ко двору, его ждала должность флигель-адъютанта. Толстой в ужасе пытался отбиться от нее – рассказывал о своей непрактичности, неспособности к службе, просил отпустить. «Послужи, Толстой, послужи», – ответил император...

Козьму Пруткову охотно печатал красовский «Современник». Но теперь он изменился, и тон в нем стали задавать не писатели, а критики – в

первую очередь Чернышевский и Добролюбов. Толстому, влюбленному в красоту, их утилитаризм был отвратителен.

Воздух раскалялся, в нем носилось ожидание реформ. Литература раскололась на прагматиков и приверженцев чистого искусства; западники боролись со сла-

вянофилами, демократы – с консерваторами-монархистами. Толстой лавировал между лагерями, не вливаясь ни в один: собственная независимость была ему дороже всякой идеологии.

*Двух станов не боец, но только гость случайный,
За правду я бы рад поднять мой добрый меч,
Но спор с обоими досель мой жребий тайный,
И к клятве ни один не мог меня привлечь;
Союза полного не будет между нами –
Не купленный никем, под чье б ни стал я знамя,
Пристрастной ревности друзей не в силах снести,
Я знамени врага отстаивал бы честь!*

Со временем он станет жестче и язвительней, и достанется от него всем.

«Идут славянофилы и нигилисты, у тех и других ногти нечисты». «Ибо нет ничего слюнявее и плюгавее русского безбожия и православия». Он всегда в стороне, всегда над схваткой, потому что чувство меры и справедливости всегда тянет его возражать и тем, и другим. Может, потому одним из лучших его героев стал Поток-богатырь, проспавший несколько столетий и крайне изумленный увиденным в XIX веке:

*И подумал Поток: «Уж, господь борони,
Не проснулся ли слишком я рано?
Ведь вчера еще, лежа на брюхе, они
Обожали московского хана,
А сегодня велят мужика обожать!
Мне сдается, такая потребность лежать
То пред тем, то пред этим на брюхе
На вчерашнем основана духе!»*

Демократы не простили ему «Потока» – записали в ретрограды и долго еще поминали ему авторство возмутительного стихотворения. Хотя и в другой огород он камней накидал предостаточно: чего стоят только «Сон Попова» и прутковский «Проект: о введении единомыслия в России». Каменьев Толстой не жалел для обоих лагерей – куда только девалась в таких случаях его кротость.

О, ОТПУСТИ МЕНЯ, КАЛИФ!

1858 год многое изменил в его жизни. Умер один дядя, Лев Перовский. Затем умерла мать. Ее смерть примирила Толстого с отцом, к этому времени тихим и богобоязненным стариком: раньше он с ним не знался, чтобы не огорчать матушку. Следом за матерью умер второй дядя, Василий Перовский. Толстой унаследовал имения и состояния всех троих. Но ни воссоединиться с любимой, чье дело о разводе с мужем, уже полковником Миллером, так и не было закончено, ни отказаться от обязанностей при дворе он не мог.

Именно это бремя придворной службы пытается сбросить с себя его Иоанн Дамаскин, страстно и убедительно уговаривающий царя отпустить его:

*«...Простым рожден я быть певцом,
Глаголом вольным бога славить!
В толпе вельмож всегда один,
Мученья полон я и скуки,
Среди пиров, в главе дружин,
Иные слышатся мне звуки.
Неодолимый их призыв
К себе влечет меня все боле –
О, отпусти меня, калиф,
Дозволь дышать и петь на воле!»*

Дамаскин создан, чтобы петь хвалу Господу и утешать людей. Ни калиф ему не может помешать, ни монах-наставник, запретивший ему слагать стихи: за поэта вступается Богородица – и ликующая песнь разливается по свету:

*Раздайся ж, воскресная песня моя!
Как солнце взойди над землею!
Расторгни убийственный сон бытия
И, свет лучезарный повсюду ляя,
Громи, что созиждено тьмою!*

В конце концов Толстой подал царю прошение о бессрочном отпуске, и тот вынужден был отпустить поэта. Царица вздохнула: этот Толстой покидает царя именно тогда, когда ему нужны честные люди!

...Неумолимо надвигалась отмена рабства.

В 1861 году Толстой примчался из Англии, чтобы самолично прочитать своим крестьянам царский манифест. Крестьяне его не поняли. Хозяина из Толстого не получилось: управлять именьями он не мог, не имел к этому никакой склонности, распоряжений его никто не исполнял, управляющие его откровенно грабили. Бессрочный отпуск оказался половинчатым решением проблемы, Толстого постоянно призывали на службу ко двору, суля высокие посты. Наконец, он решился

на отчаянный шаг и написал царю не прошение даже, а личное письмо: «Государь, служба, *какова бы она ни была*, глубоко противна моей природе. Я сознаю, что всякий в меру своих сил должен приносить пользу своему отечеству, но есть

разные способы быть полезным. Способ, указанный мне Провидением, – мое *литературное дарование*, и всякий иной путь для меня невозможен. Я всегда буду плохим военным, плохим чиновником, но, как мне кажется, я, не самообольщаясь, могу сказать, что я хороший писатель. Это призвание для меня не ново; я бы давно отдался ему полностью, если бы в продолжение длительного времени (до сорока лет) не насиловал себя из чувства долга и уважения к моим родным, которые не разделяли моих взглядов на этот счет. <...> Я надеялся тогда победить мою природу – художника, но опыт показал, что я боролся с ней напрасно. *Служба и искусство несовместимы*. Одно вредит другому, и нужно выбирать одно из двух». А царю он обещал верно служить в главном: всегда говорить правду. «И истину царям с улыбкой говорить», он и тут был верным наследником Пушкина, с которым пребывал в постоянном диалоге – то спорил с его пониманием Годунова, взявшись за тему, с которой, казалось, после Пушкина нечего делать. То дружески возражал в уморительных надписях на стихотворениях Пушкина: на «зачем ты, грозный аквилон...» отвечал: «И как не наскучило вам всем пустое спрашивать у бури? Пристали все: зачем, зачем? Затем, что то – в моей натуре!»

Царь, получив прошение, дал ему отставку. Толстой получил свободу. Закончил «Князя Серебряного», над которым мучился двенадцать лет. Написал «Смерть Иоанна Грозного». Софья Андреевна получила развод, и они наконец обвенчались – в Дрездене в 1863 году, через двенадцать лет после встречи на маскараде. Но ко времени этой подоспевшей свободы Толстой начал сильно болеть: появилась астма, заболел желудок; болело сердце; начались головные боли, которые в конце концов и свели его в могилу. Лечиться тогда ездили на курорты; казалось, ему помогал Карлсбад. Все следующие годы прошли в разъездах между Карлсбадом, имени-

ем Пустынька, где он жил с женой, и европейскими столицами, где был круг общения, друзья, дела, где готовились его театральные постановки. Начал писать «Царя Федора Иоанновича» – поразительную драму с совершенно неслыханным царским характером. Толстовский Федор Иоаннович слаб духом до невменяемости, но при этом – как и толстовские богатыри, как князь Серебряный, как сам Толстой – так прост и устойчив ко всякому злу, что почти свят. Трагедию запретила цензура.

Такая писательская судьба: лучшая пьеса не увидела сцены, лучшие сатиры, «Сон Попова» и «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» не были опубликованы при жизни автора. Первый сборник стихов вышел, когда поэту уже стукнуло 50 – притом что стихи он писал с 6 лет! И к этому сборнику он тщательно перебирал всю свою работу и выбрасывал все, что ему казалось лишним. И Каролине Павловой, переводчице его пьес на немецкий, проповедовал ту же жесткую требовательность и рассказывал, что выбрасывал из пьесы не только целые страницы, но и целые тетради...

Он закончил «Царя Бориса», третью часть исторической трилогии, но «Посадника», свою последнюю пьесу, так и не завершил.

Он задыхался и страдал невыносимыми головными болями; в воспоминаниях о последних годах его жизни современники говорят о страшном багровом цвете его лица. В приступах боли он лежал на полу, положив на голову лед; ничего не помогало. Наконец кто-то посоветовал ему морфин. Наркотик давал облегчение, но вызвал немедленную зависимость. Осенью 1875 года Толстой по ошибке вколол себе слишком большую дозу морфина, уснул и не проснулся. Есть какая-то печальная ирония судьбы в том, чтобы самый добродетельный русский классик умер от передозировки, как непутевый рокер XX века.

Наверное, во всем XIX столетии не найти более аутентичного русского писателя, чем западник и полиглот Толстой. Именно его глазами мы видим допетровскую Русь, совершенно внутренне достоверную – как глазами Дюма видим время мушкетеров. С удивительным тактом и вкусом, нигде не свалившись в разлюбливанную малину, он принес читателю лучшее из того, что сам нашел в народных песнях и былинах. Именно его насмешливый ум помогает впервые понять и осилить непостижимую логически русскую историю – так же, как и русскую бюрократию, и графоманию, – осилить и не бояться, вот что важно. Помогает навсегда получить иммунитет от лазоревых полковников и слишком серьезного отношения ко всяким идеологическим побоищам, где не сходятся в теории вероятности, но сходятся в неопрятности. Ну и сам по себе опыт такого щедрого, счастливого, принимающего и любящего отношения к жизни, к природе, к любимой женщине и к своей стране – он ни для кого не лишний: это как раз тот витамин, которого никогда не хватает. 🍷

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ГЕНИЙ

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Откуда-то Толстой все знал про людей. И про тогдашних, и про сегодняшних, хотя те и другие не так уж отличаются друг от друга. Откуда-то этот бородатый старик понимал, о чем думает юная девица, что чувствует обманутая жена, какой ад в душе у жены неверной; понимал также про флигель-адъютантов, помещиков и философов; понимал про деревья и лошадей; и про страну, и про жизнь он понимал что-то важное и неизменное. Речь даже не об актуальности толстовских текстов, а об их неразменности. Так золотой царский рубль — он уже не царский и даже не вполне рубль, но неизменно золотой.

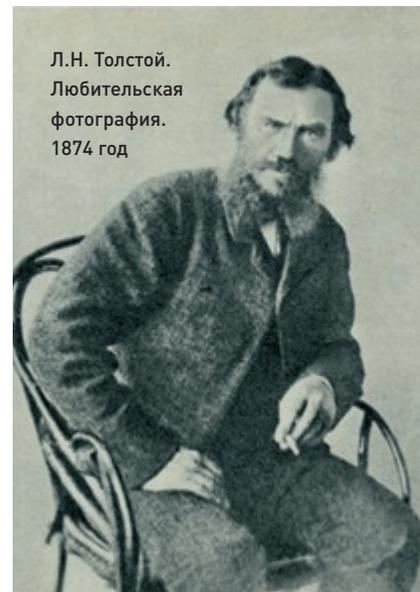
« АННУ КАРЕНИНУ» ТОЛСТОЙ ЗАКОНЧИЛ 135 ЛЕТ НАЗАД, В 1877 году; в том же году завершилась и первая журнальная публикация в «Русском вестнике» – правда, без эпилога, в котором Толстой скептически отзывался о русских добровольцах, уходящих на Балканскую войну. Редактор Катков не одобрил этого скепсиса и эпилога печатать не стал, а вместо этого кратко до абсурда пересказал, что случилось с героями романа после смерти главной героини, и объявил роман неудачным. Хотя изначально его журнал пытался превратить роман в весомый аргумент в пользу «чистого искусства» в бесконечной русской полемике о том, что лучше: искусство ради искусства или искусство ради общественного блага.

Роман, однако, был написан вовсе не за этим.

ЛОПНУЛА СТРУНА

Роман был задуман в кризисное время – в 1870–1871 годах, когда семейное счастье Толстых, такое, кажется, безоблачное и ясное, вдруг на девятом году дало трещину: «Лопнула струна, и я осознал свое одиночество», – написал Толстой об этом времени много позже. А Софья Андреевна прямо по горячим следам записала в дневнике: «что-то переломилось в нашей жизни» – и «переломилась вера в счастье, в быт, которая была».

счастливой любви... Роман вызревал и ждал, но родился только тогда, когда Толстой нашел адекватную форму – ее подсказал лаконичный и стремительный пушкинский отрывок «Гости съезжались на дачу» с его безоглядной героиней



Л.Н. Толстой.
Любительская
фотография.
1874 год

ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

«Мысль семейная», которая была такой ясной в «Войне и мире», теперь мучительно саднит. Терзает ощущение, что жизнь проходит неправильно. Что мир, полный радости и красоты, устроен плохо, не так; что там, где должна быть любовь и счастье, – там взаимное мучительство, стыд, унижение, некрасивые слезы, глупая улыбка, глупые слова: «преступная жена», «с развратным отцом, да, с развратным отцом»... «перестрадал»... «тебе весело...»

И несколько толчков, которые привели к рождению романа, – это и душераздирающая, скандальная, многолетняя история любви Алексея Толстого к замужней женщине; и впечатление от смерти Анны Пироговой, которая на соседней станции Ясенки бросилась под поезд от не-

Зинаидой Вольской, которая делает то, что считает нужным. Вот она, героиня, которая делает все наперекор правилам, свету и судьбе; вот нож, который взрезает общее благополучие.

Героиня обрела внешний облик, когда Толстой встретил дочь Пушкина, Марию Гартунг, полную темноволосую красавицу в черном платье, с фиалками в волосах. На одном из своих портретов она именно такая: в черном платье и с фиалками, с роскошными плечами – и с тонким пушкинским профилем, который, правда, Анне Карениной не достался.

Сначала Анна не была Анной, а Каренин не был Карениным – они вначале были Ставровичи. Первая сцена была пушкинская: светский салон, он и она уединяются так, что это замечают все. Вронский был сначала Балашовым, потом Гагиным. Уже тогда Толстой придумал скачки, и эта сцена сравнительно мало изменилась до конца. Когда возникла фамилия «Каренины», Анна называлась Наной (Анастасией), а набросок носил название «Молодец баба». Нана мучила и морочила мужа и любовника, жила с любовником на даче, муж и любовник весьма трагически и благородно сталкивались в подъезде, она собиралась рожать и боялась этого...

Но в рамках романа-адайлтера Толстому было тесно – и появился Левин, а с ним широкий мир чувств и идей – огромный фон для горячей, стремительной, гибельной истории любви.

В романе зажили друзья и родные Толстого, развернулись окрестные пейзажи, задышала остроактуальная живая жизнь с ее политическими новостями и экономическими проблемами; дотошные литературоведы нашли даже ту статью, которую Каренин читал в неназванном издании – оказалось, «Ревю де Дё Монд»...

Публика читала, спорила, горячилась. Споры шли разные, в том числе литературоведческие – о композиции романа, о слоге и сюжете.

Это, правда, в основном на Западе, когда роман перевели на иностранные языки – на французском и немецком он вышел в 1885 году. Европейцы прочитали и стали дружно уверять друг друга, что автор гениален, да, жизнь он чувствует, это да, и герои у него необыкновенные, да, и мощь шекспировская, и почти равен по силе Стендалю и Золя, да, но стиля у него нет, нет-нет-нет. Ужасно длинно, и столько лишнего, и зачем эти описания, и эти ненужные споры о социально-экономических вопросах, бр-р, читать ведь невозможно! Так не пишут!

НАРУШАЕТ ВСЕ ПРАВИЛА

Французский критик Эмиль Эннекен в книге «Ecrivains français», где рассказывал об иностранных писателях, которых приняла французская культура, говорил о Толстом так: «Левин и его жена, Каренин, Анна, Вронский, князь Облонский, княгиня Долли, семья Щербацких, друзья и подруги всех этих людей, дети, слуги, крестьяне делают роман Толстого запутанным и сбивчивым, переполненным и затемненным художественным произведением, нарушающим все правила единства и выразительности». Толстого называли «гениальным невеждой» – в самом деле, ну что это такое, не изучил никаких общепринятых правил хорошего литературного тона и пишет как бог на душу положит. Некоторые так возмутились толстовскими излишествами, что стали править автора: из немецкого перевода выбросили, например, все сомнения Левина; чешский, румынский, китайский и множество других переводов выходили в сокращенном виде – оставалась одна «История Анны», как у китайцев. Сила разрушительной страсти – она понятна в любой культуре без перевода; но убери метания Левина, убери Кити Щербацкую с ее родами, убери лес, грибы, покосы, Кознышева, варенье в медном тазу, политические споры – останется любовный роман, может быть, хороший, но не гениальный, а со скидкой на перевод – так и вовсе тривиальный. Читатели и критики все старались пристроить «Анну Каренину» где-то между «Госпожой Бовари» и «Любовником леди Чаттерлей», но она явно выламывается из этого ряда.

А в 1886 году, сразу после выхода английского издания, одна благочестивая организация по надзору за общественной нравственностью занесла роман в свой список непристойных книг.

Нет, справедливости ради надо сказать, что за границей обсуждение романа не затихало несколько десятков лет, и касалось оно не только страсти героев и варварского стиля автора, но и философской глубины и изобразительной мощи – со временем Толстой перестал казаться таким уж диким, необузданным и неправильным: гению можно.

ГРЕХ БЕСТЕНДЕНЦИОЗНОСТИ

На родине свежие номера «Русского вестника» передавали из рук в руки, и хорошо еще, если не рвали их из рук. Фурор был необыкновенный. Двоюродная тетка писателя, Александра Толстая, писала: «Всякая глава «Анны Карениной» подымала все общество на дыбы, и не было конца толкам, восторгам и пересудам, как будто дело шло о вопросе, каждому лично близком». Критик Страхов, друг Толстого и его редактор, писал ему, когда шестая часть романа вышла в свет: «Роман ваш занимает всех и читается невообразимо. Успех действительно невероятный, сумасшедший. Так читали Пушкина и Гоголя, набрасываясь на каждую их страницу и пренебрегая все, что писано другими».

На родине Толстому тоже пеняли за незнание правил литературных приличий. Критик Александр Станкевич уверял, что Толстой вообще написал два романа в одном, что две сюжетные линии – левинская и каренинская – никак не пересекаются, что так делали в средневековых романах, но с тех-то пор выработаны «непререкаемые нормы», а Толстой их нарушает. Профессор Рачинский написал Толстому, что в романе его нет единства, потому что «нет архитектуры». Толстой с достоинством возразил: «Суждение ваше об А. Карениной мне кажется неверно. Я горжусь, напротив, архитектурой – своды сведены так, что нельзя и заметить, где замок. И об этом я более всего старался». И самое главное, что вообще мало кто тогда осознал и оценил: «Связь постройки сделана не на фабуле и не на отношениях (знакомстве) лиц, а на внутренней связи».

Интересно отреагировали на роман писатели давние знакомцы Толстого со сложной историей сотрудничества, дружбы, взаимного охлаждения, едва ли не вражды, и взаимного интереса и уважения. Тургенев писал Полонскому: «Анна Каренина» мне не нравится, хотя попадают истинно-великолепные страницы (скачка, косьба, охота). Но все это кисло, пахнет Москвой, ладаном, старой девой, славянщиной, дворянщиной и т.д.». Некрасов, уже совсем тяжело больной, почти умирающий, успел запустить в автора эпиграммой: «Толстой, ты доказал с терпением и талантом, // Что женщине не следует «гулять» // Ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом, // Когда она жена и мать».

Разумеется, Тургеневу, автору «Записок охотника», понравилась охота и косьба. Разумеется, Некрасову, который полностью подчинил свой талант идее социального служения (да еще и с его отношением к венчанному браку), роман не мог не показаться неправильным: не то, не так, не об этом надо. Каждый о своем, это всегда так.

Каждый и видел свое. Нервные девушки искали ответа на личные вопросы, молодые революционерки и феминистки возмущались: зачем Анна вообще ищет счастья в личной жизни, когда столько всего надо сделать? Гимназистки и курсистки были недовольны, зачем злой Толстой убил симпатичную Анну: за что на-

казал женщину, ей что, надо было всю жизнь сидеть замужем «за этой кислятиной Карениным»?

Но в целом русское общество мало интересовалось вопросами архитектоники романа и жаждало ответов на проклятые вопросы. Общество очень расстроилось, что в романе нет «тенденции». Слово «тенденция» тогда еще было похвальным, а не ругательным. Оно означало, что у автора есть заветная идея и что он эту идею понятными словами доносит до читателя, лучше всего в лоб и прямым текстом. Демократический критик Максим Антонович – тот самый, который возмущался Базаровым-Асмодеем, карикатурой на лучшую молодежь России, – говорил о «бестенденциозности и квиетизме» романа. И в самом деле: салоны, розовые платья, гирлянды фиалок – тьфу!

Медвежью услугу автору оказал тот самый «Русский вестник», где роман вышел в свет. Публикация едва началась, а в журнале уже вышла статья «По поводу нового романа гр. Толстого». Ее автор Василий Авсеенко уверял, что «Анна Каренина» – великосветский роман, прекрасный пример «чистого искусства». Для «Русского вестника» роман был аристократическим и «антинигилистическим». Демократическая критика разозлилась. Петр Ткачев в журнале «Дело» назвал роман «салонным художеством». Он тоже считал, что Анна Каренина – «чистое искусство» и великосветское произведение, только в его системе ценностей это

было отвратительно, а не прекрасно. Салтыкова-Щедрина, больного и раздраженного, и начало романа, и его апология в «Русском вестнике» просто взбесили. Прочитав первые полторы части, он писал Павлу Анненкову: «Вероятно, Вы <...> читали роман Толстого о наилучшем устройстве быта детор. частей. Меня это волнует ужасно. Ужасно думать, что еще существует возможность строить романы *на одних* половых побуждениях <...> Мне кажется это

подло и безнравственно». Он даже начал под впечатлением от прочитанного писать «Благонамеренную повесть» – о благонамеренном созерцании и благонамеренном искусстве.

Надо сказать, что потом, когда роман был опубликован до конца, Салтыков-Щедрин своей оценки уже не повторил.

Толстой возражал против такого понимания своей работы. «И если близорукие критики думают, — говорил он, — что я хотел описывать только то, что мне нравится, как обедает Облонский и какие плечи у Анны Карениной, то они ошибаются».

Быстрее и лучше всех понял автора Достоевский. «Анна Каренина как факт особого значения» называлась его статья, и речь в ней шла об удивительном толстовском психологизме, о пушкинской традиции, о «небывалом реализме художественного изображения». «Анна Каренина» есть совершенство как художественное произведение, — писал Достоевский, — <...> и такое, с которым ничто подобное из европейских литератур в настоящую эпоху не может сравниться».

А Чехов однажды в письме брату назвал Каренину «милой и дорогой Анной»: роман помог ему перенести тяжелую дорогу. А в 1888 году писал Суворину, споря все с той же идеей, что в романе должна быть «тенденция»: «Требую от художника сознательного отношения к работе, Вы правы, но Вы смешиваете два понятия: *решение вопроса и правильная постановка вопроса*. Только второе обязательно для художника. В «Анне Карениной» и в «Онегине» не решен ни один вопрос, но они Вас вполне удовлетворяют, потому только, что все вопросы поставлены в них правильно».

ПОСТАНОВКА ВОПРОСА

Больше всего споров вызывает обычно эпиграф к «Анне Карениной» – Толстой не упоминает, где взял его, ибо для всякого читателя-современника знание цитаты само

собой разумелось: она из «Послания к римлянам», и смысл ее – «Не мстите за себя». То есть мир устроен правильно, на разумных основаниях, вне зависимости от наших стараний, и каждый получит свое. Именно в этом, может быть, заветная мысль толстовского романа, где автор и его автопортретный (не автобиографический даже) герой сражаются с личным соблазном – ощущением неправильности всего сущего, такой жуткой, что приходится обманывать себя разными уловками, чтобы не повеситься и не застрелиться.

Толстой относится к персонажам как ветхозаветный Бог (Чехов – скорее, как новозаветный: для него по-настоящему интересны только те, кто все отвергнет и пересоздаст себя, а прочие мелюзга и способны обсуждать только осетрину с душком). Толстой любит персонажей не за их добродетели, а за полноту проживания жизни, за силу самоотдачи, за способность действовать вопреки разуму, выгоде, здравому смыслу. Бери что хочешь и плати за это – таков, наверное, смысл романа.

Толстой не осуждает Анну – откажись она от любви, ее жизнь прошла бы бессмысленно. Не осуждает он и Вронского, которого только трагическая любовь и гибель возлюбленной сделали человеком в полном смысле слова. Он не дает никакой надежды Левину, не гарантирует семейного счастья Китти, оставляет Долли и Стиву с весьма сомнительными перспективами – человек только сам волен придать своей жизни смысл, это вопрос только его личного выбора и личной ответственности. Об этом говорит и финал романа: «Жизнь моя теперь, вся моя жизнь, независимо от всего, что может случиться со мной, каждая минута ее – не только не бессмысленна, как была прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее!» Человек волен вкладывать в свою жизнь любой смысл, за него никто этого смысла не вложит; надо помнить лишь, что за этот выбор придется отвечать, и не так, как думаем мы, а так, как решит Высшая Сила, от нас не зависящая. Кто-то назовет ее Богом, кто-то жизнью. Мы вольны и даже обязаны выбрать, иначе наша жизнь так и останется животной; и воздаяние за этот выбор будет осуществляться не по нашим, а по высшим законам. Вот почему не прав свет, который судит Анну, – по толстовским меркам она права, ибо живет с полной отдачей и платит полной мерой. Прав и Левин, живущий путанно и сложно, но полно и честно. Людский суд не властен над толстовскими героями – над ними есть авторский суд, равный Божьему. И с точки зрения этого авторского суда оправданны все, кто выбирает и платит, – и наказаны все, кто, подобно Каренину и графине Лидии Ивановне, трусят и фарисействуют. Это жестокая мораль – но другой нет ни в романе, ни в жизни. ❀

МИФЫ ТРЕТЬЕГО РЕЙНА

БЕСЕДОВАЛА КИРА СТЕРЛИН

«Это просто фантастика какая-то, – неожиданно произносит он, встречая меня в кабинете Литинститута. – Тут же был другой стол, с ящичками, а теперь вот этот поставили, а ящичков нет!.. Ну, так им и надо! – Он сбрасывает пепел прямо на пол. – А вы садитесь, садитесь, если хотите...».



ИТАР-ТАСС

КОГДА ЕВГЕНИЙ РЕЙН ВСЕНАРОДНО ОПРЕДЕЛИЛ СЕБЯ В «МАРАФОНЦЫ», оставшиеся собратья по перу тут же переименовали его в «мифотворца». И есть за что. По количеству бакс Рейн вполне может тягаться с Довлатовым, тем более что тот, по словам поэта, утащил себе большую часть его собственных рассказов. Но Рейн не в обиде, ему просто скучно. «Мы снова оказались чужими, – вздыхает он, затыкаясь очередной «Явой», – сначала поэтов не печатали, но читали. А сегодня печатают, но не читают».

– Евгений Борисович, есть у Довлатова одна история в «Соло на ундервуде», где герой «Женя Рейн» пригласил к себе в гости даму, соблазнив бутылкой водки и палочкой сервелата. Увидев из окна, что она идет к нему не одна, «Рейн», пока гости под-

нимались по лестнице, со злости выпил всю водку и съел весь сервелат. Это правда?

– Частично. Насчет колбасы Довлатов загнул, конечно, – столько я вряд ли осилил бы за десять минут. А вообще, мне часто задают подобные вопросы в контексте прозы Довлатова. Да и обиженных на него до сих пор много. Ведь читатели Довлатова искренне уверены, что все написанное им – «правда». Ну что им на это сказать? Действительно, это так. Настоящее искусство уничтожает свой материал и становится единственной правдой. Сужу об этом не абстрактно, а на примере тех довлатовских отрывков, где действует некто, поименованный как «Евгений Рейн». Я об этом писал и говорил уже не раз.

– Не обижаетесь, когда и вас именуют «мифотворцем»?

– В этом определении, безусловно, есть частица правды. Любые мемуары, воспоминания – это все отчасти мифы. Некоторые истории входят в разряд «наигранных пластинок», которые повторяются из раза в раз. Когда я писал об Ахматовой, то повторил одну из таких «пластинок», которую услышал от нее. Но мне кажется, эта «пластинка» наиболее точно описывает атмосферу, которая царила в Петербурге начала века. Ахматова рассказывала о том, как впервые ее привели в квартиру Вячеслава Иванова, который тогда был самым влиятельным человеком литературного Петербурга. Ахматова пришла к Иванову днем, читала стихи. Больше всего Иванова впечатлило стихотворение «Песня последней встречи», там, где «я на правую руку надела перчатку с левой руки». Он даже сказал, что это «огромное событие в русской поэзии», так еще никто не писал. Понятно, что

совсем молодую, двадцатилетнюю Ахматову такое полное признание привело в восторг. В тот же день, вечером, когда к Иванову съехался «литературный» Петербург, хозяин при всех разругал это стихотворение. Больше она к нему не ходила. И, по-моему, обиженна была до самой старости. Вообще, я не так много записал историй Ахматовой – она была немногословным человеком.

– **«Запустим» еще пару «пластинок»? Например, на тему того, как вы с ней познакомились.**

– В 1946 году, мне 10 лет было. Кузина моего отца – Валерия Яковлевна Познанская, лауреат Сталинском премии, между прочим, – познакомилась с Ахматовой во время войны, когда была в эвакуации в Ташкенте. О ней упоминается в записях Ахматовой. И вот зимой 1946 года тетя приехала в Ленинград (сама она была москвичкой), поселилась в гостинице «Астория» и устроила прием в честь Ахматовой. По тем временам это было поступком смелым, поскольку уже существовали ждановские постановления в журналах «Звезда» и «Ленинград», где из Ахматовой сделали жупел и всячески ее поносили. На этот прием тетя пригласила и мою маму. Ну а мама захватила меня. И я этот день очень хорошо помню, это был декабрь 1946 года. Ахматова тогда была еще худой, очень красивой. В общем, произвела впечатление. Тем более до этого я, по совету мамы, прочитал две или три ее книги, которые у нас были. Второй раз я встретился с Ахматовой по собственной инициативе, это был уже, наверное, 1958 год. К тому времени я окончил Технологический институт. – **Прим. авт.**) и работал инженером-механиком на заводе. Но это все было малоинтересно. Единственное, что меня всерьез увлекало, – это поэзия. И однажды я сообразил, что Ахматова живет в Ленинграде, и решил ее найти. Тогда я просто обратился в Ленгорсправку. И мне за десять копеек дали адрес Ахма-

товой. Я тут же к ней и поехал. Она тогда жила на улице Красной Конницы, около Смольного. Я позвонил, мне открыли дверь. Это была не Ахматова, а женщина, которая жила с ней вместе, ее звали Ханна Горенко, она была в первом браке женой брата Ахматовой. Потом брат эмигрировал в Америку, а она осталась. Жила у Ахматовой, помогала по хозяйству. Ханна спросила, кто я такой. Я назвался, она попросила подождать. И через пять минут уже провела меня к Анне Андреевне. Я напомнил Ахматовой, что, когда был еще мальчиком, присутствовал на том приеме в «Астории». Она моментально все вспомнила, у нее была феноменальная память. Спросила: «Как ваша матушка?» Потом я часа два у нее сидел, мы разговаривали. Она сказала, что ей дали новую квартиру, и попросила меня вместе с каким-нибудь приятелем помочь ей упаковать и перевезти библиотеку. На следующую же минуту я пришел к ней вместе со своим приятелем Дмитрием Бобышевым.

– **Это тот самый Бобышев?..**

– Тот самый. Я его тогда представил Ахматовой, как и Бродского впоследствии. А Найман с ней познакомился по каким-то своим каналам. Мы с Бобышевым долго разглядывали книги Анны Андреевны, их было немного, в основном – поэзия. И на них было очень много автографов, посвящений. Помню, когда мы уже паковали книги, между нами и Ахматовой состоялся такой диалог: «Как у вас дела с иностранными языками?» – спросила Ахматова. «Английский немного». «Читать нужно как минимум на двух-трех. Хорошо бы и на итальянском еще», – продолжила она. «Но как этого добиться?» – «Просто взять книгу и читать. Вот уж дело совсем несложное!»

С тех пор я стал бывать у Ахматовой. А потом, через пару лет, привез к ней Бродского. Нельзя сказать, что мы с Ахматовой прятельствовали. Она была учителем, авторитетом. Стихи она нас писать не учила. Учила каким-то очень простым вещам: правилам хорошего тона, как одеваться, как ухаживать за девушками. Анна Андреевна живо интересовалась нашими романами, историями. Помню такой случай. Однажды я решил приехать в Комарово без предупреждения, что было для меня поступком странным. И вот на одном из полустанков я увидел полевые цветы, которые местные женщины продавали прямо в ведрах. Я купил большой красивый букет и приехал в Комарово. Подошел к дому не со стороны калитки, а со стороны окна. И увидел у окна Ахматову, на ее лицо падало солнце, и в тот момент оно было очень красиво. Я остановился, залюбовался. Она увидела меня и спросила: «Вы ко мне?» Сперва я удивился этому вопросу: ну а к кому же еще? А потом оценил всю тактичность Анны Андреевны – я мог идти к кому угодно с этим букетом цветов. И чтобы не ставить себя и меня в неловкое положение, она нейтрально поинтересовалась, к ней ли я направляюсь.

– **А откуда взялась метафора «ахматовские сироты»?**

– Да это же из бобышевского стихотворения. Вы что, не знаете, что ли? «В череду утрат заходят Ося, Толя, Женя, Дима ахматовскими сиротами в ряд. Лишь

Найман и Бобышев – уже были женаты, вели какое-то хозяйство. В общем, Бродский часто ходил ко мне обедать.

– **Я слышала, что вы вроде и Бродского пытались устроить в кино?**

– Ну да. Я занимался в основном «научпопом», писал сценарии для документальных фильмов: как делать цемент, как строить корабли, о диспетчерском управлении производством. Я же инженер по профессии. И фильмы, кстати, были немаленькие: по 30 минут, по часу. За эти сценарии платили очень неплохие деньги. А у Бродского денег тогда не было, и я предложил ему тоже написать какой-нибудь сценарий. Он написал. Но Бродский был очень принципиальным: ему предложили что-то исправить, он отказался. В результате в фильме был использован другой сценарий, а Бродскому выплатили какие-то копейки. Где написанный им сценарий теперь? Не знаю. Затерялся, наверное, где-то...

– **А как относитесь к тому, что Бродский называл вас своим учителем?**

– Весь вопрос в том, что он вкладывал в это понятие. У нас разница в возрасте – пять лет. Для молодости – это много. Когда мы познакомились, ему было еще 17, а мне уже 22. Я с юности увлекаюсь книгами. И тогда каждую неделю ходил по книжным бараклам, по букинистическим, что-то покупал, читал. Естественно, давал книги ему, рассказывал о чем-то. Помню, кстати, один эпизод, который, на мой взгляд, оказал значительное влияние на творчество Бродского. Это было 7 ноября 1961 года. Мы собрались у нашего приятеля Бориса Понизовского на Коломенской улице в Ленинграде. Собрались вроде бы по поводу 7 ноября, хотя никто из нас этот день, естественно, не отмечал, просто удобный случай для того, чтобы поболтать и выпить. И кто-то из моих московских приятелей, Валя Хромов или, может быть, Леня Чертков, приехал из Москвы и привез машинописные перепечатки поэм Цветаевой. Это были «Поэма конца», «Поэма горы», «Царь-

прямо, друг на друга не глядят четыре стихотворца-побратима. Их дружба, как и жизнь, необратима...». После этого нашу четверку (Бродского, Бобышева, Наймана и меня) стали именовать «ахматовскими сиротами», хотя пути наши к тому времени давно уже разошлись. Самая большая дружба сохранилась только между мной и Осей [Бродским]. – **Прим. авт.**)

– **Сегодня многие ваши современники заявляют о том, что успех Бродского – это в основном стечение обстоятельств.**

– Это вы снова на Диму Бобышева намекаете? Помню, он как-то выступал в Москве и заявил: «Мою славу запретил Бродский!» Полная ерунда! У каждого из нас своя судьба, которая реализовалась в меру дарования. Себе я лучшей судьбы не желаю. Да и жизнь Бобышева, думаю, сложилась бы ненамного лучше, даже без «запрета его славы».

– **Как началась ваша дружба с Бродским?**

– Эта история тоже из разряда «наигранных пластинок». Я впервые увидел Бродского, думаю, году в 1959-м. У меня был приятель Ефим Славинский, он давно живет в Лондоне, работает на Би-би-си. В тот момент он учился в Ленинградском университете, у него своего жилья не было, и он снимал комнаты. И тут ему повезло – он снял себе маленькую квартирку на самой окраине, возле мясокомбината, на улице с названием «Новоблагодатная». Я приехал к нему на новоселье, а там уже была какая-то компания, вино, девушки. Ефим вышел меня встретить в прихожую и говорит: «Знаешь, у нас проблема: к нам затесался какой-то человек, он все время читает свои графоманские стихи и всем мешает. Ты не мог бы его как-нибудь остановить?» И он привел Бродского. Потом оказалось, что я видел его и раньше: выступал в каком-то клубе, и на сцену выскочил парень, который начал прилюдно обвинять меня в диссидентстве. Это был Бродский. На новоселье я сказал ему, что стихи нельзя читать бесконечно, что он надоедает всем, и пригласил его к себе домой. Он пришел через два дня. Я выслушал его стихи. Они мне совершенно не понравились. Это было что-то в стиле Назыма Хикмета или Пабло Неруды, которые в то время были у нас очень популярны. Потом мы пошли в пивную, разговорились. Он рассказывал, как живет. Оказалось, он даже школу не окончил, поменял множество работ. Тогда он жил по такой схеме: каждое лето ездил рабочим в геологическую партию, там зарабатывал деньги, а зимой на них жил. Потом он уехал в очередную партию, я не видел его, наверное, полгода. Когда вернулся, пришел ко мне и прочел совсем другие стихи, которые меня заинтересовали. С тех пор мы стали видеться. Оказалось, мы живем недалеко друг от друга, я на улице Рубинштейна, а он – на углу Литейного проспекта и улицы Пестеля.

А у меня уже была к этому моменту невероятная роскошь – отдельная комната. Да и зарабатывал я неплохо – писал сценарии для кино. К тому же мы все – я,

девица» и «Крысолов». И эти поэмы они передали мне, причем я должен был их вернуть дня через три, когда приятели уезжали обратно в Москву. И так как прочесть эти поэмы каждый из нас за эти три дня не успевал, то мы собрались у Понизовского и, попивая сухое вино, стали их там читать вслух с листа. И, наверное, на Бродского это произвело громадное впечатление. Он подошел ко мне и сказал, что умоляет меня дать ему на одну ночь всю пачку Цветаевой. И я ему на одну ночь эту пачку дал. И после этого в его стихах появилась цветаевская техника. В это же время он написал одну из своих первых поэм, «Шествие», в которой, несмотря на явные «цветаевские» отголоски, уже начинает проявляться «Бродский».

Потом еще эта история с Ахматовой. Ведь это я привез Бродского к ней в Комарово. Наверное, во всем этом был некий элемент учительства. Но это было естественно: я был старше, у меня было больше знакомств.

В то время Ахматова получила дачу в Комарово, ей там дали деревянный домик, который она называла «будка». Я договорился с ней, сказал, что у меня есть приятель, молодой талантливый поэт, и я его привезу. И мы поехали. Причем забавно, что он даже не знал, куда мы едем. Когда я ему сказал, что мы едем к Ахматовой, он решил, что я его разыгрываю. Он вообще был уверен, что Ахматова давно умерла. И мы к ней приехали. Потом я выяснил случайно, когда это было — 6 августа 1961 года. В этот день запустили в космос Титова, поэтому я и запомнил. Она выслушала какие-то его стихи, стала что-то вспоминать. Через какое-то время Бродский тоже поселился в Комарово. Прожил там несколько месяцев, много писал, часто навещал Ахматову.

— В тот момент у него уже начался роман с Мариной Басмановой?

— Да. Кажется, да.

— Какой она была?

— Ну, какой... молчаливой. Она — дочь очень хорошего художника Павла Басманова. Сама вроде никакого спе-



ИТАР-ТАСС

мышкой, в тапочках на босу ногу (он в них, по-моему, до поздней осени ходил) и с пивом, естественно. Ну, мы, как водится, болтали, я ему что-то рассказывал, потом оказалось, что он все эти рассказы запомнил и использовал...

– **Обидно?**

– Ну, как вам сказать. Я сам виноват. В литературе так часто бывает: один рассказал, другой написал. Каждый литератор берет свое добро там, где находит... А потом он уехал в Таллин, потому что очень хотел издать свою книгу, а в Эстонии в то время это было сделать проще, чем в Ленинграде.

циального образования не получила, но рисовать любила. Марина была очень хороша в молодости – высокая стройная нежная шатенка с очень милым лицом. Бродский часто ее ко мне приводил. Она сидела с блокнотиком весь вечер, что-то там рисовала. Приходя, говорила «Здрасьте», уходя «До свидания», все. Бродский ее очень любил, и я думаю, что всю жизнь. А по ней ничего не было понятно... Потом началось это неприятное дело против него. И я думал, что это сугубо ленинградское дело, поэтому отвез Бродского в Москву. Сначала он жил у Ардовых, потом лежал в Кащенко. Через месяц попросил меня забрать его оттуда, боялся, что сойдет с ума.

В это время, как всем уже известно, у Басмановой начался роман с Бобышевым. Узнав об этом, Бродский одолжил у меня денег на билет и вернулся в Ленинград. Там состоялось какое-то выяснение отношений. После этого Бродский пытался покончить с собой: в Эрмитаже перерезал себе вены стеклом. Потом его арестовали, приговорили к пятилетней ссылке и отправили в деревню Норенская Архангельской области. Я туда к нему приезжал. И она туда поехала.

– **Басманова? Но зачем?**

– Да я откуда знаю? Бродский ее позвал, она и поехала. Но за ней туда приехал Бобышев. Они с Бродским решили устроить дуэль на топорах. Тогда Басманова уехала от Бродского вместе с Бобышевым. Потом она оказалась беременной, у нее родился сын Андрей. Он был очень похож на Бродского. Это его сын, я в этом уверен. Но Марина не вернулась к Бродскому и с Бобышевым рассталась. Она жива еще, живет в Ленинграде. Я ее мало видел потом. Как-то раз в Музее Пушкина была выставка ее отца Павла Басманова, и она меня на эту выставку пригласила. Тогда я видел ее в последний раз. Она не поддерживает отношения ни со мной, ни с Найманом. Может быть, потому, что я к тому времени уже перебрался в Москву.

– **За шесть лет до смерти Бродский посвятил всю свою любовную лирику «М.Б.»...**

– Да. Но я думаю, в этом есть скорее литературный момент, чем личный. Хотя, как я уже говорил, мне кажется, что Бродский был однолюбом.

– **И в этом он совсем не похож на Сергея Довлатова...**

– Мы с Довлатовым жили на одной улице. Я в «толстовском» доме 19, а он в доме 21/23. И между нами был только узкий Щербаков переулок. Я Сережу впервые увидел, когда ему было лет 17–18, но у нас тогда были разные компании, и мы мало общались. Потом он попал в армию, служил в охране лагеря в Коми, вернулся, стал писать рассказы. А я к тому времени жил уже в Москве, в квартире своей второй жены. Но моя ленинградская комнатка еще долго была за мной. Я приезжал в Ленинград и жил в ней по полтора-два месяца. Тогда мы и подружались с Довлатовым. Он приходил ко мне очень часто – с фокстерьером Глашей под

ручкой, чем в Ленинграде. Там он работал в газетах, жил у своей временной жены – Тамары Зибуновой. Она, кстати, и сейчас живет в Таллине, вместе с дочерью Сашей, внебрачной дочерью Довлатова, очень симпатичная женщина. Я к нему туда приезжал раз пять. Мы пили, гуляли, болтали, как обычно. Издание Сережиной книги сорвалось в самый последний момент, у него начались серьезные неприятности, он уехал, устроился работать экскурсоводом в заповедник в Пушкинских Горах. В заповеднике он снимал избу. Я и туда к нему приехал, жил с ним в этой избе, наверное, месяц. За 10 дней пропили все мои деньги, а их по тем временам было много – 300 рублей.

– **Я слышала, там вы с Довлатовым серьезно поссорились?**

– Не поссорились, а подрались. Из-за куска сыра. Когда мы пропили все деньги, Довлатов собрался в Ленинград навестить жену Лену. А я остался в Пушкинских Горах, без копейки денег. Довлатов сказал мне, что я могу бесплатно брать молоко у какой-то местной женщины. Но одним молоком сыт не будешь. И тут я случайно увидел, что икона в избе висит косо. Я забрался на стул и увидел, что за ней лежит огромный кусок сыра. Я его съел. Когда он вернулся и обнаружил пропажу, то набросился на меня с кулаками: «Ты съел мой сыр!» С тех пор мы больше не ссорились.

Перед отъездом в Америку, он приезжал ко мне, мы попрощались. А по-

том я увидел его уже в Америке. Он жил в Нью-Йорке, в Квинсе, и, когда я к нему приехал туда, всячески меня развлекал: рестораны, бары... Это было не хвастовство, просто свойство его природы – он был очень широким человеком.

– **В каком-то интервью вы назвали его «закомплексованным»...**

– Да. Я это наблюдал сто раз. Была, например, такая история. Он мечтал познакомиться с Василием Аksenовым. А я был приятелем Аksenова. Это был 1972 год. И я позвонил Аksenову, а тот пригласил нас на обед в ЦДЛ. За полчаса до встречи приходит ко мне Довлатов, наряженный, в свежей сорочке, в галстуке. При этом видно, что он страшно нервничает, мечется, что-то бормочет. За 10 минут до назначенной встречи он хватается пальто и шапку и убегает... Не может он пережить свидание с Аksenовым. Потому что Аksenов – знаменитость, уже тогда переведенная на иностранные языки, а Довлатов тогда – еще никто... И таких случаев – масса. Возможно, от этого вся его проза пронизана такой трагичностью.

– **Все уехали, а вы остались. Это – осознанная позиция?**

– Конечно. Я никуда не хотел уезжать. Тут мой дом. Один раз только, когда после издания альманаха «Метрополь», где я составил всю поэтическую часть и где вышла большая подборка моих стихов, у меня начались проблемы и стало понятно, что книгу мне издать не дадут, я позвонил Бродскому. Иосиф с кем-то из друзей прислал мне чистую открытку. «Если решишь эмигрировать, – сказал он мне по телефону, – поздравь меня этой открыткой хотя бы с 1 Мая. И я пойму, что надо организовывать твои дела за рубежом». Но я не уехал. Хотя первая моя книга вышла только в 1984 году.

– **По-моему, она поставила абсолютный рекорд, пролежав в издательстве пятнадцать лет...**

– Не пятнадцать, а семнадцать. Впервые я принес ее в ленинградское отделение издательства «Советский писатель» в 1956 году. Там тогда работал мой друг Сергей Спасский, очень неплохой поэт, и он хотел ее издать. Но не успел – умер. И без него издатели стали тянуть, возвращать мне ее постоянно на доработку. В общем, я понял, что меня не издадут. И в 1968 году, когда переехал в Москву, отнес книгу в московское отделение «Советского писателя». Та же история. На мою первую книжку, «Имена мостов», написано 9 рецензий. Их писали Антокольский, Межиров и т.д. Когда дело дошло до предела, издательство заказало рецензию поэту Цыбину, и он написал отрицательную рецензию. И они опять отдали мне книгу на доработку. Но мне это, естественно, надоело, и я, по просьбе Аksenова, отдал свои стихи в журнал «Метрополь». Разгорелся скандал невероятный, и мне книгу издательство вернуло. Потом издательство возглавил Егор Исаев. И он выпустил мою книгу. Мне было 49 лет.

– **Чем это было для вас?**

– Да ничем. Как говорится, хорошо яичко ко Христову дню.

– **«Бедный Йорик, поздно ты попал в Нью-Йорик»?**

– Типа того. Я рад, что меня издают, печатают, переводят, приглашают. Я наконец-то смог путешествовать. Но все это важно и нужно в молодости, в старости уже нет нужной энергии...

– **А что это за история с вашими «голландскими корнями»?**

– Это вообще фантастика. Я всю жизнь рассказывал выдуманную историю о том, что моя родословная восходит к Ван Рейну (Рембрандту). Никто, конечно, не верил, смеялись. И вдруг несколько лет назад мы получаем необычное письмо из Нидерландов. Там говорилось, что Рейны происходят из старинного голландского рода баронов, состоящего из двух кланов: Броук и Рейн. Даже фотографии прилагались. На одной был изображен наш предок из клана Броук, который был как две капли воды похож на моего отца. Теперь я с полным основанием называю себя Третьим Рейном.

– **Что вы думаете о современной поэзии?**

– Очевидно – она переживает кризис. Раньше поэзия была очень востребована. В наше время она до некоторой степени была способом сказать хотя бы частичку правды. Да и поэтов талантливых хватало: Светлов, Антокольский, Межиров и даже Маргарита Алигер. Проблема тогда была в первой книге. Но и она решалась с помощью «паровозов» – пишешь десяток советских стихов, издаешься, а потом пиши что хочешь. Сейчас можно издать что угодно. Да только – кому это нужно? Круг читателей невыносимо сузился. Да и поэтов, готовых сказать новое слово, придумать оригинальный язык, пока нет. Наверное, они придут. Во всяком случае, история знает подобные примеры. 📖

ЧАСЫ И ЗВЕЗДЫ МАРШАКА

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

С точки зрения советских энциклопедий жизнь у Маршака была совершенно счастливая и состоявшаяся: четыре Сталинские премии и одна Ленинская, множество изданий и переизданий колоссальными тиражами, всенародная любовь, классик при жизни...

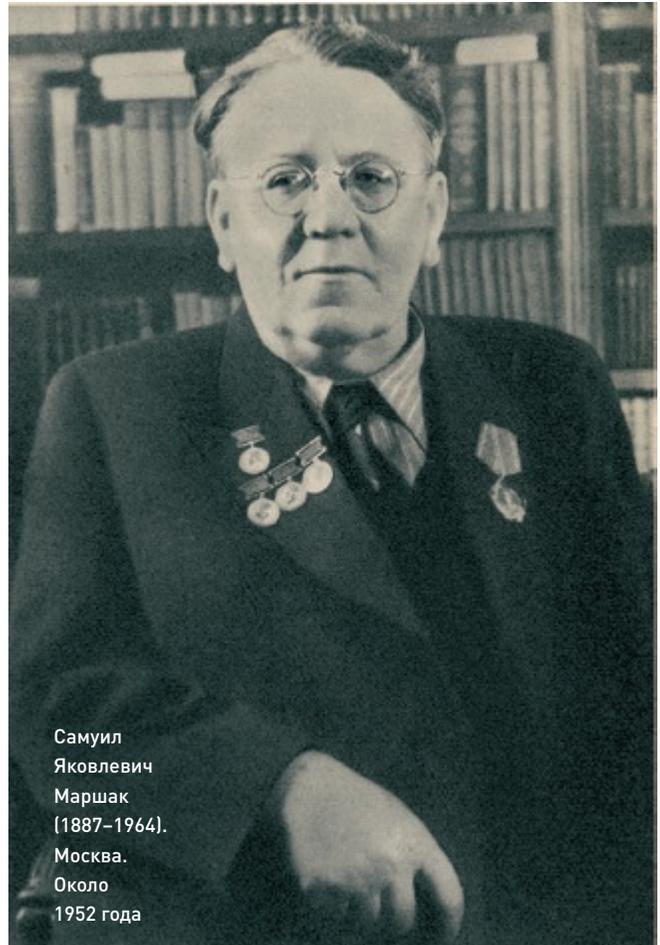
В ПОСТСОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ ЕГО СТАЛИ НАЗЫВАТЬ трусом и конформистом, а хрестоматийные строки о красных флажках и Ленине исчезли из детских сборников. Время размыло наносное и вымученное, и осталось незыблемое, изумительное мастерство.

ЧЕМ БОГАТ ЭТОТ СВЕТ

Маршак, родившийся в 1887 году, был сверстником эсера Богрова – убийцы Столыпина, Феликса Юсупова – убийцы Распутина, и художника Марка Шагала, с которым некоторое время даже жил в одном городе. Мальчишкам, чей подростковый возраст пришелся на начало XX века, суждено было делать историю, и у маленького еврейского мальчика были для этого все задатки: талант, работоспособность и честолюбие.

Ему повезло родиться у любящих, умных, грамотных родителей. Отец его, Яков Маршак, был заводским мастером, техником, который самоучкой изучал химию, постоянно экспериментировал и переезжал из города в город в надежде найти место, где его таланты будут в полной мере востребованы и оценены. Воронеж, Витебск, Бахмут... В конце концов семья осела в городке Острогожске под Воронежем. Детей в семье любили – не каждый великий русский писатель может похвастаться таким счастливым началом жизни.

Маршак вспоминал: «Больно дрались отцы на слободке. // Мы не знали ни палки, ни плетки. // Наш отец нас ни разу не бил. // Человек он был строгий, но кроткий. // И хорошую книжку любил». Отец выписал детям журнал «Вокруг света», покупал книги, рассказывал удивительные истории. Детство в стихах Маршака – счастливое и полное поэзии:



Самуил
Яковлевич
Маршак
(1887–1964).
Москва.
Около
1952 года

ПРЕДСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

*Все мне детство дарило,
Чем богат этот свет:
Ласку матери милой
И отцовский совет,
Ночь в серебряных звездах,
Летний день золотой
И живительный воздух
В сотни верст высотой.*

В Острогожске старшие дети Маршаков, Мونها и Сема, домашние мальчишки, попали в бурную уличную жизнь провинциального городка с войной дворовых кланов и немало пострада-

ли от «кишечников» – детей рабочих, которые сушили кишки. В своих воспоминаниях о детстве Маршак рассказывал о побоях, погонях, о том, как их дразнили «жидами», показывали сложенное из полы свиное ухо и пытались возить салом по губам; об одиночестве воскресным утром, когда все дети города в церкви, о своих беседах со слепым горбуном, об ощущении инакости...

Сема выдержал экзамен в гимназию на одни пятерки. Пушкинскую «Полтаву» читал наизусть так, что учителя заслушались. Но в гимназию его не взяли из-за процентной нормы для евреев – лишь позднее, когда кого-то из гимназистов отчислили за неуспеваемость, Семе предложили занять его место. Учился он замечательно, особые успехи проявляя в изучении языков; его очень ценил учитель Владимир Иванович Теплых, преподаватель литературы, о котором Маршак писал: «Он меня всему научил». Стихи маленький Сема писал лет с четырех и в младших классах гимназии уже перевел на русский язык поэму Горация «В ком спасение».

В 1900 году отца перевели в Петербург. Поступить в петербургскую гимназию еврейским мальчикам было почти невозможно. Отец с матерью и младшими детьми уехали в столицу, а Самуил и старший брат, Моисей, остались доучиваться в гимназии. Жили у родственников матери, много читали, пропадали в книжных магазинах и библиотеках. Сема с одноклассником пытался издавать рукописный журнал. На каникулах уезжали к родителям.

На даче под Петербургом летом 1902 года Сема решил устроить спектакль в дачном театре и выступил там с чтением стихов. Один из зрителей, тронутый его чтением, решил познакомить мальчика с известным меценатом Давидом Гинзбургом, востоковедом и писателем из династии банкиров. Гинзбург, в свою очередь, отвез подростка к критику Стасову, который в ту пору был уже очень стар. Стасов пришел в ужас от необходимости слушать, как юное дарование читает свои стихи. Через два дня, однако, он сообщал в письме своей невест-

ке: «Но не прошло и полминуты, я уже был покорен, побежден, захвачен и унесен. Маленький мальчишка в слишком коротких панталонах владел мною, и я чувствовал великую силу над собою. И голос у него совсем другой был, и вид, и поза, и глаза, и взгляд... Настоящее преображение – волшебное превращение... Какое-то разномыслие было у этого значительного человека. И лирика, и полет, и древняя речь... И тут же рядом веселые классные сатиры на товарищей, гимназию, директора и инспектора, но такие же веселые, забавные, такие a la Пушкин молодой...»

Стасов, очарованный напором дарования маленького Маршака, даже Льву Толстому рассказывал о нем. Толстой, впрочем, не верил в вундеркиндов: пусть, мол, сначала подрастет и покажет, на что способен. Для Семы Маршака Стасов стал всем: другом, наставником, родственником – в письмах он называл его «дедушкой» – и, что важнее всего, Стасов открыл для еврейского подростка дверь в русскую культуру. «У Стасова была давняя дружба со «Львом Великим», как он неизменно называл Льва Толстого, – вспоминал Маршак. – Он был близко знаком с Гончаровым и с Тургеневым, с которым вел бесконечные споры о музыке, о литературе... С трогательной заботливостью старался он приобщить меня ко всему, что было ему дорого». Стасов добился перевода Маршака в Третью петербургскую гимназию – дошел даже до великого князя Константина Романова, поэта К.Р. Теперь юный Маршак постоянно бывал у Стасова дома, на работе – в Публичной библиотеке, на даче, где познакомился с Шаяпиным и Горьким. В Петербурге Маршак стал сильно болеть: харкал кровью. Горький решил перевести мальчика в Ялту, где жила тогда его жена с детьми. Добился перевода Маршака в ялтинскую гимназию, и Самуил отбыл на юг, где его стала опекать Екатерина Павловна Пешкова. Писал стихи, печатал их в журнале «Еврейская жизнь». Скоро грянула первая русская революция, по стране покатались еврейские погромы. Маршак, остро чувствовавший связь со своим народом, ставший свидетелем погрома в Ялте, писал в эти дни:

Словно выжглись в тревожном мозгу

Эти крики, предсмертные стоны...

Засыпает весь мир упоенный –

Но рыдает напев похоронный...

И заснуть не могу, не могу!

В Ялте он переводил стихи Хаима Бялика и писал свои, которые публиковал в молодежных еврейских изданиях. Прожив на юге два года, он вынужден был уехать из-за угрозы ареста. Почему? Нам мало что известно. В гимназии он учился вместе с Петром Войковым, будущим участником расстрела царской семьи и уже в 1906 году членом боевой дружины РСДРП. Войков перевозил бомбы и готовил покушение на губернатора Думбадзе. Биограф Маршака Гейзер упоминает, что в

60-х годах Маршак рассказывал в письме феодосийским школьникам, как спас от ареста двух матросов после подавления мятежа. Как бы то ни было, летом 1906 года неблагонадежный Маршак вернулся из Ялты в Петербург, где воссоединился с семьей и где должен был сдавать выпускные гимназические экзамены. Стасов умер осенью 1906 года. Самуилу исполнилось 19. Началась взрослая жизнь.

В РОДНУЮ ЗЕМЛЮ МЫ ВОЙДЕМ В ОГНЯХ ЗАКАТА

Уже в Ялте он получал журналы с новыми именами и необычными стихами: в литературу входил модернизм. Сам Маршак, взращенный на крепкой классике, на эпосе и народной поэзии, к соблазнам модернизма оставался стоек. Но столичный воздух поменялся: как будто рухнула наконец стена поэтического молчания, которая сдерживала русскую поэзию, и хлынули стихи. Хорошие и плохие, шедевры и чудеса моветона; поэзия расцвела и ожила. В Петербурге Маршак познакомился с Блоком, который нашел, что в стихах молодого поэта «есть солнце». Сам молодой поэт, окончив гимназию, стал работать в петербургской прессе. Свел знакомство с Сашей Черным, они вместе выпивали и зачитывали друг друга стихами. Саша Черный с удовольствием участвовал в выпуске домашних журналов, которые создавались в семье Маршака. Маршак стал печататься в «Сатириконе». Сейчас он впервые начал печатать политические сатиры – жесткие, злободневные, отточенные по форме – прообраз того, что он будет делать потом в Великую Отечественную.

В 1911 году Маршак и его друг поэт Яков Гордин вместе с группой еврейской молодежи отправились в Палестину через Турцию, Сирию и Грецию, причем Самуил заручился согласием «Всеобщей газеты» и «Синего журнала» печатать его корреспонденции из-за границы. О Палестине он давно грезил, как и его сверстники, проникнутые духом нарождающегося сионизма – мечты о своем государстве на земле предков. Еще до этой поездки он писал:

Снится мне: в родную землю

Мы войдем в огнях заката,

С запыленную одежду,

Замедленную стопой...

И войдя в святые стены,

Подойдя к Ерусалиму,

Мы безмолвно на коленях

Этот день благословим...

Это фрагмент из его «Сионид», первого сборника стихов. Много лет спустя, когда поэт Арон Вергелис принес Маршаку эту книжечку, тот сказал: «А я думал, я все уничтожил». После кампании борьбы с космополитизмом быть автором «Сионид» было страшно.

Мечта об Иерусалиме сбылась. В этой поездке он писал не только корреспонденции, но и много стихов – прозрачных, счастливых стихов о чайках, восточных ба-

зарах, о лимонных садах и виноградниках, открывающихся за поворотом... В забавных стихах, написанных годом позже, появляется образ девушки в «легчайшей шляпке» – девушке, которая едет вместе с лирическим героем на верблюде и мучается тошнотой. И девушка в самом деле рядом с ним была. Ее звали Софья Мильвидская; фотографии донесли до нас ее классическую красоту – как будто это лицо с итальянской картины эпохи Возрождения на ветхозаветный сюжет.

Довольно скоро после возвращения в Россию Самуил и Софья поженились. Оба собирались получить образование; обоим мешала процентная норма для евреев. Решили ехать в Англию – он опять договорился с петербургскими газетами и журналами, что будет слать корреспонденции, так что денег на оплату учебы хватило. В сентябре 1912 года уехали. Он сначала учился в политехникуме, потом в Лондонском университете. Софья выбрала факультет точных наук, он – факультет искусств: изучал литературу, днями просиживал в библиотеке. Когда была возможность – уезжал путешествовать по Англии, посылал в Россию очерки. Одно из самых сильных английских впечатлений Маршака – это «Школа простой жизни» доктора Ойлера, педагога-новатора, в которой общение с детьми и их обучение было основано на принципах совместной простой жизни с минимумом благ цивилизации, на сотрудничестве и взаимном уважении. Много лет спустя Маршак писал, что никогда не чувствовал себя так хорошо, как в то время, когда он жил вместе со школьниками Morkshin School. Собственно,

уже тогда, в разговорах с английскими детьми, стали вырисовываться контуры того, чем бы он хотел заниматься дальше: педагогикой, воспитанием, вообще детьми.

В Англии он взялся за переводы английских классиков и открыл для себя огромный мир английской народной детской поэзии; скоро он встретит Чуковского, также влю-

бленного в английский фольклор; они вдвоем воссоздадут этот культурный материк на русском языке, для начинающих русских читателей. Но прежде, чем стать детским поэтом, Маршак стал отцом. В 1914 году у Маршаков родилась дочь Натанель. Родители души в ней не чаяли, но не уберегли: в 1915 году девочка опрокинула на себя кипящий самовар и погибла...

Они уже вернулись из Англии, уже началась мировая война, уже кончилось время их золотого, призрачного счастья. Маршак написал Екатерине Пешковой с просьбой помочь найти для них с женой работу, чтобы забыть о горе, – социальное служение. Лучше всего – детям. Лучше всего – еврейским. Работу, впрочем, он сам нашел: в Воронеже, куда он ездил разбираться с призывом на армейскую службу (в армию его не взяли: сочли не годным по здоровью), было огромное поселение еврейских беженцев из прифронтовых районов. Беженцы жили в нечеловеческих условиях и очень нуждались в помощи. В Воронеже, однако, Маршак не прижился: ему, репортеру и поэту, нечем было зарабатывать здесь, кроме фабричного труда. Он выправил себе документ, позволяющий вернуться в Петербург, к жене, и вернулся – как раз к большим событиям.

ВЫ НА КОГО КРИЧИТЕ?

Собственно, большим событием для молодой семьи стало рождение сына, которого назвали Иммануэлем; рождение его совпало с крушением старой России. Февральскую революцию Маршак приветствовал. Он даже слышал выступление Ленина с броневика у Финляндского вокзала, о чем позднее вспоминал в стихах, посвященных Ленинграду. Отцу Маршака, Якову Мироновичу, в это время предложили работу в Екатеринодаре; семейство уехало на юг: в Петрограде уже начались перебои с хлебом. Самуил Яковлевич остался в столице, поскольку был занят подготовкой антологии еврейской поэзии

и переводил английских поэтов. Он все чаще задумывался над тем, чем бы хотел заниматься, – и все больше места в этих размышлениях занимало устройство школы-колонии, уж очень запала ему в душу английская «Школа простой жизни». Какое-то время работал с беспризорниками в Петрозаводске, где жил брат, – но семья оставалась в Екатеринодаре, отрезанном фронтом Гражданской войны. Как Маршак переходил линию фронта, как пробирался к родным – неизвестно. Но в 1918 году он оказался в Екатеринодаре, занятом белыми войсками. Сотрудничал в городской прессе. Как-то пережил несколько смен властей. В городе жила тогда Елизавета Васильева (Дмитриева), она же – Черубина де Габриак, забытая всеми трагическая звезда Серебряного века. Писала для детского театра; Маршак тоже взялся за пьесы для детей и втянулся в эту работу. «В голодные годы я организовал Детский городок, – рассказывал он. – Нам от-



С.Я. Маршак.
Дружеский шарж
И. Игина

ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

Маршака терзали и мешали ей работать – изо дня в день, из года в год. Сначала разоблачали «группку Чуковского–Маршака» с ее недопустимым антропоморфизмом, и Маршак, сохранивший еще влияние на Наркомпрос и лично Крупскую, заступался за совершенно раздавленного, лишенного работы Чуковского. Затем в 1931 году арестовали как контрреволюционеров Хармса, Введенского, Андроникова, еще нескольких человек... Наконец, в 1937 году редакцию разгромили,

дали бывшее помещение Кубанской рады – целый дворец, — и мы там устроили читальню, библиотеку, детский сад. А главное наше дело было – детский театр. Первые мои вещи в стихах для театра – «Кошкин дом» (маленький) и «Сказка про козла»... Все это было уже при советской власти». Театр и Детский городок – это было крупное культурное явление в послевоенной стране. Их заметили. Актеров и авторов пьес позвали в Москву. Маршак стал завлитом петроградского ТЮЗа и занялся подбором пьес для него. А в 1923 году, когда появились частные издательства и стали печатать книги для детей, – вот тут Маршак стал детским классиком. Случайно так вышло или нарочно распорядилось Провидение, но на пустом, выметенном революцией и войной поле детской литературы вдруг появились умные, европейски образованные, серьезно интересующиеся педагогикой отцы – у Чуковского младшей, Мурочке, было два года, у Маршака Иммануэлю – шесть. И сложилась совершенно новая детская литература, резко отличающаяся от занудной дидактики и сахарных соплей дореволюционных детских книжек, – крепкая, живая, веселая поэзия. Маршаковские «Детки в клетке» сразу очаровали читателей; его динамика, его пафос радостного созидания принесли ему всенародную любовь, и он немедленно стал живым классиком.

Педагоги эту поэзию сразу невзлюбили, устроив сказке обструкцию: это недопустимо, это антропоморфизм, у вас там животные и предметы разговаривают, это пробуждает в детях вредные фантазии и внушает им неверные представления об устройстве мира...

Маршак тем временем обустроивал жизнь новорожденной детской литературы. Его позвали в журнал «Воробей», который вскоре стал «Новым Робинзоном», и к нему со всех сторон потянулись замечательные авторы. Оказалось, у него есть еще один недюжинный талант: собирать вокруг себя таланты, налаживать рабочий процесс. Довольно скоро Маршак стал консультантом Детского отдела ленинградского Госиздата, а потом возглавил детское издательство – Детгиз. В этой удивительной редакции любили всех талантливых писателей, и не писателей тоже: с учеными или путешественниками здесь тоже работали, учили писать точно, четко, легко, чтобы у детей была хорошая книга. Здесь собирались поэты-обэриуты, здесь смеялись, писали эпиграммы, спорили о литературе – вообще жили литературой; здесь ссорились всерьез из-за того, как работать с автором и какова роль редактора...

В стране, поборовавшей неграмотность, еще физически голодающей, настало время книжного голода. Новые читатели требовали книг – много книг, и Детгиз торопился рассказать детям и их родителям обо всем: о пятилетнем плане, о происхождении вещей, о приключениях, о природе...

Работать, однако, никогда не было легко. Педагогический надзор и идеологический контроль над детской литературой часто рубили ценное на корню. Редакцию

разоблачив «вредительскую группу Маршака». Многих арестовали; часть арестованных расстреляли. Почему арестовали Маршака, главного вредителя, непонятно. Может быть – выполнили план по посадкам и приступили к расстрелам? Маршак, едва не севший, уехал в Москву. Ходил хлопотать за своих авторов и редакторов. Валентин Берестов рассказывал, что генпрокурор Вышинский выговаривал разгоряченному Самуилу Яковлевичу: «А вы не кричите на меня, товарищ Маршак! Вы понимаете, где и на кого кричите?» Редакторов Любарскую и Габбе выпустили в 1938-м, в краткую волну борьбы с «ежовщиной». Других не выпустили – расстреляли.

Маршак, потерявший редакцию и дело жизни, сел переводить сонеты Шекспира. Шекспир и Бернс давали возможность жить и дышать.

В 1939 году, когда перепуганных советских писателей награждали орденами, Маршак получил орден Ленина.

НО НЕ ГАСНЕТ ЗВЕЗДНЫЙ СВЕТ

Когда началась война, Маршак пропал на фронт, и его не взяли – опять, как в 1914 году. Он был немолод, страдал астмой, плохо видел, кашлял. Но все равно рвался – пусть как поэт, а не как воин, и привозил с линии фронта новые стихи, где рассказывал о том, что видел.

Поэт Маршак в войну стал совсем другим – как будто вернулся от Маршака-редактора к себе молодому, к злему и остроумному сатирику. То, что он де-

лал – один или вместе с карикатуристами Кукрыниксами, – больше всего напоминало «Окна РОСТА» в исполнении Маяковского: хлесткое четверостишие с картинкой. «Днем фашист сказал крестьянам: // «Шапку с головы долой!» // Ночью отдал партизанам // Каску вместе с головой». Эти стихи мгновенно запоминались – с первого прочтения, со слуха, их пересказывали дальше, они врезались в память своими чеканными формулами даже малышам, когда-то прочитавшим в «Мурзилке»:

*Ты каждый раз, ложась в постель,
Смотри во тьму окна
И помни, что метет метель
И что идет война.*

И они помнили, что идет война. Однажды, когда начальство торопило Маршака, требуя побыстрее выдать стихотворение, пусть хоть маленькое, он ехидно ответил: неужели вы думаете, что маленькие часы сделать легче, чем большие? Удивительно тут сравнение стихов с часами – но только на первый взгляд: если вдуматься, лаконичные, стальные, отполированные строки Маршака, где все слова четко подогнаны друг к другу, где бьется точный и жесткий ритм, – это в самом деле не ювелирное произведение, не картина, не вздох, не роспись по шелку – а идеальный часовой механизм, точная форма, которую он придавал времени. Время дышит в его стихах. Полыхают яростью военные годы, породившие всенародно любимую сатиру: «Минируем мы все, от хлева до овина. Вот женщина идет. – Как ваше имя? – Минна» и «Юный Фриц, любимец мамин»...

Светят в вечерней синеве особым, советским покоем красные звезды над Кремлем:

*Над старой зубчатой стеною,
Над всею Советской страной
Горят, как огни корабля,
Рубины на башнях Кремля.*

Все это, безупречно оформленное, входило в плоть и кровь советского читателя, формировало его мир с ясно различимым добром и злом.

Один из лучших маршаковских переводов – это стихотворение Исаака Фефера «Звезды и кони»: мальчик жалуется маме, что кони ходят по воде и хотят выпить реку вместе с солнцем, облаками и звездами. А мама утешает его:

*– Ты не плачь, мой глупый
мальчик,
Много-много тысяч лет
Конь с водой глотает звезды,
Но не гаснет звездный свет.
Звезды светят, как светили,
Золотым своим огнем,
А река рекой осталась,
Светом – свет
И конь – конем!*

Это ведь лучшая картина мира для ребенка: в мире вечно светят звезды, вечно течет река, и ничего с ними не делается. Маршака ведь больше всего интересуют звезды. Хотя он и сатирик, и социальный поэт, главное его социальное служение – это нести читателю ясные, умные, стоящие на своем месте слова о мире, в котором он живет; привносить в этот мир культуру – и понятно, пожалуй, почему от своей работы с беженцами и беспризорниками он переключился на книги, стихи и переводы: потому что для того, чтобы принести в страну счастье и свободу, нужно не только кормить голодных, но и как следует перевести Шекспира. И в самое отчаянное время войны, в самую безнадегу, до сталинградского перелома еще, – написать вдруг изумительную и неуместную, как ландыши в зимнем лесу, пьесу «Двенадцать месяцев» – внезапно мирное чудо, которое, к слову сказать, стало для Маргариты Алигер одним из ясных свидетельств того, что культура жива, что силы есть, что победа будет за нами.

СМОТРИТЕ В ОКНО

Маршак часто повторял: «Переводя, смотрите не только в текст подлинника, но и в окно...» За окном шел XX век, который отпечатывался в стихах и переводах. Переводы сонетов Шекспира, за которые он получил очередную Сталинскую премию, – это и портрет века. Шекспир в них не тот пьяный дикарь, какого в нем видел XVIII век, – это Шекспир образованный, с классическим высшим образованием; лохматый, грубый и местами темный шекспировский

А на излете этих мрачных лет – еще два удара: умерла жена, умер младший брат, М. Ильин, друг и соратник, автор прекрасных детских книг.

«Оттепель» вдохнула в Маршака новые силы. Он снова неугомонный спорщик, эпиграммист, он ввязывается в литературную полемику, пишет о Солженицыне, о молодых поэтах, заступает за Евтушенко, которого травят из-за «Бабьего Яра»... но сил не хватает. Лидия Чуковская вспоминала, что, узнав о готовящейся судебной расправе над Бродским, Маршак, больной воспалением легких, заплакал: «Если у нас такое творится, я не хочу больше жить... Я не могу

больше жить... Это дело Дрейфуса и Бейлиса в одном лице... Когда началась моя жизнь – это было. И вот сейчас опять».

В последние годы Маршак, которому все труднее было вставать и ходить, вспоминал, записывал, беседовал; собирал свои мысли о слове – единственной драгоценности, которую признавал. Издал книгу взрослых стихов – умных, медленных, печальных:
*Мы принимаем все, что получаем,
 За медную монету, а потом –
 Порою поздно – пробу различаем
 На ободке чеканно-золотом.*

Его жизнь и поэзия оказались чистой пробой на чеканном золоте. Все подневольное и вымученное сошло на нет. Осталась чистая поэзия, остался счастливый, до старости, до полной слепоты (у него была катаракта), незамутненный и непосредственный, ясный взгляд на мир; остались «Детки в клетке» и «Вот какой рассеянный», «Усатый-полосатый» и «Мастер-ломастер»... остался мир, пахнущий красками, цветами, булками и дождем, мир, словно увиденный в первый раз, описанный словом, будто в первый раз произнесенным:

*Все вокруг было ново:
 Дом и двор, где я рос,
 И то первое слово,
 Что я вслух произнес.
 Пусть же трудно и ново
 И свежо, как оно,
 Будет каждое слово,
 Что сказать мне дано.* ❀

стих в нем пропущен через кровавый опыт XX века, высветлен до хрустальной ясности, упорядочен, отполирован. Маршак удивительно умел придавать всему форму – он был гений формы; гениальные стихи получались, когда его могучий формальный гений обнимал и заковывал страсть, боль, гнев, изумление, восхищение – свои ли, Шекспира ли, Бернса ли. Его поздние стихи – совсем другие: стальная форма в них пытается поймать и удержать совсем неуловимое, невесомое: время, мысль, отзвучавший смех.

Не знает вечность ни родства, ни племени,

Чужда ей боль рождений и смертей.

А у меньшей сестры ее – у времени –

Бесчисленное множество детей.

Бегущая минута незаметная

Рождает миру подвиг или стих.

Глядишь – и вечность, старая, бездетная,

Усыновит племянников своих.

Послевоенные годы не дали Маршаку даже передышки. В 1946 году умер от туберкулеза второй сын – 20-летний Яков. Едва он пережил это горе, как на него свалились новые несчастья: дело космополитов, по которому он, активный член Еврейского антифашистского комитета, мог сесть или исчезнуть, как исчезли его друзья и коллеги – Михоэлс, Квитко, Маркиш, Фелер – те, кого он знал, любил, переводил. Проклятое время между войной и смертью Сталина – восемь лет ползучего страха, обморочной черноты – переломало и тех, кого не надломил война. Маршак подписал письмо с выражением лояльности советским евреям правительству – письмо, которое не стал подписывать Эренбург; Маршак строчил политические сатиры в духе холодной войны; Маршак написал столько выпренных, казенных, официальных, советски-хрестоматийных строк, что многим казалось, что это и творческий, и человеческий конец, банкротство.

Но Маршак, который не мог говорить сам («и вдохновения зажатый рот»), говорил через Бернса и Шекспира, и их голоса слышали. Маршак оставался собой в детских стихах, которые с младенчества впаялись в наше культурное сознание, – в «Календаре», в «Елке», в «Карусели», в «Разноцветной книге» с ее изумительной зоркостью:

Бродят в траве золотые букашки.

Вся голубая, как бирюза,

Села, качаясь, на венчик ромашки,

Словно цветной самолет, стрекоза.

МИР, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ВИЛЬК* ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ МАРИУША ВИЛЬКА В РОССИИ

ВАСИЛИЙ ГОЛОВАНОВ

Сейчас, когда путь странствий и творчества польского писателя Мариуша Вилька в России занял во времени двадцать лет и маршруты его путешествий исчертили все пространство Русского Севера, результатом чего стали четыре книги, выпущенные петербургским издательством Ивана Лимбаха, делается, собственно говоря, не так уж важно, откуда он пришел и почему избрал дикие северные берега Онега своим домом.



ФОТО АВТОРА

ОПЫТ, ПЕРЕЖИТЫЙ ИМ в России (двадцать лет – срок немалый), настолько значительнее всех прошлых его опытов, настолько глубже по задачам и блистательнее по исполнению, что перед всей этой громадой делается почти неважным, почему польский фрондер, человек глубоко западный, в прошлом – редактор газеты известного бунтарского профсоюза «Солидарность», пресс-секретарь самого Леха Валенсы и автор блистательно написанной и на шумевшей на Западе книги о польском подполье – «Негалы», – однажды как корреспондент польской газеты очутился в России. Вернее, на пляже в Сухуми, где на его глазах парочка не успевших убежать от абхазской войны туристов была зверски умерщвлена подвыпившей грузинской солдатней.

РОЖДЕНИЕ ВОЛКА

Здесь – точка истинного поворота судьбы. Потому что до этого был бойкий хлопец, который, несмотря на свою протестность и явный талант, все равно даже думать по-своему не умел. А тут судьба предложила ему жестокий выбор: сделать вид, что ничего не случилось, продолжать

* «Вильк» – по-польски «Волк».

сидеть рядом с этими людьми с автоматами и ножами, пить с ними водку и есть шашлык или все-таки как-то отнестись к случившемуся. Он не смог не отнестись. Не смог остаться равнодушным. Он понял, что вместе с этими убитыми парнем и девушкой смертельно ранена сама его душа.

Из того, что он знал о России, он знал, между прочим, и слово «Соловки». И – понимаете – такие решения принимаются раз в жизни. Он почувствовал, что ему надо на эти Соловки, к какой-то древней святости, древним камням, неиспорченным людям, к которым он мог бы припасть и исцелиться. Он думал, что поедет на четыре-пять дней – а оказалось, что на девять лет. Он не думал, что навсегда бросает работу корреспондента, он надеялся, возможно, что кто-то за него отмолит его грехи – и он опять вернется в тот мир, который сейчас Мариуш (используя словечко Джойса) с презрением называет «сифилизацией».

Пять лет на Соловках он ничего не писал. Много медитировал, постился, изучал русский и древнеславянский языки, погружаясь в глубину общих корней. Так он «наработал» тот удивительный писательский язык, в котором русские слова глядят польскими, польские – русскими, но те и другие воспринимаются в каких-то неуловимо-новых гранях своих значений.

Мариуш любит рассказывать про Соловки, любит подчеркивать, как медленно зрело в нем рождение нового человека. Но главной на Соловках оказалась встреча со старцем отцом

Германом, который, выслушав длинную исповедь Мариуша – и про «Солидарность», и про подполье, и про тюрьму, куда он угодил, подобно одному из своих героев-нелегалов, и про выход в свет, про известность и даже про этот последний случай на пляже, – в конце концов сказал: «Мар, куда ты так бежишь всю жизнь? Остановись. Задержись. А посмотришь – дальше дойдешь». И Мариуш остановился.

Через пять лет его уединенной жизни на Соловках Ежи Гедройц, после войны основавший во Франции культовый для поляков журнал «Культура», предложил Мариушу сотрудничество: писать «Соловецкие дневники» в каждый номер журнала. Мариуш начал работать. Эти дневники публиковались пять лет. Но однажды, когда он прислал очередную корреспонденцию, Гедройц ответил ему: «А теперь сложи их. Разве ты не видишь, что книга уже готова?» Поворот завершился. Родился писатель. Родился свободный северный волк.

ДОМ НАД ОНЕГО

Мариуш написал о Русском Севере несколько очень интересных и непохожих друг на друга книг: после «Волчьего блокнота» (Соловецкие записки) появились «Волок» [формально — книга о путешествии по Беломорканалу; по сути – глубокое внутреннее исследование тех метаморфоз, которые принес ему русский опыт] и «Тропами северного оленя» – беспощадная и вместе с тем сказочная книга о кольских саамах.

Но самой значительной до последнего времени была книга «Дом над Онего». Он избрал этот дом как судьбу. Прекрасный, вековой дом из тесаных бревен, в два полных этажа с бельведером наверху, у самой воды (здесь все дома смотрят не на улицу, а на озеро – оно же было главной дорогой). Собирался писать книгу о Петровских заводах, о датчанине Бутенанте, который начал здесь разведку железной руды, о том, как на онежских берегах Россия, добывая железо, оправлялась от поражения под Нарвой и готовила екатерининские завоевания Бессарабии и Таврии... Но вышло совсем другое: книга получилась о любви. И дом, который он купил просто для работы («я всегда покупаю дома там, где работаю»), стал не просто домом – он стал родным гнездом его, Мариуша, позднего ребенка – Марты. Наверное, поэтому я так люблю этот дом. Он весь вышел из волшебной русской сказки: он полон света, семейного тепла, уютных запахов печи и чистого дерева, рябиновой ряби расшитых полотенец, полон света и простора. Строили его более ста лет назад братья Кирьяновы: один крестьянствовал, другой был на заработках (и разбогател) в Петербурге. Поэтому отличаются «верхняя» и «нижняя» половины: внизу – традиционная крестьянская изба, а наверх ведет лестница с точеными голубыми балясинками; помимо русской печки в одной комнате отделанная белой фаянсовой плиточкой «городская» голландка, в другой – металлическая круглая, американской системы Ленгольда... И при этом – европейская библиотека и тот удивительный нежный запах, который создает вокруг себя состоявшееся, счастливое, как солнечное лето, детство. Собственно, это детство, эта новая жизнь все и изменила.

Однажды, когда Мариуш путешествовал по Лабрадору, он на пароме разговорился с одним эскимосским шаманом. У эскимосов все стороны света имеют строго

– А ты не боишься, что в 6 лет, когда она из Зазеркалья попадет в обычную городскую школу, это очень больно ударит по ней? Петрозаводск – город тихий, но уж очень она будет выбиваться из среды одноклассников...

Мариуш на некоторое время замолкает, смотрит в окно. За окном – озеро. Тут в каждом окне дома – озеро.

– Знаешь, – медленно начинает он следующую мысль. – Я говорил со своей

издательницей – это очень мудрая и свободная женщина, Вера Хоффман-Михальска. Я спрашивал ее: когда надо отдавать девочек в школу? И она мне сказала: раньше 13 лет не надо. Потом – в Швейцарии есть такие специальные школы, где быстро «дотягивают» то, что я не могу ей дать: математику, физику, химию... А историю, географию и языки я преподам ей сам. Мы поедем путешествовать дальше: я хочу прожить с ней год на Байкале. Понимаешь, Байкал – это такая грандиозная штука, которая накладывает свой след на каждого человека. Я хочу пожить с ней в Бурятии, показать ей буддийские храмы, монахов. Показать ей бедность, горе. Она должна узнать, что это такое.

– И закончить все-таки Швейцарией...

– Кто знает, как изменится к этому времени мир?

Мариуш сказал, что с тех пор, как родилась Марта, время для него как бы понеслось вскачь: она взрослеет на год, он – на год стареет. На год меньше жизни остается у него. Но он надеется успеть. С трех месяцев Марта и отец танцуют под музыку в кабинете Мариуша. Каждый день. Раньше она танцевала на руках у отца, теперь – рядом с ним. Танцуя вместе с отцом, она впервые увидела книги. Вот это, – называл свои любимые книги папа, – господин Капушинский, это – Никола Буве, а это – Брюс Чатвин. Первый писатель, имя которого Марта, кстати, запомнила, и был Брюс Чатвин,

определенное мифологическое значение. Юг – это молодость. Запад – это зрелость. И Север – это старость и смерть.

– Я не смог удержаться и сказал шаману, – рассказывает Мариуш. – Смотри, Алекс, какой расклад: я уже пятнадцать лет живу на Севере и в принципе не собираюсь двигаться оттуда. Я живу в обители старости и раньше или позже здесь умру. Шаман посмотрел мне в лицо и рассмеялся: «Нет, старик, нет. Ты скоро зайдешь на второй круг».

В тот же год после свадебного путешествия в Европу с Натальей родилась Марта.

– Понимаешь, мне тогда было 56 лет. Пятьдесят шесть с половиной. И до тех пор я вел абсолютно эгоистичный образ жизни. Абсолютно. Я жил для себя и для «партнерки», с которой мы живем. «Партнерки» менялись. Но когда я впервые увидел своего ребенка на экране УЗИ... Это было похоже на Тарковского, фильм «Солярис». Космический океан и пульсацию жизни. Марту. Она сидела в позе лотоса, и было отлично видно, что она девчонка, а не мальчик. Это был март или апрель. И когда я еще до рождения увидел своего ребенка, я понял, что я отвечаю. И что я буду отвечать до конца своих дней уже. Что я не один сам по себе, что у меня есть кто-то, кого я поведу через всю жизнь. И это...

В общем, книга о Петровских заводах так и не была написана. Зато появилась другая, может быть, самая пронзительная, самая главная: завет отца своему ребенку. Называется она «Мартуша».

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

– Когда она родилась, я понял, что для меня сейчас самое интересное и самое важное – это писать про нее. И мы отложили все наши дела. Я захотел, чтобы первые годы своей жизни она провела здесь, в Заонежье. Как в Зазеркалье, понимаешь?

– Почему – как в Зазеркалье?

– А много ты можешь назвать в мире мест, где, ложась спать, люди до сих пор не запирают двери? Где соседей зовут не «Николай Иванович» или «Любовь Ильинична», а дядя Коля и тетя Люба? И это не просто фигуры речи. Здесь действительно всё по-родственному: дядя Коля вечером зайдет за велосипедом, сгоняет в Великую, а утром привезет к столу свежей рыбки. А у тети Любы своих двое, там Ляля, главная Манина (так Марта называет себя по-русски. – Прим. авт.) подруга, так что они тут все – под теткинским присмотром. И нетронутая красота этих мест...

Я хочу, чтобы лет до пяти она открывала дверь и видела это синее море, эти поля, этот простор, эту часовню, эти травы. Чтобы видела, как валит снег и гаснут звуки в этом снегу... Чтоб это вошло в нее, стало ее частью, частью ее внутреннего пространства.

«Брючака». Тот самый «Брючака», который как-то сказал: «Если у этого мира вообще есть будущее, то это аскетизм».

В этом году из пяти деревенских стариков умерли четверо. И Мариуш, ухватив чуть ли не силой последнюю старушку, бабу Клаву, ходил с ней по деревне, составлял план, где чей дом стоял, как хозяйство было устроено, у кого родственников расстреляли, как работал колхоз...

– **Зачем это тебе надо было?**

– Моя задача – описать для нее мир ее детства – то, что ты видел, что нас окружает. Одновременно и моими, и ее глазами. Ты же понимаешь, что с нею мы никогда не посидим, не поговорим так, как с тобой. Но я так хочу все написать, чтобы в 45 или в 50, когда меня давно уже не будет на свете, она могла открыть мою книгу – и вернуться в мир своего детства. А заодно узнать мои раздумья на тему Бога, на тему жизни и смерти и о том, зачем нам дан Путь Жизни. Одновременно она вспомнит и мосток над водой, и бабу Валю, и бабу Клаву, которые вот сейчас еще есть в ее жизни, но уже завтра перестанут существовать... Клава-то уезжать собирается, дочь приехала, вещи собирает...

– **А что так?**

– Я с ней месяц беседовал. Почти день в день. И вначале, слушай, никак не мог найти к ней подхода. Не тот тон взял с ней. И она не открывалась. Меня подвело слишком красивое решение литературное. И я, вместо того чтобы увидеть в ней обиду – то, что потом увидел, через две недели, – я увидел сначала ненависть. И отсюда пытался попать с ней в один ритм. Но когда увидел обиду, а не ненависть – о, тогда дело пошло!

– **А на что она обижена?**

– Чтобы объяснить, тебе надо дать весь ее портрет, который я написал. Это шесть страниц. Портрет называется «Баба Клава». А последняя фраза... подожди... я тебе ее скажу точно: «Вот и наплодили нас без любви, на нашу беду»...

Кажется, каждую минуту своего позднего отцовства Мариуш вкладывает в любовь к Марте: чтобы беда никогда не коснулась ее, чтобы она никогда не извела доли *нелюбимых* детей.

ВОЛЧЬИ ЗАКОНЫ, ИЛИ ПРАВИЛО ТЫНА

Мариуш без всяких имиджмейкеров отлично поработал над своим «волчьим образом»: темная шапочка, почти всегда надвинутая глубоко на лоб, овальные черные очки, безразличного цвета жилет, вылинявшая футболка с портретом Че, мешковатые штаны и шлепанцы на ногах, привыкших ходить босиком. В таком виде перед фотоаппаратами не попозируешь.

– Свет медиа для писателя страшнее всего. Он ослепляет. Ты ловишь кайф от того, что все видят тебя, но сам не видишь уже ничего. Мой принцип волчий – отойти в тень леса от освещенной поляны. Из тени ты видишь все, но тебя не видит никто.

При всей своей неутолимой отцовской любви Мариуш и дочь растит по своим, «волчьим» законам. Есть общеславянское слово «тын», означающее плетень, забор, то, что закрывает. Но то, чего не следует делать, тоже следует как бы отгородить от себя. Змея на дороге – тын. Огонь в печке – тын. Спички – тын. Тын ничего не в силах запретить, он только огораживает, бережет от опасности. Тын как бы говорит: Марта, будь внимательна, это опасно.

Я спросил Мариуша, какую первую заповедь он таким образом внушил своей дочери.

– Не ври. Не ври – тогда ты опять будешь любимой дочкой, снова будешь Мартой, и тебе будет можно все.

Тын – это не внешний запрет, а именно живая смысловая конструкция, которую любящий родитель бережно строит в душе у ребенка, чтобы она без всяких принуждений работала сама. Чтобы ребенок сам хорошо понимал, что хорошо, а что плохо.

– **Над каким же последним тыном вы работали?**

– Последний тын, который я пытаюсь сейчас строить... Последнее, над чем я серьезно начал работать, – это алкоголь. Это работа и для нее, и для меня. Мне надо не просто *показать* ей, а своим примером *доказать*, что папа алкоголя вообще не пьет, только чистую воду. Потому что был случай, когда мы тут с друзьями выпивали пиво, и она увидела это и поняла, что она – осталась одна. А насчет алкоголя «рассуждения» бесполезны. Как только любимый папа прикладывается к бутылке, ребенок прикладывается вместе с ним. Не сейчас, так через несколько лет. Так мы программируем детей. Поэтому пить я не должен.

гаснет в ней свет неба, как причудливо отражаются облака, как голубизна внешне облака стальной или начинает катиться как ртуть, или отражает зелень прибрежных зарослей и темную тяжесть похожих на ржавые ядра береговых камней. Эта игра света на воде воистину завораживала, в конце концов я не выдерживал — и бросался в воду. Холод стискивал тело, одновременно лаская и крепя

его, вода была живой, какой-то почти сладкой на вкус, и я не мог удержаться от того, чтобы, купаясь, не выпить глоток-другой...

Полдень. Мариуш, как всегда, закрылся в своем кабинете в нижней правой половине дома и спешно завершает отделку нескольких сюжетных линий книги. 3 сентября — юбилей издательства «Noir sur blanc» в Швейцарии, и он, разумеется, приглашен со всей семьей как один из ведущих авторов. Потом — неделя в Париже и — зима в Котловине Клодзкой — тихом местечке на границе Польши и Чехии, где у сестры Мариуша есть дом. Для Марты там — красота первозданной зимы, горные лыжи и привычное ей уединение. Для Мариуша — еще одна возможность поработать в крохотном польском «Зазеркалье». Там к весне следующего года книга будет завершена.

Наташа к полудню уже привела в порядок дом и с невыразимой грацией женщин, легко делающих любую работу, возится на огороде, стирает белье, вычищает коврики, одновременно приглядывая за Мартой, готовя обед и незаметно организуя мой отъезд на завтрашний день. Слава, старший сын Натальи, красивый молодой парень, давно за работой: распиливает бензопилой поседевшие бревна, оставшиеся от разобранного двора (сейчас лишь у двух-трех домов по берегу сохранилась задняя хозяйственная часть), и колет их на дрова. Когда набирается порядочная куча, я начинаю таскать их в дом и складывать в два ряда под лестницей. Мы забиваем

Ведь мы в жизни будем ездить, будут разные дяди и тети что-то выпивать. Сейчас в Лозанне мы первым делом попадаем на банкет издательства «Noir sur blanc», и там, естественно, все будут ходить с шампанским и т.д. Для меня сейчас важно, чтобы она поняла, где мы — а где они. Мы пьем воду — Марта, Наташа и я. Но это последний тын.

— Почему — последний?

— По-моему, главное она уже поняла. И многому уже я учусь у нее. Она — мой главный учитель.

В доме нет телевизора, но зато Мариуш переводит на польский Заонежские сказки и читает их дочери. И мама, Наташа, читает что-нибудь из мировой сказочной классики, если папа не успел к сроку перевести очередной заонежский шедевр. В доме два компьютера, но Марта безразлична к компьютерным играм и, скорее всего, даже не знает об их существовании. Ее вполне устраивает мир улицы, где среди всей детворы она одновременно является и лидером, и королевой. И иногда эта королева называет свое имя: Марта-Матильда Вильк.

Однажды мы слишком рьяно заговорили о том, что ждет Марту, когда она из Зазеркалья выйдет на ту сторону зеркала...

— Понимаешь, — сказал Мариуш, — если ребенок родился в каком-то захудалом дворе, в вонючем подъезде, среди пластмассы — я видел в Петрозаводске немало таких подъездов, — тогда у него нет шансов на видение реальности. Потому что он будет все детство проводить в таких помойках или, может быть, даже прыгнет чуть выше — в клубы, где пиво пьют, — и все, понимаешь? Но она-то три года своей жизни провела здесь, в лучших местах Севера, и опыт общения с людьми, с мамой, с папой, с соседями у нее очень положительный. Она выросла очень положительной и жизнелюбивой. С современностью она уже сталкивалась в каждом аэропорту, где есть бар, бутики. Пока что ничего страшного.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЛЕТА

В прошлом году мы навещали Мариуша и Наталью вместе с женой и тогда на велосипедах много путешествовали вдоль берега: там помимо Кондобережной есть еще пара сохранившихся деревушек с очень красивыми старыми домами и деревянной церковкой, которая сквозь острова, казалось, переглядывается с седьмыми главами Кижей (тут близко). И если ехать по этой дороге, то справа всегда играло вспылками солнца озеро, а слева — чернел задичавший, заглохший лес, в котором, без сомнения, и медведь — не редкость. А в этом году я приехал в самом конце августа, лесная дорога расклякла, да, по совести, одному и не хотелось крутить педали. Обычно вечером я поднимался до крошечной часовенки во имя византийского святого, преподобного Сампсона Странноприимца, где отец Николай в свое время крестил Марту, и оттуда звонил в Москву. А остальное время без всякой тяготы для себя проводил у воды, наблюдая, как разгорается и

дом дровами, как патронташ – патронами. Я в очередной раз ныряю в воду Онего, чтобы вылезти из нее помолодевшим и очищенным, и принимаюсь наконец за отрывок из последней книги Мариуша, который уже существует в русском переводе. Медленно отрываюсь от играющей воды и погружаюсь в каленую онежскую весну:

«...Который раз уже смотрю из окна своего кабинета над Онего за таянием льда. Передо мной разворачивается чудо превращения мертвой природы в водную стихию. Представьте большое пустое пространство до самого горизонта, белое поле, скованное льдом, заваленное снегом в течение многих месяцев. Никаких следов жизни, никаких шевелений, вообще ничего. Лишь ветер, который иногда свернет плюмаж из белой пыли, немножко помашет им и полетит дальше. Даже солнце не в силах оживить этот ландшафт, зимой оно само едва-едва дышит, и самое большое, на что оно способно, – это выглянуть из-за горизонта как из окопа и брызнуть желтой струйкой на лед. Только в апреле, когда тени вытягиваются, лед набухает и чернеет. Верный знак, что скоро грянет чудо...»

Вот я сижу на солнышке, читаю про чудо весеннего исчезновения онежского льда, сопровождающееся мириадами звуков: лопаньем, треском, грохотом, хрустом, а сам слушаю мелодию, которую живая вода тихонько выпевает в прибрежных тростниках, между свай мостков или среди камней, – и чудо этой музыки кажется мне ничуть не менее волшебным, чем весеннее чудо исчезновения льда.

Сегодня рано проснулся, было холодно: показалось, стая диких гусей прилетела, села на озеро недалеко от дома, плавает, отдыхая и гогоча... Оказалось – нет, просто чайки раскричались на крыше часовенки Преподобного Сампсона, которую они давно избрали своим насестом. Иней уже лежал на тра-

ве. И неподвижным огромным зеркалом лиловела вода – без единой морщинки – до самого горизонта.

Я не выдерживаю и отправляюсь к Мариушу.

Перерывы в его работе и ответы на вопросы моего растянувшегося на три дня интервью входят в распорядок дня. Но на этот раз мне хочется спросить о том, что неустанно гложет меня самого. Я стучу в дверь:

– Мар?

– Заходи.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ПИСАТЕЛИ, КОГДА ПОБЛИЗОСТИ НЕТ ЧИТАТЕЛЕЙ

– Понимаешь, об этом не спрашивают, но я спрошу. Все это безумие в мире, климат, который выходит из-под контроля, политехнологии, дикий бизнес, дикое отношение к человеку – ведь это все не кончится добром, Мар. Что ты об этом думаешь?

– Знаешь, у меня в гостях тут была журналистка, которая задавала мне много подобных вопросов. И я ей ответил, что бесполезно рассказывать, что такое медитация, пока ты сам не пережил этот опыт. Но когда ты наконец переживаешь его, рассказывать уже не нужно, потому что приходит тишина. Видишь ли, Василий, я тоже катастрофист, никакого будущего для современной «сифилизации» я не вижу, но меня это не волнует, потому что для меня будущее время вообще не существует, как для Набокова и многих других...

– Будущее заложено в семени каждого растения, в геноме твоей Мартуши, Мар. Поэтому если, не ссылаясь на Джойса, говорить о современной «сифилизации» – где беда? В чем «сифилис»?

– Ты знаешь, был такой американский поэт, монах и мистик Томас Мёртон – он жил на Цейлоне, а умер в Бангкоке. Много раз я его перечитывал и только в этом году заметил, что в некоторых местах – в редких местах – он слово «Бог» заменяет словом «Реальность». Вот подумай...

– Я уже понял.

– Может быть, об этом надо говорить осторожно? Реальность, настоящее – это и есть Творение. В ней мы узнаем Бога – потому что это не мы сделали. А «сифилизация» – это мир, полностью сделанный человеком, для человека, в понятиях человека. И он заслоняет реальность как замысел Бога. В этом смысле и любой храм – заслоняет собою Бога. Ну а если брать виртуальную реальность, которая там, у вас, полностью определяет и мысли, и чувства, и желания человека...

– Что делать со всем этим?

– Может быть, мое спасение в том, что я не задаюсь этими вопросами, потому что будущее для меня не существует. Есть настоящее, в котором надо работать, растить детей, любить жену, вить гнездо и путешествовать. А этот пластмассовый мир в конце концов замкнется сам на себе: вот это и будет настоящая гибель. Но все дело в том, что я не интересуюсь пластмассой... 

МЕЖДУ ДУДОЧКОЙ И КУВШИНЧИКОМ

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Шкловский назвал его завистником старым и подлецом, Чичибабин — негодяем, Лидия Чуковская — талантливым мертвецом, а Давид Самойлов сказал, что в его прозе все в порядке, только «внутри всего этого подохла мышь». Катаев не был безупречен, а некоторые его поступки с позиции нынешнего дня и вовсе объяснить невозможно. Но всякий, кто читал «Белеет парус одинокий», кто помнит «Разбитую жизнь», не может не видеть, что злодеи такой прозы не пишут.



Валентин
Петрович Катаев.
1934 год

ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

ПИСАТЕЛЯ В РОССИИ ТОЛЬКО на одну половину делает талант. На другую – биография и репутация. И если таланта Катаеву было отмерено полной мерой, то биография с самого начала покатила кубарем: жизнь, отравленная смертельным ужасом, требовала компромиссов, и он скоро научился не только идти на них, но и относиться к ним с бесстыдством записного циника. Неужели ему наплевать было на свою репутацию? Или он до такой степени презирал людей, что не считался с их мнением? Странная это была душа, сложная, на много замков запертая – и, может быть, за какими-то замками в самом деле тянуло мертвечиной. Он и сам писал в «Траве забвения» о том, как части его души оставались лежать мертвыми – одна на поле боя, другая – на кукурузном поле, где его едва не убила банда батьки Заболотного... XX век каждому отрубал душу по

кускам. Кто что сохранял – тяжелый вопрос: кто-то держался за веру, кто-то – за собственное достоинство. Катаев, по своему же свидетельству, веру утратил еще в Первую мировую, о собственном достоинстве исчерпывающе говорит его совет Евтушенко не строить из себя целочку, отдающуюся по любви: «Будьте проституткой – ну вот как я». Что он сохранял, за что держался?

ЮНОСТЬ ПОЭТА

О своей семье Катаев писал с неизменной любовью и неизменной же тоской: и отца, и мать, и брата, и тетку он потерял при драматических обстоятельствах. Мать, Евгения Ивановна Бачей, талантливая пианистка, ушла первой, едва

родив Вале младшего брата, Женечку, – умерла от гнойного плеврита, когда старшему сыну было всего шесть лет. Ее похороны, гроб с фестонами, похожий на коробку конфет, удушливый запах гиацинтов и тления врезались ему в память со всей остротой невозможной нелепости; описание похорон матери в раннем рассказе «Отец» дало критикам основания упрекать Катаева в неэтичности: бесчеловечная, мол, зоркость, нехорошо так.

Маму осиротевшим мальчикам заменила ее сестра, тетя Лиля, Елизавета Ивановна. Она пообещала сестре вырастить племянников и обещание сдержала, пожертвовав личным счастьем. Катаев деликатно предполагает, что тетя Лиля была влюблена в их отца, но отец, сын священника из длинной священнической династии, человек строгого аскетического склада, был однолюбом и хранил верность ушедшей жене. Мальчики были присмотрены, одеты, накормлены – но Вале очень не хватало мамы; жена его рассказывала, что уже и взрослый он иногда запирался у себя в комнате и плакал: «Я вспомнил маму». Папа был на работе, тетя занята крошечным Женечкой; Валя оказался совершенно одинок. Может быть, потому он так быстро, как говорили тогда, отбил-ся от рук: стал пропадать на улице, ввязываться в разнообразные неприятности, с таким юмором описанные потом в его прозе – чего стоит один взрыв в плите и прилипшая к потолку лапша. Он исследовал свой город, который потом воспроизвел в книгах во всех любовно сохраненных памятью подробностях. Петя Бачей, слоняющийся по Одессе и с восторгом наблюдающий за ее многошумной и многокрасочной жизнью, – это почти сам Валя, и даже фамилию Катаев ему дал мамину, а имя – папино.

В 9 лет он поступил в Одесскую пятую гимназию, где учился кое-как, а в подростковом возрасте даже и второгодничал. Он довольно рано начал писать

стихи, которые пристраивал во все городские редакции, где эти стихи брали, и оттого печатал совершенно несносный вздор в «Одесском вестнике», органе Союзу русского народа. Сам факт, что его печатают как настоящего поэта, очень поднимал тщеславного ребенка в его собственных глазах. Ребенок, впрочем, был не только тщеславный, но и вдумчивый, и любящий поэзию, и искренне желающий научиться хорошо писать стихи.

В 1914 году он откликнулся на приглашение журналиста Петра Пильского, который задумал подзаработать, устраивая для одесских дачников выступления молодых одесских поэтов: дачники изживали летнюю скуку, поэты получали слушателей, а Пильский – деньги. В компании выступающих был молодой Эдуард Багрицкий, ученик реального училища; так началась дружба на всю жизнь. Чуть позже к этому дуэту присоединился третий – маленький футболист из гимназии Ришелье Юрий Олеша. В тот же знаменательный год одесский поэт Александр Федоров познакомил Катаева с Буниним. Стихи юного одессита показались Бунину небезнадежными, Катаев стал ходить к Бунину в гости и говорить о стихах; встречи эти, подробно описанные в «Траве забвения», кончились довольно скоро: началась Первая мировая, и встревоженный Бунин покинул Одессу. Валя промыкался в гимназии еще один год, опять не сдал какие-то экзамены и, чтобы разругать разом образовавшийся узел противоречий, записался в армию добровольцем.

ПОДПОРУЧИК

Его взял под свою опеку отец его возлюбленной Ирен, генерал Алексинский. Ирен – сиреневая – адресат его писем и стихов, прототип Миньоны в «Юношеском романе» и Ирен Заря-Заряницей в «Зимнем ветре». Роман был наполовину выдуманный и кончился плохо – разрывом. Он вернулся с осточертевшего ему фронта осенью 1917 года – с дыркой от пули в бедре, с хроническим кашлем после газовой атаки, с Георгиевским крестом и Аннинским темляком на шашку «За храбрость», потерявший и веру, и романтические иллюзии. Он дослужился до подпоручика и решительно не хотел больше воевать, нигде и никогда. Он хотел жить, любить и писать стихи. Но время хотело от него, чтобы он воевал.

Все поколение гимназистов-недоучек, студентов и молодых специалистов – офицеров военного времени, подпоручиков и прапорщиков – превратилось в военспецов-золотопогонников, которые нужны были и белым, и красным. С 1917 по 1920 год власть в Одессе менялась 14 раз; то еврейский погром, то изъятие оружия у населения, то мобилизация. Советская власть накатила ненадолго и откатилась; весь 18-й год в городе было затишье – «глаз тайфуна», вспоминал он об этом времени. Одесса, оказавшаяся под властью гетмана Скоропадского, заключившего союз с австро-германцами, стала центром русской эмиграции – последним пунктом перед Константинополем, Берлином, Парижем. Сюда приехали

Тэффи, Алексей Толстой, кабаре Никиты Балиева «Летучая мышь», приехал Бунин. Катаев снова зачастил к нему – оруженосец, паж, ученик; он теперь пробо-вал себя в прозе и читал Бунину свои рассказы, тот критиковал нещадно. Один из таких рассказов, «Человек с узлом», где рассказчик охраняет с винтовкой сарай с гвоздями, дал историку Александру Немировскому, автору опубликованного в Сети исследования «Гражданская война Валентина Катаева», основания утвер-ждать, будто его герой служил в военной охране гетмана Скоропадского. Неми-ровский видит Катаева убежденным монархистом, который пошел добровольцем в белую армию при первой возможности; нужды нет, что все возможности пой-ти добровольцем в белую армию Катаев долго и старательно игнорировал, пото-му что у него было занятие поинтереснее: учиться у Бунина, работать в газете, писать прозу и стихи. В 1918 году у него появились друзья и единомышленни-ки – литературное объединение «Зеленая лампа», в которое вошли и друзья его, Олеша и Багрицкий, и другие молодые и талантливые поэты – Зинаида Шишова, Анатолий Фиолетов, Аделина Адалис, братья Долиновы, братья Бобовичи... «Зе-леная лампа» выступала с публичными чтениями, билеты на которые разлета-лись стремительно, и устраивала закрытые встречи, где стихи читали только друг другу – и нещадно друг друга критиковали. Именно это время – странную паузу между войнами, полную стихов, любви, дружеских попок, – Катаев всю жизнь вспоминал как время самого большого счастья.

БЕЛЫЙ ОФИЦЕР

Все кончилось осенью 1918 года. Ирен сказала ему, что разлюбила.

Тоска была тяжелей черной глыбы,

И если бы вы поняли ее,

То разлюбить, я знаю, не смогли бы.

Это он писал, когда кругом уже стреляли, в городе менялась власть – и наконец оказалась в руках у Добровольческой армии. Катаев, однако, не шел служить до последнего момента; два его автобиографических героя, Кутайсов из рассказа «Раб» и Чабан из «Прапорщика», попали в армию против желания, по мобили-зации, весной 1919 года. Немировский полагает, что весной 1919 года мобилиза-ций в Одессе не было, а, стало быть, Катаев служил у белых по зову сердца; мо-билизация, однако, была, о чем «Одесский листок» извещал 1 апреля (19 марта) 1919 года. Свежемобилизованные силы были моментально разгромлены – уже 3 апреля Катаев позвонил Буниным сказать, что город сдан. В Одессу вошел ата-ман Григорьев, офицеры прятались кто где, их убивали без суда и следствия, Ка-таев несколько дней прятался, и Александр Федоров вспоминал потом, что одол-жил ему в это время свои штаны.

При советской власти Катаев, Олеша и Багрицкий пошли служить в Бюро украинской печати (информационное агентство, позднее ставшее частью Российского телеграфного агент-ства): рисовали плакаты, помогали придумывать культурную программу к празднованию Первомая. Бывших офицеров довольно скоро мобили-зовали – и Катаев неожиданно для себя оказался заместителем коман-дира батареи. Босые и плохо одетые солдаты разбежались по дороге, вин-товки были от силы у половины вой-ска, пушки были полуразбиты, ло-шадей не хватало, патронов тоже, а главное – не хватало артиллеристов, и вчерашний подпоручик Катаев нео-жиданно оказался чрезвычайно нуж-ным военспецом. Повоевать ему не удалось и в этот раз: красных разбили еще на подъездах к станции Лозовой, и паническое бегство с поля боя мы тоже встречаем в катаевских расска-зах дважды. В результате этого бегст-ва он оказался в Полтаве, где встре-чался с Короленко, потом пропал – и вынырнул уже в Одессе, при белой власти, командиром передней баш-ни белого бронепоезда «Новороссия». На бронепоезде он воевал еще три месяца, всю осень, пока тиф не выко-сил прифронтовую полосу – и белых, и красных. Он бредил, когда его сняли с бронепоезда и увезли на автомобиле в Одессу, в госпиталь. Он едва учил-ся стоять и ходить, когда белые ушли из Одессы, оставляя своих раненых и больных – на кораблях всем не хвати-ло места. Когда пришли красные, он,

офицер разбитой армии, еле передвигая ноги после тифа, отправился уже зна-комой дорогой: в телеграфное агентство. Там он служил еще несколько месяцев, сочиняя Окна РОСТА, пока не попал в тюрьму как бывший офицер. Полгода Ката-ев просидел в одесской тюрьме, ожидая непонятно чего – скорей всего, расстре-ла; его случайно опознали как поэта и отпустили; сколько-то времени просидел с ним и брат. Впечатлений ему хватило на всю оставшуюся жизнь. От этого поколе-

ния офицеров, не уехавших из России, до старости не дожил почти никто: большинство перебили уже в 20-е, остальных достреливали в 37-м.

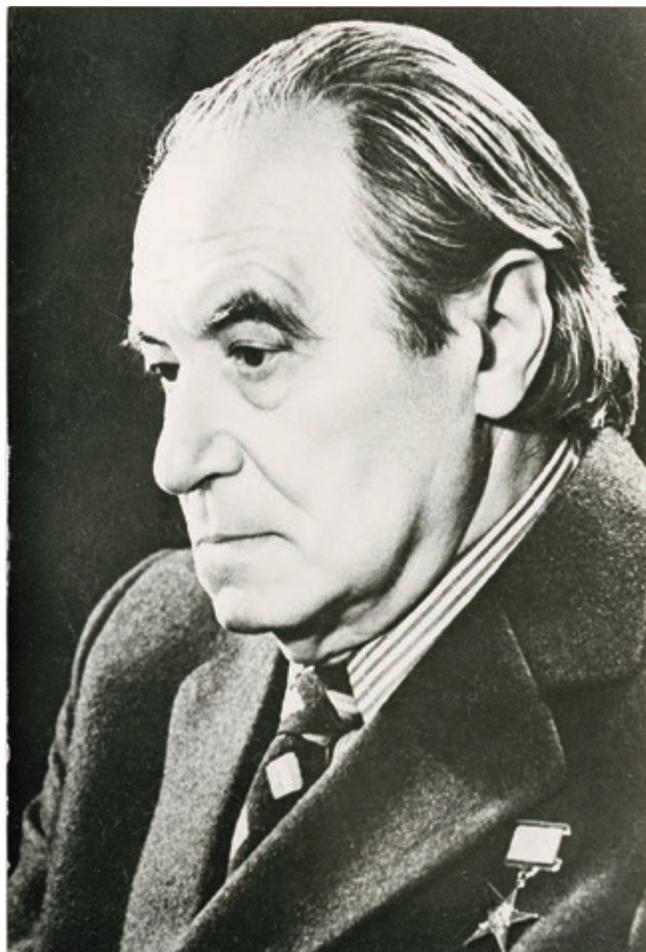
Он всю жизнь хотел написать об этом книгу «Ангел смерти»; написал уже в старости другую – «Уже написан Вертер». «А в наши дни и воздух пахнет смертью», – говорило заглавие каждому, кто помнил цитату.

НАСТОЯЩИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК

Осенью 1920 года Валентин Катаев, на всю жизнь испуганный полугодовым ожиданием смерти и выстрелами за стеной в одесской Чрезвычайке, снова поступил в телеграфное агентство. Теперь он вербует селькоров; некрологи, посвященные убитым бандитами селькорам, – неотъемлемая часть украинских газет 1920 года. В 1921 году умер от голода его отец, и Катаев уехал в Харьков, куда переводили агентство, – подальше от Одессы, от ЧК, от памяти. Из Одессы он вслед за начальством – Владимиром Нарбутом и Сергеем Ингуловым – перебрался в Москву, где начал работать в Наркомпросе, а затем устроился в газету «Гудок». А устроившись – перетянул в столицу всю свою одесскую компанию – и брата, и Олешу, и Ильфа; потом подтянулись еще несколько одесситов – Гехт, Бондарин, Кирсанов... Так началась знаменитая четвертая полоса «Гудка» и южнорусская школа в советской литературе. Молодые провинциалы, почти гасконцы, явились в опустошенную войной и эмиграцией столицу – и весело заняли опустевшее святое место. В «Гудке» они обрабатывали письма рабкоров, делая из каждой жалобы на каких-то учкпрофсожей живую и смешную историю; мотались по командировкам, знакомясь с жизнью транспортников по всей стране... В «Гудке» работал бывший врач Михаил Булгаков – тоже из вчерашних белых, тоже застрывший

из-за тифа; они подружились – Булгаков звал Катаева «Валюн», тот его – «Мишунчик»; жена Булгакова кормила обедом всю голодную одесскую орду. Жила вся орда в комнате у Катаева на Чистых прудах, спали на полу на газетах – еще нищие, еще безбытные, хотя кругом уже начинался нэп.

У Булгакова зимой гостила сестра, прелестная Леля; Катаев влюбился смертельно, моментально, страстно. Каток на Чистых, каток на Патриарших, кинематограф, театр, стихи, стихи, стихи – Леля, кажется, испугалась напора и сбежала от



В.П. Катаев.
Начало 1970-х годов

ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

этой страсти в Киев, он ринулся за ней... Делал предложение, Булгаков посоветовал сначала заработать червонцев. Обиженный Катаев высмеял его в рассказе «Медь, которая торжествовала» и стал зарабатывать червонцы. Заработал и на новый костюм, и на штиблеты, и на хорошие обеды – вообще обзавелся бытом после стольких лет войны, тюрьмы, вшей, хождения босиком... В нем была невероятно сильна тяга к дому, быту, уюту, нормальному семейному устройству. Но Леля все равно отказала, и он стремительно женился на другой – художнице Анне Коваленко, которую одесская компания тут же прозвала «Мадам Муха». У Ильфа и Петрова в «Двенадцати стульях» мы находим следы их семейной идиллии в главе об инженере Брунсе, Мусике и гусике.

После «Гудка» Катаев уже мог писать сколько угодно и о чем угодно: рассказы, авантурные романы (в 1925 году вся советская литература писала авантурные романы) – особенно ему удавалась сатира. В том же, 1925 году, когда под напором нэпа затрещали слабые души бухгалтеров и кассиров, имевших доступ к казенным средствам, и началась эпидемия растрат, Катаев уловил флюиды времени и опубликовал роман «Растратчики», гротескный, злой и смешной; стало понятно, что в литературе появилось новое имя. Через два года он переделал роман в пьесу для Художественного театра, которому остро не хватало современного репертуара. Станиславский сначала искренне верил, что «Растратчиков» написал настоящий железнодорожник. Первая постановка провалилась: гротеск нельзя ставить как реалистическую пьесу, «по Станиславскому», тут уместнее были бы пресловутые трапеции с голыми боярами. Сотрудничество с театром, однако, продолжалось, и следующая пьеса, смешной водевиль «Квадратура круга», имела уже триумфальный успех, причем не только в России, но и во Франции и в Америке...

СЧАСТЛИВЧИК

Катаев писал о себе, что он счастливчик, родился с двумя макушками; и впрямь – он как-то спокойно миновал жуткий рубеж 1929–1930 годов, когда писателей коллективизировали и отправляли на производство, а недостаточно пролетарских выжимали из литературы. Катаев отправился писать для журнала «30 дней» сначала о сельскохозяйственной коммуне, затем о Днепрострое с Демьяном Бедным; наконец, попал на Магнитку – и там застрял. Короткой писательской командировки ему не хватило, он решил задержаться подольше – и выдал образцовый производственный роман «Время, вперед!» – один из немногих в этом жанре, которые вообще можно читать. Может быть, потому, что не друг с другом соревнуются в нем бригады, а со временем; оттого, что само время в нем рокошет, грохочет и несется вперед.

К 30-м годам на Катаева пролился золотой дождь. Он был молод, красив, силен, богат, талантлив, счастлив – его с удовольствием принимал в Италии Горький, его книги издавались огромными тиражами. Он получил квартиру в писа-

тельском доме, обставил ее мебелью модерн, над чем иронизировала Надежда Мандельштам. Он женился на Эстер Давыдовне, красавице совершенно голливудского типа, у него родилась дочь. Надежда Мандельштам писала о Катаеве 30-х: «Катаев, тоже умудренный ранним опытом, уже давно повторял: «Не хочу неприятностей... Лишь бы не рассердить начальство»...»

А на глазах у него друг юности и вечный соперник Олеша жил совершенно иначе: никак не вписавшись в новую реальность, он все больше пил – все больше счетов предъявлял правильному, успешному, социализированному другу. Все чаще они ссорились. Впрочем, сохранившиеся в архивах записки свидетельствуют, что Катаев помогал Олеше деньгами; Надежда Мандельштам рассказывает, что Катаев помогал деньгами Мандельштаму. Станный эпизод катаевской биографии – его участие в работе над недоброй памяти сборником о Беломорканале; как вспоминает писатель Авдеенко, при отъезде Катаев сказал сопровождающим чекистам, что посмотреть канал ему толком не удалось, что надо было подольше остаться, – и сошел с поезда с палкой копченой колбасы и бутылкой водки, а вернувшись, никому ничего не рассказывал. В книге он – один из восьми соавторов в главе «Чекисты».

В середине 30-х один за другим начали уходить его друзья, коллеги, бывшие начальники. В 1934-м умер Багрицкий, в 1937-м – Ильф; в 1936-м репрессировали Нарбута, в 1937-м арестовали Лидию Багрицкую. Арестовали Ингулова. Арестовали Бабеля – кстати, выбивали у него показания на Олешу и Катаева. Катаев говорил потом, явно имея в виду Бабеля, что тот слишком высоко залетел – что от власти надо держаться подальше. Он заступался за кого мог – так, что его друг Фадеев кричал на него: не смей никого к себе пу-

стовать Ингулова. Арестовали Бабеля – кстати, выбивали у него показания на Олешу и Катаева. Катаев говорил потом, явно имея в виду Бабеля, что тот слишком высоко залетел – что от власти надо держаться подальше. Он заступался за кого мог – так, что его друг Фадеев кричал на него: не смей никого к себе пу-

сказать, не смею писать Сталину, я больше не могу за тебя заступаться. А сам Катаев был бывший белый офицер – для 30-х годов вполне достаточно, чтобы сесть и не выйти. Он ушел в детскую литературу, где можно было по-прежнему говорить о важном, не кривя душой и не рискуя собой, и сразу стал классиком. «Белеет парус одинокий» ведь не о революции, не о броненосце «Потемкин» – он о детстве, Одессе, море и счастье. Написать для детей хорошую книгу ведь можно только одним способом: рассказывая о том, что очень-очень любишь.

В 30-х он написал стихотворение, которое увидело свет только после его смерти:

*Уже давно, не год, не два
Моя душа полужива...*

...

*Что невозможно быть живым
И трудно мертвым притворяться.*

ДУДОЧКА И КУВШИНЧИК

Притворяться мертвым – это была его тактика выживания. У него получалось. Настолько, что ходячие мертвецы считали его своим, и сам он все больше мертвел. И пил. Много пил. Это был такой способ справляться. Спяну однажды поссорился с Булгаковым, тот сказал: «Валя, вы ж...» Булгакова, пишущего в стол, он уговаривал «вернуться в литературу» – он вообще часто пытался убеждать друзей, что надо писать правильно, чтобы начальство не сердилось, что не нужно героизма, что можно просто продаваться. Вениамин Каверин считал Катаева более даже безнравственным, чем душитель литературы Софронов. В 1939 году, когда СССР занял Западную Украину и Западную Белоруссию, Катаев ездил туда корреспондентом. Получив доступ к архивным документам 1918 года, написал повесть «Я, сын трудового народа», о которой стоит сказать только то, что Прокофьев написал по ней оперу «Семен Котко»: политически правильный сюжет страховал от проработок, украинская фольклорная стихия и героическое содержание давали простор для

творчества. Впрочем, сам Катаев от проработок застрахован не был: его трясло в 1940-м за «идеологически ошибочную» и «вредную» пьесу «Домик». Войну он провел на фронте – был корреспондентом «Правды», издал несколько книг. Потерял брата: Евгений Петров разбился на самолете.

Кажется, 1946 год окончательно надломил его – хотя он и был фронтовик, и Георгиевский кавалер, хотя за плечами была большая война, уже третья в его жизни после Первой мировой и Гражданской. Но никто не заставлял его под пистолетом приветствовать постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», заявляя в печати, что от него в литературе повеяло свежим ветром; на кону сейчас стояла не жизнь, а возможность остаться в литературе, печататься, зарабатывать. Да, его самого прессовали и давили – и он сдал Зоценко и сохранил право публиковаться; беда в том, что купленное такой ценой право остаться в литературе само собой выбрасывает из нее. «Отвратительное содержание и жалкая форма, – писал Катаев о Зоценко. – Он деградировал как литератор». Он приезжал потом к Зоценко просить прощения – «я думал, ты все равно погиб, а я бывший белый офицер». И говорил – не бойся, ты меня не компрометируешь; Зоценко отвечал: «это ты меня компрометируешь», но простил, кажется. Павел Валентинович, сын Катаева, сфотографировал их вместе в одну из последних встреч – страшный, худой Зоценко и грустный, обрюзгший Катаев. Весь конец 40-х, в разгар холодной войны, он писал чудовищную публицистику про поджигателей войны и миролюбивый Советский Союз. И вдруг, когда казалось, что ничего хорошего он уже больше не напишет, он сочинил классическую сказку про цветик-семицветик – в 1949 году, мрачном, зажатом, заданном – легкую и прелестную:

*Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли –
Быть по-моему вели.*

В 1949–1950 годах его снова взялись прессовать за «Катакомбы», они же «За власть Советов», – третью часть будущей тетралогии «Волны Черного моря», рассказ о партизанах в одесских катакомбах. Бубеннов ругал его аж в двух номерах «Правды» подряд; сам Сталин счел, что Гаврик – неподходящее имя для партийного работника... Катаева фактически вынудили переписать книгу заново, осветив руководящую роль партии. Катаев послушно осветил и испортил книгу. Так же как и Фадеев послушно вписал руководящего коммуниста в «Молодую гвардию».

Может быть, поэтому в 1951 году появилась новая сказка, «Дудочка и кувшинчик», – идеальное изображение писательской судьбы Катаева: у тебя может быть или дудочка – твоё художественное мастерство, или кувшинчик – полное благополучие. А так, чтобы и дудочка, и кувшинчик – это не выйдет. Он всю жизнь пытался совместить дудочку с кувшинчиком, и выходила ерунда. Но иногда дудочка начинала петь что-то своё, печальное, пронзительное, и в эти времена Катаев был сам себе равен.

СИЛА И СТРАХ

Его не особенно любили, и он это понимал. Похоже, он по-настоящему любил только жену, детей и нескольких друзей юности. Для остальных был одесский, бандитский, мефистофельский шик. Впрочем, этот мефистофельский шик не мешал ему на старости лет – Катаеву было уже под 60 – поступить в Институт марксизма-ленинизма и конспектировать классиков: можно, конечно, расценить как обращение к ленинской норме после смерти Сталина (отсюда – и «Маленькая железная дверь в стене», и «Лонжюмо» Вознесенского), а можно – как ступень карьеры: без этого он вряд ли бы стал потом редактором «Юности». Говорят, Хрущев хотел его поставить во главе Союза писателей, но Катаев наотрез отказался.

«Юность» печатала молодых и талантливых; в «Юности» были свежие силы, задор и ощущение новизны. Катаев возился с молодежью – и, кажется, завидовал им. Может быть, и новый Катаев – неожиданный, необычный, европейский – не состоялся бы без этой возни с молодежью, без тайного соперничества с ней. Это он писал как-то мимо текущего литературного процесса, решая свои собственные задачи, не задумываясь, что скажут читатели и критика. Это был диалог с ушедшими великими, которых он знал, с собственной юностью, с современной западной и дореволюционной русской литературой – с чем угодно, только не с литературой советской. Даже повесть о Ленине оказывалась на поверку повестью о мирной Европе перед Первой мировой – Европе его юности, Европе первых аэропланов и автомобилей, о Париже, о Капри... Он продолжал, как некогда в магнитогорской повести, бороться со временем, спрашивая себя, может ли память его преодолеть, – и в самом деле преодолевая время.

Но он жил в Советском Союзе, где писателя делает не только талант, но и репутация. А для того, чтобы печатать своё, талантливое, репутацией приходилось поступаться – и он спокойно, цинично делал то, чего от него хотели: голосовал за исключение Лидии Чуковской из Союза писателей, напечатал отвратительную статью о Солженицыне – хотя времена были не расстрельные, хотя на кону уже была не жизнь, а привычный уровень комфорта, загранпоездки, покой. Анатолий Рыбаков вспоминал: «Мы иногда гуляли с ним по Переделкину, беседовали, я поражаюсь его страху перед властью. Как-то я высказал весьма невинное,

но своё суждение о каком-то литературном событии, он остановился, с испугом посмотрел на меня: «Что вы говорите? Как можно? Ведь об этом есть решение ЦК!» У него так и жил всю жизнь в душе сходящий с ума от страха Петя Синайский из рассказа 1922 года – Петя, который в кабинете у следователя ЧК встает в третью танцевальную позицию и загадывает, что если так стоять и не шелохнуться, то все обойдется и он останется жив. Он всю жизнь носил в себе Ангела смерти – и всю жизнь боялся смерти, потому что не знал ничего лучше жизни. То ли сиротство его таким воспитало, то ли бесконечная война вместо юности, когда другие учатся в университетах и влюбляются, – но он не видел никаких смыслов вне жизни, выше жизни, стоящих того, чтобы за них умирать. Он знал только, что жизнь стоит того, чтобы жить, – он ценил ее выше всего на свете – жизнь, полную вкусной еды, остро пахнущих цветов, путешествий, любви, – «единственную, неповторимую жизнь», как написал он еще в 20-х.

Он потому и остался в литературе, а не исчез из нее, как какой-нибудь Бубеннов, что эту жизнь он умел увидеть неимоверно зоркими глазами, и сохранить невероятно мощной памятью, и передать выпукло и живо, по-бунински стереометрично, – «чудесную, ничем не заменимую жизнь».

Он много лет подряд выбирал самосохранение – ради жизни. А оно обернулось саморастратой – и, может быть, потому так горек его взгляд на фотографиях последних лет, и назва-

ние лучшей, наверное, его книги, «Разбитая жизнь», обретает совсем другой смысл, и вполне заслуженная им слава большого писателя имеет не просто горький, а невыносимо желчный оттенок. Потому что писателя только наполовину делает талант, а на другую половину – личный выбор между дудочкой и кувшинчиком, между жизнью и тем, что выше жизни. 📖

СИНИЙ КИРАСИР

МИХАИЛ БЫКОВ

«А вы читали Галича?» — спросил меня несколько лет назад один очень уважаемый мною человек. Я затруднился с ответом. Потому как фильмы по сценариям Александра Галича, конечно, смотрел. «На семи ветрах», например. Песни? Слушал. «А что у папы у ее топтун под окнами», в частности. Да и кто в 60–70-е не слушал песни Галича? Но чтоб читать?

У БЕДИВШИСЬ, ЧТО Я В РАСТЕРЯННОСТИ, УВАЖАЕМЫЙ мною человек улыбнулся и снизошел: «Я говорю о другом Галиче. Юрии. Или, если угодно, о генерале Георгии Гончаренко...» Так началось знакомство. Через время. Через эпоху. Посредством литературы.

Первым делом принялся узнавать, где и каким образом можно познакомиться с творчеством Юрия Галича. Довольно скоро выяснилось, что это почти исключено. «Автор неизвестен» – таков был общий вердикт специалистов в книжных магазинах Москвы и Петербурга. Интернет-магазины и интернет-библиотеки мои запросы игнорировали. Осталось последнее средство: особые отношения с некоторыми сотрудниками Российской государственной библиотеки.

В РГБ не подвели. Оказалось, есть в хранилище штучные экземпляры романов, написанных Юрием Галичем. «Звериада. Записки Черкесова», «Синие кираси-

ры. Лейб-регент», «Красный хор-вод», изданные крайне скромными тиражами в давно погибшем рижском издательстве в конце 20-х – начале 30-х годов прошлого века.

Уже одни названия кое-что прояснили. Начало XX века. Империя. Гражданская война. Октябрь 1917-го...

Я читал ксерокопии запоем. И, будучи уже весьма пожившим человеком, чувствовал, как переносишь в годы, именуемые нынче застойными. Тогда мы жили в очередь за машинописными копиями Булгакова и Набокова, Цветаевой и Мандельштама. С тех пор как-то не приходилось читать книги, распечатанные на отдельных листах формата А-4.

Но глаз привык быстро...



Георгий
Иванович
Гончаренко
(1877–1940)

ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

Потом, проглотив все романы трилогии, я все пытался определить, почему так жадно впитывалось читаемое. Пришло время – и понял. Галич писал в редком жанре. По некоторым признакам – роман, беллетристика. По другим – чистая мемуаристика, документальщина. И это сочетание, весьма нелегкое для литератора, – его авторское кредо. Когда вымышленные персонажи живут в реальных обстоятельствах, когда существовавшие люди оказываются в вымышленных ситуациях, когда правда судьбы и правда прошлого совпадают полностью – все сплетено, спутано, связано. И при этом есть ясное ощущение, что так оно и было когда-то.

Вообще-то художественное писательство в офицерской среде Русской императорской армии не приветствовалось. Это еще Лермонтов на себе почувствовал. Были, конечно, исключения. Петр Краснов, например, который сколько служил, столько и печатался. Еще – морской бытописатель Константин Станюкович. Вот и Георгий Гончаренко – из таких. Поэтому и пришлось взять литературный псевдоним – Галич.

Гончаренко появился на свет в 1877 году в семье потомственных дворян Полтавской губернии. Отец – офицер, воевал в последнюю русско-турецкую войну. Мать, урожденная Добровольская, с самых ранних лет старалась развивать в сыне художественные наклонности, мечтала отдать его учиться в Александровский лицей. Не сложилось. Отец ушел из жизни, когда Юре едва исполнилось 9 лет, семья оказалась в сложном финансовом положении, и мальчика отдали в Полоцкий кадетский корпус. Стезя определилась. После корпуса, который Георгий окончил с отличием, – Николаевское кавалерийское училище. В романе «Звериада», в котором описываются два года в юнкерах, рефреном проходит любовь Гончаренко к творчеству Лермонтова. Не исключено, что выбор военного училища был связан именно с тем, что когда-то Славную школу (так на ар-

мейском жаргоне называли Николаевское кавалерийское. – **Прим. авт.**) окончил и великий русский поэт. Правда, Лермонтов вышел в 1834 году корнетом в лейб-гвардии Гусарский полк, а Гончаренко – в 1897-м корнетом в лейб-гвардии Кирасирский Ее Величества. Но полки друг друга стоили.

«Синий кирасир!» «Гатчинский кирасир!» Об этом мечтали многие в те годы. «Синий» – потому что таким был цвет приборного сукна у кирасир Ее Величества. «Гатчинский» – потому что полк многие десятилетия, начиная с 1822 года, дислоцировался в Гатчине, в 40 верстах от Петербурга. Полк имел старшинство с 1704 года. В 1733-м, еще при Анне Иоанновне, получил почетную приставку «лейб», означавшую особую близость к императорскому двору.

О престижности службы в «синих кирасирах» говорит хотя бы тот факт, что в одно время с Гончаренко белую фуражку с синим околышем носил и младший брат Николая II, наследник престола великий князь Михаил Александрович. Еще одна маленькая деталь. В 1881–1883 годах полком командовал генерал-майор Александр Михайлович... Лермонтов.

После Славной школы в жизни Георгия Гончаренко наступило славное время. Довольно скоро он поступил в Академию Генерального штаба, позже окончил Офицерскую кавалерийскую школу – учебные заведения, готовившие офицеров для высоких командных должностей в строю и при штабах. Женился по любви на дочери боевого генерала Гошовта Елизавете Иосифовне. На свет появились дочери: Наталья и Татьяна. В 1907 году Гончаренко издал в Петербурге первую книгу стихов – «Вечерние огни». А вскоре покинул Гатчину и перевелся из гвардии в армию. Подполковник Гончаренко принял должность начальника штаба Усть-Двинской крепости в Латвии.

В крепости Гончаренко «разошелся». Он не только активно работал по специальности, но и взял на себя миссию художественного руководителя гарнизона. Устраивал поэтические чтения и лекции по истории, олимпийские игры и охоты. Организовал синемаграф.

Первую мировую войну Гончаренко встретил в чине полковника. И начал проситься на фронт. Как прекрасно подготовленный кавалерист, он рассчитывал принести максимальную пользу в этом роде войск. Так оно и случилось. Более года Гончаренко командовал 19-м Архангелогородским драгунским полком. Работа на передовой была отмечена двумя наградами: орденом Святого Владимира 3-й степени с мечами и Георгиевским оружием.

Дважды полковник Гончаренко отказывался от перевода на более высокую должность. Не хотел расставаться с архангелогородцами. Но в 1916-м его все-таки переводят начальником штаба во 2-ю кавалерийскую дивизию,

производят в генерал-майоры. Спустя два месяца после Февральской революции Гончаренко – начальник штаба Гвардейского кавалерийского корпуса.

На этом собственно военная карьера и заканчивается. Генерал еще числится на службе, сначала – у Советов, потом – в резерве при штабе Главкома Вооруженных сил Юга России Деникина, потом – резервным генералом Приамурской земской управы Дитерихса. Но соответствующего места в Белом движении Гончаренко себе так и не нашел.

Почему? Не верил в перспективу? Навоевался? Не сложились отношения с руководителями? Просто не везло? Так, пока он добирался до штаба Колчака, сам адмирал уже был арестован в Иркутске.

Правды мы уже никогда не узнаем. А в своих подчас очень биографических рассказах генерал эту тему обходил стороной. Писал только о том, сколько лиха хлебнул, пытаясь вырваться из красного хоровода, опоясавшего Центральную Россию. Писал без сантиментов и гнева – правду писал.

В 1923 году из Китая Гончаренко прибыл в Ригу. Город, который он хорошо знал после нескольких лет службы в Усть-Двинской крепости. Город, в котором не было красных. Вернулся один, без жены. Елизавета Иосифовна погибла от тифа весной 1919 года в советской тюрьме. Ее арестовали как заложницу, когда выяснилось, что муж оказался в армии Деникина. Даром что в резерве.

Надо признать, эмиграция не стала для Гончаренко испытанием столь же суровым, как, скажем, для галлиполийцев или обитателей острова Лемнос. Он получил разрешение на пребывание в Латвии и почти сразу нашел достойную работу: инструктором верховой езды в Рижском военном училище. В том же, 1923 году в эмигрантской газете «Сегодня» напечатали его первый очерк, посвященный последнему главкому русской армии, генералу Духонину.

Во второй половине 20-х Гончаренко-Галич превращается в профессионального литератора окончательно. И в том смысле, что работает над книгами не покладая рук, и в материальном отношении – начинает жить на литературные заработки. В 1927 году выходит в свет книга стихов «Орхидея», получившая одобрение Владимира Набокова, а также первый прозаический опыт – «Императорские фазаны».

За семнадцать лет жизни в Риге Гончаренко выпустил 13 книг. Их раскупали не только в Латвии, где русская община была немногочисленна. Романы и рассказы переводились на другие языки, малыми тиражами попадали в руки тех, кто, как и Георгий Иванович, потеряв родину, оставались русскими. Доходы, однако, были мизерные. В частности, по этой причине Гончаренко вел замкнутый образ жизни. Единственный раз проявил публичную активность, когда в связи с 60-летием дал интервью одной рижской газете.

В 1939 году Латвия стала советской республикой. И началось неизбежное. Остается удивляться, что повестку из рижского НКВД Гончаренко получил только осенью 1940 года. Есть официальная версия развития событий. Согласно ей 63-летний писатель, справедливо полагая, чем кончится для него визит в органы, покончил с собой.

Есть и другая точка зрения. В одном из рассказов Георгий Иванович вспомнил о сослуживце по гвардейской кавалерии. Блестящий в прошлом офицер, любимец женщин и прекрасный всадник, неоднократно побеждавший на императорских скачках, оказавшись в эмиграции в Риге без видимых надежд на будущее, однажды вечером заказал в номер бутылку приличного вина, переделался в черное шелковое белье и пустил себе пулю в лоб. Так вот, исследователи жизни и творчества Гончаренко уверены, что сотрудники НКВД повторить поступок сослуживца генералу не позволили. А убийство попытались представить как добровольный уход из жизни.

Похоронили Гончаренко-Галича в центре Риги, на Покровском кладбище. Священник отец Алексей Тихомиров провел отпевание раба божьего Георгия по православному канону. Видать, тоже не верил в самоубийство.

Могилу дважды разоряли. Да так, что приехавшая в Ригу из Ленинграда дочь писателя Наталья Георгиевна найти ее не смогла. Но нашлись люди, помнившие место. В 2002 году могилу восстановили. Теперь тем, кто хочет отдать дань памяти русскому генералу Георгию Гончаренко, есть куда прийти.

А тем, кто хочет познакомиться с творчеством замечательного русского писателя Юрия Галича, сделать это тоже стало значительно легче. В 2012 году в книжных магазинах появился 4-томник писателя. Хотя и эти книги Галича раскупаются мгновенно. Как и прижизненные тиражи. ●

ХОЧЕШЬ ЗНАТЬ, КАК ВСЕ ЭТО БЫЛО?

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Книга вышла, и сразу стало понятно, что в русской литературе появился большой поэт. А сам большой поэт глядел в трамвае на своих попутчиков и думал:

«Какие они счастливые — у них не выходит книжка».



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

А.А. Ахматова.
Имение
Гумилевых
Слепнево.
1913 год

ПЕРВЫЕ СТИХИ АХМАТОВОЙ выходили в «Аполлоне», и она прятала номера журнала за диванными подушками, «чтобы не расстраиваться».

Слишком много было рядом с ней живых настоящих поэтов, слишком много она читала хороших стихов, чтобы безоговорочно верить в свой талант. Она и потом, много позже, сетовала, что «эти бедные стихи пустейшей девочки перепечатаются много раз». Разумеется, с трагической высоты прожитого Ахматова не могла не судить себя, молодую и еще совершенно благополучную (благополучную, разумеется, по железным меркам последующей жизни), строгим судом памяти и совести. Впрочем, она и сразу, как «Вечер» вышел, отнеслась к нему безо всякого ликования – напротив, даже уехала от огорчения в Италию.

Молодая Ахматова писала не очень ровно. Первые опыты показала мужу, тот не одобрил, предложил поискать себя в чем-нибудь другом, вот хоть танцами заняться: «Ты гибкая». Она в самом деле была гибкая от природы, показывала трюк «женщина-змея»: могла безо всякой тренировки изогнуться назад и коснуться носками головы. Ахматова продолжала писать стихи. Сергей Маковский вспоминал ее – только что вышедшую замуж за Гумилева, совсем молодую: «Весь облик тогдашней Ахматовой, высокой, худенькой, тихой, очень бледной, с печальной складкой и атласной челкой на лбу (по парижской моде) был привлекателен. По тому, как разговаривал с ней Гумилев, чувствовалось, что он любил ее серьезно и горд ею. Не раз до того он рассказывал мне о своем же-

ниховстве. Говорил и впоследствии об этой своей настоящей любви... с отроческих лет».

Осенью 1910 года Гумилев уехал в Эфиопию на полгода, молодая жена осталась одна – наедине со смутно бродящими в душе звуками и мыслями, с книгами – зачитывалась «Кипарисовым ларцом» Иннокентия Анненского, корректуру которого прочла в Русском музее – «и что-то поняла в поэзии»... «Я искала, находила, теряла. Чувствовала (довольно смутно), что начинает удаваться». Она стала показывать стихи другим поэтам, читала их на «Башне» у Вячеслава Иванова. Иванов, сначала скептически относившийся к ее стихам, скоро начал их хвалить, но как бы в пику Гумилеву, которого откровенно недолюбливал, называл глупым и необразованным; вскоре, после рецензии Гумилева на *Sog Ardens* Иванова, они и вовсе стали врагами.

«Когда Николай Степанович, после года приблизительно брачной жизни опять уехал в дальнее странствие, Анна Андреевна как-то зашла к нам, читала стихи, – рассказывал Сергей Маковский. – Она еще не печаталась «всерьез» (были помещены ее стихи под псевдонимом лишь в какой-то киевской газете и в парижском «Сириусе»), Гумилев «не позволял». Прослушав несколько стихотворений, я тотчас предложил поместить их в «Аполлоне». Она колебалась: «Что скажет Николай Степанович, когда вернется?» Он продолжал быть решительно против ее писательства». Маковский предложил Ахматовой сказать всем, что украл у нее стихи и напечатал против ее воли. «Стихи Ахматовой, как только появились в «Аполлоне», вызвали столько похвал, что Гумилеву, вернувшемуся из Абиссинии, оставалось только примириться с фактом». Ахматова сама говорила, что на первые похвалы, «бешеные и бесстыдные», она кокетливо отвечала: «А вот моему мужу не нравится». В кон-

це концов молва подхватила эту реплику и потащила дальше: Гумилев завидовал творческому дару жены, ревниво относился к ее литературной славе, Гумилев ничего не понимал в стихах... Все это Ахматова назвала «гадкой, злой сплетней»; довольно много усилий она потратила на то, чтобы опровергнуть, объявить лживыми воспоминания Георгия Иванова «Петербургские зимы»: «Еще барышней она <Ахматова> писала:

*И для кого эти бледные губы
Станут смертельной отравой?
Негр за спиной, надменный и грубый,
Смотрит лукаво.*

Мило, не правда ли? Непонятно, почему Гумилев так раздражается, когда говорят о его жене как о поэтессе? А Гумилев действительно раздражается. Он тоже смотрит на ее стихи как на причуду «жены поэта». И причуда эта ему не по вкусу. Когда их хвалят – насмешливо улыбается. – Вам нравится? Очень рад. Моя жена и по канве прелестно вышивает».

Ахматову этот фрагмент приводил в ярость: «Георгий Иванов даже позволяет себе выдумывать прямую речь Гумилева («Петер<бургские> зимы») по этому поводу. Что Н<иколай> С<тепанович> не любил мои ранние стихи – это правда. Да и за что их можно было любить!» Она много раз рассказывала об их встрече после возвращения Гумилева из Аддис-Абебы на Благовещение 1911 года: «В нашей первой беседе он между прочим спросил меня: «А стихи ты писала?» Я, тайно ликуя, ответила: «Да». Он попросил почитать, прослушал несколько стихотворений и сказал: «Ты поэт – надо делать книгу». Вскоре были стихи в «Аполлоне» (1911, №4)». И еще: «И если бы он хоть чуть-чуть в этом сомневался, неужели бы он пустил меня в акмеизм? Надо попросту ничего не понимать в Гумилеве, чтобы на минуту допустить это». И дальше: «Весь акмеизм рос от его наблюдения над моими стихами тех лет, так же как над стихами Мандельштама». Суть акмеизма ведь – уход от символической таинственности, неясности, размытости – к точности, к изначальному значению слова, от общего – к конкретике, от потустороннего – к реальному, предметному миру. Гумилев, приехавший в Россию, рвался в литературную борьбу. Акмеизм как таковой и зародился в 1911 году, с возвращением Гумилева из Африки; осенью 1911-го был создан «Цех поэтов», в котором Ахматова стала секретарем. Гумилев приехал веселый, полный сил, готовый покорять и завоевывать. Он привез из Африки множество историй о приключениях, которые она не хотела слушать – как он не хотел ни слушать, ни знать ничего о той жизни, которой она жила без него, – жизни, которая в стихах выглядит тихой, печальной и строгой.

Ахматова рассказывала Павлу Лукицкому в 20-х годах, когда Гумилева уже не было в живых, что уходила из комнаты, когда он пускался в рассказы о своих африканских приключениях: скажи, мол, когда закончишь. Его комната была полна удивительных трофеев – слоновьих бивней и гепардовых шкур. Маковский рассказывал: «Анну Андреевну не очень увлекала эта экзотическая бутафория. На жизнь она смотрела проще и глубже. К тому же во время отсутствия мужа она сама выработалась в поэта вдохновенно-законченного, хоть и по-женски ограниченного собой, своею болью. Гумилев должен был признать право ее на звание поэта, но продолжал раздражаться все больше ее равнодушием к его конквистадорству. Никакой блеск собственных его рифм и метафор не помог убедить ее, что нельзя вить семейное гнездо, когда на очереди высокие поэтические задачи. Помощница нужна ему, нужен оруженосец, спутник верный, любовь самоотреченная нужна, а не женская, ревнивая, к себе самой обращенная воля. Что делать? Он даже готов покаяться, обуздать свой нрав, только бы чувствовать ее частью самого себя, воплощенной грезой своей... Но она безучастна, хотя еще любит его, – чужда ему и завоеванной им славе».

Он был ей неверен – он вообще хотел нравиться женщинам, покорять, поражать. Она писала просто и горько:

...Жгу до зари на окошке свечу

И ни о ком не тоскую,

Но не хочу, не хочу, не хочу

Знать, как целуют другую!

Русский читатель, привыкший к прямолинейной исповедальности родной литературы – хотя, казалось бы, не в ней ли лермонтовский лирический герой

Н.С. Гумилев (1886–1921), поэт, создатель школы акмеизма, переводчик, литературный критик. Царское Село. 1911 год



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

умирал в долине Дагестана, как может умерший писать стихи? – русский читатель воспринял первые публикации Ахматовой как лирический дневник. А сложных отношений между автором и лирической героиней, кажется, и вовсе не заметил; ну разве что, может быть, догадался, что вовсе не обязательно это Гумилев собственноручно хлестал Ахматову «узорчатым, вдвое сложенным ремнем». Гумилев жаловался: «Мне было не очень-то весело гулять по Петербургу таким ветвисторгим оленем! ...ведь я, подумайте, из-за этих строк прослыл садистом. Обо мне прошел слух, что я, надев фрак, хлещу «узорчатым, вдвое сложенным ремнем» не только свою жену – Ахматову, но и своих молодых поклонниц, предварительно раздев их догола... Но я ничего не мог поделывать с ее украинским упрямством».

Но, в общем, никого особенно не занимало, правда это или неправда, собиралась ли сама Ахматова умереть или это ее лирическая героиня ждет смерти чуть не в каждом стихотворении... Ослепительная, ошеломляющая новизна захватила всех, и стало понятно всем, что вот так – можно. Что вот так – пишут стихи: как дневниковую запись, в которой нет никаких громких слов, а только пунктир событий, только случайно оброненные реплики, только вываченные взглядом говорящие детали: цвет неба, иней, забытый хлыстик на столе... Что все эти некрасивые подробности – слезы, когда тебя бросают,

легко отказалась, настолько они были избыточны для ее классически простой, по-пушкински гармоничной музыки.

Рекламы особой не было, но сборник вдруг начал очень хорошо расходиться, и неведомая доселе Ахматова из жены поэта Гумилева вдруг стала совершенно самостоятельным, отдельным поэтом, которого любят, ценят – и которому бешено подражают. Не успела эта книга выйти в свет, как русские барыш-

ни поняли, что настало их литературное время. Они получили право голоса – право жить в литературе, быть неумными, несчастными, брошенными и прекрасными; путать перчатки, оплакивать любовь, таинственно молчать и многозначительно говорить... «Я научила женщин говорить, – сказала Ахматова. – Но, боже, как их замолчать заставить». Эпигонская поэзия посыпалась как из рога изобилия: Ахматова, как это случается с большими поэтами, открывает огромную поэтическую перспективу, наносит на карту целую область поэзии, бывшую до сих пор белым пятном, – и туда несутся толпы восторженных туристов и паломников.

Цветаева, сама молоденькая, 20-летняя, но уже автор «Вечернего альбома» (удивительно, как они обе начали с вечерней темы), не без ревности писала сестре мужа: «Вчера мы купили книгу стихов Анны Ахматовой «Вечер», которую так хвалит критика <...> Ахматову называют утонченной и хрупкой за неожиданное появление в ее стихах розового какаду, виолы и клавесина». Поразительно, что критики не увидели в поэзии Ахматовой никаких новых горизонтов. Им казалось, что это не расширение возможностей русского стиха, а обеднение: что от всемирности, от глубины, от всеохватности символов осталась только узкая и скудная тема, интимный женский дневник. Борис Эйхенбаум писал: «Большинство критиков не уловило реакции на

ярость, удушающая ревность, тоска, холод нелюбви, испепеляющая самоирония – все это настоящая поэзия:

Круг от лампы желтый...

Шорохам внимаю.

Отчего ушел ты?

Я не понимаю...

Или это, совсем душераздирающее, прощальное:

Хочешь знать, как все это было?

Три в столовой пробило,

И, прощаясь, держась за перила,

Она словно с трудом говорила:

«Это все... Ах, нет, я забыла,

Я люблю вас, я вас любила

Еще тогда!» –

«Да?!»

Интересно: в дореволюционных изданиях здесь стоит «?!», а в современных – невыразительная точка; поразительно, как она меняет весь сюжет.

Оказалось, можно вот так – не разговаривать о любви, а любить – прямо в стихах, прямым текстом. Ахматова много унаследовала от Мирры Лохвицкой, умершей чуть раньше, в 1905 году, – теоретики литературы находят множественные внутренние связи между их стихами, хотя сама Ахматова царственно бросила только «в ней что-то было»...

Книгу издали общими усилиями «Цеха поэтов»: предисловие написал Михаил Кузмин, над обложкой работал Сергей Городецкий, над фронтисписом – Евгений Лансере из «Мира искусства», друг Кузмина. Собственно, заглавие «Вечер» придумал Кузмин, сама Ахматова хотела назвать сборник «Лебеда» и начать его с обманчиво простой «Песенки»:

Я на солнечном восходе

Про любовь пою,

На коленях в огороде

Лебеду полю.

Но «Лебеда» – это до оскомины горько и слишком уж просто – не строгой простотой «золотого сечения», а банальной простотой пареной репы, не совместимой ни с «треуголкой и растрепанным томиком Парни», ни с паразитическим по точной лаконичности «муравьиным шоссе». Кузмин вспомнил про сомовский «Вечер», появился эпиграф из Андре Тёрье: *La fleur des vignes pousse et j'ai vingt ans ce soir* («Распускается цветок винограда, а мне сегодня вечером исполняется двадцать лет»). В «Вечере» еще были вполне сомовские графы и маркизы, упражнения в стилизации, от которых Ахматова потом

символизм и обсуждало стихи Ахматовой так, как будто ни о чем другом, кроме особенностей души поэта, они не свидетельствуют. На фоне отвлеченной поэзии символистов критики восприняли стихи Ахматовой как признания, как исповедь. Это восприятие характерно, хотя и свидетельствует о примитивности критического чутья».

Между тем Ахматова – замечательный новатор стиха. Эйхенбаум говорит о ее творческом методе: «Мы чувствуем смысловые очертания слов, потому что видим переходы от одних слов к другим, замечаем отсутствие промежуточных, связующих элементов. Слова получают особую смысловую вескость, фразы – новую энергию выражения. Утверждается интенсивная энергия слова. Становится ощутимым самое движение речи – речь как произнесение, как обращенный к кому-то разговор, богатый мимическими и интонационными оттенками. Стиховая напевность ослаблена, ритм вошел в самое построение фразы. Явилась особая свобода речи, стих стал выглядеть как непосредственный, естественный результат взволнованности. Чувство нашло себе новое выражение, вступило в связь с вещами, с событиями, сгустилось в сюжет. Явилось то ощущение равновесия между стихом и словом, о котором говорилось выше».

В книге угадываются тени Лохвицкой, Федора Сологуба, Блока, Иннокентия Анненского – время есть время, без его отпечатка хорошей поэтической книги и не бывает, наверное. И все же принципиальное отличие Ахматовой от предшественников – в поразительной энергии стиха, в его предельной сжатости, лаконичности, в мощи слова, освобожденного от избыточности. Все – о главном, ничего о второстепенном (кирпичи, которые везут за оградой, ворона, снежок на крокетной площадке или ужаленный осой палец – это все главное, все – сама жизнь, живая и непосредственная). Говорящая деталь вместо заунывных, дидактических объяснений – это не ахматовское изобретение:

вспомнить чеховский «забор с гвоздями», и героя, от которого «пахло вареной говядиной», и «сетку для ловли перепелов», купленную мстителем вместо револьвера...

Но впервые деталь, так крупно и ясно прописанная, такая осязаемая и в то же время глубоко нагруженная смыслом, явилась в лирике. «Анна Ахматова обладает способностью понимать и любить вещи именно в их непонятной связи с переживаемыми минутами, – писал в предисловии Михаил Кузмин. – Часто она точно и определенно упоминает какой-нибудь предмет (перчатку на столе, облако как беличья шкурка на небе, желтый свет свечей в спальне, треуголку в Царскосельском парке), казалось бы, не имеющий отношения ко всему стихотворению, брошенный и забытый, но именно от этого упоминания более ощутимый укол, более сладостный яд мы чувствуем. Не будь этой беличьей шкурки, и все стихотворение, может быть, не имело бы той хрупкой пронзительности, которую оно имеет». Это острое зрение Кузмину напоминает о членах древнего общества обреченных на смерть: перспектива близкой смерти придавала их ощущениям особую остроту.

Поразительно, но история придала словам Кузмина особый, пророческий смысл, которого он и не вкладывал вовсе в свои строки.

Звенела музыка в саду

Таким невыразимым горем.

Свежо и остро пахли морем

На блюде устрицы во льду.

Это из стихотворения «Вечером», написанного в 1913-м, в последний мирный год России. Кто мог подумать тогда, каким невыразимым горем зазвучат эти строки через несколько лет, когда Ахматова услышит их в очереди за ржавыми селедками, которыми провоняет и платье, и туфли на много дней вперед... Как иначе прочтается «слава тебе, безысходная боль», и не юным разочарованием окажется «и знать, что все потеряно, что жизнь – проклятый ад», а настоящим адом обернется... и «голод и ненастье», накарканные лирической героиней на невообразимое тогда завтра, придут в реальном завтра самым ощутимым голодом и многолетним ненастьем.

И все это Ахматова встретит спокойно и мужественно, как принимала сердечную боль и тоску лирическая героиня ее «Вечера», и не испугается в присутствии смерти, и тонкий девичий голос окрепнет – и не только всенародная несчастная любовь окажется этим голосом оплакана, а, кажется, сама Родина им заговорит – глубоким, торжественным голосом взрослой Ахматовой. ❦

УЧИТЕЛЬ

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

В воспоминаниях современников он всегда проходит мимо. Как он проходил мимо по улицам Царского Села — высокий, красивый, задумчивый, как шел по гимназии, накрахмаленный и строгий, — это запомнили многие. Но почему-то почти не сохранила ничья память ни живых разговоров с Иннокентием Анненским, ни каких-то совместных дел. Всегда один, отъединенный от всех, всегда сам по себе — «как тень прошел и тени не оставил», писала о нем Ахматова.



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

О Н И В ПОЭЗИИ – ПРОШЕЛ как тень. И если бы не Вертинский, который положил на музыку и прославил его стихотворение «Среди миров», – Анненский бы, наверное, не получил ни толики народной любви и так и остался бы поэтом для поэтов. Есть, в самом деле, поэты для поэтов – такие, кто открывает новые двери в поэзии, но не успевает заглянуть, что за ними, прокладывает новые пути, но не проходит по ним сам, задумывается над новыми гипотезами, но слава первооткрывателей достается другим. Поэты-волшебники, поэты-алхимики, в чьих лабораториях булькает и пузырится новая поэзия, которая еще не стала хмельным напитком для массового читателя. Анненский – это плодотворная почва, на которой выросла добрая половина Серебряного века, но сам он, как то зерно, которое прорастает колосом, должен был умереть, чтобы дать плоды. «Он был преддверьем, предзнаменованием // Всего, что с нами позже совершилось...» – сформулировала та же Ахматова в стихотворении «Учитель» – части несостоявшейся поэмы.

БРАТЯ

Жизнь Анненского небогата внешними событиями, и рассказ о ней вполне уложится в несколько абзацев: родился, учился, работал... Родился в семье государственного чиновника, командированного в Сибирь, поэтому место рождения – Омск, с которым его ничего не связывает: семья очень скоро вернулась в Петербург. Иннокентий в пять лет тяжело заболел, и болезнь дала осложнение на сердце; сердечником он был всю жизнь, от паралича сердца потом и умер. Больной мальчик сменил несколько учебных заведений, наконец, уже юношей, поселился вместе со старшим братом, который взялся его готовить в университет. Отец братьев в это время почти разорился, ввязавшись в какую-то финансовую авантюру, за разорением последовал апоплексический удар – по-нынешнему инсульт. Иннокентию пришлось оставить гимназию и готовиться к сдаче экзаменов самостоятельно, а брату и его жене – фактически заменить юноше отца и мать. Именно брату с женой, писал потом Анненский, он «всецело обязан интеллигентным бытием». Впрочем, он сам был чрезвычайно книжный мальчик, с детства влюбленный в литературу.

СУПРУГИ

Женился на женщине практически вдвое старше себя: ему было 23, ей за сорок. Ее звали Надежда Хмара-Барщевская, однако называли ее все Дина; она была помещица, вдова, он – студент-репетитор, который должен был за лето подтянуть ее сыновей-троечников. Над этой странной парой кто только не издевался. Особенно тяжело читать воспоминания преподавателя царскосельской гимназии Варнеке (той самой гимназии, где Анненский потом стал начальником) – тот, хоть и признавал заслуги Анненского как переводчика и ученого, считал его умнейшей, сложнейшей, интереснейшей личностью, но не щадил его ни как человека, ни как директора, ни как учителя; досталось и жене, и ее ужасным розовым платьям, и манере себя вести, он замечал даже, что во Франции никому не приходило в голову поставить Малларме директором гимназии.

Сергей Маковский, редактор журнала «Аполлон», вспоминал о Дине Валентиновне так: «Семейная жизнь Анненского осталась для меня загадкой. Жена его, рожденная Хмара-Барщевская, была совсем странной фигурой. Казалась гораздо старше его, набеленная, жуткая, призрачная, в парике, с наклеенными бровями; раз за чайным столом смотрю – одна бровь поползла кверху, и все бледное лицо ее с горбатым носом и вялым опущенным ртом перекошилось. При чужих она всегда молчала; Анненский никогда не говорил с ней. Какую роль сыграла она в его жизни? Почему именно ей суждено было сделаться матерью его сына Валентина?» Некоторые мемуаристы писали, что жена вообще не понимала творчества Анненского, что между ними было отчуждение, что сама фигура этой худой, сильно накрашенной старухи – странная и нелепая. А Валерия Срезневская, подруга Ахматовой, наоборот, запомнила Дину Валентиновну элегантно и милой: «И какой-то еле уловимый запах незнакомых духов,

Вот у старшего брата, Николая Федоровича, биография такая, что рассказывать и рассказывать. Он был и литератор, и общественный деятель, и журналист, и статистик. Прирожденный лидер, по убеждениям народник, он был из тех людей, которые двигают историю вперед, хотя и не зарабатывают себе на этом имени. Николай Федорович был женат на сестре народника Петра Ткачева; характер его и убеждения сформировались в 60-е годы, под влиянием некрасовского «Современника», он был живым примером интеллигента-делателя, бескорыстно служащего народу. Аресты, ссылка, работа на голоде, публичные выступления, развитие земской статистики, опять аресты, работа в «Русском богатстве» вместе с Короленко (у них был даже один псевдоним на двоих) – этой кипучей жизни хватило бы, кажется, на обоих братьев; шестидесятники были люди чрезвычайно энергичные и деятельные. Николай Федорович, неугомонный остряк, по воспоминаниям современников, резко отличался от брата, замкнутого, скованного, будто накрахмаленного. Иннокентий был моложе Николая на двенадцать лет и принадлежал совсем к другому поколению – поколению Чехова, Минского и Надсона, поколению надломленному, опечаленному, обессиленному, нервному и тоскующему. Юность этого поколения породила много скверных стихов о смерти, бессилии и тоске; впрочем, хорошие стихи тогда почти перестали писать. Молодой Анненский, студент историко-филологического факультета Петербургского университета, стихи писал, но никогда не печатал, относился к ним резко критически; может быть, и правильно делал. В поэзию он вошел очень поздно: первая книжка вышла, когда автору было 48 лет; это едва ли не самый пожилой дебютант во всей русской литературе.

Предметом его интересов всегда была античность, древняя Греция; он был замечательным знатоком греческого языка и переводчиком Еврипида. Как вспоминал сын поэта Валентин Анненский, писавший под псевдонимом Кривич, отец его знал или изучал 13 языков, включая даже один африканский. Кроме того, Анненский хорошо знал западноевропейскую поэзию и, пожалуй, в своих стихах ориентировался не на русских предшественников, а на французских символистов – Верлена, Бодлера, Рембо, которых много переводил. Словом, когда вышел первый сборник стихов – «Тихие песни» под псевдонимом Ник. Т-о, – коллеги уже хорошо знали Анненского как переводчика поэзии и знатока греческого языка.

Перед каждым поэтом рано или поздно встает вопрос, как зарабатывать на жизнь; Анненский зарабатывал преподаванием, хотя куда с большим удовольствием, наконец, уединился бы со своими стихами и переводами. Преподавал он преимущественно древние языки – он вообще был «классик», но и античную литературу, и русский, и даже теорию словесности – в гимназии и на Высших женских курсах; много размышлял о том, как правильно преподавать детям язык и литературу. В разное время руководил тремя разными учебными заведениями, Николаевская гимназия в Царском Селе – из них самое известное.

и тихий мелодичный голос с аристократическими интонациями – все нравилось мне в ней и надолго оставалось в памяти». И племянница Анненского, Татьяна Богданович, вспоминала, что жена говорила: Кенечка – гений, он обгоняет свое время.

ДИРЕКТОР

Как бы то ни было, уже совсем молодым Иннокентий Федорович взял на себя заботу о большой семье, привыкшей к жизни на широкую ногу. Он сильно тяготился преподаванием и директорскими обязанностями, которые исполнял с 1896 года, когда его поставили начальствовать над Николаевской гимназией. Гимназисты вспоминали о нем разное: кто-то – как ким он хорошим был преподавателем греческого, как умел сделать мертвый язык живым и интересным для учеников; как в гимназии ставили Еврипида и Софокла, кое-что в переводах директора, кое-что в оригинале. Другие рассказывали, что в гимназии при нем не было никакого порядка, ученики относились к нему без всякого трепета. «При Анненском в классах устраивались митинги, гимназисты распивали водку под партами, издевались над учителями, и умнейший русский лирик должен был, чуть-чуть шепелявя и вызывая этим насмешки учеников, просить и убеждать их, без всякого успеха, конечно», – вспоминал выпускник царскосельской гимназии поэт Николай Оцуп. Другой выпускник, Дмитрий Кленовский, рассказывал: «Он выступал медленно и торжественно, с портфелем и греческими фолиантами под мышкой, никого не замечая, вдохновенно откинув голову, заложив правую руку за борт форменного сюртука. Мне он напоминал тогда Козьму Пруткува с того известного «портрета», каким обычно открывался томик его произведений. Анненский был окружен плотной, двигавшейся вместе с ним толпой гимназистов, любивших его за то, что с ним можно было совершенно не считаться. Стоял не-

И. Ф. Анненский среди учащихся Царскосельской Николаевской гимназии



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ

сусветный галдеж. Анненский не шел, а шествовал, медленно, с олимпийским спокойствием, с отсутствующим взглядом». Правда, Кленовский был еще младшим школьником, когда Анненского сняли с поста директора.

Иннокентий Федорович много писал о своей директорской работе дальней родственнице Анне Бородиной, жалуясь, что его заставляют выгонять учащихся за проступки, отказывать ученикам в приеме, когда он их уже обнадежил. В одном из писем читаем: «Вы спросите меня: «Зачем Вы не уйдете?» О, сколько я думал об этом... Сколько я об этом мечтал... Может быть, это было бы и не так трудно... Но знаете, как Вы думаете серьезно? Имеет ли нравственное право убежденный защитник классицизма бросить его знамя в такой момент, когда оно со всех сторон окружено злыми неприятелями? Бежать не будет стыдно? И вот мое сердце, моя мысль, моя воля, весь я разрываюсь между двумя решениями. Речь не о том, что легче, от чего сердце дольше будет исходить кровью, вопрос о том, что благороднее? что менее подло? чтоб выразиться точнее, какое уж благородство в службе!» Преподавание классических языков сокращалось, греческий отменили, только старшеклассники доучивались по старой программе, и директор вел два-три урока в неделю.

Тем временем в стране полыхала первая революция, школьники устраивали собрания и рвались на баррикады. Николай Пунин, тоже из числа гимназистов, вспоминал, как депутация учащихся явилась к директору на сороковой день после Кровавого воскресенья – требовать заупокойного молебна по жертвам. Анненский принял депутацию холодно и даже «брезгливо» – и в требовании отказал, отчего гимназисты стали встречать его пением «вечной памяти». Горячие головы, разумеется, не понимали, что директор прикрывал их от начальствен-

следит за своей наукой, за литературой и, главное, тяготеет уроками, – а ведь преподавание родной словесности, особенно в старших классах средней школы, это едва ли не самое ценное, что мы даем, и притом не только для образования, но для воспитания наших юношей, а эти юноши – ведь это все, что у нас есть самого ценного, наше подрастающее поколение, наши надежды...»

Или вот еще: «Я должен признаться, что когда подумаю о наводнении нашей средней школы исписанной бумагой, эти вопросы смущают и волнуют меня более, чем «переутомление» учителей... Пригодна ли, целесообразна ли работа? – вот первый вопрос. Может быть, иное корпение, несмотря на всю свою египетскую трудность, и ничего не стоит».

ных репрессий. Юноши устраивали выступления, обструкции, химические атаки, наконец, как вспоминал Варнеке, «перед самым октябрем 1905 года во время общей молитвы царский портрет оказался облитым мочой милых мальчиков»; директор защищал учеников от кар, и кончилось это его добровольно-принудительной отставкой в январе 1906 года. В гимназию прислали нового директора для наведения жесткого порядка, Анненского же перевели на должность инспектора Петербургского учебного округа, он лишился казенной квартиры и серьезной доли дохода. Новая работа требовала частых поездок по Петербургу и окрестностям, а у него было больное сердце, и разъезды эти давались ему тяжело. Впрочем, с новой работы его со временем тоже отправили в отставку, уж очень мало его представления о педагогике соответствовали начальственным.

Один из преподавателей гимназии, П.П. Митрофанов, вспоминал о директоре так: «...правда, следить за ремонтом гимназической прачешной... сажать в карцер учеников за преждевременное курение ими папирос И.Ф. был не мастер, да и не охотник при всей своей добросовестности к службе. Но и ученики, и мы, преподаватели, любили, ценили и чттили его за другое – за то, что он сумел вдохнуть нам любовь к нашему делу и давал нам полный простор в проявлении наших сил и способностей... О каком бы то ни было полицейском режиме и регламентации не было и речи, да и сам И.Ф. не приказывал, а лишь просил и советовал. И таково было его обаяние – обаяние умного человека, опытного педагога, гуманного гуманиста, что слушали и слушались все не только со вниманием, но и с воодушевлением. Его любили, и он нравился – и своею своеобразно красивой наружностью, и своей всегда деликатной, несколько старомодной манерой обращения с людьми, и своей неизменной добротой ко всем нашим нуждам и запросам».

До нас дошло несколько педагогических трудов Анненского; известно, что он участвовал в создании гимназии с совместным обучением для мальчиков и девочек; к сожалению, его педагогическое наследие толком не изучено. Учителя в его гимназии вспоминали, что даже на педсоветы ходили с удовольствием; одного этого достаточно, чтобы понять, какой это был редкий директор – и как мало он вписывался в жесткую систему народного просвещения. В гимназии царил какой-то вольный поэтический дух, издавался гимназический журнал; среди выпускников – Николай Гумилев и довольно много работников литературы и искусства.

Новосибирский учитель Михаил Выграненко сделал попытку проанализировать педагогическое наследие Анненского. Надо сказать, некоторые мысли до сих пор звучат с пугающей актуальностью: «Обремененный и переутомленный учитель русского языка для школы не только горе, но и зло: он раздражен, он болен, он не

ТИХИЕ ПЕСНИ

Педагогические труды Анненского мало кому известны; четыре его оригинальные трагедии на античном материале привлекают мало внимания. Как переводчику ему воздают должное, но не более, кажется; в истории литературы он остался как тончайший лирик и критик-новатор. Две небольшие книги – «Тихие песни» и «Кипарисовый ларец», вышедший уже после смерти Анненского, – подчеркнута негромко названы. «Тихие песни» не привлекли даже особого внимания публики. По воспоминаниям Николая Лунина, «в Гостином дворе в книжной лавке Митрофанова уже которую зиму за стеклом в окне, засиженный мухами, стоял экземпляр книги стихов: Ник. Т-о «Тихие песни», и мы знали, что это сборник стихов Анненского. Никто из нас в ту пору этой книги не читал, но если бы даже и читал, самый факт – директор пишет стихи – ни в какой мере не соответствовал царско-сельским представлениям о директоре и его времяпрепровождении и в наши головы не укладывался».

Большинство людей, его знавших, вспоминают о сложности Анненского – как будто несколько совершенно разных людей в одной телесной оболочке – и его бесконечном одиночестве, он даже гулял всегда один. Корней Чуковский, тогда молодой критик,

да еще некстати обидевший Анненского в одной своей статье, писал: «Я внезапно почувствовал его сиротство: неприкаянный, одинокий поэт, не умеющий сливаться с людьми, войти в их круг естественно и просто. Чувствовалось страстное желание сблизиться с литературной средой, но мешала многолетняя замкнутость. Видно было, что от этой замкнутости он тяжело страдает, жаждет преодолеть ее – и не может». Он принадлежал к двум разным поколениям: государственный чиновник, директор гимназии – и поэт-модернист, которого не понимал даже собственный брат. И обоим поколениям он был чужд. Добрый, понимающий, вдумчивый, холодный, замкнутый, презрительный, чопорный, смелый, боящийся начальства – кажется, мемуаристы рассказывают о каких-то совсем разных людях. В Царском Селе очень мало знали про модернизм, Ахматова говорила, что помнили разве что «о, закрой свои бледные ноги»; над директором гимназии, пописывающим декадентские стишки, нехорошо подшучивали. Анненский сносил насмешки спокойно и сказал однажды: «Я знаю, что моя мысль принадлежит будущему, и для него берегу мысль». Время его настало, когда Сергей Маковский начинал в Петербурге новый литературный журнал, «Аполлон». Журналу нужен был теоретик, и Гумилев, главный мотор журнала, вспомнил об Анненском. К нему отправилась депутация, его пригласили к сотрудничеству; в журнале начали печатать его программную статью «О современном лиризме», которую он не успел закончить. Анненский очень много значения придавал «Аполлону», а внутри редакции всегда были какие-то подводные течения, тайны, недомолвки и интриги. Результатом одной из них стало то, что из сверстанного номера сняли статью Анненского, чтобы поместить в него стихи таинственной Черубины де Габриа. Анненский страшно обиделся и расстроился – и считается, что эта обида, одна в череде многих, и спровоцировала фатальный сердечный приступ, от которого он внезапно умер на Царско-

сельском (Витебском) вокзале Петербурга. Татьяна Богданович писала: «Иннокентий Федорович, проезжавший на извозчике мимо вокзала, вдруг сделал знак извозчику, чтобы он повернул к вокзалу. Сойдя с него, он сделал шаг и сразу же упал со всего роста на ступени лестницы. Проходивший на вокзал врач подошел к нему, выслушал и констатировал моментальную смерть от разрыва сердца. Мне вспомнилось потом, как Иннокентий Федорович говорил шутя: – Я бы не хотел умереть скоропостижно. Это все равно что уйти из ресторана, не расплатившись». Хоронить его пришли ученики, друзья, поэты – в том числе Волошин и Гумилев, для которого эта смерть была личным горем.

ПОЛЕТ

Анненский однажды написал жене из Флоренции: «Все, что предполагалось, мы видели. Монументы, церкви, картины – все это обогащает ум. Я чувствую, что стал сознательнее относиться к искусству, ценить то, чего прежде не понимал. Но я не чувствую полноты жизни. В этой суете нет счастья. Как несчастный, осужденный искать голубого цветка, я, вероятно, нигде и никогда не найду того мгновения, которому бы можно сказать: «остановись – ты прекрасно». <...> ты не обижаешься на меня. Я тебя уверяю, что лучше тех мгновений, которые ты мне дала своей лаской и любовью, у меня не было, и все-таки ты знаешь, что я всегда и везде томлюсь...» Валентин Кривич, комментируя эти строки, говорит о тоске, которая внезапно приливалась и заливала душу его отца. Анненский был поэт тоски.

*Кружатся нежные листы
И не хотят коснуться праха...
О, неужели это ты,
Все то же наше чувство страха?
Иль над обманом бытия
Творца веленье не звучало,
И нет конца и нет начала
Тебе, тоскующее я?*

У него множество стихов, так и называющихся: тоска возврата, тоска белого камня, тоска миража, тоска медленных капель, тоска мимолетности. Ему известны были сотни оттенков тоски, обиды, печали. Второй мучительный сонет, третий мучительный сонет... (Кстати, тут Анненский – отчаянный новатор, как, впрочем, и во всем; в его трагедии «Фамира-кифаред» не места действия обозначены, как это традиционно делалось, а состояние природы: «Сцена десятая. Темно-золотого солнца». «Сцена шестнадцатая. Пыльно-лунная».)

В двух книжках Анненского, как в увесистой свертке с семенами разных цветов, скрыт и антиэстетизм Саши Черного, и футуристические эксперименты со словом (Накололи, намололи, // Колоколы-балаболы. // Лопотуньи налетали, // Болмоталы навязали, // Лопотали – хлопотали, // Лопотали, болмотали, // Лопоталы поломали). И фольклорная,

разгульная стихия, которая пока еще кричит в его «Шариках детских», а потом загрохочет музыкой революции в блоковских «Двенадцати». И изумительное по смелости описание дождика, полное тугих, как у Олеси, метафор:

*Вот сизый чехол и распорот, –
Не все ж ему праздно висеть,
И с лязгом асфальтовый город
Хлестнула холодная сеть...*

И по-маяковски нахальные рифмы: «вышиты – мыши ты». И живая, реальная деталь, вот хоть «красная думочка», оставшаяся от женщины, с которой расстался лирический герой, так и дышит она в тексте, так и горит алым пятном, эта красная думочка с прошивками; это у него Ахматова научилась говорящим деталям. И, наконец, от Анненского в русской литературе этот чеканный, счастливый весенний сдвиг, это неостановимое, торжественное движение:

*Эта резанность линий,
Этот грузный полет,
Этот нищенски синий
И заплаканный лед!
Но люблю ослабелей
От заоблачных нег –
То сверкающе белый,
То сиреневый снег...
И особенно тальей,
Когда, выси открыв,
Он ложится усталый
На скользящий обрыв,
Точно стада в тумане
Непорочные сны –
На сомнительной грани
Всесожженья весны. ❀*

«Я потерял Бога и беспокойно, почти безнадежно ищу оправдания для того, что мне кажется справедливым и прекрасным», – написал Анненский в 1904 году. Иногда он декадентски манерен и по-бальмонтовски звонкозвучен:

*Золотя заката розы,
Клонит солнце лик усталый,
И глядятся туберозы
В позлащенные кристаллы.
Но не надо сердцу алых, –
Сердце просит роз поблеклых,
Гиацинтов небывалых,
Лилий, плачущих на стеклах.*

Но в его лирике всегда есть пронзительная нота чистой, ясной, мучительной тоски – ничем не вызванной, не причиненной: просто жить больно, и стихи – больно. Это особенно ясно видно в его знаменитом стихотворении «Смычок и струны»: «И было мукою для них, что людям музыкой казалось». И в другом, «То было на Валлен-Коски»: там для развлечения публики в водопад кидают куклу, вытаскивают ее на веревке, а потом кидают снова и снова...

*Бывает такое небо,
Такая игра лучей,
Что сердцу обида куклы
Обиды своей жалчей.*

И сердце оказывается одиноким, «как старая кукла в волнах». Это удивительный способ смотреть на мир, видя в нем одновременно и ужас, и страх, и тоску, и необыкновенную красоту. Кто еще из русских поэтов был способен одновременно разглядеть и жуткую, мертвенную Черную Весну с «облезлыми крышами, бурными ямами, позеленевшими лицами» — и посочувствовать сухой тростинке:

*На бумаге синей,
Грубо, грубо синей,
Но в тончайшей сетке
Разметались ветки,
Ветки-паутинки.
А по веткам иней,
Самоцветный иней,
Точно сахаринки...*

И увидеть, всей душой понять детскую бессонницу, когда видишь если не гад морских подземный ход и дольней лозы прозябанье, то –

*И я лежал, а тени шли,
Наверно зная и скрывая,
Как гриб выходит из земли
И ходит стрелка часовая.*

«ВСЯКОМУ ИМЯ ДАЮ, КАКОЕ ПРИСТОЙНО»

ЮЛИЯ СЕМЕНОВА

Бронзовый бюст Антиоха Кантемира работы молдавских скульпторов Юрия Канашина и Иона Здерчука установили 13 февраля 2004 года у Санкт-Петербургского университета. С тех пор памятник поэту и дипломату, чье имя навечно вписано в историю России, украшает сквер филологического факультета. Бюст подарил городу на Неве правительство Молдавии.



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

Антиох
Дмитриевич
Кантемир
(1708–1744).
Гравюра
Е. Виноградова.
1762 год

А ВОТ В САМОЙ МОЛДАВИИ памятника Антиоху Кантемиру нет. Аллея классиков в Центральном парке Кишинева, которая начинается от памятника Пушкину, установленного еще в XIX веке, в последние годы пополняется бронзовыми и каменными изваяниями румынских авторов. Это – политика. И в ней не нашлось места соотечественнику, сделавшему немало не только для русской, но и мировой культуры. Если бы судьба распорядилась иначе, Антиох Кантемир стал бы господаром Молдавии, как его дед Константин, продержавшийся на престоле восемь лет (1685–1693). Как его тезка и дядя со стороны отца, правивший страной в 1695–1700 и затем в 1705–1707 годах. Как его отец Дмитрий Кантемир, занимавший молдавский трон дважды: с марта по апрель 1693 года и с 23 ноября 1710 по 11 июля 1711 года. Но судьба Антиоха Дмитриевича распорядилась иначе. Через 101 год после смерти русский критик Виссарион Белинский писал: «Кантемир начал собою историю светской русской литературы. <...> Несмотря на страшную устарелость языка, которым писал Кантемир, несмотря на бедность поэтического элемента в его стихах, Кантемир своими сатирами воздвиг себе маленький, скромный, но тем не менее бессмертный памятник в русской литературе».

ПЕРВЫЙ РУССКИЙ САМИЗДАТ

По большому счету стихотворные сатиры Кантемира стали первым русским «самиздатом» не по форме распространения (среди современников они расходились в списках), а по содержанию, которое в смутное постпетровское время вполне можно было

счесть диссидентским. Ну вот, например: «...церковь иль пуста, иль полна одними, кои казаться пришли иль видеться с теми, которых инде нельзя видеть столь свободно. Молитвы, что поп ворчит, спеша сумасбродно, сам не зная, что поет, кто-кто примечает». Или: «Болваном Макар вчерась казался народу, гоним лишь дрова рубить или таскать воду <...> И, сегодня временщик, уж он всем под парю честным, знатным, искусным людям становится». И даже: «Мало ж пользует тебя звать хоть сыном царским, буде в нравах с гнусным ты не отличишься псарским». Доставалось от него всем – и дворянам, и духовенству, и мракобесам, и пьяницам, и обжорам. Наивно веривший в то, что просвещение и наука могут исправить род человеческий, Кантемир, как принято теперь говорить, вскрывал язвы общества, нисколько не заботясь о том, что кому-то это может не понравиться. «Не могу никак хвалить, что хулы достойно, –

Всякому имя даю, какое пристойно;
Не то в устах, что в сердце, иметь я не знаю:
Свинью свиной, а льва львом просто
называю».

Даже тогда, когда нужно было проявить осторожность, он не переставал называть «свинью свиной». И вовсе не из-за отчаянной храбрости. Не от куража. Он не был воином. Но был — и об этом говорят многие биографы — человеком простодушным и светлым, честным и религиозным. И, добавим, государственным в самом высоком смысле этого слова. А потому не мог молчать. И от его не-молчания в русской литературе родились Фонвизин и Гоголь, Некрасов и Салтыков-Щедрин.

Уже тогда поэт в России был больше, чем поэт. Так, прославившие Кантемира сатиры при его жизни изданы не были. Даже в XIX веке – через сто лет после смерти писателя – почти каждая попытка напечатать их встречала дружный отпор цензоров. В 1851

году для этого потребовалось разрешение самого царя. Но император Николай I отказал, заявив, что «сочинений Кантемира ни в каком отношении нет пользы перепечатывать».

Кантемир написал девять сатир. Сочинял басни. Составил алфавитно-тематический свод стихов из псалмов Давида – «Симфонию на Псалтырь» [труд, тяжелый даже в нашу, компьютерную эру]. Занимался переводами, знакомя русскую публику с сокровищами мысли других народов. Увы, часть из его переводов – например, «Персидские письма» Монтескье – утеряны, как и составленное им для развития математического образования в России руководство по алгебре. Зато переведенная им книга французского ученого Фонтенеля «Разговоры о множестве миров» стала так популярна в России, что выдержала три издания – и это в XVIII веке! Правда, против этого труда, где речь шла о гелиоцентрической системе мира, в царствование Елизаветы ополчился весь Святейший синод. Через двенадцать лет после смерти Кантемира Синоду удалось добиться указа об изъятии «находящейся ныне во многих руках» книги и ее уничтожении. Между тем именно переводом Фонтенеля Кантемир положил начало русской научно-популярной литературе. И ввел в науку термины, многими из которых она оперирует до сих пор: средоточие, идея, материя, природа, наблюдение, плотность, вихри... Кантемир обогатил наш язык такими устойчивыми словосочетаниями, как, например, «светлый ум», «чуткое ухо», «зоркий глаз». Он ввел в литературу народную речь. Он, заметил потом русский поэт Константин Батюшков, первым осмелился «писать в России так, как говорят». «Этот человек, по какому-то счастливому инстинкту, первый на Руси свел поэзию с жизнью», – подвел черту Белинский.

ГАРЕМ СУЛТАНА

А ведь было время, когда «неистовый Виссарион» вслед за некоторыми другими критиками повторял: Кантемир «был иностранец, следовательно, не мог сочувствовать народу и разделять его надежд и опасений», не мог понять всей глубины русского языка и проникнуться всеми тонкостями русской души. Так писали о Кантемире составители учебников по русской словесности еще в XVIII веке. Хотя Кантемир был «иностранцем» только по происхождению.

Фамилию Кантемир ученые трактуют по-разному. Одни переводят ее как «железная кровь», другие указывают на то, что род ведет начало от Тамерлана (Хан Темир). Предки первого русского писателя могли оказаться на территории Молдавии после 1538 года, когда османский султан Сулейман I захватил крепость Тигину (или Бендеры, как называли ее турки). Такую версию высказал в книге «Эпоха и новая трактовка Кантемиров: конец XIV – первая половина XVII века», вышедшей накануне 300-летия Луцкого договора – первого в истории молдо-русского соглашения такого рода, – молдавский публицист и историк Федор Ангели. Он пишет о том, что прадед Антиоха Дмитриевича был мусульманином и имел га-

рем. Одна из жен Арасаноглу Кантемира была христианкой. Эту же религию исповедовал и Константин Кантемир, будущий господарь Молдавии.

В те времена Молдавия находилась под турецким владычеством. Порта утверждала господарей, предложенных боярским советом. Престол стоил немало, но Константин Кантемир, взойшедший на трон в 1685 году, за «должность» не платил. А все потому, что двенадцатью годами ранее он спас гарем султана Мехмеда IV, который едва не попал в плен к полякам после Хотинской битвы. Взойдя на трон, Константин Кантемир вынужден был отправить сына Дмитрия в Константинополь заложником к турецкому султану. Таковы были правила игры.

ЗНАМЕНИТЫЙ ОТЕЦ

Сегодня имя члена Берлинской академии наук Дмитрия Кантемира выбито на здании парижской библиотеки Сен-Женевьев рядом с именами других великих ученых – например, Исаака Ньютона и Готфрида Вильгельма фон Лейбница. Отец Антиоха Кантемира был одним из самых замечательных умов своего времени.

Отправленный в 15-летнем возрасте заложником ко двору турецкого султана, юноша зря времени не терял. Он общался с учеными, изучал языки, философию, узнавал местные нравы. Годы, проведенные Кантемиром в Константинополе (1687–1691, 1693–1710), дали миру двухтомную «Историю возвышения и упадка Оттоманской империи», которую Вольтер называл своей настольной книгой по Востоку и которая более ста лет считалась единственным серьезным научным трудом по истории Турции. «История Оттоманской империи» была переведена на все европейские языки.

Впрочем, среди его увлечений была не только история. Современники высоко ценили музыкальный талант Дмитрия Кантемира. Написанный им «Марш Баязида» долгое время был турецким национальным гимном. Считается также, что великий Моцарт в опере «Похищение из Сералия» использовал несколько турецких мелодий, записанных Кантемиром. Некоторые ученые говорят, что среди них и знаменитый «Турецкий марш».

В ноябре 1710-го Дмитрий Кантемир во второй раз занял молдавский трон. Этого требовали интересы Порты в северной части империи. Но процарствовал он недолго. Придерживаясь во внешней политике сближения с Россией, он в апреле 1711 года через доверенное лицо подписал в Луцке договор о союзе с Россией против Османской империи. Утвержденный Петром I документ обрел юридическую силу. По договору, после победы над турками Молдавия должна была перейти под протекторат России, которая гарантировала ей территориальную целостность без вмешательства во внутренние дела государства. Престол Молдавии оставался за Кантемирами.

ПОСЛЕ ПРУТСКОГО ПОХОДА

О сражении под Стэлинештами не пишут в школьных учебниках. О нем вообще стараются не вспоминать. Но жители маленького молдавского села гордятся тем, что на их земле был сам Петр Великий. В память о тех событиях на месте встречи российского императора с молдавским господарем установлен небольшой обелиск. В десятке метров от него заметны остатки гигантского земляного стола-вала, вокруг которого пиروвали когда-то русские и молдавские военные, ожидая так и не подоспевшего подкрепления.

Увы, в решающем сражении на реке Прут победу одержали турки. Историки связывают это со спешкой, с которой осуществлялась подготовка к битве, с малочисленным и плохо обученным молдавским войском и с предательством валахов, которые обещали поддержать русских 20-тысячной армией, но не сделали этого.

Порта не простила молдавскому господарю предательства. У Петра требовали выдачи Кантемира. Но тот заявлял, что молдавского князя в его лагере нет. А Дмитрий Константинович прятался, сбив бороду и заменив молдавское платье немецким. Своим же людям император объяснял: «Я лучше уступлю туркам всю землю, простирающуюся до Курска, нежели выдам князя, пожертвовавшего для меня всем своим достоинством». Дмитрий Кантемир и около 4 тысяч молдаван нашли пристанище в России и приняли российское подданство.

Несмотря на неудачу Прутского похода, царь щедро наградил Кантемира за все его потери. «Ему, – пишет в биографии Антиоха Кантемира Ростислав Сементковский, – предоставлен был титул светлейшего, ежегодная пенсия в 6 тысяч рублей, много вотчин под Харьковом, в Московском и Севском уездах и дом в Москве; кроме того, ему предоставлены были и владетельные права, например суд над молдаванами, переселившимися с ним в Россию. <...> Из-

вестна еще резолюция Петра: «Где его (князя Дмитрия) пребывание будет, чтоб был гарнизон Российский».

Кантемир жил в Харькове, Москве, Санкт-Петербурге. Много работал как ученый-исследователь. Именно в России он написал самые значительные свои труды. Этому способствовала сама атмосфера: общая и политическая культура, научная мысль в петровской России была выше, чем в Молдавии и Турции. Но единственной работой, изданной при его жизни, стала «Книга Систима, или Состояние мухамеданская религии», в которой были собраны все современные знания об исламе. Она увидела свет в 1722 году.

В том же году Дмитрий Константинович отправился в Персидский поход: Петр поручил ему, как знатоку Востока, да еще в совершенстве владеющему несколькими ближневосточными языками, заведовать канцелярией. В этом походе вместе с ним был и его младший сын, Антиох.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ

Будущему русскому писателю и дипломату было всего два года, когда его семья бежала из Молдавии в Россию. Родители – Дмитрий Кантемир и Кассандра Кантакузен, чей род восходил к византийским императорам, – заботились о воспитании детей и очень серьезно относились к их образованию. Но, увы, его плодами в полной мере воспользовались только двое: дочь Мария и младший сын, Антиох. Другие сыновья – Константин, Матвей и Шербан (Сергей) – мало интересовались науками.

Рано разглядев в Антиохе выдающиеся способности, отец пригласил к нему в учителя подающего большие надежды студента Московской академии Ивана Ильинского, которого Петр собирался отправить учиться за границу. Ильинский, занимавшийся литературой и переводами, оказал огромное влияние на

своего ученика. Их дружеские отношения были так крепки, что Антиох поддерживал контакты с бывшим учителем до самой смерти Ильинского в 1737 году.

Вообще, в короткой жизни Антиоха Кантемира потерь было более чем достаточно. Ему шел только пятый год, когда умерла мать. Отец вновь женился – на 17-летней княжне Анастасии Ивановне Трубецкой. Дети от первого брака мачеху не приняли: ее ровесница Мария постоянно подшучивала над новой родственницей, в угоду которой отец сбрил бороду, сменил привычное полуазиатское платье на европейский костюм и из домоседа превратился в завсегдатая балов и ассамблей. Семейное счастье с юной красавицей длилось недолго: вскоре после возвращения из Персии,



Памятник Антиоху Кантемиру в Санкт-Петербурге

PHOTOXPRESS

обострились старые болезни, и в августе 1723 года Дмитрия Кантемира не стало. Антиоху было 15 лет.

Он страстно желал учиться. Еще при жизни отца он некоторое время был студентом Славяно-греко-латинской академии. Оправившись после смерти Дмитрия Константиновича, Антиох подал прошение царю с просьбой отправить его учиться за границу. Но Петр I отказал. Взамен Антиох был зачислен студентом в только что открывшуюся Академию наук, где слушал лекции по высшей математике, физике, философии, истории у выдающихся ученых своего времени. Преподаватели удивлялись его разносторонним способностям и прочили юноше большое будущее. Поговаривали даже о том, что быть Антиоху президентом Академии.

КАК РОССИЯ ОСТАЛАСЬ МОНАРХИЕЙ

Первая же сатира Антиоха Кантемира, «К уму своему. На хулящих учение», написанная в 1729 году, вызвала ажиотаж у публики. Она имела мощный политический подтекст, ведь после смерти Петра I многие выступали против его преобразований. Один из списков сатиры попал к архиепископу Феофану (в миру Елеазар Прокопович) – сподвижнику Петра, государственному деятелю, поэту и публицисту, личности замечательной, известной и авторитетной. Архиепископ пришел в восторг. И протянул руку помощи одаренному юноше, чьи взгляды и устремления так совпадали с его собственными. Это сыграло огромную роль не только в судьбе Кантемира, но и всей страны.

Россия переживала не лучшие времена. В 1730 году после смерти 14-летнего Петра II на престол взошла императрица Анна Иоанновна. Ее, по предложению князя Дмитрия Голицына, пригласил на правление Верховный тайный совет. Образованный и хитроумный, искусный в дворцовых делах Голицын, опасаясь за судьбу российского дворянства, предложил также ограничить власть императрицы «Кондициями», сводящими роль Анны Иоанновны к представительским функциям. И перед воцарением Анна подписала «Кондиции», согласно которым без Верховного тайного совета она не могла объявлять войну или заключать мир, вводить новые подати и налоги, расходовать казну по своему усмотрению, производить в чины выше полковника, жаловать вотчины, без суда лишать дворянина жизни и имущества, вступать в брак, назначать наследника престола.

Антиох, восхищавшийся Петром I, был ярким сторонником абсолютизма. Как и Феофан, будущее России он видел в продолжении петровских реформ. Как и другие члены «ученой дружины» – неформального кружка интеллектуалов из духовенства и дворянства, который собирался в доме архиепископа, – Кантемир с жаром обсуждал вопросы государственного переустройства. Именно он, «довольно со многими рассуждая», уговорил единомышленников принять челобитную, ограничивающую власть Верховного тайного совета. Он сам набросал текст челобитной, сам отправился в казармы собирать под нею подписи. И на следующий же день, 25 февраля 1730 года, зачитал челобитную во дворце перед императрицей и большой группой дворян (по разным

источникам, там собралось от 150 до 800 человек). В этот же день Анна Иоанновна собственноручно разорвала подписанные «Кондиции», и Россия осталась абсолютной монархией.

В ПОЧЕТНОЙ ССЫЛКЕ

Все способствовавшие утверждению Анны Иоанновны на российском престоле были щедро вознаграждены. Кроме Антиоха Кантемира, который по-прежнему жил на жалованье подпоручика Преображенского полка. Несмотря на то, что в своем духовном завещании Дмитрий Кантемир наказывал передать все его богатства тому из детей, кто добьется наибольших успехов в науках, имея в виду сына Антиоха, наследство досталось старшему, Константину. Он удачно женился на дочери князя Дмитрия Голицына, который и позаботился о том, чтобы закон о майорате, подписанный Петром I, был исполнен неукоснительно.

Злые языки поговаривали, будто Антиох Дмитриевич своей челобитной отомстил князю, с которым волей судьбы оказался в родственных отношениях. Но это было не так. Все, кто знал Кантемира, отмечали его честность и простодушие, его патриотизм, в самом высоком смысле этого слова, и боль за судьбу России. Но не этими качествами его характера руководствовался граф Остерман, когда предложил императрице отправить 22-летнего Кантемира послом в Лондон, соврав английскому посланнику в России, будто Антиох не так юн, как кажется, и лет ему 28. Образованность юного князя, его популярность в кругах знати, его литературный талант, наконец, с одной стороны, составляли опасность для

искушенных в дворцовых интригах царедворцев, с другой – давали возможность показать просвещенной Европе, что и в России не все лаптем щи хлебают. Отправка Кантемира в Лондон была, по сути, почетной ссылкой, на которую, впрочем, он сам с радостью согласился. И в январе 1732 года выехал из России. Не знал, что навсегда.

Нужно сказать, что в те времена российское правительство относилось к своим зарубежным посланникам как к приказчикам. Кантемиру порой приходилось исполнять поручения, годившиеся разве что для мальчика на побегушках. Например, купить для какой-нибудь вельможной персоны в Санкт-Петербурге дюжину пар чулок. При этом нужно было помнить о престиже России и, как теперь говорят, продвигать его. Кантемиру приходилось это делать исключительно на личном обаянии: правительство отказывало послам в финансировании. Бывали случаи, когда посол великой державы принимал у себя гостей, которым подавали еду в оловянной посуде: на иную у Кантемира не было средств. Был период, когда он из своего кармана оплачивал посольского священника. И вел между дипломатическими делами нудную переписку с российским правительством с просьбами увеличить содержание.

Англичане об этом не знали. Им импонирует молодой и обходительный, по-европейски образованный российский посол. Но Кантемир прежде всего заботился об интересах России, он понимал, что чем больше силы набирает его страна, тем больше завистников и недругов она наживает. Он добился признания за Анной Иоанновной титула императрицы. Настоял на том, чтобы Англию в России представлял не резидент, а полномочный министр. Сумел уговорить английские власти отозвать из Константинополя своего посла, опасно интриговавшего против России. Победой дипломата стало подписание в 1734 году российско-британского трактата о дружбе и коммерции.

Успехи молодого дипломата привели к тому, что в 1738 году «Ея Императорское Величество, принимая в соображение, что князь Кантемир уже известен французскому двору, да и находится под рукой, назначила его своим полномочным министром к этому двору и отправила ему верительные

грамоты». И Кантемиру пришлось все начинать сначала: налаживать связи между двумя государствами, интересы которых не совпадали. К тому же в Версале российского, теперь уже чрезвычайного, посла встретили поначалу настороженно: он прослыл там англоманом. Тем не менее его дипломатическая деятельность в Париже была чрезвычайно плодотворна и полезна Отечеству. Современники связывали это с личностью князя, чьи высокие нравственные качества вносили в дипломатические дела больше искренности, чем это было принято.

За дипломатическими делами Антиох Дмитриевич не забывал о науке и литературе, которыми так страстно увлекался. Он написал седьмую свою сатиру, «О воспитании», где высказал передовую для педагогики той поры мысль, что «ласковость больше в один час детей исправит, чем суровость в целый год». Восьмую – «На бесстыдную нахальчивость», где указывает писателям, как осторожно нужно обращаться со словом. Составил одиннадцать «Писем о природе и человеке», где высказал собственные нравственные принципы. Много переводил. Размышлял о русском стихосложении в «Письме Харитона Макентина к приятелю о сложении стихов русских». Даже участвовал в делах театральных: трагедия «Меншиков» была написана французским драматургом Пьером Мораном, поставлена на сцене одного из парижских театров и издана в 1739 году в Гааге при непосредственном участии российского посла. Эта трагедия положила начало героической трактовке образа Петра I во французской литературе.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

Увы, здоровье Антиоха Дмитриевича пошатнулось еще в 1740 году. Страдая от болей в желудке, он неоднократно и безуспешно просил российское правительство об отставке. Он умирал, а ему только неохотно дали отпуск, и то при условии, что вычтут «отпускные» из жалованья. Предчувствуя скорую смерть, Кантемир выразил надежду, что, вследствие его неудовлетворительного материального положения, российское правительство за государственный счет перевезет его тело в Россию, как это делалось в отношении других резидентов. Но и этого не произошло. «Прах его, – пишет писатель Ростислав Сементковский, – более года оставался в Париже и только благодаря заботливости сестры был перевезен в Москву, куда прибыл лишь в октябре 1745 года и предан земле ночью, без всякого торжества, по желанию покойного в зимней церкви Николаевского греческого монастыря рядом с могилой его отца».

Этот монастырь стал семейной усыпальницей молдавских князей. Когда в 1935 году было принято решение разрушить главный монастырский собор, Молдавия находилась в составе Румынии. Власти этой страны потребовали у России вернуть им останки Дмитрия Кантемира. Могилы его детей, в том числе русского писателя и дипломата Антиоха Кантемира, остались под обломками храма... Так сложилась судьба человека, о котором Константин Батюшков сказал впоследствии: «Душою и умом выше времени и обстоятельств». ❀

ЧЕЛОВЕК-ТЕАТР



ПРЕДОСТАВЛЕНО И. ЗОЛОТАРЕВЫМ

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Наша литература как-то особенно богата мучениками и страдальцами, а счастливых и благополучных писателей в ней раз-два и обчелся. «Догадал меня черт родиться в России с умом и талантом!» — климат не то что не благоприятствует, но добавляет едва ли не во всякую судьбу тоски и заботы, подмешивает во всякую жизненную пьесу трагедии. Александр Островский — еще из счастливых: писал, печатался, любил, был любим женщинами и публикой, к концу жизни даже благополучен. Невидимые миру слезы случались, ощущение, что бьешься лбом об стену, — бывало. И все-таки это один из самых гармоничных русских талантов.

КАК И МНОГИЕ ЛИТЕРАТОРЫ середины XIX века, он по происхождению — из духовного сословия. Отец его, Николай Федорович, был сыном священника, семинаристом, который не стал батюшкой, а предпочел судейскую карьеру. Дослужившись до восьмого класса, получил, как полагалось, личное дворянство (Саше к этому времени уже было шестнадцать). Мать, Любовь Ивановна Саввина, мягкая и добрая женщина, была дочерью просвирни и пономаря. Жили Островские в Замоскворечье — уютном, радушном, бестолковом, с его двухэтажными домиками и высокими

Александр Николаевич Островский (1823–1886). Начало 1860-х годов

Первая его законченная пьеса – «Картина семейного счастья». Он впервые прочитал ее публично у профессора Шевырева, лекции которого слушал в университете, 14 февраля 1847 года (14-е Островский с тех пор считал своим счастливым числом). Успех был триумфальный. Хозяин дома поздравил гостей «с новым светилом в отечественной литературе». Еще больший успех ожидал «Банкрот», которого автор читал в 1849 году

у Михаила Каткова; наконец, на одном из чтений, у графини Ростопчиной, Островского слушал Гоголь, который нашел, что новый драматург – талант, решительный талант! Пьеса, уже под заглавием «Свои люди – сочтемся», вышла в журнале «Москвитянин» в 1850 году и возмутила часть московского купечества, которая нашла в ней клевету на свое сословие: молодой купец фактически грабит своего благодетеля. Купцы подали жалобу на Островского, царь ознакомился с пьесой, нашел, что опубликована она зря, а ставить ее не следует. Молодого автора отдали под негласный полицейский надзор, который был с него снят только в начале царствования Александра II, а пьеса добралась до сцены лишь в 1861 году.

ТАЛАНТ, РЕШИТЕЛЬНЫЙ ТАЛАНТ!

Мать Островского рано умерла – Саше было 8 лет. Четверо детей остались сиротами. Отец женился через пять лет на обрусевшей шведке Эмилии фон Тессин; мачехой она оказалась внимательной и доброй, учила детей языкам и музыке, заботилась о них как родная мать. Детей вскоре стало шестеро. Саша еще гимназистом начал писать стихи; отец, однако, прочил ему юридическую карьеру, так что после выпуска 17-летний Островский пошел учиться на юридический факультет Московского университета, куда имел право поступить без экзаменов, поскольку баллы в аттестате были довольно высокие. Но юриста из него не получилось. «Три семестра прошли благополучно, на четвертом не явился на экзамены, пробыл еще год на втором курсе, затем на экзаменах получил по истории римского права единицу и подал на имя ректора прошение об увольнении его «по домашним обстоятельствам»», – рассказывает биограф Островского Михаил Лобанов.

Отец устроил юношу писцом в совестный суд на 4 рубля жалованья; затем он перешел в суд коммерческий – чиновником стола «для дел словесной расправы» и дослужился до 15 рублей. За восемь лет службы перед глазами Островского прошла бесконечная вереница разнообразных персонажей. Он слушал, смотрел, запоминал, накапливал... Наконец судебные впечатления легли в основу первой драмы, сначала названной «Банкрот», а потом переименованной в «Свои люди – сочтемся»; сцены из нее появились в 1847 году в «Московском листке» за двумя подписями: А.О. и Д.Г. «Д.Г.» был артист Дмитрий Горев. Степень его участия в создании пьесы неизвестна, предыдущая его пьеса, «Государь-Избавитель», довольно беспомощна, однако скандал он устроил шумный, и Островскому долго еще приходилось оправдываться и доказывать свои права на пьесу.

Шли последние годы царствования Николая I, памятные современникам и потомкам тем, как удручалось всякое вольное слово, как принудительно насаждалось благонравие. К пьесе предъявили претензии, что порок в ней не наказан, как следовало бы. Хотя другая часть московского купечества говорила, что пьеса вполне актуальна и проблема в ней ставится верно.

Шли последние годы царствования Николая I, памятные современникам и потомкам тем, как удручалось всякое вольное слово, как принудительно насаждалось благонравие. К пьесе предъявили претензии, что порок в ней не наказан, как следовало бы. Хотя другая часть московского купечества говорила, что пьеса вполне актуальна и проблема в ней ставится верно.

СЕМЕЙНЫЕ ДРЯЗГИ

С 1849 года Островский жил в отцовском доме вместе с невенчанной женой Агафьей Ивановной, женщиной простой и необразованной, но милой, любящей и заботливой – здорово похожей на обломовскую Агафью Матвеевну, разве что, может быть, она была не такая зашуганная.

Один из посетителей, М.И. Семевский, оставил воспоминания об Островском в начале его семейной жизни: маленький дом, грязная лестница и незапертая по московскому обычаю дверь; за дверью визитера встречает маленький мальчик с пальцем во рту, за ним другой, за ним кормилица с грудным, и только в третьей комнате сидят хозяин с хозяйкой – причем хозяйка сразу убегает за перегородку, а хозяин мучительно думает, следует ли ему снять халат. «Я увидел перед собой очень дородного человека, на вид лет тридцати пяти, полное месяцеобразное лицо обрамляется мягкими русыми волосами, обстриженными в кружок, по-русски (à la мужик или à la Гоголь – как его рисуют на портретах), малозаметная лысина виднеется на маковке, голубые глаза, кои немного щурятся, при улыбке дают необыкновенно добродушное выражение его лицу», – рассказывал гость.

Отец Островского его мезальянса не принял, отношения отца и сына до самой смерти первого оставались натянутыми. Отец купил имение и уехал; ничего хорошего от беспутного сына не ждал, деньги ему давать перестал: живи как знаешь. И Островский жил с семьей на скудные на первых порах литературные и театральные гонорары. Дети числились незаконными и не имели права на отцовскую фамилию. А отцовские надежды оправдал младший сын, Михаил Николаевич, который со временем дослужился до министра. Человек честный, прямой, заботливый и верный долгу, он опекал двух осиротевших племянниц, дочек третьего брата, а к старшему брату своему относился с любовью и заботой. Дети Агафьи Ивановны умерли во младенчестве – кроме одного, Алексея Александрова, который умер в 21 год, пережив свою мать на два года; ничего не осталось от двадцатилетней жизни и семьи. Поразительно отношение к этому браку наследников Островского, детей от второго, венчанного брака: они не сочли нужным даже сохранить для потомков фамилию Агафьи Ивановны.

**Русские писатели
круга журнала
«Современник»:
И.А. Гончаров,
И.С. Тургенев,
Л.Н. Толстой,
Д.В. Григорович,
А.В. Дружинин
и А.Н. Островский
(крайний справа).
Фотография
С.Л. Левицкого.
Март 1856 года**



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

Злые языки бесконечно рассказывали об Островском сплетни: что он считает себя русским Шекспиром; что языков не знает, а переводит... «Хотя Островский и жил в Москве, но это не помешало любителям распространять слухи о его частной жизни: будто он пьет без просыпу и толстая деревенская баба командует над ним, – писала Авдотья Панаева. – Когда рассказчику заметили, что Островский, кроме белого вина, ничего не пил за обедом, то на это следовало объяснение, что Островский, приезжая в Петербург, боится выпить рюмку водки, потому что тогда он уж запьет запоем...». Семевский замечал: «Сколько переслышал я о нашем современном драматургическом таланте и пошлых пасквилей, и глупых анекдотов – и никогда, решительно ни в один из многих моих визитов к Островскому не заметил я ни одной черты, ни одного намека, которая бы оправдывала хоть сотую долю из всего того, что говорят его завистники и его недоброжелатели». И еще: «...скромность, добродушие и незлопамятность характера видна и в речах и в поступках Александра Николаевича».

скому достались верховья: Тверь, Торжок, Кострома... Два лета подряд Островский ездил по Волге; собрал огромное количество разных материалов, в том числе примеры местных говоров: «перечень» – боковой ветер, «призятить» – взять зятя в дом, «прямушка» – прямая тропинка, по которой ходят и ездят, когда грязна большая дорога. Необыкновенный речной простор, спокойная и уверенная красота Волги – это сразу задает систему координат в «Грозе», где река и гроза становятся такими же участниками действия, как и люди. Это новый театр, до-

селе неслыханный: здесь двигателем сюжета становится атмосфера. Атмосферу Островский создает мастерски: здесь и физическое ощущение простора – кажется, выйди, раскинь руки и лети... И несколько хронологических пластов – вот как Герцен писал, в столице XIX век, а отъедешь от нее – там уже XVII, а дальше и вовсе кафры с готтентотами... Здесь и Борис из XIX века, и Кулигин из XVIII, и Кабаниха, словно сошедшая со страниц «Домостроя», и дальше, и глубже в темень веков, до людей с песьими головами... И темная дикость в душах, и фольклорная, светлая стихия, роднящая Катерину с Ярославной...

«Гроза» не выносит однозначных приговоров, позволяет самые разные интерпретации – оттого и спорят так о ней до сих пор: Кабаниха – заботливая мать, носительница вечных ценностей или чудовище? Катерина – луч света в темном царстве или забитая неграмотная женщина? Социальный протест или духовный кризис? Пробуждение души или окончательная гибель? А может, она и вовсе *в прелесть* была, как написал недавно один журналист? Островский только показывает – ярко, выпукло, дотошно — и не дает никаких однозначных ответов: думайте сами.

Поразительно странное совпадение «Грозы» с так называемым «клякловским делом», о чем рассказывает Михаил Лобанов. Островский закончил «Грозу» 9 октября 1859 года, а 10 ноября в Костроме вытащили из Вол-

Первая сценическая постановка пьесы Островского состоялась в 1853 году, и с тех пор он ежегодно пополнял репертуар русских театров новыми пьесами. Играть театрам было совершенно нечего: были старые, выспренные классицистские трагедии, уйма бессмысленных водевилей про жену и мужа... были «Недоросль», «Горе от ума» и «Ревизор». И все. «Борис Годунов» впервые добрался до сцены в 1870 году. Потребность в хороших русских пьесах была колоссальная, а в пьесах нового автора было что играть: для каждого актера чудесная роль, которую так интересно осваивать, и есть чем блеснуть... правда, и здесь не обошлось без капризов: иные актрисы наотрез отказывались играть старух или простолюдинок в платочках. Пьесу «Не в свои сани не садись», историю соблазненной и покинутой купеческой дочери Дуни, выбрала для своего бенефиса молодая актриса Любовь Косицкая. Она явилась перед публикой в ситцевом платье – и совершенно умягчила сердца зрителей естественностью и простотой. Пьеса имела шумный успех. Тем не менее, по старому закону о театральных гонорарах, драматургу полагались 4 процента от театральных сборов в столицах, а за провинциальные постановки не полагалось вовсе ничего. Островский долго боролся с этой несправедливостью, но сдвинуть что-то с мертвой точки ему удалось много позже.

«ГРОЗА»

Голубоглазая и золотоволосая Косицкая совершенно очаровала Островского. На похоронах Гоголя в Даниловом монастыре она рассказывала ему, как любила слушать колокольный звон. Из рассказов Косицкой – о детстве, о Волге, о необыкновенных снах – постепенно складывался образ летящей, странной, мечтательной души, воплотившийся потом в Катерине из «Грозы». Любопытно, что сыграла Катерину Косицкая – по сути, ее прототип.

Роман Островского и Косицкой был мучителен для обоих; он страдал от вины перед своей Агафьей Ивановной, для Косицкой, как и для Катерины, понятие греха было абсолютно. Я не хочу отнимать вашей любви у другого человека, – строго сказала она ему. А сама вскоре влюбилась в ничтожество, в купеческого сына, который разорил ее и унижал; сама любовь Островского была оскорблена этим выбором.

Но чтобы из первых впечатлений получилась «Гроза» – нужен был еще важный душевный опыт. В 1856 году великий князь Константин Николаевич задумал литературно-этнографическую экспедицию по Волге; ее организатором стало Морское министерство. Литераторы должны были путешествовать по реке и собирать материалы о жизни населения по ее берегам, о его быте, промыслах, торговле, языке, творчестве и т.п. Волгу поделили между участниками экспедиции, Остров-

ги тело местной мещанки Александры Клыковой. Расследование показало, что она была влюблена в местного почтового служащего, что ее извела властная свекровь, а добрый, но покорный матери муж никак за нее не заступался. Читать «Грозу» Клыкова никак не могла. Премьера состоялась 16 ноября, вскоре после ее гибели, а в печати пьеса появилась еще позже, в 1860 году. «Гроза» была встречена триумфально. В том же году она получила Уваровскую премию за лучшее драматическое произведение. Критики бросились в схватку: горькая история Катерины стала поводом поговорить о насущно важных вопросах – как Добролюбов в знаменитом «Луче света в темном царстве»: об общественном климате, возможных переменах, прогрессе, цивилизации и так далее. Писарев откликнулся размышлениями о Бокле; Катерина, Бокля не читавшая, «лучом света» быть никак не могла. Критики отталкивались от литературы, чтобы порассуждать о необходимости социальных перемен. А зрители плакали и рукоплескали в театрах.

«Я ТОЛЬКО И ДЕЛАЮ, ЧТО РАБОТАЮ...»

Триумфов в жизни Островского вообще было немало. В.А. Герценштейн так рассказывает о бенефисе Прова Садовского в Москве (играли «Свои люди – сочтемся»): «Что творилось в театре в этот вечер, не поддается никакому описанию. Молодежь вынесла Островского на руках, без шубы, в двадцать градусов мороза, на улицу, намереваясь таким образом донести его до квартиры, и, когда более благоразумным удалось накинуть ему на плечи шубу и посадить в сани, толпа в несколько сот человек различного пола и возраста направилась по сугробам снега к дому автора. Островский жил тогда в Замоскворечье, в самом центре «темного царства», и в эту ночь шумная толпа потревожила сон многих Кит Китычей, мирно покоившихся на высоких пуховиках. Островский появился на пороге своей квартиры, вызванный

оглушительными криками толпы, он раскланивался со всеми, двух или трех вблизи стоявших обнял и расцеловал и выразил сожаление, что не может пригласить и вместить в своем доме всех, «хотя и поздних, но милых гостей»...»

Провалы, разумеется, тоже бывали. Материальное положение лучшего русского драматурга, чьи пьесы шли по всей России, оставалось довольно шатким. Семевский, редактор журнала «Русская старина», попросил у него в 1879 году воспоминаний для публикации. Островский откликнулся горьким монологом: «С лишком тридцать лет я работаю для русской сцены, написал более 40 оригинальных пьес, вот уже давно не проходит ни одного дня в году, чтобы на нескольких театрах в России не шли мои пьесы, только императорским театрам я доставил сборов более 2 миллионов, и все-таки я не обеспечен настолько, чтобы позволить себе отдохнуть месяца два в году. Я только и делаю, что или работаю для театра, или обдумываю и обделываю сюжеты вперед, в постоянном страхе остаться к сезону без новых пьес, т.е. без хлеба, с огромной семьей – уж до воспоминаний ли тут!»

Через два года после смерти Агафьи Ивановны он снова женился; избранницей его стала актриса Мария Васильевна Бахметьева. Детей у этой пары было шестеро. Чтобы всех прокормить, Островский писал по две пьесы в год, получая от недоброжелателей упрёки в халтуре, поспешности; со временем, разумеется, стали говорить, что он «исписался». Он не исписался, но искал новых путей: создал несколько замечательных по стиху и знанию материала исторических хроник, много переводил иностранных пьес, начиная с шекспировского «Укрощения строптивой» – «Укрощения злой жены», которую он перевел прозой в 1850-м и стихами в 1865-м, назвав ее на сей раз «Усмирением своенравной». За Шекспиром последовали Плавт, Теренций и Сенека. Новым импульсом для переводов стала его поездка по Европе: Островский объездил несколько стран, восхищаясь красотой природы и архитектуры – до слез, до ощущения, что сердце не может вместить такого счастья. Вернувшись, он взялся за переводы итальянских авторов: Гольдони, Гоцци и современных драматургов. Переводил с французского – часто в рабочих целях, для бенефисов знакомых актеров, причем некоторые пьесы в его переводах оказывались удачнее, чем в оригиналах. Он перевел несколько интермедий Сервантеса, а смерть оборвала его работу над «Антонием и Клеопатрой» Шекспира. 47 (по другим подсчетам – 49) оригинальных пьес и 22 перевода – целая театральная эпоха.

Островский не раз жаловался, что ему приходится заниматься всем: и растолковывать актерам роли, и присутствовать на репетициях, и следить за тем, чтобы режиссер не искажал авторский замысел... Но вряд ли бы он всем этим занимался, не будь он таким энтузиастом театра, требовательным и страстным. В

мое Щелыково, выкупленное для него братьями после смерти мачехи. Там он с упоением предавался рыбной ловле, там думал, принимал гостей, писал пьесы, торопясь успеть к началу сезона, – там и умер 2 июня от разрыва сердца.

И хотя он в последние годы жизни вел огромную организационную работу, писал в основном заметки и записки по организации театрального дела – талант нисколько не оскудел: в последнее десятилетие написаны «Бесприданница», «Без вины виноватые», «Таланты и поклонники» – и нежнейшая, прозрачнейшая, прекрасная «Снегурочка», совершенно новое слово в театре и литературе.

В конце жизни он написал, что он и есть русский театр: «Другие искусства имеют школы, академии, высокое покровительство, меценатов; для драматического искусства покровительственным учреждением должен бы быть императорский театр, но он своего назначения давно не исполняет, и у русского драматического искусства один только я. Я – всё: и академия, и меценат, и защита». Заносчиво? – да нет, справедливо.

ВОЗ ОРЕХОВ ДЛЯ БЕЛКИ БЕЗ ЗУБОВ

Островский – один из основателей Литературного фонда, созданного в 1859 году для помощи нуждающимся литераторам и ученым; Литфонд оказался чрезвычайно нужным и живым начинанием, пережившим много правителей и режимов. Второе его общественное начинание – Общество русских драматических писателей и оперных композиторов, нечто вроде профсоюза, который в конце концов отвоевал для авторов пьес и опер право получать пристойные гонорары за постановки; с этих пор материальное положение самого Островского стало хоть сколько-то стабильным. В конце жизни он стал получать назначенную императором Александром III пенсию в 3 тысячи рублей.

Островский, живущий театром и едва ли не в театре, вникал во все театральные процессы, ясно видел, что надо исправлять в театральном деле, – и в 1881 году вошел в комиссию «для пересмотра законоположений по всем частям театрального управления» при Дирекции императорских театров. Эта его работа принесла много пользы артистам, до тех пор бывших такими же бесправными, как и драматурги.

У него было множество планов и идей по реорганизации театра, но не было возможностей. Он знал всё: как учить актеров, как формировать труппу, как правильно организовывать бенефисы, какой должна быть репертуарная политика... Возможности появились в 1885 году, когда Островского назначили заведующим репертуарной частью московских театров и начальником театрального училища. Должность была важная, требующая гражданского чина, по Табели о рангах соответствующего генеральскому, а Островский как ушел в отставку из суда губернским секретарем, так и остался чиновником двенадцатого класса; это как поручика ставить командовать армией. А командовать больше было некому.

Он был уже немолод и нездоров, и назначение свое прокомментировал так: «Дали белке за ее верную службу целый воз орехов, да только тогда, когда у нее уже зубов не стало».

Поработать на новых должностях он успел совсем недолго, до конца сезона, с декабря 1885-го по май 1886-го, когда – уже совсем больной – уехал в свое люби-

Не дидактичный, не назойливый, внимательный к людям, он как-то интуитивно понимал их и воссоздавал во всей мешанине красоты и безобразия, наделял собственными физиономиями и безупречно точными речевыми характеристиками: десятки непохожих, не повторяющихся, своеобразных персонажей, целая галерея портретов – от акварельно-нежных до плакатно-ярких, сотни шаржей, набросков, карикатур. Это был «органический», по определению его друга Аполлона Григорьева, талант: для кого другого русская действительность – варварская, скудная и бедная почва, а для него – полная сокровищ. Так человек незнающий и равнодушный проходит по лесу – ну травка, ну птичка, ну дерево, – а для влюбленного в лес наблюдателя тут у каждой букашки есть свое имя и богатая жизнь, у каждого семечка история, и зверская, равнодушная жестокость здесь, и божественная гармония... Недаром его знаменитое прозвище – «Колумб Замоскворечья» – подчеркивает именно эту сторону его дара: первооткрывательскую.

Сам он был человек спокойный, уравновешенный, добрый, и жизнь его лишена африканских страстей и крутых поворотов – упорный многолетний труд, классическое «делай что должно, и будь что будет». А получился из этого практически в одиночку воздвигнутый русский национальный театр. ❀

ПЕЧАТНЫМ ШАГОМ

МИХАИЛ БЫКОВ

Ежели какому-нибудь кинорежиссеру надобно найти антураж для съемок невеселого фильма про нашу суровую действительность конца 80-х — начала 90-х, могу подсказать адресок. В Москве, недалеко от станции метро «Беговая», на улице с тем же названием. По правую руку тому, кто движется от центра.

ОКАЗАЛСЯ В ЭТОМ ЗДАНИИ по случаю. В одной из расположенных там редакций вдруг решили выплатить авторский гонорар.

И в советское время, когда к армии относились крайне внимательно, пятиэтажный параллелепипед на Беговой улице выглядел скучновато и казенно. Одно слово – казарма добротного провинциального гарнизона. Но светились над главным подъездом два слова – «Красная звезда». Да четыре метровых ордена рядом давали понять – адрес серьезный и достойный. И тогда, и сейчас «казарма» на Беговой – место дислокации издательства Министерства обороны «Красная звезда» и редакции одноименной газеты – главного периодического издания наших Вооруженных сил.

Сегодня, правда, главный вход почему-то закрыт. Но есть еще два: правее – в кафе с неприятным и неизбежным названием «Звездочка», левее – доступ в газетно-печатные недра. Доступ, само собой, ограничен выдавшим жизнь охранником, очевидно, из офицеров-отставников. Впрочем, отставные печатники выглядят примерно так же.

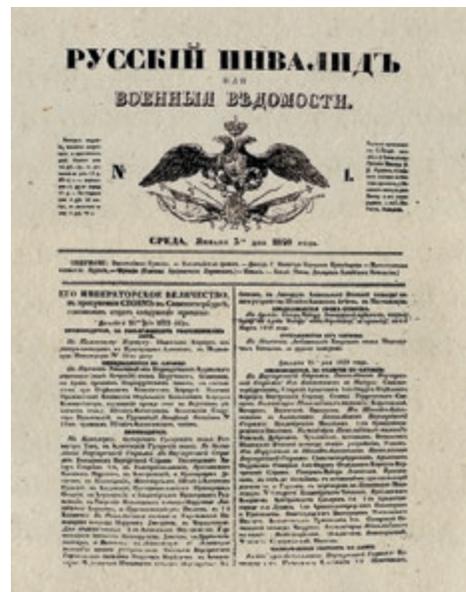
Вот тут и начинается искомый режиссерами-«чернушниками» антураж. Ясно, что в зданиях, входящих в систему Минобороны, жизнь определяется приказами. И так же ясно, что последние приказы по покраске стен, замене дверей, ремонту лифтов и обыкновенной уборке отдавались тут последний раз в советское время. Рядом с

постом охранника – обшарпанный и пустой стол. Этот объект мебельного дизайна а-ля 60-е явно не на своем месте. И верно: на стене над столом одинокое объявление какой-то турфирмы, предлагающей шикарно отдохнуть на вечно зеленых курортах Египта. Тут же – записка от руки: телефон менеджера Маши (кажется). Звоните, мол, если надо в Египет. Листок заметно истрепался спустя полтора месяца после новогодних календ. На этажах картина примерно такая же. Уныло, серо, тусклый свет сквозь немытые с прошлого века окна, скрип дверей. И редкие люди, такие же мрачные и неприветливые, как пейзаж за немытыми окнами.

Да простят автора сотрудники «Красной звезды», но репортажные строки из песни не выкинешь. Что увиделось – то увиделось...

СНАЧАЛА – «ИНВАЛИД»

Как и почему в XX веке у нас это слово – «инвалид» – приобрело ущербно-обидный характер, уже не понять. Но в веке XIX в России оно вызывало несколько иную реакцию. Скорее – уважительную. Ибо инвалидами называли по большей части военных ветеранов, честно служивших Родине и выведенных из штатного состава армии и флота по увечью или другому нездоровью.



Номер газеты «Русский инвалид, или Военные ведомости» за 3 января 1840 года

ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

начальник российской педагогики Константин Ушинский и составитель словаря Владимир Даль.

Журналы того времени не чурались художественной литературы. Повести, рассказы, описания приключений рассматривали как обязательный десерт к основному блюду. «Морской сборник» не был исключением. На его страницах публиковались Александр Островский, Иван Гончаров, Константин Станюкович, Алексей Писемский...

«Морской сборник» – тот феноменальный случай военной периодики, когда после февральских и октябрьских событий 1917 года издание не прекратило существования и даже не было временно закрыто. Кто знает, вероятно, особое положение флота в революционных событиях того времени и особое отношение большевиков к опоре их власти в лице революционных моряков Балтики сыграли важную роль в сохранении издания. Старейшее флотское издание выходит и сейчас.

У «Военного сборника» судьба оказалась потруднее. Основанный в 1858 году по прямому указанию военного министра графа Милютина, он сразу вызвал к себе живейший интерес в офицерской среде. Число подписчиков превышало 5 тысяч. Напомню, самому Пушкину двадцатилетием ранее с редактируемым им «Современником» и близко не удалось приблизиться к такому показателю. В год основания в «Военном сборнике» по штату числилось 39 офицеров и 5 статских.

В 1869 году «ВС» объединили с газетой «Русский инвалид». В том смысле, что издания сохранили творческое лицо, но управление и – главное – стратегия определялись для них в одинаковой степени военным руководством страны. Для проведения единой политики было принято решение ввести объединенного главного редактора. Что-то нам знакомое, верно?

«Военный сборник» довольно часто вынужден был лавировать между цен-

Не случайно первое военное издание в стране получило название «Русский инвалид». Не потому, конечно, что было адресовано только военным инвалидам. Автор проекта Памиан-Пезаровиус изначально предложил, чтобы вся прибыль от военной газеты поступала в помощь ветеранам-инвалидам. Только что закончилась кампания 1812 года по выдворению Наполеона из пределов России, и армия, перейдя границу, отправилась в поход на Париж. Благотворительность по случаю последствий войны 1812 года приветствовалась всем русским обществом. Слух о «доброй» газете мгновенно распространился среди читающей публики. Не оставили издание без внимания и на самом веру. Дабы обеспечить издание конкурентным преимуществом, редакции передали право первой получать и печатать военные сводки с европейского театра боевых действий. Первый номер газеты вышел в феврале 1813 года. Выглядел он так: шесть полос формата А-4 (чуть больше. – Прим. авт.), рубрики многообразием не блистали. Но зато в них было главное – новости, как российские, так и зарубежные. А кроме того, отчеты о жертвоприношениях в адрес ветеранов войны.

Жизнь «Русского инвалида», как и любой другой газеты, прожившей век и более, наполнилась и успехами, и неудачами. К последним привели попытки главредов объединить под одним брендом сугубо военную и общественно-политическую информацию. В начале реформ Александра II подзаголовок подчеркивал: «Газета военная, политическая, литературная и ученая». Издание сократило количество полос – до четырех, но перешло на ежедневный режим выхода. Что по тем временам – профессиональный подвиг.

В 1869 году, когда военная реформа графа Милютина уже разворачивалась, именно военный министр принял решение о превращении «Русского инвалида» в профессиональную армейскую газету. Понимал, что значило для военных иметь собственный печатный орган. Газету структурировали на военный манер, наполнили специальной информацией. В таком виде она дожила до 1917 года.

К слову, «Русский инвалид» возродился в 1992 году. Но уже под другим покровительством – Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) – и, соответственно, с иной концепцией.

С АРМЕЙСКОЙ ПРОПИСКОЙ

В XIX веке появились и два основных военных журнала: «Военный сборник» и «Морской сборник». Причем военно-морское ведомство опередило сухопутных коллег на десятилетие, приступив к изданию «МС» в 1848 году. Это старейший военно-морской журнал не только в России, но и в мире. Дело заладились сразу. В «Морском сборнике» охотно печатались такие разные, но равно уважаемые в России люди, как основоположник русской военной хирургии Николай Пирогов и адмирал-новатор Степан Макаров, физик, академик Борис Якоби и дипломат князь Евфимий Путятин, открывший для России официальную Японию, родо-

зурой и читательским интересом, между консервативным и либеральным крыльями русского армейского орла. «Русскому инвалиду» было легче, так как он занимался в основном оперативными новостями, как и положено газете. А «ВС» к 1910 году в два раза уменьшил подписку по сравнению с годом основания журнала. Тут есть некий парадокс. Многие прогрессивно мыслявшие военные признавали, что журнал справляется с ролью воспитателя и советника офицерского корпуса. Сам офицерский корпус после некоторых финансовых и организационных реформ, проведенных Николаем II, воспрянул духом, стал инициативнее и любознательнее. А тут – на тебе!

В отличие от своего морского собрата «Военный сборник» перевороты 1917 года не пережил.

Но если кто-то думает, что это все, чем была богата военная периодика Российской империи, тот глубоко ошибается. К началу Первой мировой войны под эгидой военного и морского ведомств по общественной инициативе выходило в свет 7 общих и 12 узкоспециализированных журналов (например, «Артиллерийский журнал» и «Вестник русской конницы»), 11 журналов для нижних чинов, 8 газет, 13 флотских изданий, 6 изданий при военно-учебных заведениях, начиная с «Вестника Николаевской академии Генерального штаба» и заканчивая «Юнкерскими досугами» в Одессе. А также: 4 военно-медицинских издания, военно-музыкальное, Пограничной стражи и еще официальные и не очень бюллетени, всяческие периодические листки.

Сюда же можно присовокупить около 30 изданий, к которым русское офицерство тяготело и в профессиональном, и в обывательском плане. Речь о журналах по автоделу, авиации, конному спорту и коневодству. Наконец, в массовом порядке и систематически издавались истории русских воинских частей, что тоже приобрело характер периодического воздействия на аудиторию. Было что почи-

тать, ей-богу! И – было кому писать. В русском обществе печататься в военной периодике считалось делом приличным и довольно выгодным. Поэтому в прессе отметились не только офицеры, владевшие словом, вроде Петра Краснова и Антона Деникина, но и вполне статские господа. Особенно отчетливо это показала Первая мировая война. Фронтowymi корреспондентами отправились на войну Валерий Брюсов, граф Алексей Толстой, Михаил Пришвин... Серьезно занимался периодической военной печатью в начале Гражданской войны Александр Куприн. Кстати, о Гражданской войне. Вернее, ее последствиях для тех, кто не разделял красную идею, уцелел в боях, не сгорел в тифу, не встал у расстрельной стенки и – покинул родную землю. Пожалуй, главными изданиями военной эмиграции стали журналы «Часовой» и «Военная быль». В обоих случаях впечатляют не тиражи и объемы. Поражает та преданность избранному делу, с которой в крайне стесненных финансовых условиях, без современной полиграфической базы, при почти полном отсутствии оперативных информационных источников создатели и редакторы этих изданий трудились десятилетиями.

«Часовой» возник в 1929 году в Париже по инициативе офицеров белой армии Василия Орехова и Евгения Тарусского. В 1936 году редакция переехала в Бельгию. Там, в Брюсселе, и вышел последний номер «Часового» в 1988 году. Строго говоря, журнал прекратил существование тогда, когда его последний основатель, Василий Орехов, уже физически не смог продолжить начатое шестьдесят лет назад. Василий Васильевич ушел из жизни в 1990-м в возрасте 93 лет. 669 номеров, 26 760 полос...

«Часовой» довольно строго следовал курсу, заданному для всей военной белоэмиграции головной организацией офицеров – Русским общевоинским союзом. С журналом сотрудничали такой видный военный теоретик, как генерал Николай Головин, и такой выдающийся русский философ, как Иван Ильин.

«Военная быль», задуманный и осуществленный лейтенантом флота Алексеем Герингом, – издание более историчное и менее политизированное, чем «Часовой». Главная задача, которую ставил перед собой Геринг, – публиковать материалы об истории Русской императорской армии и Русского императорского флота. Журнал выходил в Париже с 1952 по 1974 год.

Сейчас и «Часовой», и «Военная быль» – раритеты...

ПРОПАГАНДА КАК ОРУЖИЕ

О том, что начиная с первых политических шагов коммунисты очень серьезно относились к пропаганде, сказано много. Не меньше и о том, что они прекрасно владели этим оружием политической борьбы. Удивительно, но в не сложном для Красной армии 1919 году суммарные тиражи фронтовых, армейских, дивизионных газет составили, скажем, в ноябре около 400 тысяч экземпляров ежедневно! Печатным словом бомбили не только свои части, но и передовые порядки про-

названием США. Не стоит спорить о том, является ли эта страна военным лидером планеты. Штаты не испытывают проблем с личным составом и мотивацией солдат и офицеров. Там слово «патриотизм» до сих пор – не пустой звук. И на этом фоне в государстве работает около полутора тысяч военных бумажных СМИ, треть из которых – журналы, а две трети – газеты. Разовый суммарный тираж превышает 10 миллионов экземпляров. У нас, для сравнения, примерно 200 тысяч. Если верить данным самих наших СМИ, заявляющих тиражи порой от вольного.

Десятки тысяч экземпляров газет были адресованы солдатам и офицерам армий Деникина и Колчака. Надо признать, что соответствующие органы белой пропаганды даже в самой стабильной Добровольческой армии Юга России, впоследствии – Русской армии барона Врангеля, противостояли красному информационному натиску весьма вяло и без выдумки.

Тенденция к сохранению разнообразия изданий на военную тему и больших тиражей длилась все семьдесят с лишком лет советской власти. До распада Советского Союза помимо главного военного официоза – газеты «Красная звезда» – система военных СМИ включала в себя 24 крупные окружные газеты, более дюжины центральных журналов, десятки дивизионных газет. Только в Западной группе войск в Германии издавалось более 20 дивизионных СМИ. Суммарный тираж достигал 8-миллионной отметки. Притом что армия такого числа солдат и офицеров не имела. Расчет делался не только на тех, кто носил погоны. Но и на подростков, призывную молодежь, ветеранов Вооруженных сил, представителей других силовых структур.

В годы афганской войны далеко не все советские мужчины читали газету «Красная звезда». Но абсолютно уверен, что не было в Отечестве такого мужчины, который не знал бы о ее существовании. Сдается, сейчас таких мужчин – большинство. Казалось бы, представительство военных СМИ на современном печатном рынке тусклые не назовешь. Есть журналы «Военный вестник», «Военно-исторический вестник», «Морской сборник», «Ориентир», «Братишка», «Военная мысль», «Армейский сборник», «Военный парад», «Зарубежное военное обозрение». Сохранилось немного газет в военных округах. Несколько лет назад тематический федеральный телеканал появился – «Звезда». А ощущения какие-то странные. Иной раз смотришь на продукт труда военных журналистов и диву даешься – насколько устаревшим и скучным этот продукт выглядит. В другой ряд – и продукт замечательный, и читать любопытно, но взять его негде. Или – не по карману. А главное – нет ощущения, что кто-то если и не «рулит процессом», то хотя бы, стоя в сторонке, отдает себе отчет в том, как этот процесс сделать оптимальным с точки зрения экономики и полезным для адресата.

Может быть, поэтому среди молодых офицеров как-то не наблюдается устремлений посидеть в бригадной библиотеке или выписать на дом какую-нибудь «Военную мысль». Пытался разговаривать на эту тему, но понимания не встретил.

Да, у привычных СМИ есть могучий конкурент – Интернет. С его недреманным оком не поспоришь. Но пока далеко не в каждом гарнизоне это око так уж недреманно. Хотя это – полбеды. Полистайте форумы военнослужащих – там редко когда встретишь серьезный разговор или глубокий вопрос. В лучшем случае – военной историей увлекаются.

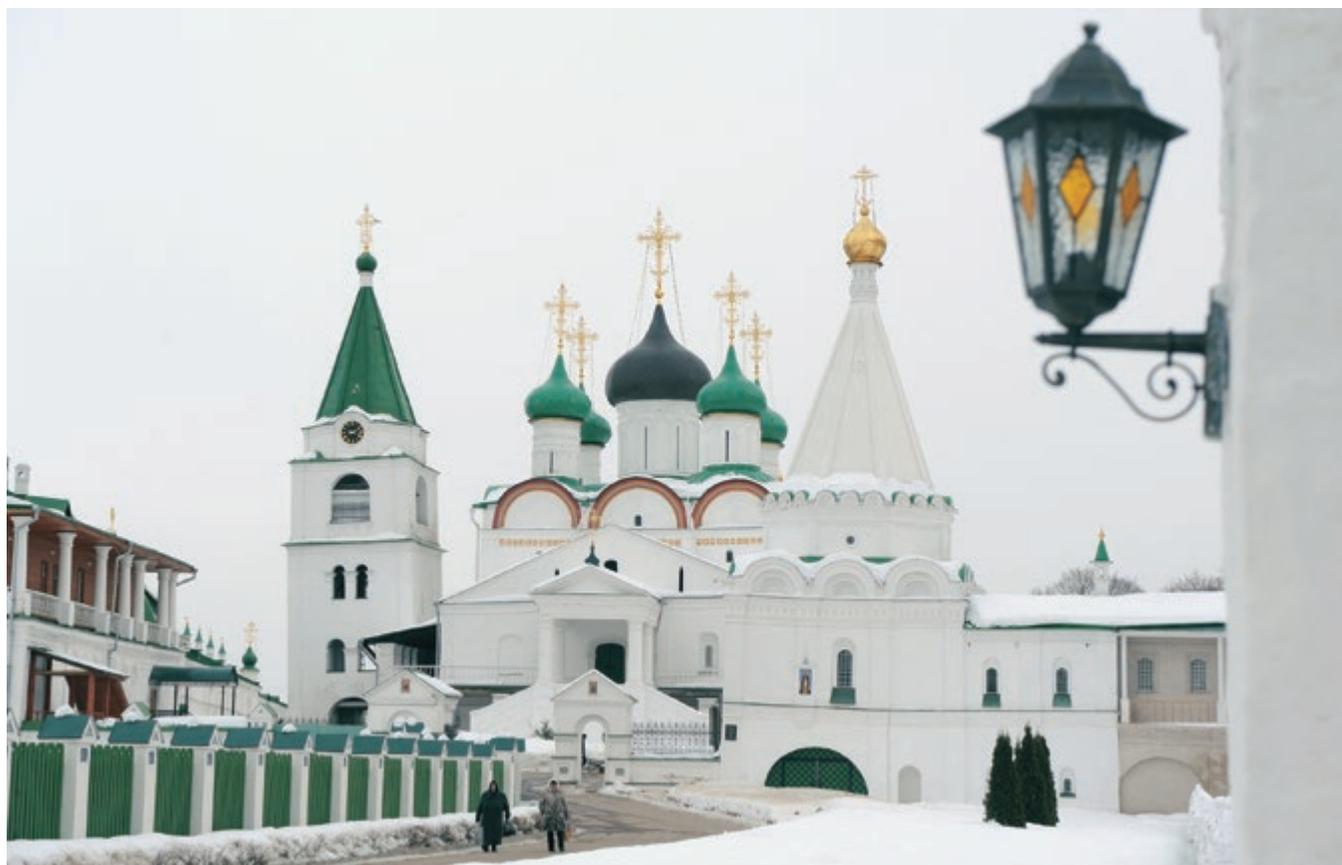
Есть и такой аргумент в пользу развития военных СМИ и восстановления к ним такого отношения, какое было в Российской империи и в СССР. Аргумент под

названием США. Не стоит спорить о том, является ли эта страна военным лидером планеты. Штаты не испытывают проблем с личным составом и мотивацией солдат и офицеров. Там слово «патриотизм» до сих пор – не пустой звук. И на этом фоне в государстве работает около полутора тысяч военных бумажных СМИ, треть из которых – журналы, а две трети – газеты. Разовый суммарный тираж превышает 10 миллионов экземпляров. У нас, для сравнения, примерно 200 тысяч. Если верить данным самих наших СМИ, заявляющих тиражи порой от вольного.

Интересно, как организовано финансирование этого процесса в США. Далеко не все из СМИ финансируются из военного бюджета. Хотя и эти цифры впечатляют. Довольно много изданий, которыми владеют частные компании. Другое дело, что тиражи удачных проектов выкупаются Пентагоном для распространения в частях и на базах, на боевых кораблях и в военно-учебных заведениях. Существуют строго высчитанные нормы минимального, так сказать, потребления профессионально-духовной пищи на солдатскую и офицерскую душу...

Тираж газеты «Красная звезда», главного печатного официоза Министерства обороны, — 100 тысяч экземпляров, распространяемых в России, СНГ и за рубежом. Так нам сообщает сайт PRO SMI.

Стандартная формулировка, из которой совершенно непонятно: СНГ – это за рубежом или все-таки нет? Равно как и не ясно – это сертифицированный тираж или заявленный самой редакцией. Впрочем, сейчас не об этом. Тираж военного официоза Америки Army Times – чуть больше: примерно 140 тысяч. И очень хочется посмотреть, как живет-тужит редакция этого журнала в пригороде Вашингтона — Спрингфилде. Жаль, что до этого Спрингфилда от столичной Беговой улицы так далеко... ❶



АНДРЕЙ СЕМАШКО

«УМЪ МОЛОДЬ НЕ ДОШЕЛЪ»

ЕВГЕНИЙ РЕЗЕПОВ

В своих молитвах братья Нижегородского Вознесенского Печерского монастыря всегда поминает монаха XIV века Лаврентия. Как считают многие исследователи, именно в стенах этой обители была написана одна из древнейших и знаменитых русских летописей — Лаврентьевская.

... М

Ы ДУМАЛИ, ЧТО лекцию о древнерусской литературе нам будет читать солидный мужчина в очках с толстыми линзами и потертым портфелем. Но в аудиторию вошла молодая стройная дама в облегающем платье, аккуратно положила на стол модную сумку. Она увлеченно рассказывала о старинных летописях, житиях, поучениях. Слушали мы невнимательно. На второй лекции Мария Алексеевна задала вопрос: в чем причина невнимания к предмету?

А нам казалась скучной эта пыль из тьмы веков. На экзамене я так и сказал Марии Алексеевне. Без стипендии за такое невежество она меня не оставила. Но грустно заметила: «Ум молод, не дошел».

Спустя двадцать лет я нашел эти слова в Лаврентьевской летописи, один из составителей которой именно так и написал о себе: ««Умь молодъ не дошель».

«НУ, ПОПРОБУЙТЕ!»

Сейчас, стоя во дворе Вознесенского Печерского монастыря, что в Нижнем Новгороде, я с чувством вины вспоминал Марию Алексеевну и те лекции, к которым мы – юные и глупые студенты – относились столь пренебрежительно. Я уже давно совсем иначе смотрю на летописи, и теперь меня никто не переубедит, по крайней мере, в одном: к примеру, о татарском нашествии на Русь лучше читать «Повесть временных лет», а не романы Василия Яна, как бы привлекательны они ни были...

От группы что-то обсуждавших монахов отделился один и направился ко мне. Отец Арсений по поручению настоятеля монастыря отца Тихона должен был препроводить меня в гостиницу. Между прочим, когда я спросил отца Тихона, могу ли я с ним побеседовать, он сурово и коротко ответил: «Ну, попробуйте!» Так же он ответил и на мой предыдущий вопрос о том, могу ли я приехать в монастырь: «Ну, попробуйте приехать!» Я решил попробовать и приехал, и теперь меня не покидало странное чувство: мне казалось, будто отец Тихон каким-то странным образом знает о моем легкомысленном отношении к летописям в студенческие годы и явно его не одобряет. Ведь считается, что именно в Вознесенском Печерском монастыре и была создана Лаврентьевская летопись – один из величайших памятников древнерусской литературы...

Я принял от монаха Арсения длинный ключ от старинного замка в древней двери, а затем аккуратно занес свою фамилию в толстый журнал учета гостей. В мо-

настырских гостиницах, где пришлось бывать, таких книг я не видел. Поэтому, возвращая отцу Арсению гостиничную «летопись» с автографом, я не преминул вспомнить о традициях летописания в монастыре, идущих со времен монаха Лаврентия. Отец Арсений помянул Лаврентия добрым словом, улыбнулся и повел меня в трапезную. Вид у него был презагадочный.

Свет из окон косыми лучами падал на чистенькие столы. В трапезной было чисто и тихо. Хотя, имея определенную долю воображения, легко представить, как стучали здесь деревянными ложками и чашками ветераны знаменитых баталий... Ведь в монастыре коротали свой век на казенном обеспечении постаревшие матросы первых кораблей Петра I. Между тем отец Арсений таинственно поманил меня и неожиданно открыл в стене незаметную дверку. Свет упал внутрь темной каморки. Обожженные кирпичи ее стен казались ровесниками самых древних монастырских построек. И если бы отец Арсений сказал мне, что я первый за последние шестьсот-семьсот лет заглянул сюда, я бы поверил...

Из нижегородского Вознесенского Печерского монастыря, основанного архимандритом Дионисием в начале XIV века, вышли святые преподобные Евфимий Суздальский, создавший знаменитый суздальский Спасо-Евфимиев монастырь, и Макарий Желтоводский и Унженский. Из этой именно обители шло посольство к князю Пожарскому с просьбой освободить Москву от польских захватчиков. Сюда же 12-летним отроком поступил Никита Минов – будущий Патриарх Московский и всея Руси Никон. И, наконец, возможно, именно здесь в 1377 году монах Лаврентий, житель Суздальско-Нижегородского княжества, писал летописный свод, позже названный по его имени.

Глядя в сумрак древней каморки, я пытался представить себе монаха, старательно выводящего строки знаменитой летописи. Увы, мы не знаем, ни как он выглядел, ни сколько ему было лет, когда он взялся за свой нелегкий труд. До того как прийти сюда, я побывал в церковно-археологическом музее при монастыре, но и там мне сказали, что о Лаврентии ничего не известно. Да и никто из многочисленных посетителей и паломников о нем не спрашивает, а картина с изображением монаха-летописца в начале экспозиции – всего лишь фантазия художника...

Обед в монастырской трапезной был отменный, особенно хороши оказались огурцы и грибы, засоленные в тяжелых темных бочках. Но время не ждет. И вот уже я снова шагаю по монастырскому двору рядом с монахом Арсением, который подробно объясняет, как обойти обитель и дойти до Старых Печер.

Оказывается, там монах Лаврентий и писал летопись. Раньше монастырь находился в Старых Печерах, но после того, как в конце XVI века оползень с горы снес обитель в Волгу, его перенесли на полторы версты – на нынешнее место.

дая здесь ныне таяние снега и длинные плачущие сосульки на деревьях, можно представить: то же видел и монах Лаврентий, когда, давая отдохнуть глазам, выходил на свет божий из своей кельи. Закончив труд, он написал: «Худый, недостойный и многогрешный раб Божий Лаврентий мних».

...Перед Спасо-Преображенским храмом – никого. Тишина и спокойствие. За-

А на старом — построили приходский Спасо-Преображенский храм. «Тогда гора прошла под монастырем, подняла его, как на спине, и вынесла в Волгу. Только утварь успели спасти», – объясняет отец Арсений. Оползень же открыл старые могилы, и братия обнаружила нетленные мощи, которые сейчас хранятся в Спасо-Преображенском храме. Может, это мощи Лаврентия? «Что вы! – замахал руками отец Арсений. – Это мощи схимонаха Иосафа, он умер за тридцать лет до оползня. А тот Лаврентий... Это ж XIV век!»

«ХУДЫЙ, НЕДОСТОЙНЫЙ И МНОГОГРЕШНЫЙ...»

Мы остановились передохнуть у слепого окна в древней стене, в нише которого вольготно развалился пушистый кот. Он жмурился на солнце и лениво наблюдал за проходившими мимо трудниками и паломниками...

И показалось, что и тогда – семь веков назад, когда жил монах Лаврентий, – здесь шла такая же обыденная и размеренная жизнь. Звук шагов, скрип деревянных ступеней, стук двери, распахнутой ветром, попавшим в ловушку монастырского двора, обнесенного высокой оградой... Правда, тогда за забором виднелась гора, а сейчас красуются коттеджи. За ними – Старые Печеры, до которых можно дойти за двадцать минут. Однако напрямую пройти нельзя: была раньше калитка, но ее закрыли, чтобы чужие не превращали монастырь в проходной двор. Отец Арсений еще раз объясняет мне, как дойти до Старых Печер: «Не заплутаете, прямо идите, прямо и увидите!» А два трудника, как малые дети, уже тянут его куда-то, просят осмотреть выполненную работу. Отец Арсений смеется, машет рукой: «Вечером расскажете!»...

Да нет, конечно, сейчас все иначе, не так, как было во времена Лаврентия: не было этих коттеджей, скоростного шоссе вдоль великой русской реки, канатной дороги над ней... И уж точно не было этих шашлычных дворики, как лишай, опоясавших гору, под которой стоит монастырь. И этих многочисленных захлапленных дворики мотелей и автостоянок – тоже не было. Гора над Волгой – вот что способно перенести в атмосферу времен монаха Лаврентия. И полное одиночество: за все время пути я не встретил ни одного человека. Но есть еще одно совпадение. Время года.

Лаврентьевская летопись, рассказывающая об истории Русской земли с древних времен до 1305 года, была написана по благословию епископа Суздальского Дионисия и предназначалась для великого князя Суздальско-Нижегородского Дмитрия Константиновича – тестя благоверного князя Дмитрия Донского. А одной из причин ее создания было поднятие патриотического духа русичей в период противостояния с монголо-татарскими завоевателями. Летопись была переписана двумя писцами при незначительном участии третьего, при этом второй писец назвал себя в приписке – монах Лаврентий. В послесловии он указал, что начал работу 14 января, а закончил 20 марта 6885 (1377) года. Так что, наблю-

смаатриваюсь на зеленые купола. Над ними с гулом пролетает самолет и медленно, будто нехотя, исчезает за горой. На этой горе семь столетий назад святой Дионисий вырыл пещеры, с которых и начался Вознесенский Печерский монастырь. Считается, что Дионисий выбрал это место из-за сходства с Киевскими высотами над Днепром.

На углу старого бревенчатого дома скучает вывеска «Старо-Печерская слобода». Дорога утоптана, лед на крыльце храма обколот. На дверях – расписание служб. Значит, люди сюда идут. Но сколько из тех, кто приходит, вспоминает о Лаврентии?

Место его захоронения неизвестно, доподлинно неизвестно и в самом ли деле тут он писал свою летопись – еще два монастыря могут претендовать на монаха Лаврентия. Но я оглядываюсь вокруг, и мне хочется верить, что именно здесь писалась Лаврентьевская летопись. И что я не зря пришел сюда на свидание с седой древностью... Кажется, даже сейчас тут спокойно можно засесть за написание многотомного исторического труда. Ничто не отвлекает от тяжелой работы переписчика. Полное уединение и отрешенность. Только ветер шумит на горе, да далеко над Волгой розовеют закатные облака...

Как хорошо, что я дошел до Старых Печер в одиночестве, успев о многом подумать во время пути! Нужно прожить жизнь, чтобы оценить совершенный летописцем духовный подвиг и понять, что из написанного остается в веках. И сколько драгоценного вре-

мени потрачено на перелистывание легковесного вздора. «Умь молодь не дошель»? Да-да, отец Лаврентий, именно так!

Я стараюсь запомнить каждую деталь увиденного, потому что знаю: вечером ко мне придет монах Арсений и будет расспрашивать о впечатлениях. Он сам бывал тут сотни раз, но его любопытному молодому уму интересно узнать мнение нового человека. И когда следующему жильцу монастырской гостиницы он протянет книгу учета, то, возможно, скажет, что в обитель приезжают еще и ради того, чтобы посмотреть на место создания знаменитой Лаврентьевской летописи. И, возможно, кто-то пройдет тем же путем, что и я...

Вечером приходит Арсений, и я сбивчиво рассказываю молодому монаху о Марии Алексеевне, о пронизательности отца Тихона и о Старых Печерах. Он внимательно слушает, вздыхает и говорит: «Вот же! И слава богу, что приехали и посмотрели. А отца Тихона не стесняйтесь, он хороший!»

Настоятель монастыря отец Тихон верен себе, а потому мой рассказ о впечатлениях предваряет своим любимым выражением: «Ну, попробуйте! Расскажите!» Заканчивая рассказ, я хвалю монаха Арсения, который меня опекал. Отец Тихон улыбается, кивает и загадочно говорит: «Он человек из Древней Руси». Беседа переходит с темы на тему, отец Тихон сетует, что монастырь окружают увеселительные заведения, и называет обитель остро-вом. Рассказывает, что, когда принял монастырь, тут был всего один монашествовавший, а теперь восемнадцать. Для городского монастыря – обычное дело. О том, что монах Лаврентий написал летопись, вокруг которой филологи и историки сломали немало копий, он узнал только здесь, когда знакомился с историей монастыря. Внимание на этот факт обратил сразу. Но о самом монахе Лаврентии сказать ничего не может. Судя по всему, был молод, грамотен, имел твердую руку и зоркие глаза и, вполне возможно, походил на Арсения.

Но не все считают Вознесенский Печерский монастырь местом создания Лаврентьевской летописи. Писец единственной дошедшей до нас в подлиннике нижегородской летописи монах Лаврентий сообщил даты написания и указал, по чьему благословию она создана, но не сообщил места, где писалась рукопись. Нижегородский историк, автор исторических монографий Борис Пудалов считает, что Лаврентьевская летопись создавалась на Нижегородской земле, но в другом монастыре – Благовещенском, который расположен всего в 3 километрах от Вознесенского Печерского. «Пудалов – серьезный исследователь, с ним спорить трудно, – говорит отец Тихон. – Он весь архив нашего монастыря знает от и до».

ФУНДАМЕНТ И ЭТАЖИ

Обнаружил Лаврентьевскую летопись граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин, купивший ее в 1792 году в Рождественском монастыре города Владимира. Граф подарил рукопись Александру I, а император передал ее в Публичную библиотеку (ныне – Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург. – **Прим. ред.**), где она хранится и сегодня. Историк В.Л. Комарович, опираясь на текстологический анализ летописной хвалы владимирскому князю Юрию Всеволодовичу (сын Всеволода Большое Гнездо. – **Прим. ред.**), местом составления летописи считал нижегородский Благовещенский монастырь. А самого Лаврентия, соответственно, монахом этой обители. Исследователь А.Н. Насонов полагал, что Лаврентий был монахом Печерского монастыря, но местом его работы считал владимирский Рождественский монастырь, упомянутый во владельческой записи на л. 1 Лаврентьевской летописи. Суздальское происхождение нижегородской княжеской династии определило мнение Н.Н. Дурново о написании Лаврентьевской летописи в Суздале. Н.Д. Русинов на основе лингвистических данных доказал нижегородское происхождение рукописи Лаврентия. Ученый привел версии о Благовещенском и Печерском монастырях как наиболее вероятных местах ее написания. Историк-краевед А.И. Елисеев считал местом составления летописи Печерский монастырь, так как именно эту обитель основал и возглавлял до поставления на суздальскую кафедру пришедший из Киева Дионисий, благословивший труд переписчика. Эта точка зрения была общепринятой в XIX и XX веках, пока историк Пудалов не пришел к выводу, что аргументы в пользу той или иной версии о месте создания Лаврентьевской летописи неравноценны. «Из того, что Дионисий когда-то возглавлял Печерский монастырь, не следует, что все книжники, работавшие по благословию владыки, непременно были иноками этой обители, – пишет он. – Для версии о составлении летописи во владимирском Рождественском монастыре недостаточно единственного довода – поздней владельческой записи, не подкрепленной текстологическим анализом самого по-

рукопись. «А теперь представьте: будет он ходить по этому поводу в другой монастырь? – победно вопрошает отец Тихон. – Благовещенский монастырь был домовым монастырем московских митрополитов. Дионисий никак не мог туда прийти и что-то приказать. Быть такого не может! Я думаю, он к Лаврентию каждый день ходил в келью. Дионисию самому было интересно. Он сам в руках держал рукопись и перечитывал!»

вестования. Тем более нет оснований для версии о Суздале как о месте написания летописи». Пудалов провел текстологический анализ поминальной статьи нижегородских князей в монастырских синодиках и определил, что существовали три редакции великокняжеского синодика. Редакция в синодике Благовещенского монастыря наиболее точно соответствует нижегородскому великокняжескому летописанию — и в перечне имен князей, и в порядке их следования. Близость именно благовещенской редакции следует рассматривать как косвенный довод в пользу ведения монахом Лаврентием летописи в Благовещенском монастыре, считает Пудалов.

Возможно, и хранилась Лаврентьевская летопись в этой обители. На лицевой стороне л. 1 рукописи остались две сильно поврежденные владельческие записи. Полностью была прочитана лишь упоминавшаяся выше запись: «Рождественскова манастыря Володимерьскаго», сделанная в первой половине XVII века. Более ранняя запись, введенная в научный оборот Г.И. Вздорновым и учтенная при подготовке «Сводного каталога славянорусских рукописных книг XIV в.», настолько повреждена, что сохранились лишь несколько букв: «...л[.]ов[.]ще[.]ск...» Эти уцелевшие буквы и дали Пудалову основания считать ее владельческой записью Благовещенского монастыря.

Ни один из упомянутых монастырей стопроцентно не претендует на звание места создания летописи. К тому, что местом создания рукописи считается Вознесенский Печерский монастырь, все относится спокойно. Рассуждение Пудалова насчет версий о месте создания Лаврентьевской летописи – единственное в своем роде. А вычеркнуть монаха Лаврентия из своей семивековой истории монастырь не собирается, какие бы исследования ни проводились. «Нашей обители монах Лаврентий, и пусть только попробуют потянуть одеяло на себя! Мы Лаврентия с Дионисием и книжником Павлом Высоким всегда в поминальных молитвах упоминаем! – решительно говорит отец Тихон. – Но гостям мы, конечно, всегда рассказываем и о версии с Благовещенским монастырем».

Впрочем, нынешние паломники и туристы интереса к вопросу о месте создания Лаврентьевской летописи никогда не проявляли. В монастыре не помнят такого. Директор церковно-археологического музея обители вообще мне заявила, что «для современной жизни установление места написания Лаврентьевской летописи неактуально».

Но вряд ли можно с ней согласиться. Создание Лаврентьевской летописи было не только просветительским, но и духовным подвигом. Предстоящее столкновение с монголо-татарами – до Куликовской битвы оставалось всего три года — и желание сохранить историю Древней Руси заставили игумена Дионисия выбрать монаха и наложить на него послушание в виде создания летописного свода. Дионисий предоставил ему документы и тексты. Следил за работой, редактировал

Склонность к ведению самых разнообразных записей и летописей и сегодня присуща Вознесенскому Печерскому монастырю, на что я обратил внимание, еще расписываясь в гостиничной книге. При монастыре создан издательский отдел Нижегородской епархии, выпускающий журналы, множество книг и альбомов. Ведется большая исследовательская работа в архивах страны. Сам отец Тихон составляет хронику монастыря, пишет книги на исторические темы и даже ведет личные записи о каждом прожитом дне. Все это он делает по собственному почину, так как считает, что иначе в монастыре, где была создана Лаврентьевская летопись, быть не может. На эти труды его вдохновляет подвигом Лаврентия, который имел на вооружении пергамент, набор гусиных перьев и несколько видов красок. Поэтому побывать тут и оценить, как в XIV веке создавались исторические и литературные труды, желательно каждому пишущему человеку. А в противном случае, как говорится, «умь молодь не дошель».

«Все, что мы тут делаем, это продолжение Лаврентьевской летописи, – говорит отец Тихон. — Лаврентий заложил фундамент, а мы строим этажи!» В том, как тяжелы эти этажи, я убеждаюсь, когда отец Тихон нагружает меня книгами, изданными в монастыре, в том числе и собственного сочинения. От предложения монаха Арсения, который вызвался помочь донести груз, отказываюсь. Эту ношу нужно нести самому. 📖

ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ И КРАМОЛА

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Что мы помним о Николае Новикове? Всего ничего обычно: он был масон, да еще — просветитель. Кажется, книги печатал. Кажется, сидел в тюрьме. Целая жизнь уложилась в несколько слов... А жизнь удивительная — цельная, чистая и очень горькая.



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

Д.Г. Левицкий.
Портрет
Н.И. Новикова.
1797 год

НОВИКОВ РОДИЛСЯ В 1744 году в селе Авдотьино, оно же Тихвинское, по названию храма Тихвинской Божьей Матери. В этом селе жил взрослым, здесь же умер, здесь и похоронен. Усадьба в полном запустении, от дома ничего не осталось, флигель, на котором установлена мемориальная доска, зияет пустыми окнами. Уцелели несколько кирпичных домов, которые при Новикове строили для крестьян. Рассказывают, что под всей усадьбой тянутся потайные ходы; их никто толком не исследовал. Зато уже появляются новые легенды о Новикове: в них он не просто масон, а еще фальшивомонетчик, алхимик, только что не колдун.

НЕДОРОСЛЬ

А он был обыкновенный издатель. Правда, лучший в России в свое время. Он фактически сформировал в России книжный рынок, основав издательство, которое бесперебойно выпускало недорогую и хорошо изданную литературу. Он издавал лучший в XVIII веке журнал, «Живописец», и первый журнал для детского чтения, он стоял у истоков русской общественной мысли. Историк Ключевский писал: «Люди, близкие к тому времени и к самому Новикову, утверждали, что он не распространил, а создал у нас любовь к наукам и охоту к чтению; что благодаря широкой организации сбыта и энергическому ведению дела новиковская книга стала проникать в самые отдаленные захолустья и скоро не только Европейская Россия, но и Сибирь начала читать».

Откуда берутся такие необыкновенные? Начало жизни — самое обычное для дворянского недоросля:

сын флотского капитана, алатырского воеводы, один из пятерых детей, учился у местного дьяка, играл с крестьянскими мальчишками, с рождения был записан в Измайловский полк. Образованием дворянских неучей озаботились к этому времени лучшие умы государства: не дело, чтобы детей обучали люди, к учительству вовсе не пригодные, даром что иностранцы: бывшие слуги, повара, парикмахеры. Большой резонанс получила история о семье, по невежеству своему взявшей в учителя сына «чухонца» вместо француза; тот и научил дворянского сына финскому языку. В 1755 году открылся Московский университет, а при нем – гимназия для дворянских детей; среди ее первых учеников – братья Фонвизины и Николай Новиков. Учился он в школе европейских языков, правда, потом с какой-то странной скромностью писал, что языкам не обучен, но обучен был, и неплохо: во втором классе учитель французского даже отметил его среди лучших. Однако в январе 1760 года учение окончилось: Новикова отчислили из гимназии «за леность и нехождение в классы»; биограф просветителя Западов выяснил, что причиной отчисления стала отлучка, о которой тот не предупредил начальство. Вряд ли Новиков отличался особой леностью. Читал много, задумывался о главных вопросах современности: о предназначении просвещенного человека, о пользе, которую он должен принести обществу. В 1762 году Новиков, которому пришла пора служить, отправился в Измайловский полк. Служба была не в радость: Петр III добивался от своей армии безукоризненной выучки, и львиную долю времени отъедал бессмысленный фрунт, шагистика – строевая подготовка, как сейчас говорят. Однако очень скоро полк принял самое деятельное участие в дворцовом перевороте. На трон взошла молодая царица Екатерина, и на измайловцев пролились монаршие милости. Новиков получил унтер-офицерский чин. Еще находясь на

службе, он предпринял первую попытку книгоиздания: заказал в типографии, принадлежащей Академии наук, печать «Реестра российским книгам, продаваемым в Большой Морской, в Кнутсоновом доме» – там находилась книжная лавка. Каталог, отпечатанный в 400 экземплярах, должен был помочь читателю сориентироваться в книжном изобилии. Первый опыт оказался успешным, и вторым стало издание «Пересмешника» Михаила Чулкова, живых и остроумных бытовых сказок. Книга продавалась хорошо. Идея заняться книгоизданием не оставляла Новикова, но, чтобы выйти в отставку и наладить дело, нужны были деньги. Авдотьино большого дохода не давало – разве только позволяло прокормиться, и Новикову пришлось одолжить денег у хозяина университетской книжной лавки Христиана Вевера.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА

Прежде чем Новиков вышел в отставку и предался избранному делу, ему пришлось послужить в Комиссии Нового уложения. Екатерина II, осознав, что законодательство в стране находится в хаотическом состоянии, решила создать комиссию для создания новых законов. Она написала для Комиссии Наказ с изложением воззрений французских просветителей на закон. В новом законодательном органе работали депутаты от всех сословий, кроме крестьянского. Нет, крестьяне исправно заваливали императрицу жалобами на тиранию своих господ, бегство крестьян от хозяев принимало масштаб серьезной государственной проблемы, но решение царица нашла самое немудрящее: крестьянам сенатский указ запретил жаловаться на господ под страхом телесного наказания. А господ потихоньку попросили не очень-то уж зверствовать и помнить о человеколюбии.

На секретарские должности в Комиссию брали грамотных дворян из гвардии. Новикову довелось фиксировать прения в Комиссии о среднем роде людей; это странное название обозначает не третий пол, а социальный статус мещан: торговцев, духовенства, художников, приказных служащих, ученых. Несколько лет работы в Комиссии стали для Новикова целой школой просвещения: перед ним открылась масштабная картина крестьянского бесправия. И видеть страшно, и сделать, кажется, ничего нельзя. Комиссия, призванная создать справедливые законы, довольно скоро окончила свою работу.

В 1768 году она переехала из Москвы в Петербург (а с ней и Новиков, уже в офицерском чине), затем, с началом русско-турецкой войны, и вовсе свернула свою деятельность. С армейской службой Новиков свое будущее не связывал. Поэтому в 1769 году он вышел в отставку и занялся издательским делом.

не пример брали с сего чудовища, то бы не было у нас кроме мучителей и мучеников. Однако благоразумный Мирен не следует мнению Змеянову и совсем отменно с подвластными себе обходится».

Иногда «Трутень» писал не об отвлеченных Змеянах и Миренах, а о самых обыкновенных Филатках и Андрюшках. Письмо Филатки в «Трутне» – совершенно реалистический, живой рассказ о человеке, задавленном горем и нуждой: «...денег не плотит, говорит, что взять негде: он сам все лето прохворал, а сын большой помер, остались малые ребяташки, и он нынешним летом хлеба не сеял, некому было землю пахать, во всем дворе одна была сноха, а старуха его

и с печи не сходит. Подушные деньги за него заплатил мир, видя его скудость...» – пишет о нем барину староста Андрюшка. И докладывает об исполнении поручений: «С Антошки за то, что он тебя в челобитной назвал отцом, а не господином, взято пять рублей. И он на сходе высечен». Добролюбов замечал по поводу писем Андрюшки и Филатки: «Эти документы так хорошо написаны, что иногда думается: не подлинные ли это?»

«Всякая всячина» тоже сострадала несчастным крестьянам. В одном из ее номеров даже шла речь о том, как некий злой господин немилосердно порет крестьян. А злая сатира «Трутеня» казалась императрице чрезмерной. Так что очень скоро «Всякая всячина» и «Трутень» схлестнулись в полемике о роли социальной сатиры. Сатира вообще должна знать свое место, указывала «Всякая всячина». Некий Афиноген Перочинов поучал в ней: «1) никогда не называть слабости пороком; 2) хранить во всех случаях человеколюбие; 3) не думать, чтоб людей совершенных найти можно было, и для того 4) просить Бога, чтоб нам дал дух кротости и снисхождения», а «Всячина» добавляла от редакции: «Я хочу завтра предложить пятое правило, а именно, чтобы впредь о том никому не рассуждать, чего кто не смыслит; и шестое, чтоб никому не думать, что он один весь свет может исправить».

В УЛЫБАТЕЛЬНОМ ДУХЕ

Это было время появления первых русских журналов. Начала выходить «Всякая всячина», организованная Екатериной II. Вместе с изданием собственного журнала императрица разрешила издавать журналы всем желающим. Так на свет появились «И то и сё» Михаила Чулкова и «Смесь» неизвестного издателя. Журналы были небольшие, по четыре странички. Тон задавала «Всякая всячина», объяснявшая читателю, какой образ мыслей похвален, а какой предосудителен. Она ратовала за сатиру в «улыбательном духе», за обличение пороков, а не людей: ведь совершенных людей не бывает, зачем же переходить на лица!

Новиков стал издавать свой журнал. И название для него выбрал резкое, непохожее на всю эту бестолковую смесь такой и сякой всячины. «Трутень» стал наследником сумароковской «Трудолюбивой пчелы», и эпиграф был избран из Сумарокова: «Они работают, а вы их труд ядите». «Всякая всячина» старалась быть доброй старушкой, проповедующей человеколюбие, «Трутень» был ядовит и безжалостен. На его страницах появляется целая вереница злых, надутых, жадных дворян с говорящими именами: Безрассуд, Змеян, Злорад, Недоум, Себялюб. С Новикова начинается русская социальная сатира – да не только сатира: то бедная Лиза печально выглянет из его коротких историй, объясняющих русские пословицы, то высунется рожа Митрофанушки, то в «несчастном Е***», чей батюшка читает Четьи-Минеи, а матушка вовсе читать не любит, обозначатся черты Петруши Гринева. А «Дикий помещик» Салтыкова-Щедрина прямо вырос из новиковского Недоума (уже в следующем издании, «Живописце»), который не раз подавал правительству просьбы об истреблении простого народа.

Как и положено человеку эпохи Просвещения, Новиков обличал не социальный строй, а пороки – правда, носители этих пороков чуть не на подбор оказывались скверными господами. Исправьте пороки, исправьте сердца – и наступит справедливость. Вообще, сама идея что-нибудь законодательно поменять в положении крестьян – это была идея очень далекого будущего. Сейчас все упования возлагались на исправление человеческой природы: «Змеян, человек неосновательный, езда по городу, надседеаяся кричит и увещевает, чтобы всякий помещик, ежели хорошо услужен быть хочет, был тираном своим служителям; чтоб не прощал им ни малейшей слабости; чтоб они и взора его боялись; чтоб они были голодны, наги и босы и чтоб одна жестокость содержала сих зверей в порядке и послушании. <...> И если б все дворя-

«Трутень» устами своего персонажа Правдулюбова возражал жестко и по делу: называть пороки слабостями – это не человеколюбие, а пороколюбие; слабость и порок – одно и то же; можно по слабости влюбиться в чужую жену и опозорить ее дом, можно по слабости пьянствовать и в пьяном виде «жену и детей прибить до полусмерти». Наконец, «слабость и порок, по-моему, все одно; а беззаконие дело иное».

«Всякая всячина» в ответ посоветовала Правдулюбову лечиться, «дабы черные пары и желчь не оказывались даже и на бумаге, до коей он дотрогивается». «Трутню» пришлось осторожничать и сбавлять накал полемик. «Всякая всячина» продолжала печатать длинные и скучные нравоучения. Это довольно скоро опостылело читателю, и тираж журнала стал падать. В 1770 году он закрылся, а вслед за ним закрылся и «Трутень».

После «Трутня» Новиков начал печатать «Пустомелю». Во втором номере он опубликовал стихи Фонвизина «Завещание Юнджена, китайского хана» (в них хан наставляет сына, как править, и порядки в его царстве разительно отличаются от российских) и «Послание к слугам моим, Шумилову, Ваньке и Петрушке» (автор спрашивает, зачем так дурно устроен свет, – что многие расценили как опасный атеизм). Так что третий номер журнала не вышел.

Новиков некоторое время служил в Иностранной коллегии переводчиком, а затем снова взялся за журнал. «Живописец» продолжал дело «Трутня». Среди текстов, появившихся в журнале, был опубликован «Отрывок путешествия в *** И *** Т ***», принадлежащий перу Радищева и рисующий безрадостные картины сельской жизни: «Дворов около двадцати, стесненных один подле другого, огорожены иссохшими плетнями и покрыты от одного конца до другого сплошь соломою... Улица покрыта грязью, тиной и всякою нечистотою, просяхающая только зимним временем...» Деревня называлась Разоренной; в

следующих номерах было обещано рассказать о другой деревне, Благополучной, но читатели так и не дождались этого рассказа – должно быть, Благополучной не нашлось.

Не стоит думать, что «Трутень» и «Живописец» были целиком посвящены крестьянской теме – в них было полным-полно жанровых сценок, бытовых миниатюр, пародий, сатирических объявлений (одно из них, о престарелой кокетке, ищущей любовников, тоже целило в очень ясную по тем временам мишень; императрице было за что недолюбливать Новикова). «Живописец» закрылся в 1773 году, но Новиков уже был занят другим делом.

КНИЖНАЯ ИМПЕРИЯ

Еще в 1772 году он издал «Опыт исторического словаря о российских писателях» – книгу, в которую вошли сведения о 317 русских писателях, от хорошо знакомых читателю до совсем неизвестных, чьи произведения ходили еще в рукописи. Потом, став во главе «Общества, старающегося о напечатании книг», издал 18 переводов классических зарубежных книг на русский язык. Так русский читатель познакомился с Гулливером, Сидом, Кандидом, с «Метаморфозами» Овидия (они назывались «Превращения») и комедиями Гольдони.

Следующий его издательский проект был огромным и важным: «Древняя российская вивлиофика» печатала дипломатические документы древней Руси, записки об истории Сибири, рассказы о путешествиях в другие страны, географические описания, летописи, памятники литературы. Издание вместо прибыли принесло убытки, подписчиков оказалось мало, однако Екатерина, благоволящая к изданию древних документов, дважды щедро помогала издателю деньгами. После «Вивлиофики» Новиков издавал «Кошелек», высмеивающий галломанов, издал лучшее из «Живописца» и «Трутня» отдельной книгой и задумывался о том, как распространять книги по России: доставка книг за пределы Петербурга и Москвы была слишком дорогой и трудной, а книжный голод никак не насыщался. По России прокатился пугачевский бунт; времена менялись, жизнь требовала новых смыслов и новых решений. Что делать, чем служить общественной пользе, если ни от обличения порока, ни от прославления добродетели нет никакого толку: нравы никак не исправляются; путь восстания кровав и страшен. Стало быть, лучше всего – путь личного самосовершенствования для каждого человека.

В 1775 году Новикова пригласили в масонскую ложу. Масонство пришло в Россию несколькими десятилетиями раньше, а к концу XVIII века получило уже широкое распространение в столичной дворянской среде, привлекая одних



Церковь в селе Тихвинском, в которой похоронен Н.И. Новиков

ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

полезными знакомствами, а других – идеей духовного роста, самосовершенствования. Обещание новых смыслов и привело Новикова в масонство. В отличие от других его не проводили через знакомый нам по «Войне и миру» ритуал, а приняли сразу в третий градус, сделав для него исключение из правил – возможно, потому, что порядочный, умный и честный Новиков был масонам нужнее, чем они ему. Так он стал мастером в ложе «Уралия» и сосредоточился на собственном духовном росте.

Шварц не просто был масоном – он, в отличие от Новикова, больше занятого издательскими делами, жил масонством, ездил за границу по масонским делам, привез в Россию идеи розенкрейцерства. Новиков стал мастером в новой ложе, члены которой интересовались алхимией и мистикой; сказки о Новикове-алхимике рассказывают до сих пор. Между тем самому ему претили туманные размышления Шварца; в конце концов он решил отмежеваться

Он снова стал издавать книги и основал первый русский библиографический журнал, «Санкт-Петербургские ученые ведомости». В 1779 году Новиков арендовал типографию Московского университета, навел в ней порядок и стал издавать книги: учебные, религиозные, научные, художественные – и, конечно, масонские. Масоны создали в России Типографическую компанию, которая занималась распространением книг по всей стране. Новиков особенно заботился о том, чтобы книга была хорошо издана и стоила немного – чтобы читатели из третьего сословия могли ее себе позволить. Появилась нормальная книготорговая сеть, объединяющая издателей и распространителей книг, Просвещение зашагало по стране.

Новиков основал в Петербурге два училища – Александровское и Екатерининское. Издавал первый русский журнал для детей, «Детское чтение для сердца и разума», и первый журнал для женщин, «Модное ежемесячное издание, или Библиотека для дамского туалета» – преимущественно литературный, но с приложением модных картинок.

Новиков со своим другом Иваном Шварцем, создателем учительской и филологической семинарий при университете, задумал масштабный план просвещения страны: готовить учителей, распространять книги – всем этим должно было заниматься Дружеское ученое общество, членами которого тоже были масоны.

от умонастроений собратьев по ложе и в своих рассказах по русским пословицам «Сиди у моря тихого, жди погоды теплая» и «Свое добро теряет, а чужого желает» высмеял и тайны масонских высоких градусов, которые соблазняют людей рассказами об извлечении золота из ничего, и человеческую глупость и жадность, которые заставляют верить в эти сказки и жертвовать для них состоянием. Шварц был недоволен Новиковым. «Он меня подозревал в холодности к масонству и ордену, – говорил на допросе Новиков, – потому что я, быв совершенно занят типографскими делами, упражнялся в том урывками, а я, ведая пылкость его характера и скорость, удерживал его, опасаясь, чтобы в чем не приступить, невеликой осторожностью смотрел на все, что он делал, насколько мне было возможно». Шварц вскоре заболел и умер. Новиков взял к себе в дом его вдову и детей. Сам он уже тоже был женат, пошли дети. Дети много болели, сам он тоже болел. 1784 год – год смерти Шварца – стал нелегким годом. Именно с этого времени деятельность Новикова стала привлекать к себе внимание правительства.

ОБИТАТЕЛИ КАМЕРЫ №9

В типографии Новикова печатались журналы «Утренний свет», «Московское ежемесячное издание», «Вечерняя заря», «Покоящийся трудюбец» и газета «Московские ведомости». У «Ведомостей» было несколько приложений: экономическое, научное, литературное, детское. Уже сложился круг авторов, работающих с журналами. Сам Новиков отдавал в «Утренний свет» свои философские статьи, где говорил о вреде рабства, необходимости свободы мысли. Среди книг, вышедших из типографии и расходившихся по всей России, была отнюдь не только масонская литература – она терялась в потоке учебников, научной литературы, книг русских и иностранных писателей. Эта растущая книжная империя в сочетании с масонством, Дружеским ученым обществом, Типографической компанией тревожила Екатерину II. В мире и так

было беспокойно. Испуганная объявлением независимости США от британской короны, императрица чувствовала, что троны по всему миру стали шататься. А на такие события монархи всего мира реагируют одинаково: зажимом политических свобод, усилением политического сыска и истреблением вольномыслия. Она стала внимательно присматриваться к деятельности Новикова. Долго искали повода, чтобы прищучить издателя – но повод никак не находился. Придирались по мелочи: не нарушено ли тут авторское право? А вот тут автор ругает орден иезуитов, а он дружествен нам, изъять тираж. Здесь запретить статью, там книгу. Наконец, Екатерина потребовала, чтобы архиепископ Платон (Левшин) выяснил, крепок ли Новиков в православной вере, не еретик ли и нет ли в его изданиях чего-нибудь противного религии. Архиепископ побеседовал с издателем и сказал, что желал бы, чтобы и другие христиане были таковы, как Новиков. Среди почти полусотни книжек нашли 23 неблагонадежные – и запретили.

Хуже того, Новиков пытался подменить собой государство на ниве филантропии – того самого человеколюбия, которое проповедовала императрица, – и ему это хорошо удавалось. В неурожайный 1787 год, когда страна изнемогала от голода, Новиков раздавал хлеб крестьянам. В Москве рассказывал друзьям, как люди умирают от голода и едят сено и солому. Сын уральского заводчика Григорий Походяшин дал Новикову 10 тысяч рублей на покупку хлеба для раздачи людям. Отчета не просил – доверял. Своего имени просил не называть. Этот хлеб, неизвестно на какие деньги купленный, потом породил множество сплетен о том, что Новиков у себя в имении печатает деньги или выплавляет золото алхимическим путем.

В конце концов чаша терпения императрицы переполнилась. В 1787 году Московский университет не продлил заключенный с Новиковым договор аренды. Указ императрицы запретил все духовные книги, которые печатаются не в синодальной типографии, – их следовало уничтожить, и из книжных лавок изъяли книги, отпечатанные Новиковым, и сожгли. Сам Новиков уехал в Авдотьино. Он тяжело болел, жена вскоре умерла от чахотки, Новиков остался вдовцом с тремя малыми детьми. Книгоиздательская империя разваливалась: доходы падали, появились долги – так что Типографическую компанию решили ликвидировать. Все ее долги Новиков взял на себя. Тем временем в Париже грянула революция.

Поиски крамолы ужесточились – и в конце концов привели чиновников уголовной палаты в Авдотьино. Новиков, узнав об обыске, упал в обморок, а после него долго не вставал. Тем не менее его было велено арестовать и привезти в Москву. Состояние арестанта было таким скверным, что вместе с ним поехал и доктор Багрянский. Доктора потом посадили вместе с пациентом – «за перевод развращенных книг».

Допросы длились долго: выясняли всё – и какие книги печатал, и зачем мasons ездили за границу, и зачем общались с наследником престола, и откуда деньги на книгоиздание... Никаких улик, свидетельствующих о государственных преступлениях, не нашлось. В списке преступлений значились тайные сборища, общение с иностранцами, издание неразрешенных книг. «Впрочем, хотя Новиков и не открыл еще сокровенных своих замыслов, – писала в своем указе Екатерина, – но вышеупомянутые и собственно им признанные преступления столь важны, что по силе законов тягчайшей и нещадной подвергают его казни. Мы, однако же, и в сем случае, следуя сродному нам человеколюбию... повелели запереть его на пятнадцать лет в Шлиссельбургскую крепость». В камере, где некогда доживал свои дни несчастный царевич Иван Антонович, Новиков просидел четыре года вместе с доктором Багрянским и слугой доктора, который пошел в заключение вслед за господином. Прогулки не разрешали. На пропитание всем троим выделяли рубль в день. Холод, сырость, недоедание, болезнь, вещи, которые были на себе на момент ареста, изнасились, других взять негде. Дома – осиротевшие дети, за ними присматривал мason, поэт и переводчик Семен Гамалея. Полуживой Новиков посылал Екатерине мольбы о прощении или хотя бы об увеличении кормовых денег. Она не отвечала. В 1796 году императрица умерла, и новый царь выпустил на волю заключенных. Новиков вышел из тюрьмы старым и сломленным.

ОСТАВШАЯСЯ ЖИЗНЬ

Семен Гамалея писал: «Он прибыл к нам 19 ноября поутру, дряхл, стар, согбен, в разодранном тулупе... Доктор и слуга крепче его... Некоторое отсвечивание лучей небесной радости видел я на здешних поселянах, как они обнимали с радостными слезами Николая Ивановича, вспоминая при том, что они в голодный год великую через него помощь получили; и не только здешние жители, но и отдаленных чужих селений... Сын в беспамятстве подбежал, старшая дочь в слезах подошла, а меньшая нова, ибо она не помнила его, и ей надобно было сказать, что он отец ее». Он был разорен, имущество отнято в пользу казны, книги, оставшиеся в книжных лавках и на складах, уни-

тожены, и на нем еще висели долги Типографической компании. Царь обещал было вернуть Новикову имущество, а потом затребовал обратно. С Новикова стали взыскивать долги; сумма оказалась чудовищной; продажа имущества с аукциона их кое-как покрыла. Часть долгов выплачивал Походяшин.

У Новикова осталось Авдотьино, несколько верных друзей и трое детей, из которых старшие были больны эпилепсией. Он попытался вернуться к мирной жизни: стал сажать сад, чинить дом, строить дома для крестьян. Помогал нуждающимся. Во время войны 1812 года жалел пленных французов – собирал у себя в имении, кормил и передавал властям, избавляя от стихийной расправы. Построил в Авдотьино новый храм. Жил тихо и бедно. Имение было заложено, расплатиться с процентами по займу он не мог – пришлось залезать в долги. В 1818 году у него случился инсульт, и вскоре он умер, оставив только долги. Карамзин просил Александра I пожалеть семью и оставить детям имение – но имение было продано за долги. Ничего не осталось.

Россию впечатлила эта бессмысленная и дикая расправа над человеком, не совершившим никаких государственных преступлений: многолетний труд на пользу общества уничтожен, семья разорена, сам искалечен и сломлен.

Такие фигуры еще не раз возникали потом в истории России: Чернышевский уверовал в необратимость перемен и оказался в Петропавловской крепости, для Синявского надежда на «оттепель» закончилась мордовским лагерем. Такова, наверно, природа власти, во всякие времена лихорадочно крутящей гайки, едва мировые ветры задуют сильнее, и ищущей крамолы у политических противников. Одно только утешает – что это все никуда не девается, не пропадает: рукописи не горят, грамотность не уничтожить, книги покупают, память оказывается крепче стен Шлиссельбурга. ♣

АПОСТОЛЫ СЛАВЯН

ЛАДА КЛОКОВА

В монастыре Полихрон два брата день за днем исписывали листы пергамента, затем соскабливали странные, удивлявшие монахов значки и вновь покрывали плотные страницы непривычными буквами...

МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, что приблизительно так 1150 лет назад создавали первую славянскую азбуку братья Мефодий и Константин Философ. Ученые до сих пор спорят, где находился монастырь Полихрон, хотя большинство склоняется к берегам древнего Геллеспонта, который сегодня мы называем Дарданеллами. Здесь же, видимо, появилась и первая книга на славянском языке – краткий Апракос, начинавшийся словами Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Русский «Хронограф» 1512 года сухо сообщает: «Константин Философ и брат его Мефодий перевели святыя книги с греческого на славянский, у болгар же и у словен, и у сербов, и у босняков, и у русских — у всех них один язык». До наших дней сохранились и более древние славянские источники, гораздо ярче живописую-



АЛЕКСАНДР БУРЫЙ

щие жизнь великих братьев. Другое дело, что они носят легендарный характер. Правда, тут на помощь приходят документы на латыни – письма Анастасия Библиотекаря и римских понтификов, арабские хроники и даже письмо хазарского кагана Иосифа к раввину Хисдаи. Они подтверждают отдельные факты, изложенные в Житиях святых равноапостольных Мефодия и Кирилла (Константин перед смертью принял монашескую схиму и имя Кирилл. – **Прим. авт.**). Но есть загадка, до сих пор волнующая историков: Мефодий и Константин играли не последнюю роль в дипломатии Восточной Римской империи, к тому же Философ был близок к императору Михаилу III, но византийские источники молчат о братьях. Не упоминает о них даже константинопольский патриарх Фотий – учитель и друг Константина, оставивший богатое эпистолярное наследие...

ВТОРОЕ ОКО ИМПЕРИИ

Фессалоники славились на всю империю своими оружейниками и мастерами, выплавлявшими изящные безделушки из стекла. Здесь строили едва ли не лучшие суда в Византии, изготавливали прекрасные шелковые и льняные ткани и виртуозно выделывали кожи...

С тех пор как в 315 году до н.э. македонский царь Кассандр основал Фессалоники, назвав его в честь своей жены – сводной сестры Александра Македонского, – город немало повидал на своем веку. На его старых торговых улицах было не протолкнуться: здесь звучала греческая, сирийская, еврейская, персидская, славянская, армянская речь... Это как раз славянские племена, перекочевавшие с севера на Балканский полуостров, называли Фессалоники Солунью. А византийские писатели именовали город «вторым оком империи», «надзиравшим за западными провинциями».

Надзирать приходилось неусыпно: в Солуни квартировал византийский гарнизон, выдерживавший частые осады все тех же славян. В нем и служил друнгарий (офицер византийской армии. – **Прим. авт.**) Лев. Его жену Марию одни исследователи считают славянкой по происхождению, другие – представительницей знатного византийского рода. Впрочем, и сам Лев, скорее всего, принадлежал к высшей аристократии. Так, во время своей хазарской миссии при встрече с каганом Константин Философ, отвечая на вопрос, к какому роду он принадлежит, сказал: «У меня был дед великий и прославленный, который стоял близко к императору, но данную ему славу отверг и за это был изгнан. Придя в чужую страну, он там обнищал и меня породил. Я же, ища древней чести деда, не обрел ее, так как я внук Адама»...

Сколько детей было у Льва и Марии, мы не знаем. В истории остались только старший и младший сыновья: Мефодий, родившийся в 815 году, и Константин, появившийся на свет в 827-м. Какое имя получил старший сын при крещении – неизвестно, предполагают, что назвали его Михаилом (Мефодий – имя, полученное при монашеском постриге. – **Прим. авт.**). Когда Мефодию испол-

нилось 18 лет, он избрал военную карьеру. В Константинополе, где он служил, его заметили, и уже в 835 году Мефодий был назначен воеводой в одну из славянских областей империи. Здесь он пробыл десять лет и, вероятно, действительно выучил язык местных жителей, как сообщает его Житие. В какой именно области служил Мефодий – неизвестно. Затем Мефодий неожиданно принимает постриг и уходит в монастырь... А Константин с малых лет поражал окружающих своими способностями и блестящей памятью. С детства он тяготел к богословским и философским занятиям, рано начал писать стихи, любил читать труды Григория Богослова. В школе был первым учеником. В 840 году в Фессалоники прибыл новый архиепископ – знаменитый Лев Математик, один из самых великолепных умов эпохи, блестяще образованный ученый, которого поощряли в занятиях магией и чародейством. Лев Математик, скорее всего, замолвил словечко логофету (высшему чиновнику царской канцелярии. – **Прим. авт.**) Феокисту о солунском вундеркинде, так что для продолжения образования Константина доставили в Константинополь. Произошло это, видимо, не ранее 843 года, когда Математик, оставив епископскую кафедру в Солуни, вернулся в столицу.

СТОЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

В 842 году скончался император Византии Феофил – убежденный иконоборец. Несмотря на то, что большая часть населения столицы стояла на

позициях иконопочитания, Феофил пользовался уважением народа. И было за что. Так, однажды он приказал сжечь на городской площади груз торгового судна, принадлежавшего его жене Феодоре, заявив, что императорской семье не подобает вести торговлю. В другой раз публично высек бичом ее брата, который

притеснял соседей, уверенный в своей безнаказанности. Наследником Феофила стал его сын – малолетний император Михаил III, регентшей при котором была Феодора. Фактическим же правителем империи являлся Феоктист. Житие Кирилла утверждает, что юный Константин стал старшим товарищем мальчика-императора, помогавшим ему в обучении. А свое образование Константин продолжил

в Пандидактерионе – университете, основанном в 849 году в Магнаврском дворце Феоктистом и дядей малолетнего императора Вардой. В Магнавре, где учились только аристократы, преподавали математику, астрономию, грамматику, риторику, геометрию, музыку, античную и христианскую философию, богословие и историю. Работали здесь лучшие учителя того времени – будущий константинопольский патриарх Фотий, Лев Математик, Феодор, Феодегий, Комитас...

В середине IX века империи пришлось выдерживать тяжелый натиск славян и арабов, в Константинополе же продолжалось противостояние партий иконоборцев и иконопочитателей, плетущих интриги вокруг императорского трона. В это же время Византия переживает и очередной расцвет культуры, образованные люди востребованы властью. Константин заметили, видимо, на него возлагались большие надежды: логофет Феоктист поселяет юношу в своем доме и уговаривает жениться на своей крестной дочери – девушке из богатой и благородной семьи. Константин отказывается и становится священником. Его назначают хартофилаксом (хранителем библиотеки. – Прим. авт.) при церкви Святой Софии, он исполняет обязанности первого секретаря константинопольского патриарха Игнатия. Однако скоро тайно сбегает из столицы. Что случилось – неизвестно, но позже в одном из своих писем будущий антипапа Анастасий Библиотекарь, знавший Константина лично, писал, что Игнатий очень негатив-

но относился к светской литературе, презирая тех, кто ею занимался. Возможно, Константин бежал из-за разногласий с патриархом.

Его искали полгода и наконец обнаружили в одном из маленьких монастырей. Константин отказался вернуться к обязанностям хартофилакса, но согласился возглавить кафедру философии в Магнавре. Довольно быстро распространилась слава о блестящем молодом преподавателе, и с этого момента его начинают называть Константином Философом.

В 856 году Варда, дядя императора Михаила III, организовал убийство покровителя Константина логофета Феоктиста, а свою сестру императрицу Феодору постриг в монахини. Теперь именно он стал фактическим правителем империи. Но судьба – дама капризная: спустя десять лет Варда погибнет в результате заговора, устроенного фаворитом Михаила III – будущим императором Василием Македонянином...

ДОЛЯ МИССИОНЕРОВ

Незадолго до смерти Феоктист отправил Константина в его первую миссионерскую поездку к арабам – «саракенам» или сарацинам, как их называли в Византии. Исследователи указывают, что миссия могла состояться только в те моменты, когда между империей и арабами действовали недолгие перемирия – 845, 855–856 и 859–860 годы. В 845 году Константин был слишком молод, в 859–860 годах арабскую миссию возглавлял старый и хитрый дипломат Атрубилис. Значит, поездка Константина состоялась в 855–856 годах. Известно, что вместе с Константином отправился асикрит (секретарь царской канцелярии. – Прим. авт.) Георгий. По Житию святого, миссию возглавлял Константин, а Георгий был его помощником. А вот арабская хроника Абу-Джафара Табари указывает, что главой миссии был Георгий, целью которого был обмен военнопленными. Константин же должен был вступить в богословский диспут с арабскими учеными. Поездка завершилась успешно: на берегах киликийской реки Лам произошел обмен пленными, а Философ победил арабских богословов в споре, продемонстрировав при этом знание Корана.

Но по возвращении в Константинополь Константина ждал не триумф, а опала. Убит покровитель Феоктист, его сторонники бегут от преследования Варды. Философ тоже покидает столицу и укрывается в монастыре у брата. Чем там занимался Константин – неизвестно, Житие ограничивается кратким «беседовал с книжками». Правда, «беседовать» с фолиантами ему пришлось недолго: уже в 860 году император Михаил III призывает Философа в Константинополь и поручает ему хазарскую миссию.

Хазарский каганат был одним из основных политических игроков в Нижнем Поволжье и Северном Причерноморье. В предыдущем веке хазары, столицей которых был город Итиль (нынешняя Астраханская область. – Прим. авт.),



Святые Кирилл и Мефодий с учениками. Фреска монастыря Святого Наума в Македонии

отвоевали у Византии часть Крыма и продолжали угрожать империи, так что Константинополь предпочитал поддерживать с каганатом союзнические отношения. Хазары исповедовали иудаизм, но в IX веке в каганат постепенно начинают проникать христианство и ислам. Богословские диспуты были одним из любимых развлечений правителей, а потому неудивительно, что каган направил в Константинополь послов, предложив Михаилу III прислать в Итиль ученого мужа. По сообщению Жития, в письме кагана говорилось: «Если в споре он победит евреев и сарацин, мы перейдем в вашу веру». В состав миссии, которую возглавлял Константин Философ, вошел и его брат: «Кирилл же уговорил своего брата Мефодия идти с ним, потому что тот знал славянский язык», – сообщает «Проложное житие Мефодия». Подготовка к миссии шла в Херсонесе Таврическом, куда византийское посольство добралось осенью 860 года и пробыло до конца зимы 861-го. Именно здесь Константин организует успешные поиски мощей святого Климента, папы римского. Климент, живший на рубеже I–II веков, за активную миссионерскую деятельность был отправлен римским императором Траяном в Херсонес, куда нередко ссылали первых христиан и уголовников. Римского первосвященника отправили работать на местные каменоломни, где он продолжал проповедовать. В конце концов наместник Херсонеса подверг его жестоким пыткам и мученической смерти: Климента привязали к якорю и бросили в море. По преданию, море чудесным образом отступило, открыв тело святого в 300 метрах от

берега. Согласно Житию, Константин с местным епископом и клиром отыскал мощи святого Климента на крохотном острове в море недалеко от берега. Мощи были торжественно перенесены в соборную церковь, а часть их Константин взял себе. Отметим, что в следующем веке, когда великий князь Владимир завоевал Корсунь (так на Руси называли Херсонес. – Прим. авт.) и принял здесь крещение, он забрал голову святого Климента в Киев. В столице Древней Руси мощи, скорее всего, находились в Десятинной церкви и, видимо, погибли в страшном пожаре во время разорения Киева Батыем. Кстати, именно после Крещения Руси князем Владимиром в 988 году в стране началось распространение грамотности и книг...

Пока Константин находился в Херсонесе, он выучил иврит, поскольку считал, что вести диспут с иудеями без знания языка, на котором был написан Ветхий Завет, недопустимо. В Херсонесе жила довольно большая еврейская община, в которой Константин и нашел себе учителя. Кроме того, в Житии есть и одно загадочное сообщение о херсонесском периоде: «И нашел здесь Евангелие и Псалтырь, написанные руськими письменами. И нашел человека, говорящего на этом языке. И беседовал с ним, овладев силой речи, опираясь на свой язык, установил различие гласных и согласных, молясь Богу, скоро начал

читать и говорить». Ученые до сих пор ломают копыта по поводу этого абзаца. Самые смелые утверждают, что это и есть свидетельство существования древнеславянской письменности до Кирилла и Мефодия, хотя никакие иные убедительные доказательства этого тезиса не найдены до сих пор. Другие считают, что этот отрывок – поздняя интерполяция. Третьи уверены, что это – ошибка переписчика: читать нужно не «руськими», а «сурьскими», то есть «сирийскими письменами»...

Весной 861 года миссия отправилась к хазарам. Константин Философ при дворе кагана вступил в диспуты с иудеями, язычниками и сарацинами и в каждом одержал победу. Как бы то ни было, хазары остались иудеями, а каган пожелал отблагодарить Константина богатыми дарами. Но Философ отклонил их и взамен попросил освободить пленных соотечественников. Осенью 861 года миссия вернулась в Константинополь с двумя сотнями освобожденных из плена византийцев. Император принял Константина, но затем, по неизвестным причинам, Философ был удален от двора, лишен кафедры в университете и стал скромным преподавателем при церкви Двенадцати апостолов. Мефодий же был назначен игуменом монастыря Полихрон. Вскоре и Константин перебрался в обитель к брату...

СЛАВЯНСКАЯ ГРАМОТА

IX век стал временем расцвета первого в истории крупного славянского государства – Великоморавской державы, в состав которой входили территории нынешних Венгрии, Словакии, Чехии, а также Малая Польша, часть Украины и Силезия. Великая Моравия, просуществовавшая менее ста лет, уже была христианизирована, находясь под протекторатом римской церкви (до Великой схизмы 1054 года, окончательно расколовшей церковь на католиков и ортодоксов, христианская общность Запада и Востока считалась единой. – **Прим. авт.**). Богослужение здесь проходило на латыни, епископы назначались римскими папами, в священнической среде преобладало баварское духовенство. Моравский князь Ростислав, противодействуя попыткам короля Восточно-Франкского королевства Людовика II Немецкого поработить Моравию, изгнал баварских патеров и направил послов в Рим с просьбой прислать учителей для подготовки местных священников и ведения богослужений на славянском языке. Римской курии эта идея не понравилась.

Тогда в 863 году Ростислав отправил послов в Константинополь. Империя откликнулась мгновенно: во-первых, византийская церковь не возражала против организации службы на местных языках, во-вторых, союз с Моравией укрепил бы позиции Константинополя в Центральной Европе и помог бы Византии противостоять новым натискам болгар и русских.

Михаил III призвал Константина Философа и изложил ему суть проблемы. Слависты сходятся на том, что именно в 863 году и был создан первый славянский алфавит – в Константинополе или в монастыре Полихрон. Большинство склоняется ко второму варианту: из Житий известно, что над алфавитом работали оба брата (в основу нового алфавита было положено греческое скорописное – минускульное – письмо. – **Прим. авт.**). «Паннонские жития» Кирилла и Мефодия единодушно сообщают, что азбука была создана очень быстро. Но помимо азбуки нужно было создать новую терминологию, переведя греческие слова из богослужения на славянский язык. И перевести Апракос, необходимый для службы. Поэтому многие исследователи предполагают, что братьям помогали монахи Полихрона – выходцы из местных славян...

Уже в конце 863 года братья, возглавляющие миссию, направляются в Великую Моравию. Они везут с собой славянский алфавит, скорее всего, Апракос, письмо Михаила III Ростиславу и богатые дары. Ростислав с почетом принял византийцев и предоставил им полную свободу действий. Жития утверждают, что Константин и Мефодий находились в Моравии 40 месяцев, то есть до весны 867 года. Результаты миссии были очень впечатляющими, так что римский папа Адриан II с явным сожалением писал Ростиславу: «Император послал вам блаженного Константина Философа вместе с братом, прежде чем мы успели послать кого-либо». Но не стоит думать, что миссия братьев была легкой: нужно было организовать службу на местном языке, объяснять нововведения населению, продолжать перевод богослужебных книг, готовить смену, да еще противостоять интригам все того же баварского духовенства. К тому же волей-неволей приходилось действовать с оглядкой на Рим, ведь Моравия находилась под церковной властью папы. А это было непросто. Хотя еще на Франкфуртском соборе в VIII веке, да и на более поздних соборах, римская церковь разрешила читать проповеди на местных языках, но на деле это не поощрялось. Положение усугубилось после того, как в 864 году Ростислав потерпел поражение от объединенных сил немцев и болгар: в Моравии вновь активизировалось баварское духовенство, стоявшее на позициях триязычия. Его сторонники держались учения Исидора Севильского, изложенного им в VII веке в «Этимологиях»: «... три языка священные: еврейский, греческий, латинский, которые во всем мире больше всего возвышаются. Это потому, что на этих трех языках на кресте Хри-

ста Пилатом была написана Его вина». Православные богословы считали это учение еретическим и называли его сторонников «триязычниками-пилатниками». Римская церковь признавала священными три языка, но на практике использовала только латынь. Так, папа Иоанн VIII в 880 году пишет Святополку I, следующему после Ростислава князю Великой Моравии, что не запрещает богослужений на славянском языке, но далее добавляет: «При всем том повелеваем, чтобы в церквях вашей земли для большего почитания Евангелие сперва должно читаться на латинском языке и лишь после того на славянском языке для народа, который не понимает латыни».

Константин и Мефодий подготовили многих учеников из местных славян, среди которых Жития особо выделяют Горазда, Наума, Ангелария, Савву и Климента (будущий святой Климент Охридский, основатель знаменитой Охридской книжной школы, просветитель и болгарский архиепископ. – **Прим. авт.**). Но братья столкнулись с серьезной проблемой: поскольку ни один из них не имел сана епископа, они не могли рукополагать учеников в священство. В 867 году братья отправились в Венецию, чтобы оттуда следовать в Константинополь. С ними ехала большая группа учеников, для того чтобы принять священнический сан в столице Византии.

Братья надолго задержались в Венеции. Причина их остановки неизвестна, но многие ученые предполагают, что она могла быть связана с резким ухудшением взаимоотношений между Римом и Константинополем. Папой в этот момент был Николай I, а константинопольским патриархом – святой Фотий, наставник Константина Философа. Фотий резко обличал пап, упрекая их во властолюбии, он же первый осудил Рим за добавление к Символу веры слов «и от Сына», к тому же интересы двух престолов вошли в резкое противоречие по вопросу юрисдикции над Болгарией и Южной Италией. В 863 году Николай I отлучил Фотия от церкви, а Фотий анафематствовал папу в 867-м. В том же году в результате заговора был убит император Михаил III, на престол возшел Василий Македонянин. Новый император сместил патриарха Фотия и вернул на патриарший трон Игнатия – того самого, от которого в юности сбежал в монастырь Константин. Не исключено, что братья действительно решили переждать в Венеции. Тут, кстати, и пригодились мощи святого Климента, которые Константин везде возил с собой. Папа Николай I, получив сообщение о мощах святого Климента, пригласил братьев в Рим, куда они с учениками прибыли в конце 867-го или начале 868 года. К тому времени Николай I скончался, и папой был избран Адриан II. Новый понтифик торжественно встретил братьев, признал славянскую литургию и освятил книги на церковнославянском языке. Братья поселились в греческом монастыре в Риме вместе с учениками, которые наконец-то были рукоположены в священники. Константин продолжал участвовать в диспутах, но в конце 868 года тяжело заболел,

перед смертью принял схиму и имя Кирилл. Житие свидетельствует, что даже в смертный час Кирилл молился Господу: «Уничтожь триязычную веру...» Скончался Кирилл 14 февраля 869 года и был похоронен в базилике Святого Климента в Риме...

А Мефодий в 870 году в Риме был посвящен в сан епископа и назначен архиепископом Паннонии, ставшей вторым после Великой Моравии центром развития славянской письменности. Здесь, как и в Моравии, Мефодий вновь столкнулся с противодействием католического духовенства: в 873 году его сажают в тюрьму, издеваются, избивают, держат в холод под открытым небом. А ведь Мефодию в это время уже перевалило за 50... Только заступничество нового папы, Иоанна VIII, помогло вызволить Мефодия из заточения. Этот же понтифик официально признал славянскую литургию и разрешил ее в Паннонии и Моравии, в которой правил Святополк I, ориентировавшийся на немецкое духовенство и выступавший за богослужение на латыни. И именно в Моравию после освобождения прибывает Мефодий, где вместе с двумя учениками начинает перевод на славянский язык Ветхого Завета. Он успевает закончить свой труд незадолго до смерти. 6 апреля 885 года Мефодий умирает, оставив около 200 славянских священников, дьяконов и иподьяконов. Где похоронили Мефодия – в Велеграде или Девине – точно неизвестно.

Если вам доведется побывать в Риме, не поленитесь найти базилику Святого Климента, стоящую между Колизеем и Латеранским собором. Здесь можно поклониться одному из двух апостолов славян – святому Кириллу. Благодарность солунским братьям, канонизированным православной и католической церквями, безмерна: выразить ее словами вряд ли возможно... 

В ЗВОНКО-ЗВУЧНОЙ ТИШИНЕ

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Бывает так, что поэт считается видным и занимает незаурядное место в истории литературы, но при этом едва ли кто-то назовет его любимым поэтом. Такова, пожалуй, литературная судьба Валерия Брюсова.

ОН ДАЖЕ НЕ ПОЭТ ДЛЯ ПОЭТОВ, как Хлебников. Он поэт для историков и теоретиков литературы. Одни современники полагали, что он больше всего на свете любил литературу, а себя – разве что как ее часть. Другие ядовито вспоминали, что больше всего на свете он любил себя в литературе и хотел остаться в ее истории мэтром, вождем, гуру. Как бы то ни было, мэтром и вождем он остался, а стихи его наизусть, пожалуй, мало кто учит: они не предназначены для того, чтобы носить их в душе.

ВЕРНЫЙ ВОЛ

Он был рожден в среде самой непоэтической: его дед, родом из крепостных крестьян помещика Брюса, выкупил себя и семью из крепости и стал торговать пробкой. Отец Брюсова, Яков Кузьмич, был типичным демократом-шестидесятником; ребенка растили атеистом и позитиви-



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

стом, сказок и библейских историй ему не читали – может быть, отсюда его безвоздушность, безблагодатность какая-то: поэзия без музыки, без чуда, сплошная алгебра, поверяющая гармонию, – Сальери, а не Моцарт. В самих его поэтических занятиях было что-то анатомическое, какое-то копание в труп разъятой музыки. Даже когда он писал о любви, заметила Зинаида Гippiус, в этом было что-то некрофильское.

Для него, кажется, не было ничего святого, кроме литературы и познания. Алхимик, который хочет не столько обогатиться, сколько все знать; коллекционер,

стремящийся к полноте коллекции, – это Брюсов в поэзии. Недаром его поэтические затеи включали в себя книги-каталоги «в порядке исчерпания всех возможностей»: «Опыты» вобрали все метрические возможности стиха – от ямбов и хореев до пэонов и гендекасиллаба, и читать это все можно только для подготов-

ки спецкурса по русскому стихосложению. Не книга, а альбом ученицы курсов кройки и шитья – аккуратный, с разноцветными квадратиками ткани: вот рулик, вот подкройная обтачка... или кляссер филателиста: тут флора, тут фауна, тут Польша, тут Республика Бурунди... Таким же кляссером должна была стать и другая его книга, «Сны человечества», – сборник стилизаций, имитирующих все возможные литературные формы, от античной лирики до современной уличной частушки. В своем стихотворном собирательстве Брюсов был невероятно упорен и трудолюбив: даже мечта в его стихах предстает не бабочкой или птичкой, как можно было бы ожидать, а волон: «Вперед, мечта, мой верный вол! // Неволей, если не охотой! // Я близ тебя, мой кнут тяжел, // Я сам тружусь, и ты работай».

Стихи он начал писать еще в гимназии, тогда же пытался издавать рукописный журнал. Время его юности было самое глухое, самое непоэтичное: в поэзии задавала тон бессильная печаль Надсона, выраженная в очень слабых стихах. Надсон даже нравился молодому Брюсову, но чуть позже, когда в любви к этому поэту призналась молоденькая сестра брюсовской жены, Бронислава Рунт, Валерий Яковлевич строго выговорил ей: Надсона читают только глупцы и кролики!

Пожалуй, от нытья, подтухшей гражданственности и вялого гнева, переполнявших русскую поэзию конца XIX века, его спасли хороший вкус и начитанность: Пушкин и Фет – славное средство против шаблонных рифм и атрофированных мышц стиха. Еще одним хорошим средством стали фран-

цузские декаденты, которыми увлекся 17-летний Брюсов. Здесь была поэтическая смелость, дерзость, новизна – вообще здесь был виден выход из тупика, в который забрела русская поэзия, запутанная ложной дилеммой «форма или содержание», «чистое искусство или общественное служение», обрекая себя на унылую гражданственность и печальные вздохи. Брюсов был одним из тех, кто поймал маятник поэзии на излете и качнул его в другую сторону: все равно, о чем петь! Быть может, все в жизни лишь средство для ярко-певучих стихов! И Господа, и дьявола хочу прославить я!

Не важно, кого славить, о чем петь, – лишь бы это были совершенные стихи, лишь бы в них была вложена сила, мастерство и страсть, лишь бы была мощь, а в какую сторону направлен ее вектор – безразлично.

Это, кажется, его и подвело. Кто славит и Бога, и дьявола – для того нет ни Бога, ни дьявола, а только материал для словесной игры. «Брюсов думал, что можно удачно сочетать оккультные знания и научный метод, – писала Гиппиус. – Трезвый и деловитый в повседневной жизни, Брюсов, кажется, хотел навести порядок и на потусторонний мир». Брюсов, ничтоже сумняшеся, влезал во все области запретного, изучал все человеческие пороки с храбростью юноши, убежденного в собственной неуязвимости, исследовал оккультизм с хладнокровием материалиста, – пожалуй, так вел бы себя естествоиспытатель, желающий доказать, что не существует никакой радиации, и спокойно лезущий под источник излучения.

ВСЕ В ЖИЗНИ ЕСТЬ ТОЛЬКО СРЕДСТВО...

Он учился на историко-философском факультете Московского университета, учился запойно, поглощая книги, вгрызаясь в науку – недаром он замечал в дневнике, что и сто жизней не насытили бы сжигающей его жажды познания. В иную эпоху из человека, наделенного такой страстью к познанию, таким умом, такой работоспособностью и такой систематичностью, получился бы, наверное, второй Леонардо или Ломоносов. Может быть, гения и титана из Брюсова не получилось как раз потому, что у вектора не было направления – ему было все равно, в какую сторону плыть, чему служить; гениальные стихи получаются из любви, а вот любви-то ему и не хватило. Место любви у него занимали любопытство, интерес, страсть, секс... Позднее, уже став редактором журнала «Весы», Брюсов проповедовал в одном из его номеров: «Страсть – это тот пышный цвет, ради которого существует, как зерно, наше тело, ради которого оно изнемогает в прахе, умирает, погибает, не жалея о своей смерти. Ценность страсти зависит не от нас, и мы ничего не можем изменить в ней. Наше время, освятившее страсть, впервые дало возможность художникам изобразить ее, не стыдясь своей работы, с верою в свое дело. Целомудрие есть мудрость в страсти, осознание святости страсти. Грешит тот, кто к страстному чувству относится легкомысленно». И «юноше бледному со взором горящим», начинающему поэту, он, сам еще юноша, выдал три главных совета:

*Первый прими: не живи настоящим,
Только грядущее – область поэта.
Помни второй: никому не сочувствуй,
Сам же себя полюби беспредельно.
Третий храни: поклоняйся искусству,
Только ему, безраздумно, бесцельно.*

Названия его первых сборников – Chefs d'oeuvre («Шедевры») и Me eum esse («Это – я») — неплохо иллюстрируют первый тезис. Этим трех советов сам он придерживался неукоснительно – во всяком случае, насколько хватало самолюбия и самоконтроля. «Я хочу и по смерти и в море // Сознать свое вольное «я»!» – это из стихотворения, озаглавленного «К самому себе». Пожалуй, сама эта традиция самоупоенного посвящения стихов себе любимому и началась с Брюсова. Его поэзия идеально воплощала время: время перемен, тревоги, беспокойства, время масс, вершащих историю, – и Брюсов первым заговорил о скифах; время урбанизма – и Брюсов первым воспел город; время напряженных размышлений о будущем – и Брюсов заговорил о нем раньше футуристов и начал писать фантастику раньше признанных фантастов. Фантастика его мрачна: города не только восхищают изобилием товаров, услуг и чудес техники, но и утопают в пороках и кончают страшно; Брюсов с жутким упоением выписывает безобразные оргии, гибель, превращение людей в дикие животные стада – сейчас, конечно, и это выглядит пророчеством и предощущением грядущего. Фантастика Брюсова суховата, написана несколько суконным языком и выглядит переводом с иностранного – отчасти предвосхищая «переводы с несуществующего» Александра Грина, но без его полета, без цвета и аромата; если у Брюсова в фантастике и есть запах, то это не гриновский запах моря, леса, приморского города с его пакгаузами, акациями и старыми библиотеками в богатых домах – скорее, смесь бензина, пота, парфюма, стали и машинного масла.

Брюсовская проза – деловитые размышления о пороке, бесстрастное погружение в бездну патологии. Будущее у него неубедительно и неприятно, настоящее (в «Последних страницах из дневника женщины») даже и тошнотворно; лучшее в его прозе – наверное, «Огненный ангел», где скупость и бесстрастность повествования отлично сочетаются с пышным средневековым антуражем, мистикой и оккультизмом; здесь как раз все приходит в равновесие. Общеизвестно, что в основу этой истории Брюсов положил реальный любовный треугольник – путаные и темные отношения между Ниной Петровской, Андреем Белым и самим Брюсовым. Белый покинул Нину после короткого романа – бежал от соблазна; Нина пыталась в него стрелять, но пистолет дал осечку. Ее отношения с Брюсовым были в высшей степени литературны, пропитаны темной страстью – или пафосом, который должен был изображать темную страсть. Совместные занятия оккультизмом и расширение границ чувственного опыта дали неожиданный результат: морфинистка Нина подсадила на морфий и Брюсова. Изданную несколько лет назад переписку Петровской и Брюсова местами неловко читать, до того она многословна и выпренна.

Совместное счастье было недолгим; создание «Огненного ангела» для Брюсова логично завершало отношения с Ниной: что еще, ведь текст уже закончен? Он объяснял ей в письмах: «Во имя поэзии – я, не задумываясь, принесу в жертву все: свое счастье, свою любовь, самого себя». Ходасевич, описавший историю отношений Брюсова и Петровской в «Конце Ренаты», не мог ему простить этого *жизнетворчества* – как потом не мог простить другой любовной истории, с молодой поэтессой Надеждой Львовой. Надю Львову – он ее называл Нелли, написал даже «Стихи Нелли» от женского лица (имелось в виду – «Стихи к Нелли», «Стихи для Нелли») – он воспитывал, обучал, приручал и совершенно приручил. В июле 1913 года они вместе съездили в Финляндию – так же как раньше с Ниной Петровской. Он подарил ей пистолет – тот самый, из которого некогда стреляла Нина. Львова, влюбленная безоглядно, требовала от него такой же самоотдачи, а он был не готов рвать с женой, нарушать привычное течение жизни. Он не откликнулся на ее просьбу прийти, когда ей было плохо, – и Львова застрелилась, оставив возлюбленному письмо. «И мне уже нет сил смеяться и говорить тебе, без конца, что я тебя люблю, что тебе со мной будет совсем хорошо, что не хочу я «перешагнуть» через эти дни, о которых ты пишешь, что хочу я быть с тобой. Как хочешь, «знакомой, другом, любовницей, слугой», – какие страшные слова ты нашел. Люблю тебя – и кем хочешь, – тем и буду. Но не буду «ничем», не хочу и не могу быть»... Брюсов не взял ни письма, ни рукописей – потрясенный, он сразу уехал в Петербург, а оттуда в Ригу, в санаторий, где приходил в себя полтора месяца.

А его жена, тихая, незаметная и верная Иоанна Матвеевна, просила друзей похлопотать, чтобы в печати не устраивали лишнего шума.

У него, символиста, теурга, оккультиста, исследователя потусторонних миров, всегда был теплый дом, любящая жена и пироги с морковью. Кстати, жена, когда надо было помочь ему с переводами армянских поэтов, выучила армянский язык.

ВОЖДЬ

Брюсов любил власть – над женщинами, над судьбами, над читательскими умами, над литературным процессом. Может быть, эта любовь помешала ему сделаться ученым и гениальным поэтом, но она же сделала его замечательным организатором, в каких всегда нуждаются эпохи перемен. Едва он почувствовал, какие возможности открывает для русской поэзии символизм, как тут же взялся за дело: вступил в переписку с Верленом, стал писать критические статьи о французских поэтах, организовал издание сборников «Русские символисты» – и в самом деле возглавил новое направление в поэзии. Молодой Брюсов – двадцать с хвостиком – уже проявил недюжинное чутье и великолепную смелость, с которой бросил публике свое знаменитое «О, закрой свои бледные ноги». Не испугался критики, подставился под ее огонь, на несколько лет стал посмешищем не только для обывателя, но и для серьезной интеллигентской публики, увидевшей в этих сборниках только позу и кривлянье, только декадентство и вырождение. Владимир Соловьев высмеял «Русских символистов» в нескольких жестоких пародиях, сейчас уже не менее хрестоматийных, чем пресловутые «бледные ноги». Расхождение между Брюсовым и Соловьевым (и младшими символистами) было принципиальным: для Брюсова самоцелью искусство, для Соловьева, Блока, Белого – искусство служит высшим ценностям. Родись Брюсов веком позже, из него вышел бы обыкновенный постмодернист. «Это бесцельное искусство было его идолом, в жертву которому он принес нескольких живых людей и, надо это признать, – самого себя, – писал о нем Ходасевич. – Литература ему представлялась безжалостным божеством, вечно требующим крови. Она для него олицетворялась в учебнике истории литературы. Такому научному

кирпичу он способен был поклоняться как священному камню, олицетворению Митры. В декабре 1903 года, в тот самый день, когда ему исполнилось 30 лет, он сказал мне буквально так:

– Я хочу жить, чтобы в истории всеобщей литературы обо мне было две строчки. И они будут».

Огромная эрудиция, начитанность, хороший вкус, несколько рабочих языков... плюс самоуверенность, цинизм, равнодушие к морали, некоторая коммерческая жилка – качества, может быть, не вполне подходящие для великого поэта, но очень подходящие для издателя и редактора журнала. «Весы», которые Брюсов начал издавать в 1904 году, ориентировались на лучшие европейские журналы – английский Athenaeum или французский Mercure de France, – да и были, собственно, вполне европейским журналом, авторитетно пишущим о

В.Я. Брюсов.
Начало 1920-х годов



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

литературе, живописи, музыке. Изначально предполагались преимущественно аналитические обзоры и критические статьи, но впоследствии «Весы» стали печатать и беллетристику, как традиционный толстый журнал.

«Весы» собрали лучшие литературные силы. В них публиковались не только признанные авторитеты – Вячеслав Иванов, Федор Сологуб, Николай Минский, Василий Розанов, – но и совсем молодой Корней Чуковский, в то время лондонский корреспондент «Одесских новостей», и гимназист Николай Гумилев, и Макс Волошин, присылавший из Парижа статьи о французском искусстве и литературе. Роль вождя и организатора удалась Брюсову превосходно. «Брюсов был не только поэт; он был делец, администратор, стратег. Он деловито хозяйничал в «Весах», ловко распределял темы, ведя войну направо и налево, не брезгуя даже сомнительными сотрудниками, если у них было бойкое перо и готовность изругать всякого по властному указанию его, Валерия Яковлевича», – ядовито писала Гиппиус, вполне, впрочем, признавая его заслуги в деле создания целого литературного направления, выстраивания «фаланги».

После «Весов» Брюсов был директором Московского литературно-художественного кружка. При нем была библиотека с читальней и столовая, а также залы для карточной игры, доходами с которой кружок и жил. Каждый вторник проходили заседания, на которых литераторы читали доклады. «Бальмонт, Андрей Белый, Вячеслав Иванов, Мережковский, Венгеров, Айхенвальд, Чуковский, Волошин, Чулков, Городецкий, Маковский, Бердяев, Измайлов – не припомнишь и не перечислишь всех, кто всходил на эстраду Кружка. В Кружке происходили постоянные бои молодой литературы со старой», – вспоминал Ходасевич, впрочем, замечая, что все самое главное происходило вне кружка, а все осмысленное, что говорилось на его заседаниях, тонуло в прениях.

ПАМЯТНИК

С 1909 года, когда перестал выходить журнал «Весы», начинается кризис символизма. Приходят молодые поэты, для которых Брюсов был непререкаемым авторитетом и вождем, а в его собственном творчестве начинается застой. Он повторяется, он чувствует усталость и истощенность тем, он пытается подводить итоги:

Пора сознаться: я – не молод; скоро сорок.

Уже не молодость, не вся ли жизнь прошла?

Что впереди? обрыв или спуск? но, общий ворог,

Стоит старуха-смерть у каждого угла.

И раз за разом пишет вариации своего «Памятника» – не уверенно-спокойного, как у Пушкина, а тревожного и заносчивого.

То так:

*Я дрожь души своей, ее вмещаю в звуках,
Сумел на ряд веков победно сохранить,
И долго меж людей,
в своих мечтах и муках,
В своих живых стихах,
как феникс, буду жить.*

То этак:

*За многих думал я,
за всех знал жажду страсти,
Но станет ясно всем,
что эта песнь – о них,
И, у далеких грез в неодолимой власти,
Прославят гордо каждый стих.*

Наступили новые времена, а он еще остался там – в 1903, 1905, 1909 годах. С началом Первой мировой он поехал на фронт корреспондентом «Русских ведомостей». Стихи военных лет – скучные и декларативные: не живые впечатления, а сплошная умозрительная геополитика:

Племен враждующих не числи:

Круги бегут, им нет числа;

В лазурной Марне, в желтой Висле

Влачатся чуждые тела.

Впрочем, есть и важное: Брюсов задумывается о том, что за силой станет Россия в этой европейской войне – дикой ордой или великим народом; Брюсов провидит крушение старого мира и появление нового:

Так! слишком долго мы коснели

И длили валтасаров пир!

Пусть, пусть из огненной купели

Преображенным выйдет мир!

Пусть падает в провал кровавый

Строенье шаткое веков,

В неверном озареньи славы

Грядущий мир да будет нов!

Пусть рушатся былые своды,

Пусть с гулом падают столбы, –

Началом мира и свободы

Да будет страшный год борьбы!

В следующие «страшные годы борьбы» Брюсов на той стороне, на кото-

рой сила и власть. Георгий Чулков, комментируя строки «Я люблю тебя, Россия, за торжественный простор», замечал: «Брюсов пленялся торжественным простором, как он пленялся силою и властью. И ему было все равно, кто является носителем этой силы и власти, если они сами по себе были значительны и мощны». Брюсов и при советской власти пытался стать главнокомандующим в литературе – хотя, конечно, его торжественность, архаичность, избыток отсылок к мировой литературе не могли принести ему лавров первого советского поэта. Тем не менее и в океане народной страсти Брюсов, уже старый, седеющий, нашел свое место. Поразительно, как он, разрушенный наркотиками, крепко держал себя в руках, вполне справляясь с жизнью и работой – когда в чудовищном буйстве революционной стихии тонули и более здоровые, молодые, крепкие.

Он заведовал учреждениями: Комитетом по регистрации печати, Московским библиотечным отделом при Наркомпросе; затем литературным подотделом Отдела художественного образования при Наркомпросе. Возглавлял общество поэтов, которое проводило поэтические вечера в Политехническом. Преподавал в Московском университете. Наконец, в 1921 году он основал Высший литературно-художественный институт – прообраз будущего Литинститута. Он вполне нашел место в новой жизни, хотя не нашел новой гармонии. Он много экспериментировал с формой, его стихи советских лет, кажется, нарочито безобразны – невозможно даже вслух прочитать:

*Так сдаться? Нет!
Ум не согнул ли выи
Стихий? узду не вбил ли
молньям в рот?
Мы жаждем гнуть
орбитные кривые,
Земле дав новый поворот.*

Невозможно поверить, что этот скрежет исходит от автора изумительно музыкальных строчек: «Близ медли-

тельного Нила, там, где озеро Мерида, в царстве пламенного Ра // Ты давно меня любила, как Озириса Изиды, друг, царица и сестра... // И клонила пирамида тень на наши вечера».

Для пролетарской литературы это было слишком сложно; для модернистской – слишком дико, хотя в этом позднем Брюсове различимы мелодии Пастернака («И вдруг – открой окно. Весь день // Пусть хлынет, ранней мглой опудренный; // Трам, тротуар, явь, жизнь везде, // И вот – биплан над сквером Кудрина») и чуть ли не электроны Вознесенского.

Брюсов почти вписался в новый мир, даже вступил в РКП(б) – но был уже слишком утомлен и слишком нездоров. Он сомневается в себе, в жизни, в осмысленности прошедших лет. Мучается памятью прошлого, о чем написан жуткий «Дом видений». И с прежним любопытством заглядывает в будущее:

*Будущее!
Интереснейший из романов!
Книга, что мне не дано прочесть!
Край, прикрытый прослойкой туманов!
Храм, чья постройка едва начата!*

Современники еще успели поиронизировать над чувством Брюсова в 1923 году – в связи с 50-летним юбилеем: наконец-то его страсть к чувствованиям была вполне удовлетворена! Но уже в 1924-м нестарый еще Брюсов умер от пневмонии.

А памятник ему полагается вовсе не потому, что он «дрожь души» вмещал в звуках, и не потому, что «за всех знал муки страсти»: ничья, кажется, душа не дрожит брюсовскими звуками, ничья страсть не говорит его голосом. Памятника достойна среда, которую он создавал. Есть такие поэты, без которых невозможны другие поэты – уже те, на чью музыку откликнется всякая человеческая душа. Но без кропотливых стараний Брюсова, без его великолепной и наглой самоуверенности, без его верного служения литературе, без его переводов и редакторских усилий не было бы безоглядного взлета Серебряного века.

И хочется найти что-то созвучное душе, чтобы не биографической справкой закончить рассказ о поэте, а стихами, — а все торжественно, напыщенно, все мимо, мимо, мимо, и ничего не трогает, кроме сумеречного, таинственного, хрестоматийного:

*И прозрачные киоски
В звонко-звучной тишине
Вырастают, словно блестики,
При лазоревой луне.*

Ведь знал же он эту тайну, ведь была в нем эта загадочная искра, это дуновение волшебства... ❀

«Я — ВЕРУЮЩИЙ В БОГА ФИЗИК»

СЕРГЕЙ ВИНОГРАДОВ

Автор мирового бестселлера «Одиночество в Сети» совершил турне по российской глубинке.

В РОССИИ ПОЛЬСКИЙ ПИСАТЕЛЬ бывает часто, но, как правило, ограничивается визитами в Москву. Майское путешествие по северо-западу стало самым затяжным пребыванием Вишневого в России. «С каждым днем мой русский язык становится все лучше и лучше», — признавался писатель во время многочисленных встреч с читателями. На второй неделе путешествия писатель лишь изредка советовался по поводу правильного ударения со своей переводчицей Анастасией, которую упорно называл Анестезией.

Практически в каждом из российских городов у Януша Вишневого была разработана особая программа пребывания. В Калининграде он принял участие в «Библионочи» — глубоко за полночь рассуждал в читальном зале научной библиотеки о моногамии и полигамии. В Вологде открыл памятник польскому классику английской литературы Джозефу Конраду, который в детстве жил здесь вместе со ссыльными родителями. В Санкт-Петербурге Вишневский поработал телеведущим, записав несколько выпусков ток-шоу «Любовь без границ». А еще побывал в Пскове, Череповце и Архангельске. Его встречи с читателями правильнее было бы назвать встречами с чи-



ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

тательницами: как говорит сам Вишнеvский, около 80 процентов аудитории составляли женщины. У писателя, снискавшего славу эксперта по взаимоотношениям современных мужчины и женщины, спрашивали о разном, начиная с вопросов о смысле жизни и заканчивая просьбами дать советы по поводу того, как вернуть загулявшего супруга. Корреспондент «Русского мира. ru» сопровождал писателя в поездке и записал наиболее интересные из его рассказов.

О ПЕРВЫХ ШАГАХ В ЛИТЕРАТУРЕ

«Я живу во Франкфурте-на-Майне и работаю ученым, пишу компьютерные программы по химии и биологии. По образованию я физик и экономист. Кандидатскую диссертацию защищал по информатике, а докторскую – по химии. Писательство – не главная моя профессия, это, скорее, хобби. Пишу по вечерам и в выходные. Как я всегда говорю, я женат на науке, а литература – моя любовница. У меня множество научных степеней и званий, но в литературе я дилетант. Забавно, что именно это дилетантское увлечение меня и прославило.

В литературу я пришел очень поздно. Мне было 44 года, когда я написал первую строчку романа «Одиночество в Сети». Мне тогда было плохо и очень грустно из-за расставания с женщиной, и я находил в самом процессе письма определенное спасение от душевных неурядиц. Хочу сказать, что я никогда прежде не работал со словом всерьез – не был журналистом, не вел дневника... Но в тот раз я объявил войну своей печали и постарался взбодриться. Конечно, я мог пойти к психоаналитику, как делают многие немцы, но я посчитал, что написать книгу будет дешевле. Издавать написанное тогда не было ни малейших планов. Но по стечению обстоятельств текст попал в Варшаву, где его прочитали люди, имеющие отношение к издательской деятельности, и «Одиночество в Сети» было опубликовано. Я думал, это первая и последняя моя книга, но она очень быстро стала популярной, и издатели предложили написать что-нибудь еще. «О чем?» – спросил я. «О чем хотите... На вас сейчас спрос», – ответили мне. Так до сих пор и не могу остановиться, потому что до сих пор у меня есть темы, на которые я хочу высказываться».

О ПИСАТЕЛЬСКОЙ «КУХНЕ»

«Литература очищает меня изнутри. До того как стать прозаиком, я написал десятки, если не сотни научных статей и трактатов, но я рассуждал о том, что знал. И никогда о том, что чувствовал, а чувства и эмоции требуют не меньшего осмысления и анализа, чем интеллектуальная деятельность. Я начал писать художественные произведения, потому что стремился к внутреннему балансу.

Есть ли у меня ориентир при создании произведений? Да, он есть. Когда пишу, я всегда держу в голове, что своей книгой отнимаю у читателя не только деньги, но и время, а это ценнее денег. По крайней мере, для меня. Писатель не в силах вернуть время, потраченное читателем на его плохой, скучный или бесполезный роман. Время, которое он мог потратить как-то иначе – есть тысячи способов это сделать. Поэтому я стараюсь максимально разнообразить и насытить интересной информацией те часы, которые человек проведет с моей книгой.

Есть авторы, которые могут прекрасно писать ни о чем на трех страницах. И я очень люблю творчество таких мастеров слова, но сам не стремлюсь писать красиво и рассказываю свои истории сухим языком, похожим на язык журналиста-репортера. Рассказ историй – вот на чем стоит литература и без чего она распадается. Истории должны быть в первую очередь интересны и трогательны. Если книга не заставляет сопереживать героям, я называю ее плохой, как бы автор ни прикрывался поиском новых форм. Мои произведения эмоциональны, и это их важнейший ингредиент. Критики пишут – если роман Вишнеvского состоит из 311 страниц, но в нем будет 312 трагедий. И это недалеко от истины.

Еще для меня особо важна точность пересказа. Должно быть, в этом скрывается мой научный склад. Напри-

мер, работая над романом «Бикини», действие которого происходит в военном Дрездене, я неделю прожил в этом городе. Дух этого места, конечно, был для меня очень важен, но не только это... Я ходил с часами по улицам и измерял, сколько времени моя героиня будет идти от костела до дома. Я хочу иметь аргументы своей высказанной позиции, хочу быть доказательным, а у правды мелочей не бывает».

О РОССИИ

«Первый раз в Россию я приехал в сентябре 2007 года. Года, когда мой роман «Одиночество в Сети» был переведен на русский язык и книги появились на прилавках. С тех пор я много раз бывал здесь, но визиты получались очень короткими. К тому же издательства посылали меня исключительно в Москву и Санкт-Петербург. Их можно понять, там расположены самые крупные книжные магазины в стране и аудитория большая. Но и меня, которому все это надоело, тоже можно понять. «Хочу увидеть другую Россию», – твердо сказал я им. И они послали меня в Хабаровск. Было страшно холодно – минус 33 градуса, на Амуре замерз лед толщиной 4 метра. Но было очень интересно, и прием был теплым. Из Хабаровска мы отправились в Новосибирск, где было еще холоднее. Через год я снова взбунтовался и был отправлен в Архангельск, где сибирские морозы показались мне жарким летом. И теперь представьте, как я рад побывать в российской глубинке в теплое время года».

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ

«Русский язык для меня иностранный, так было и так есть. Я говорю на польском, немецком и английском гораздо лучше. Я живу в Германии довольно давно и ежедневно разговариваю на нескольких языках. В моей компании работают люди из 14 стран, и там я в основном использую английский. На улице и в магазине изъясняюсь по-немецки, дома говорю по-польски. Возможность попрактиковаться в русском языке появилась у меня только сейчас. И знаете, каждый день я чувствую, что говорю по-русски все лучше и лучше. К концу моего турне по городам России, наверное, и вовсе откажусь от переводчика.

Мне нравится мое многоязычие, оно дает мне определенную свободу. И я как могу поддерживаю свое владение языками, причем не только в

устном варианте, но и в письменном. На столике в моей спальне всегда лежат три книги – польская, английская и немецкая. Вернусь, положу туда русскую. Столик большой, место есть. Кандидаты уже есть. Очень люблю романы Акунина и Улицкой. И классику, само собой. Сейчас после выхода хорошей экранизации перечитываю «Анну Каренину».

О МЕСТЕ В ПОЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

«Живу в Германии, но меня ни в коей мере нельзя назвать немецким писателем. Я польский писатель и пишу только по-польски (научные статьи и монографии получаются и на английском языке, но не художественная литература). Более того, в Германии мои книги не издаются и на немецкий не переведены. Я сам так решил – не продаю права местным издательствам... Хочу оставаться в стране, где живу, неприметным и малоизвестным ученым. В отпуск я покидаю Германию и ныряю в мир шоу-бизнеса с автографами и встречами с читателями, но очень скоро возвращаюсь к белому халату и жизни скромного обывателя.

Моим дочерям такое положение дел не очень нравится. Им бы хотелось, гуляя по книжному магазину с подружками, показать на стеллаж с моими книгами и небрежно произнести: «Папа написал». Но пока мы живем в Германии, такого не будет.

Я могу себе позволить издаваться там, где хочу, не связывая себя контрактом с одним издательством, что погубило немало талантливых писателей. Только в Польше мои книги выпускают шесть издательств. Я диктую им свои условия, а не они мне. У издателей нет инструментов для давления на меня, потому что я пишу не ради хлеба насущного и не умру от голода, если уйду из литературы временно или навсегда.

Я так много работаю, а свободного времени так мало, что не успеваю тратить деньги, которые зарабатываю. Но мои дочери не оставляют меня в беде и помогают справиться с финансовыми излишками.

Что касается моего места в польской литературе, то я одновременно внутри нее и отдельно от нее. Я мало с кем знаком из польских писателей, в совместных вечеринках не участвую, ни в каких союзах не состою».

ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ

«Мою книгу «Одиночество в Сети» экранизировали в Польше в 2006 году. Я восхищен фильмом, но экранизация мне не понравилась. Такой вот парадокс. Большой бюджет, играют отличные актеры, лучшие польские артисты, картина безумно красивая и динамичная, Париж показан изумительно. Вот только я пи-

сал не об этом. Суть романа не передана. А потому это хороший фильм, но плохая экранизация. Надеюсь, российская версия фильма — а речь идет о восьми сериях — получится лучше.

Русские чувствуют мою книгу лучше, чем соотечественники. В петербургском театре «Балтийский дом» больше трех лет идет спектакль по ней. Превосходный спектакль. Я его трижды смотрел. А один раз даже вышел на сцену в роли бомжа, которого в начале действия спасает от самоубийства главный герой Якуб. Маленькая роль, но важная. В польском фильме я его тоже сыграл. На экране я меньше минуты, но снимали мы больше четырех часов. 17 дублей, можете себе представить? Вот уж кем точно никогда не стал бы, так это актером».

О ЗАПРЕТНЫХ ТЕМАХ

«Я жил за железным занавесом и знаю, что такое цензура. Мне было бы очень сложно писать в условиях цензурных запретов. Я считаю, что для писателя не может быть запретных тем, потому что если эти темы возникают, то они являются частью человеческой жизни. Однако внутренняя цензура все же должна быть у каждого автора. О чем я никогда не буду писать? О личной жизни. К сожалению, сейчас эта тема очень популярна. Все пишут книги. Актеры снимаются в сериале и тут же выпускают мемуары, как проходили съемки, чем они занимаются ночью, а чем утром и какое блюдо особенно удается их пятой жене.

Многие считают меня атеистом, потому что в своих книгах я иногда нелестно отзываюсь о служителях церкви. Но это не так, я — верующий. Верующий в Бога физик. Если наука не может доказать, что Бога нет, значит, он есть».

О РОДИТЕЛЯХ

«Моя мама была немкой, она родилась в Берлине. Мой папа был польским солдатом, который четыре года провел в концентрационном лагере. И все эти жизненные перипетии не помешали им встретиться и влюбиться друг в друга. О сложностях в польско-немецких отношениях я не в газетах читал, я переживал их дома практически ежедневно. Когда мама и бабушка принимались на кухне сплетничать о личной жизни соседок, они переходили на немецкий, чтобы мы, дети, не понимали, о чем они говорят. Но когда папа слышал немецкий язык, у него волосы на руках вставали дыбом от ужаса. Вместе с тем папа не учил меня ненавидеть немцев, а мама не учила их любить.

Я потерял маму, когда был молодым человеком, но все эти годы после ее смерти я веду с ней непрерывный диалог. В итоге этот диалог перерос в кни-

гу «На Фейсбуке с сыном», которая посвящена моей матери. Она умерла до изобретения Интернета, но мама была очень современной женщиной, и я уверен, у нее сегодня была бы своя страничка в социальных сетях, где мы бы с ней общались. В итоге я завел эту страничку сам и веду ее по сей день. Так мне проще смириться с утратой.

Книга начинается вечеринкой в аду, в которой моя мать встречает множество известных людей, от Сергея Есенина до Мэрилин Монро, все самые интересные люди мировой истории обретаются там. Многих читателей и критиков шокировало, что я поместил свою нежно любимую маму в ад. Но я погрешил бы против истины, если бы поступил иначе. У мамы было три мужа и два незаконнорожденных ребенка, а это осуждается церковью и общественной моралью».

О ЛЮБВИ И ЖЕНЩИНАХ

«Все мои книги о любви, даже детская. Когда пишу о любви, не забываю о том, что я химик. Знания в этой науке помогли мне многое понять в природе человеческой привязанности. Любовь — это тоже химия, и, если мне дадут доску и мел, я могу доказать это формулами. Я приблизительно знаю, какие процессы и реакции происходят в мозгу влюбленных мужчин и женщин. И какие продукты и субстанции возникают в

результате этих химических реакций. Очень опасные субстанции. Сродни отравлению.

Женщины часто просят меня дать совет, как жить и какими быть. Я отвечаю так — будьте умными. Умные женщины очень привлекательны и желанны. Страсть к разговору, по моему мнению, главная страсть в отношениях между мужчиной и женщиной. Если мужчина спешит из офиса на ужин домой, чтобы рассказать жене, как прошел день, это и есть любовь. По-моему, неверность начинается тогда, когда супруги перестают разговаривать друг с другом и начинают искать собеседников на стороне». ❀

ЕМУ ТЫ ПЕСЕН НАШИХ СПОЙ

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Когда-то стихи Аполлона Майкова учили наизусть с первых школьных лет, а самого его считали лучшим поэтом послепушкинской эпохи. Время выдвинуло вперед Тютчева, Фета, Алексея Толстого, а классического Майкова отодвинуло на второй и третий план. Хотя Майков, конечно, не стал хуже.

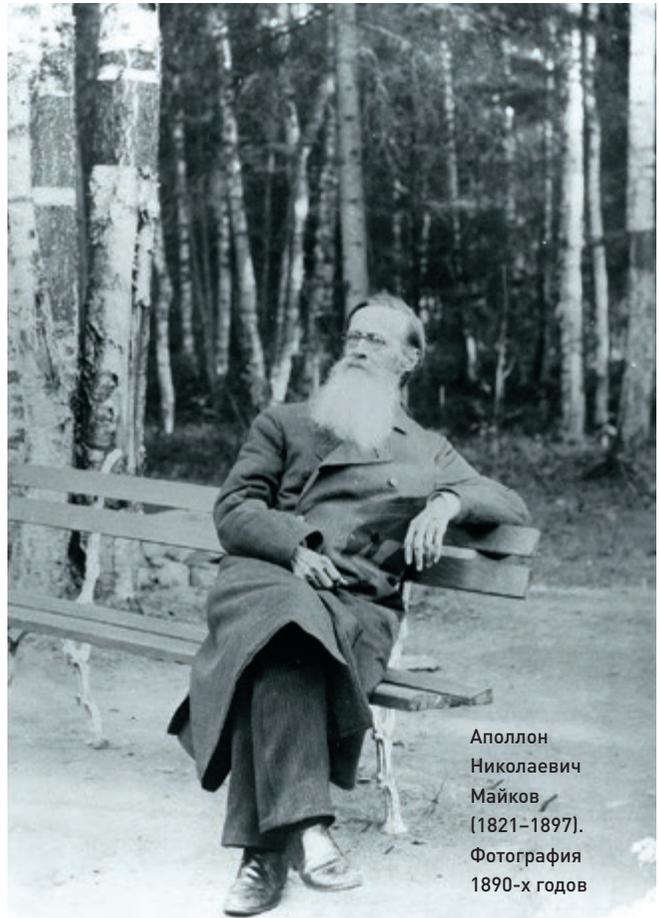
И В УЧЕБНИКАХ ОН УЦЕЛЕЛ: ШЕСТИКЛАССНИКИ читают «Емшан» – и, надо сказать, читают с удовольствием: есть в нем и так любимая ими чеканная балладная поступь, и ясный сюжет, и удивительная летящая тоска, на которую всегда откликается душа: «Ему ты песен наших спой, — // Когда ж на песнь не отзовется, // Свяжи в пучок емшан степной // И дай ему – и он вернется».

Иннокентий Анненский большую статью посвятил педагогическому значению стихов Майкова: они так живописны, так звучны, так тщательно отделаны, что прекрасно годятся для того, чтобы научить детей любить стихи.

Многие поэты никогда не публикуют свои юношеские стихи: так они слабы, не самостоятельны, косноязычны, так вялы – как проросшие в темноте ростки картошки. Другие совсем молодыми входят в поэзию уже мастерами, уже сильными поэтами: ничего нигде не провисает, не вызывает чувства мучительной неловкости. Таким поэтом и был Майков. Иннокентий Анненский замечал: «Мы не найдем в его томах ни беспредметных порывов юности, в виде целых пьес, ни прилежных робких подражаний любимым образцам – перед нами сразу выступает поэт, точно Паллада, вышедшая во всеоружии из Зевсовой головы».

АПОЛЛОНИЧЕСКИЙ АПОЛЛОН

Майков вошел в литературу как поэт антологический, работающий в русле классического наследия. Его первый сборник стихов был густо населен фавнами, наядами и дриадами и содержал перепевы древней классической поэзии. Бе-



Аполлон
Николаевич
Майков
(1821–1897).
Фотография
1890-х годов

ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

линский откликнулся на этот сборник большой и очень доброжелательной рецензией; «прекрасное дарование», «дивно поэтическая, роскошно художественная пьеса», «какие пластические, благоуханные, грациозные образы!».

Белинский говорил о склонности молодого поэта к живописности и его «гармоническом единстве с природою», но замечал у него некоторую однобокость изображения мира: в этом мире почти отсутствует трагедия. Майков и до конца жизни остал-

ся солнечным поэтом — в полном согласии со своим именем «аполлоническим», как говорили в Серебряном веке: ясным, спокойным, сдержанным. Никогда в нем не было ничего темного, страстного, «дионисийского» — напротив, его даже упрекали в чрезмерном бесстрастии. Но страстность он всегда истреблял, изгонял из своей поэзии, специально вымарывал все личное — отчасти потому, что это никому не интересно, отчасти из нежелания открывать душу посторонним. Он писал своим сыновьям, косвенно отвечая на упреки критиков, мол, почему у него совсем нет любовной лирики: «Меня <...> упрекали в холодности, главное указывая на то, что нет у меня любовных стихотворений <...> Но о любви своей мне всегда было писать и говорить стыдно. Что кому до этого за дело! Каждого пускать с своим носом к себе в сердце!» Майков не то что не выворачивает перед читателем душу, а вообще застегнут на все пуговицы и повязан галстуком; в его поэзии нет ничего смутного, ночного, бердящего душу — он поэт разумный, трезвый, уравновешенный. Более того, такие люди воспринимают чужую исповедальную лирику с некоторой брезгливостью — как душевный стриптиз. Публикатор писем Майкова И.Г. Ямпольский обращает внимание на то, что поэт сознательно стремится к поэтической сдержанности. Так, в одном из писем сыновьям сказано: «Вообще то, что вам представляется, может быть, во мне зрелостью ума, есть плод многого горького опыта, очарований и разочарований, и «взгляды и убеждения» сложились не без внутренних бурь и потрясений. Только мне всегда стыдно было их обнаруживать в стихах, ибо мне всегда противны были как байроновские проклятия, так и лермонтовские: «И скучно, и грустно, и некому руку подать». Но все это легло в основу совершенно объективных образов и лиц».

В лирической поэзии — самом, наверное, субъективном виде творчества — Майков старался быть «объективным». «В письме к сыновьям от 1890 года Майков говорит, что он «все свое облекал в объективную форму» и «все личное», которое являлось подпочвой стихотворений, изгонялось «как лишнее, не нужное никому», — пишет Ямпольский.

Пожалуй, стихотворения Майкова больше всего схожи с академической живописью его времени. Он сразу заявил себя мастером, он с юности предпочитал классические сюжеты — и всякое свое чувство, всякую свою мысль воплощал в тщательно отделанных строфах; где-то он даже назвал себя ювелиром.

И ДАЖЕ — ЕГО САМОГО С ЕГО КИСТЬЮ!

Отчасти, наверное, майковская склонность к живописанию — а он в поэзии явно тяготеет к описаниям, к статичным пейзажам, ландшафтам, максимум — бытовым сценкам — вынесена им из отцовского дома. Отец его, отпрыск древнего рода Майковых (считается, что к нему принадлежал святой Нил Сорский), был офицером, воевал в 1812 году под началом Багратиона, в Бородинском сражении был ранен в ногу — и пока лечил ее в своем ярославском имении, развлекался срисовыванием картинок. Рисование так увлекло его, что он не оставил его и по возвращении на военную службу, а вскоре сделался одним из известнейших художников своего времени — и впоследствии академиком живописи. До нас дошел его эскиз плафона «Олимп», изображающий сидящих на облаках богов; его сдержанная, прохладная цветовая гамма, лаконичность композиции и невыразительность лиц составляют интересную параллель майковской поэзии. Аполлон Николаевич тоже увлекался живописью, но в конце концов оставил это увлечение — сохранив, однако, склонность к созданию словесных картин, иногда чудесно выразительных:

*Кругом пестреет лес зеленый;
Уже румянит осень клены,
А ельник зелен и тенист; —
Осинник желтый бьет тревогу;
Осыпался с березы лист
И, как ковер, устлал дорогу...
Идешь, как будто по водам,
Нога шумит... а ухо вземлет
Малейший шорох в чаще, там,
Где пышный папоротник дремлет.
А красных мухоморов ряд,
Что карлы сказочные, спят...*

Мама писала сыну: «Вот ты и в Риме! Там, куда давно влекло тебя воображение и твоя муза; не разочаровывайся совершенно, мой друг, смотря на Рим, обитаемый итальянцами. Увы, всему приходит черед. Слава и земное могущество исчезают яко дым – но в Риме еще много осталось бессмертной славы; смотри на его обломки как поэт, философ... пиши, рисуй... не предавайся только праздности и

лени...»

Он побывал в Париже, слушал лекции в Сорбонне; на обратной дороге задержался в Праге – здесь зародился его интерес к идеям панславизма, здесь он работал над кандидатской диссертацией «О первоначальном характере законов по источникам славянского права».

Вернувшись домой, молодой поэт поступил на службу в библиотеку Румянцевского музея и окупился в петербургскую литературную жизнь, тон в которой теперь задавали Белинский и Некрасов; с обоими Майков много общался. Он живо поддерживал молодую натуральную школу, в некрасовском «Петербургском сборнике» поместил свою поэму «Машенька» о дочери мелкого чиновника, соблазненной и покинутой блестящим кавалеристом Клавдием. Со временем «Машенька» автору разонравилась, стала казаться тенденциозной; спустя десять лет он писал об этой поэме: «... мотивы взяты из жизни, но неопределенна, не сознана общая мысль поэмы; в герое – несколько общих черт, рассуждения о любви, отношения к свету, – все заученное, ходившее тогда в литературе с легкой руки Ж. Занда».

МНОГО ЭГОИЗМА И МАЛО ЛЮБВИ

Какое-то время братья Майковы увлекались демократическими идеями. Оба вошли в кружок петрашевцев, где сблизились с Достоевским. Но летом 1847 года 23-летний Валериан Майков внезапно умер: с ним сделался

Мать Майкова была писательница и переводчица – Евгения Петровна, урожденная Гусятникова. Аполлон, старший из четырех сыновей, родился в 1821 году (он был ровесником Бодлера, Флобера, Достоевского и Некрасова). Мальчик очень дружил с братом Валерианом, следующим за ним по старшинству. Детство, как и положено дворянским детям, они проводили в деревне, где дружили с крестьянскими мальчишками и пристрастились к рыбной ловле. Потом семья переехала в Петербург. Дом Майковых был открытый, гостеприимный, в нем постоянно собирались писатели и художники, но это был не светский салон, а именно уютный дом, где друзей любили, слушали, помогали, если им плохо. Одним из частых гостей был еще совсем не знаменитый Иван Гончаров, который вскоре стал преподавать братьям Майковым русскую словесность. Впоследствии из писем писателя к воспитанникам вырастет «Фрегат «Паллада». Евгения Петровна охотно привечала и даже подкармливала начинающих писателей; ее очень любил Достоевский, с которым Аполлон Майков сошелся в юности и дружил до самой смерти Федора Михайловича.

Аполлон и Валериан поступили на юридический факультет Петербургского университета; Валериан вскоре занялся литературной критикой, и в нем видели продолжателя дела Белинского. Младший брат, Владимир, впоследствии стал писателем, Леонид – этнографом.

Первые известные стихи Аполлона Майкова датированы 1837–1840 годами; в них он уже сложившийся поэт. Ректор Петербургского университета Плетнев, друг Пушкина, показал его стихи Жуковскому и Гоголю, рассказывал о них при дворе. На первую книгу поэта он откликнулся рецензией, где писал: «...судя по верности умопредставлений, сочувствует он с антологическими поэтами Греции, как сочувствовал с ними Дельвиг, а судя по музыкальному, воздушно-прозрачному стиху, с Батюшковым, Жуковским, Пушкиным и А. Шенье». Первую книгу Аполлон Майков посвятил маме. Публика встретила сборник очень благосклонно, а царь наградил автора тысячей рублей для поездки в Италию: учиться живописи и изучать поэзию.

Италия властно притягивала к себе русских поэтов и художников – от старших, Сильвестра Щедрина, Иванова, Брюллова, Тютчева, Гоголя, до младших – Алексея Толстого и Майкова. Майковские стихи об Италии – радостное изумление: «Ах, чудное небо, ей-богу, над этим классическим Римом! // Под таким небом невольно художником станешь». Эти строчки очень нравились Гоголю, он их часто повторял. Стихотворение это – рисунок в стихах: нарядные албанки стоят у фонтана, художник их рисует, а поэт описывает: «...и чудное небо, // И плющ темнolistый, фонтан и свирепую рожу тритона, // Альбанок и даже – его самого с его кистью!» Стихотворение из итальянского цикла «На дальнем Севере моем» – чудесная картина римского вечера, сумерек, «тумана в золотой пыли», заката – очень нравилось Некрасову.

удар во время купания. Аполлон долго не мог прийти в себя. В одном из писем он с горечью писал, что с братом было связано не только прошлое, но и будущее: теперь все намеченное вдвоем предстояло делать в одиночку. Примерно в это же время Аполлон познакомился со своей будущей женой, Анной Ивановной Штеммер из немецкого лютеранского семейства. Женится он на ней, однако, только в 1852 году, после нескольких перенесенных потрясений.

В 1848 году в России начался очередной политический заморозок – реакция на французскую революцию и брожение умов. В следующем году кружок петрашевцев был разгромлен, его члены арестованы; Майкова задержали, допросили и в тот же вечер отпустили. Перепуган он был страшно – испугом и отделался; одни биографы утверждают, что по своей полной непричастности к делу петрашевцев, другие – что следователи просто не докопались до того, как близко он стоял к центру кружка. Позже Майков писал, что в 40-х годах даже дневников не вел, опасаясь обыска, что к античным темам обращался потому, что в подцензурных условиях это была отдушина для творчества; тем поразительнее его резкий поворот в политических взглядах в «мрачное семилетие». Как и Достоевский, Майков в это время совершенно отошел от революционно-демократических идей («много вздору, много эгоизма и мало любви») и стал проповедовать, что лучшие формы правления – те, что выработаны самой историей. Он сблизился со славянофилами, стал резко возражать западникам — а с началом Крымской войны и подъемом патриотических чувств Майков принялся яростно поддерживать правительство. Он писал в это время Писемскому: «И каково бы ни было образование каждого, из каких бы источников ни почерпнул он свои знания и мнения, все в один голос, в один миг должны были разрешить этот вопрос и единодушно, перед судом совести ответить: «Я русский»... Ничто не подавило в нашем созна-

**А.Н. Майков
в своем кабинете**



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

нии, что можно быть ученым и образованным человеком и чувствовать, что мы в то же время русские и что в нас повыше всего одно святое чувство любви к отечеству!»

Стихотворения, написанные Майковым в 1854 году, восстановили против него многих бывших друзей. Его отношение к революционному преобразованию действительности ясно выражено в стихотворении «Арлекин» 1854 года:

*...И мы пошли ломать. Трещало
Все, что построили века...
Грядущее издалика
Нам среди руин зарей сияло...
Но вдруг среди наших сладких снов,
Среди наших пламенных теорий –*

Мы слышим черни ярый рев:
 Как будто вдруг из берегов,
 Бушующая, выступило море!..
 Мы в ужасе глядим кругом.
 И что ж? Как демоны в потемках,
 Одни стоим мы на обломках:
 Добро упало вместе с злом!
 Все наши пышные идеи
 Толпа буквально поняла
 И уж кровавые трофеи,
 Вопя, по улицам влекла...

«Арлекин» появился в «Современнике» в 1855 году. Поэт Щербина написал эпиграмму, где прямым текстом говорил, что Майков воспекает Третье отделение. «Отечественные записки» отозвались отрицательной рецензией. Стихотворение «Коляска» довольно долго ходило в списках. В нем лирический герой с благоговением смотрит на проезжающего по улице в коляске императора, погруженного в мрачные мысли, и сочувствует ему, и хочет ему сказать:

*«Великий человек! Прости слепорожденным!
 Тебя потомство лишь сумеет разгадать,
 Когда история пред миром изумленным
 Плод слезных дум твоих о Руси обнажит
 И, сдернув с истины завесу лжи печальной,
 В ряду земных царей твой образ колоссальный
 На поклонение народам водрузит».*

Хотя в те времена даже оборот «обожаемый император» был совершенно обыкновенным для ежедневных газет, столь верноподданническое стихотворение все же было несколько неожиданным для литератора круга Некрасова и Белинского. Майкова бранили за подлость и называли «льстивым рабом»; в письме поэту Полонскому он писал потом, что это была «глупость, не подлость». Николай I долго занимал его мысли; Майков считал, что император был способен на огромные свершения и прекрасно понимал русский дух, но образованное общество, выросшее на французских идеях, его не поняло...

КАК ФЕВРАЛЬ НИ ЗЛИСЯ

В 1852 году Майков женился на своей Анне Ивановне, с которой жил долго и счастливо. У них было четверо детей – три мальчика и девочка Вера. Забегая вперед, скажем, что Вера заболела и умерла в 11 лет. Майковы очень горевали по доброй и заботливой дочке; стихи «Не может быть! не может быть!» – редкий случай, когда Майков не пытается быть объективным и не вымарывает живые чувства, а просто плачет:

*Не может быть! не может быть!
 Она жива!.. сейчас проснется...
 Смотрите: хочет говорить,
 Откроет глазки, улыбнется,
 Меня увидит, обоймет
 И, вдруг поняв, что плач мой значит,
 Ласкаясь, нежно мне шепнет:
 «Какой смешной! о чем он плачет!..»
 Но нет!.. лежит... тихая, нема,
 Недвижна...*

В 1855 году Майков издал прелестную поэму «Рыбная ловля»:

*А тут мой поплавок мгновенно
 исчезает.
 Ташу – леса в воде описывает круг,
 Уже зияет пасть зубастая — и вдруг
 Взвилась леса, свистя над головою...
 Обрызгла!.. Господи!.. Но, зная норов
 шук,
 Другую удочку за тою же травую
 Тихонько завожу и жду, едва дыша...
 Клюет... Напрягся я и, со всего размаха,
 Исполненный надежд, волнуясь
 от страха,
 Выкидываю вверх – чуть видного
 ерша...*

*О, тварь негодная!.. От злости чуть не
 плачу,
 Клянусь себя, людей и мир за неудачу.*
 Майков холоден и академичен, когда пишет о вакханках с тимпанами. Слишком зол и публицистичен в своих попытках вести полемику в стихах и обличать нравы – ну не тягаться ему здесь было с желчным и ядовитым Салтыковым-Щедриным, вечным его противником. Но когда Майков берется за то, что любит больше всего на свете, когда он позволяет себе расстегнуть пуговку у ворота и побыть собой – веселым, счастливым, простым,

– из-под его пера летят, искрясь, строчки, исполненные самой высокопробной поэзии. Недаром сразу, ментально полюбили читателю и прочно обосновались в хрестоматиях для детского чтения его знаменитое «Весна! выставляется первая рама» – стихи, до краев полные счастья, света, тепла и весеннего шума.

В советские времена Майкова как реакционера и консерватора пытались «сбросить с корабля современности». В «Литературной энциклопедии», вышедшей в 1929–1939 годах, о Майкове среди прочего сказано о его стихотворении «Сенокос», что он «в слащавых тонах» изображал «деревню под эгидой ласкового помещика». «Сенокос», собственно говоря, вот:

Пахнет сеном над лугами...

В песне душу веселя,

Бабы с граблями рядами

Ходят, сено шевеля.

Там – сухое убирают;

Мужички его кругом

На воз вилами кидают...

Воз растет, растет, как дом.

В ожиданьи конь убогий

Точно вкопанный стоит...

Уши врозь, дугою ноги

И как будто стоя спит...

Только жучка удалая

В рыхлом сене, как в волнах,

То взлетая, то ныряя,

Скачет, лая впопыхах.

Не столь уж много в русской поэзии таких ярких, обаятельных и смешных образов полного животного счастья, как эта жучка удалая, ныряющая в волнах свежего сена. Хотя, пожалуй, на фоне «эгиды ласкового помещика» она еще смешнее.

Когда Майков пишет о весне, грозе, солнце – он вдруг начинает звенеть счастьем и лучиться солнцем, и это, наверное, лучшее, что вообще выходило из-под его пера – все эти звезды, которые похожи на золотых пчелок, эти синие стрекозы, этот благодатный дождик, который загнал влюбленных в золотистую клетку, эта ласточка, поющая:

«Как февраль ни злился,

Как ты, март, ни хмурься,

Будь хоть снег, хоть дождик –

Все весною пахнет!»

Почти все это – стихи второй половины 50-х: времени семейного счастья, тихой усадебной жизни. Время оттепели, время надежд: будь хоть снег,

хоть дождик – все весною пахнет. И у сборника стихов характерное название: «На воле».

Майков в это время много выступал с чтением стихов, много печатался. Сейчас он одобряет правительство, которое «само пустилось по спасительному пути реформ и призывает само все разумные силы нации к открытию мер для осуществления идей, за которые некогда гнало». Крестьянскую реформу он приветствовал – и написал стихотворение «Картинка», изображающее крестьян, которые слушают царский манифест. Стихотворение привело в ярость Салтыкова-Щедрина: «Что ни слово, то фальшь».

...В ВЕЧНОСТЬ ГЛЯНУВШЕЙ ДУШИ

С 1852 года Майков работал в Петербургском комитете иностранной цензуры: начинал младшим цензором, а с 1875 года возглавлял комитет. В комитете работал Тютчев, который для Майкова стал наставником, старшим товарищем, учителем: «Знакомство с Тютчевым и расположение ко мне, – отмечает Майков, – все скрепленную пятнадцатилетней службой вместе и частными беседами и свиданиями, окончательно поставило меня на ноги, дало высокие точки зрения на мир, Россию и ее судьбы в прошлом, настоящем и будущем, и сообщило тот устойчивый мыслительский стержень, на коем стою теперь и на коем воспитываю свое семейство». В том же комитете работал и Яков Полонский. «Мне ничего более не надо: я и умереть хочу, как и Тютчев, в дорогом моему сердцу комитете», – сказал однажды Майков.

В 1858 году Майков по приглашению Морского министерства отправился в экспедицию в Грецию на корвете «Баян». Корвет подолгу стоял в портах Италии; в одном из своих итальянских стихотворений Майков досадует на опостылевший Неаполь и тоскует по родине. «Неаполитанский альбом (Мисс Мэри)» – стихи веселые, легкомысленные, полные танцевальных ритмов; даже о восстании Гарибальди он повествует как-то мимоходом, вскользь. До Греции «Баян» так и не добрался, однако Майков в экспедиции учил новогреческий язык и создал цикл новогреческих песен.

В 60-е годы поэт сблизился с кругом «Москвитянина» и славянофилами. Дружил с Достоевским – еще с петрашевских времен. Они переписывались, пока Достоевский был в остроге и ссылке, Майков был крестным отцом детей Федора Михайловича, который ценил деликатность и душевность Майкова, его готовность помочь. Дружить с Достоевским было трудно: тяжелый характер его был причиной размолвок и недопонимания, однако друзьями они оставались до самой смерти Достоевского.

Славянофильство, панславизм, борьба с нигилизмом, консерватизм в политических взглядах и серьезное, вдумчивое христианство – все это сближало его с До-

Трудолюбивый, усидчивый, спокойный, одаренный незаурядным версификаторским дарованием, знающий несколько языков Майков не мог не стать прекрасным переводчиком. Он перевел на русский язык «Слово о полку Игореве», и этот перевод долго считался лучшим. Майков переводил греков и римлян, Мицкевича, Гёте, Лонгфелло, Андерсена, верно служа литературе – поэзии – чистому искусству, как он его понимал. «Я читать не могу стихов теперь, где, кроме задирательной идеи, ничего нет. А уж рассказы об исправниках – мочи нет! Двадцать рассуждений бы прочел лучше о преобразовании земской полиции, чем одну такую повесть», – злился Майков на народническую литературу «с тенденцией». Сам он «тенденцию» у себя тщательно истреблял — и считался вместе с Фетом и Полонским приверженцем «искусства ради искусства». Фет, великий князь Константин Романов – поэт К.Р. – вот его литературные соратники к концу жизни.

Удивительно, что поэт, еще заставший Батюшкова и Пушкина, переживший Некрасова и Тютчева, выдержавший многолетнюю вражду с революционно-демократической критикой, к концу жизни еще успел в новую литературную битву:

*У декадента все, что там ни говори,
Как бы навыворот, —
пример тому свидетель:
Он _видел_ музыку; он _слышал_ блеск
зари;
Он обонял звезду; он шупал добродетель.*

Он начинал писать, вдохновленный Державиным, даже не Пушкиным; в конце жизни ценил Мережковско-го – от XVIII века до Серебряного, почти до самого XX Майков пронес лиру через самые непоэтические времена, верный себе и своему поэтическому девизу:

*В чем счастье?..
В жизненном пути
Куда твой долг велит – идти,
Врагов не знать, преград не мерить,
Любить, надеяться и – верить. ❀*

стоевским. Достоевскому очень нравилось стихотворение Майкова «Дорог мне, перед иконой...» – о свечах в церкви, за каждой из которых – чья-то молитва:

*Это – светлое мгновенье
В диком мраке и глуши,
Память слез и умиленья
В вечность глянувшей души...*

«И откуда Вы слов таких достали! Это одно из лучших стихотворений Ваших», – писал Майкову Достоевский.

Майков много размышляет о христианстве: его поэма «Три смерти» рассказывает о заре христианства и борьбе с язычеством. В стихотворении «Савонарола» он задумывается о том, как губительна для христианства мрачная, безрадостная аскеза. Нет, не в этом Христос, убеждает Майков:

*О нет! Скорбящих утешая,
Ты чистых радостей не гнал
И, Магдалину возрождая,
Детей на жизнь благословлял!
И человек, в твоём ученье
Познав себя, в твоих словах
С любовью видит откровенье,
Чем может быть он свят и благ...*

В «Упраздненном монастыре» Майков размышляет о русском христианстве и его нынешнем оскудении:

*Святыню вывезли... Но нет,
Не всю!.. Нет, чувствую, живут
Мольбы и слезы, столько лет
От сердца лившиеся тут!*

Наконец, последняя его большая поэма – «Два мира» – снова о язычестве и христианстве; «Три смерти» вошли в нее как одна из частей. В 1882 году Майков получил за поэму Пушкинскую премию Академии наук; историк литературы Святополк-Мирский, говоря об общем оскудении поэтического мастерства в конце XIX века, характеризовал поэму так: «Несмотря на то, что там содержится множество пассажей, доказывающих, что у Майкова был сильный ум, стихи ее плоски и общая концепция неудачна». Крупные поэмы, продуманные, простроенные стихи – рассудочные, рациональные, старательно проработанные – сильно проигрывают коротким стихийным зарисовкам сборника «На воле». Тем не менее именно серьезный, масштабный поэтический труд Майков считал своим основным делом. Он много думал о русской истории, и ей посвящено множество его крупных поэтических произведений — а лучшим из них все равно оказался «Емшан», одухотворенный не мыслью, а живой тоской.

РОЖДЕННЫЙ ЛЕТАТЬ

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Несчастий в этой жизни хватило бы на десяток других, а он писал о счастье. Невезучий и не очень удачливый, злой, сильно пьющий, он ассоциируется у русских читателей не со свинцовыми мерзостями во вкусе Горького, а с радостью, полетом, морем — вообще чем-то таким прекрасным и таким блистающим, что бывает только в хороших снах. Проза Александра Грина вообще похожа на хороший сон.



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

А.С. Грин
(1880–1932)
с ястребом Гулем

А ЖИЗНЬ ЕГО, РАССКАЗАННАЯ в «Автобиографической повести», кажется сном страшным – такой липкий кошмар, из которого, как ни выпутываешься, все никак не можешь вылезти. Первая жена Грина, Вера Павловна (во втором замужестве Калицкая), писала, что в нем было два существа – Гриневский и Грин, и они почти не смешивались друг с другом: «Если каждого из нас можно изобразить в виде ткани, в которой белая и красная нити замысловато, но довольно равномерно переплетены, то Александра Степановича следовало бы изобразить в виде двух полотнищ – красного и белого, только изредка перекрывающихся или смешивающихся друг с другом».

ШХУНА С БУШПРИТОМ И ДВУМЯ ПАРУСАМИ

Отец его, Стефан Гриневский, по-русски Степан Евсеевич, был потомственный польский дворянин, сын богатого помещика. Еще гимназистом он участвовал в восстании 1863 года и был сослан в Томскую губернию, потом пришел пешком в Вятскую, работал бухгалтером. Он женился на Анне Лепковой, дочери коллежского секретаря. Сначала у семьи не было детей, и они взяли на воспитание подкидыша Наташу, но тут дети пошли один за другим. Александр, рожденный в 1880-м, был старшим; за ним последовали Антонина, Екатерина и Борис. Денег у Гриневских почти не было, семья сильно нуждалась. Дети учились плохо: Антонину забрали из четвертого класса гимназии, Екатерину собирались исключить из шестого, и отец забрал ее, так что экзамены она сдавала экстерном. Александр получал сплошные пятерки по литературе, Закону Божьему и географии, но в точных науках ничего

не понимал, и задачки по математике за него решал отец. Он же, увидев, что мальчик страстно интересуется охотой, купил ему, десятилетнему, ружье и научил стрелять. Охотником Саша был плохим – слишком нетерпеливым, но на охоте пропадал целыми днями.

Неусидчивый, неистощимый на выдумки и шалости, Грин-блин, как его прозвали товарищи, часто оставался после уроков без обеда в наказание за какую-нибудь провинность. Дома его ругали, иногда били. И не сказать чтобы отец не любил детей – напротив, сам учил их читать и считать, делал с ними уроки, хлопотал о них, когда их исключали из учебного заведения. И все равно в семье было как-то неуютно, нехорошо – дети не слушались, отец пил, оскорблял мать при детях, им тоже доставалось. Мать, измученная детьми, хозяйством, бедностью и нездоровьем, злилась на всех. «Я испытал горечь побоев, порки, стояния на коленях. Меня, в минуты раздражения, за своеволие и неудачное учение звали «свинопасом», «золоторотцем», прочили мне жизнь, полную пресмыкания у людей удачливых, преуспевающих», – писал Грин в «Автобиографической повести». Саша Гриневский был типичным подростком конца XIX века – из тех, что упоенно рубают лопухи самодельными саблями, воображая себя великими воинами, читают под партой Фенимора Купера и Густава Эмара, выписывают журнал «Вокруг света» и хотят убежать в Америку – вот точно как чеховские Володя и Чечевичин из «Мальчиков». «Два раза Сашу исключали за шалости, – писала Вера Калицкая, – но по просьбе отца принимали обратно. Из третьего класса исключили опять, и на этот раз хлопоты родителей не помогли». Причиной исключения стали стихи – подражание пушкинской эпиграмме: «Капустин, тощая козявка, // Засохшая былинка, травка, // Которую могу я смять, // Но не желаю рук марасть». И дальше, про каждого учителя так. Дома его побили, несколько

дней стыдили: что из тебя вырастет! Потом отец перевел мальчика в городское четырехклассное училище, которое Саша окончил в 1896 году.

Мать его умерла от туберкулеза, когда ему было 13 или 14 лет. Отец вскоре снова женился, пошли дети – Николай, Варвара, Ангелина, да еще у мачехи был сын от первого брака. У старших детей отношения с мачехой совсем не заладились, отец снимал комнаты Александру и Екатерине, чтобы они жили отдельно.

Саша давно мечтал о море, и, когда он окончил училище, семья решила отправить его в Одессу, где были мореходные классы. Мальчик уехал на юг с плетеной корзиной и акварельными красками – рисовать невиданные цветы на берегах Ганга. Когда приехал – оказалось, что прием в классы окончен. И платить за обучение семья все равно не могла. Можно было наняться на судно учеником, но учеников брали за плату. Саша долго мыкался по порту, пытаясь наняться хоть куда-нибудь. Наконец, еле живой от голода, обратился за помощью к портовому бухгалтеру Хохлову (сам он пишет, что рекомендательное письмо к нему получил от случайного попутчика). Тот поселил его в бордингаузе, где ночевала береговая команда; юноше выдали одежду и обувь – а вскоре его взяли учеником на пароход «Платон»: он выпросил у отца денег на оплату одного месяца. Корабельная служба, о которой он так давно мечтал, оказалась изнурительной; она аукается в «Алых парусах»: «Случалось, что петлей якорной цепи его сшибало с ног, ударяя о палубу, что не придерванный у кнека канат вырывался из рук, сдирая с ладоней кожу, что ветер бил его по лицу мокрым углом паруса с вшитым в него железным кольцом, и, короче сказать, вся работа являлась пыткой, требующей пристального внимания». Морская служба Грина была пыткой от начала до конца. Один рейс на «Платоне» – затем пришлось уйти, нечем было платить за обучение. Он лежал в больнице для бедных, голодал, побирался, наконец нанялся на маленькое судно «Святой Николай», однако при расчете оказался еще и должен хозяевам, ушел со скандалом. Работал в пакгаузе, ходил матросом на «Цесаревиче» в Константинополь, но не удержался и там: поднял на смех капитана, и тот снял его с работы, не дожидаясь конца рейса.

Через год он вернулся в Вятку ни с чем – с пустыми руками, без денег, без вещей, только с горьким опытом. Краски давно продал, единственное его сокровище – китайскую чашку, зачем-то купленную на последние деньги, – у него украли. Через несколько лет он попал в армию, и в его армейских документах сохранилась запись: «Особые приметы: на груди татуировка, изображающая шхуну с бушпритом и фокмачтой, несущей два паруса». Это, наверное, единственный материальный след его матросской службы.

Отец надеялся, что подросший сын будет помогать семье, а не тянуть с нее деньги; Сашу устроили на железнодорожные курсы, но ему там стало тошно, и он их бросил. Стал переписывать роли для актеров, через год затосковал и отправился на юг в жажде приключений. На сей раз в Баку. Этот год оказался хуже даже, чем год в Одессе: «холод и мрак». Саша пытался работать на нефтяных и рыбных промыслах, в порту, где придется; он заболел малярией. Один раз чуть не умер от жажды,

пустоту, без следа, как снежинки. И от этих безжалостных строк, ядовитых, как смех Мефистофеля, неутомимых и спокойных, как бег маятника, – ему стало скучно и холодно». А весна смотрит в окно камеры «ласковыми, бесчисленными глазами», и синяя река дрожит золотыми блестками.

Вера Калицкая пишет о Бибергаль: «В Грине она видела талантливого агитатора, в

момент увлечения становившегося вождем тех, кто его слушал. В такие часы и Бибергаль увлекалась им». Он решил отойти от революции – она сказала, что раз он ушел из революции, то ушел и из ее жизни. Он пытался ее удержать – она его отталкивала. Тогда он вытасил револьвер и наставил на нее. Она не сдавалась. Грин писал об этом: «Она держалась мужественно, вызывая, а я знал, что никогда не смогу убить ее, но отступить тоже не мог, — и выстрелил». Так у него в «Острове Рено», первом из «нерусских», романтических его рассказов, Тарт стреляет в преследующего его Блемера – и так зримо и слышимо булькает воздух в пробитом легком Блемера и сочится сквозь пальцы липкая кровь, так бездумно стреляет Тарт и так растерян потом, – что ни секунды не сомневаешься в том, что рука, написавшая «Остров Рено», не дрогнула бы, спуская курок в нескольких сантиметрах от чьей-то груди... Киске пуля попала в грудь и застряла в боку; раненая даже смогла выйти в комнату хозяев квартиры и попросить их, чтобы они уговорили Гриневского уйти. Он ушел, Киску прооперировал знаменитый профессор, она выздоровела, но больше с отвергнутым влюбленным не оставалась наедине и возможностей объясниться ему не дала. Его арестовали в 1906 году, и они больше никогда не виделись. Она провела несколько лет на каторге; известна ее фотография среди других эсерок-каторжанок, среди них знаменитая Мария Спиридонова. Грин послал ей туда свою книгу с рассказом «Маленький комитет» – там речь идет о городском революционном комитете: «Комитет хо-

неправильно выбрав маршрут пешего перехода под палящим солнцем. Спал в ночлежках. Побирался. Редко кому из русских писателей доставалась такая чудовищная юность – разве что Горькому да Сологубу. Даже не удивительно, наверное, что из всех троих вышли романтики – из кого революционные, а из кого мрачные. Должно быть, потому, что все это совершенно невозможно вынести, если не быть уверенным в том, что человек – это звучит гордо, а на свете есть Лисс, Зурбаган и звезда Маир. В Вятку он снова явился без гроша. Опять переписка ролей, потом железнодорожные мастерские – стабильная работа и заработок, но он опять затосковал и уехал. Сначала хотел жить охотой, как куперовский Следопыт. Работал банщиком. Матросом на речной барже. Пьянствовал. Был переписчиком у присяжного поверенного. Ушел на Урал на золотые промыслы – но и там не удержался. Вернулся, наврал отцу, что ограбил с разбойниками контору золотодобытчиков, но все деньги прокутил. Отец задумался: «Не знаю, что из тебя выйдет».

ЛЮБОВЬ И РЕВОЛЮЦИЯ

В 1901 году Гриневскому исполнился 21 год – время призыва на военную службу. Ему дали отсрочку на полгода, уж больно тщедушен оказался призывник. Но в 1902 году забрали в армию. Службу он возненавидел с первых же дней. Из девяти проведенных в армии месяцев три просидел в карцере. В армии познакомился с революционером Студенцовым и тоже решил пойти в революцию. С помощью друзей-эсеров бежал из армии, и теперь его жизнью управляла партия. По ее решению он переезжал из города в город. Он скоро понял, что сама идея террора ему не нравится, что это путь не для него. Партия сочла, что из него получится хороший пропагандист, говорил он горячо и убедительно. Его посылали к матросам и солдатам – там он был свой. Он вспоминал: «Оказывается, один солдат после моего ухода бросил с головы на землю фуражку и воскликнул: «Эх, пропадай родители и жена, пропадай дети! Жизнь отдам!»

Партийная работа снова привела его на юг – Екатеринослав, Киев, Одесса, Севастополь, где он встретил первую свою большую любовь, Екатерину Бибергаль. В его «Автобиографической повести» ее зовут Киска. Есть несколько ее фотографий: иронический прищур, видно, что умная и незаурядная. Гриневский звал ее замуж, она обещала ему – но в любовную историю вмешалось правосудие. Солдаты, которых агитировал Гриневский, выдали его полиции. Он не давал показаний, не называл себя, не сотрудничал со следствием – и два года просидел в тюрьме, при всякой возможности пытаясь бежать. Киска уехала в Швейцарию, откуда вернулась после амнистии 1905 года. Но вместо воссоединения получилась драма: он устал голодать, мерзнуть, прятаться, бояться, ждать ареста и гибели. Он хотел жить и любить, она хотела жертвовать собой и делать революцию. У него в рассказе «Апельсины» (1907) арестант в тюрьме пытается читать «Капитал»: «Сухие, математически ясные строки понеслись перед глазами, падая в какую-то странную

дит в юбке. Ему девятнадцать лет, у него русые волосы и голубые глаза. Очень маленький комитет». Послереволюционная судьба Киски – тоже типичная для социал-революционерки: сталинские лагеря и ссылка.

ИЗ РЕВОЛЮЦИИ В ЛИТЕРАТУРУ

Революционер Гринеvский попал в петербургские «Кресты», и Красный Крест, помогающий заключенным, позаботился о том, чтобы к нему на свидание ходила фиктивная невеста, раз в городе нет родных, которые могли бы носить передачи. Невестой назначили преподавательницу вечерней школы для рабочих Веру Абрамову. На свидании арестант поцеловал свою «невесту» на прощание; этот поцелуй смутил ее. Гринеvский скоро уехал в ссылку и должен был провести несколько лет в Тобольской губернии, но сбежал оттуда на следующий день после приезда, вернулся в Петербург с чужим паспортом (В. Вихров пишет, что паспорт умершего «личного почетного гражданина» Мальгинова для него раздобыл отец. – **Прим. авт.**) и сразу направился к невесте, которая вскоре стала его гражданской женой: венчаться по фальшивому паспорту было нельзя. Именно к этому времени относятся первые литературные опыты Александра Степановича. Написаны они были по заказу партии – как агитационные материалы: рассказ «Заслуга рядового Пантелеева», впоследствии конфискованный и сожженный, и «Слон и Моська». Редактора и издателя «Заслуги рядового Пантелеева» посадили, но они не выдали, кто автор, – рассказ был подписан «А.С.Г.». Заслуга, кстати, состояла в том, что рядовой Пантелеев застрелил крестьянина во время бунта; текст предназначался для агитации среди солдат. Рассказ «Случай», на ту же тему, стал первым текстом, под которым в печати появилась подпись «Грин»; позднее высказывались догадки, что автор взял этот

псевдоним для иностранного колорита – но никакого иностранного колорита в первых рассказах Грина еще не было, подписаться собственным именем беглый ссыльный, живущий по чужому паспорту, никак не мог; наконец Грин – просто детское прозвище.

Первые рассказы Грина похожи вовсе не на Грина, а на русскую литературу «критического реализма»: «Ночью, когда все затихало и в спертом, клейком воздухе казармы прели вонючие портянки и лапти; когда смутные, больные звуки стонали в закопченных бревенчатых стенах, рожденные грудами тел, разбитых сном и усталостью, Евстигней вскакивал, ругался, быстро-быстро бормоча что-то, затем бессильно опускал голову, скреб волосы руками и снова валился на твердые, гладкие доски». Это мог быть чей угодно текст, таких полно было в «Русском богатстве», или в «Мире Божьем», или в сборниках «Знание». Прошло несколько лет, пока он нашел свою дорогу в прозе. Его первый сборник рассказов, «Шапка-невидимка», повествует о нелегалах-подпольщиках. Грин ясно понимал, что революционера из него не вышло: террористических методов он не одобрял, устал от бездомной жизни, ожидания ареста, от бесконечных странствий. Жена его пишет: «Именно из-за этой нервной усталости Грин и отказался от работы в партии, открыто заявив: «Не хочу работать больше, устал, не хочу рисковать». И вот сейчас, в 1907 году, когда революция закончилась всеобщим разочарованием, усталостью и тоской, на смену Грину-подпольщику пришел Грин-романтик.

Со словом «романтик» в русском языке произошла ужасная история: оно безнадежно опошлилось. Романтик XIX века – мрачный одиночка, рассказывающий жуткие истории о сильных людях, преодолевающих страшные обстоятельства. В парах абсента он различает смутные предупреждения о будущем, ловит напевы диких и прекрасных мелодий и видит далекие прекрасные страны, где природа не испорчена цивилизацией, а нравы первобытны и суровы. В начале XX века романтик – это человек, вдохновленный великой идеей, уверенный в ее могучей силе и собственной способности перевернуть мир и сделать его пригодным для жизни. Но уже к концу XX века романтик стал ассоциироваться не с мхурой мощью романтизма, а с сопливой и слабодушной романтикой. И особенно не повезло тут Грину, которого совершенно разменяли на бречание гитары, песни про бригантину и девичьи мечты про романтические свидания и прогулки на яхте, от каких всякого романтика непременно стошнило бы.

Первое «нездешнее» произведение Грина – «Остров Рено»: матрос Тарт решает не возвращаться на корабль и остаться на прекрасном острове. Здесь уже звучат все гриновские мелодии: и разочарование в человеческом обществе, и поиски настоящего, и – самое главное, по чему безошибочно опознается Грин, – момент счастья, когда тоскливая действительность вдруг открывается и в ее сердцевине проступает чудо: «С минуту, трепеща от восторга, Тарт не решался поднять веки, боясь, что случайною сказкою мысли покажется неожиданное великолепие окру-

несколько дней. Гонораров, разумеется, на жизнь не хватало. Фактически его содержала жена.

Его снова арестовали в 1910 году, и теперь уже он мог венчаться; Вера Павловна долго хлопотала об этом; арестанта доставили в церковь, на венчании присутствовали сестры Грина и полицейские агенты. Почти сразу новобрачные отпра-

вились в ссылку в Архангельскую губернию, где прожили два года. Годы эти трудно назвать идиллическими, и закончились они разрывом, причем по инициативе Грина. Жена не возражала: ей было все труднее терпеть грубость и пьянство Грина. Тем не менее они остались на всю жизнь добрыми друзьями, и Вера Павловна, умевшая разглядеть в злом и дисгармоничном Грине нежную, летящую душу Грина, спокойно и доброжелательно помогала ему и его второй жене.

НЕГДЕ ПЕЧАТАТЬСЯ

Перед Февральской революцией он жил в Финляндии и, узнав новости, отправился в город пешком, потому что поезда не ходили. Ни писем, ни записей его за этот год не сохранилось. «Два человека, видевшие его после февраля, рассказывают, что часто встречали его на многочисленных стихийно возникающих митингах. Он ко всему приглядывался, прислушивался», — пишет его биограф Владимир Сандлер.

Жизнь его после Октябрьской революции, как и у всех, — бедная и голодная. Книги не издаются, зарабатывать нечем. Ник. Вержбицкий рассказывает в воспоминаниях, что Грин жил на даче в Барвихе, имущества у него не было, кроме чемоданчика со сменным бельем, хлебных карточек тоже; он собирал в лесу грибы, жарил на костре и ел, иногда таскал с поля картошку и ел сырой, варить бы не позволил хозяин дома. Осенью он влюбился, переехал к женщине по фамилии Долидзе, о которой мало что известно; три месяца

жающего. Но сильный, горячий свет проникал в ресницы красным туманом, и нетерпеливая радость открыла его глаза...» — и дальше чистая песня, симфония счастья, сложенная из пыли водопадов, радуги, золотистого дрожания капель, и ни одной фальшивой ноты.

Грин — человек ломаный, мрачный, сильно пьющий и во хмелю нехороший — знал за собой тягу к болезненным фантазиям и гадким видениям (об этом у него есть несколько совсем больных, декадентских, жутких рассказов). Это стремление он сознательно в себе давил; так, один из его героев, художник, прячет и уничтожает свои inferнальные творения, вместо того чтобы показывать их миру: «... реку, запруженную зелеными трупами; сплетение волосатых рук, сжимавших окровавленные ножи; кабачок, битком набитый пьяными рыбами и омарами; сад, где росли, пуская могучие корни, виселицы с казненными; огромные языки казненных висели до земли, и на них раскачивались, хохоча, дети...» По нынешним временам все эти цветочки зла — вполне невинный мейнстрим; Грин мог стать мрачным мастером безумия, крови и ужаса, природных данных бы ему для этого хватило, недаром его постоянно сравнивали с Эдгаром По, — и щедрую дань этой стороне своего таланта он отдал в цикле «Наследство Пик-Мика», написанном во время Первой мировой войны. И все-таки вторым По он не стал: По — мастер темный, мастер колодца и маятника, а Грин стал мастером ветра, бега по волнам, солнечных пятен и полетов наяву. В 1916 году он сформулировал для себя: творчество — воплощение всякой свободы.

Он может быть зол, может быть жёсток и даже жесток — но ослепительное сияние счастья, но мастерство музыкального взлета в его прозе совершенно неподдельны, и вот это, надо сказать, высший пилотаж: напугать читателя легче, чем обрадовать. Заставить его заплакать, затаить дыхание от ужаса и напряжения — легче, чем заставить его задохнуться от восторга, рассмеяться свободно и счастливо, от полноты души. Это вообще мало кто умеет — но в том поколении умели; Блок, ровесник Грина, точно умел: «свирель запела на мосту, и яблони в цвету»...

Критик Горнфельд, автор первой большой и доброжелательной рецензии, писал о Грине: «Он хочет говорить только о важном, о главном, о роковом: и не в быту, а в душе человеческой». Рецензия вышла в народническом «Русском богатстве», которое, кстати, взяло у Грина для публикации вполне традиционный рассказ «Ксения Турпанова» из жизни ссыльных: жена уехала с острова покупать мужу подарок, а муж в это время привел домой другую...

Несколько лет Грин пишет по-разному, то традиционно, то по-новому, нарабатывая мастерство и сочиняя свой мир: наносит на карту новые земли, населяя их новыми людьми, преобразуя реальность.

С 1907–1908 годов он волился в круг петербургских писателей, стал ходить по редакциям, знакомиться с литераторами — и, как многие из них, проводить время в ресторанах и кабаках; он и раньше выпивал, теперь иногда пропадал на

прожил с ней, потом обиделся, что от него прячут варенье и запирают буфет: «Я не приживальщик, и не моя вина, что негде печататься. Я потом все бы выплатил. Я послал всех, куда следует, и ушел», – сказал он Вере Павловне.

В 1919 году его призвали в Красную армию. Он служил в тылу, в телефонной команде на Охте. К военной службе он всегда испытывал отвращение, страшно тосковал; наконец обратился в санитарный вагон, просто от тоски, но врач нашел, что он слаб, и отправил на комиссию, а та дала отпуск. Он вернулся в Петроград, но чувствовал себя плохо – оказалось, тиф. Горький устроил его в больницу, а после больницы, совсем слабого, направил в Дом искусств на Мойке, где писатели и художники вместе спасались от холода и голода и пытались поддерживать культурную жизнь: издавали журнал, устраивали лекции и чтения. В декабре 1920 года Грин читал в Доме искусств свои «Алые паруса» (хорошо принятые слушателями, а потом читателями и, за редким исключением, критиками); в Доме искусств родился его жуткий «Крысолов» – толчок для него дал совместный поход с Виктором Шкловским и художником Милашевским в заброшенное помещение банка — за книгами на растопку.

8 марта 1921 года Грин женился на Нине Николаевне Мироновой, и этот брак оказался крепким, до самой смерти. Как это бывает со счастливо влюбленными, у него сейчас все получалось – но денежные дела неправлялись никак: из-за разрухи и издательского кризиса печататься было негде. Многих писателей спасало сотрудничество с издававшейся в Берлине газетой «Накануне», но на свой крупный гонорар из «Накануне», как свидетельствует Э. Миндлин, Грин накормил десять голодных писателей.

Издательства стали появляться с началом нэпа, в 1923 году, и денежные дела Грина начали поправляться: печатали его охотно – но тянули время, задержи-

вали гонорары, все давалось с боем... В 1924 году Грин с женой и тещей переехал в Крым: там не было столичной суеты, уплотнений, жилтовариществ – там вообще было больше возможностей спокойно работать, а жизнь дешевле. Приходилось обременять друзей и знакомых просьбами добиться, чтобы издательство выплатило гонорары. Но зато Грину пишется. Он живет тихо, катается на лодке, думает, пишет – и пишет одну за другой свои лучшие вещи: «Джесси и Моргиану», «Блистающий мир», «Золотую цепь», «Бегущую по волнам». Середина 20-х – время, когда читатель хочет необычных приключений, а печататься еще можно; пока все удается. Времена, однако, ужесточаются: теперь требуют выполнять социальный заказ. Уже «Золотую цепь» ругали за отсутствие связей с современностью. Вержбицкий вспоминал, как Грин отговорился от требования писать о фабриках тем, что «ненавидит машины», а Юрий Домбровский рассказывал, как на предложение написать что-нибудь антирелигиозное писатель спокойно ответил, что он верит в Бога. «Бегущая» буксовала в издательстве «Земля и фабрика», но все-таки вышла. А вот собрание сочинений в 15 томах, начатое издательством «Мысль», остановилось после восьмого тома, и Грин начал судиться с издательством.

1929 и 1930 годы, мрачнейшие для русской литературы годы «великого перелома», когда писателей травили, вынуждали отречься от себя, присягать на верность советской власти и клясться, что будут писать о современности, стали для Грина в буквальном смысле голодными: денег не было, а в 1930 году в Крыму начался голод. Грин был тяжело болен; сначала предполагали туберкулез, уже перед самой смертью диагностировали рак желудка. Только обращение в Союз писателей помогло ему пристроить в издательство «Автобиографическую повесть» и получить деньги; впрочем, деньги все равно не спасли – исхудавший, обессиленный, он уже не вставал. В наступающей действительности Грину места не было, и он ушел из жизни именно тогда, когда стал невозможен как писатель. У него был любимый ручной ястреб Гуль, который умер в 1930 году. У ястреба было сломано крыло, он не мог летать — и Грину казалось, он умер от тоски. Грин всю жизнь мечтал летать – так, как летает его герой в «Блистающем мире» – вольно, как во сне, без механизмов и подпорок. Он писал после смерти Гуля Вере Павловне: «В журнале я сочинил, что он стал летать, потому что мне очень хотелось этого. Так вот я думаю, что Бог сжалился над ним. Все равно его жизнь невеселая была». В «Истории одного ястреба» сказано: «Утром я выпустил его со двора, и Гуль, плавно взмахивая крыльями, скрылся по направлению к горам».

Полет и радость, дрожание золотых блесток на реке, синий каскад Теллури (само название – воплощенное счастье!), алые отцветы от парусов на утреннем тумане в устье реки, нетерпеливое ожидание чуда, навстречу которому душа разворачивается, как паруса, как крылья – и не может не взлететь. 

**«И ВСЕХ,
КОГО ЛЮБИЛ...»**

ГЕННАДИЙ ЕВГРАФОВ

Мне кажется, в особом представлении даже в наши не поэтические времена Давид Самойлов не нуждается. Верные поклонники его поэзии поэта помнят и продолжают любить. Его книги выходят, стихи читают, и мне известно, что не только его давние читатели, но и молодежь.

Я ПОЗНАКОМИЛСЯ С НИМ В свои студенческие годы, и так сложилось, что знакомство постепенно переросло в общение, общение со временем — в дружбу.

Д.С. жил то в Пярну, то в Москве, я постоянно навещал его и там, и там. Конечно, вели самые разные разговоры, что-то я записывал в дневник, что-то нет. Теперь жалею.

Но ничего нельзя вернуть, жизнь, как известно, фатальна и движется из пункта А в пункт Я. Чем и кончается. Остается писать воспоминания о поэте, о времени, в котором выпало жить, и о других людях, с которыми приходилось дружить и общаться.

ЛАМПОЧКА ЮРСКОГО

В Пярну, как и в Москве, люди на поэта слетались как бабочки на огонь. Он умел привлекать к себе сердца и умы. Да и всегда слетавшимся и съезжавшимся было приятно послушать его

Давид Самойлов
в своем кабинете
в доме в Пярну

ВИКТОР ПЕРЕЛЫГИН

новые стихи и пообщаться мало того что с мудрым, но и с любимым человеком и поэтом. А собеседником Самойлов был (когда хотел) удивительным. Часто бывал в Пярну Александр Городницкий с женой, ученицей Д.С., замечательным поэтом Анной Наль. Бережно храню на своей книжной поэтической полке ее книгу «Весы» 1995 года рождения. Именно так, поскольку сборник этот был ее первенец. В отличие от своего достаточно известного мужа она, к сожалению, даже до сегодняшнего времени не известна широкому читателю, хотя талант ее и дар своеобразны и оригинальны. Но так сложилась судьба...

Как-то раз заглянул Сергей Юрский, в прихожей ввинчивал перегоревшую лампочку, о чем мне с некоторым удивлением рассказывала редко удивлявшаяся знаменитостям, постоянно бывавшим в доме, как в Москве, так и в Пярну, присутствовавшая при этом исторически-бытовом событии Варвара (дочь Д. Самойлова от второго брака, с Г. Медведевой. – **Прим. авт.**).

«Вы представляете, – говорила она, – сам Остап Бендер! Влез на лестницу и крутил лампочку!»

МОСЬЕ ПАНИКОВСКИЙ И КОСМОНАВТ ГРЕЧКО

Поначалу скромный старик не вызывал никакого интереса у своих соседей – холодных и бесстрастных эстонцев. Но когда они увидели сошедших с экрана и расхаживающих по их улице то жуликоватого Паниковского (З. Гердта) из классического «Золотого теленка», то эксцентричного полковника Френсиса Чеснея (М. Козакова) из бурлеска «Здравствуйте, я ваша тетя!», то благородного Атоса (В. Смехова) из почти мюзикла «Три мушкетера»; когда ТВ приехало в их городок снимать фильм о Д.С. и попросило местное СМУ, или как там оно называлось, заасфальтировать для съемок дорогу, по которой должен был проехать тонваген, и когда по местным меркам это самое могущественное СМУ немедленно, без разговоров, на глазах удивленной публики дорогу заасфальтировало – бесстрастные и холодные сердца жителей Пярну дрогнули и в их головах что-то зашевелилось. Но и тогда эстонские соседи так ничего до конца и не поняли про своего соседа из далекой и чуждой им России и продолжали теряться в догадках, кто этот странный старик, к которому приезжают такие известные люди из самой Москвы. Впрочем, вскоре все прояснилось. Любопытство коренных местных жителей было удовлетворено, когда по просьбе местной русской интеллигенции, прознавшей, что в их городке «поселился замечательный поэт», Д.С. начал выступать с чтением своих стихов в местном культурном клубе. Отказывал Самойлов редко, только по причине нездоровья. Время от времени он выступал вместе с Зиновием Гердтом и Михаилом Козаковым.

Вот тогда жители маленького эстонского городка и узнали, что сосед их – всегонавсего русский поэт, но все равно почесывали свои репы, недоумевая, почему его с завидной регулярностью навещают всесоюзные знаменитости.

Добыла соседей тяжелая артиллерия в лице летчика-космонавта, Героя Советского Союза Георгия Гречко. Космонавт, оказавшийся в августе 85-го проездом в Пярну, возжелал познакомиться с любимым поэтом. Набрал номер, позвонил, представился. На другом конце провода было коротко сказано: «Приезжайте!» — Д.С. тоже было интересно пообщаться с человеком, побывавшим в безвоздушном пространстве, – и Гречко приехал.

В назначенный день и час черный лимузин подкатил к дому. Из машины вышел самый интеллигентный и ученый (в прямом смысле этого слова) из всех космонавтов, которого местные аборигены видели только по телевизору в основном с руководителями партии и правительства, и не спеша, с женой, прошествовал по улице Тооминга в дом Самойловых. Когда в Москве Д.С. рассказывал об этом неожиданном визите, я спросил, какое впечатление Георгий Михайлович произвел на него и о чем они говорили. «Говорили? – переспросил Самойлов. – Как ты думаешь, о чем могут в первый день знакомства говорить два русских интеллигента, один из которых побывал в космосе, а другой о нем размышляющий?»

«О смысле жизни», – догадался я.

«Так оно и было, – сказал Д.С. — Гречко весьма симпатичен и умен. Я подарил ему книгу и пластинку. А для вечности нас фотографировал Виктор».

Вот тогда эстонские соседи про Самойлова решили, что он не только поэт, но и какой-то большой начальник, вышедший на пенсию и избравший

их прекрасное, уютное Пярну для дальнейшего проживания и общения с такими же, как и он, большими столичными людьми. Виктор Перелыгин, местный учитель русского языка и литературы, который и запечатлел этих «больших начальников» для истории, вхожий в дом Д.С., вел себя как настоящий русский партизан – ничем их догадки не подтверждал, но и не отвергал.

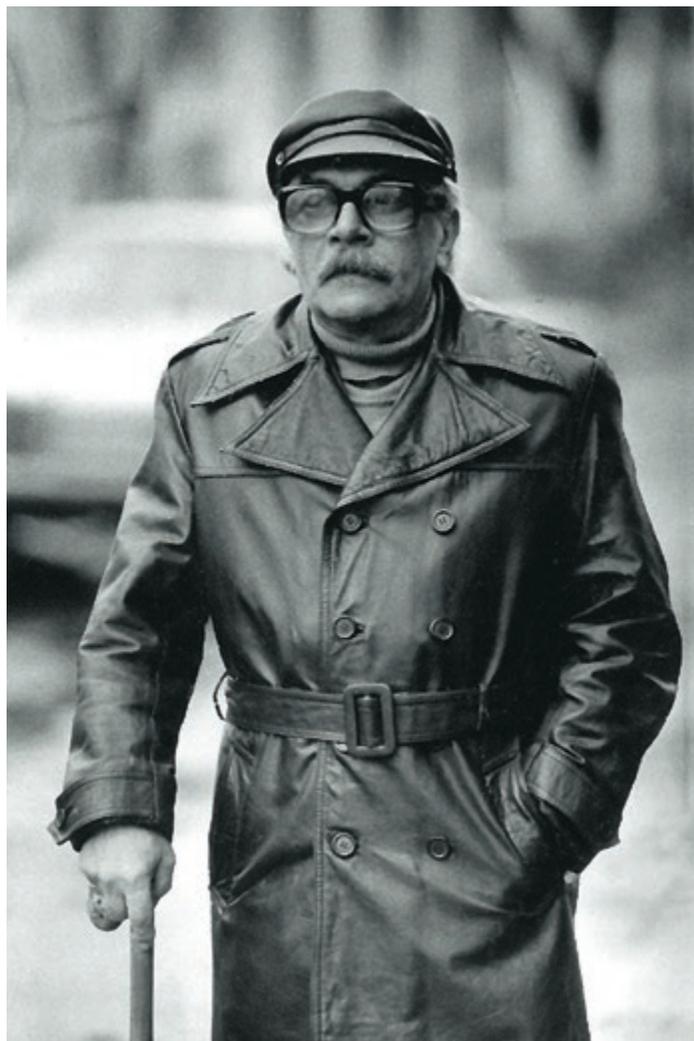
СКРИПОЧКА ПИКАЙЗЕНА И ГИТАРА КИМА

Летом в Пярну отдыхали однокурсник Самойлова по ИФЛИ Яков Костюковский, один из соавторов сценария фильма Гайдая «Бриллиантовая рука», и очень хороший детский поэт Яков Аким, которого любили маленькие читатели. Да и Д.С. относился к нему очень тепло.

Самойлов однажды сочинил: «Яков, пойдём, выпьем коньяков». Но конкретно не соотносил, к какому именно Якову это обращение относится. Тем более что оба Якова редко одновременно прибывали в Пярну. Поэтому когда выходил из дома, собираясь навестить того или другого, говорил одно и то же и тому, и другому Якову. Они оба об этом знали, но виду не подавали, чтобы доставить лишний раз удовольствие Д.С., который тоже знал, что они знают, но, принимая правила игры, делал вид, что не знает, что они знают.

Дом Самойлова располагался на улице Тооминга, в прекрасном, тихом и зеленом месте – десять минут до моря, пятнадцать – до центра. Окна кабинета выходили в сад, за забором стоял дом, комнату в котором каждое лето снимал известный скрипач Виктор Пикайзен. Д.С. отмечал удобное соседство – не надо было ехать в Москву, чтобы наслаждаться классической музыкой, которую он очень любил. Иногда притворно удивлялся, что после концертов, которые музыкант порой давал в городской ратуше, он скромно ужинает кефиром с булочкой и потом сам себе еще играет на ночь на скрипочке. «Ему, оказывается, все мало!» – умиляясь, восклицал Д.С. Напротив, через дорогу, стоял другой обычный, ничем не примечательный деревянный дом, в котором всегда останавливалась другая мировая знаменитость – Давид Ойстрах. О чем свидетельствова-

ла мемориальная доска, на которой это было запечатлено. Самойлов шутил: «Когда помру, нашу Тооминга переименуют в улицу «Двух Давидов». И после паузы добавлял: «Чтоб никому обидно не было!» Улицу, кстати, пярнуские власти в честь людей, прославивших их город, так до сего времени и не переименовали.



Д.С. Самойлов
(1920–1990)

В. КРОХИН

Когда же в Пярну навевывался Юлик Ким, на Тооминга он всегда приходил с гитарой, к которой относился бережно и трепетно, как к любимой женщине. Когда он расчехлял ее, мне думалось, что именно так он раздевает любимую.

Д.С. говорил: «Если хочешь что-то спеть, то спой мне песни лирические и художественные, а палитических не надо». Эту классификацию поэтических жанров он услышал на заре своей переводческой деятельности от одного акына. Акын делил все стихи «на палитический, лирический и художественные». Молодой Самойлов, только начинавший свою профессиональную переводческую деятельность, такой классификацией восхитился и запомнил на всю жизнь. Д.С., вторя вслед за акыном, повторил Юлику: «Спой художественные». Потому как «красивых» песен Кима он не любил. Относил их к разряду «палитических». Юлик медленно раздевал свою гитару, настраивал и начинал петь.

После того как Ким исполнил одну из своих «художественных» песен, все сели за обеденный стол. За столом Д.С. говорил, что у русского человека есть одновременно два противоположных стремления: остаться дома, на месте, у истоков, и удрать неизвестно куда и поселиться неизвестно где. Убеждал, что в России было пять истинных умов. Пушкин – ум эстетический, Герцен – гражданский, Достоевский – ум духовный, Толстой – нравственный и Ленин – ум политический. Мы пытались с Кимом втянуть Д.С. в дискуссию – а как же Тютчев, он что, ум не эстетический?

А у Салтыкова-Щедрина не гражданский ли ум будет? А Троцкого со Сталиным куда отнести? Но Самойлов твердо стоял на своем и упорно повторял – пять. Спорить больше не хотелось, мы обдумывали мысль Д.С. и в конце концов признали ее верной. Потому что Д.С. говорил о самых значащих личностях в России.

ПЕЧЕНЬЕ ДЛЯ ЗАХАРЧЕНИ

Однажды позвонил известный физик, членкор АН СССР, профессор Ленинградского электротехнического института Борис Петрович Захарченя. Сказал, что давно любит стихи Д.С., попросил разрешения прийти в гости, познакомиться.

Интеллигентного общения в Пярну все-таки не хватало, даже местная интеллигенция плохо знала русскую историю и культуру, да ко всему прочему Самойлова всегда тянуло к физикам – его интересовали вопросы устройства Вселенной.

Захарченя, лауреат Государственной и Ленинской премий, был известен своими трудами по оптике твердого тела. Рассказывал, что открыл и исследовал осцилляции магнитопоглощения, связанные с оптическими переходами между уровнями Ландау в кристаллах. Долго говорил что-то о своих трудах в области спектроскопии и полупроводников. Присутствующие в этом монологе поняли только слова «Ландау» и «полупроводники» и дружно закивали. Все остальные «осцилляции» были за гранью понимания присутствующих. Не помог даже отборнейший коньяк, который захватил с собой Борис Петрович.

Со временем визиты Захарчени стали регулярными. Каждое лето он отдыхал в Пярну и каждый раз навещал Самойловых. Был Борис Петрович лыс, некрасив и смешно шевелил большими ушами. Он был весьма образован и начитан, но необычайно занудлив, к нему относились иронически и терпели как неизбежное.

Помню, как Захарченя нервно протирает огромные блюда-очки, реагируя с удивлением на нелюбимые рассказы Давида Самуиловича из литературного быта (надо же, а еще инженеры человеческих душ!). Он надолго замолкал и после некоторой заминки собирался уходить.

Однажды Самойлов написал шуточное стихотворение, обращенное к ленинградскому члену-корреспонденту, и, когда Бориса Петровича во время очередного посещения хозяйка дома пригласила к столу, хозяин прочитал (привожу первые четыре строки):

Захарченя, ешьте зелень,

Витаминов много в ней.

Так советовал Зеленин,

А оно ему видней.

Полезную траву в тот раз принес Иван Гаврилович Иванов, лихой морской волк и прозаик-самородок, которого в доме Самойловых привечали и любили. Особенно с ним нянчилась Галина Ивановна, которая была первочитательницей его сугубо реалистической прозы. Ну а под Зелениным подразумевался тот самый профессор Зеленин, который изобрел известные капли.

Как правило, после ужина и разговоров ученый, отсидев за столом положенный срок, как всегда, раскланявшись, покидал гостеприимный дом, так сказать, островок русской словесности в Богом забытом эстонском городке Пярну...

Через много лет, весной 2005 года, я прочитал сообщение агентства «Росбалт» о том, что «в Петербурге 10 апреля на 77-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался выдающийся российский физик академик Борис Захарченя».

чев (в свое время один из известных советских поэтов. – **Прим. авт.**) куда лучше разбойника Пугачева. Абызов успокоился, удовлетворился тем, что есть – и эпиграммой, и собственной похожестью на исторических персонажей, и больше Самойлову просьбами не докучал.

У Юрия Ивановича был тяжелый характер (мне казалось, что он чересчур обидчив), и даже Галина Ивановна, для которой не существовало авторитетов, всегда уважительно и подолгу разговаривала с другом мужа, который стал и ее другом.

АБЫЗОБРАЗНЫЙ АБЫЗОВ

Писатель, переводчик, собиратель, хранитель и публикатор русского культурного наследия в Прибалтике Юрий Иванович Абызов часто навещал Д.С. С давних пор Абызов жил в Риге и осуществлял, если так можно выразиться, культуртрегерскую связь между русской культурой и местным населением.

Он выбирался к Самойлову несколько раз в год, поселялся в очень уютной и опрятной гостинице «Каякас», которая располагалась в пяти минутах ходьбы от самойловского дома, и все время проводил у друга. Скрупулезнейшим образом он с несвойственной русским людям немецкой педантичностью собирал все эпиграммы, афоризмы, иронические стихи, псевдонаучные трактаты своего друга, так называемые стружки с его письменного стола. В то время о том, чтобы напечатать их, речь даже не заходила. Д.С. отшучивался, что, «когда взойдет прекрасная пора», эти сочинения составят предпоследний том его собрания сочинений.

Был Юрий Иванович невысок, кряжист и красив. У него было открытое типично русское широкое благообразное (Д.С. говорил «абызообразное». – **Прим. авт.**) лицо и все понимающие умные глаза. Говорил он медленно, несколько скрипучим голосом. Был остроумен, но остроумие чаще проявлялось на письме, нежели в неторопливой речи. На окружающий мир Абызов смотрел с неизбывным сожалением, жалостью и печалью, как бы вбирая в себя все его несовершенства и изъяны. Пороков было много, ноша неимоверно тяжела, но Юрий Иванович мужественно нес ее, не сгибаясь под тяжестью добровольно взваленного на себя бремени.

Самойлов познакомился с ним в конце 50-х годов во время одной из своих поездок по Латвии и быстро сошелся во взглядах. Юрий Иванович был на год моложе поэта, как и он, воевал, и это сближало их еще больше. В эти годы он был еще достаточно весел и смотрел на мир и человека не так пессимистично и мрачно, как в более поздние времена. Он часто приезжал в Москву и быстро вписался в круг самойловских друзей.

Портрет друга поздних времен Д.С. запечатлел в такой эпиграмме:

Абызов был абызобразен,

Как Разин или Пугачев.

Теперь же стал благообразен,

Как Казин или Щипачев.

Юрию Ивановичу больше хотелось походить на русского разбойника Степана Разина, нежели на старейшего советского поэта Василия Казина, о чем он и не преминул сообщить Д.С., который ответил, что безобидный Щипачев

Во время моего очередного приезда к Д.С. и очередного отъезда Абызова Самойлов, когда мы прогуливались к морю, спросил: «Ты знаешь, чем занимаются интеллигентные люди летом в Пярну?» – явно намекая на себя и Юрия Ивановича. «Нет», – сделав вид, что не знаю, кротко ответил я. «Интеллигентные люди занимаются тем, – поучительно продолжал мэтр, – что сидят в гостинице «Каякас», смотрят в окно на парк, пьют водку и читают Эккермана «Разговоры с Гете». Именно так мы провели с Абызовым лето». Я сочинил тогда такую эпиграмму:

Юрий Иванович Абызов,

Известный деятель круизов.

Из Риги в Пярну и из Пярну в Ригу

Берет одну и ту же книгу.

Под книгой подразумевалась рукопись Давида Самойлова «В кругу себя», которую Юрий Иванович долгие годы собирал и с которой он тщательно работал. Дружба с Ю.И. продолжалась вплоть до ухода Д.С.

20 декабря 89-го Самойлов обратился с последним посланием к другу. В нем было всего четыре строки:

Не спи, не спи, Абызов,

Готовь себя к труду.

А я как башня в Пизах,

Пока не упаду.

«Башне» предстояло простоять еще чуть более двух месяцев.

А Юрий Иванович ушел из этой жизни в 2006-м. ❀

ИГУМЕН ЗЕМЛИ РУССКОЙ

ЛАДА КЛОКОВА

Солнце в зените. Под его беспощадными лучами стены Старого Иерусалима кажутся белыми и обманчиво-хрупкими. Тени, и прежде не спасавшие от зноя, совсем исчезают. Но жара не в силах справиться с паломниками – два людских потока непрерывно движутся навстречу друг другу: один втекает во врата храма Гроба Господня, другой вытекает из них.

СТУПЕНИ ЛЕСТНИЦЫ, ВЕДУЩЕЙ к площади, перед храмом, за долгие века отполированы до блеска миллионами ног. Девятьсот лет назад по ним, так же как и мы сегодня, прошел «игумен земли Русской» по имени Даниил. Он был далеко не первым русским паломником в Иерусалиме, но стал первым русским путешественником, написавшим подробный путеводитель по Святой земле. Правда, тогда путеводители на Руси назывались «хождение» («хождение»), «паломник», «путник», на Западе – «итинерарий». Потом в русской литературе появится много «путников» по разным святым местам – до XVIII столетия их будет написано не менее пятидесяти. Самым

АЛЕКСАНДР БУРЬИ

популярным из них станет «Хожение Трифона Коробейникова», путешествовавшего в XVI веке, число копий которого насчитывает несколько сотен. Но и «Хожение игумена Даниила», видимо, было не менее любимым, раз с начала XII века до нашего времени сохранилось около 150 его списков!

Мы почти ничего не знаем об игумене Данииле: как и все древние русские писатели, он был излишне скромнен, сообщив читателям лишь свое имя и сан. Так что до сих пор исследователи спорят о персоне игумена и о том, было ли его путешествие в Святую землю простым паломничеством, или он помимо того исполнял и дипломатические поручения русских князей...

«ПУТЬ ТЯЖЕЛ ВЕЛМИ»

Это сегодня из Москвы до Тель-Авива можно долететь на авиалайнере за четыре часа. Еще часа полтора по шоссе в автобусе с кондиционером – и вы уже в Иерусалиме. Такси, гиды, Интернет, удобные гостиницы, мобильные телефоны, кафе, бутылки с водой в холодильниках магазинчиков на каждом шагу... Нам, привыкшим к изощренному комфорту, трудно представить, каково было путешествовать людям в XII веке. Представить трудно, но узнать можно. Благодаря сохранившимся итинерариям и «хожениям»...

«Бесчисленное количество человеческих тел, совершенно растерзанных дикими зверями, лежат на дороге и возле дороги... На этой дороге погибают не только бедные и слабые, но даже богатые и сильные: многие убиваются сарацинами, многие умирают от жары и жажды, многие от недостатка питья, многие оттого, что пьют слишком много» – так описывает свой путь из Яффы в Иерусалим в «Путешествии в Святую землю» англосакс Зеевульф, как и Даниил, совершавший паломничество в начале XII века. А вот что сообщает русский игумен о пути от Иерусалима к Иордану: «Путь очень тяжек, страшен и безводен: горы вы-

сокие, скалистые, на дорогах много разбоя. <...> Многие люди задыхаются от зноя и умирают от жажды водной».

И на Руси, и в Европе паломники объявлялись неприкосновенными, не подлежали светскому суду, на время паломничества их имущество и семьи поступали под защиту церкви, они освобождались от долговых обязательств, а всем христианам предписывалось оказывать им гостеприимство. Но все это не спасало «божьих странников» от нападений разбойников и сарацин, бурь и штормов, топивших корабли, болезней и увечий, полученных в долгой дороге, голода, зноя или холода... И на Руси, и в Европе паломников легко узнавали по внешнему виду. Европейца отличали *pergam et baculum* – мешок и посох. Бедные несли мешок за плечами на веревке, знатные вешали его на роскошную перевязь на бок. С IX века шляпы и плащи европейских паломников стали украшать раковины морского гребешка (обычай этот связан с легендой о святом апостоле Иакове и городе Сантьяго-де-Компостела, соперничавшем в популярности у паломников с Римом. – **Прим. авт.**), которыми странники пользовались вместо ложек. И хотя большинство средневековых наставлений рекомендовало совершать паломничество босиком, странники не всегда следовали этому совету. Чаще они шли в калигвах (калигах, лат. *caligae*). Эта незатейливая обувь показалась бы нам крайне неудобной: вместо подошвы – лоскут грубой кожи, затянутый по подъему ноги ремнем. А паломников на Руси называли «каликами перехожими». Филологи считают, что слово «калика» могло произойти либо от этих самых калигв, либо от итальянского *calico* («бедный»), либо от «калеки» – нищего, увечного человека. «Калик перехожих» отличали по ветхой одежде и все тому же посоху паломника. И мешок у калик был, иначе трудно представить, как они могли бы нести свой скудный скарб и нехитрые запасы еды – сухари, сушеные фрукты и грибы, соленую рыбу... Правда, в «Толковом словаре» Владимира Даля уточняется, что калика – это еще и странствующий богатырь. И действительно, русские былины описывают храбров-паломников иначе: это вовсе не нищие калеки, а «добры молодцы», разодетые в дорогие шубы, в лапти «семи шелков», котомки у них бархатные, а посохи богато украшены «рыбьим зубом» (клыком моржа. – **Прим. авт.**).

Сначала паломничество считалось «блаженным одиночеством», однако люди быстро поняли, что тяготы и опасности далекого пути лучше не преодолевать в одиночку. Так было больше шансов выжить. Поэтому в путешествие отправлялись большими группами, которые шли по дорогам, прося милостыню и распевая псалмы. А после 638 года, когда византийский гарнизон Иерусалима, выдержав четырехмесячную осаду, сдался арабскому халифу Умару ибн аль-Хаттабу, паломники начали нанимать вооруженную охрану: путешествия по Святой земле, завоеванной мусульманами, стали крайне опасны.

Ситуация с безопасностью паломников не особо улучшилась и после начала эпохи крестовых походов. А игумен Даниил отправился в Святую землю сразу после первого из них...

НА ЗЕМЛЕ ОБЕТОВАННОЙ

Свой путь к Иерусалиму Даниил отсчитывает от Царьграда, не утруждая читателей объяснениями, как он добрался до Константинополя. Скорее всего, возглавляемая Даниилом группа двигалась по привычному для того времени

пути, описывать который не требовалось, – «из варяг в греки». В Константинополе Даниил либо не задержался, несмотря на обилие там святынь, либо не стал упоминать об этом в своей книге. Зато он посвящает отдельную главу городу Эфесу, напоминая, что здесь находится гробница святого Иоанна Богослова, пещера семи отроков и хранится прах Марии Магдалины. Дальше по пути игумен посещает острова Хиос, Самос, Патмос, Родос (не забывает указать, что здесь два года томился черниговский князь Олег Святославич, проданный в рабство половцами. – **Прим. авт.**) и Кипр, где его поразил кипарисовый крест: «Ничем не скреплен с землею, только духом святым держится на воздухе».

Наконец Даниил добирается до Яффы – традиционного перевалочного пункта для паломников, откуда они начинали странствие по Святой земле. Отсюда – первый переход в «десять верст до церкви святого Георгия. <...> Воды здесь много. У этой воды отдыхают странники, но со страхом: место пустынное, близ города Аскалона, оттуда совершают набеги сарацины и избивают странников на путях...».

И вот Даниил уже в Иерусалиме. Здесь он останавливается на подворье лавры Саввы Освященного, где живет 16 месяцев и находит «мужа святого, старого годами и весьма книжного, образованного», который стал для него гидом. Русский игумен подробно описывает все, что видит в Иерусалиме, Вифлееме, Назарете, Иерихоне, Хевроне, Акре и других го-

МНИХ ЧЕРНИГОВСКИЙ

«Се аз, недостойный игумен Даниил, Рускыя земля, хужший в всех мнисех...» – «Я, недостойный игумен Даниил, худший из всех монахов, смиренный, одержимый многими грехами, недоволен во всяком деле добром, понужден был своими помыслами и нетерпением, захотел видеть святой град Иерусалим и Землю обетованную». Так начинается «Житие и хождение игумена Даниила из Русской земли».

Считается, что игумен Даниил, скорее всего, был клириком Черниговской епархии. В «Хожении» Иордан четырежды сравнивается с рекой Сновью у Чернигова: «Всем подобен Иордан реке Снови. И шириной, и глубиной, и извилистым течением, и быстротой – всем он похож на реку Сновью. <...> Ширина Иордана такая же, как и у реки Снови на ее устье. <...> прибрежная равнина напоминает также Сновью-реку». Если догадка верна, то Даниил мог быть настоятелем одного из трех существовавших тогда в Чернигове монастырей: Елецкого Успенского, Ильинского или Спасо-Преображенского. Можно предположить, что постриг он принял либо в одной из этих обителей, либо в Киево-Печерском монастыре.

Раньше считалось, что свое паломничество Даниил совершил в 1113–1115 годах, затем исследователи передвинули его путешествие на 1106–1108 годы. Сегодня большинство ученых датируют странствие русского монаха 1104–1106 годами. И, возможно, теперь стоит с большим вниманием отнестись к версии, высказанной академиком Борисом Рыбаковым, который считал Даниила автором еще двух сочинений – «Слова об идолах» (вольный перевод с греческого поучения Григория Богослова против язычества, разбавленный описаниями славянских языческих обычаев. – **Прим. авт.**) и «Повести о Шаруканском походе». Академик полагал, что игумен Даниил и былинный калика-богатырь Данило Игнатьевич мог быть одним и тем же лицом. Боярин Данило Игнатьевич испросил у князя Киевского разрешения постричься в монахи, а на обратном пути из Святой земли на поле битвы обнаружил раненым своего сына, участвовавшего в победном для русских князей сражении с половцами на реке Суле в 1107 году. А Николай Карамзин, опираясь на данные летописей, высказал предположение, что игумен Даниил в 1113 году был рукоположен в епископы Юрьева (ныне – Белая Церковь на Украине. – **Прим. авт.**) и скончался в сентябре 1122 года.

Что еще можно сказать о Данииле? Он знал греческий язык, обладал живым воображением, был внимательным наблюдателем и талантливым писателем. В его «Хожении» есть интересные детали, которые сложно не заметить: Даниил вынослив и физически силен, выдерживает долгие пешие переходы на жаре, лазает по скалам, ныряет до дна, чтобы узнать глубину Иордана, и меряет расстояние странным для монаха способом: например, «от церкви Воскресения до Святая Святых несколько больше двух полетов стрелы», «расстояние между памятниками – дважды камнем бросить». Да и на рядового черноризца он непохож, если принять во внимание, что он не испытывает недостатка в деньгах, с ним отправляется дружина из киевлян и новгородцев и «иных мнозих», а в Иерусалиме он дважды получает аудиенцию у иерусалимского короля Балдуина I. Можно ли ожидать такого от обычного паломника-монаха?

родах, живописует реку Иордан, ука-
зывая, что здесь «в зарослях водится
зверей много: бесчисленное множе-
ство диких свиней, много и барсов
тут, и даже львов». Можно только
удивляться неугомонности Даниила:
он побывал везде, где только можно,
поклонился практически всем святым
для христиан местам, измерил Гроб
Господень в длину и ширину, чтобы
увести эту меру на Русь. А еще, как
пишет Даниил, «Бог мне свидетель и
Гроб Господен, что я во всех местах
никогда не забывал русских князей и
княгинь, их детей, игуменов, бояр и
детей моих духовных и всех христи-
ан. Но во всех местах поминал их...».
И при этом не переставал описывать
все, что его окружает, и все, что с ним
происходит...

ПОД ЗНАМЕНЕМ КРЕСТА

События, происходившие в конце
XI – начале XII века в Передней Азии,
грозили изменить политическую кон-
фигурацию и расстановку сил и на За-
паде, и на Востоке. Кровопролитная
борьба, которую уже пять столетий
вела Византийская империя с ара-
бами и турками-сельджуками, схиз-
ма в 1054 году Восточной и Западной
церквей (которую довольно спокойно
восприняли на Руси. – **Прим. авт.**),
ослабление константинопольского
престола, вокруг которого разыгры-
вались жестокие интриги, амбиции
римских пап, мечтавших объединить
под своей властью весь «христиан-
ский мир», – все это в итоге выли-
лось в уникальное явление, которое
мы называем эпохой крестовых походов.

Русь издавна связывали тесные связи с Византией. И речь не только о единой
вере, браках князей с константинопольскими царевнами и активной торговле.
Многие византийские императоры весьма охотно использовали русские дру-
жины в своих войнах, а у некоторых из них русские воины служили в личной
гвардии. К примеру, только в XI веке греческие хроники сообщают об участии



Страстная пятница.
Служба в храме
Гроба Господня

АЛЕКСАНДР БУРЫЙ

руско-варяжских дружин в византийских войнах против турок-сельджуков в
Грузии и Армении, против турок-печенегов в Македонии и Фракии, против нор-
маннов в Италии.

Но на тот же XI век приходится и активизация связей Руси с европейскими
странами. Достаточно вспомнить, что своих дочерей князь Ярослав Мудрый вы-
дал замуж за норвежского, венгерского и французского королей. Римские папы
начали налаживать контакты с русскими князьями – вмешиваться в их между-
особицы, вступать в переписку и направлять на Русь посольства. Кстати, русские
митрополиты – как правило, греки, присланные из Константинополя, – князей
за это резко осуждали и, бывало, грозили им отлучением от церкви.

От крестовых походов Русь отстранилась: с одной стороны, в это время ее
раздирали княжеские междоусобицы и набеги степняков, с другой – слиш-
ком уж сложно было Киеву разобраться в политических хитросплетениях Ви-
зантии и Рима. Первый крестовый поход (1095–1099 годы) начинался как сов-
местная война византийцев и европейцев за освобождение Святой земли, но
вскоре стало ясно, что каждая из сторон преследует свои интересы. Византий-
ский император Алексей Комнин рассматривал войну как способ вернуть импе-
рии завоеванные мусульманами территории, а благословивший крестоносцев
римский папа Урбан II и вожди похода рассчитывали создать на Святой зем-

он милостиво и любовно разрешил мне поставить кадило на Гробе Господнем, послал со мною человека, *своего лучшего слугу*, к эконому церкви Воскресения и к тому служителю, который держит ключ гробный. <...> Он открыл мне двери, велел снять калиги, босого ввел меня с кадилом и разрешил мне поставить кадило на Гробе Господнем». Чтобы прояснить ситуацию, добавим, что когда

ле новые католические государства. Вождей было несколько – герцог Нижней Лотарингии Готфрид Бульонский, герцог Роберт Нормандский, графы Раймунд Тулузский, Стефан Блуаский, Роберт Фландрский и, наконец, младший брат короля Франции Филиппа I, граф Верманда и Валуа Гуго Великий. Между прочим, и Филипп, и Гуго приходились двоюродными братьями сидевшему в Киеве великому князю Святополку Изяславичу, ведь их мать была Анна Ярославна, королева Франции...

Предав огню и мечу города Святой земли, в 1099 году крестоносцы наконец взяли Иерусалим. Как сообщают хронисты, после резни, устроенной в городе, кровь лилась по улицам и кое-где доходила «до коленей всадника и уздечек коней». А после, облачившись в рубища, крестоносцы с плачем и рыданиями вошли в храм Воскресения, чтобы припасть к Голгофе и Гробу Господню. Первым правителем нового Иерусалимского королевства был избран Готфрид Бульонский. Он отказался назваться королем в городе, где страдал Иисус Христос, и взял титул *Advocatus Sancti Sepulchri* – «Защитник Гроба Господня». Когда в 1100 году он скончался, его преемником стал родной брат – граф Эдесский Балдуин Бульонский. Он оказался менее щепетильным, нежели Готфрид, и сразу стал именоваться иерусалимским королем Балдуином I.

ПАЛОМНИК-ПОСОЛ?

На Руси с радостью восприняли весть о взятии крестоносцами Иерусалима. Так что, возможно, не случайно игумен Даниил отправился в странствие сразу после утверждения власти крестоносцев в святом городе. И если бы не странное внимание к русскому игумену иерусалимского короля, можно было бы не сомневаться, что Даниил был обычным паломником. Мало того, покровительство ему оказывает не только Балдуин I. До города Вифлеема Даниил добирается под охраной сарацин: «Старейшина сарацинский сам с оружием проводил нас почти до Вифлеема и через те все страшные места тоже проводил нас. А без предосторожностей не пройти через эти места из-за нападения иноверцев: сюда приходят многие сарацины и разбивают в горах. И дошли до города Вифлеема живыми и здоровыми, здесь поклонились месту рождения Христа...» Не кажется ли удивительной такая странная забота и крестоносцев, и сарацин о дружине русских паломников?

Даниил дважды побывал на приеме у короля Балдуина I. Более того, король оказывает русскому игумену неординарные знаки внимания. В Страстную пятницу «в один час дня пошел к князю Балдуину и поклонился ему до земли. Он же, увидев меня, худого, подозвал к себе с любовью и спросил: «Что хочешь, игумен русский?» *Он хорошо знал меня и очень любил* <...> Я же сказал ему: «Князь мой, господин мой, прошу тебя ради Бога и князей русских, разреши, чтобы я поставил свое кадило на Святом Гробе от всей Русской земли». Тогда

крестоносцы захватили Иерусалим, то были весьма озадачены, найдя в храме Гроба Господня православных греков, поскольку были уверены, что он захвачен мусульманами и христиан там нет. Правда, они недолго раздумывали, что делать с православными монахами и священниками: их предали анафеме и изгнали из храма, который с того момента перешел под контроль крестоносцев. Так что разрешение поставить лампаду, данное игумену Даниилу Балдуином I, выглядит как весьма любезное одолжение.

На следующий день, в Великую субботу, игумен Даниил с утра уже находится на площади перед храмом Гроба Господня, где «от всех концов земли собирается в этот день множество людей. Великая теснота и лютое томление тогда бывает людям». «И когда наступило семь часов дня субботнего, тогда пошел король Балдуин со своими войсками к Гробу Господню из дома своего, все шли пешие. Король прислал в подворье монастыря Саввы и позвал игумена и монахов, они пошли к Гробу Господнему, и я, худой, пошел с ними. Пришли мы к королю и поклонились ему. Тогда и он поклонился игумену и всем монахам и повелел игумену монастыря Саввы и *мне, худому, близ себя пойти*, а другим игуменам и всем монахам повелел перед собой пойти, а войскам своим повелел сзади пойти. <...> Прошли мы к восточным дверям Гроба Господня, король впереди прошел и встал на своем месте, на правой стороне у ограды великого алтаря... Тут находилось место коро-

ля, созданное на возвышении. Повелел король игумену монастыря Саввы со своими монахами и православным попам встать над гробом. *Меня же, худого, повелел поставить высоко над самыми дверями гробными*, против великого алтаря, чтобы мне было видно в двери гробные».

Но и это еще не все. Русскому игумену было позволено осмотреть «Башню Давида» – главную цитадель и арсенал Иерусалима! «Дивный этот столп, из великих камней сложен высоко очень, на четыре угла создан, весь прочен, в основании крепок, в середине здания воды много. Железных дверей пятеро и ступеней двести, по ним подниматься вверх, хлеба в нем без числа запасено. Крепко он устроен для обороны. Это здание – глава всему городу, тщательно охраняют его и не *разрешают никому входить вовнутрь его. Мне же, худому, недостойному, было разрешено посетить этот столп...*». Кажется, король Балдуин почему-то хотел продемонстрировать Даниилу надежность положения крестоносцев в Иерусалиме.

Более того, «пошел <...> Балдуин I со своими крестоносцами на войну к Дамаску мимо Тивериадского озера. Я узнал, что князь хочет идти этим путем, пришел к нему, поклонился и сказал: «И я хотел бы пойти с тобою к Тивериадскому озеру, чтобы там походить по всем святым местам около Тивериадского озера. Ради Бога, возьми меня князь». *Тогда князь с радостью великой повелел мне пойти с собой и нарядил меня к своей личной охране*».

Если игумен Даниил действительно являлся послом киевского князя Святополка Изяславича, то о задачах его дипломатической миссии остается только догадываться (кстати, выбор в качестве посла церковного деятеля был вполне обычен для русских князей. – **Прим. авт.**). Может, киевский князь хотел получить полное представление о том, что происходит в Палестине, чтобы лучше оценить непростое положение главного союзника Руси – Византии? Это

выглядит вполне благоразумно и предусмотрительно. А заодно узнать что-нибудь, например, о своем двоюродном брате, слава о боевых подвигах которого могла докатиться и до Руси? Если так, то, увы, Даниил не смог бы найти графа Вермандуа, поскольку во время битвы в Каппадокии Гуго Великий был ранен и умер в октябре 1102 года...

Но почему Балдуин I с таким радушием и вниманием принимал игумена из далекой северной страны? Это, кажется, объяснить несложно. После триумфа в Иерусалиме многие участники первого крестового похода посчитали свои обеты по освобождению Гроба Господня исполненными. Перед походом им обещали, что в Палестине их будут ждать текущие по земле мед и молоко, рисовали картины земного рая и обещали бесчисленные блаженства. Реальность оказалась суровой: безводные пустыни, голые скалы, много песка и крови, голод, повальные эпидемии, стрелы и мечи сарацин. Так что немногие выжившие предпочли вернуться домой. И Балдуин I, надев корону Иерусалима, столкнулся с неожиданной проблемой: в его войске осталось всего лишь около 300 рыцарей и несколько тысяч пехотинцев. А мусульманские правители жаждали мщения. И вот из Иерусалима в Рим и в европейские столицы отправились гонцы с письмами, в которых Балдуин призывал на помощь новых защитников Гроба Господня. И какая разница, откуда придут свежие полки – из Франции, Англии или из далекой Руси?..

ПЕРВЫЙ ИЗ МНОГИХ

Книг о паломничествах в Палестину русскими путешественниками было написано великое множество. Но главной из них для нас все равно остается «Житие и хождение Даниила, игумена земли Русской». Потому что он был первым из русских паломников, кто решил честно, подробно и без изысков записать все, что он видел и слышал в своем путешествии в Землю обетованную. И, кажется, будто в каждом последующем «хождении» или «паломнике» можно отыскать отзвуки и отголоски этого самого первого рассказа о посещении Палестины, принадлежащего перу русского игумена.

«Пусть все читающие с верой и любовью это описание Гроба Господня и всех святых мест примут мзду от Бога равно с ходившими в святые места. Блаженны те, кто видел и веровал, трижды блаженны те, кто не видел, но уверовал.

Верую пришел Авраам в Землю обетованную; поистине вера равна добрым делам. Ради Бога, братья и господа мои, не осуждайте мое художество и мою глупость. Да не хулите описание ради меня, Гроба Господня и ради святых мест. Кто с любовью прочтет, тот мзду примет от Спаса Иисуса Христа. И Бог даст мира всем вам во веки веков. Аминь», – этими словами заканчивается «Хождение игумена Даниила»... ❶

ВЫНЬ-КА ЗЕРКАЛЬЦЕ СКЛАДНОЕ

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Могут ли любовь и ненависть уживаться в одной душе? Человечество со времен Катулла знает, что могут. Стихи, растянутые между полюсами любви и ненависти, искрят и бьют читателя током. В стихах Саши Черного между любовью и ненавистью, между нежностью и презрением натянута тоска, соединяющая эти полюса, — то светлая, дымчатая, то яростная. Саша Черный — мастер тоски.

«О ПЯТЬ ТОСКА И ТИШЬ»; «ОТ БЕЗВЕРЬЯ, ОТ ТОСКИ»; «ВОТ ТОСКА — Я знаю — есть, и бессилье гнева есть»; «по углам паутина ленивой тоски»; «как тоскливо видеть, знать, не ждать и молча гнить»; «добросовестно скучаю и зеленую тоску заедаю колбасой»... Это только малая часть тоски из одного его сборника, «Сатиры». А есть еще «Сатиры и лирика», и там даже в небе — «караван тоскующих ворон», и черный канал стынет в тоске за окошком под белым небом, и городской зевает тоскливо, и Рейн «свободен и тосклив», и куда только ни упадет взгляд — везде дует и свищет тоска.



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

Любимый фокстерьер писателя стал главным героем книги «Дневник фокса Микки»

Стихи Саши Черного — энциклопедия тоски: это и обыкновенная депрессия среднего горожанина средних лет, и общественная депрессия, идеальный портрет общества времен реакции. И великая русская тоска, огромная, как Великая Русская равнина, — и общечеловеческая экзистенциальная тоска, которая много позже обернется Сартовой тошнотой.

Он сам на себя эпиграмму написал:

Как свинцовою доской,

Негодуя и любя,

Бьет рифмованной тоской

Дальних, ближних и себя...

Но есть иной Саша Черный, чьи детские стихи, «Дневник фокса Микки» и «Солдатские сказки» полны смешливой радости и лукавства — как будто другой человек писал. Ничего общего? — нет, общее есть: невероятная энергия стиха, даже если он повествует не о детских плясках вокруг костра, а о вялом унылом интеллигенте, у которого нет душевных сил даже встать с дивана. И нахальные, мощные метафоры и сравнения: «навстречу шел бифштекс в нарядном женском платье», «лежу, как растерзанный лев», «как пальцы мертвецов, бряцают счеты», дамы на пляже лежат на берегу, «как индюшка в гастрономической витрине», а у верблюда «даже колени горбатые». Даже когда лирический герой Саши Черного изнывает, тоскует и помышляет о самоубийстве, исходит яростью и злостью, даже когда сам автор гневно отвечает киевским медичкам, которые требуют от него беззлобного юмора, — он и здесь не забывает заметить, что у человека, которому плохо, «в ушах золотые звенят колокольцы, и сердце и ноги уходят в черную высь», а самих медичек именует «бесконечно-милрой группой божьих коровок».

ОДЕССА: ДЕТСТВО

О детстве своем Саша Черный рассказывать не любил. Он родился в семье одесского провизора Менделя Гликберга. Александру Измайлову, журналисту «Русского слова», сказал однажды: «Нас было двое в семье с именем Александр. Один брюнет, другой блондин. Когда я еще не думал, что из моей «литературы» что-нибудь выйдет, я начал подписываться этим семейным прозвищем». Одесские краеведы второго Александра в семье Менделя Гликберга не нашли; скорей всего, имелся в виду кузен. В семье было еще два брата и две сестры.

Дед был торговцем скобяным товаром; лавка Якова Гликберга находилась на Греческой улице. О Греческой улице, о жизни с бабушкой и дедушкой идет речь в рассказе «Голубиные башмаки», наверняка автобиографическом. В. Добровольский пишет, что порядки в семье Гликберг были суровые, и детей часто наказывали: «Чаще всех доставалось, судя по всему, Саше, исключительно выдумщику и фантазеру. То пытался он сделать непромокаемый порох из серы, зубного порошка и вазелина, то изготавливал чернила из сока шелковичного дерева, превращая квартиру в небольшой химический завод». Правда, сведения эти взяты из «Голубиных башмаков», а там этими проказами занимался младший брат рассказчика, шестилетний Володя (и брат Володя, моложе Саши на три года, в семье был). А сам автор не проказничал, не пошел даже с Володей голубей ловить в гавань: «А я остался дома, потому что, когда в первый раз сказки Андерсена читаешь, никакая гавань, никакие голуби на свете тебя не соблазнят».

Дети в семье были одаренные: старшая девочка впоследствии писала рассказы под псевдонимом «Подснежник», младший брат, Георгий, подвизался в журналистике, подписывался «Георгий Гли». Однако атмосфера дома была тяжелая. В 1950 году нью-йоркское «Новое русское слово» рассказывало, ссылаясь на мемуары жены Черного, Марии Васильевой: «Его отец – коммерческий агент Санкт-Пе-

тербургской химической лаборатории – был всегда в разъездах; дети его почти не знали и боялись. Мать, большую истеричную женщину, дети раздражали. Когда возвращался отец, она на них жаловалась. Не входя в разбирательство, отец наказывал их, особенно доставалось троем мальчикам...» Сама Мария Ивановна рассказывала: «Никто никогда ничего ему не дарил, когда он был ребенком. И когда он, за неимением игрушек, находил в доме что-нибудь, что можно было бы приспособить для игры, его наказывали». Ни праздников, ни радостей; как у Чехова – «в детстве у меня не было детства». Это непрожитое детство жило в Саше Черном до конца его дней; Александр Гликберг до седых волос оставался Сашей: дети, с которыми он постоянно возился, только так его и звали. Добровольский цитирует неназванного мемуариста: «Как и дети, он придумывал себе занятия, не имевшие, как игры, никакой иной цели, кроме забавы: раскрашивал какие-то коробочки, строгал дощечки, оклеивал полочки и радовался, если дома находили какое-нибудь приложение этим вещам. Глаза его светились при этом такой наивной радостью, что другим начинало казаться, что это и в самом деле чудесная и нужная вещь». Он всегда легко и быстро находил общий язык с детьми – хоть русскими, хоть французскими, – умел найти общие занятия, и дети, разумеется, к нему липли. Своих у него не было.

Дети в семье Гликберг по тогдашнему обыкновению сначала учились дома. Когда пришло время отдавать их в гимназию, возникла проблема: для евреев в государственных учебных заведениях существовала процентная норма. Саша выдержал экзамен, но из-за процентной нормы в гимназию не попал – шансы на поступление были только у лучших. Отец семейства решил проблему просто: окрестил всех детей, и Саша начал учиться. Однако учеба не заладилась – особенно тяжело давался Закон Божий, – и в пятнадцатилетнем возрасте он сбежал из дома. Биограф поэта Анатолий Иванов пишет: «Вначале беглеца приютила тетка, сестра отца, отвезла его в Петербург, где он в качестве пансионера продолжил учение в местной гимназии. Но когда его «за двойку по алгебре» исключили из гимназии, он фактически оказался без средств к существованию. Отец и мать перестали отвечать на письма блудного сына с мольбами о помощи». Работу он найти не мог, у него даже обуви не было.

ЖИТОМИР: СТАНОВЛЕНИЕ

Журналист Александр Яблоновский написал о восемнадцатилетнем Саше Гликберге в газете «Сын Отечества»; статья называлась «Срезался по алгебре». Она попала на глаза председателю Крестьянского присутствия в Житомире, статскому советнику Константину Роше. Роше, у которого годом ранее умер сын, решил взять юношу к себе и помочь ему. Так Саша оказался в Житомире – под опекой доброго и порядочного Роше. Роше поселил его у себя, устроил в пятый класс 2-й житомирской гимназии; Роше писал стихи – и, заметив, что воспитанник пишет стихи, дал ему первые

уроки стихосложения. Он был филантроп, занимался благотворительностью, например работал на голоде в Поволжье в 1899 году, и Саша вместе с ним. Мать Роше работала в женской гимназии, преподавала немецкий язык – и занималась с Сашей немецким. Учеба не заладилась и в житомирской гимназии, и вскоре Сашу исключили из шестого класса из-за конфликта с

директором «без права поступления», с волчьим билетом. Сидеть на шее у Роше он не стал – отправился в армию вольноопределяющимся, не дожидаясь призывного возраста: «вольнопером» можно было стать в 18, а призывной возраст наступал в 21. По разысканиям Анатолия Иванова, служил вольноопределяющийся Гликберг в Вологодском 18-м пехотном Его Величества короля Румынии полку, который располагался в Житомире. «Во время службы в армии вольноопределяющемуся Гликбергу пришлось столкнуться с разными сторонами военщины. <...> Это муштра, шагистика на плацу, вытягивание во фронт, артикулы, приемы рукопашного боя с прокалыванием штыком соломенного чучела. Кому это понравится?» – пишет биограф. Карцер «за сверхформенно отросшие волосы», брань унтер-офицеров, грубость, казенщина – все это тоже осталось в стихах:

*Запою ль вполголоса, лютея,
Щелкнет в дверце крошечный квадрат
И, светясь, покажется, как фля,
Тыкволицый каменный солдат.
«Арестованному петь не дозволятца»,
Ротный, друг мой, Бурлюков-мурло!
За тебя, осинового братца,
Мало ль писем я писал в село?..*

Поэт рассказывал Борису Лазаревскому, что два года с удовольствием учил солдат грамоте в учебной команде – а в свободное время слушал их истории, которые потом легли в основу его предельных «Солдатских сказок».

После демобилизации молодой Гликберг некоторое время служил на таможене в Новоселицах на границе с Австро-Венгрией, затем вернулся в Житомир

и занялся журналистикой: в городе появилась газета «Волинский вестник», где он стал фельетонистом. Подписывался «Сам-по-себе» – очень характерный псевдоним, он и был всю жизнь сам по себе, ни к кому не примкнувший, ничем не связанный. Писал стихи – очень средненькие.

В газете сотрудникам, по словам Анатолия Иванова, приходилось самим вертеть колесо типографской машины и мыть шрифты, а вместо гонораров могли выдать контрамарку в театр. Саша был молод, полон сил, влюбчив – и время, кажется, было еще хорошее, мирное. Хотя уже шла война с Японией – и собиралась отдаленная гроза. «Волинский вестник» через два месяца закрылся за неимением средств – и перед молодым человеком снова встал вопрос, что делать и чем заниматься.

ПЕТЕРБУРГ: НАЧАЛО

Гликберг уехал в Петербург, где некоторое время жил у родственников Роше и работал в Службе сборов Варшавской железной дороги. Там он познакомился с будущей женой и вскоре вступил с ней в гражданский брак. Семья дала ему стабильность: жена, его начальница по службе, была старше его на девять лет, практичнее, да и богаче (говорят, она состояла в родстве с купцами Елисеевыми); она взяла на себя заботы о быте и даже общение с редакциями. Медовый месяц провели в Италии. Шло лето 1905 года.

В России это лето было политически жарким: первая русская революция, уже поднял красный флаг броненосец «Потемкин», уже шли восстания – наконец, к осени появился царский манифест, обещающий народу свободу печати, свободу собраний и так далее. Сразу после манифеста, отменившего предварительную цензуру, на свет полезли сатирические журналы и журнальчики. В одном из них, «Зрителе», 27 ноября 1905 года впервые появились стихи, подписанные «Саша Черный». Стихи назывались «Чепуха»:

*Трепов – мягче сатаны,
Дурново – с талантом,
Нам свободы не нужны,
А рейтузы с кантом.
...*

*Разорвался апельсин
У Дворцова моста...
Где высокий гражданин
Маленького роста?*

Стихотворение, полное политических намеков, било по всему истеблишменту – от царя и министров до Иоанна Кронштадтского; стихи сделались знамениты, разбежались по стране в списках, а журнал закрыли. Впрочем, такова была судьба большинства сатирических журналов той поры: уголовное преследование редакторов за «оскорбление особ императорской фамилии» и «подрыв основ существующего строя» стало приметой времени. Но на смену одним приходили

другие. Сашу Черного печатали «Альманах», «Леший», «Маски» – и имя «Саша Черный» стало знакомо читателям.

«Чепуха» вошла в первую книжку Саши Черного, «Разные мотивы», которая вышла в 1906 году и была запрещена цензурой, – может, и к лучшему. Сам автор эту книгу не любил, и это тоже типичная судьба первых стихотворных сборников. Участия в революции он не принимал. Он, гимназист-недоучка, еле окончивший шесть классов из восьми, не мог не чувствовать недостатка образования. Не мог не тянуться к другой – более свободной, культурной, цивилизованной жизни. Он вместе с женой уехал в Германию, где вольнослушателем посещал лекции в Гейдельбергском университете. Когда вернулся в 1907 году – от революции уже не осталось и следа.



ГЕРОЙ И ВРЕМЯ

Многие замечают: в Отечестве после Европы труднее дышать. А в 1907–1908 годах дышать было вовсе нечем. Нечем жить, не к чему стремиться: все гайки закручены, все люки задраены, от политических новостей тошнит, что делать – непонятно... ощущение человека в эпоху безвременья стихи Саши Черного передают с максимальной точностью: потерянный, дезориентированный, он во всем разочарован и ни во что не верит, он циничен, он устал, ненавидит и себя, и людей вокруг. Саша Черный удивительно точно выбрал маску, нашел героя своего времени – и этим героем стал рефлектирующий интеллигент. Тот же герой – в центре сборника «Вехи». «Вехи» тоже вышли в 1908 году – в том самом, когда Саша Черный стал одним из ведущих авторов нового журнала, «Сатирикон», когда с его сатир начинали чтение журнала.

Это новый герой – не народник, готовый лечить и учить, и не чеховский интеллигент, надеющийся еще увидеть небо в алмазах, хотя и лысый, и потрепанный жизнью. Этот интеллигент знает себе цену, и цена эта – ломаный грош. Ему тошно смотреть на себя в зеркало, он озабочен прыщами и мигренями, в его голове крутится кафешантанный мотивчик, его преследу-

ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

ют рекламы слабительного – он разменивается на копейки, занимается ерундой. У него все не так: «семья – ералаш, а знакомые – нытики, смешной карнавал мелюзги. От службы, от дружбы, от прелой политики безмерно устали мозги».

Этот герой и сейчас никуда не делся, а живет в каждом из нас, сегодняшних городских обывателях; это вокруг нас – обстановка и желтый дом, это в наших «ЖЖ» постоянные теги «нормальных нет» или «дурдом на колесиках». И пусть вместо жилички-белешвейки с романсом «пойми мою печаль» за стеной сосед орудует перфоратором, а вместо врывающихся в комнату знакомых трезвонит мобильник и выскакивает десяток сообщений в личке, едва захочешь поработать – здесь мало что меняется. Саша Черный потому и обеспечил себе вечное место в истории русской словесности, что каждому из нас рассказал какую-то смешную и гадкую правду про нас. Это ему, кстати, а не профессору Преображенскому принадлежит вечно актуальный рецепт оздоровления психики:

В безвозмездное владенье

Отдаю я средство это

Всем, кто чахнет без провета

Над унылым отраженьем

Жизни мерзкой и гнилой,

Дикой, глупой, скучной, злой.

Получая аккуратно

Каждый день листы газет,

Бандероли не вскрывая,

Вы спокойно, не читая,

Их бросайте за буфет.

Правда, в том же сборнике «Сатиры» автор предупреждает читателя, недоброго отечественными газетами:

Друг-читатель! Не ругайся,

Вынь-ка зеркальце складное.

Видишь – в нем злоеще меркнет

Кто-то хмурый и безликий?

Саша Черный вдохновенно безжалостен и к себе, и к своему времени, и к читателю – настолько, что стыдно становится «спать и хныкать и пальцем в небо тыкать». Он безошибочно нашел

в человеческой душе черного человека, вытащил на свет и безжалостно препарировал – а что становится смешным, перестает быть страшным.

Но его нельзя найти, если его там нет. Сатиры Саши Черного – это в самом деле «песни самоубийцы», по выражению Чуковского; песни, пронзительно знакомые каждому, кому рано или поздно делалось тошно жить на свете, – «брякнуть вниз о мостовую одичалой головой»... или «мне сказала в пляске шумной сумасшедшая вода: если ты больной, но умный, прыгай, миленький, сюда». И вытащить эту болезненную, страшную фигуру, слепленную из пустоты, черноты и отчаяния, на свет из потемок своей души, и сделать ее смешной, и дать ей пинка – «кто смеется, тот спасен», как сказано в «Тиме Талере», где черта побеждают смехом, – чтобы проделать все это и не сдохнуть в процессе от боли, надо быть человеком недюжинной душевной силы и здоровья.

На Сашу Черного обрушилась всенародная слава со всеми ее издержками – фамильярностью (он и сам злился на себя, что взял себе такой псевдоним; позже стал подписываться «А.Черный»), с вечным непониманием – ладно бы только публика путала поэта с лирическим героем и считала, что это он сам, А.М. Гликеберг, по ночам гуляет с распутными пьяными Феклами, а по утрам ходит к докторам. Так ведь и критики путали лицо с маской – и надо сказать, не без повода. Непонимание зашло так далеко, что сборник «Сатиры и лирика» пришлось предварить посланием «Критику»:

Когда поэт, описывая даму,

Начнет: «Я шла по улице,

В бока впился корсет»,

Здесь «я» не понимай, конечно, прямо –

Что, мол, под дамою скрывается поэт.

Я истину тебе по-дружески открою:

Поэт – мужчина. Даже с бороною.

Упомянутые «киевские медички» в 1910 году прислали поэту просьбу, которую и сейчас читатели часто обращают к авторам: поменьше негатива, побольше позитива и оптимизма. Медички сформулировали просьбу в стихах:

...песню пропойте,

Где злость не глушила бы смеха –

И вам, точно чуткое эхо,

В ответ молодежь засмеется.

1910 год – в разгаре эпидемия самоубийств, недавно введены смертные казни – и тут «группа божьих коровок» требует беззаботного смеха. Должно быть, веселым киевским медичкам долго икалось по прочтении ответа:

Весело, весело, весело, весело!

Щелкайте громче зубами.

Одни живут, других повесили,

А третьи – сами...

...Но когда вашу лампу потушат,
И когда вы сбежите от всех,
И когда идиоты задушат
Вашу мысль, вашу радость и смех, –
Эти вириши, смешные и странные,
Положите на ноты и пойте,
как пьяные:
И тогда, о смею признаться,
Вы будете долго и дико смеяться!

АД Я ВИДЕЛ НА ЗЕМЛЕ

Читателя ошеломляла и новизна поэтического языка, и отмеченный Маяковским антиэстетизм, доведенная до совершенства эстетика безобразия. И свобода, с которой в ткань стихотворения вводятся повседневные реалии – от популярных мотивчиков до рекламы. И разговорная интонация, придающая стиху прелесть и пластичность живой речи. Но главное у Саши Черного – это внезапно загорающаяся во вселенском безобразии спасительная улыбка.

Саша Черный был пессимист — в самом деле, вселенского масштаба. Одно из самых популярных его стихотворений – просьба лирического героя к Богу дать ему после смерти «исчезнуть в черной мгле», потому что «в раю мне будет слишком скучно, а ад я видел на земле». Куда менее известна поэма «Ной» – горькая история о том, как семейство Ноя на ковчеге ссорится, злится – и спасает для нового мира все пороки мира старого, погубленного потопом.

«Ад я видел на земле» у Саши Черного – не фигура речи. В Первую мировую он служил санитаром на фронте. С этого времени Саша Черный уже не сатирик – наблюдатель, хроникер, реалист; это уже другой поэт, с другим языком, другими выразительными средствами.

Февральскую революцию он встретил на фронте; был избран начальником отдела управления комиссара Северного фронта. Служил в Пскове – оттуда и бежал в 1918 году, жил сначала на хуторе под Двинском, нынче это Даугавпилс, затем, уже зимой, перебрался в Вильно. Год прожил в Литве, затем уехал в Германию и поселился под Берлином – в Шарлоттенбурге.

Очнись. Нет дома – ты один:

*Чужая девочка сквозь тын
Смеется, хлопая в ладони.
В возах – раскормленные кони,
Пылят коровы, мчатся овцы,
Проходят с песнями литовцы –
И месяц, строгий и чужой,
Встает над дальнею межой...*

Это воспоминания о Литве, похожей и чужой одновременно. Эмиграция – тоска и бездомье. В другом стихотворении, написанном тогда же, в начале 20-х, лирический герой играет с детьми, строит корабль из песка — и они велят ему вести воображаемый корабль в Петроград... И вот из тумана выступают знакомые крыши:

*И младшая робко сказала:
«Причалим иль нет, капитан?..»
Склонившись над кругом штурвала,
Назад повернул я в туман.*

БЕРЛИН – ПАРИЖ – РИМ – ЛА ФАВЬЕР

Сейчас, когда на смену бытовому ужасу пошлости пришел кровавый ужас Гражданской войны – Саша Черный иначе относится к прошлому. Об этом он несколько раз писал – дважды в некрологах Аверченко, в стихах и в прозе:

*Разве мог он знать и чуять,
Что за молодостью дерзкой,
Словно бесы, налетят
Годы красного разгула,
Годы горького скитанья,
Засытающие теплом
Все веселье глаза...*

И еще одно поразительное признание: «Сатира сменила юмор. Ненависть к работодателям быта заслонила веселую усмешку обывателя над забавными нравами своей родной улицы, беспечно шумящей за его окном («обывательское» отношение для нас сегодня отнюдь не жупел, а, напротив – во многом здоровое, утверждающее национальный быт начало)».

Глеб Алексеев, бывавший в гостях у Саши Черного в Берлине, оставил его портрет: «У него красивое, спокойное лицо, серебро, осыпавшее виски, ласковые глаза, тонкие девичьи руки – во время разговора он любит смахивать со стола пу-

но, потому что моей России более нет и никогда не будет!» – сказал он Николаю Станюковичу.

Свою Россию он возвел в «Солдатских сказках» – чистосердечных, добродушных, полных скоромных намеков, невинного лукавства и поэзии самой высокой пробы. Он умер совсем неожиданно: шел домой, услышал соседский крик с призывом о помощи, понял, что пожар (одни пишут – горела соседская ферма, другие – что это был лесной пожар), побежал его тушить. Тушил без шляпы, на жаре – не то солнечный удар, не то сердце не выдержало. Пришел домой, лег и умер. И лю-

бимый его фоксик, которого он носил на плече и наглаживал, умер у него на груди.

Современники единодушно, чуть не одними и теми же словами говорят о Саше Черном: редкая, нежная, тонкая душа; как писал Александр Амфитеатров, «амфора, слишком рано опорожненная от драгоценнейшего, благоуханнейшего содержимого. Улетела от нас «душа, из тонких парфюмов сотканная», а потому и очень одинокая и печальная в веке миазматическом, который она тщетно усиливалась дезинфицировать, хоть на то малое, окружное пространство, где, запертою, она, бедная и кроткая, ежилась и сжималась, как чуткая мимоза, безглаголиво свертывающая свои листья в укрытие от грубых прикосновений».

И все-таки – жизнь выносима. Даже в горьком «Собачем парикмахере», лучшем из поздних стихотворений Саши Черного, смешная собака подставляет бока под стрижку, в очках смеется солнце, а старая жена все понимает без слов:

*Молчат, – давно наговорились.
И только кроткие глаза
Не отрываясь смотрят вдаль
На облака – седые корабли,
Плывущие над грязными домами:
Из люков голубых
Сквозь ключья пара
Их прошлое, волнуясь, выплывает...*

И горечь уже не отравка, не желчь, а легкий полынный привкус – потому что это просто жизнь. 🍷

шинки и никогда не смотрит на собеседника: словно говорит для самого себя. <...> Говорит он всегда об одном и том же. Будто тема эта – судьбы русской литературы – прожгла его, как раскаленная игла, и не оставила в нем ни одной капли души не кипящей. В своих суждениях он старается быть резок и прям – все приговоры он давно вынес и закрепил, но по уголкам глаз, слегка дрожащим, да по его руке, старательно выковыривающей восковое пятно на столе, я вижу, что уверить он старается скорее себя, чем меня. Для него ясно, что Россия, какой она была, погибла. Быт его сатир отошел и не вернется. В новом поднимающемся быте – что в нем хорошего и почему старый был хуже? Он даже не хочет видеть этого нового быта. И задача – поставленная жизнью перед ним – разве не ясна? – Всякий честный человек должен покончить с эмиграцией. Осталось два выхода: пуля в лоб или принять жизнь Запада, раствориться в ней, отыскать свое место и перестать быть эмигрантом. Какой еще выход вы можете предложить?»

Еще до революции он начал переводить с немецкого и писать для детей; переводы и детские книги теперь стали его основным занятием; в Берлине он выпустил книгу «Детский остров», работал над изданием «Детской библиотеки» (классики для детей), над детской антологией «Радуга», писал свои сказки и переводил немецкие. В 1923 году он жил в гостях у семьи Леонида Андреева в Италии. Валентин Андреев, сын писателя, вспоминал: «Саша любил все земное, дышащее и ползающее, летающее и цветущее. Он мне сказал раз: никогда не обижай живое существо, пусть это таракан или бабочка. Люби и уважай их жизнь, они созданы, как и ты сам, для жизни и радости». Дети и звери – его отрада, его единственная, наверное, возможность быть самим собой. Детские стихи, детские книги – даже эмигрантские – полны неподдельной радости, которую этот замкнутый, угрюмый, нервный человек сохранил в первозданном младенческом виде. И «отчего у мамочки на щеках две ямочки», и «верба, верба, в каждой лапке бархатный пучок» – чистое счастье. И «Мой роман», единственное его любовное стихотворение, – о трехлетней девочке.

И «Дневник фокса Микки», решающего загадку, есть ли у детей хвостики, теряющегося, визжащего от радости, когда встречает хозяйку – просто воплощение щенячьего счастья.

В 1924 году он перебрался во Францию; зимой жил в Париже, летом – на Лазурном Берегу, в Ла Фавьере, где обосновалась русская колония, самым известным жителем которой был художник Билибин. Со временем Черный с женой купили там домик и переехали в Ла Фавьер насовсем. Он писал для детей, работал в журналах, выступал перед эмигрантами в разных городах. И наотрез отказывался говорить о будущем России: «Нет! что бы ни случилось, я не вернусь обрат-



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

Потом Пушкин, правда, несколько смягчил свою жесткую оценку, но в целом она осталась неизменной – и, кажется, не такой уж несправедливой. Сумароков родился в ноябре 1717 года (ошибочно считается, что 1718-го, так что юбилей так себе, сомнительный, но ничего: скоро трехсотлетие) в семье прапорщика Петра Сумарокова, крестника Петра I и представителя старинного дворянского рода. Семья была богатой: за Петром Сумароковым числилось 1670 душ крестьян. Как большинство недорослей той поры, Александр учился дома, причем учитель его обучал в то же время и наследника престола. Затем пятнадцатилетний Сумароков поступил в Сухопутный шляхетский корпус, едва открытый в это время для детей из знатных дворянских семей. Нельзя сказать, чтобы корпус давал глубокое и фундаментальное образование, однако был ступенькой на пути к военной и политической карьере.

В корпусе к нему пришла первая слава: с самой юности Сумароков зарекомендовал себя недюжинным стихотворцем. Он сочинял стихотворные переложения псалмов, участвовал в кадетском литературном журнале, писал пьесы для кадетского театра и, главное, стихотворные послания к императрице Анне – необыкновенно легкие и певучие для поэзии своего времени, тяжеловесной и громоздкой. *Как теперь начать Анну поздравляти, Не могу когда слов таких сыскати, Из которых ей похвалу сплетати Иль неволей мне будет промолчати? Но смолчать нельзя! Что ж мне взять за средство, Не умея ж петь, чтоб не впасти в бедство, Тем, что ей должна похвала толика, Коль она славна в свете и велика?*

ЦИНИЧЕСКАЯ СВИРЕЛЬ

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Ни один поэт себе такой судьбы не желает, но и она завиднее других: быть признанным поэтом второго ряда, остаться в энциклопедиях с оговорками и быть интересным скорее историкам литературы, чем читателям.

Н О ЭТО, КОНЕЧНО, ЛУЧШЕ, ЧЕМ КАНУТЬ В ЛЕТУ СО ВСЕМ СВОИМ поэтическим наследием. Поэт, драматург и баснописец Сумароков в энциклопедиях остался, но читателей совершенно лишился; кто знает, был ли бы он сам доволен таким жребием.

Пушкин и вовсе предрек ему забвение:

Нет! в тихой Лете он потонет молчаливо,

*Уж на челе его забвения печать,
Предбудущим векам что мог он передать?
Страшилась грация цинической свирели,
И персты грубые на лире костенели.*

Это еще совсем традиционная поэзия: силлабический одиннадцатисложник, старинный, традиционный – но по своей простоте и легкости он куда ближе к народной песне, чем к пиитическим упражнениям Симеона Полоцкого или Феофана Прокоповича, старшего современника Сумарокова. Видно, что молодой поэт ориентируется на Тредиаковского, законодателя поэтической моды своего времени.

Он выпустился из корпуса в 1740 году и стал адъютантом вице-канцлера Михаила Головкина. В этой должности он прослужил недолго: уже в следующем году Головкин, влиятельный царедворец времен Анны Иоанновны и Анны Леопольдовны, после восшествия на престол Елизаветы Петровны был обвинен в измене и сослан в Якутию. Однако Сумароков не пострадал – более того, он очень скоро стал адъютантом графа Разумовского, фаворита Елизаветы, и оставался им более десяти лет. Эта служба позволила ему бывать при дворе; именно там он познакомился с первой женой, Иоганной Балк, которая родила ему двух дочерей, Прасковью и Екатерину.

Семейная жизнь его была несчастливой: жена оставила его – и биографы предполагают, что причиной разрыва стало увлечение Сумарокова крепостной девушкой по имени Вера, которая тоже родила ему двоих детей, Анастасию и Павла. На Вере Прохоровне Сумароков женился после смерти своей первой жены и Павлу выхлопотал через Потемкина место в Преображенском полку. В 1808 году в «Русском вестнике» появились сведения о том, что у Сумарокова было трое сыновей, которые утонули во время купания, спасая друг друга. Никаких других подробностей о троих сыновьях Сумарокова его биографам неизвестно, и, вероятней всего, это просто легенда.

ОТЕЦ РУССКОГО ТЕАТРА

Известность Сумарокову принесла первая его трагедия, «Хорев», которую в 1747 году сыграла при дворе труппа Федора Волкова. Воодушевленный успехом Сумароков продолжил писать пьесы и стал первым серьезным драматургом в истории русского театра. Вполне естественно, что именно его назначили директором постоянного российского театра, когда тот был создан в 1756 году. Сумароков фактически создал в России классический европейский театр и долгое время определял его лицо: его пьесы шли на русских подмостках до 20-х годов XIX века.

У театра не было своего помещения, не было денег, которые приходилось вечно выпрашивать. Сумароков, по горячности своего характера, мирно решать эти вопросы не мог и постоянно с кем-то конфликтовал – но театром дышал, театром жил, болел им.

Его перу принадлежит девять трагедий, двенадцать комедий и три оперных либретто. Это были очень типичные классицистские трагедии с их обычным конфликтом между страстью и долгом, с разлученными влюбленными, которые долго и мучительно страдают под гнетом непреодолимых обстоятельств, и типичные комедии с молоденькими девушками, учеными педантами и зловредными стряпчими. Как и положено в классицистской пьесе, герои его были предельно обобщенными – не конкретный Ярополк из русской истории, а какой-то всечеловек, не русская его невеста и княжна, а какая-то Димиза; даже на что уж конкретный Димитрий Самозванец – и тот был всечеловек, обобщенный тип, а не историческое лицо.

Общее для классицистов стремление освободиться от всего случайного, представить характеры типические, изобразить борьбу разума и страсти привело к тому, что только корявые имена персонажей – «Владисан» или «Силотел», как в «Ярополке и Димизе», – напоминали об их русском происхождении; переименуй их в Клеонтов и Дорин – и пьесу не отличишь от французских образцов.

Впрочем, пьесы Сумарокова отличались чрезвычайно бойким и легким по тем временам слогом; их афористичные двустушия и сейчас цитировать приятно, особенно когда слово получают тираны и деспоты:

Блаженство завсегда весьма народу вредно:

Богат быть должен царь, а государство бедно.

Или:

Зла фурия во мне смятенно сердце гложет,

Злодейская душа спокойна быть не может.

Или вот:

Терпите подданны! то должность вашей части;

Ни кто не предписал закона царской власти.

Впрочем, прекрасные страдальцы у него тоже очень выразительно страдают:

Нигде пристанища, несчастна, не имею.

Играй, свирепый Рок, ты бедностью моею!

Сумарокову претил торжественный язык ломоносовских од; он нещадно их высмеивал в своих пародиях. Ему куда ближе была стихия песенная, разговорная. Его прославили любовные песни, которые пели все сословия: в самом деле, русская литература еще только училась говорить о любви, и Сумароков одним из

первых дал ей нужные слова.

*...Зреть тебя желаю, а узрев, мятуся,
И боюсь, чтоб взор не изменил:
При тебе смущаюсь, без тебя крушуся,
Что не знаешь, сколько ты мне мил:
Стыд из сердца выгнать страсть мою
стремится,*

А любовь стремится выгнать стыд.

В сей жестокой брани

мой рассудок тьмится,

Сердце рвется, страждет и горит.

Язык его песен так прост и певуч, что почти не кажется архаичным. Читать Сумарокова куда легче, чем его современников. Он старался писать простым, человеческим языком, и, хотя творения его не свободны вполне от нагромождения мифологических образов, он сам резонно замечал в эпистоле о стихотворстве:

Слог песен должен быть приятен,

прост и ясен;

Витийств не надобно; он сам собой

прекрасен.

Он поучал стихотворцев: «Не делай из богинь красавице примера, // И в страсти не вспевай: «Прости, моя Венера, // Хоть всех собрать богинь, тебя прекрасней нет».

Лучше, уверяет Сумароков, просто сказать:

«Прости в последний раз, и помни, как любил», –

Кудряво в горести никто не говорил;

Когда с возлюбленной любовник

рассстается,

Тогда Венера в мысль ему не попадетя.

Песни его пелись на мотив модных менуэтов, музыку для них не писали специально. Иные из них, модные пасторали, отличались игривым эротизмом:

Он писал необыкновенно быстро: комедию «Тресотиниус», например, длиной в пятнадцать нынешних вордовских страниц, настроил за сутки – начал «12 января 1750 года», окончил «13 января». Комедии и трагедии переписывал и редактировал, насыщая их злободневными аллюзиями, сердитой полемикой с коллегами-соперниками.

В 1761 году его вынудили уйти в отставку – однако ему было чем заняться.

О СТИХОТВОРСТВЕ

Сумароков вечно был в гуще литературной борьбы. В 1748 году он издал брошюру «Две эпистолы Александра Сумарокова. В первой предлагается о русском языке, а во второй – о стихотворстве». Вопросы, которые он решал в ней, были насущнейшими вопросами для русской литературы XVIII века. В языке эпохи смешались и разговорный русский, и церковнославянский, и колоссальные пласты не освоенной еще иноязычной лексики; поэтические тексты самым нелепым образом сочетали одно с другим и третьим, и нужен был художественный вкус, опыт и время, чтобы разобраться в этом стилистическом хаосе.

Коль «аще», «точию» обычай истребил,

Кто нудит, чтоб ты их опять в язык вводил?

А что из старины осталось неотменно,

То может быть тобой повсюду положенно.

Не мни, что наш язык не тот, что в книгах чтем,

Которы мы с тобой нерусскими зовем.

Он тот же, а когда б он был иной, как мыслишь

Лишь только оттого, что ты его не смылишь,

Так что ж осталось бы при русском языке?

От правды мысль твоя гораздо вдалеке.

Он последовательно проводил мысль о том, что русскому языку все доступно. Боролся с пышными церковнославянизмами, с ненужными варваризмами – ну зачем говорить «аманта», когда можно сказать «любовница»? Вместо «страсть» – «пассия», вместо «насмехаться» – «мокероваться», а вместо «переписка» – «корреспонденция»?

Эта бурная языковая стихия еще не укрощена, не ограничена берегами твердых правил: их еще только предстоит выработать. Правила грамматики, практическая стилистика, обозначения конкретных звуков буквами – все это становилось предметом оживленной полемики между Сумароковым, Тредиаковским и Ломоносовым. Некоторые отзвуки бурных теоретических споров мы находим в комедии «Тресотиниус», где педанты спорят о том, с тремя ногами должна писаться буква «твердо» или с одной.

Вторая эпистола была посвящена правилам стихосложения по Буало. Сумароков, собственно, претендовал на то, чтобы стать русским Буало, русским Расином, русским Мольером и Лафонтеном, всеми сразу.

Негде, в маленьком леску,
 При потоках речки,
 Что бежала по песку,
 Стереглись овечки.
 Там пастушка с пастухом
 На берегу была крутом,
 И в струях мелких вод
 с ним она плескалась.
 Зацепила за траву,
 Я не знаю точно,
 Как упала в мураву,
 Вправду шль нарочно.
 Пастух ее подымал,
 Да и сам туда ж упал,
 И в траве он щекотал девуку без разбору.
 Заканчивается песенка лукавым намеком:
 И что сделалось потом,
 И того не знаю,
 Я не много при таком
 Деле примечаю;
 Только эхо по реке
 Отвечало вдалеке:
 Ай, ай, ай! – знать, они дрались.
 Впрочем, есть и совсем другой Сумароков – стихотворец, размышляющий [тоже в русле размышлений своей эпохи] о Боге, о бренности человеческого существования, о скорой смерти:
 Плачу и рыдаю,
 Рвуся и страдаю,
 Только лишь воспомню смерти час
 И когда увижу потерявши глас,
 Потерявши образ по скончаньи века
 В преужасном гробе мертва человека.
 Не постигнут, боже, тайны сей умы,
 Что к такой злой доле
 По всевышней воле
 Сотворенны мы
 Божества рукою.
 Но, великий боже! ты и щедр и прав:
 Сколько нам ни страшен
 смертный сей устав,
 Дверь – минута смерти
 к вечному покою.

Впрочем, нигде в своей религиозной поэзии он не достигает ни такой мощи, ни такой убедительности, как Державин; его религиозные стихи, скорее, выглядят сочинениями на заданную тему. И если песни его в самом деле отличаются живостью разговорного языка и неподдельным лиризмом, то здесь это очень обыкновенная, громоздкая, книжная поэзия, типичная для XVIII века.

ВРЕДНАЯ КНИЖОНКА

С середины 50-х годов Сумароков печатался в журнале «Ежемесячные сочинения», а с 1759 года издавал свой журнал – «Трудолюбивая пчела». В 60-х публиковал басни и стихи. Одна из басен, о жуках, которые учат пчел делать мед, дала Новикову для его «Трутня» знаменитый эпиграф: «Они работают, а вы их трудядите» – правда, Новиков привнес в него социальное содержание, которого Сумароков вовсе не имел в виду.

В одной эпиграмме про Сумарокова говорится: «рыж, заика и мигун» – стало быть, он заикался и страдал тиками. Известно еще, что он был чрезвычайно самодулюбив и раздражителен. Жаловался, что его не понимают, что цензура придирается, что к нему несправедливы. Белинский приводит анекдот о Сумарокове, расспрашивающем зрительницу, которая пришла с «Димитрия Самозванца», о впечатлениях: «Скажите, сударыня! Что более всего вам понравилось?» – «А как стали плясать, мой батюшка!» – отвечала гостья. Закипев досадою, Сумароков вскочил со стула, вскрикнул на сестру: «Охота тебе принимать к себе таких дур!», схватил шляпу и – убежал».

Рассказывают, что он мог швырнуть стаканом в помещика, который упоенно делился подробностями, как он наказывает своих крепостных. При этом Сумароков не был особенным сторонником равенства и братства – обычный дворянин, он придерживался обычных для своего сословия воззрений: у каждого человека свое место в мире, знай, сверчок, свой шесток. «Крестьяне пашут, купцы торгуют, воины защищают отечество, судии судят, ученые возвращают науки». Мужик – человек «из сама подла рода, которого пахать произвела природа».

Биограф поэта П.Н. Берков указывает, что в записке, поданной в Вольное экономическое общество в конце 1767 года, Сумароков писал: «Прежде надобно спросить: потребна ли ради общего благоденствия крепостным людям свобода? На это я скажу: потребна ли канарейке, забавляющей меня, вольность или потребна клетка, и потребна ли стерегущей мой дом собаке цепь? Канарейке лучше без клетки, а собаке без цепи. Однако одна улетит, а другая будет грызть людей; так одно потребно для крестьянина, а другое – ради дворянина». Далее Сумароков спрашивает: «Что за дворянин будет тогда, когда мужики и земли будут не его; а ему что останется?» Кончается записка Сумарокова такими безапелляционными словами: «Впрочем, свобода крестьянская не токмо обществу вредна, но и пагубна, а почему пагубна, того и толковать не надлежит».

Впрочем, Сумароков считал, что крестьян в отрыве от земли продавать нельзя: они к земле прикреплены и только с землей продаваться могут, а поштучно продавать, как скот, нельзя.

Он верил, что дворяне должны быть хорошими хозяевами, только тогда они имеют право управлять крестьянами:

*Сию сатиру вам, дворяня, приношу!
 Ко членам первым я отечества пишу.
 Дворяне без меня свой долг довольно знают,
 Но многие одно дворянство вспоминают,
 Не помня, что от баб рожденным и от дам
 Без исключения всем праотец Адам.
 На то ль дворяне мы, чтоб люди работали,
 А мы бы их труды по знатности глотали?*

Это был обычный человек эпохи Просвещения с обычными для нее представлениями о мудро устроенном общественном механизме, в котором все находится на своих местах, выполняют предписанную им задачу. Монарх при этом существует для блага своих подданных; эту мысль Сумароков, как и другие поэты XVIII века, считавшие главной своей задачей ненавязчивое воспитание царей, проводил в произведениях последовательно, пока не разочаровался окончательно и в монархии, и в монархах. Он много надежд возлагал на воцарение Екатерины II, даже журнал свой, «Трудолюбивая пчела», посвятил ей. Но царица надежд не оправдала: чехарда фаворитов и всеобщее стремление урвать свой кусок настолько претили просветительским идеалам Сумарокова, что в его трагедии «Димитрий Самозванец» зазвучали уже прямые призывы к свержению царской власти. Екатерина, прочитав трагедию, назвала ее «на редкость вредной книжонкой», – правда, обошлось без репрессий. Сумароков впал в немилость.

И СОВСЕМ В БЕЗУМСТВЕ

В 1769 году он переехал в Москву – уже сильно пьющий, опускающийся. Рассорился со всей семьей. Нервный, истеричный, легко впадающий в иступление, он восстановил против себя весь свет. Родственники его первой жены подали на него в суд, требуя лишить прав его детей от второй жены. Сумароков выиграл процесс, но почти разорился на судебных издержках. В стихотворении «Жалоба» он писал:

*...Слаба отрада мне, что слава не увянет,
 Которой никогда тень чувствовать не станет.
 Какая нужда мне в уме,
 Коль только сухари таскаю я в суме?
 На что писателя отличного мне честь,
 Коль нечего ни пить, ни есть?*

Похоронил вторую жену и, по его собственным словам, двенадцать недель плакал. Однако почти сразу после ее смерти вознамерился жениться в третий раз – на девушке по имени Екатерина Гавриловна, которая была лишь годом старше его старшей дочери. Берков цитирует печальный документ – письмо матери Сумаро-

кова, старой вдовы Прасковьи Ивановны, в консисторию с просьбой не позволять ее пожилому сыну жениться: «Уведомилась я, что сумасшедший и пьяной сын мой, овдовевший сего мая 1-го дня, вздумал паки жениться на рабе своей девке Катерине, а как ему от роду 60-й год, к тому ж имеет от первого брака двух дочерей, а от другой (!) до венца рожденных дочь и сына малолетних. Он же по беспрежнему его пьянству довел себя до такого состояния, что и ходить не может и совсем в безумстве». Прасковья Ивановна просила «о запрещении сего брака, который в пагубу оному сыну моему, в посрамление и огорчение мне и всей нашей фамилии, во всеконечное же разорение бедным его дочерям, от первого брака рожденным». Консистория ничего сделать не смогла, «поелику оной господин женился уже».

Он был сильно болен и умер через четыре месяца после женитьбы, оставив вдову беременной, а детей от второго брака – почти без средств к существованию. Его племянник вспоминал, что поступки дяди «до того разорвали все его связи с самыми ближними родственниками, что, когда он умер, не оставив денег даже на похороны, его схоронили на свой счет актеры московского театра».

Очень скоро после его смерти лавры русского Буало и Мольера увяли. Потомки переоценили место Сумарокова в поэзии: на фоне поэтических тяжеловесов – Ломоносова, Державина, Крылова, Фонвизина – он не выглядел уже ни Лафонтеном, ни Мольером,

ни Буало. Может быть, поэтому Пушкин назвал его карликом, а Белинский острожно заметил, что «Сумароков был не в меру превознесен своими современниками и не в меру унижаем нашим временем».

Он не был гением и титаном. Но гениям и титанам, чтобы двигаться вперед, нужны предшественники и современники. Даже когда они такие нелепые, смешные, пьяные и несчастные – если они делают свое дело честно, увлеченно и с любовью. ❀

ШУТОВСКОЙ ХАЛАТ

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Все у него было к концу жизни — авторитет, слава, достаток. Он стал легендарным персонажем — всенародным дедушкой Крыловым. Малые детки умильно рассказывали ему басни. О его чудачествах ходили анекдоты; он и вел себя как образцовый чудак — ленивец, неряха и обжора. Тут должна быть тайная душевная драма, но он был слишком флегматичен, слишком ироничен, чтобы обнажать какие-то душевные драмы.

ОН БЫЛ С ДЕТСТВА НЕКРАСИВ: толст, приземист, большеголов. Родился в 1769 году в бедной семье армейского капитана, который выслужился из солдат. Андрей Прохорович Крылов попал в самую гущу Пугачевского восстания в Яицкой крепости и защищал ее умно и храбро; повстанцы хотели перевешать всю семью. Маленький Крылов, рассказывал Пушкин со слов самого Ивана Андреевича, играл с другими детьми в пугачевщину. Игру взрослые остановили, потому что дети стали сечь пленных и дошли до остервенения. После подавления Пугачевского бунта Андрей Прохорович вышел в отставку, не получив никаких наград за службу,



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

и поселился в Твери, где служил председателем губернского магистрата. Сыну нанял учителя-француза. Мальчик больше любил играть, чем учиться: «иногда меня даже секли», вспоминал Крылов. Отец умер, когда мальчику было 9 лет, и оставил ему в наследство сундук книг. Мать, Мария Алексеевна, осталась без всяких средств к существованию – с двумя детьми (младший, Левушка, был совсем маленький) и старой бабкой Матреной. Обращалась к императрице с просьбой о пенсионе, но просьбы оставались без ответа.

Мать была неграмотна. Подрабатывала тем, что ходила читать наизусть псалтырь по покойникам. Крылов искренне любил мать и говорил позднее: «Она была простая женщина, без всякого образования, но умная от природы, исполненная всяких добродетелей».

Отец еще при жизни привел Ванюшу в дом председателя Уголовной палаты Львова; семейство Львовых покровительствовало мальчику, он стал учиться вместе с маленькими барчуками и скоро обогнал их. Учеба ему давалась легко — и французский, и математика. Кроме того, он выучился играть на скрипке. Правда, у Львовых Ванюше приходилось прислуживать за едой. Е.Н. Львова вспоминала: «И как в доме Петра Петровича людей было мало, то часто, как гости бывало приедут, то кто-нибудь из хозяев и скажет: «Ванюша, подай в гостиную поднос с чаем», и Крылов ловко исполнял желание хозяев». Двусмысленность положения – вроде бы и воспитанник, а вроде и слуга – больно уязвляла мальчика.

ФЕАТР

Отец незадолго до смерти записал сына подканцеляристом в Калязинский суд, чтобы чины шли, пока мальчик растет. Друзья отца помогли перевести Ванюшу в Тверской магистрат, там и началась его служба. Фаддей Булгарин писал: «День и ночь занимался он чтением и часто даже пренебрегал для того службою. Иван Андреевич сказывал мне, что повадчик его был человек грубый и сердитый, и не только журил его за пустые и бесполезные занятия, то есть за чтение, но, застав за книгою, иногда бивал его по голове и по плечам». В канцелярии юный Крылов получил прекрасное представление о том, как работает система отечественной бюрократии: тут тебе и взятки, и подношения, и «у сильного всегда бессильный виноват».

Уже сейчас он начал пробовать перо. Первым его известным опытом стала комическая опера «Кофейница»; автору было всего 13 лет. Идею, по предположению биографа Крылова, Николая Степанова, ему подсказал журнал Новикова «Живописец», где рассказывалось об обманщицах-«кофегадательницах». В пьесе фигурировали злая барыня Новомодова, пара влюбленных, которые никак не могли соединиться, приказчик-злоумышленник и «кофейница» – подкупленная гадалка, которая должна опорочить невинного. В финале, разумеется, козни раскрывались, зло было наказано, а влюбленные воссоединялись. С этой пьесой он и уехал в Петербург, взяв в магистрате отпуск: мать решила лично хлопотать при дворе о назначении пенсии.

Хлопоты эти ничего не дали. А магистрат хватился своего подканцеляриста и требовал препроводить его в Тверь по этапу. Считается, что дело решил граф Брюс, к которому Крылов обратился лично.

С 1783 года Иван Крылов служил канцеляристом в петербургской Казенной палате, много читал и мечтал о литературе и театре. Свою пьесу он попытался пристроить в печать, типограф Брейткопф обещал ему содействие, но «Кофейница» так и не увидела свет. Зато у Брейткопфа юноша свел знакомство с актером Дмитриевским, который ввел его в прекрасный мир закулисья. Теперь Крылов был уверен, что должен писать для театра. Вторая его пьеса, «Клеопатра», свет тоже не увидела: уж очень опасным в екатерининские времена был сюжет о египетской царице и ее любовниках. Следующая трагедия называлась «Филомела». Несколькими годами позже она была опубликована в «Российском Феатре», который издавала Академия наук. В том же томе была опубликована тираноборческая трагедия Княжнина «Вадим Новгородский», которая разгневала Екатерину II. Тираж был уничтожен, «Филомела» погибла за компанию. Больше Крылов трагедий не писал – он сосредоточился на комедиях, обличающих нравы. «Бешеная семья» высмеивала бурные страсти, «Сочинитель в прихожей» – поэта, готового за барские милости воспевать что угодно, хоть «прекрасную красоту» хозяйской собачки. Крылов постепенно стал своим в театральном мире, у него появились друзья среди актеров; ему стали поручать переводы иностранных пьес,

но он-то мечтал о том, чтобы писать и ставить русские пьесы. В 1787 году умерла Мария Алексеевна, и 18-летний юноша остался один – без покровителей, с младшим братом на руках. Левушка всю жизнь называл старшего «тятенькой», старший всю жизнь помогал ему – даже тогда, когда Лев уже повзрослел и поступил на армейскую службу.

Театральная карьера Крылова кончилась, не успев толком начаться: в комедии «Проказники» он «вывел», как тогда говорили, трагика Княжнина и его жену Екатерину Александровну (дочь поэта Сумарокова) в образе поэта Рифмокрада и его неверной жены Тараторы. Как рассказывал издатель Николай Греч, поводом стало насмешливое замечание Княжниной, обидевшее молодого драматурга; но, конечно, не только в этом дело. Недаром Крылов называет Княжнина, который много заимствовал у французских трагиков, «Рифмокрадом»: «У него ничего нет своего, все краденое». Эпоха Просвещения считала, что поэт должен воспитывать нравы, а потому и сам должен быть безупречен. Молодой и категоричный Крылов был уверен, что слабый духом плагиатор, каким он изображает Княжнина, не должен учить нацию добродетелям. Оскорбленный Княжнин пожаловался члену театрального комитета Соймонову. Тот прежде покровительствовал Крылову и даже устроил его на службу в Горную экспедицию. Крылов, оправдываясь, написал два письма – одно Княжнину, другое Соймонову. Однако письма были так дерзки, что не поправили дела, а только испортили: Крылов и места в экспедиции лишился, и в театр ему был вход закрыт.

ГДЕ СЧАСТЬЯ СОВЕРШЕНСТВО?

В 1789 году на заседании «Общества друзей словесных наук», созданного в Петербурге последователями просветителя Новикова, Крылов познакомился с помещиком Иваном Рахманиновым. Рахманинов владел типографией, в которой печатал журнал «Утренние часы». Крылов стал публиковать в журнале свои стихи, типичные для XVIII века, – громоздкие, выпендренные, избыточные церковнославянизмами и мифологическими образами. Крупным лирическим поэтом Крылов не стал: уж очень традиционны оказались его стихи – и почти совсем лишены индивидуальности, этакий воплощенный русский классицизм. Куда удачнее оказались опыты в жанре ба-

сни – тоже насквозь классицистском, нравоучительном. Как и другие русские баснописцы, Крылов начинал с переводов Эзопа и Лафонтена, но не удержался в рамках простого переложения. Первые его басни, напечатанные в рахманиновских «Утренних часах» и повествующие об игроках, только обещают будущего гениального Крылова, но написаны они уже живо и просто, с естественными разговорными интонациями.

В 1788 году Крылов решился издавать журнал. Рахманинов взял на себя материальную и техническую часть, а Крылов писал все тексты. «Почта духов» взяла за образец «Адскую почту» Федора Эмина, которая издавалась в 1769 году и полемизировала с умеренной императрицей «Всякой всячиной», как и «Труть» Николая Новикова. Спор закончился тем, что императрица закрыла вредные журналы. Журналистика к концу 80-х была вполне благонамеренной, беззлобной и беззубой; последнее детище Новикова, «Покоящийся трудолюбец», закрывшееся в 1785 году, уже было сосредоточено на нравственном самосовершенствовании, сатиры же в нем и вовсе никакой не было. А Крылов, совсем молоденький, кипящий негодованием и полный прекрасных чувств, желал возродить былой дух острой сатиры, так восхищавшей его в старых журналах. У Эмина в «Адской почте» переписывались бесы – а у Крылова в переписку вступили духи, невидимые и вездесущие. Они болтались среди людей и писали волшебнику Маликульмульку о своих впечатлениях и наблюдениях. Духи изумлялись людским нравам и порядкам; позднее этот прием стали называть острашением: привычные и знакомые явления духи наивно описывали как что-то диковинное, если не дикое. Крылов не только критиковал пороки отдельных людей – крючкотворство и волокиту чиновников, расточительность, лицемерие и щегольство светских людей, но и говорил о пороках общественных: о том, что государи разоряют свои страны, придворные думают о своей выгоде, почести получают не люди достойные, а люди родовитые – чья знатность, может быть, «не имеет других оснований, как токмо благосклонность министра или его любовницы». Как тут не сделаться мизантропом? Может быть, философ-мизантроп сможет повлиять на монарха, чтобы тот служил общественному благу. Это нормально было для эпохи Просвещения: верить, что поэт может истину царям с улыбкой говорить, а царь, просвещенный светом разума, станет прислушиваться и исправлять порядки в своем государстве. Но к «Почте духов» прислушиваться не стали. Почему она закрылась – доподлинно неизвестно; скорей всего, ее постигла общая для сатирических журналов судьба. Тем более что во Франции уже грянула революция, а журнал поднимал опасные вопросы и давал на них крамольные ответы.

После закрытия журнала, в 1790 году, Крылов написал оду императрице. Формальным поводом стала победа над Швецией; содержанием – наставления о том, как должны поступать хорошие монархи. Возможно, ода была попыткой спасти жур-



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

Санкт-Петербург.
Памятник
И.А. Крылову
в Летнем саду.
Фотография конца
XIX века

ров воловьёю жилюю по пятам, а после мы рассмотрим его голос». Журнал был слишком смелым начинанием для 1792 года: борьба с крамолой усиливалась. В крыловской типографии прошел обыск: кто-то донес губернатору, что Крылов читает друзьям некое вредное сочинение под названием «Мои горячки». Рукопись Крылова была изъята при обыске и пропала. Крылов и Клушин решили уехать из столицы и переждать тяжелые времена.

Крылов уехал в деревню под Брянском. Там он встретил 15-летнюю дочь местного помещика Константинова Анюту. Молодые люди полюбили друг друга, Крылов написал для Анюты несколько нежнейших стихотворений и просил у родителей ее руки, но они не считали его подходящей партией. Писатель, историк и журналист Петр Алабин рассказывал: «Он уехал в Петербург. Анна Алексеевна плакала, тосковала, по ее собственным словам, таяла как воск – родные стали бояться за ее жизнь, сжалились и изъявили согласие на брак ее с Крыловым. Она сама и родители ее поспешили написать об этом счастливом изменении обстоятельств Крылову и звали его в Брянск играть свадьбу. Но... опять это несчастное но... от Петербурга до Брянска не так было близко тогда, как теперь. Крылов ответил, что у него нет средств приехать в Брянск, а потому он просил осчастливить его – привезти невесту в Петербург, где может быть немедленно устроена свадьба. Такой ответ оскорбил и рассердил родителей Анны Алексеевны, и они решительно отказали Ивану Андреевичу, прекратив затем всякие с ним сношения».

нал, но она не удалась. В эти же дни был сослан Радищев. Рахманинов приуныл, решил уехать в поместье и печатать там Вольтера, а петербургскую типографию оставил Крылову. Крылов же в это время сошелся с отставным поручиком Александром Клушиным и вместе с ним, да еще давними друзьями, актерами Дмитриевским и Плавильщиковым, решил открыть книжное дело. По примеру Новикова задумали печатать книги и продавать их в своей лавке; начали и новый журнал – «Зритель». Здесь, в отличие от «Почты духов», было несколько авторов. Крылов среди прочего напечатал в «Зрителе» восточную сказку «Каиб». О сказочном калифе можно сказать то, чего не скажешь о государыне: «как он был миролюбив, то, для избежания споров, начинал так свои речи: «Господа! я хочу того-то; кто имеет на сие возражение, тот может свободно его объявить: в сию ж минуту получит он пятьсот уда-

Анюта так никогда и не вышла замуж, а Крылов не женился. Он вернулся в Петербург и стал издавать журнал – «Санкт-Петербургский Меркурий». Этому начинанию тоже была суждена короткая жизнь: несколько публикаций журнала показали императрице вредными. Она вызвала к себе Крылова и Клушина и указала им

по-матерински, сколь пагубен избранный ими путь. Ходили слухи, что оба молодых издателя должны были отправиться путешествовать за границу; Клушин получил деньги на поездку, напечатал благодарственную оду императрице и уехал. Крылов остался. В Петербурге ему делать было нечего, и он отправился странствовать по стране. Какое-то время жил карточной игрой. Кочевал из города в город, наблюдал жизнь, набирался горького опыта, пока не проигрался в пух и прах. После этого он к игре охладел — и до конца жизни играл осторожно, спокойно, только для развлечения и удовольствия.

КОМЕДИОГРАФ

Конец его странствия положил приглашение графа Татищева пожить у него в усадьбе. Так началась новая полоса в жизни Крылова – гостевая. Пожалуй, в татищевском имении он был если не счастлив, то спокоен. Мирная усадебная жизнь была ему по душе; может быть, летние прогулки по садам и лесам заронили в его голову забавную мысль: попробовать жить, как праотец Адам. Татищев и его гости уехали в город, Крылов остался. «Оставшись одни во всем доме, он задумал привести в действие одну из давнишних своих причуд: испытать быт первого человека, – рассказывал друг М.Е. Лобанов. – Что было причиною этой причуды, не знаю. Он отпустил себе бороду, отрастил длинные ногти и волосы – и вот похаживает по саду с книгою. Так продолжалось несколько месяцев. Раз, углубленный в чтение, слышит он близкий стук кареты, оглядывается – и что же? Граф и все его семейство перед его глазами. При этой чудной, изумительной встрече в карете поднялся шум и крик, и наш Иван Андреевич в ту же минуту исчез. Хозяин нашел его, велел выбрить, одеть его и снова покорил его общественным законам». Наверное, с этого времени в обществе и стали говорить о крыловских чудачествах; и впрямь, он давал много поводов к таким

разговорам. «Мохнатым певцом» назвал Крылова Филипп Вигель, который какое-то время у него учился: «В поступи его и манерах, в росте и дородстве, равно как и в слоге, есть нечто медвежье: та же сила, та же спокойная угрюмость, при неуклюжестве, та же смышленность, затейливость и ловкость», – пояснял Вигель. От Татищева Крылов съехал к Бенкендорфам; оттуда – к князю Сергею Голицыну, который предложил Крылову стать его секретарем и учителем его детей; вместе с князьями Голицыными учился у него и Вигель, оставивший о Крылове воспоминания. Эти двое явно недолюбливали друг друга, Крылов считал Вигеля вздорным, тот прямо говорил об учителе, что «сердце у него в желудке», однако признавал его мастерство во всем, от музыки до педагогики: «Уроки наши проходили почти все в разговорах; он умел возбуждать любопытство, любил вопросы и отвечал на них так же толковито, так же ясно, как писал свои басни. Он не довольствовался одним русским языком, а к наставлениям своим примешивал много нравственных поучений и объяснений разных предметов из других наук».

Крылов возлагал некоторые надежды на нового императора – Павел только вошел на престол, – однако князь Голицын скоро впал в немилость, а из столицы стали приходить тревожные новости о сумасбродных поступках нового монарха. Немудрено, что шуточная пьеса, которую Крылов затеял написать для домашнего театра Голицыных, оказалась резко сатирической: глупый и грубый немец Трумф напал на царя Вакулу и решил насильно жениться на его дочери Подщипе. Царевна отказывается, Трумф негодует:

Der Teufel! я урот?.. Стерпел нет польше мош!

Ну, фот саплат са фесь моя люповь!.. Карош!

Мольши! на корот стесь не путет шиф ни мушка.

Сейшас пошел фелеть на фсех стреляй из пушка.

Трумф говорит с ужасным немецким акцентом, князь Слюняй, в которого влюблена Подщипа, ссужает и не выговаривает половину согласных. Подщипа требует гордо умереть, Слюняй умирать совсем не хочет; царь Вакула более всего обеспокоен тем, что нарушили его покой. Спасает царство от позора и разорения цыганка, предложившая подсыпать агрессорам слабительного. Пьеса уморительно смешна даже сегодня; в ней весело и зло спародированы все классицистские штампы, все театральные натяжки. Сам Крылов играл Трумфа. Публика была в восторге, но побаивалась: не донесут ли императору?

Дни императора, однако, были сочтены. Новое царствование принесло перемены в жизнь Крылова. Голицын, опальный при Павле, был призван ко двору и отправлен в Ригу; Крылов отбыл вместе с ним и два года прослужил в канцелярии князя, пока не запросился в отставку. Он вернулся в Петербург, затем поехал в Москву, навестил в Серпухове брата Льва – и снова вернулся в Москву, где пользовался гостеприимством дружественных семей – в первую очередь Бенкендорфов. Сейчас у него не было нужды зарабатывать на пропитание, быт его был налажен – и он смог сосредото-

точиться на драматургии. В 1804 году в Петровском театре поставили его комедию «Пирог»; уже в ней появилась его любимая тема – насмешка над модницами, их глупой сентиментальностью, их увлечением заграничными туалетами. Скоро за «Пирогом» последовали «Модная лавка» и «Урок дочкам»; обе насмеваются над раболепной любовью ко всему французскому.

После пожара Петровского театра Крылов повез свои комедии в Петербург, где предложил их князю Шаховскому – известному комедиографу и начальнику репертуарной части Петербургских императорских театров. Комедии приняли к постановке, они имели у зрителей успех; успехом пользовалась и волшебнo-комическая опера «Илья-богатырь». Крылов стал знаменит.

В Петербурге он часто бывал в семье Олениных, где познакомился с кругом петербургских литераторов. Стал вхож к Державиным, подружился с Гнедичем и Батюшковым, стал участвовать в издании «Драматического вестника» – театрального журнала Шаховского.

У ДЕРЖАВИНА ВКУСНО КОРМЯТ

Начало XIX века – время споров о языке русской литературы, время непримиримой битвы архаистов и новаторов. Одних злило увлечение иностранщиной: зачем все эти новомодные словечки, когда можно сказать то же самое по-русски? На этом полюсе литераторы группировались вокруг Державина, Шаховского и адмирала Шишкова. Другие – круг Карамзина – напротив, пытались добиться, чтобы русский язык, неповоротливый, перегруженный церковнославянизмами, архаизмами, стал пригоден для выражения сложных мыслей и чувств образованного человека. Крылов – во всяком случае, формально – в этом споре примыкал к архаистам: уж очень он дорожил природным, исконным русским слогом, уж очень скептически относился к нано-

сному, иностранному. Но недаром же его одного Батюшков пощадил в своей сатире «Видение на берегах Леты», где утопил в реке забвения всех архаистов, весь костяк будущей державинской «Беседы любителей русского слова».

Именно сейчас Крылов нашел свой путь в литературе: басня позволяла самые рискованные аллегории. Крыловская басня – не скучная мораль, не сухая фабула, а крохотная, но яркая драма или комедия с афористически подведенным итогом; недаром его басни дали русскому языку столько пословиц. В 1811 году Российская академия избрала Крылова своим членом.

Басни его часто – непосредственный отклик на известные события. Николай Степанов напоминает: «Лев на ловле» написан после заключения Тильзитского мира, «Квартет» – по поводу прений в Государственном совете, где никак не могли рассадить его членов. «Кот и повар» – о Наполеоне, захватывающем одну страну за другой, невзирая на протесты Александра I, «Волк на псарне» – отклик на наполеоновское предложение мира в Отечественной войне; Кутузов лично зачитал эту басню перед войсками и на словах «а я, приятель, сед» указал на свои седины. Слушатели разразились громким «ура».

В державинской «Бесede» Крылов держался особняком. Ходил на ее заседания исправно, друзьям из круга карамзинистов говорил, что там хорошо кормят. Вигель писал: «Крылов, хотя и выдал свою особу «Бесede», но, говоря, тайком посмеивался над ней». Крылов, не терпящий мертвечины и фальши, не мог не чувствовать, что «Беседа» цепляется за уходящее; что ее чопорность и напыщенность – это прошлое литературы, а ее будущее, живость, выразительность, смех – не здесь, а в «Арзамасе». Недаром он скоро подружился с юным Пушкиным и на торжественном обеде предложил тост за него раньше, чем тост за более маститого Жуковского; недаром, когда Пушкина стали критиковать за «Руслана и Людмилу», Крылов немедленно откликнулся на эту критику сердитой эпиграммой.

ХАЛАТ И ДИВАН

В 1814 году открылась петербургская Публичная библиотека. Оленин, ее директор и друг Крылова, предложил назначить баснописца на должность помощника библиотекаря. Так начался новый этап его жизни: в 1816 году Крылов поселился в здании библиотеки и прожил в ней почти тридцать лет.

Современники вспоминают Крылова неопрятным сонным ленивцем, пролежавшим в диване дыру. Но библиотечные документы показывают нам совсем другого человека: умного, дельного, энергичного сотрудника, тщательно формирующего библиотечные фонды русского отдела. А вот дома у Крылова в самом деле все пребывало в запустении: пыль, крошки, сигарный пепел... Пушкин вспоминал картину, которая косо висела над самой головой Крылова и могла, сорвавшись, убить его. Крылов заверил Пушкина, что все рассчитал и угол картины при-

Грибоедов трепетал. Сказал: «Если с первых сцен попросите меня удалиться, я исчезну». Но Крылов слушал – восторженно, радостно, со слезами на глазах. А потом сказал: «Этого цензоры не пропустят. Они над моими баснями куражатся. А это куда похлеще! В наше время государыня за сию пьесу по первопутку в Сибирь бы препроводила».

Ему не дали сделать то, что он всю жизнь хотел делать – уж не водевили писать, не за басни прятаться. И если не дали заниматься делом жизни – то какое уже значение имеет криво висящая картина, пятно на халате или голубиный помет на

ковре. Смирнов-Сокольский пишет: «Случайно уцелев еще при разгроме Радищева, он понял, что «плетью обуха не перешибешь» и сказать свое слово народу надо каким-то иным, отличным от радищевского путем. Он надевает на себя маску добродушного, беспечного, ленивого чудака-холостяка, от скуки пописывающего какие-то забавные басни, но на самом деле больше всего любящего поросенка с кашей. Только таким его и приняли высшие и придворные круги, и только такому Крылову прощали его меткие стрелы сатиры. Басни его рассматривались как талантливое чудачество оригинала». Это был залог его свободы. И отсутствие этой свободы не могли компенсировать ни почести, ни приглашения ко двору, ни вкуснейшие обеды, ни юбилейные торжества, ни тысячные тиражи его басен.

Тиражи свои, кстати, он объяснял лукаво: пишу для детишек, а они ведь книжки рвут, вот и надо новые издавать. Тираж своей последней книжки распорядился раздать бесплатно, на память. Жаловался на несварение желудка и спровоцировал слух, что умер от обжорства, хотя умер от пневмонии.

А над дочерью своей подшучивал, уже умирая:

– Ты, милая, не плачь, я стар, утомлен, пора мне на покой. А ты и без меня проживешь, если не богато, так и не бедно, разумеется, с условием – не ездить... не ездить... не ездить... в Английский клуб. ❀

падении минует его голову. Друзья вспоминают его чудачества: то купил в кадках апельсиновых и лимоновых деревьев, устроил у себя в комнатах рай – но деревья тут же засохли от небрежения; то поменял всю мебель и устлал пол дорогим ковром – но тут же напустил полную комнату голубей, которых здесь же кормил, и весь дорогой ковер они загадили...

Есть в нем сейчас что-то предсказывающее «Обломова» – эти внезапные порывы, этот диван, этот халат с пятнами, это обжорство; и два удара, постигшие его, и романтическая история с Фенюшкой. Фенюшка, «отвратительная кухарка», по воспоминаниям друзей Крылова, умела готовить два-три блюда, кормила его позеленевшими от плесени пирожками и пустила на растопку его греческих классиков. Она жила у Крылова в услужении с дочерью Сашей, его крестницей. Сашу эту Крылов потом удочерил и свое состояние оставил ее мужу; позднейшим исследователям было уже понятно, что Саша эта – не крестница, а дочь Крылова, а дети ее, с которыми он прожил последние годы в одном доме, – его внуки...

Нет, не только от природной лени и этот диван, и этот обломовский халат. Смирнов-Сокольский, отталкиваясь от выбранного Крыловым псевдонима «Нави Вольтер», высказал догадку, что он всю жизнь свою прожил этаким человеком на оборот, наизнанку; что его баснословная лень – это сознательное шутовство, позволяющее оберегать свое достоинство. Кто еще мог отговориться от требования царя написать басню, прославляющую его победы, тем, что не имеет таланта: «...жалею, // Что лиры Пиндара мне не дано в удел: // Я б Александра пел!» Или не явиться к обеду у императрицы, объяснив это тем, что укушен мухой – и еще жалобно попросить прислать десерт... Крылов иногда изумлял современников силой воли и целеустремленностью. В Риге увидел фокусника, который жонглирует светящимися шариками; сказал себе: неужто я, русский, этому не научусь? – и научился. В 50 лет, поспорив с Гнедичем о древнегреческом тексте, взялся учить древнегреческий – и выучил его сам так, что легко разбирал сложные места у классиков; Гнедич сначала думал, что Крылов выучил несколько фраз специально, чтобы его разыграть, и был потрясен, обнаружив, как глубоки его познания. Вслед за древнегреческим, в 53, Крылов взялся за английский; французский, немецкий и итальянский знал с юности. Почему же он упрятал эту мощь, этот живой ум, поразительную волю и сумасшедшую энергию под халат и слой пыли? Пожалуй, некоторый ключ нам дает история о том, как Грибоедов читал Крылову «Горе от ума». Грибоедов ведь – настоящий наследник Крылова: крыловский язык, крыловская афористичность, нелюбовь к наносному, чужеродному, поддельному, крыловская комедиография – все сошлось в Грибоедове, все ему удалось, что не удалось слишком рано родившемуся Крылову.

СВИНЬЯ И АНГЕЛ

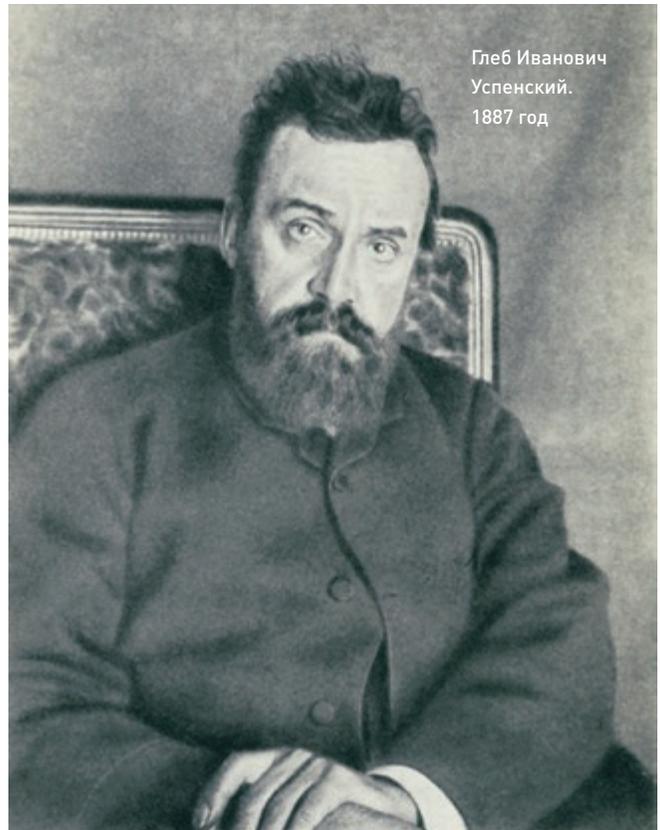
ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Мягкий юмор и жесткий абсурд, земская статистика и раздвоение личности, полемика с Марксом и умение летать — как это сочетается в одной биографии?

ПИСАТЕЛЬ ГЛЕБ ИВАНОВИЧ УСПЕНСКИЙ ПРИХОДИЛСЯ ДВОЮРОДНЫМ БРАТОМ ПИСАТЕЛЮ НИКОЛАЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ УСПЕНСКОМУ. ОТЦЫ ИХ, ДЕТИ СЕЛЬСКОГО ПОНОМАРЯ, БЫЛИ СОСТОЯТЕЛЬНЫЙ БРАТ И БЕДНЫЙ БРАТ, ЧИНОВНИК И СЕЛЬСКИЙ СВЯЩЕННИК. НИКОЛАЙ УСПЕНСКИЙ, ВО ВСЯКУЮ ПОГОДУ ХОДИВШИЙ ПЕШКОМ В СЕМИНАРИУ И МНОГО РАЗ ПОРОТЫЙ, НЕ БЕЗ ЗАВИСТЛИВОГО ЯДА ПИСАЛ, ВСПОМИНАЯ ДЕТСТВО, О СВОЕМ ЧИСТЕНЬКОМ КУЗНЕ, КОТОРЫЙ ЕЗДИЛ В ГИМНАЗИЮ НА «ЩЕГОЛЬСКОЙ ПРОЛЕТКЕ» И УЧИЛСЯ ПРИЛЕЖНО. И ДОБАВЛЯЛ, ЧТО САМ БЫЛ КУДА СЧАСТЛИВЕЕ, КОГДА ЕХАЛ ЛЕТНИМ ВЕЧЕРОМ С ПОЛЯ И ДЕРЖАЛ В РУКАХ ОХАПКУ МОЛОДОГО ГОРОХА...

Глеба не только не пороли дома, но и в гимназию посылали приношения, чтобы избавить дитя от телесных наказаний; Успенский полагал, что и от плохих оценок тоже, но его гимназический друг Васин писал, что Глеб просто очень хорошо учился.

Отец прилежного гимназиста был тульский чиновник, коллежский секретарь казенной палаты государственных имуществ. Николай Успенский вспоминал: «На дворе Ивана Яковлевича (отца Глеба Ивановича) ежедневно толпилась масса народу, в которой можно было встретить и цыгана, продающего лошадей, и сельского голову, увешанного медалями и державшего в руках обширную лохань с живыми карпиями и баснословной величины налимами, равно как и целое полчище дьячих, пономарей, семинаристов и даже спившихся с круга профессоров семинарии, преподавателей «герменевтики и обличительного богословия», неверными шагами пробирающихся сквозь толпу народа в пре-



Глеб Иванович Успенский.
1887 год

ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

лестный сад с клумбами цветов, беседкой, на куполе которой, эффектно оттеняемом голубым фоном, мерцали яркие звезды, и, наконец, скромно уютившейся у забора баней, где обыкновенно находили себе безмятежный покой все полупьяные родственники Ивана Яковлевича». Судьба Николая Васильевича сложилась трагически: он страшно пил, характером отличался неуживчивым, с

литераторами, издателями, друзьями перессорился. Рано овдовел, ходил с чуелом крокодила и гармонью, разговаривал за крокодила и заставлял петь маленькую дочь, которую передевал мальчиком; так зарабатывал на жизнь. В конце концов – зарезался перочинным ножиком под забором. На таком фоне любая мало-мальски упорядоченная жизнь покажется чуть ли не мещански благополучной – таким благополучным паинькой и казался непутевому Нико-

лаю Успенскому его брат. В одном из писем Глеба Ивановича сказано, что с Николаем Васильевичем он не желает иметь ничего общего. Впрочем, жизнь Глеба тоже не была сплошь сахарной.

Рассказчик в «Парамоне юродивом» говорит: «Детство мое прошло в конце тридцатых и в начале сороковых годов, а эти года для «обыкновенной» русской толпы были самым глухим, самым мертвым временем. Все, что родилось и провело в эти годы свое детство, все это, как бы ни был ребенок даровит от природы, было близко к потере сознания человеческого достоинства,

с детства переполнялось всеми сортами трусости, приучалось боязливо мыслить, чувствовать и вовсе отвыкло от аппетита как-нибудь поступать, как-нибудь действовать... Не шевелиться, хоть и мечтать; не показывать виду, что думаешь; не показывать виду, что не боишься, – показывать, напротив – что «боишься», трепещешь, – тогда как для этого и оснований-то никаких нет, – вот что выработали эти годы в русской толпе». По свидетельству Короленко, Успенский в юности плакал без видимых причин и содрогался «при всяком напоминании о прежней дореформенной среде и прежней жизни».

Семья была большая, многодетная. Один дед, сельский пономарь, как пишет Николай Успенский, однажды принимал у себя Тургенева. Другой, в честь которого мальчика называли Глебом, был управляющим палатой, где служил отец. Из Тулы он уехал служить в Калугу, ребенком Глеб часто жил у него – в среде, так ярко описанной Островским: купцы, мещане, чиновники, странницы-богомолки со своими историями... Вся эта пестрая толпа потом появится на страницах его очерков.

Десятилетним Глеб поступил в тульскую гимназию, где был первым учеником; соученик его Васин вспоминал, что имя Успенского «всегда красовалось на золотой доске». Через три года отца его перевели по службе в Чернигов, и Глеб пошел в тамошнюю

гимназию. Учиться стал похуже, зато начал писать; его первая публикация – в журнале «Молодые побеги», который издавали сами гимназисты.

В бурном 1861 году он поступил на юридический факультет Петербургского университета. Проучиться успел всего несколько месяцев: в сентябре поступил, в ноябре вместе с другими студентами побывал на похоронах Добролюбова; в декабре университет закрыли из-за студенческих волнений. Юноша съездил к родителям в Чернигов и на следующий год попытался поступить в Московский университет, но зачислен не был: нечем было платить за обучение. Отец сам остался без работы, денег у семьи было в обрез. Как и многие другие разночинцы, Успенский начал литературную карьеру в столице с неприкаянной голодной жизни. Наконец устроился работать корректором в газету «Московские ведомости» и получил 25 рублей серебром в месяц.

ВЕНЕРА И АБСУРД

В это время он начал печататься в серьезной прессе: первые его рассказы появляются в 1862 году в журналах «Зритель» и «Ясная Поляна» (издатель – Толстой), в 1863 году – в «Библиотеке для чтения». В 1864-м он мучительно выбирал между корректорской работой и попытками посещать университет; гонорары, которые он стал получать за свой труд, внушили ему надежду, что можно прокормиться литературой. Он пытался найти учительскую работу, но не смог. В это время умер Иван Яковлевич, и двадцатилетний Глеб стал кормильцем большой семьи. Незадолго до смерти отца Глеб сообщил ему, что Министерство дало пособие на воспитание детей – 300 рублей в год; после смерти отца он снова стал хлопотать о пенсии; еще четыре года семья получала по 400 рублей. Ему пришлось вернуться к семье в Чернигов и заняться литературной поденщиной: рассказами по 3–5 рублей за штуку. Уже в это время из-под его пера вышло несколько превосходных произведений, в том числе «Нужда песенки поет» – одновременно смешной, абсурдный и невыносимо грустный рассказ: пиро- и гидротехника Капитона Иванова, индийского фокусника, забирают в солдаты. Он, переодевшись турком, идет к откупщику показывать фокусы и умолять о милости; беременная его жена Маша, нарядившись в турецкое, идет с ним: авось увидят, что они вместе ремеслом зарабатывают, – и сжалются. Машу просят плясать; беременная Маша в чалме и «шали по-цыгански» пляшет «По улице мостовой»... сжалились, помиловали; спасенная пара бежит по улице – и муж получает от прохожих в висок за то, что он турок... «Художник сам проделал над вами нечто вроде «опыта тайной натуральной магии», смешил-смешил и под конец из самых этих смешков

выстроил нечто такое, от чего вы чуть не заплакали», – комментирует этот небольшой рассказик Николай Михайловский.

Впрочем, Михайловский не особенно высокого мнения о литературном таланте Успенского – даже называет его творческую манеру «оскорблением литературы действием». Зачем так кратко, так незаконченно, почему ни пейзажа, ни портрета, только самое необходимое, голый сюжет и только детали: вот дьякону в одном рассказе «не понравилось у невесты лицо, глаза, но стали нравиться мясистые плечи, шея, белая и толстая». Михайловский удивляется: как это автору нет дела даже, какого цвета у невесты глаза? «Наметив себе какую-нибудь цель, он торопливо идет к ней, пропуская мимо ушей всякие «звук сладкие», которые мог бы услышать по дороге, закрывая глаза на всякие пейзажи, и т.п.», – по мнению критика, можно было бы и побольше извлечь из сюжета, там ведь материалу – на целый роман! Зачем этот ненужный аскетизм, почему отрывки и фрагменты вместо законченной формы? И не понимает Михайловский, обстоятельный и медлительный, что это не порок, а художественный метод; что подробные описания портретов и пейзажей Успенскому не нужны – не в этом его сила. Сам Успенский, кстати, называл свои произведения «черной литературной работой».

Кстати, в письмах его пейзаж вполне себе присутствует: «Сегодня на Троицу все пароходы в березках; чудо! А ночью какая прелесть – огни на Волге, на верхушках мачт и пароходов, – это какое-то новое небо звезд над головой, и рассказать этого нельзя», – читаем в одном из них.

Красота – всегда камертон для Успенского; недаром самый популярный его рассказ – «Выпрямила» – о том, как Венера Милосская выпрямила затуманившую тоской и уставшую от повседневного унижения и оскорбления чувств душу учителя-народника Тяпушкина: Венеру нельзя представить себе способной «принять малейшее участие в том порядке жизни, до которого вы дожили. Ваше воображение отказывается представить себе это человеческое существо в каком бы то ни было из теперешних человеческих положений, не нарушая его красоты». А значит – мысль уходит в «бесконечно светлое будущее». «И желание выпрямить, высвободить искалеченного теперешнего человека для этого светлого будущего, даже и очертаний уже определенных не имеющего, радостно возникает в душе». Но это мы забежали вперед – в 70-е, когда Успенский любовался Венерой в Лувре, в 80-е, когда появился рассказ... Вернемся назад.

Он перевез мать в Тулу, «на старое пепелище»; по свежим тульским впечатлениям опубликовал в «Русском слове» свои «Фельетоны», за которые его в Туле хотели «бить и отделявать»; не побили, потому что не знали его в лицо.

Славу Успенскому принесла серия очерков «Нравы Растеряевой улицы», которая вышла в 1866 году. Тут, кажется, ничего светлого: рабочие, живущие на Рас-

теряевой улице, до смерти работают, до полусмерти пьют. Кто не пьет – тот заедает пьющих, расчетливо пьет их кровь, разоряет их семьи, сводит их в могилу – как целовальник, у которого в трактире рабочие пропивают не только все с себя, но и платья жены; как пистолетный мастер Прохор Порфирыч, спокойно и холодно обирающий всех вокруг. Точно воспроизведенные – во всей их нелепости и бессвязности – разговоры; четко изображенные картины bestialной, беспробудной жизни; абсурд и бессмыслица, бессмыслица и абсурд – все это так знакомо было русскому читателю, так отозвалось в нем, что Успенского сразу заметили: вот наследник Гоголя. Жизнь гоголевского наследника была при этом до крайности трудна и безденежна. Публикация «Растеряевой улицы» в некрасовском «Современнике» оборвалась, потому что журнал закрыли после покушения на Александра II. Одним из немногих уцелевших журналов был «Женский вестник»; Успенский печатался в нем и пытался закончить публикацию «Растеряевой улицы» в этом журнале, предназначенном для обсуждения женского вопроса; произведение было от женского вопроса далеко, пьяных и мерзких героев пришлось для публикации в женском журнале причесать и облагородить, чтобы не оскорблять вкуса дам; облагороженные герои получились фальшивы...

Письма Успенского в конце 60-х – сплошной вопль о помощи: он

без конца просит денег у Некрасова, у Литературного фонда, у издателей. Цензура свирепствует, произведения его запрещают... В конце концов он сдал в Петербургском университете экзамен на учителя русского языка и уехал в Епифань Тульской губернии учительствовать; учительство потом тоже аукнется в «Спущая-рукава» и «Разоренье» («Тише воды, ниже травы»). Тут цепляет за живое все – но больше всего, наверное, описание хрестоматии, которую читала крестьянская девочка, украв огарок у тяжело рожающей матери: «Я случайно по-

глядел эту книгу, это была хрестоматия, обнимавшая все отрасли человеческих знаний, упрощенных до степени двугривенного, более каковой суммы автор не рассчитывал отыскать в народном кармане. Все знания поэтому принимали смеющийся оттенок: тут прыгали зайчики, разговаривали мышки, тут было и «Здравствуй, матушка Москва» и «Здравствуй, в белом сарафане, раскрасавица зима!», «Царю небесный» и таблица умножения. Мне пришло в голову, уж не оттого ли сестра стала бросать книгу, что при каждом стихотворном баловстве, попадавшемся там, перед ней мелькал образ умирающей бабы, у которой тащат свечку, чтобы выучить это баловство?» Крестьянские дети, желающие практических знаний, барыни с нравоучительными «кисло-сладкими тенденциями», дочка солдатки, которая повредила в уме, когда мать спяну повесилась... кончается история воплем сестры главного героя, тоже учительницы: «Вася! Вася! – пишет мне сегодня сестра, – я не могу, не могу больше! Возьми меня, возьми нас отсюда!..»

«Разоренье» вышло в «Отечественных записках» в 1869 году; годом раньше написана знаменитая «Будка» – про будочника Мымрецова, в чьем мозгу заложена одна-единственная программа действий: тащить и не пущать. «Тащить и не пущать» настолько метко описывает местные архетипические отношения между правоохранительными органами и населением, что выражение моментально сделалось крылатым и по сей день продолжает летать по стране: желающие легко обнаружат его в заголовках СМИ за последние месяцы.

ЦВЕТЫ В КОНВЕРТЕ

В 1868 году Глеб Иванович познакомился с молодой учительницей Александрой Бараевой, которую нежно полюбил и на которой женился спустя два года. Матери писал: «Еще я вам скажу одну вещь – я женился

нынешней зимой на одной барышне, которую люблю и которая меня любит крепко». Жену в письмах называл «цыпой» и «бяшечкой».

После женитьбы он почти все время в разъездах: путешествует по Оке и Волге, едет за границу – в Германию, Бельгию, Францию; посылает жене подробные отчеты о поездке, много пишет о Париже. В очерке о своих парижских впечатлениях вспоминает: город только что пережил коммуны; тут совсем недавно судили и казнили коммунаров. Ничего больше – ни впечатлений о казни, как у Тургенева, ни стихов, как у Случевского; для него это – не предмет литературы даже. В письме к жене он говорит, что на месте прошлогодней казни остались так и не смытые следы крови: «Я на этой площадке простоял час, словно помешанный или в столбняке, – ноги мои словно прилипли к тому месту, где умерло столько народа. В то же время по этим пятнам бегали дети, играли в лошадки; тут были и собаки». И тут же – без абзацев, без перехода, стремительно меняя тему, убегая от смертной тени к живой веселой жизни: «Французы больше любят животных, чем немцы. Тут собачка идет непременно с зелененьким или розовеньким бантиком, и где? не на шее, а на лбу: повязано это очень мило, особенно у собак с густой шерстью. Нашему Тюньке нужно бантик на шею. Детям здесь раздолье: целые дни они на воздухе, в садах, – сады прелестные, Люксембург, Тюльери: тут постоянно писк, визг, беготня. И комедийки маленькие представляют».

Он из южных поездок присылал друзьям цветочки в конверте – порадоваться, «понюхать». Оказавшись в Ялте – способен был от радости, от ощущения красоты пробегать «часа два в сумасшедшем веселье, один». Успенский вообще таков: он не может вынести растеряевой улицы и разорения, если не уравновесить это беспросветное свинство, inferнальный ужас чем-то смешным, нежным, прекрасным. Он тут бесконечно далек от своих коллег, живопишущих горе народное, от рефлексирующих интеллигентов, мучимых неизбывной виной перед мужиком. Мужик у него – не богоносец, а просто человек. Разный – гадкий, смешной, беспричинно злой, неожиданно добрый, когда вдруг размягчится душой, страшный... В его небольших очерках появляется несколько мужицких образов необыкновенного обаяния. Одно удовольствие читать, как стремится всякого «объютить» добрый и работающий плотник Иван Николаевич, как толково организует работу, чтобы все остались довольны; с каким вкусом рассказывает о деревне, земле, любимой жене ярославский мужик, служащий лакеем в ресторане. Его нарядили во фрак, он недосыпает, он зазубрил наизусть множество французских наименований блюд – но в душе он остался веселым и хитрым крестьянином, который отправляет в деревню не только деньги, но даже ношенные фраки.

Жизнь тепла и переносима; перо Успенского не столько местию дышит, сколько любовью к человеку и горестным недоумением от того, что с этим человеком делают. Кто еще мог так начать рассказ: «Чиновник Кыскин только что воротился с кладбища, где похоронил своего двухнедельного ребенка». Для трагедии слыш-

ком смешной Кыскин, для юморески слишком неподходящий повод. И рассказ – не знаешь, смеяться или плакать над этими молоденькими многодетными Кыскиными, которые так любят друг друга, которых так тянет друг к другу – а кормить новых детей не на что... и вроде бы решили спать отдельно, чтобы никаких больше детей, а потом все равно оказались на одном диване...

ГЛЕБ ПРОТИВ ИВАНОВИЧА

Короленко вспоминает, что Успенский, движимый состраданием, легко отдавал нуждающемуся все наличные деньги – так что сам оставался без копейки, и один раз не оставил себе ничего даже на железнодорожный билет. Он постоянно кому-то помогал, вникал в проблемы, входил в положение, оделял деньгами – и сам вечно сидел без денег. Писал, чтобы заработать, отдавал долги, хлопотал о ссудах, просил авансов, помощи... Финансовое его положение так и не поправилось до конца его дней.

В 70-х годах он попал под негласный полицейский надзор, который прекратился только за год до его смерти, когда Успенский уже был беспомощен и невменяем. Он по-прежнему много путешествует; из одной поездки писал жене, что глядел, как идут в Сибирь каторжники – и (кто бы мог подумать!): «Меня так потянуло вслед за ними, как никогда в жизни не тянуло ни в Париж, ни на Кавказ, ни в какие бы то ни было места, где виды хороши, а нравы еще того превосходней. Ведь эти люди – отборный продукт тех русских условий жизни, той путаницы, тоски, мертвечины, трусости или отчаянной смелости, среди которых живем мы, не сосланные, томимся, скучаем, мучаемся, пьем чай с вареньем от скуки, врем и лжем, и опять мучаемся: все эти, от воров до политических, не выдержали этой жизни, и их тащат в новые места. И мне охотой, а не на цепи захотелось необузданно идти на новые места: мне также не подходит «жить» (а не бороться) с людьми, с которыми (и которым) приходится много лгать, бесплодно, бесцельно, и изживать русский теперешний век – бесцветно, неинтересно, безвкусно и вообще скучно и неумно».

Надо ехать в новые места, резюмирует он, дальше от скуки, от ненужных отношений; надо искать места, где ты будешь себя чувствовать искреннее и сильнее. Екатеринбург, Париж, Лондон, Сербия – отовсюду он шлет в печать очерки и корреспонденции; из Сербии пишет о русских добровольцах, из Бельгии – о рабочих... Он живет в Новгородской и Самарской губерниях, работает письмоводителем ссудно-сберегательного товарищества, ведет «деревенский дневник» – безрадостные хроники пореформенной деревни, которая, кажется, разваливается на глазах. И когда он спрашивает себя, что может спасти деревню и мужика, единственный ответ, который он находит, это «власть земли»: дайте

мужику землю, позвольте на ней работать, все получится.

В 1882 году Успенский купил дом и участок земли в Нижегородской губернии и поселился там; оттуда ездил в центральные губернии, оттуда выезжал на голод в Поволжье... В 80-х он скорее занимается публицистикой, чем литературой; это в основном документальная проза или журналистика. Он пытается писать роман про революционера – вроде Лопатина; пытается спорить с Карлом Марксом; все это бесполезно: все равно цензура не пропустит. Он изучает крестьянский труд, кредиты, голод; он пытается оживить статистику и показать читателю, что это значит на самом деле – когда на крестьянскую семью приходится четверть лошади (а остальную работу они делают сами), что стоит за сухими цифрами – отсюда его «живые цифры», живая тридцатилетняя дробь с маленькой дочкой...

Короленко писал: «И во всем этом уже чувствовалась развязка этой трагической жизни. Юмор постепенно исчезал, как меркнут краски живо-го пейзажа под надвигающейся грозовой тучей. Помню, что одного из этих рассказов («Квитанция») я уже не мог дочитать громко до конца: это был сплошной вопль лучшей человеческой души, вконец истерзанной чужими страданиями и неправдой жизни, в которой она-то менее всех была повинна».

Сам он все тяжелее переносил чужие страдания. Все меньше оставалось сил пропускать все через себя. Болел сам, болели дети, сил на работу оставалось очень мало – и, страшнее всего, он чувствует, что начинает сходить с ума. Первая жалоба – в дневнике 1883 года: «Со мной какое-то необычайное нервное расстройство, чего никогда не бывало, – право, я иногда думаю, как бы мне не сойти с ума». Успенскому 40 лет, он отец семейства. Он по-прежнему ездит: юг России, Сибирь, Оренбургская губерния, Уфимская губерния...

Он всегда был слишком нервным, слишком тревожным. Слишком сильный эмоциональный отклик у него вызывало любое событие – гроза, дальняя дорога, несчастный случай, чужая грубость. Слишком сильно он заражался чужим несчастьем, переживал его как свое; фальши и лицемерия не выносил – даже искреннюю гнусность был более готов терпеть, чем вранье. Михайловский вспоминает, как Успенский однажды прогнал от себя человека за какой-то скверный поступок – хотя всегда был мягок и деликатен и даже говорил, что старается «не будить в человеке свинью».

В 1889 году покончил с собой Николай Успенский. «Ужасная смерть Н.В. Успенского, – писал Глеб Иванович Виктору Гольцеву, – омрачила меня и омрачает ужаснейшим образом...».

В начале 90-х годов уже стало ясно, что он душевно болен. Он то ложился в лечебницы, то выходил из них и пытался работать. Доктор Синани из колумбовской больницы писал в дневнике, что Успенский в день поступления сам сказал ему, что «семья его отца изобилует сумасшедшими»: «Один брат был архимандритом и умер сумасшедшим. Другой брат отца кончил самоубийством. Вообще с отцовской стороны много ненормальностей (и, по-видимому, больному несимпатичных). Со стороны матери все народ даровитый: один был живописцем, другой музыкантом, многие писателями и сотрудничали в «Современнике». По-видимому, симпатии его лежат всецело на стороне материнской линии». Из разговора с врачом стало ясно, что душевное расстройство писателя зашло довольно далеко. Врач описывает фактическое раздвоение личности: одна личность – Глеб (материнская сторона), вторая – Иванович (отцовская), они воюют друг с другом. Одна – светлое гармоничное начало, вторая – свинское. Когда Иванович брал верх – «больной не только казался себе, но и в действительности являлся в самых несимпатичных, безобразных, отвратительных видах, до буквального образа свиньи,

включительно с ее и черепом, и мордью, и хребтом, и ребрами, и даже перестановкой верхних конечностей снаружи внутрь». Борьба со свинством, которую он вел всю жизнь, переместилась внутрь. Он пытался противостоять превращению в свинью – и страшно читать об этих трагических попытках: «старался разбить себе голову, перерезывал себя пополам вдоль всего тела, перерезывал себе горло, огнем жег себя, чувствовал, как он горит».

Иногда светлая сущность побеждала – и тогда являлись силы света – то образ реального Короленко, то воображаемой инокини Маргариты. Короленко тоже вспоминает беседы Успенского с воображаемой инокиней: «Часто, среди разговора, даже в многочисленном обществе, он вдруг закрывал глаза ладонью исхудавшей тонкой руки и начинал шептать. Мне он говорил несколько раз просто и задушевно о том, что он беседует в эти минуты с «инокиней Маргаритой», чистейшим существом («женщина – чистейшее существо»), в котором странным образом сливаются несколько лиц, в том числе – боровшиеся и пострадавшие в борьбе. И она говорит ему хорошие речи, иногда горько упрекает его, а иногда ободряет. И что он делается легким... и скоро полетит... А затем – он совершенно просто переходил к житейским темам и несколько раз, помню, повторил:

– Смотрите на мужика... Все-таки надо... надо смотреть на мужика...»

Николай Михайловский рассказывал, что большая семья Успенского – жена и шестеро детей – с началом его болезни фактически осталась без средств к существованию. Тогда Литературный фонд взял на себя отсылку денег в больницу, где он лечился, – на его мелкие расходы, а друзья собрали из частных взносов «капитал семьи Успенского», который тоже хранился в Литературном фонде: «Первоначально план поддержки был рассчитан на шесть лет, но прилив данников любви и уважения к Успенскому оказался достаточным, чтобы расширить задачу еще на два года; и трогательно было видеть в списке этих добровольных данников, рядом с тысячными вкладчиками, вкладчиков грошовых».

Ему становилось совсем плохо: он пытался размозжить себе голову, бил себя камнем по голове, бил себя по щекам, обещал убить жену и детей. А надежду и утешение видел в религии. Жене писал: «Уверю тебя, дорогая моя, горячая любовь к Богу с каждой минутой охватывает меня все больше и больше. Величайшее счастье жить на белом свете, светлое далекое будущее обрадует всех, кто меня любит, кто возлагает на меня большие надежды. А я люблю всех и воскресаю в любви ко всем страждущим и обремененным». Он видел в других людях не только свиней, но и ангелов. И в себе – не только побеждающее свинское, но и ангельское начало. И видел звезды сквозь потолок. И уверял, что умеет летать. А может быть, и в самом деле умел.

Умер он в 1902 году, и на смерть его написал горячую статью Троцкий. ■

ПОДВИЖНИЦА

ГЕННАДИЙ ЕВГРАФОВ

Бабушка великого поэта Александра Блока. Кажется, хватило бы уже одного этого «звания», чтобы войти в историю русской литературы. Так и случилось с Елизаветой Григорьевной Бекетовой. И, увы, все меньше вспоминают сегодня об этой удивительной женщине как о талантливой переводчице, подарившей русскому читателю «Айвенго» Вальтера Скотта и «Дэвида Копперфилда» Чарльза Диккенса...



ПРЕДОСТАВЛЕНО И. ЗОЛОТАРЕВЫМ

**Елизавета
Григорьевна
Бекетова.
Шахматово.
1894 год**

В 1834 ГОДУ (ПО ДРУГИМ СВЕДЕНИЯМ – в 1836 году. – Прим. ред.) в семье Григория Силыча Карелина родилась дочь – Лиза. Карелины жили тогда в Оренбурге, куда подававший блестящие надежды Григорий Силыч и не чаял попасть в начале своей карьеры. В 1817 году, после окончания 1-го Кадетского корпуса, его отправили служить прапорщиком в артиллерию. Но довольно быстро был переведен в канцелярию графа Аракчеева, заметившего выдающиеся способности молодого офицера. Однажды Карелин отпустил дерзкую шутку в адрес графа, шутка достигла ушей его высокопревосходительства, и Аракчеев велел сослать прапорщика для прохождения дальнейшей службы в гарнизон Оренбургской крепости. Здесь он познакомился с кузиной своего оренбургского друга, отставного гвардейского офицера Мансурова, красавицей и умницей Сашенькой Семеновой. Чувства были взаимны, и вскоре молодые сыграли скромную свадьбу.

В семье родились четыре дочери, Лиза была младшей. К моменту рождения своей младшей дочери Карелин рекомендовал себя как талантливый и опытный естествоиспытатель, топограф и путешественник. На его счету уже были долгие и опасные экспедиции в междуречье Урала и Волги, Киргизскую степь, исследование берегов Каспия...

В 1842 году семья по причине нездоровья хозяйки дома переехала в небольшое подмосковное имение Трубицыно. Вскоре неутомимый Григорий Силыч вновь пустился в путешествия, и Александре Николаевне, женщине властной и суровой, пришлось одной поднимать детей.

ПРИЗВАНИЕ

Лиза получила домашнее образование. Оно не было систематическим, но блестящие способности девочки с лихвой перекрыли все недостатки такого рода обучения – она помнила множество различных исторических фактов, имен, фамилий, разбиралась в географии и зоологии, хорошо запоминала стихи, могла наизусть цитировать отрывки прозы. И не только грамотно писала по-русски, но и легко справлялась с грамматикой французского, английского и немецкого языков. Свободно говорила по-итальянски и читала в подлиннике испанских авторов. Так что вряд ли стоит удивляться тому, что еще в отроческом возрасте Лиза увлеклась художественным переводом. Этому благоприятствовали и недюжинные литературные способности. Первый успех пришел довольно скоро: в 1857 году в приложениях к журналу «Русский вестник» вышли ее переводы романов Жорж Санд «Даниелла» и Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома».

Выразительный портрет Елизаветы Григорьевны оставила ее дочь Мария, детская писательница и переводчица, автор мемуарных книг об Александре Блоке. Она писала: «Мать моя была женщина чрезвычайно своеобразная и обаятельная. Обаяние это заключалось не в наружности, а в ее уме, характере и манере себя держать... Лицо у нее было не красивое, но приятное, это совершенно не видно на ее photographиях. У нее были ясные голубые глаза, гладкие каштановые волосы... милая улыбка, небольшие... очень сильные руки, живые движения и звонкий голос. Одевалась она всегда очень просто, без всяких претензий, но была очень опрятна и любила духи и хорошее мыло с тонким запахом». И дальше отмечала, что отличительной ее чертой «была телесная и духовная бодрость. Она не признавала уныния...». Чем бы ни занималась Елизавета Григорьевна – домашней работой или очередным переводом для журнала, – она это

делала быстро и ловко. Но главное было не во внешней стороне дела, которым она занималась, а в том духе, который она привносила во всякую свою работу. В 1855 году Елизавета вышла замуж за молодого ученого Андрея Бекетова. Магистр-ботаник подавал большие надежды в науке, которые оправдались: в 1880-м, в год рождения гениального внука, он уже был автором многочисленных научно-исследовательских трудов и занимал пост ректора Петербургского университета. Профессор любил своих питомцев, студенты в нем тоже души не чаяли. А вот во властных кругах ректора недолюбливали и даже сомневались в его благонадежности, за спиной называя «Робеспьером». Но этот «Робеспьер» всегда оставался «идеалистом чистой воды», с вьезшимися в кровь и плоть стародворянскими привычками. И при этом умудрялся дружить с язвительным сатириком и весьма неуживчивым человеком Салтыковым-Щедриным.

Бекетовы были типичными русскими интеллигентами второй половины XIX века с прочной системой нравственных ценностей, оба придерживались строгих этических правил, им было стыдно за несправедливые поступки любого человека, к какому бы социальному слою он ни относился. В семейных преданиях даже сохранился рассказ о том, как Андрей Николаевич, встретив как-то мужика, тащившего из господского леса срубленную березу, не зная, куда деться от смущения, обратился к нему со словами: «Трофим, ты устал, дай я тебе помогу...» На всю жизнь Александр Блок сохранит память о нравственной атмосфере, царившей в бекетовском доме. В годы духовного перелома эта атмосфера помогла ему глубже и острее прочувствовать и осознать свою связь с Россией, определить себя как «гуманиста по крови» и еще сильнее возненавидеть всякое и всяческое унижение человека.

В начале 60-х годов Елизавету Бекетову пригласили заведовать иностранным отделом в газете «Русский инвалид». Помимо работы в отделе она регулярно публиковала в газете музыкальные рецензии. Бекетова не была профессиональным музыкальным критиком, но хорошо разбиралась в музыке, сама превосходно играла на фортепиано такие сложные вещи, как сонаты Бетховена или ноктюрны Шопена, и внимательно следила за музыкальной жизнью обеих столиц.

Одновременно в журнале «Современник» под псевдонимом «Е.Б.» Бекетова публиковала поэтические переводы, а в «Вестнике иностранной литературы» – прозаические. Особенно успешным и плодотворным для нее был период сотрудничества с Лонгином Пантелеевым. Общественный деятель, просветитель и публицист в 1877 году основал издательство, в котором выходили труды известных русских ученых – Сеченова, Бекетова, Ковалевского, сочинения Сократа, Паскаля, Апулея, Тацита и произведения западных писателей. Для

ниже: «...дух дома зависит главным образом от хозяйки. В матери была немалая доля здорового легкомыслия и громадная любовь к жизни. Конечно, она делала ошибки и многое упускала, но то, что она не насиловала себя ради семейного долга и оставалась сама собой, вероятно, и было причиной той неиссякаемой жизненности и молодости духа, которыми она отличалась всю жизнь, не исключая тяжелых и долгих годов ее последней мучительной болезни».



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

Слева направо:
А. Блок, обняв собаку Дианку, А.А. Кублицкая-Пиоттух, А.Н. Бекетов, Н.Н. Бекетов, Е.Г. Бекетова и М.А. Бекетова. Шахматово. 1894 год. Фотография В.Н. Бекетова

Елизавета Григорьевна не понимала, как можно скучать, когда на свете всегда есть чем заняться. Она была человеком-праздником, создававшим вокруг себя светлую атмосферу.

ШАХМАТОВО

Шахматово в памяти русского читателя ассоциируется с именем Блока, как усадьба Овстуг – с именем Тютчева, Ясная Поляна – Толстого, а город Старая Русса – Достоевского.

Андрей Николаевич Бекетов купил это небольшое имение под Москвой в 1874 году по совету своего ближайшего друга, великого русского химика Дмитрия Ивановича Менделеева, чья усадьба располагалась неподалеку в Боблове. Жена Менделеева, Анна Ивановна, вспоминала: «Трудно представить себе более мирный, поэтический и уютный уголок. Старинный дом с балконом, выходящим в сад, совсем как на картинах Борисова-Мусатова, Сомова. Перед окном старая развесистая липа, под которой большой стол с вечным самоваром... Вся усадьба стояла на возвышенности, и с балкона открывалась чисто-русская даль...»

Лето Бекетовы проводили в своем имении, здесь же часто бывали Менделеевы, Мечниковы, Бутлеровы. В семье росли четыре дочери, три из них — Екатерина, Александра (мать Блока) и Мария – унаследовали от матери не только любовь к литературе, но, как заметил Блок, и «незапятнанное понятие о ее высоком значении», ценностях и идеалах, пе-

«Издательства Л.Ф. Пантелеева» Бекетова переводила Гюго, Мопассана, Флобера, Скотта, Диккенса, Теккерея, Гарта – книги этих писателей вызывали интерес у читающей публики.

У Елизаветы Григорьевны были весьма устойчивые вкусы, понятия и взгляды – она не принимала любую метафизику, отвергала мистицизм, любила Пушкина и Фета, Гоголя и Тургенева, не признавала немцев, делая исключение только для Шиллера и Гейне. Александр Блок писал, что «при всей тонкости художественного понимания она говорила, что «тайный советник Гёте написал вторую часть «Фауста», чтобы удивить глубокомысленных немцев», и все это, продолжал он, «вязалось с пламенной романтикой, переходящей иногда в старинную сентиментальность». В автобиографии 1915 года он отметил: «Ее мировоззрение было удивительно живое и своеобразное, стиль – образный, язык – точный и смелый, обличавший казачью породу... Характер на редкость отчетливый соединялся в ней с мыслью ясной, как летние деревенские утра, в которые она до свету садилась работать...»

Дочь Елизаветы Григорьевны, Мария Бекетова, в 1930 году в своем труде «Шахматово. Семейная хроника» добавила новые штрихи: «Про нее можно сказать, что она была прежде всего человек и личность, а потом уже мать и жена. Она не уходила в семью с головой, не отдавала ей все свои силы и чувства и не была из тех женщин, которые способны обезличить себя ради семьи». И чуть

редававшихся из поколения в поколение. Все три профессионально занимались литературой.

Быт был налажен и прочен, но мало соответствовал помещицкому образу жизни. Бекетовы не любили и слово «дача», предпочитали, собираясь в Шахматове, говорить: «едем в деревню».

Елизавета Григорьевна занималась хозяйством, важные вопросы решались на семейном совете, крайне важные поручались Андрею Николаевичу – это называлось в семье «покричать». В таких случаях отрешенный от быта, добродушный глава семьи выходил на крыльцо, принимал грозное выражение лица и, исполнив порученное ему дело, возвращался в свой кабинет, заставленный книгами и гербариями.

Впервые Блока привезли в Шахматово в возрасте полугода, весной 1881-го. В детские и юношеские годы он проводил здесь каждое лето, а 17 августа 1903 года в церкви Михаила Архангела в селе Тараканово, что располагалось неподалеку от Шахматова, венчался с Любовью Дмитриевной Менделеевой.

Шахматово, где поэт провел детские годы и куда приезжал не раз уже взрослым, часто упоминается в лирике Блока – оно «рифмовалось» у поэта с родиной.

«МНЕ ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО НИЗКО ПОКЛОНИТЬСЯ ВАМ...»

В конце XIX века переводчиков иностранной литературы становилось все больше, а издательских заказов не прибавлялось. И тогда Елизавете Григорьевне пришла спасительная мысль – переводить известных русских писателей на европейские языки. 15 января 1899 года она обращается с письмом к своему любимому Чехову: «Нашего брата, переводчиц, развелось множество, и работы мне дают все меньше. Поэтому я вздумала переводить с русского на другие языки и, зная, что Тургенев и Пушкин уже переведены, желала бы заняться Вашими творениями; но не знаю,

будет ли это угодно Вам, и отнюдь не хочу причинять Вам неприятности. Сделайте одолжение, потрудитесь написать мне, позволяете ли переводить Ваши сочинения и печатать их в иностранных изданиях?» Далее, рассказав о своей переводческой деятельности, просила не оставить ее просьбу без внимания и разрешить при публикации «прибавлять в заголовке: avec l'autorisation de l'auteur? (франц. «с одобрения автора». – **Прим. авт.**)».

Великодушный Антон Павлович «одолжение» сделал и 1 февраля ответил Елизавете Григорьевне из Ялты. «Вы желаете переводить меня, – писал он, – это честь, которой я не заслужил и едва ли когда-нибудь заслужу; о каком-либо несогласии с моей стороны или сомнении не может быть и речи». Перечислив те переводы своих рассказов на французский, которые были ему известны – «Мужики», «Палата №6», «Ванька», «Попрыгунья», – скромнейший Чехов написал, что ему «остается только низко поклониться» своей корреспондентке. Поблагодарив Бекетову за внимание, он добавил, что ее письмо чрезвычайно лестно для его «авторского самолюбия». И это не было фигурой речи, писателя Чехова письмо переводчицы Бекетовой действительно обрадовало. Не потому, что он был лишен внимания со стороны других переводчиков, а потому, что Антон Павлович был таким человеком.

Елизавета Григорьевна перевела на французский язык рассказы Чехова «Дома», «Скрипка Ротшильда» и «Пустой случай», но публикации этих рассказов во французской периодике не выявлены.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Работать было трудно, но она, превозмогая боль, прикованная к креслу болезнью, продолжала работать и, по свидетельству Александра Блока, «делала до 200 печатных листов в год». Последней ее работой стала книга «Герои труда. Ряд биографий, составленных по Смайльсу и другим. Под редакцией Елизаветы Бекетовой» (Санкт-Петербург, 1902). Название было символичным – ее саму можно было назвать героем труда, но если бы ей сказали об этом при жизни, то наверняка в ответ встретили бы ироническую улыбку.

1 июля 1902 года ушел из жизни Андрей Николаевич Бекетов.

Дочь путешественника, жена ученого, мать трех переводчиц, бабушка великого русского поэта Елизавета Григорьевна Бекетова, чьи переводы, как писал внук, разошлись в «сотнях тысяч томов», пережила мужа всего на три месяца... ❀

БЛАЖЕН ОЗЛОБЛЕННЫЙ ПОЭТ

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Мало кто из русских поэтов так пострадал от советского литературоведения, как Некрасов. Беда его в том, что он был самый идеологически правильный, самый социально выдержанный, и в глазах нескольких поколений читателей Некрасов-гражданин бесповоротно и безнадежно затмил Некрасова-поэта. И только в последние годы он начинает к нам возвращаться — желчный, яростный, плачущий, умиляющийся, проклинаящий — живой и актуальный, как мало кто другой.



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

Н.А. Некрасов.
Акварель
М. Захарова.
1847 год

В НЕМ СЛОВНО ЖИЛИ ДВА человека, две личности, два противоположных начала — можно для простоты, наверное, назвать их материнским и отцовским. Отец, поручик егерского полка Алексей Некрасов, чем-то очаровал 17-летнюю провинциальную барышню Елену Закревскую. Она выскочила замуж за проезжего офицера и уехала с ним в Ярославскую губернию. Брак этот не был счастливым. Мать Некрасова была молоденькая, кроткая, любящая книги, по тогдашним меркам образованная; таких уездных барышень мы часто встречаем у Пушкина. Отец — жестокий барин, склонный к вспышкам гнева, крепостник, картежник, любитель псовой охоты, воплощение «барства дикого, без чувства, без закона». Он наводил страх и на крепостных, и на домашних. Рассказывают, что Елена Андреевна заступалась за детей и крепостных, когда муж велел их пороть, — падала в ноги; это не всегда помогало. Крестьяне вспоминали, что он бил жену.

Для Некрасова мать была воплощением всего лучшего, человеческого, умного и святого; «во мне спасла живую душу ты», писал он, обращаясь к ней. Она приохотила его к чтению, сочувствовала ему и понимала его. Отец готовил мальчика к военной карьере: брал Николая с собой на охоту, учил стрелять и скакать верхом — и воспитал отличного стрелка и наездника.

Эти два начала так и уживались в нем всю жизнь: он был и барин, картежник, страстный охотник — и читатель, мечтатель, страдающая, нежная душа, влюбленная в красоту мира и уязвленная ее жестокостью.

Семья была небогата: отец промывал остатки некогда огромного, но

еще отцами и дедами разоренного состояния. Мальчики Некрасовы, погодки Андрей и Николай, постоянно играли с деревенскими детьми, как отец ни старался запретить это вредное общение; когда взрослый Некрасов приезжал на родину, в село Грешнево, он разговаривал с мужиками по-свойски: это были его друзья детства. Некрасов, кстати, гордился тем, что он никогда не владел крепостными и не жил за их счет.

В учение братьев Некрасовых отдали, когда одному было 11, а другому 12 лет. Их отправили в Ярославскую гимназию. Поселились они на частной квартире с дядькой, который присматривал за ними весьма нерадиво, так что мальчики часто прогуливали занятия и не особенно усердствовали. Одноклассник Николая Некрасова Горошков вспоминал, что будущий поэт на переменах рассказывал товарищам всякие смешные байки из деревенской жизни и его с восторгом слушали. Учились мальчики все хуже: Андрей много болел, оба много пропускали; в общем, такое учение превосходно описано в «Обломове», да и кончилось оно примерно так же – обоих забрали из пятого класса гимназии, сославшись на болезни. К 1837 году, когда Некрасов оставил гимназию, он уже был неплохо начитан и собрал целую тетрадь стихов.

НЕСЧАСТНЕНЬКИЙ

Старший брат, Андрей, долго и тяжело болел – и умер через год после ухода из гимназии. Николай уехал в Петербург почти сразу после его похорон. Отец поставил условие: поступить в Дворянский полк. Но мать и сын мечтали об университете. Летом 1838 года 16-летний Некрасов явился в Петербург. Денег у него было 150 рублей. Отец, узнав, что сын собирается послушаться, пообещал оставить его без денег, если он не подчинится и не пойдет по военной части. Сын ответил: «Если вы,

батюшка, намерены писать ко мне бранные письма, то не трудитесь продолжать, я, не читая, буду возвращать вам письма». Отец прекратил присылать сыну деньги, и юноша остался без средств к существованию. А впереди была зима, голодная и холодная. Деньги, привезенные из Грешнева, таяли. Он менял квартиры, которые становились все грязнее и беднее, голодал, мерз, проедал оставшиеся деньги, пристраивал стихи в журнал «Сын отечества» (их опубликовали; молодой поэт ликовал). Готовился поступать в университет. На экзаменах летом 1839 года Некрасов жестоко провалился: словесность сдал на тройку, затем получил несколько единиц подряд и не стал сдавать остальные экзамены. Правда, поступил вольнослушателем на философский факультет, потом пробовал поступать на юридический – и опять неудачно, хотя по словесности на этот раз была пятерка.

Три года он скитался по темным углам, писал крестьянам прошения за копейки, переписывал роли, писал афиши и объявления, сочинял лубочные сказки. Зимой ходил в летнем пальто и соломенной шляпе, в дырявом красном шарфе. Когда знакомая спросила его, зачем он надел такой шарф, он резко ответил: «Этот шарф вязала моя мать». В одной семье его звали «несчастненьким» и всякий раз подкармливали остатками от обеда. Он писал потом: «Питаюсь чуть не жестию, // Я часто ощущал такую индигестию, // Что умереть желал». Индигестия – несварение желудка.

Потом он простудился, долго лежал больной, а квартирный хозяин, унтер-офицер, сильно беспокоился, как бы жилец не помер, не выплатив долга в 40 рублей, еще и хорони его потом за свой счет. Так что он взял с Некрасова расписку, что тот передает ему имущество в счет уплаты долга, на случай смерти, а когда больной впервые встал с постели и вышел погулять – не пустил его обратно. Имущество, само собой, оставил у себя. Некрасов пошел куда глаза глядят, сел на какую-то скамейку, заснул и чуть не замерз во сне. Его разбудил нищий и привел к себе в ночлежку.

Кончились эти мытарства тем, что содержатель пансиона для поступления в Инженерное училище Бенецкий нанял юношу гувернером. Он же посоветовал молодому поэту издать стихи отдельной книжкой. Некрасов пошел советоваться к Жуковскому, которого совсем не знал. Жуковский сказал ему: не печатайте, потом будете писать лучше – и будет стыдно. А вздумаете печатать – снимите свое имя. Некрасов послушался и издал «Мечты и звуки» под инициалами Н.Н. Стихи были – «так он писал темно и вяло (что романтизмом мы зовем...)». Книгу никто не покупал, и опечаленный автор скупили и уничтожил почти весь тираж. Удивительно, но «Мечты и звуки» как-то попались на глаза Белинскому, который заметил: «Вы видите по его стихотворениям, что в нем есть и душа, и чувство, но в то же время видите, что они и остались в авторе, а в стихи перешли только отвлеченные мысли, общие места, правильность, гладкость – и скука». Некрасов решил больше не писать и не печатать

юношеского сборника стихи, которые Некрасов показал старшему другу через несколько лет знакомства, заставили его воскликнуть хрестоматийное: да знаете ли вы, что вы – поэт, и поэт истинный?

Это было знаменитое «В дороге», история крестьянской девочки, которую воспитали в господском доме барышней, а потом отдали в жены мужику. Первое стихотворение – и совсем зрелый поэт: и точность удивительная в пере-

даче народной речи, и мелодия необыкновенная, и совершенно свой, ни на кого не похожий поэтический голос – и горечь, и ядовитая ирония, и бескрайняя тоска... Так в русскую поэзию ворвался народ, дотоле бессловесный. Всего несколько десятилетий назад Карамзин доказывал читающей публике, что крестьянки тоже любить умеют. Некрасовские крестьяне, в отличие от бедной Лизы, не благоухают ландышами. Живые, корявые, некрасивые люди встали во весь рост и заговорили о своей жизни, полной шекспировских страстей, изматывающего труда и безысходной муки. И оказалось, что русская поэзия может быть и такой. До сих пор она говорила сложным и умным языком высокообразованных людей. А Некрасов подчинил поэзии всю буйную, непокорную стихию русского просторечия, народного языка и народной песни.

Оказалось, поэзия справляется не только с высоким и прекрасным, но и с низким, страшным и безобразным. Некрасов – первооткрыватель эстетики безобразного в России: Губы бескровные, веки упавшие, Язвы на тощих руках, Вечно в воде по колено стоявшие Ноги опухли; колтун в волосах...

1864 год, практически одновременно с Бодлером – «Цветы зла» выходили с 1857-го; Некрасов, впрочем, изобретает это сам, а не подсматривает у французов – это время требует, чтобы поэзия бросила цевницу, отложила лиру и посмотрела на ре-

стихов. Он едва не запил от тоски, но хватило ума остановиться. Тоска его терзала всю жизнь, это и дар его был, и проклятие его. Вспоминают, что в тяжелые минуты он целыми днями лежал лицом к стене – он называл это хандрой: «Прибавь – хандрит и еле дышит, // И будет мой портрет готов». Но сейчас, 20-летний, он справился, пришел в себя – и решил заняться журналистикой. Познакомился с издателем Федором Кони, печатался у него в «Пантеоне русского и всех европейских театров», писал рецензии на театральные спектакли – и сам понемногу заболел театром. И начал, по предложению Кони, писать и переводить для театра пьесы – преимущественно водевили. Он даже переводил с французского, практически не зная языка – где по словарю, где догадкой, а где и фантазией восполняя пробелы. Пьесы его, которые он подписывал псевдонимом Н. Перепельский, имели успех у публики.

И ПОЭТ ИСТИННЫЙ

Некрасов с юности писал много, чтобы прокормиться, и среди написанного им много откровенной ерунды. Если допустить, что в литературе есть свои мученики и небесные покровители, то нам не найти лучшего покровителя для журналистов и литераторов, вынужденных ради заработка строчить без сна и отдыха. Тем более что когда появилась возможность – Некрасов стал самым настоящим покровителем литераторов: давал деньги в долг и просто так, отправлял в теплые края, платил огромные гонорары, опекал, кормил роскошными обедами...

К 1841 году Николай Некрасов превратился из полунищего мальчишки в литератора, сотрудника журнала, автора пьес. Теперь уже не стыдно было явиться домой – не подавленным и ничтожным, а сильным и победившим: «Лет двадцати, с усталой головой, // Ни жив, ни мертв (я голодал подолгу), // Но горделив, – приехал я домой»... Сестра Елизавета звала на свадьбу.

Но попал он на похороны: мать умерла за три дня до его приезда. Как он пережил ее смерть – неизвестно, ничего об этом не писал. Судя по тому, что и как он писал о матери – это был тяжелый удар.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТАЛАНТ

К тому времени, как Некрасов всерьез заявил о себе как о поэте, у него за плечами уже был некоторый успешный издательский и редакторский опыт. Соборанный им сборник «Физиология Петербурга», положивший начало русской «натуральной школе», привлек большое читательское внимание и стал вполне коммерчески успешным проектом. «Петербургский сборник», вторая его редакторская работа, тоже был раскуплен и принес большую прибыль. Стало понятно, что Некрасов умеет вести дела.

Идея создать новый журнал для нового направления носилась в воздухе; до Некрасова, однако, среди литераторов мало находилось людей с управленческой жилкой. Белинский очень ценил практичность Некрасова и всецело ему здесь доверял (во всяком случае, на этапе создания журнала); надо сказать, что именно Некрасов обеспечил Белинскому возможность в последние годы жить достойно, зарабатывать деньги и лечиться за границей.

Открыть новый журнал вряд ли было возможно – царь считал, что и так их слишком много. Поэтому перекупили старый – пушкинский «Современник», уже еле живой в руках Плетнева. Некрасов оказался редактором и издателем от Бога: нюх на таланты, деловая хватка, умение уговаривать цензоров (кормить их роскошными обедами, возить на охоту и пр.), нянчиться с авторами, писать самому все, чего недостает, и приводить в должный вид то, что необходимо исправить, – все это позволило ему создать лучший в России журнал. Вскоре среди авторов «Современника» оказались лучшие писатели: Тургенев, начинающий Достоевский, Герцен, Огарев, Гончаров, потом Островский и молодая Толстой...

На втором году издания, однако, над «Современником» собрались тучи: после французской революции 1848 года в России ужесточилась цензура. По «делу петрашевцев» были

арестованы несколько близких к «Современнику» литераторов, в том числе Достоевский, в вину которому вменялось чтение письма Белинского к Гоголю. Самого Белинского, уже тяжело больного, вызывали повесткой к Дубельту в Третье отделение; Белинский, однако, уже не вставал, и его оставили в покое. Он вскоре умер. Достоевского отправили на каторгу. Цензура изымала тексты из каждого номера журнала. Чтобы спасти журнал и вовремя разослать его подписчикам, Некрасов сам писал роман, чтобы заделать цензурные пробоины, – «Три страны света», длинный-предлинный. Первый в русской литературе роман, созданный двумя соавторами: Некрасовым и Авдотьей Панаевой.

МЫ С ТОБОЙ БЕСТОЛКОВЫЕ ЛЮДИ

Панаеву и Некрасова связывали не только соавторские отношения. Авдотья Яковлевна, дочь актера Брянского, женщина умная и талантливая, была не особенно счастлива замужем за вторым издателем «Современника», Иваном Панаевым. Писателем он был неплохим, но мужем скверным: дружеские попойки и девицы легкого поведения привлекали его куда больше, чем законная жена. Некрасов долго осаждал красавицу Панаеву и даже едва не покончил с собой из-за ее немилости. Ей было трудно решиться. Ее очень мучило положение гражданской жены; вопрос о праве женщины быть верной своему сердцу, а не брачным клятвам, еще только брезжил на горизонте общественного сознания – даже до «Грозы» оставалось довольно много лет, не говоря уж об «Анне Карениной». В конце концов всех устроил странный семейный союз: Панаевы и Некрасов жили в одном доме, Авдотья Яковлевна считалась женой Панаева, хотя, по сути, была женой Некрасова; Панаев закрывал на это глаза; Некрасов ревновал Авдотью Яковлевну к мужу; эта путаная жизнь вызывала множество кривотолков и больно ранила Панаеву. Может быть, Некрасова и Панаеву спасло то, что и сами они были литераторы, и круг их составляли литераторы, люди если и не богемные, то не такие консервативные, как калиновцы в «Грозе». Лучшие писатели собирались в салоне у гостеприимной и привлекательной Панаевой – и, как обмолвился один некрасовед, если бы в это время в доме обвалился потолок, мы остались бы без великой русской литературы.

Семейная жизнь Некрасова и Панаевой была бурной – с взаимными ссорами и упреками, дикими сценами, вспышками ревности, примирениями и нежностью. Кажется, ни он, ни она не были склонны к тихому семейному счастью.

Любовная лирика Некрасова – это тоже совершенно новое слово в русской литературе. «Как буйство нервное стихает и переходит в аппетит» – ничего себе взгляд любящего на любимую! Это неслыханная доселе лирика мрачных бытовых драм, житейских скандалов, размолвок – не праздники, но будни люб-

ви. Возлюбленная в этих стихах – не гений чистой красоты, а стоящая рядом, земная, нервная, заплаканная, истеричная женщина, которую все равно нельзя не любить.

*Мы с тобой бестолковые люди:
Что минута, то вспышка готова!
Облегченье взволнованной груди,
Неразумное, резкое слово.*

...

*Если проза в любви неизбежна,
Так возьмем и с нее долю счастья:
После ссоры так полно, так нежно
Возвращенье любви и участия...*

В 1849 году у них родился ребенок, но прожил всего несколько дней. Авдотья Яковлевна тяжело переживала смерть ребенка. Уехала за границу; в саду Тюильри она так засмотрелась на играющую девочку, что нянька забеспокоилась и стала расспрашивать, отчего она так смотрит... Со смертью ребенка что-то надломилось в их отношениях. Они сходились и расходились, и опять сходились – пока наконец Авдотья Яковлевна не ушла совсем в середине 60-х. Вышла замуж и родила дочку. Муж, правда, тоже вскоре умер. Она зарабатывала литературным трудом, жила бедно и, кажется, не очень счастливо.

БАРИН И ПЛЕБЕЙ

Некрасова теперь считали лучшим русским поэтом. Он разбогател. Стал членом Английского клуба. Играл в карты – и часто выигрывал огромные деньги (часть выигрышей, кстати, вкладывал в журнал). Картежником он был хладнокровным и расчетливым – не на удачу рассчитывал, а на мастерство. Современников изумляло, что певец горя народного – барин, любитель вкусно поесть, картежник, охотник...

«Современник» тем временем тоже менялся: тон в нем все больше задавали молодые критики Добролюбов и Чернышевский. Ведущим вопросом стал вопрос «общего дела» – социальных реформ. В редакции наметился раскол между разночинцами-критиками и аристократами-прозаиками, скептически относившимися к «семинаристам». Резкость Чернышевского и Добролюбова, их требование, чтобы литература служила общественной пользе, вызывали негодование у основных авторов журнала. Конфликт тянулся несколько лет и кончился полным разрывом с Тургеневым, Толстым и Григоровичем. Не только редакцию, но и Некрасова раздирали пополам социальные противоречия: в нем никак не уживались важный барин и умирающий от голода Фигаро, проходимец и делец, сделавший сам себя. И в нем самом, как и в редакции, не

прекращался спор о том, как писать и что писать и для чего это делать: для пушкинской гармонии или гоголевской общественной пользы. Его стихи о предназначении поэта – это спор с самим собой: и «Блажен незлобивый поэт», и «Поэт и гражданин». Он сам себя убеждает: да, божественная гармония – прекрасно, но надо же что-то делать!

Некрасов не мог не поддержать Добролюбова и Чернышевского просто потому, что они давали перспективу. Окружающая действительность так мучила Некрасова, такую тоску в него вселяла, такое желание перевернуть эту жизнь, изменить ее, что ни за что бы он не отказался от возможности прямо говорить в своем журнале, что все это надо менять. Его жирало всепоглощающее чувство вины: не так сказал, не так себя повел, не то сделал... – и заканчивалось это бешеным, чудовищным самоедством: не так живу, кругом виноват... Может быть, дело в извечной вине образованного и состоятельного человека перед бедным и малограмотным народом – ею с легкой руки Некрасова заболели несколько следующих поколений русской интеллигенции. Может быть – в той болезненной, патологической вине, которая часто сопровождает депрессию. Некрасов искал выхода – а выход предлагали Добролюбов и Чернышевский. Они знали, что делать.

ГРОЗА, БЕДА!

Время реформы – время подъема.

Некрасов едет в Грешнево, разговаривает с мужиками, приглядывается, задумывается. Из этих наблюдений скоро вырастет «Кому на Руси жить хорошо» – колоссальная поэма о великом переломе: порвалась цепь великая, порвалась – расскочилась...

Он пишет сейчас о мужиках и для мужиков: его «Коробейники» – это прямо для народа, он и издавал их отдельным изданием, чтобы распространять че-

рез офеней – чтобы мужики читали. Он прямо обращается в стихах к мужикам, и этого, опять-таки, до него пока никто не делал. Он первый пришел к этим новым читателям и заговорил с ними на их языке. Он задумал целую программу издания книжек для народа, и первые книжки уже успели найти своих читателей – пока всю серию его «Красных книжек» не прихлопнула цензура.

После нескольких лет «оттепели» с их мягкой цензурой над «Современником» снова сгустились тучи. Чернышевский в 1862 году был арестован за брошюру «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». Добролюбов умер. Издание журнала было приостановлено цензурой на восемь месяцев – из-за «вредного направления». Возобновилось оно в 1863 году – и среди сотрудников появились Салтыков-Щедрин и Глеб Успенский, а в трех номерах подряд вышел роман «Что делать?». Дела Некрасова шли так хорошо, что он купил в 1863 году у княгини Голицыной имение Карабику – с оранжереями и померанцевым садом.

А в 1866 году после покушения на Александра II «Современник» снова собрались закрыть. Некрасов решился на отчаянный шаг: в день, когда он получил известие, что журнал обречен, он в Английском клубе преподнес верноподданническую оду Муравьеву-вешателю, усмирителю Польши, который после покушения был поставлен во главе Следственной комиссии. Муравьев брезгливо выслушал оду и не поверил ни единому слову. Присутствующие были шокированы некрасовским поступком. «Современник» все равно закрыли, а на Некрасова обрушились волны либерального гнева. Иначе как подлцом его не называли, слали ему гневные письма и гадкие стихи, возвращали книги, рвали его портреты – словом, всячески демонстрировали свое гражданское негодование. Некрасов еле вынес эту обструкцию. «Гроза, беда! // Облава — в полном

смысле слова!.. // Свалились в кучу – и готово // Холопской дури торжество, // Мычанье, хрюканье, бляенье // И жеребьячье гоготанье – // А-ту его! А-ту его!» Герцен издевался из Лондона: «Браво, Некрасов, браво!» Фет обозвал «продажным рабом». Некрасов мучился виной, каялся – и обвинял своих обвинителей: «Зачем меня на части рвете, // Клеймите именем раба? // Я от костей твоих и плоти, // Остервенелая толпа».

Ему казалось, что он всех предал – и «Современник», и Белинского, и Чернышевского, и Добролюбова, и даже мать свою. Он каялся и объяснялся с обществом, и эта потребность каяться и объясняться, уже болезненная, навязчивая, не оставляла его никогда. Даже на смертном одре, вопя от боли, он снова и снова возвращался мыслями к этой чудовищной ошибке и просил прощения.

КАК МНОГО СДЕЛАЛ ОН, ПОЙМУТ

Последние десять лет его жизни были очень плодотворны: он работал над «Кому на Руси жить хорошо», издал великолепную сатиру «Современники», возродил дух «Современника» в «Отечественных записках» – и, в общем, с нуля сделал прекрасный журнал. Но сам он был уже надломлен и от надлома того никогда не оправился.

В 1870 году он полюбил необразованную простую девушку Феклу Викторову; современники неявно намекали на ее запятнанную репутацию, но доподлинно ничего не известно. Девушка была милая, кроткая и смешливая, умела справляться с бешеными некрасовскими вспышками, развеселить, привести в чувство. Некрасов назвал ее Зиночкой, да так и вошла она в историю – Зинаида Николаевна Некрасова. Она спокойно и самоотверженно ухаживала за поэтом, когда у того обнаружился рак прямой кишки – когда он вопил от боли, прогонял от себя не умеющих перевязать его медиков, не спала ночами два года подряд. Он обвенчался с ней дома за восемь месяцев до смерти – больной, еле живой, вокруг аналоя его водили за руки.

Когда он умирал, страна вдруг очнулась и поняла, как сильно она его любит. Ему простили наконец оду Муравьеву. Его засыпали поздними признаниями в любви. «И только труп его увидя, как много сделал он, поймут», – напроорочил он сам себе. Увидели.

На похороны пришли толпы. Тысячи и тысячи – никто не считал. Плакали у гроба. Когда Достоевский сказал, что Некрасова можно поставить рядом с Пушкиным – кричали «выше, выше Пушкина». И с этих пор полтора века подряд говорили про общественное значение некрасовской поэзии, про демократический пафос, про горе народное, про общее дело, про борьбу. Совсем забывая о свежести его поэзии, о первобытной силе, о невероятной красоте некрасовской мелодики, о яркой и лаконичной ее выразительности... Гражданин победил поэта. ❶

«ПЕРВЫЙ РУССКИЙ РОМАНИСТ»

ГЕННАДИЙ ЕВГРАФОВ

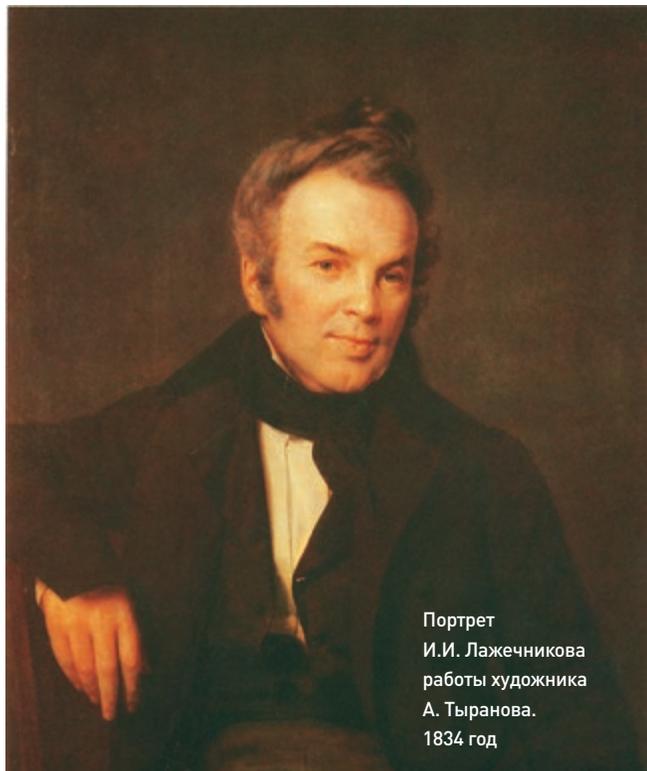
«Походные записки русского офицера» принесли ему известность, роман «Последний Новик» — успех, а «Ледяной дом» — настоящую славу. Его собрание сочинений, изданное в Санкт-Петербурге в самом конце XIX века, насчитывало 12 томов. Но в памяти последующих поколений читателей он останется автором одного романа...

СЕГОДНЯ, КОГДА ВНОВЬ ПРОБУДИЛСЯ ИНТЕРЕС к отечественной истории, переиздается не только самый известный исторический роман Ивана Ивановича Лажечникова, «Ледяной дом», но и два других – «Последний Новик» и «Басурман». Почему они и сейчас находят своего читателя? Видимо, потому, что, как говаривал Александр Сергеевич Пушкин, автор стремился в меру своего таланта и способностей «воскресить минувший век во всей его истине».

Иван Иванович Лажечников прожил долгую жизнь: родился в 1792 году в семье коломенского купца, умер – в 1869-м. Он появился на свет в эпоху Екатерины II, а закончил свой жизненный путь при Александре II. При Александре I ушел добровольцем в армию бить французов, при Николае I служил по линии Министерства народного просвещения, был вице-губернатором и цензором. Четыре разные эпохи, уместившиеся в одну жизнь, которая разделена между двух полюсов: службой и литературой...

СЛУЖБА И СЛУЖЕНИЕ

Служить Иван Лажечников отправился с 12 лет – сначала в московский архив Коллегии иностранных дел, затем в канцелярию московского генерал-губернатора. Продолжал учиться, брал уроки у профессора Петра Победоносцева (отца будуще-



Портрет
И.И. Лажечникова
работы художника
А. Тыранова.
1834 год

ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

го обер-прокурора Святейшего синода Константина Победоносцева. – **Прим. ред.**), слушал лекции еще одного профессора Московского университета, поэта Алексея Мерзлякова. Кстати, тоже выходца из купеческой семьи. Молодой Лажечников исправно протирал штаны в канцелярии и подавал надежды и на служебном, и на литературном поприще. Он уже публикуется в «Русском вестнике», «Аглае», «Вестнике Европы». И, как знать, может быть, и продолжал бы он печатать вирши и «рассуждения» в толстых журналах, если бы не 1812 год.

Когда армия Наполеона подошла к Москве, 20-летний Лажечников сбежал из родного коломенского дома в столицу и отправился записываться в народное ополчение. Отец бросился вслед за ним, разыскал его в Троицком, простил, благословил и сам отвез к своему приятелю – московскому гражданскому губернатору Николаю Васильевичу

Обрезкову. Тот сделал молодому человеку внушение и направил его к начальнику московского ополчения. Но в ополчении юноша пробыл всего лишь три дня, затем его определили адъютантом начальника 2-й гренадерской дивизии принца Карла Мекленбургского. Скучная штабная жизнь тяготила пылкого Лажечникова, он рвался на поля сражений и вскоре подал прошение о переводе в действующую армию. Теперь бывший канцелярист бьет противника под Малоярославцем, месит сугробы в Литве, переправляется через холодные воды Рейна, в 1814 году участвует в сражении под Бриенном, за которое получает орден Святой Анны 4-й степени, а затем – взятие Парижа и окончание войны...

В 1819 году с военной карьерой покончено. Иван Иванович направляется к новому месту гражданской службы: он назначен директором училищ Пензенской губернии, затем – визитатором училищ в Саратове (надзирающий за деятельностью средних и низших учебных заведений. – Прим. авт.), после его перевели в Казань директором местной гимназии. Попечителем Казанского учебного округа тогда был одиозный реакционер Михаил Магницкий, «казанское пленение», как сам Лажечников называл службу под его началом, продолжалось шесть лет. В итоге давняя страсть к литературе перевесила, Иван Иванович вышел в отставку и решил полностью отдаться сочинению исторических романов. Лажечников обратился к эпохе петровского царствования – к временам Северной войны. Кампания 1701–1703 годов, которую автор назвал «колыбелью нашей военной славы», до того не была предметом изображения в исторической романистике. Во вступлении к роману, обращаясь к читателям, он подчеркнул: «Чувство, господствующее в моем романе, есть любовь к отчизне».

«Последний Новик, или Завоевание Лифляндии в царствование Петра Великого» печатался частями – первая и вторая увидели свет в 1831 году, третья и четвертая – в 1832–1833 годах. Когда

роман вышел целиком, он имел шумный успех: его хвалили и критики, и читающая публика. Белинский подвел черту в своих «Литературных мечтаниях»: он высоко оценил «Последнего Новика» как произведение, «ознаменованное печатью высокого таланта» и отвел Лажечникову место «первого русского романиста».

«Первый романист» через министра народного просвещения преподнес роман императорской чете. Царские особы роман прочитали, восхитились и пожаловали автору бриллиантовый перстень. Это была награда за служение. За службу директор пензенской гимназии и народных училищ через год был награжден тысячью рублей ассигнациями. Что по тем временам было весьма значительной суммой.

Пережив успех своего первого исторического романа, Лажечников взялся за сочинение «Ледяного дома», который принес ему поистине всероссийскую славу. Название прочитывалось как метафора: ледяной дом, построенный по воле императрицы Анны Иоанновны для потешной свадьбы придворного шута, князя Голицына, на калмычке Бужениновой, воспринимался как символ России зимы 1739/40 года – последнего года ее царствования. В этом «доме», где безраздельно правил выходец из Курляндии Эрнст Иоганн Бирон, шла подспудная борьба между русскими дворянами-патриотами и пришлыми немцами, которыми окружила себя императрица, а двор тем временем развлекали шуты и паяцы, карлы и карлицы, «дураки» и «дуры».

В 1831 году Лажечников вновь поступил на службу: теперь он был назначен директором училищ Тверской губернии, где прославился благоразумными распоряжениями и наведением порядка в подведомственных ему учреждениях. В 1837 году он снова вышел в отставку и поселился в деревне под Старицей, на живописном берегу Волги. Вдохновленный славой «Ледяного дома», Иван Иванович приступает к сочинению «Басурмана»: из века XVIII погружается в век XV – из безвременья Анны Иоанновны во времена Ивана III, властителя умного, жестокого, не брезгующего ничем во имя высшей цели – собирания удельных княжеств в могучее российское государство.

Кстати, в прологе Лажечников сформулировал свое понимание обязанностей исторического романиста: «Он должен следовать более поэзии истории, нежели хронологии ее. Его дело не быть рабой чисел: он должен быть только верен характеру эпохи и двигателя ее, которых взялся изобразить. Не его дело... пересчитывать... все звенья в цепи этой эпохи и жизни этого двигателя: на то есть историки и биографы. Миссия исторического романиста – выбрать из них самые блестящие, самые занимательные события, которые вяжутся с главным лицом его рассказа, и совокупить их в один поэтический момент своего романа. Нужно ли говорить, что этот момент должен быть проникнут идеей?..»

«ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ВАЛЬТЕР СКОТТ»

Такой подход некоторые советские исследователи называли «субъективно-романтическим». Что отчасти соответствует истине.

В романе «Ледяной дом», в котором кабинет-министр Волынский противопоставил герцогу Курляндии Бирону, Лажечников идеализировал Волынского, представив его как бескорыстного патриота-государственника. В этом была только часть исторической правды: искушенный в политике и дворцовых интригах кабинет-министр был честолюбцем и боролся не только против немецкого засилья, но и за то, чтобы стать первым лицом при императрице и управлять государством.

Вопрос о соответствии романа исторической правде вызвал замечание Пушкина, который в письме к Лажечникову 3 ноября 1835 года писал: «Может быть, в художественном отношении «Ледяной дом» и выше «Последнего Новика», но истина историческая в нем не соблюдена...» – однако, продолжал он, – «поэзия всегда останется поэзией, и многие страницы вашего романа будут жить, доколе не забудется русский язык». Не будем упрекать поэта в противоречиях: Сальери, как известно, отравителем Моцарта не был, но в силу пушкинского гения, читатель воспринимает его таким, каким он был написан в «Маленьких трагедиях».

Пушкин вряд ли знал, что Лажечников, прежде чем писать свои романы, подолгу изучал эпоху, быт, нравы и характеры людей, особенно реальных исторических лиц того времени, которое изображал. Штудировал исторические труды, читал документы и источники на разных языках, доступные ему в ту пору. Когда сочинял «Последнего Новика», ездил в Лифляндию, чтобы ознакомиться с ее бытом и нравами. Прежде чем приступить к «Ледяному дому», изучил некоторые документальные свидетельства о «деле Волынского». Взявшись за «Басурмана», обратился к летописям, к «Истории государства Российского» Карамзина и даже к народным преданиям. Но, отталкиваясь от документа, в своих романах он *сочинял* историю – такой, какой он ее себе представлял. И в некоторых случаях, в угоду этим представлениям, отступал от исторической правды, однако всегда стремился быть верным правде художественной.

Литература и история – все-таки вещи разные. Историк изучает материал и последовательно излагает факты, события, но при всей своей добросовестности и объективности редко остается беспристрастным. Тем более не может быть беспристрастным писатель, сочиняющий исторические произведения. Безусловно, он более свободен в предмете изображения и изложения – здесь все зависит от меры вкуса и таланта и, конечно же, исторических познаний.

Он сочиняет, к примеру, роман, и помимо картины событий в его произведении действуют как вымышленные герои, так и реальные персонажи, жившие в описываемые времена. Он наделяет своих героев психологией, мотивирует те или иные поступки.

Интерес к истории всегда присутствовал в русском обществе. Еще более он усилился после появления «Истории государства Российского» Николая Михайловича Карамзина. Когда в 1818 году первые 8 томов вышли в свет, Пушкин отметил: «Появление сей книги... наделало много шума и произвело сильное впечатление, 3000 экземпляров разошлись в один месяц... – пример единственный в нашей земле. Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, до толе им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка – Колумбом. Несколько времени ни о чем ином не говорили». В истории искали ответы на вопросы современности. Вглядываясь в прошлое, хотели понять настоящее и предугадать будущее...

Отечественная война 1812 года также вызвала острый интерес общества к российской истории. На этот запрос ответила литература. В середине 20-х годов XIX века к истории обратился Пушкин, в начале 30-х появились исторические сочинения Загоскина, Вельтмана, Булгарина.

Романы Лажечникова заметно выделялись на этом фоне. Только он один из этой плеяды писателей пользовался у современников славой «отечественного Вальтера Скотта», что по тем временам было довольно высокой оценкой. Писатель Дмитрий Григорович вспоминал, что Александр Дюма, посетивший Россию в 1858 году, перевел на французский язык некоторые стихотворения Пушкина, Вяземского, Некрасова и «Ледяной дом» Лажечникова. А это было уже и европейским признанием.

ЦЕНЗОР И ЦЕНзуРА

В 1856 году Лажечников вновь поступил на государеву службу. После того как ему отказали в месте управляющего московскими казенными театрами, он был принужден тяжелыми материальными обстоятельствами принять должность цензора Санкт-Петербургского цензурного комитета. Зазорного в этом по тем временам ничего не было, в цензуре служили Тютчев, Майков, Полонский. Но если эти трое исправляли обязанности в цензуре иностранной, где редко возникали острые вопросы и где не приходилось ощущать душевный разлад при исполнении своих чиновничьих, зависевших от посторонних указаний и настроений обязанностей и собственным писательским мироустройством, то в цензуре внутренней дело обстояло иначе.

Из воспоминаний Панаева известно, что Лажечников терзался своей должностью. Ему тяжело давались поправки, исправления и вычеркивания у своих собратьев по перу, и он старался это делать максимально аккуратно, чтобы не ущемить авторского самолюбия.

С восшествием на престол Александра II в общественной жизни повяло свежими ветрами, гнет и давление на печать ослабли. Однако цензурные ножницы и красный карандаш никто не отменял, и вскоре Министерство народного просвещения, в чьем ведении находилась цензура, потребовало от своих работников более строгого выполнения обязанностей. С каждым днем Лажечникову становилось все хуже, «в этой должности, в беспрестанной борьбе между своей обязанностью и своими убеждениями, – писал И. Панаев, – он был истинным страдальцем». В 1858 году страдания его кончились, он выслужил полную пенсию и вышел в отставку в чине статского советника.

Кстати, бывший цензор и сам не раз испытывал действие цензуры на себе. «Последний Новик», который без всяких цензурных исправлений несколь-

кими изданиями выходил в 30-е годы, в 50-е подвергся гонениям и вместе с «Ледяным домом» был запрещен. Дважды обращался в цензуру за разрешением переиздать эти романы книгопродавец и издатель А.Ф. Смирдин, и дважды, в 1850 и в 1853 годах, из Московского и Санкт-Петербургского комитетов следовало распоряжение: «Не позволять этих романов к напечатанию новым изданием». И только при новом царе ситуация изменилась. Хотя для того, чтобы романы были переизданы, понадобились благожелательные отзывы писателя Гончарова и князя Вяземского, служивших по цензурному ведомству.

Долгие годы Лажечников ничего не писал, ему казалось, что он выпал из времени, былая слава померкла, известность осталась в прошлом, на дворе стояла другая эпоха, общество волновали новые идеи.

НИЧЕГО, КРОМЕ ЧЕСТНОГО ИМЕНИ

Но о Лажечникове не забыли. 3 мая 1869 года в Московской городской думе праздновали 50-летний юбилей его литературной деятельности. Хотя деятельности этой было более шестидесяти лет: первое литературное сочинение 15-летнего Лажечникова, «Мои мысли» (подражание Лабрюйеру), появилось в журнале «Вестник Европы» в 1807 году. Пятьдесят же лет минуло со дня вступления писателя в члены Общества любителей российской словесности. Но получилось так, как получилось. И попечитель Московского учебного округа князь Ширинский-Шихматов зачитал рескрипт великого князя цесаревича Александра Александровича, в котором были и такие слова: «Ваши произведения по духу, которым они проникнуты, всегда согласовались со свойственными каждому русскому человеку чувствами преданности Государю и Отечеству и ревности о благе, о правде и чести народной». Затем было много торжественных и пафосных речей, после чего огласили письмо Писемского («Вы ни разу не прозвучали... притворным и фабрикованным патриотизмом...»), послание редакции журнала «Всемирный труд», в котором говорилось, что юбиляр «долго и честно служил родному слову и русской мысли и на этом поприще приобрел себе искреннее сочувствие русской публики и русской литературы». Приехавшие на юбилей представители Коломны говорили, что гордятся тем, что из их города «вышел заметный представитель литературы русской и достойный слуга Царя нашего на всех государственных должностях, ему поручаемых», а историк Погодин сказал, что «признательность соотечественников» должна служить юбиляру «утешением в перенесенных скорбях», неразлучно связанных «с человеческой жизнью»...

Иван Иванович Лажечников умер 26 июня 1869 года. Когда вскрыли завещание, то прочитали: «Состояния жене и детям моим не оставляю никакого, кроме честного имени, какое завещаю и им самим блюсти и сохранять в своей чистоте». ❀

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ РОССИИ

БЕСЕДОВАЛ ВАСИЛИЙ ГОЛОВАНОВ

Наши представления о пространствах родины, как бы странно на первый взгляд это ни показалось, полностью обусловлены культурой. Вообще представления о пространстве во все времена были феноменом культуры. В Новое время образы пространства создаются живописью, фотографией, кино, но прежде всего – словом.

УЖЕ «ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ» ЧЕТКО ОЧЕРЧИВАЕТ ГРАНИЦЫ той русской ойкумены – варяжские и славянские земли, Оковский (Волоковский) лес, где берет начало Волга, Дон – как наиболее зримую границу со Степью. В «Слове о полку Игореве» эта последняя граница уже одевается в образы, драматически переживается – что и составляет сюжет «Слова». XVIII и XIX века породили толщу «путешественной литературы», произведения Палласа и Крашенинникова, Пржевальского и Семенова-Тян-Шанского, которые словом буквально картировали пространства России по мере разворачивания российской карты на восток.



АНДРЕЙ СЕМАШКО

В художественной литературе осознанное «пространствоведение» началось со знаменитого «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева и «Писем русского путешественника» Карамзина. Весь XIX век – это история «освоения» пространств империи литературой. Как проходило это «освоение»? Какие драмы подстерегали писателей на этом пути? И что происходит с образом России сейчас, когда за несколько десятилетий ее ментальная карта претерпела столько изменений?

Об этом мы беседуем с Андреем Балдиным – путешественником, основателем литературно-исследовательской группы «Путевой журнал», автором статей и книг по изучению образов времени и пространства.

– Я хочу пояснить: говоря о литературном ландшафте России, мы имеем в виду не то, где какой писатель жил или живет, а то, как сам человек это пространство воспринимает через сгустки-образы, впитанные с литературой. И о том, почему литература раз за разом возвращается к этой миссии, открывая современные списки российского пространства: так было после революции, так было в 60-е годы, то же происходит сейчас. Никто вроде бы не навязывал ей такой задачи – землеописания. Или как это лучше назвать? Литературного исследования?

– Давай говорить об исследовании. По образованию я архитектор, мне интересно исследовать особые свойства пространства. Мы постоянно выдумываем его. Мы очень по-разному его воспринимаем.

– Образ пространства возникает в литературе как внутреннее задание писателя? И когда? В век Екатерины? Ты пишешь в статьях, что при Петре новое пространство России было еще точеч-

но (и Петербург – «окно в Европу» – точка), а при Екатерине разбежалось в разные стороны векторами. По ним двинулись великие экспедиции XVIII века. И академики описывали все, что встретится им на пути примечательного. Но тогда же появился Карамзин. Его-то никто не понуждал писать «Письма русского путешественника»?

– Карамзин для меня важнейший литературный архитектор. Он знает, что делает – связывает слова, строит пространство. Конечно, такого задания ему никто не давал. Но культура – само-настраивающаяся система. В конце XVIII века русской культуре понадобилось хорошо начерченное, «видимое» пространство. Карамзин сначала переводит с немецкого и видит, как немецкий язык строит фигуры пространства, ставит их на землю и поднимает текст в небо. И он едет в Европу учиться этому «архитектурному» искусству. Он пишет: русский язык должен стать зеркалом, правильно и точно отображающим время и пространство. Зрячий человек. Неслучайно он один из самых выдающихся наших путешественников.

Кстати, Чехов, такой же глазастый писатель-путешественник, по сути, повторяет опыт Карамзина. Только тот едет на запад, а Чехов – на восток, к Тихому океану. Они неслучайно симметричны. Между их странствиями ровно сто лет: 1790–1890. Это и есть век русской литературной классики. За эти сто лет в голове русского человека было поставлено, уложено и населено словами наше идеальное, *видимое в тексте* пространство.

Но Карамзин и Чехов не первые наши «оптики». С самого момента своего появления Россия движется и растет вместе со «зрящим» словом. Так что этому процессу уже не сто и не двести, а тысяча лет.

И здесь появляются две важные темы. Первая: литературно-географический процесс *проговаривания* России не делится на древнюю историю, Средневековье и Новое время. Это один неразрывный сюжет. Он, кстати, может

стать основой связного понимания нашей истории, которая сейчас вся как будто рассыпается на фрагменты. Нет, она цела, потому что связным и последовательным было путешествие русского слова.

Вторая тема внутренне конфликтная: бесконечный океан Евразии подвигал наших сочинителей к созданию отдельных островов текста. Иначе как будто и не получается, когда вокруг тебя море степи или море тайги. Отсюда авторская «дискретность» нашей литературной карты. Исторический сюжет один, целостный и связный, но литература оформляется «островами». Легендарными и реальными: Беловодье, Буян, Китеж, Соловки, Сахалин. Или твой Колгуев: ты же поехал на север искать свой идеальный остров. И книгу назвал «Остров».

– У нее есть подзаголовок: «оправдание бессмысленных путешествий». Дело не в острове, а в этом вот оправдании...

– Конечно, но именно на острове ты смог сконцентрироваться: остров есть фокус. Так ты сложил свое пространство и время. Ты заявил свой мир, свою веру. Дело, собственно, не в слове, а в вере. Об этом писал молодой Толстой на Кавказе, когда рассуждал о том, что существует нечто самое важное – «до слова». Есть идеальное помещение, заветная земля, материк своей веры. Это делает занятие географа-сочинителя пламенным и бескомпромиссным. Толстой здесь интересен тем, что его уже не устраивает только остров. Он тотален, ему нужно все, весь мир.

– Но границы? Толстой «отвергает» Петербург, как бы отказывая царю Петру в целесообразности такого вот «обустройства России». Он помещает центр страны туда же, где Наполеон увидел ее «сердце», – в Москву. И уже отсюда ощущывает границы: Крым, Кавказ... «Хаджи-Мурат» и «Севастопольские рассказы». Потрясающие книги!

– Разумеется, Толстой – москвоцентрист. А Кавказ и Крым – это пределы его московской вселенной. Южные, горячие, саднящие пределы. Конечно, такие «предельные» книги будут потрясать.

– Оренбург? В Оренбурге он не пишет, хотя ездит туда с удовольствием.

– В Оренбурге он задумал роман о Василии Перовском – государственном деятеле николаевской эпохи, мечтавшем присоединить к России Среднюю Азию. Кстати, его сподвижником был Владимир Даль, собиратель языка – собиратель карты из слов. Но книгу о Перовском Толстой так и не написал. Отголоски среднеазиатского замысла есть у него в «Анне Карениной», но их заметит только внимательный читатель.

И дальше можно видеть, как Толстой растит на восток свой «материк». Он пишет о старце Федоре Кузьмиче – это Омск. Пишет о Дмитрие Нехлюдове на Лене, в «Воскресении», – это Восточная Сибирь. Но в действительности он только забрасывал на восток фрагменты привычного московского текста. И на-

чался странный пунктир: слово как будто не ложилось на бумагу, то и дело возникали разрывы между сочинением и реальной картой. У Толстого, которому подавай целое тело мира, это вызывало ощущение разрыва ткани бытия. Арзамасский разрыв, тифлисский...

– **А что Тифлис?**

– Тифлис – это первый его «географический» отрыв от московской матрицы. Там Толстой впервые выходит за «предел языка». Через Кавказский хребет, в Колхиду. И – оказывается точно в вакууме, за границей привычного помещения мысли. Он проводит в «географической» смуте ноябрь и декабрь 1851 года. И вдруг его посещает видение большего пространства. В полночь 22 декабря ему является некое острое понимание большего мира. Он сознает, что он сам и есть источник и тело искомого идеального пространства. Ему открывается возможность бессмертия как бесконечного продолжения своего внутреннего времени. Так он спасается на краю московской «бумаги». И дальше неслучайно на этом краю рождается следующая русская проза. После «западной» прозы Карамзина и Пушкина – «южная». Крым и Севастополь помещаются на том же южном обрыве русской страны-страницы.

Толстой-географ очень жестко обрезает карту снизу. Его первый севастопольский рассказ есть простой ход вниз по меридиану, с севера на юг – на предел карты. Он начинает движение на северном берегу бухты...

– **Да, переезжает и движется на Четвертый бастион.**

– Точно на юг, на самый край, где творится ад: пушка бухает так, что рвется пространство. За бастионом – вакуум и смерть. От этого текст Толстого становится отрезанно-пространствен. Этот болезненный и одновременно словородящий южный предел размечает еще Лермонтов. Толстой постоянно подчеркивает, что следует за ним. Лермонтов описывает край нашего бумажного мира: «Тамань», а дальше – «там». Затянутое туманом море контрабандистов, обрыв и вакуум. Не «домашнее» Черное море, а космос и провал в пустоту. Этот же вакуум Толстой наблюдает в Севастополе.

Кстати, фактически это означает отказ Толстого от планов физического завоевания Царьграда. Константинополь нужно возвращать внутренне, вовлекая его в свое сокровенное идеальное пространство.

С этого момента начинается история его пацифизма. В «Анне Карениной» Толстой уже прямо против южной войны. Нужно искать мир в себе: таково его кредо, начало которому положило первое видение в Тифлисе. В этом смысле локальность «материка» Толстого становится более понятной. Она означает внутреннюю бесконечность, бескрайность мира в слове.

– **Прости, но я, кажется, только сейчас понял твою мысль о том, что наши большие книги и создают пространство...**

меридиан – Дон только часть его. Сквозной проход слов, от Питера до Царьграда, через Москву – через все этажи нашей говорящей карты. Это не просто вертикаль, это своеобразная граница сознания – древнейшая. Античный Рим чертил по Дону границу земного мира. А для нас Дон – конец одного света и начало нового. Разные его берега суть разные миры. Они спорят и производят книги как новые пространства. «Слово о полку Игореве», «Задонщина», Толстой, Тургенев,

– Это и есть кредо Толстого. До того как стать писателем, он рассуждал примерно так. *Есть нечто, что раньше слов, раньше молитвы. Есть некое помещение, которое я ищу и считаю своей главной задачей найти его, потому что в этом помещении я намерен встретиться с Богом. В нем, в этом лучшем помещении, заводятся слова, собираются книги. Сначала оно, сначала его нужно найти, понять, построить.* Так Толстой относился к пространству. Это храмовое помещение, то, что раньше слов, важнее, чище слов. Только в нем возможно настоящее творчество. По сути, это «архитектурное» заявление. Все наши большие писатели, сочинявшие вместе с Толстым, идущие за ним, – «архитекторы» лучших пространств. Классическая русская литература возводит в нашей голове идеальное пространство. Сочинение, строительство текста-лучшего-пространства: вот ее задача.

Вспомни первую экспедицию «Путевого журнала», 2000 год: тогда мы поехали в воронежскую степь и увидели, как Платонов собрал там свой остров посреди степи – Чевенгур. Сто на двести километров. Так разошлись, так взорвались его тяжелые слова. Мы наблюдали сущее творение мира – особого, платоновского. «Островного», степного мира. После той поездки я много ездил по Дону, смотрел его литературные «острова», от истока до устья. И постепенно составила его сводная гуманитарная карта. Книги легли справа и слева по течению реки. Выстроился даже некий литературный

Платонов, Шолохов. Эта река – разлом и спор пространств, постоянная провокация к сочинению новых книг-миров.

И смотри, как на ней виден Толстой. Он в последнем своем движении, бегстве из Ясной Поляны в Астапово, переезжает через Дон. И сразу начинает умирать. Астапово – первая станция за Доном. Карта проясняется: берег жизни, берег смерти. Карта насыщается драмой, умнеет и нам сообщает важные умные вещи. На ней наши книги-острова спорят друг с другом, накладываются друг на друга. Бегут друг от друга. Для меня, например, очевидно, что Чехов, уезжая на Сахалин, бежал с «материки» Толстого. Тот его удерживал, но Чехов упрямо рвался к своей книге.

Он изначально сознал необходимость сочинения своего мира. В степи он «толчется» с Гоголем (Чехов писал в заметках: «Пустит ли меня в степь царь Гоголь?») и создает гениальную повесть «Степь». Этот опыт гео-сочинения завораживает его; он отправляется сначала в Персию, но доезжает только до Баку, а потом решается на первопроходческий эксперимент: едет на Сахалин.

– Но «Остров Сахалин» странная, позитивистская книга: как будто Чехов и впрямь географ, а не великий писатель. Невозможность «облечь словом» Дальний Восток странно тревожит меня. Даже самая «дальневосточная» книга Арсеньева, «Дерсу Узала», заканчивается катастрофой: Дерсу убивают каторжники. Катастрофа – Порт-Артур (Степанов), чудовищный разгром – Цусима (Новиков-Прибой), да и у Фадеева – «Разгром». Как будто все петербургские и московские попытки освоить этот край обречены на провал.

– Насчет Чехова все не так просто. Это было сложное сочинительское движение. Противоречивое, не во всем успешное, но показательное по одному своему замыслу мироустройства. Я поехал за Чеховым на Сахалин и побывал в нескольких точках «разрыва» его литературной карты. Допу-

стим, в «степных» – в зауральской и забайкальской степях. Степи первые поставили перед ним сложный литературный вопрос. Для них оказались нужны новые слова. А Чехов пользовался прежними, он из своей дорожной повозки как будто разбрасывал привычные слова-обозначения: это похоже на Украину, это похоже на Швейцарию. Я был и на Украине, и в Швейцарии – не похоже. Зауральская степь плоская как стол, никакого приазовского дыхания рельефа. Забайкальская, буддистская степь, окруженная сопками – как будто медведи развалились и спят, – покойная, центральная территория. Без всякого вектора «марш на восток!». Реальность постоянно соревновалась с чеховскими русско-европейскими словами. Он понимал это, порой даже шутил на эту тему. Перед поездкой купил чемодан – немецкий, кубический. Но дотацил этот чемодан только до Томска – тот просто отбил ему ноги. Пространство тяжело и неуступчиво, строить его – великий труд. И вот в Томске, точно посередине российской карты, Чехов меняет европейский чемодан на большую сибирскую сумку. Безразмерную, удобную, которую можно носить на плече и подкладывать под голову во время сна. Из этого можно сделать важнейший «географический» вывод: до долготы Томска Россия измеряется чемоданами, а дальше сумками и баулами – как раз такими, безразмерными.

Да, Сахалин Чехову не вполне удался, он сам так считал – но он боролся, строил слова до конца. Написал самую свою большую книгу. Книгу-остров, слиток новопространства. Нет, этот его опыт нельзя оценивать как неудачу. Это была важная строительная работа. Ее нужно было вовремя подхватить.

– Недавно дальневосточный издатель Александр Колесов предложил мне писать книгу-путешествие про Дальний Восток. Я не уверен, что справлюсь. Но больше всего меня поражает то, что на самом Дальнем Востоке некому исполнить эту тему. Получается, что русское слово там так и не созрело... Край будто не может сам сказать о себе – что он, где он? В каком пространстве-времени? Если эту тему первым озвучит Китай, это будет «присочинением» российских пространств к Китаю, чего все, в общем, и опасаются. Таким образом, литературный вопрос неожиданно близко оказывается к политике.

– То, что ты говоришь о дальневосточном «обрыве карты», показывает, как ни странно, внятную картину нашей литературной Солнечной системы. В центре Толстой, демиург, выдумывающий миры. По сути, заменяющий этими мирами реальное пространство. И вот этот «Толстой как мир» начинает делиться рубежами. За Волгой ему чудятся новые романы. Кстати, заметь, слова там начинают расти задолго до Толстого: Карамзин из Бузулука, Державин из-под Казани. Это поколение, по сути, допушкинское. Выходит, восточное Заволжье для наших писателей творчески комфортно. Степь хорошая – мускулистая, широко текущая. Туда легко разворачивается московская страна-страница. Но даль-

ше орбиты разворачиваются все шире, все меньше слов на странице. Я сейчас говорю о характерном московском письме: чем дальше на восток, тем оно пустынное. Байкал как будто не озеро, а плоть, уединенный «остров слова». И действительно, совсем уже удален, как будто оборван Дальний Восток. Но это говорит о том, что нужно продолжать исследование в этом направлении. Петр I в свое время двинулся в Европу и перенес столицу, фокус русского сознания, навстречу Европе, потому что Европа была главным вызовом для России. Теперь для нас главный вызов на востоке – стало быть, дело продолжается, стратегическое литературно-географическое дело. Действительно, первые большие книги о Дальнем Востоке – это книги-разрывы, непомещения сознания. Значит, должны работать философы, первопроходцы мысли. Вопрос в том, насколько это личное и насколько общее дело. Советский Союз шел на восток грузно-коллективно. Я имею в виду литературное движение: действовал чеховский маршрут, писателей возили туда регулярно и организованно. Но результаты оказались разрозненными...

– Ты сказал про вызов. Это важно.

– Дальний Восток остается цивилизационной провокацией в лучшем смысле слова. Наш текст на этом пределе продолжает бороться с океаном иного. Пока в ходу экзотика, и только. Стало быть, нужно углублять исследование, переходить от поверхностной экзотики к серьезным темам. Если наше сочинительское сознание устранилось от этой задачи, вопрос о «культурной принадлежности» Дальнего Востока действительно будет решен не в нашу пользу. Или надолго отложен. И так будет до тех пор, пока мы не вернемся к масштабному проектному опыту. По примеру того же Чехова. Пока его большая книга «Остров Сахалин» пребывает в некоем вакууме. Я думаю, она еще прочтется, когда появится внятная гуманитарная дальневосточная программа. Когда мы из Москвы перестанем смотреть на Дальний Восток как на край света. Дальнему Востоку это давно осточертело. Драматический сюжет. Большие книги о Дальнем Востоке были бы «пилюлями» от этой московской болезни. Тут важен целостный взгляд на Россию как на порядок более сложное, мозаичное и очень перспективное поле. Это не просто страна, но сумма стран – мир, искусно и вместе с тем конфликтно сложенный. Собранный из плюс- и минус-книг, написанных и не написанных.

– Минус-книга? Не слишком сложно?

– Но такова наша карта, литературная, ментальная. Безразмерно-конечная. Мы живем, действуем или бездействуем на ее фоне. Бездействие то и дело оборачивается хаосом и драмой. Допустим, сейчас: да, пришла свобода, нам открыт мир, мы смотрим – без пунктира и вычеркивания в бездну своей истории. Но пока это приводит к игре, поиску исторических или географических развлечений. Наши путешествия по миру сплошь жадное поедание экзоти-

ки. И наша умная карта обесмысливается. Есть ощущение, что Россия испугалась своей «неотредактированной» истории и этого большого внешнего пространства. Но через это нужно пройти, это важный опыт литературного ориентирования. Эмиграция отчасти говорит об этом. Тот же Набоков. Большая литературная судьба, изгнание и попытки завести свой материк. «Дар» как атлас России. «Лолита» как атлас Америки. Важнейшее задание Набокова – континентообразование, в этом он следует за Толстым. Он недоволен Западом, Америкой, так недоволен, что отправляет Лолиту на Аляску, в некий гео-тупик, где она умирает родами. Это неслучайный символ. Русское слово в XX веке не нашло резонанса в большем мире. Вот и сегодня: русский сочинитель, поехав за границу, большего мира не выдумал. Он напуган избытком внешней и внутренней полноты. И Россия как будто закрывает свои умственные створки. Это опасное сжатие. Необходимо анализировать эту ситуацию. Речь не просто о пространстве, но о протяжении нашей нервной мыслительной системы.

– Получается, освоенное литературой пространство делается «пригодным для жизни», оно вписано в традицию и предлагает человеку для жизни «помещение» этой традиции...

– И наоборот: до-словная, непроговоренная территория – это постоянное самоотторжение и дискомфорт. Но для литератора-исследователя это в опре-

деленном смысле лучшая позиция. Для него этот дискомфорт предтворческий. Да, на целине всегда сначала тяжело. Но это целина, витамины новых слов. Ситуации неопишутельные, но оттого еще более притягательные. Значит, ты должен изменить слова, заставить звучать заново. Это видно на нашей литературной карте – оборванной, дискомфортной, но потенциально целой. Да, иногда она трещит по швам. Но это означает, что она начинена большим пространством. Вот – взя-

ла и треснула по реке Дон. Несомненно, это дискомфорт. Толстой, искатель целого, так был раздражен этим дискомфортом, что в 1910 году между берегами Дона повис как над бездной. А перед тем, в 1869-м, зашатался в Арзамасе – словно на балконе, под которым та же трещина, та же бездна.

– **А почему Толстой так испугался арзамасского «балкона»?**

– Здесь обнаружился тот же сюжет внутреннего – на разрыв – роста России. Дело в том, что Арзамас – это не столько на восток от Москвы, сколько под ней.

Это земля финская, языческая, мордовская. Она в самом деле как бездна под Москвой. Она живет в ином, нижнем времени. И Толстой, очень московский писатель, в высшей степени чувствительный к перепадам исторических высот российской карты, испугался этой внутренней бездны.

– **Которая ниже Нижнего.**

– Именно. Она по оси Z, а не Ost. И Москва, которая наполовину язычица – на нижнюю, древнюю половину, – страшится этого провала. Она – царевна-лягушка. Царевна под христианским венцом, а под ногами у нее языческие мгли, в которых она лягушка. Толстой, такой же двуединый персонаж, царь и колдун одновременно, сразу это почувствовал, едва подступил к Мордве (см. карту 4). Он вышел на литературный балкон – и повис над финским «морем». Над «дном», которое молилось на свой лад. В XIX веке это была последняя не вполне крещенная территория в самом сердце России. Неслучайно там подвизался самый яркий русский миссионер Нового времени – Серафим Саровский. Толстому было 5 лет, когда умер преподобный Серафим. То есть фронт разноверия был еще раскален. Была отверста эта под-московная прорва.

Вообще, есть много смыслов в рифме «Москва – Мордва». Итальянцы XV века неслучайно называли Мокшу, главную реку той зазеркальной территории, малой Москвой-рекой. Москва чутьем понимала, что эта заокская

территория – ее сестра. Только Москва в силу многих исторических причин поднялась, приняла христианство и стала столицей. А та, заокская сестра, осталась прежней. Но Москва-«царевна» никогда не забывала о своем «лягушачьем» родстве. Вот и Толстой, москвит, голова под облаками, выехал на арзамасский верх-мордовский «балкон» – и провалился. В самого себя, в свои «низ» и «под». Его продрал смертный ужас, едва он только заглянул туда.

Нужно это видеть, знать, что такое эти места в начале сентября. По ночам их заливают туманы. И когда ты стоишь на арзамасском «балконе» и ночью смотришь вниз, то иногда кажется, что к твоим ногам подошли облака, между которыми далеко внизу проблескивает черная вода. Там мир иной, для которого твоя земля только эти облака. И в этот туман Толстой спустился в ночь на 3 сентября 1869 года. Он ночевал в гостинице, внизу, у реки.

– **И там его и хватануло.**

– Там его посетил очередное запредельное видение. В Арзамасе его накрыло мыслью о нижней бездне, где властвует смерть. Его вера оказалась с ледяной заокской изнанкой. Все это очень по-московски: подвижно, нервно, поэтично, апокалиптично. Но тогда тем более нужно исследовать этот феномен – текст как плюс- или минус-пространство – спокойно и зряче.

– **Тут нужен заключительный вопрос – как?**

– Ученым, умным образом. Поднимая уровень обобщения, сводя вместе географию, историю и литературу. В *пространстве* между этими дисциплинами обнаружится реальная сложность России. Сейчас мы ищем ее новую формулу – это нужно делать на следующем уровне сложности исследования. Да, нам открылось во всей полноте ее большое прошлое – значит, мы должны собрать ее новый, на порядок более цветной и поместительный образ.

Есть большая беда в том, что мы сегодня все стремимся упростить. Это означает, что гуманитарное исследование России убывает в сложности или отстает вовсе. За этим последует только провал. Инструмент исследования должен быть не менее сложен, чем сам объект. Россия как система сложна, не то что «трехмерна», но «поли-мерна». Таким же должно быть ее гуманитарное исследование – многомерным, междисциплинарным. Непременно зрячим, экспедиционно обеспеченным, вооруженным должной степенью рефлексии, в том числе литературной. Тогда оно будет результативным, как результативны эти опыты с укладыванием истории литературы на реальную карту. Они уже принесли новые ракурсы и открытия, новые портреты лиц, которые как будто насковзь нам известны. Таким же, хочется надеяться, выйдет портрет следующей России, к новому пониманию которой мы сегодня только приступаем. ❀

ГОРЕ И УМ

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

В короткую жизнь Грибоедова вместились столько событий, что хватило бы на две-три жизни. А загадок столько, что справиться с ними и за два прошедших века не удалось.

ДАЖЕ ЕДИНСТВЕННАЯ ЕГО БОЛЬШАЯ КНИГА – ВОДЕВИЛИ И НАБРОСКИ не в счет – до сих пор дает простор для размышлений и толкований. До сих пор, едва в классе пойдет разговор о вечном – да умен ли Чацкий, – и понеслось, и уже иной раз звонка не слышно. Личность автора и обстоятельства его жизни и смерти вызывают вопросов еще больше: когда он родился? Почему погиб? Кто в этом виноват? Каким человеком был? У одних мемуаристов он необыкновенно милый, воспитанный, доброжелательный, у других – сухой, озлобленный, желчный. У одних

исследователей – связной декабрист с генералом Ермоловым, у других – государев человек, карьерист, служака, предатель идеалов и дела декабризма. Где одни видят светлый и ясный ум и любящую душу – другие замечают яд цинизма и опустошение. Какой он, настоящий Грибоедов? Вряд ли мы когда-то узнаем. Каждый увидит свое.

ДВОРЯНСКОЕ ДЕТСТВО

Жизнь его в самом деле началась с загадки: исследователи, кажется, до сих пор не сошлись во взглядах на год его рождения: назывались 1790, 1792, 1793, 1794 и 1795 годы; чаще всего – первая и последняя цифры. В пользу той и другой есть веские аргументы и свидетельства. Но последнего слова до сих пор не сказано...

Предки его, поляки Гржибовские, прибыли в Россию, по преданию, вместе с Лжедмитрием и совершенно обрусели. Отец и мать будущего драматурга оба были Грибоедовы, но состояли в таком отдаленном родстве, что некоторые исследователи называют их однофамильцами. Отец, Сергей Иванович, был драгун, отставной секунд-майор, отчаянный игрок с репутацией шулера и пустыми карманами. Мать, Настасья Федоровна, принесла мужу 400 душ приданого, вскоре пущенного по ветру; по смерти Сергея Ивановича душ насчитали 144, да еще 57 тысяч рублей долгу. Семья была богата не столько деньгами, сколько крепкими родственными отношениями: Настасья Федоровна, ее три сестры и брат, Алексей Федорович (его называют в числе прототипов Фамусова), дружили между собой, их дети дружили и учились вместе. Летом Саша Грибоедов и его сестра Маша часто гостили в старин-



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

А.С. Грибоедов.
Портрет работы
художника-
любителя
Горюнова.
1820-е годы

ной усадьбе дяди – Хмелите. Там был домашний театр; к сцене Саша навсегда прикипел душой с самого детства.

Дома у Грибоедовых говорили по-французски; у детей был гувернер-немец и гувернантка-француженка; их учили языкам, в том числе латыни, литературе, основам наук и музыке, причем и у Маши, и у Саши обнаружился поразительный музыкальный талант. Оба, когда выросли, считались превосходными исполнителями, а Александр – и замечательным импровизатором. Учили детей и танцам – у знаменитого танцмейстера Иогеля, который, кстати, снимал в доме Грибоедовых квартиру.

Дома всем заправляла мать, женщина сильная, с тяжелым характером. Чем старше становился сын, тем тяжелее он уживался с матерью, тем реже стался бывать дома.

В 1803 году Сашу отдали учиться в Благородный пансион при Московском университете; здесь раньше учился Жуковский, позже Лермонтов. Саша учился хорошо и особенные успехи проявлял в музыке, но, всегда слабый здоровьем, начал так долго и тяжело болеть, что мать уже через несколько месяцев забрала его из пансиона, и еще несколько лет мальчик занимался со своим гувернером и учителями, среди которых было несколько университетских преподавателей.

СТУДЕНТ

В 1806 году он начал посещать занятия на словесном отделении Московского университета; если считать его годом рождения 1795-й, ему должно было быть всего 11 лет. Впрочем, одновременно с Грибоедовым занятия в университете стали посещать соседи по имению – братья Лыкошины, 13 и 11 лет. Грибоедова профессора знали по домашним занятиям и зачислили без испытаний. На занятия эти студенты (своекоштные – то есть учившиеся за собственный счет) являлись в сопровождении гувернеров. Через два года Грибоедов окончил курс кандидатом словесности. Идти служить в депар-

тамент, если ему в самом деле было 13 лет, было рановато, так что в следующие два года он вольнослушателем посещал частные лекции профессора Иоганна-Феофила Буле и лекции на этико-политическом отделении университета: изучать право будущему чиновнику было полезнее, чем словесность. Компанию Грибоедову, и на лекциях, и в развлечениях, составляли юные студенты – князь Щербатов и братья Чаадаевы; дружеским дуракавалянием этой компании порожден первый драматургический опыт Грибоедова – комедия «Дмитрий Дрянской», пародия на озеровского «Дмитрия Донского». Впрочем, друзья скоро оставили университет, а Грибоедов продолжал учиться и готовиться к экзаменам на степень доктора.

Доктором наук он так и не стал: началась война 1812 года, и Александр, не спросив матери, записался в Московский гусарский полк графа Салтыкова. Полк был добровольческий, состоял в основном из безусых юнцов, которые гордились красивой формой и самостоятельной взрослой жизнью. Единственным «подвигом» полка после отступления из Москвы оказался безобразный кутеж, учиненный в городе Покрове – с грабежами и разгромом винных лавок. Скандальный полк отправили во Владимир; там Грибоедов простудился и слег, тем и кончилось его участие в Отечественной войне. Он тяжело болел всю зиму, пока шли военные действия, и только в июне отправился догонять полк, который теперь слили с Иркутским гусарским полком и отправили к западной границе в составе Третьей резервной армии.

В РЕЗЕРВЕ

Грибоедов проехал через сожженную Москву – некогда шумную, цветущую, родную; убедился, что сгорел и семейный дом на Новинском бульваре. Двигаясь на запад по Смоленской дороге, заехал в Хмелиту и с радостью нашел усадьбу невредимой. Через Смоленск и Минск он приехал в Кобрин, небольшой городок, где стоял его полк, и поступил в распоряжение генерала Кологривова, затем был переведен в Брест. В штабе Грибоедов познакомился с родственниками генерала – братьями Бегичевыми, Дмитрием и Степаном, в которых нашел умных собеседников, товарищей по юношеским проказам и друзей на всю жизнь. Проказы, кстати, были баснословные: то друзья въехали на бал на лошадях, поднявшись верхом на второй этаж по бальной лестнице, то Грибоедов во время службы в костеле согнал с места органиста, какое-то время играл духовную музыку, а потом грянул «Камаринскую». Впрочем, Бегичевы были серьезные молодые люди, и время с Грибоедовым проводили не только в буйных шалостях, но и в умных разговорах.



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛТАРЕВЫМ

Генерал Кологривов по рекомендации Бегичевых принял Грибоедова и нашел, что это весьма полезный подчиненный: и полулегендарное польское происхождение, и вполне реальная способность говорить по-польски помогли ему найти общий язык с местным дворянством при решении тяжелых вопросов снабжения полков.

Еще в Бресте, томясь от скуки, Грибоедов по совету Степана Бегичева взялся за перевод французской комедии «Молодые супруги». Он сильно сократил оригинал, пьеса оказалась одноактной и довольно динамичной – она и сейчас читается довольно легко и сохраняет свою сценичность; прелесть ее, однако, едва не угробили при постановке.

ПЕТЕРБУРГ

В конце 1814 года Грибоедов получил отпуск и отправился в Петербург, где с головой окунулся в светскую жизнь повесы и театрала. Он свел знакомство с князем Шаховским, автором многочисленных комедий и покровителем молодых актрис. Решил писать для театра и, когда отпуск закончился, дописал «Супругов» и отослал Шаховскому.

Первое свидание графа Паскевича-Эриванского с наследником персидского престола Аббас-Мирзой в Дейкаргане в 1828 году (среди свиты А.С. Грибоедов). Конец 20-х — начало 30-х годов. Литография К. Беггрова по оригиналу В. Мошкова

Тот пришел в восторг и сулил пьесе прекрасное сценическое будущее.

Летом 1815 года война закончилась. Еще раньше, в 1814-м, умер Грибоедов-старший. Наследственные дела оказались очень просты: Александр отказался от своей доли в пользу сестры и остался совершенно нищим. На жизнь предстояло зарабатывать своим трудом. Постановка «Молодых супругов», имевшая некоторый успех, принесла ему первую славу, но не деньги. Надо было думать о продолжении карьеры, и в 1816 году он вышел в отставку с военной службы.

Он обжился в Петербурге, где кипели литературные баталии: кружок «Арзамас» воевал с державинской «Беседой»; после «Липецких вод» Шаховского (где во второстепенном персонаже, стихотворце Фиалкине, все узнали Жуковского) стрелы эпиграмм тучами носились в воздухе. Грибоедов сохранял нейтралитет – и хотя по возрасту, образованию, воспитанию был ближе к арзамасцам, да и общаться предпочитал по-французски, но во взглядах примыкал, скорее, к архаистам. В том, что касалось языка и литературы, он предпочитал оригинальное подражательному. Галлицизмы карамзинского круга его раздражали, подражательность сентиментальных баллад выводила из себя.

С Пушкиным, самым молодым из арзамасцев, он встретился довольно скоро: и вчерашний лицеист Пушкин, и отставной гусар Грибоедов одновременно начали службу в Коллегии иностранных дел. Служба была необременительна,

времени для безумств, пьянства, волокитства и круженья в вихре света оставалось с избытком. Тогда же Грибоедов свел знакомство с Кюхельбекером, переросшее в крепкую дружбу, и с Катениным, в соавторстве с которым написал комедию «Студент», где издевался над поэтами-сентименталистами, высмеивая их подражательность, книжность, оторванность от жизни.

ДУЭЛЬ

Кружение в вихре света закончилось трагедией. Грибоедов рассорился с сильно пьющим Катениным и переехал жить к Завадовскому, тоже записному повесе. Дальше у истории есть несколько версий; одна из них гласит, что Завадовский был влюблен в балерину Авдотью Истомину, которая состояла в связи с общим знакомым молодых людей Василием Шереметевым. Ревнивый Шереметев изводил ее, и после очередной ссоры любовников Грибоедов увез Истомину в дом к Завадовскому, где та и оставалась двое суток. Биограф Грибоедова Екатерина Цымбаева рассказывает другую версию: Степан Бегичев передал Грибоедову просьбу от отца Шереметева помочь ему образумить сына. Грибоедов встретился с Истоминой, просил о разговоре, чтобы узнать, что сообщить родственникам. Истомина опасалась бешеного нрава Шереметева, поэтому Грибоедов повез ее поговорить к себе домой, а больше ничего и не было.

Строго говоря, причиной для дуэли послужил тот факт, что Грибоедов отвез Истомину в дом к Завадовскому. Шереметев вызвал Завадовского на дуэль, его секундант Якубович должен был стреляться с Грибоедовым. Мотором истории был Якубович, настоящий сорвиголова, человек невероятной энергии, храбрости и безрассудства; идея «четверной» дуэли принадлежала именно ему. На поединке Завадовский попал Шереметеву в живот, и дуэль секундантов была отложена. Шереметев умер на следующий день. Его родители просили царя не наказывать дуэлянтов. Завадовский уехал в Англию, Якубовича сослали на Кавказ, а Грибоедов остался в Петербурге – единственным виновником гибели Шереметева.

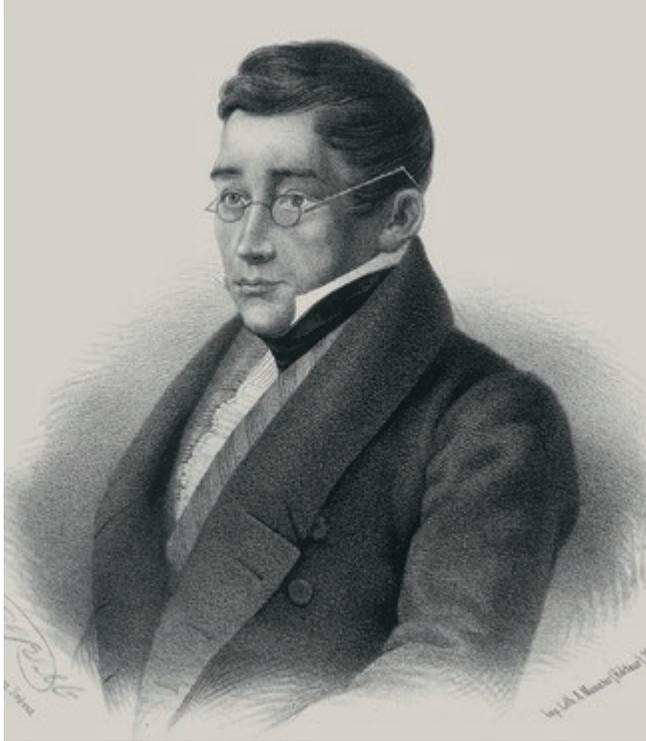
В столице он после дуэли не задержался: был назначен секретарем русской миссии в Персию. Одни исследователи считают, что это была ссылка, другие – что этому назначению послужила слава полиглота, закрепившаяся за Грибоедовым. В ав-

густе 1818 года он отбыл в Персию – «противувольно», он не хотел туда ехать. С дороги писал Степану Бегичеву: «Представь себе, что я сделался преужасно слезлив, ничто веселое и в ум не входит, похоже ли это на меня? Нынче мои именины: благоверный князь, по имени которого я назван, здесь прославился; ты помнишь, что он на возвратном пути из Азии скончался; может, и соименного ему секретаря посольства та же участь ожидает, только вряд ли я попаду в святые!» Долгая и тяжелая дорога привела его на Кавказ. В Моздоке он познакомился с генералом Ермоловым; затем отбыл в Тифлис, где его уже поджидал Якубович, требовавший немедленно стреляться. Избежать дуэли было невозможно; условия были свирепые – на шести шагах. Якубович прострелил Грибоедову руку и, как рассказывают, заметил: «По крайней мере, играть перестанешь». Грибоедов не стал подходить к барьеру, но целил Якубовичу в голову; пуля пролетела мимо. Рана в самом деле не давала играть, мизинец больше не сгибался, и Грибоедову пришлось осваивать игру девятью пальцами. Невозможность играть была для него тяжелым ударом – ведь едва ли не самую ценную вещь в его багаже составляло фортепиано.

Зиму Грибоедов провел в Тифлисе, где подружился с семьями генерала Ахвердова и князя Чавчавадзе, известного поэта и переводчика. Жена Ахвердова Прасковья Николаевна, женщина умная и образованная, воспитывала своих детей и пасынков, а вместе с ними и дочерей князя Чавчавадзе – Нину и Катю. Грибоедову было тепло и уютно в этом доме, здесь к нему относились с участием. По воспоминаниям современников, Грибоедов был замечательно хорош с друзьями – приветлив, добр, внимателен; с чужими людьми мог быть резок, холоден и язвителен. Один из его друзей вспоминал, как Александр Сергеевич обидел бездарного, но добродушного поэта Федорова, дерзнувшему сравнить рукопись «Горя от ума» со своей пьесой. «Я пошlostей не пишу», – отрезал Грибоедов, не принял никаких попыток Федорова загладить неловкость – так что тот покинул дом едва не в слезах, а Грибоедов приступил к чтению комедии...

КОМЕДИЯ

В Персии Грибоедов тосковал. По Петербургу, по театру, по России. Фортепиано не звучало в тесном доме, его пришлось вынести на плоскую крышу, и по вечерам, когда спадала жара, русский дипломат там играл. Персы стекались к его дому послушать музыку. Он учил персидский, чтобы общаться с местным населением и понимать происходящее. Изучая опыт внешней политики и торговли англичан, он начал вынашивать план Русско-персидской торговой компании, даже начал воплощать его в жизнь, но – увы...



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

А.С. Грибоедов.
Гравюра Н. Уткина.
1829 год

Часть служебных обязанностей Грибоедова состояла в том, чтобы в согласии с Гюлистанским мирным договором вывести в Россию застрявших в Персии дезертиров и военнопленных. В течение месяца он вел отряд в 158 солдат из Тавриза в Тифлис – и привел эту недисциплинированную, склонную к безобразиям команду практически в полном составе. Никакой награды за это не получил. Ермолов весьма ценил общество Грибоедова, но на карьерном росте это никак не сказывалось.

Тоска становилась все гуще и тяжелее. Он плохо переносил местный климат и жару, доведившую до обморочного состояния; ему казалось, что он тупеет, забывает даже то, что раньше знал, зубрежка языка не спасала. 16 ноября 1822 года он впал в такое отчаяние, что сел писать прошение об отставке. Затем заснул – и увидел во сне Шаховского, который взял с него слово, что тот через год напишет «сам знает что», и Катенина, сказавшего «лень губит всякий талант». Он запи-

сал на обороте прошения об отставке обещание: «Во сне дано, наяву исполнится». И начал работу.

Весной 1823 года, получив долгожданный отпуск, приехал в Москву и привез наброски комедии. Читал Степану Бегичеву, тот критиковал и давал советы, но видно было уже, что получается, и получается хорошо. Чтобы комедия состоялась, Грибоедову нужен был только спокойный досуг, которого он был лишен в Персии. «Не ожидай от меня стихов, – писал он позже Булгарину. – Горцы, персияне, турки, дела управления, огромная переписка нынешнего моего начальника поглощают все мое внимание. Не надолго, разумеется, кончится кампания, и я откланяюсь. В обыкновенные времена никуда не гожусь: и не моя вина; люди мелки, дела их глупы, душа черствеет, рассудок затмевается, и нравственность гибнет без пользы ближнему. Я рожден для другого поприща». Лето 1823 года дало ему возможность утвердиться на поприще, для которого он был рожден. Он гостил в имении Бегичева и работал для себя. К осени стало понятно, что его представления о Москве устарели, что для пьесы нужны новые впечатления – и он уехал в Москву. После Персии с ее гаремами, евнухами, жестокой дикостью – и дым отечества был сладок и приятен. Но Москва с ее слухами и сплетнями, засильем тетушек и бабушек, манерностью, с ее восточным раболепием, которого сразу не различишь за европейскими нарядами и французской речью, – Москва раздражала. И гнев-

ные филиппики юноши Чацкого, столь неуместные в фамусовской гостиной, так мало обоснованные его короткой биографией – совсем иначе звучат, если вместо скудного опыта Чацкого подставить грибоедовский опыт неоцененной службы, тоски, восточной тирании...

«Живая, быстрая вещь, стихи искрами посыпались», – радостно сообщал Грибоедов Бегичеву – и тут же требовал, чтобы тот никому рукопись не показы-

вал и сжег ее, если не понравится. Это совсем первый опыт русской поэтической комедии, небывалой пока, с небывалым сюжетом, героем, стихом – даже онегинскую строфу имитировать легче, чем разностопный, искристый стих «Горя от ума». Начитанные люди видели: Чацкий стоит на плечах мольеровского Альцеста. Исследователи не раз замечали сходство между мнимыми безумцами Чацким и Гамлетом, «мильоном терзаний» одного и «сердечными му-

ками и тысячью лишений, присущих телу» другого. Даже система персонажей «Горя» зеркалит «Гамлета»: тут тебе и старик с дочерью на выданье, и другой жених, и два неразличимых господина, Розенкранц и Гильденстерн – г-н N. и г-н D., и Скалозуб-Фортинбрас... вот только Репетилов – пародийный двойник вместо верного Горацио... И при всей своей плотной укорененности в европейской культуре – это совершенно свое, родное, точно подмеченное и блестяще сформулированное, отличное в чистом золоте на века.

Чтение комедии вызывало у слушателей неизменный восторг – и неизменные бестолковые замечания: комедию пытались судить с точки зрения классицистских канонов. Слава о новой пьесе разнеслась по Москве, потом по Петербургу; с нее сделали 45 тысяч копий, передавали из рук в руки, помнили наизусть – но о публикации нечего было и думать, о театральной постановке тоже. Грибоедов просил Булгарина провести комедию сквозь цензуру.

Дружба с Булгариным – еще одна загадка грибоедовской биографии. Поверить в их искреннюю дружбу настолько трудно, что объяснения подыскивают самые разнообразие. По одной версии, Грибоедов беззастенчиво пользовался Булгариным и обманывал его, соблазнив еще и жену его Леночку. По другой, напротив, Булгарин беззастенчиво пользовался Грибоедовым, прикарманил большую часть его денег, полученных в награду

за Туркманчайский мир, и пытался присвоить «Горе от ума», заявляя, что авторская надпись «Горе мое поручаю Булгарину» – дарственная.

Добиться у цензуры разрешения на печатание части отрывков Булгарину в самом деле удалось. Но постановка, задуманная в Петербургском театральном училище, была запрещена.

БРУТЫ И ПЕРИКЛЕСЫ

Успешный дипломат без денег и карьеры (денег вечно не хватало, орден, пожалованный персидским шахом, пришлось заложить; в молчалинском чине коллежского асессора он пребывал несколько лет), поэт без читателей, комедиограф без зрителей – странная, нелепая судьба. «Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес»... хоть и не про него это сказано.

Таких брутов и периклесов в стране, победившей Наполеона, было не так уж мало, и их тянуло друг к другу. Вполне закономерно, что его притянуло к кругу декабристов. Согласиться войти в тайное общество он не мог; известна его резкая фраза: сто прапорщиков хотят переменить весь государственный быт в России. Отказаться от обсуждения более разумного и справедливого будущего страны – тоже не мог. Вступать в тайное общество не стал, но в Киев на встречу с членами Южного общества поехал. Как он объяснял себе свое участие, до какой черты готов был помогать? Советом? Обсуждением? Исполнением поручений? Предупреждением: Ермолов не поддержит без гарантии успеха, Россия не поймет цареубийства? То ли его берегли, как Пушкина, то ли не доверяли ему, вечно впутанному в какие-то дуэли и интрижки с балеринами (последняя – с Телешовой, которую он фактически увел у генерала Милорадовича). Вопросов больше, чем ответов. Сам Грибоедов в 1825 году пребывал в тоске, путешествовал по Крыму, не хотел возвращаться на Кавказ и просил у Степана Бегичева совета, как ему «избавиться от сумасшествия или пистолета».

Его принадлежности к узкому дружескому кругу, в который входили декабристы, и хранившихся у него бумаг с избытком хватало для каторги. Общеизвестно, что, когда за Грибоедовым приехали, Ермолов задержал фельдъегеря и дал подчиненному полчаса – уничтожить бумаги. Несмотря на то, что несколько декабристов указали на его принадлежность к обществу со слов Рылеева, сам Рылеев все отрицал. Грибоедов тоже. Он даже написал императору раздраженное письмо: мол, матушка волнуется, я сижу, меня не отпускают, благоволите или отпустить, или отправить в Тайный комитет, чтобы я обличил своих обвинителей в клевете. Письмо императору не передали: так царям не пишут. Грибоедова освободили и вернули на Кавказ, где шла русско-персидская война.

На Кавказе тем временем сместили Ермолова и отправили в отставку всех его подчиненных. Кроме Грибоедова. Вместо Ермолова главнокомандующим Кав-

казским корпусом и главноуправляющим Грузии стал генерал Паскевич, муж Грибоедовской кузины, много сделавший для Александра в ходе следствия. Денис Давыдов, родственник Ермолова, писал: «В Грибоедове, которого мы до того времени любили как острого, благородного и талантливового товарища, совершилась неимоверная перемена. Заглушив в своем сердце чувство признательности к своему благодетелю Ермолову, он, казалось, дал в Петербурге обет содействовать правительству к отысканию средств для обвинения сего достойного мужа, навлекшего на себя ненависть нового государя... в то же самое время Грибоедов, терзаемый, по-видимому, бесом честолюбия, изощрял ум и способности свои для того, чтобы более и более заслужить расположение Паскевича, который был ему двоюродным братом по жене».

Грибоедову тяжело было в этом конфликте лояльностей: и Ермолову, и Паскевичу он был многим обязан, и был ли безупречный выход из этой дилеммы – неизвестно. Но служба под началом Паскевича, не блиставшего талантами, открывала перед ним широкие перспективы, а верность Ермолову – закрывала и те небольшие, что были. В самом деле, у Грибоедова появились новые возможности и новые проекты. Теперь он отвечал за дипломатические отношения с Турцией и Персией, занялся усовершенствованиями в Тифлисе, открыл там газету «Тифлисские ведомости», работал над проектом мирного договора между Россией и Персией... Эта бурная деятельность увенчалась крупной дипломатической победой Грибоедова: 10 февраля 1828 года был подписан Туркманчайский мирный договор с Персией, по которому Россия получала право на выплату огромной контрибуции и возвращение христианских пленников.

Он приехал в Петербург победителем. Получил орден, чин статского советника и 4 тысячи червонцев. Он не хотел возвращаться. Даже англичане предупреждали его, чтобы был осторожен: тяжелых условий мира ему не простили. В Петербурге была жизнь, по которой он скучал: насыщенная, умная, живая; он тяготился Востоком и нуждался в тишине и покое: на бумагу просилась трагедия «Грузинская ночь»; сохранившиеся отрывки – обещание шекспировского размаха, предчувствие Лермонтова.

Грибоедову не давала покоя судьба ссыльных декабристов. Он добился аудиенции у императора, просил об их прощении. Результатом стало возвращение в Персию – почетное, полномочным посланником в ранге министра. Он предчувствовал, что не вернется. Лето 1828 года – последние сборы. Прощание с Петербургом. С Пушкиным, Жуковским, Вяземским, Крыловым. Он еще успел заехать к сестре, которая недавно родила ребенка, и крестить его; тихое семейное счастье, грудной племянник заставили, наверное, думать о собственной бездомной жизни. Может, поэтому он так неожиданно для себя уже в июле, едва приехав в Тифлис, сделал предложение подросшей и прелестной

Нине Чавчавадзе и так спешно на ней женился. Может быть, чувствовал, как жизнь его стремится к роковой точке – и пытался успеть повернуть ее, остановить, поймать свои мгновения – не триумфа, не славы, а простого человеческого счастья.

По дороге он заболел малярией; его так трясло, что он едва не отменил венчание и еле выстоял его. Нина нежно ухаживала за ним. Семейного счастья им выпало всего ничего: в июле сделал предложение, в августе женился, в октябре молодожены приехали в Тавриз. В декабре Грибоедов оставил беременную Нину в Тавризе на попечение семьи английского доктора – и уехал в Тегеран, где через два месяца был убит разъяренной толпой, которая напала на русское посольство и растерзала всех, кто в нем находился. Рассказывают, что Грибоедов отверг предложение спастись бегством и хладнокровно сопротивлялся до последнего. Труп опознали по исколеченному мизинцу.

Историки спорят до сих пор, что стало причиной убийства – непреклонная жесткость ли самого Грибоедова, сделавшего ставку на демонстрацию силы, развязность ли его окружения и бесцеремонность, с которой из гаремов забирали армянок-христианок, или, может быть, английские интриги. Смерть его – такая же загадка, как и рождение. Встреча Пушкина с телом Грибоедова на дороге в Арзрум – не встреча, как доказано учеными, – выдумка, чистый символ.

Жизнь, такая яркая, такая мощная, так много обещавшая, пронеслась метеором, вспыхнула и исчезла. Остался деревянный гроб на арбе, и вдова над гробом, и ребенок, который прожил один час.

Осталась великая комедия и два вальса, полных небесной печали, и, наверное, это все оправдание того самого несостоявшегося счастья – будем век жить и никогда не умрем, – но как же мучительно это все, как нелепо. ❀

ВО МНОГОМ ЗНАНИИ МНОГО ПЕЧАЛИ

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

«Боратынский? А зачем про него писать? Он же второго ряда», — бросает вскользь коллега; как если бы поэты вообще мерились рядами и местами в рядах. Боратынский и вовсе стоит вне рядов, сам по себе. «Баратынский» или «Боратынский», мы и этого толком не знаем, сам он, по свидетельству друга, настаивал на «о»; соблюдаем его волю.

ПЕЧАЛЕН ОН БЫЛ С ЮНЫХ лет, хотя, казалось, вытаскивал счастливый билетик у судьбы: родился в состоятельной и счастливой семье. Отец был генерал,

мать – фрейлина императрицы Марии Федоровны; семья после внезапной отставки генерала, случившейся при императоре Павле, жила в имении Мара в Тамбовской губернии, отец, отойдя от дел, воспитывал детей и управлял хозяйством. «Лес на показе двух холмов // И скромный дом в садовой чаще – // Приют младенческих годов» – такой описал Мару Боратынский, когда вернулся в имение уже взрослым, с молодой женой.

Родители, люди умные и образованные, любили друг друга. Евгений, старший из всех, с малолетства изумлял семью способностями к учению; читать начал на пя-



Е.А. Боратынский
(1800–1844)

ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

том году, шестилетним переводил отцу разговоры с учителем, итальянцем Боргезом. Боргезе был неаполитанец, сбежавший от Наполеона. Мальчик, которого дома звали Бубинькой, много и с удовольствием читал, говорил по-французски и по-итальянски, охотно учился. Особую радость находил в разговорах с маменькой, Александрой Федоровной; сохранилось множество его детских писем, и видно, что писал их очень хороший, начитанный, рассудительный – и очень

так, как поэзию. Я очень желал бы стать автором. В следующий раз пришлю вам нечто вроде маленького романа, который я сейчас завершаю...» Он и сам, пожалуй, чувствовал себя героем романа. Начитавшись романтических историй о благородных разбойниках – Ринальдо Ринальдини и Карле Мооре, – он создал «общество мстителей», которое и возглавил. Общество завело обычай тайных пирушек; сначала поедали только еду, припрятанную во время ужина, потом стали покупать сладости на казенные деньги. Их один из товарищей таскал у отца

из бюро, к которому подобрал ключ. Ключ он однажды передал Боратынскому и своему родственнику Ханькову; мстители выпили по рюмке ликера для храбрости и «пошли очень весело негоднейшею в свете дорогою». Они похитили черепаховую табакерку и 500 рублей казенных денег; табакерку разломали и продали, на деньги купили всякой всячины... Дело скоро раскрылось и дошло до императора.

Оба юноши были личным распоряжением царя исключены из корпуса с запретом служить где бы то ни было, кроме как в армии рядовыми. «По выключке из корпуса я около года мотался по разным петербургским пансионам, – вспоминал Боратынский. – Содержатели их, узнавая, что я тот самый, о котором тогда говорили, не соглашались держать меня. Я сто раз был готов лишиться себя жизни».

Наконец он вернулся к матери, та не стала его бранить: «я ожидал укоров, но нашел одни слезы, бездну нежности». Он некоторое время жил праздной жизнью дворянского недоросля – то у матери, то у второго дяди, Богдана Боратынского, в Смоленской губернии. Там была молодежь, там веселились и танцевали; Боратынский то веселится со всеми, то тоскует: «Любезная маменька, люди много спорили о счастье, не нищие ли это, умничающие на счет философского камня? Иной человек посреди всего, что, казалось бы, делает его счастливым, носит в себе утаенный яд, который его снедает и делает не-

любящий свою маменьку мальчик. В 1810 году отец умер; мать осталась одна с детьми на руках. Бубиньку увезли в Петербург и отдали в немецкий пансион – готовиться к поступлению в Пажеский корпус, куда он уже давно был записан. Он сообщал маме из Петербурга: «В последние дни, пред отъездом, несмотря на печаль и чувствуя еще наслаждение быть с вами вместе, я, откровенно говоря, думал, что мне будет много веселее со своими сверстниками, чем с маменькой, ибо она взрослая, но увы, маменька, как я ошибался; я надеялся обрести дружбу, но не обрел ничего, кроме равнодушной и неискренней учтивости, кроме дружбы корыстной: когда у меня было яблоко или что другое, моими друзьями были все, но потом, потом все как пропадало...»

В письмах мальчика – уже невероятно четкий слог и недетская скупая тоска: «Ах, маменька, – что за прелесть – Нева уже очистилась ото льда, сколько лодок и парусов, сколько кораблей, но между тем, маменька, без вас все кажется мне бесцветным; ибо когда я уезжал, я еще не чувствовал всей печали, которую принесет наша разлука, я не познавал ее, но теперь, маменька, каково же различие».

НЕГОДНЕЙШЕЮ В СВЕТЕ ДОРОГОЮ

Он учился хорошо – хвастался в письмах своими успехами в немецком, географии, французском и рисовании. Вскоре его зачислили в Пажеский корпус – привилегированный пансион, учиться в котором могли только дети самых знатных фамилий. Пажи присутствовали при дворцовых церемониях, а после выпуска поступали офицерами в гвардейские полки. А мальчик мечтал о невероятных приключениях; жизнь гвардейского офицера представлялась ему недостаточно бурной, и он просил маменьку отпустить его в моряки: «Представьте, моя дорогая, меня на палубе, среди разъяренного моря, бешеную бурю, подвластную мне, доску между мною и смертью, морских чудовищ, дивящихся чудесному орудию – произведению человеческого гения, повелевающего стихиями...»

Жизнь в корпусе была размеренной, расписанной, уроки – скучными; начальник отделения, куда попал Боратынский, невзлюбил его и считал беспутным шалуном. Мальчик решил оправдывать репутацию – и в самом деле начал шалить. Шутки были то обычными мальчишескими – привидение на швабре, бой подушками, – то не вполне безобидными: в письме Жуковскому уже повзрослевший Боратынский вспоминает, как пажи одному из педагогов насыпали в табакерку толченых шпанских мушек, отчего у того раздуло нос. В 1814 году Боратынский остался на второй год, а наставники считали его уже совсем отпетым безобразником. «Поведения и нрава дурного», – записано о нем в кондуите.

Он уже пробовал писать стихи и даже романы: «...нынче, в минуты отдохновения, я перевожу и сочиняю небольшие пиесы, и, по правде говоря, ничто я не люблю

способным к какому бы то ни было наслаждению. Болящий дух, полный тоски и печали – вот что он носит среди шумного веселья, и я слишком знаю этого человека». Может быть, именно тоска чуть не свела его в могилу. Он заболел горячкой и едва не умер, выжил каким-то чудом.

Стихи, которые он писал в это время, сам он потом оценивал очень низко. Как вспоминал один из сыновей поэта, отец советовал юношеские стихи посвящать богам – то есть предавать всеسوждению.

В СЕМЕЙСТВО ДОБРЫХ МУЗ

Военная служба, где можно было дослужиться до офицера и вернуть утраченные дворянские права, казалась лучшим выходом из положения. По совету родных 18-летний Боратынский поступил в лейб-гвардии Егерский полк.

Он вернулся в Петербург, где по-прежнему учились его друзья; некоторые уже служили. Тягот солдатской службы Боратынскому в полной мере не досталось; «от побой дворянской грамотой избавлен», писал его современник. После службы солдат ходил во фраке, встречался с друзьями, жил не в казарме, а на квартире, которую снимал вместе с другом. Уже в первые месяцы своей столичной жизни он познакомился с Дельвигом и Кюхельбекером, с Левушкой Пушкиным и Иваном Пуцциным; вскоре состоялось знакомство и с Александром Пушкиным.

Боратынский поселился вместе с Дельвигом, который стал его лучшим другом на много лет. «Не ты ль тогда мне бодрость возвратил? // Не ты ль душе повеял жизнью новой? // Ты ввел меня в семейство добрых муз...».

Он в самом деле воспрянул духом после своего мучительного падения и нескольких лет отчаяния. Молодые поэты были веселы, азартны, переполнены поэзией – и тогда еще не знали, что их дружеские беседы за полной чашей, их

послания друг к другу и колючие эпиграммы – все это потом назовут «золотым веком» русской поэзии, а сами они окажутся нашими легендарными титанами...

Первой публикацией Боратынский обязан Дельвигу: тот напечатал стихи без ведома автора. Автор был едва не убит этой публикацией: она вызывала в нем тоскливую и мучительную неловкость. Затем начал печататься, посещать салоны и литературные собрания, перезнакомился со всеми, наверное, петербургскими писателями. Скоро новые имена – Пушкин, Дельвиг, Боратынский – стали такими же громкими, как Жуковский, Батюшков и Гнедич. Иван Киреевский писал: «Общее мнение скоро соединило имя Боратынского с именами Пушкина и Дельвига, в то же время как внутреннее сродство сердечных пристрастий связало их самую искреннюю дружбою, цело сохранившеюся до конца жизни всех трех». Пушкин ценил легкость, стройность и глубину стихов Боратынского: «Он у нас оригинален – ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко. Гармония его стихов, свежесть слога, живость и точность выражения должны поразить всякого хотя несколько одаренного вкусом и чувством».

Мемуаристы почти одинаково вспоминают его в это время: худой, очень бледный, с горящими глазами и печатью уныния на лице. Отзывы современников о великих – всегда отчасти портрет самих мемуаристов. Одни вспоминают дурную репутацию Боратынского и злословят: мол, хотел жениться, но кто же за такого пойдет? Другие объявляют завистником: всю жизнь завидовал Пушкину, тот даже Сальери с него списал. Третьи вспоминают умный разговор, широкую образованность, прекрасный художественный вкус, остроумие, доброту и воспитанность. И склонность к пьянству: выпив, он «изливал всю свою душу». В душе было много печали.

С тоской на радость я гляжу:

Не для меня ее сиянье,

И я напрасно упованье

В душе измученной бужу.

Я наслаждаюсь не вполне

Ее пленительной улыбкой;

Все мнится, счастлив я ошибкой,

И не к лицу веселье мне!

Надеясь на скорое избавление от солдатской службы и забвение прискорбной ошибки молодости не приходилось. Боратынский вспоминал, как стоял во дворце на часах. Император подошел, спросил фамилию – «потрепал по плечу и изволил ласково сказать: «Послужи!» Сколько надо было послужить, чтобы искупить детскую ошибку, – никто не мог сказать. Боратынский прослужил солдатом уже год; можно было надеяться на унтер-офицерский чин. Родственники хлопосандром Пушкиным.

тали; по приказу великого князя Николая Павловича Боратынского произвели в унтер-офицеры и отправили служить в Финляндию – в Нейшлотский пехотный. Там его командиром стал родственник Боратынских подполковник Лутковский. Он взял юношу под свое крыло и поселил у себя на квартире.

Боратынский тосковал в Финляндии: «Отдайте мне друзей, найду я счастье сам». Он печально и стоически проповедует пользу страданий: «Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам; // Не испытай его, нельзя понять и счастья» – и утешается превосходными, чеканными афоризмами:

Пусть мнимым счастьем для света мы убоги,

Счастливицы нас бедней, и праведные боги

Им дали чувственность,

а чувство дали нам.

Пушкин тоже скучал по Боратынскому – недаром в «Онегине» появляется его одинокая тень:

Но посреди печальных скал,

Отвыкнув сердцем от похвал,

Один, под финским небосклоном,

Он бродит, и душа его

Не слышит горя моего.

Стихи о пользе страдания адресованы Коншину, сослуживцу и новому другу, чьи воспоминания сохранили для нас облик Боратынского, едва прибывшего в Финляндию: «Однажды пришед к полковнику, нахожу у него за обедом новое лицо, брюнета, в черном фраке, бледного, почти бронзового, молчаливого и очень серьезного». Боратынский вскоре, пишет Коншин, стал общим любимцем: «Мы <...> жили дружно, скучали дружно, а по зимам танцевали и играли в бостон: и вдруг в этом кругу явился Боратынский, предшествоваемый прекрасною молвою, сопровождаемый гармоническою Музою, юноша с обольстительной грациозностью, которой не изменял никогда, с незлобием ребенка, с душой благовоспитанной, девственной, и, по положению своему, с правом на участие и покровительство. Наши старшины полюбили его как сына, круг просвещенный, и потому господствовавший, назвал его братом, а толпа, в должном расстоянии, окружила его уважением. Чувство к нему походило на любовь, со всей ее заботливостью, приязнь к поэту перешла даже в ряды полка: усатые служивые с почтительным радушием ему кланялись, не зная ни рода его, ни чина, зная лишь одно, что он нечто, принадлежащее к полковому штабу, и что он Евгений Абрамович».

Он живет Петербургом. Просит присылать новые стихи, посылает свои; печатается в «Полярной звезде» у Бестужева и Рылеева — и желает им, при посылке новых стихотворений в 1824 году, «наслаждений, отдохновений, счастья, – жирных обедов, доброго вина, ласковых любовниц».

Жуковский, Денис Давыдов, любящие родственники хлопотали о присвоении Боратынскому офицерского чина; начальство раз за разом подавало документы, но ходатайства оставались безответными. Именно сейчас написано длинное исповедальное письмо Жуковскому: «Должно сносить терпеливо заслуженное несчастье – не спору; но оно превосходит мои силы, и я начинаю чувствовать, что продолжительность его не только убила мою душу, но даже ослабила разум».

В Финляндии Боратынского заметил адъютант генерал-губернатора Финляндии Закревского Николай Путята; они быстро сдружились, Путята тоже хлопотал о Боратынском – и по его хлопотам опального поэта перевели в Гельсингфорс, ныне Хельсинки, служить при штабе генерал-губернатора.

МАГДАЛИНА

Оказалось, что ни душа, ни разум не убиты в юном поэте: финские впечатления обогатили русскую поэзию мощным «Водопадом», «дымная бездна» ничуть не уступает по силе «алмазной горе» Державина; и хрестоматийным «не искушай меня без нужды»; и нежно-прекрасной «Эдой», сентиментальной поэмой о соблазненной и покинутой гусаром финской девушке. Прелесть поэмы не в расхожем сюжете, а в искренней простоте и жизненной правде – той самой правде, которую Боратынский считал обязанностью поэзии. Ему самому «Эда» с ее вниманием к живым деталям и бытовым подробностям казалась чуть не

прозой, особенно по сравнению с только что вышедшим «Кавказским пленником» Пушкина, с необыкновенной, таинственной «черкешенкой младой».

«Эда» принесла в русскую литературу суровую северную природу и скупой, честный поэтический реализм – но ее карамзинская, сентиментальная суть еще принадлежала ушедшему веку — а Пушкин между тем уже ставил совсем новые вопросы.

Меланхолия Боратынского оказалась созвучна духу времени, открывшего для себя сладкую печаль сентиментализма и романтическую тоску. Но элегичность Боратынского – не модное «темно и вяло», а то самое «много печали», которое проистекает от «многого знания»; отсюда в его поэзии, обычно скупой на эмоции, такой верный тон – не салонная меланхолия, а экзистенциальная тоска, обычная часть человеческой жизни; отсюда и его ирония в послании к покойному Богдановичу:

*...Но что же! все мараки
Ударились потом в задумчивые враки,
У всех унынием оделось чело.
Душа увянула и сердце отцвело.*

У Боратынского и душа не увянула, и сердце не отцвело – его тоска иного сорта, чем английский сплин, иль русская хандра, угрызающая современников. Путята, верный его друг на протяжении многих лет, писал: «В элегиях его ничего нет неопределенного, туманного и безотчетного. Грусть выражалась в его поэзии потому, что он глубоко чувствовал и подвергал чувства анализу ума, так сказать, анатомировал его, а сердце человеческое, обнаженное таким образом, не могло не представлять ему печальных истин. Он не предавался отчаянию и не унывал духом. Его подкрепляла живая вера, вера в искусство, в Поэзию, которую он любил для нее самой без всякой примеси тщеславных помыслов и которая служила ему заменой всех благ земных».

Боратынский, как и Тютчев, – наследник античных стоиков, ясно понимающих мимолетность жизни и мужественно глядящих в лицо вечности. Он снова пробовал просить об офицерском чине – на сей раз ища заступничества графа Уварова, чья жена дружила с маменькой: «...следует то, что касается и Вашего превосходительства: возратить человеку имя и свободу; возратить его обществу и семейству; отдать ему самобытность, без которой гибнет душевная деятельность; одним словом: воскресить мер-

твого. – Все это Вы сделаете и все это Вам возможно сделать». Однако снова ничего не вышло.

Он съездил в отпуск в Петербург. Увлёкся Софьей Пономаревой, непоседливой и чудаковатой красавицей, любительницей маскарадных переодеваний, хозяйской литературного салона. Затем полк его стоял в Петербурге; короткое время радости – и снова Финляндия. Все прошения о производстве в чин прапорщика оставлялись без внимания.

Однако в Финляндии нашёлся свой притягательный магнит.

В Гельсингфорсе Боратынский встретил жену Закревского Аграфену Федоровну, дочь знаменитого библиофила и собирателя древностей Федора Андреевича Толстого. Аграфена Федоровна, женщина красивая, неординарная и ветреная, была известна своим переменчивым характером и легкостью, с которой она влюблялась и бросала возлюбленных. Ее настроение менялось как весенняя погода: «Как Магдалина, плачешь ты, и, как русалка, ты хохочешь»... Это сказано о Нине, героине поэмы Боратынского «Бал», но трудно было не узнать в ней блестящую и ветреную Аграфену. Боратынский влюбился – и в самом деле, трудно было устоять перед своеобразным обаянием этой необыкновенной женщины, презревшей все светские условности; не устоял перед ней и Пушкин, который познакомился с ней позже и о ней сказал свое знаменитое «как беззаконная комета в кругу расчисленном светил». Принято считать, что именно Аграфена Закревская – прототип женских образов в «Египетских ночах», в отрывке «Гости съезжались на дачу», с которого началась «Анна Каренина»; по-видимому, с ней – «с блестящей Ниной Воронскою, сей Клеопатрою Невы» беседует повзрослевшая и замужняя Татьяна Ларина...

Боратынский и Путята оба были увлечены Закревской; впечатлениями делились друг с другом: «Спешу к ней, – писал Боратынский. – Ты будешь подозревать, что и я несколько увлечен: несколько, правда; но я надеюсь, что первые часы уединения возвратят мне рассудок. Напишу несколько элегий и засну спокойно. Поэзия – чудесный талисман: очаровывая сама, она обессиливает чужие вредные чары...»

Боратынский называл Закревскую не Аграфеной, а Альсиной, Магдалиной, М. В поэме Нина принимает яд, когда ее возлюбленный, Арсений, отказывается от нее и женится на милой, неискушенной Оленьке. «Се отмщение, и Аз воздам», наверно. Боратынский был очарован – но он был человек домашний, детолюбивый, с юности мечтавший о женитьбе и мирных радостях любви – ясно понимал, что весь этот Эрос насковозь пропитан Танатосом: «С нею шутил и смеялся; но глубокое унылое чувство было тогда в моем сердце. Вообрази себе пышную мраморную гробницу, под счастливым небом полудня, окруженную миртами и сиренями – вид очаровательный, воздух благоуханный; но гробница – все гробни-

ца, и вместе с нею печаль вливается в душу: вот чувство, с которым я приблизился к женщине, тебе еще больше, нежели мне, знакомой», – писал он Путяте. Впрочем, надо отдать ему должное: Нина из «Бала» – первая демоническая женщина в русской литературе. Это потом их, целующих и отвергающих, блистающих глазами и мертвенно тоскливых, хохочущих и рыдающих, появятся легионы – пока наконец «Демоническая женщина» Тэффи не зафиксирует, что образ окончательно разменян на мелкую монету.

Аграфена на 35 лет пережила Боратынского. Она еще успела родить двух девочек, стать героиней множества сплетен и умерла во Флоренции старухой. Боратынский, уже счастливо женатый, писал в 1828 году:

*Нет, обманула вас молва,
По-прежнему дышу я вами,
И надо мной свои права
Вы не утратили с годами.
Другим курил я фимиам,
Но вас носил в святыне сердца;
Молился новым образам,
Но с беспокойством старовеца.*

О, СВОБОДА!

Весной 1825 года Боратынский получил чин прапорщика. Это означало свободу, возвращение дворянских привилегий и возможность выйти в отставку.

Тем временем любимая и любящая маменька старела, а рассудок ее помрачался. За ней надо было ухаживать. Приехав к ней, Евгений Абрамович писал Путяте, что нашел маменьку «в самом жалком положении»: «Я не могу скрыть от моей совести, что я необходим моей матери, по какой-то болезненной ее нежности ко мне, я должен (и почти для спасения ее жизни) не расставаться с нею. Но что же я имею в виду? Какое существование? Его описать невозможно. Я рассказывал тебе некоторые подробности, теперь все то же, только хуже. Жить дома для меня значит жить в какой-то тлетворной атмосфере, которая вливает отраву не только в сердце, но и в кости. Я решился, но признаюсь, не без усилия. Что делать? Противное было бы чудовищным эгоизмом... Прощай, свобода, прощай, поэзия!» Он подал в отставку, и прошение его рассматривалось ровно в те мрачные зимние дни 1825–1826 годов, когда шло расследование дела декабристов. Давний друг Кюхельбекер арестован; Бестужев и Рылеев, некогда купившие сочинения Боратынского для своего журнала, арестованы...

Удивительно, что для всей страны поражение восстания декабристов означало конец иллюзий и начало трудного, безвоздушного времени; для Боратынского, получившего отставку в конце января 1826 года, жизнь только начинается.

Он издал собрание сочинений. Он – нежный муж, отец и знаменитый поэт, но тоска пожирает его.

Когда его друг Иван Киреевский затеял издавать журнал «Европеец», Боратынский специально для него написал повесть «Перстень» – романтическую, чувствительную: здесь и загадка таинственного перстня, и бедный безумец, и счастливая развязка – самое милое чтение на ночь для человека, утомлен-

В июне он женился на Настасье Энгельгардт, дочери генерал-майора Льва Энгельгардта. Жена была не красавица, но умница, с тонким художественным вкусом, нервная и сложная. Считается, что стихотворение «Она», таинственное и нежное, посвящено жене:

*Как сладкое душе воспоминанье,
Как милый свет родной звезды твоей,
Какое-то влечет очарованье
К ее ногам и под защиту к ней.*

Сестра Пушкина Ольга Павлицева писала: «Супруги Боратынские, эти два, как выразилась моя мать, исполненные поэзии меланхолические образа, души один в другом не чаяли; тихий, спокойный семейный их очаг не омрачался никогда и тенью каких-либо взаимных пререканий». Ольга Павлицева оставила для нас зарисовку супружеской жизни: Настасья Львовна говорит мужу: «Как жаль, Евгений, что я не красавица». Муж отвечает: «Для меня ты лучше всех красавиц» – и целует руку.

МНОГО ЗЕМЕЛЬ Я ОСТАВИЛ ЗА МНОЮ

В 1828 году Боратынский поступил на гражданскую службу, некоторое время провел в межевой канцелярии, но в 1831-м вышел в отставку и больше не служил. Литературная работа, семья, дети – он стал говорить друзьям, что и был рожден для тихих, невинных семейных радостей. Впрочем, и семейные радости не спасали от вечной тоски, и он часто уединялся с бокалом.

ного сумасшествием сегодняшней жизни. Когда журнал закрыли, Боратынский признавался, что «лишился сильного побуждения к трудам словесным». В 1831 году вышла его новая поэма, «Наложница», и критики стали пенять ему на безнравственность героев. Романтическая поэма, блестящая и мастерски отделанная, но не согретая страстью – а Боратынский всегда был разумный, рассудочный поэт, – произвела на современников неприятное впечатление: «какое-то холодное, одностороннее прозаическое стихотворство», – писал Николай Полевой.

Боратынский стал терять читателя, замыкаться в литературном и человеческом одиночестве. Попытки выработать позитивное мировоззрение не удалось – зато в усадебной тишине и одиночестве вызрел самостоятельный крупный лирик. Сборник «Сумерки» явил читателю поэта, продолжающего петь и в наступающий «век железный», полный промышленных забот. Его не радует вечность: «В тягость роскошь мне твоя, // О бессмысленная вечность!» Ему ведомо все, что готовит жизнь: «И только повторенья // Грядущее сулит». Единственную радость он находит в поэтической гармонии: «Среди безжизненного сна, // Среди гробового хлада света // Своею ласкою поэта // Ты, рифма! радуешь одна». Венец «Сумерек» – роскошная, чугунно-кружевная «Осень» с ее тяжелой поступью, с ее торжественным, мужественным созерцанием неизбежного распада. По сути, Боратынский всегда был осенним поэтом. Белинский страшно бранил его за холодность и рассудочность; спокойная и рассудительная муза Боратынского оживлялась только тогда, когда начинала живописать осенние краски и завывания ветра, последние листья, колеблемые на деревьях. «Осень», брошенная поэтом, когда он получил известие о смерти Пушкина, стала итогом жизни, итогом «золотого века», стоическим размышлением о пути всякой плоти:

*Зови ж теперь на праздник честный мир!
Спеши, хозяин тороватый!*

*Проси, сажай гостей своих за пир
Затейливый, замысловатый!*

Что лакомству пророчит он утех!

*Каким разнообразьем брашен
Блестает он!.. Но вкус один во всех*

И, как могила, людям страшен;

Садись один и тризну соверши

По радостям земным своей души!

В «Сумерках» едва пробиваются живые ростки не то что радости, а хотя бы возможности жизни: в «Ахилле» поэт заговаривает о необходимости опереться на «живую веру», а в «Здравствуй, отрок сладкогласный!..» приветствует юного поэта и жаворонка, возвещающего весну.

Для самого Боратынского весной и пробуждением стала поездка в Европу, куда его давно тянуло. С женой и старшими детьми он отправился во Францию, затем в Италию. Европа дала ему новый вкус к жизни. Одним из последних его стихотворений стал прекрасный, пронизанный ожиданием счастья «Пироскаф»:

Много земель я оставил за мною;

Вывнес я много смятенной душою

Радостей ложных, истинных зол;

Много мятежных решил я вопросов.

Прежде чем руки марсельских матросов

Подняли якорь, надежды символ!

...

Нужды нет, близко ль, далеко ль до берега!

В сердце к нему приготовлена нега.

Вижу Фетиду; мне жребий благой

Емлет она из лазоревой урны:

Завтра увижу я башни Ливурны,

Завтра увижу Элизий земной!

Он успел увидеть Элизий земной. Но в Италии было жарко, а он страдал тяжелыми головными болями. Стало плохо жене, он переволновался – и на следующий день внезапно умер.

Может быть, именно сейчас, когда он оперся на живую веру и ждал весны, когда решил много мятежных вопросов – он и увидел башни и берега, лазурь и золото, волшебный Элизий.

Контуры этого берега уже обрисованы в «Пироскафе», поэзия уже разглядела его. Но дальнейшее – молчанье. 🍷

СОЛНЦЕ ЖИВЫХ

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Исторические катаклизмы и большое горе — страшный рубеж в писательской жизни. Кто-то замолкает в отрыве от родной земли и родного языка, а кто-то на чужбине обретает новый голос и новую писательскую жизнь. Так случилось с Иваном Шмелевым. Но, может быть, в самом деле, лучше человеку не ведать наперед своей судьбы: зная ее заранее, какой безумец заплатил бы за новый голос и творческое бессмертие такую цену?

ПРЕДКИ ИВАНА ШМЕЛЕВА БЫЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ-старообрядцы из села Гуслицы Богородского уезда Московской губернии. Прадед писателя, тоже Иван Шмелев, поселился в Москве в 1812 году — в купеческой Кадашевской слободе; после Отечественной войны он торговал резными деревянными изделиями. Дело его подхватил сын Иван, который брал подряды на строительство домов, затем внук Сергей, отец писателя. Он занимался сплавом леса, у него была большая плотницкая артель, а кроме того — целая сеть бань, купален и портомоен на Москве-реке. Брал Сергей Шмелев подряды и на сооружение балаганов и каталь-

ных гор на Масленицу, и на возведение лесов в храме Христа Спасителя; устраивал иллюминации и памятные всей Москве праздничные фейерверки. Последний его подряд — создание помоста для публики на пушкинских торжествах в 1880 году. Мать, Евлампия Гавриловна, из купеческой семьи Савиновых, окончила институт благородных девиц, отец — всего четыре класса Мещанского училища. Отец был человек веселый, жизнерадостный, широкой души; мальчику он казался необыкновенным: сильным, прекрасным, умным, все умеющим. У матери был тяжелый характер. Отца Иван Шмелев вспоминал часто и с радостью — про мать не писал, кажется, ничего и никогда. Вера Николаевна Бунина записала в дневнике в 1929 году: «Шмелев рассказывал, как его пороли, веник превращался в мелкие кусочки. О матери он писать не может, а об отце — бесконечно».

Шмелевы жили на Большой Калужской в доме №13 [сейчас это Ленинский проспект, дом не сохранился. — Прим. авт.]. Во дворе дома всегда было многолюдно. Шмелев вспоминал: «Здесь, во дворе, я увидел народ. Я здесь привык к нему и не боялся ни ругани, ни диких криков, ни лохматых голов, ни дюжих рук. Эти лохматые головы смотрели на меня очень любовно. Мозолистые руки давали мне с добродушным подмигиванием и рубанки, и пилу, и топорик, и молотки и учили, как «притрафляться» к доскам, среди смолистого запаха стружек, я ел кислый хлеб, круто посоленный, головки лука и черные, из деревни привезенные лепешки. <...> Двор наш для меня явился первой школой жизни — самой важной и мудрой. <...> И все то, что теплого бьется в душе, что заставляет жалеть



И.С. Шмелев.
Около 1930 года

ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

и негодовать, думать и чувствовать, я получил от сотен простых людей с мозолистыми руками и добрыми для меня, ребенка, глазами...»

Главным человеком в этом мире для маленького Вани был старый плотник Михаил Горкин – его *дядька*, воспитатель и учитель, внушивший ему первые крепкие представления о добре и зле, Боге и дьяволе, о человеческой душе.

Эта Москва – крепко стоящая на ногах, крепко держащая в руках пилу и молоток, твердо верующая, страстная, безудержная в работе, в любви, в песне, в пьянстве – Москва разноцветная, полная запахов и звуков – поселилась в нем навсегда.

Мальчик смотрел на мир широко открытыми глазами – впитывал, запоминал, радовался, торопился поделиться с другими. Нянька за болтливость прозвала его «балаболкой». Шмелев вспоминал, как разговаривал с досками во дворе, с игрушками: «Все казалось живым, моим. Живая была метла, – бегала по двору за пылью, мерзла в снегу и даже плакала. И половая щетка была живая, похожая на kota на палке. Стояла в углу – «наказана». Я утешал ее, гладил ее волосики». Вместе с Горкиным он ходил на богомолье в Троице-Сергиеву лавру, где его благословил старец Варнава. Потом мать привезла ему от старца крестик; этот дар она поняла как обещание тяжелых испытаний. Семья была глубоко верующая. Дома книг не держали – только Евангелие и прабабкины еще Четыи минеи. Мальчик видел, как читают другие, попросил мать научить его читать, научившись – пристрастился к чтению.

НЕСЧАСТЬЕ

Отец умер в расцвете сил — 38-летним: упал с лошади, она проволокла его по дороге, он сильно расшибся. Ване было 7 лет. Несчастье накрепко врезалось в память; главы о смерти отца в «Лете Господнем» изумляют обилием деталей, которые увидели и запомнили детские глаза. Отец был главной фигурой в мире сына, а сиротство оказалось нестерпимо горьким.

Мать держала весь дом в ежовых рукавицах. Отец оставил после себя долги, так что прежнего приволья не было, хотя некоторый доход семье давали бани, кроме того, мать сдавала два этажа дома. Жить стали скромнее – но по-прежнему пекли по воскресеньям пироги, постились, говели, соблюдали вековой уклад.

Детей мать воспитывала страхом. Порола нещадно. «Возвращаясь из Первой гимназии, мальчик заходил в часовню Николая Чудотворца у Большого Каменного моста – она была разрушена в 1930-е – и, жертвуя редкую копеечку, просил угодника, чтобы поменьше пороли; когда его, маленького, худого, втаскивали в комнату матери, он с кулачками у груди, дрожа, криком молился образу Казанской Богородицы, но за негасимой лампадой лик Ее был недвижим, – пи-

шет Наталья Солнцева. – В молитве – все его «не могу» и «спаси»... но мать призывала в помощь кухарку, когда он стал старше – дворника. В четвертом классе Шмелев, сопротивляясь, схватил хлебный нож – и порки прекратились». Но тревожность осталась, остался и нервный тик. В одном из писем Шмелев рассказывал, как на Пасху, когда ему было 12 лет, мать давала ему пощечины всякий раз, как у него дергалось лицо: «Так продолжалось все разговение (падали слезы, на пасху, соленные) – наконец, я выбежал и забился в чулан, под лестницу, – и плакал».

Первой учительницей мальчика была мать; с нее началось знакомство с грамотой и русской литературой. Затем был частный пансион сестер Верзес; одиннадцати лет мальчик пошел в Первую гимназию возле храма Христа Спасителя. В гимназии ему пришлось туго: нервный, испуганный, одинокий, он путался, не успевал, получал единицы... «Меня подавили холод и сушь, – вспоминал он. – Это самая тяжелая пора моей жизни – первые годы в гимназии. Тяжело говорить. Холодные сухие люди. Слезы. Много слез ночью и днем, много страха». Через три месяца мать перевела его в Шестую гимназию, недалеко от дома, в Большом Толмачевском переулке (сейчас в этом здании – Педагогическая библиотека имени Ушинского). Здесь ему было легче, невзирая на гимназическую казенщину; здесь он пришел в себя и даже стал одним из

лучших учеников. Одноклассники прозвали его *ogator romanus* – «римский оратор» – за не закрывающийся рот: мальчику всегда было чем поделиться и что обсудить. В третьем классе он написал поэму о путешествии учителей на Луну – на воздушном шаре, сделанном из панталон латиниста. Был наказан сидением в гимназии в воскресенье.

В гимназии не все было безоблачно: немец ставил двойки, латынь давалась плохо, учитель словесности вlepил кол за сочинение, в котором мальчик упомянул

Надсона. Но когда словесность стал преподавать Федор Владимирович Цветаев, дядя Марины Цветаевой, Шмелев расцвел: новый учитель позволял ему быть собой и писать о природе вместо скучнейших сочинений о благодравии и о грамматике. И ставил пятерки, иногда с тремя плюсами.

Шмелев много читал (особенно увлекался приключениями, как большинство гимназистов той поры: непременно Гюстав Эмар и Фенимор Купер), увлекался театром, любил музыку – одна из сестер собиралась стать пианисткой, много играла дома; он внимательно слушал, сидя под фикусом. Однажды в порыве вдохновения написал либретто по лермонтовскому «Маскараду» и послал его композитору Аренскому; композитор не ответил, а либретто стало предметом насмешек всей консерватории.

Еще гимназистом Шмелев увидел Чехова – тогда еще Антошу Чехонте; об этом знакомстве – его знаменитый рассказ «Как я встречался с Чеховым», полный нежнейшего юмора и печали.

Шмелев думал, пробовал перо – писал рассказы, сочинил исторический роман, потом другой – в духе Толстого, который прятал на чердаке...

Летом перед восьмым классом он проводил каникулы на старой мельнице; романтическое место, старый мельник – совершенно из Пушкина и Алексея Толстого – так впечатлили его, что Шмелев в один присест написал рассказ «У мельницы» – и вскоре отнес его в журнал «Русское обозрение». Рассказ увидел свет, когда автор был уже студентом; ему заплатили 80 рублей, и гонорар показался ему огромным. Правда, до серьезного писательства оставалось еще лет десять.

РАБОТА

Шмелев окончил гимназию в 1894 году, ему не хватило всего полбалла, чтобы получить медаль. Сразу поступил на юридический факультет Московского университета, где проучился четыре года. Он продолжал искать себя: «В молодости его круто шатало: от истовой религиозности к сугубому

рационализму в духе шестидесятников, от рационализма – к учению Л.Н. Толстого, к идеям опрощения и нравственного самоусовершенствования», – пишет Олег Михайлов.

В 1895 году Шмелев женился на Ольге Охтерлони, дочери генерала, героя Севастопольской обороны. В свадебную поездку молодые отправились на остров Валаам; перед поездкой получили благословение от старца Варнавы. Из поездки Шмелев привез множество впечатлений, которые изложил в книге очерков «На скалах Валаама». Книгу издал за свой счет. В ней вроде и угадывается будущий Шмелев – по точности описаний, по чуткости слуха. И в то же время трудно его угадать – так это плоско, дешево, неточно: монах «два раза оглянулся на нас и торопливо пошел, точно боялся, что мы заговорим с ним, расспросим печальную повесть его души. Видимо, одичал человек... Суровая природа и тяжкая атмосфера монастырской жизни поглотила свойства человеческого духа. И мне стало жаль человека, который притаился в нем под монашеской ряской, стало жаль человеческое сердце». Книгу задержала и серьезно покалечила цензура. Раскупалась она плохо, большую часть тиража Шмелев отдал букинисту за ничтожные деньги.

В 1896 году у Шмелевых родился сын Сергей. В 1898 году Иван Шмелев, окончив университет, поступил на военную службу, отслужил год и затем несколько лет служил чиновником в уездных городах Московской и Владимирской губерний. Ему было очень трудно: хорошие русские писатели обычно плохие чиновники. И даже те из них, у кого получается быть хорошими чиновниками (вот хоть Салтыков-Щедрин, которым Шмелев восхищался в молодости и чью сатиру потом считал вредной для России. – **Прим. авт.**) – и те тоскуют от неустроенности и придурковатости провинциальной русской жизни. Шмелев писал об этом времени: «Служба моя явилась огромным дополнением к тому, что я знал из книг. <...> Я знал столицу, мелкий ремесленный люд, уклад купеческой жизни. Теперь я узнал деревню, провинциальное чиновничество, фабричные районы, мелкопоместное дворянство». Служба его не увлекала, писать он почти перестал. Снова взялся за перо во время первой русской революции. Он рассказывал критику Львову-Рогачевскому: «Я был мертв для службы. Движение девятисотых годов как бы открыло выход. Меня подняло. Новое забрезжило передо мной, открывало выход гнетущей тоске. Я чувал, что начинаю жить».

Это новое брезжит в его первых рассказах и повестях о маленьких людях; среди них внимание публики особенно привлек «Гражданин Уклекин» – история не столько пьяного и буйного сапожника Уклекина, сколько оскорбленного человеческого и гражданского достоинства. В этих книгах появляются и новые ге-

рои: сильные, уверенные в себе люди из рабочей среды, так непохожие на забитого, измученного нуждой и несчастьями маленького человека из классической русской литературы. Правда, Шмелев пока не особенно хорошо представляет себе, что это за герои и что с ними делать: тип будущего революционера уже угадан, но не слишком автору знаком. А хорошо знакомые представители старого мира – те чувствуют в воздухе какую-то новую правду – и вот уже в рассказах Шмелева жандарм, увидев на баррикаде своего сына, не может поднять руку на рабочих, а капитана, участвующего в военно-полевом суде над революционерами, терзают муки совести.

Шмелев в это время – очень средний писатель, один из тех, что сплотились во круг горьковских сборников «Знание»; к этому кругу он примкнул сразу, как приехал в Москву. Пишет он очень неровно. Трудно узнать в этом вялом повествовании руку будущего Шмелева: «Чем больше Лида погружалась в узкий круг вопросов бедного, забитого люда, тем сильнее иногда, в минуты подъема, хотелось ей сбросить гнет мелких желаний и пошлость жизни без стремлений, без сильных переживаний. Тогда казалось ей, ненавидит она своих сослуживцев с их бесконечными жалобами и трусливою лестью». Так писал в 1900-х кто угодно – любой третьеразрядный писатель-реалист. Свой голос Шмелев обретает в знаменитом «Человеке из ресторана» – истории лакея, рассказанной от первого лица. Литературоведы говорят о сказовой манере «Человека из ресторана»: текст написан языком малограмотного городского обывателя, в нем угадывается будущая скороговорка зощенковских героев. Солженицын различал в «Человеке из ресторана» и зачатки платоновского синтаксиса – и выписал для себя множество любопытных оборотов («почему вы так выражаете про мертвое тело?»; «хорошо знаем взгляды разбирать и следить даже за бровью»; «по моему образованному чувству»; «даже не за полтинник, а из высших соображений») и метких простонародных выражений. Правда, в отличие от зощенковских мещан, шмелевский герой Скороходов – человек мудрый, душевно чистый и внутренне благородный, наделенный при этом саркастической наблюдательностью: «Одна так-то все про то, как в подвалах обитают, и жалилась, что надо прекратить, а сама-то рябчика-то в белом вине так и лущит, так это ножичком-то по рябчику, как на скрипочке играет»...

«Человек из ресторана» имел огромный успех. Шмелев рассказывал позднее, что семь лет спустя в голодном Крыму хозяин маленького ресторанчика продал ему хлеб только потому, что узнал в нем автора этой книги.

«Десятые годы двадцатого века – по человеческим меркам – лучшее время в его жизни. Он был счастлив в семье, печатался в крупнейших российских газетах, входил в «Книгоиздательство писателей в Москве», выпустил восьмитомное собрание произведений и редактировал сборники «Слово». Бунин, Белоусов, Зайцев, Вере-

саев, Сергеев-Ценский, Серафимович, Андреев – вот круг его друзей и единомышленников», — пишет литературовед Елена Осьминина.

Постепенно среди рассказов и повестей «с направлением» стали появляться другие, обещающие нового Шмелева – в первую очередь «Ростани», медленное повествование о том, как старый богатый купец едет на родину умирать. Неторопливое любованье миром, спокойная готовность к близкой смерти и тихая радость жизни – вот, собственно, и все, что есть в этой длинной книге (Георгий Адамович потом обозвал ее «соляночкой на сковороде», чем сильно разозлил автора). Шмелев все чаще говорит о красоте жизни, которой не замечают его герои, занятые повседневной суетой. Об этой невероятной, вечной красоте – его «Неупиваемая чаша», написанная уже в 1918 году, – трагическая история крепостного художника, умершего от тоски, нереализованности, невозможности любви. Сюжет печальный, история горькая – а читается с такой радостью, что дух захватывает, потому что главный герой, художник Илья, смотрит на жизнь любящими глазами и находит в ней бесконечный источник радости.

РЕВОЛЮЦИЯ

Февральскую революцию он принял с энтузиазмом: ездил по России, выступал на митингах и собраниях, встречался с политкаторжанами, о чем восторженно сообщал сыну на фронт. Сын, мобилизованный в 1915 году, во-

евал; отец слал ему письма, где рассуждения о темноте русского народа чередуются с трогательными расспросами, не забывает ли его ласточка надевать шарф... Октябрьскую революцию он не принял. В 1918 году уехал с семьей в Крым к Сергееву-Ценскому – может быть, надеялся там переждать бурные годы. Сын, вернувшийся из армии, был мобилизован белыми. Он вернулся с фронта Гражданской совсем больной, но за границу с отступавшей армией не поехал. Шмелевы

сознательно остались на родине; в 1920 году Иван Сергеевич даже купил домик в Алуште. Когда Красная армия заняла Крым, Сергея Шмелева арестовали прямо в лазарете, увезли – и он пропал бесследно. С декабря 1920 года по весну 1921-го, несколько месяцев подряд, Шмелев искал сына. Писал в Москву Луначарскому, просил его о помощи. Луначарский обращался к Калинин – но помочь уже было нечем: сына расстреляли без суда и следствия еще зимой.

Шмелев получил от Калинина охранную грамоту и нищенский паек. Думал уехать в Москву, но не находил душевных сил: как уехать от дома, связанного с памятью о погибшем сыне.

В 1921 году в Крыму начался голод; об этих остановившихся, выморочных, бессмысленно-страшных днях всеобщего умирания он потом написал «Солнце мертвых», может быть, одну из самых страшных книг в мире. Может, он и выжил сейчас только потому, что понимал, что должен об этом рассказать: о детях, с рычанием грызущих копыта дохлой лошади, о брошенном павлине, о расчеловеченных людях, крадущих друг у друга скот, о человеке, который не мог достать для жены гроба и похоронил ее, заперев в шкафу на ключик... Эту книгу почти невозможно читать – рваное, бесконечное повествование тянет из читателя душу, ползет долго и страшно – это хуже, чем документальные свидетельства о войне, блокаде, концлагерях: нет в этом умирании ни героизма, ни духовного сопротивления, ни борьбы со злом – только бессмыслица, только смерть, только бескрайнее горе, только злое солнце в пустом небе. «Бога у меня нет: синее небо пусто», – сказал Шмелев. Жить стало нечем и незачем.

ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ

Бунин позвал его к себе в Париж – «на отдых, на работу литературную». Шмелев поехал – через Москву и Берлин. Он понимал сейчас: он должен рассказать миру, что происходит в России. За границей он начал выступать в печати, на литературных вечерах, окупился в бурную эмигрант-

скую полемику: все это позволяло жить после жизни. Наталья Солнцева, биограф писателя, сообщает: «С 1923 года он состоял членом Русского национального комитета, которым руководил А.В. Карташев. Он включился в работу «Союза русских инвалидов». Как Бунин и Куприн, был почетным членом Общества русских студентов для изучения и упрочения славянской культуры. И хотя он в минуты отчаяния называл свою жизнь во Франции призрачной, его деятельность в эмигрантской среде была вовсе не призрачной. Он хлопотал о денежных пожертвованиях воевавшим в Первую мировую и в Гражданскую войны, на страницах журнала «Литература и жизнь» (1928 №1) он призывал создать Зарубежный литературный фонд для оказания материальной помощи литераторам, для содействия страхованию их собственности, он участвовал в благотворительных изданиях».

«Солнце мертвых» – нельзя сказать «имело успех», это понятие из другой жизни – его заметили, его прочитали, перевели на 13 языков.

Шмелев стал задумываться о том, чтобы собрать другую книгу – книгу памяти об утраченном, «Солнце живых» – в параллель «Солнцу мертвых». Рассказать о том, что было в той, ушедшей России живого, любимого, настоящего. Он начал с небольших детских рассказов о православных праздниках – первым из них стал рассказ «Рождество» в 1928 году.

Если что и может спасти человека, которому больше некуда жить, – то только любовь. И не только любовь к утраченному: в жизни Шмелева появился если не новый смысл, то новая привязанность, душевная радость. Во Франции они жили у племянницы Ольги Александровны, Юлии Кутыриной. От распавшегося брака с французом у нее был сын, Ив Жантийом. Иван Шмелев стал крестным отцом мальчика; мать ребенка работала, Ива фактически воспитывали Шмелевы. Когда они расставались, Шмелев писал крестнику подробные письма – то о знакомых крабах, то о шишках, загорающихся от жары... выспрашивал подробности, журил за скверный почерк, рассказывал о чудесах и тайнах: «Я хожу (не езжу на велосипеде) и узнал много таинственных мест. Говорят, что в самой глуши леса есть... но об этом лучше не говорить, а надо пойти и поглядеть!» Ив Жантийом написал воспоминания о дяде Ване; уже в старости передал в Россию архив Шмелева и помогал перенести его прах на кладбище Донского монастыря. Иву – Ивушке – Шмелев и начал рассказывать о детстве, о праздниках, и из этих рассказов – Рождество, Масленица, Пасха... – со временем сложилось «Лето Господне», взгляд на живое бытовое русское православие счастливыми, изумленными детскими глазами. «Лето Господне» дышит, пахнет, звенит колоколами, жужжит летним лугом, шепчет, плачет, радуется; здесь

мощная живопись и детская наивность, здесь сусальное умиление и вечная тайна. Книга получилась не горькая, прощальная, засыпанная пеплом ностальгии, а яркая, ликующая, полная любви, светящаяся изнутри. Солженицын замечал, что крупным русским писателям в эмиграции выпали долгие годы «на душевную проработку пережитого», причем «у иных, в том числе и у Бунина, она приняла окраску эгоистическую и порой раздраженную (на этакий недостойный народ)» — а Шмелеву «дано было пройти оживление угнетенной, омертвелой души – катарсис».

Одновременно с «Летом Господним», работа над которым заняла семнадцать лет, он начал «Богомолье», своего рода приложение к роману – и писал потом: «Работа над «Богомольем» спасла меня от ПРОПАСТИ, – удержала в жизни. О сем знала лишь ныне покойная моя жена». Ольга Александровна умерла в 1936 году; Шмелев тяжело переживал ее смерть – разбирал архивы, раздавал личные вещи, оставил работу над романом «Пути небесные», словно готовясь уйти вслед за женой.

Через три года, однако, его вернула к жизни новая любовь – и ее тоже звали Ольгой Александровной. Ольга Бредиус-Субботина, замужняя дама, жила в Голландии, написала Шмелеву просто как читательница и поклонница. Знакомы они были через философа Ильина, с которым состояли в переписке. Переписка с Бредиус-Субботиной длилась несколько лет и превратилась в роман в письмах – здесь и повседневные новости, и религия, и философия, и воспоминания, и политика – и нежность, нежность, бесконечная нежность. В письмах военного времени оставили след и заблуждения Шмелева, стоившие ему доброго имени: «Это бой с бесовской силой... и не виноват перед Богом и совестью идущий, если бесы прикрываются родной нам кровью», – пишет он, рассказывая о знакомых, уходящих на Восточный фронт. Бредиус-Субботина отвечала ему иносказательно (письма проверяла немецкая цензура), что смысл войны – не в этом, рассказывала о том, что такое тоталитаризм; отчасти под ее влиянием Шмелев к 1943–1944 годам изменил позицию.

После войны его обвинили в коллаборационизме, сотрудничестве с фашизмом. Главными пунктами обвинения стали публикации в «Парижском вестнике», выходившем в оккупированном Париже, и участие в молебне по поводу «освобождения Крыма». Писатель оправдывался, говоря, что в газете – единственной доступной русскоязычным читателям – он писал о прекрасной России; что на молебен пошел только потому, что ему напомнили: ведь там, в Крыму, ваш Сережа! – задели за самое больное. Он пошел на панихиду – не радоваться, а молиться об убитых; он надеялся вернуться в Крым, найти Сережу, опознать по отсутствующим двум зубам, похоронить по-христиански...

Для него закрылись редакции, исчезла возможность поехать в Америку, куда его звали. Он бедствовал, и многие помогали ему деньгами. Он был тяжело болен – еще с крымского голода страдал язвой желудка. В 1949 году едва не умер, перенес тяжелую операцию, исхудал до 39 килограммов; денег на операцию, лечение, питание не было – собирали друзья. Он не мог есть, не мог спать – понимал, что уходит. И совсем не боялся смерти.

В июле 1950 года он приехал в монастырь Покрова Пресвятой Богородицы в Бюси-ан-От и вечером в день приезда умер от сердечного приступа; монахиня монастыря мать Феодосия, которая нашла его мертвым, сказала: «Человек приехал умереть у ног Царицы Небесной под Ее Покровом». Жизнь вместила все: счастье, славу, изгнание, горе, нечеловеческие в прямом смысле слова испытания. И номинацию на Нобелевскую премию, и позор. Человек он был резкий, страстный, для литературных и политических противников не жалующий скверных слов (вон как Набокова приложил за «Приглашение на казнь», в котором ничего не понял: «Это – словесное рукоблудие. <...> Весь – ломака, весь – без души, весь – сноб вонький. Это позор для нас, по-зор и – похабнейший»). Суровый, не прощающий – не принимал денег за публикации своих произведений в России: от убийц сына не возьму. Поразительно, пожалуй, что литературным итогом этой мучительной жизни стало не проклятие, вопль ненависти и непощения, не полная горечь разбитой жизни – а гимн счастья, признание в любви России, и пасхальная радость, и сияние Божества: «Я смотрю через золотистое хрустальное яичко. Горкин мне подарил, в заутреню. Все золотое, все: и люди золотые, и серые сараи золотые, и сад, и крыши, и видная хорошо скворешня, – что принесет на счастье? – и небо золотое, и вся земля. И звон немолчный кажется золотым мне тоже, как все вокруг».

тальной жизни стало не проклятие, вопль ненависти и непощения, не полная горечь разбитой жизни – а гимн счастья, признание в любви России, и пасхальная радость, и сияние Божества: «Я смотрю через золотистое хрустальное яичко. Горкин мне подарил, в заутреню. Все золотое, все: и люди золотые, и серые сараи золотые, и сад, и крыши, и видная хорошо скворешня, – что принесет на счастье? – и небо золотое, и вся земля. И звон немолчный кажется золотым мне тоже, как все вокруг».



АЛЕКСАНДР БУРЫЙ

В НАЧАЛЕ БЫЛО «СЛОВО»

ЛАДА КЛОКОВА, АЛЕКСАНДР БУРЫЙ

...Мы стояли у обочины, оглядывая окрестности и досадуя на вынужденную остановку. Таксист, спрятавшись под капотом, копался в механических внутренностях и уговаривал свой старенький автомобиль «не позориться». Большая крылатая тень упала на дорогу: в небе над нами плавно скользила хищная птица. Сделав круг, она полетела в ту сторону, куда мы и держали путь, — к Новгороду-Северскому.

— ЧЕГО ТАМ СМОТРЕТЬ-то? — любопытствовал таксист, справившись наконец с поломкой. — Монастырь да арка триумфальная. Что там интересного?

— Как же? А музей «Слово о полку Игореве»? — удивились мы.

— А есть такой? Слышал про эту сказку, но сам не читал. Да и что там осталось-то от этого... Игоря? Он кто вообще был?

Оправившись от легкого шока, мы постарались напомнить потомку жителей Черниговского княжества славную историю этой древней земли и рассказать о судьбе бедового, но гордого князя Игоря Святославича – главного героя уникального памятника древнерусской литературы.

МЯТЕЖНЫЙ РОД

Кажется, только в одном не повезло русской литературе: в Новое и Новейшее время не появились выдающиеся авторы, которые обратили бы свои взоры на историю средневековой Руси. Не родились у нас Вальтеры Скотты и Морисы Дрюоны. А будь иначе, возможно, не казалась бы нам столь запутанной крона генеалогического древа Рюриковичей. И выяснилось бы, что история княжеского рода по накалу страстей, низости и благородству поступков, верности и предательству, героизму и интригам ничуть не уступает истории королевских домов Британии или Франции...

И «Слово о походе Игоревом, Игоря, сына Святославова, внука Олегова», которое мы называем «Словом о полку Игореве» или просто «Словом», вовсе не сказка, а поэма, повествующая о реальном эпизоде из истории Руси XII века. И не случайно в ее названии расшифровывается, о каком именно князе Игоре идет речь: понятие «род» для наших предков значило гораздо больше, чем для нас. Так какого же рода был князь Игорь?

...В феврале 1054 года в Вышгороде, в 8 верстах от Киева, умер великий князь Ярослав Мудрый. Его наследниками стали пять сыновей: старший, Изяслав, получил Киев, Святослав – Чернигов, Всеволод – Переяславль, Игорь – Владимир-Волынский, а Вячеслав – Смоленск. Игорь и Вячеслав вскоре скончались, и оставшиеся три брата правили Русью, объединившись в «триумvirат Ярославичей». Они обновили законы, создав «Правду Ярославичей», вместе противостояли торкам и половцам, а также полоцкому князю-смутьяну Всеславу Чародею, победив его в битве на Немиге и заточив в Киеве в поруб...

Первая трещина в триумvirате появилась в 1068 году, когда дружины князей были разбиты на реке Альте ордой половцев хана Шарукана. Хан двинулся к Киеву, а спрятавшиеся там Изяслав и Всеволод отказались вооружить горожан для обороны. Киев восстал. Изяслав бежал, а вече выпустило из поруба Чародея и провозгласило его великим князем. В этой тяжелой ситуации не растерялся только прадед героя «Слова» – Святослав Ярославич, сумевший разбить половцев под Сновском, несмотря на то, что его дружина по численности втрое уступала орде Шарукана. К тому же, как утверждает Новгородская летопись, Святославу даже удалось взять в плен самого Шарукана.

Между тем Изяслав уже шел с польскими войсками на Киев. Чародей бежал из столицы, и запаниковавшие киевляне призвали Святослава и Всеволода. Триумvirат трещал по швам. Но обошлось без крови: после переговоров Киев вернули Изяславу, а Святослав получил вдобавок к Чернигову и Тмутаракани еще и Великий Новгород, где посадил своего сына.

Спустя пять лет после битвы на Альте триумvirат распался: в 1073 году Святослав убедил Всеволода, что Изяслав замыслил известить братьев и плетет заговор с Чародеем. Всеволод поверил. Святослав захватил Киев, а Всеволод сел в Чернигове. Изяслав вновь бежал в Польшу.

Именно этот момент и стал поворотным в судьбе династии Рюриковичей. Незаконный захват Святославом власти в Киеве нарушил лестничную систему наследования трона и породил массу династических противоречий. После смерти Святослава в 1076 году Всеволод, во избежание смуты, вернул Киев Изяславу, но было уже поздно. Сыновья Святослава стали князьями-изгоями, лишившись родного Чернигова. А после смерти последнего из «триумvirата Ярославичей», Всеволода, когда киевляне позвали на княжение его сына Владимира Мономаха, черниговский дом, возглавляемый неугомонным сыном Святослава Олегом, решил вернуть себе не только «отчину», но и киевский стол. Притязания Олега на Киев были, мягко говоря, незаконными, но ради достижения цели князь шел на любые интриги и союзы, включая договоры с половцами, которых он не раз «наводил» на Русскую землю. Видимо, из-за этого он и стал «Гориславичем» (то есть «сжегший, прожегший славу своих предков». – **Прим. авт.**), как называет его «Слово», уточняя: «Олег мечем крамолу коваше». Восемнадцать лет шла распря Гориславича с дядьями, а затем и с двоюродным братом Владимиром Мономахом. Два раза он ненадолго занимал черниговский стол. Но после княжеского съезда в Любече в 1097 году и до своей смерти в 1115 году укрощенный Мономахом Олег сидел в своем уделе – Новгороде-Северском (Чернигов отошел его старшему брату, Давиду. – **Прим. авт.**). Открыто в княжеских распрях он не участвовал и

упорно уклонялся от походов Мономаха на половцев. Оно и понятно: Гориславича с Дешт-и-Кыпчак (Половецкой землей) связывали не только союзные, но и родственные отношения. Вторым браком он был женат на дочери хана Осолука, а один из его четырех сыновей – на дочери хана Аепы. Это был Святослав Ольгович – отец героя «Слова о полку Игореве»...

НЕИЗБЫВНАЯ ВРАЖДА

– Да тут дороги со времен того Игоря не ремонтировали! – злится таксист, когда машина в десятый раз за последние пять минут ухаеется в яму.

Мы проезжаем центр городка, единственным украшением которого является конная статуя Игоря Святославича, грозящего мечом то ли давно сгинувшим половцам, то ли работникам дорожно-ремонтного управления. Машин, как и людей, немного, так что до южной окраины Новгорода-Северского добираемся быстро: именно здесь, в Спасо-Преображенском монастыре, располагалась резиденция новгород-северских князей. Согласно церковному преданию, этот монастырь был заложен то ли Ярославом Мудрым, то ли его родным братом Мстис-

Фрагменты из различных переводов «Слова о полку Игореве»

В переводе

Н.А. Заболоцкого

*«Не пора ль нам, братия, начать
О походе Игоревом слово,
Чтоб старинной речью рассказать
Про деянья князя удалого?
А воспеть нам, братия, его –
В похвалу трудам его и ранам –
По былинам времени сего,
Не гоняясь в песне за Бояном.
Тот Боян, исполнен дивных сил,
Приступая к вещему напеву,
Серым волком по полю кружил,
Как орел под облаком парил,
Растекался мыслию по древу».*

В переводе

А.Н. Майкова

*«Не начать ли нашу песнь, о братья,
Со сказаний о старинных бранях, —
Песнь о храброй Игоревой рати
И о нем, о сыне Святославле!
И воспеть их, как поется ныне,
Не гоняясь мыслью за Бояном!
Песнь слагая, он, бывало, вещий,
Быстрой векшей по лесу носился,
Серым волком в чистом поле рыскал,
Что орел ширял под облаками!»*

В переводе

В.А. Жуковского

*«Не прилично ли будет нам, братия,
Начать древним складом
Печальную повесть о битвах Игоря,
Игоря Святославича!
Начаться же сей песни
По былинам сего времени,
А не по вымыслам Бояновым.
Вещий Боян,
Есть ли песнь кому сотворить хотел,
Растекался мыслию по древу,
Серым волком по земле,
Сизым орлом под облаками».*

В переводе

С.В. Ботвинника

*«Не уместно ль начать нам, братья,
старым слогом
печальную повесть
о походе Игоря-князя,
Игоря Святославича?
Но вести эту песню надо
по былинам нашего времени —
не по замышленью Боянову.
Боян вещий, если хотел он
сотворить кому свою песню,
растекался мыслью по древу,
по земле серым волком рыскал,
орлом сизым — под облаками».*

В переводе

Д.С. Лихачева

*«Пристало ли нам, братья,
начать старыми словами
печальные повести о походе Игоревом,
Игоря Святославича?
Пусть начнется же песнь эта
по былям нашего времени,
а не по замышлению Бояна.
Ибо Боян вещий,
если хотел кому песнь воспеть,
то растекался мыслию по древу,
серым волком по земле,
сизым орлом под облаками».*

В переводе

К.Д. Бальмонта

*«Нам начать не благо ль, братья,
песню старыми словами,
Песнь, как полк в поход повел он, слав-
ный Игорь Святославич?
По былинам лет тех бывших,
не по замыслу Баяна,
Эту песнь зачем мы, братья.
Он, Баян, певец тот вещий,
Коль кому восхочет песни,
белкой он течет по древу,
По земле он серым волком и орлом
под облак сизым».*

лавом Лютым. Здесь же в начале XII века были построены деревянные Спасский собор и Михайловская церковь. А на рубеже XII–XIII веков, то есть во время княжения Игоря Святославича, на месте старого, деревянного, был возведен каменный Спасский храм.

– Скорее всего, из старого Спасского собора Игорь и уходил в свой знаменитый поход, – говорит экскурсовод музея «Слово о полку Игореве» Ирина Лобачева. – Ведь раньше без молебна и благословения такие важные дела не начинали.

Музей, расположенный на территории действующего Спасо-Преображенского монастыря, маленький, но очень уютный и гостеприимный. Удивляло нас только одно: пробыли мы в музее около двух часов и за все это время встретили еще только двух посетительниц – землячек из Москвы...

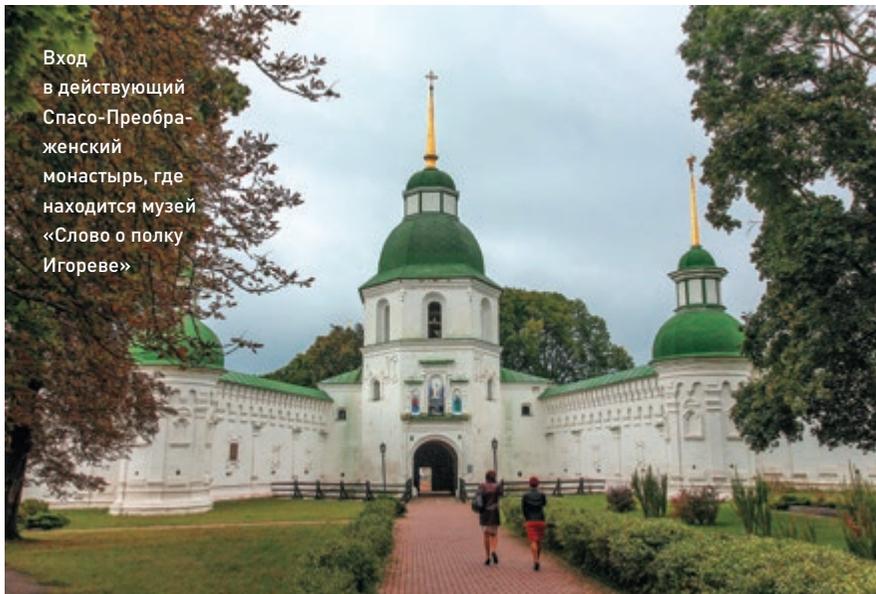
Здесь, в резиденции новгород-северских князей, и родился Игорь в апреле 1151 года. Но не от половчанки, а от второй жены Святослава – некой новгородской боярыни. Как сообщает Новгородская летопись, в 30-х годах XII века сын Гориславича, княживший тогда в Великом Новгороде, там и нашел вторую княгиню. Видимо, история была романтическая: князь женился, несмотря на то, что новгородский епископ Нифонт отказался венчать влюбленных, заявив: «Не положено ее тебе брать». Так что Святослав «венчался своими попами у Святого Николы». Не ясно, почему возражал Нифонт. Возможно, первая княгиня была еще жива? А вот Василий Татищев со ссылкой на загадочную Ростовскую летопись уточняет, что князь в Новгороде женился на некой Петриловне, муж которой незадолго до того был убит дружинниками Святослава.

Во втором браке у князя родились три сына и три дочери, Игорь был предпоследним ребенком – младше его оказался только брат Всеволод, знаменитый Буй-Тур, прозванный так за отвагу и воинскую доблесть.

Можно не сомневаться, в честь кого получил свое имя будущий герой «Слова» – конечно, в честь родного брата Святослава Ольговича. Трагическая судьба Игоря Ольговича (в крещении Георгия; то же крестильное имя получил и герой «Слова». – **Прим. авт.**) заслуживает небольшого отступления.

Со смертью Гориславича черниговские князья не отказались от вражды с Мономахичами. Но, наученные горьким опытом, они теперь действовали осторожнее и хитрее, внося раздоры в родственный вражеский клан. Эта тактика принесла свои плоды: в течение XII века потомки Гориславича не раз оказывались на киевском троне, но в итоге всегда проигрывали потомкам Мономаха. В числе таких «счастливчиков» был и родной брат Святослава Ольговича – Игорь, правивший Киевом пару недель. Чтобы отстоять киевский стол, ему пришлось в 1146 году сражаться с Мономахичем – Изяславом, сыном Мстислава Великого (брат Юрия Долгорукого. – **Прим. авт.**). Но в битве у Надова озера войска Игоря перешли на сторону Изяслава Мстиславича, что красноречиво свидетельствовало об отношении киевлян к Ольговичам. Игорь был пленен, отвезен в Киев и посажен новым киевским князем Изяславом в поруб. Здесь он опасно заболел и принял постриг, став иноком киевского Феодоровского монастыря. В 1147 году в Киеве начались беспорядки: горожане, прознав про заговор Ольговичей, вознамерившихся захватить и убить Изяслава, собрались на вече и решили расправиться со схимником Игнатием – Игорем Ольговичем. Брат Изяслава – Владимир Мстиславич – пытался спасти князя-инока: сам чуть не погиб, но сумел отбить Игоря у озверевшей толпы и даже спрятать его в тереме своей матери. Однако разъяренные горожане ворвались и туда, убили Игоря и жестоко поглумились над трупом. Гибель князя-монаха потрясла современников, а пришедшие в себя киевляне позже оправдывались: «Не мы его убили, а Ольговичи, Давыдовичи и Всеволодовичи (черниговские князья. – **Прим. авт.**), что мыслили на князя нашего». Киевская летопись сообщает, что ночью в церкви Святого Михаила над телом убитого князя-монаха сами собой зажглись свечи...

Узнав о гибели Игоря, Святослав Ольгович «плакался горько по брате своем». Но, проклиная Мономахичей, Ольговичи не уклонялись и от союзов с некоторыми из них, при малейшей возможности подливая масла в огонь распри потомков Мономаха. Именно поэтому Святослав Ольгович был надежным и верным союзником Юрия Долгорукого, который полтора десятка лет вел войну со своим племянником Изяславом Мстиславичем за Киев. Это именно Святославу Ольговичу Новгород-Северскому слал восточку Юрий Владимирович: «Приди ко мне, брат, в Москов». В Москве и состоялась их встреча в апреле 1147 года. Обменявшись подарками (Святослав преподнес в дар суздальскому князю экзотического барса. – **Прим. авт.**), союзники договорились о взаим-



Вход в действующий Спасо-Преображенский монастырь, где находится музей «Слово о полку Игореве»

АЛЕКСАНДР БУРЫЙ

КНЯЖЕСКАЯ ДОЛЯ

– Северское удельное княжество, столицей которого и был Новгород-Северский, включало земли древних северян, радимичей и вятичей, – рассказывает Ирина Лобанова. – У нас нет точных сведений о том, как Олег Святославич, княживший после смерти отца в Новгороде-Северском, распределил уделы между своими братьями, но, судя по всему, Игорю достался Путивль. Сведений о князе Игоре в русских летописях немного, но и их вполне достаточно для того, чтобы проследить его жизнь, хотя бы пунктирно, до и после трагического похода в Степь.

Первый раз Игорь Святославич упоминается в летописях в связи с ужасающим разгромом Киева в 1169 году. Тогда Игорь и его старший брат, Олег, беспрекословно примкнули со своими дружинами к войскам сильнейшего князя, правившего Владимиро-Суздальской Русью, Андрея Юрьевича Боголюбского. Сын Юрия Долгорукого не просто ввязался в драку за киевский стол, он продемонстрировал всей Руси, что больше не считает Киев стольным градом (Боголюбский даже не посчитал нужным занять престол, посадив на него своего младшего брата, Глеба. – **Прим. авт.**) и намерен превратить в новую столицу государства свой Владимир. Ни Олег, ни Игорь Святославичи не могли отказать себе в удовольствии поучаствовать в очередной внутренней распре Мономашичей, хоть и выступали

ной поддержке: Юрий обещал помочь Святославу отвоевать свой удел, а Святослав дал слово поддерживать притязания суздальского князя на Киев. Надо сказать, что оба союзника свои обещания сдержали...

Когда Игорю исполнилось 6 лет, его отец Святослав Ольгович перешел на княжение в Чернигов. А спустя семь лет – в 1164 году – он умер, и княгине с детьми пришлось вернуться в Новгород-Северский, где стал княжить старший сын Святослава – Олег Святославич. Думается, после стольного Чернигова возвращение в родной, но все-таки провинциальный Новгород-Северский не слишком обрадовало 13-летнего Игоря.

Можно не сомневаться, что княжич был достойным отпрыском своего рода, для которого открытая или тайная вражда с Мономашичами была делом не только чести, но и привычки. Однако трудно не признать и другое: с каждым новым поколением Ольговичи становились все слабее, все меньшее влияние оказывали они на внутреннюю политику, играя вторые и третьи роли в спорах русских князей. Кажется, многолетняя распря с Мономашичами слишком дорого обошлась черниговскому роду. Но, видно, даже горькая слава Гориславича не давала покоя его потомкам. Не в этом ли в том числе кроется причина безрассудного решения князя Игоря, двинувшего свои полки навстречу смерти в половецкую степь?..

в ней в роли «молодых князей».

Женился князь Игорь либо в 1169, либо в начале 1170 года. Его избранницей стала дочь галицкого князя Ярослава Осмомысла и его супруги Ольги – родной сестры Боголюбского. Так что с помощью жены Игорь Святославич породнился с потомками Долгорукого. Жена Игоря – это и есть «Ярославна» из

«Слова», плач которой со стен Путивля считается одной из главных жемчужин поэмы. Как звали Ярославну, нам, увы, неизвестно. Ее часто именуют Евфросинией, но насколько это имя соответствует действительности – не ясно. В конце 1170 года у княжеской четы родился первый из шести детей – сын, названный Владимиром.

А в следующем году на Русь вторглись половцы, привлеченные возможностью пограбить приграничье, пока русские князья выясняли отношения в очередных междоусобных войнах. Кто из старших князей отправил против них Игоря Святославича – неизвестно, некоторые историки предполагают, что это был его двоюродный брат Святослав Всеволодович, княживший тогда в Чернигове. Игорь со своей дружиной нагнал у реки Ворсклы половцев, возглавляемых ханами донской и лукоморской орд – Кончаком и Кобяком соответственно. Степняки, заметив русские полки, бросили все награбленное, а также пленных и пустились наутек. Дружинники Игоря нагнали бегущего врага, расправа оказалась быстрой: часть половцев были перебиты, а многие попали в плен.

Следующее упоминание князя Игоря в летописях относится к 1173 году, когда все черниговские князья вновь беспрекословно присоединились к войску Андрея Боголюбского, в очередной раз решившего «наказать» Киев. Казалось, черниговский дом уже распрощался со своими претензиями на киевский стол и окончательно подчинился клану Мономахичей. Однако все изменилось 29 июля 1174 года, когда в Боголюбове был предательски убит своими боярами Андрей Боголюбский. Сильнейший из Мономахичей пал, и в роду тут же началась грызня, которой успешно воспользовался глава черниговского дома Святослав Всеволодович, ставший в итоге великим князем Киевским (правил Киевом в 1173, 1176–1181 и 1181–1194 годах. – **Прим. авт.**). Искушенный политик, поднаторевший в много-

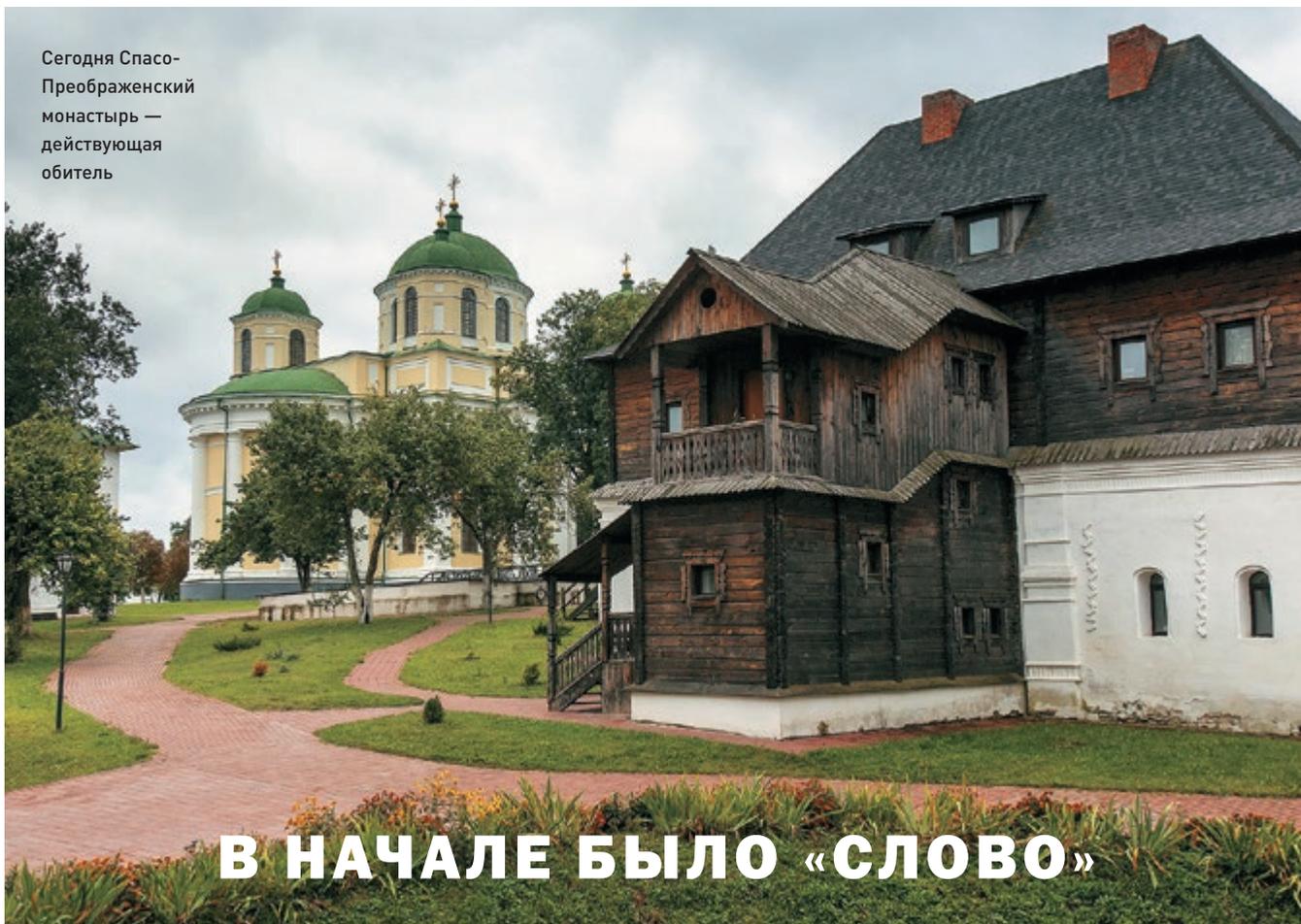
летних интригах с Мономахичами, как оказалось, не испытывал никакого снисхождения и к своим ближайшим родственникам. Зря Олег Святославич, старший брат Игоря, рассчитывал на то, что с переходом родственника в Киев получит черниговский стол. А Игорь надеялся, что в таком случае получит в правление Новгород-Северский. Но – нет. В Чернигове Святослав Всеволодович посадил княжить своего сына. Новгород-северские князья смирились, но обиду затаили.

Конечно, мира по-прежнему не было. Святослав Всеволодович очень быстро столкнулся с противодействием Мономахичей – самого младшего сына Юрия Долгорукого, владимирского князя Всеволода Большое Гнездо (о котором «Слово» говорит, что он «Волгу может веслами расплескать, а Дон шеломами вычерпать»), и смоленских братьев Ростиславичей – Романа, Давыда и Рюрика. К моменту, когда Игорь Святославич вновь появляется на страницах летописи в связи с этими распрями, он уже является новгород-северским князем – в январе 1180 года его старший брат, Олег, скончался, и Игорь беспрепятственно получил новгород-северский стол.

Очередная война киевского князя Святослава Всеволодовича привела его вассала Игоря к ближайшему к Киеву городу – Вышгороду. Здесь вместе с союзниками – половецкими ханами Кончаком и Кобяком – князь Игорь ждал подхода войска Святослава Всеволодовича. Но повел себя крайне беспечно, не выставив часовых. Ночью на лагерь напал Рюрик Ростиславич, чья дружина была усилена отрядом «черных клобуков». Разгром оказался полным: князь Игорь еле унес ноги, успев вскочить в одну ладью с ханом Кончаком, вместе с которым он затем и добирался до Черниговской земли. Как считают большинство исследователей «Слова», именно в тот момент русский князь и половецкий хан и договорились об обновлении союза между черниговским домом и Степью, пообещав друг другу поженить своих детей. Старший сын Игоря – Владимир – должен был жениться на дочери Кончака – Свободе. Именно это соглашение в будущем спасет жизни Игоря и Владимира, оказавшихся в половецком плену. ❶

Продолжение следует.

Сегодня Спасо-Преображенский монастырь — действующая обитель



АЛЕКСАНДР БУРЫЙ

ЛАДА КЛОКОВА, АЛЕКСАНДР БУРЫЙ

Тропинка, которая вьется у мощных монастырских стен, едва заметна в густой траве. Здесь хозяйничают местные козы. Мы осторожно пробираемся мимо них — вон рога-то какие! Козы сначала внимательно следят за нами, затем теряют интерес к странным туристам и снова опускают головы в траву...

МЫ ПОДНИМАЕМСЯ НА стены Спасо-Преображенского монастыря, который восемьсот лет назад был резиденцией новгород-северских князей. Тогда стены эти, конечно, не были каменными, но вид, который открывается отсюда, скорее всего, изменился не сильно. Кругом растилась зеленая скатерть полей, по которой затейливым узором вьется голубая речка. А у горизонта зуб-

чатой каймой синее старый лес. Вот она – Северская земля, удел князя Игоря Святославича...

Чего только не повидал на своем веку этот монастырь, сколько легенд и загадок хранят эти камни! Одни говорят, что основал его Мстислав Лютый – родной брат Ярослава Мудрого. Другие утверждают, что заложил его сам Ярослав Владимирович. А еще рассказывают, что триста лет назад в ненастную ночь постучал в ворота обители странник. Назвался Григорием и попросился на ночлег. А утром исчез, не попрощавшись. Оставил только записку, что, мол, придет время, отблагодарит игумена. Настоятель подивился, да скоро и забыл об этом. И лишь через несколько лет узнал, что той ночью приютил Григория Отрепьева – Лжедмитрия I.

Есть здесь и странный подземный ход, до сих пор не исследованный. Вход в него был взорван во время войны фашистами, чтобы предотвратить побеги заключенных: в 1941–1943 годах в монастыре находился лагерь для советских военнопленных, здесь встретили смерть около 20 тысяч человек...

А во второй половине XX века в монастыре и музее «Слово о полку Игореве», что расположился на территории обители, побывали многие известные ученые, изучавшие самый загадочный памятник древнерусской литературы...

«ПАЛИ СЯГИ ИГОРЕВЫ»

...1185 год. Игорь Святославич уже пять лет владеет Северским княжеством. Он – глава большого семейства. Его старший сын, Владимир, княжит в выделенном отцом Путивле. Его младший брат, Всеволод Буй-Тур, правит Курском и Трубчевском. Не обидел Игорь и племянника Святослава, сына умершего старшего брата, Олега, отдав ему в удел Рыльск. Но, видимо, нет покоя в душе Игоря Святославича. Ему уже 34 года, а надежды на то, что он займет отчий черниговский стол становятся все призрачнее. В Чернигове и Киеве правят двоюродные братья Игоря – Ярослав и Святослав Всеволодовичи. И, наверное, все чаще на пирах, когда звучат в гриднице песни о славных предках – прадеде Святославе Ярославиче, деде Олеге Гориславиче, дяде-мученике Игоре Ольговиче, – задумывается Игорь о том, сколько еще ему кланяться кузенам и довольствоваться ролью младшего князя. А ведь он такой же Ольгович, как и они. А есть еще Мономахичи, хоть и родственники ближайшие, да Ольговичи уже несколько поколений находятся с ними в неизбывной вражде. И славных имен в клане потомков Мономаха так много...

Мы не знаем, какие именно мысли и планы толкнули князя Игоря двинуть полки в роковой поход. Основные версии, выдвигаемые исследователями, можно пересчитать по пальцам руки. Одни считают, что князь планировал с помощью союзного хана Кончака «отложить» свой удел от Киева – благо перед глазами был пример независимой Полоцкой земли и самостоятельного Владимиро-Су-

здальского княжества. Другие говорят о том, что причиной могло стать нежелание Игоря участвовать в готовящемся очередном общерусском походе в Половецкую землю для разгрома Кончака, на дочери которого должен был жениться сын Игоря Владимир. Открыто уклоняться от похода под командованием киевского князя Игорь не мог, но и участвовать в войне против свата не мог тоже. Вот и двинул свои полки против хана Гзака, с которым Кончак конфликтовал за власть над всеми половецкими ордами. Тем более что Гзак при малейшем удобном случае совершал набеги на Северскую землю, все никак не мог утолить свою месть: это ведь старший брат Игоря, князь Олег, в 1169 году нанес сокрушительное поражение Гзаку, взяв в плен жену и детей хана. Третьи утверждают, что Игорь намеревался вернуть во владения Черниговского княжества потерянную в предыдущем поколении Тмутаракань. Четвертые считают, что толкнуть на необдуманный поход Игоря могли гордость, желание славы и жажда наживы...

Не знаем мы и того, каким именно путем отправился князь Игорь в свой поход. Летописи сообщают об этом смутно, а «Слово» вообще не щедро на подобные подробности. Известно лишь, что поход начался из Новгорода-Северского, откуда полки Игоря пошли к Северскому Донцу, а далее к реке Оскол, где войска всех участников похода должны были соединиться. Не знаем мы и точного количества полков Игоря, призвавшего под свои знамена сына Владимира, брата Все-

волода и племянника Святослава Ольговича с их дружинами. Да еще Ярослав Черниговский прислал в помощь своего воеводу Ольстина Олексича с отрядом ковуев (тюркские племена Степи, вытесненные на Русь половцами и подчинявшиеся черниговским князьям. – Прим. авт.). Подсчеты исследователей сильно разнятся: упоминаются цифры от 5 до 20 тысяч человек.

Зато, как ни удивительно, можно назвать точные сроки похода князя Игоря. Согласно летописям, на восьмой день похода случилось солнечное затмение. Современные астрономические расчеты показывают, что 1 мая 1185 года оно действительно было. О том, что участники похода его видели, свидетельствует и само «Слово». Затем в пятницу на реке Сюрлий (ее местонахождение – предмет споров, так же как и идентификация реки Каялы. – **Прим. авт.**) дружины Игоря в первый раз сталкиваются с половцами, которые в ужасе разбегаются. Русичи преследуют их, одерживают легкую победу и добывают богатые трофеи. Игорь хочет повернуть войска и отойти к своим границам, но Всеволод Буй-Тур и Святослав говорят, что дружины устали и нужно отдохнуть. Русичи разбивают лагерь и забываются сном, а утром в субботу, 11 мая 1185 года, просыпаются в окружении половецких орд. Два дня без перерыва продолжается неравная кровавая сеча у реки Каялы, Игорь с войсками пытается прорваться к Донцу. В один из решающих моментов битвы ковуи предательски бегут с поля боя. Игорь пытается их вернуть и в этот момент попадает в плен: раненого князя захватил половец по имени Чилбук из орды хана Таргола. Хан Кончак прямо на поле битвы ругается за свата и забирает его к себе. Оказываются в плену и все остальные князья, включая славного воина Всеволода Буй-Тура. «Черная земля под копытами костьми была засеяна, а кровью полита... пали стяги Игоревы... А Игорева храброго полку уже не воскресить!.. Жены русские восплакались, говоря: «Уже нам своих милых лад ни мыслию смыслить, ни думою сдумать, ни очами приворожить...» – стонет «Слово». Если верить летописям, после битвы у Каялы живы-

PRO ET CONTRA

В качестве примера приведем несколько аргументов и контраргументов спора о подлинности «Слова о полку Игореве».

Против	За
«Слово» было обнаружено не в древнем, а в относительно позднем списке, датированном XV или XVI веком	Это довольно распространенная ситуация. Так, в списках не ранее XV века были обнаружены такие произведения, как «Слово о законе и благодати» Илариона, «Хождение» игумена Даниила, «Моление» Даниила Заточника, «Слово о князьях», «Житие Александра Невского», «Слово о погибели Русской земли», «Александрия» и многие другие
Мусин-Пушкин, опасаясь разоблачения, намеренно сжег единственную рукопись «Слова»	В таком случае он намеренно сжег и другие бесценные документы, чья подлинность не вызывала сомнений. В пожаре сгорела, например, и жемчужина его коллекции — знаменитая Троицкая летопись
«Слово» дошло до нас в единственном списке	Это тоже вполне обычная ситуация. Также в единственном списке сохранились, к примеру, «Поучение Владимира Мономаха» и «Повесть о Горе и Злосчастьи»
Автор «Слова» неизвестен, и нет ссылок на «Слово» в других памятниках	Древнерусские писатели и летописцы в основном безымянны
Известный историк А.А. Зимин считал, что «Слово» не сообщает дополнительных исторических сведений, а значит, его автор не был современником описываемых событий	Историк В.В. Мавродин сумел доказать, что князь Всеслав Полоцкий действительно княжил в Тмутаракани. В летописях об этом не говорится, сообщает об этом факте лишь «Слово». И это только один из фактов, получивших доказательство в последние годы
«Слово» было создано по заказу «сверху» в качестве «оправдания» завоевательной политики Екатерины II и поднятия патриотических настроений	Странно, что для оправдания завоевательной политики и поднятия патриотических настроений была выбрана тема неудачного похода малоизвестного князя, потерпевшего сокрушительное поражение от врага. Как замечал русский историк и филолог А.В. Соловьев о якобы подразумевающихся в «Слове» претензиях на Тмутаракань (Тамань), то Таманский полуостров, как и Крым, был присоединен к России еще в 1783 году («Слово» впервые было опубликовано в 1800 году)

живет в отдельном шатре, к нему приставлены двадцать слуг, он ездит на охоту, ему ни в чем нет отказа – Кончак по просьбе Игоря даже посылает гонцов в Северскую землю за православным священником. Но роскошная жизнь в неволе хуже любой свободы. И, надо думать, Игоря грызла совесть и терзали мысли о позоре, о потерянной дружине, об оставшейся без защиты родной земле... Не думать об этом он не мог,

поскольку знал: сразу после разгрома русичей на Каяле половецкие ханы отравились в набег на Русь. Гзак осадил Путивль, а Кончак – Переяславль. Но половцы просчитались: оставшийся без дружины и князя Путивль упорно обороняли ополченцы, а переяславский Владимир Глебович здорово потрепал орду Кончака и тоже сумел отстоять свой город. А когда ханы узнали, что на помощь осажденным идут киевские дружины во главе с великим князем Святославом Всеволодовичем, то развернули свои полки и кинулись в Степь. Кончаку удалось уйти без осложнений, а вот Гзак напоролся-таки на киевских ратников. В том тяжелом бою пали сын и зять хана, так что Гзак возвращался к своим вежам, пылая жаждой мести. Вероятно, он намеревался потребовать казнить кого-то из плененных русских князей. Так что когда гонцы принесли в стойбище Кончака весть о поражении

ми на Русь вернулись всего полтора десятка воинов, остальные либо полегли в бою, либо попали в плен...

Вслед за описанием гибели русского войска «Слово» рассказывает о дурном вещем сне великого киевского князя Святослава Всеволодовича («накрывали меня покровом черным на кровати тисовой; черпали мне светлое вино, с горечью смешанное; сыпали мне из пустых колчанов половецких крупный жемчуг на грудь...»), после чего следует «Златое слово» Святослава. Киевский князь упрекает Игоря и Всеволода Буй-Тура: «Рано начали вы Половецкую землю мечами кровавить, а себе славы искать: без чести для себя ведь вы одолели, без чести для себя кровь поганую пролили. Храбрые сердца ваши из харалуга крепкого скованы, в отваге закалены. Что же сотворили вы моей серебряной седине!» И раздаются призывы к русским князьям прекратить взаимную вражду, объединиться и прийти на помощь в войне против половцев.

Затем «Слово» переносит читателей в Путивль, где на «забрале» (крепостной стене) плачет жена Игоря – Ярославна: «Полечу я чайкой по Дунаю, омочу бегряной рукав я во Каяле-реке, утру князю кровавые раны на могучем его теле». Она обращается к ветру, Днепру и солнцу с просьбой вернуть «ладу мою» («лада» – в древнерусском языке обращение к супругу, супруге, любимому или любимой. – Прим. авт.).

Игорь же в это время томится в половецком плену, хотя хан Кончак в своем стойбище на реке Тор (некоторые исследователи полагают, что оно находилось на месте нынешнего города Славянска. – Прим. авт.) гостеприимно встретил свата: князь

«Не имели все вместе столько поэзии...»

Вот что писал Александр Сергеевич Пушкин в своих набросках к предисловию, которым намеревался открыть собственную книгу о «Слове о полку Игореве»: «Некоторые писатели усумнились в подлинности древнего памятника нашей поэзии и возбудили жаркие возражения. Счастливая подделка может ввести в заблуждение людей незнающих, но не может укрыться от взоров истинного знатока. <...> Но ни Карамзин, ни Ермолаев, ни А.Х. Востоков, ни Ходаковский никогда не усумнились в подлинности «Песни о полку Игореве». Великий скептик Шлецер, не видав «Песни о полку Игореве», сомневался в ее подлинности, но, прочитав, объявил решительно, что он полагает ее подлинным древним произведением, и не почел даже за нужное приводить тому доказательства; так очевидна казалась ему истина!

Других доказательств нет, как слова самого песнотворца. Подлинность же самой песни доказывается духом древности, под которого невозможно подделаться. Кто из наших писателей в XVIII веке мог иметь на то довольно таланта? Карамзин? но Карамзин не поэт. Державин? но Державин не знал и русского языка, не только языка «Песни о полку Игореве». Прочие не имели все вместе столько поэзии, сколько находится оной в плаче Ярославны, в описании битвы и бегства. Кому пришло бы в голову взять в предмет песни темный поход неизвестного князя! Кто с таким искусством мог затмить некоторые места из своей песни словами, открытыми впоследствии в старых летописях или отысканными в других славянских наречиях, где еще сохранились они во всей свежести употребления?»

Монастырские
яблони



АЛЕКСАНДР БУРЫЙ

нии, князь Игорь, видимо, и решился на побег. Риск был велик: нужно было пройти незамеченным пару сотен верст до родной земли, да и страшно, наверное, было оставлять в плену брата, сына и племянника...

На помощь Игорю пришел крещеный половец Овлур (Лавр), который бежал вместе с ним. Путь домой занял у беглецов одиннадцать дней. В погону за ними устремились Кончак и Гзак, однако сама природа, как рассказывает «Слово», помогает Игорю, а «Бог путь кажет из земли Половецкой на землю Русскую, к отчему столу золотому».

Игорь благополучно добирается до дома, а Всеволод Буй-Тур и Владимир, женившийся на Кончаковне, остаются в плену и возвращаются на родину только спустя два года. Судьба племянника Игоря – Святослава Ольговича – неизвестна. Возможно, он был казнен половцами...

ЗАГАДКА АВТОРА

– Кто был автором «Слова о полку Игореве»? Этот вопрос до сих пор волнует исследователей, – рассказывает сотрудница музея «Слово о полку Игореве» Ирина Лобачева. – Версий на этот счет – масса. Если не ошибаюсь, число предполагаемых авторов сегодня перевалило за второй десяток.

Действительно, версий выдвинуто немало, изданы сотни работ, и, судя по всему, фантазии исследователей еще не истощились. Если попытаться определить список наиболее обсуждаемых претендентов на звание автора поэмы, то он будет выглядеть приблизительно следующим образом: конечно, сам князь Игорь Святославич; киевский боярин Петр Бориславич (эту версию отстаивал академик Борис Рыбаков); княгиня Мария, супруга великого киевского князя Святослава Всеволодовича; жена князя Игоря Ярославна; некий дружинник, участвовавший в походе князя; сын Рагуила или сам Рагуил – тысяцкий князя Игоря;

конюший князя Игоря; и, наконец, Оврул – тот самый половец, который помог князю бежать из плена.

Версии версиями, но что в действительности можно сказать об авторе «Слова»? Дает ли это произведение хоть какие-то шансы выявить отличительные особенности этого человека? Как ни странно – да. И речь вовсе не о том, насколько хорошо или плохо он разбирается в оружии и тактике боя или соколиной охоте. Кстати, те исследователи, кто считает автором поэмы княгиню Марию или Ярославну, указывают на то, что писавший «Слово» плохо разбирался в таких «мужских» вопросах. Те же ученые, кто уверен, что автором поэмы является боярин, князь или дружинник, напротив, находят, что военные и охотничьи аспекты отражены в «Слове» блестяще. И кому прикажете верить?

Но вот что интересно: ряд известных славистов еще с середины XX века начали исследовать взаимосвязь «Слова» с книгами Священного Писания. Так, итальянский славист Рикардо Пиккио считал, что в памятниках древнерусской литературы многие фразы являются «тематическими ключами», смысл которых становится ясен только в соотнесении с христианскими текстами (известна его работа «Слово о полку Игореве» как памятник религиозной литературы Древней Руси). Российский филолог Владимир Перетц считал, что «Слово» – это текст, непосредственно соотнесенный с Библией. Один из крупнейших лингвистов XX века, Роман Якобсон, эмигрировавший после революции в России в США, соотносил поэму с апокалипсическими сочинениями. Известный лингвист Борис Гаспаров видел в ней прямые связи с псалмами Давида. Профессор Александр Ужанков проводит весьма интересные параллели между «Словом» и Книгой пророка Иеремии.

Из всего этого можно сделать кое-какие интересные выводы о загадочной персоне автора древнерусской поэмы. Для начала, это был весьма образованный человек, который, скорее всего, прекрасно владел греческим языком. Почему? Большинство исследователей, не сомневающих в подлинности поэмы, считают, что «Слово» было написано в период между 1185 и 1200 годами. А ветхозаветные тексты Библии были переведены на русский язык полностью гораздо позже – лишь в конце XV века! Так что, если автор проводил параллели с псалмами Давида или Книгой Иеремии, то это означает, что читал он их исключительно на греческом языке. Мог ли похвастаться этим, скажем, простой дружинник или крещеный половец Овлур? Да и русские князья в подавляющем большинстве вряд ли свободно владели греческим языком, отдавая предпочтение военному делу, а не занятиям в тиши монастырских библиотек. И, кроме того, несмотря на упоминания в «Слове» языческих богов или понятий, сомневаться в том, что автор – человек православный, нет никаких оснований.

СПОРЫ И ДИСКУССИИ

«Слово о полку Игореве» – действительно самый загадочный памятник древнерусской литературы. Мало того, даже все то, что связано с его обнаружением, первой публикацией и гибелью единственного найденного списка – тоже окутано таинственным ореолом. И вот уже двести лет «Слово» вызывает ожесточенные споры у исследователей: действительно ли оно является памятником древнерусской литературы или это подделка XVIII века, где и когда оно было написано, правильно ли расшифрованы «темные места» в тех или иных переводах...

– Интересно, что все крупные лингвисты, изучавшие «Слово», сходятся в том, что это – подлинная древнерусская поэма, – говорит Ирина Лобачева. – Не сомневались в его подлинности и поэты, начиная с Михаила Хераскова и Александра Пушкина. А вот литературоведы и историки разделились на два лагеря: сторонников подлинности памятника и тех, кто считает его подделкой XVIII века.

...К началу 90-х годов XVIII столетия обер-прокурор Святейшего синода граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин уже собрал коллекцию из более чем полутора тысяч старых рукописей. Приблизительно в это же время ему достался рукописный сборник из библиотеки упраздненного в 1787 году ярославского Спасо-Преображенского (да-да, название такое же, как и у новгород-северской обители. – Прим. авт.) мужского монастыря. Как позже в одном из сво-

их писем объяснял сам Мусин-Пушкин, этот сборник он приобрел у бывшего архимандрита монастыря, Иоила (Быковского). В сборник входили «Хронограф», Новгородская первая летопись младшего извода, «Сказание об Индийском царстве», «Повесть об Акире Премудром», «Слово о полку Игореве» и «Девгениево деяние». Повесть о походе Игоря до того момента, как она попала в руки Мусина-Пушкина, была неизвестна науке. К переводу «Слова» граф привлек лучших специалистов того времени – Николая Бантыш-Каменского и Алексея Малиновского. Подготов-

ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ...

...Яблони в монастырском саду старые, добрые, ветви клонятся под тяжестью плодов едва ли не до земли. Монахи предлагают собирать их всем желающим. Паломники и прихожане набивают яблоками целые сумки. Кто-то тут же скармливает их растолстевшим на монастырских харчах ленивым белкам.

Мы прощаемся с сотрудниками музея и, перед тем как покинуть обитель, зачем-то снова поднимаемся на монастырские стены.

И опять вот она – Северская земля, удел гордого князя Игоря. Раскинулась как на ладони. С какой, должно быть, радостью смотрел на нее Игорь Святославич, вернувшийся из половецкого плена... Или печалился, вспоминая свой позор и погибшие полки? Позже он еще два раза сам водил свои дружины в Степь и разбивал половцев, словно пытаясь оправдаться перед теми, кто сложил за него свои головы у реки Каялы. Он дождался своего сына Владимира, вернувшегося из плена с женой-половчанкой и маленьким сыном. Он пережил своего любимого младшего брата – Всеволода Буй-Тура. Он даже стал черниговским князем, когда в 1198 году умер его двоюродный брат Ярослав Всеволодович. Правда, просидел на вождельном «отнем» столе недолго: в 1201 году Игорь Святославич скончался. Судьба была к нему милостива: он, князь-смутьян, навсегда вошел в русскую историю, несмотря на поражение в главной битве своей жизни, и не увидел, как быстро и страшно пресекался его род, гордый род потомков Олега Гориславича. Четыре его сына – Владимир, Роман, Святослав и Ростислав, приходившиеся родными внуками галицкому князю Ярославу Осмомыслу, – после смерти последнего ввязались в борьбу с венграми за Галицкое княжество. В итоге Роман, Святослав и Ростислав поплатились жизнями и приняли позорную казнь через повешение, пережив отца всего на десять лет. О том, как сложилась далее судьба старшего сына Игоря, Владимира, нам ничего не известно... ❀

ка к публикации продолжалась более десяти лет (правда, в 1795 году Мусин-Пушкин преподнес Екатерине II специально снятую копию «Слова». – Прим. авт.). Наконец в 1800 году поэма «Ироическая пѣснь о походѣ на половецѡвъ удѣльнаго князя Новагорода-Сѣверскаго Игоря Святославича, писанная стариннымъ русскимъ языкомъ въ исходе XII столетія съ переложеніем на употребляемое нынѣ нарѣчіе» увидела свет. Книга была восторженно встречена большинством, однако сразу же образовался небольшой лагерь скептиков. И вряд ли в будущем развернулись бы столь ожесточенные бои вокруг «Слова», не случись беда с его единственным списком. Рукописный сборник из библиотеки ярославского монастыря, увы, сгорел по время великого пожара в Москве в 1812 году. Причем вместе с большей частью экземпляров первого издания «Слова»...

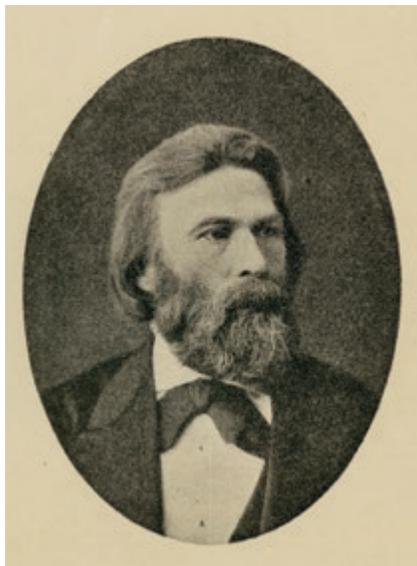
Споры о подлинности «Слова» поутихли в середине XIX века, когда была найдена рукопись «Задонщины», повествующей о Куликовской битве. Дело в том, что в этом произведении, созданном в конце XIV – середине XV века, без труда опознаются параллели и заимствования из «Слова». Сторонники подлинности праздновали победу: раз нашлась более поздняя рукопись, подражающая «Слову», значит, поэма о походе князя Игоря, без сомнения, произведение древнерусской литературы. Но в первой половине XX века скептики вновь перешли в наступление. Сначала «Слово» обвинил в подложности французский славист Луи Леже, а затем его коллега и соотечественник Андре Мазон выдвинул новую теорию: фальсификатор, создавший «Слово», пользовался текстом «Задонщины» и именно с помощью этого произведения создал великолепную подделку. В Советском Союзе лагерь скептиков фактически возглавил известный и яркий историк Александр Зимин, что немедленно отразилось на карьере ученого: в то время попытка подвергнуть сомнению подлинность «Слова» приравнивалась едва ли не к идеологической диверсии...

Как бы то ни было, окончательный вердикт многолетнему спору еще не вынесен. Но все-таки сегодня большинство исследователей считают «Слово о полку Игореве» произведением древнерусской литературы. И, пожалуй, самое веское слово в дискуссиях уже сказано: многолетний труд сотен лингвистов свидетельствует в пользу подлинности поэмы. Интуитивно симитировать безошибочный текст на древнерусском языке – невозможно, даже если у вас перед глазами будет десять дополнительных источников. Невозможно учесть все невообразимо сложные правила древнерусского языка, которые к тому же с течением времени довольно сильно менялись вслед за изменением самого языка. Ошибки в тексте в таком случае совершенно неизбежны. Невозможно в XVIII столетии «изобрести», а вернее, так точно предугадать слова древнерусского языка, которые были расшифрованы лишь в XX веке. И, в конце концов, невозможно представить себе гениального лингвиста, написавшего двести лет назад блестящую поэму на древнерусском языке и почему-то решившего остаться неизвестным...

САМОУЧКА

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Иван Суриков — один из тех поэтов, которых все знают, но толком не помнят. Какой еще Суриков? А-а-а, «что стоишь, качаясь, тонкая рябина»... А-а-а, «вот моя деревня, вот мой дом родной»... Знаю-знаю! А что знаю? Да ничего.



ПРЕДСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

*Детства прошлого картины!
Только вы светлы;
Выступаете вы ярко
Из сердечной мглы.*

«Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качусь я в санках по горе крутой...» – по крайней мере, начало этого хрестоматийного стихотворения все помнят – мало кто, однако, припомнит его конец: бабушкины сказки под завывание вьюги –

*Как Иван-царевич
Птицу-жар поймал,
Как ему невесту
Серый волк достал, –*

и сказочные сны, которые снятся мальчику на теплой печке.

Безоблачное и безмятежное время быстро прошло. В 1849 году отец мальчика сам открыл на Ордынке овощную лавку и забрал жену с сыном в Москву. Здесь мальчика учили читать и писать две соседки – глубоко верующие старые девы из разорившейся купеческой семьи Финогеновых. Первым его чтением стали Четыри миныи Дмитрия Ростовского и Пролог – сборник житий святых, поучительных статей, выдержек из святоотеческих трудов. Впечатлительный ребенок так проникся поэзией этих книг, что сам стал мечтать о монашестве.

Читателем он оказался страстным, читал все, что подворачивалось под руку; выбор, однако, был небогатый – сказки, дешевые романы для народного чтения... По счастью, в одном доме с Суриковыми жил чиновник из бывших семинаристов, Ксенофонт Доброворский, который позволял мальчику пользоваться своими книгами.

Самое сильное впечатление на юного

Сурикова произвели стихи и песни Алексея Мерзлякова, Николая Цыганова и Ивана Дмитриева. И если Дмитриев остался в русской культуре не только автором песни «Стонет сизый голубочек», но и баснописцем, то Мерзлякова помнят не по какой-нибудь «Лауре и Сельмару», а по песне «Среди долины ровныя»,

О КАЗЫВАЕТСЯ, МЫ ДАЖЕ ДАТЫ РОЖДЕНИЯ СУРИКОВА – И ТОЙ ТОЛКОМ не знаем. Считается, что он родился 6 апреля 1841 года. Однако историк Татьяна Третьякова нашла в архивах города Углича Ярославской области совсем другую дату: 5 апреля 1837 года. Мальчика крестили в тот же день в церкви погоста Васильевского, в деревне Новоселово Никольской волости Угличского уезда. Деревня принадлежала графу Дмитрию Шереметеву, а отец будущего поэта, Захар Андриянович Суриков, был крепостным крестьянином. Жена его, Фекла Григорьевна, тоже была из крепостных.

ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ

Мальчик был единственным ребенком в семье. Семья была большая – целый клан: помимо отца и матери в доме жили брат отца с женой, бабушка и брат умершего дедушки с двумя женатыми сыновьями, незамужней дочерью и снохой-солдаткой, да еще дети. Со временем в доме поселились и две тетки Сурикова с детьми.

Захар Андриянович был оброчным мужиком: работал в городе приказчиком в овощной лавке. Мальчик Ваня, тихий и болезненный, рос в деревне в окружении женщин: мужчины уходили на работу в город и только изредка и ненадолго появлялись дома; женщины занимались хозяйством и воспитывали детей.

Детство Суриков всегда описывал как самое счастливое время в жизни – беззаботное, прекрасное.

да и Цыганов для нас – прежде всего автор «Красного сарафана»; все это песни, которые давным-давно считаются народными. Суриков, с детства слышавший народные песни и сказки, нашел у Мерзлякова и Цыганова свое, близкое, родное – и, собственно, сам потом повторил их литературную судьбу.

Даже обучение грамоте для него было связано с музыкой: он привык читать нараспев, как читают в церкви. Он и свои стихи читал нараспев и даже проверял пением их формальную правильность, пока не освоил теорию стихосложения. Первые стихи Суриков тоже написал в юности – под впечатлением от пожара, который случился в их доме. Добротворский стихи одобрил. Правда, первые произведения Сурикова литературоведам не известны: автор их уничтожил, и это не худшая судьба для юношеских стихов, обычно слабых и беспомощных.

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

Отцу увлечение сына совсем не нравилось: «Книжки нам не рука, в попы, в писаря тебе не идти, наши дела не такие! Купцу лишняя книжность дохода не даст, а в мотовство того и гляди введет». Он собирался вырастить себе помощника. Мальчика приставили к делу, и все время Ивана теперь занимала работа в лавке, которую он не любил и которой тяготился. В свободное время он читал — и теперь уже круг его чтения включал и Пушкина, и Лермонтова, и Некрасова, и Фета. Но ближе всех, опять-таки, ему оказались народные, песенные, музыкальные Кольцов и Никитин. Хотя старательное ученичество у Фета, Мея или Майкова местами очень заметно: неуклюжие попытки Сурикова живописать реальные картины природы очень старательны, но вполне беспомощны. Всякий раз, как он берется за изображение летнего луга или поля – картины, ему, несомненно, хорошо знакомой, – во второй строчке неизбежно вылезает сверкающая роса, а дальше дело спорится. «От цветов, на полях, // Льетса запах кругом. // И сияет роса // На траве серебром». Или: «И сверкает поле // Утренней росой, // Точно изумрудом // Или бирюзой». (Простительная для крестьянина неточность: не так уж часто он имеет дело с бирюзой, чтобы упомянуть, что она вовсе не сверкает.) Или: «Вышли дети, – травка // От росы мокра, // И на ней сияют // Капли серебра».

Это не конкретное, реальное, осязаемое и обоняемое утро, не настоящая трава, а трава вообще, такая, как ей положено быть: цветы пахнут, на траве роса – «Встало утро, сыплет на цветы росую», «Вокруг меня в кустах, в траве росистой // Жизнь пробуждалась всюду для труда». Траве поутру положено быть росистой, как утру положено быть свежим, цветку – душистым, молодцу – добрым, а девице – красной.

И само отношение Сурикова к поэзии – тоже народное, фольклорное: идеи – общие, мотивы – общие, богатство – общее; свое создается по готовым образцам – как плакальщица выпевает свои плачи, вышивальщица пускает по полотенцу красных коников, а иконописец пишет святых. Поэзию Сурикова называют иногда эпигонской, подражательной; сегодня бы, наверное, многое назвали плагиатом – но по меркам фольклорным, по меркам творчества коллективного, анонимного это, конечно, обычные для фольклора вариации на понравившиеся темы. К примеру, «Мороз» 1865 года, где богатырь Мороз, обернувшись возлюбленным девицы, зацеловывает ее насмерть, совершенно явно навеян некрасовской поэмой «Мороз, Красный нос» 1863 года, вот сравним:

*И все жарче он целует,
Жарче, горячей;
Сыплет иней серебристый
На нее с кудрей.*

*С плеч девичьих душегрейка
Съехала долой;
На косе навис убором
Иней пуховой.*

*На щеках горит румянец,
Очи не глядят,
Руки белые повисли,
Ноги не стоят.*

*И красотка стынет... стынет...
Сон ее клонит...
Бледный месяц равнодушно
Ей в лицо глядит.
А вот у Некрасова:
В уста ее, в очи и плечи
Седой чародей целовал
И те же ей сладкие речи,
Что милый о свадьбе, шептал.*

*И так-то ли любо ей было
Внимать его сладким речам,
Что Дарьюшка очи закрыла,
Топор уронила к ногам.*

*Улыбка у горькой вдовицы
Играет на бледных губах,
Пушисты и белы ресницы,
Морозные иглы в бровях...*

И видно, как некрасовская трагедия сменяется у Сурикова жестокой мелодрамой, как живая, яркая индивидуальность Дарьи стирается, и героиня становится безымянной «красоткой». Это вообще очень характерно для Сурикова: в его поэзии нет реальных, конкретных людей – только собирательные образы, только всеобщие типы. Разгульная жена, накупившая вина, вместо того чтобы накормить де-

тей толком, – тип; бедная швейка, которая пытается честно заработать на жизнь и не желает продавать себя, – тип; и девушка-батрачка, которая работает в самую жестокую летнюю жару, – тип, и дедушка Федот (редкий случай, когда у суриковского героя есть имя) – все равно только тип русс, как для открытки: дедушка слушает, как внук читает ему письмо.

В этом и слабость Сурикова – он совершенно беспомощен во всем, что касается конкретного, предметного, вещественного. «Я въезжаю в деревню весенней порой – // И леса и луга зеленеют: // Всюду труд на полях, режут землю сохой, // Всюду взрытые пашни чернеют». Да и рифма «зеленеют – чернеют» оставляет желать лучшего.

Он хорош в хрестоматийных, детских стихах – описывающих зиму вообще, например, – простыми и ясными словами, такую, какой непременно должна быть всякая поряточная зима:

Белый снег, пушистый

В воздухе кружится

И на землю тихо

Падает, ложится.

Но и сила его – тоже здесь, в этой способности сконцентрировать в стихах всеобщее, выразить в них всякую тоску, всякую беду, всякую боль – общую, общечеловеческую, оттого и стала «Рябина» народной песней, и песня про замерзающего ямщика тоже, что каждый в этой всеобщей боли и тоске чувствует свою, извлеченную тщательной возгонкой, чистейшую, беспримесную, экзистенциальную тоску-вообще.

И ситуации, в которые попадают герои суриковских стихов – тоже типичные ситуации, и это, как правило, горе, голод и нужда. Сами заглавия стихов говорят за себя: «Сиротой я росла...», «Нужда», «Бедность», «Доля бедняка», «Горе», «Труженник», «Работники», «Кручинушка».

ДОЛЯ БЕДНЯКА

Надо сказать, и горя, и нужды, и кручинушки сам Суриков хлебнул немало. Дела отца сначала шли в гору, он даже открыл вторую лавку, но начал играть на скачках, разорился и стал пить. В конце 1850-х годов он должен был уехать в деревню, оставив в городе жену и сына. Суриков пошел работать приказчиком в овощную лавку дяди, который бесконечно попрекал племянника каждым куском. Времени у него теперь вовсе ни на что не было: знай себе стой за прилавком, подметай, развози товар...

А у юноши уже была целая тетрадка стихов, которую он потихоньку показывал знающим людям, в том числе известным поэтам; те что-то ругали, что-то хвалили, что-то советовали; Суриков внимательно прислушивался и пытался отшлифовать стихи.

С дядей жить стало почти невозможно. Тогда Суриков продал все, что у него было, и открыл маленькую лавочку на Тверской: покупал и продавал железный лом, тряпье, потом уголь. Он начал становиться на ноги, у него появились какие-то деньги – и возможность заниматься стихами. Однако в 1859 году отец вернулся и поселился у сына.

Сын тем временем женился. В 1860 году ему сосватали милую крестьянскую девушку-сироту Марию Ермакову. Брак был удачный – и он любил ее до конца своих дней, и она, любящая, нежная, понимающая, была ему опорой. Может быть, судьбой жены навеяны его многочисленные «сиротские» стихи – к сиротинкам он особенно чуток сердцем:

Ходит ветер, ходит буйный,

По полю гуляет;

На краю дороги вербу

Тонкую ломает.

Гнется, гнется сиротинка, –

Нет для ней опоры;

Всюду поле – точно море,

Не окинуть взоры.

Он уже начал печататься – добрую службу здесь сослужило его знакомство с поэтом Плещеевым, который оценил талант крестьянина-самоучки и заметил в нем «черты самобытности, а главное, задушевность и глубокое чувство». В 1862–1863 годах первые стихи за подписью «крестьянин Иван Суриков» стали появляться в литературных журналах.

В 1864 году умерла мать, а отец женился во второй раз – на староверке с тяжелым, вздорным характером. Жить дома стало невыносимо. Суриков с женой ушли жить на казенную квартиру. Шаг этот мало что изменил к лучшему: зарабатывать ему было особо нечем – ни дела в руках, ни профессии, ни денег... Он переписывал бумаги, опять работал у дяди, опять ушел от него, потому что невыносимо. По-

Суриков теперь писал не только стихи: он перекладывал стихами былины (о Василисе Микулишне, о Садко и др.), народные песни и легенды, исторические предания (поэма «Василько», основанная на «Повести об ослеплении

Василька Теробовльского», поэма «Казнь Стеньки Разина»). В его стихах и поэмах появляется его любимый герой – ничего не боящийся, страстный, сильный, увлекающийся – но покорный злой судьбе; совершенно фольклорный образ удалого добра молодца.

Но не только из народного творчества он черпает вдохновение: он ловит дух времени, слышит его напевы – а время наступает мрачное, непоэтичное – период, который в исследованиях по истории литературы характеризуется как «упадок поэзии». Ведущими мотивами становятся горькая печаль и бессильное негодование – все то, что скоро даст феномен Надсона; предсмертная тоска – которая так мощно зазвучит у Голенищева-Кутузова и Случевского. Все это близко Сурикову, больному, понимающему, что жизнь кончается, что прожита она трудно и несчастливо.

*Смерть, вечность, тайна
мироздания, –
Какой хаос! – и сверх всего
Всплывает страшное сознание
Бессилья духа своего.*

Кажется, эти строки выводит вовсе не та рука, что написала когда-то про тонкую рябину, желающую к дубу перебраться:

*Нестись вдаль, не чувствуя
движенья,
Жить и не жить, томиться
в полусне,*

*Не видя снов, не зная пробужденья...
Ничтожным быть! – О, страшно,
страшно мне!*

Это манерное «О», этот почти декадентский полусон – крестьянский ли

ступил наборщиком в типографию, но заболел, работать не смог. Заработки были ничтожные. Все, что можно было продать и заложить, было продано и заложено. В это время он начал пьянствовать, дошел до полного отчаяния и едва не покончил с собой. Его стихи в это время – о тоске, о нищете, о пьяном разгуле. И вот одно – «У могилы матери»:

*С неба дождик льет осенний,
Холодом знобит;
У твоей сырой могилы
Сын-бедняк стоит.*

*В старом, рваном сюртучишке,
В ветхих сапогах;
Но все так же тверд, как прежде,
Слез нет на глазах.*

Сначала сын говорит над могилой матери, что «на борьбу с судьбой суровой много сил кипит» – однако вскоре переходит к мысли о том, что судьба непобедима и его тоже скоро сюда же принесут.

Новая жена отца прожила с ним недолго – вскоре ушла от него, прихватив с собой все ценное. Суриков вернулся к отцу; снова торговал углем и железом, тут уже стало можно вздохнуть, появились какие-то деньги, досуг, возможность писать.

КРУЖОК

В 1871 году вышел первый сборник Сурикова – второй и третий тиражи появились в 1875 и 1877 годах. После того как второе издание увидело свет, исследователь народного творчества Федор Буслаев предложил принять Сурикова в Общество любителей российской словесности. Предложение поддержали Лев Толстой и поэт Федор Миллер, и Суриков был принят.

В 1872 году он собрал сборник «Рассвет» – туда вошли стихи крестьян-самоучек – Саввы Дерунова, Матвея Козырева, Ивана Родионова и других. Сборник большого успеха не имел, основную часть тиража пришлось продать букинистам, так что на идее выпустить еще один такой сборник пришлось поставить крест. Зато долгую и счастливую судьбу имело другое начинание поэта – Суриковский литературно-музыкальный кружок, целью которого была помощь крестьянским поэтам. Кружок продолжал работу и после смерти Сурикова; в работе его одно время принимал участие Сергей Есенин; после революции кружковцы вошли во Всероссийский союз крестьянских писателей. Прекратилась работа кружка уже в советское время – когда все литературные объединения были принудительно распущены в 1933 году в связи с созданием Союза советских писателей.

Второй сборник суриковцев не удался, но идея своего издания жила: поэт пытался основать журнал, который объединил бы писателей, вышедших из народа. Полиция, однако, категорически запретила такое издание.

это поэт, право? А вот и сон, совсем уже страшный:

*То было что-то грозно-роковое,
То не был сон; я слышал наяву
И лязг косы о дерево сухое,
И треск ветвей, упавших на траву.*

*И чьих-то пальцев громкое
хрустенье...*

*Грудь надорвал последний
страшный стон...*

*Меня обьяло полное забвенье,
И я уснул... Не долгов был мой сон.*

Жуткое, мертвое хрустенье пальцев – предугадывающее пляски Смерти, лязганье костей о кости... Поди догадайся, что тут от литературного поветрия, а что от мучительного кашля и ощущения скорой кончины.

В 70-х годах он заболел туберкулезом. Лечение никаких результатов не давало – да и не было тогда никакого лечения, кроме общеукрепляющего.

Он писал в это время:

*На ширь глухих полей, под тень
лесов густых*

*Душа моя рвалась, измучена
тревогой, –*

*И, может быть, вдали от горьких
слез людских*

*Я создал бы в тиши здесь светлых
песен много.*

*Но жизнь моя прошла в заботе
городской –*

*И сил моих запас иссяк в борьбе
суровой...*

*И вот теперь сюда приплелся я
больной...*

*Природа-мать! врачей и дай мне
силы снова!*

Едва сорокалетний, он чувствовал себя не то что усталым – изможденным. Силы совсем кончились. Устал голодать, устал мерзнуть, устал надрываться на работе.

*Проходит жизнь моя темно
и безотраднo;*

Грядущее мое мне счастья не сулит,

*И то, к чему я рвусь душой моей
так жадно,*

*Меня едва ли чем отраднoм
подарит.*

Но и кончину его герои обычно встречают мужественно и спокойно – да и лирический герой ждет ее с понятной тоской, но без ужаса, без пароксизмов, без безумств. «Вижу, смерть меня // Здесь в степи сразит, – // Не попомни, друг, // Злых моих обид»...

Мир Сурикова – с детства, с чтения житий святых – мир христианского терпения, смирения, прощения и труда – труда, который и радость, и тяжелый крест. В 1877 году он получил большой гонорар за третье издание сборника стихов и на эти деньги поехал в кумысолечебницу под Самарой. А потом в Ялту. Из Ялты вернулся в Москву уже совсем больной и скоро умер – не дожив до сорока, если верить официальной дате рождения, или сорокатрехлетним, если учитывать новые архивные данные.

Я ЛИ В ПОЛЕ НЕ ЗЕЛЕНАЯ РОСЛА

И времена были не очень поэтичные, и дарование его заслуживало, может быть, лучшей участи – большей свободы, досуга, возможности читать и учиться; без этого всего оно сформировалось так, как только могло сформироваться – под влиянием чистой фольклорной стихии. В лучших своих вещах Суриков мощен и ясен как народная песня: никаких тебе полуснов и полутонов, а простая и каждому человеку понятная страсть, воля, разгул, тоска, кручина, томление, сердечная мука – все то, что понятно без объяснений, очевидно как простые цвета спектра – красный, желтый, зеленый, синий – без всякого там серо-лилового и гриль-де-перлевого.

Каждый, кому в детстве пели народные песни – хоть над колыбелью, хоть по телевизору, – сразу безошибочно узнает у Сурикова эти напевы, эти привычные уху параллелизмы: соловушка песней заливается – у молодешеньки сердце надрывается; есть у птички гнездо, у волчицы дети – у меня ж ничего, никого на свете; я ли в поле да не травушка была, я ли в поле не зеленая росла... И травушку скосили, и девушку за немилую выдали...

Суриков пишет как поэт, фольклорные формулы встроены в его поэтическое сознание – так творят сказители и вопленицы. Музыкальная, песенная стихия плещется в его лирике – оттого-то так соблазняла она композиторов. Кюи, Чайковский, Бородин, Гречанинов, Римский-Корсаков: каждый увидел, какой простор здесь для музыки, для голоса – для плача, жалобы, ликования, тоски...

И эта музыка безошибочно узнается, и на нее откликается, как на родной голос, всякая душа, которой вообще хоть что-то известно о жизни, России, печали и любви.

Но нельзя рябине

К дубу перебраться!

Знать, ей, сиротинке,

Век одной качаться. ♪

КОРОЛЬ ГОСУДАРСТВА ВРЕМЕН

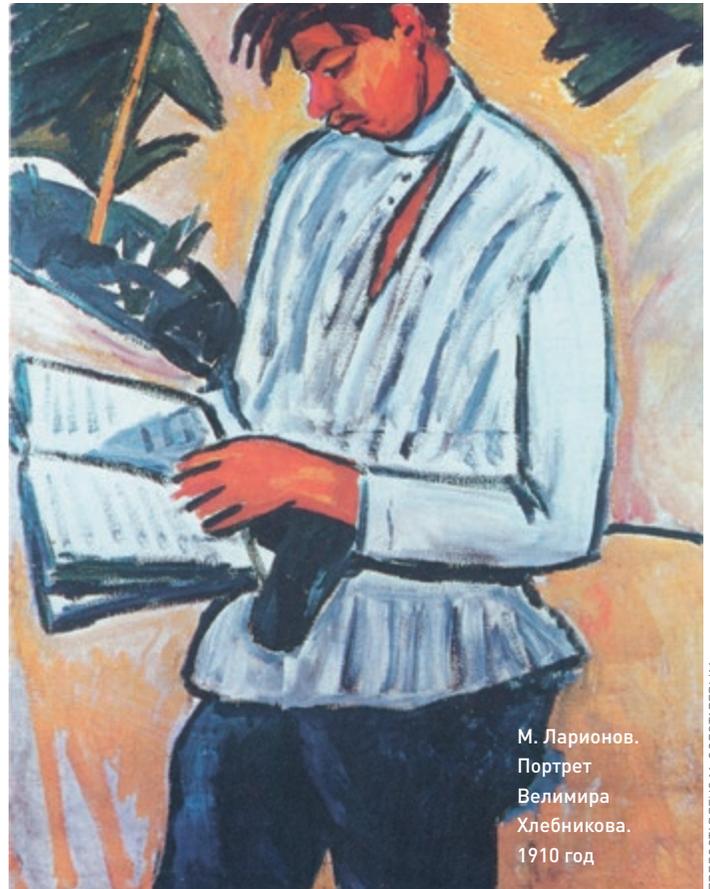
ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Странный, похожий на большую птицу, он совсем не вписывался в обычную человеческую жизнь. Странные стихи, странные рисунки, странные вычисления — это признак гения или бред сумасшедшего?

В ИКТОР ХЛЕБНИКОВ, СРЕДНИЙ ИЗ ПЯТЕРЫХ детей ученого Владимира Хлебникова, родился 28 октября (9 ноября) 1885 года в Калмыкии – в Малодербетовском улусе Астраханской губернии, где служил его отец; сейчас это село Малые Дербеты. Степь, кочевники, буддийские ламы – все, что кажется нам экзотикой, для него было привычной с детства средой:

*Меня окружали степь, цветы, ревучие верблюды,
Круглообразные кибитки,
Моря овец, чьи лица однообразно худы,
Огнем крыла пестрящие простор удода –
Пустыни неба гордые пожитки.
Так дни текли, за ними годы.*

Владимир Алексеевич Хлебников был биологом. Он служил в Министерстве земледелия и государственных имуществ, занимался научными исследованиями, был основателем и директором Астраханского заповедника – первого в России (заповедник был создан в дельте Волги его стараниями в 1919 году). Жена его, Екатерина Николаевна, историк по образованию, была старше его на восемь лет; они любили друг друга, несмотря на разницу в годах, брак был крепкий и надежный. Бывшая смолянка, Екатерина Николаевна старалась служить обществу как могла: учила сирот в детском приюте, а во время русско-турецкой войны была сестрой милосердия. В молодости она была близка к народолюбцам, но потом вышла замуж и занялась детьми.



М. Ларионов.
Портрет
Велимира
Хлебникова.
1910 год

ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

СТРАННЫЕ ДЕТИ

Маленький Виктор был спокойным и милым ребенком. Он любил учиться, рисовать, слушать чтение, вместе с отцом изучать птиц и зверей. Когда семья переехала из Астраханской губернии в Волынскую, Витя, очарованный окружающими лесами, парками, таинственными развалинами, «упорно утверждал изумленным братьям, что у него свое королевство и что каждый день за ним прилетает белый лебедь», – вспоминала сестра будущего поэта, Вера Хлебникова. Он уже тогда чувствовал себя королем.

Дети сначала учились дома. Родители старались приглашать лучших учителей – рисование преподавали художники (Хлебников профессионально рисовал), языкам детей обучали иностранцы. Дома была огромная библиотека; родители много внимания уделяли естественным наукам и чтению классики.

Семья много переезжала – Симбирск, Казань; начал учиться в одном городе, продолжил в другом. Учился средне, но увлекался математикой и отлично писал сочинения. Держался особняком, мало с кем дружил.

Хлебников писал в поэме «Ночь перед Советами», рассказывая о своей семье:

*Дети росли странные, дикие,
Безвольные, как дитя,
Вольные на все,
Ничего не хотя:
Художники, писатели,
Изобретатели.*

Изобретателем был брат Александр, который пропал без вести в Гражданскую войну; брат Борис сошел с ума и умер в 1908-м; сестра Екатерина, зубной врач, умерла в 1924 году. Всех пережила художница Вера, которая уже после смерти Виктора-Велимира вышла замуж за его друга, художника Петра Митурича; художниками стали и их сын Май, и внучка Вера.

Родители Хлебниковы надеялись, что дети получают образование, найдут работу, смогут прокормиться сами и помогать родителям на старости лет. Вместо этого они сами без конца помогали детям, ищущим свое место в жизни, и пережили четверых из них; заботы о состарившихся родителях взяла на себя Вера.

В Викторе отец мечтал увидеть продолжателя своего дела, орнитолога, и сын вначале собирался исследовать птиц. Птицами мальчик был очарован с раннего детства. Первое его стихотворение, написанное в 12 лет, было о птичке в клетке; птичий мир – снегирь, лебеди, свиристели – наполняет его стихи.

Впрочем, стройный мир математических закономерностей интересовал юношу не меньше – и поступать он решил на математическое отделение физико-математического факультета Казанского университета. Обучение физике и математике закончилось после того, как студент Хлебников был арестован во время студенческих беспорядков в 1903 году и месяц просидел в тюрьме. Затем он пытался учиться на естественном отделении университета, но не окончил и его.

СТАЯ ЛЕГКИХ ВРЕМИРЕЙ

С 1904 года Хлебников стал всерьез задумываться о литературе как главном деле своей жизни. Он отправил Горькому, возглавлявшему издательство «Знание», свою пьесу «Елена Гордячкина», и Горький, по свидетельству Веры Хлебниковой, одобрил ее, однако издавать не стал – вернул автору рукопись с замечаниями.

Хлебников все еще думает, что станет орнитологом; ездит в экспедиции, изучает птиц – но пишет в это время и стихи, и прозу. Он еще мало похож на себя будущего, но уже слышна фольклорная напевность, особая интонация, особенно заметная в прелестной стилизации под народную песню «Как во лодочке, во лодочке» – диалог печальной девицы с плачущей лягушечкой, которая жалуется на буйна молодца, повывбрасывавшего все ее «сундучки-рундучки», которые она «стерегла-берегла».

Поэт подолгу живет вне больших городов. Вслушивается в крестьянскую речь, в народные песни и сказки, задумывается об истоках слова, ищет иную выразительность – и постепенно обнаруживает новые возможности в словотворчестве. Он все меньше внимания уделяет естествознанию, все больше литературе; это стало причиной конфликта с родителями, он ушел из дома, стал жить один. Писал стихи и прозу; стоит отметить попытку крупной формы – незаконченное произведение «Еня Воейков», юношеская попытка создания всеобъемлющей теории: герой пытается распространить закон любви к ближнему за пределы своего биологического вида и с той же братской любовью, что и к людям, относиться и к животным, и к растениям.

Пока он никому не известен как поэт, но уже написано несколько волшебных стихотворений, которые будут признаны шедеврами; уже смеются «смехачи», уже в русскую поэзию ворвалась стая легких «времирей», уже поплыли над страной рыдающие «облакини».

Ему сейчас очень важно найти единомышленников, которых также занимают вопросы языка, его происхождения, его возможностей, скрытых смыслов. Такого единомышленника он нашел в Вячеславе Иванове, которому в 1908 году послал несколько своих стихотворений. Вскоре состоялось и личное знакомство. Хлебников решил всерьез заниматься литературой – и перебраться из Казани в Петербург.

КОРОЛЬ

В столице он попытался возобновить учебу; его зачислили на третий курс естественного отделения физико-математического факультета университета. Там он тоже проучился недолго: уже через год решил перевестись на историко-филологическое отделение славяно-русского факультета – на первый курс. Но уже в 1911 году он решил оставить университет и был исключен за неуплату. На том его образование и закончилось.

Пожалуй, попытка заняться филологией – это следствие знакомства с Ремизовым и Городецким, увлечение славянством, мифологией, язычеством. Он пишет пьесу «Снежимочка» — о Снегурочке, попавшей в Петербург; в его произведениях полно леших, русалок, совсем фантастических персонажей собственного изобретения.

Печататься Хлебников начал с 1908 года, когда журнал «Весна» опубликовал его рассказ «Искушение грешника», впечатливший редакцию своей словесной вязью. Весь аванс за рассказ автор отдал каким-то музыкантам в кавказском кабаке. Он вообще легко спускал деньги – относился к ним как ребенок: никогда не считал их и не считался с чужими расходами, покупал ненужное, не имея необходимого... Жил в самой аскетической обстановке и – общее место в любом рассказе о Хлебникове – не умел сам о себе позаботиться.

Он был очень высок ростом – вровень с высоченным Маяковским, хорошо сложен, хотя и несколько худ. Он очень разный в воспоминаниях современников: кто-то помнит его тихим и застенчивым до немоты; кто-то – резким, неуживчивым и упрямым; кто-то – беззащитным, как дитя, а кто-то – сильным и бесстрашным. Пожалуй, логика поведения здесь примерно прослеживается: в своем мире – слов, мыслей, созвучий – он был сильным, принципиальным, часто резким, всегда – внушающим уважение. В обычной жизни он был беспомощен, растерян, смешон – так в кинокомедиях выглядят средневековые цари и воины, попадающие в мир телефонов, автомобилей и компьютеров. Наверное, это могло бы быть очень интересное кино, если представить, что в мир аэропланов и электричества попал не мускулистый Тор из блокбастера, а лесное божество, сказочный герой – не то король Оберон, не то Финист Ясный Сокол... Велимир. Попав в этот мир, растеряв волшебную силу, забыв язык, разучившись летать, это сказочное существо должно зваться Виктором Владимировичем, носить пиджак, оканчивать университет, зарабатывать на жизнь... А оно все ищет, кто бы помог ему вспомнить родной язык, все тоскует по шороху времешей, все пытается людям рассказать об этом...

Самые чуткие откликнулись — умели разглядеть в этом странном, практически безумном человеке королевскую величавость. «Король русской поэзии»,

назвал его Маяковский, «королем времени» избрали его в декабре 1915 года; «король государства времен», – пишет он в одном из стихотворений. Из армии он писал другу: «король в темнице, король томится»... Друзья умели разглядеть и необыкновенную красоту (одна из женщин, в которую он был влюблен и которая отвечала ему взаимностью, писала, что он был «изумительно красив»). И главное – безусловный, мощный талант, который и замечают только те, кто и сам слегка не от мира сего.

Таких вокруг Хлебникова нашлось немало – и если сначала его круг общения в Петербурге составляли завсегдатаи «Башни» Иванова, то к концу 1900-х становится очевидно расхождение Хлебникова с символистами. В 1910 году Василий Каменский – тот самый редактор, который принял к публикации «Искушение грешника», – знакомит его с художником Михаилом Матюшиным и его женой, художницей и поэтессой Еленой Гуро, а те, в свою очередь, — с Давидом Бурлюком. Футуристы Крученых и Бурлюк позднее подготовили к изданию первые книги Хлебникова; футуристы признавали его первенство среди всех. Хлебников включается в бурную футуристическую жизнь с ее скандальными выставками, смелыми сборниками и оглушительными манифестами; гостит у Бурлюков в Чернянке, пропадает в «Бродячей собаке», выступает с футуристами

– правда, не особенно хорошо: выходит, читает несколько строчек – и затем безнадежно машет рукой: «и так далее» – и уходит со сцены.

Сейчас его главное увлечение – уже не словотворчество, не «золотописьмо тончайших жил». Теперь он ищет закономерности не в словах, а в числах: он полагает, что числа управляют судьбами людей и народов. Он пытается объяснить свой метод вычислений, даже посылает свои выкладки министру Нарышкину. Выкладки эти здравомыслящему человеку кажутся сущим безумием,

но уже в 1912 году в книге «Учитель и ученик» он задал вопрос: «Не следует ли ждать в 1917 году падения государства?»

Хлебников вычислил, что число 317 имеет судьбоносное значение; события в жизни человека повторяются через 317 дней; события в истории – через 317 лет. Скоро он придумал создать общество Председателей земного шара – их тоже должно было быть 317, из разных народов. Председателями земного шара стали он сам, его друзья-футуристы, художник Малевич, Рабиндранат Тагор...

Я ПОГИБ, КАК ГИБНУТ ДЕТИ

К 1914–1915 годам футуристов настиг внутренний кризис, группа стала распадаться. Хлебников, поссорившись с Бурлюком, даже думал примкнуть к акмеистам, но там происходило то же самое: «Цех поэтов» распался. А впереди была Великая война.

Хлебников, молодой и здоровый, избежать призыва не мог. Делать из «короля русской поэзии» и «председателя земного шара» солдата – все равно что дрессировать ветер. Но объяснить воинскому начальству в военное время, почему здоровый тридцатилетний мужчина не в состоянии служить, как все, было практически невозможно. Хлебникова зачислили в ополчение ратником II разряда и направили в 93-й запасный пехотный полк в Царицын. Он отправил оттуда другу открытку со стихами:

*Где, как волосы девицыны,
Плещут реки, там, в Царицыне,
Для неведомой судьбы, для неведомого боя,
Нагибались дубы нам ненужной тетивой,
В пеший полк 93-й
Я погиб, как гибнут дети.*

Он умолял друзей помочь. Художника Кульбина, генерала медицинской службы, упрашивал спасти – писал

про «ад перевоплощения поэта в лишенное разума животное, с которым говорят языком конюхов». «Я могу стать только штрафованным солдатом с будущим дисциплинарной роты, – писал он. – Шаги, приказания, убийства моего ритма делают меня безумным к концу вечерних занятий, и я совершенно не помню правой и левой ноги. Кроме того, в силу углубленности я совершенно лишен возможности быстро и точно повиноваться». Кульбин стал требовать психиатрического освидетельствования Хлебникова; начались бесконечные медкомиссии, одна из которых дала ему отпуск; дальше снова медкомиссии и пребывание в психиатрических лечебницах; они так опостытели поэту, что он стал проситься на фронт – но туда его не пустили: ненадлежащий, дескать, вид для фронта. От армии Хлебникова спасла только Февральская революция.

СВОБОДА ПРИХОДИТ НАГАЯ

Весна 1917 года для него – весна, надежда, новая влюбленность (одна из многих)... Наверное, лучшее время его жизни, необыкновенное счастье жить. И необыкновенные стихи: «Свобода приходит нагая, бросая на сердце цветы»...

Он участвует в работе Союза деятелей искусств, много ездит по стране – Киев, Харьков, Таганрог, Астрахань, снова Петроград. Октябрьскую революцию он встретил в столице и принял, как и Февральскую; затем был свидетелем боев в Астрахани, куда ездил к родителям; потом переехал в Москву, где врач Александр Давыдов, влюбленный в искусство, поселил его в отдельной комнате и взял на себя все бытовые заботы. В семейном уюте Давыдовых Хлебников продержался недолго, меньше двух месяцев. «У гения своя дорога», – сказал он и снова отправился путешествовать: Нижний Новгород, Казань, снова Астрахань.



Велимир
Хлебников
в армии.
1916 год

ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

«Художница Нина Коган... спросила его как-то раз, каждый ли поэт может написать по-настоящему хорошие стихи, – рассказывает биограф поэта София Старкина. – Стихи, – сказал он, – это все равно что путешествие, нужно быть там, где до сих пор еще никто не был».

В 1918 году он жил у родителей в Астрахани – и, как ни удивительно, даже служил: почти пять месяцев проработал в газете «Красный воин», где печатал стихи. Газетной работой он занимался и потом, в дальнейших своих странствованиях – в Баку и в Персии, куда он поехал, увлеченный Востоком, где его прозвали «русский дервиш» – и где среди его занятий было даже такое экзотическое, как воспитание ханских детей. Он увлечен идеей преобразования мира; он искренне хочет приносить пользу красноармейцам, служить революции. Он пробует издать свою книгу, обсуждает проект «Интернационала искусств» с Татлиным.

ГЕНИЙ ИЛИ ДУШЕВНОБОЛЬНОЙ?

Странствия по революционной, воюющей стране приводят его в Харьков, где денкиныцы пытаются мобилизовать его в армию. Он снова спасается в психиатрической лечебнице, где доктор Анфимов внимательно изучает состояние его психики. Доктор пришел к заключению, что Хлебников душевно болен: «Для меня не было сомнений, что в В. Хлебникове развертываются нарушения нормы, так называемого шизофренического круга, в виде расщепления – дисгармонии нервно-психических процессов». Он отмечал, однако, что характерного для шизофреников оскудения мышления у Хлебникова нет – напротив, есть некоторый внутренний хаос, не лишенный богатого содержания.

В декабре 1921 года Хлебников вернулся в Москву, чтобы издать «Доски судьбы» и сверхповесть «Зангези». Новая Москва ему не понравилась, друзья, вросшие в советский быт, тоже. Он плохо себя чувствовал, его одолевала лихорадка; его трясло так, что содрогалась вся кровать. Художник Митурич предложил ему погостить у него в деревне Санталово под Новгородом. Здесь Хлебникову стало совсем плохо – лихорадка была все сильнее, отнялись ноги. В ближайшей больнице ничем помочь не могли; появились пролежни, от них гангрена. «Трудно тебе умирать?» – спросил Митурич. «Да», – ответил Хлебников и больше уже в сознание не приходил.

Умер он 28 июня 1922 года.

Споры вокруг Хлебникова и сейчас не утихают, хоть он и провозглашен при жизни – гением, а сразу после смерти – классиком. Его максимально полное собрание еще в 20-х начал собирать филолог Николай Степанов, а один из членов ОПОЯЗа, самый авторитетный филолог своего поколения Юрий Тынянов, говорит,

что «в Хлебникове есть все» («Хлебников был чемпион», – вторит ему товарищ по ОПОЯЗу Виктор Шкловский). Тем не менее всегда находились люди – сегодня они оформились в целую научную школу, – считающие, что Хлебников – клинический безумец, чьи идеи – вполне бредовые – в какой-то момент оказались созвучны столь же бредовому времени; если бы не революция и ее предчувствие, так бы он и умер в тихой психушке либо на попечении родни. Почему современники воспринимали его как гения – объяснить на деле нетрудно: пора уже признать, что 90 процентов репутации – это степень соответствия между тем, что человек провозглашает, и тем, как он живет.

Большинство текстов Хлебникова ничуть не более безумны, чем, скажем, сказки или стихотворения в прозе Ремизова, составившие его первые книги. Но Ремизов, при всей своей театрализации быта, при Обезьяньей палате и ее дипломах, выдававшихся всем знакомым, при полной бытовой беспомощности был все-таки глупоко нормальным, самоироничным, где-то, пожалуй, и циничным человеком: он свой карнавал организовывал сам. Даже Андрей Белый, которого почти все знакомые считали клиническим безумцем, превосходно владел собой, что подтвердила публикация его переписки. Да, письма оформлены безумно, буквы в них огромные, масса повторов и выпендриваний, а все-таки речь в них идет о гонорах, об

издателях, о своих вполне конкретных планах. Иное дело Хлебников: тексты его на фоне футуристической поэзии либо ремизовских «Снов» не так уж и безумны, но, в отличие от современников, он так жил. Учившийся на пяти факультетах и не окончивший ни одного, занимавшийся математикой, физикой, санскритом, японским языком, историей и орнитологией, не хранивший рукописей (кроме как в знаменитой наволочке), не имевший пристанища, всегда трагически влюбленный и никогда не женатый, молчаливый, на всех своих портретах смотря-

щий мимо зрителя, а на немногих фотографиях глядящий на фотографа испуганно и недоверчиво, – он был дервишем, скитальцем, не выдумавшим себе маску и судьбу, а обреченным на такую жизнь. Слова у него в текстах – прозаических, поэтических, драматических – стоят под странным углом, и даже в письмах, общая о настигшем его параличе, он обещает двинуться дальше, «вернув дар походки» – вместо рутинного «когда поправлюсь» или «когда смогу ходить».

В фильме фон Триера «Идиоты» герои, притворяющиеся сумасшедшими, пасуют перед реальными психами; так вся русская литература, старательно игравшая в безумие в первой половине XX века (потом она тоже этим увлекалась, просто карнавальную шизофрению заменила сталинская паранойя), проигрывает Хлебникову, которому притворяться не было никакой нужды.

Ставить ему диагноз спустя сто лет – безнадежное занятие. Судя по динамике его текстов, можно предполагать, что первые признаки болезни, выразившейся в попытке систематизировать мир, выстроить алгоритмы истории, проявились у него еще в 1903 году, когда юноша, участвуя вместе с отцом-орнитологом в экспедициях, попытался выстроить графики миграции кукушки и вывести математические формулы для птичьих перемещений.

ПОСАДИТЬ ВРЕМЯ В КЛЕТКУ ЧИСЕЛ

Вообще, его первая навязчивая идея – их было немного, всего-то три – заключалась именно в том, чтобы «посадить время в клетку чисел», взять историю за узду, как он называл все это, вывести законы исторических приливов и отливов – то есть той же миграции, но уже племенной, человеческой, – и в конце концов научиться предсказывать будущее с помощью математических моделей. Ничего сенсационного тут нет, это одна из главных задач XX века – научиться предсказывать будущее, обозначить исто-

рические циклы, и занимались этим глубочайшие мыслители в диапазоне от Тойнби до Пригожина (Лев Гумилев, кстати, в своей теории пассионарности во многом шел именно от Хлебникова, и его интерес к Азии предопределен хлебниковской страстью к Монголии, Каспию, буддизму, к Востоку вообще. Запад вызывал у Хлебникова ненависть, казался выродившимся и т.д. – **Прим. авт.**). Хлебниковское безумие в том, что у него эта естественная страсть к выявлению исторического цикла наложилась на математическое образование и манию конкретики, буквального исполнения собственных правил. Если исторические события происходят с более или менее правильным интервалом, этот интервал должен подчиняться математической формуле, должен быть суммой сложных степеней двойки и тройки (которые, по Хлебникову, лежат в основании мира), и все «Доски судьбы» – не что иное, как героическая попытка подгадать под этот закон все великие перемещения народов. Если в таком-то году осуществилось масштабное поражение той или иной нации – стало быть, через n дней надо ждать великой победы, и история – отлично документированная в последнюю тысячу лет – дает Хлебникову обширный материал для подкрепления этих совершенно абсурдных вычислений. Не важно, что масштабы поражений и побед у него чаще всего не совпадают. Важно, что с помощью этих неправильных методов он каким-то чудом давал правильные прогнозы – скажем, точно предсказал русские революции 1917 года и начало Первой мировой войны. Как это у него получалось – точнее всего рассказывает классический еврейский анекдот, при помощи которого Ролан Быков любил иллюстрировать принципиально нерациональную суть искусства. Еврей приходит к раввину и спрашивает, на какое число поставить в рулетке. Тот отвечает: 27. Еврей ставит и выигрывает огромную сумму. «Рабби, откуда вы знали?» – «Очень просто. Ты пришел ко мне 7 апреля, седьмого числа четвертого месяца; умножаем 7 на 4 и получаем 27». – «Но рабби! Семью четыре – 28!» – «Нахал, ты выиграл и еще недоволен?!» Хлебников выиграл, а как он это сделал – при помощи ли своих абсурдных формул насчет «колебания мировой струны» или благодаря поэтическому дару предвидения, – нас волновать не должно.

ЖЕЛЕЗНАЯ ЦЕПЬ

Вторая идея фикс тоже выглядит вполне здоровой и даже плодотворной: из нее выросла одна из новых наук о языке. Ностратика, компаративистика, индоевропеистика – все это сегодня стремительно развивающиеся области лингвистики; есть гипотеза о некоем всемирном праязыке, из которого выросли все осталь-

туризма. «Зачем вся эта архаика?» – пожал плечами Маринетти, но Хлебников с Лившицем как раз в архаике и видели выход, и ничего безумного в этом нет. Культ архаики, ритуала, имморализма был в 1910-е годы в моде, а в 30-е стал прямой реализацией тех идей: весь фашизм, вся его идеология и мифология выстроены на архаике, на презрении к отжившей Европе, на культе воинственной древности, титанов, волхвов и т.д. Разумеется, это тупик, но эстетически и он был

в свое время привлекателен, и Хлебников из своей азиатской мании сделал несколько превосходных стихотворений, хотя безумие уже кладет на них свою тень. Что касается отчетливо графоманских черт поэзии самого Хлебникова – кажущееся пренебрежение формой, свободное чередование размеров, парадоксальные логические связи между главами, строфами, словами – так ведь XX век канонизировал и графоманию. Очень многие великие картины этого столетия напоминают рисунки детей, а стихи Пригова или Рубинштейна – детские или графоманские опусы. Примитивизма тоже никто не отменял. Хлебников заставил русскую литературу прислушиваться к бреду и лепету – и вычитывать из него великие закономерности эпохи, потому что детское зрение всегда видит только главное. И великие лирические образцы у него все равно есть – где же здесь, например, безумие?

БАБОЧКА В КОМНАТЕ ЖИЗНИ

Третья идея, уже упомянутая, маниакальный интерес к Востоку, разочарование в Западе, вера в то, что новая заря загорится именно в Азии, необязательно в русской. Может, свет миру вообще придет из Японии, которая Хлебникова интересовала настолько, что он даже принялся изучать японский язык; а может – из Персии, из Азербайджана, куда он несколько раз отправлялся и с любопытством изучал местные обычаи и наречия. Тут тоже не сказать, чтобы правило чистое безумие, напротив, и сегодня многие уверены, что Европа себя пережила, а вот Восток всем еще покажет. К сожалению, вера в чудесные возможности пробуждающейся Азии сочеталась у Хлебникова и его адептов с преувеличенной, на грани безумия, ненавистью к европейской культуре. Противопоставление культуры и цивилизации после Шпенглера стало общим местом, но эти идеи Хлебников развивал до Шпенглера. Он был уверен, что цивилизация – комфорт, терпимость, эгоизм – враждебна культуре, убийственна для нее; отсюда его ярость по поводу восторженного приема, который русские футуристы оказали итальянцу Маринетти, когда он приехал в Петербург в январе 1914 года. Тогда с ним вполне совпал Бенедикт Лившиц, прочитавший Маринетти целую лекцию о том, что Россия давно переросла Европу и Восток знал все изыски Запада задолго до фу-

туризма. «Зачем вся эта архаика?» – пожал плечами Маринетти, но Хлебников с Лившицем как раз в архаике и видели выход, и ничего безумного в этом нет. Культ архаики, ритуала, имморализма был в 1910-е годы в моде, а в 30-е стал прямой реализацией тех идей: весь фашизм, вся его идеология и мифология выстроены на архаике, на презрении к отжившей Европе, на культе воинственной древности, титанов, волхвов и т.д. Разумеется, это тупик, но эстетически и он был

в свое время привлекателен, и Хлебников из своей азиатской мании сделал несколько превосходных стихотворений, хотя безумие уже кладет на них свою тень. Что касается отчетливо графоманских черт поэзии самого Хлебникова – кажущееся пренебрежение формой, свободное чередование размеров, парадоксальные логические связи между главами, строфами, словами – так ведь XX век канонизировал и графоманию. Очень многие великие картины этого столетия напоминают рисунки детей, а стихи Пригова или Рубинштейна – детские или графоманские опусы. Примитивизма тоже никто не отменял. Хлебников заставил русскую литературу прислушиваться к бреду и лепету – и вычитывать из него великие закономерности эпохи, потому что детское зрение всегда видит только главное. И великие лирические образцы у него все равно есть – где же здесь, например, безумие?

Мне, бабочке, залетевшей

В комнату человеческой жизни,

Оставить почерк моей пыли

По суровым окнам, подпись узника,

На строгих стеклах рока.

Так скучны и серы

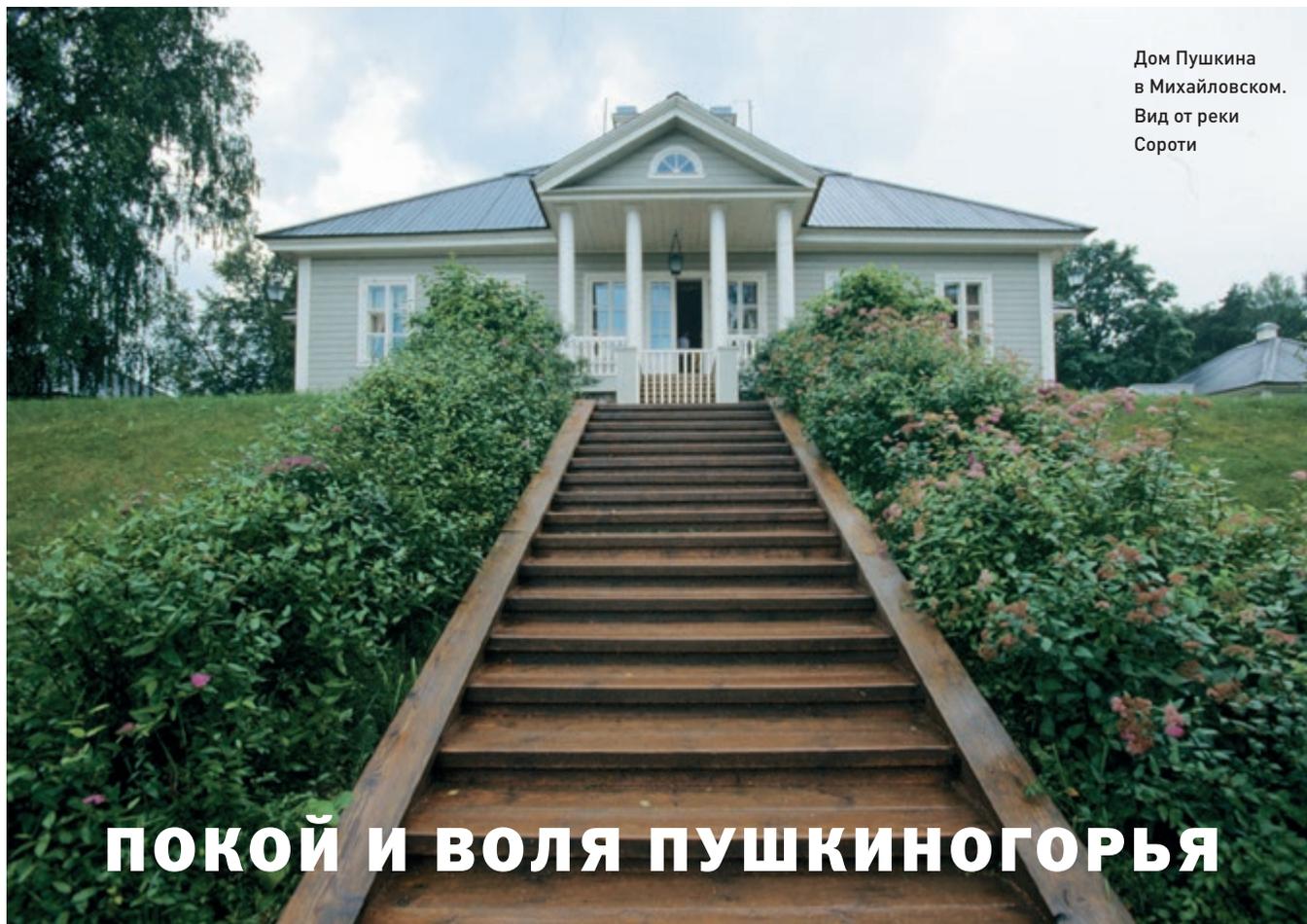
Обои из человеческой жизни!

Окон прозрачное «нет»!

Я уж стер свое синее зарево, точек узоры,

Мою голубую бурю крыла – первую свежесть.

Пыльца снята, крылья увяли и стали прозрачны и жестки. ❀



Дом Пушкина
в Михайловском.
Вид от реки
Сороти

ПОКОЙ И ВОЛЯ ПУШКИНОГОРЬЯ

АННА ШАХОВА

Москва, Петербург, Одесса, Болдино... Пушкинские места исхожены, изучены, бережно сохраняемы. Но в ряду мемориальных адресов поэта родовое имение Михайловское стоит особняком. Память о Пушкине здесь хранят не просто дом-музей, парк или улица — пушкинским духом проникнуто уникальное пространство в 10 тысяч гектаров древней псковской земли, на которой Александр Сергеевич завещал себя похоронить.

СОБИРАЯСЬ В ПУШКИНСКУЮ «Деревню» — «приют спокойствия, трудов и вдохновенья», — прежде всех прекраснодушных мыслей о литературе и просторах Пушкиногорья приходилось думать о том, как бы добраться без приключений в виде разбитой автомобильной подвески. Дорогу на Псковщину местные жители называли с сарказмом «дорогой жизни»: многие давали крик по Минской трассе, дабы сэкономить

РИА НОВОСТИ

В 1742 году императрица Елизавета Петровна пожаловала прадеду Пушкина, Абраму Петровичу Ганнибалу – прославленному «арапу Петра Великого», – земли псковской Михайловской губы. После его смерти они были поделены между тремя сыновьями, и родной дед поэта, Осип Абрамович, получил сельцо Михайловское. Затем имение унаследовала бабушка Александра Сергеевича, Мария Алексеевна Ганнибал, а с 1816 по 1836 год владелицей Михайловского становится

время. Ведь скорость по прямой составляла из-за ухабов и ям не более 30 километров в час. Слабым утешением служили рассуждения о том, как здорово почувствовать себя человеком пушкинского времени, которое текло медленно, верстово...

И «вдруг, о радость...!»! Ровная гладь асфальта! Сама дорога к Пушкину явилась первым подарком путешествия. Семь часов составил путь в 650 километров из Москвы. Машин на Рижской дороге мало: словом, лети не хочу.

Вторым подарком стала безграничная открытость заповедных мест. Безграничная в прямом смысле слова. Приехав в усадьбу Михайловское в сумерках, когда не то что музейные кассы закрыты, но и на протяжении десятка километров не встретишь ни души, удалось вступить «под сень лип» и елей, на лесную дорогу, ведущую к дому поэта. Охраняются заповедные усадьбы (Михайловское, Тригорское и Петровское) безукоризненно по всему периметру, и я ждала оправданного запрета на ночные прогулки. Ан нет! Миновав шлагбаум и будку охранника, который приветливо кивнул «чокнутой пушкинофилке», я оказалась в беспримесной тишине и величавом покое имения поэта. Вековые дубы и сосны, смолистый пряный дух, смена пейзажа: от сумасшедшей широты горизонта за Соротью до «уголка уединения», окаймленного прудом, продуманная вольность парка – все из иного, дальнего, но родного и надежного времени...

Валентин Курбатов – друг и биограф Семена Степановича Гейченко – писал о хранителе этих мест, что он – зримое «доказательство возможности быть в истории дома». Убедена, всякий русский, приехав сюда, в той или иной мере ощутит этот «дом».

СЕЛЬЦО МИХАЙЛОВСКОЕ

Ровно 180 лет назад, летом 1834 года, Пушкин пишет в «сельце Михайловское» стихотворение «Пора, мой друг, пора» с его афористичной строкой: «на свете счастья нет, но есть покой и воля». Воля как внутренняя целеустремленность, способность к усилию? Да, бесспорно так. Но в большей степени – как ключевое в творчестве Пушкина понятие вольницы, свободы, неодолимого порыва за «флажки»: цензурные, сословные, творческие.

Укорененное в Пушкине чувство внутренней свободы, «духовной насыщенности» сохранялось даже в вынужденном затворничестве Михайловской ссылки 1824–1826 годов. Именно в те годы произошел кардинальный поворот в его творчестве. От романтического «литературного образца» с набором масок и типом поведения – к прозе жизни и простоте как поэзии. От поэта – «странного человека», по любимому выражению Лермонтова, к поэту – «просто человеку», по выражению Пушкина. Таким он ощутил себя в деревенской глуши, среди нянюшкиных сказок, скачек по лугам Михайловской губы, шума мельничных крыльев, изгибов Сороти, звонов к заутрене Святогорского монастыря...

мать поэта, Надежда Осиповна. После ее кончины имение переходит к детям – Александру, Льву и Ольге. Александр Сергеевич предполагал выкупить имение у сестры и брата, но... После смерти поэта в 1837 году опека выкупает имение у наследников в пользу детей Пушкина. До 1860-х годов в Михайловском никто не живет. Дом разрушается, усадьба и парк приходят в запустение. С 1866 года владельцем становится младший сын поэта, Григорий Александрович, который налаживает усадебное хозяйство. В год столетия «первого русского поэта» имение у Григория Александровича было выкуплено государством. В память о Пушкине устраивается Колония для престарелых литераторов, а в июне 1911-го открывается первый Пушкинский музей.

В феврале 1918 года Михайловское было сожжено местными крестьянами. Когда нарком просвещения Луначарский приехал на руины и спросил у жителей: «Что вам сделали Пушкины, которые всегда были лояльны к своему люду?» – народ пожимал плечами. Мол, поступило распоряжение жечь все подряд. Так и осталось невыясненным – какое распоряжение, зачем?..

В 1922 году постановлением Совета Народных Комиссаров Михайловское, Тригорское и могила поэта в Святогорском монастыре были объявлены заповедными. Впрочем, вместо точной копии дома Пушкиных был построен павильон в «современном стиле», который сгорел в Великую Отечественную.

Когда в апреле 1945 года директором Пушкинского заповедника был назначен С.С. Гейченко, он приехал в «заминированную пустыню». Но уже через четыре года здесь стояли и домик няни, и дом Александра Сергеевича, воссозданные с благоговейным тщанием по единственному сохранившемуся изображению усадьбы пушкинских времен – литографии 1837 года. Семь соратников начинали с Гейченко отстраивать Пушкиногорье заново. 500 человек находится в штате сегодняшнего заповедника в 9,8 тысячи гектаров. 46 тысяч единиц хранения: семейные реликвии рода Пушкиных, мемориальные вещи, принадлежавшие поэту и его окружению, – живопись, книги, оружие, предметы быта. Кстати, отступая из пушкинских мест, немцы пытались вывезти музейный фонд, с дотошностью составив опись. Благо обозы были перехвачены нашими войсками.

Штат заповедника велик, потому что требуется охранять необъятную территорию, убирать парки, обихаживать цветники и сады. Но «всему голова» – конечно, пушкинисты, музейщики. Одним из таких людей пушкинской «группы крови» является историк и краевед Андрей Михайлович Васильев. Он вырос в этих краях. Отец его, Михаил Ефимович, многие годы был хранителем Святогорского монастыря, выстроил с энтузиастами-волонтерами часовню у деревни Луговка. Прогуливаясь с Андреем Михайловичем по усадебным паркам, слушая его рассказы, пересыпанные пушкинскими строфами, я невольно задала глуповато-провокационный вопрос: «А вы все стихи Пушкина знаете наизусть?» Со всей серьезностью он ответил: «Нет пока. Но хотел бы знать».

Усадебный быт и парковые красоты не выглядят декорацией и краеведческим воспоминанием о «преданьях старины глубокой». Войдя во флигель-кухню, домик няни, в скромный кабинет Александра Сергеевича, видишь не коллекцию



Кабинет
А.С. Пушкина
в усадьбе
Михайловское

ИТАР-ТАСС

предметов, не печи, штофы, сундуки и книги, а вещи, которые ждут хозяев, ненадолго отлучившихся...

Подвижный, веселый, любящий блеск бальной толпы, столичную суету и разговоры с друзьями, Пушкин оказался в Михайловской ссылке в девятом двухлетнем одиночестве. Поездка в Тригорское – уже событие. Быт – бедный (топились лишь две комнаты в целом доме). Новости и общение – в редких письмах друзей. Отношения с семьей не ладились, и родители, упрекая сына ссылкой, уехали из имения. Пушкин остался с любимой няней («только с ней мне не скучно»), которая с детства дарила поэту материнское тепло, на что была скупа Надежда Осиповна, холя младшенького сына – Левушку. Вяземский писал: чтобы вынести эту ссылку, надо быть «богатырем духовным» и серьезно опасался, что Пушкин сойдет с ума или сопьется. Но, по выражению Юрия Лотмана, поэт обладал «активным, одухотворяющим окружающую жизнь гением: он не подчинился окружающему, а преобразил его».

Что ему усадебные границы, «подорожные», надзор приезжавших инкогнито соглядатаев, когда писательский дар просит дела – литературы! Раздумья, чтение («книг и книг!» – просит поэт у друзей), созерцание широты русской природы, своеобычности и ладности быта.

А однажды запретил хозяйке рубить березку! Та послушалась, но, когда Пушкин погиб, в березу попала молния и сломила ее...

Александр Сергеевич называл Тригорское «приятном, сияньем муз одетым». Общение с милыми его сердцу друзьями отразилось в большинстве произведений той поры, почти все они им воспеты. Но более всего усадьба известна как «дом Лариных». Описанный с мягким юмором уклад помещицкой семьи в «Евгении

Онегине» – это уклад дома Осиповых-Вульф. Среди пушкинистов не утихают споры, кто из сестер – Евпраксия или Анна – стал прообразом Татьяны. В характере и внешности Ленского видят черты Алексея Вульфа. Очарование и приметы пушкинской поэзии хранит и сегодняшний парк: вот на этой скамье мог читать свою отповедь Онегин трепещущей Татьяне.

Когда гроб с телом Пушкина везли в Михайловское, повозка случайно завернула в Тригорское. Нежданным сокрушительным ударом стала весть о смерти поэта для сестер. Младшая, Екатерина, вспоминала: «Какой ведь случай! Точно Александр Сергеевич не мог лечь в могилу без того, чтобы не проститься с нами».

После обеда в пушкиногорском кафе, кухня в котором оказалась отменной, я зашла в сувенирную лавку напротив и разговорилась с продавщицей Людмилой. «Вы еще не были в Петровском? – встрепенулась она. — Ну что вы, Петровское – моя любовь!»

Побывав в усадьбе, я прекрасно поняла Людмилу. Петровское – усадьба двоюродного деда поэта, Петра Абрамовича Ганнибала, с которым Пушкин познакомился в 1817 году после окончания лицея, – не столь велико, как Михайловское и Тригорское, но блистательно. Оно воссоздано чуть менее сорока лет назад – последним из имений. Ладный добротный дом в стиле русского классицизма с богатой обстановкой, прекрасный регулярный парк с «затейми», которые, впрочем, есть во всех заповедных усадьбах и

Внешне бедная на события жизнь не была праздной. Вставал помещик в седьмом часу и усаживался в «мыльной» в бочку со льдом, прямо как его Онегин. Со вкусом завтракал, писал или шел на ярмарку, надев красную ситцевую рубаху, соломенную шляпу и лапти. В летние месяцы на ярмарках можно было купить местные... дыни, апельсины и персики. Разговаривал с охотой с простым человеком, впитывал слова, наблюдал за типажам. А вот незваных гостей не жаловал, драпал (снова Онегин!) с заднего крыльца на жеребце. И очень любил самозабвенно «жарить по крышке ледника из «лепажа».

Пушкин много работал в эти годы в архивах библиотеки Святогорского монастыря, собирая материал для драмы о царе Борисе. Именно тогда наметился поворот к реализму в его творчестве, к тому пушкинскому литературному языку, который стал нашим, родным. Оттуда – и истоки будущих прозаических произведений, и историческая громада «Бориса Годунова», и вершина поэтического гения – «Евгений Онегин».

Обычно после двух пополудни Пушкину, отменному наезднику, седлали «прекрасного вороного аргамака», и он скакал к своим верным, бесконечно любившим его друзьям. Пушкин ехал в Тригорское, расположенное всего в трех верстах от Михайловского, – к Осиповым-Вульф...

ТРИГОРСКОЕ И ПЕТРОВСКОЕ

Будто в подтверждение моих мыслей о внешней «своеобразности» дома Осиповых Андрей Михайлович процитировал слова современников, которые называли сие обиталище «то ли сараем, то ли манежем». Зато внутри этот вытянутый деревянный «красавец» оказался блистателен! Осиповы были, в отличие от Пушкиных, зажиточны и хозяйственны. Мать семейства, Прасковья Александровна, имела нрав крутой и вела дом твердой рукой. Муж ее, Иван Сафонович, напротив, был покладист. Варил варенье и упражнялся в винокурении: у русских помещиков была монополия на производство вин. Супруги имели восемь детей. Пятеро – Прасковьи Александровны от первого брака. Со старшими дочерьми, Евпраксией и Анной, Пушкин нежно дружил, беззлобно подтрунивая над ними и дурачась. Однажды вздумал меряться с Евпраксией талиями, чем страшно раздосадовал 15-летнюю барышню: выяснилось, что талия у нее такого же объема, как у 25-летнего, хотя и чрезвычайно стройного, молодца.

Другая сестра, Мария, вспоминала, что, приехав, Пушкин мог запросто залезть в окно господского дома.

– Да в какое же окно он лазал? – уточняли слушатели.

– Да во все, поди, и перелазал, – отвечала она.

Помимо простой обстановки, которая грела душу поэта, была в Тригорском и еще одна бесценная вещь – хорошая библиотека. В ней он просиживал часами.

которых не счесть. Аллеи, зеленые кабинеты и залы, ротонды, гроты, пруды, горки-«парнасы». И, конечно, двухвековые липы и вязы. Кстати, старейшее дерево «Лукоморья» – «дуб зеленый», трехсотлетний великан, – красуется в Михайловском у дома Семена Степановича Гейченко.

Впрочем, деревья рано или поздно умирают. Память – если она подлинна и верна – никогда. В заповеднике решили посадить новую аллею Керн. Липы прежней, прославленной, неумолимо стареют, хоть и стараются их всеми силами сохранять. Но Михайловское немыслимо без символа романтической любви, без звучания строк о «гении чистой красоты». Кстати, этому «гению», «ангелу», но и «мерзкой», «вавилонской блуднице» – замужней Анне Петровне Керн – поэт пенял в письмах: «Отчего вы не наивны». «Вы не умеете или (что еще хуже) не хотите щадить людей. Хорошенькая женщина, конечно, себе хозяйка, вольна быть любовницей. Боже мой, я не собираюсь читать вам поучения, но все же следует уважать мужа – иначе никто не захочет состоять в мужьях. Не принижайте слишком это ремесло, оно необходимо на свете». Пушкин любил Керн, умел как никто выразить чувство в строфах. Но ни в малейшей степени он не обладал наивностью или экзальтацией.

«ОН НИ ВО ЧТО НЕ ВМЕШИВАЕТСЯ...»

Вспомнила, возвращаясь с экскурсии по усадьбам, кусок из «Заповедника» Сергея Довлатова о «высшей объективности» Пушкина. Довлатов, работавший два года на турбазе в Пушкинских Горах экскурсоводом, написал горькую и смешную повесть. Уже вернувшись из Пушкиногорья, отыскала это замечательное место о поэте в «Заповеднике»: «В местной библиотеке я нашел десяток редких книг о Пушкине. Кроме того, перечитал его беллетристику и статьи. Больше всего меня заинтересовало олимпий-

ское равнодушие Пушкина. Его готовность принять и выразить любую точку зрения. Его неизменное стремление к последней высшей объективности. Подобно луне, которая освещает дорогу и хищнику, и жертве. Не монархист, не заговорщик, не христианин – он был только поэтом, гением и сочувствовал движению жизни в целом. Его литература выше нравственности. Она побеждает нравственность и даже заменяет ее. Его литература сродни молитве, природе...»

По поводу «не христианин» я бы поспорила, но об этом – в свое время.

Утром следующего дня захотелось побывать возле съемного довлатовского дома – хибарки «Михал Иваныча» в Березине, в которую «через щели в полу заходили бездомные собаки». Любезный гид, Андрей Михайлович, проводил меня к деревенскому обиталищу писателя, память о котором сохраняется пушкиногорцами. Друзья и почитатели Довлатова подперли дом железными балками и обили его фанерой, сохраняя первозданный «стиль» избы. Пока двери в нее закрыты для посетителей, но «мемориальные» вещи уже собираются для возможного будущего музея: пустая поллитровка, стопки, портсигар – то, что я увидела, заглянув в окна.

Впрочем, пора было и честь знать. Сделать то, ради чего приехала на пушкинскую землю, – поклониться могиле Александра Сергеевича.

Святогорская обитель, основанная в середине XVI века, была одной из самых почитаемых на Руси. Храм Успения Богородицы построен на месте явления блаженному Тимофею иконы «Одигитрия». Ссылный поэт каждую неделю бывал в монастыре: у него сложились сердечные отношения с настоятелем Ионой, который должен был осуществлять духовное наблюдение за Пушкиным, обвиненным в безбожии. На вопрос секретного агента Бошняка: «Не возмущает ли Пушкин крестьян?» – Иона ответил: «Он ни во что не мешается и живет как красная девка».

В последние годы жизни поэт часто приезжал в Святые Горы и часами гулял около храма. В 1836 году умерла его мать – Надежда Осиповна. Перед кончиной она духовно сблизилась с сыном, винила себя за недоданное ему в детстве тепло. Пушкин тяжело переживал уход матери и именно тогда сказал друзьям, что хотел бы быть похоронен рядом с ней, дедом и бабушкой Ганнибалами у стен Святогорского монастыря.

Будто предчувствуя скорую гибель, он вновь и вновь возвращается к мыслям о «смерти неизбежной». Огромные долги, унижительный чин камер-юнкера, охлаждение и даже враждебность критики («Тридцатым годом... кончился Пушкин», – пишет В. Белинский), но главное – отвратительные сплетни, смешки по поводу волокитства Дантеса за его женой, делали жизнь поэта мучительной. Он ведет себя в свете агрессивно, непримиримо, «неаристократично». Даже друзья пеняют ему на это, а Вяземский и вовсе за несколько дней до дуэли говорит, что «отвращает свое лицо от дома Пушкиных». Пушкин мечтает о «покое и воле» де-

да, чтобы привести их в божеский вид, придется вкладывать сотни миллионов. Лучше бы сейчас обойтись относительно малыми вложениями. Впрочем, от этого государство отмахивается.

Сам Георгий Николаевич, возглавляющий заповедник двадцать лет, житель городской. Почему тут остался? Разводит руками: «Да потому что, приехав впервые в 13 лет, захотел вернуться снова и снова. Как любой нормальный человек, по-

павший в эти края». А так как его образование политэкономиста позволило писать «концепции развития», а попросту – вести хозяйство рачительно и с прицелом на будущее, – все сложилось.

– Зачем деревня городу? – спросил он меня.

Я что-то проямлила про созерцание, покой и радость. Теперь, Георгий Николаевич, могу ответить более внятно. Деревня нужна горожанину за тем же, зачем ночной отдых нужен после дневной суеты. Прохлада реки – после долгого пути под зноем. Молчание – после бурного разговора.

...Мука, которую сыплет бугровская мельница, совсем не та на вкус, что заводская. И овощи тут другие, и разговоры. И чувство родины – иное. Нежное и горделивое, как у продавщицы Людмилы. Как не растерять его за рулем машины в столичной пробке под скороговорку радиоприемника? А никак, кроме как приехать вновь в пушкиногорскую деревню. Как возвращаются сюда «нормальные люди». Как приезжал после ссылки не раз Александр Сергеевич, чтобы «отогреться сердцем»...

Пушкину был дан «неслыханный дар быть счастливым даже в самых трагических обстоятельствах», – писал в биографии писателя Юрий Лотман.

Не потому ли мы так тепло и родственно привязаны к солнечному русскому гению, что он одаривает и поддерживает нас умением видеть свет, мудрость, полноту и вольность жизни, невзирая на беды и потрясения? ❶

ревенской жизни, но прежде он должен показать своему обидчику, что с Первым Поэтом России «шутить накладно».

Смерть «безбожного» Пушкина была истинно христианской. Поняв, что умирает, он позвал священника. Отец Петр из церкви Спаса на Конюшенной, причащавший поэта, скажет: «Я самому себе желаю такого конца, какой он имел».

Гибель Пушкина вызвала волнение в России сродни революционному. Перепуганному Бенкендорфу называли умопомрачительную цифру: у дома скончавшегося поэта на Мойке за день побывало 50 тысяч человек. Стену пришлось выломать...

В 1992 году Святогорский мужской монастырь возвращен православной церкви. Над могилой Александра Пушкина неустанно звучит живая молитва...

К последнему приюту поэта меня сопровождала хранительница Святогорского монастыря Вера Владимировна Герасимова. Сорок лет она трудится в заповеднике. Много лет была хранительницей Михайловского. В Пушкиногорье живет почти безвыездно. Все мысли, интересы, заботы – пушкинистика. Когда работала с Семеном Степановичем Гейченко, не только экскурсии водила, но и дорожки мела, и кресла обтягивала для усадьбы. Рук не хватало, потому в каком деле была нужда, то и спешила исполнить с радостью. Сегодня заповедник и монастырь вместе хранят святыни, связанные с памятью поэта.

ОТОГРЕТЬСЯ СЕРДЦЕМ

– А вы смотрели на холмы за рекой от усадьбы Петровское? Оттенков трав можно насчитать с полтора десятка! – сказала мне продавец Людмила, застенчиво улыбаясь, когда я зашла в ее сувенирный павильончик попрощаться. – А летом все будет другое. А о-осень! Это и описать невозможно. Приезжайте!

Все, кто живут в пушкинских местах, лично участвуют в сказочном круговороте времен года. События тут измеряются не часами, сиюминутными встречами или звонками, как в городе, а сменой сезонов. Вот новость: черемуха заполыхала. Ягода пошла. Через месяц – грибы, а там – соленья, заготовка дров на зиму. Пушкиногорский район – небогатый. 109 миллионов рублей задолжал федеральной казне. Благо есть заповедник, который держится, цветет, но финансирование «срезают», работников пытаются «уплотнить» чуть не в пять раз. А у директора – Георгия Николаевича Василевича – планов громадье: расширять архивы, строить театральный центр. Вон ведь какая затея чудесная осуществилась с «Пушкинской деревней» в Бугрове, что в нескольких шагах от Михайловского. Огороды, возделываемые как встарь, водяная мельница, крестьянские ремесла.

– А вы знаете, что земли за Соротью, которыми восхищаются, это «деградирующая территория»? Они не возделываются и не обкашиваются. И значит, через двадцать лет зарастут, замусорятся или, упаси бог, застроятся таунхаусами. Тог-

ЗВУКИ ЛИРЫ И ТРУБЫ

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Уже Белинский писал, что Державина все уважают и никто не читает. С тех пор прошло еще полтора века, державинские стихи не стали ближе, легче и понятнее — но сам Державин, обдуманый XIX веком, заново прочитанный и осмысленный XX, стал и ближе, и роднее, и понятнее.



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

ПОЭТОВ XVIII ВЕКА НАШЕМУ современнику читать трудно: неуклюжий, неповоротливый стих, раскудрявленный стилистическими красотами, усложненный мифологическими аллюзиями, тяжел и нелеп, как динозавр в бантиках. Тем поразительней явление Державина – таланта стихийного, мощного в своей первозданной грубости, – это не динозавр, это библейский бегемот из Книги Иова, колоссальный, величественно-спокойный, покорный одному Создателю: «Ноги у него, как медные трубы; кости у него, как железные прутья; это – верх путей Божиих; только Сотворивший его может приблизить к нему меч Свой».

СИРОТА КАЗАНСКАЯ

Державин – первый, наверное, из русских поэтов, о ком читатель без филологического образования может сказать «люблю»; его литературных предшественников любят специалисты, Державина – читатели. Опрошенные в случайном порядке взрослые читатели называли «Снигиря» и «Приглашение к обеду», «Властителем и судиям» и «Река времен в своем стремленье...», но чаще всего – «Жизнь Званскую», и понятно почему: редко где во всей русской литературе найдется такая счастливая, разумная жизнь, такая щедрая радость жизни, такая свежесть восприятия мира, такое мудрое спокойствие перед лицом неизбежной смерти. На заре его жизни ничто не предвещало такого дивного заката: зря была тревожная. Древний род Державиных, ведущий начало от татарского мурзы Багрима, к XVIII веку совершенно обеднел. У Романа Николаевича Державина, отца поэта, было 10 душ

крестьян, у матери, Феклы Андреевны, 50 – по тогдашним меркам это была бедность. Гаврила, первенец в семье, родился слабеньким, так что его, по старинному обычаю, запекали в печи, обмазав тестом, «дабы получил он сколько-нибудь живности», как писал впоследствии сам Державин. В семье потом было еще двое детей, мальчик и девочка; девочка умерла в младенчестве, мальчик вырос, поступил в полк и умер от простуды.

О детстве поэта мы знаем в основном из его собственных «Записок из известных всем происшествий и подлинных дел, заключающих в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина». Именно из «Записок» мы узнаем о том, что первым словом младенца, которому показали комету на небе, было «Бог»; что читать он научился на четвертом году и что родители старались ему дать лучшее возможное образование и воспитание, но возможностей почти не имели. Державины жили в Казани, затем много переезжали: отца переводили по службе. Гаврилу учили как попало и чему попало; основам грамоты научился он от «церковников». Затем, когда семья переехала в Оренбург, мальчика отдали в учение к немцу-каторжанину Иосифу Розе, который завел школу для дворянских детей и учил их в основном немецкому языку, не зная даже его грамматики. Державин упоминает о жестокости учителя и «неблагоприятных» наказаниях, которым подвергались дети. За несколько лет обучения он хорошо освоил немецкий язык и охотно рисовал – не имея достойных образцов, срисовывал богатей с дешевых картинок.

Роман Николаевич скоро умер от чахотки, не успев обеспечить будущее первенца. Мать осталась с тремя детьми на руках и с 15 рублями долга, которые нечем было заплатить. Крохотные имения, разбросанные по разным местам, не давали дохода, зато требовали бесконечных судебных разбирательств с соседями. Самые тяжелые

детские воспоминания Державина – это нанесенные матери обиды. В «Записках» поэт рассказывает (он пишет о себе в третьем лице): «...обыкновенно в приказах всегда сильная рука перемогала; а для того мать, чтоб какое где-нибудь отыскать правосудие, должна была с малыми своими сыновьями ходить по судьям, стоять у них в передних у дверей по нескольку часов, дожидаясь их выхода; но когда выходили, то не хотел никто выслушать ее порядочно, но все с жестокосердием ее проходили мимо, и она должна была ни с чем возвращаться домой со слезами, в крайней горести и печали... <...> Таковое страдание матери от несправедливости вечно осталось запечатленным на его сердце, и он, будучи потом в высоких достоинствах, не мог сносить равнодушно неправды и притеснения вдов и сирот».

Он продолжал учиться – у «гарнизонного школьника Лебедева» и «артиллерии штык-юнкера Полетаева»; затем попал в казанскую гимназию, где преподавали языки, математику, танцы и фехтование, но преподавали, опять-таки, плохо. В гимназии Державин «оказал более способности к наукам до воображения касающимся», особые же успехи делал в рисовании, черчении и геометрии; прекрасно чертил планы и карты, имел склонность к инженерному делу — и директор гимназии обещал ему зачисление в Инженерный корпус. По какому-то недоразумению документы его вместо Инженерного корпуса попали в Преображенский полк, куда он был зачислен солдатом и затребован на службу до окончания гимназии. На этом учение его было окончено.

СВИРЕПСТВА РОКА

К солдатской службе никакой склонности он не имел. Жил на квартире с солдатами, тяготился солдатской жизнью: смотрами, караулами, грязными и тяжелыми работами; тяготился и нелепой голштинской формой. Служба отнимала все его время; читать и писать стихи он мог только по ночам. Первые его стихотворные опыты были подражательны и несовершенно.

Неожиданно для себя он стал участником дворцового переворота; собственными глазами видел молодую Екатерину и княгиню Дашкову в гвардейских мундирах; присягал на верность императрице. С воцарением Екатерины мало что поменялось в судьбе Державина – так же стоял в караулах, в одном из которых чуть не замерз насмерть, служил вестовым... Хлопотать о нем было некому, сослуживцы обходили его чинами; он решил, что надо самому изменить свою судьбу, обращаясь с письмами – сначала к Шувалову, затем к графу Орлову; результатом этих хлопот стал чин капрала и отпуск к матери. В чинах его повышали медленно и неохотно – ни денег, ни связей у него не было.

Он увлекся картежной игрой, и это едва не погубило его. Он проиграл в Москве деньги, данные матерью на покупку имения, пытался отыграть, свел знаком-

Пожалуй, оды Фридриха II заворожили Державина совпадением с его собственными заветными мыслями – о мимолетности жизни, о неизбежности смерти: «О Мовтерпий, дражайший Мовтерпий, как мала есть наша жизнь! Цвет сей, сегодня блистающий, едва только успел расцвести, завтра увядает. Все проходит, все проходит строгою необходимостью неизбежия судьбины, и все уносится».

Читалагайские оды – обещание большого поэта; они еще высокопарны, еще подражательны, еще писаны, по признанию самого автора, «весьма нечистым

и неясным слогом» – но содержат уже основные мотивы державинского творчества: здесь размышления о Боге и об истинном величии человека, здесь и похвалы Екатерине за справедливость и мудрость – похвалы скорее назидательные, скорее обязывающие к справедливости и мудрости, чем льстивые.

Имение Державина в Оренбургской губернии было совершенно разорено солдатами, стоявшими в нем. Кроме того, он оказался по уши в долгах: некогда поручился за приятеля, приятель разорился, и долг его лег на Державина, и так неимущего. Единственная надежда спастись от разорения была – получить награду за действия против Пугачева; он стал хлопотать о награде через Потемкина – но дело затягивалось. От отчаяния он вновь взялся за карточную игру; начал играть с 50 рублями в кармане – и в конце концов выиграл 40 тысяч, половина которых ушла на уплату долга. Хлопоты его о награде принесли в конце концов только увольнение в статскую службу за неспособностью к военной – и имение с 300 душами в Белоруссии.

ПЛЕНИРА

Державин свел знакомство с князем Вяземским, генерал-прокурором Сената; некоторое время отношения между ними были превосходны. Державин часто гостил у Вяземских, а когда в Сенате открылась вакансия – поступил в Сенат.

ство с шулерами, сам научился нечистой игре, попал в несколько прескверных историй – и, чувствуя уже, что погибает, бежал прочь из Москвы в Петербург.

Ужель свирепства все ты, рок, на мя пустил?

Ужель ты злобу всю с несчастным совершил?

Престанешь ли меня теперь уж ты терзати?

Чем грудь мою тебе осталось поражати?

Начиналась эпидемия чумы. По дороге Державина остановила карантинная служба; чтобы проехать дальше, а не сидеть две недели в карантине, ему пришлось сжечь сундук со всеми рукописями – всем, что он написал за свою жизнь. Деньги, занятые на дорогу, он проиграл в трактире. Наконец он явился в Петербург с одним рублем – материнским благословением; снова занял денег, отыгрался, уплатил долги – и решил жить честно, играть помалу и чисто.

Тут наконец его произвели в прапорщики – через десять лет солдатской службы.

ВСЕ ПРОХОДИТ

Едва Державин освоился в новой своей офицерской жизни, как в судьбе его произошел новый поворот: полыхнул Пугачевский бунт. Державин, давно искавший случая отличиться, чтобы выслужить повышение в чинах, сам – покровителя не было – явился к главнокомандующему Бибикову и стал проситься в следственную комиссию, объяснив, что хорошо знает Оренбург и окрестности, где жил. Редкая настойчивость сослужила ему хорошую службу: он просто не уходил от Бибикова, пока тот не стал с ним разговаривать; результатом было назначение в комиссию. Бибиков стал посылать его с секретными поручениями в разные города; сам Державин мечтал поймать Пугачева, не менее. Гаврила Романович был предприимчив, горяч, бесстрашен и прямолинеен. Иногда это спасало ему жизнь. Однажды взбунтовавшиеся крестьяне хотели его изловить и отправить в стан Пугачева; дело было на паромной переправе через Волгу; Державин прислонился к борту спиной и взялся за пистолет – «а как всякий из них жалел своего лба, то он и спасся», повествуют «Записки». Иногда прямота, несговорчивость и вспыльчивость восстанавливали против него людей, которых следовало иметь в союзниках. Бибиков умер; заслуги Державина остались неоцененными – хуже того, он сам попал под суд, и, хотя судебное дело было прекращено, пугачевская кампания не принесла ему ничего, кроме горького опыта и неприятностей. Ожидая, пока решится его судьба, Державин на несколько месяцев застрял в немецкой колонии Шафгаузен; там кто-то из немцев дал ему книгу стихов Фридриха II, и Державин, глубоко впечатленный, перевел четыре оды прозой и прибавил к ним четыре своих стихотворных; все они вместе получили название Читалагайских од, по названию горы, возле которой были написаны.

В это время он встретил молодую красавицу, в которую влюбился с первого взгляда. Ее звали Екатериной Яковлевной, она была молочная сестра великого князя Павла Петровича – дочь его кормилицы Матрены Дмитриевны и португальца Якова Бастидона, камердинера покойного Петра III. Она была вдвое моложе 35-летнего Державина. Он скоро посватался; в стихотворении «Невесте» превозносил ее красоту:

*Как по челу власы ты рассыпаешь черны,
Румяная заря глядит из темных туч;
И понт как голубый пронзает
звездный луч,
Так сердца глубину провидит взгляд
твой скромный.*

В 1778 году Державин женился. С женой он даже не ссорился никогда, хотя ссорился со всеми, неустанно воюя за правду. Екатерина Яковлевна была начитанна, спокойна, кротка и умна, отличалась хорошим вкусом, прекрасно вышивала и мастерски вырезала силуэты. Так в державинскую поэзию вошла тихая, обаятельная, нежная Пленира. Первая разлука – и первые, наверное, живые, человеческие любовные стихи в русской литературе – не об Эроте и Дориде, а о любимой жене:

*Мне любезная предстанет
В прежней нежности своей,
И внимать, как прежде, станет
Нежности она моей.
Сколько будет разговоров!
Сколько радостей прямых!
Сколько милых, сладких взоров,
Лучше и утех самих!*

Он и через полтора десятка лет оставался все так же в нее влюблен; его «Прогулка в Сарском селе» – такая же счастливая и безмятежная, как первые стихи о Пленире:

*В прохладу и забаву,
Вечернею порой
От всех уединяясь,
С Пленирою младой
Мы, в лодочке катаясь,
Гуляли в озерке:
Она в корме сидела,
А посредине я.*



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

*За нами вслед летела
Жемчужная струя,
Кристалл шумел от весел:
О, сколько с нею я
В прогулке сей был весел!*

**Званка, усадьба
Г.Р. Державина**

Фортуна, кажется, повернулась к Державину. Имение его разорившегося друга, за которого он так неудачно поручился, было продано и принесло ему доход как основному кредитору; окончилась мировая тяжба с одним из соседей. В результате Державин сделался обладателем тысячи душ; да еще сенатское жалованье. Пленира и ее поэт зажили душа в душу в своем доме, гостеприимном и радостном. У них часто гостили поэты Капнист, Львов и Хемницер, ставшие друзьями семьи на много лет. Им Державин обязан первыми уроками поэтического мастерства. Семейное счастье, покой, свободное время, творческая среда, где возможен обмен идеями и дружеская критика, – все это дало мощный толчок его поэзии. И вот тут-то появился настоящий Державин.

Его первое явление – в стихах на смерть Мещерского, потрясших современников глубиной мысли и чеканностью слога. «Где стол был яств, там гроб стоит», страшнее не скажешь; недаром Пушкин взял эту строку эпиграфом к мрачнейшей четвертой главе своего «Дубровского». Та же суровая чеканность – в переложении 81-го псалма «Властителям и судиям» с его грозным предупреждением:

*Цари! Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья,
Но вы, как я подобно, страстны,
И так же смертны, как и я.
И вы подобно так падете,
Как с дрез увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!*

Это, в общем, звучало крамольно – и от гнева императрицы автора спасло только то, что библейский текст крамольным быть все-таки не может.

МУРЗА И ФЕЛИЦА

Совсем другой он в оде «На рождение в севере порфирородного отрока», стих его легок, прост, подвижен: *Убегали звери в норы,
Рыбы крылись в глубинах,
Петь не смели птичек хоры,
Пчелы прятались в дуплах;
Засытали нимфы с скуки
Средь пещер и камышей,
Согреть сатиры руки
Собирались вокруг огней.*

Державин избавляет русский стих от громоздкой помпезности Ломоносова, вздохов Сумарокова и неуклюжести Третьяковского. Он еще бывает косноязычен, он до конца дней не избавился от корявых инверсий (от них русскую поэзию окончательно избавил только Карамзин) и тяжеловесных метафор, затрудняющих понимание текста. Тем не менее — с Державиным русская поэзия ожила, засверкала юмором, заиграла красками, задышала. Недаром с таким восторгом была принята читающей публикой и самой императрицей «Фелица», избавленная от ходульных восхвалений и риторических завитушек, ироничная, смешная, язвительная, полная лукавых намеков. Конечно, императрицу восхитил ее собственный портрет, в котором было очень мало пышных классицистских штампов и очень много живых человеческих черт — разумеется, самых привлекательных. Державин искренне верил, что императрица способна дать России закон и справедливость. Он поклонялся ей как воплощению справедливости и закона — и ра-

зочаровался в ней потом, увидев человеческое, просто человеческое — капризы, раздражительность, неверность, коварство — там, где должна была быть божественная прямота и справедливость. На старости лет он писал, что императрица умела пускать пыль в глаза.

Но сейчас — сейчас он от всей души верил в Истину, Закон и Фелицу.

Фелица поддержала его игру в мурзу и царевну: прислала драгоценную табакерку с запиской «Из Оренбурга от Киргизской Царевны мурзе Державину». Табакерку ему вручили при начальнике, князе Вяземском. «С того времени закралась в его сердце ненависть и злоба, так что равнодушно с новопрославившимся стихотворцем говорить не мог: привязываясь во всяком случае к нему, не токмо насмехался, но и почти ругал, проповедуя, что стихотворцы неспособны ни к какому делу», — рассказывает Державин. Окончательно восстановил он против себя начальника своим радением о государственных делах. Назначенный в экспедицию о государственных доходах, Державин занялся, говоря современным языком, государственным бюджетом. Вяземский не хотел утруждаться и желал утвердить прошлогодний бюджет; Державин говорил, что это незаконно, и настоял на создании новой росписи с учетом значительно выросших доходов — а доходов оказалось 8 миллионов. На том его служба в Сенате и кончилась. Он просился губернатором в родную Казань и ждал решения своей судьбы.

Именно в этой паузе и случилось с ним поразительное озарение. Пауза — время осмысления опыта, время разговоров с Богом. Плодом размышлений стала невероятная по мощи и глубине прозрений ода «Бог». Сам Державин рассказывал историю ее создания так: «Не докончив последнего куплета сей оды, что было уже ночью, заснул перед светом; видит во сне, что блещет свет в глазах его, проснулся, и в самом деле, воображение так было разгорячено, что казалось ему, вокруг стен бегают свет, и с ним вместе полились потоки слез из глаз у него; он встал и ту ж минуту, при освещающей лампаде, написал последнюю сию строфу, окончив тем, что в самом деле проливал он благодарные слезы за те понятия, которые ему вперены были».

Неизъяснимый, Непостижный!

Я знаю, что души моей

Воображения бессильны

И тени начертать Твоей;

Но если славословить должно,

То слабым смертным невозможно

Тебя ничем иным почитать,

Как им к Тебе лишь возвышаться,

В безмерной разности теряться

И благодарны слезы лить.

лишенных. Тюремные здания, где преступники содержались бесчеловечно, были улучшены, и ужасное положение колодников облегчено». Он открыл несколько учебных заведений. Губернатор и губернаторша устраивали балы и обеды, завели театр. Полтора года все шло превосходно; затем державинское радение о государственных интересах снова поссорило его со всем местным начальством; нача-

лись интриги, подсиживания, жалобы в Петербург. В конце концов дело его решил Сенат, возглавляемый недругом Вяземским; Сенат отрешил его от должности и решил предать суду.

Он дошел до императрицы, объяснил ей свое дело. Она предположила, что дело все же в его неуживчивом нраве: третье место подряд, ни на одном не удержался... Она обещала дать ему место – и места этого он ждал два года. Зато в 1791 году стал статс-секретарем. Разбирал с императрицей государственные дела – дотошно, подробно, горячо, мучая ее подробностями; один раз дошел до того, что накричал на нее и дернул за мантилью. Два года длился их странный служебный роман – ссоры, примирения, публичные знаки милости; он разглядел в ней человека – ту самую Фелицу, которая ходит пешком... но эта Фелица оказалась просто человеком, а не воплощенной справедливостью, и он разочаровался в ней.

В статс-секретарях он тоже не удержался.

Следующая служба была в Сенате, и Сенат забурлил. Державин перессорился со всеми сенаторами; затем же самое случилось при его назначении в Коммерц-коллегию. Не удержался он на службе и при Павле, которого во всеуслышание оскорбил: «Ждите, будет от этого ... толк!» (многоотчие трактуется по-разному, чаще всего на место многоотчия подставляют «дурака»). Не удержался и при Александре: служил министром юстиции – и был отправлен в отставку с немислимой формулировкой: «слишком ревностно служишь».

ОЛОНЕЦКИЙ ГУБЕРНАТОР

Вместо Казанской губернии он получил назначение в Олонецкую. Вяземский изрек странное пророчество: скорее по носу моему ползут черви, чем Державин там продержится год. Пророчество сбылось. Державин с женой уехал в Петрозаводск, город маленький и провинциальный. Он сразу не поладил с тамошним наместником края Тутолминым, тот на него бесконечно жаловался, в конце концов ситуация стала настолько невыносимой, что Державина отправили в отставку. Но олонецкое губернаторство, не обогатив и не осчастливив Державина, неожиданно обогатило русскую литературу одним из лучших ее произведений. В своих разъездах по губернии Державин увидел водопад Кивач. Ошеломленный, он долго любовался им, смотрел, как водопад ломает брошенную в него ель. Через несколько лет появилась ода «Водопад», поразительная по живописной мощи. Она была бы литературным открытием, даже если бы Державин ограничился одной картиной водопада:

*Алмазна сътылетса гора
С высот четырема скалами,
Жемчугу бездна и сребра
Кипит внизу, бьет вверх буграми;
От брызгов синий холм стоит,
Далече рев в лесу гремит.*

Роскошные метафоры бурлят, сменяя друг друга: млечная река, седая пена, стеклянная пыль; такой свободной живописи русская поэзия еще не знала. Но Державин не останавливается:

*«Не жизнь ли человек нам
Сей водопад изображает?»*

– и картины северной природы сменяются рассуждением о судьбе князя Потемкина и картинами воинских побед, его величия, его славы – и даже прозаические рыжие кони и золотая карета князя преобразуются поэзией в волшебство: «На серебро-розовых конях, // На златозарном фазтоне»... – и славу, и мощь, и силу, и жизнь уносит водопад...

ТАМБОВСКИЙ ГУБЕРНАТОР

После Петрозаводска был он назначен в Тамбов. В Тамбове и ему, и Екатерине Яковлевне нравилось гораздо больше. Здесь ему не чинили препятствий, и он усердно взялся за дело, приводя в порядок губернские финансы и делопроизводство. «В губернии были проложены дороги, наведены мосты и приняты меры к развитию судоходства по реке Цне, – рассказывает Ходасевич, лучший биограф Державина. – В городе были исправлены старые казенные постройки и возведен ряд новых, отчасти даже кирпичных. <...> Державин озаботился устройством таких учреждений, самая мысль о которых не приходила в голову его предшественникам: положено было начало сиротскому дому, богадельне, больнице, дому для ума-

В последние годы он занялся драматургией; опыты эти были, скорее, неудачны. Петербургский дом его стал местом сбора «Беседы», торжественного и серьезного кружка литераторов-архаистов, где тон задавал адмирал Шишков. Пышные обеды, длинные чтения; Державин не был вполне шишковистом – напротив, даже симпатизировал литературным противникам «Беседы»: любил Карамзина,

задумывался передать лиру Жуковскому – и наконец нашел нового Державина в юном лицеисте Пушкине. Их встреча хрестоматийно известна; Державин запомнил Пушкину старым, одряхлевшим, с отвисшими губами и мутным взором, похожим на свой портрет в ночном колпаке. Стихи, однако, совершенно пробудили его и разволновали не меньше, чем подрастающего Пушкина.

В стихах он не одряхлел и не ослаб: последние его строки, набросанные на аспидной доске грифелем за два дня до смерти, сохраняют прежнюю железную мускулатуру и прежнее спокойное мужество:

Река времен в своем стремленьи

Уносит все дела людей

И топит в пропасти забвенья

Народы, царства и царей.

А если что и остается

Через звуки лиры и трубы,

То вечности жерлом пожрется

И общей не уйдет судьбы.

Уход Державина – такой же необыкновенный, как и жизнь. Тело его положили в гроб, а гроб снесли к реке и положили в лодку. Летней лунной ночью галуны на гробе ярко блестели; свечи в безветренную погоду горели долго-долго, пока гроб плыл по реке в Варлаамо-Хутынский монастырь, где Гаврила Романович гостил у Евгения и где хотел покоиться. Смерть, о которой он столько думал и столько писал (полтора десятка стихотворений «на гроб», десяток – «на смерть» и несколько эпитафий помимо всего прочего), приняла его торжественно и тихо – и передала вечности. 

ЗВАНКА

В 1791 году Державины купили огромный дом на Фонтанке в Петербурге – 60 жилых комнат; в доме все время были гости, жили родственники, здесь постоянно давали пышные обеды. Это семейное гнездо он вил вместе со своей Пленирой, но прожила она в новом доме, где сама вышивала обои цветами, совсем недолго: подхваченная в Тамбове малярия свела ее в могилу в 33-летнем возрасте.

Державин был безутешен. Его тоска по жене дала русской поэзии одно из лучших лирических стихотворений – «Ласточку», где прелестное описание домовитой сизокрылой птички выливается в торжественную песнь о бессмертии души.

Через полгода после смерти жены Державин снова женился – как сам объяснял, чтобы не впасть в разврат, под которым разумел не столько сексуальную распущенность, сколько бессмысленное и неприкаянное существование. Его избранницей стала Дарья Алексеевна Дьякова, сестра жен Львова и Капниста; он знал ее еще девочкой, а она с юности его любила. Дарья Алексеевна была суха, строга, малоэмоциональна; союз их был основан скорее на взаимной пользе и уважении, чем на глубокой любви. Он прозвал ее Миленой, но заменить Пленуру Милену не смогла; в этом браке Державин поглядывал по сторонам – а в первом не сводил влюбленных глаз с жены.

В 1797 году Дарья Алексеевна купила имение Званка под Новгородом, на берегу реки Волхов. Имение это Державин полюбил всей душой и проводил в нем каждое лето. Здесь собирались многочисленные гости; здесь он завел пушечку, из которой давали салют, и слушал эхо; здесь учил детей грамоте; устроил школу и больницу. Жена хозяйствовала, он предавался литературным трудам. В 1805 году к нему обратился новгородский викарий Евгений (Болховитинов), который занимался составлением словаря русских писателей. Через графа Хвостова он попросил Державина дать сведения о себе. Державин начал отвечать – и увлекся. Плодом размышлений, подведением итогов прожитой жизни стали его «Записки» и «Объяснения на сочинения Державина» – комментарии к собственным стихам. Евгению адресована и прекрасная, красочная «Жизнь Званская» – с ее румяными пирогами, пурпурными ягодами, «сребром, трепещущим лещами», с пушечкой, камерой-обскурой, фонтаном, фабрикой – нормальная, счастливая, полная радости жизнь – хоть и мимолетная, но прекрасная. Державин пророчит Званке разорение и забвение (и пророчество сбылось – Званка была до основания разрушена в Великую Отечественную) – но и, пророча все это, вставляет в картину запустения необыкновенный по красоте «сов, сычей из дулл огнезеленый взгляд».

В стихах Державина удивительным образом мирно соседствуют «шекснинска стерлядь золотая» и смерть, глядящая из-за забора (это «Приглашение к обеду»; превосходное приглашение, как не подавиться от такого взгляда? – нет, Державин и его принимает спокойно и мудро).

БЛАЖЕННЫ ЧИСТЫЕ СЕРДЦЕМ

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

«Одоевский? — не-е-е, не читали, — чешут в затылке современные читатели. — А что он написал?» А потом оказывается, что мы все его с детства знаем, потому что «Мороз Иванович» был во всех учебниках «Родная речь», а книжка «Городок в табакерке» имела в каждой читающей семье. Но этим, кажется, представления соотечественников об Одоевском обычно и ограничиваются.

ОДОЕВСКИЙ, КОНЕЧНО, НЕ ДЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ. Но взрослый писатель Одоевский известен, пожалуй, только историкам литературы и самым пытливым читателям. И впрямь, не самое это легкое чтение: на сегодняшний вкус Одоевский слишком медлителен, слишком многословен, избыточен, даже тяжеловесен иногда — особенно на фоне стремительной, лаконичной, сжатой, далеко опередившей свое время пушкинской прозы. И все-таки его стоит читать. И помнить — стоит. Современникам Одоевский запомнился человеком прежде всего очень милым. Милым, кротким, обаятельным, душевным; мемуаристы не скупятся на добрые слова, хотя часто приправленные иронией. Князь Одоевский был чудак, не от мира сего, русский Фауст; у него все гостили, все обедали, все говорили о литературе, все посмеивались над его чудо-соусами. Все видели человека умного, доброго, очень хорошего; открытый и любящий гостей, он оставался при этом наглухо заперт изнутри — только в сочинениях своих кое-где проговаривался о тоске, о душевной боли, о жестоких страстях. Но для внешнего мира это был очень корректный, красивый господин в хорошо сидящем фраке, с превосходными манерами настоящего аристократа — и при этом совершенно демократичный в обращении. Демократизм Одоевского, правда, уходил корнями не в социальные теории эпохи Просвещения, а в христианство.



ПРЕДСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

ДЕТСТВО

Мальчик родился очень слабым и болезненным — его даже заворачивали в теплые шкуры с только что освежаванных овец. Он и всю жизнь оставался тонким, хрупким, белолицым. Внимательные глаза, огромный лоб, слабое здоровье — кажется, такие люди специально рождаются для занятий философией, поэзией и искусствами — и не выживут, если их вынуждать заниматься чем-то иным. Или, может быть, и выживут, но навсегда потеряют часть своей души — как это случилось с героем «Сильфиды» Одоевского: обычный

барин предался мистическим занятиям и обручился с Сильфидой, духом воздуха; окружающим состояние его казалось безумием, от которого они его спасли: женили, вернули к жизни, сделали нормальным, да только он запил, потеряв летучую, волшебную часть своей души.

Князя Одоевские – Рюриковичи. Князь Федор Сергеевич служил директором Московского отделения Государственного банка. Жена его, Екатерина Алексеевна Филиппова, по утверждению некоторых источников, была крепостной крестьянкой. Это не так: мать ее, Авдотья Петровна, была прапорщицей, имела дом на Пречистенке, несколько человек дворни и небольшой капитал.

Екатерина Алексеевна была красавица, говорила по-французски, играла на фортепьяно, интересовалась словесностью. Родовитые Одоевские не считали ее ровней – удивительно, что она потом, после смерти мужа, не сохранила и княжеского титула, снова вышла замуж, за человека темного и неприятного. Роль родных и близких мамы и бабушки в жизни Владимира Одоевского – тоже темная и неприятная: уж очень они старались прибрать к рукам его наследство. Мир родственников отца, князей Одоевских, – совсем иной: это мир старого барства. Детские впечатления нашли отражение в прозе Владимира Федоровича. В неоконченной «Воспитаннице» мы читаем: «Представьте себе хоромы и жизнь старинного богатого русского боярина: дорогие штофные обои, длинные составные зеркала в позолоченных рамах; везде часы с курантами, японские вазы, китайские куклы, столы с выклеенными на них из дерева картинками; толпа слуг в livреях, вышитых басоном с гербами; шуты, шутихи, карлы, воспитанницы, попугаи, приближенные; несколько десятков человек за обедом и ужином; во время стола музыка, вечером танцы, и все это каждый день – запросто; а в праздники, на Святках, на Масленице – блестящие балы, маскарады,

французские спектакли; словом, все возможные выдумки рассеянности»... Упоминается там и моська, запряженная для мальчика в дрожки, – такой подарок в самом деле сделала маленькому Владимиру графиня Софья Апраксина.

Федор Одоевский умер, когда его сыну было 4 года; воспитанием мальчика сначала занимался дед его, полковник Сергей Иванович Одоевский. Но и дед умер довольно скоро, внуку оставил имение в Костромской губернии с четырьмястами душ крестьян – разумеется, под опекой. Опекушкой имений юного князя и его дядюшек по матери в конце концов стала знакомая бабушки Филипповой, генеральша Аграфена Глазова, которая так распорядилась доверенным ей имуществом, что дядюшки долго с нею судились, а Владимир Одоевский по выходе своем из пансиона оказался ей кругом должен – и долго не мог распутаться с этими долгами.

В войну 1812 года пречистенский дом Филипповых сгорел. Мать с Владимиром какое-то время прожили в имении Дроково в Рязанской губернии; имение это Екатерина Алексеевна потом совершенно прибрала к рукам. В 1818 или 1819 году, пока сын учился в пансионе, она вышла замуж во второй раз и, отдав сына под опеку генеральши Глазовой, поселилась со вторым мужем, отставным подпоручиком Павлом Сеченовым, в Дрокове; муж ее бил, разорял, пасынку тоже обеспечил немало неприятных переживаний. После выплаты отцовских долгов (обеспечить детям долги было в порядке вещей в это время) и раздела с матерью Владимир Федорович остался с одним дедовским имением, почти разоренным.

ПАНСИОН

Как и многие другие дворянские дети, Владимир поступил учиться в Московский университетский благородный пансион. Главным его учителем там стал русский шеллингианец, профессор Иван Давыдов, преподаватель словесности; затем появился Михаил Павлов. Они заразили Одоевского интересом к философии, к естествоиспытательству, к разгадкам тайн природы. Еще одно открытие пансионера Одоевского – музыка. Он стал виртуозным музыкантом, превосходно играл на фортепьяно и особенно полюбил Баха – впоследствии сделал его героем новеллы, вошедшей в состав философского романа «Русские ночи».

Он начал писать музыку, много читал; стал писать стихи, которые посылал в письмах двоюродному брату, офицеру Александру Одоевскому – поэту, будущему декабристу, будущему автору хрестоматийной строки «из искры возгорится пламя». «Александр был эпохой в моей жизни», – признался позднее Владимир Федорович. Домой летели другие письма: Одоевский советовался с маменькой о том, как переокрасить нижнее белье и выкроить новый жилет из старого нижнего платья. Погодин, который учился с Одоевским в пансионе, помнил его таким: «стройненький, тоненький юноша, красивый собою, в узеньком фракке темновышневого

цвета». Вспоминал о «сенаторской важности» князя, его успехах в словесности, философии и планах издавать журнал.

В 1820 году князь Владимир впервые влюбился, в прелестную Натали Щербатову, его кузину, дочь тетки Прасковьи Сергеевны Одоевской. Посвятил ей несколько романтических стихотворений, которые рассылал в разные журналы, в том числе «Благонамеренный». Стихи были совсем плохие. Но уже тогда он сформулировал свои требования к избраннице сердца: «женщина — с душою мужчины, с умом светлым, с мыслями обширными» — и тогда же констатировал печально, что это «вещь невозможная». Понятно было, что полунищий, обремененный долгами и совсем молоденький Одоевский — плохая партия. Натали впоследствии стала фрейлиной двора и женой барона Розена.

ЛЮБОМУДРИЕ

В 1822 году Одоевский окончил пансион с отличием; имя его занесли на «золотую доску» лучших выпускников. После окончания пансиона вступил в кружок поэта Семена Раича, учителя Тютчева и Лермонтова. Раич писал в своей автобиографии: «В 1823 году под моим председательством составилось маленькое, скромное литературное общество... одни из членов постоянно, другие временно посещали общество, собиравшееся у меня вечером по четвергам. Здесь читались и обсуждались по законам эстетики, которая была в ходу, сочинения членов и переводы с греческого, латинского, персидского, арабского, английского, итальянского, немецкого и редко французского языка».

«Общество любомудрия» отделилось от «Общества друзей» Раича, поскольку члены его желали более глубоко исследовать немецкую философию. Александр Кошелёв вспоминал: общество «собиралось тайно, и об его существовании мы никому не говорили. Членами его были: кн. Одоевский, Ив. Киреевский, Дм. Веневитинов, Рожалин и я. Тут господствовала немецкая философия, то есть Кант, Фихте, Шеллинг, Окен, Геррес и др. Тут мы иногда читали наши философские сочинения; но всего чаще и по большей части беседовали о прочтенных нами творениях немецких любомудров. <...> Председательствовал кн. Одоевский, а говорил всего более Д. Веневитинов и своими речами часто приводил нас в восторг». Одоевский рассказывал об этом времени в «Русских ночах»: «Моя юность протекала в ту эпоху, когда метафизика была такой же общей атмосферой, как ныне политические науки. Мы верили в возможность такой абсолютной теории, посредством которой возможно было бы строить все явления Природы, — точно так, как теперь верят в возможность такой социальной формы, которая удовлетворяла бы вполне всем потребностям человека».

Почти все участники общества любомудров были «архивными юношами» — служили в Московском архиве Коллегии иностранных дел. Встречались любомудры у Одоевского, который жил в маленькой квартирке в доме князя Петра Ива-

новича Одоевского — в доме номер 3 по Газетному переулку (дом не сохранился). «Общество любомудров» просуществовало два года и окончило свое существование после восстания декабристов: тайные встречи, тайное общество — все это было небезопасно, тем более что любомудры были связаны с декабристами тесными дружескими и родственными связями. Владимир Одоевский собрал любомудров и сжег при них весь архив общества в камине.

АЛЬМАНАХ

Сразу после выпуска из пансиона Одоевский познакомился с Кюхельбекером и вместе с ним приступил к изданию — не журнала, как планировал, а альманаха. С финансами помог общий друг Грибоедов. Назвали детище «Мнемозиною». Одоевский ставил перед альманахом задачу «положить предел нашему пристрастию к французским теоретикам» и «распространить несколько новых мыслей, блеснувших в Германии», но при этом не упустить из виду «сокровища, вблизи нас находящиеся» — то есть не только заимствовать лучшее у европейцев, пропагандировать шеллингианство, но и самим создавать свою оригинальную философию — это была заветная мысль Веневитинова. Кюхельбекер больше внимания уделял гражданской национальной поэзии. Кюхле, лицейскому другу, дал для альманаха свои стихи Пушкин: в «Мнемозине» вышли его стихи «К морю», «Демон» и «Татарская песня» — отрывок из поэмы «Бахчисарайский фонтан».

«Мнемозина» выходила раз в три месяца, больше походила на журнал, чем на альманах, и собрала серьезные литературные силы: помимо Пушкина в ней печатались Боратынский, Вяземский, Грибоедов, Языков, Денис Давыдов, Шаховской... Публика приняла «Мнемозину» благожелательно, тираж был полностью распродан, его даже пришлось допечатывать. Однако в свет вышли всего четы-

ре книжки альманаха, а затем – восстание декабристов, арест Кюхельбекера... Издание прекратилось, но идею журнала Одоевский не оставил. Появился «Московский вестник»; именно с него началось настоящее знакомство Одоевского с Пушкиным – и началось с пушкинского жестокого разноса критической статьи Одоевского: ему показался недостаточно почтительным тон, которым Одоевский взялся рассуждать о Державине. Пушкин и Одоевский – при уважении друг к другу, при общих знакомствах, общем деле – шли разными литературными путями; их сотрудничество пришлось на 30-е годы, когда они вместе работали над «Современником». Шеллингианства Одоевского Пушкин не принимал, прозу его не любил, но его литературному чутью доверял, к его критике относился с уважением. Этим взаимным уважением были проникнуты их отношения и их совместная работа – и именно Одоевский первый печатно горестно воскликнул на всю Россию, когда Пушкин погиб: «Солнце нашей поэзии закатилось! ... Пушкин! наш поэт! наша радость, наша народная слава!»

Это – навсегда не вписано даже в историю литературы, а вырезано в камне, вытравлено жгучими слезами.

ЖЕНИТЬБА

Середина 20-х. Одоевский замкнут и одинок. Самый близкий ему человек, двоюродный брат Александр, сослан в Сибирь. Арестован и сослан Кюхельбекер. Сам Одоевский не принимал участия в работе тайных обществ – объяснял так: «Я никуда не езжу и почти никого к себе не пускаю: живу на Пресне в загородном доме, и весь круг физической моей деятельности ограничивается забором домашнего сада. Зато духовная горит и пылает». Хотя идей декабризма не разделял, в обществе не состоял – но хлопотал о переводе Александра Одоевского из Сибири на Кавказ, поддерживал сосланного Кюхельбекера.

В это время в Москву перебралась тетушка Одоевского, умная и обаятель-



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

Члены-учредители
Русского
географического
общества:
В.Ф. Одоевский;
А.И. Левшин,
директор Департа-
мента сельского
хозяйства;
К.И. Арсеньев,
статистик;
В.И. Даль, этнограф;
П.А. Чихачев,
путешественник
по Америке
и участник
Хивинской
экспедиции
1839 года;
М.П. Вронченко,
геодезист;
Ф.Ф. Берг, граф,
генерал-адъютант

ная Варвара Ивановна Ланская. Она была замужем за Сергеем Степановичем Ланским, будущим министром внутренних дел при Александре II. У Сергея Степановича были три сестры. Старшей, Ольге, было 29 лет. Сохранился всего один портрет Ольги Степановны, сделанный еще до ее замужества, с шифром фрейлины на плече. Круглое лицо, кроткое выражение, круглые глаза... Она совершенно очаровала Владимира, который был семью годами моложе; дневниковые его записи подробно рассказывают об этой влюбленности – и особенное внимание он придает тому, что уже три раза видел ее лицо в своих видениях.

Одоевский решил жениться — и вскоре, получив разрешение императрицы на брак фрейлины, женился. Влиятельный родственник устроил его в Цензурный комитет Министерства иностранных дел в Петербурге, и Одоевский переехал в Петербург. Прибыл он туда через два дня после казни декабристов — в город перепуганный, траурный, онемевший. Скоро состоялась свадьба. Одоевский был совершенно счастлив. Умная, спокойная и добрая Ольга Степановна дала ему ту материнскую заботу, которой он был лишен; это была жена-мать, жена-нянька, жена-хозяйка — скорее, чем жена-друг или собеседник. Тем не менее сейчас именно это ему и было нужно: уют, тепло, забота, безмятежная радость.

Служба его в Цензурном комитете началась с работы над Цензурным уставом. Прежний, предложенный министром просвещения Шишковым, был ужасен: запретить можно было все, что угодно; устав называли «чугунным». Новый устав, в разработке которого участвовал Одоевский, был принят в 1828 году и оказался куда более прогрессивным; цензура больше не предписывала ничего авторам, ее задача теперь была не допускать распространения вредных книг, а не определять ход развития общественной мысли.

Одоевский почти ничего не писал. Переходил из департамента в департамент, занимался то иностранными исповеданиями, то государственным имуществом. Он везде старался вникать в службу и относиться к ней честно и разумно. За многие годы на государственной службе он чем только не занимался; биограф его пишет: «Между прочим, ему приходилось присутствовать при производстве новоизобретенного способа очистки сомовьего клея, рассматривать усовершенствованные печи, механические кухонные очаги; затем князь был назначаем в состав такого рода комиссии, как комиссия для составления правил о производстве следствий, комиссия для усовершенствования пожарной части С.-Петербурга, наконец, комиссия о приведении в единообразии российских мер и весов и т.п. Подобные поручения и занятия нередко тяготили князя, но не умаляли его необычайной энергии и послужили для него, как он сам впоследствии признавался, — немалой и полезной школой».

САЛОН

Карьера его пошла в гору. У Одоевских открылся салон, в котором на равных привечали всех — и аристократов, и литераторов. Два этих общества, однако, плохо смешивались между собою — так что Ольга Степановна, которая едва ли не всем мемуаристам запомнилась величественной дамой, разливающей чай за самоваром, собирала вокруг себя аристократическое общество, а литераторы и философы стягивались в кабинет к Владимиру Федоровичу. Обеды у Одоевских были особые: хозяин, страстный кулинар, к приготовлению еды тоже подхо-

дил научно — вымачивал, вымораживал, делал какие-то необыкновенные соусы... изобретения его иногда оказывались совершенно несъедобны, а гости посмеивались над странностями хозяина. У Одоевских бывал Лев Толстой, бывали Некрасов и Панаев, Глинка и Даргомыжский... На его диване, сказал кто-то, сживала вся русская литература.

Кабинет хозяина — где бы Одоевские ни жили — всегда выглядел примерно одинаково и был похож, скорее, на обиталище средневекового алхимика. Книги, рукописи, пробирки, реторты, растения, музыкальные инструменты, скелет с черепом, фортепьяно... Одоевский принимал гостей по субботам — с 9 вечера до 2 ночи. Гостям являлся в длинном сюртуке из черного бархата и черном шелковом колпаке; может быть, его прозвище — русский Фауст — отчасти навеяно этим, а не только его философскими занятиями. Фаустом зовут и хозяина, принимающего гостей в его «Русских ночах» — одном из самых странных русских романов. Гости собираются к нему ночью — поговорить о философии, искусстве, будущем — о самом главном, о чем только и можно говорить ночью. Разговоры гостей с хозяином обрамляет целый ряд вставных новелл — иногда это мистические истории, иногда жуткие фантазии во вкусе Эдгара По; несколько рассказов из жизни великих творцов — Бетховена, Баха, Пиранези; две антиутопии — философский спор с идеями

Бентама и Мальтуса... В роман трудно вчитываться, как тяжело входить в холодную воду, — но стоит вчитаться, и его тяжелое течение подхватывает, несет — и заставляет изумляться прозрениям Одоевского. «Русские ночи», задуманные в 1834 году и изданные в 1844-м, уже пророчили многое из того, что сбылось в будущем; внимание современного читателя не могут не привлечь обещания, что настанет время, когда рабочие, а потом и крестьяне скажут: это мы все производим, это мы всех кормим, мы и должны управлять государством.

Одоевскому вообще были присущи удивительные прозрения – так, в своей утопии «4338-й год» он предсказал чуть ли не появление Интернета и соцсетей: домашние газеты, в которых «помещаются обыкновенно извещения о здоровье или болезни хозяев и другие домашние новости, потом разные мысли, замечания, небольшие изобретения, а также и приглашения; когда же бывает зов на обед, то и le menu. Сверх того, для сношений в непредвиденном случае между знакомыми домами устроены магнетические телеграфы, посредством которых живущие на далеком расстоянии разговаривают друг с другом». «Настанет время, когда книги будут писаться слогом телеграфических депешей; из этого обычная будут исключены разве только таблицы, карты и некоторые тезисы на листочках. Типографии будут употребляться лишь для газет и для визитных карточек; переписка заменится электрическим разговором; <...> главное дело будет: отучить ум от усталости, приучить его переходить мгновенно от одного предмета к другому; изощрить его так, чтобы самая сложная операция была ему с первой минуты легкою...». Все это – не говоря о перемещениях на аэростатах, гальваномагнетических цепях, связывающих дома, мегаполисах (Одоевский предвидел, что Москва и Петербург станут одним городом)...

У Одоевских нет детей. Ему очень хочется детей, но пара остается бездетной. Он возится с племянниками жены, сочиняет детские сказки, которые оказываются необыкновенно хороши: они и оригинально русские, и накрепко связаны с европейской культурой, и серьезные, и несерьезны, ироничны – и говорят о важном, жутковаты и смешны, и трогательны – кто не помнит чудесную травку под снежной периной у Мороза Ивановича? Куда меньше известны «Пестрые сказки» Одоевского – фантастические истории во вкусе Гофмана, полные мистики и странности, иронии и жути; тут и социальная фантазмагория, предвосхищающая будущие открытия Гоголя, – «Сказка о мертвом теле, неизвестно кому при-

надлежащем», острая социальная сатира, и «Сказка о том, по какому случаю коллежскому советнику Ивану Богдановичу Отношенью не удалось в Светлое Воскресенье поздравить своих начальников с праздником» – жуткий рассказ о том, как чиновники заигрались в пасхальную ночь в карты – и карты наконец сами стали играть в людей. Везде, кстати, Одоевский оставляет двойную возможность истолкования: может, это явления иного мира, а может, просто герой был пьян, помешан – или заснул и видел сон. Это очень свойственно Одоевскому: интересоваться иномирным, мистическим – и искать ему рациональные объяснения. Это он нашел у Гофмана, которым вдохновлялся, – и особо отметил: «чудесное всегда имеет две стороны: одну чисто фантастическую, другую – действительную; <...> в обстановке рассказа выставляется все то, чем это самое происшествие может быть объяснено весьма просто, – таким образом, и волки сыты и овцы целы; естественная склонность человека к чудесному удовлетворена, а вместе с тем не оскорбляется и пытливый дух анализа». И склонность к чудесному, и пытливый дух анализа в высшей степени свойственны Одоевскому – и особенно сказались в его мистических повестях: «Орлахская крестьянка», «Косморама», «Сильфида», «Саламандра» исследуют самые жуткие тайны человеческой психики и природы – одержимость, гипнотизм, магнетизм... Одоевский вроде бы и хочет их приручить, объяснить, сделать понятными и нестрашными – и в то же время рисует вдохновенные, необыкновенные и страшные романтические картины...

ЛЮБОВЬ

Он продолжал служить – считал это долгом чести: не выбирать для себя поприща, а приносить пользу там, куда поставлен судьбою. Судьба вскоре поставила его руководить Румянцевским музеем (который потом стал Ленинской, а ныне Российской государственной библиотекой) и замещать директора Публичной библиотеки. С этой работой связано возвращение Одоевского в Москву. Его архив – литературный и музыкальный – после смерти тоже попал в Румянцевский музей.

Особое место в этом архиве занимают 147 писем Надежды Николаевны Ланской. Она была женой Павла Ланского (он приходился братом Петру Ланскому, за которого вышла вдова Пушкина, и кузеном Сергею Ланскому, на сестре которого был женат Одоевский). Надежда Николаевна сразу понравилась Одоевскому – тем самым мужским умом, который он мечтал найти в избраннице, и трогательной красотой, и насмешливостью... Он влюбился, она тоже. Переписка хранит и не-

жности, и пикировку, и ее насмешки: она посмеивалась над его толстой женой, называла ее в письмах мамой, а его послушным мальчиком; он терял голову – молчал – мучительно выбирал между страстью и долгом – писал яростную прозу, где герои изнемогают от любви, тоски и мучительного выбора.

Конец таких страстей бывает страшен, сказал классик. В нашем случае он оказался горек. Жена ревновала; сохранилось письмо, в котором Одоевский, с трудом пытаясь сохранять хладнокровие и подбирать слова, извещает жену, что если она еще раз станет под влиянием каких-то идей бегать полуодетая по дому и криком будить дворню и соседей – то он уйдет из дома, ибо дома хочет покоя. Со стороны – никто ничего не заподозрил. Одоевские всегда казались окружающим удивительно любящей, нежной, гармоничной семейной парой.

Надежда Николаевна влюбилась в итальянца Гриффео — и сбежала с ним за границу, оставив в России не только мужа, но и ребенка; он потом воспитывался в семье Натальи Николаевны и Петра Петровича Ланских. Одоевский был оскорблен и вспоминал Чацкого, которому предпочли Молчалина. Но и эта драма оказалась похоронена в набросках, письмах, архивах. Для окружающих он был все тот же приветливый, спокойный, кроткий князь.

СЛУЖБА

Он увлекся музыкой, восстанавливал древнее церковное пение, записывал русские народные песни – даже заказал особый энгармонический клавесин, фортепьяно с дублированными черными клавишами, – чтобы записывать особое русское пение. Клавесин сохранился – но не сохранилось записей, которые объясняли бы принципы его настройки и применения.

У Одоевского была удивительно легкая рука: за что бы он ни брался – все делал честно, искренне, добросовестно – и все получалось. Его постоянное стремление помогать людям привело к созданию Общества посещения бедных просителей. Некоторые из принципов, которые тогда выработал Одоевский, широко применяются ныне в благотворительности. Принцип общества был простой: к богатым и знатным людям постоянно шли просители; члены общества взяли на себя обязанность выяснять, действительно ли они нуждаются, а если да – то как им помочь. За несколько лет общество стало помогать тысячам семей. Попрошайек отсекали, бедствующим помогали – причем не только материально, но и организационно: лечением, сбытом товара – открыли магазин сбыта продукции бедных ремесленников; помощью с детьми – открыли комнаты пребывания для матерей с детьми, мастерские для бедных женщин... При этом Одоевский ясно понимал, что всего этого недостаточно – что все упирается в главную беду: в крепостное право. День отмены крепостного права он до конца своих дней отмечал как праздник.

Современники писали, что общество помогало 15 тысячам семей. В конце концов кому-то показалось, что оно основано на опасных коммунистических идеях; что оно создает конкуренцию Императорскому человеколюбивому обществу... Общество посещения сначала слили с официальным, основанным совсем на других принципах Императорским обществом, а потом и вовсе прикрыли. Одоевский закрыл все дела, убедился, что собранные средства пойдут на помощь подопечным в ближайшие годы, привел в порядок документацию...

Документы у него всегда были в порядке. За что бы он ни брался – руководство журналом («Отечественные записки» ему обязаны львиной долей своего успеха), работа в Сенате, издание просветительских брошюр для народа, благотворительность, работа в петербургской Думе – все делалось добросовестно, честно и с умом. Лжи он не терпел. Современники вспоминали, что Одоевский всегда был спокойным, в ясном расположении духа. «Всегда спокойный, тихий, умеренный, кроткий, доброжелательный, готовый на всякие услуги, принимавший с удовольствием всякие, даже докучные просьбы. Он никогда не сердился, и намерение раздражить его никогда ни у кого не имело успеха. Отроду не сказал он ни об ком ни одного дурного слова, разве шуткою. Отроду никого не обидел, не оскорбил, не огорчил и не отказал никому ни в какой просьбе, кроме разумеется случаев совершенно невозможных», – вспоминал Миха-

ил Погодин. Ему вторил Федор Тимирязев: «И сам он всегда, везде и со всеми был исключительно и только человек, и в других признавал и чтит лишь одно человеческое достоинство в высшем значении этого слова».

Он умер, не оставив ни наследников, ни состояния. Перед смертью бредил – бред был о музыке. На надгробии его написано: «Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят». ❀



В поисках информации о Бродском исследователь объездил полмира, от Нью-Йорка до архангельской деревушки

ОЛЕГ ЯКОВЛЕВ

КРЕЩЕНИЕ ИОСИФА БРОДСКОГО

БЕСЕДОВАЛ СЕРГЕЙ ВИНОГРАДОВ

Московский писатель и литературный критик Владимир Бондаренко завершает работу над книгой об Иосифе Бродском для популярной серии «ЖЗЛ». объездив мир в «погоне» за Бродским и сведениями о нем, после Нью-Йорка и Венеции, Бондаренко три дня искал в Вологодской области церковь, в которой крестили будущего поэта.

ИОСИФ БРОДСКИЙ ПРОЖИЛ в Череповце – промышленном городе на Русском Севере – два года: приехал в возрасте двух лет, уехал, когда ему было четыре. Сюда мать привезла его на время блокады Ленинграда. В Череповце не сохранилось ни избы, где Бродские жили, ни лагеря для военнопленных, где работала мать будущего поэта. И экскурсовод, рассказывая туристам о городе, упоминает о жизни в нем Иосифа Бродского с прибавлением осторожного «предположительно». Но Владимир Бондаренко умудрился исколесить весь город, путешествуя

по «местам Бродского». Мы побывали на нескольких улицах, где, по некоторым сведениям, жили маленький Иосиф с матерью. Посетили музейную выставку, посвященную Бродскому, осмотрели железнодорожный вокзал, который позже Бродский вспоминал в интервью, и прогулялись по роще, где находился лагерь НКВД (теперь на его месте красуется новенький храм), в котором работала мать будущего поэта. Когда мы переезжали по мосту через неширокую речушку Ягорбу, Владимир Бондаренко рассказывал: «А это, видимо, та речка, которую Иосиф с мамой переплывали на лодочке. Она сидела на веслах, а маленький сын спрашивал: «Мама, а когда тонуть будем?» Мария Моисеевна любила рассказывать об этом эпизоде».

Владимир Бондаренко – автор полтора десятков книг – в советские времена переписывался с Солженицыным и перезванивался с Бродским. Разговор с людьми на улице считает не менее эффективным научным методом, чем работу в архиве. Таксисты, прохожие, попутчики... он всем рассказал о книге, над которой работает, и церкви, которую ищет. Вдруг кто-то что-то знает или помнит? Информации немного – известно, что двухлетнего Бродского крестили то ли в Череповце, то ли рядом с Череповцом. К этому факту среди исследователей жизни Бродского прилепилось название – то ли Степановское, то ли Степаново. По карте находим в окрестностях города два места с названием «Степаново» (одно с буквой «ё» в первом слоге) и одно Степановское. Но вроде не подходят – расположены далеко.

Наконец таксист средних лет, третий из опрошенных, вспоминает о селе Носовском в 6 километрах от города. Некоторые пассажиры называют его по старинке Стефановским, хотя оно давным-давно переименовано. И храм там имеется. Мчимся туда. Церковь действительно стоит – миниатюрная бело-голубая красавица во имя святых Иоакима и Анны. На

пороге сидит и спокойно умывается матерый кот – белый с черными пятнами. Писатель Бондаренко с ликованием произносит: «Бродский безумно любит кошек, этот кот – хороший знак». Заходим. По счастью, иерей Валерий Белов оказывается в церкви. Он подтверждает, что в окрестностях Череповца эта церковь единственная, которая работала в годы Великой Отечественной войны. А потому, кроме как здесь, нигде более Иосифа Бродского крестить в 1942 году не могли. Пока разговариваем, в тесное помещение церкви протискиваются люди с маленьким ребенком. Принесли крестить белокурую малышку Светлану, местную жительницу. «Она же ровесница Бродского, его таким же сюда принесли, – восторженно шепчет мне Бондаренко. – Это же надо, снова совпадение». Его глаза горят как у кладоискателя.

Наш разговор об Иосифе Бродском, изучением жизни и творчества которого Владимир Бондаренко занимается более тридцати лет, состоялся на лавочке у входа в церквушку. Погожий денек, из церкви доносится звонкий крик рабы божией Светланы, на солнышке дремлет черно-белый кот. Благодарь.

– Почему вы думаете, что этот храм – тот самый, где крестили маленького Бродского?

– О том, что двухлетнего Иосифа Бродского крестили во время пребывания в Череповце в одной из местных церквей, мама поэта Мария Моисеевна рассказывала в доверительной беседе ближайшей подруге Наталье Грудиной, от которой об этом факте стало известно общественности. Репутация у обеих женщин безупречная, и у нас нет причин им не верить. Мать Бродского упоминала о том, что обряд крещения состоялся благодаря череповецкой няньке маленького Иосифа. Об этом факте упоминают многие исследователи. Поисками конкретной церкви, где проходило крещение, никто не занимался. Я решил отыскать ее и выяснил, что в 1942 году в Череповце не было действующих храмов. Да и в окрестностях их почти не было. В науке мелькает название села, в котором, возможно, крестили Бродского – Степановское или Стефановское. Не без сложностей, но мы его обнаружили. И все сошлось – богослужения в церкви Иоакима и Анны возобновились в октябре 1942 года.

– Хорошо, место крещения установлено. Что это дает для понимания жизни и творчества Бродского?

– На мой взгляд, это говорит о многом. Это подтверждает то, что Иосиф Бродский на протяжении всей жизни был верующим человеком и православным поэтом, хотя напрямую об этом никогда не заявлял. Внимательный читатель увидит это в его стихах. Возьмем рождественские стихи Бродского: начиная с 1961 года и до конца жизни он каждый год писал стихи, посвященные Рождеству. Это, быть может, лучшие его стихи, в них столько внутренней силы. Во-

обще, сам факт обращения к рождественской и божественной теме не говорит о том, что автор верующий. В стихах Маяковского Бог тоже упоминается довольно часто, но мы чувствуем, что их написал убежденный атеист. Если мы соглашаемся с тем, что Бродский был крещен и знал об этом, то его стихи на эту тему обретают иной смысл. Ведь среди бродсковедов очень распространено скептическое отношение к христианству Бродского, а его рождественские стихи считают чем-то вроде забавы или пародии. А я считаю, что это главная линия его поэзии. И возможно, единственное, о чем он размышлял всерьез, без доли иронии, ему свойственной. Почему он не говорил прямо о своей вере? Его американское окружение было в основном неверующим, возможно, его убедили в том, что глубокая вера – это немодно и несовременно. При этом Бродского встречали с крестиком на шее. Это факт.

– Вы пишете, что были знакомы с Иосифом Бродским. При каких обстоятельствах произошло знакомство?

– Было всего несколько встреч, в том числе и в его квартире в знаменитом доме Мурузи на Литейном проспекте. Нас познакомил Евгений Рейн, близкий друг Бродского. Иосиф тогда только-только вернулся из архангельской ссылки. Я в ту пору писал стихи, причем крайне авангардные. Для меня тогда Бродский был замшелый консерватор, и я относился к нему без особого пиетета. Но уважал как мастера. А потому решил показать ему свои стихи. Позвонил, пришел в гости, передал тетрадочку. А через некоторое время мы встретились



Маленький Иосиф катается на санках-черепанках с горки

снова, и Иосиф учинил разбор моих стихов – он их просто уничтожил. Он, кстати говоря, ненавидел авангард – и в живописи, и в поэзии. Я к критике относился и отношусь достаточно спокойно, но разбор Бродского произвел на меня огромное впечатление. Наверное, он со всей жесткостью и прямолинейностью сказал то, что я в глубине души понимал о себе и сам. Прочистил мне мозги. Я перестал писать стихи и постепенно перешел в консервативный лагерь. После этого было еще несколько встреч и телефонных разговоров. Последний разговор состоялся, когда он жил в США. Во время одного из моих визитов в Америку я позвонил ему и предложил встретиться, но мы не смогли найти время, удобное для обоих.

– Когда вы стали заниматься исследованием жизни и творчества Бродского?

– Его поэзией я интересовался очень давно. И тогда, когда его стихи распространялись в самиздате, и тогда, когда стали выходить тома и собрания сочинений. Став литературным критиком, опубликовал не одну статью о стихах Бродского и фактах его жизни. Попутно я побывал во многих местах, которые связаны с Бродским. Идея написания книги пришла во время работы над трудом про Лермонтова для серии «ЖЗЛ». Я сдал эту книгу в набор и предложил издательству другую – о Бродском. Издатели согласились.

Работаю над книгой около двух лет – свожу воедино факты и находки, которые собираю более тридцати лет.

– Какова цель книги? Что нового она скажет об Иосифе Бродском?

– Вы правы, без особой цели нет смысла браться за написание книги и повторять то, что давно всем известно. К примеру, моя книга о Лермонтове имеет подзаголовок – «Мистический гений». Это, быть может, первая книга, в которой Лермонтов предстает мистиком, продолжателем творческого своеобразия

своего далекого предка, шотландского поэта Томаса Лермонта. К книге про Бродского я ставлю очень простой, но емкий подзаголовок – «Русский поэт». Эпиграф беру такой: «Я русский поэт, хотя и евреец». Это его слова. Он считал себя русским поэтом, более того – христианским поэтом. И эта мысль лежит в основе книги. Всю эту христианскую русскость я на страницах книги прослеживаю в лучших стихах Бродского. Прочитайте его стихотворение «Народ», которое Анна Ахматова называла гениальным. В нем изложено все кредо Бродского, который говорит – я часть русского народа и его певец. «Припадаю к народу. Припадаю к великой реке. Пью великую речь, растворяюсь в ее языке». И эту связь с народом и русским языком он ощущал на протяжении всей жизни. Ведь великим поэтом Иосифа Бродского сделала северная ссылка в деревню Норинскую Архангельской области. Там этот молодой питерский поэт, который писал талантливые, но поверхностные и несколько вычурные стихи, обрел и небесность, и кондовую русскость. Там он написал эти строки: «В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Он освящает кровлю и посуду и честно двери делит пополам». И неслучайно Бродский, который жил в красивейших городах мира, называл ссылку в Норинской лучшим периодом своей жизни. Это его Михайловское.

– Почему он не вернулся на родину в годы перестройки или в начале 90-х годов?

– Я уверен, если бы не смерть Бродского в 1996 году, он рано или поздно вернулся бы в Россию. Скажем так – приехал бы на некоторое время. Известно, что он был близок к тому, чтобы посетить родной Ленинград. Говорят, даже за билетами отправлялся, но что-то его останавливало. У меня есть собственная версия, почему так произошло. Я считаю, что причины лежали не в политической плоскости, а в любовной. Иосиф

Бродский не хотел возвращаться на руины главной любви его жизни. Много написано о донжуанском списке Бродского, но он, как мне представляется, всю жизнь любил одну женщину – Марину Басманову. Он на протяжении всей жизни посвящал ей свои лучшие стихи. Она так и не вышла за него замуж, они расстались. Бродский, даже оказавшись на Западе и став всемирно известным поэтом, присылал Марине приглашения, искал встречи. Но не сложилось. И возвращаться туда, где живет женщина, с которой его связывают сложные взаимоотношения, Бродский не хотел. Эту версию я не раз излагал в статьях. К слову, Марина Басманова жива по сей день и по сей день сохранила независимый характер. С журналистами она не общается, интервью не дает. Я с ней неплохо знаком и давно уговариваю написать книгу мемуаров. Говорю ей: «Вы муза великого поэта, вы Беатриче, вы Лаура...» Предлагаю приехать с диктофоном и записать ее воспоминания, а потом изложить в точности на бумаге. Не хочет, отказывается.

– Бродский ведь пробовал писать стихи на других языках...

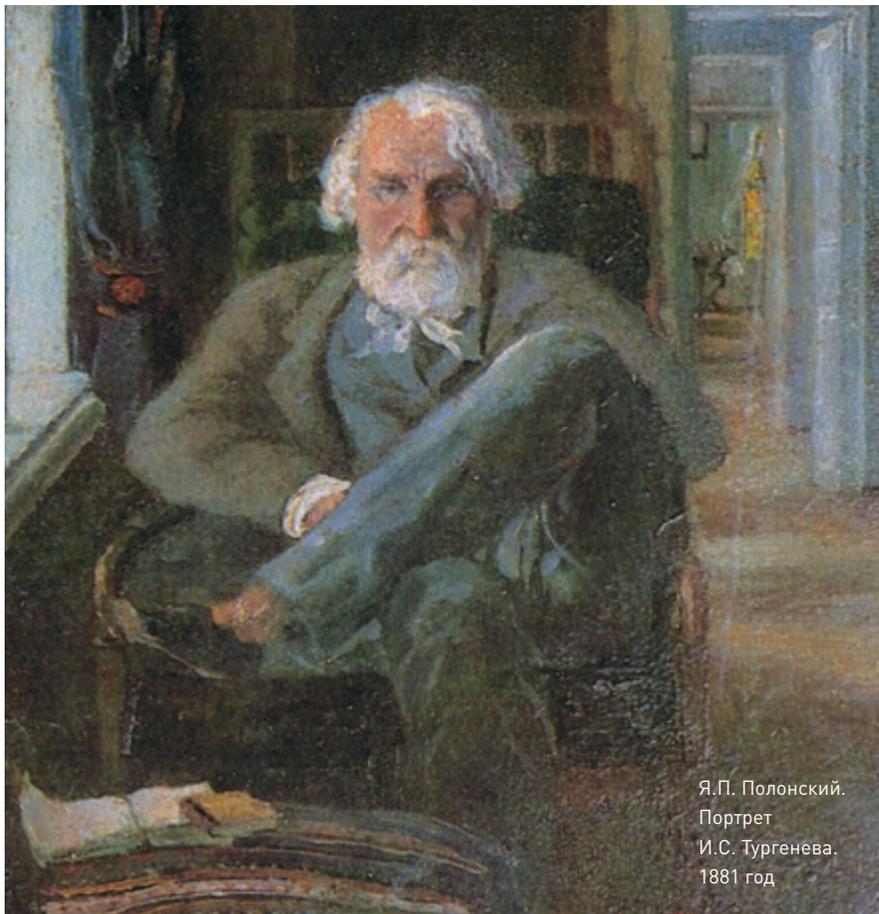
– Пробовал, пытался, но довольно быстро отказался от этих попыток. Был период после переезда в США, когда он решил порвать с одной империей и максимально ассимилироваться в другой. Он сам об этом говорил в стихах и интервью. Бродский стал писать на английском языке – публицистика получалась блестящей, а стихи тусклыми, поверхностными и откровенно слабыми. Коллеги-поэты, в особенности англоязычные, отзывались об этих произведениях довольно издевательски. И Бродский с тех пор до самой смерти писал стихи только по-русски.

– А про Советский Союз и его политику он, живя на Западе, высказывался? Наверняка в интервью спрашивали...

– Спрашивали, конечно, но он уходил от этой темы. Не хотел воевать с советской властью и чернить родину, хотя от него, как эмигранта, этого многие ждали. Вряд ли это решение было продиктовано страхом – бояться ему, особенно после получения Нобелевской премии, было особенно нечего. Наверное, он недолюбливал советский строй, но в политические споры демонстративно не вмешивался. Он очень не хотел становиться антисоветчиком, он понимал всю пошлость этого статуса.

– Почему в последние годы вокруг имени Бродского бушуют войны? Ломаются копыя, создаются кланы друзей и псевдодрузей...

– Думаю, причина в том, что Иосиф Бродский был на протяжении всей жизни крайне независим – и как поэт, и как человек. Как раз он-то не принадлежал ни к какому клану. Все старались и стараются причислить его к своей группировке, но он отовсюду и ото всех ускользает. Свой среди чужих, чужой среди своих. Поэтому так много инсинуаций, упреков и споров вокруг имени Бродского, так много любви и ненависти к нему. ❀



Я.П. Полонский.
Портрет
И.С. Тургенева.
1881 год

ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

И СКОВЕРКАННАЯ ЮНОСТЬ матери его, Варвары Петровны Лутовиновой, аукнулась ему тяжелым детством. Ненужная матери, некрасивая, но сильная и самолюбивая, она долго сносила издевательства пьяницы-отчима, и в 16 лет, после смерти матери, осталась полностью в его власти на долгих семь лет. Однажды, будучи в очередной раз заперта им на ключ в каморке, она вылезла в окно и убежала к своему дяде Ивану Ивановичу в его имение Спасское-Лутовиново – просить приюта. Дяде, скупцу и деспоту, она тоже была не очень нужна, однако он принял племянницу и три года с ней бранился. Дядя умер, не успев лишить ее наследства, как собирался, и Варвара Петровна оказалась обладательницей огромного состояния – несколько деревень в разных губерниях, 5 тысяч душ – целая империя, во главе которой встала она – властная, деспотичная, не простившая миру ни одной из своих обид. Хозяйка она была хорошая, заботилась о том, чтобы имение процветало, мужики были сыты и одеты; порядок наводила железной рукой. Поручик Сергей Николаевич Тургенев был моложе Варвары Петровны на шесть лет – той уже стукнуло 28. Он был очень беден и очень красив; на портретах он похож на падшего ангела с печальным взглядом. Варвара Петровна, сумрачная круглолицая брюнетка, была некрасива, но умна и богата. Отец умолял Сергея жениться на Лутовиновой; тот женился. В семье Сергей Николаевич держался отстраненно; романов своих не скрывал (один из них описан в автобиографической «Первой любви»; прототипом Зинаиды стала Екатери-

НАБЛЮДАТЕЛЬ

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Тургенев был богат, красив, умен, добр, образован и талантлив – настоящий баловень судьбы; мало кого из русских писателей фортуна осыпала такими дарами. Однако не поворачивается язык назвать его баловнем и счастливым, потому что для счастья всего этого, получается, мало.

на Шаховская, в которую был влюблен 15-летний Иван. – Прим. авт.). Трех сыновей – старшего, Николая, среднего, Ивана, и младшего, Сергея, – воспитывал по-спартански: ранние подъемы, обливание холодной водой, бег вокруг столба на веревке... Отец изредка дарил сыновей рассеянными ласками;

воспитанием занималась мать – и воспитание это было жесткое. Тургенев вспоминал, что его секли чуть не каждый день, за все подряд. Однажды, когда мать его выдрала вообще непонятно за что – сказала «сам знаешь», – он решил бежать из дома ночью и попался в коридоре немцу-учителю. Учитель поговорил с матерью, и мальчика оставили в покое.

Мать распорядилась в своем «государстве», как древняя царица: завела себе «министров двора» и скорохода, которого отправляла за 60 верст пешком с пустяковой запиской, могла сослать в дальнюю деревню на исправление гонца, принесшего дурные вести, не разрешала служанкам выходить замуж... Все это внушало Ивану такое отвращение, что он дал себе «аннибалову клятву» бороться с крепостничеством.

Письма к сыну сохранили любопытные суждения Варвары Петровны, живой слог и неповторимую интонацию – с внезапно выскакивающими среди предложения страстными восклицаниями «но!» или «нет!»; интересные отзывы – так, когда сын прислал ей свою поэму «Параша», она отписала ему радостно: твоя «Параша» пахнет земляничкой...

Николай и Иван все-таки пошли против материнской воли, и оба из-за женщин: Варвара Петровна не одобрила ни женитьбы Николая на немецкой камеристке, ни влюбленности Ивана в «ведьму» Виардо и рассорилась с обоими. В ее предсмертных записках Иван нашел строки: «Матушка, дети мои! Простите меня! И ты, о Боже, прости меня, ибо гордыня, этот

смертный грех, была всегда моим грехом». При жизни своей матушка требовала полного подчинения, ослушников лишала денежного содержания. На просьбу выделить имение или прислать денег могла ответить жестокой шуткой – так, Николаю вручила пустой лист бумаги вместо благословения на брак, а Ивану прислала за границу вместо денежной помощи посылку, набитую кирпичами.

И тем не менее в Спасском-Лутовинове была своя прелесть. Был домашний театр, были музыкальные вечера, был нарядный усадебный дом с огромной библиотекой, аллеи, пруд, мельница, поля – и прекрасный сад, полный укромных местечек, где можно отойти душой. И дивный «врачующий простор» родных мест. Даже когда случайно проезжаешь мимо – эти зеленые холмы и перелески, подернутые утренним туманом, эти живописно разбросанные по ним деревни, эти капли земляники в лесу у обочины все так же заставляют замирать сердце, вспоминать стихи и сочинять длинные-предлинные описания природы, которые школьники так не любят даже и у Тургенева.

А все потому, что это надо сначала видеть – а потом радостно узнавать в каждой детали, так любовно и бережно сохраненной памятью и зафиксированной безошибочным пером.

УЧЕНИЕ

Детей учили хорошо. Родители сами много читали, дома была огромная библиотека на разных языках, детям брали учителей-иностранцев. Когда Ивану было 4 года, семья ездил за границу – на собственных лошадях, в своей карете, в сопровождении домашнего доктора Берса (отца Софьи Андреевны, жены Толстого). Тургенев с детства говорил и читал на английском, немецком и французском. Отец требовал, чтобы сыновья писали журналы (дневники); журналы отсылали ему, он присылал комментарии и замечания.

Затем детей отвезли в Москву и отдали в пансион Вейденгаммера, откуда через год перевели в пансион Краузе. Ивану легко давались языки, он полюбил литературу, много читал, начал писать стихи. После пансиона подростки Тургеневы готовились к поступлению в университет с домашними учителями; Иван выдержал сложнейшие вступительные экзамены и большой конкурс (выражаясь современно – почти семь человек на место) и поступил на словесный факультет Московского университета. В это время там учились Герцен, Огарев, Белинский, некоторое время и Лермонтов; там Тургенев заинтересовался немецкой философией, там познакомился со Станкевичем, с которым близко сошелся позднее. В университете он проучился недолго: старший брат поступил в военное училище в Петербурге, и Иван перевелся в Петербургский университет, поближе к брату.

В Петербурге он некоторое время слушал лекции Гоголя (о которых отзывался иронически), познакомился с Жуковским; написал романтическую поэму «Стено», которую показал своему профессору Плетневу, другу Пушкина. Плетнев

поэму раскритиковал, но заметил, что автор ее не лишен таланта. У Плетнева юноша однажды случайно столкнулся в дверях с Пушкиным; встреча была мимолетной и единственной. Пушкин вскоре погиб, а Тургеневу, который его боготворил, через много лет достался от сына Жуковского таинственный пушкинский перстень-талисман.

В Петербурге же Тургенев сошелся с Тимофеем Грановским, студентом-историком, будущим блестящим лектором; долгие часы они обсуждали поэзию и философию; Иван стал задумываться о философии как предмете изучения. Получив степень кандидата, он приехал домой на каникулы, а затем отправился учиться философии в Германию.

Семья к этому времени пережила два тяжелых удара: умер Сергей Николаевич, умер и младший из трех детей, 15-летний Сергей, страдавший эпилепсией. Траур безутешной вдовы был вычурным и демонстративным, а Иван, молодой, веселый, счастливый, с трудом выносил и домашнюю атмосферу, и привычки милой старины. Современники вспоминали, что он охотно дурачился, смешил окружающих; подолгу пропадал на охоте, слонялся по лесам, ночевал в крестьянских избах; так понемногу собирались наблюдения, из которых выросли «Записки охотника».

ЕВРОПА

В Германию он отправился на пароходе «Святой Николай»; ночью начался пожар, поднялась паника. Тургенев умолял матроса взять его на спасательную шлюпку и обещал 10 тысяч рублей; злые языки сплетничали потом всю его жизнь, что он распихивал женщин и детей и вопил: «Спасите меня, я единственный сын у матери». Пожар этот описан им в очерке «Пожар на море», который он незадолго до смерти продиктовал Полине Виардо. Там – кстати, без малейшей рисовки – рассказано, как юный Тургенев отдал сюртук и сапоги промокшей до нитки, босой и полураздетой жене Тютчева, которая плыла на том же пароходе с четырьмя детьми, и сам остался босым и раздетым.

Главным содержанием его берлинской жизни стало участие в философском кружке Станкевича, у которого учились Белинский, Герцен, Грановский, Бакунин, – это был не только научный, но и дружеский круг. Изучение Шеллинга и Гегеля позволяло разобраться в законах жизни, социума, истории, определиться с взглядами на развитие русского общества; все эти вопросы были предметом постоянного обсуждения в кружке: смена эпох, надлом времен уже обозначился, и участникам кружка – еще заставшим Пушкина, Жуковского, Гоголя – предстояло создавать новые смыслы и искать новые пути развития литературы и общественной мысли.

Он съездил в Россию, откуда пришли плохие новости: сгорел дом в Спасском-Лутовинове – родной, с анфиладой комнат и любимой библиотекой. Мать, вопреки ожиданиям, не удерживала сына дома – дала денег на поездку в Италию.

В Риме он встретился со Станкевичем, вместе с ним бродил по музеям, любовался работами Микеланджело. Станкевич был очень болен, чувствовал себя плохо – и вскоре после отъезда Тургенева в Германию умер. Смерть наставника все его друзья и последователи, в том числе и Тургенев, переживали тяжело; черты Станкевича мы находим в образе Покорского в «Рудине». Собственно, «Рудин» и есть память о философских кружках – времени становления тургеневской мысли и таланта. Сам Рудин похож на Михаила Бакунина, дружка члена кружка Станкевича.

С Бакуниным Тургенев сошелся очень тесно, они даже жили вместе: Бакунин пригласил друга к себе в имение Премухино. Туда, к Бакуниным, Тургенев, окончивший курс в Берлине, сбегал от матери после печальной истории с Авдотьей Ивановой.

ЛЮБОВЬ

Авдотья была прелестная швейка, которая влюбилась в молодого и красивого барина и забеременела от него. Иван изъявил готовность на ней жениться, но рассвирепевшая Варвара Петровна выслала швейку в Москву. Там у Авдотьи родилась девочка Пелагея – единственное дитя Тургенева. Девочку у матери отняли, отправили в деревню, где она прожила до 8 лет, занимаясь грязной работой и снося постоянные унижения. Тургенев, поссорившись с матерью, уехал в Премухино, к Бакунину. Одна из сестер Бакунина – Татьяна Александровна, девушка умная, начитанная, с возвышенным складом ума, – по-

любила Тургенева, а он – ее. Однако любовь ее была требовательная, строгая; она возводила возлюбленного на немислимую высоту – я поклонялась вам как Христу, написала она в одном из писем... Тургенев не выдержал такого накала и ответил: «Послушайте – клянусь Вам Богом: я говорю истину – я говорю, что

думаю, что знаю: я никогда ни одной женщины не любил более Вас – хотя не люблю и Вас полной и прочной любовью». Может быть, отсюда, из этих ранних историй несбывшейся любви, берет начало традиционная тургеневская коллизия – русский человек на randevу: любовь заставляет брать на себя ответственность, к которой герой не готов, – и умная, строгая, чистая девушка остается разочарованной.

Сам он, полностью зависящий от прихотей матери, едва ли мог взять на себя ответственность за другого человека. Так и герои его мало что могут предложить строгим девушкам и оказываются не героями, даже не сильными мужчинами, а обыкновенными людьми, не очень-то знающими, что и с самими собой делать...

ПОЛИНА И ПОЛИНА

В январе 1843 года Тургенев пошел служить в Министерство внутренних дел; начальником его был Владимир Даль. Ведомство Перовского готовило основания для крестьянской реформы, так что Тургенев мог заниматься тем, что ему было по сердцу. В том же году состоялись еще две судьбоносные встречи. Первая – с Белинским, который одобрил поэму Тургенева «Параша» и стал другом Ивана Сергеевича на много лет (Тургенев даже крестил его сына). Белинский ввел его в круг Некрасова, под влиянием которого Тургенев стал отходить от романтических увлечений юности и повернулся к реализму. Долгие разговоры с Белинским помогли Тургеневу найти свою дорогу в прозе – и уже конец 40-х годов ознаменован появлением пьесы «Месяц в деревне» и публикацией отдельных рассказов, из которых потом сложились «Записки охотника».

Вторая судьбоносная встреча – с Полиной Виардо, французской певицей, пение которой современники описывали как совершенное, несравненное, необыкновенное. Может



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883). Портрет работы художника К. Горбунова. 1838–1839 годы

быть, больше всего Тургенева и привлекало в ней это несомненное божественное начало – не внешность (Виардо была некрасива), не склад характера (она была чужда сантиментов, практична, эгоцентрична), а именно чудо таланта, свидетельство богатства, глубины и сложности души. Любовь Тургенева к Полине Виардо была рыцарским служением – безответная, бескорыстная, постоянная, может быть, именно потому и постоянная, что обреченная с самого начала: Виардо была замужем и не собиралась расставаться с мужем. Уже сейчас в его произведениях возникает постоянная тема: лю-

бовь – это не счастье, «любовь вовсе даже не чувство; она – болезнь, известное состояние души и тела», болезнь тяжелая и мучительная. Он еще несколько раз влюблялся – и чудесные женщины готовы были соединить с ним судьбу. Сестра Льва Толстого Мария Николаевна говорила в старости, что, если бы Тургенев решил иначе, она, может быть, и в монахини бы не ушла; Ольга Тургенева, родственница столь далекая, что почти однофамилица, любила его искренне и просто – но он стремительно остыл, не успев загореться. И красавица Феоктиста, выкупленная им из крепости у родственницы за сумасшедшие 700 рублей, не удержала его возле себя. И поздняя любовь его, актриса Савина, готова была выйти замуж, – но и здесь он отступился, отошел в сторону, может быть, потому, что не имел опыта семейного счастья, душевной близости – умел жить в одиночестве, обреченности и вечном напряжении неразделенной любви. И не знал, что

делать со взаимной любовью... Он так и провел всю жизнь «на краешке чужого гнезда» – не то другом семьи, не то приживальщиком, следуя за своей Полиной как нитка за иголкой, и растил ее дочерей, любя их, кажется, больше, чем собственную дочь, выполняя какие-то мелкие поручения, пристраивая в печать романы, написанные возлюбленной, собирая приданое ее дочерям.

Дочь свою он решил увезти из России, где ей, незаконнорожденной, были уготованы сплошные унижения. Попросил Виардо за определенную сумму взять девочку под опеку – и выдернул ее, как морковку, из привычной среды, и переименовал в Полину, и пересадила в другую, велел любить и почитать мадам Виардо. Девочка отца видела мало, скоро научилась говорить по-русски. В пансионе отмечали ее строптивость; к Полине Виардо она питала не благоговение, как надеялся Тургенев, а неприязнь. Она выросла совсем чужой; вышла замуж за некоего Брюэра, управляющего стекольной фабрикой. Брак оказался несчастлив, муж разорился; у нее было двое детей, оба они не оставили потомства, и род пресекался.

Воспитание Полины–Пелагеи стало причиной серьезной ссоры Тургенева с Толстым: Тургенев рассказывал, что девочке выделяют некоторую сумму на благотворительность, а гувернантка дает ей штопать одежды бедняков. Толстому это показалось ужасным лицемерием, Тургенев вознегодовал – в запальчивости оба наговорили друг другу невозможных мерзостей, едва не подрались на дуэли и расстались на долгие семнадцать лет. Но потом – потом немолодой уже Толстой написал Тургеневу письмо с предложением помириться, и Тургенев с радостью откликнулся.

Тургенев вообще много ссорился с друзьями – мнительному Гончарову показалось, что он стащил у него сюжет романа. На Достоевского он написал вместе с Некрасовым некрасивую эпиграмму – и не упустил случая подтрунить над болезненно самолюбивым писателем. С Некрасовым рассорился из-за статьи Добролюбова о «Накануне» – и покинул «Современник».... Но при всем этом они умели ценить талант друг друга независимо от личных отношений – и находили в себе душевные силы мириться, просить прощения, говорить друг другу добрые слова, понимая: то, что их объединяет, больше и важнее, чем то, что разъединяет.

«ЗАПИСКИ ОХОТНИКА»

Уже в 1845 году он вышел в отставку и занялся литературой. С его заграничных поездок в 40-х годах начинается его знакомство, а затем и дружба с европейскими литераторами. Тургенев, по сути, стал связующим звеном между русской и европейской культурой, знакомя русских читателей с французской литературой, французам – не только с русской, но и с другими литературами. Сам Тургенев стал известен европейскому читателю с «Записок охотника»; погово-

ривали, что на Западе считают, что именно из-за этой книги крепостное право пало.

«Записки охотника» стали появляться постепенно, один за другим, в разделе «Смесь» журнала «Современник». Общее название для серии очерков и рассказов придумал Иван Панаев. Уже с первых очерков стало понятно, что в русской литературе появился новый и мощный талант, что в нее вошла новая тема, что открыты новые пути художественной прозы. Это не столько рассказы о крестьянах, о «русских типах», сколько разговор о людях – бесконечно интересных и разных, об их сложных отношениях друг с другом, о дивной природе, в гармонии с которой они существуют, – и о вывихнутых, нечеловеческих условиях крепостного права. Тургенев не произносит обличительных речей – просто показывает, и всякий внимательный читатель видит: крепостное право врезается в эту жизнь, как железные оковы в живое тело, калечит ее, уродует, обесмысливает. Когда рассказы были собраны вместе и вышли двухтомным изданием в 1852 году, цензоры не поверили, что каждый из рассказов уже проходил цензуру как отдельное произведение. Они специально сверяли тексты, чтобы убедиться, что автор не внес никаких дополнений и исправлений: собранные вместе, рассказы стали перекликаться друг с другом, усиливая эффект и придавая главной теме мощное симфоническое звучание. В цензурный устав даже пришлось внести изме-

нения, требующие рассматривать сборники ранее публиковавшихся рассказов заново, как целостные произведения.

А по сути ведь «Записки охотника» – это просто записки, наблюдения, что вижу – то пою; беда в том, что так устроена жизнь, что простое ее честное описание звучит как антиправительственная прокламация.

В том же, 1852 году умер Гоголь. Смерть его и молчание по этому поводу в печати потрясли Тургенева, ясно понимавшего место Гоголя в русской литературе. Он написал некролог, где называл Гоголя великим – неслыханная дерзость во времена, когда великими называть можно было разве что царей и полководцев. В Петербурге некролог запретила цензура; Тургенев напечатал его в «Московских ведомостях», за что – по высочайшему повелению – был арестован на месяц. Под арестом он написал «Муму», хрестоматийный ныне, мучительный рассказ о свободе, приходящей только через смерть лучшего, что есть в человеческой душе.

За арестованного Тургенева заступались многие – особенно Алексей Константинович Толстой; в конце концов по хлопотам друзей освободили и выслали в Спасское.

РОМАН

50-е годы – жизнь на два дома: летом в имении, зимой в столице. Он копил впечатления и публикует небольшие повести, а с 1856 года с выходом «Рудина» начинается Тургенев-романист.

Зрелая литература не может не дать романа; русская литература подбиралась к нему медленно, путем долгих поисков. Тургенев дал роману новую жизнь и новую форму, обогатив не только русскую литературу, но и европейскую, показав ей, что роман не обязан быть дотошным, рыхлым, бесконечно длинным, что он может быть элегантно, подтянутым и сосредоточенным, каким и стал европейский роман после Тургенева.

Этот новый роман короток и лишен конкретной фабулы – он скорее всматривается в людей, чем рассказывает историю. Оттого так трудно и бессмысленно пересказывать «Рудина», или «Отцов и детей», или «Накануне»: кто-то приезжает и уезжает, кто-то о чем-то с кем-то разговаривает – и кончается-то неопределенно – дурачком и нелогичной случайной смертью Базарова, потерянно-

стью Рудина, исчезновением Елены... Смыслы здесь задаются не фабулой, а подтекстом, переключкой лейтмотивов, как в «Дыме», сочетанием сатирической заостренности и лирической стихии. Тургенев устраняет из романа многословного, рассуждающего, объясняющего автора; он показывает, а не навязывает. И убирает свою авторскую позицию до такой степени, что всякий раз становится мишенью для критики с обеих сторон – и с той, что считает, что автор глумится над новым героем, и с той, что считает, что он неоправданно его превозносит. Тургенев в построенном им мире не демиург, как Толстой, не режиссер, как Достоевский, а внимательный наблюдатель, оператор с камерой; только по тому, какой он берет фокус, что решает нам показать, мы и можем судить о его авторской позиции.

Тургенева больше всего занимает герой и его отношения с жизнью и временем. Время уходит, жизнь выпихивает героя; строгая и чистая женщина внимательно смотрит на него, ожидая ответа – и автор ищет ответ вместе со своим героем: чем жить, когда жить нечем? Что делать, когда, что ни делай, ничего не выходит? Он не выносит приговоров – он наблюдает, страдает, думает и задает читателю вопросы. Может, оттого у него герои и гибнут так бездарно, что нового героя, еще не родившегося в жизни, он уже увидел? Вопросы, которые время только собираются поставить, он уже угадал? А ответы на них еще не созрели, их и не разглядеть – и что делать с таким героем? Только уморить его случайной заразой, услатить в чужую страну. Только потом, потихоньку – он вообще не любил никаких резких движений, никакого радикализма – он стал писать: нужно постепенно возделывать свой сад, свое поле, делать жизнь лучше вокруг себя. Но эти ответы уже казались обществу недостаточно радикальными, а власти – чересчур радикальными.

Он не знал правильных ответов. В его знаменитом «Пороге» оба голоса – авторские голоса. Дура или святая девушка, которая готова на преступление ради великого дела. И дура, и святая, – а как правильно? Тургенев одним из первых увидел нарождение новых героев – не рефлексирующих и мягких, как он сам и его череда лишних людей, а жестких, уверенных, знающих, что делать, – восхитился и ужаснулся одновременно. Потому народник Якубович писал, что Тургенев «служил революции сердечным смыслом своих произведений», а Герман Лопатин говорил о его «Нови»: «Он знал, что мы потерпим крах, и все же сочувствовал нам».

С середины 50-х Тургенев жил в Париже, затем уехал в Англию, потом в Германию, потом в Италию; потом стал наезжать в Россию на лето, когда жил в Спасском. 60-е дались ему трудно. Отношения с «Современником» были разорваны из-за статьи Добролюбова «Когда же придет настоящий день?», по-

священной роману «Накануне». Принято считать, что Тургенев испугался радикального политического прочтения романа – на самом же деле он протестовал против социологизации его, превращения художественного исследования в социологическое. По сути, он поставил Некрасова перед выбором: или критики-демократы, или я; Некрасов предпочел пожертвовать одним из авторов, но сохранить общественно-политическое лицо издания. «Отцы и дети» вызвали жесточайший раздор среди критиков: Писарев увидел нового прекрасного героя, а Антонович – пасквиль на демократическую молодежь.

Тургенев все чаще задумывался о том, как мало он знает о жизни и смерти, как мало понимает, как мало зависит от человека; отсюда его интерес к мистике, к таинственному и необъяснимому. И этот загадочный Тургенев в «Собаке» или «Кларе Милич» хотя и менее известен, менее читаем, но едва ли менее интересен, чем твердый реалист, тонкой кистью живописующий орловскую природу, или вдумчивый мыслитель, пытающийся угадать пути развития общества. В том, что касается фундаментальных основ жизни, он предельно честен с собой, друзьями и читателями: он не боится признаться, что отчаивается, что боится смерти, что устал от жизни; честность эта иногда смущает его друзей, внушая им чувство неловкости.

ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН

Тургенев 60–80-х помнится мемуаристам как высокий красавец, седовласый великан с добрыми глазами, безукоризненно вежливый, воспитанный, необыкновенно начитанный, мягкий. Но не всегда он был мягок: однажды категорически отказался мириться с давним своим врагом Катковым. Он близко сошелся с французскими писателями – Флобером, братьями Гонкур, Мопассаном, Золя, Доде; известны знаменитые «обеды пятерых», на которые он являлся

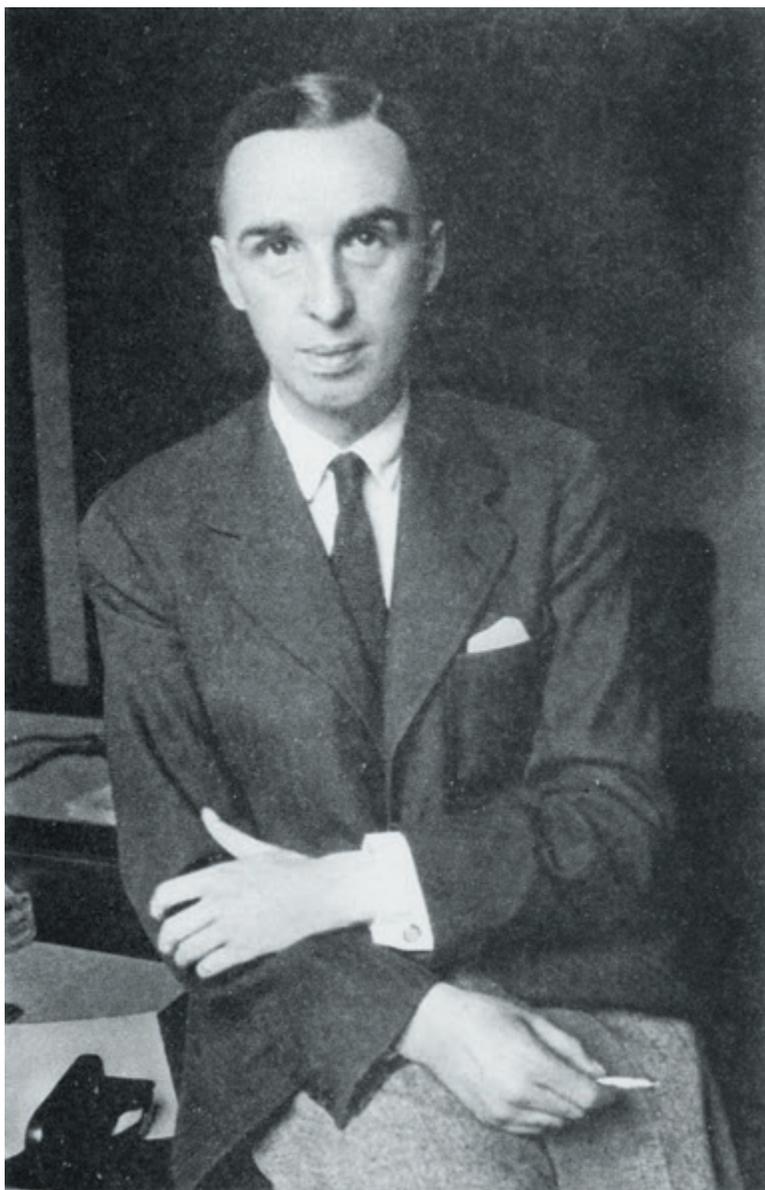
с книжками и бесконечно рассказывал французским друзьям о русской и мировой литературе.

В 1878 году Тургенева избрали вице-президентом на международном литературном конгрессе в Париже, в 1879-м дали степень почетного доктора права в Оксфорде – все за те же «Записки охотника», за вклад в защиту прав человека, сказали бы сейчас. Со временем и на родине, где до сих пор говорили, что Тургенев из своего далека плохо понимает русскую жизнь (а Достоевский даже вывел его в виде отвратительного Кармазинова в «Бесах»), начинают понимать, сколько он сделал для русской культуры. Торжественные чествования, полные залы народа, рукоплескания. Время примирения с друзьями-врагами, ощущения, что делается общее дело, – особенно мощным и ясным это понимание было в 1880 году, во время Пушкинских торжеств, в подготовку которых Тургенев вкладывал все силы. А сил уже оставалось мало: мучила подагра, при ее приступах он мог ходить только на костылях. Радость пушкинского праздника заставила его задуматься о переезде в Россию насовсем, но цареубийство в 1881 году и резкое изменение политического климата поставили крест на этих планах. Он был тяжело болен: полтора года его мучил рак спинного мозга, лишая возможности ходить, сидеть, писать – так что последние свои произведения он диктовал Полине Виардо. Те, кто посещал его в Париже, рассказывали, что великий писатель умирает в одиночестве, в тесной комнатке, под которой без конца гремит музыка – Виардо дает уроки. А он говорил – нет-нет, комнаты тут везде маленькие, а музыку эту я люблю... Нет-нет, мне хорошо одному, я люблю одиночество.

Его последняя большая работа, «Стихотворения в прозе», – опять новое слово в литературе. Крохотные шедевры, созданные на путях синтеза поэзии и прозы, намеченных Пушкиным и Гоголем; короткие лирические записки – когда фанбульные, когда нет, совершенные по композиции, с отточенной мыслью... Русский язык слушался его, как волшебный инструмент в руках виртуоза. Отсюда, должно быть, его размышление о языке: ну не может бездарный, рабский, ни на что не способный народ создать такой инструмент. «Честности, простоты, свободы и силы нет в народе – а в языке они есть... Значит, будут и в народе», – писал он в одном из писем в 60-х – и перед смертью повторил: «Нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу».

Перед смертью звал к себе семью Виардо, близких, пытался их обнять. «Прощайте, мои милые, мои белесоватые», – сказал последнее, уже заглядывая за пределы, в которые не проникает человеческий взгляд. Умер – и лицо его стало спокойным, мирным – может быть, потому, что отмучился – или увидел ответ на загадку, которую всю жизнь пытался отгадать. ♣

НАД ЗАСЫПАННОЙ СНЕГОМ СУДЬБОЙ



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Один критик сказал однажды о Георгии Иванове: хороший поэт, но чего-то ему не хватает. Дай ему Бог большого человеческого горя, может, тогда станет поэтом настоящим.

БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ горе не замедлило себя ждать. Горем таким для него стала эмиграция, которая навсегда отняла родину, среду, близких — и добавила в поэзию такие ноты, что даже страшно: и от того, что пророчества сбываются, и от того, что за настоящую поэзию приходится платить такой ценой.

КАДЕТИК

Георгий Иванов был сыном офицера Владимира Иванова и баронессы Веры Бир-Брау-Браурэр ван Бренштейн (так ее фамилию пишет Ирина Одоевцева, жена Георгия Иванова; возможно, на самом деле фамилия была Бирбрауэр фон Бренштейн). Отец был из семьи полоцких дворян; мужчины в этой семье были военными, и сам отец служил в 3-й гвардейской конноартиллерийской бригаде, во время русско-турецкой войны был ранен под Плевной, был флигель-адъютантом при дворе болгарского принца Александра Баттенбергского. Мать, из обрусевших голландцев, была красавица, любила светскую жизнь — званные обеды, балы, фейерверки. Детей

в семье было трое: Наташа, Владимир и младший, Юрочка, появившийся на свет 29 октября 1894 года в имении Бренштейнов Пуки в Ковенской губернии.

Отец, получив наследство, купил имение Студенки, где Георгий Иванов вырос. Биографы пишут, что оно было в Ковенской губернии, но на самом деле в Новогрудском уезде Минской губернии – бывшее имение Радзивиллов; часть времени он проводил в имении Гедройцы под Вильно – возможно, у родственников. Детство поэта было по-настоящему счастливым усадьбным детством; с ранних лет Юрочка проявлял интерес к истории искусства, любовался старинными вазами, гравюрами на стенах, коллекцией живописи, собранной в усадьбе. Он рассказывал, что когда ему, 12-летнему, должны были удалять полип в носу и предлагали за это разнообразные дары, он потребовал себе «две истории искусства и абонемент на «Старые годы» – то есть искусствоведческий журнал.

Будущее мальчика было predeterminedено: как и его предки, он отправился учиться в кадетский корпус – сначала, как сообщает Андрей Арьев, в 1905 году, в Ярославский, затем, в январе 1907-го, его, по просьбе отца, перевели во 2-й Петербургский.

Потом отец умер. Семейная история гласит, что отставной подполковник Владимир Иванов разорился, скверно распорядившись доставшимся от сестры наследством, застраховал свою жизнь и выбросился из поезда, чтобы спасти семью от краха. Георгий Иванов всю ночь (зимнюю, морозную) просидел в комнате перед открытым окном, простудился и сам едва не умер; в архивах корпуса есть свидетельство, что Иванов пропустил в 1907-м весь конец учебного года из-за воспаления легких, отчего остался на второй год.

Он потом и еще раз оставался на второй год, уже из-за неуспеваемости. В военные этот юноша, с упоением читавший стихи и способный долго сидеть над ката-

логом антикварных вещей, никак не годился. Ему хорошо давались рисование и химия, в остальном он успехами не блистал. Интересно, что и стихи, которые он начал писать, были своеобразным словесным рисованием, картинками в стихах. Из стихов сложилась книга «Отплыть на о. Цитеру» – Иванов говорил, что она вся была написана за партией в шестом-седьмом классах; точнее было бы сказать – на шестом-седьмом году обучения, потому что из корпуса его забрала сестра Наташа в 1911 году – и к этому времени он окончил только пять классов. Он рассказывал, что однажды ночью в общежитии корпуса ему было видение: звучный голос необыкновенно прекрасно прочитал ему «Выхожу один я на дорогу...». Однокашник Иванова по корпусу, Перфильев, запомнил, как тот, щупленький, маленький, цитировал ему на плацу Городецкого – «стоны, звоны, перезвоны...» Уже в 1910 году Иванов свел знакомство с петербургскими поэтами – сначала с Георгием Чулковым, позже с Кузминым, Северяниным, с «футуристическим доктором» Николаем Кульбиным. Обрадованные и удивленные тем, что этот худенький кадетик в мундирчике пишет такие умные, грамотные стихи, поэты охотно беседовали с ним, вводили его в литературные гостиные. Первыми литературными учителями Иванова стали Михаил Кузмин и Игорь Северянин.

В 1912 году в издательстве эгофутуристов «Эго» на деньги сестры Наташи, в замужестве Мышевской, вышла первая книга Георгия Иванова, «Отплыть на о. Цитеру», с посвящением сестре.

ЮНЫЙ ПОЭТ

«Отплыть на о. Цитеру» отсылает читателя к поэме Третьяковского «Езда на остров любви» и к картине Антуана Ватто. Один из первых экземпляров – может быть, даже самый первый – Иванов побегал дарить Александру Блоку. Блок много разговаривал с кадетиком Ивановым; в одной из дневниковых записей Блока сказано, что Иванов собирается сдавать экзамены на аттестат и поступать в университет и что «он ушел другой, чем пришел». В университет он не поступил – некоторое время ходил туда вольнослушателем, но и только, но ушел от Блока в самом деле другим. С призванием своим он вполне определился: он будет писать стихи. Впоследствии говорил, что он умеет только это, и больше ничего – и в самом деле, ничего другого в жизни своей не делал: писал и переводил. В первое время Иванов примыкал к эгофутуристам, обменивался стихотворными посланиями с Игорем Северяниным; биограф Иванова Вадим Крейд рассказывает, что Северянин предложил юному эгофутуристу взять звучный псевдоним «Жорж Цитерский», но тому хватило ума не последовать совету вождя. Иванов стал одним из трех «директоров» директората эгофутуризма и подписал листовку эгофутуристов, которая широко распространялась и после того, как он отошел

стве «Гиперборей» вышел его второй сборник, «Горница», – с религиозными мотивами, навеянными, возможно, Кузминым, с популярными в Серебряном веке образами комедии дель арте – снова это череда масок, под которыми прячется автор, не желающий ничего рассказывать о себе. В «Горнице» он куда менее пышен, чем в «Отплыть...», куда более конкретен. В «Горнице» Иванов – уже мастер лаконического стиха, афористической фразы. Он строже, скупее на эпитеты,

да и в самих эпитетах меньше декадентской пустозвонной расплывчатости; его стихотворные картинки точны и предметны.

*Над грушами лежит
разрезанная дыня,
Гранаты смуглые
сгрудились перед ней;
Огромный ананас
кичливо посредине
Венчает вазу всю короною своей.*

Это было время, которое дышало и жило литературой и искусством. Он дружил с поэтами и жил литературой; в это время подружился с Мандельштамом, посвящал стихи Ахматовой (а она – ему), ездил к Гумилеву, бывал у Блока, Кузмина, Юркуна, пережил влюбленность в Палладу Богданову – фам фаталь Серебряного века... Просиживал ночами в «Бродячей собаке» — и писал потом, вспоминая, как в «Собаке» отмечали Новый год.

*В тринадцатом году,
еще не понимая,
Что будет с нами, что нас ждет, –
Шампанского бокалы подымая,
Мы весело встречали – Новый Год...*

Только случайная печаль, нечаянная дымка туманит стихи молодого Иванова – он по-прежнему жизнерадостен, влюблен в краски мира – и любит себя им, но не жадно, пожирающим взглядом гурмана, а нежно, спокойно, несколько отстраненно.

Своей легкости и оптимизма Иванов не потерял даже с началом войны. Журнал «Лукоморье», который охотно его печатал, много внимания уделял военной теме; достаточно посмотреть

от этого направления и примкнул к акмеистам; от бывших соратников ему даже пришлось отмежевываться в заявлениях для печати.

В отличие от большинства юношеских стихов даже крупных поэтов стихи из сборника «Отплыть на о. Цитеру» — не эпигонские подростковые упражнения, а серьезные, взрослые, формально безупречные стихи. Они свеженькие и розовощекие, хорошо причесанные и набриолиненные, как их автор, всегда носивший безупречный пробор, и выдают хороший культурный уровень, превосходное владение пером, замечательный талант стилизатора. Стихи на удивление статичны – это замершие картинка, впечатления от гравюр, репродукций, музейных картин:

*Ах, небосклон светлее сердолика:
Прозрачен он и холоден и пуст.
Кровавится среди полей брусника
Как алость мертвых уст.*

Видно, что автор очень много читал – и классики, и символистов; он примеряет на себя разные маски – то пастушка, то инока, он перебирает один за другим любимые мотивы русской поэзии начала века... Это очень пышная книга: в ней много золота, аметистов, жемчугов и янтарей; много цвета – особенно выделяется рдяно и рдяно-золотой, но есть и алая медь, и бледно-синяя эмаль, и зеленый бархат, и кровавые алмадины, и серебряный лен, и бледно-розовый свет, и закатная порфира. В ней полным-полно «истомно-кружевного» и «грустно-знакомого», осколков вечерней звезды и брызг лунного света, и ужасно декадентских вянущих азалий, которыми автор даже несколько злоупотребляет. При всем этом Иванов ни слова не говорит о себе самом: никакого лирического «я» в этих стихах нет. Они живописны, они звучны, они многое скажут глазу и уху – но решительно ничего сердцу. В целом – это очень славный поэтический дебют: грамотный, умелый, удачный. Николай Гумилев, прочитав «Цитеру», пригласил молодого поэта в «Цех поэтов». Предметность, конкретность стихов Иванова, его наблюдательность, тщательная чеканка стиха, тяготение к «прекрасной ясности» сблизил его с акмеистами. С Гумилевым он познакомился в «Бродячей собаке» и долго испытывал в присутствии мэтра робость и благоговение.

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

Петербургская жизнь Иванова в довоенные годы – счастливое время литературных кружков, салонов, участия в работе журналов. Он бывает на «Башне» у Вячеслава Иванова, в «Бродячей собаке», на заседаниях «Цеха поэтов», на вечерах Случевского, печатается не только в «Аполлоне» и «Гиперборее», но и в альманахах «Шиповник», и в новом «Лукоморье», и даже в «Ниве». В издатель-

на обложки журнала, чтобы увидеть, что тема эта решалась в ура-патриотическом ключе. В 1915 году «Лукоморье» издало сборник Иванова «Памятник Славы», стихи из которого сам поэт не любил и не включал в свои последующие сборники.

Он жил в это время вместе с Георгием Адамовичем; у того была сестра Татьяна, которой увлекался Гумилев. Татьяна занималась ритмическими танцами у швейцарца Далькроза. У нее была подруга, француженка Габриэль Тернизьен, тоже танцовщица. В 1915 году Иванов внезапно женился на Тернизьен, причем Ирина Одоевцева утверждает, что инициатором этого брака был Адамович, который думал, что «если Георгий Иванов женится на Габриэль, то Гумилев разведется с Ахматовой и женится на Тане»... Какое-то время Иванову казалось, что он счастлив; в семье родилась дочь Елена. Скоро, однако, брак распался, и в 1918 году Габриэль развелась с мужем, забрала дочь и уехала во Францию из голодной революционной страны.

«Вереск», новая книга поэта, вышла в 1916 году в «Альционе». Больше половины стихотворений в ней – это описания гравюр или картин.

*Все в жизни мило и просто,
Как в окнах пруд и боскет,
Как этот в халате пестром
Мечтающий поэт.*

*Рассеянно трубку курит,
Покачиваясь слегка.
Глаза свои он шурит
На янтарные облака.*

«Все в жизни мило и просто» – это почти девиз. Отстраненное любование становится поэтическим принципом Иванова. Он смотрит, он подробно излагает, что видит, но ни слова о себе! Ходасевич зло отрецензировал «Вереск»: «...поэтом он станет вряд ли. Разве только случится с ним какая-нибудь большая житейская катастрофа, добрая встряска, вроде большого и настоящего горя. Собственно, только этого и надо ему пожелать».

«СТРАШНЫЕ СТИХИ»

Следующая книга Иванова, вышедшая в жутком, голодном 1921 году в опустевшем Петрограде, называлась «Сады». Голод, смерть, революция, Гражданская война, аресты (Иванову и самому довелось посидеть на Шпалерной и пережить несколько жутких часов после ареста поэта Каннегисера, убийцы Урицкого: Каннегисер оставил Иванову свои вещи, в них обнаружили антибольшевистские прокламации, которые Иванов ночью напролет жег в камине) не оставили в ней никакого следа. В книге, вышедшей в год, когда по улицам валяются трупы лошадей, когда печатная литература вымерла, когда люди ждут ареста, –

Там меланхолия, весна, прохлада

И ускользящее серебро.

Все очертания такого сада

Как будто страусовое перо.

Может быть, это его способ справиться с действительностью, как-то выдержать ее: «Да, холодно, и дров не хватает, // И жалкая луна в окно глядится, // Кусты качаются, и дождь идет. // А сердце все не хочет убедиться, // Что никогда не плыть на волю нам // По голубым эмалевым волнам»...

Блок написал еще в 1919 году в рецензии на «Вереск»: «Что же он хочет? Ничего. Он спрятался сам от себя, а хуже всего было лишь то, что, мне кажется, не сам спрятался, а его куда-то спрятала жизнь, и сам он не знает куда. В стихах всякого поэта 9/10, может быть, принадлежит не ему, а среде, эпохе, ветру, но 1/10 – все-таки от личности. Здесь же как будто вовсе нет личности, и потому – все не подвластно ни критике, ни чувству, ни даже размышлению, потому что не на что опереться, не может быть ни ошибок, ни обратного». И заключил: «...слушая эти стихи, можно вдруг заплакать – не о стихах, не об авторе их, а о нашем бессилии, о том, что есть такие страшные стихи ни о чем, не обделенные ничем – ни талантом, ни умом, ни вкусом, и вместе с тем – как будто нет этих стихов, они обделены всем...»

И, может быть, с этого времени начинается настоящий Георгий Иванов. Он, словно заколдованная царевна, пробуждается от очарованного сна, и трудно судить, что его разбудило, – то ли счастье, то ли страдание.

ПЕТРОГРАД

Он мерз и голодал со всеми вместе. Со всеми вместе – почти со всеми петроградскими литераторами – приходил в Дом искусств, где можно было получить пшеничную кашу, селедку и горячий чай, поработать в теплом помещении. Вместе с другими литераторами работал во «Всемирной литературе» – переводил с подстрочника (не особенно хорошо зная язык) поэму Кольриджа «Кристалль» – с ее сложным размером и непростой фонетикой. Следующей его рабо-

ЭМИГРАЦИЯ

Он прибыл в Берлин и там был радостно встречен в Доме искусств. Здесь был переиздан его «Вереск». Иванов выступал с чтением стихов в литературных кружках и ждал французской визы: в Берлине оставаться не хотел. Во Франции они до самой Второй мировой жили довольно безбедно, не испытывая,

той во «Всемирной литературе» стала Вольте-рова «Орлеанская девственница» – перевод, начатый Пушкиным и продолженный, но не оконченный Гумилевым.

В 1920 году в студии Гумилева «Звучащая раковина» он встретил Ирину Одоевцеву – Ираиду Гейнике, дочь адвоката из Риги, зеленоглазую и рыжую «маленькую поэтессу с огромным бантом». «Зеленые очи» нашли отражение и в «Садах» – эта книга вообще чуть не наполовину о любви, – и в последующей лирике. И даже перед смертью Иванов больше всего беспокоился о том, что оставляет любимую жену одну, без средств к существованию...

Он собирался жениться, искал жилье; в Доме искусств ему предложили баню с предбанником; он поменялся с Георгием Адамовичем, и того скоро арестовали в этой самой бане. А затем... Последние выступления Блока, болезнь и смерть. Арест и расстрел Гумилева. В одном из писем, уже в эмиграции, Иванов писал: «Я был и участником злосчастного – и дурацкого – Таганцевского заговора, из-за которого он погиб. Если меня не арестовали, то только потому, что я был в «десятке» Гумилева, а он, в отличие от большинства других <...> не назвал ни одного имени». Гибель Гумилева его потрясла. Он собрался издавать посмертный сборник стихотворений поэта, и сборник этот увидел свет в 1922 году; для этой книги Иванов собирал автографы Гумилева. Вторая подготовленная им к печати книга Гумилева, «Письма о русской поэзии», увидела свет уже после отъезда Иванова в Берлин.

В 1922 году появились возможности уехать: открылась граница, стали уезжать друзья и знакомые, ушел «философский пароход». Иванов получил командировку «с целью составления репертуара государственных театров» и отправился на немецком пароходе «Карбо-2» в Штеттин, тогда прусский, а ныне польский город Щецин. Жена еще раньше уехала в Ригу к отцу, латвийскому гражданину, и скоро должна была приехать в Германию.



Георгий
Иванов. Шарж
Н. Альтмана.
1913–1914
годы

ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

как другие русские эмигранты, мучительной нужды: отец Ирины высылал им деньги, которых хватало и на жилье, и на прокорм. Он, совсем молодой, еще 30-летний, берется за мемуары – «Китайские тени». Жанр мемуаров в этом возрасте – биографическая дикость, но историческая закономерность: той цивилизации, той культуры, о которой он вспоминает, не стало.

Вслед за очерками из «Китайских теней» он опубликовал в 1928 году свои «Петербургские зимы». Это и не художественная проза, и не воспоминания – нечто среднее, «я так помню», – впечатления и ощущения, летучие образы, чьи-то рассказы, аберрации памяти... Те, кто остался на родине, сочли книгу пасквилем, враньем, доказывали, что никогда такого не было и автор все наврал.

Он все яснее понимает, что вернуться уже не получится, что эмиграция – это не временно, до крушения власти, а навсегда. И тоска по родине, по утраченному миру заполняет его стихи, вселяя в них новую, живую, болящую душу.

*Замело тебя, счастье, снегами,
Унесло на столетья назад,
Затоптало тебя сапогами
Отступающих в вечность солдат.*

*Только в сумраке Нового Года
Белой музыки бьется крыло:
– Я надежда, я жизнь, я свобода.
Но снегами меня замело.*

Несчастье эмиграции, утрата родины, культурного слоя, друзей, всего, чем жил, наполнили его безупречные, хо-

лодные, не очень живые стихи живой, бьющейся тоской, горьким страданием, ужасом и болью. Это – новый Иванов, сухой и строгий. Он смотрит в прошлое, не жалея себя, в будущее – без всяких иллюзий. В сборнике «Розы», вышедшем в 1931 году, читаем – какое обманчивое название! – жуткие, вымороченные отчаянием строки:

*Хорошо, что нет Царя.
Хорошо, что нет России.
Хорошо, что Бога нет.*

*Только желтая заря,
Только звезды ледяные,
Только миллионы лет.*

*Хорошо – что никого,
Хорошо – что ничего,
Так черно и так мертво,*

*Что мертвее быть не может
И чернее не бывает,
Что никто нам не поможет
И не надо помогать.*

Скорбная тишина, последний взгляд приговоренного на некогда любимый, теперь уже совершенно бессмысленный мир. Никто, кажется, не ожидал, что блестящий, набриолиненный, уютный Иванов окажется таким пронзительным, глубоким трагиком. Его чуть не сразу признали первым поэтом эмиграции. Стихи его потеряли всю свою пышность и краски, стали простыми, жесткими, графичными – и горько умными. Горе эмиграции заставило Иванова не прятаться в стихах, а безбоязненно рассказывать самую страшную, самую последнюю правду.

РАЗЛОМ

Внешне жизнь этой семьи казалась совершенно благополучной. В 1932 году отец Одоевцевой умер, она получила наследство, и на эти деньги был куплен дом в Биаррице. Море, светская жизнь, приемы, публикации. И тем не менее уже в 1937 году Иванов

пишет страшный «Распад атома», хронику разложения и человеческой души, и европейской цивилизации. Его сравнивали с Генри Миллером, и сравнивали справедливо: антиэстетизм и физиологизм этой прозы совершенно тошнотворны; Иванов настаивал на том, что не знал никакого Миллера, и вообще книга Миллера вышла двумя годами позже (он не прав: «Тропик Рака» вышел в 1934 году, «Тропик Козерога» в 1939-м). Тупик, сгущение тьмы, беспросветная европейская ночь. Он был свидетелем сгущения тьмы, проехав по Германии в 1933 году и написав серию очерков о помешательстве, охватившем всю страну; он ясно понимал смысл советского режима – и жестко выступал против всякого, кто высказывал просоветские мысли. Но «Распад атома» – не о наступлении фашизма, он о распаде и одичании человеческой души.

Правда, в этой ночи неожиданно звучит тонкая, слезная лирическая нота – маленький фрагмент о зверьках-размахайчиках, любящих ленточки, праздники и именины и изъясняющихся на странном австралийском языке: «ногоуважаемый», «ваше высокоподбородие»: «Они были славными зверьками. Они, как могли, старались украсить нашу жизнь. Они не просили мороженого, когда знали, что нет денег. Даже когда им было очень грустно, они танцевали и праздновали именины. Они отворачивались и старались не слушать, когда слышали что-нибудь плохое. «Зверьки, зверьки, – нашептывал им по вечерам из щели страшный фон Клоп, – жизнь уходит, зима приближается. Вас засыпет снегом, вы замерзнете, вы умрете, зверьки, – вы, которые так любите жизнь». Но они прижимались тесней друг к другу, затыкали уши и спокойно, с достоинством отвечали: «Это нас не кусается».

Непонятно даже, выносимее отчаяние или невыносимее в присутствии такой обреченной теплоты, такой нежности, такого тихого достоинства. Может быть, это в самом деле только метафора рудиментарных, остаточных человеческих инстинктов, но ведь если и есть что живое в этой вывихнутой, выморочной повести, то зверьки, если что и способны выстоять в холодной пустыне бессмыслицы, то это наивные зверьки с их трогательным уютом и теплом собственных тел. Впрочем, автор и зверькам не оставляет ни малейшего шанса, заканчивая их милым «это вашего высокоподбородия не кусается» записку самоубийцы в финале. Первый вариант финала он вычеркнул, а там значилось – «Хайль Гитлер, да здравствует отец народов великий Сталин, никогда, никогда англичанин не будет рабом» – куда ни кинь, всюду клин, по какой из трех дорожек ни пойдешь, всюду ночь и тьма.

Вторая мировая перевернула жизнь Иванова и Одоевцевой. Их дом в Биаррице продолжал оставаться открытым; веселая, любящая светскую жизнь Одоевцева продолжала звать к себе гостей на бридж; извещения об этих вечерах публиковались в местных газетах – в отсутствие других новостей. Юрий Фельзен, побывавший проездом в Биаррице, узнал из местной газеты о вечерах, устраиваемых Одоевцевой, и написал об этом Георгию Адамовичу. И когда Адамович получил

письмо, он решил, что в оккупированной Франции Одоевцева и Иванов зовут к себе немецких офицеров; так родилась сплетня, из-за которой после войны чуть не все эмигранты порвали с ними отношения. Вилла, на которой жили супруги, была сначала реквизирована немецкими властями, потом разграблена и, наконец, сгорела в 1944 году от американской бомбежки; парижскую квартиру за время их отсутствия разграбили – платить за нее было нечем, возвращаться некуда. Иванов и Одоевцева оказались бездомными. Они вернулись в Париж, где жить было нечем и не на что. Кирилл Померанцев, друг

Иванова, писал: «...ни Георгий Владимирович, ни Ирина Владимировна работать не умели. Не не хотели, а не умели. И я имел возможность в этом убедиться». Случайные газетные заработки давали мало возможности прокормиться, он взял ссуду в Союзе писателей и журналистов, не мог вернуть, просил отсрочки, Одоевцева продавала свои довоенные вещи... При этом приходилось оправдываться и доказывать, что они не сотрудничали с немцами, – и оставаться «в положении парии или зачумленного», как написал Иванов Алданову.

Вадим Крейд сказал об одном из стихотворений Георгия Иванова, что оно читается как трагедия без катарсиса. В самом деле – это странная, мертвая, посмертная и тихая свобода, отделенность от всякой людской суеты. В этих стихах, некогда совершенно лишенных лирического героя, теперь его голос ясно слышен – тихий, мертвенно-спокойный, иронический:

Конечно, есть и развлеченья:

Страх бедности, любви мученья,

Искусства сладкий леденец,

Самоубийство, наконец.

В 50-х годах Ивановым удалось устроиться в «Русский дом» в Жуан-ле-Пене – это был приют для пожилых эмигрантов, лишенных средств к существованию; там же жили Бунины, с которыми Ивановы много общались; слушая рассказы Иванова о службе отца при болгарском дворе, Бунин прозвал его Болгаринном...

«Портрет без сходства» – поздняя, мрачная книга, вышедшая в 1950 году. Роман Гуль писал о ней, что в ней много вульгаризмов, что поэт «обуднивает» внутреннюю тему, «сознательно отказывается от всяких ее украшений, предпочитая пре-красное нищенство музыки и образа».

Вот я иду по осеннему полю,

Все, как всегда, и другое, чем прежде:

Точно меня отпустили на волю

И отказали в последней надежде.

И в этом осознании нищенства – в стихи и душу внезапно врывается красота, врывается память об ушедшей России, и эта тонкая, невидимая нить удерживает всю конструкцию стиха от распада.

В середине 50-х им пришлось хлопотать об устройстве в дом престарелых. Он находился в Йере, городе у моря, очаровательном и тихом. Очарование его пропадало, когда наступало лето с его изнуряющим зноем, от которого не было спасения. Ни Иванов, ни Одоевцева не были престарелыми – едва на рубеже пятого и шестого десятков, однако устройство сюда решало их финансовые проблемы, перекладывая заботу на плечи французского правительства. В доме вместе с ними жили несколько русских семей и несколько испанских коммунистов.

В душном, жарком Йере Иванов начал болеть, с трудом ходил, задыхался – и в 1958 году умер. Прах его впоследствии перезахоронили на Сен-Женевьев-де-Буа. Ирина Одоевцева, о судьбе которой он так тревожился, дожила до падения коммунистического строя и смогла приехать в Россию, о которой он так тосковал.

Россия тишина. Россия прах.

А, может быть, Россия —

только страх.

Веревка, пуля, ледяная тьма

И музыка, сводящая с ума.

Веревка, пуля, каторжный рассвет,

Над тем, чему названья в мире нет.

И вместе с тем, и все-таки – пусть «голубые комсомолочки, визжа, купаются в Крыму» – но «Леонид под Фермопилами, конечно, умер и за них»... И Россия не исчезнет, даже если она осталась только на каторге: «И лишь на Колыме и Соловках Россия та, что будет жить в веках». И когда все кончится, останется только холодный лед вечности – останется

И Россия, как белая лира,

Над засыпанной снегом судьбой. ❀

ВЫШЕ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

15 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ ДВЕСТИ ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА ЛЕРМОНТОВА

МИХАИЛ БЫКОВ

Арифметика только на первый взгляд наука простенькая. Знай себе складывай да вычитай, умножай да дели. Но есть в ее цифрах и формулах загадка, если не сказать больше — магия. И вот пример в тему. 27 — ведь это немного, верно? А 321? А 9782? Мы как-то привыкли мерить жизнь годами. Из этой арифметической привычки выросла целая коллективная психология, в которой смешались отношения ко времени, событиям, расстояниям и результату.

И ВОТ — 27 ЛЕТ. МНОГО ИЛИ МАЛО? КОНЕЧНО, МАЛО. А 321 МЕСЯЦ? Ну что такое месяц в масштабах обычной человеческой жизни? Не успел оглянуться, а на календаре вместо единички двузначное число на «3». Что такого выдающегося можно успеть сделать за один день, когда большинство этих дней для большинства людей складывается из «проснуться — поесть — поехать — вернуться — поесть — заснуть»? И пусть в запасе 9782 таких дня, это только кажется, что их бесконечно много. Хлоп, проснулся, а их осталось уже 9781. Поужинал с аппетитом — а их уже 9780... Михаил Лермонтов успел за 26 лет и 9 месяцев, отведенных ему на земле, образоваться и воспитаться; выучиться на офицера и повоевать; вволю повеселиться и пофлиртовать; обрести и потерять друзей; попутешествовать по России от Петербурга до Закавказья; мастерски освоить кисть, карандаш, смычок и, конечно, написать сотни чудных стихотворений, поэмы, драмы, великий роман. Мы столь рано, еще в середине школьного пути, сталкиваемся с тезисом



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

о том, как много успел Лермонтов за свою короткую жизнь, что довольно быстро перестаем реагировать на смысл этого тезиса. Он превращается в общую фразу. В привычную банальность. Но есть простой способ вырваться из тривиальности школьного сознания. Довольно задаться вопросом, что ты сам успел сделать к неполным 27 годам. Или — что способен сделать, если этот возраст еще тебя дожидается.

27 — это мало. Раз так, то справедливо было бы считать, что каждый из 9782 дней жизни поэта изучен и озвучен. Ну, хорошо, не каждый. Глубокое детство и даже отрочество вовсе не требуют досконального исследования. Но уж вторая половина жиз-

ни Лермонтова – каких-то тринадцать-четырнадцать лет – давно под микроскопом человечества, так?

Так-то оно так, но 27 лет оказались настолько насыщенны, что и сейчас, спустя два века, ученые-лермонтоведы, исследователи-любители, поклонники-фанаты находят все новые и новые подробности в жизни и творчестве Михаила Юрьевича, обнаруживают скрытые раньше нюансы его взаимоотношений с миром и людьми. Полностью в рамках этих заметок охватить все, что за несколько последних лет открыто, исследовано, изучено в центрах, где лермонтовским наследием занимаются предметно, невозможно. Остановимся на материалах, которыми занимались люди, объединенные в Московский филиал Межрегионального общественного объединения «Лермонтовское общество», штаб-квартира которого находится в Пензе. Тем более что их труды время от времени обретали форму публикаций в Московском Лермонтовском сборнике, докладов на ежегодных конференциях, статей в специализированных СМИ.

ЧТО Ж МЫ, НА ЗИМНИЕ КВАРТИРЫ?

В Петербурге Лермонтов прожил девять лет. С перерывами, само собой. Это, что называется, общий срок. Приходилось в этот период жить в Царском Селе, где квартировал лейб-гвардии Гусарский полк. Были короткие отпуска в Москву и Тарханы. Ну и, само собой, – ссылки на Кавказ, растягивающиеся на месяцы. Но все-таки местом прописки являлась именно столица империи. Известны четыре адреса в Петербурге, где проживал Михаил Юрьевич.

Первый – Торговая улица, 10а. Ныне эта улица носит довольно бестолковое название – Союза Печатников. Иногда два слова пишутся вместе. На ее пересечении с Лермонтовским проспектом стоит здание, построенное в 1912–1913 годах и ничего общего не имеющее с тем, в котором жил поэт в 1832-м и в 1835–1836 годах.

Второй – Фонтанка, 14. Этот дом в топонимике Питера имеет два названия:

«дом вдовы советника Венецкой» и «дом Олсуфьева». В 1838 году поэт жил здесь после первой кавказской ссылки. К слову, спустя шестьдесят лет тут останавливался Лев Николаевич Толстой. Дом подвергся серьезной реконструкции в начале XX века и ныне мало похож на тот, в котором пребывал Лермонтов.

Третий – Сергиевская, 18. Современное здание было построено в конце XIX века. А улица в 1923 году переименована в улицу Чайковского. До сих пор идут споры о том, в честь ли великого русского композитора, жившего более года на этой улице, или в честь его однофамильца – эсера Николая Чайковского. В пользу первой версии говорит хотя бы тот факт, что эсер и по совместительству масон покинул сей мир в 1926 году в Лондоне, в эмиграции, и вряд ли тремя годами ранее большевики увековечили бы его таким способом при жизни.

К настоящему времени в Петербурге сохранился только один дом, в котором Лермонтов жил относительно постоянно в течение почти года. Адрес – Садовая, 61, дом княгини Шаховской. Поэт и его бабушка Арсеньева поселились в этом доме весной 1836 года. Сюда приезжал корнет Лермонтов из полка, здесь написал знаменитое «Смерть поэта», отсюда отбыл под арест.

В бытность Михаила Юрьевича дом был трехэтажным, впоследствии надстроили четвертый, а еще позже – пятый этажи. Однако можно смело утверждать, что основа здания еще та – лермонтовская. И комнаты его квартиры на втором этаже сохранились.

В советское время с домом обращались безбожно: в нем трудились булочная, мастерская по никелированию и хромированию, артель «Метбытремонт», инкассаторский пункт. Даром что некоторое время на стене висела мемориальная доска работы скульптора Николая Дыдыкина. К XXI веку дом окончательно пришел в упадок и в 2010-м был признан аварийным, сразу же расселен и тут же заселен господами «без определенного места жительства». На легальном основании остались только три семьи, категорически отказавшиеся от переезда. Судьба дома решалась несколько лет. И вот, видать, решилась. По распоряжению властей Питера в доме Шаховской после соответствующего ремонта расположится гостиница Мариинского театра. Не исключено, что часть помещений отведут под музей-квартиру поэта. Равно как не исключено и обратное. Споры в Петербурге по этому поводу не утихали до последнего времени. Так, в мае 2014 года заместитель председателя комитета по культуре городского правительства госпожа Васютина обмолвилась местным СМИ: «За Мариинским театром будет закреплено обязательство по созданию мемориальной зоны...» Зона поэта – согласитесь, что-то новенькое! Тем более удивительное, что еще десять лет назад тогдашний

Памятник
М.Ю. Лермонтову
на Пятигорском
городском
кладбище.
Начало XX века



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

В ПЕЧАТНОМ ВАРИАНТЕ

Распространено заблуждение, что от властей за вольнодумство и формальное нарушение запрета на дуэли пострадал не только сам Лермонтов, но и его творчество. Мол, выходу произведений поэта на публику препятствовали вслед за императором Николаем I и все остальные государи. И только свободная от цензуры советская печать дала народу возможность ознакомиться с великим наследием поэта.

Все это верно только в части обнародования биографии самого Михаила Юрьевича, да и то лишь на очень ограниченном промежутке времени.

Вот перечень основных работ, связанных с жизнью и творчеством поэта, опубликованных в России только в XIX веке. В 1862 году в Петербурге изданы «Материалы для биографии и литературной оценки Лермонтова» Дудышкина. В 1882-м – Биографический очерк Пыпина и воспоминания «Лермонтов в рассказе графини Е.П. Ростопчиной». Годом позже печатается сборник Орлова «Михаил Юрьевич Лермонтов: его личность и поэзия». В 1890 году изданы мемуары двоюродного брата поэта Акима Шан-Гирея «М.Ю. Лермонтов: рассказ». Наконец, в 1891 году появляется первая подробная биография Михаила Юрьевича, подготовленная Висковатовым. Это не считая работ десятков авторов, занимавшихся более локальными вопросами, связанными с изучением лермонтовского рода, литературоведческими изысканиями и прочая.

губернатор Северной столицы, Валентина Матвиенко, совершенно официально заявила «Интерфаксу», что «обязательным условием для инвестора будет сохранение квартиры поэта» и поручила комитету по культуре привести мемориальную квартиру «в надлежащее состояние».

А при чем тут Лермонтовское общество и его столичный филиал? Член этого общества Наталья Купцова вместе с петербургскими «лермонтовцами» во главе с журналистом Зоей Бобковой долгие месяцы потратили на то, чтобы проблема дома на Садовой стала публичной и чтобы этот дом не снесли втихаря или не продали частному лицу.

Ну а что же, собственно, лермонтовские сочинения? Этой теме посвятила доклад на последних Лермонтовских чтениях в Москве Татьяна Милованова. Первые публикации отдельных произведений состоялись еще до ссылки 1837 года в толстых журналах. А вот в 1840 году вышли два издания «Героя нашего времени» и сборник, составленный из 26 стихотворений и двух поэм: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» и «Мцыри». В обоих случаях Лермонтов не имел возможности работать с гранками, так как «Герой нашего времени» навестил типографию тогда, когда автор пребывал под

На уроках истории и литературы в советский период школьникам методично вдалбливали в головы тезис о том, что и сами цари, и члены их семейств были за редкими исключениями невеждами и невежами одновременно. На самом деле в просвещенном XIX веке воспитанию и образованию представителей императорской фамилии придавали очень серьезное значение. В этом легко убедиться, если почитать письма и дневники того или иного «листка» на ветвистом древе Романовых. Тот же Николай Павлович образовывал сыновей без всяких скидок на происхождение и в режиме куда более суровом, чем, скажем, в Пажеском корпусе.

арестом после дуэли с де Барантом, а стихотворный сборник печатался во время второй кавказской ссылки.

Первый тираж «Героя» в тысячу экземпляров разошелся быстро, и Лермонтов продал права на второе издание тиражом в 1200 штук. По тем временам весьма солидный суммарный тираж. А если добавить к этому то, что в три первых года после гибели поэта увидело свет еще одно переиздание его романа и трехтомник стихов и поэм, выпущенный издателем Краевским? В царствование императора Николая I лермонтовские издания выходили и позже. В 1847 году издательство Смирдина выпустило два тома сочинений, в 1852-м также в двухтомном варианте выходят произведения Михаила Юрьевича в издательстве Глазунова. Это все к тому, что при всей личной неприязни Николая Павловича к Лермонтову никакого тотального запрета на творчество опального поэта не существовало. Даже при наличии цензурного комитета, действовавшего по довольно жесткому уставу, принятому в 1828 году. Иное дело, что отдельные произведения Михаила Юрьевича подпадали под запретительные санкции цензоров. Но, согласитесь, мало кто из литераторов и издателей той поры избежал проблем с цензурным комитетом. А разрешали эти проблемы тем же способом, что и век спустя, при советском контроле. Издания, содержащие запрещенные тексты, печатали за рубежом. Что касается лермонтовского наследия, то им охотно занимались немецкие издатели в Пруссии, Саксонии, Баден-Вюртемберге начиная с 1856 года.

О совершенно легальном присутствии Лермонтова в русской литературе в царствование Николая I говорит и тот факт, что уже в 1843 году некоторые произведения вошли в учебные программы для гимназий. Интересно, что последнее школьное пособие по изучению творчества Лермонтова издавалось в течение 1914–1915 годов в Киеве, когда Россия уже втянулась в Первую мировую войну. Самую важную роль, по мнению Татьяны Миловановой, в популяризации творчества Лермонтова в России сыграло издание, получившее название «Иллюстрированная Лермонтовская библиотека». Оно выходило в издательстве Павленкова в течение четверти века – с 1891 по 1916 год. Отдельные произведения выдержали до семи переизданий.

В ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ

Раз уж пришлось затронуть личные отношения императора Николая Павловича и Михаила Лермонтова, то самое время обратиться к работе другого исследователя, ответственного секретаря Московского филиала Лермонтовского общества Елены Фадичевой.

О том, что Лермонтов пишет стихи, государь был извещен Михаилом Павловичем, еще в бытность поэта юнкером Славной школы (Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров). Дело не только в том, что Михаил Павлович с рвением относился к служебным обязанностям, коих у него было немало, в том числе и кураторство над всеми военными учебными заведениями. Юнкерам элитных училищ укрыться от всеведущего начальства было невозможно и по той причине, что они были «штучным товаром». И каждого потенциального офицера-гвардейца в высшем свете Петербурга, равно как и в Зимнем дворце, знали в лицо. Поэтому не нужны никакие документальные подтверждения тому, что Николай и члены его семьи встречались с Лермонтовым, что называется, воочию. Особенно после того, как он вышел корнетом в лейб-гвардии Гусарский полк, один из трех самых привилегированных кавалерийских полков империи, дислоцированный в Царском Селе. Бытует в лермонтоведении и такое представление: Лермонтов не был представителем высшей аристократии и потому охотно противопоставлял себя светскому Петербургу, а тот, в свою очередь, платил поэту ответной нелюбовью. Посыл, мягко говоря, неточный. Да, Лермонтов не при-



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

Могила М.Ю. Лермонтова на кладбище в Пятигорске в первый (1841) год кончины поэта. Литография В. Тимма с рисунка А. Арнольди. Середина XIX века

надлежал к титулованной знати, но и «бедным родственником» в русском дворянстве тоже не являлся. Его род по отцу был известен в России еще со времен Смуты, а знаменитая бабушка Елизавета Алексеевна носила в девичестве фамилию Столыпина. Среди родственников имелись предводители дворянства в уездах, офицеры гвардейских полков. Далее – с улицы в Славную школу попасть было невозможно. А оказаться в лейб-гусарах – тем более. Служба в таком полку означала частое присутствие в императорских дворцах – в караулах и на балах. Некоторая часть представителей высшего света претензий к лермонтовской фамилии не имела. Она имела претензии к самому Лермонтову, умевшему больно уколоть словом, а при необходимости готовому встать под пистолет.

Дискуссию по поводу органичного присутствия Лермонтова в свете лучше всего закончить словами великого князя Михаила Павловича, сказанными им после прочтения полной версии стихотворения «Смерть поэта»: «Эка, как же он расходился! Кто подумает, что он сам не принадлежит к высшим дворянским родам...» В целом командующий Гвардейским корпусом Михаил Павлович относился к Лермонтову строго, но справедливо.

В семье государя у поэта были и ярые поклонники, и скептически к нему настроенные. Из вторых можно выделить старшую дочь Николая I, Марию. По признанию популярного беллетриста Владимира Соллогуба, именно великая княгиня Мария Николаевна, к тому времени уже герцогиня Лейхтенбергская, заказала ему написание повести «Большой свет», в которой явственно просматривается пародия на Лермонтова. Не нравилось дочери императора лермонтовское освещение великосветской жизни.

Сестра Николая великая княгиня Мария Павловна также не жаловала лермонтовское дарование. Это тем более странно, потому как многие признавали за великой княгиней развитый интеллект и широкий кругозор.

Не числился среди поклонников поэта и сам император. Причин тому несколько. Николай в принципе не слишком жаловал офицеров, склонных к посторонним занятиям. Во-вторых, после 16 строк, завершивших стихотворение «Смерть поэта», он с понятным предубеждением относился ко всему, написанному Михаилом Юрьевичем. Царь был государственным человеком до мозга костей. И любую попытку делом ли, словом покуситься на существующий миропорядок в стране воспринимал крайне отрицательно.

Но, по мнению некоторых исследователей, была и третья причина, по которой у царя с поэтом не сложилось. Среди ярых поклонников лермонтовского гения в семье императора была сама императрица – Александра Федоровна. Именно она предложила супругу прочесть едва вышедший из типографии роман «Герой нашего времени», именно она с глубоким интересом и пониманием отнеслась к программной лермонтовской поэме «Демон», именно она, узнав о гибели поэта, написала графине Бобринской: «Вздых о Лермонтове, об его разбитой лире, которая обещала русской литературе стать ее выдающейся звездой». Трудно, не имея хоть сколько-нибудь внятных доказательств, говорить о человеческой симпатии государыни к Лермонтову, но о том, что она ценила его талант, – спору нет. Ревновал ли Николай I супругу к стихам или к их автору? Вопрос навсегда останется без ответа, но, учитывая эгоцентрический характер императора, можно предположить, что не обошлось без этого отвратительного, но весьма распространенного среди людей чувства.

Помимо императрицы почитали Лермонтова и другие члены царствующего дома. Например, великая княжна Ольга Николаевна, которая, хоть и не считала Михаила Юрьевича равным Пушкину, однако среди прочих поэтов своего времени ставила его на второе место после Александра Сергеевича. С еще большим интересом к творчеству Лермонтова относилась жена великого князя Михаила Павловича – Елена Павловна. Спустя одиннадцать лет по-

Михайловича осудили на десять лет лагерей как царского офицера и вредителя. Пришлось бывшему полковнику-ахтырцу строить Беломорканал. В 1936-м срок скостили, но оставили на работах в Карелии. Смиловались позже, сразу после Великой Отечественной. Как участнику трех войн выделили персональную пенсию и позволили жить в Пятигорске, где он и ушел из жизни в 1954 году. Вот что писал о своем происхождении сам Владимир Лермонтов: «Происхожу я из рода **Лермонтовых**, которые берут свое начало от шотландца Георга Лермонта, каковой в

1613 году поступил на русскую службу. Он имел чин ротмистра и обучал детей боярских рейтарскому строю. У Георга Лермонта был внук Юрий (Евтихий) 1688 года рождения, у которого было три сына. Третий сын Юрия, Яков, был бездетен. По линии старшего сына, Матвея Юрьевича, происхожу я. По линии второго сына Юрия, Петра Юрьевича, произошел поэт Михаил Юрьевич **Лермонтов**». Там же, на Пятигорском кладбище, неподалеку от первого захоронения Михаила Юрьевича, находится могила генерала Николая Рузского. Да, да, того самого, что в 1914 году в течение двух месяцев получил сразу три степени ордена Святого Георгия: 4-й и 3-й – за взятие Львова и 2-й – за победу в Галицийской битве. Уникальный случай. И того самого, что в феврале 1917-го предал своего императора, фактически взяв его под арест в Пскове. И того самого, что осенью 1918-го во время показательной акции «красного террора» был зарублен в Пятигорске вместе с героем Первой мировой генералом Радко-Дмитриевым и еще 102 человеками.

Казалось бы, при чем тут генерал Рузский? Все дело в том, что Николай Владимирович – потомок Лермонтовых в шестом колене...

Четыре фрагмента, связанных с жизнью великого русского поэта. 26 лет. 321 месяц. 9782 дня. Непростая арифметика... ❀

сле смерти поэта она заказала композитору Антону Рубинштейну оперу по мотивам юношеской поэмы Михаила Юрьевича «Хаджи Абрек». Либретто оперы «Месть», к счастью, сохранилось. Живой интерес к поэме «Демон» проявил примерно в это же время и августейший наследник великий князь Александр Николаевич. В его дворце был показан спектакль по мотивам поэмы, на премьере которого присутствовали другие члены императорской фамилии.

Любили Лермонтова в среде Романовых и представители более поздних поколений. Особенно стоит отметить внука Николая I, королеву эллинов Ольгу Константиновну, которая посвятила изучению творчества Михаила Юрьевича год жизни. И – князя императорской крови Иоанна Константиновича, правнука Николая Павловича и сына великого князя Константина Константиновича (известного поэта, писавшего под псевдонимом К.Р.). В одном из юношеских писем отцу Иоанн признавался, что ценит Лермонтова выше Пушкина.

НА ПЯТИГОРСКОМ КЛАДБИЩЕ

Уже в 1842 году бабушка Лермонтова Елизавета Арсеньева добилась разрешения перевезти прах внука в родовое имение Тарханы в Пензенской губернии. Первоначально же поэт был похоронен на Пятигорском кладбище, у подножия горы Машук. В работе исследователя Артема Багдасаряна, представленной в Лермонтовское общество в 2010 году, есть крайне любопытные данные об этом некрополе, который он называет музеем под открытым небом. Сам Михаил Юрьевич вступить в брак не успел и потомства не оставил. Но он был не единственным представителем древнего рода. Лермонтовы в истории Отечества присутствовали и до, и после его трагического ухода. А также потомки рода с другими фамилиями, в жилах которых текла лермонтовская кровь. Собственно, есть таковые и в наше время.

На Пятигорском кладбище похоронены два человека, имевшие к лермонтовскому роду самое прямое отношение. Первый – внучатый племянник поэта Владимир Михайлович Лермонтов. Он родился в 1874 году, получил военное образование и вышел офицером в 12-й Ахтырский гусарский полк. Тот самый, которым когда-то командовал легендарный Денис Давыдов. Интересно было бы оказаться в том месте и в тот час, когда император Николай II в 1903 году вручал поручику Лермонтову призовую чашу с вином и премию в 5 тысяч золотых рублей за победу на Всероссийских скачках. О чем думали и тот, и другой? Владимир Лермонтов участвовал в Первой мировой войне. Был трижды ранен, награжден орденами и Золотым Георгиевским оружием. В годы Гражданской войны был мобилизован в Красную армию и был среди тех военных, что создавали Конную армию Буденного. В 1931 году Владимира

ДОМИК ПОД КАМЫШОВОЙ КРЫШЕЙ

БЕСЕДОВАЛА АЛЕКСАНДРА ПУШКАРЬ

Никому не придет в голову назвать «домиком» жилище Толстого, Чехова или Достоевского. И «пушкинский домик» звучит странно. А о Музее Лермонтова в Пятигорске говорят так. И добро бы речь шла о творце со счастливой судьбой или с этим местом была бы сопряжена светлая сторона его биографии. Нет и нет, это сумрачный гений российской словесности. Из этого дома он ушел на последнюю дуэль. Так почему «домик»?

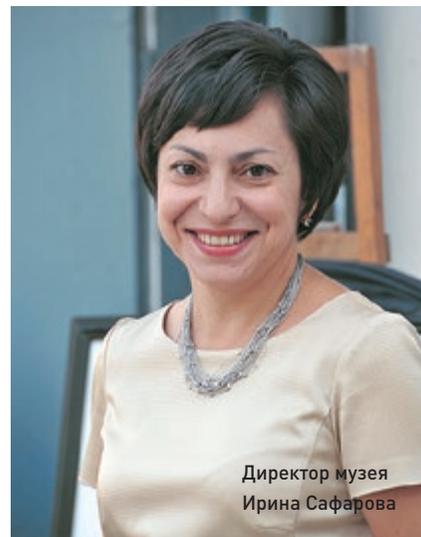


ПРЕДОСТАВЛЕНО МУЗЕЕМ ЛЕРМОНТОВА

РЕДКИЙ МУЗЕЙ РОССИИ окружен таким почитанием и заботой, как бывшая усадьба отставного майора Чилиева, где квартировал поэт с 14 (26) мая по 15 (27) июля 1841 года. Более века ему самоотверженно служат поколения сотрудников, он – предмет особой гордости горожан. Эта всеобщая любовь заметна в миллионе деталей, ее ощущает и запоминает на всю жизнь каждый, кто его посетил. 200-летие Лермонтова здесь начали отмечать еще в январе. О программе мероприятий и о самом музее «Русскому миру.ru» рассказывают его директор Ирина Сафарова и замдиректора по научной работе Татьяна Юрченко.

– С чего начался для вас Год Лермонтова, какое событие стало первым?

Ирина Сафарова: Открыла его большая выставка, которую мы провели в январе совместно с Государственным музеем Толстого в Москве. Тема – «Лермонтов и Толстой, очарованные Кавказом». В день рождения поэта, 15 октября, со-



Директор музея
Ирина Сафарова

ПРЕДОСТАВЛЕНО МУЗЕЕМ ЛЕРМОНТОВА

стоялось открытие после реставрации памятника ему в Лермонтовском сквере и традиционный поэтический митинг, который продолжился до 16 октября. Центральным событием года стала Международная Лермонтовская конференция, которая прошла у нас в музее с 12 по 14 мая. Традиция проведения научных форумов на Кавказе крепкая, берет начало с 1956 года...

– **...И это Андроников.**

– Да, Ираклий Луарсабович Андроников, Виктор Андроникович Мануйлов, Ваню Семенович Шадури – известные литературоведы, которые приезжали сюда и действительно начинали науку о Лермонтове. Сегодня таких звездных имен мы назвать не можем, ушли яркие личности, которые эту школу создавали. Но мы пытаемся собрать людей, которые занимаются Лермонтовым сегодня. С 2008 года мы возобновили традицию проведения научных конференций, и та, что прошла в этом году, – четвертая в новейшей истории и самая значимая.

– **По ее итогам можно судить о современном лермонтоведении? В каком оно состоянии сегодня?**

– На мой взгляд, сейчас в лермонтоведении крен. В ходу субъективистское отношение: главное не предмет исследования, а я сам, мое отношение. Эта тенденция прослеживается не только в литературоведении, но также и в театре, кино, музыке – всех направлениях искусствознания. Откуда она? Я считаю, это просто недостаток знаний и профессиональных умений. Сказать что-то новое о поэте человек не может и взамен пытается сделать его «своим», рассказать о слабостях и пороках... Да кто ты и кто Лермонтов! Мне это непонятно. Наша задача – хоть *как-то* до его уровня подняться, а не его опускаться до себя.

– **И что, у нас совсем нет специалистов масштаба Андроникова?**

– Таких, как Андроников, нет, хотя, конечно, есть люди, которые занимаются действительно научным изуче-

нием Лермонтова. Например, московский лермонтовед Владимир Александрович Захаров. Очень важно, что он лично был знаком с Виктором Андрониковичем Мануйловым, считает себя его учеником. Виктор Андроникович передал ему большое духовное наследие начатых статей и исследований и просил их закончить. Но для нас более ценно то, что вслед за своим учителем этот человек написал летопись жизни и творчества Михаила Юрьевича, опираясь на фактический материал. Если он пишет, что в 1839 году такого-то числа Лермонтов был там-то и переезжал из пункта А в пункт Б, это значит, что он непременно видел этот документ в архиве, читал подорожную, приказ, служебную записку. Как раз это отличает его работу от трудов других современников. Захаров исследовал огромный массив документов, многие из которых благодаря ему стали известны впервые. Например, он первым затронул тему пребывания Лермонтова в Петербурге в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Казалось бы, Петербург, такой интересный период в жизни поэта, но до Захарова о нем было мало известно.

– **В юбилейном, 2014 году научная Лермонтовская конференция получилась самой масштабной. В числе участников был даже японец, который, к слову сказать, уже всегда этакого форума. Насколько велик интерес к Лермонтову за рубежом? Он хотя бы переведен, его читают?**

– Если спросить за рубежом, что знают из нашей литературы, прежде всего назовут Толстого, Чехова и Достоевского. И мы понимаем почему. Это проза! Никто не вспомнит Пушкина и Лермонтова. Для того чтобы их узнали, нужен такой же гениальный переводчик, как они сами, а таких нет. Что касается Асута Ямадзи, в этом году его доклад посвящался именно этому – переводам Лермонтова на японский. Их не так много, и в основном это, опять же, проза. Появились они только в 20-х годах прошлого века, до этого Лермонтов в Японии был неизвестен. Однако интерес к нему растет, потому что отдельные мотивы его творчества – восприятие природы, отношение к смерти – близки японцам. Об этом господин Ямадзи говорил на одной из прошлых конференций в докладе «Тема смерти в произведении Лермонтова «Герой нашего времени»».

– **Какие еще страны участвовали в юбилейной конференции?**

– В этом году у нас впервые была исследовательница из Германии, была итальянский филолог Алессандра Карбоне, которая, кстати, тоже занимается проблемой перевода, литературовед из Израиля. Вообще, на этот раз заявок было как никогда много, и это от радно. Когда мы возобновляли форум в 2008 году, мы собирали его с нуля и радовались любому участнику, а сейчас уже смотрим, какая из заявленных тем нам интересна. Еще очень важно, что за это время сформировалась группа постоянных участников – «научный пул» Лермонтовских конференций. В него вошел еще один мэтр современного лермонтоведения – Ольга Валентиновна Миллер. Она представляет петербургскую школу, большую часть жизни проработала в Институте русской литературы – Пушкинском Доме. Труд ее жизни – единственная в своем

роде библиография произведений о Лермонтове, в которой скрупулезнейшим образом сведено воедино все, что когда-либо выходило о поэте.

– **Какое из событий юбилея вы считаете главным для вашего музея?**

– Недавно мы открыли новую экспозицию. Это литературный отдел. В нем представлена тема «Лермонтов и Кавказ», говорится обо всех его поездках на юг России. Для нас это серьезный шаг. Новая экспозиция – это, я бы сказала, революция в жизни музея. Почему в ней возникла необходимость? Мы вообще-то сторонники консервативного видения, но предыдущая литературная экспозиция создавалась в начале 70-х годов и, конечно же, устарела. Меняются технологии, появляется новое музейное оборудование. И потому способ подачи материала должен меняться. Мы долго были озадачены этим вопросом, но подошли к нему с опаской, поскольку предыдущая экспозиция была очень хороша. Ведущие специалисты считали ее классикой. Однако время неумолимо, и к 200-летию поэта была разработана специальная программа, в которую наряду с другими мероприятиями вошло обновление литературного отдела.

– **Вы говорите о программе юбилейного года. Так вы не сами ее готовили, ее вам «спустили»?**

– Эта программа федерального уровня, ее готовило Министерство культуры. Но мы участвовали в ее создании. Все началось с указов президента Медведева, которые вышли в 2011 году, – «О праздновании 200-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова» и «О создании юбилейного комитета». В этот юбилейный комитет была приглашена и я в числе других директоров лермонтовских музеев. Это было очень приятно. Вообще, все, что касается юбилейных торжеств, было сделано правильно и разумно. Нас позвали на первое совещание, мы сами формировали их план. Как раз тогда в качестве своей главной задачи мы определили обновление экспозиции, были услышаны, и деньги на ее решение нам выделили. А вот решать было непросто. Компетентных экспозиционеров у нас мало. Мы понимали, что это будет только Москва или Санкт-Петербург, потому что в провинции нет людей, которые профессионально занимаются музейным проектированием. И, к счастью, конкурс на выполнение работ выиграла компания из Санкт-Петербурга «Раритет-лидер». Я думаю, это неслучайно: экспозиционер, которая оформляла прежнюю выставку, Татьяна Воронихина, тоже оттуда. Но отношения у нас складывались непросто. Первый художник, которого нам предоставили, нас не удовлетворил. Мы долго спорили, однако так ни к чему и не пришли. Рабочие уже начали возводить конструкцию, но мы сказали, что это нам категорически не подходит, и, к счастью, были услышаны.

– **Это значит, и партнеры, и министерство открыты для диалога...**

– Да, надо отдать должное нашим подрядчикам, они молодцы. Ведь по сути, учреждения культуры бесправны. Подрядчик выиграл конкурс и делает что ему

в голову придет. Никаких договорных отношений у него с музеями нет, отношения с государством. Ему дали госзадание, заплатили сумму – и рычагов воздействия на него не существует. Но наши партнеры внимательно выслушали наши пожелания. В итоге часть работы, которая показалась нам некачественной, была демонтирована, и мы начали с нуля. Новый дизайнер – теперь я могу назвать его имя – Игорь Яковлевич Силин. Он большой профессионал, чувствует эпоху, и то художественное решение, которое он предложил, уже не вызвало сомнений.

– **В новой экспозиции появились новые экспонаты? Как у вас обстоят дела с закупками?**

– Такая статья в нашем бюджете есть, но сумма, которую выделяет государство, настолько мала, что за первые месяцы года мы все потратили. Приобрели одну коллекцию – серию иллюстраций к драме Лермонтова «Маскарад». И это притом, что в государственном задании, которое мы получаем, закупки прописаны! Но как мы их осуществим – это уже наши проблемы. Многие музеи как выходят из положения? Открытку какую-нибудь приобретут – вот вам и закупка, для галочки. А что прикажете делать, если нет возможности?

– **Сейчас в ходу такая форма спонсорского партнерства – «друзья музея». У вас они есть?**

– Мы пытаемся привлечь людей, рассказываем, как это было в начале XX века, когда музей создавался, приво-

дим пример одного из первых его попечителей, Дмитрия Михайловича Павлова, известного краеведа, члена Кавказского общества. Будучи основателем музея, он сам многое для него приобрел за свои деньги. Нельзя сказать, что к нам стоит очередь из меценатов и спонсоров. Но есть один человек, о котором мы вспоминаем с большим теплом. Это бизнесмен из Владивостока Иван Степанович Шепета, который нам очень помогает.

– Михаил Юрьевич всем сердцем любил Кавказ. В вашем музее к 2014 году готовились загодя, и, как только он наступил, начались памятные мероприятия. Которое из них стало центральным событием юбилея?

Татьяна Юрченко: 16 октября состоялся традиционный поэтический митинг на месте дуэли Лермонтова, где поэты современности принесли в дар гению свой поэтический венок, и у памятника ему в Лермонтовском сквере. Это первый в России памятник поэту, в этом году ему исполнилось 125 лет. Его создал скульптор А.М. Опекушин 16 (28) августа 1889 года. В нынешнем году были проведены масштабные реставрационные работы, коснувшиеся как монумента, так и всего сквера. 15 октября – в день рождения поэта – сквер был торжественно открыт. С памятника слетело белое покрывало, и перед зрителями предстал замечательный скульптурный образ поэта, задумчиво глядящего вдаль, на «синие горы Кавказа».

– Об этих «митингах» я знаю с детства. Моя бабушка всегда в них участвовала. Знакомилась с поэтами и художниками, звала их в гости, они ей посвящали стихи и дарили свои работы...

– В советские времена дни рождения Михаила Юрьевича отмечали очень масштабно. Традиция проведения поэтических митингов берет начало с 1968 года. Это было центральное мероприятие торжеств, а вообще праздник длился несколько дней и завершался в Театре оперетты. Сейчас, к сожалению, такого размаха мы себе позволить не можем. 200-летие финансируется не лучшим образом. Допустим, конференцию международного уровня мы проводили фактически за свой счет. Государство выделило средства, но они пошли в основном на реставрационные работы, которые продолжаются до сих пор.

– И я поражена их итогами. В каком замечательном состоянии ваш музей!

– Да, на это деньги дают. Существует специальная программа, в ее рамках выделяются средства из федерального и краевого бюджета. А второе, на что

**Замдиректора
музея по научной
работе Татьяна
Юрченко**



ПРЕДОСТАВЛЕНО МУЗЕЕМ ЛЕРМОНТОВА

предназначены государственные деньги, это реэкспозиция литературного отдела. Более сорока лет просуществовала прежняя выставка, и только с сентября 2013-го мы занялись ее обновлением. Работы шли по июль 2014 года. Только что ее открыли.

– Когда я была маленькой, Домик окружали такие же постройки тех же лет. Но в них обитали горожане. Во дворах сохло белье, играли дети. Такое окружение оживляло музей. Из него, казалось, вот-вот выйдет квартирант Лермонтов. Сегодня музей разросся, занимает целый квартал, который прежде был населен обычными жителями. А как, кстати, происходило это развитие?

– Наш музей – из старейших в России. Возник еще до Октябрьской революции, 15 июля 1912 года. Первым был музеефицирован надворный флигель усадьбы отставного майора Чилиева, где Михаил Юрьевич снимал квартиру и где прошли два последних месяца его жизни. Это тот самый *домик под камышовой крышей*. Рядом с ним помещается большое хозяйское владение, где многие десятилетия обитали сотрудники музея. Отсюда ощущение жилого дома: вот он музей и тут же белье-дети. И в подвале Домика жили. Так было в период Отечественной войны, когда ценой своей жизни сотрудники музея спасли его от поджога в январе 1943-го.

– Что это за история?

– Пять месяцев курорт находился в оккупации. С приходом немцев музей закрылся, и первое время сотрудники вообще не хотели открывать экспозицию. Но немцы настояли, чтобы она работала. Музейщики подчинились, но в штате оставили всего трех сотрудников.

– Зачем им понадобился наш Лермонтов?

– Как вспоминала директор музея в то время, Елизавета Ивановна Яковкина, одни руководствовались любопытством, другие – надеждой найти что-то ценное

– В 1946 году к усадьбе Чилева присоединяют соседний участок, принадлежавший семье Верзилиных–Шангирей.

– **Они же были в родстве с Михаилом Юрьевичем...**

– Аким Павлович Шан-Гирей – троюродный брат поэта. В этом пятигорском доме до 1943 года жила его дочь, Евгения Акимовна Шангирей, которая Лермонтову при-

ходила, соответственно, троюродной племянницей. И уже после ее смерти, по завершении войны, этот дом передают музейщикам.

– **А что, советские начальники его не забрали?**

– Забрали! Усадьба-то большая... Евгении Акимовне выделили маленькую каморку, но помимо нее здесь проживало еще 11 семей. Она была одинокая дама, обожала Лермонтова и очень старалась для музея. Передала в него много вещей – семейных реликвий, связанных с именем поэта, плюс постоянно находилась в усадьбе и занималась тем, что сейчас называется популяризацией.

– **Думаю, для нее это было и по-человечески важно. Лермонтов сделался единственной ниточкой, которая связывала ее с прежней жизнью.**

– Конечно. Отец ее, Аким Павлович Шан-Гирей, был не просто троюродным братом, но и близким другом Михаила Юрьевича. Их детство прошло вместе. Матушка, Эмилия Александровна, тоже общалась с поэтом. С ее именем связано его последнее лето в Пятигорске. Конечно, сама Евгения Акимовна знала много и могла делиться воспоминаниями своих родителей, которые общались с Лермонтовым. Для посетителей это было интересно – не просто послушать экскурсию, а стать свидетелями живых воспоминаний.

– **А кто возглавлял Домик в эти годы?**

– Здесь мы вновь возвращаемся к личности Елизаветы Ивановны Яковкиной, руководившей музеем с 1937 по 1951 год. Это было трудное время. Тем не менее она стала одним из первых директоров – да, собственно, первым, – ко-

среди экспонатов, которые, естественно, были спрятаны еще до оккупации. Ничего немцы не находили и удалялись разочарованными. В начале 1943-го наши войска были на подходе к Пятигорску. Немцы отступали и поджигали, подрывали стратегические объекты. Уж не знаю, в чем, по их мнению, заключалась важность Домика Лермонтова, но в своей книге Яковкина пишет, что вечером 10 января к ним пришел полицай со свертком под мышкой, в котором, как она думала, была бутылка с зажигательной смесью, и сказал, что получил приказ поджечь Домик. Это был русский человек. Его долго уговаривали и в конце концов убедили не делать этого. А весь Пятигорск пылал в пожарах. Водопровод был выведен из строя, тушить их было нечем. Музейщики сгребали вокруг Домика кучи снега, чтобы он не загорелся. Музей удалось спасти, правда, один из его бывших сотрудников, Олег Пантелеймонович Попов, который как раз увел полицая, впоследствии был обвинен в пособничестве фашистам, и судьба его сложилась не лучшим образом. У него было очень слабое зрение, воевать он не мог. Когда немцы пришли в Пятигорск, из музея он уволился, так как штат сократили до трех человек (оставили женщин, которым нужно было кормить детей). И у него альтернатива была – ехать на работу в Германию либо служить немцам здесь. А он тоже имел маленького ребенка... И он пошел в полицейский участок, где ему, кстати, обещали, что он будет контролировать часть города, где музей. Он много помогал и музейщикам, и жителям Пятигорска, предупреждал об арестах и обысках. Но, к сожалению, после войны его обвинили в пособничестве оккупантам и сослали в Воркуту. Реабилитировали его только после смерти в 2000 году. Он был филолог по образованию, до последнего дня занимался лермонтоведением, общался с коллегами, был в курсе музейных дел. Будем его помнить. Благодаря его подвигу Домик Лермонтова был спасен во время войны.

– **А кто стоит у истоков музея?**

– Его основало Кавказское горное общество. Была такая организация, она занималась развитием туризма на Кавказе.

– **И успешно! В начале века курорт был очень популярен. В Пятигорске и Кисловодске отдыхали члены императорской фамилии, Шаляпин и другие артисты, лечились герои Первой мировой. И в 1920-е годы он тоже не бедствовал. Портрет Пятигорска времен нэпа мы находим у Ильфа и Петрова. И все эти годы «водяное общество» посещало Домик Лермонтова. Известно, кто именно гостил в музее?**

– У нас хранятся книги записей с 1901 года — притом что сам музей открылся в 1912-м! Дело в том, что на месте дуэли Лермонтова была сторожка, и там лежали книги отзывов. Со временем они поступили в музей, и по ним видно, какие интересные люди в Домике бывали. Например, в августе 1920 года его посетили Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф. Есенин оставил запись, простую и краткую, – «Есенин и Мариенгоф». Больше ничего, но этим автографом мы очень дорожим.

– **Что случилось с Домиком после Великой Отечественной войны?**

торый начал привлекать в Домик научные силы. С 1938 года в него стали ездить Виктор Андроникович Мануйлов и ленинградский лермонтовед Людмила Николаевна Назарова. До Елизаветы Ивановны это был рядовой провинциальный музей. Да, сохранилась усадьба, но очень видоизмененная, с примитивной экспозицией. Елизавета Ивановна расширила штат научных сотрудников, обновила экспозицию, реорганизовала экскурсионную деятельность. При ней к музею присоединяют дом Верзилиных, и в нем открывается литературный отдел – тот самый, который дошел до наших дней и только сейчас был обновлен. Елизавета Ивановна подготовила ту базу, на которой основано все дальнейшее развитие музея. В 1951 году она ушла из него, а через пять лет состоялась первая Лермонтовская конференция, постоянными участниками которой впоследствии станут Мануйлов, Назарова, Андроников и Шадури. А в 1973 году к мемориалу присоединили еще одну усадьбу, которая некогда принадлежала семье коменданта Уманова, – и это третий период развития музея. Она по соседству, в ней Лермонтов бывал тоже, поскольку в 1841 году здесь квартировали его товарищи. По окончании реставрационных работ в новом здании открылся отдел «Лермонтов в изобразительном искусстве». Тогда же, в 1973-м, музей получает статус заповедника. В его состав входят уже три офицерские усадьбы. Четвертый этап – это 1997 год, что само по себе, конечно, удивительно. 1990-е годы – непростые в нашей стране. Тем не менее городские власти нашли возможным освободить от жильцов еще один участок. Это тоже старый дом, 1820-х годов. Его называют «Дом Алябьева», поскольку здесь останавливался композитор Александр Алябьев. Принадлежал дом майорше Карабутовой и был также офицерской усадьбой. После Октябрьской революции ее национализировали и отдали под коммунальные квартиры. Но с 1997 года дом перешел музею, и в нем разместил-

ся четвертый отдел – выставочные пространства и небольшой концертный зал, где проходят культурные события.

– Нынешний год официально объявлен Годом культуры. Грядущий – литературы. Это значит, что подобные вашему профильные заведения должны ощутить на себе повышенный интерес. Вы ощутили?

– Да у нас каждый год – культуры и литературы! Мы музей очень активный, проводим массу мероприятий – и проводили, и проводить будем независимо от кампаний.

– В этом смысле вам, конечно, повезло больше, чем другим памятникам культуры. Пятигорск – курорт, и это ваше конкурентное преимущество. Здесь много туристов. В обычной жизни они, может, и не соберутся в музей, а здесь, на отдыхе, глядишь, и отправятся.

– Совершенно верно. Но и само имя Михаила Юрьевича привлекает. Экскурсии по лермонтовским местам – самый популярный маршрут у нас на курорте. Ну а побывать в Пятигорске и не увидеть Домик под камышовой крышей просто невозможно. Поэтому, разумеется, у нас много плюсов по сравнению с тем же соседним краеведческим музеем, который расположен кварталом ниже. Сегодня мы самый посещаемый музей Ставропольского края, а в советские годы были самым популярным лермонтовским музеем России. Благодаря этому в 1971 году мы получили один из наиболее ценных наших экспонатов – подлинную работу Михаила Юрьевича, картину «Крестовая гора», которую в Россию привез Серж Лифарь, купивший ее несколькими годами ранее на аукционе в Финляндии. Работа была в плачевном состоянии, и в 1968 году он передал ее в Москву на реставрацию. Тогда, насколько я знаю, Илья Самойлович Зильберштейн, известный искусствовед и коллекционер, уговорил его не вывозить картину, а оставить на родине. Лифарь согласился, но поставил условие: передать ее в тот лермонтовский музей, который является самым посещаемым. Таковым на тот момент оказался наш Домик, и спустя время картина приехала в Пятигорск.

– С какими музеями вы тогда конкурировали? Какова она, лермонтовская география?

– Это Тарханы в Пензенской области, Москва и Петербург. Из Петербурга в первую ссылку на Кавказ он едет в 1837 году, но этот край ему уже хорошо знаком. Ребенком бабушка Елизавета Алексеевна Арсеньева трижды возила его сюда. Один раз – именно в наш район и в Чечню, где жила ее родная сестра, Екатерина Алексеевна Хастатова. И там и там у нее были имения. В Чечне, кстати, в ее доме открыт филиал Национального музея Чеченской Республики. Но тогда, в 1837 году, по службе он попадает еще и в Закавказье. Вот вам география.

– И что является центром этой карты?

– Конечно, каждый будет перетягивать одеяло на себя: Москва, Петербург, Тарханы... Но, например, Белинский назвал «поэтической родиной» Михаила Юрьевича наш край. Наверное, это справедливо. Вот мы говорили о живописном наследии Лермонтова – 14 картин сохранилось, а тема одна: Кавказ. 🍷

БЕЗУМНЫЙ

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Вторая жена написала о Заболоцком: «Это был необыкновенно противоречивый человек, ни на кого не похожий, а временами непохожий и на самого себя».

О НИ НА ПОЭТА ВНЕШНЕ НЕ был похож: чуть не все воспоминания говорят, что он больше всего напоминал провинциального бухгалтера – аккуратный, на все пуговицы застегнутый, кругленький, в очках. И стихи его будто написаны двумя разными людьми: что же случилось с их автором?

КУКМОР, СЕРНУР, УРЖУМ, МОСКВА...

Родился он на ферме под Казанью в 1903 году, позже у отца случились какие-то неприятности, и семья переехала в село Кукмор, потом в село Сернур Уржумского уезда Вятской губернии. Отец, Алексей Заболотский (тогда семейную фамилию писали так), получил там место агронома на земской опытно-показательной ферме. Мать была учительницей. Родители часто ссорились, брак их был не особенно удачен. Заболоцкий писал, вспоминая детство: «Мои первые неизгладимые впечатления природы связаны с этими местами. Вдоволь наслушался я там соловьев, вдоволь насмотрелся закатов и всей целомудренной прелести растительного мира»... Село было бедным, так что насмотрелся мальчик не только на великолепие природы, но и на человеческую нищету и несчастье. Научившись читать, стал жад-



Н.А. Заболоцкий
(1903–1958).
Ленинград.
1937 год

ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

но проглатывать книги и подшивки «Нивы» из отцовского шкафа, и уже тогда решил стать писателем, и другой судьбы для себя никогда не мыслил. Стихи он начал писать в 7 лет. Три класса он отучился в двухэтажной деревянной сельской школе, где священник бил учеников линейкой по рукам и ставил в угол на горох. В третьем классе Коля придумал свой рукописный журнал, где публиковал собственные стихи. После третьего класса в селе учиться было негде, так что 10-летнего Колю повезли в Уржум – поступать в реальное училище. Город, никогда не виданный им раньше, ошеломил и обрадовал мальчика, обрушив на него множество впечатлений. Жить, однако, ему пришлось вдали от семьи, на квартире у хозяйки, которая приглядывала за двумя мальчиками за плату. Училище было серьезное, хорошо оборудованное: Заболоцкий вспоминает физические и химические аудитории, рисовальный класс, где были мольберты и копии античных статуй, и гимнастический зал со снарядами. Николай хорошо рисовал, увлекался историей и химией. «Первые годы революции встретил

14–15-летним мальчиком, – писал Заболоцкий. — В городе появилось много новой интеллигенции. Были и столичные люди – музыканты, учителя, актеры. Некоторые из них поощряли мои литературные опыты, советовали больше работать, ехать в центр. Намерение сделаться писателем окрепло во мне».

В 1920 году, окончив реальное училище, Николай вместе с другом и одноклассником Михаилом Касьяновым приехал в Москву и поступил в Московский университет сразу на два факультета: медицинский, где давали хороший паек, и историко-филологический. В Москве он начал ходить на поэтические вечера, слушал Брюсова и Маяковского, зачитывался Мандельштамом и Гёте – и искал собственный голос. Постепенно стал отказываться от юношеского увлечения поэзией Серебряного века – и заговорил о том, что все это бормотание, а в искусстве надо говорить «совершенно определенные вещи». Этой точки зрения он придерживался последовательно; и много позже, в 1948 году, в стихотворении «Читая стихи» он говорит о том же: что «бормотанье сверчка и ребенка», «бесмыслица скомканной речи», «щебетанье щегла» – это только забавы, шарады, бессмыслица; что надо верить в «полный разума русский язык» (многие считали, что стихи эти о Пастернаке, Надежда Мандельштам не могла их простить автору, считая, что они о Мандельштаме, – может быть, из-за знакового «щегла»; сам Заболоцкий настаивал на том, что это собирательный образ). Среди книг, которые оказали на него большое влияние, сам Заболоцкий называл «Диалектику природы» Энгельса и труды Циолковского, с которым он в начале 30-х даже переписывался и послал ему свою поэму «Торжество земледелия».

Голод становился все тяжелее, паек в мединституте надо было серьезно отрабатывать. Наконец паек урезали, и оставаться в Москве было невозможно: не выжить. Заболоцкий вернулся в Уржум. Следующая попытка получить высшее образование удалась лучше. В августе 1921 года Заболоцкий приехал в Ленинград и поступил на отделение языка и литературы общественно-экономического факультета Пединститута имени Герцена. Он учился у Жирмунского, Тынянова, Десницкого. Писал стихи, участвовал в литературном объединении «Мастерская слова». Работал грузчиком в порту, трудился на лесозаготовках; проходил практику в ленинградских школах. Институт он окончил в 1925 году, тогда же познакомился с будущими обэриутами – Хармсом, Введенским, Олейниковым. Многие удивлялись, что общего у него, такого степенного, с этими острословами. Николай Чуковский писал: «Нужно было лучше знать его, чем знал его тогда я, чтобы понять, что важность эта картонная, бутафорская, прикрывающая целый вулкан озорного юмора, почти не отражающегося на его лице и лишь иногда зажигающего стекла очков особым блеском...»

очищенный от литературной и обиходной шелухи». Поиски ими конкретики, однако, уводили их от реализма к абсурду, которого реальность поставляла в избытке; не вещь, а ощущение от вещи, не явление, а впечатление от явления, не фотографическое воспроизведение реальности, а творческое воссоздание – во всей ее густоте, со всеми вывихами. Заболоцкий писал в «Декларации» обэриутов: «В своем творчестве мы расширяем и углубляем смысл предмета и слова, но никак не разрушаем его... Может быть, вы будете утверждать, что наши сю-

В 1925 году Заболоцкий впервые публично выступил с чтением стихов (и тогда же фамилию свою начал писать через «ц»), в 1926-м вступил в ленинградский Союз поэтов, но его печатный дебют случился только в 1927 году, когда он вернулся из армии. Он служил под Ленинградом, в 59-м стрелковом полку 20-й пехотной дивизии, про армию рассказывал коротко: «Наша большая стенгазета, в редакцию которой я входил, считалась лучшей стенгазетой в округе. В 1927 году я сдал экзамены на командира взвода и был уволен в запас...»

«СТОЛБЦЫ»

Еще до армии Заболоцкий много общался с художниками, интересовался поисками Филонова и Шагала; их сдвинутый мир легко угадывается в его первом сборнике, «Столбцах», родство поэтики бросается в глаза даже неспециалисту. А специалисту очевидно родство раннего Заболоцкого с Хлебниковым и Крученых (но – нет: никакой зауми, Заболоцкого интересовало только значащее, осмысленное слово), с традицией русского абсурда – все дальше вглубь, к капитану Лебядкину, к Козьме Пруткову, и дальше – в XVIII век, к Сумарокову и графу Хвостову... Обэриуты заявляли в своем манифесте (некоторые части которого были написаны Заболоцким), что они кладут в основу творчества «метод конкретного материалистического ощущения вещи и явления» и «конкретный предмет,

жеты «нереальны» и «нелогичны»? А кто сказал, что «житейская» логика обязательна для искусства?.. У искусства своя логика, и она не разрушает предмет, слова и действия».

Демобилизованного Заболоцкого распределили в детскую редакцию ленинградского ОГИЗа, к Маршаку. Там обэриуты совершенно прижились: их задиристость, склонность к вечным шуткам и розыгрышам в конце концов стали задавать общий тон маршаковской редакции – а для детской редакции очень важно умение весело и со вкусом валять дурака. Легкость, с которой обэриуты начинали или подхватывали игру, сделала их незаменимыми сотрудниками «Чича» и «Ежа», двух детских журналов, выходивших в редакции. Заболоцкий был из них самый серьезный, самый важный. Когда друзья побрились налысо – для эпатажа, – он не одобрил, осудил... и через несколько дней сам явился с наголо бритой головой...

Первый сборник Заболоцкого, «Столбцы», вышел в 1929 году, когда в русской литературе свирепствовал РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей), когда встала задача подчинить творчество литераторов задачам социалистического строительства. «Столбцы» существовали как-то совершенно помимо этих задач – не в диалоге с современностью, а в диалоге с вечностью. Тем не менее сборник этот остросовременный, времен зрелого, клонящегося к закату нэпа; сборник густой, кишачий жизнью, напоминающий читателю не только о Филонове и Петрове-Водкине, но и о натюрмортах малых голландцев, и о фантазмагориях Босха, и о брейгелевской скученной многофигурности. «Столбцы» конкретны до физиологического отвращения, до антиэстетизма, антипоэтичности – отсюда и название: не стихи, не «поэзы», какие-нибудь, а просто «столбцы», рифмованные строки столбиком. В этом мире – нэпманском, кухонном, жрущем и пьющем, пьяном и глупом, странном, придурочном мире – все шумит, трещит, гроыхает, всего

слишком много. Это очень городская книга; в ней всего много – извозчиков, лошадей, бродячих котов, неверных женщин, свадеб, похорон, еды, питья – сплошное торжество физиологии, шум и грохот, мелькание персонажей и предметов... И если некоторые из образов совершенно понятны, как стихотворное изображение движения в «Движении» – конь с восемью ногами уместен и закономерен, – то над толкованием некоторых из них годами бьются литературоведы:

*Покойник по улицам гордо идет,
Его постояльцы ведут под уздцы;
Он голосом трубным молитву поет
И руки ломает наверх.
Он – в медных очках, перепончатых рамах,
Переполнен до горла подземной водой...*

Одни утверждают, что это преступник, наряжавшийся покойником, чтобы пугать граждан, пойман и ведом милиционерами; другие – что настоящий покойник с медяками на глазах...

В мире «Столбцов» есть двускатные орлы и квадраты колес, у собачки грибные ножки, а зеркало горбатое, а «дым, подобно белой тройке, скачет в облако наверх»... И хотя все персонажи и объекты в этом мире находятся в стремительном движении – поэт ловит их стоп-кадром: замри! – и они замирают в самых невозможных положениях: кто вверх ногами, кто под потолком... Это мир безмысленный, бестолковый – в нем, кажется, вовсе отсутствует все, что относится к душе, и торжествует телесное; этот мир резко дисгармоничен, в нем царит какофония. Разумеется, в Советском Союзе такая книга была встречена в штыки. «Книжка вызвала в литературе порядочный скандал, и я был причислен к лику нечестивых», – писал Заболоцкий другу.

Почему автор видит только плохое, уродливое, только гримасы нэпа, почему он обходит своим вниманием социалистическое строительство, почему не пишет о главном содержании сегодняшних дней? «Психопатологический документ», «во имя чего юродствует Заболоцкий», «певец-ассенизатор», «отщепенец-индивидуалист», – писал критик Селивановский. А критик Незнамов добавлял: «он пишет для литературных снобов», «язык его развязывается только около выгребных ям, а красноречие его осеняет лишь тогда, когда он соседствует с пивной или со спальней», «не поэт, а какой-то половой психопат». За всем этим следовал вывод: «стихи Заболоцкого общественно-дефективны».

В 1930 году критик Нильвич в журнале «Смена» обозвал обэриутов «литературными хулиганами» и сформулировал политическое обвинение: «Это поэзия чуждых нам людей, поэзия классового врага». Вслед за критическими выво-

дами о вредности некоторых писателей последовали и выводы юридические: в 1931 году друзья и коллеги Заболоцкого, обэриуты Хармс, Введенский и Бахтерев, были арестованы как «антисоветская группа писателей» и высланы из Ленинграда. Они вернулись в 1932 году; ни совместных публикаций, ни выступлений, ни сборников больше не было.

«ТОРЖЕСТВО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ»

Заболоцкий продолжал работать у Маршака, заведовал отделом приложений «Ежа», потом редакцией «Чижа». В начале 30-х была создана поэма «Торжество земледелия». В ней Заболоцкий уходит от городского хаоса и вглядывается в природу, но и в ней находит хаос, обреченность и страдание. И в «Торжестве земледелия», и в тематически связанной с ней поэмой «Лодейников» в природе нет ни покоя, ни радости:

*Лодейников прислушался. Над садом
Шел смутный шорох тысячи смертей.
Природа, обернувшись адом,
Свои дела вершила без затей.*

Природа стонет, природа мучается – и только человеческий разум в сотрудничестве с природой способен дать радость, покой, изобилие и счастье; отсюда в «Торжестве земледелия» возникает необыкновенный «Лошадиный институт», где люди и звери вместе осваивают прекрасную науку жить и работать:

*Здесь учат бабочек труду,
Ужу дают урок науки,
Как делать пряжу и слоду,
Как шить перчатки или брюки.
Здесь волк с железным микроскопом
Звезду вечернюю поет,
Здесь конь с редиской и укропом
Беседы длинные ведет.*



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

С женой
Екатериной
Васильевной и
дочерью Наташей.
1946 год. Из архива
семьи Заболоцких

Здесь, в этом разумном и радостном мире, человек – «великий чародей», труд преобразует землю и освобождает животных. Заболоцкий рисует этот гармоничный союз людей и зверей увлеченно и размашисто – счастливая, красочная утопия! В его «земледельческой» лирике снова слышатся отзвуки любимого им XVIII века – но стих его напоминает уже не танцующего бегемота с его нелепой и тяжеловесной грацией, а бегемота библейского, из Книги Иова: голос его как медные трубы, от шагов его трясется земля. В этом содружии земли, в этой царственной трубной меди стиха есть державинская дикая мощь и державинская живопись, но и веселое изобилие:

*...Земля в тяжелых сливах,
И тысячи людей, веселых и счастливых,
В ладонях держат персики, и барбарис
На шею девушки, блаженствуя, повис.
И новобрачные, едва поцеловавшись,
Глядят на нас, из яблок приподнявшись,
И мы венчаем их, и тысячи садов
Венчают нас венчанием плодов.*

В это время в его поэзии как никогда много цветения, плодоношения, цветущих садов.

В 1930 году Заболоцкий женился на Екатерине Васильевне Клыковой, учительнице русского языка и литературы. Евгений Шварц вспоминал: «Принимал нас Заболоцкий солидно, а вместе и весело, и Катерина Васильевна улыбалась нам, в разговоры не вмешивалась. Напомнила она мне бестужевскую курсистку. Темное платье. Худенькая. Глаза темные. И очень простая. И очень скромная. Впечатление произвела настолько благоприятное, что на всем длинном пути домой ни Хармс, ни Олейников (весьма острые на язык) ни слова о ней не сказали». Он же рассказывал, что Заболоцкий спросил однажды в пивной, зачем человек обзаводится детьми. И сам ответил: «Не нами это заведено, не нами и кончится». В 1932 году у Заболоцких родился сын Никита. Это время для поэта – самое плодотворное: в 1931 году на свет появляется «Безумный волк», самая любимая его вещь. Безумный волк не хочет жевать овчину – он хочет смотреть в небо, хотя волчья анатомия не позволяет ему это делать; он ищет ответы на странные вопросы; он пытается познать и понять мир... и много позже в удивительном мире будущего, где волки уже стали врачами, музыкантами и инженерами, они вспоминают Безумного:

*Мечты Безумного нелепы,
Но видит каждый, кто не слеп:
Любой из нас, пекущих хлеба,
Для мира старого нелеп.*

Поэт – безумный волк, желающий знать пределы Вселенной, расширяющий границы известного, умеющий слушать траву и разговаривать с березами, которые могут рассказать ему, «как из самого себя расти»...

«Торжество земледелия» и другие «природные» поэмы тоже не были приняты критикой; Заболоцкого осуждали за условность, говорили, что «Торжество...» – «пасквиль на коллективизацию», что «юрдствующая поэзия Заболоцкого имеет определенный кулацкий характер», на Первом съезде Союза писателей его называли врагом. Он пока очень стремился жить «со всеми сообща и заодно с правопорядком»; он выступил с признанием заблуждений, его приняли в Союз писателей – это давало возможность писать и печататься; он написал стихи на смерть Кирова, и «Горийскую симфонию», и «Седова» – и получил возможность издать вторую книгу стихов, стать благонадежным поэтом. В 1936 году, в разгар борьбы с формалистами, ему пришлось публично выступить не то что с покаянием, но с осуждением своих прежних поисков: «Изображение вещей и явлений в ту пору было для меня самоцелью...» В эти годы многие писатели и поэты находили возможность выживать сами и заниматься живым делом, уходя в переводы, в детскую литературу, в историю литературы. Заболоцкий занялся переводами. Он перевел на русский «Витязя в тигровой шкуре» и «Тиля Уленшпигеля», собирался взяться за пересказ «Слова о полку Игореве», но все планы разрушил террор 1937–1938 годов. Сначала уничтожили маршаковскую редакцию; уже тогда был арестован Николай

Олейников и несколько сотрудников редакции. Заболоцкого арестовали в марте 1938 года. Его маленькая дочка Наташа в этот день в первый раз сказала «папа».

ТЮРЬМА И ССЫЛКА

В его деле находился критический отзыв, составленный Николаем Лесючевским, где тот писал: «Творчество» Заболоцкого является активной контрреволюционной борьбой против советского строя, против советского народа, против социализма». Заболоцкого пытались привлечь к фантастической антисоветской группе, которую якобы возглавлял поэт Николай Тихонов; в члены этой группы записали Бенедикта Лифшица, Елену Тагер и еще несколько ленинградских писателей (каково же было изумление Заболоцкого, когда он в 1939 году узнал из случайного обрывка газеты, что Тихонов не только не арестован, но даже и награжден орденом). По собственному свидетельству Заболоцкого, его непрерывно допрашивали четверо суток, не давая спать. Все это время он сидел на стуле, так что у него скоро так опухли ноги, что он вынужден был разорвать ботинки. Показаний он никаких не дал, но к концу четвертых суток начал сходить с ума. Его избili и отвели в камеру; в камере он начал защищаться – подпер дверь и отгонял тюремщиков длинной ручкой швабры; в конце концов его загнали в угол мощной струей из шланга и отравили в психбольницу. То ли потому, что он так и не признался, то ли помог реактивный психоз, но приго-

вор по тем временам был относительно мягкий: пять лет лагерей. За эти пять лет он мог не раз умереть с голоду, замерзнуть, погибнуть на работе – и всякий раз спасался каким-то чудом. Однажды, изнемогая от тяжелой работы, объявил себя чертежником, когда среди заключенных искали чертежников: понадеял-

ся, что давняя любовь к рисованию и уроки черчения помогут овладеть новой профессией. И он в самом деле научился чертить, и его не выдали коллеги – и эта профессия спасла ему жизнь. В начале войны заключенных перемещали в дальние лагеря; Заболоцкий уже был готов взойти на баржу, когда его руководитель из «шарашки» выдернул своих сотрудников из строя; баржа эта или утонула, или нарочно была затоплена.

Больше всего Заболоцкого мучило то, что поэт его масштаба — а цену себе он всегда знал — оказался не нужен стране. Он писал жене: «Мой душевный инструмент поэта грубеет без дела, восприятие вещей меркнет. Горько становится: не имею возможности писать сам. И приходится в голову вопрос — неужели один я теряю от этого». На фронт, куда он просился, его не взяли. Но еще большее для него было другое: на вопрос нового начальника лагеря «Что Заболоцкий — стихи пишет?» бригадир ответил, что не пишет и писать больше не будет, а начальник усмехнулся: «Ну то-то». Вот этого «ну то-то» он власти не простил до конца своих дней.

И он все равно писал — переводил стихами «Слово о полку Игореве». Для этого колоссального труда у него не было ни условий, ни стола, ни бумаги — но, может быть, труд этот не дал ему свихнуться. Сначала Востоклаг — Комсомольск-на-Амуре, потом Алтайлаг — Кулундинские степи. Голод, непосильный труд, вечное напряжение в противостоянии с уголовниками, вши... люди расчеловечивались, думая о тепле, о пайке, об отдыхе...

ВОЗВРАТИЛСЯ В ЭТОТ МИР ВЕСЕННИЙ...

Он освободился в 1943 году и отбыл ссылку в Караганде; в 1946 году приехал в Москву и восстановился в Союзе писателей. Жить ему было нелегко — мыкался у друзей, то спал на столе у Николая Степанова (на полу было холодно, а кровати не было), то жил на даче у писателя Ильенкова, посто-

янно ожидая, что его вышлют вместе с женой и детьми. Зарабатывал только переводами. Он переводил грузинских поэтов: Давида Гурамишвили, Григола Орбелиани, Илью Чавчавадзе, Тициана и Галактиона Табидзе... Переводил Миколу Бажана и Лесю Украинку... Венгерских, итальянских, узбекских, таджикских, сербских поэтов... Когда в 1946 году он как член Союза писателей должен был явиться на собрание, где обсуждали дело Зощенко, он пошел на собрание, но ушел в винный магазин. После сборника, изданного в 1948 году, он больше ничего не писал — слишком хорошо помнил, как критические статьи оборачиваются уголовными статьями. Несколько лет ада не прошли бесследно: он ясно понимал, как хрупко любое благополучие, как легко провалиться на ту сторону бытия — и панически боялся там оказаться.

Заболоцкие получили наконец двухкомнатную квартиру в доме на Хорошевском шоссе (домик этот — из тех, что строили пленные немцы, двухэтажный, серьезный, — простоял до 2001 года, когда его снесли, невзирая на то, что он находился в реестре культурного наследия). Казалось, начиналась новая, благополучная жизнь. В этой жизни Заболоцкому досталось то, чего ему не хватало раньше, — и поездка в Италию, и признание, и орден Трудового Красного Знамени, и тихая дача в Тарусе, где так хорошо работалось, — но, кажется, все это досталось уже слишком поздно. И сам он стал другой, и стихи его стали другие. Отлетел дух игры, абсурд стал не смешон, а страшен — он сходил с ума, сталкиваясь с абсурдом.

Одни поэты транслируют шум времени, музыку эпохи — таковы были Блок, Жуковский и Лермонтов; другие формулируют мысль — таков Тютчев, таков Бродский. Заболоцкий — философ по форме; он строг, он сознательно борется со своей музыкальностью, он замечательно афористичен — но его внутреннее состояние смутно и трагично. Его самодисциплина, его классические костюмы, застегнутые на все пуговицы, его галстуки, его строгие ямбы и хорей — это борьба с ужасным, засасывающим внутренним хаосом, попытка гармонизировать мир, подчинить его разуму. Он был и оставался безумным волком, выпавшим из своей среды, научившимся смотреть на звезды; он осознавал природу как непрерывную трагедию — «я не ищу гармонии в природе», «природа, обернувшаяся адом, свои дела вершила без затей»... Для него и мысль об атомной войне была органичной: война — только выход на поверхность внутреннего конфликта, раздирающего и человеческое сердце, и ядро атома. Отсюда — его горькая «Иволга», нежная песня над обезлюдевшей землей. В христианскую победу добра над злом он не особенно верил, революционная утопия у него на глазах обернулась кошмаром. Единственное спасение мира — разум, но и разум

*Я – забытый ребенок, забытый судьбой, позабытый в осеннем саду.
Озираясь с тоской, спотыкаясь с мольбой, лишь к тебе я бреду.
И тебя увидав, и тебя повстречав, и упав на пути, пред тобой
Слышу: крылья растут! Слышу: трубы поют у меня, у меня за спиной!*

Он надеялся, что она – молодая, умная, любящая его стихи – даст ему шанс уцепиться за жизнь. Наталья Роскина все это понимала; ее воспоминания о Заболоцком, несмотря на короткую и неудачную семейную жизнь, исполнены неподдельной любви, уважения и такта. Семейная жизнь, как и следовало ожидать, не заладилась, Роскина скоро ушла. Остался только цикл «Последняя любовь», где лишь одно стихотворение – знаменитое «Очарована, околдована» – посвящено Роскиной, а остальные – первой жене: с ее уходом он, кажется, по-настоящему понял, как он ее любит. Поняла и она – и через год вернулась. Но с ним случился второй инфаркт.

После инфаркта он прожил еще полтора месяца, ясно понимая, что это последние месяцы жизни. Он составил свой последний сборник, включив в него только то, что считал достойным издания. 14 октября 1958 года Заболоцкий умер. «Он продолжал отрицать смерть – в обычном понимании этого слова – до конца своих дней», – вспоминал Николай Чуковский.

Как все меняется! Что было раньше птицей,
Теперь лежит написанной страницей;
Мысль некогда была простым цветком;
Поэма шествовала медленным быком;
А то, что было мною, то, быть может,
Опять растет и мир растений множит. ❀

После инфаркта он прожил еще полтора месяца, ясно понимая, что это последние месяцы жизни. Он составил свой последний сборник, включив в него только то, что считал достойным издания. 14 октября 1958 года Заболоцкий умер. «Он продолжал отрицать смерть – в обычном понимании этого слова – до конца своих дней», – вспоминал Николай Чуковский.

❀

бессилен – «разум, бедный мой воитель»... Он верит в гармонию, в преобразующую силу красоты, но и «неразумная сила искусства» тоже не панацея.

Неоклассицизм Заболоцкого — это последняя отчаянная попытка справиться с абсурдом, со страхом смерти. Чиковани свидетельствовал, что Заболоцкий сказал однажды, что человек – слишком сложная субстанция, чтобы исчезнуть бесследно. Когда ему сказали, что это бред, он обиделся и ушел.

Человек – часть природы; он не пропадает, не исчезает, он включается в нее... Он снова начал писать только после смерти Сталина. Его «Казбек» полностью отказывает тирану в человечности – Казбек мертв и страшен, и только.

*А он, в отдаленье от пашен,
В надмирной своей вышине,
Был только бессмысленно страшен
И людям опасен вдвойне.*

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

В 1953 году казалось, что все испытания кончились и началась нормальная, мирная жизнь. А в 1955 году с ним случился инфаркт. А потом от него ушла жена – добрая, верная Катерина Васильевна, которая хлопотала о нем, сидящем в тюрьме, вынесла ссылку и блокаду, мыкалась вместе с ним по чужим квартирам и ухаживала после инфаркта. Тихая и безропотная жена, которая всегда говорила «как Николай Алексеевич скажет», «лучшая из женщин», по выражению Шварца. Кажется, разрушить этот брак было невозможно. Но... Заболоцкий был человеком нелегким, и жить с ним было нелегко – брак во многом держался на терпении и любви жены. А она влюбилась в Гроссмана – и когда Заболоцкий предложил выбрать «он или я» – она внезапно выбрала Гроссмана. Ей было 48 лет, дети уже выросли. «Если бы она проглотила автобус, он удивился бы меньше», – писал Николай Чуковский. Заболоцкий с уходом жены совершенно потерял почву под ногами. Его мир рухнул, потому что семья была одной из основ этого мира. Он пил, хотя врач сказал, что если он будет пить, то проживет года полтора. Он позвонил чужой женщине, про которую знал только, что она любит его стихи, – пил, когда пытался говорить с ней, разговор не клеился, ухаживать не умел – да и не в том состоянии был, чтобы ухаживать. На второй день знакомства он позвал ее замуж – почти как Левин звал Кити: написал ей на обрывке бумаги «Я п. В. б. м. ж.». Она поняла сразу – и согласилась. «Если бы вы знали, как я несчастен», – сказал он ей тогда, закрыв лицо руками. Наталье Роскиной он отдал еще одно стихотворение, которое сам хранить не хотел, но ее просил сохранить; в нем есть такие строчки:

ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО СОЛДАТА ГАШЕКА

ЕВГЕНИЙ РЕЗЕПОВ

В декабре 1918 года в женском монастыре под Бугульмой царил переполох. Новый помощник коменданта города велел монахиням доставить ему дюжину яиц и фунт масла. Распоряжение это поступило после его встречи с делегацией местного духовенства, пытавшегося усюветить начальника: накануне помощник коменданта потребовал прислать в казармы монахинь...

И ГУМЕНЬЯ И НАСЕЛЬНИЦЫ монастыря были в растерянности. Помощник коменданта – большевик, да еще и чех! Что было ждать от него хорошего? В обители смирились и приготовились к худшему. Утром из ворот монастыря вышло шествие с иконами и хоругвями. Четыре старейшие монахини с игуменьей во главе несли большую икону, следом с пением псалмов шли насельницы. Из городского собора вышло православное духовенство в шитых золотом ризах. За ними брел с жалобным плачем местный православный люд. Процессия подошла к комендатуре. ...За столом в комендатуре сидел молодой человек с круглым детским лицом – тот самый ужасный помощ-



АНДРЕЙ СЕМАШКО

ник коменданта. Как позже он сам вспоминал: «Это напомнило мне процессию первых христиан во дни Нерона». На столе перед помощником коменданта стояла икона, зажженные свечи и хлеб-соль. Он вручил каравай игуменье в знак того, что не имеет враждебных намерений, попросил духовенство успокоиться и объяснил, что монахинь он просил прислать, чтобы... вымыть полы в казармах, где собирались разместить Петроградский кавалерийский полк. Глубоким вздохом облегчения были встречены его слова. Все казармы были приведены в образцовый порядок...

ДАЛЕКИЙ КРАЙ

Эта ситуация описана чешским писателем Ярославом Гашеком в рассказе «Крестный ход» из цикла «Бугульминские рассказы». Автор всемирно известного романа «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны» не без юмора описал этот случай. А в финале сообщил, что после возвращения сестер в монастырь игуменья прислала к нему молоденькую монахиню с маленькой иконой и письмом. В нем было написано всего три слова: «Молюсь за вас».

Исследователи считают, что бугульминские эпизоды писатель собирался использовать в той части своего романа, которая должна была рассказывать о пребывании Швейка в русском плену (надо заметить, что ранее, в 1917 году, в Киеве увидела свет повесть Гашека «Бравый солдат Швейк в русском плену». Писатель умер в 1923 году, не успев закончить свой роман о похождениях Швейка. Продолжение романа – «Приключения бравого солдата Швейка в русском плену» – по просьбе издателя написал чешский журналист Карел Ванек. – Прим. ред.)

– Гашек собирался посвятить главы романа о Швейке Бугульме, – говорит директор Литературно-мемориального музея Гашека Светлана Бенковская, –

а сами рассказы являются своеобразным этюдом к эпосе о храбром солдате Швейке. Иллюстрации к «Бугульминским рассказам», сделанные чешским художником Йозефом Ладой, выполнены в том же стиле, что и знаменитые рисунки к роману о Швейке.

...Дом, в котором Гашек объяснялся с местным духовенством, сохранился до сих пор. В нем те же половицы, окна, потолок, даже печь. Его первый хозяин, купец Нижерадзе, конечно, не предполагал, что тут будет музей, и потому не предусмотрел помещения для гардероба. Его нет и сейчас. Вот бы Гашек посмеялся над этим, ведь он тогда и сам спал тут, не раздеваясь.

После Гражданской войны в здании бывшей военной комендатуры Бугульмы, откуда Гашек послал грозное письмо в монастырь, размещались мелкие хозяйственные городские службы. В двух комнатах была закусочная, в подвалах – колбасный цех. А четыре комнаты были отданы под жилье работникам пивоваренного завода. Знай об этом писатель, который немало сил отдал дружбе с пивной кружкой, он бы оценил и эту иронию судьбы...

Музей здесь открыли в 1966 году, на церемонию прибыли представители Чехословакии. С тех пор визиты чехов в Бугульму, где находится единственный в России музей Гашека и второй по счету музей писателя в мире (первый – в чешском Липнице. – Прим. авт.), стали хорошей традицией.

В музее все напоминает о Гражданской войне: старинный телефон, чернильница, стальные перья, раскладная походная кровать с казенным солдатским одеялом неопределенного цвета, плакаты с воззваниями, приказы и афиши тех лет. И, конечно, фотографии Первой мировой. Она-то и занесла жителя Праги в этот далекий край.

Сохранилось немало воспоминаний людей, работавших с Ярославом Гашеком в Бугульме. Рассказывают, как он лузгал семечки с молодежью и травил байки. Как он поручил найти большую детскую куклу и потом вышел с ней на митинг, чтобы показать трудящимся, что у их детей будут красивые игрушки. Но вот названия монастыря, с которым Ярослав Гашек вступил в переписку, никто вспомнить так и не смог. Но всем гостям обязательно рассказывают случай с монастырем. Долгое время эту историю считали плодом буйной фантазии писателя. Пока вдруг в архивах не нашлось то самое знаменитое письмо Гашека игуменье: «Предлагаю выслать тридцать монашек...»

А чего удивляться? Между писателем и его героем – бессмертным Швейком – было много общего, начиная с образа мыслей, манеры поведения и заканчивая самими приключениями. Ярослав Гашек у любого начальства вызывал желание приструнить его, наказать, засадить в тюрьму и даже расстрелять.

ПИВО И СЕРЕБРИСТО-СЕРЫЕ ВУРДАЛАКИ

В Праге, где жила семья Гашек, маленький Ярослав ходил в лавку за трубочным табаком. Для своего деда. Как-то, отправившись в очередной раз в лавку, Ярослав запропастился. После долгих поисков родители обнаружили его у ворот казармы: окруженный хохочущими солдатами, он пыхтел трубкой на дедовский манер...

Розыгрыши, пародии, шутки и забавные выходки были отличительными чертами Гашека. А буйный характер в итоге привел к тому, что Ярослав стал постоянным действующим лицом драк, скандалов в гимназии, а также антинемецких и антиавстрийских демонстраций на улицах Праги. Чехия, как известно, накануне Первой мировой входила в состав Австро-Венгерской империи. Патриотически настроенный Ярослав принимал участие в стычках с полицией. Как-то Гашек попался полицейскому патрулю с камнями в карманах, которые он собирался запустить в имперских орлов. Уверениям, что Гашек купил эти минералы для школьной коллекции, комиссар полиции не поверил и пригрозил расстрелять его на заре. Обошлось...

Спокойную, наполненную ежедневным трудом жизнь в аптеке, куда его устроила мать, Гашек променял на странствия по городам и селам Чехии, Словакии и Моравии. Прибаутками и байками он расплачивался за ночлег в трактирах и корчмах. Свой первый рассказ, «Ефрейтор Которба», в котором уже чувствуется дыхание его будущего знаменитого героя, Гашек опубликовал в 1900 году, будучи студентом Пражского коммерческого училища.

После окончания училища его приняли на работу в банк «Славия», но постоянно норовивший улизнуть с рабочего места клерк Гашек был скоро уволен – в 1903 году. К этому моменту Гашек издал первую книгу – заметки о своих пеших путешествиях. Штурм Гашеком литературных высот Праги сыну помогала осуществлять мать: она ежедневно обходила редакции газет и журналов, разнося в каждую по одному рассказу. Публиковали эти рассказы с готовностью, но скудных гонораров хватало лишь на скромный костюм и дешевое пиво, любовь к которому Гашек пронес через всю свою короткую жизнь (39 лет!) и приписал своему знаменитому герою.

В 1905 году король пражских фельетонистов знакомится со своей будущей женой Ярмилой Майеровой – дочерью состоятельного пражского скульптора. Родители девушки категорически возражали против ее отношений с известным гулякой, завсегдатаем кабачков и частым гостем полицейских участков. Такая репутация сложилась у Гашека. Ярослава и Ярмилу сближала любовь к культуре и литературе России. Гашек даже уговорил девушку с его помощью учить русский язык, для чего отказался от кутежей в пражских ресторанах. А тут еще и удача улыбнулась влюбленному Ярославу: он получил место редактора в популярном журнале «Мир животных» (который, кстати, упоминается в «Похождениях бравого солдата Швей-

ка»), так что зарплата и стабильные гонорары за публикации в юмористических журналах повысили его шансы на роль жениха Ярмилы. Последним аргументом для родителей невесты стало свидетельство, выданное священником одного из пражских костелов, который подтвердил, что Гашек побывал на исповеди. А ведь до того Гашек не раз публично хвастался, что порвал с религией.

Ярмила, увы, быстро разочаровалась в семейной жизни: после недолгого покоя Гашек вновь вернулся к обычным для себя проделкам. Статья о серебристо-серых вурдалаках, которых журнал «Мир животных» советовал покупать и держать в качестве домашних питомцев, разгневала подписчиков. Гашек в очередной раз оказался за дверью. В редакциях газет, куда он устраивался, Ярослав не задерживался надолго из-за своих скандальных выходок.

Как и его будущий герой, пан Швейк, Гашек открыл контору по продаже собак, для чего отлавливал на улицах Праги дворняг, перекрашивал их и снабжал фальшивыми родословными. Более того, однажды Гашек оказался даже в сумасшедшем доме (как потом и Швейк). Как-то в полицейском участке, куда его доставили в очередной раз, писатель неудачно пошутил, что он святой Ян Непомуцкий и недавно ему исполнилось 518 лет. В сумасшедшем доме он привел в порядок больничную библиотеку и собрал сюжеты для будущих рассказов. В том

числе и для будущего романа, где пребыванию пана Швейка в сумасшедшем доме отводится целая глава.

В это же время он пишет первый рассказ про солдата Швейка – «Идиот на действительной». Рассказ ему не нравится, он рвет рукопись, но из мусорной корзины рассказ спасает жена Ярмила. А в 1912 году выходит сборник рассказов Гашека «Бравый солдат Швейк и другие удивительные истории». До создания знаменитого романа оставалось еще десять лет и путешествие в Россию.

КНЕДЛИКИ, КОРОВЫ И РЕВОЛЮЦИЯ

Начало Первой мировой войны Гашек отметил новым розыгрышем. Он заявился в один из пражских отелей и зарегистрировался как «Лев Николаевич Тургенев. Родился в Киеве. Живет в Петрограде. Православный. Приехал из Москвы. Цель приезда – ревизия австрийского Генерального штаба». Комиссар Клима, которому Гашек был хорошо знаком по прошлым выходкам, допросил «русского шпиона» и отправил его в тюрьму на пять суток...

Когда в 1915 году вышел новый сборник Гашека, «Моя торговля собаками», писатель уже был зачислен в 11-ю роту 91-го полка (так же, как и Швейк в романе). Он ушел на фронт, оставив в Праге свою бывшую жену, которая ушла от него еще в 1912 году, сына Рихарда, многочисленных собутыльников, литры не выпитого пива и тонну не съеденных кнедликов. Последние часто будут фигурировать в его воспоминаниях о Праге как символ уюта и благополучия.

Много позже армейский начальник рядового Ярослава Гашека – поручик Лукаш – сетовал, что его подчиненный мог бы быть более усердным и дисциплинированным. Гашек добился, чтобы медкомиссия рекомендовала использовать его на легких работах, и Ярославу доверили должность историографа полка. Но пока полк в сражениях не участвовал, Гашек пас коров. В полку он встречает многих прообразов своих будущих героев: поручика Лукаша, его денщика Страшлипку, который за свою способность к месту и не к месту рассказывать длинные истории был превращен в Швейка. Со Страшлипкой Гашек добровольно сдался в плен Русской армии под Хорупанами. В деле ефрейтора австрийской армии Ярослава Гашека появилась запись: «Считать пропавшим без вести...»

Солдаты, не пожелавшие сражаться за интересы австро-венгерской короны, жили в сырых землянках в лагере Дарницы под Киевом. В таких же условиях они находились и после перевода в лагерь Тоцкое под Самарой. К эмиссарам,

вербующим в Чехословацкий легион для борьбы на стороне русских, Гашек явился едва ли не первым из военнопленных (на территории России проживало около 100 тысяч чехов и словаков. Их представители добились аудиенции у российского императора и убедили его создать Чешскую дружину. – **Прим. авт.**). Гашек занимался агитацией среди военнопленных чехов, печатал в газетах корреспонденции с фронта, где воевал легион. Когда случилась революция, то Чехословацкий легион оставил фронт на Украине и двинулся на Дальний Восток, чтобы оттуда переправиться во Францию. Ярослав Гашек, который уже успел поссориться с руководителями легиона, покинул его ряды и отправился в Москву. В марте 1918 года его видели на Арбате – где бы вы думали? – конечно, в «Пражской колбасной»!

Гашек поверил призывам большевиков, которые много говорили о свободе для поработанных народов. А патриотом Чехии Гашек был с младых ногтей. Какой свобода окажется для его родины, он тогда представить не мог, так что в ряды партии вступил. В апреле 1918 года Гашек занимается агитацией в Самаре, не зная, что в Омске, где тогда находился штаб Чехословацкого легиона, уже выписан ордер на его арест за измену чехословацкому народу. Это было время так называемого мятежа белочехов. Летом 1918 года чехословацкие легионеры заняли ряд городов Поволжья, в том числе Симбирск и Казань.

В начале июня пала Сызрань, на очереди была Самара, и до Гашека донесли угрозы легионеров повесить всех чешских большевиков. «А выше всех – Гашека», – заявляли они. 7 июня белочехи подступили к городу. Гашек находился на железнодорожной станции и проклинал свою безалаберность: в гостинице он оставил списки добровольцев и другие важные документы. В итоге он вернулся и уничтожил бумаги, но оказалось, что белочехи уже бесчинствуют в Самаре. Переодевшись в штатское платье Гашеку удалось улизнуть.

Свои скитания летом и осенью 1918 года по Поволжью Гашек позже описал в рассказе «Юбилейное воспоминание». «В это трудное время, когда мне на каждом шагу грозила смерть, я счел самым благоразумным двинуться на восток, в Большую Каменку, лежащую на северо-восток от Самары... Там живет часть поволжской мордвы. Это народ добродушный и очень наивный». Какой-то мордвин, ехавший на телеге, подобрал беглеца. Узнав, что бедолага бежит от белых, предложил свою одежду для маскировки. Дальнейший путь Гашек совершал в лаптях и в мордовском национальном костюме. Встречные мордва и татары давали ему хлеб и предупреждали о казаках на дороге. Что происходило с Гашеком вплоть до октября 1918 года — неизвестно. Сам он об этих самых страшных днях своей жизни умолчал. Смешного, видно, вообще не было. Спустя некоторое время обнаруживается Ярослав Гашек в Симбирске, где в политическом отделе Революционного военного совета Восточного фронта ему выдается удостоверение, что «т. Гашек делегируется в качестве организатора в г. Бугульму в распоряжение т. Широкова».

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

Гашек начинает свое повествование о пребывании в Бугульме с юмористической ноты. Товарищи, направившие беглого чеха-легионера в Бугульму, не ведали, в чьих она руках: красных или белых? В деньгах на дорогу ему отказали. Зато дали конвой из 12 человек, питаться велели в попадающихся по пути населенных пунктах. Гашек отметил, что из 12 сопровождавших его чувашей никто не говорил хорошо по-русски.

На счастье Гашека, Бугульма оказалась красной. Писатель хвастливо вспоминал, что встречала его огромная толпа. Городской голова держал на подносе хлеб-соль. В длинной речи Гашек заявил, что пришел навести в Бугульме мир, спокойствие и порядок. На самом деле он, конечно, присочинил. В Бугульме в тот момент квартировала 26-я дивизия 5-й армии Восточного фронта. По поводу Гашека сделали запрос в Центральный комитет Чехословацкой компартии, находившийся тогда в России. «Товарищ Гашек выступил из чешского корпуса. С тех пор поддерживал связь с партийными учреждениями. После взятия чехословаками Самары его судьба неизвестна». Только тогда Гашека утвердили в должности помощника коменданта Бугульмы. Хотя он называет себя в рассказах комендантом Бугульмы, настоящим комендантом был Иван Дмитриевич Широков.

В обязанности Гашека входила регистрация бывших офицеров царской армии и священников, организация сдачи оружия, расквартирование прибывающих в город воинских частей, а также устранение попыток мятежа и пресечение распространения тогда в городе азартных игр. Чем сам Гашек отличался от тогдашних люмпенов? Шинель бывший пражский фельетонист носил застегнутой на одну пуговицу. Офицерская фуражка у него была всегда набекрень. Сапоги простили каши.

Таким его вспоминали красноармейцы в беседах с бугульминскими художниками, чьи картины украшают сегодня залы музея. Забавная речь Гашека, сдобренная поговорками, и казарменный юмор, что называется, «ниже пояса» привлекали к нему бойцов. Послушать Гашека, поднаторевшего в диспутах в пражских пивных, было интересно.

Большая часть бойцов не умели читать и писать. Да и большинство населения города было неграмотным. Поэтому первым приказом в Бугульме, который Гашек подписал в качестве помощника коменданта, был приказ всему населению срочно научиться читать и писать. Комические последствия своего приказа он потом вспоминал в рассказе «Адъютант коменданта города Бугульмы»: депутация мужиков и баб бросилась в ноги Гашеку, крича, что возраст не позволяет им учиться читать и писать...

В музее гордятся признанием чешского студента-филолога, который во время визита рассказал, что «Бугульминские рассказы» на его факультете входят в учебную программу наравне с классической литературой.

В свободное время Гашек разбирал книги, свозимые со всей волости в дом помещика Елаича. Для перевозки книг в центральную библиотеку, не колеблясь, выделил подводку, хотя был этот транспорт на строгом учете. Крестьяне, которые ходили к Гашеку в комендатуру, говорили о нем: «Человек умный и веселый. Иностранец, а нашу жизнь знает». В Бугульме Гашек успел написать две пьесы для местного театрального кружка, в которых сам же и сыграл. Всего в Бугульме Гашек пробыл два с половиной месяца. Ни для какого другого места в России он не нашел таких теплых слов: «Бугульме мало места на карте, но много в сердце моем!»

В начале 1919 года его переводят в Уфу. Там он заведует армейской типографией и завязывает служебный роман с печатницей Александрой Львовой, которая правила его рукописи на русском. Девушка спасла от смерти заболевшего тифом Ярослава, а затем больше не покидала Гашека, следуя за ним везде. А он следовал за фронтом, который перемещался на восток страны. В 1920 году переговоры между командованием Красной армии и Чехословацким легионом завершились эвакуа-

цией оставшихся чехов из России. А супруги Гашек решили остаться навсегда в Иркутске, где обзавелись домиком с видом на Ангару. Но Центральное чехословацкое бюро агитации и пропаганды при ЦК РКП (б) издало директиву о мобилизации всех чехословацких коммунистов, находящихся в Советской России. Им предписывалось вернуться на родину для усиления большевистского влияния в Чехии. Жена Гашека вспоминала, что «Ярослав был впервые так зол и долго ходил хмурый». Он боялся обвинений в дезертирстве и двое-

женстве. Так оно и вышло. Стоило Гашеку появиться в Праге, как газета «Трибуна» сообщила, что «бывший известный пражский кутила и анархист, а ныне большевик Ярослав Гашек вернулся в Чехословакию». Гашека привлекли к суду за двоеженство. Скандал с первой женой, Ярмилой (браки они не расторгли), удалось замять, по суду он выплатил штраф. Но плохо было то, что Гашек не рассказал своей второй жене о первой. И это было не смешно.

ВЕЛИКИЙ РОМАН

Возвращение писателя оказалось сюрпризом для пражан. Его ведь считали погибшим на фронте. Причем слухи циркулировали один нелепее другого. Утверждалось, будто бы он подрался в Одессе с матросами в кабачке и его забили насмерть. Также говорили, что его повесили чешские легионеры. Еще доказывали, что Гашек – убийца тысяч и тысяч словаков и чехов, его новая жена, Александра Львова, единственная оставшаяся в живых дочь князя Львова (министра-председателя Временного правительства). А Гашек будто бы вырезал всю эту семью, а Шуру взял в рабыни. Своих фантазеров-могильщиков Гашек высмеял в рассказе «Как я встретился с автором некролога о себе», но местные коммунисты поддались пропаганде и не слишком доверяли Ярославу. О своей работе в России Гашек предпочитал не рассказывать. Он вновь стал завсегдаем трактиров и ресторанов. Но кутил он теперь не от веселья или из чувства протеста, а от отчаяния. Публикации памфлетов и фельетонов приносили не слишком большие деньги. А тут еще первая жена, Ярмила, долго не позволяла Гашеку увидеться с сыном. А когда разрешила, то представила его Рихарду как своего знакомого редактора: ведь сын был уверен, что его отец героически погиб в России. Да и находиться в Праге Гашеку больше было не по карману: сначала он с женой

жил у друга, а потом, скопив немного денег, купил бывшее здание почтового отделения в селе Липнице.

В общем, два года и пятнадцать дней, которые Гашек прожил на родине до своей смерти в 1923 году, были безнадежно отравлены. Но за этот ничтожный срок помимо рассказов и пьес им и был написан замечательный роман «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны». Быстрота создания этой комической эпопеи объясняется тем, что Гашек писал про себя, ничего особо не выдумывая.

Последними продиктованными автором строками романа были: «Патриотизм, верность долгу, самосовершенствование — вот настоящее оружие на войне. Напоминаю вам об этом именно сегодня, когда наши войска в непродолжительном времени перейдут через границы». Речь шла о рубежах Российской империи... О стране, с которой Гашек пытался навсегда связать свою судьбу...

Сегодня этот роман о сопротивлении маленького человека безжалостной военной машине переведен на многие языки мира. В Литературно-мемориальном музее Ярослава Гашека в Бугульме хранятся сотни книг о Швейке, присланных со всех концов света. Недавно, например, появилось издание на китайском.

Благодаря поклонникам романа заметную часть экспозиции музея составляют сувенирные фигурки бравого солдата Швейка. Их дарят музею его гости. Есть Швейк керамический, фарфоровый, стеклянный, деревянный, пластмассовый, матерчатый. Пан Швейк изображен на костылях, в инвалидной коляске, с ранцем за спиной, с чемоданом в руке, с пивной кружкой и курительной трубкой или в окружении собак. Вот Швейк отдыхает у граммофона. Вот Швейк любезничает с дамами. Но чаще всего можно увидеть Швейка, который отдает честь, приложив пятерню к козырьку фуражки. Смотришь на «Швейков» и не можешь удержаться от улыбки. Огромная часть храбрых солдат упакованы в ящики и хранятся в запасниках. Если их всех выставить, то не хватит залов музея. Получится целая австрийская армия, представленная в лице одного, правда, самого знаменитого солдата...

А на перроне бугульминского железнодорожного вокзала пассажиров встречает бронзовый памятник Йозефу Швейку. Рядом с ним – полосатый верстовой столб с тремя указателями: «Прага», «Москва», «Уфа». Швейк, оттягивая лямки ранца, с надеждой смотрит в сторону Праги...

Отсюда в начале 1919 года Ярослав Гашек уезжал из Бугульмы – навстречу своей судьбе. Ему оставалось жить всего четыре года, за которые он успеет написать всемирно известный роман и заключительные строки рассказа «Крестный ход», в котором он вспомнил этот маленький городок. «Я сплю спокойно, – умиротворенно закончил тот рассказ Гашек, – потому что знаю, что по моему времени за старым сосновым бором Бугульмы стоит монастырь Божьей Матери, в котором старая настоятельница молится за меня, никчемного». ❀



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

ИЗ ПРЕРУССКИХ РУССКИЙ

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Пушкин брату Льву писал: «Не забудь Фон-Визина писать Фонвизин. Что он за нехрист? Он русский, из прерусских русский». Но Фон-Визин, или Фон-Визен, стал Фонвизинным только к концу XIX века, а до тех пор в правописании его фамилии путались.

Д.И. Фонвизин.
Гравюра
из собрания
портретов Платона
Бекетова. Издание
1821 года

извольте отнести ее назад, а принести законное доказательство вашего права!» Иван Андреевич никогда не бил дворовых, и сын его унаследовал убеждение, что «побои не есть средство к исправлению людей».

Первым браком, как рассказывал сам Денис Иванович, отец его был женат на женщине много старше его: женился в 18 лет на полюбившей его 70-летней старухе, чтобы спасти брата от разорения. Двенадцать лет был на ней женат и сохранял ей верность. Вторым браком женился на Екатерине Васильевне Дмитриевой-Мамоновой, о которой Денис Иванович писал так: «...жена добродетельная, мать чадолюбивая, хозяйка благоразумная и госпожа великодушная». Детей у этой четы было восемь – мальчиков и девочек поровну. Когда родился Денис – у би-

ОСНОВАТЕЛЕМ РОДА В РОССИИ СТАЛ РЫЦАРЬ ПЕТР ФОН-ВИЗИН, взятый в плен во время Ливонской войны вместе с сыном Денисом. Фон-Визины остались в России и при царе Алексее Михайловиче приняли православие.

Отец писателя, Иван Андреевич, был офицером. Он учился при Петре I морскому делу, служил во флоте, затем в сухопутных войсках, вышел в отставку в чине майора и работал в Ревизион-коллегии. Он был честен, ненавидел вранье и взяточничество, не заискивал у власть имущих, ища чина или места. Когда его пытались подкупить, поднося подарки, отвечал: «Государь мой! Сахарная голова не есть резон для обвинения вашего соперника:

ографов нет согласия: называют и 1745, и 1744 год; второе, вероятно, точнее; из восьмерых детей он был самый старший.

Иван Андреевич много читал – «все русские книги, из коих любил отменно древнюю и римскую историю, мнения Цицероновы и прочие хорошие переводы нравоучительных книг». Денис Иванович вспоминал, как отец рассказывал детям историю Иосифа Прекрасного. Маленькому Денису было так жаль

проданного в рабство Иосифа, что он стал плакать, но постеснялся сказать, отчего плачет, и соврал, что у него болит зуб. Отец стал лечить сыну здоровый зуб, и только тогда мальчик признался, что соврал, чтобы отец не перестал рассказывать истории. Отец похвалил сына и историю через несколько дней рассказал до конца. Мальчик вообще отличался чрезвычайной эмоциональностью; со слов отца своего Фонвизин рассказывает, что сильно тосковал, будучи в 3-летнем возрасте отнят от кормилицы. Отец спросил его однажды, грустно ли ему. «А так-то грустно, ба-тюшка, – отвечал я ему, затрепетав от злости, – что я и тебя и себя теперь же вдавил бы в землю».

Иностранных воспитателей детям не нанимали: лишних денег в семье не водилось. Фонвизин, по словам его биографа Петра Вяземского, с детства был окружен «русской атмосферою»; «старик отец Фонвизин заставлял сына читать у крестов (то есть вслух церковные книги. – Прим. авт.) во время все-нощных бдений, которые часто от-правлялись у них дома». В 1755 году отец отдал сыновей – Павла и Дениса – в дворянскую гимназию Московского университета, только что созданную одновременно с университетом; вместе с братьями учился Григорий Потемкин.

«ВКУС К СЛОВЕСНЫМ НАУКАМ»

Учились Фонвизины хорошо. Об успехах гимназистов тогда сообщали в газетах, и до нас дошло несколько сообщений о золотых медалях, которыми в конце года награждали братьев. Правда, Денис Иванович вспоминал, что уровень преподавания был низкий, что на экзамене никто из его одноклассников не мог ответить, куда течет Волга: один сказал, что в Белое море, другой – в Черное. Сам Фонвизин честно сказал «не знаю», за что и был поощрен медалью. Один раз вместо медали братьев повесили в чине: оба были по

обычаю сызмальства записаны в Семеновский полк – и в 1760 году оба стали сержантами.

В 1758 году братьев в числе лучших учеников повезли в Петербург представлять куратору университета Шувалову; двор ошеломил 14-летнего Дениса роскошью, убранством, яркостью красок, «огромной музыкой». Но главное – к нему с вопросом обратился сам Ломоносов: спросил, чему мальчик учится, и замечательно говорил о пользе изучения латыни. Больше всего, однако, в Петербурге подростка поразил театр, куда он попал впервые в жизни; он смотрел переводную комедию и хохотал до упаду. Вскоре оказалось, что у дядюшки, в чьем доме мальчики Фонвизины жили в Москве, бывают актеры Федор Волков и Иван Дмитриевский, он встретил обоих. Волков скоро умер, а Дмитриевский стал хорошим другом Фонвизина на всю жизнь и играл Стародума в постановке «Недоросля».

Уже в гимназии Фонвизин получил «вкус к словесным наукам» и начал переводить. Первым опытом стали басни датского писателя Хольберга, или Гольберга, которые ему заказал университетский книготорговец; перевод вышел в 1761 году. Затем заказы посыпались один за другим. Переводы публиковались в журнале под названием «Собрание лучших сочинений к распространению знания и к произведению удовольствия, или Смешанная библиотека разных физических, экономических, також до мануфактур и до коммерции принадлежащих вещей», его издавал университетский библиотекарь. Среди фонвизинских переводов были и статьи из области гуманитарных наук, и Овидиевы «Метаморфозы», и роман аббата Террасона «Геройская добродетель, или Жизнь Сифа, царя египетского, из таинственных свидетельств древнего Египта взятая». Фонвизин, не знавший французского языка, переводил роман с немецкого. Учить французский он взялся после того, как один случайный знакомец, узнав, что Фонвизин не говорит по-французски, счел его «невеждою и худо воспитанным». «А я, приметя из оборота речей его, что он, кроме французского, коим говорил также плохо, не смыслит более ничего, – рассказывал Фонвизин, – стал отъедаться и моими эпиграммами загонял его так, что он унялся от насмешки и стал звать меня в гости; я отвечал учтиво, и мы разошлись приятельски. Но тут узнал я, сколько нужен молодому человеку французский язык, и для того твердо предпринял и начал учиться оному». А над невежественными галломанами он потом вдоволь посмеялся в своем «Бригадире», где обильно использовал находки своего любимого Гольберга в пьесе «Жан-француз». К этому времени у Фонвизина уже была репутация остроумца; пущенные им меткие словечки повторяли многие, но по молодости и природному добросердечию многих врагов он себе не нажил.

Хорошее знание латыни помогло Фонвизину овладеть и французским; довольно скоро Фонвизин перевел и Вольтеру «Альзиру» – правда, этот перевод он потом называл грехом своей юности. Перевод подвергся многочисленным насмешкам; граф Хвостов, сам неважный стихотворец, глумился: «Не ты ль у старика Вольтера отнял честь, // Как удалось тебе Альзиру перевести?»

...Юноша впервые влюбился. Предметом его страсти, которую он иронически описывает в своем «Чистосердечном признании», была девица, про которую можно сказать «толста, толста! проста, проста!». Единственной причиной привязанности, пишет Фонвизин, была разность полов, ибо больше влюбиться было не во что. Двери в доме возлюбленной, однако, не закрывались, поэтому вместо того, чтобы практиковаться в науке страсти нежной, ему пришлось вести бесконечные разговоры с глуповатой возлюбленной и ее глуповатой матерью, которая и послужила прототипом знаменитой бригадирши в пьесе «Бригадир». В бригадирше все узнали кого-то знакомого; граф Никита Панин сказал Фонвизину однажды: ваша бригадирша всем родня.

В 1762 году Фонвизин окончил гимназию. Гвардейский сержант, он должен был служить, но служить не хотел, а хотел учиться. Помог случай. Екатерина II, едва получив власть, прибыла в Москву для коронации, с нею прибыли двор и правительство. Иностранная коллегия нуждалась в переводчиках; вице-канцлер Голицын взял юношу, знающего несколько языков, в коллегию. Фонвизин переводил хорошо, и для перевода ему давали самые важные документы.

Вскоре он свел знакомство с Иваном Елагиним, кабинет-министром и забытым уже нынче писателем; помнят его не по романам, а по Елагину острову в Петербурге. Вокруг Елагина собрался литературный кружок молодежи, любящей театр и размышляющей о путях развития словесности. Елагин взял Фонвизина под свое начало «секретарем для некоторых дел». Служба была необременительной, оставляла много времени для балов, пиров, катаний, маскарадов и театра. У Елагина Фонвизин встретил князя Федора Козловского, у которого собирались молодые вольнодумцы; некоторое время Фонвизин был вхож в их круг, о чем писал потом как об ужасной ошибке молодости, ибо там все богохульствовали и кощунствовали: «В первом не принимал я никакого участия и содрогался, слыша ругательство безбожников; а в кощунстве играл я и сам не последнюю роль, ибо всего легче шутить над святыней и обращать в смех то, что должно быть почтенно». Тогда-то Фонвизин и написал свое знаменитое «Послание к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке». Он задается там вопросом, для чего создан свет, и спрашивает дядьку своего Шумилова, кучера Ваньку и слугу Петрушку; Шумилов отвечает, что помнит лишь о том, что «нам должно быть век слугами»; Ванька считает, что мир – вздор, суета и обман. Петрушка же уверяет, что мир – «ребятская игрушка»:

*Создатель твари всей,
себе на похвалу,
По свету нас пустил,
как кукол по столу.
Иные резвятся, хохочут,
пляшут, скачут,
Другие морщатся, грустят,
тоскуют, плачут.
Вот как вертится свет!
А для чего он так,
Не ведает того ни умный,
ни дурак.*

Послание это принесло Фонвизину славу безбожника – славу слишком громкую, ибо это была скорее злая шутка в духе времени, нежели искренний скептицизм или атеизм. Довольно скоро Фонвизину стало тесно и тошно в вольнодумстве; несколько позже знакомство с сенатором Тепловым, глубоко верующим автором нравственных сочинений, произвело в нем поворот от вольномыслия к религии; с подачи Теплова он даже перевел «Доказательство бытия Божия» Самуила Кларка. Впрочем, «Послание к Шумилову» он до конца своих дней считал одним из лучших своих произведений; незадолго до смерти он расспрашивал Ивана Дмитриева, читал ли тот «Послание», «Недоросля», «Лисицу-кознодея»...

КОМЕДИОГРАФЫ

Фонвизин интересуется литературой, с удовольствием ввязывается в литературные войны, громит соперников, разит остротами. «Молодой Фонвизин находился в числе их как коршун. Пылкость ума его, необу-

зданное, острое выражение всех раздражало и бесило; но со всем тем все любили его. Майков, пускась в спор против него, заикнется; молодой соперник, воспользовавшись минутой запинания, опередит его и возьмет верх над ним. Взлетит ли Херасков под облака, коршун замысловатым словом, неожиданною насмешкою, как острыми когтями, сшибет его на землю», – писал Вяземский, цитируя воспоминания Петра Мятлева. Фонвизин часто бывал у Мятлева в са-

лоне, встречался там с Майковым, Херасковым, Сумароковым, Богдановичем, Барковым...

В елагинском кружке много размышляли о русском театре и вели непрестанную войну с Сумароковым, царившим на тогдашней сцене чуть не единолично. Особенно в измышательствах над Сумароковым преуспел Фонвизин, обладавший актерским даром перевоплощения: он говорил сумароковским голосом и передразнивал его смешно и похоже.

Занимало елагинцев и создание русской комедии: ведь на сцене в основном шли переводные пьесы. «Многие зрители от комедий в чужих нравах не получают никакого поправления. Они мыслят, что не их, а чужестранцев осмеивают», – писал Владимир Лукин, теоретик елагинского литературного кружка. Поэтому иностранные пьесы предполагалось приблизить к российской жизни: дать героям русские имена, показать реалии, писать разговорным русским языком. Лукин именно так и создавал свои произведения. Фонвизин тоже сочинил такого полурусского кентавра, переведя-переиначив пьесу Грессе «Сидней», которая получила название «Корион». Действие французской пьесы перенесено в Подмосковье, главных героев зовут Корион, Менандр и Зеновия (Станислав Рассадин замечает, что имена хотя и не вполне русские, однако имеются в святцах); один слуга зовется Андреем, да есть еще безымянный, глуповатый, прицокивающий в разговоре крестьянин (именно он и понравился больше всего юному наследнику престола): «И господи спаси от едакой кручины! // А отцево? Никто не ведает притцыны». Комедия, поставленная в 1764 году, понравилась публике; однако на кружок Елагина обрушился Княжнин со стихотворным памфлетом «Бой стихотворцев»; о Фонвизине там сказано, что он «Корионом» честь «Сиднея» уменьшит» и т.п. Фонвизин ответил Княжнину стихотворным увещанием.

Союз с Лукиным оказался кратковременным: Лукин, человек тяжелого нрава, невзлюбил Фонвизина и сделал его пребывание под началом Елагина невыносимым. Фонвизин и уйти от Елагина не мог, и оставаться не мог: кто же рискнет перебить секретаря у всемогущего вельможи. Он попросился в отпуск – к семье, в Москву – на полгода. Потом продлил еще на полгода. За это время он влюбился – всерьез и по-настоящему. Он бывал в гостях у некоего полковника, у которого была жена, а у жены сестра – женщина некрасивая, но замечательно умная и тонкая, начитанная; кроме того, она прекрасно пела. Ее звали Анна Ивановна Приклонская. Она была замужем за будущим директором Московского университета Михаилом Приклонским. Вяземский писал о ней: «Телесные свойства природы ее не соответствовали умственным: длинная, сухая, с лицом искаженным оспою, она не могла бы внушить склонности человеку, который смотрел бы одними внешними глазами; но ум сочувствует уму, и зрение умного человека имеет свою оптику. Как бы то ни было, но Фонвизин был ей предан сердцем, мыслями и волею: она одна управляла им, как хотела, и чувства его к ней имели все свойство страсти, и страсти беспредельной!» Анна Ивановна, казалось, избегала Фонвизина – но потом оказалось, что полюбила и она его, и старалась избегать, чтобы не вводить в грех. «Ни я к ней, ни она ко мне, кроме нелicenseмерного дружества, другого чувства никакого не имели», – отводил все возможные домыслы Фонвизин. Он любил Приклонскую всю жизнь...

Он написал новую пьесу – «Бригадир», – хотя и основанную на иностранной комедии, но непритворно русскую, искрометно смешную, с выпуклыми, живыми характерами вместо плоских кукол, привычных для классицистической драматургии. Правда, у Фонвизина еще сохраняются такие плоские герои – Софья в обеих его знаменитых комедиях, Добролюбов в «Бригадире», Милон и Правдин в «Недоросле». Но бригадир, бригадирша, советник, советница, Иванушка – они уже сложные, они живые, не одномерные – в каждом есть и смешное, и гадкое, и жалкое... В комедии с любовной интригой вдруг появляются острые социальные ноты – и щемящая тоска, когда «дурища» бригадирша простодушно рассказывает, как ее саму бил муж, как знакомый капитан Гвоздилов бил жену: «Ну мы, наше сторона дело, а ино наплачешься, на нее глядя». «Бригадира» автор с успехом читал в салонах и гостиных; правда, автора снова обвинили в безбожии на том основании, что советник объясняется в любви цитатами из Писания.

Услышав авторское чтение, граф Бибиков и граф Григорий Орлов сообщили о новой комедии императрице. Фонвизин прочитал пьесу ей, императрице понравилось, граф Никита Панин сам остановил Фонвизина в саду, чтобы поздравить с успехом – и Фонвизин попросил его покровительства и прочитал



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

ему «Бригадиршу». На что граф Панин сказал: «Это в наших нравах первая комедия, и я удивляюсь вашему искусству, как вы, заставляя говорить такую дурницу во все пять актов, сделали, однако, роль ее столько интересною, что все хочется ее слушать; я не удивляюсь, если сия комедия столько имеет успеха; советую вам не оставлять вашего дарования».

Фонвизин читал «Бригадиршу» то в одном великосветском доме, то в другом, прием везде был восторженный. В комедии не было условного пространства – был привыч-

ки и сама занемогла от горя) пишет сыну с тоской и любовью: «...последнюю копейку из-за души отдам, лишь бы ты был весел и здоров. Батяка ты мой, Фалалей Трифионович, дитя мое умное, дитя разумное, дитя любезное: свет мой, умник, худо мне приходится: как мне с тобою расставаться будет? на кого я тебя покину?» Здесь уже через строчки сквозит «Недоросль» – с неумной страстью Скотинина к свинкам, с материнской нерассуждающей любовью госпожи Простаковой; уже здесь Фонвизин уподобляет дворян, не желающих жить по закону и правде, животным.

У ПАНИНА

В 1769 году канцлер Панин позвал Фонвизина к себе секретарем. Все следующие тринадцать лет Фонвизин работал у него. Панин, кроме того, до 1773 года воспитывал цесаревича Павла и возлагал большие надежды на его вступление на престол: его царство должно было положить конец самодержавию Екатерины, беззаконию, фаворитизму... Фонвизин, свято верящий в идеалы Просвещения, убежденный в необходимости воспитания просвещенного монарха, стал и помощником, и соратником, и единомышленником, и другом Панина.

Панин, получив большую награду за воспитание цесаревича, подарил Фонвизину имение в Витебской губернии – 1180 душ, целое состояние. Фонвизин, правда, к концу жизни практически разорился, как боль-

ный русский дом. Вместо обычных для классицизма ходячих пороков, подлежащих высмеиванию, были люди, которых всякий встречал в жизни, – но не портрет, а остроумная карикатура.

Фонвизин прославился. Его комедию похвалил Николай Новиков, в чьем сатирическом журнале «Живописец» Фонвизин вскоре стал сотрудничать. В журнале вышли «Письма к Фалалею» – жуткая картина одичания помещиков, которые берут взятки, колотят жен, порют крестьян, а любят разве что собак своих. Вот дядя племяннику рассказывает, как отец его плачет по умершей жене: «Как Сидоровна была жива, так отец твой бивал ее, как свинью, а как умерла, так плачет, как будто по любимой лошади». И только умирающая мать (которая запоролла двенадцать крепостных из-за смерти любимой соба-

шинство екатерининских помещиков, никогда не считавших денег.

Он скоро женился, и вышло это так. Молодая вдова Катерина Хлопова пожаловалась на своего дядю императрице. Императрица велела разобраться с делом трем людям, в том числе Панину. Панин перепоручил дело Фонвизину. Дело заключалось в том, что Катерина Ивановна, урожденная купеческая дочь Роговикова, еще в детстве осиротела; ее воспитывал дядя, он же распо-

ряжался ее большим наследством. Катерина Ивановна влюбилась в адъютанта графа Чернышева по фамилии Хлопов. Дядя не дал согласия на брак, и она бежала с возлюбленным и обвенчалась с ним. Хлопов скоро умер, а наследство так и оставалось у дяди. Хлопова пожаловалась императрице, и Фонвизин взялся за дело, но смог добиться только мировой сделки. Но пока дело тянулось, пылкая Катерина Ивановна полюбила Фонвизина, а по городу поползли слухи, что он ведет дело своей любовницы. Чтобы покончить со слухами, он женился.

Болезнь жены (он пишет, что это был солитёр) заставила его уехать за границу – во Францию, где жена лечилась. Из Франции Фонвизин слал сестре Федосье и брату Никите Панину, Петру Панину, подробные письма о своих французских впечатлениях. Фонвизин интересуется всем: экономикой, политическим устройством государства, положением духовенства, дворянства, крестьянства... И на Францию он смотрит без благоговения, как смотрел бы его галломан Иванушка, и без русопятского презрения; это трезвый взгляд умного и внимательного государственного человека. Письма эти и сейчас чрезвычайно интересны, и многое в них звучит пугающе актуально: его замечания о полиции, о бедности преподавателей, о продаже чинов и званий читаются как сегодняшняя публицистика. И заветное, пожалуй: «Воспитание во Франции ограничивается одним учением. Нет генерального плана воспитания, и все юношество учится, а не воспитывается. Главное старание прилагают, чтоб один стал богословом, другой живописцем, третий столярком; но чтоб каждый из них стал человеком, того и на мысль не приходит». Впрочем, много в этих письмах и брюзжания усталого, утомленного дорогой путешественника, которому все плохо – и нравы местные, и обычаи, и гостиницы, и кома-

ры, и салфетки за столом... Но главное, что удручает его, – «французы, имея право вольности, живут в сущем рабстве. Король, будучи не ограничен законами, имеет в руках всю силу попирать законы... Каждый министр есть деспот в своем департаменте... Налоги, безрезонные, частые, тяжкие и служащие к одному обогащению ненасытимых начальников». Он замечает, в каком состоянии находится страна накануне страшного социального взрыва, и зарисовывает эту предгрозовую атмосферу.

УМРИ, ДЕНИС

Во Франции Фонвизин встречался с Дидро, Д'Аламбером и Бенджаминем Франклином, видел Вольтера; выступил в Обществе писателей и художников с сообщением о русском языке. И, разумеется, думал о российском неустойстве. Вернувшись из Франции, взялся за «Недоросля». Одновременно он работал над «Рассуждением о непременных государственных законах» – трактатом, который был частью работы братьев Паниных над сводом законов, готовившихся к восшествию Павла Петровича на престол. Непременные государственные законы должны были стать своеобразной страховкой для государства на случай злонравия государя – то есть фактически прообразом конституционного ограничения монархии. Часть своих размышлений Фонвизин вложил в уста Стародума – по форме типичного классицистского резонера, по сути – обличителя нравов в обществе; публика точно реагировала на политические намеки в его репликах. «Недоросль» не сразу был поставлен на сцене – первая постановка его была отменена. Премьера состоялась в сентябре 1782 года в театре на Царицыном лугу. Публика хохотала, неистовствовала и метала на сцену кошельки. Князь Потемкин, много сделавший для того, чтобы пьеса была поставлена, после премьеры сказал свое знаменитое: «Умри, Денис, или не пиши больше – лучше не напишешь».

К этому времени он вышел в отставку по причине слабости здоровья и разочарования во всем, что делает: тяжело больной Панин был в отставке, императрица всесильна, надежд на скорое воцарение Павла и реализацию проектов не оставалось. Служба в почтовом ведомстве под началом Безбородко казалась ему бессмысленной, так что Фонвизин сослался на тяжелые головные боли, которыми страдал с детства, и попросился на покой. Императрица отпустила его, назначив пенсию в половину жалованья.

Головные боли в самом деле доставляли ему много мучений; при этом он любил поесть, был тучен (существует анекдот, в котором Панин спрашивает Фонвизина, зачем тот берет пятый пирог, раз только что жаловался на тяжесть головы. «Так я и стараюсь оттянуть ее, сделав перевес в желудке», – отвечал Фонвизин).

В отставке он написал воспоминания о Панине, который умер в 1783 году, и издал их на французском языке – анонимно, в Лондоне – в 1784 году. Он стал сотрудничать с журналом «Собеседник любителей русского слова». Его издавала Екатерина Дашкова, глава только что учрежденной Российской академии. Академия решила издавать толковый словарь русского языка, и Фонвизин взялся за подготовительную работу. Он создал проект правил для создания словаря и публиковал в «Собеседнике» свой «Опыт русского словника» – толковый словарь русских синонимов, проникнутый просветительским пафосом и содержащий тонкую политическую сатиру. Вот, к примеру, толкование на синонимический ряд «проступок, вина, преступление, злодеяние, грех»: «Худо понять приказ начальника есть проступок. Забвением не исполнить повеления начальника – вина. Ослушание начальству – преступление. Умысел противу начальства – злодеяние. Пред начальством благодетельствующим грех быть неблагодарну».

В «Собеседнике» Фонвизин опубликовал несколько сатирических текстов и знаменитые «Вопросы, могущие возбудить в умных и честных людях особое внимание». Вопросов было двадцать, публиковались они анонимно и адресованы были покровительнице журнала – императрице. Вопросы подвергали сомнению разумность государственного устройства и обычаев страны: «Отчего у нас не стыдно не делать ничего?», например. Императрица отвечала – где-то отделяваясь отговорками, где-то притворяясь, что не поняла, где-то негодуя. На 9-й вопрос: «Отчего известные и явные бездельники принимаются везде равно с честными людьми?» – ответила: «Оттого, что на суде не изобличены». Но на 14-й вопрос: «Отчего в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов не имели, а ныне имеют, и весьма большие?» – ответила грозно: «Сей вопрос родился от свободоязычия, которого предки наши не имели; буде же бы имели, то начли бы на нынешнего одного десять прежде бывших». Екатерина была зла на Фонвизина. Она и раньше, слыша, что он сочиняет с Паниным некий трактат, негодовала: «Плохо мне приходится жить! уж и г-н Фонвизин хочет меня учить царствовать». А теперь – не приняла попыток объясниться, не простила и запретила публиковать его сочинения.

В 1784 году Фонвизин с женой уехал за границу, где пробыл до весны 1785 года – надеялся поправить расстроенные финансовые дела покупкой и продажей произведений искусства, — и хотя привез множество произведений, входящих ныне в эрмитажную коллекцию, больших доходов не получил. За границей он тяжело болел; вернулся в Москву – и тут его разбил паралич. Он, уже парализованный, едва стал владеть руками и ногами, пытался издавать

журнал «Друг честных людей, или Стародум» с подзаголовком «Периодическое сочинение, посвященное истине». Подписался «сочинителем «Недоросля». Для журнала он писал едкие сатирические памфлеты от лица героев «Недоросля». Журнал, однако, был запрещен. Вторая попытка издавать журнал – «Московские сочинения» – тоже не удалась. Средства таяли, по одному из имений началась тяжба; здоровье становилось все хуже: за один 1791 год он перенес четыре инсульта (удара, как тогда говорили). Он понимал, что долго не протянет; незадолго до смерти взялся за свою «Исповедь» – рассказ о прожитой жизни, названный «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях» и оставшийся неоконченным. Не окончил он и последнюю свою пьесу – «Выбор гувернера», которую привез для чтения к Державину, но ни идти сам уже не мог – его вели под руки, ни читать – он только слушал чужое чтение. Но и в этом состоянии, рассказывал присутствовавший на вечере Иван Дмитриев, он шутил, и, хотя язык его еле двигался, разговор его был остроумен: «Литература до последнего дня его была ему живым источником веселых вдохновений, бодрости и забвения житейских недугов и лишений. Параличом разбитый язык его произносил слова с усилием и медленно, но речь его была жива и ув-

лекательна... Несмотря на трудность рассказа, он заставлял нас не однажды смеяться». Гости разошлись в одиннадцать вечера; утром Фонвизин умер.

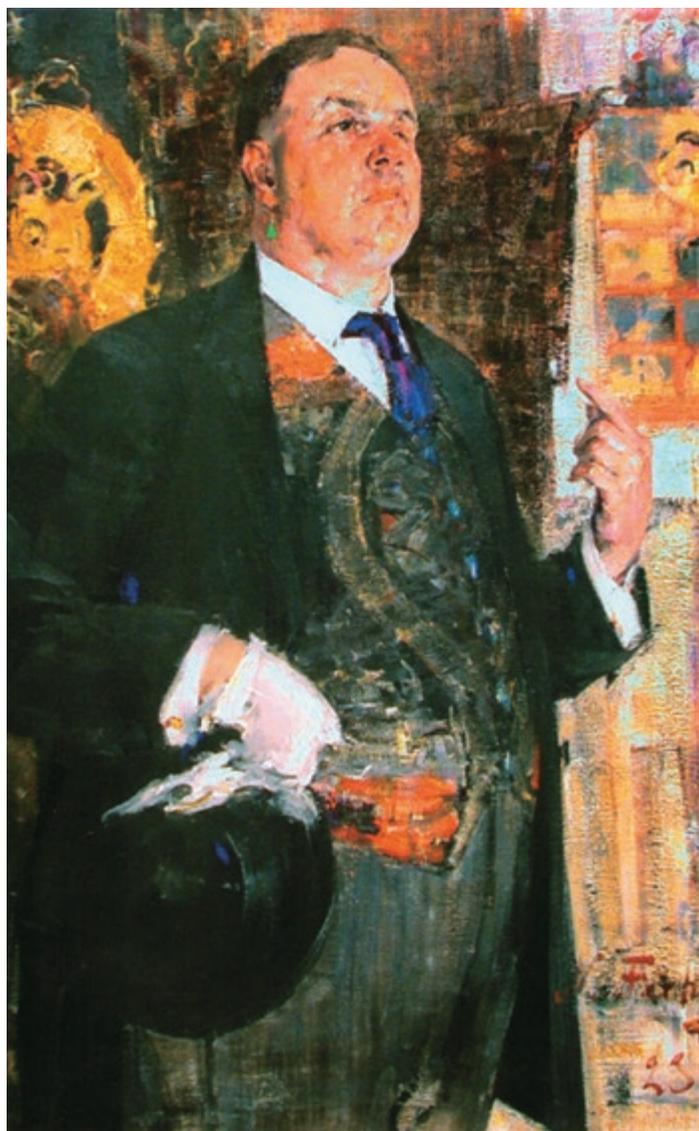
Обжора и моралист, умный наблюдатель и брюзга, государственный деятель и журналист, лексикограф и салонный остро слов, вольнодумец и кающийся грешник – он все вмещает, все соединяет в себе, все освещает светом разума и совести. Только такой человек, только в XVIII веке – пышном, циничном, разумном, распутном, бессовестном, мыслящем, взыскиющем правды – и мог создать вечно смешного и вечно страшного «Недоросля». ❀

ЛУЧШИЙ ХУДОЖНИК СРЕДИ ПОЭТОВ

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Лорнет, цилиндр, серьга-капелька в ухе, разрисованное лицо. Давид Бурлюк для русского читателя — только рядом с молодым Маяковским. А дальше? Бурлюк прожил длинную жизнь, объехал весь земной шар; искусствоведческие статьи и словари называют его не только русским поэтом, но и американским художником и даже «украинским отцом японского футуризма».

ОТЕЦ БУРЛЮКА ДАВИД ФЕДОРОВИЧ был из купцов-казаков; агроном-самоучка, он продал свой хутор и работал управляющим в разных имениях, издал несколько брошюр по сельскому хозяйству. Жена его, Людмила Иосифовна, в девичестве Михневич, из киевской дворянской семьи, преподавала музыку и пение. Она была сестрой фельетониста Владимира Михневича, который печатался в «Будильнике», «Сыне Отечества», «Голосе». Футурист Бенедикт Лившиц писал: «Людмила Иосифовна обладала некоторыми художественными способностями: дети унаследовали, несомненно, от матери ее живописное



ПРЕДОСТАВЛЕНО И. ЗОЛОТАРЕВЫМ

Н. Фешин.
Портрет
художника
Д.Д. Бурлюка
(Д.Д. Бурлюк
читает
лекцию).
1923 год

дарование». Под девичьей фамилией она участвовала в нескольких выставках вместе со своими повзрослевшими детьми.

Детей было шестеро: сыновья Давид, Владимир и Николай и дочери Людмила, Надежда и Марианна. Владимир, Людмила и Надежда были художниками, Николай поэтом. Младшую, Марианну, Давид называл «певицей-дилетанткой». Семья часто переезжала: имения, которыми управлял отец, находились в Харьковской, Тверской, Московской, Кур-ской, Херсонской губерниях; Давид

успел поучиться в гимназии в Сумах, Тамбове и Твери. Еще в детстве он потерял левый глаз — младший брат, Николай, нечаянно выбил его, когда братья играли с игрушечной пушкой. Стекланный глаз Бурлюка стал такой же необычной чертой его облика, как и разноцветный футуристический жилет, лорнет, серьга и рисунки на лице. Искусствоведы спорят о том, объясняется ли отсутствием глаза некоторое отсутствие глубины на картинах Бурлюка, — одним изображенные им предметы кажутся плоскими, другие, напротив, изумляются тому, как Бурлюку удавалось с одним глазом передавать объем.

Стихи Давид начал писать лет с пятнадцати: его первое стихотворение датировано 1897 годом. На следующий год, 16-летним, он поступил в Казанское художественное училище, через год перевелся в Одесское, еще через два вернулся в Казанское. В 1902 году вместе с сестрой Людмилой он отправился в Петербург поступать в Академию художеств. Людмила поступила (и стала едва ли не первой женщиной, туда принятой), а Давид — нет. Людмила увлекалась импрессионистами, красила волосы в красный цвет, необычно одевалась и писала, как свидетельствует Бенедикт Лившиц, в манере Писсарро. Потом она вышла замуж за скульптора Кузнецова, родила четверых детей, оставила живопись и посвятила себя семье.

ДИКИЙ КОНЬ

Давид в 1902 году уехал учиться живописи в Европу. Сначала он поступил в Королевскую академию изобразительных искусств в Мюнхене. Там он учился у художника Антона Ашбе, который называл Бурлюка «диким степным конем». Студентом Ашбе был и Кандинский. Позднее, когда Кандинский и Франц Марк основали группу «Синий всадник», Бурлюк вошел в нее и выставлялся вместе с Кандинским, Гончаровой, Паулем Клее; его кисти принадлежит узнаваемый и прекрасный «Синий всадник».

Затем Бурлюк направился в Париж, где учился в мастерской Фернана Кормона. Среди учеников Кормона были Тулуз-Лотрек и Ван Гог, Борисов-Мусатов и Рерих. Кормон, автор картин на доисторические темы, которые на сегодняшний взгляд кажутся пошловатыми, был, по свидетельству Тулуз-Лотрека, более снисходителен к ученикам, чем мэтры академии. Парижский круг общения Бурлюка включал соучеников по мастерской, графика Елизавету Кругликову, поэтов Константина Бальмонта и Макса Волошина, который брал у Кругликовой уроки рисования. Несомненно, уже тогда Давид читал и Рембо, и Верлена, и Малларме, и Бодлера; тогда же наверняка познакомился и с работами Ван Гога и Пикассо.

В Россию он вернулся в 1907 году. До этого бывал на родине наездами, участвуя в художественных выставках. После возвращения Бурлюк оказался в самом центре молодой художественной жизни страны. В декабре 1907 года братья Бурлюк вместе с Ларионовым, Лентуловым и Экстер создали группу «Венок — Стефанос», которая объединила молодых импрессионистов, неоимпрессионистов и авангардистов, и провели первую выставку в Строгановском училище в Москве. После того как «Стефанос» распался, братья Бурлюк вошли в объединение «Бубновый валет», затем откололись от него и вместе с Гончаровой, Ларионовым и Малевичем создали объединение «Ослиный хвост», которое старалось сочетать опыт современной французской живописи с традициями наивного народного искусства.

В 1909 году Давид поступил в Одесское художественное училище, затем поехал учиться в Москву — в Училище живописи, ваяния и зодчества. Там познакомился с Маяковским. О встрече тот вспоминал так: «В училище появился Бурлюк. Вид наглый. Лорнетка. Сюртук. Ходит напевая. Я стал задирать...» Бурлюку Маяковский тоже не понравился: «Какой-то нечесаный, невымытый, с эффектным красивым лицом апаша верзила преследовал меня своими шутками и остротами «как кубиста». Дошло до того, что я готов был перейти к кулачному бою... Мы посмотрели друг на друга и помирились, и не только помирились, а стали друзьями». Стали вместе проповедовать футуризм, что очень не нравилось начальству училища; в декабре 1913 года друзьям запретили

публичные выступления, а когда они не послушались, в феврале 1914-го из училища их исключили.

С 1907 года семья Бурлюк обосновалась в Чернодолинском имении графа Мордвинова в Таврической губернии, где отец получил пост управляющего. Семейство поселилось в экономии, называемой Чернянка; ей суждено было стать колыбелью русского футуризма. Бурлюк-старший создавал образцовое хозяйство, которое давало графу Мордвинову серьезный доход. Взрослые дети экспериментировали с живописными стилями и направлениями, ставили домашние спектакли и участвовали в археологических раскопках скифских курганов под руководством основателя Херсонского музея древностей Гошкевича. Зарисовки и чертежи, которые делал Давид Бурлюк во время раскопок, и сейчас хранятся в фондах Херсонского краеведческого музея. В Чернянке гостили художники и литераторы. Бенедикт Лившиц вспоминал, что Бурлюк зазвал его к себе в гости через час знакомства. Он вспоминает Чернянку как царство изобилия: «Здесь сумасшедший поток белков и углеводов принимал форму окороков, сыров, напряживал мясом и жиром человеческие тела, разливался румянцем во всю щеку, распирал, точно толстую кишку, полуаршинные тубы с красками, и, не в силах сдержать этот рубенсовский избыток, Чернянка, обращенная во все стороны непрерывной кермесой, переплескивалась через край». Физиологическое изобилие, хлещущее через край, — постоянная метафора в текстах о Бурлюке; сама его фамилия провоцирует ассоциации с буйством, неуемностью. Он и впрямь был ненасытен: всему хотел научиться, все попробовать — оттого любая полная подборка его живописи поражает разнообразием стилей и буйством красок. Кажется, это не один художник писал, а несколько: он все время учился, экспериментировал, искал — оттого в его творческом наследии и классические реалистические портреты, и наивные казаки с подсолнухами, и экспрессионистские холсты... И сюрреализму он отдал дань за свою долгую жизнь, и фовизму, и абстракционизму...

БУДЕМ ЛОПАТЬ ПУСТОТУ

Может, поэтому от Бурлюка в истории поэзии и осталось главным образом его переложение Артюра Рембо — веселое и энергичное утверждение жадной всеядности, готовности все вобрать, впитать, переработать:

*...Будем лопать пустоту
Глубину и высоту
Птиц, зверей, чудовищ, рыб,
Ветер, глины, соль и зыбь!
Каждый молод молод молод
В животе чертовский голод
Все что встретим на пути
Может в пищу нам идти.*

Может, поэтому искусствоведы полагают, что его холсты, выставленные вместе с работами соратников-авангардистов, проигрывают им в цельности и выразительности, а стихи его кажутся слабыми и вторичными. Недаром Маяковский назвал его лучшим писателем среди художников и лучшим художником среди поэтов. В самом деле, хотя Бурлюк и прославился сравнением неба с трупом, а звезд с червями, Маяковский куда более последовательно антиэстетичен и гораздо грубее. Крученных — более последовательно заумен, Хлебников — изумительный словотворец. А Бурлюк ограничивается, подобно Северянину, сложением корней: его «жестокотиканье» или «шаткомода» вполне стоят северянинских «златополдня» или «алозвони», но северянинской виртуозности в словообразовании он так и не достигает.

Исследователи бурлюковской поэзии обычно отмечают ее грубую физиологичность: в ней полным-полно разлагающейся плоти, икоты, потных подмышек и соплей, но это скорее не антиэстетика, не поэзия безобразного, а поэзия жизни, в которой есть место всему — и солнцу, и грязи, и птичке, и старику, и юной деве. Этот грубый, заносчивый, брутальный, «звероподобный», по выражению Лившица, мужчина мог быть нежным и трогательным:

*От тебя пахнет цветочками
Ты пленный май
Лицо веснушками
Обнимай точками
Небо у тебя учится
Не мучиться...*

Маяковский писал: «...Давид Бурлюк, как настоящий кочевник, раскидывал шатер, кажется, под всеми небами...» И в самом деле, он и в поэзии пробует себя во всем, и отыскивать его творческие корни, находить интертекстуальные связи с другими поэтами — интересное занятие для филолога. Он и серьезен, и абсурден, и пародист,

наследуя здесь графу Хвостову и предваряя обэриутов. Он сосредоточен на смертно-кладбищенской тематике, как Случевский и Сологуб. Он продолжает творческие эксперименты Рембо и Бодлера. Он бывает до изумления похож на Северянина (раннего, влюбленного в северную природу) — и не только всяческими «серебробруйными гонцами», но и любовью к скупой весне и тихой нежностью. Он часто возвышен до выстренности: его стихи переполняют церковнославянизмы: вежды, длани, ланиты, которые прелестно сочетаются с каким-нибудь декадентским «лиловым стремленьем» или

«пурпурными обещаньями» (тоже в духе исканий своего времени, когда поэты стремились найти синестетическую связь между цветом, словом, звуком). Иногда он дает трогательные сноски к своим метафорам: так, строчка «Лей желтое вино из синенькой бутылки» снабжена двумя сносками, поясняющими, что «желтое вино» есть лунный свет, а «синенькая бутылка» — небо. Цветовых эпитетов у него больше всего: чувствуется рука художника.

Собственно, главная тема его стихов — впечатление, взгляд, минутное изображение пейзажа или душевного состояния, набросок, этюд:

Это серое небо

Кому оно нужно

Осеннее небо

Старо и недужно

Эти мокрые комья

И голые пашни

И кнут понуканий

всегдашний

Стихи эти тем еще интересны, что это своего рода перевод живописи автора на язык стихов или своего рода дубль: здесь поиски и в русле кубизма, и наивного искусства, и — позднее — сюрреализма и фовизма... Некоторые стихи носят те же названия, что и полотна, и составляют с ними своеобразные пары. Впрочем, читать стихи Бурлюка для души, а не из следователского интереса вряд ли станешь: «Проклятый труд гнетет нас с колыбели // Одни умрут другие вновь запели // Прискучили слова озлобле-

ны напевы // И терпим мы едва призыв трескучей девы» — лишь изредка в них появляются (причем чаще в поздних, американских стихах) чудесная «веселая луковка», или поднимающиеся по лестнице влюбленные слоны, или возникает вдруг озорное признание: «я пьян, как пианино под лапками кота»... Но читать Бурлюка сплошь, подряд — укачивает.

ГИЛЕЯ И ГИЛЕЙЦЫ

Пожалуй, главное в нем было все-таки не его поэтическое мастерство, а удивительный талант организатора и вдохновителя. Это он собрал группу футуристов «Гилея». Название родилось в Чернянке: Гилея — это скифское название таврических степей, где располагалось мордвинское имение. Он подарил Кручных идею знаменитого «Дыр бул щыл». Он собирал и публиковал стихотворения Хлебникова, который хранил рукописи небрежно, терял их и сопротивлялся их публикации. Он организовывал выступления футуристов, которые в 1912–1913 годах ошеломили всю Россию. Они проносились по городам, изумляя новизной, смелостью и непонятностью. Лившиц приводит забавные примеры непонимания со стороны Бурлюков-родителей. Отец негодует по поводу живописных экспериментов: я, мол, сам так левой ногой могу нарисовать, зачем я трачу деньги на обучение вас живописи. Мама осторожно интересуется, не перегнули ли палку Додичка и Володичка. Вызолоченный нос кассирши, продающей билеты, цветастый жилет Бурлюка, желтая кофта Маяковского, расписные лица, странные афиши — все это создавало им скандальную и громкую славу. Газетчики глумились над хулиганами, публика валом валила на поэзоконцерты футуристов, свистела и улюлюкала. Футуристы печатали свои тексты на обоях и оберточной бумаге, экспериментировали со шрифтами и набором. Бурлюк выбрасывал знаки препинания, вводил в свои тексты выделения курсивом, жирным шрифтом и, как теперь говорят, «капслоком». Сейчас сплошные большие буквы принято расценивать на письме как крик — собственно, на графическое изображение крика он и рассчитывал: «А узкогорлые цевницы // Пронзили поражение тьму // Под грохот мозглой колесницы // Умчавшей СДОХШЮЮ ЗИМУ».

Бурлюк становится автором оглушительных футуристических деклараций и манифестов. Тех самых, которые требовали сбросить Пушкина с корабля современности и посылали к черту современных поэтов. Николай Бурлюк даже отказался подписывать это самое «Идите к черту!». Бурлюк собирает единомышленников, заражает энтузиазмом, формулирует смыслы — собирает отряды осваивать новые территории смысла... Опекает, публикует, подкармливает, зовет в Чернянку, издает сборники и пропагандирует новое искусство по городам и весям. В своей биографии Бурлюк насчитал 27 городов, где выступали футуристы. Шкловский

писал о нем: «И тут из провинции приехал Давид Бурлюк. Гениальный организатор, художник большого мастерства, человек, сознательно изменяющий живопись. Человек в ободранных брюках, одноглазый, остроумный и с лорнетом. Вот тут и зашумело.

Он ссорил и понимал. И в своем плацдарме в живописи понимал хорошо, соединял, нападал. Ходил в Эрмитаж, зарисовывал мускулы и сознательно писал новое.

Это был вождь».

...Собственно, это самый изученный период жизни Давида Бурлюка — самый громкий, самый яркий, может быть, самый плодотворный. Кончился он довольно скоро: с началом Первой мировой войны.

ЧЕРЕЗ ВСЮ РОССИЮ

Бурлюк не подлежал призыву из-за отсутствия глаза. Незадолго до войны — в 1912 году — он женился. Уехал из Москвы и поселился в имении жены — на станции Иглино под Уфой, там занимался поставками сена в армию. Живопись не бросал: в 1918 году участвовал в последней выставке «Бубнового валета» в Москве. Летом 1918 года линия фронта отделила Бурлюков от столиц и от семьи. Один из братьев, Владимир, погиб еще в 1917 году при неясных обстоятельствах. Второй, Николай, воевал на стороне белых и в 1920-м был расстрелян как бывший белый офицер.

Осенью 1918-го Давид Бурлюк оставил жену с детьми в имении и поехал на разведку на Дальний Восток; по дороге читал лекции о футуризме в Омске, Томске, Иркутске, Чите... «Футуризм — искусство современности», проповедовал он новой, рабочей аудитории. К июню 1919 года он добрался до Владивостока. «Разведывая обстановку и добившись кое-какого финансового успеха, он вложил деньги в ценные вещи и поспешил назад, к Уральским горам, где его ждала жена Мария с детьми. К этому време-



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

ни здесь свирепствовали голод и разруха. По сравнению с этим Владивосток казался далеким раем, — пишет исследователь дальневосточного и японского периодов его жизни В. Марков, — уже 27 июля в переполненной теплушке он вместе с семьей отправился назад. С ним были его младшая сестра, Марианна, и сестра его жены Лидия». Они не путешествовали — спасались бегством, отступали вместе с белой армией. Это было не идеологически обусловленное решение, а попытка выжить и спасти семью от Гражданской войны. По пути Бурлюк продолжал читать лекции и проводить выставки — и даже ухитрялся зарабатывать этим. В конце поездки он заболел тифом. Семье пришлось сойти с поезда на станции Никольск-Уссурийский и оставаться там, пока Давид Давидович не выздоровел. Еле живой после тифа, он снова отправился в путь. Снова читал лекции и продавал картины. Осенью 1919 года Бурлюки добрались до Владивостока. Портовый город был воротами в мир для эмигрирующих из страны — в нем временно осело множество актеров, художников, поэтов. Самым заметным объединением в городе было «Творчество», которое возглавлял Николай Асеев.

Давид Бурлюк. Дети Сталинграда. 1944 год

Асеев случайно встретил бедствующего Бурлюка на улице и вовлек его в деятельность художественного объединения, которое с этого момента стало явно крениться в сторону футуризма. Именно из воспоминаний Асеева нам известны подробности жизни Бурлюка во Владивостоке: «Наскребши немного денег, он закупал краски, холст, бумагу, чай, сахар, пшено, муку и материю на рубашки детям — всего месяцев на пять, и засаживался за холсты. Он писал маслом и акварелью, сепией и тушью, а его жена, Мария Никифоровна, сидела рядом, записывая диктуемые им рассказы и воспоминания. Двери его квартиры никогда не запирались. Возвращавшиеся из доков рабочие часто заходили к нему смотреть его цветистые полотна и разговаривать о них, столь странных, ярких и непохожих на Третьяковскую галерею». Бурлюк ворвался в художественную жизнь Владивостока — со всей своей страстью, яростными спорами и провокациями. Асеев вспоминал, как Бурлюк готовился к своей выставке во Владивостоке: беспокоился, повторял «прогорим», наконец, достал из-под кровати свой несвежий носок и прикрепил его к новому холсту: «Все только об этом и будут говорить». И в самом деле, все только об этом и говорили.

В 1919–1920 годах он возглавлял театр-кабаре «Би-Ба-Бо» — нечто вроде знаменитой «Летучей мыши» Никиты Балиева, в 1920 году, с окончанием Гражданской войны, театр-кабаре закрылся. Участвовал в работе театрально-студийной группы «Балаганчик»: много выставлялся, участвовал в диспутах, устраивал конкурсы. Асеев вспоминал, что на него смотрели «как на мессию», «зевачи ходили за ним толпами». Бурлюк ездил в Китай, организовывал выставки в Харбине. Наконец, в начале 1920-го, во время тяжелой и неоднократной смены властей в городе, он задумал уехать из страны. Хотел попасть в Америку, но, как пишет В. Марков, «Соединенные Штаты боялись проникновения левых настроений, буквально просеивая потенциальных эмигрантов через мелкое сито благонадежности».

У КОЛЫБЕЛИ ЯПОНСКОГО ФУТУРИЗМА

Бурлюк отправился в Японию, оставив семью во Владивостоке. Вместе со своим другом художником Пальмовым он прибыл в Токио в конце сентября 1920 года. Все предстояло начинать сначала. Предприимчивый Бурлюк, воспользовавшись интересом японцев к европейскому искусству вообще и к итальянскому футуризму в частности, уже в середине октября устроил «Первую выставку русской живописи в Японии», где выставил картины русских авангардистов из своей коллекции. Выставка пользовалась большим успехом — ее посещали до 600 человек в день; Бурлюк, отрекомендовавшийся местной публике отцом русского футуризма, устроил продажу своих картин и заработал достаточно денег, чтобы перевезти в Японию свою семью.

В Японии Бурлюки прожили два года; все это время глава семейства устраивал выставки, публичные диспуты, выступал с докладами об авангардном искусстве. Его картины продавались. Во время выступления в Университете Токио, рассказывает В. Марков, Бурлюк, «аргументируя свои мысли, разбрызгивал чернила по висевшему на сцене листу бумаги. Такие выступления автор трактовал как «футуризм в действии». Он много ездил по Японии и много рисовал, стараясь запечатлеть своеобразную красоту этой страны; его работы этого времени чрезвычайно разнообразны по стилю и жанру: он даже пытается создавать графические работы, приближенные к традиционной японской стилистике. Всего он за это время написал около 300 картин, из которых половину раскупили японские коллекционеры и музеи. Он изучал японское искусство и собрал коллекцию японской графики. Для японского авангарда Бурлюк стал своеобразным катализатором: вокруг него все забурлило; стали открываться выставки японских художников-авангардистов (иногда и с участием Бурлюка).

В августе 1922 года Бурлюк получил американскую визу и уехал с семьей в США. Поселился в Нью-Йорке. Жизнь пришлось начинать заново в 40 лет. Он вспоминал: «Я и Маруся с нашими двумя малолетними сыновьями милостью судьбы очутились в США, на безумной Манхаттанской скале в Нью-Йорке 8 сентября 1922 года — без денег, знакомств и... языка, так как я знал только древние языки, французский, немецкий и разговорный японский. Наши мальчишки, Давид и Никиша, под наблюдением и руководством матери пошли в школу, а я начал искать корку хлеба. Через несколько дней я выяснил, что мои гогеновского типа картины, привезенные с островов Великого океана в США, никого не интере-

суют, цены не имеют. <...> Я сам работы постоянной в рабочих организациях найти не мог, но начал еженедельно зарабатывать «кое-что»: чтением лекций для рабочих о жизни, делах и строительстве в стране Ленина, что помогло на время отгонять волка от нашего семейного очага».

АМЕРИКАНСКИЙ ХУДОЖНИК

«На открытие своей первой американской выставки он шел пешком, имея в кармане десять центов, а возвращался с чеком на семьсот пятьдесят долларов: в такую сумму была оценена его картина «Южноморский рыбак», — пишет В. Марков.

В Америке он занимается тем же, что и всегда: читает лекции, организует выставки, пишет статьи. Он опубликовал несколько книг по искусству. Писал стихи и новеллы, которые публиковала его жена в собственном издательстве. Издавал журнал *Colour and Rhyme* («Цвет и рифма»). В 1925 году в Америку приехал Маяковский; Бурлюк переводил ему, помогал ему, вместе с ним рисовал американскую возлюбленную Маяковского Элли Джонс.

Бурлюк никогда не высказывался против Советской России: напротив, декларировал верность идеям коммунизма. Он внимательно присматривался к происходящему на родине. Пытался поддерживать связь с оставшимися там друзьями, но друзей оставалось все меньше: многие эмигрировали, Хлебников умер, Маяковский застрелился, Лившица расстреляли в 1938-м... Он помогал Харджиеву и его коллегам работать над «Историей русского футуризма». Читал советскую прессу, в 1933 году попытался даже возразить Федину, резко отозвавшемуся о Хлебникове, в «Литературной газете», но его письмо не напечатали. Посылал на родину свои воспоминания в надежде на публикацию, но их не публиковали. В СССР Бурлюка считали не крупным художником мирового уровня, а представителем буржуазно-упаднического дореволюционного

искусства; футуризм считался формалистическим извращением. Незадолго до войны он обратился к советскому правительству с просьбой разрешить ему вернуться на родину — не разрешили.

Во время войны оба его сына воевали. Сам он напряженно присматривался к происходящему в России — и работал над монументальным полотном «Дети Сталинграда». «Моя картина «Дети Сталинграда» показывает то, что я пытаюсь бороться с фашизмом, с его ужасом, с дьявольским новым порядком и что я за демократию и за лидера одного из демократических бойцов — Советский Союз. Эта картина заняла 300 часов времени и 50 лет подготовки и учебы. Я работал над ней по меньшей мере 15 часов в сутки. <...> По левой стороне холста сцена обожженной земли, моменты ужаса и страданий, отчаяния и героизма, огня и разрушений, грабежа и бегства. Группа партизан движется по лесу... Справа река Волга, русская Миссисипи. Исторический позвоночник Евразии. Немцы никогда не были в состоянии одолеть ее. В центре веселая группа ребят и там же два флага — Советской России и Соединенных Штатов — двух великих стран, залог сотрудничества и дружбы. Поэтому за союзническую победу мы должны бороться, мы должны трудиться». После войны Бурлюк предлагал советскому правительству в дар свою картину «Непобедимая Россия». Правительство от дара отказалось...

ВОКРУГ СВЕТА В 80 ЛЕТ

Отношения с родиной наладились только в 1956-м, когда он смог приехать в оттаившую, «оттепельную» страну по приглашению Союза писателей. Возвращение было внешне триумфальным: статьи в прессе, путешествие в Крым на автомобиле, лекция в Музее Маяковского. Выступление было не скандальное, как обычно, спокойное — о счастье жить на родине, о Пушкине, о русской культуре. Старые знакомые казались ему постаревшими. Он им, пережившим репрессии и войну, — ничего не понимающим американцем, который продолжает жить багажом 1910-х годов. Он потом возвращался еще раз, в 1965 году; вторая поездка оказалась не такой счастливой и триумфальной: больше накладок, больше отравляющих радость мелочей. Сохранилось свидетельство, что он раздавал свои буклеты у памятника Маяковскому и повторял: «Я — его учитель». Он был уже совсем стар, но он все так же много работал, выступал, выставлялся и путешествовал. В 1962 году он, 80-летний, вместе с женой объехал вокруг света, два месяца прожил в Австралии, где, конечно, устроил свою выставку. Умер он в 1967 году, дожив до 85; через полгода умерла и его жена. Их прах развеяли в Нью-Йорке над океаном... 🍷



АЛЕКСАНДР БУРЬИЙ

ЛИЦО ПОЭЗИИ ДОНБАССА

АННА ЛОЩИХИНА

Сначала, как обычно, появилась идея. Как обычно, сначала воспринята она была скептически. Да и сроки для реализации проекта казались совершенно фантастическими. И правда, сомневались почти все задействованные в работе над проектом сотрудники фонда «Русский мир»: ну разве можно за месяц издать сборник стихов донбасских поэтов?

СВЯЗАТЬСЯ С ПОМОЩЬЮ Интернета с незнакомыми людьми в Донбассе, найти номера их телефонов, объяснить, уговорить, собрать их стихи, отобрать из них несколько десятков, сверстать и вычитать книгу, придумать название и дизайн сборника... И еще минимум две недели отвести на типографию! Но все сомнения были отброшены, когда те, кто взялся за этот проект, начали читать стихи донбасских поэтов, у каждого из которых — своя история, своя драматическая судьба. Чле-

ны редакционного совета совершенно сознательно принимали к рассмотрению стихи не только профессиональных литераторов, но и обычных людей, взявшихся за перо уже после того, как им пришлось столкнуться с суровой правдой военных будней, бомбежками, голодом, потерей родных и близких. Стало ясно: это и есть настоящий голос Донбасса, который должны услышать все. И не только в России.

«Не секрет, что западные средства массовой информации сумели создать Донбассу негативную репутацию, зачастую скрывая цели его борьбы и масштабы трагедии, — говорит инициатор проекта, советник председателя правления фонда «Русский мир» Татьяна Сухова. — Мы надеемся, что, вчитавшись в строки донбасских поэтов, люди смогут увидеть истинный Донбасс, почувствуют его боль и поймут подлинные причины сопротивления. Как написала одна из авторов сборника, поэтесса Екатерина Ромашук: «Мой город стоит на крови // За то, что не стал на колени». Так что сборник «Час мужества» — это действительно голос Донбасса. Есть лишь два условных исключения. Первое — Ирина Быковская (Вязовая), которую сегодня можно смело называть подлинной народной поэтессой Донбасса. Нам рассказывали, что, укрываясь в подвалах от обстрелов, люди переписывали и читали ее стихи, порой даже не зная имени автора. Как удалось выяснить, Ирина живет в Днепрпетровске, но постоянно приезжает волонтером в Донбасс — привозит лекарства, помогает беженцам. Второе исключение — Юрий Юрченко, который, приехав в Донецк из Франции военкомом, попал в плен к бойцам батальона «Донбасс», перенес пытки и истязания. Усилиями друзей был спасен и сейчас находится в Москве».

И вот наконец книга «Час мужества» готова. Позади горы переписки по электронной почте и бесчисленные часы телефонных разговоров, впереди — презентации сборника, приуроченные ко Дню русского языка. И самое главное —

встреча с несколькими авторами, которые согласились приехать в Москву. Все с нетерпением ожидали появления в столице Владимира Скобцова, Анны Ревякиной, Светланы Максимовой, Елены Заславской, Марины Бережневой. А также поэта, встречи с которым особенно ждали. Это — заместитель председателя правления Союза писателей ДНР Владислав Русанов. Тот человек, без терпения и колоссальной работы которого сборник «Час мужества» никогда бы не увидел свет.

«ЯЗЫК ОТВЕЧАЕТ НА БРОШЕННЫЙ ЕМУ ВЫЗОВ»

Первая презентация сборника состоялась 4 июня в пресс-центре ИА «Россия сегодня» на пресс-конференции председателя комитета Государственной думы по образованию, председателя правления фонда «Русский мир» Вячеслава Никонова. В презентации участвовали и авторы стихов, вошедших в сборник «Час мужества», — Владислав Русанов, Марина Бережнева, Анна Ревякина.

«Эта книга о том, как за последние двадцать лет на Украине выросла целая порода людей, говорящих на русском языке, которые убивают людей, говорящих на русском языке, только за то, что они говорят на русском языке, — сказал, открывая встречу, Вячеслав Никонов. — А «Час мужества» — квинтэссенция того, что может язык, который объединяет, язык, который отвечает на брошенный ему вызов».

Рассуждая о международной роли русского языка, Вячеслав Никонов рассказал, как в сложных внешнеполитических условиях фонду «Русский мир» удастся осуществлять свою миссию по продвижению русского языка за рубежом России.

Не только глава фонда «Русский мир», но и все участники презентации книги «Час мужества» говорили о том, как русский язык может объединять одних и бороться с другими, теми, кого такое объединение не устраивает. За что его и пытаются наказать законодательными запретами, отняв у людей право говорить по-русски и учить русский язык.

«Идея издать поэтический сборник «Час мужества» была выстраданной, — подчеркнул заместитель председателя правления Союза писателей ДНР Владислав Русанов. — Разрозненно стихи сборника давно гуляют по Интернету, а собрать их воедино у нас не было финансовых сил. Фонд «Русский мир» не просто изыскал такую возможность: он сделал книгу бесплатной и дарит ее всем желающим. Я в этом жесте вижу символизм и надежду, в сборнике ведь есть стихи поэтов, живущих на Украине за пределами Донбасса. Например, Ирина Быковская. Когда мы просили у нее разрешения на включение стихов в сборник, думали, что побоится, а она обрадовалась. И это человек, у которого и без сборника десятки тысяч репостов в социальных сетях. Значит, мы находим правильную дорогу к людям».

ВЫЗОВ РАЗЛОМУ РУССКОГО МИРА

И вот так — открыто, с шутками, с обстоятельностью читателей и доброжелательностью соседей — поэтов Донбасса и их «Час мужества» встречали везде: в Союзе писателей России, на радио и телевидении, в Театре имени Владимира Маяковского и в Государственной думе.

Открывая встречу 5 июня в Государственной думе, глава комитета Госдумы по образованию, председатель правления фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов сразу сказал, что «книга о нас всех». Он подчеркнул, что «в Донбассе произошел разлом Русского мира, и сейчас здесь настал час испытаний». Эту брато-

убийственную войну, по словам Вячеслава Никонова, спровоцировали внешние силы, и счет жертв идет уже на десятки тысяч.

«За 2013–2014 годы изучение русского языка в Донбассе свелось к минимуму, — рассказывает один из авторов сборника «Час мужества», Марина Бережнева. — Вся документация — в банках, в официальных учреждениях, на вокзалах — все было только на украинском языке. Доходило до нелепостей: в школах Пушкина и Лермонтова переводили и изучали на украинском, чтобы не было русской речи даже там, где она изначально. Конечно, внутреннее сопротивление такому искоренению русского языка было мощным и нашло отражение в майском референдуме 2014 года, когда народ проголосовал за провозглашение ДНР. Что напомнило Украине: Донбасс — это 100 национальностей, которых объединяет русский язык».

Марина Бережнева считает, что референдум заставил поверить в себя и дал толчок уже иному сопротивлению — с оружием в руках отстаивать право говорить на языке своей культуры. Вскоре русский язык вернулся не только в школы и вузы, в социальных сетях люди стали двуязычными — переписываются на русском и украинском языках, что давно стало нормой, которую Киев пытался нарушить.

Владислав Русанов, составитель и один из авторов сборника, подчеркнул, что в него вошли стихи поэтов не только из Донецка и Луганска, но и из маленьких городов, в том числе с территорий, которые сейчас заняты украинской армией. «Мы хотели показать лицо поэзии Донбасса, — сказал Владислав Русанов. — Стихи, вошедшие в сборник, демонстрируют не провинциальный уровень словесности».

ПОСМОТРЕТЬ В ГЛАЗА АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВИЧУ

6 июня, в День русского языка, который одновременно является и днем рождения Александра Сергеевича Пушкина, группа поэтов Донбасса пришла в столичный Государственный музей А.С. Пушкина. Директор музея Евгений Богатырев встречал гостей как родных.

«Это очень важно, что сборник стихов донбасских поэтов успели издать именно к 6 июня, — считает поэт, драматург, актриса, доцент кафедры международной экономики Донецкого национального университета Анна Ревякина. — Это своеобразный жест генетической памяти: 216 лет назад родился человек, на языке которого мы говорим и язык которого объединяет и формирует наши взгляды на мир».

Так День русского языка для поэтов Донбасса начался в весьма символичном и знаковом месте.

«Добро пожаловать в «Дом Пушкина», — вышел навстречу гостям директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев. — У нас давние дружеские отношения с фондом «Русский мир». Теперь благодаря фонду наших друзей в вашем лице прибыло. Вы — у себя дома».

Литераторы не растерялись. «Это надо отметить!» — оживилась Анна Ревякина. Она уверенно направилась к бронзовому бюсту великого поэта, стоящему в огромном холле музея. Поэтесса попросила сфотографировать ее на мобильный телефон, а сама отвернулась от камеры и коснулась бронзового пальца Пушкина. «Щелкайте!» — попросила она. А потом бойко объяснила коллегам, почему не захотела смотреть в объектив. «Зачем? — удивлялась она. — Когда я еще в глаза Пушкина посмотрю?»

Под впечатлением от непосредственности Анны Ревякиной ее коллега, поэт из Донецка Владимир Скобцов, достал свое удостоверение члена Союза писателей ДНР и тоже поднес его к бронзовому пальцу Пушкина. «С Александром Сергеевичем снимете? — попросил Скобцов товарищей. И встал в позу прилежного ученика. — Все же сам Пушкин мне удостоверение выписывает!»

«На долю русского языка и Русского мира выпадало немало испытаний, — согласился с Мариной Бережневой Вячеслав Никонов. — У нас не раз наставал «Час мужества». Так свое стихотворение назвала Анна Ахматова. Стихотворение, написанное в 1942 году в Ташкенте. Тогда действительно была схватка не только за нашу страну, не только за свободу человечества, это была и схватка за русский язык. Неслучайно Ахматова написала: «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово, свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки». В прошлом году «Час мужества» настал для той части Русского мира, которая называется по-разному — Донбасс, Донецкая народная республика, Луганская народная республика, Новороссия». Как бы то ни было, это та часть Русского мира, по которой прошел разлом. Как говорили многие из выступавших в Госдуме, книга «Час мужества» — духовный вызов этому самому разлому, вклад в дело борьбы за свободу, за свою самость, за русский язык.

**«МОЙ ЯЗЫК КОМУ-ТО
СТАНОВИТСЯ ПОПЕРЕК
ГОРЛА»**

Поэтесса Анна Ревякина убеждена, что историкам, социологам и военным аналитикам еще предстоит кропотливый анализ событий в Донбассе, а поэзия потому и поэзия, что она всегда идет впереди, предвосхищая восприятием и чувствами не только анализ, но и сами события. Так, стихотворение Анны Ревякиной «Родная речь», не вошедшее в сборник «Час мужества», было написано в феврале 2014-го, накануне гражданской войны на Украине, словно предисловие к ней.

*Мой язык кому-то становится поперек горла.
Говорить на нем все равно что терпеть сверла
по металлу в кости подъязычной и рядом с небом.
Мой язык поэтический уродлив для русофоба.
Моя личная фобия — договаривать все до точки,
моя личная точка там, где ушная мочка
переходит в хрящ. В нем нервическая основа,
перевод синхронный влетевшего птицей слова.
Отстранившись прилюдно, перебираю смыслы,
мой язык гениален, выдыхается углекислым.
Лишний повод расти деревьям, цветам и травам,
лишний повод закату стать навсегда кровавым.
Мой язык для кого-то сложен и неприемлем,
он впитал весь пот, что отдан был русским землям,
он звучит внутри, как то, что молчать не может.
Мой язык — пятно несмываемое на коже.*

«Эти строки — концентрат нашего мировоззрения, — сказал поэт, член Союза писателей ДНР Владимир Скобцов. — Как только в кровавом винограде 2014–2015 годов на Украине появился нацизм, для Русского мира Донбасс стал концентратом России. Донбасс, как и Россия, многонационален и объединен русской культурой и русским языком. А нам под дулом автомата и бомбежками «предлагают» другую идентичность. Нашла коса на камень. Факт: украинская армия не может силой взять Донецк и Луганск. Наша сила в том, что не бытие определяет сознание, а сознание формирует наш дух. «Язык есть Бог», — сказал Бродский. Или: «В начале было слово». Вот источник нашей силы. Именно вибрации языка, которые нельзя увидеть и потрогать, формируют наше интеллектуальное, духовное и физическое поведение, наше тело и силу духа, а в итоге — фактор Победы».



АЛЕКСАНДР БУРЬИЙ

ПРАВДА О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ

Когда поэты Донбасса начинали читать свои стихи, не важно где — в музее, на пресс-конференции, на радио или в стенах Госдумы, — всюду их слушали внимательно и сосредоточенно. Владислав Русанов, Анна Ревякина, Светлана Максимова, Владимир Скобцов, Марина Бережнева, Юрий Юрченко в полном зале читали свои стихи и стихи своих товарищей, которые не смогли приехать в Москву. Ведь в сборник вошли произведения 33 авторов.

«В Государственной думе часто звучат стихи, но таких я не помню. Такой уровень эмоционального напряжения здесь я слышал впервые», — прокомментировал выступление поэтов Донбасса заместитель руководителя аппарата Госдумы Юрий Шувалов. Он пообещал сделать все возможное, чтобы поэзию, представленную в сборнике, узнали широко во всей стране, и предложил поэтам совершить поэтический тур по городам России. «Это настоящая правда о том, что происходит. Она лучше любых новостей и фронтовых сводок», — сказал Юрий Шувалов.

«На наших глазах возрождается традиция фронтовой поэзии, которой, я думаю, уже нет, — считает писатель, главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков. — Это великая традиция, она возродилась, будто и не было никакого перерыва. Поэзия такого нравственного накала и социальной значимости должна присутствовать во всем информационном пространстве. Но, к сожалению, нам четверть века внушали, что поэзия — это всего-навсего милая литературная игра, которой занимаются филологически подготовленные люди, и как бы к жизни нации, к ее историческому будущему это не имеет особого отношения. Это, конечно, абсолютная ложь, но, к сожалению, укоренившаяся в наших, особенно электронных, СМИ. Увы, гражданская поэзия почти ушла из нашего эфира. И даже на канале «Культура», где удалось создать поэтическую передачу «Вслух», стихи, которые там звучат, ничего, кроме оторопи и недоумения, не вызывают. Думаю, чтобы московские встречи с донбасскими поэтами имели реальный выход в мир, стоит обратиться к каналу «Культура», чтобы он в передаче «Вслух» пригласил авторов «Часа мужества».

Впрочем, то, что для многих в Москве звучало откровением или открытием особого нерва донбасской поэзии, для Донбасса — норма. Например, на вопрос: «Что дает силы людям в Донбассе выживать в такой ситуации?» — Владимир Скобцов ответил: «Простые вещи. Раз я случайно услышал, как сосед говорил соседу, что за доли секунды успел увернуться от обстрела улицы. Тот ему ответил: «Скажи спасибо, что живой». Теперь это и моя молитва и благодарность Богу».

«Ментально Донбасс — часть Русского мира, поэтому литературный процесс сродни языку — один язык и один литературный процесс, но у них разные акцентные моменты, — сказала Анна Ревякина. — Донецкая литература резкая, конкретная и очень конструктивная. Донецк традиционно был и остается городом, где есть два вектора

роста — балет и шахтеры. Балет нашей мировой знаменитостью Вадимом Писаревым возведен в ранг лица города, а с шахтерским лицом Донецк, можно сказать, родился. У украинского фотохудожника Арсена Савадова есть фотосессия «Донбасс и шоколад». Там шахтеры принимают душ после смены и на них... балетные пачки. Резко, китч, он искажил реальность, но Донбасс — он такой. Может, поэтому для нашей литературы характерны две главные черты — кровь и любовь, простите за рифму. Там, где труд идет рука об руку с угрозой жизни, там, где живут как порхают на пуантах, всегда есть четкое понимание: пуанты не только крылья, но и кандалы. Отсюда градус донецкой поэзии, она прорастает именно через эти глубины».

Однако появятся ли авторы «Часа мужества» на канале «Культура», ясности нет: ведутся переговоры. Пока «Литературная газета» взялась за публикацию не только стихотворений из сборника «Час мужества», но и других стихов, как авторов сборника, так и других донбасских поэтов.

Следующим шагом станет распространение сборника «Час мужества». Книга появится сначала в школах и библиотеках Донецка и Луганска, затем в России, а потом и по всему миру. Сборник пополнит библиотечные фонды всех Русских центров и Кабинетов Русского мира, которые открыты фондом «Русский мир» более чем в ста странах.

Но первый шаг к популяризации и распространению «Часа мужества» уже сделан: сборник может бесплатно скачать

любой желающий на портале фонда «Русский мир».

«Это только начало, — утверждает Владислав Русанов, — следующий такой сборник будет издан с участием молодых, от 12 до 20 лет, поэтов и прозаиков Донбасса. У них другое чутье жизни, другое перо, другое мироощущение. Думаю, сборник будет как на русском, так и на украинском языке. Да, дети говорят на разных языках, но они видят Донбасс, как и мы, — без нацизма, без фашизма и говорящим на языке, который объединяет все наши народы, — на русском».

А Я МОГУ ЛЮБИТЬ

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

Молодость, любовь, желание счастья, осознание собственной поэтической силы — и бескрайнее горе, репрессии, война, блокада, голод. Творческий взлет Ольги Берггольц — стихи, растущие не из сора, а из крови, снега и пепла.



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

Ольга Берггольц.
1970-е годы

ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ РОДИЛАСЬ в семье врача из обрусевших латышей Федора Христофоровича Берггольца и его жены Марии Тимофеевны Грустилиной. Федор Бергголец работал на фабрике, мать была учительницей рукоделия. Отец, образованный, веселый, деятельный, и меланхоличная, экзальтированная, религиозная, пишущая с ошибками, но влюбленная в литературу мама были не самой идеальной парой, хотя поначалу очень любили друг друга.

Отец оканчивал университет в Юрьеве (нынче Тарту), ездил на ликвидацию холерной эпидемии в Голодной степи; с осени 1914 года был на фронте: сначала служил в полевом госпитале, потом на санитарном поезде. Некоторое время семья жила на даче в Финляндии; Ольга Федоровна вспоминала, что они провели там зиму в 1916–1917-м: «В феврале «большие» ходили таинственно, слова «в России переворот» шуршали повсюду, мы боялись чего-то, нам ни о чем не рассказывали. Но мы жадно впитывали каждое сообщение и, наконец, узнали, что царя свергли. Взволнованные, мы недоумевали и выпячивали губы, подражая взрослым. К середине лета все чаще слышали мы слова «большевики» и «Ленин», — писала Берггольц в повести «Углич».

Семья жила в беспокойном рабочем районе за Невской заставой. Нянька обнимала маленькую Ольгу и бормотала, когда ее пугало зарево за окном: «Ницего, Лялецка, ницего... Это уцасток горит, фабричные опять бунтуют. Мало им, цто государя-анператора свергнули, теперь вот и сам уцасток подозгли...»

С 1918 года Мария Тимофеевна с дочками, Лялей и Мусей, спасалась

от петроградского голода в старинном Угличе. Отец в Гражданскую был врачом в Красной армии. Он только изредка приезжал в Углич навестить семью. Повесть «Углич» рассказывает о детстве тяжелом и голодном: о вшах, клопах и тараканах, о том, что едят конину, картофельную шелуху, лепешки из кофейной гущи; о сырой и угарной келье в монастыре, куда мать перебралась с девочками; о том, как она меняла вещи на еду... Но самое главное в «Угличе» — это, пожалуй, история правдоискательства 12-летней героини: в душе ее борется старая правда мамы, бабушки, монашек из монастыря, горюжан с новой правдой учителя-большевика... Уже к 14 годам выбор сделан: девочка, вдумчиво ищущая правды,

отказывается от религии и находит истину в учении о коммунизме. Характерна дневниковая запись 1924 года: «Вчера до 12 спорила с папой и мамой. Они доказывали несправедливость современного строя, а я его защищала. Да, несправедливости много, но ее надо изжить, и она будет изжита...» А старый, колокольный Углич будет потом отзываться памятью детства, воспоминанием о лесе, о траве, о Волге, о землянике: *В сырой канавке, полной лунных бликов, светляк мигнул таинственным огнем... И вновь брожу, колдуя над ромашкой, и радуюсь, когда, услышав зов, появятся сердитые букашки из дебрей пестиков и лепестков. И на ладони, от букетов липкой, нарочно обещающей пирога, ношу большую старую улитку, прошу улитку выставить рога...*

Стихи девочка начала писать рано. Племянник Берггольц Михаил Либединский приводит в своих материалах, посвященных истории семьи, ранние стихи Ольги, которые сохраняла ее мать, и комментирует: «Мария Тимофеевна всячески поощряла в детях, а особенно в Ляле, литературное творчество. Она шивала из серосиней тонкой бумаги большеформатные альбомы, в которых 8–10-летняя Ольга выпускала свои «Литературные журналы», в которых была и проза, и

стихи, и даже иллюстрации». Мама восхищалась каждым ее стихотворением, и множество детских стихов Берггольц посвящено маме — но свои первые «серьезные» стихи, на смерть Ленина, она понесла показать отцу. Отец отнес их в стенгазету фабрики «Красный ткач», где работал врачом. Берггольц вспоминает в «Дневных звездах», как папа пришел с работы «какой-то напыженный, и в то же время явно ликующий» и сообщил, что стихи опубликованы. Это было уже в Петрограде, куда отец после окончания Гражданской войны забрал жену и детей. Ляля пошла в 117-ю трудовую школу.

Следующее стихотворение появилось в газете «Ленинские искры» в 1925 году — «Песня о знамени». В этом году девятиклассница Берггольц начала посещать собрания литературной группы «Смена», входившей в Ленинградскую ассоциацию пролетарских писателей. Годом позже, 16-летняя, с золотыми косичками, она прочитала на заседании Союза поэтов свое стихотворение «Каменная дудка» — о глине, из которой сделали утку-дудку:

*Мяли меня, мяли
Руками и ногами,
Сделали птицу из меня.
Поставили в печку,
В самое пламя,
Горела я там три дня.
Стала я тонкой,
Стала я звонкой,
Точно огонь, я красна...*

Чуковский, который вел это заседание, сказал Берггольц, что она «хорошая девочка» и станет настоящим поэтом.

И в самом деле: настоящему поэту свойственно видеть и понимать больше, чем другим: отсюда своеобразный пророческий дар Берггольц, ясно провидевшей свою творческую судьбу: «Мяли меня, мяли руками и ногами, сделали птицу из меня. Поставили в печку, в самое пламя»...

НЕ СПИ, ВСТАВАЙ, КУДРЯВАЯ

В «Смене» Берггольц была самой молодой. Среди других молодых поэтов выделялся Борис Корнилов, к которому Ольга сразу потянулась. Он был увлечен Есениным, в стихах его тоже заметны есенинские мотивы. Его помнят в основном по «Песне о встречном» — «Кудрявая, что ж ты не рада веселому пенью гудка?»; говорят, в этой песне Берггольц написала одну строфу.

Берггольц работала разъездным корреспондентом. Жила в самых суровых условиях: «Чума, холера, черная оспа, — вспоминала она в набросках к «Дневным звездам». — Там хранили воду в выдолбленных тыквах и пытались замостить почти болотистые улицы Алма-Аты...» Романтика начала 30-х захватила ее целиком: она строила социализм. Писала очерки, стихи, детские рассказы. Из очерков, написанных в Казахстане, сложилась книга «Глубинка», вышедшая в 1932 году. А началась писательская биография Берггольц с детской книжки «Зималето-попугай» (так в Угличе дразнили плохо одетых), вышедшей в 1930 году. Повесть «Углич» тоже появилась на свет в 1932-м.

Корнилов сделал ей предложение у подножия Медного всадника. Она вышла замуж едва 18-летней, на самом пороге взрослой жизни.

В 1927 году Корнилов и Берггольц пошли учиться на Высших государственных курсах искусствоведения при Государственном институте истории искусств. У них преподавали лучшие литературоведы и искусствоведы: Эйхенбаум, Тынянов, Соллертинский. В 1929 году курсы закрылись, и часть студентов перевели в Ленинградский университет на филологический факультет; в их числе была и Ольга Берггольц.

В октябре 1928 года она родила дочь Ирину. Жизнь с Корниловым не заладилась: он выпивал, был неверен, непостоянен. Это вообще было время большой свободы чувств — время борьбы с мещанством, под которым понимали и семейные узы, и ревность, и быт. Аскетичное жилье, фабрики-кухни, коммуны — чтобы не тратить время на тряпки, еду, посуду, хозяйство. Михаил Либединский писал о своей матери и тете, сестрах Берггольц, что они были «плохие хозяйки и отвратительные матери»; детьми занималась бабушка. У Ольги была любовь к маме сменилась неприязнью к ее «мещанству» — до приступов ненависти даже; для юной комсомолки главное было — жить и работать для нового мира.

Семья Берггольц и Корнилова развалилась в 1930 году. Ольга увлеклась однокурсником Николаем Молчановым, который стал ее вторым мужем (официально они расписались в 1932 году) и самой большой любовью.

ВЕРЯЩАЯ

Учеба в университете подходила к концу; студентов отправили во Владикавказ на практику в газете «Власть труда». Может быть, главное, что осталось в жизни Берггольц от этой практики, — необыкновенное ощущение счастья, захлестнувшее ее на Мамисонском перевале — с его огромной, вечной, не знающей ничего сиюминутного красотой:

*И диким этим безучастьем
была душа поражена.*

*И как зенит земного счастья
в душе возникла тишина.*

В декабре 1930 года Берггольц окончила университет. Ее распределили в Казахстан — корреспондентом алма-атинской газеты «Советская степь». Молчанов поехал туда же. Маленькую дочь Берггольц оставила у своей матери. Бабушка и растила Ирину, в которой не чаяла души. Девочка была большая фантазерка и умница, сочиняла стихи, но не отличалась крепким здоровьем. После тяжелой ангины у нее обнаружили осложнения на сердце — и декомпенсированный порок сердца.

В Ленинград она вернулась в 1931 году. Ее детские книжки издавались в редакции Самуила Маршака, который познакомил Берггольц с Горьким. Горький звал ее «тетя Оля». Однажды он сказал ей: «Тетя Оля, а ведь вы — верящая». Берггольц ответила: мол, давно порвала с религией. «Не верящая, — сказал он ей, — а верящая». И она была верящая — искренне верящая в добро, в справедливость, в коммунизм — который «грянет... разверзнется, воссияет» — так, что в него можно будет вбежать, как по горной дороге к прекрасному перевалу. Молодая, красивая, сильная, золотоволосая — настоящая комсомолка с плаката, она, казалось, летела навстречу ожидающему ее счастью.

ВМЕСТО СЧАСТЬЯ

В Ленинграде Ольга пошла работать на завод «Электросила». В 30-х партия поставила перед писателями задачу изучать пролетарскую жизнь и отправила их на производство — осваивать материал в самой гуще рабочей жизни, писать историю фабрик и заводов. Берггольц устроилась в заводскую многотиражку, занялась изучением истории «Электросилы» и Завода имени Козицкого.

Молчанова призвали в армию — служить на границе в Туркестане. Из армии он скоро вернулся: комиссовали,

поскольку у него обнаружилась тяжелая эпилепсия. Болезнь очень мучила его и домашних. Жила молодая семья в доме №7 на улице Рубинштейна, который называли «слезой социализма»: «Мы, группа молодых (и очень молодых!) инженеров и писателей, на паях выстроили его в самом начале тридцатых годов в порядке категорической борьбы со «старым бытом» (кухня и пеленки!), поэтому ни в одной квартире не было не только кухонь, но даже уголка для стирки», — вспоминала Берггольц в «Дневных звездах». В 1932 году у Ольги и Николая родилась дочь Майя, которая прожила на свете очень недолго и умерла в 1933-м, не дожив до года. Стихи о смерти Майи в 1933 году пронизаны идеологией: «Четыре дня Республика сражалась // За девочку в удушье и в жару...» «Но я — живу и буду жить, работать, // еще упрямей буду я и злей, // чтобы скорей свести с природой счеты // за боль, и смерть, и горе на земле». Но второе ее стихотворение о Майе, «На Сиверской, на станции сосновой...», вышедшее в «Литературном современнике» в 1935 году — это замечательные стихи, лишённые всякой декларативности — и полные сдержанной, невыносимой, прозрачной боли:

*...и кто-то маленький, не уставая,
кричал в соседнем молодом саду
баском, в ладошки: «Майя, Майя!
Майя!..»*

И отзывалась девочка: «Иду...»

Наверное, именно сейчас появляется в ее поэзии ощущение трагической хрупкости и драгоценности бытия. А ее оптимизм, ее вера, ее человеческая стойкость снова будут испытаны на прочность.

У нее вроде бы все складывалось хорошо: вышел сборник «Стихотворения», ее приняли в Союз писателей. Она работала секретарем газеты «Литературный Ленинград». Одна за другой выходили книги. Она была молода, необыкновенно хороша собой; в нее влюблялись, она влюблялась. Быть любимой, увлекаться, нра-

виться — это был ее способ жить; витальная энергия была из нее ключом. А муж был болен, и все тяжелее болела Ирина. Мать и бабушка металась по врачам, устроили девочку в санаторий в Детском Селе — там она и умерла в марте 1936 года. Девочка очень мучилась. У нее болело сердце, она просила камфары, умоляла дать еще («Мама, Господом Богом прошу» — «Не надо Богом»). Она понимала, что умирает, и это понимали сходящие с ума от горя мать и бабушка — были рядом и не могли помочь, и не спасли. «Сама я тебя отпустила, // сама угадала конец, // мой ласковый, рыженький, милый, // мой первый, мой лучший птенец...».

В 1936 году, когда начались репрессии, был обвинен в троцкизме Борис Корнилов. Берггольц записала тогда в дневнике: мол, Борьку не жалко (а потом — потом было

чудесное стихотворение, переключка с посвященными ей стихами Корнилова; потом она требовала опубликовать его стихи, собирала его книгу, написала к ней предисловие — и не взяла ни копейки гонорара, все отдала бывшей свекрови). Корнилова исключили из Союза писателей. 18 марта 1937 года в «Ленинградской правде» вышла статья, где Корнилова называли «кулацким последышем», 19 марта его арестовали. Ольга Федоровна была беременна, беременность была тяжелой, опасались выкидыша; она лежала в больнице на сохранении. Затем



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

Ольга Берггольц.
1930 год

в апреле разоблачили рапповского критика Леопольда Авербаха, с которым Берггольц общалась в начале 30-х. В троцкизме обвинили уже ее лично; 29 мая на заводе «Электросила» состоялось заседание партийной ячейки, на котором беременную Берггольц спросили о характере отношений с Авербахом. Протокол заседания опубликован Михаилом Золотоносовым; вот один из вопросов, занесенных в протокол: «Ты жена Молчанова, имела дочь, а вела себя так вульгарно, с другими крутила, в машинах кататься ездила, по ресторанам ходила, по 3 часа просиживала с ним — чем это объяснить?» Берггольц объясняла: с ним было приятно общаться, общались на литературные темы, а не на политические... Собрание постановило «за потерю политического лица как в партийном, так и в бытовом отношении» исключить Берггольц из кандидатов в члены ВКП (б). В июле ее вызвали на допрос по делу Авербаха. После допроса у нее начались преждевременные роды на шестимесячном сроке; ребенок умер. С завода ее скоро уволили, на демонстрацию 7 ноября, куда она пришла, не пустили — для нее это было тяжелое унижение. Она пошла работать в школу: полгода преподавала русский и литературу в седьмых классах. В характеристике, которую ей дали в школе, подчеркнуто, что она все делала правильно и хорошо. Затем, после постановления Пленума ЦК ВКП (б) о перегибах при исключении коммунистов из партии, решила восстановиться в партии. Это ей удалось: и в партии восстановиться, и в Союзе писателей. Она даже вернулась на завод. Но ненадолго.

Корнилова расстреляли в феврале 1938 года, а 14 декабря арестовали Ольгу Федоровну. Она снова была беременна и надеялась, что будет мальчик Степка. Ей вменяли в вину организацию покушения на Жданова; по одной из версий следствия, Жданова должны были расстрелять из танка во время демонстрации. Показание на Берггольц и Николая Молчанова дал под пытками друг ее юности, вместе с ней бывший в Казахстане и мечтавший о светлом будущем.

На одном из допросов у нее начались преждевременные роды, хлынула кровь. Босую и окровавленную, ее отвели под конвоем по снегу в медчасть. Она рассказывала потом: «Сидели несколько врачей. Не подошел никто. Молодой конвойный со штыком наперевес, пряча слезы, отвернулся.

– Ты что, солдатик, плачешь? Испугался? А ты стой и смотри, как русские бабы мертвых в тюрьмах рожают!»

Она просила доктора передать мужу, что «Степки больше нет». Отлежала несколько недель в тюремной больнице и снова вернулась в тюрьму. Выпустили ее в короткий период борьбы с ежовщиной в июле 1939 года.

Тюрьма все перевернула в ней. Она записывала в дневнике: «Все отзывается тюрьмой — стихи, события, разговоры с людьми. Она стоит между мной и жизнью». О тюрьме невозможно было говорить; этот опыт требовал осмысления — но говорить она могла только с дневником. Этот дневник, вышедший недавно под заглавием «Запретный дневник», стал ее свидетельством о времени. Она так и писала: «Я здесь, чтобы свидетельствовать». Дневники свидетельству-

ют о потере веры в советскую власть и мучительном рождении новой веры — в гуманизм, в силу слова, в совесть, в человека. «Тюрьма — исток победы над фашизмом. Потому что мы знали: тюрьма — это фашизм, и мы боремся с ним, и знали, что завтра — война, и были готовы к ней», — записала она потом. А в партию она снова вступила в 1940 году.

Стихи и дневники Берггольц конца 30-х полны предчувствия катастрофы, войны, грядущих бедствий и потерь — и ощущения силы, цветения, творческого взлета. Она уже сейчас мощный, серьезный поэт — свободный от идеологических заклинаний, от пустой риторики. Об одном из стихотворений этого времени она написала в дневнике, что сама его испугалась. Это «Аленушка» — разговор с совестью:

*Голосом звериным, иступленная,
я кричу над омутом с утра:*

*«Совесть светлая моя, Аленушка!
Отзовись мне, старшая сестра.*

*На дворе костры разложат вечером,
смертные отточат лезвия.*

*Возврати мне облик человеческого,
светлая Аленушка моя...*

Обсуждать тюремный опыт было невозможно. Оплакивать ушедших было невозможно. Невыплаканная скорбь копилась в ней, ощущение катастрофы гущалось — и когда катастрофа грянула, Берггольц оказалась к ней готова. У нее нашлись и слова, и сила, чтобы стать голосом блокадного Ленинграда. И отстоявшаяся, густая скорбь, и ненависть к палачам любого рода, и любовь к жизни, и вера — все это сделало ее «блокад-

ной Мадонной». Радио в блокадном Ленинграде было дыханием жизни, и Берггольц помогала держаться за жизнь. Она и сама однажды осела от слабости, споткнулась, села на что-то — оказалось, на замерзшего покойника, и так бы осталась замерзать — но услышала свой голос по радио, убеждавший ленинградцев жить, и поднялась, и пошла дальше...

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

Ее дневник времен блокады полон ненависти к власти, допустившей войну и медленное умирание Ленинграда, и к фашистам, которые для нее — проявление той же силы расчеловечивания, с которой она столкнулась в тюрьме, — и в то же время жажды жизни, жажды любви, женского счастья. Ей едва за 30, она в самом расцвете красоты и силы. Она флиртует и кокетничает со знакомыми мужчинами; с сентября начался роман с Георгием Макогоненко, ее начальником по радиокомитету. Она предвидела, что мы, потомки, читая страницы дневника, будем ее осуждать, — и записывает, что не для потомства она все это пишет, что это просто жизнь — жизнь, за которую идет война, за жизнь против смерти...

Удивительно, но еще до войны она предвидела и то, что будет война, и то, что муж погибнет; его эпилептические приступы становились все чаще; голод довершил дело. Горячо любимый муж умер в холодной больнице в январе 1942 года — минус пять, заледеневшие лужи мочи...

Макогоненко и сестра Муся, которая приехала из Москвы с подарками ленинградским писателям, убедили ее, страдавшую тяжелой дистрофией, улететь в Москву в командировку и этим спасли. Она не хотела покидать Ленинград. Но она думала, что опять беременна. В Москве оказалось, что она просто страшно отекла от голода.

По сравнению с мучительно и гордо умирающим Ленинградом военная Москва казалась обычным городом. Здесь быт, писала она Макогоненко, а там, в Ленинграде, — бытие. В Москве нельзя было говорить о трагедии Ленинграда, а она ни о чем другом говорить не могла. Нельзя произносить слово «дистрофия». Нельзя посылать посылки с продуктами: Жданов запретил, чтобы не было кривотолков. Она хотела кричать: слушайте, что происходит, — но

не слушали... А кривить душой она не могла: «После смерти Коли ложь стала совершенно для меня непереносима», — записала она в дневнике.

Зачем, зачем?

*Мне даже не баюкать,
не пеленать ребенка твоего.*

*Мне на земле всего желанней мука
и немота понятнее всего.*

Как странно отражаются эти строчки в ахматовских, написанных тремя годами позже: «Всего прочнее на земле печаль и долговечней — царственное слово». И еще одна знаменитая переключка в их строчках: «Но в мире нет людей бесслезней, // Надменнее и проще нас», ахматовское 1922 года, и у Берггольц в предвоенном, в мае 1941 года написанном стихотворении: «Но не было людей бесстрашней // И горделивее, чем мы!» Ахматова и Берггольц очень похожи именно этим скорбным величием и бесстрашием людей, все потерявших — отсюда, наверное, и их творческая переключка, и взаимная симпатия. Берггольц перестала бояться — и об этом тоже писала в дневнике в 1942 году: «Все мои горести, весь страх позади — я уже потеряла все, и мне нечего больше терять. Жизнь — это уже не утрата». И дальше удивительное: но сердце сжимается от жалости к сестрам, к женщинам: уж пусть лучше я одна, «если б можно было ценой своего горя купить покой и отраду другим». В этом, наверное, и сила ее блокадных стихов и выступлений — не сила ненависти, а сила любви в них звучит, ощущение родства со всеми теми, кто проходит через ледяной мрак ленинградской блокадной ночи.

Что может враг? Разрушить и убить.

И только-то? А я могу любить...

И город откликнулся любовью. Ее узнавали на улицах, ей писали — много, взволнованно, и она замечала: «В ответ на это хочется дать им что-то совсем из сердца, кусок его, и вдруг страх — не дать!»

НЕ ЛГАТЬ

Эта всеобщая любовь защищала ее потом, после войны, во время очередного заморозка. Еще во время войны она спрашивала знакомого: как, по-вашему, после войны что-то изменится? Оказалось, ничего не изменилось: то же вранье, те же палачи, которые истоптали ее молодость и лишили надежды иметь детей. Сразу после победы, в конце мая, на X Пленуме Союза писателей поэт Прокофьев заявил, что Берггольц слишком много говорит о страданиях ленинградцев. Осенью, откликнувшись на поэму «Твой путь», где была поразительная по силе часть о вмерзшем в лед человеке, тот же Прокофьев

Она открыто помогала Ахматовой и требовала отмены постановления об Ахматовой и Зощенко, воплощающих трагическое и комическое в русской литературе. Она выступила на Втором съезде Союза писателей в 1954 году, смутив коллег крамольной речью о «самовыражении писателя».

Макогоненко в конце концов ушел от нее и женился на другой. Разрыв этот был предсказуем: слишком несовместимы были благополучный литературовед и вечно пьяная поэтесса, резавшая правду-матку, как древние юродивые: «...причина нашего отставания — я говорю о литературе послевоенных лет —

очень проста. Мы действительно очень много лгали». Ее и тронуть было нельзя, и осудить за бытовое разложение нельзя: тут и алкоголизм защищал как ненормальную, и не давала память о войне. На лице ее, как некогда на лице Данте, еще сохранилась тень пройденного насквозь ада.

Может быть, это расставание в какой-то степени вернуло ей себя — выжившую в катастрофе вечную вдову Коли Молчанова; вернуло сосредоточенность и понимание: у меня еще осталось время, им надо правильно распорядиться.

Вот видишь — проходит пора

звездпада,

И кажется, время навек

разлучаться...

...А я лишь теперь понимаю, как надо

Любить, и жалеть,

и прощать, и прощаться...

Она садится за письменный стол и обещает себе: «Никакой гордыни, никаких самоупоений, но твердое знание своей силы, предназначения и обязанностей».

Ее задача — помнить и свидетельствовать.

«Память — чудо, совершенное чудо мира, природы и человека, воистину божественный дар. Она неистребима».

Ольга Берггольц умерла в Ленинграде в ноябре 1975 года. Памятник на ее могиле поставили только в 2005 году... ❀

сказал — мол, товарищ Бергголец знает, что трупы в Ленинграде с улиц убирали вовремя. В 1946 году, когда началась травля Ахматовой и Зощенко, ленинградские писатели должны были дружно осуждать их на собраниях. Бергголец, напротив, заступалась за них, отчего сама подверглась гонениям: «Так как я не «разоблачила» Ахматову, меня отовсюду повыгоняли — из Правления, из редсовета издательства»...

Особенно тяжелым для нее стал 1949 год, когда пошла волна повторных арестов; Бергголец предполагала, что может снова попасть в тюрьму. В ее дневниках было достаточно крамолы для того, чтобы надолго отправить ее в лагерь. «Меня не покидает страх знакомый, что по Следам Идущие — придут», — писала она в «Триптихе 1949 года». Однажды Георгию Макогоненко, ее третьему мужу, показалось, что к их даче подъезжают черные машины. Он схватил тетрадь, в которой Бергголец вела дневник, и прибил ее гвоздем снизу к сиденью скамейки. Эта пробитая тетрадь сейчас хранится в Российском государственном архиве литературы и искусства.

31 октября 1949 года Бергголец записала в дневнике: муж прибежал из издательства взволнованный и велел уничтожить все крамольные дневники и черновики: ожидали обысков. Супруги поехали на дачу, как и собирались, — но по дороге их не покидало чувство, что за ними едут, чтобы их арестовать.

Она стала пить. Пьянство помогало уйти от реальности, с которой она ничего не могла поделать. Знаменитое ее стихотворение — «На собрание целый день сидела — // то голосовала, то лгала... // Как я от тоски не посидела? // Как я от стыда не померла?..» — оно как раз об этом: о невозможности жить среди вранья. Лирическая героиня уходит в пивную, где пьет в забегаловке с инвалидами, вспоминающими штрафную роту. Макогоненко пытался ее удерживать дома — как писала в письмах друзьям ее мать, удерживал тем, что дома был коньяк, и домработницы ее подпаивали. Запой были страшные: мать писала, что Ляля выпивает полтора литра коньяка каждый день и почти не ест; что муж ее бьет. В 1952 году ее впервые уложили в больницу лечиться от алкоголизма. Больница ненадолго приводила ее в нормальное состояние, она могла работать и писать. Главные ее послевоенные произведения — поэма «Первороссийск» о юных мечтателях, строящих коммуны в среднеазиатских песках, и лирическая повесть «Дневные звезды» — неоконченное повествование о жизни. Она хотела продолжить «Дневные звезды», которые считала своей Главной книгой, именно так, с большой буквы. Сохранились ее наброски ко второй части. «За трагическое в литературе. За наивысшую правду», — записывает она в набросках.

КЛЮЧИ СЧАСТЬЯ

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

«Веселость нас никогда не покидала» — так Зощенко начал свою «Голубую книгу». Но веселым человеком он никогда не был — он был мрачным меланхоликом, постоянно искавшим способы справиться со своей тяжелой тоской. И жизнь, прожитая мастером смеха, оказалась не задорной комедией, а высокой трагедией.

МИША БЫЛ ТРЕТЬИМ ИЗ восьмерых детей в семье художника-передвижника Михаила Ивановича Зощенко. Сохранилось несколько живописных работ отца, в основном сцен из крестьянской жизни, и его большие мозаики, в том числе две на фасаде Музея Суворова; Зощенко вспоминал, что на одной из них он сам сделал нижнюю веточку на елочке в нижнем углу. Ему было тогда 10 лет. Родители были из дворян. Фамилия Зощенко произошла от слова «зодчий» — один из предков писателя был архитектором. Мать, Елена Осиповна, играла в любительском театре, писа-



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛТАРЕВЫМ

ла рассказы из жизни бедняков, которые печатались в газете «Копейка». Родители жили не очень дружно. Детская память будущего писателя сохранила семейные ссоры, материнские слезы и частые обмороки. Отец некоторое время жил отдельно от семьи, в мастерской. Миша рос тихим, нервным, погруженным в себя, но очень самолюбивым ребенком. Он вспоминал, как однажды в гимназии учитель, вызывая его, глумливо, визгливым тоном произнес его фамилию, и все ученики стали тоже кривляться и глумиться; мальчик после урока подошел к учителю и сказал, что плюнет в него,

если тот еще раз так сделает. В автобиографической повести «Перед восходом солнца» есть ужасная история под названием «Пытка», о том, как юный Зоценко попытался покончить с собой — «скорей от бешенства, чем от отчаяния». Он проглотил кристалл сулемы, когда учитель поставил ему единицу за сочинение о тургеневских героинях и приписал «чепуха». А сама «пытка» — это промывание желудка, которое за тем последовало.

Учился мальчик не особенно хорошо — пятерок не получал даже по тем предметам, которые знал и любил. Сочинять рассказы начал еще в гимназии, и, может быть, поэтому учительская оценка его так взбесила. Стихи он начал писать в 7 или 8 лет, а первый рассказ, «Пальто», написал в 1907 году, когда ему было 12.

В цикле детских рассказов «Леля и Минька», в главных героях которого угадываются маленький Миша и его старшая сестра, Елена, изображено обычное детство интеллигентского ребенка — с любящей мамой, умным и справедливым папой, с бабушкой, няней, дачей, играми, елкой на Рождество. И горести Миньки — обычные детские горести: то единица, то ссора с сестрой, то от родителей попало...

Безмятежное детство кончилось, когда на глазах у 12-летнего Миши скоропостижно умер отец — как тогда говорили, от разрыва сердца. Семья осталась почти без средств к существованию. Еще одно мрачное детское

воспоминание: как мать с Мишей идут к заведующему мозаичной мастерской, профессору Академии художеств Павлу Чистякову, просить о пенсии за умершего мужа, а тот еле достаивает их вниманием.

ЧЕХАРДА

В 1913 году Михаил окончил гимназию и поступил на юридический факультет Петербургского университета. Учился он без особого интереса. Весной поехал работать контролером на железной дороге Кисловодск — Минеральные Воды, чтобы подзаработать денег. Но осенью все равно был исключен из университета за неуплату. Сохранились два его рассказа этого времени, слегка похожие на будущие зоценковские тексты своей лаконичностью и короткой строкой...

...Шла Первая мировая. Может быть, повинувшись общему патриотическому порыву, а может быть, видя в этом понятный и даже героический выход из сложной жизненной ситуации, он решил отправиться добровольцем на фронт. Окончил четырехмесячные ускоренные офицерские курсы, получил звание прапорщика и попал в 16-й гренадерский Мингрельский полк Кавказской дивизии. Сначала был начальником пулеметной команды, потом стал командиром роты, затем получил звание поручика. О своем военном опыте Зоценко писал в той же повести «Перед восходом солнца» — в блистательных лаконичных новеллах. Одно из худших испытаний той войны — газовая атака немцев под Сморгонью. Зоценко, перед тем как надеть противогаз, крикнул своим солдатам, чтобы они надели маски, и тем самым спас их, но сам успел вдохнуть ядовитого газа. После этого он два месяца лежал в госпитале, а потом всю жизнь страдал от сердечных приступов.

В Петрограде у Зоценко осталась любимая девушка Надя — может быть, самая большая любовь за всю его жизнь. Надя написала ему, что выходит замуж. Он взял отпуск и весной 1916 года приехал в Петроград. Надя плакала, клялась в любви, сомневалась: ведь жених подарил ей имение в Смоленской губернии. Зоценко на другой день написал ей, что его вызывают на фронт, и уехал. Надя вышла замуж и вместе с мужем уехала из России после революции; Зоценко помогал ее сестре, оставшейся на родине со стариком-отцом. А много лет спустя, во время Второй мировой, немолодой, давно женатый, переживший множество увлечений Зоценко написал просто и коротко: «Я ее очень любил. И эта любовь не прошла до сих пор».

Он дослужился до штабс-капитана. У него уже было пять орденов, один из которых он не успел получить: помешали демобилизация и революция; по той же причине он не успел стать капитаном, хотя был представлен к повышению. В феврале 1917 года его отправили в госпиталь — он чувствовал себя совсем плохо, болело сердце, — а затем демобилизовали.

Началась Февральская революция. Зощенко некоторое время был комендантом почт и телеграфа в Петрограде. Тогда же, революционной весной, он увлекся хорошенькой женщиной по имени Вера Кербиц. Обычная молодая дама Серебряного века грезилась об идеальном возлюбленном с поэтической душой, и, вероятно, печальный и красивый офицер Зощенко ее очаровал. В ней было много пошлости и эгоцентричности, вообще свойственных этому времени; в одной из своих дневниковых записей уже советского периода она даже называет себя «изломанной интеллигенткой». Но, вероятно, было в ней тогда и очарование, и отзывчивость, и умение слушать: Зощенко слал ей письма и свои рассказы, хотя летом 1917 года они виделись через день. А когда Вера Владимировна спросила его однажды, что для него самое главное (ожидая ответа «вы»), он очень серьезно ответил ей: «Конечно же, моя литература».

В сентябре 1917 года его отправили в командировку в Архангельск. Там, пишет биограф Зощенко Бернгард Рубен, он «был адъютантом местной дружины и секретарем полкового суда». Там же в него влюбилась некая француженка, которая хотела увезти его в Париж и даже достала для него паспорт иностранного подданного. Зощенко отказался. Тем не менее положение его было странным: из вчерашнего фронтовика-героя он превратился в царского офицера, золотополонника; власти, которая командировала его на Север, больше не было, в конце концов не стало и работы. Он много читал, тосковал, думал. Рвался обратно в Петроград, зная, что там голодно и страшно. Вернулся в марте 1918 года.

Он сам перечислял в комментарии к «Возвращенной молодости», в какую чехарду занятий, мест и работ превратились следующие три года: сначала служил в пограничной охране в Стрельне и Кронштадте, потом пошел добровольцем в Красную армию, где был командиром пулеметной команды и полковым адъютантом, через полгода демобилизовался по болезни сердца. Затем был агентом угрозыска в Ленинграде, инструктором по кролиководству и куроводству в Смоленской губернии, старшим милиционером в Лигово, выучился сапожному и столярному ремеслу, работал в сапожной мастерской, был конторщиком и помощником бухгалтеря в Петроградском военном порту...

КАК ПОЕЗД

Летом 1919 года агент угрозыска Зощенко пришел в Студию при издательстве «Всемирная литература», расположенную в доме Мурузи. Студия должна была подготовить для издательства квалифицированных переводчиков. Сюда собрали талантливую молодежь и стали читать ей лекции и вести семинары по истории и теории литературы. Зощенко поначалу держался особняком. Как вспоминал Чуковский, у которого Зощенко учился на отделении критики, «нелюдимый, хму-

рый, как будто надменный, садился он в самом дальнем углу, сзади всех, и с застылым, почти равнодушным лицом вслушивался в громокипящие споры, которые велись у камина».

В это время он задумал книгу об истории современной литературы, в которой его учителям в Студии было отведено место «фармацевтов» — сухих аналитиков, умерщвляющих душу литературного произведения. Несколько написанных им в это время пародий — на Шкловского, Замятина, на того же Чуковского — точны, смешны и тонко улавливают суть метода пародируемых авторов. Он писал очерки, фельетоны, рассказы, пародии, пробовал даже писать исторический роман. Одно время он всерьез собирался быть критиком, написал несколько статей, в том числе о Блоке, но желание самостоятельно творить одержало верх. Сейчас — время его творческих исканий: он упорно ищет свой стиль, слушает, оттачивает мастерство. Вера Владимировна замечает, что именно сейчас в его записных книжках изысканные выражения вроде «венки, сплетенный из милых смешных лепестков» сменяются на «шамать», «крыть нечем», «шпана».

В январе 1920 года умерла от гриппа-испанки мать Зощенко. «Три месяца лютых и незабываемых мы сидели, как кроты, в черной холодной комнате... — писал об этом времени Зощенко сестре Валентине. — Такая была лютая, совершенно лютая, совсем лютая зима. И так случилось, что одно время

не было света, дров и хлеба. И это случилось накануне смерти». Когда мать похоронили, он не мог оставаться в квартире, «где была смерть». Вера Владимировна позвала его жить к себе. Он перевез к ней свои вещи, потом они пошли в ЗАГС и «записались». Как раз в это время он ушел из милиции в порт «Новая Голландия», стал конторщиком и на этой тихой работе уже мог писать свои рассказы.

Студия проработала три месяца и закрылась, но осталась дружба, литературные связи — и когда зимой 1920/21 года открылся Дом искусств, смысл существова-

ния которого был в том, чтобы спасти от холода и голода петербургских литераторов, Зощенко переселился туда, оставив дома Веру Владимировну с новорожденным сыном. Там, в ДИСКе, он написал «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова». Там появилось на свет литературное объединение «Серрапионовы братья», в которое он вошел и где читал свои первые профессиональные рассказы — «Рыбью самку», «Старуху Врангель», «Ляльку Пятьдесят». Показал их Горькому. Тому понравилось, но он сразу задал ключевой вопрос: как же это переводить, скажем, на индусский? Надо сказать, хорошего ответа на вопрос «как переводить Зощенко» до сих пор не придумано.

Обитатели ДИСКа, как раньше студийцы, стали повторять зощенковские словечки: «бедность, блекота и слабое развитие техники», «вполне прелестный человек»... Впрочем, рассказы оставались устными до 1922 года: в стране был бумажный кризис, вся литература по преимуществу бытовала в устной форме. Зато с началом нэпа и появлением частных издательств Зощенко начал бурно печататься. Уже тогда было ясно, что Зощенко — настоящий мастер слова. Замятин в своей статье о «Серрапионовых братьях» назвал его фольклористом, живописцем и тогда же произнес слово, навеки приклеившееся к Зощенко: «сказ». С первых публикаций начался стремительный взлет Зощенко к вершинам славы. Нэп дал ему новых героев, новый язык — с его дикообразным путаным синтаксисом, с его вокабуляром, собранным по амбарам и сусекам старого мира, по воровским малинам, по канцелярским книгам и большевистским газетам; дал комические ситуации, разглядеть которые Зощенко оказался великим мастером.

Однако критики требовали от него идеологической определенности: осуждает он своих героев или оправдывает? За коммунистов он или против? Жена всерьез боялась за него: Слонимский, приехав из Парижа, рассказывал, что там эмигранты любят Зо-

щенко, считают его рассказы самым верным изображением советского человека и даже проводят вечера с чтением сборника «Уважаемые граждане». Но и советские читатели расхватывали его сочинения: за пять лет, с 1922 по 1927 год, у Зощенко вышли 32 книжки. Шкловский писал о Зощенко: «Он имеет хождение не как деньги, а как вещь. Как поезд».

Каверин, один из «Серрапионовых братьев», подтверждал это наблюдение: «На перегоне Ярославль–Рыбинск находчивый пассажир продавал за двадцать копеек право почитать маленькую книжечку Зощенко — последнюю, которая нашлась в газетном киоске». И даже так: «Десятки самозванцев бродили по стране, выдавая себя за Зощенко. Он получал счета из гостиниц, из комиссионных магазинов, а однажды, помнится, повестку в суд по уголовному делу. Женщины, которых он и в глаза не видел, настоятельно, с угрозами требовали у него алименты». Ему писали тысячи писем со всех концов страны.

Чуковский вспоминал, что когда к Зощенко подошли с вопросом, не он ли Зощенко, тот ответил: вы не первая делаете эту ошибку, но я не Зощенко, я — Бондаревич.

РАСКРЫТЬ СВОЕ СЕРДЦЕ

К концу 20-х у него были огромные тиражи и невероятная слава, постепенно появился и достаток. Но сам он свидетельствовал, что в 1926 году, на пике славы, вдруг впал в такую тоску, что перестал есть и чуть не погиб. Меланхолия, неврастения, приступы страха, отчаянное сердцебиение — все это отравляло его жизнь. Может быть, современная медицина и умела бы помочь ему: в его описаниях «нервной горячки» и прочих таинственных недугов угадываются вполне понятные современному человеку депрессия и панические атаки. Но тогда область душевного здоровья была совершенно не исследована — и пришлось ему самому заняться этим. Зощенко обложился научной литературой и стал разбираться, отчего ему так плохо и что с этим делать. Ему несколько раз казалось, что он нашел разгадку, что он может вылечиться. Чуковский, автор подробных воспоминаний о Зощенко, сообщает, что «в эти годы он производил впечатление одержимого: ни о чем другом не мог говорить. «Корней Иванович, я уже совсем излечился! — сказал он мне однажды с торжеством, но лицо у него было измученное, а в глазах по-прежнему таилось угрюмство. — Я стал оптимистом, я раскрыл, наконец, свое сердце!» (Последнюю фразу я запомнил буквально.)» И фраза эта не случайна: мать однажды сказала ему, что у его отца «закрытое сердце», и он запомнил — и это, и то, что у него отцовский характер.

«Это было в Сестрорецке, — рассказывает Чуковский. — Я зашел за ним для нашей обычной прогулки и увидел, что вся его рабочая комната буквально завале-

Прапорщик
Михаил Зощенко.
Август 1915 года



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛЮТАРЕВЫМ

на книгами, чего прежде никогда не бывало. И книги были специальные: биология, психология, гипнотизм, фрейдизм. Всю дорогу он говорил исключительно на медицинские темы, а когда мы вернулись с прогулки, дал мне книгу некоего велемудрого немца в переводе на русский язык»...

Зощенко работал над «Возвращенной молодостью».

К концу 20-х по мере ужесточения идеологических требований к литературе писателя стали все чаще обвинять в безыдейности, отождествлять его с героями его рассказов — обывателями, требовать положительной, оптимистичной сатиры, что бы это ни значило. И Зощенко пытался стать полезным со-

ветским писателем. Тем не менее «Литературная энциклопедия» 1930 года припечатала его: «Анекдотическая легковесность комизма, отсутствие социальной перспективы отмечают творчество Зощенко мелкобуржуазной и обывательской печатью». Впрочем, едва ли кого из хороших писателей в 1930 году не заклеямили мелкобуржуазным или еще каким-нибудь идейно вредным.

Он был настоящим советским человеком. Он старался быть оптимистом в духе времени. Он убеждал себя и других, что его новые книги — очень полезны для читателя. «Возвращенная молодость» рассказывает читателю о медицине и физиологии; «Голубая книга», написанная по предложению Горького, открывает перед ним всю историю человеческой морали... В 30-е годы он — обычный советский писатель, с обычным хорошим слогом — во все не изумительным зощенковским, а просто средним советским. Он пишет о водолазных экспедициях ЭПРОНа, детские рассказы о Ленине, едет с другими писателями на Беломорканал — и принимает самое живое участие в создании позорной книги «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина». В этом труде, где большинство глав — это коллективное творчество, Зощенко единолично написал главу о перековке жулика в советского человека. Сама идея перековки, превращения человека из ветхого в нового — силой ли характера, как он надеялся пре-

образить себя, или силой коллективного воспитания — занимала его чрезвычайно. И следующая книга, которую он задумал, «Ключи счастья», тоже должна была стать историей перековки — его собственного превращения из больного, угрюмого, одержимого тоской неврастеника в веселого, здорового, оптимистичного человека. Эта-то книга и стала поводом для бессмысленной, жестокой, многолетней травли Зощенко.

«НЕ СТАНУ НИ О ЧЕМ ПРОСИТЬ»

Жизнь его к концу 30-х внешне — хорошая жизнь успешного советского писателя. Он усердно работает, у него большая квартира в центре Ленинграда, он принимает участие во всех писательских инициативах, выступает на собраниях, клеймящих троцкистов, и подписывается под призывами расстрелять врагов народа как бешеных собак. Но он тоскует, он одинок, у него совершенно не ладится семейная жизнь; читая дневниковые записи Веры Владимировны, не можешь отделаться от мысли, что

Зощенко женился на одной из своих героинь, любящих культурную жизнь, фильдекосовые чулочки и красиво ухаживающих кавалеров. У нее был роман с партийным работником, совсем испортивший отношения в семье. Парторботника арестовали в 1936 году; поразительно, что в то время, когда от репрессированных отворачивались даже близкие друзья, Зощенко помогал семье арестованного. А когда арестовали и жену парторботника — слал их детям посылки в детдома, поселил их дочь у себя на даче после ее возвращения из детдома... Хлопотал о репрессированном переводчике Стениче, еще не зная, что он расстрелян, помогал семье малознамого Заблоцкого... И понимал, что он — бывший дворянин, бывший царский офицер, брат эмигранта (его брат Владимир уехал за границу) — может стать следующим... В это время он опубликовал в «Ленинградской правде» письма Горького, полученные им некогда: они могли служить охранной грамотой и, может быть, сослужили эту службу. Репрессии его не коснулись — более того, в 1939 году Зощенко получил орден Трудового Красного Знамени.

Казалось, в середине и конце 30-х он действительно вылечился от своей меланхолии. Он казался бодрым, живым, активно работал. С началом войны — делал что мог: сочинил со Шварцем антифашистскую пьесу (со

сцены ее сняли после 15 представлений — выглядела на фоне отступления слишком шапказакладательской), писал антифашистские рассказы, работал для Ленинградского радио, ходил по ночам тушить зажигательные бомбы. Ленинградская писательская организация решила его эвакуировать; он сопротивлялся эвакуации, но вынужден был уехать, чтобы не подумали, что он остался ждать немцев. Жена осталась в Ленинграде с сыном (сына в 1942 году призвали в армию, но потом комиссовали). Зощенко уехал в Алма-Ату, где надеялся найти работу на эвакуированном «Мосфильме» — и в самом деле нашел ее и все время эвакуации посылал половину заработка и посылки жене в Ленинград.

Довоенная еще возлюбленная Зощенко, Лидия Чалова, приехав к нему в Алма-Ату, обнаружила, что он практически умирает от голода, получая только 400 граммов хлеба на день, хотя ему полагался увеличенный паек. Зощенко не то не знал об этом, не то не считал возможным требовать большего; паек ему, уже страдающему дистрофией, выхлопотала Чалова. Зощенко поправился и взялся за работу. «Ключи счастья» получили новое название — «Перед восходом солнца»; к ранее написанной части-трактату прибавилась автобиографическая часть, состоящая из небольших новелл. Зощенко считал, что это будет лучшее его произведение, его вклад в борьбу с фашизмом — это была его борьба с темнотой в самом себе, его попытка поделиться рецептом силы, стойкости, бодрости: он в самом деле был уверен, что силой воли можно излечиться от болезней.

Первая часть повести вышла в 1943 году в журнале «Октябрь» и произвела на читателей тяжелое впечатление: в то время когда советский народ, напрягая все силы, боролся с фашизмом, Зощенко занимался самокопанием. Исследовал свои детские страхи, юношеские поцелуи, отношение к материнской груди... Печатание повести было остановлено сразу после публикации биографической части. Зощенко обратился с письмом к Сталину, прося его внимательно прочитать повесть и дать свое заключение. Ответа не последовало. Но осенью имя Зощенко появилось в поданной Маленкову и Щербакову докладной записке управления пропаганды и агитации ЦК партии, где шла речь о «грубых политических ошибках» журналов «Октябрь», «Знамя» и «Новый мир». Потом повесть обругала газета «Литература и искусство», затем ее обсуждали на президиуме Союза писателей; президиум даже принял специальное постановление о журнале «Октябрь», где характеризовал повесть как «пошлую, антихудожественную». Жданов велел «расклевать» Зощенко, «чтобы мокрого места не осталось». В начале 1944 года по повести шархнул журнал «Большевик»: «Как мог написать Зощенко эту галиматью, нужную лишь врагам нашей родины?» «Гадость», «гнусный рассказ», «поражающая

ва требовали покаяния — на сей раз перед всеми ленинградскими писателями, собравшимися перед Вторым съездом писателей. Зощенко вместо покаяния гордо заявил, что он не трус, что дважды воевал на фронте и имеет пять боевых орденов; что работал в радиокомитете, что эвакуировался из Ленинграда по приказу. «Что вы хотите от меня? Что я должен признаться в том, что я — пройдоха, мошенник и трус?!» — и закончил: «Я не стану ни о чем просить. Не надо вашего снисхождения, ни вашего Друзина, ни вашей брани и криков!

Я больше чем устал! Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею!» И вышел вон. Тогда встал Константин Симонов и сказал: «Товарищ Зощенко бьет на жалость...»

После этого Зощенко месяц ничего не ел: не мог.

Легче стало только в «оттепель»: друзья-писатели написали в ЦК письмо с просьбой вернуть Зощенко советской литературе. У него вышла книга избранных рассказов и повестей. Но он уже был измучен, измотан, истощен борьбой за жизнь и доброе имя. Он снова впал в тоску. Жена записывала, что на вопросы, что с ним, он отвечает: «Мне плохо, мне очень плохо, меня ничто не интересует, мне ничего не хочется, ничего не надо». Лежал. Не ел. Начались приступы страха. Чуковский, увидев его весной 1958 года на праздновании 90-летия Горького, записал: «Это труп, заколоченный в гроб». И еще: «Очень знакомая российская картина: задушенный, убитый талант».

Через несколько месяцев Зощенко умер.

А постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» изучали в школах и вузах еще тридцать лет, почти до самой его отмены в 1988 году. «Предоставление страниц «Звезды» таким пошлякам и подонкам литературы, как Зощенко, тем более недопустимо, что редакции «Звезда» хорошо известна физиономия Зощенко и недостойное поведение его во время войны...».

наглость», «пошлятина»... Зощенко написал покаянное письмо в ЦК партии — может быть, поэтому его временно оставили в покое. Он вернулся в Ленинград. Его снова стали печатать.

В 1945 году он опубликовал в «Мурзилке» детский рассказ «Приключения обезьяны» — об обезьянке, сбжавшей из разбомбленного зоопарка и бегущей по городу в военное время. Милый рассказ о заблудившемся звере, который наделал переполоха, но нашел любящего хозяина, мальчика Алешу, может, и остался бы незамеченным, если бы его не перепечатал журнал «Звезда». Там его прочитал Сталин и разозлился: как свидетельствует писатель Петр Капица, Сталин на заседании ЦК требовал, чтобы Зощенко «убирался к чертям», и негодовал: как это — обезьянке в клетке, в неволе, лучше, чем среди советских людей. Дальше было печально известное постановление «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Рассказ про обезьянку в нем характеризовали как «пошлый пасквиль на советский быт и советских людей», да еще и с «антисоветскими выпадами». Прошли обсуждения в Союзе писателей и собрания, и знаменитый доклад Жданова, и новое письмо Зощенко Сталину: «я никогда не был антисоветским человеком», «я всегда шел с народом», «я ничего не ищу и не прошу никаких улучшений в моей судьбе», «если и пишу Вам, то с единственной целью несколько облегчить свою боль».

Зощенко отлучили от литературы. Перестали печатать. В голодном 1946 году он остался без продуктовых карточек. Многие друзья перестали с ним здороваться; другие, опасаясь за собственную судьбу, поспешили выступить на собраниях и в печати с осуждением Зощенко. От него шарахались на улице как от зачумленного. Он и сам говорил тем, кто не отшатывался: «Разве вы не знаете, что нельзя ко мне подходить?» Он устроился на работу в сапожную артель; семья кормилась тем, что продавала мебель и вещи, оставшиеся от прежней хорошей жизни. Они поменяли квартиру на меньшую, продали половину дачи. Зощенко написал Жданову письмо с просьбой разрешить ему работать — безрезультатно...

Первая публикация после катастрофы состоялась в 1947 году: в «Новом мире» вышло несколько «Партизанских рассказов». Зощенко стал подрабатывать переводами, самым знаменитым из которых остается перевод повести финского писателя Лассила «За спичками». В 1953 году Зощенко снова приняли в Союз писателей (не восстановили, ибо это значило бы признать исключение ошибочным, а приняли заново). А в 1954 году снова разразилась беда: СССР посетили английские студенты, которые пожелали увидеть Ахматову и Зощенко. И спросили у них, что они думают о погубившем их постановлении. Ахматова ровным голосом ответила, что считает постановление совершенно правильным, а Зощенко вдруг сказал, что не согласен. И травля возобновилась. От него сно-

ДИТЯ, МУДРЕЦ И ШАРЛАТАН

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА

В 1923 году Максимилиан Волошин, уже знаменитый поэт, записал в альбом «Чукоккала» стишок: «Вышел незванным, пришел я непрошеным, // Мир прохожу я в бреду и во сне... // О, как приятно быть Максом Волошиным — // Мне!»

ЧТО Ж ТУТ, СПРАШИВАЕТСЯ, приятного: незванный, непрошенный, в бреду и во сне? В 1923 году, в едва приходящем в себя после голода и ужасов Гражданской войны Крыму? Что хорошего быть поэтом, который совершенно не нужен новой стране? А вот поди ж ты — хорошо.

В ОЖИДАНИИ ЖАР-ПТИЦЫ

Максимилиан Волошин родился в Киеве, но Киева не помнил. Мать его, Елена Оттобальдовна, когда мальчику было 2 года, ушла от мужа — юриста Кириенко-Волошина, уехала в Севастополь, работала телеграфисткой. Сына растила одна; сохранила множество его детских словечек — так что мы легко можем представить себе крупного, румяного и конопатого Макса, который долго не засыпает, потому что мама пообещала ему, что прилетит жар-птица... он ждет, она не прилетает... Утром мама, отдернув шторы, говорит: твоя жар-птица — солнце! Цветаева, которая в 1911 году жила у Волошиных в Коктебеле, описывала Елену Оттобальдовну так: «...от-

Максимилиан
Волошин. 1932 год



ПРЕДОСТАВЛЕНО М. ЗОЛОТАРЕВЫМ

брошенные назад волосы, орлиный профиль с голубым глазом... Внешность явно германского происхождения... лицо старого Гёте... Первое впечатление — осанка. Двинется — рублем подарит... Второе, естественно вытекающее из первого: опаска. Такая не спустит... Величественность при маленьком росте...»

Детство Волошина прошло в приморских городах — Севастополе и Таганроге. Море — одно из его первых детских воспоминаний. Впрочем, мама довольно скоро переехала в Москву, и в гимназию мальчик пошел уже в древней столице. Москва именно такой ему и показалась — древней столицей, «из фона «Боярыни Морозовой», как он сам утверждал в автобиографии. Суриков жил в сосед-

нем доме в Новой Слободе, на улице Долгоруковской, и как раз в это время писал «Боярыню Морозову» — и Макс, гуляя с няней, видел, как художник работает. Стихами Волошин увлекся рано — раньше, чем начал читать. Он сам писал об «опьянении стихами», о своей любви декламировать: «Для этого постоянно становился на стул: чувство эстрады». Множество стихов он знал наизусть и читал очень хорошо. Читать научился в 5-летнем возрасте — и с упоением взялся за книги. Уже тогда он — будущий оккультист, масон, антропософ — увлекался всем таинственным. Он играл в волшебника, произносил заклинания; однажды, когда он заклинал духов, один из присутствующих поднял его и перевернул вверх ногами; Макс не растерялся и заявил, что это духи его подняли в воздух. Над ним посмеивались, дразнили его. С раннего детства он производил на людей странное впечатление: не то наивный чудака, не то мудрец; не то умнейший человек, не то шарлатан.

ТЕМНЫЕ ГОДЫ

С 10 лет Макс пошел учиться; мама определила его в частную гимназию Поливанова. В первом классе он учился хорошо. К сожалению, частная гимназия была семье не по карману, и во второй класс он пошел уже в 1-ю Московскую казенную гимназию. О времени, проведенном в этом учреждении, Волошин писал: «Это — самые темные и стесненные годы жизни, исполненные тоски и бессильного протеста против неудобоваримых и ненужных знаний». Ему было отчаянно скучно, он пытался спорить с учителями; результатом стали плохие оценки не только по предметам, но и по поведению. В третьем классе его оставили на второй год.

Летом он жил на подмосковных дачах. Бродил по лесам, мечтал о юге. Мечты неожиданно сбылись в 1893 году, когда мать переехала в Феодосию и поселилась там с гражданским мужем

в небольшом имении. Гимназические дела Макса к этому времени были из рук вон плохи: по всем предметам двойки, по греческому — кол, по поведению — низший балл. «Я был преисполнен всяких интересов: культурно-исторических, лингвистических, литературных, математических и т.д. — вспоминал он. — И все это сводилось для меня к неизбежной двойке за успехи». Когда мать пришла в феодосийскую гимназию договариваться о том, чтобы 16-летнего Макса взяли учиться, директор сказал, что взять его возьмет, но не может обещать, что справится с его идиотизмом.

Однако впечатления идиота юный Волошин в гимназии не произвел. Он с 12 лет писал стихи и уже был готов их показывать. В автобиографии он пишет: «Мои стихи и моя начитанность произвели в педагогической среде такое впечатление, что ко мне стали педагоги относиться как к «будущему Пушкину». В гимназии он был признанным поэтом и чтецом-декламатором. Он продолжал рисовать, и рисунки его одобрил сам Айвазовский — попечитель гимназии. Макс пробовал себя и в театре: играл городничего в школьной постановке «Ревизора», сам поставил два спектакля по русской классике — и здесь тоже все получалось.

Его стихи этого времени — обыкновенные, гладкие перепевы народнической лирики — все о борьбе, страдании, готовности служить народу, некрасовские мотивы сквозь надсоновское уныние и надлом. Поэт только собирается быть, растет, пробует силу. Он дает уроки в качестве репетитора, скучает в гимназии, много читает, переводит с немецкого. Окончив гимназию, отправился в Москву — в университет.

ЕВРОПА И АЗИЯ

Поступил он почему-то на юридический, но лекции в основном посещал на историко-филологическом факультете. Увлекался театром. Интересовался политикой, свел знакомство с народовольцами. За подготовку студенческой забастовки был отчислен из университета и выслан в Феодосию.

Семья собиралась путешествовать по Европе, и Макс отправился за границу вместе с родными. Польша, Австрия, Швейцария, Италия, Франция — он едва справлялся с наплывом впечатлений. Ходил по Парижу одуревший, как сам признавался. Пытался проникнуться, напитаться европейской культурой, которой еще не понимал.

По возвращении — восстановился в университете, скоро снова ввязался в студенческие беспорядки. Уехал за границу, вернулся, был арестован в Севастополе и доставлен в Москву. Биограф Волошина Сергей Пинаев приводит любопытный факт: когда Волошин две недели просидел под арестом по подозрению в распространении марксистской литературы, жандармы специально вызывали его мать, чтобы узнать у нее, почему он такой веселый. Мать ответила, что он всегда такой, и тогда они посоветовали его женить. Он и в самом деле был «всегда такой» —

круглый, веселый, большой, неунывающий. Как вспоминал один из его знакомых — от него всегда шел ровный теплый свет.

Его исключили из университета и запретили поступать в высшие учебные заведения, жить в столицах и крупных городах. Друг детства, инженер Вяземский, позвал его с собой в Среднюю Азию, где собирались прокладывать Ташкентско-Оренбургскую железную дорогу. Впечатления от этого вояжа оказались совсем необычными: степь, пустыня, поездки верхом, древние крепости, юрты, покупка верблюдов — словно это путешествие не только в пространстве, но и во времени, куда-то в глубину человеческой истории...

Он снова засобирался в Париж. Феодосийской знакомой писал: «Теперь туда — в пространство человеческого мира — учиться, познавать, искать. В Париж я еду... чтобы познать всю европейскую культуру в ее первоисточнике и затем, отбросив все «европейское» и оставив только человеческое, идти учиться к другим цивилизациям, «искать истины» — в Индию и Китай. Да и идти не в качестве путешественника, а пилигримом, пешком, с мешком за спиной, стараясь проникнуть в дух незнакомой сущности... а после того в Россию окончательно и навсегда».

Прибыв в Париж в марте 1901 года, он всерьез учится живописи, занимается в нескольких студиях и у русской художницы Кругликовой. Он завел дневник: собирался старательно фиксировать самонаблюдения, но получилась хроника взросления: история первого сексуального опыта, нежной влюбленности в Марию Ауэр и затем горестной — в Маргариту Сабашникову, будущую жену. А еще — это история молодости в лучшем городе мира в его лучшее время. В Париже Волошин много переводил, оттачивая собственный стиль и мастерство. Его стихи становятся четче и строже, обретают изобразительную силу и весомость. В 1903 году он впервые опубликовал подборку своих стихотворений в журнале «Новый путь». Он вчитывался в новую французскую литературу, всматривался в живопись, освобождаясь от эстетики народничества в литературе и передвижничества в живописи. И когда в России Брюсов начал издавать «Весы», первый журнал русского символизма, — Волошин уже многое мог ему предложить. За «Весами» были «Золотое руно» и «Аполлон», тоже непредставимые без волошинских публикаций. Вернувшись в Россию, Волошин оказался в самом центре споров о литературе — и здесь играл роль «округлителя острых углов», как выразился Андрей Белый.

Впрочем, как сказала одна французская квартирохозяйка, он похож не то на доброго ребенка, не то на магнетизера и шарлатана. И это в нем было, отсюда его тяга к чертовщине, к мистификациям, отсюда прекрасная и трагическая история Черубины де Габриак, кончившаяся дуэлью с Гумилевым — и комическим прозвищем Вакс Калошин.

Первый сборник Волошина, названный «Стихотворения», вышел в свет, когда автору было 33.

РАСПАД ИМПЕРИИ

Кажется, жизнь очень старалась сделать все, чтобы этот большой ребенок повзрослел. Совместная жизнь с Маргаритой Сабашниковой не получилась — ясность и путаница, радость и страдание. Он был радостный и ясный — она путаная, сложная, надломленная. Она влюбилась в Вячеслава Иванова, пыталась войти третьей в его союз с Зиновьевой-Аннибал; Волошин жалел ее и думал, как облегчить разрыв. Это она первая увлеклась антропософией и приобщила к ней Волошина... Европа, какой ее знал и любил Волошин, уходила; известие о Первой мировой застигло его в Швейцарии; о войне он написал цикл стихов «Anno Mundi Ardentis. 1915». Началась эпоха великих потрясений — о них следующие два волошинских сборника — «Иверни» и «Демоны глухонемые». И именно сейчас холодные, мастерские, безупречно изобразительные волошинские стихи начинают дышать и жить.

В автобиографии Волошин писал: «Вернувшись в Крым... я уже более не покидаю его: ни от кого не спасаюсь, никуда не эмигрирую. И все волны гражданской войны и смены правительств проходят над моей головой». Имение в Коктебеле Волошины купили еще в 1903 году. Крым для русских поэтов всегда немного Эллада, Черное море — всегда Понт, уводящий дальше и дальше — от Пушкина и Байрона к Овидию и Гомеру, к древним воинам, пахарям и мореходам. Сумеречная, пустынная, печальная и прекрасная Киммерия, где сходятся Восток и Запад, прошлое и будущее,

небо и море, где волны говорят гекзаметром, рассказывая о вечно странствующем Одиссее. Волошин достроил крымский миф своим. Еще до революции в коктебельском доме у Макса собиралась богема, смущавшая своими хитонами местных обитателей — они называли себя обормотами, место своего обитания — обормотником. Уже тогда Макс расхаживал в длинной рубаше, с венком полыни

на голове. Сердолики на пляже, чертики из выброшенных морем сучков, степные травы. У моря Волошин был гораздо более на месте, чем даже в Париже; многие замечали, что и пресловутый хитон выглядит на нем органичнее, чем фрак. Здесь появилась на свет Черубина, здесь разворачивался роман молодой Цветаевой с Сергеем Эфроном... Затем сюда пришла война и революция, аресты и реквизиции. Волошин, когда-то переболевший революционными идеями, еще во Франции стал задумываться о том, что революционные студенты по своей категоричности и жесточенности похожи на своих идейных противников; о том, что враги вообще похожи друг на друга... А его не волнует идейное — только человеческое. Недаром он, единственный на всю Россию, сформулировал свой ответ на вопрос: «Ты за белых или за красных?» однозначно, четко и афористически: «А я стою один меж них // В ревушем пламени и дыме // И всеми силами своими // Молюсь за тех и за других».

Викентий Вересаев писал, что Волошин умел дружить и с белыми, и с красными. «И в то же время он всячески хлопотал перед красными за арестованных белых, перед белыми — за красных. Однажды при белых на одной из дач был подпольный съезд большевиков. Контрразведка накрыла его, участники съезда убежали в горы, а один явился к Волошину и попросил его спрятать. Волошин спрятал его на чердаке, очень мужественно и решительно держался с нагрянувшей контрразведкой, так что даже не сочли нужным сделать у него обыск. Когда впоследствии благодарили его за это, сказал: «Имейте в виду, что когда вы будете у власти, я так же буду поступать с вашими врагами». Эренбург свидетельствует, что Волошин отбил у белых арестованного Мандельштама, сказав, что он большой поэт; самому Эренбургу Макс помог выбраться из занятого Врангелем Крыма. Друзья Волошина так или иначе вспоминают

о нем главное: этот большой ребенок и чудака в самые трудные годы оказался самым мудрым и самым надежным.

После революции он по-прежнему готов был принимать у себя в Коктебеле писателей и поэтов. В волошинском доме жили коммуной, денег со своих постояльцев Волошин не брал. В 1924 году у него в Коктебеле гостил Андрей Белый, который написал: «Я не узнаю Максимилиана Александровича. За пять лет революции он удивительно изменился, много и серьезно пережил... с изумлением вижу, что «Макс Волошин стал... Максимилианом»; и хотя все еще элементы «латинской культуры искусств» разделяют нас с ним, но в точках любви к современной России мы встречаемся, о чем свидетельствуют его изумительные стихи. Вот еще «старик» от эпохи символизма, который оказался моложе многих «молодых». В 1924 году у Волошиных побывало в гостях 300 человек. В 1925-м — 400.

Пролетарская культура, которой он искренне пытался быть полезен, объявила его «живым трупом». Местный сельсовет считал его буржуем, а буржуям в полугодном Крыму не продавали ни еды, ни керосина. Фининспекция не верила, что Волошины не зарабатывают на своих гостях, и требовала налога на доходы от гостиницы. Подкосило Волошина «дело чабанов»: местные чабаны потребовали от него компенсации за своих овец, которых, по их словам, разорвали волошинские собаки, добрые, мирные и немолодые. Суд постановил собак убирать; одну пристроили в добрые руки, вторую отравили.

В 1929 году у Волошина случился инсульт, после которого он уже не писал. Вторая жена, Мария Степановна, самоотверженно выхаживала его. А дальше — коллективизация и опять голод. «Вчера за работой вспомнил уговоры Маруси: давай повесимся, — писал Волошин в дневнике в 1931 году. — И невольно почувствовал всю правоту этого стремления». Астма, грипп, недоедание, последствия инсульта — в общем, не это все его добило. Добила, как Блока некогда, духота. Невозможность жить.

ПОЭТ МЫСЛИ

Поэзия Волошина до сих пор в России недооценена, а современники и вовсе в ней не разобрались — даже Цветаева, бесконечно любя Макса, назвала очерк о нем «Живое о живом», целиком сосредоточившись на его человеческой доброте и интеллектуальном обаянии, стихов же не коснувшись вовсе. Мандельштам как минимум дважды пренебрежительно отзывался о поэзии Волошина: сначала — оправдываясь, что взял у него «Божественную комедию» («Я поэт, мне она нужнее»), а потом — кощунственно пошутив насчет ареста Даниила Жуковского, гениального юноши, сына волошинской соседки по Крыму Аделаиды Герцык: «За что его арестовали? За стихи Волошина? Правильно сделали, Макс плохой поэт». Оно, конечно, Мандельштам шутил, но есть вещи, для шуток малопригодные. Не говоря уж о том, что Макс был отнюдь не плохой поэт.

Макс был, что называется, другое дело — поэт не самой типичной для России, не самой модной и усвояемой традиции. Ранние его стихи не представляют особого интереса — и вообще, надо заметить, многие большие русские поэты XX столетия достигли своего потолка именно благодаря революции. Русскую революцию есть за что ненавидеть, но нельзя не признать, что облечение ее оказалось фантастически плодотворным для нескольких поколений: русская литература, наука, философия прыгнули выше головы. Кем был бы Волошин без этой революции? Провинциальным чудачком, создателем антропософской коммуны у моря, куда наезжают на лето столичные декаденты и эксцентричные бездельники.

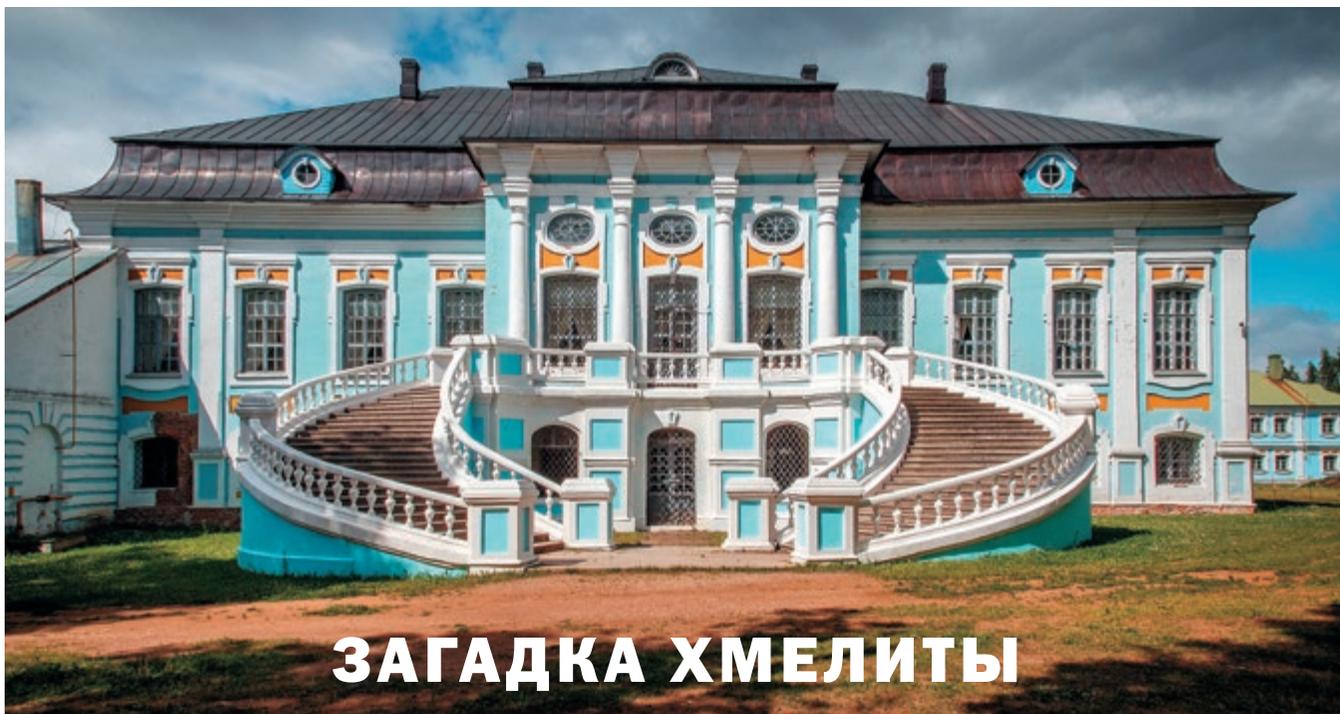
Волошин начинал как подражатель парнасцев, но сонет — совсем не его дело. Этот жанр требует парадокса и лапидарности, а Волошин многословен, интересуется его не блеск формулы, а истина, афоризмы же стали ему даваться лишь в зрелости, в поэме «Россия». Вообще, его экзерсисы во французском духе напоминают танцы слона: он был типичный русак, с глубокой, тяжело работающей мыслью, с интересом к философии, и франкомания его была данью декадентской моде. Настоящий Волошин — это «Демоны глухонемые», пятистопные переложения Житий, «Усобица», «Стихи о России», поэма «Россия», в которой содержатся поразительные по точности диагнозы и пророчества. Настоящая слава пришла к Волошину как раз тогда, когда пророчества эти сбылись: в 60–70-е годы одним из хитов самиздата была именно эта поэма, оказавшая колоссальное влияние на поэтов той поры, от Бродского до Чухонцева.

Волошин — поэт мысли, а русская лирика избаловалась: ей подавай эмоцию, намек, любовь, разлуку, шепот, робкое дыханье... Традиционные поэтические темы у Волошина либо отсутствуют, либо трансформируются. Волошин — масон, затем антропософ, ученик Штейнера, строивший коктейльскую коммуну как свой вариант Гётеанума, — в любом пейзаже видит намеки на вещей смысл мироздания, который вот сейчас приоткрылся в просвете меж туч или играет вдали на воде, в отражении луны. Отсюда же фантастическое количество волошинских акварелей с коктейльскими пейзажами — неотличимых, казалось бы. Он их раскладывал на столе по три разом и писал одновременно. Только у Рериха столько же почти одинаковых горных пейзажей — зачем столько? Но и антропософу Волошину, и теософу Рериху этот вопрос был бы смешон. Для обоих природа — посредница в разговоре между божеством и людьми; в каждом пейзаже явлен божественный смысл, и в каждом новом освещении он — новый. Коктейль привлёк Волошина именно потому, что здесь ему померещилась самая прямая связь с Божеством, без посредников; точка силы, где слышен хор светил.

К Волошину-поэту принято было относиться иронически, трюнить над его манерой всех обчитывать и зачитывать стихами; но Макс успевал намолчать за пять зимних месяцев, когда ему, кроме матери, бывало не с кем словом перемолвиться, да и она далеко не во всем его понимала. Назойливость его в общении с

гостями была изнанкой одиночества, но никто не желал часами выслушивать ямбы или антропософские лекции. Над толщиной Макса трунили не меньше: его хитон, веночек, сандалии, высокопарность, трубная, патетическая манера чтения, и все эти домашние концерты на веранде, и все эти эквиритмические танцы на берегу — все это, конечно, по-детски уязвимо, но и как трогательно! Главное же — за антропософскими чудачествами и коктейльскими творческими безумствами пряталась мудрая измученная душа. Волошин многое понимал, почти обо всем догадывался, и его поэзия, полная интеллектуального напряжения, содержит великие метафизические открытия. Метафизическая лирика, догадки о судьбах империй и о великих надмирных бурях, которые управляют земной историей, — все это давно было почитаемо на Западе, но не в России. Философов у нас немного, в литературе же, где самодеятельного философствования хоть отбавляй, попытка мыслить строго и концептуально вызывает насмешку. Но Волошин, при всех своих комических чертах, спас десятки людей во время Гражданской войны в Крыму. В его витийстве и навязчивости было нечто комическое, отлично им самим осознанное, но в этом было нечто от чтимых им русских юридивых. Доброта его и пророческий дар были намеренно снижены. Но когда Макс читал «Усобицу», он походил уже не на мирного коктейльского жителя в хитоне и веночке, но на библейского пророка; и ни один текст этой поры не устарел.

Сегодня, кажется, у нас есть острая нужда в поэзии именно такого свойства — не гадательной, не импрессионистической, но осмысляющей, концептуальной, пророческой. Волошин, чья жизнь прошла на виду, дождался читателя только посмертно. Но не такой ли судьбы он сам для себя ждал, напоминая, что «почетней быть твердимым наизусть и списываться тайно и украдкой»? ❀



ЗАГАДКА ХМЕЛИТЫ

АЛЕКСАНДР БУРЬИ

АННА ЛОЩИХИНА

В единственный в России музей Грибоедова, созданный в 1995 году, герои комедии «Горе от ума» вернули историю и туристов.

ХМЕЛИТА, НЕКОГДА РОДОВОЕ ИМЕНИЕ СТОЛБОВЫХ ДВОРЯН ГРИБОЕДОВЫХ под смоленской Вязьмой, переживает ренессанс. Задуманная как летняя усадьба-дача, где есть все, она и видела на своем веку практически все. Сначала — бурный расцвет винокурни и оранжерей, где зимой выращивали клубнику, ананасы и огурцы. Потом к Хмелите пришла слава места, с обитателей которого писалась знаменитая комедия «Горе от ума». Затем — революция и превращение усадьбы в Народный дом и склад. Позже — фашистская оккупация, во время которой был взорван домовый храм. В итоге — забвение, нелепый пожар и, наконец, руины. Мало кто верил, что из развалин Хмелиту поднимет «Горе от ума».

— Ничего-ничего, я сюда попал 14 ноября 1967 года, можно сказать, на пустырь от пожарища. — Директор Государственного историко-культурного и природного музея-заповедника А.С. Грибоедова Виктор Евгеньевич Кулаков просит присесть на деревянную резную скамейку у входа в усадьбу. — Приехал из Москвы, с Остоженки. Да так вот и остался. Теперь уж навсегда. Кулаков — тот самый архитектор-реставратор, который совершил, казалось, невозможное. В конце 60-х годов он наудачу написал письмо в Лондон — потомкам Варвары и Владимира Волковых-Муромцевых, последних владельцев Хмелиты, в 1917-м эмигрировавших в Великобританию. И полу-

чил не просто ответ, а чертежи усадьбы и ее планировку, включая расстановку мебели! Ценность этих бумаг была спасительной: еще в 50-е годы усадьба выгорела фактически до фундамента из-за «инспекции» пьяных электрика и автомеханика.

– С этими чертежами мы с моим учителем, выдающимся архитектором-реставратором Петром Барановским, тряслись полдня от Вязьмы до Хмелиты, а ведь это всего каких-то 30 с лишним километров, — вспоминает Кулаков. — Грунт дожди размыли. Дотащились за полночь, а в единственном в деревне общежитии вахтерша сказала как отрезала: «Местов нету». Ночевали на постое, а утром пошли в усадьбу. Эх, что за народ... Даже то, что от нее осталось, ранило. И множило загадки. Хотя у нас в руках были чертежи, против принятого мнения о том, что усадьба Грибоедовых — «это рядовой ампи́р», приходилось искать доказательства.

Кулаков вспоминает, как они разошлись по разным сторонам развалин. Вскоре Барановский торжественно закричал: «Ну? Я же говорил! — В руках он нес обугленные края лепнины с выщербленным и едва угадываемым сфинксом. — Елизаветинское барокко! Ну, точно как в чертежах. Все сходится с ними — 1753 год»...

ЯВЛЕНИЕ СФИНКСА

Двадцать пять лет, с 1970 по 1995 год, шла кропотливая и мучительная реставрация первоначального облика Хмелиты. Сначала умер Петр Барановский, потом не было денег, потом лихие 90-е затормозили восстановительные работы. Но к 1995 году коллектив реставраторов во главе с Виктором Кулаковым к 200-летию Александра Сергеевича Грибоедова, прошедшего в Хмелите детские и юношеские годы, не просто восстановил усадьбу его предков, а создал единственный в России музей великого русского драматурга и государственного деятеля.

– Для нас музей — не самоцель, — признается Кулаков. — Мы все время до деталей, до правды в мелочах хотели воссоздать образ жизни и бытового мышления дворянства той эпохи, чтобы лучше понять феномен и загадку Грибоедова. Почему он

высмеивал уклад классической русской усадьбы, хотя Хмелиту любил и возвращался сюда? Мне представляется, что, поняв усадебный уклад жизни, можно приблизиться к пониманию самого Грибоедова.

Кулаков и другие реставраторы особо настаивают на том, что они своей работой пытались вернуть к жизни старую формулу: дворянская усадьба — это не только и не столько дворец. Она — лицо или, как говорили в XVIII и XIX веках, «парадная» — «дом господский каменный о двух этажах». Сердце, тело и мозг усадьбы — это комплекс пространства, состоящий из дворца, четырех гостевых флигелей по периметру, манежа, винокурни, оранжереи, скотного двора, двух парков — рукотворного и природного. Венчает же Хмелиту фамильный домовый храм — церковь Казанской иконы Божьей Матери.

– Это был самодостаточный организм дворянского натурального хозяйства, — рассказывает старший научный сотрудник музея-усадьбы Дмитрий Кузьменко. — Он как жизненный цикл или времена года: одно органично сменяло и дополняло другое. И хотя усадьба считалась летней, присмотр за ней, как и жизнедеятельность, оставался круглогодичным. В Хмелите, или, по более старым записям, Хмелице, обитало до 700 крепостных, которые владели 58 ремесленными специальностями, обеспечивавшими процветание этому родовому гнезду, владельцем которого был дядя драматурга — Алексей Федорович Грибоедов. Это он стал прообразом хрестоматийного Фамусова, который «служил Екатерине», как «лев дрался с турками при Суворове», а выйдя в отставку, унаследовал Хмелиту.

По легенде, которая витает над современной Хмелитой, хранительницей имения стала усадьба, а вот его ангелом — загадочный сфинкс. По местному преданию, сфинкса в архитектуру сначала дворца, а потом и всех построек имения, привнес дед Александра Сергеевича Грибоедова — Федор Алексеевич, когда купил ее у прежних хозяев, предпочитавших старорусский стиль. Дед любил Санкт-Петербург, украшенный многочисленными сфинксами. Кроме того, у дворян той эпохи знаком хорошего тона считалось быть причастным к масонам, для которых сфинкс — один из тайных символов.

Последние владельцы усадьбы, Волковы-Муромцевы (после смерти Алексея Федоровича Грибоедова в 1833 году имение перешло к его дочери, княгине Варшавской. Затем его унаследовал ее сын — князь Варшавский граф Паскевич-Эриванский, который подарил усадьбу своим сестрам — княгиням Волконской и Лобановой-Ростовской. В 1869 году Хмелита была продана купцу 1-й гильдии Сипягину. В 1894 году имение купил граф Гейден и преподнес его на свадьбу дочери Варваре, вышедшей замуж за Владимира Волкова-Муромцева. — Прим. ред.), застали в живых конюха Грибоедовых Прокопа, дожившего до 101 года. Понимая значение усадьбы и важность сведений о жизни Александра Грибоедова, они записали воспоминания Прокопа. Старый конюх в том числе утверждал, что Федор Алексеевич и Алексей Федорович Грибоедовы, когда их спрашивали о сфинксах Хмелиты, говорили так: «Кто ходит утром на четырех ногах, днем — на двух, а вечером — на трех?» И сами же давали ответ на эту загадку: «Человек. Во младенчестве он ползает, в расцвете сил хо-

тается собирательным и списан с обитателей усадьбы и соседей — от управляющих до мелкопоместной молодежи.

Если судить по дневниковым записям соседей Хмелиты — Апраксиных, Одоевских, Уваровых, Якушкиных, — молодой Грибоедов «рос весьма начитанным, а

нраву был обидчивого». И, возможно, не мог забыть колких комплиментов тех, кто то ли высмеивал, то ли восхвалял его искрометное актерское перевоплощение в старуху Еремеевну из комедии Фонвизина «Недоросль», поставленной в домашнем театре усадьбы Хмелита. Если так, то комплименты в своей пьесе он вернул сполна.

СОБИРАЛИСЬ «ПРОСТО ПОВРАТЬ»

Домашний театр, музыкальный оркестр, цыганский хор, картинная галерея, богатая библиотека, образованные и преуспевающие соседи — Панины, Хомяковы, Лыкошины, Якушкины, Уваровы. Вот та атмосфера, в которой рос и в которую возвращался Александр Грибоедов. В XIX веке Хмелита была средоточием избранного общества и излюбленным местом встреч интеллектуалов. Однако даже избранные, попадая в парадный зал впервые, сначала впечатлялись его высокими потолками — 6 с половиной метров, а потом удивлялись непривычному досугу.

– Цыгане, балы и маскарады — это для стариков и праздных обывателей, считала усадебная молодежь, — объясняет научный сотрудник музея-заповедника Валерий Кривцов, изучавший дневники одного из молодых Лыкошиных. — И хотя автор дневников иронично упоминает, что молодежь собиралась в парадной «каждое послеобеда», чтобы обсудить литературные и театральные новинки и «просто поврать», надо делать скидку на самоиронию эпохи. «Каждое послеобеда» — это время после 19.00–20.00, поскольку обед растягивался по барской традиции на три-че-

дит на двух ногах, а в старости опирается на трость». Из чего, видимо, следует сделать вывод, что Грибоедовы были прекрасно знакомы и с греческой мифологией, и с великой трагедией Софокла «Царь Эдип».

ГДЕ РОЖДАЛИСЬ ПРОТОТИПЫ

Впервые в усадьбу своего деда Александр Грибоедов (см.: «Русский мир.ru» №2 за 2014 год, статья «Горе и ум». — Прим. ред.) попал в 5 лет по инициативе своего дяди Алексея Федоровича. Тот знал, что отец племянника — горький пропойца, промотал состояние под Владимиром и не занимается сыном, а «малый подает незаурядные таланты». В воспоминаниях самого писателя есть запись о том, как его удивил «иррегулярный» парк дяди. В нем были высажены австралийский ясень, канадский клен, кряжистые дубы. Этим великанам уже более четырехсот лет, и сегодня они манят всех, кто приезжает в Хмелиту. Здесь есть еще и персидская сирень, по легенде, привезенная дипломатом Грибоедовым из Персии. Парк разбит перед входом во дворец, который встречает гостей аванзалом, где обычно гости ждали, пока о них не доложат хозяевам.

– Когда мы начинали реставрацию и воссоздание мебели, стоявшей во дворце, — вспоминает Дмитрий Кузьменко, — мы столкнулись с тем, что оригинальную мебель распродали или вывезли сначала большевики, потом фашисты. Или она сгорела. А когда увидели рисунки мебели, воссозданной по чертежам, сразу поняли: такая «дворянская мебель», а точнее, новое русское представление о ней не впишется в классическую сдержанность усадьбы. Выглядели изображенные на иллюстрациях предметы не просто дорого — пафосно. Художники пали жертвами распространенного мифа о дворянах, будто те жили расточительно и были исключительно мотами. Хотя обычно большую часть мебели изготавливали местные крепостные «по французским образцам». Поэтому мы смело собирали аутентичную мебель — из местных музеев и их запасников, от частных жертвователей. И хотя от заказа вычерченной мебели мы удержались, иллюстрации стало жалко, мы их выкупили и вывесили в аванзале. Но посетителям честно говорим, что обстановка в усадьбе была такой, какой они ее видят — в разы скромнее. После аванзала гости следовали в диванную. Она в бытность Алексея Федоровича Грибоедова служила местом встреч многочисленных родственников клана Грибоедовых, которые съезжались сюда на лето, и гостей усадьбы. Время, как тогда было принято, скрашивалось беседами за чашкой чая.

Вероятно, именно здесь, в диванной, и собирались те, кто послужил Александру Сергеевичу прототипами героев его комедии. Фамусов, ясное дело, это дядюшка Алексей Федорович. Софья — его дочь и кузина автора «Горя от ума» Софья. Генерал Скалозуб — герой Отечественной войны 1812 года генерал Иван Федорович Паскевич, женатый на дочери Алексея Федоровича от первого брака, Елизавете. Прототипами Чацкого стали сразу несколько человек: Петр Чаадаев, Иван Якушкин, сам автор пьесы. Что же касается Молчалина, то его образ также счи-

тыре часа. А «просто поврать» — это тоже код знаменитых поэтических и литературных вечеров-состязаний, когда молодые люди читали свои стихи, пьесы и рассказы по принципу состязательности: замысел автора и талант чтеца до глубокой ночи, иногда до рассвета оценивали такие же авторы поэтических строк или прозы. А старики ворчали: «Опять поврать собрались». Так в нашей Хмелите закладывались традиции классической русской литературы, которую потом читал мир. Как едко заметил в дневниках Грибоедов, «усадьба упражнялась в литературе, которой станет что-то штучное».

В отреставрированной усадьбе все — от директора до зрителя — подчеркивают, что, восстанавливая ее, свою задачу-максимум видели не только в оживлении имения, но и в передаче «воздуха» эпохи. Ведь только так можно понять, в какой среде рос будущий гений, у кого он приобретал великосветский лоск и манеры денди, в чем его не раз упрекали и чему завидовали, а потом гордились тем, что «Горе от ума» создавалось в Хмелите.

Хотя, как говорят в музее, это спорный вопрос.

– Нет документальных подтверждений, что Грибоедов писал пьесу именно в Хмелите, — подчеркивает Валерий Кривцов. — Однако есть косвенные свидетельства. Например, сын последних владельцев имения, Н.В. Волков-Муромцев, пишет в воспоминаниях о том, что Грибоедов именно в Хмелите написал большую часть «Горе уму» — так первоначально называлась пьеса. Вторит ему и знаменитый «домовой» Хмелиты — конюх Прокоп. Он «Саньку», вслед за дядей, видевшим его своим наследником, называет «бумагомаракой» и подтверждает, что «писал он тут ту самую свою «комедь». Еще и подтрунивает над ним, дескать, «малец путал столовую с библиотекой», где «прямо ел книги».

Впрочем, верить или нет свидетельствам Прокопа — этот выбор экскурсоводы Хмелиты оставляют посетителям. Так, в день, когда мы встретились с Валерием Кривцовым, он вел экскурсию для группы туристов из белорусского Витебска. Их фигура Прокопа особо заинтересовала тогда, когда Кривцов процитировал конюха: «А я Наполеона видел. Здоровый, под два метра, и нос как у орла». Туристы забеспокоились.

– Наполеон же был маленьким, — засомневалась девушка школьного возраста. — Говорят, вообще метр пятьдесят семь.

– Так ставка Наполеона была в Вязьме, — вставляет юноша в очках. — Как он здесь мог оказаться?

– Вот вы и ответили на вопрос о том, насколько можно верить Прокопу. — Как ученый, Кривцов доволен возникшими сомнениями. — Мы предполагаем, что «Наполеоном» мог быть Иоахим Мюрат, наполеоновский маршал и неаполитанский король. Он действительно был в обозе Наполеона и мог присмотреть Хмелиту для своей ставки или для своих покоев.

ТОНКОСТИ БЫТА

Соседство парадного зала и столовой всегда вызывает живой интерес у посетителей.

– Скажите, гости всегда ели под сопровождение цыганского хора или музыкального оркестра? — спросила однажды старшего научного сотрудника Дмитрия Кузьменко представительная дама, как выяснилось, консультант одного из сериалов на федеральном телевидении.

– Исключено, — почти возмутился Кузьменко, — это элемент купеческого размаха, который усадебные дворяне тогда еще не знали, а позже категорически не признавали, поскольку считали «халдейским».

Тем не менее, включив однажды телевизор, Кузьменко увидел, как «дворяне» обедают не под аккомпанемент светской беседы, а под аккорды бравурной польки, исполняемой солидным по количеству инструментов оркестром. В титрах значилась фамилия той самой дамы-консультанта.

– К нам много едут снимать кино, — рассказывает Дмитрий Кузьменко, — мы нико-го не учим, не переубеждаем, но стараемся не создавать мифы или, если получается, развенчиваем те, что уже устоялись.

Он вспоминает, как однажды спросил у туристов из Смоленска: «Что такое объедки с барского стола?» И получил ожидаемый ответ: «То, что не доели за обедом».

– Это самое распространенное заблуждение, — объясняет Кузьменко. — Никогда объедки в прямом значении этого слова не попадали на стол крепостных. Дворянская усадьба, как домовладение и как способ хозяйствования, себя уважала. На обед подавалось до пяти первых блюд, до пяти или десяти (по праздникам) вторых и до семи видов закусок, как холодных, так и горячих. Все это великолепие выкатывалось на специальном столе с колесиками, гость выбирал то, что он желает попробовать. А вот то, что не попало на стол, но уже было приготовлено, в нетронутном виде шло

ности, что тормозило возгорание. Но есть у этого отстроенного быта, как у всякого натурального хозяйства, оборотная сторона философии: его двигали крепостные, а по сути — рабы. Дело даже не в земле, которая, как все знают, крестьянам не принадлежала. Дело в такой «мелочи», как

крепостным — огородникам, мебельщикам, кузнецам, конюхам, ездовым, скотникам, домашней прислуге.

Как уверяет Кузьменко, пересмотревший немало архивных документов, в Смоленских и Вяземских землях такое обращение дворян с крепостными было стандартом отношений, а как раз не стандарт — печально известные методы Салтычихи. Особенно его потрясло то, что после 1861 года, когда было отменено крепостное право, семья соседей Грибоедовых, Якушкиных, одной из первых дала своим крепостным вольную без выкупа. «Нет, барин, — был ответ крестьянского схода, — свободы без земли нету. Пусть будет как есть: мы — ваши, а земля — наша».

Закреплению такой психологии, осужденной в «Горе от ума», во многом способствовал порядком забытый уклад натурального хозяйства в дворянской усадьбе. Так, в усадьбе на стол даже зимой подавались свежие огурцы и зелень, а в каминной ждали закуски — клубника и ананасы, выращенные в оранжерее.

Устройству оранжереи в Хмелите туристы поражаются до сих пор. Почва прогревалась с помощью дымохода, пущенного под землей, а зажженные свечи дополняли недостаток солнечного света. Оранжерея длиной в полкилометра кормила не только дворян, но и крепостных.

Особую гордость Хмелиты составляла винокурня. Благодаря ей в каминной гостиной всегда ждали редкие напитки, исключительно рукотворного производства.

— Дворяне тогда не часто пили вина, — рассказывает Дмитрий Кузьменко, — они предпочитали зимой настойки, а летом наливки. Настоек в год усадьба делала ровно 32 — по количеству букв алфавита — от А до Я. Наиболее часто употребляемыми гостями были 35–38-градусная травянуха (до 20 видов трав), хреновуха, хреновуха с медом, клюковка и перцовка. Мягкие, обволакивающие настойки дамы предпочитали употреблять круглый год. Самые популярные наливки выдерживались до трех лет — малиновая и ежевичная. К чаю подавались вишневая наливка, из черноплодной рябины, из черной или красной смородины, сливовая — всего до 15 видов.

— Если уклад дворянского натурального хозяйства был так хорош, почему он не выжил? — этот вопрос экскурсоводам задают многие туристы. И как правило, в тот момент, когда дойдут до восхищения каминной или барской опочивальней.

— Я раньше отвечал: «Ну, сами подумайте: если Грибоедов, выросший в этом великолепии, его высмеивал, значит, видел его конечность?» — рассказывает Дмитрий Кузьменко. — Сегодня так не скажу ни в коем случае.

Кузьменко хитро щурится. Он молча ведет нас в барскую опочивальню. По пути говорит: «Я всем рекомендую идти за мной в барские покои».

— Смотрите, — распахивает он высоченные двери, — спальня с проходными дверями. Все комнаты проходные. Знаете почему? Философия. Сначала я думал, что бытования: сквозные проходы делались как защита от пожаров. Они часто, за зиму два-три раза, возникали от свечного освещения или неумеренного отопления. Для деревянных домов это было губительно, а для их обитателей как капкан, если комната не была сквозной. В каменные барские дома философия сквозных комнат перебралась по наследству и дополнилась высокими потолками. Они спасали воздух от спрессован-

ного воздуха. Дело в такой «мелочи», как свечи. Они, по барской прихоти, горели всю ночь. Кто следил за тем, чтобы они не погасли или не сожгли дворец? вспомните Софью из «Горя от ума» и ее отношение к «Лизаньке», когда после ночи утех от нее уходил Молчалин. Софья была уверена, что никто не узнает, потому как «Лизанька» — тоже никто.

«Лизанька», если выкраивала время, спала на сундуке в проходной. Впереди и сбоку барские покои и парадная зала со столовой, за головой — сейф, в ногах — «отдыхательная комната» или туалет.

— Это то, к чему мы пришли, — шутит Дмитрий Кузьменко, — это диспозиция современной Хмелиты. Мы отказались как от восхваления Грибоедова, так и от осуждения крепостных нравов, мы через воссоздание быта, оживленные людские судьбы героев «Горя от ума» и историю усадьбы стараемся передать дыхание того времени. А посетитель сам разберется, «что такое хорошо и что такое плохо». Может, поэтому одушевленные герои комедии «Горе от ума», со своими достоинствами, причудами и недостатками, вернули в Хмелиту историю и туристов? После забвения и десятилетий руинированного состояния к нам в год приходит до 58 тысяч посетителей. И как «Лизанька» берегла покой бар, мы охраняем историю и дорожим этой ролью. А Грибоедов все равно ускользает и ускользает, как Чацкий, «непонятой и загадочной тенью».

Правда, музейные работники считают, что масштаб личности Грибоедова таков, что так и должно быть.

— Он как загадка, познаваем, но неисчерпаем, — уверен Виктор Кулаков. — Тут все дышит им и его эпохой. ❀